НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДНОМ ТОМЕ

Полное собрание сочинений в одном томе

Николай Васильевич Гоголь

Аннотация
Николай Гоголь. Полное собрание сочинений в одном томе
Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком
Часть первая
Предисловие
Сорочинская ярмарка
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Вечер накануне Ивана Купала. Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви
Майская ночь, или Утопленница
I. Ганна
II. Голова
III. Неожиданный соперник. Заговор
IV. Парубки гуляют
V. Утопленница
VI. Пробуждение
Пропавшая грамота. Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви
Часть вторая
Предисловие
Ночь перед Рождеством
Страшная месть
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

XII
XIII
XIV
XV
XVI
Иван Федорович Шпонька и его тетушка
I. Иван Федорович Шпонька
II. Дорога
III. Тетушка
IV. Обед
V. Новый замысел тетушки
Заколдованное место. Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви
Миргород. Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки»
Часть первая
Старосветские помещики
Тарас Бульба
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX
X
XI
XII
Часть вторая
Вий
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
Глава I. Иван Иванович и Иван Никифорович
Глава II, из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу, о чем происходил разговор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем и чем он окончился
Глава III. Что произошло после ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем
Глава IV. О том, что произошло в присутствии миргородского поветового суда
Глава V, в которой излагается совещание двух почетных в Миргороде особ
Глава VI, из которой читатель легко может узнать все то, что в ней содержится
Глава VII, и последняя
Повести
Невский проспект
Нос

I
II
III
Портрет
Часть I
Часть II
Шинель
Записки сумасшедшего
Коляска
Рим. Отрывок
Пьесы
Ревизор. Комедия в пяти действиях
Действующие лица
Характеры и костюмы. Замечания для господ актеров
Действие первое. Комната в доме городничего
Явление I
Явление II
Явление III
Явление IV
Явление V
Явление VI
Действие второе
Явление I
Явление II

Явление III
Явление IV
Явление V
Явление VI
Явление VII
Явление VIII
Явление IX
Явление X
Действие третье
Явление I
Явление II
Явление III
Явление IV
Явление V
Явление VI
Явление VII
Явление VIII
Явление IX
Явление X
Явление XI
Действие четвертое
Явление I
Явление II
Явление III
Явление IV
Явление V

Явление VI
Явление VII
Явление VIII
Явление IX
Явление X
Явление XI
Явление XII
Явление XIII
Явление XIV
Явление XV
Явление XVI
Действие пятое
Явление I
Явление II
Явление III
Явление IV
Явление V
Явление VI
Явление VII
Явление VIII
Явление последнее
Немая сцена
Женитьба. Совершенно невероятное событие в двух действиях. Писано в 1833 году
Действующие лица
Действие первое

Явление I
Явление II
Явление III
Явление IV
Явление V
Явление VI
Явление VII
Явление VIII
Явление IX
Явление X
Явление XI
Явление XII
Явление XIII
Явление XIV
Явление XV
Явление XVI
Явление XVII
Явление XVIII
Явление XIX
Явление XX
Явление XXI
Действие второе
Явление I
Явление II
Явление III
Явление IV

Явление V
Явление VI
Явление VII
Явление VIII
Явление IX
Явление X
Явление XI
Явление XII
Явление XIII
Явление XIV
Явление XV
Явление XVI
Явление XVII
Явление XVIII
Явление XIX
Явление XX
Явление XXI
Явление XXII
Явление XXIII
Явление XXIV
Явление XXV
Мертвые души. Поэма
Том первый
Глава первая
Глава вторая
Глава третья

Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Повесть о капитане Копейкине
Глава одиннадцатая
Том второй
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
<Одна из последних глав>
Незаконченные произведения
Отрывки
Две главы из малороссийской повести «страшный кабан»
I. Учитель
II. Успех посольства
Гетьман
<I>. <Несколько глав из неоконченной повести>
<Глава 1>
<Глава 2>

<Глава 3>
<Глава 4>
<Глава 5>
<Глава 6>
<II>. Кровавый бандурист. Глава из романа
<III>. Глава из исторического романа
<IV>. <Мне нужно видеть полковника>
1
2
Ночи на вилле
Мелкие отрывки
Страшная рука
<Фонарь умирал>
<Дождь был продолжительный>
<Рудокопов>
<Семен Семенович Батюшек>
<Девицы Чабловы>
Что это?
1
2
3
4
Драматические отрывки и наброски
Игроки. Дела давно минувших дней
Явление I
Явление II

Явление III
Явление IV
Явление V
Явление VI
Явление VII
Явление VIII
Явление IX
Явление X
Явление XI
Явление XII
Явление XIII
Явление XIV
Явление XV
Явление XVI
Явление XVII
Явление XVIII
Явление XIX
Явление XX
Явление XXI
Явление XXII
Явление XXIII
Явление XXIV
Явление XXV
Утро делового человека. Петербургские сцены
I
II

III
IV
V
Тяжба
I
II
III
IV
Лакейская
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Отрывок
I
II
Театральный разъезд после представления новой комедии
<Альфред>
Действие I
Действие II
Отрывки из неизвестной драмы

I
II
Действие V
Наброски драмы из украинской истории
Поэма
Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах
Картина I
Картина II
Картина III
Картина IV
Картина VI
Картина VII
Картина VIII
1
2
3
4
5
6
7
8
Картина IX
Картина X
Картина XI
Ночные видения
Картина XIII

Картина XVI
Картина XVII
Дума
Картина XVIII
Эпилог
Новоселье
<Акростих>
Италия
9
17
25
33
Из поэмы «Россия под игом татар»
Публицистика, критика, исторические наброски
Статьи из сборника «Арабески»
<Предисловие>
Скульптура, живопись и музыка
О Средних веках
О преподавании всеобщей истории
I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII
IX
X
Взгляд на составление Малороссии
Несколько слов о Пушкине
Об архитектуре нынешнего времени
Ал-Мамун. (Историческая характеристика)
Жизнь
Шлецер, Миллер и Гердер
О малороссийских песнях
Мысли о географии. (для детского возраста)
Последний день Помпеи. (картина Брюллова)
О движении народов в конце V века
Статьи и рецензии 1831–1842
Женщина
Борис Годунов. Поэма Пушкина
О поэзии Козлова
О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году
Петербургские записки 1836 года
I
II
Рецензии из «Современника»
Рецензии, не вошедшие в «Современник»
Рецензия для «Москвитянина»
Выбранные места из переписки с друзьями

Предисловие
I. Завещание
II. Женщина в свете. (Письмо к....ой)
III. Значение болезней. (Из письма к гр. А. П. Т.....му)
IV. О том, что такое слово
V. Чтения русских поэтов перед публикою. (Письмо к Л**)
VI. О помощи бедным
(Из письма к А. О. С..... ой)
VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским
(Письмо к Н. М. Я....ву)
VIII. Несколько слов о нашей церкви и духовенстве
(Из письма к гр. А. П. Т..... му)
IX. О том же
(Из письма к гр. А. П. Т..... му)
X. О лиризме наших поэтов
(Письмо к В. А. Ж.....му)
XI. Споры
(Из письма к Л ***)
XII. Христианин идет вперед
(Письмо к Щ.....ву)
XIII. Карамзин
(Из письма к Н. М. Я....ву)
XIV. О театре, об одностороннем взгляде на

театр и вообще об односторонности
(Письмо к гр. А. П. Т.....му)
XV. Предметы для лирического поэта в нынешнее время
(Два письма к Н. М. Я.....у)
1
2
XVI. Советы
(Письмо к Щ.....ву)
XVII. Просвещение
(Письмо к В. А. Ж.....му)
XVIII. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»
1
2
3
4
XIX. Нужно любить Россию
(Из письма к гр. А. П. Т.....му)
XX. Нужно проездиться по России
(Из письма к гр. А. П. Т.....му)
XXI. Что такое губернаторша
(Письмо к А. О. С.....ой)
XXII. Русской помещик
(Письмо к Б. Н. Б.....му)
XXIII. Исторический живописец Иванов

(Письмо к гр. Матв. Ю. В.....му)
XXIV. Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России
XXV. Сельский суд и расправа
(Из письма к М.)
XXVI. Страхи и ужасы России
(Письмо к графине.....ой)
XXVII. Близорукому приятелю
XXVIII. Занимающему важное место
XXIX. Чей удел на земле выше
(Из письма к У.....му)
XXX. Напутствие
XXXI. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность
XXXII. Светлое воскресенье
О «Современнике» и другие статьи
О «Современнике»
<Авторская исповедь>
Учебная книга словесности для русского юношества
Начертание Н. Гоголя
О сословиях в государстве
Размышления о Божественной Литургии
Предисловие
Вступление

Проскомидия
Литургия оглашенных
Литургия верных
Заключение
Наброски и материалы по русской истории

Аннотация

Талант Николая Васильевича Гоголя поистине многогранен и монументален: он одновременно реалист, мистик, романтик, сатирик, драматург-новатор, создатель своего собственного литературного направления и уникального метода. По словам Владимира Набокова, «проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна». Читая произведения этого выдающегося писателя XIX века, мы действительно понимаем, что они словно бы не принадлежат нашему миру, привычному нам пространству.

В настоящее издание вошли все шедевры мастера, так что читатель может еще раз убедиться, насколько разнообразен и неповторим Гоголь и насколько мощно его влияние на развитие русской литературы.

Николай Гоголь
Полное собрание сочинений в одном томе

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Вечера на хуторе близ Диканьки

Повести, изданные пасичником Рудым Панько́м

Часть первая
Предисловие

«Это что за невидаль: «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Что это за «Вечера»? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее».

Слышало, слышало вещее мое все эти речи еще за месяц! То есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет — батюшки мои! Это все равно как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотреть — дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. «Куда, куда, зачем? пошел,

мужик, пошел!..» Я вам скажу… Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался — плачь не плачь, давай ответ.

У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасичник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму), — у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, — тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрипка, говор, шум… Это у нас *вечерницы!* Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз

в сторону; но только нагрянут в хату парубки с скрыпачом — подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасичника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, — и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и повыше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать! Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не

носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его, у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю и прятал в пазуху. А один из гостей… Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкомории[1]. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать — вычурно да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он

---

[1] Примечания: 1

Подкоморий — межевой судья.

слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на *ус.* Лопата у него — лопатус, баба — бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашивает отца: «Как это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и — хвать его по лбу. «Проклятые грабли! — закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин, — как же они, черт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!» Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посереди комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и листьями любистка, поднес

ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, — и всё ни слова; да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, тогда только проворчал про себя чуть ли еще не поговорку: «Не мечите бисер перед свиньями»… «Быть же теперь ссоре», — подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастию, старуха моя догадалась поставить на стол горячий книш с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того чтоб показать шиш, протянулась к книшу, и, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу хозяйку. Еще был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости господи, как черта, все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до нового году и выпущу другую книжку, тогда можно будет пострашать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними, статься может, найдете побасенки самого пасичника, какие рассказывал он своим

внукам. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, — лень только проклятая рыться, — наберется и на десять таких книжек.

Да, вот было и позабыл самое главное: как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей: «А где живет пасичник Рудый Панько?» — «А вот там!» — скажет он, указавши пальцем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич третьего году, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою, несмотря на то что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные.

Зато уже как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот — дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право: на что ж мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть — объяденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года… Однако ж что я, в самом деле, разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному.

Пасичник Рудый Панько.

На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны.

Бандура	инструмент, род гитары
Батог	кнут
Болячка	золотуха
Бондарь	бочарь
Бублик	круглый крендель, баранчик
Буряк	свекла
Буханец	небольшой хлеб
Винница	винокурня
Галушки	клёцки
Голодрабец	бедняк, бобыль
Гопак, горлица	малороссийские танцы
Дивчина	девушка
Дивчата	девушки
Дижа	кадка
Дрибушки	мелкие косы
Домовина	гроб
Дуля	шиш
Дукат	род медали, носится на шее
Знахор	многознающий, ворожея
Жинка	жена
Жупан	род кафтана
Каганец	род светильни
Клепки	выпуклые дощечки, из коих составлена бочка
Книш	род печеного хлеба
Кобза	музыкальный инструмент
Комора	амбар
Кораблик	головной убор
Кунтуш	верхнее старинное платье
Коровай	свадебный хлеб

Кухоль	глиняная кружка
Лысый дидько	домовой, демон
Люлька	трубка
Макитра	горшок, в котором трут мак
Макогон	пест для растирания мака
Малахай	плеть
Миска	деревянная тарелка
Молодица	замужняя женщина
Наймыт	нанятой работник
Наймычка	нанятая работница
Оселедец	длинный клок волос на голове, заматывающийся на ухо
Очипок	род чепца
Пампушки	кушанье из теста
Пасичник	пчеловод
Парубок	парень
Плахта	нижняя одежда женщин
Пекло	ад
Перекупка	торговка
Переполох	испуг
Пейсики	жидовские локоны
Поветка	сарай
Полутабенек	шелковая материя
Путря	кушанье, род каши
Рушник	утиральник
Свитка	род полукафтанья
Синдячки	узкие ленты
Сластёны	пышки
Сволок	перекладина под потолком
Сливянка	наливка из слив
Смушки	бараний мех
Соняшница	боль в животе

Сопилка	род флейты
Стусан	кулак
Стрички	ленты
Тройчатка	тройная плеть
Хлопец	парень
Хутор	небольшая деревушка
Хустка	платок носовой
Цибуля	лук
Чумаки	обозники, едущие в Крым за солью и рыбою
Чуприна	чуб, длинный клок волос на голове
Шишка	небольшой хлеб, делаемый на свадьбах
Юшка	соус, жижа
Ятка	род палатки или шатра

Сорочинская ярмарка

I

Мені нудно в хаті жить.
Ой, вези ж мене із дому,
Де багацько грому, грому,
Де гопцюють все дівки,

Де гуляють парубки![2]

Из старинной легенды

Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба

[2] Примечания: 2

Мне тоскливо жить в хате, вези меня из дому туда, где много шума, где все девушки танцуют, где парни веселятся! (*укр.*)

станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало — река в зеленых, гордо поднятых рамах… как полно сладострастия и неги малороссийское лето!

Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа тысячу восемьсот… восемьсот… Да, лет тридцать будет назад тому, когда дорога, верст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них сеном.

Одиноко в стороне тащился на истомленных

волах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разною домашнею поклажею, за которым брел, в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах, его хозяин. Ленивою рукой обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице и к уроду и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных, и особливо молодых парубков, брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако ж не седые усы и не важная поступь его заставляли это делать; стоило только поднять глаза немного вверх, чтоб увидеть причину такой почтительности: на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые, вместе с длинными косами и пучком полевых цветов, богатою короною покоились на ее очаровательной головке. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново… и хоро-

шенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться! в первый раз на ярмарке! Девушка в осьмнадцать лет в первый раз на ярмарке!.. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служение, теперь на продажу. Неугомонная супруга… но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой, будто по горностаевому меху, нашиты были хвостики, красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность ее красному, полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочки.

Глазам наших путешественников начал уже открываться Псёл; издали уже веяло прохладою, которая казалась ощутительнее после томительного, разрушающего жара. Сквозь темно- и светло-зеленые листья небрежно раскиданных

по лугу осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темною, упавшею с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет, — она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми, разнообразными ландшафтами. Ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестность. Воз с знакомыми нам пассажирами взъехал в это время на мост, и река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы — все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым

исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг слова: «Ай да дивчина!» — поразили слух ее. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый пощеголеватее прочих, в белой свитке и в серой шапке решетиловских смушек, подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось, стремившихся видеть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, может быть, ему принадлежало произнесенное слово.

— Славная дивчина! — продолжал парубок в белой свитке, не сводя с нее глаз. — Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее. А вот впереди и дьявол сидит!

Хохот поднялся со всех сторон; но разряженной сожительнице медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое приветствие: красные щеки ее превратились в огненные, и треск отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка:

— Чтоб ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он подскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете черт бороду обжег!

— Вишь, как ругается! — сказал парубок, вытаращив на нее глаза, как будто озадаченный таким сильным залпом неожиданных приветствий, — и язык у нее, у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти слова.

— Столетней! — подхватила пожилая красавица. — Нечестивец! поди умойся наперед! Сорванец негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! и отец дрянь! и тетка дрянь! Столетней! что у него молоко еще на губах…

Тут воз начал спускаться с мосту, и последних слов уже невозможно было расслушать; но парубок не хотел, кажется, кончить этим: не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью, и хохот разгульных повес удвоился с новою силой. Дородная щеголиха вскипела гневом; но воз отъехал в это время довольно далеко, и месть ее обратилась на безвинную падчерицу и медленного сожителя, который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги. Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык ее трещал и болтался во рту до тех пор, пока не приехали они

в пригородье к старому знакомому и куму, козаку Цыбуле. Встреча с кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время из головы это неприятное происшествие, заставив наших путешественников поговорить об ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути.

II

Що, боже ти мій, господе! чого нема на тій ярмарці!
Колеса, скло, дьоготь, тютюн, ремінь, цибуля, крамарі всякі... так, що хоч би в кишені було рублів і з тридцять, то й тоді б не закупив усієї ярмарки[3].
Из малороссийской комедии

Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ

---

[3] Примечания: 3

Господи, боже мой, чего нет на той ярмарке! Колеса, стекло, деготь, табак, ремень, лук, торговцы всякие... так, что если бы в кармане было хоть тридцать рублей, то и тогда бы не закупил всей ярмарки *(укр.)*.

срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит? Шум, брань, мычание, блеяние, рев — все сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно; мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа; ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться. Приезжий мужик наш с чернобровою дочкой давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применивался к ценам; а между тем мысли его ворочались безостановочно около десяти мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около возов с мукою и пшеницею. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ятками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные, медные кресты и дукаты. Но и тут, однако ж, она находила себе много предметов

для наблюдения: ее смешило до крайности, как цыган и мужик били один другого по рукам, вскрикивая сами от боли; как пьяный жид давал бабе киселя; как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками; как москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою… Но вот почувствовала она, кто-то дернул ее за шитый рукав сорочки. Оглянулась — и парубок в белой свитке, с яркими очами стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилось так, как еще никогда, ни при какой радости, ни при каком горе: и чудно и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делалось с нею.

— Не бойся, серденько, не бойся! — говорил он ей вполголоса, взявши ее руку, — я ничего не скажу тебе худого!

«Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого, — подумала про себя красавица, — только мне чудно… верно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится так… а силы недостает взять от него руку».

Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово «пшеница». Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривавшим негоциантам, и приковавшегося к ним

внимания уже ничто не в состоянии было развлечь. Вот что говорили негоцианты о пшенице.

III

Чи бачиш, він який парнище?
На світі трохи есть таких.
Сивуху так, мов брагу, хлище![4]

Котляревский, «Энеида»

— Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница? — говорил человек, с вида похожий на заезжего мещанина, обитателя какого-нибудь местечка, в пестрядевых, запачканных дегтем и засаленных шароварах, другому, в синей, местами уже с заплатами, свитке и с огромною шишкою на лбу.

— Да думать нечего тут; я готов вскинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку.

— Кого ты, земляк, морочишь? Привозу ведь, кроме нашего, нет вовсе, — возразил человек в

---

[4] Примечания: 4

Видишь ты, какой парнище? На свете мало таких. Сивуху, словно брагу, хлещет! *(укр.)*

пестрядевых шароварах.

«Да, говорите себе что хотите, — думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негоциантов, — а у меня десять мешков есть в запасе».

— То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля, — значительно сказал человек с шишкою на лбу.

— Какая чертовщина? — подхватил человек в пестрядевых шароварах.

— Слышал ли ты, что поговаривают в народе? — продолжал с шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмые очи.

— Ну!

— Ну, то-то ну! Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором, хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тот старый, развалившийся сарай, что вон-вон стоит под горою? (Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во внимание.) В том сарае то и дело что водятся чертовские шашни; и ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера волостной писарь проходил поздно вече-

ром, только глядь — в слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже; того и жди, что опять покажется *красная свитка!*

— Что ж это за *красная свитка*?

Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом; со страхом оборотился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете свитки. Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности.

— Эге-ге-ге, земляк! да ты мастер, как вижу, обниматься! А я на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою Хвеську, да и то спасибо куму: бывши *дружкою,* уже надоумил.

Парубок заметил тот же час, что отец его любезной не слишком далек, и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу.

— Ты, верно, человек добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчас узнал.

— Может, и узнал.

— Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу: тебя зовут Солопий Черевик.

— Так, Солопий Черевик.

— А вглядись-ко хорошенько: не узнаешь ли меня?

— Нет, не познаю. Не во гнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рож всяких, что черт их и припомнит всех!

— Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!

— А ты будто Охримов сын?

— А кто ж? Разве один только *лысый дидько,* если не он.

Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание; наш Голопупенков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого.

— Ну, Солопий, вот, как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе.

— Что ж, Параска, — сказал Черевик, оборотившись и смеясь к своей дочери, — может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того… чтобы и паслись на одной траве! Что? по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай магарычу!

И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации — под яткою у жидовки, усеянною

многочисленной флотилией сулей[5], бутылей, фляжек всех родов и возрастов.

— Эх, хват! за это люблю! — говорил Черевик, немного подгулявши и видя, как нареченный зять его налил кружку величиною с полкварты и, нимало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом ее вдребезги. — Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебе достал! Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную!..

И, посмеиваясь и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу, а наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из Гадяча и Миргорода — двух знаменитых городов Полтавской губернии, — выглядывать получшую деревянную люльку в медной щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестю и всем, кому следует.

IV

Хоть чоловікам не онеє,
Та коли жінці, бачиш, теє,

---

[5] Примечания: 5
Сулея — большая бутыль.

Так треба угодити...[6]

Котляревский

— Ну, жинка! а я нашел жениха дочке!

— Вот как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать! Дурень, дурень! тебе, верно, и на роду написано остаться таким! Где ж таки ты видел, где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть; хорош должен быть и жених там! Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев.

— Э, как бы не так, посмотрела бы ты, что там за парубок! Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху *важно* дует!.. Черт меня возьми вместе с тобою, если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул полкварты не поморщившись.

— Ну, так: ему если пьяница да бродяга, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадется мне: я бы дала ему знать.

— Что ж, Хивря, хоть бы и тот самый; чем же

---

[6] Примечания: 6

Хоть мужьям и не нравится, но коль жена, видишь ли, хочет того, то нужно угодить... *(укр.)*.

он сорванец?

— Э! чем же он сорванец! Ах ты, безмозглая башка! слышишь! чем же он сорванец! Куда же ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы; ему хоть бы тут же, перед его запачканным в табачище носом, нанесли жинке его бесчестье, ему бы и нуждочки не было.

— Все, однако же, я не вижу в нем ничего худого; парень хоть куда! Только разве что заклеил на миг образину твою навозом.

— Эге! да ты, как я вижу, слова не даешь мне выговорить! А что это значит? Когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего…

Тут Черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая, без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями.

«Туда к черту! Вот тебе и свадьба! — думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей супруги. — Придется отказать доброму человеку ни за что ни про что. Господи боже мой, за что такая напасть на нас грешных! и так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!»

V

Не хилися, явороньку,
Ще ти зелененький;
Не журися, козаченьку,
Ще ти молоденький![7]

Малороссийская песня

Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, на глухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла наваленных кучами оконниц горели; зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные; горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок, мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-где

[7] Примечания: 7

Не клонись, явор, ты еще зелененький; не печалься, козак, ты еще молоденький! (*укр.*)

начинал сверкать огонек, и благовонный пар от варившихся галушек разносился по утихавшим улицам.

— О чем загорюнился, Грицько? — вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. — Что ж, отдавай волы за двадцать!

— Тебе бы всё волы да волы. Вашему племени все бы корысть только. Поддеть да обмануть доброго человека.

— Тьфу, дьявол! да тебя не на шутку забрало. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту?

— Нет, это не по-моему: я держу свое слово; что раз сделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча Черевика нет совести, видно, и на полшеляга: сказал, да и назад… Ну, его и винить нечего, он пень, да и полно. Все это штуки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока! Эх, если бы я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам…

— А спустишь волов за двадцать, если мы заставим Черевика отдать нам Параску?

В недоумении посмотрел на него Грицько. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное:

человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле — виселица. Совершенно провалившийся между носом и острым подбородком рот, вечно осененный язвительною улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза и беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий и умыслов — все это как будто требовало особенного, такого же странного для себя костюма, какой именно был тогда на нем. Этот темно-коричневый кафтан, прикосновение к которому, казалось, превратило бы его в пыль; длинные, валившиеся по плечам охлопьями черные волосы; башмаки, надетые на босые загорелые ноги, — все это, казалось, приросло к нему и составляло его природу.

— Не за двадцать, а за пятнадцать отдам, если не солжешь только! — отвечал парубок, не сводя с него испытующих очей.

— За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывай: за пятнадцать! Вот тебе и синица в задаток!

— Ну, а если солжешь?

— Солгу — задаток твой!

— Ладно! Ну, давай же по рукам!

— Давай!

VI

От біда, Роман іде, от тепер як раз насадить мені бебехів, та й вам, пане Хомо, не без лиха буде[8].

Из малороссийской комедии

— Сюда, Афанасий Иванович! Вот тут плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь с кумом под возы, чтоб москали на случай не подцепили чего.

Так грозная сожительница Черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконец, с шумом обрушился в бурьян.

— Вот беда! Не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, боже оборони, шеи? — лепетала заботливая Хивря.

— Тс! ничего, ничего, любезнейшая Хавронья Никифоровна! — болезненно и шепотно произ-

[8] Примечания: 8

Вот беда: Роман идет, вот теперь он как раз поколотит меня, да и вам, пан Фома, не ждать добра *(укр.)*.

нес попович, подымаясь на ноги, — выключая только уязвления со стороны крапивы, сего змиеподобного злака, по выражению покойного отца протопопа.

— Пойдемте же теперь в хату; там никого нет. А я думала было уже, Афанасий Иванович, что к вам *болячка* или *соняшница* пристала: нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан-отцу перепало теперь немало всякой всячины!

— Сущая безделица, Хавронья Никифоровна; батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать ярового, проса мешка четыре, книшей с сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и пятидесяти штук, яйца же большею частию протухлые. Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна! — продолжал попович, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе.

— Вот вам и приношения, Афанасий Иванович! — проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою будто ненарочно расстегнувшуюся кофту, — варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, товченички!

— Бьюсь об заклад, если это сделано не хит-

рейшими руками из всего Евина рода! — сказал попович, принимаясь за товченички и подвигая другою рукою варенички. — Однако ж, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушанья послаще всех пампушечек и галушечек.

— Вот я уже и не знаю, какого вам еще кушанья хочется, Афанасий Иванович! — отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающею.

— Разумеется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна! — шепотом произнес попович, держа в одной руке вареник, а другою обнимая широкий стан ее.

— Бог знает что вы выдумываете, Афанасий Иванович! — сказала Хивря, стыдливо потупив глаза свои. — Чего доброго! вы, пожалуй, затеете еще целоваться!

— Насчет этого я вам скажу хоть бы и про себя, — продолжал попович, — в бытность мою, примерно сказать, еще в бурсе, вот как теперь помню…

Тут послышался на дворе лай и стук в ворота. Хивря поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая.

— Ну, Афанасий Иванович! мы попались с вами; народу стучится куча, и мне почудился кумов голос…

Вареник остановился в горле поповича… Глаза его выпялились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед сим визит свой.

— Полезайте сюда! — кричала испуганная Хивря, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухлядь.

Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски; а Хивря побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большею силою и нетерпением.

VII

Та тут чудасія, мосьпане![9]

Из малороссийской комедии

На ярмарке случилось странное происшествие: все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась *красная свитка.* Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся

---

[9] Примечания: 9
Да тут чудеса, милостивый государь! *(укр.)*

над возами, как будто искал чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора; и все считали преступлением не верить, несмотря на то что продавица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с яткою шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара. К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волостным писарем в развалившемся сарае, так что к ночи все теснее жались друг к другу; спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои; а те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись ночлегами в избах, убрались домой. К числу последних принадлежал и Черевик с кумом и дочкою, которые вместе с напросившимися к ним в хату гостьми произвели сильный стук, так перепугавший нашу Хиврю. Кума уже немного поразобрало. Это можно было видеть из того, что он два раза проехал с своим возом по двору, покамест нашел хату. Гости тоже были в веселом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего Черевика сидела как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты.

— Что, кума, — вскричал вошедший кум, — те-

бя все еще трясет лихорадка?

— Да, нездоровится, — отвечала Хивря, беспокойно поглядывая на накладенные под потолком доски.

— А ну, жена, достань-ка там в возу баклажку! — говорил кум приехавшей с ним жене, — мы черпнем ее с добрыми людьми; проклятые бабы понапугали нас так, что и сказать стыдно. Ведь мы, ей-богу, братцы, по пустякам приехали сюда! — продолжал он, прихлебывая из глиняной кружки. — Я тут же ставлю новую шапку, если бабам не вздумалось посмеяться над нами. Да хоть бы и в самом деле сатана: что сатана? Плюйте ему на голову! Хоть бы сию же минуту вздумалось ему стать вот здесь, например, передо мною: будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самый нос!

— Отчего же ты вдруг побледнел весь? — закричал один из гостей, превышавший всех головою и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом.

— Я?.. Господь с вами! приснилось?

Гости усмехнулись. Довольная улыбка показалась на лице речистого храбреца.

— Куда теперь ему бледнеть! — подхватил другой, — щеки у него расцвели, как мак; теперь он не Цыбуля, а буряк — или, лучше, сама *красная*

свитка, которая так напугала людей.

Баклажка прокатилася по столу и сделала гостей еще веселее прежнего. Тут Черевик наш, которого давно мучила *красная свитка* и не давала ни на минуту покою любопытному его духу, приступил к куму:

— Скажи, будь ласков, кум! вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую *свитку.*

— Э, кум! оно бы не годилось рассказывать на ночь; да разве уже для того, чтобы угодить тебе и добрым людям (при сем обратился он к гостям), которым, я примечаю, столько же, как и тебе, хочется узнать про эту диковину. Ну, быть так. Слушайте ж!

Тут он почесал плеча, утерся полою, положил обе руки на стол и начал:

— Раз, за какую вину, ей-богу, уже и не знаю, только выгнали одного черта из пекла.

— Как же, кум? — прервал Черевик, — как же могло это статься, чтобы черта выгнали из пекла?

— Что ж делать, кум? выгнали, да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты. Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело, ну и указали двери. Вот черту бедному так стало скучно, так скучно по пекле, что хоть

до петли. Что делать? Давай с горя пьянствовать. Угнездился в том самом сарае, который, ты видел, развалился под горою и мимо которого ни один добрый человек не пройдет теперь, не оградив наперед себя крестом святым, и стал черт такой гуляка, какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке!..

Тут опять строгий Черевик прервал нашего рассказчика:

— Бог знает, что говоришь ты, кум! Как можно, чтобы черта впустил кто-нибудь в шинок? Ведь у него же есть, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове.

— Вот то-то и штука, что на нем была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гулял — наконец пришлось до того, что пропил все, что имел с собою. Шинкарь долго верил, потом и перестал. Пришлось черту заложить красную свитку свою, чуть ли не в треть цены, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмарке; заложил и говорит ему: «Смотри, жид, я приду к тебе за свиткой ровно через год: береги ее!» — и пропал, как будто в воду. Жид рассмотрел хорошенько свитку: сукно такое, что и в Миргороде не достанешь! а красный цвет горит, как огонь, так что не нагляделся бы! Вот жиду показалось

скучно дожидаться срока. Почесал себе пейсики, да и содрал с какого-то приезжего пана мало не пять червонцев. О сроке жид и позабыл было совсем. Как вот раз, под вечерок, приходит какой-то человек: «Ну, жид, отдавай свитку мою!» Жид сначала было и не познал, а после, как разглядел, так и прикинулся, будто в глаза не видал. «Какую свитку? у меня нет никакой свитки! я знать не знаю твоей свитки!» Тот, глядь, и ушел; только к вечеру, когда жид, заперши свою конуру и пересчитавши по сундукам деньги, накинул на себя простыню и начал по-жидовски молиться богу, — слышит шорох… глядь — во всех окнах повыставлялись свиные рыла…

Тут в самом деле послышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюканье свиньи; все побледнели… Пот выступил на лице рассказчика.

— Что? — произнес в испуге Черевик.

— Ничего!.. — отвечал кум, трясясь всем телом.

— Ась! — отозвался один из гостей.

— Ты сказал?..

— Нет!

— Кто ж это хрюкнул?

— Бог знает, чего мы переполошились! Никого нет!

Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хивря была ни жива ни мертва.

— Эх вы, бабы! бабы! — произнесла она громко. — Вам ли козаковать и быть мужьями! Вам бы веретено в руки, да посадить за гребень! Один кто-нибудь, может, прости господи… Под кем-нибудь скамейка заскрипела, а все и метнулись как полоумные.

Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться; кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее:

— Жид обмер; однако ж свиньи, на ногах, длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили жида плетеными тройчатками, заставя его плясать повыше вот этого сволока. Жид — в ноги, признался во всем… Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупке; та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула: верно, виною всему красная свитка. Недаром, надевая ее, чувствовала, что ее все давит что-то. Не думая, не гадая долго, бросила в огонь — не горит бесовская одежда! «Э, да это

чертов подарок!» Перекупка умудрилась и подсунула в воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спрашивать не хочет. «Эх, недобрые руки подкинули свитку!» Схватил топор и изрубил ее в куски; глядь — и лезет один кусок к другому, и опять целая свитка. Перекрестившись, хватил топором в другой раз, куски разбросил по всему месту и уехал. Только с тех пор каждый год, и как раз во время ярмарки, черт с свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного только левого рукава недостает ему. Люди с тех пор открещиваются от того места, и вот уже будет лет с десяток, как не было на нем ярмарки. Да нелегкая дернула теперь заседателя от…

Другая половина слова замерла на устах рассказчика…

Окно брякнуло с шумом; стекла, звеня, вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые люди?»

VIII

…Піджав хвіст, мов собака,
Мов Каін, затрусивсь увесь;
Із носа потекла табака[10].

Котляревский, «Энеида»

Ужас оковал всех находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень; глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить; разверстые пальцы остались неподвижными на воздухе. Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головою об перекладину; доски посунулись, и попович с громом и треском полетел на землю. «Ай! ай! ай!» — отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе и болтая на ней руками и ногами. «Спасайте!» — горланил другой, закрывшись тулупом. Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги. Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул

[10] Примечания: 10

Поджав хвост, как собака, как Каин, затрясся весь, из носа потек табак (*укр.*).

себя заслонкою. А Черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативши на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и как полоумный бежал по улицам, не видя земли под собою; одна усталость только заставила его уменьшить немного скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа, пот лил градом. В изнеможении готов уже был он упасть на землю, как вдруг послышалось ему, что сзади кто-то гонится за ним… Дух у него занялся… «Черт! черт!» — кричал он без памяти, утрояя силы, и чрез минуту без чувств повалился на землю. «Черт! черт!» — кричало вслед за ним, и он слышал только, как что-то с шумом ринулось на него. Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги.

IX

Ще спереду і так, і так;
А ззаду, ей же ей, на черта![11]

йИз простонародной сказки

— Слышишь, Влас, — говорил, приподнявшись

---

[11] Примечания: 11
Спереди еще так-сяк, а сзади ей-же-ей, похож на черта! *(укр.)*

ночью, один из толпы спавшего на улице народа, — возле нас кто-то помянул черта!

— Мне какое дело? — проворчал, потягиваясь, лежавший возле него цыган, — хоть бы и всех своих родичей помянул.

— Но ведь так закричал, как будто давят его!

— Мало ли чего человек не соврет спросонья!

— Воля твоя, хоть посмотреть нужно; а выруби-ка огня!

Другой цыган, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза осветил себя искрами, будто молниями, раздул губами трут и, с каганцом в руках, обыкновенною малороссийскою светильнею, состоящею из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, отправился, освещая дорогу.

— Стой! здесь лежит что-то; свети сюда!

Тут пристало к ним еще несколько человек.

— Что лежит, Влас?

— Так, как будто бы два человека: один наверху, другой нанизу; который из них черт, уже и не распознаю!

— А кто наверху?

— Баба!

— Ну вот, это ж то и есть черт!

Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу.

— Баба взлезла на человека; ну, верно, баба эта

знает, как ездить! — говорил один из окружавшей толпы.

— Смотрите, братцы! — говорил другой, поднимая черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держалась на голове Черевика, — какую шапку надел на себя этот добрый молодец!

Увеличившийся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов, Солопия и его супругу, которые, полные прошедшего испуга, долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица цыган: озаряясь светом, неверно и трепетно горевшим, они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи.

X

Цур тобі, пек тобі, сатанинське навождéніе![12]

Из малороссийской комедии

Свежесть утра веяла над пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыму со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка за-

---

[12] Примечания: 12

Чур меня, чур, сгинь, дьявольское наваждение! *(укр.)*

шумела. Овцы заблеяли, лошади заржали; крик гусей и торговок понесся снова по всему табору — и страшные толки про *красную свитку*, наведшие такую робость на народ в таинственные часы сумерек, исчезли с появлением утра.

Зевая и потягиваясь, дремал Черевик у кума, под крытым соломою сараем, между волов, мешков муки и пшеницы, и, кажется, вовсе не имел желания расстаться с своими грезами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как убежище лени — благословенная печь его хаты или шинок дальней родственницы, находившийся не далее десяти шагов от его порога.

— Вставай, вставай! — дребезжала на ухо нежная супруга, дергая его изо всей силы за руку.

Черевик вместо ответа надул щеки и начал болтать руками, подражая барабанному бою.

— Сумасшедший! — закричала она, уклоняясь от взмаха руки его, которою он чуть было не задел ее по лицу.

Черевик поднялся, протер немного глаза и посмотрел вокруг.

— Враг меня возьми, если мне, голубко, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум…

— Полно, полно тебе чепуху молоть! Ступай веди скорей кобылу на продажу. Смех, право, людям: приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продали…

— Как же, жинка, — подхватил Солопий, — с нас ведь теперь смеяться будут.

— Ступай! ступай! с тебя и без того смеются!

— Ты видишь, что я еще не умывался, — продолжал Черевик, зевая и почесывая спину и стараясь, между прочим, выиграть время для своей лени.

— Вот некстати пришла блажь быть чистоплотным! Когда это за тобою водилось? Вот рушник, оботри свою маску…

Тут схватила она что-то свернутое в комок — и с ужасом отбросила от себя: это был *красный обшлаг свитки!*

— Ступай делай свое дело, — повторила она, собравшись с духом, своему супругу, видя, что у него страх отнял ноги и зубы колотились один об другой.

— Будет продажа теперь! — ворчал он сам себе, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. — Недаром, когда я сбирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову, и волы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, как вспомнил

я теперь, не в понедельник мы выехали. Ну, вот и зло все!.. Неугомонен и черт проклятый: носил бы уже свитку без одного рукава; так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Будь, примерно, я черт, — чего, оборони боже, — стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?

Тут философствование нашего Черевика прервано было толстым и резким голосом. Пред ним стоял высокий цыган.

— Что продаешь, добрый человек?

Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал с спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды:

— Сам видишь, что продаю!

— Ремешки? — спросил цыган, поглядывая на находившуюся в руках его узду.

— Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки.

— Однако ж, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломою кормил!

— Соломою?

Тут Черевик хотел было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя, но рука его с необыкновенною легкостью ударилась в подбородок. Глянул — в ней перерезанная узда и к узде

привязанный — о, ужас! волосы его поднялись горою! — кусок *красного рукава свитки!..* Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и, быстрее молодого парубка, пропал в толпе.

XI

За моє ж жито та мене й побито[13].

Пословица

— Лови! лови его! — кричало несколько хлопцев в тесном конце улицы, и Черевик почувствовал, что схвачен вдруг дюжими руками.

— Вязать его! это тот самый, который украл у доброго человека кобылу!

— Господь с вами! за что вы меня вяжете?

— Он же и спрашивает! А за что ты украл кобылу у приезжего мужика, Черевика?

— С ума спятили вы, хлопцы! Где видано, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь?

— Старые штуки! старые штуки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался?

---

[13] Примечания: 13
За мое же жито, да меня и побили *(укр.)*.

— Поневоле побежишь, когда сатанинская одежда…

— Э, голубчик! обманывай других этим; будет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщиною людей.

— Лови! лови его! — послышался крик на другом конце улицы. — Вот он, вот беглец!

И глазам нашего Черевика представился кум, в самом жалком положении, с заложенными назад руками, ведомый несколькими хлопцами.

— Чудеса завелись, — говорил один из них. — Послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора; когда стали спрашивать, отчего бежал он как полоумный, — полез, говорит, в карман понюхать табаку и вместо тавлинки вытащил кусок чертовой *свитки,* от которой вспыхнул красный огонь, а он давай бог ноги!

— Эге-ге-ге! да это из одного гнезда обе птицы! Вязать их обоих вместе!

XII

«Чим, люди добрі, так оце я повинився?

За що глузуєте? – сказав наш неборак. –

За що знущаєтесь ви надо мною так?

За що, за що?» – сказав, та й попустив патьоки,

Патьоки гірких сліз, узявшися за боки[14].

Артемовский-Гулак, «Пан та собака»

— Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь? спросил Черевик, лежа связанный, вместе с кумом, под соломенною яткой.

— И ты туда же, кум! Чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники с сметаною у матери, да и то еще когда мне было лет десять от роду.

— За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего; тебя винят, по крайней мере, за то, что у другого украл; но за что мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой: будто у самого себя стянул кобылу? Видно, нам, кум, на роду уже

---

[14] Примечания: 14

«Чем это я так, люди добрые, провинился? За что вы изводите меня? — сказал бедняга. — За что вы так издеваетесь надо мною? За что, за что?» — сказал он, схватившись за бока, и разразился потоком горьких слез *(укр.)*.

написано не иметь счастья!

— Горе нам, сиротам бедным!

Тут оба кума принялись всхлипывать навзрыд.

— Что с тобою, Солопий? — сказал вошедший в это время Грицько. — Кто это связал тебя?

— А! Голопупенко, Голопупенко! — закричал, обрадовавшись, Солопий. — Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе. Эх, хват! вот Бог убей меня на этом месте, если не высуслил при мне кухоль мало не с твою голову, и хоть бы раз поморщился.

— Что ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка?

— Вот, как видишь, — продолжал Черевик, оборотясь к Грицьку, — наказал бог, видно, за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек! Ей-богу, рад бы был сделать все для тебя… Но что прикажешь? В старухе дьявол сидит!

— Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя! — Тут он мигнул хлопцам, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать. — За то и ты делай, как нужно: свадьбу! — да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака.

– *Добре! от добре!* — сказал Солопий, хлопнув руками. — Да мне так теперь сделалось весело,

как будто мою старуху москали увезли. Да что думать: годится или не годится так — сегодня свадьбу, да и концы в воду!

— Смотри ж, Солопий, через час я буду к тебе; а теперь ступай домой: там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы!

— Как! разве кобыла нашлась?

— Нашлась!

Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему Грицьку.

— Что, Грицько, худо мы сделали свое дело? — сказал высокий цыган спешившему парубку. — Волы ведь мои теперь?

— Твои! твои!

XIII

Не бійся, матінко, не бійся,
В червоні чобітки обуйся.
Топчи ворогів
Під ноги;
Щоб твої підківки
Бряжчали!
Щоб твої вороги

Мовчали![15]

Свадебная песня

Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска, одна, сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови, а иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи. «Ну что, если не сбудется то, что говорил он? — шептала она с каким-то выражением сомнения. — Ну что, если меня не выдадут? если… Нет, нет; этого не будет! Мачеха делает все, что ей ни вздумается; разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямства-то и у меня достанет. Какой же он хороший! как чудно горят его черные очи! как любо говорит он: *Парасю, голубко!* как пристала к нему белая свитка! еще бы пояс поярче!.. пускай уже, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумаю без радости, — продолжала она, вынимая из пазухи маленькое зеркало, обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмарке, и

[15] Примечания: 15

Не бойся матушка, не бойся, в красные сапожки обуйся, топчи врагов под ноги, чтоб твои подковки бренчали, чтоб твои враги молчали *(укр.).*

глядясь в него с тайным удовольствием, — как я встречусь тогда где-нибудь с нею, — я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себе тресни. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу! Скорее песок взойдет на камне и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою! Да я и позабыла… дай примерить очинок, хоть мачехин, как-то он мне придется!» Тут встала она, держа в руках зеркальце, и, наклонясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собою вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых низринулся недавно попович, и полки, уставленные горшками. «Что я, в самом деле, будто дитя, — вскричала она, смеясь, — боюсь ступить ногою». И начала притопывать ногами, все, чем далее, смелее; наконец левая рука ее опустилась и уперлась в бок, и она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед собою зеркало и напевая любимую свою песню:

Зелененький барвіночку,
Стелися низенько!
А ти, милий, чорнобривий,
Присунься близенько!

Зелененький барвіночку,

Стелися ще нижче!
А ти, милий, чорнобривий,
Присунься ще ближче![16]

Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою танцующею перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего; но когда же услышал знакомые звуки песни — жилки в нем зашевелились; гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился вприсядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть.

— Вот хорошо, батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу! Ступайте же скорее: жених пришел!

При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову, а беспечный отец ее вспомнил, зачем пришел он.

— Ну, дочка! пойдем скорее! Хивря с радости, что я продал кобылу, побежала, — говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам, — побежала закупать себе плахт и дерюг всяких, так нужно до приходу ее все кончить!

---

[16] Примечания: 16

Зелененький барвинок, стелись низенько! А ты, милый, чернобровый, придвинься близехонько! Зелененький барвинок, стелись еще ниже. А ты, милый, чернобровый, придвинься еще ближе! *(укр.)*

Не успела Параска переступить за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучею народа выжидал ее на улице.

— Боже, благослови! — сказал Черевик, складывая им руки. — Пусть их живут, как венки вьют!

Тут послышался шум в народе:

— Я скорее тресну, чем допущу до этого! — кричала сожительница Солопия, которую, однако ж, с хохотом отталкивала толпа народа.

— Не бесись, не бесись, жинка! — говорил хладнокровно Черевик, видя, что пара дюжих цыган овладела ее руками, — что сделано, то сделано; я переменять не люблю!

— Нет! нет! этого-то не будет! — кричала Хивря, но никто не слушал ее; несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену.

Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта, в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось. Все танцева-

ло. Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету.

Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.

Вечер накануне Ивана Купала

Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви

За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность: он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда если упросишь его рассказать что сызнова, то, смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ — нам, простым людям, мудрено и назвать их — писаки они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю, — один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли, — привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так

как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку.

— Постойте! наперед скажите мне, что это вы читаете?

Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса.

— Как что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова.

— Кто вам сказал, что это мои слова?

— Да чего лучше, тут и напечатано: *рассказанная таким-то дьячком.*

— Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! *бреше, сучий москаль.* Так ли я говорил? *Що то еже, як у кого черт-ма клепки в голови!* Слушайте, я вам расскажу ее сейчас.

Мы придвинулись к столу, и он начал.

Дед мой (царство ему небесное! чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные да маковники в меду!) умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь — целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет *москаля везтъ*[17], да еще и языком таким, будто

---

[17] Примечания: 17
То есть лгать. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку да из хаты. Как теперь помню — покойная старуха, мать моя, была еще жива, — как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Веретено жужжало; а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более пяти лет с своей печки. Но ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы[18], Полтора Кожуха[19] и Сагайдачного[20] не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается бог

[18] Примечания: 18

Подкова — казацкий предводитель, в 1577 году завладел молдавским престолом; в 1578 году казнен Стефаном Баторием.

[19] Примечания: 19

Полтора Кожуха — украинский гетман в 1638–1642 годах.

[20] Примечания: 20

Сагайдачный — украинский гетман; в 1616–1621 годах возглавлял походы запорожских казаков против турок.

знает каким чудищем. Случится, ночью выйдешь за чем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постеле твоей уклался спать выходец с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой Часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы — есть уменье. Им все, что ни расскажешь, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету! Да чего, — вот не люби бог меня и Пречистая Дева! вы, может, даже не поверите: раз как-то заикнулся про ведьм — что ж? нашелся сорвиголова, ведьмам не верит! Да, слава богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым *провозить попа в решете*[21] было легче, нежели нашему брату понюхать табаку; а и те открещивались от ведьм.

---

[21] Примечания: 21
То есть солгать на исповеди. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

Но приснись им… не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них.

Лет — куды! — более чем за сто, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто: хутор, самый бедный хутор! Избенок десять, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там, посереди поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это ж еще богачи так жили; а посмотрели бы на нашу братью, на голь: вырытая в земле яма — вот вам и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность не бедность: потому что тогда козаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра; а больше оттого, что незачем было заводиться порядочною хатою. Какого народу тогда не шаталось по всем местам: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало.

В этом-то хуторе показывался часто человек, или, лучше, дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, глядь — снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет и которое было, может, не дальше ста шагов от

Диканьки. Понаберет встречных козаков: хохот, песни, деньги сыплются, водка — как вода… Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серег, монист — девать некуда! Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки: бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк, — так называли этого бесовского человека, — именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять, как же и не взять: всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги бог знает куда; а возьмешь — так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота, с рогами на голове, и давай душить за шею, когда на шее монисто, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда, с этими подарками! Но вот беда — и отвязаться нельзя: бросишь в воду — плывет чертовский перстень или монисто поверх воды, и к тебе же в руки.

В селе была церковь, чуть ли еще, как вспомню,

не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей, блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что Басаврюк и на Светлое Воскресение не бывал в церкви, задумал было пожурить его — наложить церковное покаяние. Куды! насилу ноги унес. «Слушай, *паноче!* — загремел он ему в ответ, — знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячею кутьею!» Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается с Басаврюком, станет считать за католика, врага Христовой церкви и всего человеческого рода.

В том селе был у одного козака, прозвищем Коржа, работник, которого люди звали Петром Безродным; может, оттого, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы; но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье, был в плену у турок, натерпелся мук бог знает каких и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым дивчатам и молодицам мало было

нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане злотых. И это бы еще не большая беда, а вот беда: у старого Коржа была дочка-красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала, — а женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею, — что полненькие щеки козачки были свежи и ярки, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись божьею росою, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком; что брови словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи; что ротик, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на

то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни; что волосы ее, черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен (тогда еще девушки наши не заплетали их в дрибушки, перевивая красивыми, ярких цветов синдячками), падали курчавыми кудрями на шитый золотом кунтуш. Эх, не доведи Господь возглашать мне больше на крылосе аллилуйя, если бы, вот тут же, не расцеловал ее, несмотря на то что седь пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого… сами знаете, что выходит. Бывало, ни свет ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала Пидорка с своим Петрусем. Но все бы Коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе, да раз — ну, это уже и видно, что никто другой, как лукавый дернул, — вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сенях, влепить поцелуй, как говорят, от всей души, в розовые губки козачки, и тот же самый лукавый, — чтоб ему, собачьему сыну, приснился крест святой! — настроил сдуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел Корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его со-

вершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью, за неимением фузеи[22] и пороха.

Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возьмись шестилетний брат Пидоркин, Ивась, прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя, тятя! не бей Петруся!» Что прикажешь делать? у отца сердце не каменное: повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты: «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате или хоть только под окнами, то слушай, Петро: ей-богу, пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоею макушей!» Сказавши это, дал он ему легонькою рукою стусана в затылок, так что Петрусь, невзвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались! Взяла кручина наших голубков; а тут и слух по селу, что к Коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, со шпорами, с карманами, бренчавшими, как звонок от

---

[22] Примечания: 22
Фузея — кремневое ружье.

мешочка, с которым пономарь наш, Тарас, отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: «Ивасю мой милый, Ивасю мой любый! беги к Петрусю, мое золотое дитя, как стрела из лука; расскажи ему все: любила б его карие очи, целовала бы его белое личико, да не велит судьба моя. Не один рушник вымочила горючими слезами. Тошно мне. Тяжело на сердце. И родной отец — враг мне: неволит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе: будут дьяки петь вместо кобз и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим: понесут меня. Темная, темная моя будет хата: из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше!»

Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи. «А я думал, несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золота и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе; ворон черный

прокрячет вместо попа надо мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча — моя крыша; орел выклюет мои карие очи; вымоют дожди козацкие косточки, и вихорь высушит их. Но что я? на кого? кому жаловаться? Так уже, видно, Бог велел, — пропадать так пропадать!» — да прямехонько и побрел в шинок.

Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене, и выпучила на него глаза, как будто спросонья, когда потребовал он кухоль сивухи мало не с полведра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинул от себя кухоль на землю. «Полно горевать тебе, козак!» — загремело что-то басом над ним. Оглянулся: Басаврюк! у! какая образина! Волосы — щетина, очи — как у вола! «Знаю, чего недостает тебе: вот чего!» Тут брякнул он с бесовскою усмешкою кожаным, висевшим у него возле пояса, кошельком. Вздрогнул Петро. «Ге-ге-ге! да как горит! — заревел он, пересыпая на руку червонцы. — Ге-ге-ге! да как звенит! А ведь и дела только одного потребую за целую гору таких цацек». — «Дьявол! — закричал Петро. — Давай его! на все готов!» Хлопнули по

рукам. «Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай! Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге».

Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дело что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, — и что далее, тем нетерпеливей. Экая долгота! видно, день божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне. И оно уже тускнет. В поле становится холодней. Примеркает, примеркает и — смерклось. Насилу! С сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро: никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и Басаврюк.

— Видишь ли ты, стоят перед тобою три пригорка? Много будет на них цветов разных; но

сохрани тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе позади ни чудилось.

Петро хотел было спросить… глядь — и нет уже его. Подошел к трем пригоркам; где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своею густотою. Но вот блеснула на небе зарница, и перед ним показалась целая гряда цветов, все чудных, все невиданных; тут же и простые листья папоротника. Поусомнился Петро и в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки.

— Что тут за невидальщина? десять раз на день, случается, видишь это зелье; какое ж тут диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться?

Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле, чудно! Движется и становится все больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя.

«Теперь пора!» — подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук также к цветку, а позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул

он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим Басаврюк, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; рот вполовину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелохнет. Ух, страшно!.. Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики; деревья загремели сыпучею бранью… Лицо Басаврюка вдруг ожило; очи сверкнули. «Насилу воротилась, яга! — проворчал он сквозь зубы. — Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица: делай все, что ни прикажет, не то пропал навеки!» Туг разделил он суковатою палкою куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в кошку, кинулась в глаза им. «Не бесись, не бесись, старая чертовка!» — проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь, вместо кошки старуха, с лицом, сморщившимся, как печеное яблоко, вся согну-

тая в дугу; нос с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи. «Славная красавица!» — подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изо рта; пена показалась на губах. «Бросай!» — сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил, и, что за чудо? — цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и, словно лодка, плавал по воздуху; наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. «Здесь!» — глухо прохрипела старуха; а Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: «Копай здесь, Петро. Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу не снилось». Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю, в другой, в третий, еще раз… что-то твердое!.. Заступ звенит и нейдет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, окованный железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже; а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипеньем. «Нет, не видать тебе золота,

покамест не достанешь крови человеческой!» — сказала ведьма и подвела к нему дитя лет шести, накрытое белою простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость, отрезать ни за что ни про что человеку голову, да еще и безвинному ребенку! В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручонки сложило бедное дитя накрест, и головку повесило… Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку…

— А что ты обещал за девушку?.. — грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою: синее пламя выхватилось из земли; середина ее вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита; и все, что ни было под землею, сделалось видимо как на ладони. Червонцы, дорогие камни, в сундуках, в котлах, грудами были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись… ум помутился… Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи… Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь… Все пошло кругом в голове его!

Собравши все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Деревья, все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало… Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачужку и, как сноп, повалился на землю. Мертвый сон охватил его.

Два дни и две ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на третий день, долго осматривал он углы своей хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит: два мешка с золотом. Тут только, будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу… Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять.

Увидел Корж мешки и — разнежился: «Сякой, такой Петрусь, немазаный! да я ли не любил его? да не был ли у меня он как сын родной?» — и понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли Ивася. Но Петро не мог даже вспомнить лица его: так обморочила проклятая бесовщина! Мешкать было

незачем. Поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу: напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки; посадили за стол молодых; разрезали коровай; брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы — и пошла потеха…

В старину свадьба водилась не в сравненье с нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет — люли только! Как дивчата, в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, на верх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в сафьянных сапогах на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и с шумом, что вихорь, скакали в горлице. Как молодицы, с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из сутозолотой парчи, с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок, с двумя выдавшимися, один наперед, другой назад, рожками самого мелкого черного смушка; в синих, из лучшего полутабенеку, с красными клапанами кунтушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гопака. Как парубки, в высоких козацких шапках, в тонких суконных свитках,

затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали турусы. Сам Корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною. С бандурою в руках, потягивая люльку и вместе припевая, с чаркою на голове, пустился старичина, при громком крике гуляк, вприсядку. Чего не выдумают навеселе! Начнут, бывало, наряжаться в хари — боже ты мой, на человека не похожи! Уж не чета нынешним переодеваньям, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? — только что корчат цыганок да москалей. Нет, вот, бывало, один оденется жидом, а другой чертом, начнут сперва целоваться, а после ухватятся за чубы… Бог с вами! смех нападет такой, что за живот хватаешься. Пооденутся в турецкие и татарские платья: все горит на них, как жар… А как начнут дуреть да строить штуки… ну, тогда хоть святых выноси. С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история: была она одета тогда в татарское широкое платье и с чаркою в руках угощала собрание. Вот одного дернул лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег… пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать с себя,

при всех, платье… Шум, хохот, ералаш поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панею. Всего вдоволь, все блестит… Однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. «От черта не будет добра, — поговаривали все в один голос. — Откуда, как не от искусителя люда православного, пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? Отчего вдруг, в самый тот день, когда разбогател он, Басаврюк пропал, как в воду?» Говорите же, что люди выдумывают! Ведь в самом деле, не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего, что с ним сделалось, бог знает. Сидит на одном месте, и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда Пидорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже; но ненароком посмотрит на мешки — «постой, постой, позабыл!» — кричит, и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном мосте, чудится ему, что вот-вот все сызнова приходит на ум… и опять все ушло. Кажется: сидит в шинке; несут ему водку; жжет его водка; про-

тивна ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его… но далее все как будто туманом покрывается перед ним. Пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место.

Чего ни делала Пидорка: и совещалась с знахарями, и переполох выливали, и соняшницу заваривали[23] — ничто не помогало. Так прошло и лето. Много козаков обкосилось и обжалось; много козаков, поразгульнее других, и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, но крапивянок уже и в помине не было. В степях закраснело. Скирды хлеба то сям, то там, словно козацкие шапки, пестрели по полю. Попадались по дороге и возы, наваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым

[23] Примечания: 23

Выливают переполох у нас в случае испуга, когда хотят узнать, отчего приключился он; бросают расплавленное олово или воск в воду, и чье примут они подобие, то самое перепугало больного; после чего и весь испуг проходит. Заваривают соняшницу от дурноты и боли в животе. Для этого зажигают кусок пеньки, бросают в кружку и опрокидывают ее вверх дном в миску, наполненную водою и поставленную на животе больного; потом, после зашептываний, дают ему выпить ложку этой самой воды. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам, с зажженною люлькою в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец снега стали таять, и *щука хвостом лед расколотила,* а Петро все тот же, и чем далее, тем еще суровее. Как будто прикованный, сидит посереди хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом. Одичал, оброс волосами, стал страшен; и все думает об одном, все силится припомнить что-то; и сердится и злится, что не может вспомнить. Часто дико подымается с своего места, поводит руками, вперяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его; губы шевелятся, будто хотят произнесть какое-то давно забытое слово, — и неподвижно останавливаются… Бешенство овладевает им; как полоумный, грызет и кусает себе руки и в досаде рвет клоками волоса, покамест, утихнув, не упадет, будто в забытьи, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука… Что это за напасть божия? Жизнь не в жизнь стала Пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка с своим горем. Но прежней

Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки: изныла, исчахла, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, сжалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в Медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство; слово за слово, уговорила старуху идти с собою. Это было ввечеру, как раз накануне Купала. Петро в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гостьи. Как вот мало-помалу стал приподниматься и всматриваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе; волосы поднялись горою… и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце Пидорки. «Вспомнил, вспомнил!» — закричал он в страшном веселье и, размахнувши топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лет семи, в белой рубашке, с накрытою головою, стало посреди хаты… Простыня слетела. «Ивась!» — закричала Пидорка и бросилась к нему; но привидение все с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом… В испуге выбежала она в сени; но, опомнившись не много, хотела было помочь ему; напрасно! дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть.

Сбежались люди; принялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам: одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевельнуть усом, стояли козаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво.

Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет идти на богомолье; собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; но приехавший из Киева козак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки по всем приметам узнали Пидорку; что будто еще никто не слыхал от нее ни одного слова; что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божьей Матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все зажмуривались, на него глядя.

Позвольте, этим еще не все кончилось. В тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк; только все

бегом от него. Узнали, что это за птица: никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады; а как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село; но и там, однако ж, не было покою от проклятого Басаврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок по Опошнянской дороге, и всеми силами старался выместить все на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был, грех сказать чтобы малый, жареный баран. Калякали о сем и о том, было и про диковинки разные, и про чуда. Вот и померещилось, — еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем, — что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка; тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки… Честные старшины за шапки да скорей восвояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать

глаз на глаз с дедовскою чаркою, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. Черт с тобою! давай креститься!.. А тут с половиною его тоже диво: только что начала она замешивать тесто в огромной диже, вдруг дижа выпрыгнула. «Стой, стой!» — куды! подбоченившись важно, пустилась вприсядку по всей хате… Смейтесь; однако ж не до смеха было нашим дедам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святою водою и гонял черта кропилом по всем улицам, а все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене.

Да чего! Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно; а ведь еще не так давно, еще покойный отец мой и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валил дым и, поднявшись высоко, так, что посмотреть — шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи, и черт, — нечего бы и вспоминать его, собачьего сына, — так всхлипывал жалобно

в своей конуре, что испуганные гайвороны[24] стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу.

Майская ночь, или Утопленница

Ворог його батька знае! почнуть що-небудь робить люди хрещені, то мурдуютця, мурдуютця, мов хорти за зайцем, а все щось не до шмигу; тільки ж куди чорт уплетецця, то верть хвостиком – так де воно й вїзмецця, неначе з неба[25].

I. Ганна

Звонкая песня лилась рекою по улицам села ***. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок, в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные

---

[24] Примечания: 24
Гайвороны — грачи.

[25] Примечания: 25
Черт его знает! Начнут что-нибудь крещеные люди делать, мучатся, терзаются, словно гончие за зайцем, а все нет толку; уж куда черт вмешается, верть хвостиком — так и не знаешь, откуда оно и возьмется, как будто с неба *(укр.)*.

с унынъем. И задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо, превращая все в неопределенность и даль. Уже и сумерки; а песни все не утихали. С бандурою в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой козак Левко, сын сельского головы. На козаке решетиловская шапка. Козак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подплясывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел:

Сонце низенько, вечір близенько,
Вийди до мене, мое серденько!

— Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица! — сказал козак, окончивши песню и приближаясь к окну. — Галю! Галю! ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел, или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод! Не бойся: никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя — и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, наде-

ну шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою… Нет, ты не спишь, гордая дивчина! — проговорил он громче и таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения. — Тебе любо издеваться надо мною, прощай!

Тут он отворотился, насунул набекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери в это время завертелась: дверь распахнулась со скрыпом, и девушка на поре семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи; блистало красное коралловое монисто, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее.

— Какой же ты нетерпеливый, — говорила она ему вполголоса. — Уже и рассердился! Зачем выбрал ты такое время: толпа народу шатается то и дело по улицам… Я вся дрожу…

— О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мне покрепче! — говорил парубок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую на

длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты. — Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько.

— Знаешь ли, что я думаю? — прервала девушка, задумчиво уставив в него свои очи. — Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди: девушки все глядят так завистливо, а парубки… Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было.

Какое-то движение тоски выразилось на лице ее при последних словах.

— Два месяца только в стороне родной, и уже соскучилась! Может, и я надоел тебе?

— О, ты мне не надоел, — молвила она, усмехнувшись. — Я тебя люблю, чернобровый козак! За то люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими — у меня как будто на душе усмехается: и весело и хорошо ей; что приветливо моргаешь ты черным усом своим; что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и любо слушать тебя.

— О моя Галя! — вскрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей.

— Постой! полно, Левко. Скажи наперед, гово-

рил ли ты с отцом своим?

— Что? — сказал он, будто проснувшись. — Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж — говорил.

Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово «говорил».

— Что же?

— Что станешь делать с ним? Притворился старый хрен, по своему обыкновению, глухим: ничего не слышит и еще бранит, что шатаюсь бог знает где, повесничаю и шалю с хлопцами по улицам. Но не тужи, моя Галю! Вот тебе слово козацкое, что уломаю его.

— Да тебе только стоит, Левко, слово сказать — и все будет по-твоему. Я знаю это по себе: иной раз не послушала бы тебя, а скажешь слово — и невольно делаю, что тебе хочется. Посмотри, посмотри! — продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен. — Посмотри, вон-вон далеко мелькнули звездочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая… Не правда ли, ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас? Да, Левко? Ведь это они

глядят на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, как у птиц, — туда бы полететь, высоко, высоко… Ух, страшно! Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нем на землю ночью перед Светлым праздником.

— Нет, Галю; у Бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее становят перед Светлым Воскресением святые архангелы; и как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло, и оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле.

— Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке! — продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далекое, темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями

старый деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая своею тенью, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду. — Я помню будто сквозь сон, — сказала Ганна, не спуская глаз с него, — давно, давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левко, ты, верно, знаешь, расскажи!..

— Бог с ним, моя красавица! Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться, и не заснется тебе покойно.

— Расскажи, расскажи, милый, чернобровый парубок! — говорила она, прижимаясь лицом своим к щеке его и обнимая его. — Нет! ты, видно, не любишь меня, у тебя есть другая девушка. Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать… Расскажи, Левко!..

— Видно, правду говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Ну слушай. Давно, мое серденько, жил в этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная панночка, белая, как снег, как твое личико. Сотникова жена

давно уже умерла; задумал сотник жениться на другой. «Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену?» — «Буду, моя дочка; еще крепче прежнего стану прижимать тебя к сердцу! Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!» Привез сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бела собою была молодая жена; только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидевши; и хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь: ушел сотник с молодою женой в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей; стала плакать. Глядит: страшная черная кошка крадется к ней; шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку, — кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку, — кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула ее на пол; опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу — лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена; на третий день

вышла с перевязанною рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке, да нечего делать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дому и куска хлеба не дал на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками белое лицо свое: «Погубил ты, батьку, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу твою! Прости тебя Бог; а мне, несчастной, видно, не велит он жить на белом свете!..» И вон, видишь ли ты... — Тут оборотился Левко к Ганне, указывая пальцем на дом. — Гляди сюда: вон, подалее от дома, самый высокий берег! С этого берега кинулась панночка в воду, и с той поры не стало ее на свете...

— А ведьма? — боязливо прервала Ганна, устремив на него прослезившиеся очи.

— Ведьма? Старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад греться на месяце; и сотникова дочка сделалась над ними главною. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и

тут нашлась: оборотилась под водою в одну из утопленниц и через то ушла от плети из зеленого тростника, которою хотели ее бить утопленницы. Верь бабам! Рассказывают еще, что панночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает поодиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма; но до сих пор не узнала. И если попадется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать, не то грозит утопить в воде. Вот, моя Галю, как рассказывают старые люди!.. Теперешний пан хочет строить на том месте винницу и прислал нарочно для того сюда винокура… Но я слышу говор. Это наши возвращаются с песен. Прощай, Галю! Спи спокойно; да не думай об этих бабьих выдумках!

Сказавши это, он обнял ее крепче, поцеловал и ушел.

— Прощай, Левко! — говорила Ганна, задумчиво вперив очи на темный лес.

Огромный огненный месяц величественно стал в это время вырезываться из земли. Еще половина его была под землею, а уже весь мир исполнился какого-то торжественного света. Пруд тронулся искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться на темной зелени.

— Прощай, Ганна! — раздались позади ее слова,

сопровождаемые поцелуем.

— Ты воротился! — сказала она, оглянувшись; но, увидев перед собою незнакомого парубка, отвернулась в сторону.

— Прощай, Ганна, — раздалось снова, и снова поцеловал ее кто-то в щеку.

— Вот принесла нелегкая и другого! — проговорила она с сердцем.

— Прощай, милая Ганна!

— Еще и третий!

— Прощай! прощай! прощай, Ганна! — И поцелуи засыпали ее со всех сторон.

— Да тут их целая ватага! — кричала Ганна, вырываясь из толпы парубков, наперерыв спешивших обнимать ее. — Как им не надоест беспрестанно целоваться! Скоро, ей-богу, нельзя будет показаться на улице!

Вслед за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов.

II. Голова

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод

раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник — ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посереди неба… Как очарованное, дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат; еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие

окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин.

— Да, гопак не так танцуется! То-то я гляжу, не клеится все. Что ж это рассказывает кум?.. А ну: гоп трала! гоп трала! гоп, гоп, гоп! — Так разговаривал сам с собою подгулявший мужик средних лет, танцуя по улице. — Ей-богу, не так танцуется гопак! Что мне лгать! ей-богу, не так! А ну: гоп трала! гоп трала! гоп, гоп, гоп!

— Вот одурел человек! добро бы еще хлопец какой, а то старый кабан, детям на смех, танцует ночью по улице! — вскричала проходящая пожилая женщина, неся в руке солому. — Ступай в хату свою. Пора спать давно!

— Я пойду! — сказал, остановившись, мужик. — Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает, *дидько б утысся его батькови!*[26], что он голова, что он обливает людей на морозе холодною водою, так и нос поднял! Ну, голова, голова. Я сам себе голова. Вот убей меня бог! Бог меня убей, я сам себе голова. Вот что, а не то что… — продолжал он, подходя к первой попавшейся хате, и остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти

---

[26] Примечания: 26
Черт бы явился его отцу! *(укр.)*

деревянную ручку. — Баба, отворяй! Баба, живей, говорят тебе, отворяй! Козаку спать пора!

— Куда ты, Каленик? Ты в чужую хату попал! — закричали, смеясь, позади его девушки, ворочавшиеся с веселых песней. — Показать тебе твою хату?

— Покажите, любезные молодушки!

— Молодушки? слышите ли, — подхватила одна, — какой учтивый Каленик! За это ему нужно показать хату… но нет, наперед потанцуй!

— Потанцевать?.. эх вы, замысловатые девушки! — протяжно произнес Каленик, смеясь и грозя пальцем и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одном месте. — А дадите перецеловать себя? Всех перецелую, всех!.. — И косвенными шагами пустился бежать за ними.

Девушки подняли крик, перемешались; но после, ободрившись, перебежали на другую сторону, увидя, что Каленик не слишком был скор на ноги.

— Вон твоя хата! — закричали они ему, уходя и показывая на избу, гораздо поболее прочих, принадлежавшую сельскому голове. Каленик послушно побрел в ту сторону, принимаясь снова бранить голову.

Но кто же этот голова, возбудивший такие

невыгодные о себе толки и речи? О, этот голова важное лицо на селе. Покамест Каленик достигнет конца пути своего, мы, без сомнения, успеем кое-что сказать о нем. Все село, завидевши его, берется за шапки; а девушки, самые молоденькие, отдают *добридень*[27]. Кто бы из парубков не захотел быть головою! Голове открыт свободный вход во все тавлинки[28]; и дюжий мужик почтительно стоит, снявши шапку, во все продолжение, когда голова запускает свои толстые и грубые пальцы в его лубочную табакерку. В мирской сходке, или громаде, несмотря на то что власть его ограничена несколькими голосами, голова всегда берет верх и почти по своей воле высылает, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу или копать рвы. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые; целые два дни находился он в этой должности и даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той самой поры еще голова выучился раздумно и важно потуплять

[27] Примечания: 27
Желают доброго дня.

[28] Примечания: 28
Тавлинка — табакерка.

голову, гладить длинные, закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный взгляд исподлобья. И с той поры голова, об чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова любит иногда прикинуться глухим, особливо если услышит то, чего не хотелось бы ему слышать. Голова терпеть не может щегольства: носит всегда свитку черного домашнего сукна, перепоясывается шерстяным цветным поясом, и никто никогда не видал его в другом костюме, выключая разве только времени проезда царицы в Крым, когда на нем был синий козацкий жупан. Но это время вряд ли кто мог запомнить из целого села; а жупан держит он в сундуке под замком. Голова вдов; но у него живет в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать, моет лавки, белит хату, прядет ему на рубашки и заведывает всем домом. На селе поговаривают, будто она совсем ему не родственница; но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочем, может быть, к этому подало повод и то, что свояченице всегда не нравилось, если голова заходил в поле, усеянное жницами, или к козаку, у которого была молодая дочка. Голова крив; но зато оди-

нокий глаз его злодей и далеко может увидеть хорошенькую поселянку. Не прежде, однако ж, он наведет его на смазливое личико, пока не обсмотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченица. Но мы почти все уже рассказали, что нужно, о голове; а пьяный Каленик не добрался еще и до половины дороги и долго еще угощал голову всеми отборными словами, какие могли только вспасть на лениво и несвязно поворачивавшийся язык его.

III. Неожиданный соперник. Заговор

— Нет, хлопцы, нет, не хочу! Что за разгулье такое! Как вам не надоест повесничать? И без того уже прослыли мы бог знает какими буянами. Ложитесь лучше спать! — Так говорил Левко разгульным товарищам своим, подговаривавшим его на новые проказы. — Прощайте, братцы! покойная вам ночь! — и быстрыми шагами шел от них по улице.

«Спит ли моя ясноокая Ганна?» — думал он, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Левко остановился. Между деревьями забелела рубашка… «Что это значит?» — подумал он и,

подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки… Это Ганна! Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною? Напрасно обсматривал он: тень покрывала его с ног до головы. Спереди только он был освещен немного; но малейший шаг вперед Левка уже подвергал его неприятности быть открытым. Тихо прислонившись к дереву, решился он остаться на месте. Девушка ясно выговорила его имя.

— Левко? Левко еще молокосос! — говорил хрипло и вполголоса высокий человек. — Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб…

— Хотелось бы мне знать, какая это шельма похваляется выдрать меня за чуб! — тихо проговорил Левко и протянул шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомец продолжал так тихо, что нельзя было ничего расслушать.

— Как тебе не стыдно! — сказала Ганна по окончании его речи. — Ты лжешь; ты обманываешь меня; ты меня не любишь; я никогда не поверю, чтобы ты меня любил!

— Знаю, — продолжал высокий человек, — Левко много наговорил тебе пустяков и вскружил

твою голову (тут показалось парубку, что голос незнакомца не совсем незнаком и как будто он когда-то его слышал). Но я дам себя знать Левку! — продолжал все так же незнакомец. — Он думает, что я не вижу всех его шашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки.

При сем слове Левко не мог уже более удержать своего гнева. Подошедши на три шага к нему, замахнулся он со всей силы, чтобы дать треуха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте; но в это время свет пал на лицо его, и Левко остолбенел, увидевши, что перед ним стоял отец его. Невольное покачивание головою и легкий сквозь зубы свист одни только выразили его изумление. В стороне послышался шорох; Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собою дверь.

— Прощай, Ганна! — закричал в это время один из парубков, подкравшись и обнявши голову; и с ужасом отскочил назад, встретивши жесткие усы.

— Прощай, красавица! — вскричал другой; но на сей раз полетел стремглав от тяжелого толчка головы.

— Прощай, прощай, Ганна! — закричало несколько парубков, повиснув ему на шею.

— Провалитесь, проклятые сорванцы! — кричал голова, отбиваясь и притопывая на них ногами. — Что я вам за Ганна! Убирайтесь вслед за отцами на виселицу, чертовы дети! Поприставали, как мухи к меду! Дам я вам Ганны!..

— Голова! Голова! это голова! — закричали хлопцы и разбежались во все стороны.

— Ай да батько! — говорил Левко, очнувшись от своего изумления и глядя вслед уходившему с ругательствами голове. — Вот какие за тобою водятся проказы! славно! А я дивлюсь да передумываю, что б это значило, что он все притворяется глухим, когда станешь говорить о деле. Постой же, старый хрен, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек, будешь знать, как отбивать чужих невест! Гей, хлопцы! сюда! сюда! — кричал он, махая рукою к парубкам, которые снова собирались в кучу. — Ступайте сюда! Я увещевал вас идти спать, но теперь раздумал и готов хоть целую ночь сам гулять с вами.

— Вот это дело! — сказал плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе. — Мне все кажется тошно, когда не удается погулять порядком и настроить штук. Все как будто недостает чего-то. Как будто

потерял шапку или люльку; словом, не козак, да и только.

— Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?

— Голову?

— Да, голову. Что он, в самом деле, задумал! Он управляется у нас, как будто гетьман какой. Мало того что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает к дивчатам нашим. Ведь, я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которою бы не волочился голова.

— Это так, это так, — закричали в один голос все хлопцы.

— Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные козаки! Покажем ему, хлопцы, что мы вольные козаки!

— Покажем! — закричали парубки. — Да если голову, то и писаря не минуть!

— Не минем и писаря! А у меня, как нарочно, сложилась в уме славная песня про голову. Пойдемте, я вас ее выучу, — продолжал Левко, ударив рукою по струнам бандуры. — Да слушайте: попереодевайтесь, кто во что ни попало!

— Гуляй, козацкая голова! — говорил дюжий повеса, ударив ногою в ногу и хлопнув рука-

ми. — Что за роскошь! Что за воля! Как начнешь беситься — чудится, будто поминаешь давние годы. Любо, вольно на сердце; а душа как будто в раю. Гей, хлопцы! Гей, гуляй!..

И толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: «Ну, теперь гуляют парубки!»

IV. Парубки гуляют

Одна только хата светилась еще в конце улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул; но у него был в это время гость, винокур, присланный строить винокурню помещиком, имевшим небольшой участок земли между вольными козаками. Под самым покутом[29], на почетном месте, сидел гость — низенький, толстенький человечек с маленькими, вечно смеющимися глазками, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцем вылезавший из нее превращенный в золу табак.

---

[29] Примечания: 29

Покут — почетный угол в хате.

Облака дыма быстро разрастались над ним, одевая его в сизый туман. Казалось, будто широкая труба с какой-нибудь винокурни, наскуча сидеть на своей крыше, задумала прогуляться и чинно уселась за столом в хате головы. Под носом торчали у него коротенькие и густые усы; но они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокур поймал и держал во рту своем, подрывая монополию амбарного кота. Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах. Орлиный глаз его, как вечереющее солнце, начинал мало-помалу жмуриться и меркнуть. На конце стола курил люльку один из сельских десятских, составлявших команду головы, сидевший из почтения к хозяину в свитке.

— Скоро же вы думаете, — сказал голова, оборотившись к винокуру и кладя крест на зевнувший рот свой, — поставить вашу винокурню?

— Когда бог поможет, то сею осенью, может, и закурим. На Покров, бьюсь об заклад, что пан голова будет писать ногами немецкие крендели по дороге.

По произнесении сих слов глазки винокура пропали; вместо их протянулись лучи до самых ушей; все туловище стало колебаться от смеха, и

веселые губы оставили на мгновение дымившуюся люльку.

— Дай бог, — сказал голова, выразив на лице своем что-то подобное улыбке. — Теперь еще, слава богу, винниц развелось немного. А вот в старое время, когда провожал я царицу по Переяславской дороге, еще покойный Безбородько…[30]

— Ну, сват, вспомнил время! Тогда от Кременчуга до самых Ромен не насчитывали и двух винниц. А теперь… Слышал ли ты, что повыдумали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а каким-то чертовским паром. — Говоря эти слова, винокур в размышлении глядел на стол и на расставленные на нем руки свои. — Как это паром — ей-богу, не знаю!

— Что за дурни, прости господи, эти немцы! — сказал голова. — Я бы батогом их, собачьих детей! Слыханное ли дело, чтобы паром можно было кипятить что! Поэтому ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губ, вместо молодого поросенка…

— И ты, сват, — отозвалась сидевшая на лежанке, поджавши под себя ноги, свояченица, — бу-

[30] Примечания: 30

Безбородко — секретарь Екатерины II, в качестве министра иностранных дел сопровождал ее во время поездки в Крым.

дешь все это время жить у нас без жены?

— А для чего она мне? Другое дело, если бы что доброе было.

— Будто не хороша? — спросил голова, устремив на него глаз свой.

— Куды тебе хороша! *Стара як бис.* Харя вся в морщинах, будто выпорожненный кошелек. — И низенькое строение винокура расшаталось снова от громкого смеха.

В это время что-то стало шарить за дверью; дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал, как будто в раздумье, посреди хаты, разинувши рот и оглядывая потолок. Это был знакомец наш, Каленик.

— Вот я и домой пришел! — говорил он, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого внимания на присутствующих. — Вишь, как растянул вражий сын, сатана, дорогу! Идешь, идешь, и конца нет! Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-ка там, баба, тулуп, подостлать мне. На печь к тебе не приду, ей-богу, не приду: ноги болят! Достань его, там он лежит, близ покута; гляди только, не опрокинь горшка с тертым табаком. Или нет, не тронь, не тронь! Ты, может быть, пьяна сегодня… Пусть, уже я сам достану.

Каленик приподнялся немного, но неодолимая

сила приковала его к скамейке.

— За это люблю, — сказал голова, — пришел в чужую хату и распоряжается, как дома! Выпроводить его подобру-поздорову!..

— Оставь, сват, отдохнуть! — сказал винокур, удерживая его за руку. — Это полезный человек; побольше такого народу — и винница наша славно бы пошла…

Однако ж не добродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам, и тотчас прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать беду.

— Что-то как старость придет!.. — ворчал Каленик, ложась на лавку. — Добро бы, еще сказать, пьян; так нет же, не пьян. Ей-богу, не пьян! Что мне лгать! Я готов объявить это хоть самому голове. Что мне голова? Чтоб он издохнул, собачий сын! Я плюю на него! Чтоб его, одноглазого черта, возом переехало! Что он обливает людей на морозе…

— Эге! влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол, — сказал голова, гневно подымаясь с своего места; но в это время увесистый камень, разбивши окно вдребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. — Если бы я знал, — говорил он, подымая камень, — какой это висельник

швырнул, я бы выучил его, как кидаться! Экие проказы! — продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом. — Чтобы он подавился этим камнем…

— Стой, стой! Боже тебя сохрани, сват! — подхватил, побледневши, винокур. — Боже сохрани тебя, и на том и на этом свете, поблагословить кого-нибудь такою побранкою!

— Вот нашелся заступник! Пусть он пропадет!..

— И не думай, сват! Ты не знаешь, верно, что случилось с покойною тещею моей?

— С тещей?

— Да, с тещей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерять: покойная теща, покойный тесть, да наймыт, да наймычка, да детей штук с пятеро. Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг откуда ни возьмись человек, — какого он роду, бог его знает, — просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека! Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сено. Покамест те съели по одной и опустили спички за другими, дно было

гладко, как панский помост. Теща насыпала еще; думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало. Еще лучше стал уплетать! и другую выпорожнил! «А чтоб ты подавился этими галушками!» — подумала голодная теща; как вдруг тот поперхнулся и упал. Кинулись к нему — и дух вон. Удавился.

— Так ему, обжоре проклятому, и нужно! — сказал голова.

— Так бы, да не так вышло: с того времени покою не было теще. Чуть только ночь, мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу, проклятый, и галушку держит в зубах. Днем все покойно, и слуху нет про него; а только станет примеркать — погляди на крышу, уже и оседлал, собачий сын, трубу.

— И галушка в зубах?

— И галушка в зубах.

— Чудно, сват! Я слыхал что-то похожее еще за покойницу царицу…

Тут голова остановился. Под окном послышался шум и топанье танцующих. Сперва тихо звукнули струны бандуры, к ним присоединился голос. Струны загремели сильнее; несколько голосов стали подтягивать, и песня зашумела вихрем:

Хлопцы, слышали ли вы?

Наши ль головы не крепки!
У кривого головы
В голове расселись клепки.
Набей, бондарь, голову
Ты стальными обручами!
Вспрысни, бондарь, голову
Батогами, батогами!

Голова наш сед и крив;
Стар, как бес, а что за дурень!
Прихотлив и похотлив:
Жмется к девкам… Дурень, дурень!
И тебе лезть к парубкам!
Тебя б нужно в домовину,
По усам до по шеям!
За чуприну! за чуприну!

— Славная песня, сват! — сказал винокур, наклоня немного набок голову и оборотившись к голове, остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости. — Славная! Скверно только, что голову поминают не совсем благопристойными словами… — И опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляясь слушать еще, потому что под окном

гремел хохот и крики: «Снова! снова!» Однако ж проницательный глаз увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте. Так только старый, опытный кот допускает иногда неопытной мыши бегать около своего хвоста; а между тем быстро созидает план, как перерезать ей путь в свою нору. Еще одинокий глаз головы был устремлен на окно, а уже рука, давши знак десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдруг на улице поднялся крик… Винокур, к числу многих достоинств своих присоединявший и любопытство, быстро набивши табаком свою люльку, выбежал на улицу; но шалуны уже разбежались.

«Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, таща за руку человека в вывороченном шерстью вверх овчинном черном тулупе. Винокур, пользуясь временем, подбежал, чтобы посмотреть в лицо этому нарушителю спокойствия, но с робостию попятился назад, увидевши длинную бороду и страшно размалеванную рожу. «Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, продолжая тащить своего пленника прямо в сени, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату.

— Карпо, отворяй комору! — сказал голова десятскому. — Мы его в темную комору! А там разбудим писаря, соберем десятских, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию всем им учиним.

Десятский забренчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотою сеней, вдруг вырвался с необыкновенною силою из рук его.

— Куда? — закричал голова, ухватив его еще крепче за ворот.

— Пусти, это я! — слышался тоненький голос.

— Не поможет! не поможет, брат! Визжи себе хоть чертом, не только бабою, меня не проведешь! — и толкнул его в темную комору так, что бедный пленник застонал, упавши на пол, а сам в сопровождении десятского отправился в хату писаря, и вслед за ними, как пароход, задымился винокур.

В размышлении шли они все трое, потупив головы, и вдруг, на повороте в темный переулок, разом вскрикнули от сильного удара по лбам, и такой же крик отгрянул в ответ им. Голова, прищуривши глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими.

— А я к тебе иду, пан писарь.

— А я к твоей милости, пан голова.

— Чудеса завелися, пан писарь.

— Чудные дела, пан голова.

— А что?

— Хлопцы бесятся! бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами… словом, сказать стыдно; пьяный москаль побоится вымолвить их нечестивым своим языком. (Все это худощавый писарь, в пестрядевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей, сопровождал протягиванием шеи вперед и приведением ее тот же час в прежнее состояние.) Вздремнул было немного, подняли с постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком! Хотел было хорошенько приструнить их, да, покамест надел шаровары и жилет, все разбежались куда ни попало. Самый главный, однако ж, не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажею, как у черта, что кует гвозди для грешников.

— А как он одет, пан писарь?

— В черном вывороченном тулупе, собачий сын, пан голова.

— А не лжешь ли ты, пан писарь? Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе?

— Нет, пан голова. Ты сам, не во гнев будь сказано, погрешил немного.

— Давайте огня! мы посмотрим его!

Огонь принесли, дверь отперли, и голова ахнул от удивления, увидев перед собою свояченицу.

— Скажи, пожалуйста, — с такими словами она приступила к нему, — ты не свихнул еще с последнего ума? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капля мозгу, когда толкнул ты меня в темную комору? счастье, что не ударилась головою об железный крюк. Разве я не кричала тебе, что это я? Схватил, проклятый медведь, своими железными лапами, да и толкает! Чтоб тебя на том свете толкали черти!..

Последние слова вынесла она за дверь на улицу, куда отправилась для каких-нибудь своих причин.

— Да, я вижу, что это ты! — сказал голова, очнувшись. — Что скажешь, пан писарь, не шельма этот проклятый сорвиголова?

— Шельма, пан голова.

— Не пора ли нам всех этих повес прошколить хорошенько и заставить их заниматься делом?

— Давно пора, давно пора, пан голова.

— Они, дурни, забрали себе… Кой черт? мне почудился крик свояченицы на улице; они, дур-

ни, забрали себе в голову, что я им ровня. Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой козак! — Небольшой последовавший за сим кашель и устремление глаза исподлобья вокруг давало догадываться, что голова готовится говорить о чем-то важном. — В тысячу… этих проклятых названий годов, хоть убей, не выговорю; ну, году, комиссару[31] тогдашнему *Ледачему* дан был приказ выбрать из козаков такого, который бы был посмышленее всех. О! — это «о!» голова произнес, поднявши палец вверх, — посмышленее всех! в проводники к царице. Я тогда…

— Что и говорить! Это всякий уже знает, пан голова. Все знают, как ты выслужил царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла: хватил немного на душу греха, сказавши, что поймал этого сорванца в вывороченном тулупе?

— А что до этого дьявола в вывороченном тулупе, то его, в пример другим, заковать в кандалы и наказать примерно. Пусть знают, что значит власть! От кого же и голова поставлен, как не от царя? Потом доберемся и до других хлопцев: я не забыл, как проклятые сорванцы вогнали в огород стадо свиней, переевших мою капусту и

[31] Примечания: 31

Земские комиссары тогда ведали сбором податей, поставкой рекрутов, путями сообщения, полицией.

огурцы; я не забыл, как чертовы дети отказались вымолотить мое жито; я не забыл… Но провались они, мне нужно непременно узнать, какая это шельма в вывороченном тулупе.

— Это проворная, видно, птица! — сказал винокур, которого щеки в продолжение всего этого разговора беспрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан. — Эдакого человека не худо, на всякий случай, и при Виннице держать; а еще лучше повесить на верхушке дуба вместо паникадила.

Такая острота показалась не совсем глупою винокуру, и он тот же час решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом.

В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате; любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремел им около замка; но этот ключ был от сундука его. Нетерпение увеличилось. Засунув руку, начал он шарить и сыпать побранки, не отыскивая его. «Здесь!» — сказал он наконец, нагнувшись и вынимая его из глубины обширного кармана, которым снабжены были его пестрядевые ша-

ровары. При этом слове сердца наших героев, казалось, слились в одно, и это огромное сердце забилось так сильно, что неровный стук его не был заглушен даже брякнувшим замком. Двери отворились, и… Голова стал бледен как полотно; винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо; ужас изобразился в лице писаря; десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих: перед ними стояла свояченица.

Изумленная не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение, чтобы подойти к ним.

— Стой! — закричал диким голосом голова и захлопнул за нею дверь. — Господа! это сатана! — продолжал он. — Огня! живее огня! Не пожалею казенной хаты! Зажигай ее, зажигай, чтобы и костей чертовых не осталось на земле.

Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение.

— Что вы, братцы! — говорил винокур. — Слава богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до сих пор ума не нажили: от простого огня ведьма не загорится! Только огонь из люльки может зажечь оборотня. Постойте, я сейчас все улажу!

Сказавши это, высыпал он горячую золу из

трубки в пук соломы и начал раздувать ее. Отчаяние придало в это время духу бедной свояченице, громко стала она умолять и разуверять их.

— Постойте, братцы! Зачем напрасно греха набираться; может быть, это и не сатана, — сказал писарь. — Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не черт.

Предложение одобрено.

— Чур меня, сатана! — продолжал писарь, приложась губами к скважине в дверях. — Если не пошевелишься с места, мы отворим дверь.

Дверь отворили.

— Перекрестись! — сказал голова, оглядываясь назад, как будто выбирая безопасное место в случае ретирады.

Свояченица перекрестилась.

— Кой черт! Точно, это свояченица!

— Какая нечистая сила затащила тебя, кума, в эту конуру?

И свояченица, всхлипывая, рассказала, как схватили ее хлопцы в охапку на улице и, несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем. Писарь взглянул: петли у широкого ставня оторваны, и он приколочен только сверху деревянным брусом.

— Добро ты, одноглазый сатана! — вскричала она, приступив к голове, который попятился назад и все еще продолжал ее мерять своим глазом. — Я знаю твой умысел: ты хотел, ты рад был случаю сжечь меня, чтобы свободнее было волочиться за дивчатами, чтобы некому было видеть, как дурачится седой дед. Ты думаешь, я не знаю, о чем говорил ты сего вечера с Ганною? О! я знаю все. Меня трудно провесть и не твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не прогневайся…

Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в остолбенении голову. «Нет, тут не на шутку сатана вмешался», — думал он, сильно почесывая свою макушку.

— Поймали! — вскрикнули вошедшие в это время десятские.

— Кого поймали? — спросил голова.

— Дьявола в вывороченном тулупе.

— Подавайте его! — закричал голова, схватив за руки приведенного пленника. — Вы с ума сошли: да это пьяный Каленик!

— Что за пропасть! в руках наших был, пан голова! — отвечали десятские. — В переулке окружили проклятые хлопцы, стали танцевать, дергать, высовывать языки, вырывать из рук…

черт с вами!.. И как мы попали на эту ворону вместо его, Бог один знает!

— Властью моей и всех мирян дается повеление, — сказал голова, — изловить сей же миг сего разбойника; а оным образом и всех, кого найдете на улице, и привесть на расправу ко мне!

— Помилуй, пан голова! — закричали некоторые, кланяясь в ноги. — Увидел бы ты, какие хари: убей бог нас, и родились и крестились — не видали таких мерзких рож. Долго ли до греха, пан голова, перепугают доброго человека так, что после ни одна баба не возьмется вылить переполоху.

— Дам я вам переполоху! Что вы? не хотите слушаться? Вы, верно, держите их руку! Вы бунтовщики? Что это?.. Да, что это?.. Вы заводите разбои!.. Вы… Я донесу комиссару! Сей же час! слышите, сей же час. Бегите, летите птицею! Чтоб я вас… Чтоб вы мне…

Все разбежались.

V. Утопленница

Не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не

нужно, думаю, сказывать, что это был Левко. Черный тулуп его был расстегнут. Шапку держал он в руке. Пот валил с него градом. Величественно и мрачно чернел кленовый лес, стоявший лицом к месяцу. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Все было тихо; в глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы; усталые члены готовы были забыться и онеметь; голова клонилась… «Нет, эдак я засну еще здесь!» — говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда еще не случалось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда: старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькала позолота. И вот почудилось, будто окно отворилось. Притаивши дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в

глубину его и видит: наперед белый локоть выставился в окно, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит: она качает слегка головою, она машет, она усмехается… Сердце его разом забилось… Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом: мрачные ставни были открыты; стекла сияли при месяце. «Вот как мало нужно полагаться на людские толки, — подумал он про себя. — Дом новехонький; краски живы, как будто сегодня он выкрашен. Тут живет кто-нибудь», — и молча подошел он ближе, но все было в нем тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни соловьев, и когда они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутил Левко в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел:

Ой ти, місяцю, мій місяченьку!
І ти, зоре ясна!
Ой, світить там по подвірї,

Де дівчина красна[32].

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отражение видел он в пруде, выглянула, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца; но как чудна, как прекрасна! Она засмеялась… Левко вздрогнул.

— Спой мне, молодой козак, какую-нибудь песню! — тихо молвила она, наклонив свою голову набок и опустив совсем густые ресницы.

— Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка?

Слезы тихо покатились по бледному лицу ее.

— Парубок, — говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в ее речи. — Парубок, найди мне мою мачеху! Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть… Парубок, найди мне мою мачеху! Она страшная ведьма: мне не было от нее покою на белом свете. Она

---

[32] Примечания: 32

Ой ты, месяц, мой месяц, и ты, звезда ясная! Светите на том дворе, где красивая девушка *(укр.)*.

мучила меня, заставляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянец своими нечистыми чарами с щек моих. Погляди на белую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее. Погляди на белые ноги мои: они много ходили; не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили; а на очи мои, посмотри на очи: они не глядят от слез… Найди ее, парубок, найди мне мою мачеху!..

Голос ее, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слез покатились по бледному лицу. Какое-то тяжелое, полное жалости и грусти чувство сперлось в груди парубка.

— Я готов на все для тебя, моя панночка! — сказал он в сердечном волнении, — но как мне, где ее найти?

— Посмотри, посмотри! — быстро говорила она, — она здесь! она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от ней. Я не могу чрез нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок!

Левко посмотрел на берег: в тонком серебряном тумане мелькали легкие, как будто тени, девушки в белых, как луг, убранный ландышами, рубашках; золотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях; но они были бледны; тело их было как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Послышались голоса.

— Давайте в ворона, давайте играть в ворона! — зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра.

— Кому же быть вороном?

Кинули жребий — и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье — все на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебегала от нападений хищного врага.

— Нет, я не хочу быть вороном! — сказала девушка, изнемогая от усталости. — Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери!

«Ты не ведьма!» — подумал Левко.

— Кто же будет вороном?

Девушки снова собрались кинуть жребий.

— Я буду вороном! — вызвалась одна из средины.

Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницею и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих: внутри его виделось что-то черное. Вдруг раздался крик: ворон бросился на одну из вереницы, схватил ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лице ее сверкнула злобная радость.

— Ведьма! — сказал он, вдруг указав на нее пальцем и оборотившись к дому.

Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою представлявшую ворона.

— Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает; возьми, отдай ему эту записку…

Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло… С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и… проснулся.

VI. Пробуждение

— Неужели это я спал? — сказал про себя Левко, вставая с небольшого пригорка. — Так живо, как будто наяву!.. Чудно, чудно!.. — повторил он, оглядываясь.

Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь; везде тишина; от пруда веял холод; над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями; мох и дикий бурьян показывали, что давно из него удалились люди. Тут он разогнул свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнул от изумления, почувствовавши в ней записку. «Эх, если бы я знал грамоте!» — подумал он, оборачивая ее перед собою на все стороны. В это мгновение послышался позади его шум.

— Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсили? нас десяток. Я держу заклад, что это человек, а не черт! — так кричал голова своим сопутникам, и Левко почувствовал себя схваченным несколькими руками, из которых иные дрожали от страха. — Скидывай-ка, приятель, свою страшную личину! Полно тебе дурачить людей! — проговорил голова, ухватив его за ворот,

и оторопел, выпучив на него глаз свой. — Левко, сын! — вскричал он, отступая от удивления и опуская руки. — Это ты, собачий сын! вишь, бесовское рождение! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьявол строит штуки! А это, выходит, все ты, невареный кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбои, сочиняешь песни!.. Эге-ге-ге, Левко! А что это? Видно, чешется у тебя спина! Вязать его!

— Постой, батько! велено тебе отдать эту записочку, — проговорил Левко.

— Не до записок теперь, голубчик! Вязать его!

— Постой, пан голова! — сказал писарь, развернув записку. — Комиссарова рука!

— Комиссара?

— Комиссара? — повторили машинально десятские.

«Комиссара? чудно! еще непонятнее!» — подумал про себя Левко.

— Читай, читай! — сказал голова, — что там пишет комиссар?

— Послушаем, что пишет комиссар! — произнес винокур, держа в зубах люльку и высекая огонь.

Писарь откашлялся и начал читать:

— «Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того чтобы

собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости…»

— Вот, ей-богу! — прервал голова, — ничего не слышу!

Писарь начал снова:

— «Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый ду…»

— Стой, стой! не нужно! — закричал голова, — я хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела еще нет. Читай далее!

— «А вследствие того, приказываю тебе сей же час женить твоего сына, Левка Макогоненка, на козачке из вашего же села, Ганне Петрыченковой, а также починить мосты на столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым паничам, хотя бы они ехали прямо из казенной палаты. Если же, по приезде моем, найду оное приказание мое не приведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик *Козьма Деркач-Дришпановский».*

— Вот что! — сказал голова, разинувши рот. — Слышите ли вы, слышите ли: за все с головы спросят, и потому слушаться! беспрекословно слушаться! не то, прошу извинить… А тебя, — продолжал он, оборотясь к Левку, — вследствие

приказания комиссара, — хотя чудно мне, как это дошло до него, — я женю; только наперед попробуешь ты нагайки! Знаешь — ту, что висит у меня на стене возле покута? Я поновлю ее завтра… Где ты взял эту записку?

Левко, несмотря на изумление, происшедшее от такого нежданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своем другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка.

— Я отлучался, — сказал он, — вчера ввечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. Узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батько, что заедет на возвратном пути к нам пообедать.

— Он это говорил?

— Говорил.

— Слышите ли? — говорил голова с важною осанкою, оборотившись к своим сопутникам, — комиссар сам своею особою приедет к нашему брату, то есть ко мне, на обед! О! — Тут голова поднял палец вверх и голову привел в такое положение, как будто бы она прислушивалась к чему-нибудь. — Комиссар, слышите ли, комиссар приедет ко мне обедать! Как думаешь, пан

писарь, и ты, сват, это не совсем пустая честь! Не правда ли?

— Еще, сколько могу припомнить, — подхватил писарь, — ни один голова не угощал комиссара обедом.

— Не всякий голова голове чета! — произнес с самодовольным видом голова. Рот его покривился, и что-то вроде тяжелого, хриплого смеха, похожего более на гудение отдаленного грома, зазвучало в его устах. — Как думаешь, пан писарь, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего… А?

— Нужно бы, нужно, пан голова!

— А когда же свадьбу, батько? — спросил Левко.

— Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу!.. Ну, да для именитого гостя… завтра вас поп и обвенчает. Черт с вами! Пусть комиссар увидит, что значит исправность! Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домам!.. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я… — При сих словах голова пустил обыкновенный свой важный и значительный взгляд исподлобья.

— Ну, теперь пойдет голова рассказывать, как вез царицу! — сказал Левко и быстрыми шагами

и радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишнями. «Дай тебе бог небесное царство, добрая и прекрасная панночка, — думал он про себя. — Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми! Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь; тебе одной только, Галю, передам его. Ты одна только поверишь мне и вместе со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы!»

Тут он приблизился к хате; окно было отперто; лучи месяца проходили чрез него и падали на спящую перед ним Ганну; голова ее оперлась на руку; щеки тихо горели; губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица! Приснись тебе все, что есть лучшего на свете; но и то не будет лучше нашего пробуждения!» Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько удалился. И чрез несколько минут все уже уснуло на селе; один только месяц так же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышало в вышине, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске; но уже никто не упивался ими: все погрузилось в сон. Изредка только перерывалось молчание лаем собак, и долго еще

пьяный Калеником шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату.

Пропавшая грамота

Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви

Тах вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда? Пожалуй, почему же не потешить прибауткой? Эх, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему и месяца нет, деялось на свете! А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, — ну, тогда и рукой махни: чтоб мне поперхнулось за акафистом великомученице Варваре, если не чудится, что вот-вот сам все это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу или прадедовская душа шалит в тебе… Нет, мне пуще всего наши дивчата и молодицы; покажись только на глаза им: «Фома Григорьевич! Фома Григорьевич! *а нуте яку-небудь страховинну казочку! а нуте, нуте!..»* — тара-та-та, та-та-та, и пойдут, и пойдут… Рассказать-то, конечно, не жаль, да загляните-ка, что делается с ними в постеле. Ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом, как будто бьет ее лихорадка, и рада бы с головою влезть в тулуп свой. Царапни горшком

крыса, сама как-нибудь задень ногою кочергу — и Боже упаси! и душа в пятках. А на другой день ничего не бывало, навязывается сызнова: расскажи ей страшную сказку, да и только. Что ж бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум… Да, расскажу я вам, как ведьмы играли с покойным дедом в *дурня*[33]. Только заране прошу вас, господа, не сбивайте с толку; а то такой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять. Покойный дед, надобно вам сказать, был не из простых в свое время козаков. Знал и твердо-он[34] — то, и словотитлу поставить. В праздник отхватает апостола, бывало, так, что теперь и попович иной спрячется. Ну, сами знаете, что в тогдашние времена если собрать со всего Батурина грамотеев, то нечего и шапки подставлять, — в одну горсть можно было всех уложить. Стало быть, и дивиться нечего, когда всякий встречный кланялся ему мало не в пояс.

Один раз задумалось вельможному гетьману послать зачем-то к царице грамоту. Тогдашний полковой писарь, — вот нелегкая его возьми, и прозвища не вспомню… *Вискряк не Вискряк, Мо-*

---

[33] Примечания: 33
То есть в дурачки. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

[34] Примечания: 34
Твердо-он — название букв «т» и «о» в старинной русской азбуке.

тузочка не Мотузочка, Голопуцек не Голопуцек… знаю только, что как-то чудно начинается мудреное прозвище, — позвал к себе деда и сказал ему, что, вот, наряжает его сам гетьман гонцом с грамотою к царице. Дед не любил долго собираться: грамоту зашил в шапку; вывел коня; чмокнул жену и двух своих, как сам он называл, поросенков, из которых один был родной отец хоть бы и нашего брата; и поднял такую за собою пыль, как будто бы пятнадцать хлопцев задумали посереди улицы играть в кашу. На другой день еще петух не кричал в четвертый раз, дед уже был в Конотопе. На ту пору была там ярмарка: народу высыпало по улицам столько, что в глазах рябело. Но так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка парубок с покрасневшим, как снегирь, носом; подале храпела, сидя, перекупка, с кремнями, синькою, дробью и бубликами; под телегою лежал цыган; на возу с рыбой — чумак; на самой дороге раскинул ноги бородач москаль с поясами и рукавицами… ну, всякого сброду, как водится по ярмаркам. Дед приостановился, чтобы разглядеть хорошенько. Между тем в ятках начало мало-помалу шевелиться: жидовки стали побрякивать фляжками; дым покатило то там, то

сям кольцами, и запах горячих сластен понесся по всему табору. Деду вспало на ум, что у него нет ни огнива, ни табаку наготове: вот и пошел таскаться по ярмарке. Не успел пройти двадцати шагов — навстречу запорожец. Гуляка, и по лицу видно! Красные, как жар, шаровары, синий жупан, яркий цветной пояс, при боку сабля и люлька с медною цепочкою по самые пяты — запорожец, да и только! Эх, народец! станет, вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет подковами и — пустится! Да ведь как пустится: ноги отплясывают, словно веретено в бабьих руках; что вихорь, дернет рукою по всем струнам бандуры и тут же, подпершися в боки, несется вприсядку; зальется песней — душа гуляет!.. Нет, прошло времечко: не увидать больше запорожцев! Да, так встретились. Слово за слово, долго ли до знакомства? Пошли калякать, калякать так, что дед совсем уже было позабыл про путь свой. Попойка завелась, как на свадьбе перед постом Великим. Только, видно, наконец прискучило бить горшки и швырять в народ деньгами, да и ярмарке не век же стоять! Вот сговорились новые приятели, чтоб не разлучаться и путь держать вместе. Было давно под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых; где-где горели вместо него

красноватые полосы; по полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодиц. Нашего запорожца раздобар взял страшный. Дед и еще другой приплевшийся к ним гуляка подумали уже, не бес ли засел в него. Откуда что набиралось. Истории и присказки такие диковинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не надсадил своего живота со смеху. Но в поле становилось чем далее, тем сумрачнее; и вместе с тем становилась несвязнее и молодецкая молвь. Наконец рассказчик наш притих совсем и вздрагивал при малейшем шорохе.

— Ге-ге, земляк! да ты не на шутку принялся считать сов. Уж думаешь, как бы домой да на печь!

— Перед вами нечего таиться, — сказал он, вдруг оборотившись и неподвижно уставив на них глаза свои. — Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому.

— Экая невидальщина! Кто на веку своем не знался с нечистым? Тут-то и нужно гулять, как говорится, на прах.

— Эх, хлопцы! гулял бы, да в ночь эту срок молодцу! Эй, братцы! — сказал он, хлопнув по рукам их, — эй, не выдайте! не поспите одной ночи, век не забуду вашей дружбы!

Почему ж не пособить человеку в таком горе? Дед объявил напрямик, что скорее даст он отрезать оселедец с собственной головы, чем допустит черта понюхать собачьей мордой своей христианской души.

Козаки наши ехали бы, может, и далее, если бы не обволокло всего неба ночью, словно черным рядном, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. Издали только мерещился огонек, и кони, чуя близкое стойло, торопились, насторожа уши и вковавши очи во мрак. Огонек, казалось, несся навстречу, и перед козаками показался шинок, повалившийся на одну сторону, словно баба на пути с веселых крестин. В те поры шинки были не то, что теперь. Доброму человеку не только развернуться, приударить горлицы или гопака, прилечь даже негде было, когда в голову заберется хмель и ноги начнут писать покой[35] — он — по. Двор был уставлен весь чумацкими возами; под поветками, в яслях, в сенях, иной свернувшись, другой развернувшись, храпели, как коты. Шинкарь один перед каганцом нарезывал рубцами на палочке, сколько кварт и осьмух высушили чумацкие головы.

---

[35] Примечания: 35

Покой — название буквы «п» в старинной русской азбуке.

Дед, спросивши треть ведра на троих, отправился в сарай. Все трое легли рядом. Только не успел он повернуться, как видит, что его земляки спят уже мертвецким сном. Разбудивши приставшего к ним третьего козака, дед напомнил ему про данное товарищу обещание. Тот привстал, протер глаза и снова уснул. Нечего делать, пришлось одному караулить. Чтобы чем-нибудь разогнать сон, обсмотрел он возы все, проведал коней, закурил люльку, пришел назад и сел опять около своих. Все было тихо, так что, кажись, ни одна муха не пролетела. Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза что-то серое выказывает роги… Тут глаза его начали смыкаться так, что принужден он был ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшеюся водкой. Но как скоро немного прояснились они, все пропадало. Наконец, мало погодя, опять показывается из-под воза чудище… Дед вытаращил глаза сколько мог; но проклятая дремота все туманила перед ним; руки его окостенели; голова скатилась, и крепкий сон схватил его так, что он повалился словно убитый. Долго спал дед, и как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушу, тогда только схватился он на ноги. Потянувшись раза два и почесав спину, заметил он, что возов стояло уже не так много,

как с вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до света. К своим — козак спит, а запорожца нет. Выспрашивать — никто знать не знает; одна только верхняя свитка лежала на том месте. Страх и раздумье взяло деда. Пошел посмотреть коней — ни своего, ни запорожского! Что бы это значило? Положим, запорожца взяла нечистая сила; кто же коней? Сообразя все, дед заключил, что, верно, черт приходил пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня. Больно ему было крепко, что не сдержал козацкого слова. «Ну, думает, нечего делать, пойду пешком: авось попадется на дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки, как-нибудь уже куплю коня». Только хватился за шапку — и шапки нет. Всплеснул руками покойный дед, как вспомнил, что вчера еще поменялись они на время с запорожцем. Кому больше утащить, как не нечистому. Вот тебе и гетьманский гонец! Вот тебе и привез грамоту к царице! Тут дед принялся угощать черта такими прозвищами, что, думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле. Но бранью мало пособишь: а затылка сколько ни чесал дед, никак не мог ничего придумать. Что делать? Кинулся достать чужого ума: собрал всех бывших тогда в шинке добрых людей, чумаков и просто заезжих, и

рассказал, что так и так, такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, подперши батогами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеном свете, чтобы гетьманскую грамоту утащил черт. Другие же прибавили, что когда черт да москаль украдут что-нибудь, то поминай как и звали. Один только шинкарь сидел молча в углу. Дед и подступил к нему. Уж когда молчит человек, то, верно, зашиб много умом. Только шинкарь не так-то был щедр на слова; и если бы дед не полез в карман за пятью злотыми, то простоял бы перед ним даром.

— Я научу тебя, как найти грамоту, — сказал он, отводя его в сторону. У деда и на сердце отлегло. — Я вижу уже по глазам, что ты козак — не баба. Смотри же! близко шинка будет поворот направо в лес. Только станет в поле примеркать, чтобы ты был уже наготове. В лесу живут цыганы и выходят из нор своих ковать железо в такую ночь, в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих. Чем они промышляют на самом деле, знать тебе нечего. Много будет стуку по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук; а будет перед тобою малая дорожка, мимо обожженного дерева, дорожкою этою иди, иди, иди… Станет тебя терновник царапать, густой

орешник заслонять дорогу — ты все иди; и как придешь к небольшой речке, тогда только можешь остановиться. Там и увидишь кош нужно; да не позабудь набрать в карманы того, для чего и карманы сделаны… Ты понимаешь, это добро и дьяволы и люди любят. — Сказавши это, шинкарь ушел в свою конуру и не хотел больше говорить ни слова.

Покойный дед был человек не то чтобы из трусливого десятка; бывало, встретит волка, так и хватает прямо за хвост; пройдет с кулаками промеж козаками — все, как груши, повалятся на землю. Однако ж что-то подирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе. Темно и глухо, как в винном подвале; только слышно было, что далеко-далеко вверху, над головою, холодный ветер гулял по верхушкам дерев, и деревья, что охмелевшие козацкие головы, разгульно покачивались, шепоча листьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и про овчинный тулуп свой, и вдруг словно сто молотов застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове. И, будто зарницею, осветило на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробиравшуюся промеж мелкого кустарника.

Вот и обожженное дерево, и кусты терновника! Так, все так, как было ему говорено; нет, не обманул шинкарь. Однако ж не совсем весело было продираться через колючие кусты; еще отроду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались: почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. Мало-помалу выбрался он на просторное место, и, сколько мог заметить, деревья редели и становились, чем далее, такие широкие, каких дед не видывал и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и речка, черная, словно вороненая сталь. Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь и, кажется, вот-вот готовится погаснуть, и снова отсвечивается в речке, вздрагивавшей, как польский шляхтич в козачьих лапах. Вот и мостик! «Ну, тут одна только чертовская таратайка разве проедет». Дед, однако ж, ступил смело и, скорее, чем бы иной успел достать рожок понюхать табаку, был уже на другом берегу. Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди, и такие смазливые рожи, что в другое время бог знает чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Но теперь, нечего делать, нужно было завязаться. Вот дед и отвесил им поклон мало не в пояс: «Помогай Бог

вам, добрые люди!» Хоть бы один кивнул головой; сидят да молчат, да что-то сыплют в огонь. Видя одно место незанятым, дед без всяких околичностей сел и сам. Смазливые рожи — ничего; ничего и дед. Долго сидели молча. Деду уже и прискучило; давай шарить в кармане, вынул люльку, посмотрел вокруг — ни один не глядит на него. «Уже, добродейство, будьте ласковы: как бы так, чтобы, примерно сказать, того… (дед живал в свете немало, знал уже, как подпускать турусы, и при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь), чтобы, примерно сказать, и себя не забыть, да и вас не обидеть, — люлька-то у меня есть, да того, чем бы зажечь ее, *черт-ма*[36]». И на эту речь хоть бы слово; только одна рожа сунула горячую головню прямехонько деду в лоб так, что если бы он немного не посторонился, то, статься может, распрощался бы навеки с одним глазом. Видя, наконец, что время даром проходит, решился — будет ли слушать нечистое племя или нет — рассказать дело. Рожи и уши наставили, и лапы протянули. Дед догадался: забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину. Как только кинул

---

[36] Примечания: 36
Не имеется. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

он деньги, все перед ним перемешалось, земля задрожала, и, как уже, — он и сам рассказать не умел, — попал чуть ли не в самое пекло. «Батюшки мои!» — ахнул дед, разглядевши хорошенько: что за чудища! рожи на роже, как говорится, не видно. Ведьм такая гибель, как случается иногда на Рождество выпадет снегу: разряжены, размазаны, словно панночки на ярмарке. И все, сколько ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского тропака. Пыль подняли боже упаси какую! Дрожь бы проняла крещеного человека при одном виде, как высоко скакало бесовское племя. На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек; а музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как в валторны. Только завидели деда — и турнули к нему ордою. Свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла — все повытягивались и вот так и лезут целоваться. Плюнул дед, такая мерзость напала! Наконец схватили его и посадили за стол длиною, может, с дорогу от Конотопа до Батурина. «Ну, это еще не совсем худо, — подумал дед, завидевши на столе свини-

ну, колбасы, крошеный с капустой лук и много всяких сластей, — видно, дьявольская сволочь не держит постов». Дед таки, не мешает вам знать, не упускал при случае перехватить того-сего на зубы. Едал, покойник, аппетитно; и потому, не пускаясь в рассказы, придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку, мало чем поменьше тех вил, которыми мужик берет сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба и — глядь, и отправил в чужой рот. Вот-вот, возле самых ушей, и слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол. Дед ничего; схватил другой кусок и вот, кажись, и по губам зацепил, только опять не в свое горло. В третий раз — снова мимо. Взбеленился дед; позабыл и страх, и в чьих лапах находится он. Прискочил к ведьмам:

— Что вы, Иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мною? Если не отдадите сей же час моей козацкой шапки, то будь я католик, когда не переворочу свиных рыл ваших на затылок!

Не успел он докончить последних слов, как все чудища выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда на душе захолонуло.

— Ладно! — провизжала одна из ведьм, которую дед почел за старшую над всеми потому, что

личина у ней была чуть ли не красивее всех. — Шапку отдадим тебе, только не прежде, пока сыграешь с нами три раза в *дурня!*

Что прикажешь делать? Козаку сесть с бабами в дурня! Дед отпираться, отпираться, наконец сел. Принесли карты, замасленные, какими только у нас поповны гадают про женихов.

— Слушай же! — залаяла ведьма в другой раз, — если хоть раз выиграешь — твоя шапка; когда же все три раза останешься дурнем, то не прогневайся — не только шапки, может, и света более не увидишь!

— Сдавай, сдавай, хрычовка! что будет, то будет.

Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки — смотреть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смех один козырь. Из масти десятка самая старшая, пар даже нет; а ведьма все подваливает пятериками. Пришлось остаться дурнем! Только что дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды: «Дурень! дурень! дурень!»

— Чтоб вы перелопались, дьявольское племя! — закричал дед, затыкая пальцами себе уши.

«Ну, думает, ведьма подтасовала; теперь я сам буду сдавать». Сдал. Засветил козыря. Поглядел

на карты: масть хоть куда, козыри есть. И сначала дело шло как нельзя лучше; только ведьма — пятерик с королями! У деда на руках одни козыри; не думая, не гадая долго, хвать королей по усам всех козырями.

— Ге-ге! да это не по-козацки! А чем ты кроешь, земляк?

— Как чем? козырями!

— Может быть, по-вашему, это и козыри, только, по-нашему, нет!

Глядь — в самом деле простая масть. Что за дьявольщина! Пришлось в другой раз быть дурнем, и чертаньё пошло снова драть горло: «Дурень, дурень!» — так, что стол дрожал и карты прыгали по столу. Дед разгорячился; сдал в последний раз. Опять идет ладно. Ведьма опять пятерик; дед покрыл и набрал из колоды полную руку козырей.

— Козырь! — вскричал он, ударив по столу картою так, что ее свернуло коробом; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти.

— А чем ты, старый дьявол, бьешь!

Ведьма подняла карту: под нею была простая шестерка.

— Вишь, бесовское обморачиванье! — сказал дед и с досады хватил кулаком что силы по столу.

К счастью еще, что у ведьмы была плохая масть; у деда, как нарочно, на ту пору пары. Стал набирать карты из колоды, только мочи нет: дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. В колоде ни одной карты. Пошел уже так, не глядя, простою шестеркою; ведьма приняла. «Вот тебе на! это что? Э-э, верно, что-нибудь да не так!» Вот дед карты потихоньку под стол — и перекрестил: глядь — у него на руках туз, король, валет козырей; а он вместо шестерки спустил кралю.

— Ну, дурень же я был! Король козырей! Что! приняла? а? Кошачье отродье!.. А туза не хочешь? Туз! валет!..

Гром пошел по пеклу, на ведьму напали корчи, и откуда ни возьмись шапка — бух деду прямехонько в лицо.

— Нет, этого мало! — закричал дед, прихрабрившись и надев шапку. — Если сейчас не станет передо мною молодецкий конь мой, то вот убей меня гром на этом самом нечистом месте, когда я не перекрещу святым крестом всех вас! — и уже было и руку поднял, как вдруг загремели перед ним конские кости.

— Вот тебе конь твой!

Заплакал бедняга, глядя на них, как дитя неразумное. Жаль старого товарища!

— Дайте ж мне какого-нибудь коня, выбраться из гнезда вашего!

Черт хлопнул арапником — конь, как огонь, взвился под ним, и дед, что птица, вынесся наверх.

Страх, однако ж, напал на него посреди дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводов, скакал через провалы и болота. В каких местах он не был, так дрожь забирала при одних рассказах. Глянул как-то себе под ноги — и пуще перепугался: пропасть! крутизна страшная! А сатанинскому животному и нужды нет: прямо через нее. Дед держаться: не тут-то было. Через пни, через кочки полетел стремглав в провал и так хватился на дне его о землю, что, кажись, и дух вышибло. По крайней мере, что деялось с ним в то время, ничего не помнил; и как очнулся немного и осмотрелся, то уже рассвело совсем; перед ним мелькали знакомые места, и он лежал на крыше своей же хаты.

Перекрестился дед, когда слез долой. Экая чертовщина! что за пропасть, какие с человеком чудеса делаются! Глядь на руки — все в крови; посмотрел в стоявшую торчмя бочку с водою — и лицо также. Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать детей, входит он потихоньку в хату;

смотрит: дети пятятся к нему задом и в испуге указывают ему пальцами, говоря: *«Дывысь, дывысь, маты, мов дурна, скаче!»*[37]

И в самом деле, баба сидит, заснувши перед гребнем, держит в руках веретено и, сонная, подпрыгивает на лавке. Дед, взявши за руку потихоньку, разбудил ее: «Здравствуй, жена! здорова ли ты?» Та долго смотрела, выпуча глаза, и, наконец, уже узнала деда и рассказала, как ей снилось, что печь ездила по хате, выгоняя вон лопатою горшки, лоханки, и черт знает что еще такое. «Ну, — говорит дед, — тебе во сне, мне наяву. Нужно, вижу, будет освятить нашу хату; мне же теперь мешкать нечего». Сказавши это и отдохнувши немного, дед достал коня и уже не останавливался ни днем, ни ночью, пока не доехал до места и не отдал грамоты самой царице. Там нагляделся дед таких див, что стало ему надолго после того рассказывать: как повели его в палаты, такие высокие, что если бы хат десять поставить одну на другую, и тогда, может быть, не достало бы. Как заглянул он в одну комнату — нет; в другую — нет; в третью — еще нет; в четвертой даже нет; да в пятой уже, глядь — сидит сама,

---

[37] Примечания: 37

Смотри, смотри, мать, как сумасшедшая, скачет! *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

в золотой короне, в серой новехонькой свитке, в красных сапогах, и золотые галушки ест. Как велела ему насыпать целую шапку *синицами*[38], как… всего и вспомнить нельзя. Об возне своей с чертями дед и думать позабыл, и если случалось, что кто-нибудь и напоминал об этом, то дед молчал, как будто не до него и дело шло, и великого стоило труда упросить его пересказать все, как было. И, видно, уже в наказание, что не спохватился тотчас после того освятить хату, бабе ровно через каждый год, и именно в то самое время, делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься вприсядку.

[38] Примечания: 38

Синицы — пятирублевые денежные ассигнации синего цвета.

Часть вторая
Предисловие

Вот вам и другая книжка, а лучше сказать, последняя! Не хотелось, крепко не хотелось выдавать и этой. Право, пора знать честь. Я вам скажу, что на хуторе уже начинают смеяться надо мною: «Вот, говорят, одурел старый дед: на старости лет тешится ребяческими игрушками!» И точно, давно пора на покой. Вы, любезные читатели, верно, думаете, что я прикидываюсь только стариком. Куда тут прикидываться, когда во рту совсем зубов нет! Теперь если что мягкое попадется, то буду как-нибудь жевать, а твердое — то ни за что не откушу. Так вот вам опять книжка! Не бранитесь только! Нехорошо браниться на прощанье, особенно с тем, с кем, бог знает, скоро ли увидитесь. В этой книжке услышите рассказчиков все почти для вас незнакомых, выключая только разве Фомы Григорьевича. А того горохового панича, что рассказывал таким вычурным языком, которого много остряков и из московского народу не могло понять, уже давно нет. После того, как рассорился со всеми, он и не заглядывал к нам. Да, я вам

не рассказывал этого случая? Послушайте, тут прекомедия была! Прошлый год, так как-то около лета, да чуть ли не на самый день моего патрона, приехали ко мне в гости (нужно вам сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай Бог им здоровья, не забывают старика. Уже есть пятидесятый год, как я зачал помнить свои именины. Который же точно мне год, этого ни я, ни старуха моя вам не скажем. Должно быть, близ семидесяти. Диканьский-то поп, отец Харлампий, знал, когда я родился; да жаль, что уже пятьдесят лет, как его нет на свете). Вот приехали ко мне гости: Захар Кирилович Чухопупенко, Степан Иванович Курочка, Тарас Иванович Смачненький, заседатель Харлампий Кирилович Хлоста; приехал еще… вот позабыл, право, имя и фамилию… Осип… Осип… Боже мой, его знает весь Миргород! он еще когда говорит, то всегда щелкнет наперед пальцем и подопрется в боки… Ну, бог с ним! в другое время вспомню. Приехал и знакомый вам панич из Полтавы. Фомы Григорьевича я не считаю: то уже свой человек. Разговорились все (опять нужно вам заметить, что у нас никогда о пустяках не бывает разговора. Я всегда люблю приличные разговоры: чтобы, как говорят, вместе и услаждение и назидательность была),

разговорились об том, как нужно солить яблоки. Старуха моя начала было говорить, что нужно наперед хорошенько вымыть яблоки, потом намочить в квасу, а потом уже… «Ничего из этого не будет! — подхватил полтавец, заложивши руку в гороховый кафтан свой и прошедши важным шагом по комнате, — ничего не будет! Прежде всего нужно пересыпать канупером, а потом уже…» Ну, я на вас ссылаюсь, любезные читатели, скажите по совести, слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали канупером? Правда, кладут смородинный лист, нечуй-ветер, трилистник; но чтобы клали канупер… нет, я не слыхивал об этом. Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знает про эти дела. Ну, говорите же вы! Нарочно, как доброго человека, отвел я его потихоньку в сторону: «Слушай, Макар Назарович, эй, не смеши народ! Ты человек немаловажный: сам, как говоришь, обедал раз с губернатором за одним столом. Ну, скажешь что-нибудь подобное там, ведь тебя же осмеют все!» Что ж бы, вы думали, он сказал на это? Ничего! плюнул на пол, взял шапку и вышел. Хоть бы простился с кем, хоть бы кивнул кому головою; только слышали мы, как подъехала к воротам тележка с звонком; сел и уехал. И лучше! Не нужно нам таких гостей!

Я вам скажу, любезные читатели, что хуже нет ничего на свете, как эта знать. Что его дядя был когда-то комиссаром, так и нос несет вверх. Да будто комиссар такой уже чин, что выше нет его на свете? Слава богу, есть и больше комиссара. Нет, не люблю я этой знати. Вот вам в пример Фома Григорьевич; кажется, и не знатный человек, а посмотреть на него: в лице какая-то важность сияет, даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение. В церкви когда запоет на крылосе — умиление неизобразимое! растаял бы, казалось, весь!.. А тот… ну, бог с ним! он думает, что без его сказок и обойтиться нельзя. Вот все же таки набралась книжка.

Я, помнится, обещал вам, что в этой книжке будет и моя сказка. И точно, хотел было это сделать, но увидел, что для сказки моей нужно, по крайней мере, три таких книжки. Думал было особо напечатать ее, но передумал. Ведь я знаю вас: станете смеяться над стариком. Нет, не хочу! Прощайте! Долго, а может быть, совсем, не увидимся. Да что? ведь вам все равно, хоть бы и не было совсем меня на свете. Пройдет год, другой — и из вас никто после не вспомнит и не пожалеет о старом пасичнике Рудом Паньке.

В этой книжке есть много слов, не всякому понятных. Здесь они почти все означены:

Баштан	место, засеянное арбузами и дынями
Бублик	круглый крендель, баранчик
Варенуха	вареная водка с пряностями
Видлога	откидная шапка из сукна, пришитая к кобеняку
Выкрутасы	трудные па
Галушки	клёцки
Гаман	род бумажника, где держат огниво, кремень, губку, табак, а иногда и деньги
Голодная кутья	сочельник

Горлица	танец
Гречаник	хлеб из гречневой муки
Дивчина	девушка
Дивчата	девушки
Дукат	род медали, носимой на шее женщинами
Жинка	жена
Запаска	род шерстяного передника у женщин
Кавун	арбуз
Каганец	светильня, состоящая из разбитого черепка, наполненного салом
Канупер	трава
Кацап	русский человек с бородою
Книш	спеченный из пшеничной муки хлеб, обыкновенно едомый горячим с маслом
Кобеняк	род суконного плаща с пришитою назади вид-логою
Кожух	тулуп
Комора	амбар
Кораблик	старинный головной убор
Корж	сухая лепешка из пшеничной муки, часто с салом
Курень	соломенный шалаш
Кухва	род кадки; похожая на опрокинутую дном кверху бочку
Кухоль	глиняная кружка
Левада	усадьба
Люлька	трубка
Намитка	белое покрывало из жидкого полотна, носимое на голове женщинами, с откинутыми назад концами
Нечуй-ветер	трава
Паляница	небольшой хлеб, несколько плоский
Парубок	парень
Пейсики	жидовские локоны
Пекло	ад
Переполох	испуг. Выливать переполох — лечить испуг
Петровы батоги	трава
Плахта	нижняя одежда женщин из шерстяной клетчатой материи

Пивкопы	двадцать пять копеек
Пищик	пищалка, дудка, небольшая свирель
Покут	место под образами
Полутабенек	старинная шелковая материя
Свитка	род полукафтанья
Скрыня	большой сундук
Смалец	бараний жир
Сопилка	свирель
Сукня	старинная одежда женщин из сукна
Сыровец	хлебный квас
Тесная баба	игра, в которую играют школьники в классе: жмутся тесно на скамье, покамест одна половина не вытеснит другую
Хлопец	мальчик
Хустка	платок носовой
Цибуля	лук
Черевики	башмаки
Чумаки	малороссияне, едущие за солью и рыбою, обыкновенно в Крым
Швец	сапожник
Шибеник	висельник

Ночь перед Рождеством

Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды.

Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа[39]. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подго-

[39] Примечания: 39

Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за Бога, и что будто оттого пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. *Замечание пасичника. (Прим. Н.В. Гоголя.)*

нять своего ямщика, то он бы, верно, приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец[40]: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел

[40] Примечания: 40

Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — все немец. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л…ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь еще можно найти в Т…

церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко: дорога шла по-за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить Чуба,

но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.

Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные; теперь же и заседатель и подкоморий отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрышкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди

не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура — взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.

— Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? — говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. — Там теперь будет добрая попойка! — продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. — Как бы только нам не опоздать.

При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут — страх и грозу докучливых собак; но, взглянув вверх, остановился…

— Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас!..

— Что? — произнес кум и поднял свою голову

также вверх.

— Как что? месяца нет!

— Что за пропасть! В самом деле нет месяца.

— То-то что нет, — выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума. — Тебе небось и нужды нет.

— А что мне делать!

— Надобно же было, — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, — какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех… Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно: ночь — чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь — и вот, хоть глаз выколи!

Чуб долго еще ворчал и бранился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем козакам.

Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму:

— Так нет, кум, месяца?

— Нет.

— Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?

— Кой черт, славный! — отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. — Старая курица не чихнет!

— Я помню, — продолжал все так же Чуб, — мне покойный шинкарь Зозуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! добрый табак был! Так что же, кум, как нам быть? ведь темно на дворе.

— Так, пожалуй, останемся дома, — произнес кум, ухватясь за ручку двери.

Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор.

— Нет, кум, пойдем! нельзя, нужно идти!

Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали.

Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то

что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими.

По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? — говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. — Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои, — продолжала красавица, не выпуская зеркала, — так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и обвились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! — и, отдвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула: — Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть».

— Чудная девка! — прошептал вошедший тихо кузнец, — и хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!

«Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, — продолжала хорошенькая кокетка, — как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!» И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца…

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.

Кузнец и руки опустил.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего.

— Зачем ты пришел сюда? — так начала говорить Оксана. — Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к

нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?

— Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!

— Кто же тебе запрещает, говори и гляди!

Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.

— Позволь и мне сесть возле тебя! — сказал кузнец.

— Садись, — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.

— Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поце-

ловать тебя! — произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе, в намерении схватить поцелуй; но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.

— Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею.

Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.

«Не любит она меня, — думал про себя, повеся голову, кузнец. — Ей все игрушки; а я стою перед нею как дурак и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою; мучит меня, бедного; а я за грустью не вижу света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».

— Правда ли, что твоя мать ведьма? — произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувших жилах, и со всем тем досада запала в

его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

— Что мне до матери? ты у меня мать, и отец, и все, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». — «Не хочу, — сказал бы я царю, — ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мне лучше мою Оксану!»

— Видишь, какой ты! Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, — проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. — Однако ж дивчата не приходят… Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.

— Бог с ними, моя красавица!

— Как бы не так! с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!

— Так тебе весело с ними?

— Да уж веселее, чем с тобою. А! кто-то стукнул; верно, дивчата с парубками.

«Чего мне больше ждать? — говорил сам с собою кузнец. — Она издевается надо мною. Ей я

столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу…»

Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: «Отвори!» — прервал его размышления.

— Постой, я сам отворю, — сказал кузнец и вышел в сени, в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу.

Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом,

спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу.

Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посереди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле.

Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие года. Однако ж она так умела причароватъ к себе самых степенных козаков (которым, не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него

есть соперник. Шел ли набожный мужик, или дворянин, как называют себя козаки, одетый в кобеняк с видлогою, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, — как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это — заходить по дороге. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза; голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! черт-баба!»

Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с козаком Чубом. Чуб был вдов; восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую

куму — корову, или дядю — толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек, и оборачивался задом, когда завидывал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удвоивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы наверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек: ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяколупенко видел у нее сзади хвост

величиною не более бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежала дорогу; что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад.

Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул рассказать, как летом, перед самою петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмостивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма, с распущенною косою, в одной рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые козаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут сучи бабы!» — бывал обыкновенный ответ их.

Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула: «Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет!» Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно

оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.

В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи[41], угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок; но сквозь метущий снег ничего не было видно.

— Стой, кум! мы, кажется, не туда идем, — сказал, немного отошедши, Чуб, — я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум,

---

[41] Примечания: 41

Капелюха — шапка с наушниками.

немного в сторону, не найдешь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эк, какую кучу снега напустил в очи сатана!

Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнувши с себя снег, вошел в сени, нимало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу; остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

— Чего тебе тут нужно? — сурово закричал вышедший кузнец.

Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата, — говорил он про себя, — в мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это

хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю; зачем же кузнец?.. Э-ге-ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!.. теперь я все понял».

— Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.

«Нет, не скажу ему, кто я, — подумал Чуб, — чего доброго, еще приколотит, проклятый выродок!» — и, переменив голос, отвечал:

— Это я, человек добрый! пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами.

— Убирайся к черту с своими колядками! — сердито закричал Вакула. — Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!

Чуб сам уже имел это благоразумное намерение; но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.

— Что ж ты, в самом деле, так раскричался? — произнес он тем же голосом, — я хочу колядовать, да и полно!

— Эге! да ты от слов не уймешься!.. — Вслед за сими словами Чуб почувствовал пребольной удар в плечо.

— Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! — произнес он, немного отступая.

— Пошел, пошел! — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.

— Что ж ты! — произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. — Ты, вижу, не в шутку дерешься, и еще больно дерешься!

— Пошел, пошел! — закричал кузнец и захлопнул дверь.

— Смотри, как расхрабрился! — говорил Чуб, оставшись один на улице. — Попробуй подойти! вишь, какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил, вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха! Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, ду-

маю, сидит одна. Гм… оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того, будет можно… Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!

Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» — и снова отправлялся в путь.

В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно

поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другою и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

— Э, Одарка! — сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек, — у тебя новые черевики! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевики.

— Не тужи, моя ненаглядная Оксана! — подхватил кузнец, — я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.

— Ты? — сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. — Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица.

— Видишь, каких захотела! — закричала со смехом девичья толпа.

— Да, — продолжала гордо красавица, — будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.

Девушки увели с собою капризную красавицу.

— Смейся, смейся! — говорил кузнец, выходя вслед за ними. — Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, — ну, бог с ней! будто только на

всем свете одна Оксана. Слава богу, дивчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? с нее никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!» Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане.

Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.

Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании; этот вечер, однако ж, думала провесть одна, по-

тому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе: черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.

Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в ее хате, завернул к ней, в намерении провесть вечер с нею.

Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

— Спрячь меня куда-нибудь, — шептал голова. — Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок.

Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю *погулять* немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длин-

ными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

— А что это у вас, великолепная Солоха? — И, сказавши это, отскочил он несколько назад.

— Как что? Рука, Осип Никифорович! — отвечала Солоха.

— Гм! рука! хе! хе! хе! — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.

— А это что у вас, дражайшая Солоха? — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею, и таким же порядком отскочив назад.

— Будто не видите, Осип Никифорович! — отвечала Солоха. — Шея, а на шее монисто.

— Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! — И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.

— А это что у вас, несравненная Солоха?.. — Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.

— Ах, боже мой, стороннее лицо! — закричал в испуге дьяк. — Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдет до отца Кондрата!..

Но опасения дьяка были другого рода: он боялся

более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.

— Ради бога, добродетельная Солоха, — говорил он, дрожа всем телом. — Ваша доброта, как говорит писание Луки глава трина… трин… Стучатся, ей-богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!

Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.

— Здравствуй, Солоха! — сказал, входя в хату, Чуб. — Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я помешал?.. — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. — Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь?.. может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? — И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренно торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. — Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло

от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась… эк окостенели руки: не расстегну кожуха! как схватилась вьюга…

— Отвори! — раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.

— Стучит кто-то, — сказал остановившийся Чуб.

— Отвори! — закричали сильнее прежнего.

— Это кузнец! — произнес, схватясь за капелюхи, Чуб. — Слышишь, Солоха, куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною!

Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.

Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе.

В то самое время, когда Солоха затворяла за

ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить.

Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»

Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно.

— Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? — говорил кузнец, — не хочу думать о ней; а все думается, и, как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли

лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я! и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову; а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет, — вскричал он, помолчав и ободрившись, — что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму. — И бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. — Взять и этот, — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал, свернувшись, черт. — Тут, кажется, я положил струмент свой. — Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:

Мені з жінкой не возиться.

Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых козаков. То вдруг один из

толпы вместо колядки отпускал щедровку[42] и ревел во все горло:

Щедрик, ведрик!
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! и еще белее казался свет месяца от блеска снега.

Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех

---

[42] Примечания: 42
Щедровки — песенки, распевавшиеся молодежью в канун Нового года.

Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули; бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.

«Так, это она! стоит, как царица, и блестит черными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется». Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее.

— А, Вакула, ты тут! здравствуй! — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. — Ну, много наколядовал? Э, какой маленький мешок! А черевики, которые носит царица, достал? достань черевики, выйду замуж! — И, засмеявшись, убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше… — произнес он наконец. — Но боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет… Нет, невмочь уже пересилить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как

звали!»

Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом:

— Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.

Красавица казалась удивленною, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал.

— Куда, Вакула? — кричали парубки, видя бегущего кузнеца.

— Прощайте, братцы! — кричал в ответ кузнец. — Даст Бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам чудотворца и Божией Матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!

Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.

— Он повредился! — говорили парубки.

— Пропадшая душа! — набожно пробормотала проходившая мимо старуха. — Пойти рассказать, как кузнец повесился!

Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевесть духа. «Куда я, в самом деле, бегу? — подумал он, — как будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»

При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может, и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что, какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно,

и казалось — винокуренная кадь двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду.

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки, перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки.

«Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще

ленивее Чуба: тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»

Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкий поклон.

— Я к твоей милости пришел, Пацюк! — сказал Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.

— Ты, говорят, не во гнев будь сказано… — сказал, собираясь с духом, кузнец, — я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанесть какую обиду, — приходишься немного сродни черту.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативши кадушку вместе с миской, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.

Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать:

— К тебе пришел, Пацюк, дай Боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропор-

ции! — Кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. — Пропадать приходится мне, грешному! ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Пацюк? — произнес кузнец, видя неизменное его молчание, — как мне быть?

— Когда нужно черта, то и ступай к черту! — отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.

— Для того-то я и пришел к тебе, — отвечал кузнец, отвешивая поклон, — кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.

Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.

— Сделай милость, человек добрый, не откажи! — наступал кузнец, — свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности… как обыкновенно между добрыми людьми водится… не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?

— Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, — произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на

лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» — безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал.

Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, — говорил он сам себе, — как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».

Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот и уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши

губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько… Однако что за черт! ведь сегодня *голодная кутья,* а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.

Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею.

Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать; уже хотел перекреститься… Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:

— Это я — твой друг, все сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, — пискнул он ему в левое ухо. — Оксана будет сегодня же наша, — шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял, размышляя.

— Изволь, — сказал он наконец, — за такую

цену готов быть твоим!

Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! — думал он про себя, — теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей! Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумки.

— Ну, Вакула! — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал, — ты знаешь, что без контракта ничего не делают.

— Я готов! — сказал кузнец. — У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь! — Тут он заложил назад руку — и хвать черта за хвост.

— Вишь, какой шутник! — закричал, смеясь, черт. — Ну, полно, довольно уже шалить!

— Постой, голубчик! — закричал кузнец, — а вот это как тебе покажется? — При сем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. — Постой же, — сказал он, стаскивая

его за хвост на землю, — будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! — Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

— Помилуй, Вакула! — жалобно простонал черт, — все что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!

— А, вот каким голосом запел, немец проклятый! Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе, слышишь, неси, как птица!

— Куда? — произнес печальный черт.

— В Петембург, прямо к царице!

И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? «Чего доброго! может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первою красавицею на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша! Он меня ни за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он, верно, придет

поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется!» И ветреная красавица уже шутила со своими подругами.

— Постойте, — сказала одна из них, — кузнец позабыл мешки свои; смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам, верно, счету нет! Роскошь! целые праздники можно объедаться.

— Это кузнецовы мешки? — подхватила Оксана. — Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.

Все со смехом одобрили такое предложение.

— Но мы не поднимем их! — закричала вся толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки.

— Постойте, — сказала Оксана, — побежим скорее за санками и отвезем на санках!

И толпа побежала за санками.

Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть; но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех… это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невеж-

ливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс — сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше дивчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда дивчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось-либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его; но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.

— Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге! — сказал он, осматриваясь по сторонам, — должно быть, тут и свинина есть. Полезло же

кому-то счастие наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то *добре.* Хотя бы были тут одни паляницы, и то в *шмак:* жидовка за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. — Нет, одному будет тяжело несть, — проговорил он, — а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!

— Здравствуй, — сказал, остановившись, ткач.

— Куда идешь?

— А так, иду, куда ноги идут.

— Помоги, человек добрый, мешки снесть! кто-то колядовал, да и кинул посереди дороги. Добром разделимся пополам.

— Мешки? а с чем мешки, с книшами или паляницами?

— Да, думаю, всего есть.

Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.

— Куда ж мы понесем его? в шинок? — спросил дорогою ткач.

— Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще,

что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. — Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.

— Да точно ли нет дома? — спросил осторожный ткач.

— Слава богу, мы не совсем еще без ума, — сказал кум, — черт ли бы принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.

— Кто там? — закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.

Кум остолбенел.

— Вот тебе на! — произнес ткач, спустя руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старее шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий выходивший из дому никогда не брал палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его

плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подалее от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.

Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.

— Вот это хорошо! — сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. — Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди; только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите, покажите сей же час мешок ваш!

— Лысый черт тебе покажет, а не мы, — сказал, приосанясь, кум.

— Тебе какое дело? — сказал ткач, — мы нако-

лядовали, а не ты.

— Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница! — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.

Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.

— Что мы допустили ее? — сказал ткач, очнувшись.

— Э, что мы допустили! а отчего ты допустил? — сказал хладнокровно кум.

— У вас кочерга, видно, железная! — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. — Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, — та ничего… не больно.

Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.

— Э, да тут лежит целый кабан! — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.

— Кабан! слышишь, целый кабан! — толкал

ткач кума. — А все ты виноват!

— Что ж делать! — произнес, пожимая плечами, кум.

— Как что? чего мы стоим? отнимем мешок! ну, приступай!

— Пошла прочь! пошла! это наш кабан! — кричал, выступая, ткач.

— Ступай, ступай, чертова баба! это не твое добро! — говорил, приближаясь, кум.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.

— Что ж она, дура, говорит: кабан! Это не кабан! — сказал кум, выпуча глаза.

— Вишь, какого человека кинуло в мешок! — сказал ткач, пятясь от испугу. — Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко!

— Это кум! — вскрикнул, вглядевшись, кум.

— А ты думал кто? — сказал Чуб, усмехаясь. — Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы небось хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую: в мешке лежит еще

что-то, — если не кабан, то, наверно, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось.

Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.

Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.

— Вот и другой еще! — вскрикнул со страхом ткач, — черт знает как стало на свете… голова идет кругом… не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!

— Это дьяк! — произнес изумившийся более всех Чуб. — Вот тебе на! ай да Солоха! посадить в мешок… То-то, я гляжу, у нее полная хата мешков… Теперь я все знаю: у нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному… Вот тебе и Солоха!

Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки.

Голова решился молчать, рассуждая: если он

закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, — глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра.

Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по скрипучему снегу. Множество, шаля, садилось на санки; другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец приехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок.

— Посмотрим, что-то лежит тут, — закричали все, бросившись развязывать.

Тут икотка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло.

— Ах, тут сидит кто-то! — закричали все и в испуге бросились вон из дверей.

— Что за черт! куда вы мечетесь как угорелые? — сказал, входя в дверь, Чуб.

— Ах, батько! — произнесла Оксана, — в мешке сидит кто-то!

— В мешке? где вы взяли этот мешок?

— Кузнец бросил его посереди дороги, — сказали все вдруг.

«Ну, так, не говорил ли я?..» — подумал про себя Чуб.

— Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-ка, чоловиче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка!

Голова вылез.

— Ах! — вскрикнули девушки.

— И голова влез туда же, — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног, — вишь как!.. Э!.. — более он ничего не мог сказать.

Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.

— Должно быть, на дворе холодно? — сказал он, обращаясь к Чубу.

— Морозец есть, — отвечал Чуб. — А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?

Он хотел не то сказать, он хотел спросить: «Как ты, голова, залез в этот мешок?» — но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.

— Дегтем лучше! — сказал голова. — Ну, прощай, Чуб!

И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.

— Для чего спросил я сдуру, чем он мажет сапоги! — произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. — Ай да Солоха! эдакого

человека засадить в мешок!.. Вишь, чертова баба! А я дурак… да где же тот проклятый мешок?

— Я кинула его в угол, там больше ничего нет, — сказала Оксана.

— Знаю я эти штуки, ничего нет! подайте его сюда: там еще один сидит! Встряхните его хорошенько… Что, нет?.. Вишь, проклятая баба! А поглядеть на нее — как святая, как будто и скоромного никогда не брала в рот.

Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.

Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как

вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма… много еще дряни встречали они. Всё, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова неслось далее и продолжало свое; кузнец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне середи улицы. Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; домы росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, унизанными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось,

что все домы устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства! — подумал кузнец. — Я думаю, каждый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта: «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно, — подумал кузнец. — Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью чрез Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; все бы таки посоветоваться с ними».

— Эй, сатана, полезай ко мне в карман да веди к запорожцам!

Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные

дегтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.

— Здравствуйте, панове! помогай Бог вам! вот где увиделись! — сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.

— Что там за человек? — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее.

— А вы не познали? — сказал кузнец, — это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!

— А! — сказал тот же запорожец, — это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?

— А так, захотелось поглядеть, говорят…

— Что ж, земляк, — сказал, приосанясь, запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски, — што балшой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.

— Губерния знатная! — отвечал он равнодушно. — Нечего сказать: домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны

буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!

Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.

— После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице.

— К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою!

— Тебя? — произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. — Что ты будешь там делать? Нет, не можно. — При этом на лице его выразилась значительная мина. — Мы, брат, будем с царицей толковать про свое.

— Возьмите! — настаивал кузнец. — Проси! — шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману.

Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил:

— Возьмем его, в самом деле, братцы!

— Пожалуй, возьмем! — произнесли другие.

— Надевай же платье такое, как и мы.

Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший

с позументами человек сказал, что пора ехать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные домы и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.

«Боже ты мой, какой свет! — думал про себя кузнец. — У нас днем не бывает так светло».

Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу.

— Что за лестница! — шептал про себя кузнец, — жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой черт лгут! боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была Пречистая Дева с младенцем на руках. «Что за картина! что за чудная живопись! — рассуждал он, — вот, кажется, говорит!

кажется, живая! а дитя святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! а краски! боже ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан[43]; а голубая так и горит! важная работа! должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка, — продолжал он, подходя к двери и щупая замок, — еще большего достойна удивления. Эк какая чистая выделка! это всё, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали…»

Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.

Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-

---

[43] Примечания: 43

Ярь — блестящая белая краска; *бакан* — багряная краска.

то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам.

Запорожцы отвесили все поклон в ноги.

— Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.

– *Та вси, батько!* — отвечали запорожцы, кланяясь снова.

— Не забудете говорить так, как я вас учил?

— Нет, батько, не позабудем.

— Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев.

— Куда тебе царь! это сам Потемкин, — отвечал тот.

В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных в шитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все

пали на землю и закричали в один голос:

— Помилуй, мамо! помилуй!

Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.

— Встаньте, — прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.

— Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а не встанем! — кричали запорожцы.

Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.

Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами, и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.

— Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. — Хорошо ли вас здесь содержат? — продолжала она, подходя ближе.

– *Та спасиби, мамо*! Провиянт дают хороший,

хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье, — почему ж не жить как-нибудь?..

Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил…

Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед:

— Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слышали, что хочешь *поворотить в карабинеры;* теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию через Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..

Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.

— Чего же хотите вы? — заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули друг на друга.

«Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!» — сказал сам себе кузнец и вдруг повалился

на землю.

— Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевики!

Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.

— Встань! — сказала ласково государыня. — Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, — предмет, достойный остроумного пера вашего!

— Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере,

Лафонтена! — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.

— По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, — я слышала, что на Сечи у вас никогда не женятся.

– *Як же, мамо!* ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить, — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ! — подумал он сам себе, — верно, недаром он это делает».

— Мы не чернецы, — продолжал запорожец, — а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, до скоромного. Есть у нас не мало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на Сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украине; есть такие, что имеют жен и в Турецине.

В это время кузнецу принесли башмаки.

— Боже ты мой, что за украшение! — вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. — Ваше царское

величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах и в них, чаятельно, ваше благородие, ходите и на лед *ковзаться*[44], какие ж должны быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара.

Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед да сало, и тому подобное; но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать; и когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, — он, отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» — и вдруг очутился за шлахбаумом.

— Утонул! ей-богу, утонул! вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посереди

---

[44] Примечания: 44

Ковзаться — кататься на льду, скользить.

улицы.

— Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-нибудь корову украла? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? — кричала баба в козацкой свитке, с фиолетовым носом, размахивая руками. — Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!

— Кузнец повесился? вот тебе на! — сказал голова, выходивший от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.

— Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! — отвечала ткачиха, — нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! утонул в пролубе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.

— Срамница! вишь, чем стала попрекать! — гневно возразила баба с фиолетовым носом. — Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?

Ткачиха вспыхнула.

— Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?

— Дьяк? — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха, в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкой. — Я дам знать дьяка! Кто это гово-

рит — дьяк?

— А вот к кому ходит дьяк! — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.

— Так это ты, сука, — сказала дьячиха, подступая к ткачихе, — так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе?

— Отвяжись от меня, сатана! — говорила, пятясь, ткачиха.

— Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! Тьфу!.. — Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.

Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.

— А, скверная баба! — закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. — Экая мерзость! — повторял он, продолжая обтираться. — Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была! Да, — продолжал он, задумавшись, — таких людей мало у нас на селе. То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал,

что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! А я собирался было подковать свою рябую кобылу!..

И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.

Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб; она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдется такой молодец, как кузнец! Он же так любил ее! Он долее всех выносил ее капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый — и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнув, решалась ни о чем не думать — и все думала. И вся горела; и к утру влюбилась по уши в кузнеца.

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до света бы-

ла полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах[45] с золотыми назади усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большею частию в кобеняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою; дивчата помышляли о том, как они будут *ковзаться с хлопцами* на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя: молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смуще-

[45] Примечания: 45
Кунтуш — род верхней мужской одежды.

ние; слезы дрожали на глазах. Дивчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник — как будто не праздник; что как будто все чего-то недостает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара[46]. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня… куда же это, в самом деле, запропастился кузнец?

Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? — закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта, — постой, приятель, еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только

[46] Примечания: 46
Титар — церковный староста.

что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился

прямо к Чубу.

Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:

— Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всем каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.

Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.

— Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?

— Отдай, батько, за меня Оксану!

Чуб немного подумал, поглядел на шапку и

пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:

– *Добре!* присылай сватов!

— Ай! — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.

— Погляди, какие я тебе принес черевики! — сказал Вакула, — те самые, которые носит царица.

— Нет! нет! мне не нужно черевиков! — говорила она, махая руками и не сводя с него очей, — я и без черевиков... — Далее она не договорила и покраснела.

Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.

— А чья это такая размалеванная хата? — спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.

— Кузнеца Вакулы, — сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

— Славно! славная работа! — сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.

Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: *«Он бачь, яка кака намалевана!»* — и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.

Страшная месть

I

Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хоро-

шенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названый брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, где, промеж двумя горами, был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовым сыном. Дивилися гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого полутабенеку, сапогам с серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарассказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой земле! Там все не так: и люди не те, и церквей Христовых нет… Но он не приехал.

Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде коровай. Музыканты принялись за исподку его, спеченную вместе с деньгами, и, на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрыпки и бубны. Между тем

молодицы и дивчата, утершись шитыми платками, выступали снова из рядов своих; а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, — как старый есаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать короткую молитву… как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков — никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак — старик.

— Это он! это он! — кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу.

— Колдун показался снова! — кричали матери,

хватая на руки детей своих.

Величаво и сановито выступил вперед есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы:

— Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места! — И, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик.

Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом.

— Что это за колдун? — спрашивали молодые и небывалые люди.

— Беда будет! — говорили старые, крутя головами. И везде, по всему широкому подворью есаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разно, и наверно никто не мог рассказать про него.

На двор выкатили бочку меду и не мало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули; дивчата, молодицы, лихое козачество в ярких жупанах понеслись. Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи, и пировали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело восвояси: много осталось ночевать у есаула на широком

дворе; а еще больше козачества заснуло само, непрошеное, под лавками, на полу, возле коня, близ хлева; где пошатнулась с хмеля козацкая голова, там и лежит и храпит на весь Киев.

II

Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою дорогою и белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен.

Посереди Днепра плыл дуб[47]. Сидят впереди два хлопца; черные козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны.

Отчего не поют козаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украине ксендзы и перекрещивают козацкий народ в католиков; ни о том, как два дни билась при Соленом озере орда[48]. Как им петь, как говорить про лихие дела: пан их Данило

---

[47] Примечания: 47

Дуб — лодка.

[48] Примечания: 48

Имеется в виду поход запорожцев на Крымское ханство в 1620 году и сражение на берегу Сиваша («Соленое озеро»).

призадумался, и рукав кармазинного[49] жупана опустился из дуба и черпает воду; пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на незастланную полотном нарядную сукню серою пылью валится вода.

Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса! Горы те — не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою и над волосами высокое небо. Те луга — не луга: то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц.

Не глядит пан Данило по сторонам, глядит он на молодую жену свою.

— Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалася в печаль?

— Я не в печаль вдалася, пан мой Данило! Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным… и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан

---

[49] Примечания: 49

Кармазинный — красного сукна.

Данило, как страшно говорят: что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выскаливает зубы. И на другой день находили мертвым того человека. Мне чудно, мне страшно было, когда я слушала эти рассказы, — говорила Катерина, вынимая платок и вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды.

Пан Данило ни слова и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернел земляной вал, из-за вала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины; левая рука гладила молодецкие усы.

— Не так еще страшно, что колдун, — говорил он, — как страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда… Я разметаю чертовское гнездо, если только пронесется слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол! Если у него водится золото…

Мы сейчас будем плыть мимо крестов — это кладбище! тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку сатане с душою и ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то мешкать нечего теперь: не всегда на войне можно добыть…

— Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь, очи твои так угрюмо надвинулись бровями!..

— Молчи, баба! — с сердцем сказал Данило. — С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку! — Тут оборотился он к одному из гребцов, который, выколотивши из своей люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку своего пана. — Пугает меня колдуном! — продолжал пан Данило. — Козак, слава богу, ни чертей, ни ксендзов не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться жен. Не так ли, хлопцы? наша жена — люлька да острая сабля!

Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть середи ночи.

Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище: ветхие кресты

толпились в кучку. Ни калина не растет меж ними, ни трава не зеленеет, только месяц греет их с небесной вышины.

— Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зовет нас на помощь! — сказал пан Данило, оборотясь к гребцам своим.

— Мы слышим крики, и кажется, с той стороны, — разом сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и пан Данило: страх и холод прорезался в козацкие жилы.

Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длинее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне! душно!» — простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего; весь зарос, борода по колена и еще длиннее костяные когти. Еще диче закричал он: «Душно мне!» — и

ушел под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею. Борода по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости…

Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул.

Все вдруг пропало, как будто не бывало; однако ж долго хлопцы не брались за весла.

Заботливо поглядел Бурульбаш на молодую жену, которая в испуге качала на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб.

— Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нет! — говорил он, указывая по сторонам. — Это колдун хочет устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим! Дай сюда на руки мне сына! — При сем слове поднял пан Данило своего сына вверх и поднес к губам. — Что, Иван, ты не боишься колдунов? «Нет, говори, тятя, я козак». Полно же, перестань плакать! домой приедем! Приедем домой — мать накормит кашей, положит тебя

спать в люльку, запоет:

Люли, люли, люли!
Люли, сынку, люли!
Да вырастай, вырастай в забаву!
Козачеству на славу,
Вороженькам в расправу!

Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится… Ну, недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за козацкую волю! не покачал на руках дитяти! Сперва было я ему хотел поверить все, что лежит на сердце, да не берет что-то, и речь заикнулась. Нет, у него не козацкое сердце! Козацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу! Что, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стецько, дам выложенную бархатом и золотом. Я ее снял вместе с головою у татарина. Весь его снаряд достался мне; одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай! Вот, Иван, мы и приехали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина!

Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто

верст пройди, не сыщешь ни одного козака.

III

Хутор пана Данила между двумя горами, в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы: хата на вид как и у простых козаков, и в ней одна светлица; но есть где поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и десяти отборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов; немало зато и вызубрены. Глядя на них, пан Данило как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеною, внизу, дубовые гладкие вытесанные лавки. Возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило. На лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу покотом ночуют молодцы. Но козаку лучше спать на глад-

кой земле при вольном небе; ему не пуховик и не перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись середи ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть козацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух.

Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья и, проснувшись, сел в углу на лавке и начал наточивать новую, вымененную им, турецкую саблю; а пани Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах, приступил к дочке и сурово стал выспрашивать ее: что за причина тому, что так поздно воротилась она домой.

— Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а муж отвечает. У нас уже так водится, не погневайся! — говорил Данило, не оставляя своего дела. — Может, в иных неверных землях этого не бывает — я не знаю.

Краска выступила на суровом лице тестя, и очи дико блеснули.

— Кому ж, как не отцу, смотреть за своею

дочкой! — бормотал он про себя. — Ну, я тебя спрашиваю: где таскался до поздней ночи?

— А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне. Умею держать в руках и саблю острую. Еще кое-что умею… Умею никому и ответа не давать в том, что делаю.

— Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, верно, на уме недоброе дело.

— Думай себе что хочешь, — сказал Данило, — думаю и я себе. Слава богу, ни в одном еще бесчестном деле не был; всегда стоял за веру православную и отчизну, — не так, как иные бродяги таскаются бог знает где, когда православные бьются насмерть, а после нагрянут убирать не ими засеянное жито. На униатов[50] даже не похожи: не заглянут в Божию церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются.

— Э, козак! знаешь ли ты… я плохо стреляю: всего за сто сажен пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно: от человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу.

---

[50] Примечания: 50

Униаты — принявшие унию, то есть объединение православной церкви с католической под властью римского папы.

— Я готов, — сказал пан Данило, бойко перекрестивши воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил.

— Данило! — закричала громко Катерина, ухвативши его за руку и повиснув на ней. — Вспомни, безумный, погляди, на кого ты подымаешь руку! Батько, твои волосы белы, как снег, а ты разгорелся, как неразумный хлопец!

— Жена! — крикнул грозно пан Данило, — ты знаешь, я не люблю этого. Ведай свое бабье дело!

Сабли страшно звукнули; железо рубило железо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя козаки. С плачем ушла Катерина в особую светлицу, кинулась в постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились козаки, чтобы можно было заглушить их удары. Сердце ее хотело разорваться на части. По всему ее телу слышала она, как проходили звуки: тук, тук. «Нет, не вытерплю, не вытерплю… Может, уже алая кровь бьет ключом из белого тела. Может, теперь изнемогает мой милый; а я лежу здесь!» И вся бледная, едва переводя дух, вошла в хату.

Ровно и страшно бились козаки. Ни тот, ни другой не одолевает. Вот наступает Катеринин отец — подается пан Данило. Наступает пан Да-

нило — подается суровый отец, и опять наравне. Кипят. Размахнулись… ух! сабли звенят… и, гремя, отлетели в сторону клинки.

— Благодарю тебя, Боже! — сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидела, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки.

Выстрелил пан Данило — не попал. Нацелился отец… Он стар; он видит не так зорко, как молодой, однако ж не дрожит его рука. Выстрел загремел… Пошатнулся пан Данило. Алая кровь выкрасила левый рукав козацкого жупана.

— Нет! — закричал он, — я не продам так дешево себя. Не левая рука, а правая атаман. Висит у меня на стене турецкий пистолет; еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне. Слезай с стены, старый товарищ! покажи другу услугу! — Данило протянул руку.

— Данило! — закричала в отчаянии, схвативши его за руки и бросившись ему в ноги, Катерина. — Не за себя молю. Мне один конец: та недостойная жена, которая живет после своего мужа; Днепр, холодный Днепр будет мне могилою… Но погляди на сына, Данило, погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя? Кто приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, биться за волю и

веру, пить и гулять по-козацки? Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой! Гляди, как он отворачивает лицо свое. О! я теперь знаю тебя! ты зверь, а не человек! у тебя волчье сердце, а душа лукавой гадины. Я думала, что у тебя капля жалости есть, что в твоем каменном теле человечье чувство горит. Безумно же я обманулась. Тебе это радость принесет. Твои кости станут танцевать в гробе с веселья, когда услышат, как нечестивые звери ляхи кинут в пламя твоего сына, когда сын твой будет кричать под ножами и окропом[51]. О, я знаю тебя! Ты рад бы из гроба встать и раздувать шапкою огонь, взвихрившийся под ним!

— Постой, Катерина! ступай, мой ненаглядный Иван, я поцелую тебя! Нет, дитя мое, никто не тронет волоска твоего. Ты вырастешь на славу отчизны; как вихорь будешь ты летать перед козаками, с бархатною шапочкою на голове, с острою саблею в руке. Дай, отец, руку! Забудем бывшее между нами. Что сделал перед тобою неправого — винюсь. Что же ты не даешь руки? — говорил Данило отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своем

---

[51] Примечания: 51

Окроп — кипящая жидкость.

ни гнева, ни примирения.

— Отец! — вскричала Катерина, обняв и поцеловав его. — Не будь неумолим, прости Данила: он не огорчит больше тебя!

— Для тебя только, моя дочь, прощаю! — отвечал он, поцеловав ее и блеснув странно очами. Катерина немного вздрогнула: чуден показался ей и поцелуй, и странный блеск очей. Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненую свою руку пан Данило, передумывая, что худо и не по-козацки сделал, просивши прощения, не будучи ни в чем виноват.

IV

Блеснул день, но не солнечный: небо хмурилось и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна.

— Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился!

— Какой сон, моя любая пани Катерина?

— Снилось мне, чудно, право, и так живо, будто наяву, снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видали у есаула. Но прошу те-

бя, не верь сну. Каких глупостей не привидится! Будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если бы ты слышал, что он говорил…

— Что же он говорил, моя золотая Катерина?

— Говорил: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорош! Люди напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами!» Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась.

— Да, сны много говорят правды. Однако ж знаешь ли ты, что за горою не так спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мне Горобець прислал сказать, чтобы я не спал. Напрасно только он заботится; я и без того не сплю. Хлопцы мои в эту ночь срубили двенадцать засеков. Посполитство[52] будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют и от батогов.

— А отец знает об этом?

— Сидит у меня на шее твой отец! я до сих пор разгадать его не могу. Много, верно, он грехов наделал в чужой земле. Что ж, в самом деле, за причина: живет около месяца и хоть бы раз развеселился, как добрый козак! Не захотел вы-

---

[52] Примечания: 52

Посполитство — польские и литовские паны.

пить меду! слышишь, Катерина, не захотел меду выпить, который я вытрусил у брестовских жидов. Эй, хлопец! — крикнул пан Данило. — Беги, малый, в погреб да принеси жидовского меду! Горелки даже не пьет! экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в господа Христа не верует. А? как тебе кажется?

— Бог знает что говоришь ты, пан Данило!

— Чудно, пани! — продолжал Данило, принимая глиняную кружку от козака, — поганые католики даже падки до водки; одни только турки не пьют. Что, Стецько, много хлебнул меду в подвале?

— Попробовал только, пан!

— Лжешь, собачий сын! вишь, как мухи напали на усы! Я по глазам вижу, что хватил с полведра. Эх, козаки! что за лихой народ! все готов товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян. А?

— Вот давно! а в прошедший…

— Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вот и турецкий игумен влазит в дверь! — проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтоб войти в дверь, тестя.

— А что ж это, моя дочь! — сказал отец, снимая с головы шапку и поправив пояс, на котором

висела сабля с чудными каменьями, — солнце уже высоко, а у тебя обед не готов.

— Готов обед, пан отец, сейчас поставим! Вынимай горшок с галушками! — сказала пани Катерина старой прислужнице, обтиравшей деревянную посуду. — Постой, лучше я сама выну, — продолжала Катерина, — а ты позови хлопцев.

Все сели на полу в кружок: против покута пан отец, по левую руку пан Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивернейших молодцов в синих и желтых жупанах.

— Не люблю я этих галушек! — сказал пан отец, немного поевши и положивши ложку, — никакого вкуса нет!

«Знаю, что тебе лучше жидовская лапша», — подумал про себя Данило.

— Отчего же, тесть, — продолжал он вслух, — ты говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделаны, что ли? Моя Катерина так делает галушки, что и гетъману редко достается есть такие. А брезгать ими нечего. Это христианское кушанье! Все святые люди и угодники Божии едали галушки.

Ни слова отец; замолчал и пан Данило.

Подали жареного кабана с капустою и сливами.

— Я не люблю свинины! — сказал Катеринин отец, выгребая ложкою капусту.

— Для чего же не любить свинины? — сказал Данило. — Одни турки и жиды не едят свинины.

Еще суровее нахмурился отец.

Только одну лемишку с молоком и ел старый отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду.

Пообедавши, заснул Данило молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данило, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр. За Днепром синеют леса. Мелькает сверху прояснившееся ночное небо. Но не далеким небом и не синим лесом любуется пан Данило: глядит он на выдавшийся мыс, на котором чернел старый замок. Ему почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко. Но все тихо. Это, верно, показалось ему. Слышно только, как глухо шумит внизу Днепр и с трех сторон, один за другим, отдаются удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует. Он, как старик, ворчит и ропщет; ему все не мило; все переменилось около него; тихо враждует он

с прибережными горами, лесами, лугами и несет на них жалобу в Черное море.

Вот по широкому Днепру зачернела лодка, и в замке снова как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данило, и выбежал на свист верный хлопец.

— Бери, Стецько, с собою скорее острую саблю да винтовку да ступай за мною!

— Ты идешь? — спросила пани Катерина.

— Иду, жена. Нужно обсмотреть все места, все ли в порядке.

— Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и клонит. Что, если мне приснится то же самое? я даже не уверена, точно ли то сон был, — так это происходило живо.

— С тобою старуха остается; а в сенях и на дворе спят козаки!

— Старуха спит уже, а козакам что-то не верится. Слушай, пан Данило, замкни меня в комнате, а ключ возьми с собою. Мне тогда не так будет страшно; а козаки пусть лягут перед дверями.

— Пусть будет так! — сказал Данило, стирая пыль с винтовки и сыпля на полку порох.

Верный Стецько уже стоял одетый во всей козацкой сбруе. Данило надел смушевую шапку, закрыл окошко, задвинул засовами дверь, за-

мкнул и вышел потихоньку из двора, промеж спавшими своими козаками, в горы.

Небо почти все прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то все бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох… Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывавший срубленный засек. Кто-то в красном жупане, с двумя пистолетами, с саблею при боку, спускался с горы.

— Это тесть! — проговорил пан Данило, разглядывая его из-за куста. — Зачем и куда ему идти в эту пору? Стецько! не зевай, смотри в оба глаза, куда возьмет дорогу пан отец. — Человек в красном жупане сошел на самый берег и поворотил к выдавшемуся мысу. — А! вот куда! — сказал пан Данило. — Что, Стецько, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло.

— Да, верно, не в другое место, пан Данило! иначе мы бы видели его на другой стороне. Но он пропал около замка.

— Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут что-нибудь да кроется. Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец твой недобрый человек; не так он и делал все, как православный.

Уже мелькнули пан Данило и его верный хло-

пец на выдавшемся берегу. Вот уже их и не видно. Непробудный лес, окружавший замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо засветилось. Внизу стоят козаки и думают, как бы влезть им. Ни ворот, ни дверей не видно. Со двора, верно, есть ход; но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки.

— Что я думаю долго! — сказал пан Данило, увидя перед окном высокий дуб. — Стой тут, малый! я полезу на дуб; с него прямо можно глядеть в окошко.

Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не звенела, и, ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко все еще светилось. Присевши на сук, возле самого окна, уцепился он рукою за дерево и глядит: в комнате и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки. Висит оружие, но все странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри[53], и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрыпа дверь. Входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белою скатертью. «Это он, это тесть!»

---

[53] Примечания: 53

Нетопырь — летучая мышь.

Пан Данило опустился немного ниже и прижался крепче к дереву.

Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет. Он пришел пасмурен, не в духе, сдернул со стола скатерть — и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет. Только не смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на мраморе. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то травы.

Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жупана; вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянул в лицо — и лицо стало переменяться: нос вытянулся и повиснул над губами; рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, — и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула. «Правдив сон твой, Катерина!» — подумал Бурульбаш.

Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее переменяться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и

вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем как будто потухнул. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам, и вдруг пропал, и стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блестит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо, и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы, не спит ли), что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли; около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль; висит люлька… но вместо образов выглядывают страшные лица; на лежанке… но сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно. И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха,

что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет, и мелькают на стене знаки? Вот она как-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по плечам ее, будто светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь бело-прозрачное утреннее небо льется едва приметный алый свет зари; брови слабо темнеют… Ах! это Катерина! Тут почувствовал Данило, что члены у него оковались; он силился говорить, но губы шевелились без звука.

Неподвижно стоял колдун на своем месте.

— Где ты была? — спросил он, и стоявшая перед ним затрепетала.

— О! зачем ты меня вызвал? — тихо простонала она. Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве: и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу… Отец! — тут она вперила в колдуна бледные очи, — зачем ты зарезал мать мою?

Грозно колдун погрозил пальцем.

— Разве я тебя просил говорить про это? — И воздушная красавица задрожала. — Где теперь пани твоя?

— Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать. Мне вдруг сделалось пятнадцать лет. Я вся стала легка, как птица. Зачем ты меня вызвал?

— Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера? — спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать.

— Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это! Бедная Катерина! она многого не знает из того, что знает душа ее.

«Это Катеринина душа», — подумал пан Данило; но все еще не смел пошевелиться.

— Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?

— Ты опять за старое! — грозно прервал колдун. — Я поставлю на своем, я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит меня!..

— О, ты чудовище, а не отец мой! — простонала она. — Нет, не будет по-твоему! Правда, ты взял

нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но один только Бог может заставлять ее делать то, что ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решится на богопротивное дело. Отец, близок Страшный суд! Если б ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любому, верному мужу. Если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что Бог не любит клятвопреступных и неверных душ.

Тут вперила она бледные очи свои в окошко, под которым сидел пан Данило, и недвижно остановилась…

— Куда ты глядишь? Кого ты там видишь? — закричал колдун.

Воздушная Катерина задрожала. Но уже пан Данило был давно на земле и пробирался с своим верным Стецьком в свои горы. «Страшно, страшно!» — говорил он про себя, почувствовав какую-то робость в козацком сердце, и скоро прошел двор свой, на котором так же крепко спали козаки, кроме одного, сидевшего на стороже и курившего люльку. Небо все было засеяно звездами.

V

— Как хорошо ты сделал, что разбудил меня! — говорила Катерина, протирая очи шитым рукавом своей сорочки и разглядывая с ног до головы стоявшего перед нею мужа. — Какой страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя! Ух!.. Мне казалось, что я умираю…

— Какой же сон, уж не этот ли? — И стал Бурульбаш рассказывать жене своей все им виденное.

— Ты как это узнал, мой муж? — спросила, изумившись, Катерина. — Но нет, многое мне неизвестно из того, что ты рассказываешь. Нет, мне не снилось, чтобы отец убил мать мою; ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет, Данило, ты не так рассказываешь. Ах, как страшен отец мой!

— И не диво, что тебе многое не виделось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знает душа. Знаешь ли, что отец твой антихрист? Еще в прошлом году, когда собирался я вместе с ляхами на крымцев (тогда еще я держал руку этого неверного народа), мне говорил игумен Братского монастыря, — он, жена, святой человек, — что антихрист имеет власть вызывать душу каждого человека;

а душа гуляет по своей воле, когда заснет он, и летает вместе с архангелами около Божией светлицы. Мне с первого раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе; я бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым племенем.

— Данило! — сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая, — я ли виновна в чем перед тобою? Я ли изменила тебе, мой любый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Не верно разве служила тебе? сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселе с молодецкой пирушки? тебе ли не родила чернобрового сына?..

— Не плачь, Катерина, я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце твоем.

— Нет, не называй его отцом моим! Он не отец мне. Бог свидетель, я отрекаюсь от него, отрекаюсь от отца! Он антихрист, богоотступник! Пропадай он, тони он — не подам руки спасти его. Сохни он от тайной травы — не подам воды напиться ему. Ты у меня отец мой!

VI

В глубоком подвале у пана Данила, за тремя замками, сидит колдун, закованный в железные цепи; а подале над Днепром горит бесовский его замок, и алые, как кровь, волны хлебещут и толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство и не за богопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун: им судия Бог; сидит он за тайное предательство, за сговоры с врагами православной Русской земли — продать католикам украинский народ и выжечь христианские церкви. Угрюм колдун; дума черная, как ночь, у него в голове. Всего только один день остается жить ему, а завтра пора распрощаться с миром. Завтра ждет его казнь. Не совсем легкая казнь его ждет; это еще милость, когда сварят его живого в котле или сдерут с него грешную кожу. Угрюм колдун, поникнул головою. Может быть, он уже и кается перед смертным часом, только не такие грехи его, чтобы бог простил ему. Вверху перед ним узкое окно, переплетенное железными палками. Гремя цепями, подвелся он к окну поглядеть, не пройдет ли его дочь. Она кротка, не памятозлобна, как голубка, не умилосердится ли над отцом… Но

никого нет. Внизу бежит дорога; по ней никто не пройдет. Пониже ее гуляет Днепр; ему ни до кого нет дела: он бушует, и унывно слышать колоднику однозвучный шум его.

Вот кто-то показался по дороге — это козак! И тяжело вздохнул узник. Опять все пусто. Вот кто-то вдали спускается… Развевается зеленый кунтуш… горит на голове золотой кораблик… Это она! Еще ближе приникнул он к окну. Вот уже подходит близко…

— Катерина! дочь! умилосердись, подай милостыню!..

Она нема, она не хочет слушать, она и глаз не наведет на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всем мире. Унывно шумит Днепр. Грусть залегает в сердце. Но ведает ли эту грусть колдун?

День клонится к вечеру. Уже солнце село. Уже и нет его. Уже и вечер: свежо; где-то мычит вол; откуда-то навеваются звуки, — верно, где-нибудь народ идет с работы и веселится; по Днепру мелькает лодка… кому нужда до колодника! Блеснул на небе серебряный серп. Вот кто-то идет с противной стороны по дороге. Трудно разглядеть в темноте. Это возвращается Катерина.

— Дочь, Христа ради! и свирепые волченята

не станут рвать свою мать, дочь, хотя взгляни на преступного отца своего! — Она не слушает и идет. — Дочь, ради несчастной матери!.. — Она остановилась. — Приди принять последнее мое слово!

— Зачем ты зовешь меня, богоотступник? Не называй меня дочерью! Между нами нет никакого родства. Чего ты хочешь от меня ради несчастной моей матери?

— Катерина! Мне близок конец: я знаю, меня твой муж хочет привязать к кобыльему хвосту и пустить по полю, а может, еще и страшнейшую выдумает казнь…

— Да разве есть на свете казнь, равная твоим грехам? Жди ее; никто не станет просить за тебя.

— Катерина! меня не казнь страшит, но муки на том свете… Ты невинна, Катерина, душа твоя будет летать в рае около бога; а душа богоотступного отца твоего будет гореть в огне вечном, и никогда не угаснет тот огонь: все сильнее и сильнее будет он разгораться: ни капли росы никто не уронит, ни ветер не пахнет…

— Этой казни я не властна умалить, — сказала Катерина, отвернувшись.

— Катерина! постой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, как добр

и милосерд бог. Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым.

— Что я могу сделать, чтобы спасти твою душу? — сказала Катерина, — мне ли, слабой женщине, об этом подумать!

— Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы все кинул. Покаюсь: пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу, день и ночь буду молиться Богу. Не только скоромного, не возьму рыбы в рот! не постелю одежды, когда стану спать! и все буду молиться, все молиться! И когда не снимет с меня милосердие Божие хотя сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю или замуруюсь в каменную стену; не возьму ни пищи, ни пития и умру; а все добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей правили по мне панихиду.

Задумалась Катерина.

— Хотя я отопру, но мне не расковать твоих цепей.

— Я не боюсь цепей, — говорил он. — Ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги? Нет, я напустил им в глаза туман и вместо руки протянул сухое дерево. Вот я, гляди, на мне нет теперь ни одной цепи! — сказал он, выходя на середи-

ну. — Я бы и стен этих не побоялся и прошел бы сквозь них, но муж твой и не знает, какие это стены. Их строил святой схимник, и никакая нечистая сила не может отсюда вывесть колодника, не отомкнув тем самым ключом, которым замыкал святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себе, неслыханный грешник, когда выйду на волю.

— Слушай, я выпущу тебя; но если ты меня обманываешь, — сказала Катерина, остановившись пред дверью, — и, вместо того чтобы покаяться, станешь опять братом черту?

— Нет, Катерина, мне не долго остается жить уже. Близок и без казни мой конец. Неужели ты думаешь, что я предам сам себя на вечную муку?

Замки загремели.

— Прощай! храни тебя Бог милосердый, дитя мое! — сказал колдун, поцеловав ее.

— Не прикасайся ко мне, неслыханный грешник, уходи скорее!.. — говорила Катерина. Но его уже не было.

— Я выпустила его, — сказала она, испугавшись и дико осматривая стены. — Что я стану теперь отвечать мужу? Я пропала. Мне живой теперь остается зарыться в могилу! — и, зарыдав, почти упала она на пень, на котором сидел колодник. —

Но я спасла душу, — сказала она тихо. — Я сделала богоугодное дело. Но муж мой… Я в первый раз обманула его. О, как страшно, как трудно будет мне перед ним говорить неправду. Кто-то идет! Это он! муж! — вскрикнула она отчаянно и без чувств упала на землю.

VII

— Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько! — услышала Катерина, очнувшись, и увидела перед собою старую прислужницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шептала и, протянув над нею иссохшую руку свою, опрыскивала ее холодною водою.

— Где я? — говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. — Передо мною шумит Днепр, за мною горы… куда завела меня ты, баба?

— Я тебя не завела, а вывела; вынесла на руках моих из душного подвала. Замкнула ключиком, чтобы тебе не досталось чего от пана Данила.

— Где же ключ? — сказала Катерина, поглядывая на свой пояс. — Я его не вижу.

— Его отвязал муж твой, поглядеть на колдуна, дитя мое.

— Поглядеть?.. Баба, я пропала! — вскрикнула

Катерина.

— Пусть Бог милует нас от этого, дитя мое! Молчи только, моя паняночка, никто ничего не узнает!

— Он убежал, проклятый антихрист! Ты слышала, Катерина? он убежал! — сказал пан Данило, приступая к жене своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его.

Помертвела жена.

— Его выпустил кто-нибудь, мой любый муж? — проговорила она, дрожа.

— Выпустил, правда твоя; но выпустил черт. Погляди, вместо него бревно заковано в железо. Сделал же Бог так, что черт не боится козачьих лап! Если бы только думу об этом держал в голове хоть один из моих козаков и я бы узнал… я бы и казни ему не нашел!

— А если бы я?.. — невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась.

— Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мне была. Я бы тебя зашил тогда в мешок и утопил бы на самой середине Днепра!..

Дух занялся у Катерины, и ей чудилось, что волоса стали отделяться на голове ее.

VIII

На пограничной дороге, в корчме, собрались ляхи и пируют уже два дни. Что-то немало всей сволочи. Сошлись, верно, на какой-нибудь наезд: у иных и мушкеты есть; чокают шпоры, брякают сабли. Паны веселятся и хвастают, говорят про небывалые дела свои, насмехаются над православьем, зовут народ украинский своими холопьями и важно крутят усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавках. С ними и ксендз вместе. Только и ксендз у них на их же стать, и с виду даже не похож на христианского попа: пьет и гуляет с ними и говорит нечестивым языком своим срамные речи. Ни в чем не уступает им и челядь: позакидали назад рукава оборванных жупанов своих и ходят козырем, как будто бы что путное. Играют в карты, бьют картами один другого по носам. Набрали с собою чужих жен. Крик, драка!.. Паны беснуются и отпускают штуки: хватают за бороду жида, малюют ему на нечестивом лбу крест; стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна на Русской земле и от татар. Видно, уже ей Бог определил за грехи тер-

петь такое посрамление! Слышно между общим содомом, что говорят про заднепровский хутор пана Данила, про красавицу жену его… Не на доброе дело собралась эта шайка!

IX

Сидит пан Данило за столом в своей светлице, подпершись локтем, и думает. Сидит на лежанке пани Катерина и поет песню.

— Чего-то грустно мне, жена моя! — сказал пан Данило. — И голова болит у меня, и сердце болит. Как-то тяжело мне! Видно, где-то недалеко уже ходит смерть моя.

«О мой ненаглядный муж! приникни ко мне головою своею! Зачем ты приголубливаешь к себе такие черные думы», — подумала Катерина, да не посмела сказать. Горько ей было, повинной голове, принимать мужние ласки.

— Слушай, жена моя! — сказал Данило, — не оставляй сына, когда меня не будет. Не будет тебе от Бога счастия, если ты кинешь его, ни в том, ни в этом свете. Тяжело будет гнить моим костям в сырой земле; а еще тяжелее будет душе моей.

— Что говоришь ты, муж мой! Не ты ли издевался над нами, слабыми женами? А теперь

сам говоришь, как слабая жена. Тебе еще долго нужно жить.

— Нет, Катерина, чует душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свете. Времена лихие приходят. Ох, помню, помню я годы; им, верно, не воротиться! Он был еще жив, честь и слава нашего войска, старый Конашевич! Как будто перед очами моими проходят теперь козацкие полки! Это было золотое время, Катерина! Старый гетьман сидел на вороном коне. Блестела в руке булава; вокруг сердюки; по сторонам шевелилось красное море запорожцев. Стал говорить гетьман — и все стало как вкопанное. Заплакал старичина, как зачал воспоминать нам прежние дела и сечи. Эх, если б ты знала, Катерина, как резались мы тогда с турками! На голове моей виден и доныне рубец. Четыре пули пролетело в четырех местах сквозь меня. И ни одна из ран не зажила совсем. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие каменья шапками черпали козаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали! Ох, не воевать уже мне так! Кажется, и не стар, и телом бодр; а меч козацкий вываливается из рук, живу без дела, и сам не знаю, для чего живу. Порядку нет в Украйне: полковники и есаулы грызутся,

как собаки, между собою. Нет старшей головы над всеми. Шляхетство наше все переменило на польский обычай, переняло лукавство… продало душу, принявши унию. Жидовство угнетает бедный народ. О время, время! минувшее время! куда подевались вы, лета мои?.. Ступай, малый, в подвал, принеси мне кухоль меду! Выпью за прежнюю долю и за давние годы!

— Чем будем принимать гостей, пан? С луговой стороны идут ляхи! — сказал, вошедши в хату, Стецько.

— Знаю, зачем идут они, — вымолвил Данило, подымаясь с места. — Седлайте, мои верные слуги, коней! надевайте сбрую! сабли наголо! не забудьте набрать и свинцового толокна. С честью нужно встретить гостей!

Но еще не успели козаки сесть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавший осенью с дерева на землю лист, усеяли собою гору.

— Э, да тут есть с кем переведаться! — сказал Данило, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях в золотой сбруе. — Видно, еще раз доведется нам погулять на славу! Натешься же, козацкая душа, в последний раз! Гуляйте, хлопцы, пришел наш праздник!

И пошла по горам потеха, и запировал пир:

гуляют мечи, летают пули, ржут и топочут кони. От крику безумеет голова; от дыму слепнут очи. Все перемешалось. Но козак чует, где друг, где недруг; прошумит ли пуля — валится лихой седок с коня; свистнет сабля — катится по земле голова, бормоча языком несвязные речи.

Но виден в толпе красный верх козацкой шапки пана Данила; мечется в глаза золотой пояс на синем жупане; вихрем вьется грива вороного коня. Как птица, мелькает он там и там; покрикивает и машет дамасской саблей и рубит с правого и левого плеча. Руби, козак! гуляй, козак! тешь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны! топчи под ноги золото и каменья! Коли, козак! гуляй, козак! но оглянись назад: нечестивые ляхи зажигают уже хаты и угоняют напуганный скот. И, как вихорь, поворотил пан Данило назад, и шапка с красным верхом мелькает уже возле хат, и редеет вокруг его толпа.

Не час, не другой бьются ляхи и козаки. Не много становится тех и других. Но не устает пан Данило: сбивает с седла длинным копьем своим, топчет лихим конем пеших. Уже очищается двор, уже начали разбегаться ляхи; уже обдирают козаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую; уже пан Данило сбирается в погоню, и взглянул,

чтобы созвать своих… и весь закипел от ярости: ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. Данило погнал коня прямо к нему… Козак, на гибель идешь!.. Мушкет гремит — и колдун пропал за горою. Только верный Стецько видел, как мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался козак и свалился на землю. Кинулся верный Стецько к своему пану, — лежит пан его, протянувшись на земле и закрывши ясные очи. Алая кровь закипела на груди. Но, видно, почуял верного слугу своего. Тихо приподнял веки, блеснул очами: «Прощай, Стецько! скажи Катерине, чтобы не покидала сына! Не покидайте и вы его, мои верные слуги!» — и затих. Вылетела козацкая душа из дворянского тела; посинели уста. Спит козак непробудно.

Зарыдал верный слуга и машет рукою Катерине: «Ступай, пани, ступай: подгулял твой пан. Лежит он пьянехонек на сырой земле. Долго не протрезвиться ему!»

Всплеснула руками Катерина и повалилась, как сноп, на мертвое тело. «Муж мой, ты ли лежишь тут, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою! приподымись! погляди хоть раз на твою Катерину, пошевели устами,

вымолви хоть одно словечко… Но ты молчишь, ты молчишь, мой ясный пан! Ты посинел, как Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой холодный, мой пан? видно, не горючи мои слезы, невмочь им согреть тебя! Видно, не громок плач мой, не разбудить им тебя! Кто же поведет теперь полки твои? Кто понесется на твоем вороном коникe, громко загукает и замашет саблей пред козаками? Козаки, козаки! где честь и слава ваша? Лежит честь и слава ваша, закрывши очи, на сырой земле. Похороните же меня, похороните вместе с ним! засыпьте мне очи землею! надавите мне кленовые доски на белые груди! Мне не нужна больше красота моя!»

Плачет и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачет старый есаул Горобець на помощь.

X

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ши-

рину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибережным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает — и человек, и зверь, и птица; а бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе. Черный лес, унизанный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длинною тенью своею, — напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня; виден за столько

вдаль, за сколько видеть может человечье око. Нежась и прижимаясь ближе к берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную струю; и она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли; а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в мире! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир — страшен тогда Днепр! Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать козака, выпровожая своего сына в войско. Разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила, и ломает над ним руки, и заливается горючими слезами.

Дико чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется об берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из козаков осмелился гулять в челне в то время, когда рассердился старый Днепр? Видно, ему не ведомо, что он глотает, как мух, людей.

Лодка причалила, и вышел из нее колдун. Не-

весел он; ему горька тризна, которую свершили козаки над убитым своим паном. Не мало поплатились ляхи: сорок четыре пана со всею сбруею и жупанами да тридцать три холопа изрублены в куски; а остальных вместе с конями угнали в плен продать татарам.

По каменным ступеням спустился он, между обгорелыми пнями, вниз, где, глубоко в земле, вырыта была у него землянка. Тихо вошел он, не скрыпнувши дверью, поставил на стол, закрытый скатертью, горшок и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые травы; взял кухоль, выделанный из какого-то чудного дерева, почерпнул им воды и стал лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания. Показался розовый свет в светлице; и страшно было глянуть тогда ему в лицо: оно казалось кровавым, глубокие морщины только чернели на нем, а глаза были как в огне. Нечестивый грешник! уже и борода давно поседела, и лицо изрыто морщинами, и высох весь, а все еще творит богопротивный умысел. Посреди хаты стало веять белое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло в лицо его. Но отчего же вдруг стал он недвижим, с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его голове? В

облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо. Непрошеное, незваное, явилось оно к нему в гости; чем далее, выяснивалось больше и вперило неподвижные очи. Черты его, брови, глаза, губы — все незнакомое ему. Никогда во всю жизнь свою он его не видывал. И страшного, кажется, в нем мало, а непреодолимый ужас напал на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако так же неподвижно глядела на него. Облако уже и пропало; а неведомые черты еще резче выказывались, и острые очи не отрывались от него. Колдун весь побелел как полотно. Диким, не своим голосом вскрикнул, опрокинул горшок… Все пропало.

XI

— Спокой себя, моя любая сестра! — говорил старый есаул Горобець. — Сны редко говорят правду.

— Приляг, сестрица! — говорила молодая его невестка. — Я позову старуху, ворожею; против ее никакая сила не устоит. Она выльет переполох тебе.

— Ничего не бойся! — говорил сын его, хватаясь за саблю, — никто тебя не обидит.

Пасмурно, мутными глазами глядела на всех

Катерина и не находила речи. «Я сама устроила себе погибель. Я выпустила его». Наконец она сказала:

— Мне нет от него покоя! Вот уже десять дней я у вас в Киеве; а горя ни капли не убавилось. Думала, буду хоть в тишине растить на месть сына… Страшен, страшен привиделся он мне во сне! Боже сохрани и вам увидеть его! Сердце мое до сих пор бьется. «Я зарублю твое дитя, Катерина, — кричал он, — если не выйдешь за меня замуж!..» — и, зарыдав, кинулась она к колыбели, а испуганное дитя протянуло ручонки и кричало.

Кипел и сверкал сын есаула от гнева, слыша такие речи.

Расходился и сам есаул Горобець:

— Пусть попробует он, окаянный антихрист, прийти сюда; отведает, бывает ли сила в руках старого козака. Бог видит, — говорил он, подымая кверху прозорливые очи, — не летел ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! застал уже на холодной постеле, на которой много, много улеглось козацкого народа. Зато разве не пышна была тризна по нем? выпустили ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, мое дитя! никто не посмеет тебя обидеть, разве ни меня не будет, ни

моего сына.

Кончив слова свои, старый есаул пришел к колыбели, и дитя, увидевши висевшую на ремне у него в серебряной оправе красную люльку и гаман с блестящим огнивом, протянуло к нему ручонки и засмеялось.

— По отцу пойдет, — сказал старый есаул, снимая с себя люльку и отдавая ему, — еще от колыбели не отстал, а уже думает курить люльку.

Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сговорились провесть ночь вместе, и мало погодя уснули все. Уснула и Катерина.

На дворе и в хате все было тихо; не спали только козаки, стоявшие на стороже. Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, и за нею проснулись все. «Он убит, он зарезан!» — кричала она и кинулась к колыбели.

Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, что в ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, не зная, что думать о неслыханном злодействе.

XII

Далеко от Украинского края, проехавши Польшу, минуя и многолюдный город Лемберг, идут

рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают они вправо и влево землю и обковывают ее каменною толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахию и в Седмиградскую область и громадою стали в виде подковы между галичским и венгерским народом. Нет таких гор в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их; а на вершину иных не заходила и нога человечья. Чуден и вид их: не задорное ли море выбежало в бурю из широких берегов, вскинуло вихрем безобразные волны, и они, окаменев, остались недвижимы в воздухе? Не оборвались ли с неба тяжелые тучи и загромоздили собою землю? ибо и на них такой же серый цвет, а белая верхушка блестит и искрится при солнце. Еще до Карпатских гор услышишь русскую молвь, и за горами еще кой-где отзовется как будто родное слово; а там уже и вера не та, и речь не та. Живет немалолюдный народ венгерский; ездит на конях, рубится и пьет не хуже козака; а за конную сбрую и дорогие кафтаны не скупится вынимать из кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера. Как стекло, недвижимы они и, как зеркало, отдают в себе голые вершины гор и зеленые их подошвы.

Но кто середи ночи, блещут или не блещут звезды, едет на огромном вороном коне? Какой богатырь с нечеловечьим ростом скачет под горами, над озерами, отсвечивается с исполинским конем в недвижных водах, и бесконечная тень его страшно мелькает по горам? Блещут чеканенные латы; на плече пика; гремит при седле сабля; шелом надвинут; усы чернеют; очи закрыты; ресницы опущены — он спит. И, сонный, держит повода; и за ним сидит на том же коне младенец-паж и также спит и, сонный, держится за богатыря. Кто он, куда, зачем едет? — кто его знает. Не день, не два уже он переезжает горы. Блеснет день, взойдет солнце, его не видно; изредка только замечали горцы, что по горам мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не пройдет по нем. Чуть же ночь наведет темноту, снова он виден и отдается в озерах, и за ним, дрожа, скачет тень его. Уже проехал много он гор и взъехал на Криван. Горы этой нет выше между Карпатом; как царь подымается она над другими. Тут остановился конь и всадник, и еще глубже погрузился в сон, и тучи, спустясь, закрыли его.

XIII

«Тс... тише, баба! не стучи так, дитя мое заснуло. Долго кричал сын мой, теперь спит. Я пойду в лес, баба! Да что же ты так глядишь на меня? Ты страшна: у тебя из глаз вытягиваются железные клещи... ух, какие длинные! и горят как огонь! Ты, верно, ведьма! О, если ты ведьма, то пропади отсюда! Ты украдешь моего сына. Какой бестолковый этот есаул: он думает, мне весело жить в Киеве; нет, здесь и муж мой, и сын, кто же будет смотреть за хатой? Я ушла так тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться молодою — это совсем нетрудно: нужно танцевать только; гляди, как я танцую...» И, проговорив такие несвязные речи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на все стороны и упираясь руками в боки. С визгом притопывала она ногами; без меры, без такта звенели серебряные подковы. Незаплетенные черные косы метались по белой шее. Как птица, не останавливаясь, летела она, размахивая руками и кивая головою, и казалось, будто, обессилев, или грянется наземь, или вылетит из мира.

Печально стояла старая няня, и слезами на-

лились ее глубокие морщины; тяжкий камень лежал на сердце у верных хлопцев, глядевших на свою пани. Уже совсем ослабела она и лениво топала ногами на одном месте, думая, что танцует горлицу. «А у меня монисто есть, парубки! — сказала она, наконец остановившись, — а у вас нет!.. Где муж мой? — вскричала она вдруг, выхватив из-за пояса турецкий кинжал. — О! это не такой нож, какой нужно. — При этом и слезы и тоска показались у ней на лице. — У отца моего далеко сердце; он не достанет до него. У него сердце из железа выковано. Ему выковала одна ведьма на пекельном огне. Что ж нейдет отец мой? разве он не знает, что пора заколоть его? Видно, он хочет, чтоб я сама пришла… — И, не докончив, чудно засмеялася. — Мне пришла на ум забавная история: я вспомнила, как погребали моего мужа. Ведь его живого погребли… какой смех забирал меня!.. Слушайте, слушайте!» И вместо слов начала она петь песню:

Біжить возок кривавенький;
У тім возку козак лежить,
Постріляний, порубаний.
В правій ручці дротик держить,
З того дроту крівця біжить;

Біжить ріка кривавая.
Над річкою явор стоїть,
Над явором ворон кряче.
За козаком мати плаче.
Не плачь, мати, не журися!
Бо вже твій сын оженився,
Та взяв жінку паняночку,
В чистом полі земляночку,
Ї без дверець, без оконець.
Та вже пісні вийшов конець.
Танцювала рыба з раком…
А хто мене не полюбить, трясця его матерь![54]

Так перемешивались у ней все песни. Уже день и два живет она в своей хате и не хочет слышать о Киеве, и не молится, и бежит от людей, и с утра до позднего вечера бродит по темным дубравам. Острые сучья царапают белое лицо и

[54] Примечания: 54
Едет окровавленный возок, на том возке козак лежит простреленный, изрубленный, в правой руке он держит копье, с того копья кровь бежит, бежит река кровавая. Над рекою явор стоит, над явором ворон каркает. О козаке мать плачет. Не плачь, мать, не печалься! Твой сын женился, взял жену панночку, в чистом поле земляночку, без дверей, без окон. И вот всей песне конец. Танцевала рыба с раком… А кто меня не полюбит, пусть трясет лихорадка его мать! *(укр.)*

плеча; ветер треплет расплетенные косы; давние листья шумят под ногами ее — ни на что не глядит она. В час, когда вечерняя заря тухнет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещеные дети, рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве; из днепровских волн выбегают вереницами погубившие свои души девы; волосы льются с зеленой головы на плечи, вода, звучно журча, бежит с длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмехаются, щеки пылают, очи выманивают душу… она сгорела бы от любви, она зацеловала бы… Беги, крещеный человек! уста ее — лед, постель — холодная вода; она защекочет тебя и утащит в реку. Катерина не глядит ни на кого, не боится, безумная, русалок, бегает поздно с ножом своим и ищет отца.

С ранним утром приехал какой-то гость, статный собою, в красном жупане, и осведомляется о пане Даниле; слышит все, утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Он-де воевал вместе с покойным Бурульбашем; вместе рубились они с крымцами и турками; ждал ли он, чтобы такой конец был пана Данила. Расска-

зывает еще гость о многом другом и хочет видеть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость; напоследок стала, как разумная, вслушиваться в его речи. Он повел про то, как они жили вместе с Данилом, будто брат с братом; как укрылись раз под греблею от крымцев… Катерина все слушала и не спускала с него очей.

«Она отойдет! — думали хлопцы, глядя на нее. — Этот гость вылечит ее! Она уже слушает, как разумная!»

Гость начал рассказывать между тем, как пан Данило, в час откровенной беседы, сказал ему: «Гляди, брат Копрян: когда волею Божией не будет меня на свете, возьми к себе жену, и пусть будет она твоею женою…»

Страшно вонзила в него очи Катерина. «А! — вскрикнула она, — это он! это отец!» — и кинулась на него с ножом.

Долго боролся тот, стараясь вырвать у нее нож. Наконец вырвал, замахнулся — и совершилось страшное дело: отец убил безумную дочь свою.

Изумившиеся козаки кинулись было на него; но колдун уже успел вскочить на коня и пропал из виду.

XIV

За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская.

— А то что такое? — допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся на небе и больше похожие на облака серые и белые верхи.

— То Карпатские горы! — говорили старые люди, — меж ними есть такие, с которых век не сходит снег, а тучи пристают и ночуют там.

Тут показалось новое диво: облака слетели с самой высокой горы, и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне, с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи.

Тут, меж дивившимся со страхом народом, один вскочил на коня и, дико озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за ним, торопливо, во всю мочь, погнал коня своего. То был колдун. Чего же так перепугался он? Со

страхом вглядевшись в чудного рыцаря, узнал он на нем то же самое лицо, которое, незваное, показалось ему, когда он ворожил. Сам не мог он разуметь, отчего в нем все смутилось при таком виде, и, робко озираясь, мчался он на коне, покамест не застигнул его вечер и не проглянули звезды. Тут поворотил он домой, может быть, допросить нечистую силу, что значит такое диво. Уже он хотел перескочить с конем через узкую реку, выступившую рукавом середи дороги, как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и — чудо, засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волоса на голове колдуна. Дико закричал он и заплакал, как исступленный, и погнал коня прямо к Киеву. Ему чудилось, что все со всех сторон бежало ловить его: деревья, обступивши темным лесом и как будто живые, кивая черными бородами и вытягивая длинные ветви, силились задушить его; звезды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая всем на грешника; сама дорога, чудилось, мчалась по следам его. Отчаянный колдун летел в Киев к святым местам.

XV

Одиноко сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей с святой книги. Уже много лет, как он затворился в своей пещере. Уже сделал себе и дощатый гроб, в который ложился спать вместо постели. Закрыл святой старец свою книгу и стал молиться… Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист; очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался из очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

— Отец, молись! молись! — закричал он отчаянно, — молись о погибшей душе! — и грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул и в ужасе отступил назад и выронил книгу.

— Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе.

— Нет? — закричал, как безумный, грешник.

— Гляди: святые буквы в книге налились кровью. Еще никогда в мире не бывало такого

грешника!

— Отец, ты смеешься надо мною!

— Иди, окаянный грешник! не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе!

— Нет, нет! ты смеешься, не говори… я вижу, как раздвинулся рот твой: вот белеют рядами твои старые зубы!..

И как бешеный кинулся он — и убил святого схимника.

Что-то тяжко застонало, и стон перенесся через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие, сухие руки с длинными когтями; затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовал он. Все чудится ему как-то смутно. В ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля; и все, что ни есть перед глазами, покрывается как бы паутиною. Вскочивши на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная для чего. Едет он уже день, другой, а Канева все нет. Дорога та самая; пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей. Но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад к Киеву, и через день показался город;

но не Киев, а Галич, город еще далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противную сторону и все вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже не досыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать; нет, сам он не знал отчего. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы и высокий Криван, накрывший свое темя, будто шапкою, серою тучею; а конь все несся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном величии всадник… Он силится остановиться, крепко натягивает удила; дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колдуну, что все в нем замерло, что недвижный всадник шевелится и разом открыл свои очи; увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром, рассыпался

дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам… так страшно отдался в нем этот смех!

Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпата, как две капли воды схожих лицом на него.

Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу. Еще раз засмеялся рыцарь и кинул ее в пропасть. И все мертвецы вскочили в пропасть, подхватили мертвеца и вонзили в него свои зубы. Еще один, всех выше, всех страшнее, хотел подняться из земли; но не мог, не в силах был этого сделать, так велик вырос он в земле; а если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Седмиградскую и Турецкую землю; немного только подвинулся он, и пошло от того трясение по всей земле. И много поопрокидывалось везде хат. И много задавило

народу.

Слышится часто по Карпату свист, как будто тысяча мельниц шумит колесами на воде. То в безвыходной пропасти, которой не видал еще ни один человек, страшащийся проходить мимо, мертвецы грызут мертвеца. Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого: то оттого делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то близ моря гора, из которой выхватывается пламя и текут горящие реки. Но старики, которые живут и в Венгрии и в Галичской земле, лучше знают это и говорят: что-то хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец и трясет землю.

XVI

В городе Глухове собрался народ около старца бандуриста и уже с час слушал, как слепец играл на бандуре. Еще таких чудных песен и так хорошо не пел ни один бандурист. Сперва повел он про прежнюю гетьманщину, за Сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное было время: козачество было в славе; топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним. Пел и веселые песни старец и повоживал своими очами на

народ, как будто зрящий; а пальцы, с приделанными к ним костями, летали как муха по струнам, и казалось, струны сами играли; а кругом народ, старые люди, понурив головы, а молодые, подняв очи на старца, не смели и шептать между собою.

— Постойте, — сказал старец, — я вам запою про одно давнее дело.

Народ сдвинулся еще теснее, и слепец запел:

«За пана Степана, князя Седмиградского[55], был князь Седмиградский королем и у ляхов, жило два козака: Иван да Петро. Жили они так, как брат с братом. «Гляди, Иван, все, что ни добудешь, — все пополам: когда кому веселье — веселье и другому; когда кому горе — горе и обоим; когда кому добыча — пополам добычу; когда кто в полон попадет — другой продай все и дай выкуп, а не то сам ступай в полон». И правда, все, что ни доставали козаки, все делили пополам; угоняли ли чужой скот или коней, все делили пополам.

* * *

Воевал король Степан с турчином. Уже три недели воюет он с турчином, а все не может его

---

[55] Примечания: 55

Князь Седмиградский — Стефан Баторий, воевода Седмиградский, в 1576–1586 годах — король польский.

выгнать. А у турчина был паша такой, что сам с десятью янычарами мог порубить целый полк. Вот объявил король Степан, что если сыщется смельчак и приведет к нему того пашу живого или мертвого, даст ему одному столько жалованья, сколько дает на все войско. «Пойдем, брат, ловить пашу!» — сказал брат Иван Петру. И поехали козаки, один в одну сторону, другой в другую.

* * *

Поймал ли бы еще или не поймал Петро, а уже Иван ведет пашу арканом за шею к самому королю. «Бравый молодец!» — сказал король Степан и приказал выдать ему одному такое жалованье, какое получает все войско; и приказал отвесть ему земли там, где он задумает себе, и дать скота, сколько пожелает. Как получил Иван жалованье от короля, в тот же день разделил все поровну между собою и Петром. Взял Петро половину королевского жалованья, но не мог вынесть того, что Иван получил такую честь от короля, и затаил глубоко на душе месть.

* * *

Ехали оба рыцаря на жалованную королем

землю, за Карпат. Посадил козак Иван с собою на коня своего сына, привязав его к себе. Уже настали сумерки — они все едут. Младенец заснул, стал дремать и сам Иван. Не дремли, козак, по горам дороги опасные!.. Но у козака такой конь, что сам везде знает дорогу, не спотыкнется и не оступится. Есть между горами провал, в провале дна никто не видал; сколько от земли до неба, столько до дна того провала. По-над самым провалом дорога — два человека еще могут проехать, а трое ни за что. Стал бережно ступать конь с дремавшим козаком. Рядом ехал Петро, весь дрожал и притаил дух от радости. Оглянулся и толкнул названого брата в провал. И конь с козаком и младенцем полетел в провал.

* * *

Ухватился, однако ж, козак за сук, и один только конь полетел на дно. Стал он карабкаться, с сыном за плечами, вверх; немного уже не добрался, поднял глаза и увидел, что Петро наставил пику, чтобы столкнуть его назад. «Боже ты мой праведный, лучше б мне не подымать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет пику столкнуть меня назад… Брат мой милый! коли меня пикой, когда уже мне так написано на роду, но

возьми сына! чем безвинный младенец виноват, чтобы ему пропасть такою лютою смертью?» Засмеялся Петро и толкнул его пикой, и козак с младенцем полетел на дно. Забрал себе Петро все добро и стал жить, как паша. Табунов ни у кого таких не было, как у Петра. Овец и баранов нигде столько не было. И умер Петро.

* * *

Как умер Петро, призвал Бог души обоих братьев, Петра и Ивана, на суд. «Великий есть грешник сей человек! — сказал Бог. — Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты сам ему казнь!» Долго думал Иван, вымышляя казнь, и наконец, сказал: «Великую обиду нанес мне сей человек: предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле. Всходу нет — никто не узнает, что кинуто было семя.

* * *

Сделай же, Боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья! чтобы последний в

роде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете! и от каждого его злодейства чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах и, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил! А иуда Петро чтобы не в силах был подняться и оттого терпел бы муку еще горшую; и ел бы, как бешеный, землю, и корчился бы под землею!

* * *

И когда придет час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, Боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы, его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, чтобы все потянулись от разных сторон земли грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки! А иуда Петро чтобы не мог подняться из земли, чтобы рвался грызть и себе, но грыз бы самого себя, а кости его росли бы, чем дальше, больше, чтобы чрез то еще сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самая страшная: ибо для человека нет большей муки, как хотеть отмстить и не мочь отмстить.

* * *

«Страшна казнь, тобою выдуманная, человече! — сказал Бог. — Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем!» И то все так сбылось, как было сказано: и доныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю…»

Уже слепец кончил свою песню; уже снова стал перебирать струны; уже стал петь смешные присказки про Хому и Ерему, про Стикляра Стокозу… но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном, в старину случившемся деле.

Иван Федорович Шпонька и его тетушка

С этой историей случилась история: нам рассказывал ее приезжавший из Гадяча Степан

Иванович Курочка. Нужно вам знать, что память у меня, невозможно сказать, что за дрянь: хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что в решето воду лей. Зная за собою такой грех, нарочно просил его списать ее в тетрадку. Ну, дай Бог ему здоровья, человек он был всегда добрый для меня, взял и списал. Положил я ее в маленький столик; вы, думаю, его хорошо знаете: он стоит в углу, когда войдешь в дверь… Да, я и позабыл, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, с которой живу уже лет тридцать вместе, грамоте сроду не училась; нечего и греха таить. Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой-то бумаге. Пирожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печет; лучших пирожков вы нигде не будете есть. Посмотрел как-то на сподку пирожка, смотрю: писаные слова. Как будто сердце у меня знало, прихожу к столику — тетрадки и половины нет! Остальные листки все растаскала на пироги. Что прикажешь делать? на старости лет не подраться же!

Прошлый год случилось проезжать чрез Гадяч. Нарочно еще, не доезжая города, завязал узелок, чтобы не забыть попросить об этом Степана Ивановича. Этого мало: взял обещание с самого себя — как только чихну в городе, то чтобы при

этом вспомнить о нем. Все напрасно. Проехал чрез город, и чихнул, и высморкался в платок, а все позабыл; да уже вспомнил, как верст за шесть отъехал от заставы. Нечего делать, пришлось печатать без конца. Впрочем, если кто желает непременно знать, о чем говорится далее в этой повести, то ему стоит только нарочно приехать в Гадяч и попросить Степана Ивановича. Он с большим удовольствием расскажет ее, хоть, пожалуй, снова от начала до конца. Живет он недалеко возле каменной церкви. Тут есть сейчас маленький переулок: как только поворотишь в переулок, то будут вторые или третьи ворота. Да вот лучше: когда увидите на дворе большой шест с перепелом и выйдет навстречу вам толстая баба в зеленой юбке (он, не мешает сказать, ведет жизнь холостую), то это его двор. Впрочем, вы можете его встретить на базаре, где бывает он каждое утро до девяти часов, выбирает рыбу и зелень для своего стола и разговаривает с отцом Антипом или с жидом-откупщиком. Вы его тотчас узнаете, потому что ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной выбойки и китайчатого желтого сюртука. Вот еще вам примета: когда ходит он, то всегда размахивает руками. Еще покойный тамошний заседатель, Денис Петрович,

всегда, бывало, увидевши его издали, говорил: «Глядите, глядите, вон идет ветряная мельница!»

I. Иван Федорович Шпонька

Уже четыре года, как Иван Федорович Шпонька в отставке и живет в хуторе своем Вытребеньках. Когда был он еще Ванюшею, то обучался в гадячском поветовом училище, и надобно сказать, что был преблагонравный и престарательный мальчик. Учитель российской грамматики, Никифор Тимофеевич Деепричастие, говаривал, что если бы все у него были так старательны, как Шпонька, то он не носил бы с собою в класс кленовой линейки, которою, как сам он признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смирно, сложив руки и уставив глаза на учителя, и никогда не привешивал сидевшему впереди его товарищу на спину бумажек, не резал скамьи и не играл до прихода учителя в *тесной бабы.* Когда кому нужда была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик; и Иван Федорович, тогда еще просто Ванюша, вынимал его

из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравие скоро привлекло на него внимание даже самого учителя латинского языка, которого один кашель в сенях, прежде нежели высовывалась в дверь его фризовая шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводил страх на весь класс. Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежало два пучка розг и половина слушателей стояла на коленях, сделал Ивана Федоровича аудитором[56], несмотря на то что в классе было много с гораздо лучшими способностями.

Тут не можно пропустить одного случая, сделавшего влияние на всю его жизнь. Один из вверенных ему учеников, чтобы склонить своего аудитора написать ему в списке *scit*[57], тогда как он своего урока в зуб не знал, принес в класс завернутый в бумагу, облитый маслом блин. Иван Федорович, хотя и держался справедливости, но на эту пору был голоден и не мог противиться обольщению: взял блин, поставил перед собою книгу

---

[56] Примечания: 56
Аудитор — старший ученик, помогающий учителю.

[57] Примечания: 57
Знает *(лат.)*.

и начал есть. И так был занят этим, что даже не заметил, как в классе сделалась вдруг мертвая тишина. Тогда только с ужасом очнулся он, когда страшная рука, протянувшись из фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на средину класса. «Подай сюда блин! Подай, говорят тебе, негодяй!» — сказал грозный учитель, схватил пальцами масляный блин и выбросил его за окно, строго запретив бегавшим по двору школьникам поднимать его. После этого тут же высек он пребольно Ивана Федоровича по рукам. И дело: руки виноваты, зачем брали, а не другая часть тела. Как бы то ни было, только с этих пор робость, и без того неразлучная с ним, увеличилась еще более. Может быть, это самое происшествие было причиною того, что он не имел никогда желания вступить в штатскую службу, видя на опыте, что не всегда удается хоронить концы.

Было уже ему без малого пятнадцать лет, когда перешел он во второй класс, где вместо сокращенного катехизиса и четырех правил арифметики принялся он за пространный, за книгу о должностях человека и за дроби. Но, увидевши, что чем дальше в лес, тем больше дров, и получивши известие, что батюшка приказал долго жить, пробыл еще два года и, с согласия матушки, вступил

потом в П*** пехотный полк.

П*** пехотный полк был совсем не такого сорта, к какому принадлежат многие пехотные полки; и, несмотря на то, что он большею частию стоял по деревням, однако ж был на такой ноге, что не уступал иным и кавалерийским. Большая часть офицеров пила выморозки и умела таскать жидов за пейсики не хуже гусаров; несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник П*** полка никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У меня-с, — говорил он обыкновенно, трепля себя по брюху после каждого слова, — многие пляшут-с мазурку; весьма многие-с; очень многие-с». Чтоб еще более показать читателям образованность П*** пехотного полка, мы прибавим, что двое из офицеров были страшные игроки в банк и проигрывали мундир, фуражку, шинель, темляк[58] и даже исподнее платье, что не везде и между кавалеристами можно сыскать.

Обхождение с такими товарищами, однако же, ничуть не уменьшило робости Ивана Федоровича. И так как он не пил выморозок, предпочитая им рюмку водки пред обедом и ужином, не тан-

---

[58] Примечания: 58

Темляк — серебряная тесьма с кистью на рукоятке сабли.

цевал мазурки и не играл в банк, то, натурально, должен был всегда оставаться один. Таким образом, когда другие разъезжали на обывательских по мелким помещикам, он, сидя на своей квартире, упражнялся в занятиях, сродных одной кроткой и доброй душе: то чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постеле. Зато не было никого исправнее Ивана Федоровича в полку. И взводом своим он так командовал, что ротный командир всегда ставил его в образец. Зато в скором времени, спустя одиннадцать лет после получения прапорщичьего чина, произведен он был в подпоручики.

В продолжение этого времени он получил известие, что матушка скончалась; а тетушка, родная сестра матушки, которую он знал только потому, что она привозила ему в детстве и посылала даже в Гадяч сушеные груши и деланные ею самою превкусные пряники (с матушкой она была в ссоре, и потому Иван Федорович после не видал ее), — эта тетушка, по своему добродушию, взялась управлять небольшим его имением, о чем известила его в свое время письмом. Иван Федорович, будучи совершенно уверен в благора-

зумии тетушки, начал по-прежнему исполнять свою службу. Иной на его месте, получивши такой чин, возгордился бы; но гордость совершенно была ему неизвестна, и, сделавшись подпоручиком, он был тот же самый Иван Федорович, каким был некогда и в прапорщичьем чине. Пробыв четыре года после этого замечательного для него события, он готовился выступить вместе с полком из Могилевской губернии в Великороссию, как получил письмо такого содержания:

«Любезный племянник,
Иван Федорович!

Посылаю тебе белье: пять пар нитяных карпеток и четыре рубашки тонкого холста; да еще хочу поговорить с тобою о деле: так как ты уже имеешь чин немаловажный, что, думаю, тебе известно, и пришел в такие лета, что пора и хозяйством позаняться, то в воинской службе тебе незачем более служить. Я уже стара и не могу всего присмотреть в твоем хозяйстве; да и действительно, многое притом имею тебе открыть лично. Приезжай, Ванюша; в ожидании подлинного удовольствия тебя видеть, остаюсь многолюбящая твоя тетка.

Василиса Цупчевська.

Чудная в огороде у нас выросла репа: больше похожа на картофель, чем на репу».

Через неделю после получения этого письма Иван Федорович написал такой ответ:

«Милостивая государыня, тетушка
Василиса Кашпоровна!

Много благодарю вас за присылку белья. Особенно карпетки у меня очень старые, что даже денщик штопал их че-

тыре раза и очень оттого стали узкие. Насчет вашего мнения о моей службе я совершенно согласен с вами и третьего дня подал в отставку. А как только получу увольнение, то найму извозчика. Прежней вашей комиссии, насчет семян пшеницы, сибирской арнаутки, не мог исполнить: во всей Могилевской губернии нет такой. Свиней же здесь кормят большею частию брагой, подмешивая немного выигравшегося пива.

С совершенным почтением, милостивая государыня тетушка, пребываю племянником

Иваном Шпонькою».

Наконец Иван Федорович получил отставку с чином поручика, нанял за сорок рублей жида от Могилева до Гадяча и сел в кибитку в то самое время, когда деревья оделись молодыми, еще редкими листьями, вся земля ярко зазеленела свежею зеленью и по всему полю пахло весною.

II. Дорога

В дороге ничего не случилось слишком замеча-

тельного. Ехали с небольшим две недели. Может быть, еще и этого скорее приехал бы Иван Федорович, но набожный жид шабашовал по субботам и, накрывшись своею попоной, молился весь день. Впрочем, Иван Федорович, как уже имел я случай заметить прежде, был такой человек, который не допускал к себе скуки. В то время развязывал он чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько: так ли вымыто, так ли сложено, снимал осторожно пушок с нового мундира, сшитого уже без погончиков, и снова все это укладывал наилучшим образом. Книг он, вообще сказать, не любил читать; а если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз. Так городской житель отправляется каждый день в клуб, не для того, чтобы услышать там что-нибудь новое, но чтобы встретить тех приятелей, с которыми он уже с незапамятных времен привык болтать в клубе. Так чиновник с большим наслаждением читает адрес-календарь по нескольку раз в день, не для каких-нибудь дипломатических затей, но его тешит до крайности печатная роспись имен. «А! Иван Гаврилович такой-то! — повторяет он глухо про себя. — А! вот и я! гм!..» И на следующий раз снова перечитывает

его с теми же восклицаниями.

После двухнедельной езды Иван Федорович достигнул деревушки, находившейся в ста верстах от Гадяча. Это было в пятницу. Солнце давно уже зашло, когда он въехал с кибиткою и с жидом на постоялый двор.

Этот постоялый двор ничем не отличался от других, выстроенных по небольшим деревушкам. В них обыкновенно с большим усердием потчуют путешественника сеном и овсом, как будто бы он был почтовая лошадь. Но если бы он захотел позавтракать, как обыкновенно завтракают порядочные люди, то сохранил бы в ненарушимости свой аппетит до другого случая. Иван Федорович, зная все это, заблаговременно запасся двумя вязками бубликов и колбасою и, спросивши рюмку водки, в которой не бывает недостатка ни в одном постоялом дворе, начал свой ужин, усевшись на лавке перед дубовым столом, неподвижно вкопанным в глиняный пол.

В продолжение этого времени послышался стук брички. Ворота заскрипели; но бричка долго не въезжала на двор. Громкий голос бранился со старухою, содержавшею трактир. «Я взъеду, — услышал Иван Федорович, — но если хоть один клоп укусит меня в твоей хате, то прибью, ей-

богу, прибью, старая колдунья! и за сено ничего не дам!»

Минуту спустя дверь отворилась, и вошел, или, лучше сказать, влез толстый человек в зеленом сюртуке. Голова его неподвижно покоилась на короткой шее, казавшейся еще толще от двухэтажного подбородка. Казалось, и с виду он принадлежал к числу тех людей, которые не ломали никогда головы над пустяками и которых вся жизнь катилась по маслу.

— Желаю здравствовать, милостивый государь! — проговорил он, увидевши Ивана Федоровича.

Иван Федорович безмолвно поклонился.

— А позвольте спросить, с кем имею честь говорить? — продолжал толстый приезжий.

При таком допросе Иван Федорович невольно поднялся с места и стал в вытяжку, что обыкновенно он делывал, когда спрашивал его о чем полковник.

— Отставной поручик, Иван Федоров Шпонька, — отвечал он.

— А смею ли спросить, в какие места изволите ехать?

— В собственный хутор-с, Вытребеньки.

— Вытребеньки! — воскликнул строгий до-

просчик. — Позвольте, милостивый государь, позвольте! — говорил он, подступая к нему и размахивая руками, как будто бы кто-нибудь его не допускал или он продирался сквозь толпу, и, приблизившись, принял Ивана Федоровича в объятия и облобызал сначала в правую, потом в левую и потом снова в правую щеку. Ивану Федоровичу очень понравилось это лобызание, потому что губы его приняли большие щеки незнакомца за мягкие подушки.

— Позвольте, милостивый государь, познакомиться! — продолжал толстяк. — Я помещик того же Гадячского повета и ваш сосед. Живу от хутора вашего Вытребеньки не дальше пяти верст, в селе Хортыще; а фамилия моя Григорий Григорьевич Сторченко. Непременно, непременно, милостивый государь, и знать вас не хочу, если не приедете в гости в село Хортыще. Я теперь спешу по надобности… А что это? — проговорил он кротким голосом вошедшему своему лакею, мальчику в козацкой свитке с заплатанными локтями, с недоумевающею миною ставившему на стол узлы и ящики. — Что это? что? — и голос Григория Григорьевича незаметно делался грознее и грознее. — Разве я это сюда велел ставить тебе, любезный? разве я это сюда говорил ставить тебе,

подлец! Разве я не говорил тебе наперед разогреть курицу, мошенник? Пошел! — вскрикнул он, топнув ногою. — Постой, рожа! где погребец со штофиками? Иван Федорович! — говорил он, наливая в рюмку настойки, — прошу покорно лекарственной!

— Ей-богу-с, не могу… я уже имел случай… — проговорил Иван Федорович с запинкою.

— И слушать не хочу, милостивый государь! — возвысил голос помещик, — и слушать не хочу! С места не сойду, покамест не выкушаете…

Иван Федорович, увидевши, что нельзя отказаться, не без удовольствия выпил.

— Это курица, милостивый государь, — продолжал толстый Григорий Григорьевич, разрезывая ее ножом в деревянном ящике. — Надобно вам сказать, что повариха моя Явдоха иногда любит куликнуть и оттого часто пересушивает. Эй, хлопче! — тут оборотился он к мальчику в козацкой свитке, принесшему перину и подушки, — постели постель мне на полу посереди хаты! Смотри же, сена повыше наклади под подушку! да выдерни у бабы из мычки клочок пеньки, заткнуть мне уши на ночь! Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной

русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: в ухе так и щекочет, так и щекочет… ну, хоть на стену! Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях? Я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в двадцать раз лучше знает всех этих лекарей.

— Действительно, вы изволите говорить совершенную-с правду. Иная точно бывает… — Тут он остановился, как бы не прибирая далее приличного слова.

Не мешает здесь и мне сказать, что он вообще не был щедр на слова. Может быть, это происходило от робости, а может, и от желания выразиться красивее.

— Хорошенько, хорошенько перетряси сено! — говорил Григорий Григорьевич своему лакею. — Тут сено такое гадкое, что, того и гляди, как-нибудь попадет сучок. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи! Завтра уже не увидимся: я выезжаю до зари. Ваш жид будет шабашовать, потому что завтра суббота, и потому вам нечего вставать рано. Не забудьте

же моей просьбы; и знать вас не хочу, когда не приедете в село Хортыще.

Тут камердинер Григория Григорьевича стащил с него сюртук и сапоги и натянул вместо того халат, и Григорий Григорьевич повалился на постель, и казалось, огромная перина легла на другую.

— Эй, хлопче! куда же ты, подлец? Поди сюда, поправь мне одеяло! Эй, хлопче, подмости под голову сена! да что, коней уже напоили? Еще сена! сюда, под этот бок! да поправь, подлец, хорошенько одеяло! Вот так, еще! ох!..

Тут Григорий Григорьевич еще вздохнул раза два и пустил страшный носовой свист по всей комнате, всхрапывая по временам так, что дремавшая на лежанке старуха, пробудившись, вдруг смотрела в оба глаза на все стороны, но, не видя ничего, успокоивалась и засыпала снова.

На другой день, когда проснулся Иван Федорович, уже толстого помещика не было. Это было одно только замечательное происшествие, случившееся с ним на дороге. На третий день после этого приближался он к своему хуторку.

Тут почувствовал он, что сердце в нем сильно забилось, когда выглянула, махая крыльями, ветряная мельница и когда, по мере того как

жид гнал своих кляч на гору, показывался внизу ряд верб. Живо и ярко блестел сквозь них пруд и дышал свежестью. Здесь когда-то он купался, в этом самом пруде он когда-то с ребятишками брел по шею в воде за раками. Кибитка взъехала на греблю, и Иван Федорович увидел тот же самый старинный домик, покрытый очеретом[59]; те же самые яблони и черешни, по которым он когда-то украдкою лазил. Только что въехал он на двор, как сбежались со всех сторон собаки всех сортов: бурые, черные, серые, пегие. Некоторые с лаем кидались под ноги лошадям, другие бежали сзади, заметив, что ось вымазана салом; один, стоя возле кухни и накрыв лапою кость, заливался во все горло; другой лаял издали и бегал взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая: «Посмотрите, люди крещеные, какой я прекрасный молодой человек!» Мальчишки в запачканных рубашках бежали глядеть. Свинья, прохаживавшаяся по двору с шестнадцатью поросенками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного. На дворе лежало на земле множество ряден с пшеницею, просом и ячменем, сушившихся на солнце.

---

[59] Примечания: 59

Очерет — тростник, камыш.

На крыше тоже немало сушилось разного рода трав: петровых батогов, нечуй-витера и других.

Иван Федорович так был занят рассматриванием этого, что очнулся тогда только, когда пегая собака укусила слазившего с козел жида за икру. Сбежавшаяся дворня, состоявшая из поварихи, одной бабы и двух девок в шерстяных исподницах, после первых восклицаний: *«Та се ж паныч наш!»* — объявила, что тетушка садила в огороде пшеничку, вместе с девкою Палашкою и кучером Омельком, исправлявшим часто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали завидела рогожную кибитку, была уже здесь. И Иван Федорович изумился, когда она почти подняла его на руках, как бы не доверяя, та ли это тетушка, которая писала к нему о своей дряхлости и болезни.

III. Тетушка

Тетушка Василиса Кашпоровна в это время имела лет около пятидесяти. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь девическая для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сватал ее. Это происходило оттого, что все мужчины чувство-

вали при ней какую-то робость и никак не имели духу сделать ей признание. «Весьма с большим характером Василиса Кашпоровна!» — говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпоровна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она, собственною своею мужественною рукою дергая каждый день за чуб, без всякого постороннего средства умела сделать золотом, а не человеком. Рост она имела почти исполинский, дородность и силу совершенно соразмерную. Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темно-коричневый по будням капот с мелкими оборками и красную кашемировую шаль в день Светлого Воскресенья и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты. Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду: она каталась сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого рыболова; стреляла дичь; стояла неотлучно над косарями; знала наперечет число дынь и арбузов на баштане; брала пошлину по пяти копеек с воза, проезжавшего через ее греблю; взлезала на дерево и трусила груши, била ленивых вассалов своею страшною рукою и подносила достойным

рюмку водки из той же грозной руки. Почти в одно время она бранилась, красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, варила медовое варенье и хлопотала весь день и везде поспевала. Следствием этого было то, что маленькое именьице Ивана Федоровича, состоявшее из осьмнадцати душ по последней ревизии, процветало в полном смысле сего слова. К тому ж она слишком горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копейку.

По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла совершенно другою дорогою. Казалось, натура именно создала его для управления осьмнадцатидушным имением. Сама тетушка заметила, что он будет хорошим хозяином, хотя, впрочем, не во все еще отрасли хозяйства позволяла ему вмешиваться. *«Воно ще молода дытына,* — обыкновенно она говаривала, несмотря на то что Ивану Федоровичу было без малого сорок лет, — где ему все знать!»

Однако ж он неотлучно бывал в поле при жнецах и косарях, и это доставляло наслаждение неизъяснимое его кроткой душе. Единодушный взмах десятка и более блестящих кос; шум падающей стройными рядами травы; изредка заливающиеся песни жниц, то веселые, как встреча

гостей, то заунывные, как разлука; спокойный, чистый вечер, и что за вечер! как волен и свеж воздух! как тогда оживлено все: степь краснеет, синеет и горит цветами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насекомых, и от них свист, жужжание, треск, крик и вдруг стройный хор; и все не молчит ни на минуту. А солнце садится и кроется. У! как свежо и хорошо! По полю, то там, то там, раскладываются огни и ставят котлы, и вкруг котлов садятся усатые косари; пар от галушек несется. Сумерки сереют… Трудно рассказать, что делалось тогда с Иваном Федоровичем. Он забывал, присоединяясь к косарям, отведать их галушек, которые очень любил, и стоял недвижимо на одном месте, следя глазами пропадавшую в небе чайку или считая копы нажатого хлеба, унизывавшие поле.

В непродолжительном времени об Иване Федоровиче везде пошли речи как о великом хозяине. Тетушка не могла нарадоваться своим племянником и никогда не упускала случая им похвастаться. В один день, — это было уже по окончании жатвы, и именно в конце июля, — Василиса Кашпоровна, взявши Ивана Федоровича с таинственным видом за руку, сказала, что она теперь хочет поговорить с ним о деле, которое с

давних пор уже ее занимает.

— Тебе, любезный Иван Федорович, — так она начала, — известно, что в твоем хуторе осьмнадцать душ; впрочем, это по ревизии, а без того, может, наберется больше, может, будет до двадцати четырех. Но не об этом дело. Ты знаешь тот лесок, что за нашею левадою, и, верно, знаешь за тем же лесом широкий луг: в нем двадцать без малого десятин; а травы столько, что можно каждый год продавать больше чем на сто рублей, особенно если, как говорят, в Гадяче будет конный полк.

— Как же-с, тетушка, знаю: трава очень хорошая.

— Это я сама знаю, что очень хорошая; но знаешь ли ты, что вся эта земля по-настоящему твоя? Что ж ты так выпучил глаза? Слушай, Иван Федорович! Ты помнишь Степана Кузьмича? Чтó я говорю: помнишь! Ты тогда был таким маленьким, что не мог выговорить даже его имени; куда ж! Я помню, когда приехала на самое Пущенье, перед Филипповкою, и взяла было тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платья; к счастию, что успела передать тебя мамке Матрене. Такой ты тогда был гадкий!.. Но не об этом дело. Вся земля, которая за нашим хутором, и самое

село Хортыще было Степана Кузьмича. Он, надобно тебе объявить, еще тебя не было на свете, как начал ездить к твоей матушке; правда, в такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я, однако ж, это не в укор ей говорю. Упокой господи ее душу! — хотя покойница была всегда неправа против меня. Но не об этом дело. Как бы то ни было, только Степан Кузьмич сделал тебе дарственную запись на то самое имение, об котором я тебе говорила. Но покойница твоя матушка, между нами будь сказано, была пречудного нрава. Сам черт, господи прости меня за это гадкое слово, не мог бы понять ее. Куда она дела эту запись — один Бог знает. Я думаю, просто, что она в руках этого старого холостяка Григория Григорьевича Сторченка. Этой пузатой шельме досталось все его имение. Я готова ставить бог знает что, если он не утаил записи.

— Позвольте-с доложить, тетушка: не тот ли это Сторченко, с которым я познакомился на станции?

Тут Иван Федорович рассказал про свою встречу.

— Кто его знает! — отвечала, немного подумав, тетушка. — Может быть, он и не негодяй. Правда, он всего только полгода как переехал к нам жить;

в такое время человека не узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала, очень разумная женщина и, говорят, большая мастерица солить огурцы. Ковры собственные девки ее умеют отлично хорошо выделывать. Но так как ты говоришь, что он тебя хорошо принял, то поезжай к нему! Может быть, старый грешник послушается совести и отдаст, что принадлежит не ему. Пожалуй, можешь поехать и в бричке, только проклятая дитвора повыдергивала сзади все гвозди. Нужно будет сказать кучеру Омельке, чтобы прибил везде получше кожу.

— Для чего, тетушка? Я возьму повозку, в которой вы ездите иногда стрелять дичь.

Этим окончился разговор.

IV. Обед

В обеденную пору Иван Федорович въехал в село Хортыще и немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не под очеретяною, как у многих окружных помещиков, но под деревянною крышею. Два амбара в дворе тоже под деревянною крышею; ворота дубовые. Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, ви-

дит всех, куда ни оглянется, одетых щеголеватее его. Из почтения он остановил свой возок возле амбара и подошел пешком к крыльцу.

— А! Иван Федорович! — закричал толстый Григорий Григорьевич, ходивший по двору в сюртуке, но без галстука, жилета и подтяжек. Однако ж и этот наряд, казалось, обременял его тучную ширину, потому что пот катился с него градом. Что же вы говорили, что сейчас, как только увидитесь с тетушкой, приедете, да и не приехали? — После сих слов губы Ивана Федоровича встретили те же самые знакомые подушки.

— Большею частию занятия по хозяйству… Я-с приехал к вам на минутку, собственно по делу…

— На минутку? Вот этого-то не будет. Эй, хлопче! — закричал толстый хозяин, и тот же самый мальчик в козацкой свитке выбежал из кухни. — Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчас запер, слышишь, запер крепче! А коней вот этого пана распряг бы сию минуту! Прошу в комнату; здесь такая жара, что у меня вся рубашка мокра.

Иван Федорович, вошедши в комнату, решился не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать решительно.

— Тетушка имела честь… сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузь-

мича…

Трудно изобразить, какую неприятную мину сделало при этих словах обширное лицо Григория Григорьевича.

— Ей-богу, ничего не слышу! — отвечал он. — Надобно вам сказать, что у меня в левом ухе сидел таракан. В русских избах проклятые кацапы везде поразводили тараканов. Невозможно описать никаким пером, что за мучение было. Так вот и щекочет, так и щекочет. Мне помогла уже одна старуха самым простым средством…

— Я хотел сказать… — осмелился прервать Иван Федорович, видя, что Григорий Григорьевич с умыслом хочет поворотить речь на другое, — что в завещании покойного Степана Кузьмича упоминается, так сказать, о дарственной записи… по ней следует-с мне…

— Я знаю, это вам тетушка успела наговорить. Это ложь, ей-богу, ложь! Никакой дарственной записи дядюшка не делал. Хотя, правда, в завещании и упоминается о какой-то записи; но где же она? никто не представил ее. Я вам это говорю потому, что искренно желаю вам добра. Ей-богу, это ложь!

Иван Федорович замолчал, рассуждая, что, может быть, и в самом деле тетушке так только

показалось.

— А вот идет сюда матушка с сестрами! — сказал Григорий Григорьевич, — следовательно, обед готов. Пойдемте! — При сем он потащил Ивана Федоровича за руку в комнату, в которой стояла на столе водка и закуски.

В то самое время вошла старушка, низенькая, совершенный кофейник в чепчике, с двумя барышнями — белокурой и черноволосой. Иван Федорович, как воспитанный кавалер, подошел сначала к старушкиной ручке, а после к ручкам обеих барышень.

— Это, матушка, наш сосед, Иван Федорович Шпонька! — сказал Григорий Григорьевич.

Старушка смотрела пристально на Ивана Федоровича или, может быть, только казалась смотревшею. Впрочем, это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить Ивана Федоровича: сколько вы на зиму насоливаете огурцов?

— Вы водку пили? — спросила старушка.

— Вы, матушка, верно, не выспались, — сказал Григорий Григорьевич, — кто ж спрашивает гостя, пил ли он? Вы потчуйте только; а пили ли мы или нет, это наше дело. Иван Федорович! прошу, золототысячниковой или трохимовской сивуш-

ки, какой вы лучше любите? Иван Иванович, а ты что стоишь? — произнес Григорий Григорьевич, оборотившись назад, и Иван Федорович увидел подходившего к водке Ивана Ивановича, в долгополом сюртуке с огромным стоячим воротником, закрывавшим весь его затылок, так что голова его сидела в воротнике, как будто в бричке.

Иван Иванович подошел к водке, потер руки, рассмотрел хорошенько рюмку, налил, поднес к свету, вылил разом из рюмки всю водку в рот, но, не проглатывая, пополоскал ею хорошенько во рту, после чего уже проглотил; и, закусивши хлебом с солеными опенками, оборотился к Ивану Федоровичу.

— Не с Иваном ли Федоровичем, господином Шпонькою, имею честь говорить?

— Так точно-с, — отвечал Иван Федорович.

— Очень много изволили перемениться с того времени, как я вас знаю. Как же, — продолжал Иван Иванович, — я еще помню вас вот какими! — При этом поднял он ладонь на аршин от пола. — Покойный батюшка ваш, дай Боже ему царствие небесное, редкий был человек. Арбузы и дыни всегда бывали у него такие, каких теперь нигде не найдете. Вот хоть бы и тут, — продолжал он, отводя его в сторону, — подадут вам за столом

дыни. Что это за дыни? — смотреть не хочется! Верите ли, милостивый государь, что у него были арбузы, — произнес он с таинственным видом, расставляя руки, как будто бы хотел обхватить толстое дерево, — ей-богу, вот какие!

— Пойдемте за стол! — сказал Григорий Григорьевич, взявши Ивана Федоровича за руку.

Все вышли в столовую. Григорий Григорьевич сел на обыкновенном своем месте, в конце стола, завесившись огромною салфеткою и походя в этом виде на тех героев, которых рисуют цирюльники на своих вывесках. Иван Федорович, краснея, сел на указанное ему место против двух барышень; а Иван Иванович не преминул поместиться возле него, радуясь душевно, что будет кому сообщать свои познания.

— Вы напрасно взяли куприк, Иван Федорович! Это индейка! — сказала старушка, обратившись к Ивану Федоровичу, которому в это время поднес блюдо деревенский официант в сером фраке с черною заплатою. — Возьмите спинку!

— Матушка! ведь вас никто не просит мешаться! — произнес Григорий Григорьевич. — Будьте уверены, что гость сам знает, что ему взять! Иван Федорович, возьмите крылышко, вон другое, с пупком! Да что ж вы так мало взяли? Возьмите

стегнушко! Ты что разинул рот с блюдом? Проси! Становись, подлец, на колени! Говори сейчас: «Иван Федорович, возьмите стегнушко!»

— Иван Федорович, возьмите стегнушко! — проревел, став на колени, официант с блюдом.

— Гм, что это за индейка! — сказал вполголоса Иван Иванович с видом пренебрежения, оборотившись к своему соседу. — Такие ли должны быть индейки! Если бы вы увидели у меня индеек! Я вас уверяю, что жиру в одной больше, чем в десятке таких, как эти. Верите ли, государь мой, что даже противно смотреть, когда ходят они у меня по двору, так жирны!..

— Иван Иванович, ты лжешь! — произнес Григорий Григорьевич, вслушавшись в его речь.

— Я вам скажу, — продолжал все так же своему соседу Иван Иванович, показывая вид, будто бы он не слышал слов Григория Григорьевича, — что прошлый год, когда я отправлял их в Гадяч, давали по пятидесяти копеек за штуку. И то еще не хотел брать.

— Иван Иванович, я тебе говорю, что ты лжешь! — произнес Григорий Григорьевич, для лучшей ясности — по складам и громче прежнего.

Но Иван Иванович, показывая вид, будто это

совершенно относилось не к нему, продолжал так же, но только гораздо тише.

— Именно, государь мой, не хотел брать. В Гадяче ни у одного помещика…

— Иван Иванович! ведь ты глуп, и больше ничего, — громко сказал Григорий Григорьевич. — Ведь Иван Федорович знает все это лучше тебя и, верно, не поверит тебе.

Тут Иван Иванович совершенно обиделся, замолчал и принялся убирать индейку, несмотря на то что она не так была жирна, как те, на которые противно смотреть.

Стук ножей, ложек и тарелок заменил на время разговор; но громче всего слышалось высмактывание Григорием Григорьевичем мозгу из бараньей кости.

— Читали ли вы, — спросил Иван Иванович после некоторого молчания, высовывая голову из своей брички к Ивану Федоровичу, — книгу «Путешествие Коробейникова ко святым местам»? Истинное услаждение души и сердца! Теперь таких книг не печатают. Очень сожалетельно, что не посмотрел, которого году.

Иван Федорович, услышавши, что дело идет о книге, прилежно начал набирать себе соусу.

— Истинно удивительно, государь мой, как по-

думаешь, что простой мещанин прошел все места эти. Более трех тысяч верст, государь мой! Более трех тысяч верст. Подлинно, его сам Господь сподобил побывать в Палестине и Иерусалиме.

— Так вы говорите, что он, — сказал Иван Федорович, который много наслышался о Иерусалиме еще от своего денщика, — был и в Иерусалиме?..

— О чем вы говорите, Иван Федорович? — произнес с конца стола Григорий Григорьевич.

— Я, то есть, имел случай заметить, что какие есть на свете далекие страны! — сказал Иван Федорович, будучи сердечно доволен тем, что выговорил столь длинную и трудную фразу.

— Не верьте ему, Иван Федорович! — сказал Григорий Григорьевич, не вслушавшись хорошенько, — все врет!

Между тем обед кончился. Григорий Григорьевич отправился в свою комнату, по обыкновению, немножко всхрапнуть; а гости пошли вслед за старушкою хозяйкою и барышнями в гостиную, где тот самый стол, на котором оставили они, выходя обедать, водку, как бы превращением каким, покрылся блюдечками с вареньем разных сортов и блюдами с арбузами, вишнями и дынями.

Отсутствие Григория Григорьевича заметно было во всем. Хозяйка сделалась словоохотнее

и открывала сама, без просьбы, множество секретов насчет делания пастилы и сушения груш. Даже барышни стали говорить; но белокурая, которая казалась моложе шестью годами своей сестры и которой по виду было около двадцати пяти лет, была молчаливее.

Но более всех говорил и действовал Иван Иванович. Будучи уверен, что его теперь никто не собьет и не смешает, он говорил и об огурцах, и о посеве картофеля, и о том, какие в старину были разумные люди — куда против теперешних! — и о том, как всё, чем далее, умнеет и доходит к выдумыванию мудрейших вещей. Словом, это был один из числа тех людей, которые с величайшим удовольствием любят позаняться услаждающим душу разговором и будут говорить обо всем, о чем только можно говорить. Если разговор касался важных и благочестивых предметов, то Иван Иванович вздыхал после каждого слова, кивая слегка головою; ежели до хозяйственных, то высовывал голову из своей брички и делал такие мины, глядя на которые, кажется, можно было прочитать, как нужно делать грушевый квас, как велики те дыни, о которых он говорил, и как жирны те гуси, которые бегают у него по двору.

Наконец с великим трудом, уже ввечеру,

удалось Ивану Федоровичу распрощаться; и, несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, он устоял-таки в своем намерении ехать, и уехал.

V. Новый замысел тетушки

— Ну что? выманил у старого лиходея запись? — Таким вопросом встретила Ивана Федоровича тетушка, которая с нетерпением дожидалась его уже несколько часов на крыльце и не вытерпела наконец, чтоб не выбежать за ворота.

— Нет, тетушка! — сказал Иван Федорович, слезая с повозки, — у Григория Григорьевича нет никакой записи.

— И ты поверил ему! Врет он, проклятый! Когда-нибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. О, я ему поспущу жиру! Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим подсудком, нельзя ли судом с него стребовать… Но не об этом теперь дело. Ну, что ж, обед был хороший?

— Очень… да, весьма, тетушка.

— Ну, какие ж были кушанья, расскажи? Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней.

— Сырники были со сметаною, тетушка. Соус с голубями, начиненными…

— А индейка со сливами была? — спросила тетушка, потому что сама была большая искусница приготовлять это блюдо.

— Была и индейка!.. Весьма красивые барышни, сестрицы Григория Григорьевича, особенно белокурая!

— А! — сказала тетушка и посмотрела пристально на Ивана Федоровича, который, покраснев, потупил глаза в землю. Новая мысль быстро промелькнула в ее голове. — Ну, что ж? — спросила она с любопытством и живо, — какие у ней брови?

Не мешает заметить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины в бровях.

— Брови, тетушка, совершенно-с такие, какие, вы рассказывали, в молодости были у вас. И по всему лицу небольшие веснушки.

— А! — сказала тетушка, будучи довольна замечанием Ивана Федоровича, который, однако ж, не имел и в мыслях сказать этим комплимент. — Какое ж было на ней платье? хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот хоть бы, например, у меня на этом капоте. Но не об этом дело. Ну, что ж, ты говорил о чем-нибудь

с нею?

— То есть как?.. я-с, тетушка? Вы, может быть, уже думаете…

— А что ж? что тут диковинного? так Богу угодно! Может быть, тебе с нею на роду написано жить парочкою.

— Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить. Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня…

— Ну вот, уже и обиделся! — сказала тетушка. *«Ще молода дытына,* — подумала она про себя, — ничего не знает! нужно их свести вместе, пусть познакомятся!»

Тут тетушка пошла заглянуть в кухню и оставила Ивана Федоровича. Но с этого времени она только и думала о том, как увидеть скорее своего племянника женатым и понянчить маленьких внучков. В голове ее громоздились одни только приготовления к свадьбе, и заметно было, что она во всех делах суетилась гораздо более, нежели прежде, хотя, впрочем, эти дела более шли хуже, нежели лучше. Часто, делая какое-нибудь пирожное, которое вообще она никогда не доверяла кухарке, она, позабывшись и воображая, что возле нее стоит маленький внучек, просящий пирога, рассеянно протягивала к нему руку с луч-

шим куском, а дворовая собака, пользуясь этим, схватывала лакомый кусок и своим громким чваканьем выводила ее из задумчивости, за что и бывала всегда бита кочергою. Даже оставила она любимые свои занятия и не ездила на охоту, особливо когда вместо куропатки застрелила ворону, чего никогда прежде с нею не бывало.

Наконец, спустя дня четыре после этого, все увидели выкаченную из сарая на двор бричку. Кучер Омелько, он же и огородник и сторож, еще с раннего утра стучал молотком и приколачивал кожу, отгоняя беспрестанно собак, лизавших колеса. Долгом почитаю предуведомить читателей, что это была именно та самая бричка, в которой еще ездил Адам; и потому, если кто будет выдавать другую за адамовскую, то это сущая ложь и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась она от потопа. Должно думать, что в Ноевом ковчеге особенный для нее сарай. Жаль очень, что читателям нельзя описать живо ее фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпоровна была очень довольна ее архитектурою и всегда изъявляла сожаление, что вывелись из моды старинные экипажи. Самое устройство брички, немного набок, то есть так, что правая сторона ее была

гораздо выше левой, ей очень нравилось, потому что с одной стороны может, как она говорила, влезать малорослый, а с другой — великорослый. Впрочем, внутри брички могло поместиться штук пять малорослых и трое таких, как тетушка. Около полудня Омелько, управившись около брички, вывел из конюшни тройку лошадей, немного чем моложе брички, и начал привязывать их веревкою к величественному экипажу. Иван Федорович и тетушка, один с левой стороны, другая с правой, влезли в бричку, и она тронулась. Попадавшиеся на дороге мужики, видя такой богатый экипаж (тетушка очень редко выезжала в нем), почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись в пояс. Часа через два кибитка остановилась пред крыльцом, — думаю, не нужно говорить: пред крыльцом дома Сторченка. Григория Григорьевича не было дома. Старушка с барышнями вышла встретить гостей в столовую. Тетушка подошла величественным шагом, с большою ловкостию отставила одну ногу вперед и сказала громко:

— Очень рада, государыня моя, что имею честь лично доложить вам мое почтение. А вместе с решпектом позвольте поблагодарить за хлебосольство ваше к племяннику моему Ивану

Федоровичу, который много им хвалится. Прекрасная у вас гречиха, сударыня! я видела ее, подъезжая к селу. А позвольте узнать, сколько коп вы получаете с десятины?

После сего последовало всеобщее лобызание. Когда же уселись в гостиной, то старушка хозяйка начала:

— Насчет гречихи я не могу вам сказать: это часть Григория Григорьевича. Я уже давно не занимаюсь этим; да и не могу: уже стара! В старину у нас, бывало, я помню, гречиха была по пояс, теперь бог знает что. Хотя, впрочем, и говорят, что теперь все лучше. — Тут старушка вздохнула; и какому-нибудь наблюдателю послышался бы в этом вздохе вздох старинного осьмнадцатого столетия.

— Я слышала, моя государыня, что у вас собственные ваши девки отличные умеют выделывать ковры, — сказала Василиса Кашпоровна и этим задела старушку за самую чувствительную струну. При этих словах она как будто оживилась, и речи у ней полилися о том, как должно красить пряжу, как приготовлять для этого нитку. С ковров быстро съехал разговор на соление огурцов и сушение груш. Словом, не прошло часу, как обе дамы так разговорились между собою, будто век

были знакомы. Василиса Кашпоровна многое уже начала говорить с нею таким тихим голосом, что Иван Федорович ничего не мог расслушать.

— Да не угодно ли посмотреть? — сказала, вставая, старушка хозяйка.

За нею встали барышни и Василиса Кашпоровна, и все потянулись в девичью. Тетушка, однако ж, дала знак Ивану Федоровичу остаться и сказала что-то тихо старушке.

— Машенька! — сказала старушка, обращаясь к белокурой барышне, — останься с гостем да поговори с ним, чтобы гостю не было скучно!

Белокурая барышня осталась и села на диван. Иван Федорович сидел на своем стуле как на иголках, краснел и потуплял глаза; но барышня, казалось, вовсе этого не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкою, трусливо пробегавшею под стульями.

Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор; но казалось, что все слова свои растерял он на дороге. Ни одна мысль не приходила на ум.

Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела.

Наконец Иван Федорович собрался с духом.

— Летом очень много мух, сударыня! — произнес он полудрожащим голосом.

— Чрезвычайно много! — отвечала барышня. — Братец нарочно сделал хлопушку из старого маменькиного башмака; но все еще очень много.

Тут разговор опять прекратился. И Иван Федорович никаким образом уже не находил речи.

Наконец хозяйка с тетушкою и чернявою барышнею возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпоровна распростилась с старушкою и барышнями, несмотря на все приглашения остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшим из брички тетушке и племяннику.

— Ну, Иван Федорович! о чем же вы говорили вдвоем с барышнею? — спросила дорогою тетушка.

— Весьма скромная и благонравная девица Марья Григорьевна! — сказал Иван Федорович.

— Слушай, Иван Федорович! я хочу поговорить с тобою сурьезно. Ведь тебе, слава богу, тридцать осьмой год. Чин ты уже имеешь хороший. Пора подумать и об детях! Тебе непременно нужна жена…

— Как, тетушка! — вскричал, испугавшись,

Иван Федорович. — Как жена! Нет-с, тетушка, сделайте милость… Вы совершенно в стыд меня приводите… я еще никогда не был женат… Я совершенно не знаю, что с нею делать!

— Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь, — промолвила, улыбаясь, тетушка и подумала про себя: *«Куды ж! ще зовсим молода дытына,* ничего не знает!» — Да, Иван Федорович! — продолжала она вслух, — лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе же она притом очень понравилась. Мы уже насчет этого много переговорили с старухою: она очень рада видеть тебя своим зятем; еще неизвестно, правда, что скажет этот греходей Григорьевич. Но мы не посмотрим на него, и пусть только он вздумает не отдать приданого, мы его судом…

В это время бричка подъехала к двору, и древние клячи ожили, чуя близкое стойло.

— Слушай, Омелько! коням дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчас, распрягши, к водопою! они лошади горячие. Ну, Иван Федорович, — продолжала, вылезая, тетушка, — я советую тебе хорошенько подумать об этом. Мне еще нужно забежать в кухню, я позабыла Солохе заказать ужин, а она негодная, я думаю, сама и не подумала об этом.

Но Иван Федорович стоял, как будто громом оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но жениться!.. это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою!.. непонятно! Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое!.. Пот проступал у него на лице, по мере того чем более углублялся он в размышление.

Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его; но какой сон! еще несвязнее сновидений он никогда не видывал. То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, а он бежит, бежит, не чувствует под собою ног… вот уже выбивается из сил… Вдруг кто-то хватает его за ухо. «Ай! кто это?» — «Это я, твоя жена!» — с шумом говорил ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит вместо одинокой — двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену,

тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. Назад — еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена… То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: «Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек». Он к ней — но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. «Кто это тащит меня?» — жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол». — «Нет, я не колокол, я Иван Федорович!» — кричал он. «Да, ты колокол», — говорил, проходя мимо, полковник П*** пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя; что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи? — говорит купец. — Вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет под мышку, идет к жиду, портному. «Нет, — говорит

жид, — это дурная материя! Из нее никто не шьет себе сюртука…»

В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом.

Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец, по своей редкой доброте и бескорыстию, поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон.

Между тем в голове тетушки созрел совершенно новый замысел, о котором узнаете в следующей главе.

Заколдованное место

Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви

Ей-богу, уже надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однако ж не

говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит! Вот извольте видеть: нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет одиннадцать; так нет же, не одиннадцать: я помню как теперь, когда раз побежал было на четвереньках и стал лаять по-собачьи, батько закричал на меня, покачав головою: «Эй, Фома, Фома! тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак!» Дед был еще тогда жив и на ноги — пусть ему легко икнется на том свете — довольно крепок. Бывало, вздумает…

Да что ж эдак рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что, в самом деле!.. Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать!

Батько еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню только, два или три воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собою взял он трехгодового брата — приучать заранее чумаковать. Нас осталось: дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень; взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать чтобы худо. Бывало, наешься в день

столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе, ей-богу, как будто петухи кричат. Ну, оно притом же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынею. Да из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее.

Но деду более всего любо было то, что чумаков каждый день возов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый: пойдет рассказывать — только уши развешивай! А деду это все равно что голодному галушки. Иной раз, бывало, случится встреча с старыми знакомыми, — деда всякий уже знал, — можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то да тогда-то, такое-то да такое-то было... ну, и разольются! вспомянут бог знает когдашнее.

Раз, — ну вот, право, как будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться; дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми прикрывал их днем, чтоб не попеклись на солнце.

— Смотри, Остап! — говорю я брату, — вон чумаки едут!

— Где чумаки? — сказал дед, положивши значок на большой дыне, чтобы на случай не съели

хлопцы.

По дороге тянулось точно возов шесть. Впереди шел чумак уже с сизыми усами. Не дошедши шагов — как бы вам сказать — на десять, он остановился.

— Здорово, Максим! Вот привел Бог где увидеться!

Дед прищурил глаза:

— А! здорово, здорово! откуда Бог несет? И Болячка здесь? здорово, здорово, брат! Что за дьявол! да тут все: и Крутотрыщенко! и Печеряця и Ковелек! и Стецько! здорово! А, га, га! го, го!.. — И пошли целоваться.

Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? за россказнями да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями. Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком (калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовы сесть), обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот.

— Что ж вы, хлопцы, — сказал дед, — рты свои разинули? танцуйте, собачьи дети! Где, Остап, твоя сопилка? А ну-ка козачка! Фома, берись в боки! ну! вот так! гей, гоп!

Я был тогда малый подвижной. Старость проклятая! теперь уже не пойду так; вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте: так, как будто их что-нибудь дергает.

— Смотри, Фома, — сказал Остап, — если старый хрен не пойдет танцевать!

Что ж вы думаете? не успел он сказать — не вытерпел старичина! захотелось, знаете, прихвастнуть пред чумаками.

— Вишь, чертовы дети! разве так танцуют? Вот как танцуют! — сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками.

Ну, нечего сказать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и с гетьманшею. Мы посторонились, и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел, однако ж, до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку, — не подымаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова,

дошел до середины — не берет! что хочь делай: не берет, да и не берет! ноги как деревянные стали! «Вишь, дьявольское место! вишь, сатанинское наваждение! впутается же ирод, враг рода человеческого!»

Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любо глядеть; до середины — нет! не вытанцывается, да и полно!

— А, шельмовский сатана! чтоб ты подавился гнилою дынею! чтоб еще маленьким издохнул, собачий сын! вот на старость наделал стыда какого!..

И в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся: ни баштану, ни чумаков, ничего; назади, впереди, по сторонам — гладкое поле.

— Э! ссс… вот тебе на!

Начал прищуривать глаза — место, кажись, не совсем незнакомое: сбоку лес, из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть! да это голубятня, что у попа в огороде! С другой стороны тоже что-то сереет; вгляделся: гумно волостного писаря. Вот куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть

завтра большому ветру!» — подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка.

— Вишь! — стал дед и руками подперся в боки, и глядит: свечка потухла; вдали и немного подалее загорелась другая. — Клад! — закричал дед. — Я ставлю бог знает что, если не клад! — и уже поплевал было в руки, чтобы копать, да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. — Эх, жаль! ну, кто знает, может быть, стоит только поднять дерн, а он тут и лежит, голубчик! Нечего делать, назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после!

Вот, перетянувши сломленную, видно вихрем, порядочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть; мелькнул плетень. «Ну, так! не говорил ли я, — подумал дед, — что это попова левада? Вот и плетень его! теперь и версты нет до баштана».

Поздненько, однако ж, пришел он домой и галушек не захотел есть. Разбудивши брата Остапа, спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И когда тот начал было спрашивать:

— А куда тебя, дед, черти дели сегодня?

— Не спрашивай, — сказал он, завертываясь еще крепче, — не спрашивай, Остап; не то поседеешь! — И захрапел так, что воробьи, которые забрались было на баштан, поподымались с перепугу на воздух. Но где уж там ему спалось! Нечего сказать, хитрая была бестия, дай Боже ему царствие небесное! — умел отделаться всегда. Иной раз такую запоет песню, что губы станешь кусать.

На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял под мышку заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль сировцу, утер губы полою и пошел прямо к попову огороду. Вот минул и плетень, и низенький дубовый лес. Промеж деревьев вьется дорожка и выходит в поле. Кажись, та самая. Вышел и на поле — место точь-в-точь вчерашнее: вон и голубятня торчит; но гумна не видно. «Нет, это не то место. То, стало быть, подалее; нужно, видно, поворотить к гумну!» Поворотил назад, стал идти другою дорогою — гумно видно, а голубятни нет! Опять поворотил поближе к голубятне — гумно спряталось. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну — голубятня пропала; к голубятне — гумно пропало.

— А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть!

А дождь пустился, как будто из ведра.

Вот, скинувши новые сапоги и обернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский иноходец. Влез в курень, промокши насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать черта такими словами, каких я еще отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы, верно, покраснел, если бы случилось это среди дня.

На другой день проснулся, смотрю: уже дед ходит по баштану как ни в чем не бывало и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стал пугать меньшего брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза; а пообедавши, сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть; и дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую называл он турецкою. Теперь таких дынь я нигде и не видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались.

Ввечеру, уже повечерявши, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы:

«Проклятое место!» — взошел на середину, где не вытанцывалось позавчера, и ударил в сердцах заступом. Глядь, вокруг него опять то же самое поле: с одной стороны торчит голубятня, а с другой гумно. «Ну, хорошо, что догадался взять с собою заступ. Вон и дорожка! вон и могилка стоит! вон и ветка навалена! вон-вон горит и свечка! Как бы только не ошибиться».

Потихоньку побежал он, поднявши заступ вверх, как будто бы хотел им попотчевать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкою. Свечка погасла, на могиле лежал камень, заросший травою. «Этот камень нужно поднять!» — подумал дед и начал обкапывать его со всех сторон. Велик проклятый камень! вот, однако ж, упершись крепко ногами в землю, пихнул он его с могилы. «Гу!» — пошло по долине. «Туда тебе и дорога! Теперь живее пойдет дело».

Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было поднести к носу, как вдруг над головою его «чихи!» — чихнуло что-то так, что покачнулись деревья и деду забрызгало все лицо.

— Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть! — проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся — никого нет. — Нет, не любит, вид-

но, черт табаку! — продолжал он, кладя рожок в пазуху и принимаясь за заступ. — Дурень же он, а такого табаку ни деду, ни отцу его не доводилось нюхать!

Стал копать — земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидел он котел.

— А, голубчик, вот где ты! — вскрикнул дед, подсовывая под него заступ.

— А, голубчик, вот где ты! — запищал птичий нос, клюнувши котел.

Посторонился дед и выпустил заступ.

— А, голубчик, вот где ты! — заблеяла баранья голова с верхушки дерева.

— А, голубчик, вот где ты! — заревел медведь, высунувши из-за дерева свое рыло.

Дрожь проняла деда.

— Да тут страшно слово сказать! — проворчал он про себя.

— Тут страшно слово сказать! — пискнул птичий нос.

— Страшно слово сказать! — заблеяла баранья голова.

— Слово сказать! — ревнул медведь.

— Гм… — сказал дед и сам перепугался.

— Гм! — пропищал нос.

— Гм! — проблеял баран.

— Гум! — заревел медведь.

Со страхом оборотился он: боже ты мой, какая ночь! ни звезд, ни месяца; вокруг провалы; под ногами круча без дна; над головою свесилась гора и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него! И чудится деду, что из-за нее мигает какая-то харя: у! у! нос — как мех в кузнице; ноздри — хоть по ведру воды влей в каждую! губы, ей-богу, как две колоды! красные очи выкатились наверх, и еще и язык высунула и дразнит!

— Черт с тобою! — сказал дед, бросив котел. — На тебе и клад твой! Экая мерзостная рожа! — и уже ударился было бежать, да огляделся и стал, увидевши, что все было по-прежнему. — Это только пугает нечистая сила!

Принялся снова за котел — нет, тяжел! Что делать? Тут же не оставить! Вот, собравши все силы, ухватился он за него руками.

— Ну, разом, разом! еще, еще! — и вытащил! — Ух! Теперь понюхать табаку!

Достал рожок; прежде, однако ж, чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько, нет ли кого: кажись, что нет; но вот чудится ему, что пень дерева пыхтит и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза; ноздри раздулись, нос

поморщился и вот так и собирается чихнуть. «Нет, не понюхаю табаку, — подумал дед, спрятавши рожок, — опять заплюет сатана очи». Схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало духу; только слышит, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам… «Ай, ай, ай!» — покрикивал только дед, ударив во всю мочь; и как добежал до попова огорода, тогда только перевел немного дух.

«Куда это зашел дед?» — думали мы, дожидаясь часа три. Уже с хутора давно пришла мать и принесла горшок горячих галушек. Нет да и нет деда! Стали опять вечерять сами. После вечера вымыла мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг все были гряды, как видит, идет, прямо к ней навстречу кухва. На небе было-таки темненько. Верно, кто-нибудь из хлопцев, шаля, спрятался сзади и подталкивает ее.

— Вот кстати, сюда вылить помои! — сказала и вылила горячие помои.

— Ай! — закричало басом.

Глядь — дед. Ну, кто его знает! Ей-богу, думали, что бочка лезет. Признаюсь, хоть оно и грешно немного, а, право, смешно показалось, когда седая голова деда вся была окунута в помои и обвешана корками с арбузов и дыней.

— Вишь, чертова баба! — сказал дед, утирая голову полою, — как опарила! как будто свинью перед Рождеством! Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вам принес! — сказал дед и открыл котел.

Что ж бы, вы думали, такое там было? ну, по малой мере, подумавши, хорошенько, а? золото? Вот то-то, что не золото: сор, дрязг… стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымыл.

И с той поры заклял дед и нас верить когда-либо черту.

— И не думайте! — говорил он часто нам, — все, что ни скажет враг господа Христа, все солжет, собачий сын! У него правды и на копейку нет!

И, бывало, чуть только услышит старик, что в ином месте неспокойно:

— А ну-те, ребята, давайте крестить! — закричит к нам. — Так его! так его! хорошенько! — и начнет класть кресты. А то проклятое место, где не вытанцывалось, загородил плетнем, велел кидать все, что ни есть непотребного, весь бурьян и сор, который выгребал из баштана.

Так вот как морочит нечистая сила человека! Я знаю хорошо эту землю: после того нанимали

ее у батька под баштан соседние козаки. Земля славная! и урожай всегда бывал на диво; но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец… черт знает что такое!

Миргород

Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки»

Миргород нарочито невеликий при реке Хороле город. Имеет 1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц.

География Зябловского

Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны.

Из записок одного путешественника

Часть первая
Старосветские помещики

Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекотурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем,

сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, — все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он

приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь.

Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, — и ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу.

Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пуль-

херия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом[60], сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник, верно бы, украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из

[60] Примечания: 60
Камлот — шерстяная ткань.

дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на *о,* слог *въ*. Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии.

Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу *ты,* но всегда *вы*; вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих. Когда-то, в молодости, Афанасий Иванович служил в компанейцах[61], был после секунд-майором, но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол; он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну,

[61] Примечания: 61

Компанейцы — солдаты и офицеры кавалерийских полков, формировавшихся из добровольцев.

которую родственники не хотели отдать за него; но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил.

Все эти давние, необыкновенные происшествия заменились спокойною и уединенною жизнию, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу.

Он всегда слушал с приятною улыбкою гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоя-

тельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.

Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, прозябнувши от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая в ладоши. Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если

бы некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой Петра III. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержавшийся с такою опрятностию, с какою, верно, не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее.

Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветною шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетие, были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится.

Но самое замечательное в доме — были пою-

щие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет, — но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно наконец слышалось: «батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрып дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей… и Боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!

Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они

были все с высокими выточенными спинками, в натуральном виде, без всякого лака и краски; они не были даже обиты материею и были несколько похожи на те стулья, на которые и доныне садятся архиереи. Трехугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц, — вот все почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики.

Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большею частию бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостию держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером

полуфраке, с босыми ногами, и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос; но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черною тучею весь потолок.

Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу; все бремя правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике[62] водку на

[62] Примечания: 62

Лембик — резервуар для перегонки и очистки водки.

персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы наконец весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои.

В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом[63], обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделывали множество саней и продавали их на ближней ярмарке; кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним

---

[63] Примечания: 63
Войт — сельский староста.

козакам. Один только раз Пульхерия Ивановна пожелала обревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартуками, от которых, как только кучер встряхивал вожжами и лошади, служившие еще в милиции, трогались с своего места, воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны и флейта, и бубны, и барабан; каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее двух верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которые она еще в детстве знавала столетними.

— Отчего это у тебя, Ничипор, — сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся, — дубки сделались так редкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали редки.

— Отчего редки? — говаривал обыкновенно приказчик, — пропали! Так-таки совсем пропали: и громом побило, и черви проточили, — пропали, пани, пропали.

Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около

шпанских вишен и больших зимних дуль.

Эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары, а что с бар будет довольно и половины; наконец, и эту половину привозили они заплесневшую или подмоченную, которая была обракована на ярмарке. Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько ни клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотна и пряжу, что все обращалось ко всемирному источнику, то есть к шинку, сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи, — но благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве.

Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда вставали

рано) и как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшею подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица: он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать.

После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне:

— А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?

— Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?

— Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков, — отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.

За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.

— Мне кажется, как будто эта каша, — говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, — немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?

— Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соусу с грибками и подлейте к ней.

— Пожалуй, — говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, — попробуем, как оно будет.

После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила:

— Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз.

— Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в средине, — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, — бывает, что и красный, да нехороший.

Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках[64] и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил:

— Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?

— Чего же бы такого? — говорила Пульхерия Ивановна, — разве я пойду скажу, чтобы вам принесли варенников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?

— И то добре, — отвечал Афанасий Иванович.

---

[64] Примечания: 64

Ночевка — маленькое корыто.

— Или, может быть, вы съели бы киселику?

— И то хорошо, — отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо.

Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала:

— Чего вы стонете, Афанасий Иванович?

— Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит, — говорил Афанасий Иванович.

— А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?

— Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?

— Кислого молочка или жиденького узвару[65] с сушеными грушами.

— Пожалуй, разве так только, попробовать, — говорил Афанасий Иванович.

Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку; после чего он обыкновенно говорил:

— Теперь так как будто сделалось легче.

Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхериею Ивановною и поговорить о чем-нибудь постороннем.

— А что, Пульхерия Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?

— Вот это боже сохрани! — говорила Пульхерия Ивановна, крестясь.

— Ну, да положим, что дом наш сгорел, куда бы мы перешли тогда?

— Бог знает что вы говорите, Афанасий Иванович! как можно, чтобы дом мог сгореть: Бог этого не попустит.

— Ну, а если бы сгорел?

---

[65] Примечания: 65

Узвар — компот.

— Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница.

— А если бы и кухня сгорела?

— Вот еще! Бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом и кухня сгорели! Ну, тогда в кладовую, покамест выстроился бы новый дом.

— А если бы и кладовая сгорела?

— Бог знает что вы говорите! я и слушать вас не хочу! Грех это говорить, и Бог наказывает за такие речи.

Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхериею Ивановною, улыбался, сидя на своем стуле.

Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них ни было лучшего, все это выносилось. Они наперерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствие чистой, ясной

простоты их добрых, бесхитростных душ. Это радушие вовсе не то, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпускаем того же дня: он должен был непременно переночевать.

— Как можно такою позднею порою отправляться в такую дальнюю дорогу! — всегда говорила Пульхерия Ивановна (гость обыкновенно жил в трех или в четырех верстах от них).

— Конечно, — говорил Афанасий Иванович, — неравно всякого случая: нападут разбойники или другой недобрый человек.

— Пусть Бог милует от разбойников! — говорила Пульхерия Ивановна. — И к чему рассказывать эдакое на ночь. Разбойники не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера, он такой тендитный да маленький, его всякая кобыла побьет; да притом теперь он уже, верно, наклюкался и спит где-нибудь.

И гость должен был непременно остаться; но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий и усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья,

всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него наградою. Я вижу как теперь, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле с всегдашнею своею улыбкой и слушает со вниманием и даже наслаждением гостя! Часто речь заходила и об политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта, или просто рассказывал о предстоящей войне, и тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну:

— Я сам думаю пойти на войну; почему ж я не могу идти на войну?

— Вот уже и пошел! — прерывала Пульхерия Ивановна. — Вы не верьте ему, — говорила она, обращаясь к гостю. — Где уже ему, старому, идти на войну! Его первый солдат и застрелит! Ей-богу, застрелит! Вот так-таки прицелится и застрелит.

— Что ж, — говорил Афанасий Иванович, — и я его застрелю.

— Вот слушайте только, что он говорит! — подхватывала Пульхерия Ивановна, — куда ему идти на войну! И пистоли его давно уже заржавели и

лежат в коморе. Если б вы их видели: там такие, что, прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом. И руки себе поотобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется!

— Что ж, — говорил Афанасий Иванович, — я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или козацкую пику.

— Это все выдумки. Так вот вдруг придет в голову, и начнет рассказывать, — подхватывала Пульхерия Ивановна с досадою. — Я и знаю, что он шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот эдакое он всегда говорит, иной раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет.

Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле.

Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске.

— Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоянная на деревий и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник: если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот эта — перегнанная на персиковые косточки; вот возьмите рюмку, ка-

кой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкапа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом — и все как рукой снимет, в ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало.

После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всею этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок.

— Вот это грибки с чебрецом! это с гвоздиками и волошскими орехами! Солить их выучила меня туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркеня, и незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит, почти как у нас; только свинины не ела: говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородинным листом и мушкатным орехом! А вот это большие травянки: я их еще в первый раз отваривала в уксусе; не знаю, каковы-то они; я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще что бывает

на нечуй[66] -витере цвет, так этот цвет взять и хвостиками разостлать вверх. А вот это пирожки! это пирожки с сыром! это с урдою![67] а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и гречневою кашею.

— Да, — прибавлял Афанасий Иванович, — я их очень люблю; они мягкие и немножко кисленькие.

Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка! Она вся принадлежала гостям. Я любил бывать у них, и хотя объедался страшным образом, как и все гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то, без сомнения, вместо постели очутился бы лежащим на столе.

Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного

---

[66] Примечания: 66
Нечуй — трава.

[67] Примечания: 67
Урда — выжимки из маковых зерен.

уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого маловажного случая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события, и наоборот — великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля; а иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом села и деревни, а там и целое государство. Но оставим эти рассуждения: они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями.

У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком, у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, часто подшучивал над такою

привязанностию:

— Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке. На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?

— Уж молчите, Афанасий Иванович, — говорила Пульхерия Ивановна, — вы любите только говорить, и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка тихое творение, она никому не сделает зла.

Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки; он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Ивановной.

За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком, — может быть, оттого, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизированы, нежели обитатели лесов. Это,

напротив того, большею частию народ мрачный и дикий; они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало, являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им не известны; они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкою Пульхерии Ивановны и наконец подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло три дня; Пульхерия Ивановна пожалела, наконец вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с нарванными своею рукою зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она, как будто по инстинкту, произнесла: «Кис, кис!» — и вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая; заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала

звать ее, но кошка стояла перед нею, мяукала и не смела близко подойти; видно было, что она очень одичала с того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самого забора. Наконец, увидевши прежние, знакомые места, вошла и в комнату. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мяса и, сидя перед нею, наслаждалась жадностию бедной своей фаворитки, с какою она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерия Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишком свыклась с хищными котами или набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы как соколы; как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее.

Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною!» — сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила: Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было

удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела.

— Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?

— Нет, я не больна, Афанасий Иванович! Я хочу вам объявить одно особенное происшествие: я знаю, что я этим летом умру; смерть моя уже приходила за мною!

Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако ж, победить в душе своей грустное чувство и, улыбнувшись, сказал:

— Бог знает что вы говорите, Пульхерия Ивановна! Вы, верно, вместо декохта[68], что часто пьете, выпили персиковой.

— Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой, — сказала Пульхерия Ивановна.

И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице.

— Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю, — сказала Пульхерия Ивановна. — Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на

---

[68] Примечания: 68

Декохт — лечебный отвар.

меня серенькое — то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня: мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится: из него сошьете себе парадный халат на случай, когда приедут гости, то чтобы можно было вам прилично показаться и принять их.

— Бог знает что вы говорите, Пульхерия Ивановна! — говорил Афанасий Иванович, — когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами.

— Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете.

Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок.

— Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и Бога не гневите своею печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я (тяжелый вздох прервал на минуту речь ее): я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами.

При этом на лице ее выразилась такая глубокая,

такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно.

— Смотри мне, Явдоха, — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать, — когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как гла́за своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит. Чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз. Явдоха, я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Явдоха; ты уже стара, тебе не долго жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастия на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божия.

Бедная старушка! она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни;

она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенною расторопностию распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно чрез несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» — говорил он, с беспокойством смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами — и дыхание ее улетело.

Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не понимая значения трупа.

Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу, — он на все это глядел бесчувственно. Множество на-

рода всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору; кутья, наливки, пироги покрывали их кучами; гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него, — но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли наконец, народ повалил следом, и он пошел за нею; священники были в полном облачении, солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой, ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу; он подошел, поцеловал, на глазах его показались слезы, — но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священник взял заступ и первый бросил горсть земли, густой протяжный хор дьячка и двух пономарей пропел вечную память под чистым, безоблачным небом, работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сровняла яму, — в это время он пробрался вперед; все расступились, дали ему место, желая знать его намерение. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее! зачем?!» Он остановился и не докончил своей речи.

Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, — он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей.

Пять лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним? Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств, я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти — нежная, прекрасная, как ангел, — была поражена ненасытною смертию. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной, палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду… Его старались не выпускать с глаз; от него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. Две недели спустя он вдруг победил себя: начал смеяться, шутить; ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это было — купить пистолет. В один день вне-

запно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в комнату и увидели его распростертого, с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельною, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы мог он себя ударить; но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растрощило руку и ногу; но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале: он сидел за столом, весело говорил: «петит-уверт», закрывши одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.

По истечении сказанных пяти лет после смерти Пульхерии Ивановны я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее, крестьянские избы совсем легли набок — без

сомнения, так же, как и владельцы их; частокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать только два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу; те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вышел старик. Так это он! я тотчас же узнал его; но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с тою же знакомою мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты; казалось, все было в них по-прежнему; но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то; словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем в первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собою без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны: за столом подали один нож без черенка; блюда уже не были

приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения.

Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою, — и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости; он слушал с тою же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею и, вместо того чтобы подносить ко рту, подносил к носу; вилку свою, вместо того чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: «Что это так долго не несут кушанья?» Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюда, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью.

«Вот это то кушанье, — сказал Афанасий Иванович, когда подали нам *мнишки*[69] со сметаною, — это то кушанье, — продолжал он, и я заметил,

---

[69] Примечания: 69
Мнишки — сырники.

что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. — Это то кушанье, которое по… по… покой… покойни…» — и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил его всего; он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку.

«Боже! — думал я, глядя на него, — пять лет всеистребляющего времени — старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов, — и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнее над нами: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей — есть только следствие нашего яркого возраста и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз

силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастия; это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу; нет! это были слезы, которые текли не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца.

Он не долго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиною Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенною своею беспечностию, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович!» Он оборотился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты — нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он наконец произнес: «Это

Пульхерия Ивановна зовет меня!»

Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокоивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню.

Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул,

кашлял, таял как свечка и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны», — вот все, что произнес он перед своею кончиною.

Желание его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал, неизвестно откуда, какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Мудрая опека (из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире) переве-

ла в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своею опекою и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии; тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как то: муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышает всем оптом своим цены одного рубля.

Тарас Бульба

I

— А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии? — Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это

были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

— Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько, — продолжал он, поворачивая их, — какие же длинные на вас свитки![70] Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А побеги который-нибудь из вас! я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшися в полы.

— Не смейся, не смейся, батьку! — сказал наконец старший из них.

— Смотри ты, какой пышный![71] А отчего ж бы не смеяться?

— Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу!

— Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька?.. — сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад.

— Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не

---

[70] Примечания: 70

Верхняя одежда у южных россиян. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

[71] Примечания: 71

Пышный — здесь: в смысле гордый, недотрога.

уважу никого.

— Как же хочешь ты со мною биться? разве на кулаки?

— Да уж на чем бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки! — говорил Тарас Бульба, засучив рукава, — посмотрю я, что за человек ты в кулаке!

И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

— Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума! — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. — Дети приехали домой, больше году их не видали, а он задумал невесть что: на кулаки биться!

— Да он славно бьется! — говорил Бульба, остановившись. — Ей-богу, хорошо! — продолжал он, немного оправляясь, — так, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся! — И отец с сыном стали целоваться. — Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил; никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство: что это за

веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил? — говорил он, обращаясь к младшему, — что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?

— Вот еще что выдумал! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. — И придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя молодое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом), ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться!

— Э, да ты мазунчик, как я вижу! — говорил Бульба. — Не слушай, сынку, матери: она — баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь: вот ваша нежба! А видите вот эту саблю? вот ваша матерь! Это все дрянь, чем набивают головы ваши; и академия, и все те книжки, буквари, и философия — все это *ка зна що,* я плевать на все это! — Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. — А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука так наука! Там вам школа; там только наберетесь разуму.

— И всего только одну неделю быть им дома? — говорила жалостно, со слезами на глазах,

худощавая старуха мать. — И погулять им, бедным, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них!

— Полно, полно выть, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, да ставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков[72]; тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! Да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками[73], а чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела как бешеная.

Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных монистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потому долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во

---

[72] Примечания: 72
Пундики — сладости.

[73] Примечания: 73
Вытребеньки — причуды.

вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющихся более на Украйне бородатыми старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры, в виду обступившего народа; во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украйне за унию. Все было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями, через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол под образами в парадном углу; широкая печь с запечьями, уступами

и выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами, — все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время; приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не в обычае было позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо; и когда пришли двое из них и есаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час представил сыновей, говоря: «Вот смотрите, какие молодцы! На Сечь их скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей и сказали им, что доброе дело делают и что нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сечь.

— Ну ж, паны-браты, садись всякий, где кому лучше, за стол. Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки! — так говорил Бульба. — Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурменов били, и турков

бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били! Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю: Гораций, что ли?

«Вишь, какой батько! — подумал про себя старший сын, Остап, — все старый, собака, знает, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки, — продолжал Тарас. — А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что ни есть у козака? А может, так как вы сделались уже слишком разумные, так, может, и плетюганами пороли? Чай, не только по субботам, а доставалось и в середу и в четверги?

— Нечего, батько, вспоминать, что было, — отвечал хладнокровно Остап, — что было, то прошло!

— Пусть теперь попробует! — сказал Андрий. — Пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будет знать она, что за вещь козацкая

сабля!

— Добре, сынку! ей-богу, добре! Да когда на то пошло, то и я с вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-богу, поеду! — И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. — Завтра же едем! Зачем откладывать! Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? На что эти горшки? — Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки.

Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, — и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах.

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть толь-

ко в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле мирный славянский дух и завелось козачество — широкая, разгульная замашка русской природы, — и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие и удобные места усеялись козаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: «Кто их знает! у нас их раскидано по всему степу: что байрак, то козак» (что маленький пригорок, там уж и козак). Это было, точно, необыкновенное явленье русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и

ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся, наместо удельных князей, властителями сих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значенье козаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдаленною властью гетьманы, избранные из среды самих же козаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Это не было строевое собранное войско, его бы никто не увидал; но в случае войны и общего движенья в восемь дней, не больше, всякий являлся на коне, во всем своем вооружении, получа один только червонец платы от короля, — и в две недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход — воин уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный козак. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал козак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть по-

роху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский, — все это было ему по плечу. Кроме рейстровых козаков[74], считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочекомонных[75], стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй вы, пивники, броварники![76] полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы! полно вам за плугом ходить, да пачкать в земле свои желтые чоботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать козацкой славы!» И слова эти были как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары ки-

---

[74] Примечания: 74

Рейстровые козаки — казаки, занесенные поляками в списки (реестры) регулярных войск.

[75] Примечания: 75

Охочекомонные козаки — конные добровольцы.

[76] Примечания: 76

Броварники — пивовары.

дали свои кади и разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность.

Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь козаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам с своими козаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, именно: когда комиссары[77] не уважили в чем старшин и

[77] Примечания: 77
Комиссары — польские сборщики податей.

стояли пред ними в шапках, когда поглумились над православием и не почтили предковского закона и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства.

Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!»; как представит их всем старым, закаленным в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних. Но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать. Есаулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселе и в

голове его еще бродил хмель, однако ж не забыл ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы и пришел усталый от своих забот.

— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор; все, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей.

Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом; она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственною грудью, она возрастила, взлелеяла их и только на один миг видит их перед собою. «Сыны

мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас?» — говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, — и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуху. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки, она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда!

Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица; а за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю. Рыдая, глядела она им в очи, когда всемогущий сон начинал уже смыкать их, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд; может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка; красные полосы ясно сверкнули на небе.

Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте

коней! А где стара́? (Так он обыкновенно называл жену свою.) Живее, стара, готовь нам есть; путь лежит великий!

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром[78]; к очкуру прицеплены были длинные ремешки, с кистями и прочими побрякушками, для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать как увидела

---

[78] Примечания: 78

Очкур — шнурок, которым затягивали шаровары.

их, и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

— Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! — произнес наконец Бульба. — Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба. — Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую[79], чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает.

Мать, слабая, как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит вас… Божья Матерь… Не забывайте, сынки, мать вашу… пришлите хоть весточку о себе… — Далее она не могла говорить.

— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба.

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое

---

[79] Примечания: 79
Рыцарскую. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности: она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и с отчаяньем в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всею легкостию дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какою-то помешанною, бесчувственною горячностию; ее опять увели.

Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, с своей стороны, был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад; хутор их как будто ушел в землю; только видны были над землей две трубы скромного их домика да вершины дерев, по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний луг еще стлался перед ними, — тот луг, по которому они могли припомнить всю историю своей жизни, от лет, когда катались по

росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку, боязливо перелетавшую через него с помощию своих свежих, быстрых ног. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла. — Прощайте и детство, и игры, и всё, и всё!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сечи из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с

тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни: эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жиз-

ни. Учившиеся им ни к чему не могли привязать своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей — все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, возбуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, — все это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, баблики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул[80], долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки. Эти бурсаки составляли

[80] Примечания: 80

Консул — старший из бурсаков, избираемый для наблюдения за поведением своих товарищей.

совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода, Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы[81] по их приказанию пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим наконец сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они убегали на Запорожье, если умели найти дорогу и если не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то что начал с большим старанием учить логику и даже богословие, никак не избавлялся неумолимых розг. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад или

[81] Примечания: 81
Ликторы — помощники консула.

огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае, не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере, никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был изобретательнее своего брата; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. По-

требность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его; он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне и домы были выстроены с некоторою прихотливостию. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница с престрашными усами хлыснул

его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастию успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая толпою, в богатом убранстве, стояла за воротами, окружив игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостью, он пролез чрез частокол в сад, взлез на дерево, которое раскидывалось ветвями на самую крышу

дома; с дерева перелез он на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнесть ни одного слова; но когда приметила, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости пошевелить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог пошевелить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку[82] с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которою от-

[82] Примечания: 82
Шемизетка — накидка.

личаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся в это время у дверей стук испугал ее. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывесть его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он встретил ее еще раз в костеле: она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо прекрасной черноглазой полячки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего.

А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступив-

ши, скрыла их, и только козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями.

— Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости. — Как будто какие-нибудь чернецы! Ну, разом все думки к нечистому! Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!

И козаки, принагнувшись к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только струя сжимаемой травы показывала след их быстрого бега.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным, теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у козаков, вмиг слетело; сердца их встрепенулись, как птицы.

Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся

поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем… Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..

Наши путешественники останавливались только на несколько минут для обеда, причем ехавший с ними отряд из десяти козаков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов.

Ели только хлеб с салом или коржи, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась темно-зеленою; испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался до щек. Вся музыка, звучавшая днем, утихала и сменялась другою. Пестрые суслики выпалзывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили

на него котел, в котором варили себе кулиш[83]; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, стрекотанье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем воздухе и убаюкивало дремлющий слух. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Дне-

[83] Примечания: 83
Кулиш — жидкая пшенная каша с салом.

пра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина!.. И не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь.

Чрез три дни после этого они были уже недалеко от места, бывшего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело; они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и, наконец, обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по воле; где брошенные в

средину его острова вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались широко по земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сечь, так часто переменявшая свое жилище.

Куча народу бранилась на берегу с перевозчиками. Козаки оправили коней. Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, — и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками[84] сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки[85] с тестом. Жид, выста-

[84] Примечания: 84

Крамари под ятками — торговцы в палатках.

[85] Примечания: 85

Бараньи катки — куски бараньего мяса.

вив вперед свою голову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой средине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него.

— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивши коня.

В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец как лев растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее по тесной улице, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявшими это предместие Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило Сечь, умевшую только гулять да палить из ружей.

Наконец они миновали предместие и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные уставлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в

предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» — отвечали запорожцы. Везде, по всему полю, живописными кучами пестрел народ. По смуглым лицам видно было, что все они были закалены в битвах, испробовали всяких невзгод. Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки: он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в средине которых отплясывал молодой запорожец, заломивши шапку чертом и вскинувши руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христианам!» И Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому приставшему

по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четверо старых выработывали довольно мелко ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и, вдруг опустившись, неслись вприсядку и били круто и крепко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танце. Чуприна развевалась по ветру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимний кожух был надет в рукава, и пот градом лил с него, как из ведра. «Да сними хоть кожух! — сказал наконец Тарас. — Видишь, как парит!» — «Не можно!» — кричал запорожец. «Отчего?» — «Не можно; у меня уж такой нрав: что скину, то пропью». А шапки уж давно не было на молодце, ни пояса на кафтане, ни шитого платка; все пошло куда следует. Толпа росла; к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движенья, как все отдирало танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет и который, по своим мощным изобретателям, назван козачком.

— Эх, если бы не конь! — вскрикнул Тарас, —

пустился бы, право, пустился бы сам в танец!

А между тем в народе стали попадаться и степенные, уваженные по заслугам всею Сечью, седые, старые чубы, бывавшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!» — «Откуда Бог несет тебя, Тарас?» — «Ты как сюда зашел, Долото?» — «Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думал ли я видеть тебя, Ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно; и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсышок?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были козаки!»

III

Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрий мало занимались военною школою. Сечь не любила за-

труднять себя военными упражнениями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время отдавалось гульбе — признаку широкого размета душевной воли. Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечно-

го пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы и болтовня среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земле, часто так были смешны и дышали такою силою живого рассказа, что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом, — резкая черта, которою отличается доныне от других братьев своих южный россиянин. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабак, где мрачноискажающим весельем забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, где играют в мяч, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь — и жизнь во

всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному обычаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь выронить. Здесь были все бурсаки, не вытерпевшие академических лоз и не вынесшие из школы ни одной буквы; но вместе с ними здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика. Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках; тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Много было и таких, которые пришли на Сечь с тем, чтобы потом сказать, что они были на Сечи и уже закаленные рыцари. Но кого тут не было? Эта странная республика была именно потребностию того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи

не смела показываться ни одна женщина.

Остапу и Андрию казалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечь гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил: откуда эти люди, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, из которого только за час пред тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому[86], который обыкновенно говорил:

— Здравствуй! Что, во Христа веруешь?

— Верую! — отвечал приходивший.

— И в Троицу Святую веруешь?

— Верую!

— И в церковь ходишь?

— Хожу!

— А ну, перекрестись!

Пришедший крестился.

— Ну, хорошо, — отвечал кошевой, — ступай же в который сам знаешь курень.

Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жиды,

---

[86] Примечания: 86

Кошевой — руководитель коша (стана), выбиравшийся ежегодно.

армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Сечь состояла из шестидесяти с лишком куреней, которые очень походили на отдельные, независимые республики, а еще более походили на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом. Никто ничем не заводился и не держал у себя. Все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название батька. У него были на руках деньги, платья, весь харч, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги под сохран. Нередко происходила ссора у куреней с куренями. В таком случае дело тот же час доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, пока одни не пересиливали наконец и не брали верх, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Сечь, имевшая столько приманок для молодых людей.

Остап и Андрий кинулись со всею пылкостию

юношей в это разгульное море и забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало их: разгульные обычаи Сечи и немногосложная управа и законы, которые казались им иногда даже слишком строгими среди такой своевольной республики. Если козак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему козачеству: его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которою всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть. Не плативщего должника приковывали цепью к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него долг. Но более всего произвела впечатленья на Андрия страшная казнь, определенная за смертоубийство. Тут же, при нем, вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго потом все чудился ему страшный обряд казни и все представлялся этот заживо засыпанный человек вместе с ужасным гробом.

Скоро оба молодые козака стали на хорошем

счету у козаков. Часто вместе с другими товарищами своего куреня, а иногда со всем куренем и с соседними куренями выступали они в степи для стрельбы несметного числа всех возможных степных птиц, оленей и коз или же выходили на озера, реки и протоки, отведенные по жребию каждому куреню, закидывать невода, сети и тащить богатые тони на продовольствие всего куреня. Хотя и не было тут науки, на которой пробуется козак, но они стали уже заметны между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всем. Бойко и метко стреляли в цель, переплывали Днепр против течения — дело, за которое новичок принимался торжественно в козацкие круги.

Но старый Тарас готовил другую им деятельность. Ему не по душе была такая праздная жизнь — настоящего дела хотел он. Он все придумывал, как бы поднять Сечь на отважное предприятие, где бы можно было разгуляться как следует рыцарю. Наконец в один день пришел к кошевому и сказал ему прямо:

— Что, кошевой, пора бы погулять запорожцам?

— Негде погулять, — отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув на

сторону.

— Как негде? Можно пойти на Турецину или на Татарву.

— Не можно ни в Турецину, ни в Татарву, — отвечал кошевой, взявши опять хладнокровно в рот свою трубку.

— Как не можно?

— Так. Мы обещали султану мир.

— Да ведь он бусурмен: и Бог и Святое Писание велит бить бусурменов.

— Не имеем права. Если б не клялись еще нашею верою, то, может быть, и можно было бы; а теперь нет, не можно.

— Как не можно? Как же ты говоришь: не имеем права? Вот у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не был на войне, а ты говоришь — не имеем права; а ты говоришь — не нужно идти запорожцам.

— Ну, уж не следует так.

— Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем, на какого черта мы живем? растолкуй ты мне это. Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кошевые, рас-

толкуй ты мне, на что мы живем?

Кошевой не дал ответа на этот запрос. Это был упрямый козак. Он немного помолчал и потом сказал:

— А войне все-таки не бывать.

— Так не бывать войне? — спросил опять Тарас.

— Нет.

— Так уж и думать об этом нечего?

— И думать об этом нечего.

«Постой же ты, чертов кулак! — сказал Бульба про себя, — ты у меня будешь знать!» И положил тут же отмстить кошевому.

Сговорившись с тем и другим, задал он всем попойку, и хмельные козаки, в числе нескольких человек, повалили прямо на площадь, где стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полену в руки и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек с одним только глазом, несмотря, однако ж, на то, страшно заспанным.

— Кто смеет бить в литавры? — закричал он.

— Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят! — отвечали подгулявшие старшины.

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, — и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в кружок, и после третьего боя показались наконец старшины: кошевой с палицей в руке — знаком своего достоинства, судья с войсковою печатью, писарь с чернильницею и есаул с жезлом. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны козакам, которые гордо стояли, подпершись руками в бока.

— Что значит это собранье? Чего хотите, панове? — сказал кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

— Клади палицу! Клади, чертов сын, сей же час палицу! Не хотим тебя больше! — кричали из толпы козаки.

Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться; но курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими.

Кошевой хотел было говорить, но, зная, что разъярившаяся, своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко,

положил палицу и скрылся в толпе.

— Прикажете, панове, и нам положить знаки достоинства? — сказали судья, писарь и есаул и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл.

— Нет, вы оставайтесь! — закричали из толпы, — нам нужно было только прогнать кошевого, потому что он баба, а нам нужно человека в кошевые.

— Кого же выберете теперь в кошевые? — сказали старшины.

— Кукубенка выбрать! — кричала часть.

— Не хотим Кукубенка! — кричала другая. — Рано ему, еще молоко на губах не обсохло!

— Шило пусть будет атаманом! — кричали одни. — Шила посадить в кошевые!

— В спину тебе шило! — кричала с бранью толпа. — Что он за козак, когда проворовался, собачий сын, как татарин? К черту в мешок пьяницу Шила!

— Бородатого, Бородатого посадим в кошевые!

— Не хотим Бородатого! К нечистой матери Бородатого!

— Кричите Кирдягу! — шепнул Тарас Бульба некоторым.

— Кирдягу! Кирдягу! — кричала толпа. — Боро-

датого! Бородатого! Кирдягу! Кирдягу! Шила! К черту с Шилом! Кирдягу!

Все кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участьем своим в избрании.

— Кирдягу! Кирдягу! — раздавалось сильнее прочих. — Бородатого!

Дело принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовал.

— Ступайте за Кирдягою! — закричали.

Человек десяток козаков отделилось тут же из толпы; некоторые из них едва держались на ногах — до такой степени успели нагрузиться, — и отправились прямо к Кирдяге, объявить ему о его избрании.

Кирдяга, хотя престарелый, но умный козак, давно уже сидел в своем курене и как будто бы не ведал ни о чем происходившем.

— Что, панове, что вам нужно? — спросил он.

— Иди, тебя выбрали в кошевые!..

— Помилосердствуйте, панове! — сказал Кирдяга. — Где мне быть достойну такой чести! Где мне быть кошевым! Да у меня и разума не хватит к отправленью такой должности. Будто уже никого лучшего не нашлось в целом войске?

— Ступай же, говорят тебе! — кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и как он ни упирался ногами, но был наконец притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньем сзади кулаками, пинками и увещаньями. — Не пяться же, чертов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!

Таким образом введен был Кирдяга в козачий круг.

— Что, панове? — провозгласили во весь народ приведшие его. — Согласны ли вы, чтобы сей козак был у нас кошевым?

— Все согласны! — закричала толпа, и от крику долго гремело все поле.

Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз. Кирдяга отказался и в другой раз и потом уже, за третьим разом, взял палицу. Ободрительный крик раздался по всей толпе, и вновь далеко загудело от козацкого крика все поле. Тогда выступило из средины народа четверо самых старых, седоусых и седочупринных козаков (слишком старых не было на Сечи, ибо никто из запорожцев не умирал своею смертью) и, взявши каждый в руки земли, которая на ту пору от быв-

шего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову. Стекла с головы его мокрая земля, потекла по усам и по щекам и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоял не сдвинувшись и благодарил козаков за оказанную честь.

Таким образом кончилось шумное избрание, которому, неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба: этим он отомстил прежнему кошевому; к тому же и Кирдяга был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах, деля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тут же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотоле Остап и Андрий. Винные шинки были разбиты; мед, горелка и пиво забирались просто, без денег; шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги. И взошедший месяц долго еще видел толпы музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами, круглыми балалайками, и церковных песельников, которых держали на Сечи для пенья в церкви и для восхваленья запорожских дел. Наконец хмель и утомленье стали одолевать крепкие головы. И видно было, как то там, то в другом месте падал на землю козак. Как товарищ,

обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вместе с ним. Там гурьбою улегалась целая куча; там выбирал иной, как бы получше ему улечься, и лег прямо на деревянную колоду. Последний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессвязные речи; наконец и того подкосила хмельная сила, и тот повалился — и заснула вся Сечь.

IV

А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым кошевым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кошевой был умный и хитрый козак, знал вдоль и поперек запорожцев и сначала сказал: «Не можно клятвы преступить, никак не можно». А потом, помолчавши, прибавил: «Ничего, можно; клятвы мы не преступим, а так кое-что придумаем. Пусть только соберется народ, да не то чтобы по моему приказу, а просто своею охотою. Вы уж знаете, как это сделать. А мы с старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем».

Не прошло часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Нашлись вдруг и хмельные и неразумные козаки. Миллион козацких шапок

высыпал вдруг на площадь. Поднялся говор: «Кто?.. Зачем?.. Из-за какого дела пробили сбор?» Никто не отвечал. Наконец в том и в другом углу стало раздаваться: «Вот пропадает даром козацкая сила: нет войны!.. Вот старшины забайбачились наповал, позаплыли жиром очи!.. Нет, видно, правды на свете!» Другие козаки слушали сначала, а потом и сами стали говорить: «А и вправду нет никакой правды на свете!» Старшины казались изумленными от таких речей. Наконец кошевой вышел вперед и сказал:

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать!

— Держи!

— Вот в рассуждении того теперь идет речь, панове добродийство, — да вы, может быть, и сами лучше это знаете, — что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет. Потом опять в рассуждении того пойдет речь, что есть много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, — и сами знаете, панове, — без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурмена?

«Он хорошо говорит», — подумал Бульба.

— Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир: сохрани Бог! Я только так это говорю. Притом же у нас храм Божий — грех сказать, что такое: вот сколько лет уже, как, по милости Божией, стоит Сечь, а до сих пор не то уже чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства. Хотя бы серебряную ризу кто догадался им выковать! Они только то и получили, что отказали в духовной иные козаки. Да и даяние их было бедное, потому что почти всё пропили еще при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурменами: мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему.

— Что ж он путает такое? — сказал про себя Бульба.

— Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Рыцарская честь не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых, пусть немного пошарпают берега Натолии[87]. Как думаете, панове?

— Веди, веди всех! — закричала со всех сторон толпа. — За веру мы готовы положить головы!

---

[87] Примечания: 87

Натолия — Анатолия — черноморское побережье Турции.

Кошевой испугался; он ничуть не хотел подымать всего Запорожья: разорвать мир ему казалось в этом случае делом неправым.

— Позвольте, панове, еще одну речь держать!

— Довольно! — кричали запорожцы, — лучше не скажешь!

— Когда так, то пусть будет так. Я слуга вашей воли. Уж дело известное, и по Писанью известно, что глас народа — глас Божий. Уж умнее того нельзя выдумать, что весь народ выдумал. Только вот что: вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы тем временем были бы наготове, и силы у нас были бы свежие, и никого б не побоялись. А во время отлучки и татарва может напасть: они, турецкие собаки, в глаза не кинутся и к хозяину на дом не посмеют прийти, а сзади укусят за пяты, да и больно укусят. Да если уж пошло на то, чтобы говорить правду, у нас и челнов нет столько в запасе, да и пороху не намолото в таком количестве, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад: я слуга вашей воли.

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться; пьяных, к счастью, было немного, и потому ре-

шились послушаться благоразумного совета.

В тот же час отправились несколько человек на противуположный берег Днепра, в войсковую скарбницу, где, в неприступных тайниках, под водою и в камышах, скрывалась войсковая казна и часть добытых у неприятеля оружий. Другие все бросились к челнам, осматривать их и снаряжать в дорогу. Вмиг толпою народа наполнился берег. Несколько плотников явились с топорами в руках. Старые, загорелые, широкоплечие, дюженогие запорожцы, с проседью в усах и черноусые, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали челны с берега крепким канатом. Другие таскали готовые сухие бревна и всякие деревья. Там обшивали досками челн; там, переворотивши его вверх дном, конопатили и смолили; там увязывали к бокам других челнов, по козацкому обычаю, связки длинных камышей, чтобы не затопило челнов морскою волною; там, дальше по всему прибрежью, разложили костры и кипятили в медных казанах смолу на заливанье судов. Бывалые и старые поучали молодых. Стук и рабочий крик подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живой берег.

В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем толпа людей

еще издали махала руками. Это были козаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд — у многих ничего не было, кроме рубашки и коротенькой трубки в зубах, — показывал, что они или только что избегнули какой-нибудь беды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на теле. Из среды их отделился и стал впереди приземистый, плечистый козак, человек лет пятидесяти. Он кричал и махал рукою сильнее всех, но за стуком и криками рабочих не было слышно его слов.

— А с чем приехали? — спросил кошевой, когда паром приворотил к берегу.

Все рабочие, остановив свои работы и подняв топоры и долота, смотрели в ожидании.

— С бедою! — кричал с парома приземистый козак.

— С какою?

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать?

— Говори!

— Или хотите, может быть, собрать раду?

— Говори, мы все тут.

Народ весь стеснился в одну кучу.

— А вы разве ничего не слыхали о том, что делается на гетьманщине?

— А что? — произнес один из куренных атаманов.

— Э! что? Видно, вам татарин заткнул клейтухом[88] уши, что вы ничего не слыхали.

— Говори же, что там делается?

— А то делается, что и родились и крестились, еще не видали такого.

— Да говори нам, что делается, собачий сын! — закричал один из толпы, как видно, потеряв терпение.

— Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь не наши.

— Как не наши?

— Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править.

— Что ты толкуешь?

— И если рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою на святой пасхе, то и святить пасхи нельзя.

— Врет он, паны-браты, не может быть того, чтобы нечистый жид клал значок на святой пасхе!

— Слушайте!.. еще не то расскажу: и ксендзы ездят теперь по всей Украйне в таратайках. Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что за-

---

[88] Примечания: 88

Клейтух — пыж.

прягают уже не коней, а просто православных христиан. Слушайте! еще не то расскажу: уже говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских риз. Вот какие дела водятся на Украйне, панове! А вы тут сидите на Запорожье да гуляете, да, видно, татарин такого задал вам страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей — ничего нет, и вы не слышите, что делается на свете.

— Стой, стой! — прервал кошевой, дотоле стоявший, потупив глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли грозную силу негодования. — Стой! и я скажу слово. А что ж вы — так бы и этак поколотил черт вашего батька! — что ж вы делали сами? Разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию?

— Э, как попустили такому беззаконию! А попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов! да и — нечего греха таить — были тоже собаки и между нашими, уж приняли их веру.

— А гетьман ваш, а полковники что делали?

— Наделали полковники таких дел, что не приведи бог и нам никому.

— Как?

— А так, что уж теперь гетьман, зажаренный в медном быке, лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам напоказ всему народу. Вот что наделали полковники!

Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчание, подобное тому, как бывает перед свирепою бурею, а потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег.

— Как! чтобы жиды держали на аренде христианские церкви! чтобы ксендзы запрягали в оглобли православных христиан! Как! чтобы попустить такие мучения на Русской земле от проклятых недоверков! чтобы вот так поступали с полковниками и гетьманом! Да не будет же сего, не будет!

Такие слова перелетали по всем концам. Зашумели запорожцы и почуяли свои силы. Тут уже не было волнений легкомысленного народа: волновались всё характеры тяжелые и крепкие, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили в себе внутренний жар.

— Перевешать всю жидову! — раздалось из толпы. — Пусть же не шьют из поповских риз юбок своим жидовкам! Пусть же не ставят значков на святых пасхах! Перетопить их всех, поганцев, в Днепре!

Слова эти, произнесенные кем-то из толпы, пролетели молнией по всем головам, и толпа ринулась на предместье с желанием перерезать всех жидов.

Бедные сыны Израиля, растерявши всё присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок; но козаки везде их находили.

— Ясновельможные паны! — кричал один, высокий и длинный, как палка, жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом. — Ясновельможные паны! Слово только дайте нам сказать, одно слово! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!

— Ну, пусть скажут, — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого.

— Ясные паны! — произнес жид. — Таких панов еще никогда не видывано. Ей-богу, никогда. Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете!.. — Голос его замирал и дрожал от страха. — Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши, те, что арендаторствуют на Украине! Ей-богу, не наши!

То совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?

— Ей-богу, правда! — отвечали из толпы Шлема и Шмуль в изодранных яломках, оба белые, как глина.

— Мы никогда еще, — продолжал длинный жид, — не снюхивались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим: пусть им черт приснится! Мы с запорожцами, как братья родные…

— Как? чтобы запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы. — Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове! Всех потопить, поганцев!

Эти слова были сигналом. Жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, выскочил из кафтана, за который было его ухватили, в одном пегом и узком камзоле, схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил:

— Великий господин, ясновельможный пан!

я знал и брата вашего, покойного Дороша! Был воин на украшение всему рыцарству. Я ему восемьсот цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плена у турка.

— Ты знал брата? — спросил Тарас.

— Ей-богу, знал! Великодушный был пан.

— А как тебя зовут?

— Янкель.

— Хорошо, — сказал Тарас и потом, подумав, обратился к козакам и проговорил так: — Жида будет всегда время повесить, когда будет нужно, а на сегодня отдайте его мне. — Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли козаки его. — Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись; а вы, братцы, не выпускайте жида.

Сказавши это, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили вмиг берег и снарядку челнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход, и не суда да козацкие чайки[89] — понадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в поход, и старые и молодые; все, с совета всех старшин, куренных, кошевого и с воли всего запорожского

---

[89] Примечания: 89

Чайки — длинные узкие речные суда запорожцев.

войска, положили идти прямо на Польшу, отмстить за все зло и посрамленье веры и козацкой славы, набрать добычи с городов, зажечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу. Все тут же опоясывалось и вооружалось. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа; это был неограниченный повелитель. Это был деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда кошевой раздавал повеления; раздавал он их тихо, не вскрикивая, не торопясь, но с расстановкою, как старый, глубоко опытный в деле козак, приводивший не в первый раз в исполненье разумно задуманные предприятия.

— Осмотритесь, все осмотритесь, хорошенько! — так говорил он. — Исправьте возы и мазницы[90], испробуйте оружье. Не забирайте много с собой одежды: по сорочке и по двое шаровар на козака да по горшку саламаты[91] и толченого проса — больше чтоб и не было ни у кого! Про

---

[90] Примечания: 90

Мазницы — ведра для дегтя.

[91] Примечания: 91

Саламата — мучная похлебка (в основном из гречневой муки).

запас будет в возах все, что нужно. По паре коней чтоб было у каждого козака. Да пар двести взять волов, потому что на переправах и топких местах нужны будут волы. Да порядку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, есть между вас такие, что чуть Бог пошлет какую корысть, — пошли тот же час драть китайку и дорогие оксамиты[92] себе на онучи. Бросьте такую чертову повадку, прочь кидайте всякие юбки, берите одно только оружье, коли попадется доброе, да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае. Да вот вам, панове, вперед говорю: если кто в походе напьется, то никакого нет на него суда. Как собаку, за шеяку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был, хоть бы наидоблестнейший козак изо всего войска. Как собака, будет он застрелен на месте и кинут безо всякого погребенья на поклев птицам, потому что пьяница в походе недостоин христианского погребенья. Молодые, слушайте во всем старых! Если цапнет пуля или царапнет саблей по голове или по чему-нибудь иному, не давайте большого уваженья такому делу. Размешайте заряд пороху в чарке сивухи, духом выпейте, и

[92] Примечания: 92
Оксамит — бархат.

все пройдет — не будет и лихорадки; а на рану, если она не слишком велика, приложите просто земли, замесивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнет рана. Нуте же, за дело, за дело, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дело!

Так говорил кошевой, и, как только окончил он речь свою, все козаки принялись тот же час за дело. Вся Сечь отрезвилась, и нигде нельзя было сыскать ни одного пьяного, как будто бы их не было никогда между козаками… Те исправляли ободья колес и переменяли оси в телегах; те сносили на возы мешки с провиантом, на другие валили оружие; те пригоняли коней и волов. Со всех сторон раздавались топот коней, пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, бычачье мычанье, скрып поворачиваемых возов, говор и яркий крик и понуканье — и скоро далеко-далеко вытянулся козачий табор по всему полю. И много досталось бы бежать тому, кто бы захотел пробежать от головы до хвоста его. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою; все целовали крест. Когда тронулся табор и потянулся из Сечи, все запорожцы обратили головы назад.

— Прощай, наша мать! — сказали они почти в

одно слово, — пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастья!

Проезжая предместье, Тарас Бульба увидел, что жидок его, Янкель, уже разбил какую-то ятку с навесом и продавал кремни, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. «Каков чертов жид!» — подумал про себя Тарас и, подъехав к нему на коне, сказал:

— Дурень, что ты здесь сидишь? Разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

Янкель в ответ на это подошел к нему поближе и, сделав знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственное, сказал:

— Пусть пан только молчит и никому не говорит: между козацкими возами есть один мой воз; я везу всякий нужный запас для козаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не продавал. Ей-богу, так; ей-богу, так.

Пожал плечами Тарас Бульба, подивившись бойкой жидовской натуре, и отъехал к табору.

V

Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха. Всюду пронеслись слухи: «Запорожцы!.. показались запорожцы!..» Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось и разбегалось, по обычаю этого нестройного, беспечного века, когда не воздвигали ни крепостей, ни замков, а как попало становил на время соломенное жилище свое человек. Он думал: «Не тратить же на избу работу и деньги, когда и без того будет она снесена татарским набегом!» Все всполошилось: кто менял волов и плуг на коня и ружье и отправлялся в полки; кто прятался, угоняя скот и унося, что только можно было унесть. Попадались иногда по дороге и такие, которые вооруженною рукою встречали гостей, но больше было таких, которые бежали заранее. Все знали, что трудно иметь дело с буйной и бранной толпой, известной под именем запорожского войска, которое в наружном своевольном неустройстве своем заключало устройство обдуманное для времени битвы. Конные ехали, не отягчая и не горяча коней, пешие шли трезво за возами, и весь табор подвигался только по ночам, отдыхая

днем и выбирая для того пустыри, незаселенные места и леса, которых было тогда еще вдоволь. Засылаемы были вперед лазутчики и рассыльные узнавать и выведывать, где, что и как. И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг — и все тогда прощалось с жизнью. Пожары охватывали деревни; скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу, — словом, крупною монетою отплачивали козаки прежние долги. Прелат одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов, чтобы сказать, что они не так ведут себя, как следует; что между запорожцами и правительством стоит согласие; что они нарушают свою обязанность к королю, а с тем вместе и всякое народное право.

— Скажи епископу от меня и от всех запорожцев, — сказал кошевой, — чтобы он ничего не боялся. Это козаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки.

И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, жидов, женщин вдруг омноголюдили те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон и городовое рушение[93]. Высылаемая временами правительством запоздалая помощь, состоявшая из небольших полков, или не могла найти их, или же робела, обращала тыл при первой встрече и улетала на лихих конях своих. Случалось, что многие военачальники королевские, торжествовавшие дотоле в прежних битвах, решались, соединя свои силы, стать грудью против запорожцев. И тут-то более всего пробовали себя наши молодые козаки, чуждавшиеся грабительства, корысти и бессильного неприятеля, горевшие желанием показать себя перед старыми, померяться один на один с бойким и хвастливым ляхом, красовавшимся на горделивом коне, с летавшими по ветру откидными рукавами епанчи. Потешна была наука. Много уже они добыли себе конной сбруи, дорогих сабель и ружей. В один месяц возмужали и совершенно переродились только

[93] Примечания: 93
Городовое рушение — городское ополчение.

что оперившиеся птенцы и стали мужами. Черты лица их, в которых доселе видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из первых. Остапу, казалось, был на роду написан битвенный путь и трудное знанье вершить ратные дела. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни от какого случая, с хладнокровием, почти неестественным для двадцатидвухлетнего, он в один миг мог вымерять всю опасность и все положение дела, тут же мог найти средство, как уклониться от нее, но уклониться с тем, чтобы потом верней преодолеть ее. Уже испытанной уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепостью дышало его тело, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу льва.

— О! да этот будет со временем добрый полковник! — говорил старый Тарас. — Ей-ей, будет добрый полковник, да еще такой, что и батька за пояс заткнет!

Андрий весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчитывать, или измерять заранее свои и чужие силы. Бешеную негу и

упоенье он видел в битве: что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах все мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль в сабельном блеске, и наносит всем удары, и не слышит нанесенных. Не раз дивился отец также и Андрию, видя, как он, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях. Дивился старый Тарас и говорил:

— И это добрый — враг бы не взял его! — вояка! не Остап, а добрый, добрый также вояка!

Войско решилось идти прямо на город Дубно, где, носились слухи, было много казны и богатых обывателей. В полтора дня поход был сделан, и запорожцы показались перед городом. Жители решились защищаться до последних сил и крайности и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в домы. Высокий земляной вал окружал город; где вал был ниже, там высовывалась каменная стена или дом, служивший батареей,

или, наконец, дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал, но были встречены сильною картечью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучею на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное сопротивление; женщины тоже решились участвовать, — и на головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий вар и, наконец, мешки песку, слепившего им очи. Запорожцы не любили иметь дело с крепостями, вести осады была не их часть. Кошевой повелел отступить и сказал:

— Ничего, паны-братья, мы отступим. Но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из города! Пусть их все передохнут, собаки, с голоду!

Войско, отступив, облегло весь город и от нечего делать занялось опустошеньем окрестностей, выжигая окружные деревни, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутые серпом, где, как нарочно, колебались тучные колосья, плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору щедро всех земледельцев. С ужасом видели с города, как истреблялись сред-

ства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и на Сечи, куренями, курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город. Ночью зажигались костры. Кашевары варили в каждом курене кашу в огромных медных казанах. У горевших всю ночь огней стояла бессонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительною трезвостью, не сопряженною ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда водилось в войске, если не было трудных подвигов и движений. Молодым, и особенно сынам Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрий заметно скучал.

— Неразумная голова, — говорил ему Тарас. — Терпи, козак, — атаман будешь! Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, кто все вытерпит, и хоть ты ему что хочь, а он все-таки поставит на своем.

Но не сойтись пылкому юноше с старцем. Другая натура у обоих, и другими очами глядят они на то же дело.

А между тем подоспел Тарасов полк, приведенный Товкачем; с ним было еще два есаула, писарь и другие полковые чины; всех козаков набралось больше четырех тысяч. Было между ними немало и охочекомонных, которые сами поднялись, своею волею, без всякого призыва, как только услышали, в чем дело. Есаулы привезли сыновьям Тараса благословенье от старухи матери и каждому по кипарисному образу из Межигорского киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им и говорит это благословенье? Благословенье ли на победу над врагом и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой, на вечные песни бандуристам, или же?.. Но неизвестно будущее, и стоит оно пред человеком подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот. Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями, птицы, не распознавая в очи друг друга, голубка — не видя ястреба, ястреб — не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает он от своей погибели…

Остап уже занялся своим делом и давно отошел к куреням. Андрий же, сам не зная отчего, чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже козаки окончили свою вечерю, вечер давно потухнул;

июльская чудная ночь обняла воздух; но он не отходил к куреням, не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую пред ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными по нем возами с висячими мазницами, облитыми дегтем, со всяким добром и провиантом, набранным у врага. Возле телег, под телегами и подале от телег — везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях; кто подмостив себе под голову куль, кто шапку, кто употребивши просто бок своего товарища. Сабля, ружье-самопал, короткочубучная трубка с медными бляхами, железными провертками и огнивом были неотлучно при каждом козаке. Тяжелые волы лежали, подвернувши под себя ноги, большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями, раскиданными по отлогостям поля. Со всех сторон из травы уже стал подыматься густой храп спящего воинства, на который отзывались с поля звонкими ржаньями жеребцы, негодующие на свои спутанные ноги. А между тем что-то величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это были зарева вдали догоравших окрестностей. В одном

месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу; в другом, встретив что-то горючее и вдруг вырвавшись вихрем, оно свистело и летело вверх, под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. Там обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим, лилово-огненным светом спелые гроздия слив или обращал в червонное золото там и там желтевшие груши, и тут же среди их чернело висевшее на стене здания или на древесном суку тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над огнем вились вдали птицы, казавшиеся кучею темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город, казалось, уснул. Шпицы, и кровли, и частокол, и стены его тихо вспыхивали отблесками отдаленных пожарищ. Андрий обошел козацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши саламаты и галушек во весь козацкий аппетит. Он подивился немного та-

кой беспечности, подумавши: «Хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться». Наконец и сам подошел он к одному из возов, взлез на него и лег на спину, подложивши себе под голову сложенные назад руки; но не мог заснуть и долго глядел на небо. Оно все было открыто пред ним; чисто и прозрачно было в воздухе. Гущина звезд, составлявшая Млечный Путь, поясом переходившая по небу, вся была залита светом. Временами Андрий как будто позабывался, и какой-то легкий туман дремоты заслонял на миг пред ним небо, и потом оно опять очищалось и вновь становилось видно.

В это время, показалось ему, мелькнул пред ним какой-то странный образ человеческого лица. Думая, что это было простое обаяние сна, которое сейчас же рассеется, он открыл больше глаза свои и увидел, что к нему точно наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотрело прямо ему в очи. Длинные и черные, как уголь, волосы, неприбранные, растрепанные, лезли из-под темного, наброшенного на голову покрывала. И странный блеск взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заставили бы скорее подумать, что это был призрак. Он схватился невольно рукой за

пищаль и произнес почти судорожно:

— Кто ты? Коли дух нечистый, сгинь с глаз; коли живой человек, не в пору завел шутку, — убью с одного прицела!

В ответ на это привидение приставило палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал взглядываться в него внимательней. По длинным волосам, шее и полуобнаженной смуглой груди распознал он женщину. Но она была не здешняя уроженка. Все лицо было смугло, изнурено недугом; широкие скулы выступали сильно над опавшими под ними щеками; узкие очи подымались дугообразным разрезом кверху, и чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. Наконец он не вытерпел и спросил:

— Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или видел где-нибудь?

— Два года назад тому в Киеве.

— Два года назад… в Киеве… — повторил Андрий, стараясь перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней бурсацкой жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул во весь голос:

— Ты — татарка! служанка панночки, воеводиной дочки!..

— Чшш! — произнесла татарка, сложив с умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного вскрика, произведенного Андрием.

— Скажи, скажи, отчего, как ты здесь? — говорил Андрий, почти задыхаясь, шепотом, прерывавшимся всякую минуту от внутреннего волнения. — Где панночка? жива ли еще она?

— Она тут, в городе.

— В городе? — произнес он, едва опять не вскрикнувши, и почувствовал, что вся кровь вдруг прихлынула к сердцу. — Отчего ж она в городе?

— Оттого, что сам старый пан в городе. Он уже полтора года как сидит воеводой в Дубне.

— Что ж, она замужем? Да говори же, какая ты странная! что она теперь?..

— Она другой день ничего не ела.

— Как?..

— Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба, все давно едят одну землю.

Андрий остолбенел.

— Панночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне: «Ступай скажи рыцарю: если он помнит меня, чтобы

пришел ко мне; а не помнит — чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги. У него также есть старая мать, — чтоб ради ее дал хлеба!»

Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой груди козака.

— Но как же ты здесь? Как ты пришла?

— Подземным ходом.

— Разве есть подземный ход?

— Есть.

— Где?

— Ты не выдашь, рыцарь?

— Клянусь крестом святым!

— Опустясь в яр и перейдя проток, там, где тростник.

— И выходит в самый город?

— Прямо к городскому монастырю.

— Идем, идем сейчас!

— Но, ради Христа и святой Марии, кусок хлеба!

— Хорошо, будет. Стой здесь, возле воза, или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидит, все спят; я сейчас ворочусь.

И он отошел к возам, где хранились запасы,

принадлежавшие их куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынешними козацкими биваками, суровой бранною жизнью, — все всплыло разом на поверхность, потопивши, в свою очередь, настоящее. Опять вынырнула перед ним, как из темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темно-ореховые волосы, курчаво распавшиеся по грудям, и все упругие, в согласном сочетанье созданные члены девического стана. Нет, они не погасли, не исчезли в груди его, они посторонились только, чтобы дать на время простор другим могучим движеньям; но часто, часто смущался ими глубокий сон молодого козака, и часто, проснувшись, лежал он без сна на одре, не умея истолковать тому причины.

Он шел, а биение сердца становилось сильнее, сильнее при одной мысли, что увидит ее опять, и дрожали молодые колени. Пришедши к возам, он совершенно позабыл, зачем пришел: поднес руку ко лбу и долго тер его, стараясь припомнить, что ему нужно делать. Наконец вздрогнул, весь исполнился испуга: ему вдруг пришло на мысль, что она умирает от голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов себе

под руку, но подумал тут же, не будет ли эта пища, годная для дюжего, неприхотливого запорожца, груба и неприлична ее нежному сложению. Тут вспомнил он, что вчера кошевой попрекал кашеваров за то, что сварили за один раз всю гречневую муку на саламату, тогда как бы ее стало на добрых три раза. В полной уверенности, что он найдет вдоволь саламаты в казанах, он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кашевару их куреня, спавшему у двух десятиведерных казанов, под которыми еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих сил, чтобы все это съесть, тем более что в их курене считалось меньше людей, чем в других. Он заглянул в казаны других куреней — нигде ничего. Поневоле пришла ему в голову поговорка: «Запорожцы как дети: коли мало — съедят, коли много — тоже ничего не оставят». Что делать? Был, однако же, где-то, кажется, на возу отцовского полка, мешок с белым хлебом, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на возу уже его не было: Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. Андрий схватил мешок одной рукой и дернул его

вдруг так, что голова Остапа упала на землю, а он сам вскочил впросонках и, сидя с закрытыми глазами, закричал что было мочи: «Держите, держите чертова ляха! да ловите коня, коня ловите!» — «Замолчи, я тебя убью!» — закричал в испуге Андрий, замахнувшись на него мешком. Но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрий робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из козаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова, точно, приподнялась в ближнем курене и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две, он наконец отправился с своею ношею. Татарка лежала, едва дыша.

— Вставай, идем! Все спят, не бойся! Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все?

Сказав это, он взвалил себе на спину мешки, стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки те хлеба, которые хотел было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев.

— Андрий! — сказал старый Бульба в то время,

когда он проходил мимо его.

Сердце его замерло. Он остановился и, весь дрожа, тихо произнес:

— А что?

— С тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на все бока! Не доведут тебя бабы к добру! — Сказавши это, он оперся головою на локоть и стал пристально рассматривать закутанную в покрывало татарку.

Андрий стоял ни жив ни мертв, не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него, увидел, что уже старый Бульба спал, положив голову на ладонь.

Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татарку, она стояла пред ним, подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, помутившиеся, как у мертвеца. Он дернул за рукав ее, и оба пошли вместе, беспрестанно оглядываясь назад, и наконец опустились отлогостью в низменную лощину — почти яр, называемый в некоторых местах балками, — по дну которой лениво пресмыкался проток, поросший осокой и усеянный кочками. Опустясь в сию

лощину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По крайней мере, когда Андрий оглянулся, то увидел, что позади его крутою стеной, более чем в рост человека, вознеслась покатость. На вершине ее покачивалось несколько стебельков полевого былья, и над ними поднималась в небе луна в виде косвенно обращенного серпа из яркого червонного золота. Сорвавшийся со степи ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. Но нигде не слышно было отдаленного петушьего крика: ни в городе, ни в разоренных окрестностях не оставалось давно ни одного петуха. По небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег, казавшийся выше бывшего у них назади и выступавший совершенным обрывом. Казалось, в этом месте был крепкий и надежный сам собою пункт городской крепости; по крайней мере, земляной вал был тут ниже и не выглядывал из-за него гарнизон. Но зато подальше подымалась толстая монастырская стена. Обрывистый берег весь оброс бурьяном, и по небольшой лощине между им и протоком рос высокий тростник, почти в вышину человека. На вершине обрыва видны были остатки плетня, обличавшие когда-то быв-

ший огород. Перед ним — широкие листы лопуха; из-за него торчала лебеда, дикий колючий бодяк и подсолнечник, подымавший выше всех их свою голову. Здесь татарка скинула с себя черевики и пошла босиком, подобрав осторожно свое платье, потому что место было топко и наполнено водою. Пробираясь меж тростником, остановились они перед наваленным хворостом и фашинником. Отклонив хворост, нашли они род земляного свода — отверстие, мало чем большее отверстия, бывающего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая; вслед за нею Андрий, нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться с своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте.

VI

Андрий едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркой и таща на себе мешки хлеба.

— Скоро нам будет видно, — сказала проводница, — мы подходим к месту, где поставила я светильник.

И точно, темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой пло-

щадки, где, казалось, была часовня; по крайней мере, к стене был приставлен узенький столик в виде алтарного престола, и над ним виден был почти совершенно изгладившийся, полинявший образ католической Мадонны. Небольшая серебряная лампадка, перед ним висевшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла с земли оставленный медный светильник на тонкой высокой ножке, с висевшими вокруг ее на цепочках щипцами, шпилькой для поправления огня и гасильником. Взявши его, она зажгла его огнем от лампады. Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то набрасываясь темною, как уголь, тенью, напоминали собою картины Жерардо della notte[94]. Свежее, кипящее здоровьем и юностью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность с изнуренным и бледным лицом его спутницы. Проход стал несколько шире, так что Андрию можно было пораспрямиться. Он с любопытством рассматривал сии земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры. Так же как

[94] Примечания: 94

Deila notte (um.) — ночной, прозвище, данное итальянцами голландскому художнику Герриту (ван Гарарду) Хонтхорсту (1590–1656), своеобразие картин которого основано на резком контрасте света и тени.

и в пещерах киевских, тут видны были углубления в стенах и стояли кое-где гробы; местами даже попадались просто человеческие кости, от сырости сделавшиеся мягкими и рассыпавшиеся в муку. Видно, и здесь также были святые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений. Сырость местами была очень сильна: под ногами их иногда была совершенная вода. Андрий должен был часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутнице, которой усталость возобновлялась беспрестанно. Небольшой кусок хлеба, проглоченный ею, произвел только боль в желудке, отвыкшем от пищи, и она оставалась часто без движения по нескольку минут на одном месте.

Наконец перед ними показалась маленькая железная дверь. «Ну, слава богу, мы пришли», — сказала слабым голосом татарка, приподняла руку, чтобы постучать, — и не имела сил. Андрий ударил вместо нее сильно в дверь; раздался гул, показавший, что за дверью был большой простор. Гул этот изменялся, встретив, как казалось, высокие своды. Через минуты две загремели ключи, и кто-то, казалось, сходил по лестнице. Наконец дверь отперлась; их встретил монах, стоявший на узенькой лестнице, с ключами и

свечой в руках. Андрий невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в козаках, поступавших с ними бесчеловечней, чем с жидами. Монах тоже несколько отступил назад, увидев запорожского козака, но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило. Он посветил им, запер за ними дверь, ввел их по лестнице вверх, и они очутились под высокими темными сводами монастырской церкви. У одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленях священник и тихо молился. Около него с обеих сторон стояли также на коленях два молодые клирошанина[95] в лиловых мантиях с белыми кружевными шемизетками сверх их и с кадилами в руках. Он молился о ниспослании чуда: о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, об удалении искусителя, нашептывающего ропот и малодушный, робкий плач на земные несчастия. Несколько женщин, похожих на привидения, стояли на коленях, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинки стоявших перед ними стульев и темных

[95] Примечания: 95

Клирошанин — церковнослужитель, поющий в церковном хоре (на клиросе).

деревянных лавок; несколько мужчин, прислонясь у колонн и пилястр, на которых возлегали боковые своды, печально стояли тоже на коленях. Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилося розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии; кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрий не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые рокоты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке.

В это время, почувствовал он, кто-то дернул его за полу кафтана. «Пора!» — сказала татарка. Они перешли через церковь, не замеченные никем, и вышли потом на площадь, бывшую перед нею.

Заря уже давно румянилась на небе: все возвещало восхождение солнца. Площадь, имевшая квадратную фигуру, была совершенно пуста; посредине ее оставались еще деревянные столики, показывавшие, что здесь был еще неделю, может быть, только назад рынок съестных припасов. Улица, которых тогда не мостили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругом небольшие каменные и глиняные, в один этаж, домы с видными в стенах деревянными сваями и столбами во всю их высоту, косвенно перекрещенные деревянными же брусьями, как вообще строили домы тогдашние обыватели, что можно видеть и поныне еще в некоторых местах Литвы и Польши. Все они были покрыты непомерно высокими крышами со множеством слуховых окон и отдушин. На одной стороне, почти близ церкви, выше других возносилось совершенно отличное от прочих здание, вероятно, городовой магистрат или какое-нибудь правительственное место. Оно было в два этажа, и над ним вверху надстроен был в две арки бельведер, где стоял часовой; большой часовой циферблат вделан был в крышу. Площадь казалась мертвою, но Андрию почудилось какое-то слабое стенание. Рассматривая, он заметил на другой стороне ее

группу из двух-трех человек, лежавших почти без всякого движения на земле. Он вперил глаза внимательней, чтобы рассмотреть, заснувшие ли это были или умершие, и в это время наткнулся на что-то лежавшее у ног его. Это было мертвое тело женщины, по-видимому, жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя в искаженных, изможденных чертах ее нельзя было того видеть. На голове ее был красный шелковый платок; жемчуга или бусы в два ряда украшали ее наушники; две-три длинные, все в завитках, кудри выпадали из-под них на ее высохшую шею с натянувшимися жилами. Возле нее лежал ребенок, судорожно схвативший рукою за тощую грудь ее и скрутивший ее своими пальцами от невольной злости, не нашед в ней молока; он уже не плакал и не кричал, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что он еще не умер или, по крайней мере, еще только готовился испустить последнее дыханье. Они поворотили в улицы и были остановлены вдруг каким-то беснующимся, который, увидев у Андрия драгоценную ношу, кинулся на него, как тигр, вцепился в него, крича: «Хлеба!» Но сил не было у него, равных бешенству; Андрий оттолкул его: он полетел на землю. Движимый

состраданием, он швырнул ему один хлеб, на который тот бросился, подобно бешеной собаке, изгрыз, искусал его и тут же, на улице, в страшных судорогах испустил дух от долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждом шагу поражали их страшные жертвы голода. Казалось, как будто, не вынося мучений в домах, многие нарочно выбежали на улицу: не ниспошлется ли в воздухе чего-нибудь, питающего силы. У ворот одного дома сидела старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла или просто позабылась: по крайней мере, она уже не слышала и не видела ничего и, опустив голову на грудь, сидела недвижимо на одном и том же месте. С крыши другого дома висело вниз на веревочной петле вытянувшееся, иссохшее тело. Бедняк не мог вынести до конца страданий голода и захотел лучше произвольным самоубийством ускорить конец свой.

При виде сих поражающих свидетельств голода Андрий не вытерпел не спросить татарку:

— Неужели они, однако ж, совсем не нашли, чем пробавить[96] жизнь? Если человеку приходит последняя крайность, тогда, делать нечего,

[96] Примечания: 96
Пробавить — поддержать.

он должен питаться тем, чем дотоле брезговал; он может питаться теми тварями, которые запрещены законом, все может тогда пойти в снедь.

— Все переели, — сказала татарка, — всю скотину. Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас в городе никогда не водилось никаких запасов, все привозилось из деревень.

— Но как же вы, умирая такою лютою смертью, все еще думаете оборонить город?

— Да, может быть, воевода и сдал бы, но вчера утром полковник, который в Буджаках, пустил в город ястреба с запиской, чтобы не отдавали города; что он идет на выручку с полком, да ожидает только другого полковника, чтоб идти обоим вместе. И теперь всякую минуту ждут их… Но вот мы пришли к дому.

Андрий уже издали видел дом, непохожий на другие и, как казалось, строенный каким-нибудь архитектором итальянским. Он был сложен из красивых тонких кирпичей в два этажа. Окна нижнего этажа были заключены в высоко выдавшиеся гранитные карнизы; верхний этаж состоял весь из небольших арок, образовавших галерею; между ними видны были решетки с гербами. На углах дома тоже были гербы. Наружная широкая

лестница из крашеных кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лестницы сидело по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за стоявшие около них алебарды, а другою подпирали наклоненные свои головы, и, казалось, таким образом, более походили на изваяния, чем на живые существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему: они не обратили даже внимания на то, кто всходил по лестнице. На верху лестницы они нашли богато убранного, всего с ног до головы вооруженного воина, державшего в руке молитвенник. Он было возвел на них истомленные очи, но татарка сказала ему одно слово, и он опустил их вновь в открытые страницы своего молитвенника. Они вступили в первую комнату, довольно просторную, служившую приемною или просто переднею. Она была наполнена вся сидевшими в разных положениях у стен солдатами, слугами, псарями, виночерпиями и прочей дворней, необходимою для показания сана польского вельможи как военного, так и владельца собственных поместьев. Слышен был чад погаснувшей свечи. Две другие еще горели в двух огромных, почти в рост человека, подсвечниках, стоявших посередине,

несмотря на то что уже давно в решетчатое широкое окно глядело утро. Андрий уже было хотел идти прямо в широкую дубовую дверь, украшенную гербом и множеством резных украшений, но татарка дернула его за рукав и указала маленькую дверь в боковой стене. Этою вышли они в коридор и потом в комнату, которую он начал внимательно рассматривать. Свет, проходивший сквозь щель ставня, тронул кое-что: малиновый занавес, позолоченный карниз и живопись на стене. Здесь татарка указала Андрию остаться, отворила дверь в другую комнату, из которой блеснул свет огня. Он услышал шепот и тихий голос, от которого все потряслось у него. Он видел сквозь растворившуюся дверь, как мелькнула быстро стройная женская фигура с длинною роскошною косою, упадавшею на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы он взошел. Он не помнил, как взошел и как затворилась за ним дверь. В комнате горели две свечи; лампада теплилась перед образом; под ним стоял высокий столик, по обычаю католическому, со ступеньками для преклонения коленей во время молитвы. Но не того искали глаза его. Он повернулся в другую сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-

то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась. И он остался также изумленным пред нею. Не такою воображал он ее видеть: это была не она, не та, которую он знал прежде; ничего не было в ней похожего на ту, но вдвое прекраснее и чудеснее была она теперь, чем прежде. Тогда было в ней что-то неконченное, недовершенное, теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти. Та была прелестная, ветреная девушка; эта была красавица — женщина во всей развившейся красе своей. Полное чувство выражалося в ее поднятых глазах, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успели в них высохнуть и облекли их блистающею влагою, проходившею душу. Грудь, шея и плечи заключились в те прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ее, теперь обратились в густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длине руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, все до одной изменились черты ее. Напрасно силился он в них отыскать хотя одну из тех, кото-

рые носились в его памяти, — ни одной! Как ни велика была ее бледность, но она не помрачила чудесной красы ее; напротив, казалось, как будто придала ей что-то стремительное, неотразимо победоносное. И ощутил Андрий в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед нею. Она, казалось, также была поражена видом козака, представшего во всей красе и силе юношеского мужества, который, казалось, и в самой неподвижности своих членов уже обличал развязную вольность движений; ясною твердостью сверкал глаз его, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загорелые щеки блистали всею яркостью девственного огня, и как шелк, лоснился молодой черный ус.

— Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь, — сказала она, и весь колебался серебряный звук ее голоса. — Один Бог может возблагодарить тебя; не мне, слабой женщине…

Она потупила свои очи; прекрасными снежными полукружьями надвинулись на них веки, окраенные длинными, как стрелы, ресницами. Наклонилося все чудесное лицо ее, и тонкий румянец оттенил его снизу. Ничего не умел сказать на это Андрий. Он хотел бы выговорить все, что

ни есть на душе, — выговорить его так же горячо, как оно было на душе, — и не мог. Почувствовал он что-то заградившее ему уста: звук отнялся у слова; почувствовал он, что не ему, воспитанному в бурсе и в бранной кочевой жизни, отвечать на такие речи, и вознегодовал на свою козацкую натуру.

В это время вошла в комнату татарка. Она уже успела нарезать ломтями принесенный рыцарем хлеб, несла его на золотом блюде и поставила перед своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлеб и возвела очи на Андрия — и много было в очах тех. Сей умиленный взор, выказавший изнеможенье и бессилье выразить обнявшие ее чувства, был более доступен Андрию, чем все речи. Его душе вдруг стало легко; казалось, все развязалось у него. Душевные движенья и чувства, которые дотоле как будто кто-то удерживал тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на воле и уже хотели излиться в неукротимые потоки слов, как вдруг красавица, оборотясь к татарке, беспокойно спросила:

— А мать? Ты отнесла ей?

— Она спит.

— А отцу?

— Отнесла. Он сказал, что придет сам благода-

рить рыцаря.

Она взяла хлеб и поднесла его ко рту. С неизъяснимым наслаждением глядел Андрий, как она ломала его блистающими пальцами своими и ела; и вдруг вспомнил о бесновавшемся от голода, который испустил дух в глазах его, проглотивши кусок хлеба. Он побледнел и, схватив ее за руку, закричал:

— Довольно! не ешь больше! Ты так долго не ела, тебе хлеб будет теперь ядовит.

И она опустила тут же свою руку, положила хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, смотрела ему в очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово… но не властны выразить ни резец, ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видится иной раз во взорах девы, нижé того умиленного чувства, которым объемлется глядящий в такие взоры девы.

— Царица! — вскрикнул Андрий, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков. — Что тебе нужно? чего ты хочешь? прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, — я побегу исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, — я сделаю, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, кля-

нусь святым крестом, мне так сладко… но не в силах сказать того! У меня три хутора, половина табунов отцовских — мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она, — все мое. Такого ни у кого нет теперь у козаков наших оружия, как у меня: за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово или хотя только шевельнешь своею тонкою черною бровью! Но знаю, что, может быть, несу глупые речи, и некстати, и нейдет все это сюда, что не мне, проведшему жизнь в бурсе и на Запорожье, говорить так, как в обычае говорить там, где бывают короли, князья и все что ни есть лучшего в вельможном рыцарстве. Вижу, что ты иное творенье Бога, нежели все мы, и далеки пред тобою все другие боярские жены и дочери-девы. Мы не годимся быть твоими рабами, только небесные ангелы могут служить тебе.

С возрастающим изумлением, вся превратившись в слух, не проронив ни одного слова, слушала дева открытую сердечную речь, в которой, как в зеркале, отражалась молодая, полная сил душа. И каждое простое слово сей речи, выговоренное голосом, летевшим прямо с сердечного

дна, было облечено в силу. И выдалось вперед все прекрасное лицо ее, отбросила она далеко назад досадные волосы, открыла уста и долго глядела с открытыми устами. Потом хотела что-то сказать и вдруг остановилась и вспомнила, что другим назначеньем ведется рыцарь, что отец, братья и вся отчизна его стоят позади его суровыми мстителями, что страшны облегшие город запорожцы, что лютой смерти обречены все они с своим городом… И глаза ее вдруг наполнились слезами; быстро она схватила платок, шитый шелками, набросила себе на лицо его, и он в минуту стал весь влажен; и долго сидела, забросив назад свою прекрасную голову, сжав белоснежными зубами свою прекрасную нижнюю губу, — как бы внезапно почувствовав какое укушение ядовитого гада, — и не снимая с лица платка, чтобы он не видел ее сокрушительной грусти.

— Скажи мне одно слово! — сказал Андрий и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от сего прикосновенья, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его.

Но она молчала, не отнимала платка от лица своего и оставалась неподвижна.

— Отчего же ты так печальна? Скажи мне, отчего ты так печальна?

Бросила прочь она от себя платок, отдернула налезавшие на очи длинные волосы косы своей и вся разлилася в жалостных речах, выговаривая их тихим-тихим голосом, подобно когда ветер, поднявшись прекрасным вечером, пробежит вдруг по густой чаще приводного тростника: зашелестят, зазвучат и понесутся вдруг унывно-тонкие звуки, и ловит их с непонятной грустью остановившийся путник, не чуя ни погасающего вечера, ни несущихся веселых песен народа, бредущего от полевых работ и жнив, ни отдаленного тарахтенья где-то проезжающей телеги.

— Не достойна ли я вечных сожалений? Не несчастна ли мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля пришлась на часть мне? Не лютый ли ты палач мой, моя свирепая судьба? Всех ты привела к ногам моим: лучших дворян изо всего шляхетства, богатейших панов, графов и иноземных баронов и все, что ни есть цвет нашего рыцарства. Всем им было вольно любить меня, и за великое благо всякий из них почел бы любовь мою. Стоило мне только махнуть рукой, и любой из них, красивейший, прекраснейший лицом и породою, стал бы моим супругом. И ни к одному из них не причаровала ты моего сердца, свирепая судьба моя; а причаровала мое сердце,

мимо лучших витязей земли нашей, к чуждому, к врагу нашему. За что же ты, Пречистая Божья Матерь, за какие грехи, за какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня? В изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои; лучшие, дорогие блюда и сладкие вина были мне снедью. И на что все это было? к чему оно все было? К тому ли, чтобы наконец умереть лютою смертью, какой не умирает последний нищий в королевстве? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь; мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, для спасенья которых двадцать раз готова бы была отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобы перед концом своим мне довелось увидать и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он речами своими разодрал на части мое сердце, чтобы горькая моя участь была еще горше, чтобы еще жалче было мне моей молодой жизни, чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя — прости мое прегрешение, — Святая Божья Матерь!

И когда затихла она, безнадежное, безнадежное чувство отразилось в лице ее; ноющею грустью

заговорила всякая черта его, и все, от печально поникшего лба и опустившихся очей до слез, застывших и засохнувших по тихо пламеневшим щекам ее, — все, казалось, говорило: «Нет счастья на лице сем!»

— Не слыхано на свете, не можно, не быть тому, — говорил Андрий, — чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы пред ней, как пред святыней, преклонилось все, что ни есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь! Не тебе умирать! Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь! Если же выйдет уже так и ничем — ни силой, ни молитвой, ни мужеством — нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе; и прежде я умру, умру перед тобой, у твоих прекрасных коленей, и разве уже мертвого меня разлучат с тобою.

— Не обманывай, рыцарь, и себя и меня, — говорила она, качая тихо прекрасной головой своей, — знаю и, к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы — враги тебе.

— А что мне отец, товарищи и отчизна! — сказал Андрий, встряхнув быстро головою и выпрямив

весь прямой, как надречная осокорь[97], стан свой. — Так если ж так, так вот что: нет у меня никого! Никого, никого! — повторил он тем же голосом и сопроводив его тем движеньем руки, с каким упругий, несокрушимый козак выражает решимость на дело, неслыханное и невозможное для другого. — Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из козаков вырвет ее оттуда! И все, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!

На миг остолбенев, как прекрасная статуя, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала, и с чудною женскою стремительностью, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею, обхватив его снегоподобными, чудными руками, и зарыдала. В это время раздались на улице неясные крики, сопровожденные трубным и литаврным звуком. Но он не слышал их. Он

---

[97] Примечания: 97
Осокорь — серебристый тополь.

слышал только, как чудные уста обдавали его благовонной теплотой своего дыханья, как слезы ее текли ручьями к нему на лицо и спустившиеся все с головы пахучие ее волосы опутали его всего своим темным и блистающим шелком.

В это время вбежала к ним с радостным криком татарка.

— Спасены, спасены! — кричала она, не помня себя. — Наши вошли в город, привезли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев.

Но не слышал никто из них, какие «наши» вошли в город, что привезли с собою и каких связали запорожцев. Полный не на земле вкушаемых чувств, Андрий поцеловал в сии благовонные уста, прильнувшие к щеке его, и небезответны были благовонные уста. Они отозвались тем же, и в сем обоюдно-слиянном поцелуе ощутилось то, что один только раз в жизни дается чувствовать человеку.

И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви Божьей! Украйне не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клок волос из своей чуприны и проклянет и день и час, в который породил на позор

себе такого сына.

VII

Шум и движение происходили в запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного отчета, как случилось, что войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь Переяславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян мертвецки; стало быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана прежде, чем все могли узнать, в чем дело. Покамест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем, и когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал:

— Так вот что, панове-братове, случилось в эту ночь. Вот до чего довел хмель! Вот какое поруганье оказал нам неприятель! У вас, видно, уже такое заведение: коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаро-

вары, но в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите.

Козаки все стояли понурив головы, зная вину; один только незамайковский куренной атаман Кукубенко отозвался.

— Постой, батько! — сказал он. — Хоть оно и не в законе, чтобы сказать какое возражение, когда говорит кошевой перед лицом всего войска, да дело не так было, так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул все христианское войско. Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной, тяжкой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержанья не было: как же может статься, чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пят не унесут домой.

Речь куренного атамана понравилась козакам. Они приподняли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, примолвивши: «Добре сказал Кукубенко!» А Тарас Бульба, стоявший недалеко от кошевого, сказал:

— А что, кошевой, видно Кукубенко правду

сказал? Что ты скажешь на это?

— А что скажу? Скажу: блажен и отец, родивший такого сына! Еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но бóльшая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедою человека, ободрило бы его, придало бы духу ему, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде.

«Добре сказал и кошевой!» — отозвалось в рядах запорожцев. «Доброе слово!» — повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сизые голуби, и те кивнули головою и, моргнувши седым усом, тихо сказали: «Добре сказанное слово!»

— Слушайте же, панове! — продолжал кошевой. — Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные, немецкие мастера, — пусть ей враг прикинется! — и неприлично, и не козацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом; телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный; стало быть, все съест духом, да и коням тоже сена… уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой… только про это еще Бог знает; а ксендзы-то их горазды

на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Дядькивский и Корсунский курень на засаду! Полковник Тарас с полком на засаду! Тытаревский и Тымошевский курень на запас, с правого бока обоза! Щербиновский и Стебликивский верхний — с левого боку! Да выбирайтесь из ряду, молодцы, которые позубастее на слово, задирать неприятеля! У ляха пустоголовая натура: брани не вытерпит; и, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Куренные атаманы, перегляди всякий курень свой: у кого недочет, пополни его останками Переяславского. Перегляди всё снова! Дать на опохмел всем по чарке и по хлебу на козака! Только, верно, всякий еще вчерашним сыт, ибо, некуда деть правды, понаедались все так, что дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да вот еще один наказ: если кто-нибудь, шинкарь, жид, продаст козаку хоть один кухоль[98] сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо, собаке, и повешу ногами вверх! За работу же, братцы! За работу!

---

[98] Примечания: 98

Кухоль — глиняная кружка.

Так распоряжал кошевой, и все поклонились ему в пояс и, не надевая шапок, отправились по своим возам и таборам и, когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали порох из мешков в пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрий: полонили ли его вместе с другими и связали сонного? Только нет, не таков Андрий, чтобы отдался живым в плен. Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени.

— Кому нужно меня? — сказал он, наконец очнувшись. Перед ним стоял жид Янкель.

— Пан полковник, пан полковник! — говорил жид поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел объявить дело не совсем пустое. — Я был в городе, пан полковник!

Тарас посмотрел на жида и подивился тому, что он уже успел побывать в городе.

— Какой же враг тебя занес туда?

— Я сейчас расскажу, — сказал Янкель. — Как только услышал я на заре шум и козаки стали

стрелять, я ухватил кафтан и, не надевая его, побежал туда бегом; дорогою уже надел его в рукава, потому что хотел поскорей узнать, отчего шум, отчего козаки на самой заре стали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам, в то время, когда последнее войско входило в город. Гляжу — впереди отряда пан хорунжий Галяндович. Он человек мне знакомый: еще с третьего года задолжал сто червонных. Я за ним, будто бы затем, чтобы выправить с него долг, и вошел вместе с ними в город.

— Как же ты: вошел в город, да еще и долг хотел выправить? — сказал Бульба. — И не велел он тебя тут же повесить, как собаку?

— А ей-богу, хотел повесить, — отвечал жид, — уже было его слуги совсем схватили меня и закинули веревку на шею, но я взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет, и пообещал еще дать взаймы, как только поможет мне собрать долги с других рыцарей; ибо у пана хорунжего — я все скажу пану — нет и одного червонного в кармане. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и стеновой земли до самого Шклова, а грошей у него так, как у козака, — ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жиды, не в чем было бы ему и на

войну выехать. Он и на сейме оттого не был…

— Что ж ты делал в городе? Видел наших?

— Как же! Наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор…

— Пропади они, собаки! — вскрикнул, рассердившись, Тарас. — Что ты мне тычешь свое жидовское племя! Я тебя спрашиваю про наших запорожцев.

— Наших запорожцев не видал. А видал одного пана Андрия.

— Андрия видел? — вскрикнул Бульба. — Что ж ты, где видел его? в подвале? в яме? обесчещен? связан?

— Кто же бы смел связать пана Андрия? Теперь он такой важный рыцарь… Далибуг[99], я не узнал! И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и зерцало[100] в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото. Так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего под верх; два ста червонных

---

[99] Примечания: 99

Далибуг — ей-богу (*польск.*).

[100] Примечания: 100

Зерцало — два скрепленных между собой щита, которыми в старину воины предохраняли спину и грудь.

стоит один конь.

Бульба остолбенел.

— Зачем же он надел чужое одеянье?

— Потому что лучше, потому и надел… И сам разъезжает, и другие разъезжают; и он учит, и его учат. Как наибогатейший польский пан!

— Кто ж его принудил?

— Я ж не говорю, чтобы его кто принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним?

— Кто перешел?

— А пан Андрий.

— Куда перешел?

— Перешел на их сторону, он уж теперь совсем ихний.

— Врешь, свиное ухо!

— Как же можно, чтобы я врал? Дурак я разве, чтобы врал? На свою бы голову я врал? Разве я не знаю, что жида повесят, как собаку, коли он соврет перед паном?

— Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру?

— Я же не говорю этого, чтобы он продавал что: я сказал только, что он перешел к ним.

— Врешь, чертов жид! Такого дела не было на христианской земле! Ты путаешь, собака!

— Пусть трава порастет на пороге моего дома, если я путаю! Пусть всякий наплюет на могилу отца, матери, свекора, и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, и отчего он перешел к ним.

— Отчего?

— У воеводы есть дочка-красавица. Святой боже, какая красавица!

Здесь жид постарался, как только мог, выразить в лице своем красоту, расставив руки, прищурив глаз и покрививши набок рот, как будто чего-нибудь отведавши.

— Ну, так что же из того?

— Он для нее и сделал все и перешел. Коли человек влюбится, то он все равно что подошва, которую, коли размочишь в воде, возьми согни — она и согнется.

Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что многих сильных погубляла она, что податлива с этой стороны природа Андрия; и стоял он долго как вкопанный на одном и том же месте.

— Слушай, пан, я все расскажу пану, — говорил жид. — Как только услышал я шум и увидел, что проходят в городские ворота, я схватил на всякий случай с собой нитку жемчуга, потому

что в городе есть красавицы и дворянки, а коли есть красавицы и дворянки, сказал я себе, то хоть им и есть нечего, а жемчуг все-таки купят. И как только хорунжего слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг и расспросил все у служанки-татарки. «Будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев. Пан Андрий обещал прогнать запорожцев».

— И ты не убил тут же на месте его, чертова сына? — вскрикнул Бульба.

— За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешел.

— И ты видел его в самое лицо?

— Ей-богу, в самое лицо! Такой славный вояка! Всех взрачней. Дай Бог ему здоровья, меня тотчас узнал; и когда я подошел к нему, тотчас сказал…

— Что ж он сказал?

— Он сказал… прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал: «Янкель!» А я: «Пан Андрий!» — говорю. «Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец — теперь не отец мне, брат — не брат, товарищ — не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми. Со всеми буду биться!»

— Врешь, чертов Иуда! — закричал, вышед из

себя, Тарас. — Врешь, собака! Ты и Христа распял, проклятый Богом человек! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то — тут же тебе и смерть! — И, сказавши это, Тарас выхватил свою саблю.

Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие, сухие икры. Долго еще бежал он без оглядки между козацким табором и потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался за ним, размыслив, что неразумно вымещать запальчивость на первом подвернувшемся.

Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрия, проходившего по табору с какой-то женщиною, и поник седою головою, а все еще не хотел верить, чтобы могло случиться такое позорное дело и чтобы собственный сын его продал веру и душу.

Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще козаками. А запорожцы, и пешие и конные, выступали на три дороги к трем воротам. Один за другим валили курени: Уманский, Поповичевский, Каневский, Стебликивский, Незамайковский, Гургузив, Тытаревский, Тымошевский. Одного только Переяславского не было. Крепко курнули козаки его и прокурили свою долю. Кто

проснулся связанный во вражьих руках, кто, и совсем не просыпаясь, сонный перешел в сырую землю, и сам атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства, очутился в ляшском стану.

В городе услышали козацкое движенье. Все высыпали на вал, и предстала пред козаков живая картина: польские витязи, один другого красивей, стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнца, оперенные белыми, как лебедь, перьями. На других были легкие шапочки, розовые и голубые с перегнутыми набекрень верхами; кафтаны с откидными рукавами, шитые и золотом и просто выложенные шнурками; у тех сабли и ружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны, — и много было всяких других убранств. Напереди стоял спесиво, в красной шапке, убранной золотом, буджаковский полковник. Грузен был полковник, всех выше и толще, и широкий дорогой кафтан в силу облекал его. На другой стороне, почти к боковым воротам, стоял другой полковник, небольшой человек, весь высохший; но малые зоркие очи глядели живо из-под густо наросших бровей, и оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанья, видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он

хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял хорунжий, длинный-длинный, с густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка в краске на лице; любил пан крепкие меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что ни нашлось в дедовских замках. Немало было и всяких сенаторских нахлебников, которых брали с собою сенаторы на обеды для почета, которые крали со стола и из буфетов серебряные кубки и после сегодняшнего почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Много всяких было там. Иной раз и выпить было не на что, а на войну все принарядились.

Козацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятках и ружейных оправах. Не любили козаки богато выряжаться на битвах; простые были на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и червонели черные, червонноверхие бараньи их шапки.

Два козака выехало вперед из запорожских рядов. Один еще совсем молодой, другой постарее, оба зубастые на слова, на деле тоже не плохие

козаки: Охрим Наш и Мыкыта Голокопытенко. Следом за ними выехал и Демид Попович, коренастый козак, уже давно маячивший на Сечи, бывший под Адрианополем и много натерпевшийся на веку своем: горел в огне и прибежал на Сечь с обсмаленною, почерневшею головою и выгоревшими усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец, вырастил усы, густые и черные как смоль. И крепок был на едкое слово Попович.

— А, красные жупаны на всем войске, да хотел бы я знать, красная ли сила у войска?

— Вот я вас! — кричал сверху дюжий полковник, — всех перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видели, как перевязал я ваших? Выведите им на вал запорожцев!

И вывели на вал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был куренной атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства, — так, как схватили его хмельного. И потупил в землю голову атаман, стыдясь наготы своей перед своими же козаками и того, что попал в плен, как собака, сонный. В одну ночь поседела крепкая голова его.

— Не печалься, Хлиб! Выручим! — кричали ему снизу козаки.

— Не печалься, друзьяка! — отозвался куренной атаман Бородатый. — В том нет вины твоей, что схватили тебя нагого. Беда может быть со всяким человеком; но стыдно им, что выставили тебя на позор, не прикрывши прилично наготы твоей.

— Вы, видно, на сонных людей храброе войско! — говорил, поглядывая на вал, Голокопытенко.

— Вот, погодите, обрежем мы вам чубы! — кричали им сверху.

— А хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы! — говорил Попович, поворотившись перед ними на коне. И потом, поглядевши на своих, сказал: — А что ж? Может быть, ляхи и правду говорят. Коли выведет их вон тот пузатый, им всем будет добрая защита.

— Отчего ж, ты думаешь, будет им добрая защита? — сказали козаки, зная, что Попович, верно, уже готовился что-нибудь отпустить.

— А оттого, что позади его упрячется все войско, и уж черта с два из-за его пуза достанешь которого-нибудь копьем!

Все засмеялись козаки. И долго многие из них еще покачивали головою, говоря: «Ну уж Попович! Уж коли кому закрутит слово, так только ну…» Да уж и не сказали козаки, что такое «ну».

— Отступайте, отступайте скорей от стен! — закричал кошевой. Ибо ляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой.

Едва только посторонились козаки, как грянули с валу картечью. На валу засуетились, показался сам седой воевода на коне. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехали ровным конным строем шитые гусары. За ними кольчужники, потом латники с копьями, потом все в медных шапках, потом ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один с своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал хорунжий; за ним опять ряды, и выехал дюжий полковник; а позади всего уже войска выехал последним низенький полковник.

— Не давать им, не давать им строиться и становиться в ряды! — кричал кошевой. — Разом напирайте на них все курени! Оставляйте прочие ворота! Тытаревский курень, нападай сбоку! Дядькивский курень, нападай с другого! Напирайте на тыл, Кукубенко и Палывода! Мешайте, мешайте и рознитe их!

И ударили со всех сторон козаки, сбили и смешали их, и сами смешались. Не дали даже и

стрельбы произвести; пошло дело на мечи да на копья. Все сбились в кучу, и каждому привел случай показать себя. Демид Попович трех заколол простых и двух лучших шляхтичей сбил с коней, говоря: «Вот добрые кони! Таких коней я давно хотел достать!» И выгнал коней далеко в поле, крича стоявшим козакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней шляхтичей, одного убил, а другому накинул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, снявши с него саблю с дорогою рукоятью и отвязавши от пояса целый черенок[101] с червонцами. Кобита, добрый козак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске, и долго бились они. Сошлись уже в рукопашный. Одолел было уже козак и, сломивши, ударил вострым турецким ножом в грудь, но не уберегся сам. Тут же в висок хлопнула его горячая пуля. Свалил его знатнейший из панов, красивейший и древнего княжеского роду рыцарь. Как стройный тополь, носился он на буланом коне своем. И много уже показал боярской богатырской удали: двух запорожцев разрубил надвое; Федора Коржа, доброго

[101] Примечания: 101
Черенок — кошелек.

козака, опрокинул вместе с конем, выстрелил по коню и козака достал из-за коня копьем; многим отнес головы и руки и повалил козака Кобиту, вогнавши ему пулю в висок.

— Вот с кем бы я хотел попробовать силы! — закричал незамайковский куренной атаман Кукубенко. Припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и стать ему в лицо; но не послушался конь: испуганный страшным криком, метнулся на сторону, и достал его ружейною пулею Кукубенко. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля, и свалился он с коня. Но и тут не поддался лях, все еще силился нанести врагу удар, но ослабела упавшая вместе с саблею рука. А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые побледневшие уста. Вышиб два сахарные зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь обшитый золотом желтый кафтан его. А Кукубенко уже кинул его и пробился с своими незамайковцами

в другую кучу.

— Эх, оставил неприбранным такое дорогое убранство! — сказал уманский куренной Бородатый, отъехавши от своих к месту, где лежал убитый Кукубенком шляхтич. — Я семерых убил шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видел ни на ком.

И польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных каменьев, отвязал от пояса черенок с червонцами, снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девическою кудрею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышал Бородатый, как налетел на него сзади красноносый хорунжий, уже раз сбитый им с седла и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он со всего плеча и ударил его саблей по нагнувшейся шее. Не к добру повела корысть козака: отскочила могучая голова, и упал обезглавленный труп, далеко вокруг оросивши землю. Понеслась к вышинам суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя, и вместе с тем дивуясь, что так рано вылетела из такого крепкого тела. Не успел хорунжий ухватить за чуб атаманскую голову, чтобы привязать ее к седлу, а уж был тут суровый мститель.

Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными крылами, вдруг останавливается распластанный на одном месте и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца-перепела, — так Тарасов сын, Остап, налетел вдруг на хорунжего и сразу накинул ему на шею веревку. Побагровело еще сильнее красное лицо хорунжего, когда затянула ему горло жестокая петля; схватился он было за пистолет, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрела, и даром полетела в поле пуля. Остап тут же, у его же седла, отвязал шелковый шнур, который возил с собою хорунжий для вязания пленных, и его же шнуром связал его по рукам и ногам, прицепил конец веревки к седлу и поволок его через поле, сзывая громко всех козаков Уманского куреня, чтобы шли отдать последнюю честь атаману.

Как услышали уманцы, что куренного их атамана Бородатого нет уже в живых, бросили поле битвы и прибежали прибрать его тело; и тут же стали совещаться, кого выбрать в куренные. Наконец сказали:

— Да на что совещаться? Лучше не можно поставить в куренные, как Бульбенка Остапа. Он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у

старого человека.

Остап, сняв шапку, всех поблагодарил козаков-товарищей за честь, не стал отговариваться ни молодостью, ни молодым разумом, зная, что время военное и не до того теперь, а тут же повел их прямо на кучу и уж показал им всем, что недаром выбрали его в атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дело слишком жарко, отступили и перебежали поле, чтоб собраться на другом конце его. А низенький полковник махнул на стоявшие отдельно, у самых ворот, четыре свежих сотни, и грянули оттуда картечью в козацкие кучи. Но мало кого достали: пули хватили по быкам козацким, дико глядевшим на битву. Взревели испуганные быки, поворотили на козацкие таборы, переломали возы и многих перетоптали. Но Тарас в это время, вырвавшись из засады с своим полком, с криком бросился навпереймы. Поворотило назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулось на ляшские полки, опрокинуло конницу, всех смяло и рассыпало.

— О, спасибо вам, волы! — кричали запорожцы, — служили всё походную службу, а теперь и военную сослужили! — И ударили с новыми силами на неприятеля.

Много тогда перебили врагов. Многие показали

себя: Метельыця, Шило, оба Пысаренки, Вовтузенко, и немало было всяких других. Увидели ляхи, что плохо наконец приходит, выкинули хоругвь и закричали отворять городские ворота. Со скрыпом отворились обитые железом ворота и приняли толпившихся, как овец в овчарню, изнуренных и покрытых пылью всадников. Многие из запорожцев погнались было за ними, но Остап своих уманцев остановил, сказавши: «Подальше, подальше, паны-братья, от стен! Не годится близко подходить к ним». И правду сказал, потому что со стен грянули и посыпали всем чем ни попало, и многим досталось. В это время подъехал кошевой и похвалил Остапа, сказавши: «Вот и новый атаман, и ведет войско так, как бы и старый!» Оглянулся старый Бульба поглядеть, какой там новый атаман, и увидел, что впереди всех уманцев сидел на коне Остап, и шапка заломлена набекрень, и атаманская палица в руке. «Вишь ты какой!» — сказал он, глядя на него; и обрадовался старый, и стал благодарить всех уманцев за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь идти к таборам, а на городском валу вновь показались ляхи, уже с изорванными епанчами. Запеклася кровь на многих дорогих кафтанах, и пылью покрылися

красивые медные шапки.

— Что, перевязали? — кричали им снизу запорожцы.

— Вот я вас! — кричал все так же сверху толстый полковник, показывая веревку.

И все еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины, и все, бывшие позадорнее, перекинулись с обеих сторон бойкими словами.

Наконец разошлись все. Кто расположился отдыхать, истомившись от боя; кто присыпал землей свои раны и драл на перевязки платки и дорогие одежды, снятые с убитого неприятеля. Другие же, которые были посвежее, стали прибирать тела и отдавать им последнюю почесть. Палашами и копьями копали могилы; шапками, полами выносили землю; сложили честно козацкие тела и засыпали их свежею землею, чтобы не досталось воронам и хищным орлам выклевывать им очи. А ляшские тела, увязавши как попало десятками к хвостам диких коней, пустили их по всему полю и долго потом гнались за ними и хлестали их по бокам. Летели бешеные кони; по бороздам, буграм, через рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахом ляшские трупы.

Потом сели кругами все курени вечерять и

долго говорили о делах и подвигах, доставшихся в удел каждому, на вечный рассказ пришельцам и потомству. Долго не ложились они. А долее всех не ложился старый Тарас, все размышляя, что бы значило, что Андрия не было между вражьих воев. Посовестился ли Иуда выйти противу своих или обманул жид и попался он просто в неволю? Но тут же вспомнил он, что не в меру было наклончиво сердце Андрия на женские речи, почувствовал скорбь и заклялся сильно в душе против полячки, причаровавшей его сына. И выполнил бы он свою клятву: не поглядел бы на ее красоту, вытащил бы ее за густую, пышную косу, поволок бы ее за собою по всему полю, между всех козаков. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ее чудные груди и плечи, блеском равные нетающим снегам, покрывающим горные вершины; разнес бы по частям он ее пышное, прекрасное тело. Но не ведал Бульба того, что готовит Бог человеку завтра, и стал позабываться сном, и наконец заснул.

А козаки все еще говорили промеж собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во все концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.

VIII

Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из Сечи пришла весть, что татары во время отлучки козаков ограбили в ней все, вырыли скарб, который втайне держали козаки под землею, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к Перекопу. Один только козак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук, заколол мирзу, отвязал у него мешок с цехинами и на татарском коне, в татарской одежде полтора дни и две ночи уходил от погони, загнал насмерть коня, пересел дорогою на другого, загнал и того, и уже на третьем приехал в запорожский табор, разведав на дороге, что запорожцы были под Дубной. Только и успел объявить он, что случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшиеся запорожцы, по козацкому обычаю, и пьяными отдались в плен, и как узнали татары место, где был зарыт войсковой скарб, — того ничего не сказал он. Сильно истомился козак, распух весь, лицо пожгло и опалило ему ветром; упал он тут же и заснул крепким сном.

В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту ж минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острове, и бог знает в каких местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот отчего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но совещаться, как ровные между собою.

— Давай совет прежде старшие! — закричали в толпе.

— Давай совет кошевой! — говорили другие.

И кошевой снял шапку, уж не так, как начальник, а как товарищ, благодарил всех козаков за честь и сказал:

— Много между нами есть старших и советом умнейших, но коли меня почтили, то мой совет: не терять, товарищи, времени и гнаться за татарином. Ибо вы сами знаете, что за человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его, так что и следов не найдешь. Так мой совет: идти. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое козаки; за веру, сколько было по силам, от-

мстили; корысти же с голодного города не много. Итак, мой совет — идти.

— Идти! — раздалось голосно в запорожских куренях.

Но Тарасу Бульбе не пришлись по душе такие слова, и навесил он еще ниже на очи свои хмурые, исчерна-белые брови, подобные кустам, выросшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней.

— Нет, не прав совет твой, кошевой! — сказал он. — Ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтоб мы не уважили первого, святого закона товарищества: оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них с живых содрали кожу или, исчетвертовав на части козацкое их тело, развозили бы их по городам и селам, как сделали они уже с гетьманом и лучшими русскими витязями на Украйне. Разве мало они поругались и без того над святынею? Что ж мы такое? спрашиваю я всех вас. Что ж за козак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий ни во что ставит козацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и

попрекнуть себя обидным словом, так не укорит же никто меня. Один остаюсь!

Поколебались все стоявшие запорожцы.

— А разве ты позабыл, бравый полковник, — сказал тогда кошевой, — что у татар в руках тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам, что хуже всякой лютой смерти? Позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая христианскою кровью?

Задумались все козаки и не знали, что сказать. Никому не хотелось из них заслужить обидную славу. Тогда вышел вперед всех старейший годами во всем запорожском войске Касьян Бовдюг. В чести был он от всех козаков; два раза уже был избираем кошевым и на войнах тоже был сильно добрый козак, но уже давно состарился и не бывал ни в каких походах; не любил тоже и советов давать никому, а любил старый вояка лежать на боку у козацких кругов, слушая рассказы про всякие бывалые случаи и козацкие походы. Никогда не вмешивался он в их речи, а все только слушал да прижимал пальцем золу в своей коротенькой трубке, которой не выпускал изо рта, и долго сидел он потом, прижмурив слегка очи; и не знали козаки, спал ли он или все еще слушал. Все

походы оставался он дома, но сей раз разобрало старого. Махнул рукою по-козацки и сказал:

— А, не куды пошло! Пойду и я; может, в чем-нибудь буду пригоден козачеству!

Все козаки притихли, когда выступил он теперь перед собранием, ибо давно не слышали от него никакого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бовдюг.

— Пришла очередь и мне сказать слово, паны-братья! — так он начал. — Послушайте, дети, старого. Мудро сказал кошевой; и, как голова козацкого войска, обязанный приберегать его и пещись о войсковом скарбе, мудрее ничего он не мог сказать. Вот что! Это пусть будет первая моя речь! А теперь послушайте, что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая речь: большую правду сказал и Тарас-полковник, — дай Боже ему побольше веку и чтоб таких полковников было побольше на Украйне! Первый долг и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на веку, не слышал я, паны-братья, чтобы козак покинул где или продал как-нибудь своего товарища. И те и другие нам товарищи; меньше их или больше — все равно, все товарищи, все нам дороги. Так вот какая моя речь: те, которым милы захваченные татарами,

пусть отправляются за татарами, а которым милы полоненные ляхами и не хочется оставлять правого дела, пусть остаются. Кошевой по долгу пойдет с одной половиною за татарами, а другая половина выберет себе наказного атамана. А наказным атаманом, коли хотите послушать белой головы, не пригоже быть никому другому, как только одному Тарасу Бульбе. Нет из нас никого, равного ему в доблести.

Так сказал Бовдюг и затих; и обрадовались все козаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки и закричали:

— Спасибо тебе, батько! Молчал, молчал, долго молчал, да вот наконец и сказал. Недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден козачеству: так и сделалось.

— Что, согласны вы на то? — спросил кошевой.

— Все согласны! — закричали козаки.

— Стало быть, раде конец?

— Конец раде! — кричали козаки.

— Слушайте ж теперь войскового приказа, дети! — сказал кошевой, выступил вперед и надел шапку, а все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокрытыми головами, утупив очи в землю, как бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить

старший.

— Теперь отделяйтесь, паны-братья! Кто хочет идти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи на левую! Куды бóльшая часть куреня переходит, туды и атаман; коли меньшая часть переходит, приставай к другим куреням.

И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого куреня большая часть переходила, туда и куренной атаман переходил; которого малая часть, та приставала к другим куреням; и вышло без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться: весь почти Незамайковский курень, большая половина Поповичевского куреня, весь Умайский курень, весь Каневский курень, бóльшая половина Стебликивского куреня, бóльшая половина Тымошевского куреня. Все остальные вызвались идти вдогон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых козаков. Между теми, которые решились идти вслед за татарами, был Череватый, добрый старый козак, Покотыполе, Лемиш, Прокопович Хома; Демид Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завзятого нрава козак — не мог долго высидеть на месте; с ляхами попробовал уже он дела, хотелось попробовать еще с татарами. Куренные были:

Ностюган, Покрышка, Невылычкий; и много еще других славных и храбрых козаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татарином. Немало было также сильно и сильно добрых козаков между теми, которые захотели остаться: куренные Демытрович, Кукубенко, Вертыхвист, Балабан, Бульбенко Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих козаков: Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуска, Охрим Гуска, Мыкола Густый, Задорожний, Метелыця, Иван Закрутыгуба, Мосий Шило, Дёггяренко, Сыдоренко, Пысаренко, потом другой Пысаренко, потом еще Пысаренко, и много было других добрых козаков. Все были хожалые, езжалые: ходили по анатольским берегам, по крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам[102] и днепровским островам; бывали в молдавской, волошской, в турецкой земле; изъездили всё Черное море двухрульными козацкими челнами; нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие и превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстреляли пороху на своем веку. Не раз драли на онучи дорогие

[102] Примечания: 102
Заход — залив.

паволоки и оксамиты. Не раз череши у штанных очкуров набивали всё чистыми цехинами. А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, ставшего бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя. Все спустили по-козацки, угощая весь мир и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свете. Еще и теперь у редкого из них не было закопано добра — кружек, серебряных ковшей и запястьев под камышами на днепровских островах, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, в случае несчастья, удалось ему напасть врасплох на Сечь; но трудно было бы татарину найти его, потому что и сам хозяин уже стал забывать, в котором месте закопал его. Такие-то были козаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам за верных товарищей и Христову веру! Старый козак Бовдюг захотел также остаться с ними, сказавши: «Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами, а тут есть место, где опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просил я у Бога, чтобы если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войне за святое и христианское дело. Так оно и случилось. Славнейшей кончины уже не будет в другом месте для старого козака».

Когда отделились все и стали на две стороны в два ряда куренями, кошевой прошел промеж

рядов и сказал:

— А что, панове-братове, довольны одна сторона другою?

— Все довольны, батько! — отвечали козаки.

— Ну, так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощанье, ибо, бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велит козацкая честь.

И все козаки, сколько их ни было, перецеловались между собою. Начали первые атаманы и, поведши рукою седые усы свои, поцеловались навкрест и потом взялись за руки и крепко держали руки. Хотел один другого спросить: «Что, пане-брате, увидимся или не увидимся?» — да и не спросили, замолчали, — и загадались обе седые головы. А козаки все до одного прощались, зная, что много будет работы тем и другим; но не повершили, однако ж, тотчас разлучиться, а повершили дождаться темной ночной поры, чтобы не дать неприятелю увидеть убыль в козацком войске. Потом все отправились по куреням обедать.

После обеда все, которым предстояла дорога, легли отдыхать и спали крепко и долгим сном, как будто чуя, что, может, последний сон доведет-

ся им вкусить на такой свободе. Спали до самого заходу солнечного; а как зашло солнце и немного стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед возы, а сами, пошапковавшись еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за возами. Конница чинно, без покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотела вслед за пешими, и скоро стало их не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь да скрып иного колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано за ночною темнотою.

Долго еще оставшиеся товарищи махали им издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своим местам, когда увидели при высветивших ясно звездах, что половины телег уже не было на месте, что многих, многих нет, невесело стало у всякого на сердце, и все задумались против воли, утупивши в землю гульливые свои головы.

Тарас видел, как смутны стали козацкие ряды и как уныние, неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкие головы, но молчал: он хотел дать время всему, чтобы пообыклись они и к унынью, наведенному прощаньем с товарищами, а между тем в тишине готовился разом и вдруг разбудить их всех, гикнувши по-козацки,

чтобы вновь и с большею силой, чем прежде, воротилась бодрость каждому в душу, на что способна одна только славянская порода — широкая, могучая порода перед другими, что море перед мелководными реками. Коли время бурно, все превращается оно в рев и гром, бугря и подымая валы, как не поднять их бессильным рекам; коли же безветренно и тихо, яснее всех рек расстилает оно свою неоглядную склянную поверхность, вечную негу очей.

И повелел Тарас распаковать своим слугам один из возов, стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в козацком обозе; двойною крепкою шиною были обтянуты дебелые колеса его; грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими воловьими кожами и увязан туго засмоленными веревками. В возу были всё баклаги и бочонки старого доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребах. Взял он его про запас, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будет всем предстоять дело, достойное на передачу потомкам, то чтобы всякому, до единого, козаку досталось выпить заповедного вина, чтобы в великую минуту великое бы и чувство овладело человеком. Услышав полковничий приказ, слуги бросились

к возам, палашами перерезывали крепкие веревки, снимали толстые воловьи кожи и попоны и стаскивали с воза баклаги и бочонки.

— А берите все, — сказал Бульба, — все, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковш, или черпак, которым поит коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обе горсти.

И козаки все, сколько ни было их, брали, у кого был ковш, у кого черпак, которым поил коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлял и так обе горсти. Всем им слуги Тарасовы, расхаживая промеж рядами, наливали из баклаг и бочонков. Но не приказал Тарас пить, пока не даст знаку, чтобы выпить им всем разом. Видно было, что он хотел что-то сказать. Знал Тарас, что как ни сильно само по себе старое доброе вино и как ни способно оно укрепить дух человека, но если к нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крепче будет сила и вина и духа.

— Я угощаю вас, паны-братья, — так сказал Бульба, — не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом, как ни велика подобная честь, не в честь также прощанья с нашими товарищами: нет, в другое время прилично то и другое; не такая теперь перед нами минута. Перед нами дела великого поту, великой козацкой доблести!

Итак, выпьем, товарищи, разом выпьем поперед всего за святую православную веру: чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурменов, все бы сделались христианами! Да за одним уже разом выпьем и за Сечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один одного лучше, один одного краше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за веру, пане-братове, за веру!

— За веру! — загомонели все, стоявшие в ближних рядах, густыми голосами.

— За веру! — подхватили дальние; и все что ни было, и старое и молодое, выпило за веру.

— За Сичь! — сказал Тарас и высоко поднял над головою руку.

— За Сичь! — отдалося густо в передних рядах. — За Сичь! — сказали тихо старые, моргнувши седым усом; и, встрепенувшись, как молодые соколы, повторили молодые: — За Сичь!

И слышало далече поле, как поминали козаки свою Сичь.

— Теперь последний глоток, товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете!

И все козаки, до последнего в поле, выпили последний глоток в ковшах за славу и всех христиан, какие ни есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам промеж всеми куренями:

— За всех христиан, какие ни есть на свете!

Уже пусто было в ковшах, а всё еще стояли козаки, поднявши руки. Хоть весело глядели очи их всех, просиявшие вином, но сильно загадались они. Не о корысти и военном прибытке теперь думали они, не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого оружия, шитых кафтанов и черкесских коней; но загадался они — как орлы, севшие на вершинах обрывистых, высоких гор, с которых далеко видно расстилающееся беспредельно море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонам чуть видными тонкими поморьями, с прибрежными, как мошки, городами и склонившимися, как мелкая травка, лесами. Как орлы, озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами[103]

---

[103] Примечания: 103

Облога — целина, пустошь.

и дорогами покрыто торчащими их белыми костями, щедро обмывшись козацкою их кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями. Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными книзу усами. Будут, налетев, орлы выдирать и выдергивать из них козацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге! Не погибнет ни одно великодушное дело, и не пропадет, как малая порошинка с ружейного дула, козацкая слава. Будет, будет бандурист с седою по грудь бородою, а может, еще полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещий духом, и скажет он про них свое густое, могучее слово. И пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что ни народится потом, заговорит о них. Ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву.

IX

В городе не узнал никто, что половина запорожцев выступила в погоню за татарами. С магистратской башни приметили только часовые, что потянулась часть возов за лес; но подумали, что козаки готовились сделать засаду; то же думал и французский инженер. А между тем слова кошевого не прошли даром, и в городе оказался недостаток в съестных припасах. По обычаю прошедших веков, войска не разочли, сколько им было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков была тут же перебита козаками, а половина прогнана в город ни с чем. Жиды, однако же, воспользовались вылазкою и пронюхали всё: куда и зачем отправились запорожцы, и с какими военачальниками, и какие именно курени, и сколько их числом, и сколько было оставшихся на месте, и что они думают делать, — словом, чрез несколько уже минут в городе всё узнали. Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то по движенью и шуму в городе и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три таборы курени, обнес-

ши их возами в виде крепостей, — род битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы; двум куреням повелел забраться в засаду: убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, обломками копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда все было сделано как нужно, сказал речь козакам, не для того, чтобы ободрить и освежить их, — знал, что и без того крепки они духом, — а просто самому хотелось высказать все, что было на сердце.

— Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек.

Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь — и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, — видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, а… — сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: — Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве,

есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, — так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!

Так говорил атаман и, когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившеюся в козацких делах головою. Всех, кто ни стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю; слеза тихо накатывалася в старых очах; медленно отирали они ее рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодою жемчужною душою на вечную радость старцам родителям, родившим их.

А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны, окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал приказы. И стали наступать они тесно на козацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Как только увидели козаки, что подошли они на ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали, и, не перерывая, всё палили они из пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь в беспрерывный гул; дымом затянуло все поле, а запорожцы всё палили, не переводя духу: задние только заряжали да передавали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего понять, как стреляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство, не видно было, как то одного, то другого не ставало в рядах; но чувствовали ляхи, что густо летели пули и жарко становилось дело; и когда попятились назад, чтобы посторониться от дыма и оглядеться, то многих недосчитались в рядах своих. А у козаков, может быть, другой-третий был убит на всю сотню. И всё продолжали палить козаки из пищалей, ни на минуту не давая

промежутка. Сам иноземный инженер подивился такой, никогда им не виданной тактике, сказавши тут же, при всех: «Вот бравые молодцы-запорожцы! Вот как нужно биться и другим в других землях!» И дал совет поворотить тут же на табор пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунные пушки; дрогнула, далеко загудевши, земля, и вдвое больше затянуло дымом все поле. Почуяли запах пороха среди площадей и улиц в дальних и ближних городах. Но нацелившие взяли слишком высоко: раскаленные ядра выгнули слишком высокую дугу. Страшно завизжав по воздуху, перелетели они через головы всего табора и углубились далеко в землю, взорвав и взметнув высоко на воздух черную землю. Ухватил себя за волосы французский инженер при виде такого неискусства и сам принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями беспрерывно козаки.

Тарас видел еще издали, что беда будет всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнул зычно: «Выбирайтесь скорей из-за возов, и садись всякий на коня!» Но не поспели бы сделать то и другое козаки, если бы Остап не ударил в самую середину; выбил фитили у шести пушкарей, у четырех только не мог выбить:

отогнали его назад ляхи. А тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из козаков не видывал дотоле. Страшно глядела она широкою пастью, и тысяча смертей глядело оттуда. И как грянула она, а за нею следом три другие, четырехкратно потрясши глухо-ответную землю, — много нанесли они горя! Не по одному козаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Не одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет, сердечная, выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого из них в очи, нет ли между их одного, милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного, милейшего всех.

Так, как будто и не бывало половины Незамайковского куреня! Как градом выбивает вдруг всю ниву, где, что полновесный червонец, красовался всякий колос, так их выбило и положило.

Как же вскинулись козаки! Как схватились все! Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины куреня его нет! Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину. В гневе иссек в

капусту первого попавшегося, многих конников сбил с коней, доставши копьем и конника и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку. А уж там, видит, хлопочет уманский куренной атаман и Степан Гуска уже отбивает главную пушку. Оставил он тех козаков и поворотил с своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайковцы — так там и улица, где поворотились — так уж там и переулок! Так и видно, как редели ряды и снопами валились ляхи! А у самых возов Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальних возов Дёгтяренко, а за ним куренной атаман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дёггяренко, да напал наконец на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях, пышной сбруей украшен и пятьдесят одних слуг привел с собою. Погнул он крепко Дёгтяренка, сбил его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричал: «Нет из вас, собак-козаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне!»

«А вот есть же!» — сказал и выступил вперед Мосий Шило. Сильный был он козак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Схватили их турки у самого Трапезонта и всех забрали невольниками на галеры, взяли их по рукам и ногам в железные цепи, не давали по

целым неделям пшена и поили противной морской водою. Все выносили и вытерпели бедные невольники, лишь бы не переменять православной веры. Не вытерпел атаман Мосий Шило, истоптал ногами святой закон, скверною чалмой обвил грешную голову, вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные невольники, ибо знали, что если свой продаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом. Так и сбылось. Всех посадил Мосий Шило в новые цепи по три в ряд, прикрутил им до самых белых костей жестокие веревки; всех перебил по шеям, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать и, позабыв закон свой, все перепились, он принес все шестьдесят четыре ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кандалы в море, а брали бы наместо того сабли да рубили турков. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою в отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосия Шила. Выбрали бы его в кошевые, да был совсем чудной козак. Иной раз повершал такое дело, какого

мудрейшему не придумать, а в другой — просто дурь одолевала казака. Пропил он и прогулял все, всем задолжал на Сечи и, в прибавку к тому, прокрался, как уличный вор: ночью утащил из чужого куреня всю козацкую сбрую и заложил шинкарю. За такое позорное дело привязали его на базаре к столбу и положили возле дубину, чтобы всякий по мере сил своих отвесил ему по удару. Но не нашлось такого из всех запорожцев, кто бы поднял на него дубину, помня прежние его заслуги. Таков был козак Мосий Шило.

«Так есть же такие, которые бьют вас, собак!» — сказал он, кинувшись на него. И уж так-то рубились они! И наплечники и зерцала погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий лях железную рубашку, достав лезвеем самого тела: зачервонела козацкая рубашка. Но не поглядел на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся лях, а Шило принялся рубить и крестить оглушенного. Не добивай, козак, врага, а лучше поворотись назад! Не поворотился козак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился Шило и уж достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме.

Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шило и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паны-братья, товарищи! Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» И зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась козацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал Задорожний с своими, ломил ряды куренной Вертыхвист и выступал Балабан.

— А что, паны? — сказал Тарас, перекликнувшись с куренными. — Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли козацкая сила? Не гнутся ли козаки?

— Есть еще, батько, порох в пороховницах. Не ослабела еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!

И наперли сильно козаки: совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть восемь малеванных знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к знаменам; но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь с своими незамайковцами в середину и напал прямо на толстопузого полковника. Не выдержал полковник и, поворо-

тив коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то с бокового куреня, Степан Гуска пустился ему навпереймы, с арканом в руке, всю пригнувши голову к лошадиной шее, и, улучивши время, с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. Но несдобровать и Гуске! Не успели оглянуться козаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на четыре копья. Только и успел сказать бедняк: «Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля!» И там же испустил дух свой.

Оглянулись козаки, а уж там, сбоку, козак Метелыця угощает ляхов, шеломя того и другого; а уж там, с другого, напирает с своими атаман Невылычкий; а у возов ворочает врага и бьется Закрутыгуба; а у дальних возов третий Пысаренко отогнал уже целую ватагу. А уж там, у других возов, схватились и бьются на самых возах.

— Что, паны? — перекликнулся атаман Тарас, проехавши впереди всех. — Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще козацкая сила? Не

гнутся ли еще козаки?

— Есть еще, батько, порох в пороховницах; еще крепка козацкая сила; еще не гнутся козаки!

А уж упал с воза Бовдюг. Прямо под самое сердце пришлась ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться с светом. Дай бог и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца века Русская земля!» И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отошедшим старцам, как умеют биться на Русской земле и, еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру.

Балабан, куренной атаман, скоро после него грянулся также на землю. Три смертельные раны достались ему: от копья, от пули и от тяжелого палаша. А был один из доблестнейших козаков; много совершил он под своим атаманством морских походов, но славнее всех был поход к анатольским берегам. Много набрали они тогда цехинов, дорогой турецкой габы[104], киндяков[105] и всяких убранств, но мыкнули горе на обратном пути: попались, сердечные, под турецкие ядра. Как хватило их с корабля — по-

[104] Примечания: 104
Габа — белое турецкое сукно.

[105] Примечания: 105
Киндяк — ткань.

ловина челнов закружилась и перевернулась, потопивши не одного в воду, но привязанные к бокам камыши спасли челны от потопления. Балабан отплыл на всех веслах, стал прямо к солнцу и через то сделался невиден турецкому кораблю. Всю ночь потом черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитые места; из козацких штанов нарезали парусов, понеслись и убежали от быстрейшего турецкого корабля. И мало того что прибыли безбедно на Сечу, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорского киевского монастыря и на Покров, что на Запорожье, оклад из чистого серебра. И славили долго потом бандуристы удачливость козаков. Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал: «Сдается мне, паны-браты, умираю хорошею смертью; семерых изрубил, девятерых копьем исколол. Истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулею. Пусть же цветет вечно Русская земля!..» И отлетела его душа.

Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенка, уже семь человек только осталось изо всего Незамайковского куреня; уже и те отбиваются через силу; уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас,

увидя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели козаки: уже успело ему углубиться под сердце копье прежде, чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхватившим его козакам, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли в склянном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай в жизни, чтобы если приведет Бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человек… Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!» И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную меня! — скажет ему Христос, — ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь». Всех опечалила смерть Кукубенка. Уже

редели сильно козацкие ряды; многих, многих храбрых уже недосчитывались; но стояли и держались еще козаки.

— А что, паны? — перекликнулся Тарас с оставшимися куренями. — Есть ли еще порох в пороховницах? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила? Не погнулись ли козаки?

— Достанет еще, батько, пороху! Годятся еще сабли; не утомилась козацкая сила; не погнулись еще козаки!

И рванулись снова козаки так, как бы и потерь никаких не потерпели. Уже три только куренных атамана осталось в живых. Червонели уже всюду красные реки; высоко гатились мосты из козацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то пожива! А уж там подняли на копье Метелыцю. Уже голова другого Пысаренка, завертевшись, захлопала очами. Уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охрим Гуска. «Ну!» — сказал Тарас и махнул платком. Понял тот знак Остап и ударил сильно, вырвавшись из засады, в конницу. Не выдержали сильного напору ляхи, а он их гнал и нагнал прямо на место, где были убиты в землю колья

и обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони и лететь через их головы ляхи. А в это время корсунцы, стоявшие последние за возами, увидевши, что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все сбились и растерялись ляхи, и приободрились козаки. «Вот и наша победа!» — раздались со всех сторон запорожские голоса, затрубили в трубы и выкинули победную хоругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи. «Ну, нет, еще не совсем победа!» — сказал Тарас, глядя на городские ворота, и сказал он правду.

Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все как один бурые аргамаки. Впереди других понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий. А он между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрейший и молодший всех в стае. Атукнул на него опытный охотник — и он понесся, пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набок всем телом,

взрывая снег и десять раз выпереживая самого зайца в жару своего бега. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собою дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал: «Как?.. Своих?.. Своих, чертов сын, своих бьешь?..» Но Андрий не различал, кто пред ним был, свои или другие какие; ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные, длинные кудри, и подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев.

«Эй, хлопьята! заманите мне только его к лесу, заманите мне только его!» — кричал Тарас. И вызвалось тот же час тридцать быстрейших козаков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо наперерез гусарам. Ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватил плашмя по спине Андрия, и в тот же час пустились бежать от них, сколько достало козацкой мочи. Как вскинулся Андрий! Как забунтовала по всем жилкам молодая кровь! Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за козаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только двадцать человек успело поспевать за ним. А козаки летели во

всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрий и чуть было уже не настигнул Голокопытенка, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрий: пред ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен…

Так школьник, неосторожно задравши своего товарища и получивши за то от него удар линейкою по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный выскакивает из лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части; и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя: вмиг притихает бешеный порыв и упадает бессильная ярость. Подобно ему, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед собою одного только страшного отца.

— Ну, что ж теперь мы будем делать? — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.

Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.

— Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

Андрий был безответен.

— Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!

Покорно, как ребенок, слез он с коня и остано-

вился ни жив ни мертв перед Тарасом.

— Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! — сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье.

Бледен как полотно был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил.

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарованья, все еще выражало чудную красоту; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты.

— Чем бы не козак был? — сказал Тарас, — и станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал, пропал бесславно, как подлая собака!

— Батько, что ты сделал? Это ты убил его? — сказал подъехавший в это время Остап.

Тарас кивнул головою.

Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же:

— Предадим же, батько, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тела хищные птицы.

— Погребут его и без нас! — сказал Тарас, — будут у него плакальщики и утешницы!

И минуты две думал он, кинуть ли его на расхищенье волкам-сыромахам или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко:

— Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила!..

Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко:

— Беда, атаман, новая валит еще сила!..

Не успел сказать Вовтузенко, Пысаренко бежит бегом, уже без коня:

— Где ты, батьку? Ищут тебя козаки. Уж убит куренной атаман Невылычкий, Задорожний убит, Черевиченко убит. Но стоят козаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи; хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом!

— На коня, Остап! — сказал Тарас и спешил,

чтобы застать еще козаков, чтобы поглядеть еще на них и чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана.

Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон лес, и меж деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..» — кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал честить первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро; но не в добрый час, видно, наскочило: с одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьем в ребро третьего; четвертый был поотважней, уклонился головой от пули, и попала в конскую грудь горячая пуля, — вздыбился бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собою всадника. «Добре, сынку!.. Добре, Остап!.. — кричал Тарас. — Вот я следом за тобою!..» А сам все отбивался от наступавших. Рубится и бьется Тарас, сыплет гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит все вперед на Остапа и видит, что уже вновь схватилось с Остапом мало не восьмеро разом. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..» Но уж одолевают Остапа; уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа. «Эх, Остап, Остап!.. — кричал Тарас,

пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. — Эх, Остап, Остап!..» Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту. Все закружилось и перевернулось в глазах его. На миг смешанно сверкнули пред ним головы, копья, дым, блески огня, сучья с древесными листьями, мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся он, как подрубленный дуб, на землю. И туман покрыл его очи.

X

— Долго же я спал! — сказал Тарас, очнувшись, как после трудного хмельного сна, и стараясь распознать окружавшие его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались пред ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что пред ним сидел Товкач и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханию.

«Да, — подумал про себя Товкач, — заснул бы ты, может быть, и навеки!» Но ничего не сказал, погрозил пальцем и дал знак молчать.

— Да скажи же мне, где я теперь? — спросил опять Тарас, напрягая ум и стараясь припомнить бывшее.

— Молчи ж! — прикрикнул сурово на него товарищ. — Чего тебе еще хочется знать? Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уж две недели как мы с тобою скачем не переводя духу и как ты в горячке и жару несешь и городишь чепуху. Вот в первый раз заснул покойно. Молчи ж, если не хочешь нанести сам себе беду.

Но Тарас все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее.

— Да ведь меня же схватили и окружили было совсем ляхи? Мне ж не было никакой возможности выбиться из толпы?

— Молчи ж, говорят тебе, чертова детина! — закричал Товкач сердито, как нянька, выведенная из терпенья, кричит неугомонному повесе-ребенку. — Что пользы знать тебе, как выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали, — ну, и будет с тебя! Нам еще немало ночей скакать вместе. Ты думаешь, что пошел за простого козака? Нет, твою голову оценили в две тысячи червонных.

— А Остап? — вскрикнул вдруг Тарас, понатужился приподняться и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали в глазах его и что он теперь уже в ляшских руках.

И обняло горе старую голову. Сорвал и сдернул

он все перевязки ран своих, бросил их далеко прочь, хотел громко что-то сказать — и вместо того понес чепуху; жар и бред вновь овладели им, и понеслись без толку и связи безумные речи.

А между тем верный товарищ стоял пред ним, бранясь и рассыпая без счету жестокие укорительные слова и упреки. Наконец схватил он его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, поправил все перевязки, увернул его в воловью кожу, увязал в лубки и, прикрепивши веревками к седлу, помчался вновь с ним в дорогу.

— Хоть неживого, да довезу тебя! Не попущу, чтобы ляхи поглумились над твоей козацкою породою, на куски рвали бы твое тело да бросали его в воду. Пусть же хоть и будет орел высмыкать из твоего лоба очи, да пусть же степовой наш орел, а не ляшский, не тот, что прилетает из польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя до Украйны!

Так говорил верный товарищ. Скакал без отдыху дни и ночи и привез его, бесчувственного, в самую Запорожскую Сечь. Там принялся он лечить его неутомимо травами и смачиваньями; нашел какую-то знающую жидовку, которая месяц поила его разными снадобьями, и наконец Тарасу стало лучше. Лекарства ли или своя железная сила взяла верх, только он через полтора

месяца стал на ноги; раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, как глубоко когда-то был ранен старый козак. Однако же заметно стал он пасмурен и печален. Три тяжелые морщины насунулись на лоб его и уже больше никогда не сходили с него. Оглянулся он теперь вокруг себя: все новое на Сечи, все перемерли старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство. И те, которые отправились с кошевым в угон за татарами, и тех уже не было давно: все положили головы, все сгибли — кто положив на самом бою честную голову, кто от безводья и бесхлебья среди крымских солончаков, кто в плену пропал, не вынесши позора; и самого прежнего кошевого уже давно не было на свете, и никого из старых товарищей; и уже давно поросла травою когда-то кипевшая козацкая сила. Слышал он только, что был пир, сильный, шумный пир: вся перебита вдребезги посуда; нигде не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги все дорогие кубки и сосуды, — и смутный стоит хозяин дома, думая: «Лучше б и не было того пира». Напрасно старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, седые бандуристы, проходя по два и по три, расславляли его козацкие подвиги. Сурово и равнодушно

глядел он на все, и на неподвижном лице его выступала неугасимая горесть, и, тихо понурив голову, говорил он: «Сын мой! Остап мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее; видела чалмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровию полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах, но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Он уходил в луга и степи,

будто бы за охотою, но заряд его оставался невыстрелянным. И, положив ружье, полный тоски, садился он на морской берег. Долго сидел он там, понурив голову и все говоря: «Остап мой! Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилалось Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою.

И не выдержал наконец Тарас. «Что бы ни было, пойду разведать, что он: жив ли он? в могиле? или уже и в самой могиле нет его? Разведаю во что бы то ни стало!» И через неделю уже очутился он в городе Умани, вооруженный, на коне, с копьем, саблей, дорожной баклагой у седла, походным горшком с саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочим снарядом. Он прямо подъехал к нечистому, запачканному домишке, у которого небольшие окошки едва были видны, закопченные неизвестно чем; труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякого сору лежала пред самыми дверьми. Из окна выглядывала голова жидовки, в чепце с потемневшими жемчугами.

— Муж дома? — сказал Бульба, слезая с коня и привязывая повод к железному крючку, бывшему у самых дверей.

— Дома, — сказала жидовка и поспешила тот же час выйти с пшеницей в корчике[106] для коня и стопой пива для рыцаря.

— Где же твой жид?

— Он в другой светлице молится, — проговорила жидовка, кланяясь и пожелав здоровья в то время, когда Бульба поднес к губам стопу.

— Оставайся здесь, накорми и напои моего коня, а я пойду поговорю с ним один. У меня до него дело.

Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. Тарас вошел в светлицу. Жид молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний

---

[106] Примечания: 106

Корчик — ковш.

раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Так и бросились жиду прежде всего в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он постыдился своей корысти и силился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.

— Слушай, Янкель! — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели. — Я спас твою жизнь, — тебя бы разорвали, как собаку, запорожцы; теперь твоя очередь, теперь сделай мне услугу!

Лицо жида несколько поморщилось.

— Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать?

— Не говори ничего. Вези меня в Варшаву.

— В Варшаву? Как в Варшаву? — сказал Янкель. Брови и плечи его поднялись вверх от изумления.

— Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово.

— Кому сказать слово?

— Ему, Остапу, сыну моему.

— Разве пан не слышал, что уже…

— Знаю, знаю все: за мою голову дают две тысячи червонных. Знают же, они, дурни, цену ей! Я тебе пять тысяч дам. Вот тебе две тысячи сейчас, — Бульба высыпал из кожаного гамана[107] две тысячи червонных, — а остальные — как ворочусь.

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы.

— Ай, славная монета! Ай, добрая монета! — говорил он, вертя один червонец в руках и пробуя на зубах. — Я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы, и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку, да и утонул там после таких славных червонцев.

— Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете; вы знаете все штуки; вот для чего я пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня!

— А пан думает, что так прямо взял кобылу, запряг, да и «эй, ну пошел, сивка!». Думает пан, что

---

[107] Примечания: 107

Гаман — кошелек, бумажник.

можно так, как есть, не спрятавши, везти пана?

— Ну, так прятай, прятай как знаешь; в порожнюю бочку, что ли?

— Ай, ай! А пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка?

— Ну, так и пусть думает, что горелка.

— Как пусть думает, что горелка? — сказал жид и схватил себя обеими руками за пейсики и потом поднял кверху обе руки.

— Ну, что же ты так оторопел?

— А пан разве не знает, что Бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал! Там всё лакомки, ласуны: шляхтич будет бежать верст пять за бочкой, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет порожнюю бочку; верно, тут есть что-нибудь. Схватить жида, связать жида, отобрать все деньги у жида, посадить в тюрьму жида!» Потому что все, что ни есть недоброго, все валится на жида; потому что жида всякий принимает за собаку; потому что думают, уж и не человек, коли жид.

— Ну, так положи меня в воз с рыбою!

— Не можно, пан; ей-богу, не можно. По всей Польше люди голодны теперь, как собаки: и рыбу раскрадут, и пана нащупают.

— Так вези меня хоть на черте, только вези!

— Слушай, слушай, пан! — сказал жид, посунувши обшлага рукавов своих и подходя к нему с растопыренными руками. — Вот что мы сделаем. Теперь строят везде крепости и замки; из Немет-чины приехали французские инженеры, а потому по дорогам везут много кирпичу и камней. Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпи-чом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, коли будет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.

— Делай как хочешь, только вези!

И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развевались из-под жидовского яломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади, длин-ный, как верста, поставленная на дороге.

XI

В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще ни-каких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог везти, что ему вздумалось.

Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большею частию для своего собственного удовольствия, особливо если на возу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы, со множеством протянутых из окон жердей, увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху ощекатуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимою для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки,

шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что только было у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид, с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он надеется доставить ему свидание.

Бульба вошел с тремя жидами в комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, — надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния; старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши.

— Слушайте, жиды! — сказал он, и в словах его было что-то восторженное. — Вы всё на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского; и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа! Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных, — я прибавляю еще двенадцать. Все, какие у меня есть, дорогие кубки и закопанное в земле золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь, с тем чтобы все, что ни добуду на войне, делить с вами пополам.

— О, не можно, любезный пан, не можно! — сказал со вздохом Янкель.

— Нет, не можно! — сказал другой жид.

Все три жида взглянули один на другого.

— А попробовать? — сказал третий, боязливо поглядывая на двух других, — может быть, Бог даст.

Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать; он слышал только часто произносимое слово «Мардохай», и больше ничего.

— Слушай, пан! — сказал Янкель, — нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У-у! то такой мудрый, как Соломон; и когда он ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает. Сиди тут; вот ключ, и не впускай никого!

Жиды вышли на улицу.

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно; к ним присоединился скоро четвертый, наконец, и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы; наконец в конце ее из-за одного дрянного дома показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтанья. «А, Мардохай, Мардохай!» — закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо

более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший настороже, должен был дать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился.

Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал: «Когда мы да Бог захочем сделать, то уже будет так, как нужно».

Тарас поглядел на этого Соломона, какого ещё не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие: верхняя губа у него была просто страшилище; толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона

было только пятнадцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна.

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб; он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

— Что? удачно? — спросил он их с нетерпением дикого коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под

яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто бы страдал простудою.

— О, любезный пан! — сказал Янкель, — теперь совсем не можно! Ей-богу, не можно! Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет. Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете; но Бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить.

Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева.

— А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь[108] обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья! Ой, вей мир! Что это за корыстный народ! И между нами таких нет: пятьдесят червонцев я дал каждому, а левентарю…

— Хорошо. Веди меня к нему! — произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его

---

[108] Примечания: 108

Левентарь — начальник охраны.

душу.

Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке для Бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтанье и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал; он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами по столу; он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля.

— Вставай, жид, и давай твою графскую одежду.

В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на темя маленькую темную шапочку, — и никто бы из самых близких к нему козаков не

мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкою в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная узкая башня, на верху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей: тут были и казармы, и тюрьмы, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал:

— Это мы; слышите, паны? это мы.

— Ступайте! — говорил один из них, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему

товарищу для принятия от него ударов.

Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху.

— Кто идет? — закричало несколько голосов; и Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении. — Нам никого не велено пускать.

— Это мы! — кричал Янкель. — Ей-богу, мы, ясные паны.

Но никто не хотел слушать. К счастию, в это время подошел какой-то толстяк, который по всем приметам казался начальником, потому что ругался сильнее всех.

— Пан, это ж мы, вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить.

— Пропустите, сто дьяблов чертовой матке! И больше никого не пускайте! Да саблей чтобы никто не скидал и не собачился на полу…

Продолжения красноречивого приказа уже не слышали наши путники.

— Это мы… это я… это свои! — говорил Янкель, встречаясь со всяким.

— А что, можно теперь? — спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался.

— Можно; только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой, — отвечал часовой.

— Ай, ай! — произнес тихо жид. — Это скверно, любезный пан!

— Веди! — произнес упрямо Тарас.

Жид повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему:

— Ваша ясновельможностъ! Ясновельможный пан!

— Ты, жид, это мне говоришь?

— Вам, ясновельможный пан!

— Гм… А я просто гайдук! — сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами.

— А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. Ай, ай, ай!.. — при этом жид покрутил головою и расставил пальцы. — Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник, совсем полковник! Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как

муха, да и пусть муштрует полки!

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились.

— Что за народ военный! — продолжал жид. — Ох, вей мир, что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки… Так от них блестит, как от солнца; а цурки[109], где только увидят военных… ай, ай!..

Жид опять покрутил головою.

Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание.

— Прошу пана оказать услугу! — произнес жид, — вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на козаков. Он еще сроду не видел, что это за народ козаки.

Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы: Московию и Украйну они почитали уже находящимися в Азии. И потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя.

— Я не знаю, ваша ясновельможностъ, — го-

---

[109] Примечания: 109

Цурки — девушки.

ворил он, — зачем вам хочется смотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает.

— Врешь ты, чертов сын! — сказал Бульба. — Сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретическую веру не уважают!

— Эге-ге! — сказал гайдук. — А я знаю, приятель, ты кто: ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших.

Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастию, Янкель в ту же минуту успел подвернуться.

— Ясновельможный пан! как же можно, чтобы граф да был козак? А если бы он был козак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский!

— Рассказывай себе!.. — И гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть.

— Ваше королевское величество! молчите, молчите, ради бога! — закричал Янкель. — Молчите! Мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели: мы дадим вам два золотых червонца.

— Эге! Два червонца! Два червонца мне нипочем: я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил. Сто

червонных давай, жид! — Тут гайдук закрутил верхние усы. — А как не дашь ста червонных, сейчас закричу!

— И на что бы так много! — горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой; но он счастлив был, что в его кошельке не было более и что гайдук далее ста не умел считать. — Пан, пан! уйдем скорее! Видите, какой тут нехороший народ! — сказал Янкель, заметивши, что гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более.

— Что ж ты, чертов гайдук, — сказал Бульба, — деньги взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать.

— Ступайте, ступайте к дьяволу! а не то я сию минуту дам знать, и вас тут… Уносите ноги, говорю я вам, скорее!

— Пан! пан! пойдем! Ей-богу, пойдем! Цур им! Пусть им приснится такое, что плевать нужно, — кричал бедный Янкель.

Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.

— И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бра-

нился! То уже такой народ, что не может не браниться! Ох, вей мир, какое счастие посылает бог людям! Сто червонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно, а никто не даст ста червонных. О, Боже мой! Боже милосердый!

Но неудача эта гораздо более имела влияния на Бульбу; она выражалась пожирающим пламенем в его глазах.

— Пойдем! — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись. — Пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить.

— Ой, пан! зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже.

— Пойдем! — упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали спро-

сонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мученье!» — кричали из них многие с истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь; однако же простаивали иногда довольное время. Иной, и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но бóльшая часть была таких, которые на весь мир и на все, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкою

своею, Юзысею, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка Юзыся, — говорил он, — весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, — то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив; а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством. Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами, сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, как белый сахар, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп, в блестящем убранстве, с откидными назад рукавами, разносил тут же разные напитки

и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлою ручкою своею пирожное и пледы, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла наподхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своею головою, в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощию длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем: перегнувши набок нос и поднявши лапу, он с своей стороны рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут… ведут!.. козаки!..»

Они шли с открытыми головами, с длинными чубами; бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою горделивостию; их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями; они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному

месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко:

— Дай же, Боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!

После этого он приблизился к эшафоту.

— Добре, сынку, добре! — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.

Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки, и… Не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Напрасно некоторые, немногие, бывшие исключениями из века, являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно король и многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение козацкой нации. Но власть короля и умных мнений была ничто перед беспорядком и дерзкой волею государственных магнатов, ко-

торые своею необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожною гордостью превратили сейм в сатиру на правление. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, — ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи, и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»

Но когда подвели его к последним смертным мукам, — казалось, как будто стала подаваться его сила. И повел он очами вокруг себя: боже, всё неведомые, всё чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и биющей себя в белые груди; хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи:

— Батько! где ты! Слышишь ли ты?

— Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул.

Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел как смерть, и, когда всадники немного отдалились от него, он со страхом оборотился назад, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возле него не было: его и след простыл.

XII

Отыскался след Тарасов. Сто двадцать тысяч козацкого войска показалось на границах Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, — поднялась отмстить за посмеянье прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинства чужеземных панов, за угнетенье, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле — за все, что копило и сугубило с давних времен суровую

ненависть козаков. Молодой, но сильный духом гетьман Остраница предводил всею несметною козацкою силою. Возле был виден престарелый, опытный товарищ его и советник, Гуня. Восемь полковников вели двенадцатитысячные полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчужный[110] ехали вслед за гетьманом. Генеральный хорунжий предводил главное знамя; много других хоругвей и знамен развевалось вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было других чинов полковых: обозных, войсковых товарищей, полковых писарей и с ними пеших и конных отрядов; почти столько же, сколько было рейстровых козаков, набралось охочекомонных и вольных. Отвсюду поднялись козаки: от Чигирина, от Переяслава, от Батурина, от Глухова, от низовой стороны днепровской и от всех его верховий и островов. Без счету кони и несметные таборы телег тянулись по полям. И между теми-то козаками, между теми восьмью полками отборнее всех был один полк, и полком тем предводил Тарас Бульба. Все давало ему перевес пред другими: и преклонные лета, и опытность, и уменье двигать своим войском,

[110] Примечания: 110

Генеральный бунчужный — хранитель бунчука, жезла — знака гетманской власти.

и сильнейшая всех ненависть к врагам. Даже самим козакам казалась чрезмерною его беспощадная свирепость и жестокость. Только огонь да виселицу определяла седая голова его, и совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением.

Нечего описывать всех битв, где показали себя козаки, ни всего постепенного хода кампании: все это внесено в летописные страницы. Известно, какова в Русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря. Из самой средины морского дна возносит она к небесам непроломные свои стены, вся созданная из одного цельного, сплошного камня. Отвсюду видна она и глядит прямо в очи мимобегущим волнам. И горе кораблю, который нанесется на нее! В щепы летят бессильные его снасти, тонет и ломится в прах все, что ни есть на них, и жалким криком погибающих оглашается пораженный воздух.

В летописных страницах изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов; как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды; как слаб был коронный гетьман Николай Потоцкий с многочисленною

своею армиею против этой непреодолимой силы; как, разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска; как облегли его в небольшом местечке Полонном грозные козацкие полки и как, приведенный в крайность, польский гетьман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ. Но не такие были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкий не красовался бы больше на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных панн и зависть дворянства, не шумел бы на сеймах, задавая роскошные пиры сенаторам, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Когда вышли навстречу все попы в светлых золотых ризах, неся иконы и кресты, и впереди сам архиерей с крестом в руке и в пастырской митре, преклонили козаки все свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже самого короля, но против своей церкви христианской не посмели и уважили свое духовенство. Согласился гетьман вместе с полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него клятвенную присягу оставить на свободе все

христианские церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воинству. Один только полковник не согласился на такой мир. Тот один был Тарас. Вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул:

— Эй, гетьман и полковники! не сделайте такого бабьего дела! не верьте ляхам: продадут псяюхи!

Когда же полковой писарь подал условие и гетьман приложил свою властную руку, он снял с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил ее надвое, как трость, и кинул врозь, далеко в разные стороны оба конца, сказав:

— Прощайте же! Как двум концам сего палаша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете. Помяните же прощальное мое слово (при сем слове голос его вырос, подымался выше, принял неведомую силу, — и смутились все от пророческих слов): перед смертным часом своим вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствие и мир; думаете, пановать станете? Будете пановать другим панованьем: сдерут с твоей головы, гетьман, кожу, набьют ее гречаною половою, и долго будут видеть ее по всем

ярмаркам! Не удержите и вы, паны, голов своих! Пропадете в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если вас, как баранов, не сварят всех живыми в котлах!

— А вы, хлопцы! — продолжал он, оборотившись к своим, — кто из вас хочет умирать своею смертью — не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у шинка, подобно всякой падали, а честной, козацкой смертью — всем на одной постеле, как жених с невестою? Или, может быть, хотите воротиться домой, да оборотиться в недоверков, да возить на своих спинах польских ксендзов?

— За тобою, пане полковнику! За тобою! — вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку; и к ним перебежало немало других.

— А коли за мною, так за мною же! — сказал Тарас, надвинул глубже на голову себе шапку, грозно взглянул на всех остававшихся, оправился на коне своем и крикнул своим: — Не попрекнет же никто нас обидной речью! А ну, гайда, хлопцы, в гости к католикам!

И вслед за тем ударил он по коню, и потянулся за ним табор из ста телег, и с ними много было козацких конников и пехоты, и, оборотясь, грозил взором всем остававшимся, и гневен был взор

его. Никто не посмел остановить их. В виду всего воинства уходил полк, и долго еще оборачивался Тарас и все грозил.

Смутны стояли гетьман и полковники, задумались все и молчали долго, как будто теснимые каким-то тяжелым предвестием. Недаром провещал Тарас: так все и сбылось, как он провещал. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневом, вздернута была голова гетьмана на кол вместе со многими из первейших сановников.

А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать местечек, близ сорока костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие земли и лучшие замки; распечатали и поразливали по земле козаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах; изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жалейте!» — повторял только Тарас. Не уважали козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые

жалкими криками, от которых подвигнулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя. «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» — приговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами от всех преследований; едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали козаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения; неутомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную развалившуюся крепость.

Над самой кручей у Днестра-реки виднелась она своим оборванным валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут-то, с двух сторон, прилеглых к полю, обступил его коронный гетьман Потоцкий. Четыре дни би-

лись и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и каменьями. Но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях, и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, и заплакал дебелый старый козак. Но не старость была виною: сила одолела силу. Мало не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам. «Попалась ворона! — кричали ляхи. — Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собаке, лучшую честь воздать». И присудили, с гетьманского разрешенья, сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло нагое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв

его повыше, чтобы отовсюду был виден козак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались козаки: ему с высоты все было видно как на ладони.

— Занимайте, хлопцы, занимайте скорее, — кричал он, — горку, что за лесом: туда не подступят они!

Но ветер не донес его слов.

— Вот, пропадут, пропадут ни за что! — говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса и зычно закричал:

— К берегу! к берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что налево. У берега стоят челны, все забирайте, чтобы не было погони!

На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны козаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переворотил все в глазах его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а уж погоня за плечами. Видят: путается и загибается дорожка и много дает в сторону извивов. «А, товарищи! не куды пошло!» — сказали

все, остановились на миг, подняли свои нагайки, свистнули — и татарские их кони, отделившись от земли, распластавшись в воздухе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Двое только не достали до реки, грянулись с вышины об каменья, пропали там навеки с конями, даже не успевши издать крика. А козаки уже плыли с конями в реке и отвязывали челны. Остановились ляхи над пропастью, дивясь неслыханному козацкому делу и думая: прыгать ли им или нет? Один молодой полковник, живая, горячая кровь, родной брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия, не подумал долго и бросился со всех сил с конем за козаками: перевернулся три раза в воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые утесы. В куски изорвали его острые камни, пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты.

Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже козаки были на челнах и гребли веслами; пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана.

— Прощайте, товарищи! — кричал он им сверху. — Вспоминайте меня и будущей же весной

прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!..

А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву… Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест; блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях. Козаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минали отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана.

Часть вторая
Вий[111]

Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот Братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы[112], с тетрадями под мышкой, брели в класс. Грамматики были еще очень малы; идя, толкали друг друга и бранились между собою самым тоненьким дискантом; они были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякою дрянью; как то: бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один, вдруг чиликнув

---

[111] Примечания: 111

Вий — есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. *(Прим. Н. В. Гоголя.)*

[112] Примечания: 112

Грамматики и риторы — в духовных семинариях так называли учеников младших классов; *философы и богословы* — ученики старших классов.

среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали[113] в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее: платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа: или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета; эти говорили и божились между собою тенором. Философы целою октавою брали ниже: в карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких и все, что попадалось, съедали тогда же; от них слышалась трубка и горелка иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго еще, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух.

Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали наподхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи.

— Паничи! паничи! сюды! сюды! — говорили

---

[113] Примечания: 113

Пали — семинарское выражение: удар линейкой по рукам.

они со всех сторон. — Ось бублики, маковники, вертычки, буханци хороши! ей-богу, хороши! на меду! сама пекла!

Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала:

— Ось сусулька! паничи, купите сусульку!

— Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная — и нос нехороший, и руки нечистые…

Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и притом целою горстью.

По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно, однако же, просторных комнатах с небольшими окнами, с широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосными жужжаниями: авдиторы[114] выслушивали своих учеников; звонкий дискант грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком; в углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать, по

[114] Примечания: 114

Авдиторы — ученики старших классов, которым доверялась проверка знаний учеников младших классов.

крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали: бу, бу, бу, бу… Авдиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка, или вареник, или семена из тыкв.

Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда, со всеобщего согласия, замышляли бой, и в этом бою должны были участвовать все, даже и цензора, обязанные смотреть за порядком и нравственностию всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить битве: каждый ли класс должен стоять за себя особенно или все должны разделиться на две половины: на бурсу и семинарию. Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех, и как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а наконец и богословия, в ужасных шароварах и с претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословия побивала всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то

сам в подобных боях, в одну минуту, по разгоревшимся лицам своих слушателей, узнавал, что бой был недурен, и в то время, когда он сек розгами по пальцам риторику, в другом классе другой профессор отделывал деревянными лопатками по рукам философию. С богословами же было поступаемо совершенно другим образом: им, по выражению профессора богословия, отсыпалось по мерке *крупного гороху*, что состояло в коротеньких кожаных канчуках[115].

В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами[116]. Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов, ростом мало чем пониже киевской колокольни, представлявший Иродиаду или Пентефрию, супругу египетского царедворца. В награду получали они кусок полотна, или мешок проса, или половину вареного гуся и тому подобное.

Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом

---

[115] Примечания: 115
Канчук — плеть.

[116] Примечания: 116
Вертеп — старинный кукольный театр.

необыкновенно прожорлив; так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерею галушек, было бы совершенно невозможное дело; и потому доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов под предводительством одного философа, — а иногда присоединялся и сам, — с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день авдиторы слышали от них вместо одного два урока: один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурса и семинария носили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшихся *по сие время:* слово техническое, означавшее — далее пяток.

Самое торжественное для семинарии событие было вакансии — время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись *на кондиции,* то есть брались учить или приготовлять детей

людей зажиточных, и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором; варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собою мешок, в котором находилась одна рубашка и пара онуч. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Как только завидывали в стороне хутор, тотчас сворачали с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенной поопрятнее других, становились перед окнами в ряд и во весь рот начинали петь кант[117]. Хозяин хаты, какой-нибудь старый козак-поселянин, долго их слушал, подпершись обеими руками, потом рыдал прегорько и говорил, обращаясь к своей жене: «Жинко! то, что поют школяры, должно быть очень разумное; вынеси им сала и что-нибудь такого, что у нас есть!» И целая миска варенников валилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько паляниц[118], а иногда и связан-

[117] Примечания: 117
Канты — духовные песни.

[118] Примечания: 118
Паляница — пшеничный хлеб.

ная курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем более уменьшалась толпа их. Все почти разбродились по домам, и оставались те, которые имели родительские гнезда далее других.

Один раз во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону, с тем чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были: богослов Халява, философ Хома Брут и ритор Тиберий Горобець.

Богослов был рослый, плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав: все, что ни лежало, бывало, возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, и когда напивался он пьян, то прятался в бурьяне, и семинарии стоило большого труда его сыскать там.

Философ Хома Брут был нрава веселого. Любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака. Он часто пробовал *крупного гороху*, но совершенно с философическим равнодушием, — говоря, что чему быть, того не миновать.

Ритор Тиберий Горобець еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он носил только оселедец[119], и потому характер его в то время еще мало развился; но, судя по большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов Халява и философ Хома часто дирали его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата.

Был уже вечер, когда они своротили с большой дороги. Солнце только что село, и дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря люльки; ритор Тиберий Горобець сбивал палкою головки с будяков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. Отлогости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся в двух местах нива с вызревавшим житом давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем

[119] Примечания: 119

Оселедец — так называли длинный клок волос на голове, заматываемый за ухо.

омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния.

— Что за черт! — сказал философ Хома Брут, — сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор.

Богослов помолчал, поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали путь.

— Ей-богу! — сказал, опять остановившись, философ. — Ни чертова кулака не видно.

— А может быть, далее и попадется какой-нибудь хутор, — сказал богослов, не выпуская люльки.

Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге.

Философ, пошаривши ногами во все стороны, сказал наконец отрывисто:

— А где же дорога?

Богослов помолчал и, надумавшись, примолвил:

— Да, ночь темная.

Ритор отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в

лисьи норы. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники еще сделали усилие пройти несколько вперед, но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой.

— Вишь, что тут делать? — сказал философ.

— А что? оставаться и заночевать в поле! — сказал богослов и полез в карман достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунта четыре сала и чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков.

— Нет, Халява, не можно, — сказал он. — Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаке? Попробуем еще; может быть, набредем на какое-нибудь жилье и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь.

При слове «горелка» богослов сплюнул в сторону и примолвил:

— Оно конечно, в поле оставаться нечего.

Бурсаки пошли вперед, и, к величайшей радости их, в отдалении почудился лай. Прислушавшись, с которой стороны, они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек.

— Хутор! ей-богу, хутор! — сказал философ.

Предположения его не обманули: через несколько времени они увидели, точно, небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных дерев торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими возами. Звезды кое-где глянули в это время на небе.

— Смотрите же, братцы, не отставать! во что бы то ни было, а добыть ночлега!

Три ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали:

— Отвори!

Дверь в одной хате заскрипела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном тулупе.

— Кто там? — закричала она, глухо кашляя.

— Пусти, бабуся, переночевать. Сбились с дороги. Так в поле скверно, как в голодном брюхе.

— А что вы за народ?

— Да народ необидчивый: богослов Халява, философ Брут и ритор Горобець.

— Не можно, — проворчала старуха, — у меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куды я вас дену? Да еще всё какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли! пошли! Тут вам нет места.

— Умилосердись, бабуся! Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что ни про что? Где хочешь помести нас. И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, — то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает. Вот что!

Старуха, казалось, немного смягчилась.

— Хорошо, — сказала она, как бы размышляя, — я впущу вас; только положу всех в разных местах: а то у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать вместе.

— На то твоя воля; не будем прекословить, — отвечали бурсаки.

Ворота заскрипели, и они вошли во двор.

— А что, бабуся, — сказал философ, идя за старухой, — если бы так, как говорят… ей-богу, в

животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту.

— Вишь, чего захотел! — сказала старуха. — Нет у меня, нет ничего такого, и печь не топилась сегодня.

— А мы бы уже за все это, — продолжал философ, — расплатились бы завтра как следует — чистоганом. Да, — продолжал он тихо, — черта с два получишь ты что-нибудь!

— Ступайте, ступайте! и будьте довольны тем, что дают вам. Вот черт принес каких нежных паничей!

Философ Хома пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал преогромный рыбий хвост: богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. И так как он это производил не из какой-нибудь корысти, но единственно по привычке, и, позабывши совершенно о своем карасе, уже разглядывал, что бы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса, — то философ Хома запустил руку в его карман, как в свой собственный, и вытащил карася.

Старуха разместила бурсаков: ритора положила в хате, богослова заперла в пустую комору, философу отвела тоже пустой овечий хлев.

Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду просунувшуюся из другого хлева любопытную свинью и поворотился на другой бок, чтобы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев.

— А что, бабуся, чего тебе нужно? — сказал философ.

Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками.

«Эге-ге! — подумал философ. — Только нет, голубушка! устарела». Он отодвинулся немного подальше, но старуха, без церемонии, опять подошла к нему.

— Слушай, бабуся! — сказал философ, — теперь пост; а я такой человек, что и за тысячу золотых не захочу оскоромиться.

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова.

Философу сделалось страшно, особливо когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском.

— Бабуся! что ты? Ступай, ступай себе с Богом! — закричал он.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.

Он вскочил на ноги, с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему.

Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги; но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам в себе: «Эге, да это ведьма».

Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми,

сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось, — и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде…

Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит, и вьется, и подступает, и вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью…

«Что это?» — думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятия против духов — и вдруг почувствовал какое-то освежение; чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма

как-то слабее держалась на спине его. Густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе.

«Хорошо же!» — подумал про себя философ Хома и начал почти вслух произносить заклятия. Наконец с быстротою молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил, в свою очередь, к ней на спину. Старуха мелким, дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были гладки, но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу; и невольно мелькнула в голове мысль: точно ли это старуха? «Ох, не могу больше!» — произнесла она в изнеможении и упала на землю.

Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица, с растрепанною роскошною косою, с длинными,

как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез.

Затрепетал, как древесный лист, Хома: жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им; он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное, новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии.

Бурсаков почти никого не было в городе: все разбрелись по хуторам, или на кондиции, или просто без всяких кондиций, потому что по хуторам малороссийским можно есть галушки, сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста, и сколько философ ни шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и западни в крыше, но нигде не отыскал ни куска сала или, по крайней мере, старого книша[120], что, по обыкновению, запрятываемо было бурсаками.

---

[120] Примечания: 120

Книш — печеный хлеб из пшеничной муки.

Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю: он прошел, посвистывая, раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какою-то молодою вдовою в желтом очипке[121], продававшею ленты, ружейную дробь и колеса, — и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицею… и, словом, перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике среди вишневого садика. Того же самого вечера видели философа в корчме: он лежал на лавке, покуривая, по обыкновению своему, люльку, и при всех бросил жиду-корчмарю ползолотой. Перед ним стояла кружка. Он глядел на приходивших и уходивших хладнокровно-довольными глазами и вовсе уже не думал о своем необыкновенном происшествии.

Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в пятидесяти верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добресть до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и

---

[121] Примечания: 121
Очипок — род чепца.

молитвы в продолжение трех дней после смерти читал один из киевских семинаристов: Хома Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, что именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возок.

Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам не зная почему, объявил он напрямик, что не поедет.

— Послушай, domine[122] Хома! — сказал ректор (он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо с своими подчиненными), — тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню не нужно будет ходить.

Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В разду-

---

[122] Примечания: 122
Dominus — господин *(лат).*

мье сходил он с крутой лестницы, приводившей на двор, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голос ректора, дававшего приказания своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника.

— Благодари пана за крупу и яйца, — говорил ректор, — и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы: здесь на базарах и нехороша и дорога. А ты, Явтух, дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет.

«Вишь, чертов сын! — подумал про себя философ, — пронюхал, длинноногий вьюн!»

Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебный овин на колесах. В самом деле, она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в каком жиды полсотнею отправляются вместе с товарами во все города, где только слышит их нос ярмарку. Его ожидало человек шесть здоровых и крепких

козаков, уже несколько пожилых. Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без славы.

«Что ж делать? Чему быть, тому не миновать!» — подумал про себя философ и, обратившись к козакам, произнес громко:

— Здравствуйте, братья-товарищи!

— Будь здоров, пан философ! — отвечали некоторые из козаков.

— Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами? А брика знатная! — продолжал он, влезая. — Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно.

— Да, соразмерный экипаж! — сказал один из козаков, садясь на облучок сам-друг с кучером, завязавшим голову тряпицею вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие пять вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разною закупкою, сделанною в городе.

— Любопытно бы знать, — сказал философ, — если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром — положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы

тогда коней?

— Да, — сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, — достаточное бы число потребовалось коней.

После такого удовлетворительного ответа козак почитал себя вправе молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее: кто таков был этот сотник, каков его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти и которой история связалась теперь с его собственною, как у них и что делается в доме? Он обращался к ним с вопросами; но козаки, верно, были тоже философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлах вознице с коротеньким приказанием: «Смотри, Оверко, ты старый разиня; как будешь подъезжать к шинку, что на Чухрайловской дороге, то не позабудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть». После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приближилась исполинская брика к шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закри-

чали: «Стой!» Притом лошади Оверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где жид-корчмарь с знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Жид принес под полою несколько колбас из свинины и, положивши на стол, тотчас отворотился от этого запрещенного Талмудом плода. Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки показались пред каждым из гостей. Философ Хома должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями: «А ну, Спирид, почеломкаемся!» — «Иди сюда, Дорош, я обниму тебя!»

Один козак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивши руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери и что он остался одним-один на свете. Другой был большой резонер и беспрестанно утешал его, говоря: «Не плачь, ей-богу не плачь! что ж тут… уж бог знает как и что такое». Один, по имени Дорош, сделался чрезвычайно любопытен и, оборотившись к философу Хоме, беспрестанно

спрашивал его:

— Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат: тому ли самому, что и дьяк читает в церкви, или чему другому?

— Не спрашивай! — говорил протяжно резонер, — пусть его там будет, как было. Бог уж знает, как нужно; Бог все знает.

— Нет, я хочу знать, — говорил Дорош, — что там написано в тех книжках. Может быть, совсем другое, чем у дьяка.

— О, боже мой, боже мой! — говорил этот почтенный наставник. — И на что такое говорить? Так уж воля Божия положила. Уже что Бог дал, того не можно переменить.

— Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду в бурсу, ей-богу, пойду! Что ты думаешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему!

— О, боже ж мой, боже мой!.. — говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах.

Прочие козаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц.

Философ Хома, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому козаку, грустив-

шему об отце и матери:

— Что ж ты, дядько, расплакался, — сказал он, — я сам сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На что я вам!

— Пустим его на волю! — отозвались некоторые. — Ведь он сирота. Пусть себе идет, куда хочет.

— О, боже ж мой, боже мой! — произнес утешитель, подняв свою голову. — Отпустите его! Пусть идет себе!

И козаки уже хотели сами вывесть его в чистое поле, но тот, который показал свое любопытство, остановил их, сказавши:

— Не трогайте: я хочу с ним поговорить о бурсе. Я сам пойду в бурсу…

Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными и дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую.

Только ввечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмостившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесивши большую

половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они наконец спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол, или плетень, с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они взъехали, в сопровождении собачьего лая, на двор. С обеих сторон были заметны крытые соломою сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы; но как он ни пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде: вместо дома представлялся ему медведь; из трубы делался ректор. Философ махнул рукою и пошел спать.

Когда проснулся философ, то весь дом был в движении: в ночь умерла панночка. Слуги бегали впопыхах взад и вперед. Старухи некоторые плакали. Толпа любопытных глядела сквозь забор

на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть.

Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломою. Маленький, острый и высокий фронтон с окошком, похожим на поднятый кверху глаз, был весь измалеван голубыми и желтыми цветами и красными полумесяцами. Он был утвержден на дубовых столбиках, до половины круглых и снизу шестигранных, с вычурною обточкою вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам. С боков дома были навесы на таких же столбиках, инде[123] витых. Высокая груша с пирамидальною верхушкою и трепещущими листьями зеленела перед домом. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя род широкой улицы, ведшей к дому. За амбарами, к самым воротам, стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькою дверью и размалевана

[123] Примечания: 123
Инде — кое-где.

разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке козак, державший над головою кружку с надписью: «Все выпью». На другой фляжка, сулеи и по сторонам, для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны и надпись: «Вино — козацкая потеха». Из чердака одного из сараев выглядывал сквозь огромное слуховое окно барабан и медные трубы. У ворот стояли две пушки. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады; и сквозь верхушки дерев видны были одни только темные шляпки труб, скрывавшихся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты; над одною из них раскидывала ветви широкая яблоня, подпертая у

корня небольшими кольями с насыпною землей. Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины вилась по всей горе дорога и, опустившись, шла мимо двора в селенье. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у козаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикою и багажом. Философ стоял на высшем в дворе месте, и когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство; яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более нежели на двадцать верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметною вдали полосою горел и темнел Днепр.

— Эх, славное место! — сказал философ. — Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и крольшнепами! Впрочем, я думаю, и дроф немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить

и продать в город множество или, еще лучше, выкурить из них водку; потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится. Да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда.

Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком, промеж хат, да и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку.

Позади его стоял тот самый старый козак, который вчера так горько соболезновал в смерти отца и матери и о своем одиночестве.

— Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора! — говорил он. — Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать; да и дороги для пешехода плохи. А ступай лучше к пану: он ожидает тебя давно в светлице.

— Пойдем! Что ж… Я с удовольствием, — сказал философ и отправился вслед за козаком.

Сотник, уже престарелый, с седыми усами и с выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперши обеими руками голову. Ему было около пятидесяти лет; но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показыва-

ли, что душа его была убита и разрушена вдруг, в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезла навеки. Когда взошел Хома вместе с старым козаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон.

Хома и козак почтительно остановились у дверей.

— Кто ты, и откудова, и какого звания, добрый человек? — сказал сотник ни ласково, ни сурово.

— Из бурсаков, философ Хома Брут.

— А кто был твой отец?

— Не знаю, вельможный пан.

— А мать твоя?

— И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать; но кто она, и откуда, и когда жила — ей-богу, добродию, не знаю.

Сотник помолчал и, казалось, минуту оставался в задумчивости.

— Как же ты познакомился с моею дочкою?

— Не знакомился, вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с панночками не имел, сколько ни живу на свете. Цур им, чтобы не сказать непристойного.

— Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?

Философ пожал плечами:

— Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что панам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет; и пословица говорит: «Скачи, враже, як пан каже!»

— Да не врешь ли ты, пан философ?

— Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу.

— Если бы только минуточкой долее прожила ты, — грустно сказал сотник, — то, верно бы, я узнал все. «Никому не давай читать по мне, но пошли, тату, сей же час в Киевскую семинарию и привези бурсака Хому Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей. Он знает…» А что такое знает, я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человек, верно, известен святою жизнию своею и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе.

— Кто? я? — сказал бурсак, отступивши от изумления. — Я святой жизни? — произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику. — Бог с вами, пан! Что вы это говорите! да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого Страстного четверга.

— Ну… верно, уже недаром так назначено. Ты

должен с сего же дня начать свое дело.

— Я бы сказал на это вашей милости… оно, конечно, всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может по соразмерности… только сюда приличнее бы требовалось дьякона или, по крайней мере, дьяка. Они народ толковый и знают, как все это уже делается, а я… Да у меня и голос не такой, и сам я — черт знает что. Никакого виду с меня нет.

— Уж как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты с сего дня три ночи совершишь, как следует, над нею молитвы, то я награжу тебя; а не то — и самому черту не советую рассердить меня.

Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение.

— Ступай за мною! — сказал сотник.

Они вышли в сени. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую насупротив первой. Философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был устлан красной китайкой. В углу, под образами, на высоком столе лежало тело умершей, на одеяле из

синего бархата, убранном золотою бахромою и кистями. Высокие восковые свечи, увитые калиною, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который сидел перед нею, обращенный спиною к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал:

— Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, что ты во цвете лет своих, не дожив положенного века, на печаль и горесть мне, оставила землю. Я о том жалею, моя голубонька, что не знаю того, кто был, лютый враг мой, причиною твоей смерти. И если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказал что-нибудь неприятное о тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей, если только он так же стар, как и я; ни своего отца и матери, если только он еще на поре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка[124], моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие из старых очей моих, тогда как враг

---

[124] Примечания: 124
Нагидочка — цветок.

мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем…

Он остановился, и причиною этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потопом слез.

Философ был тронут такою безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое крехтание, желая очистить им немного свой голос.

Сотник оборотился и указал ему место в головах умершей, перед небольшим налоем, на котором лежали книги.

«Три ночи как-нибудь отработаю, — подумал философ, — зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами».

Он приблизился и, еще раз откашлявшись, принялся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую и…

Трепет пробежал по его жилам: пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело, прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило;

брови — ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; уста — рубины, готовые усмехнуться… Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее.

— Ведьма! — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы.

Это была та самая ведьма, которую убил он.

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже

не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине, против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедши в кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевши мертвеца.

Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Кухня в сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что ни обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаем и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в козацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на печке — одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежанья. Притом

всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем: и о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонмотистов[125], в которых между малороссиянами нет недостатка.

Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очипке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку, иные, за неимением, деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее и волчий голод всего этого собрания немного утишился, многие начали разговаривать. Разговор, натурально, должен был

---

[125] Примечания: 125

Бонмотист (от *фр.* bon mot — острота) — остряк.

обратиться к умершей.

— Правда ли, — сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торговки, — правда ли, что панночка, не тем будь помянута, зналась с нечистым?

— Кто? панночка? — сказал Дорош, уже знакомый прежде нашему философу. — Да она была целая ведьма! Я присягну, что ведьма!

— Полно, полно, Дорош! — сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать. — Это не наше дело; бог с ним. Нечего об этом толковать.

Но Дорош вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку.

— Что ты хочешь? Чтобы я молчал? — сказал он. — Да она на мне самом ездила! Ей-богу, ездила!

— А что, дядько, — сказал молодой овчар с пуговицами, — можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?

— Нельзя, — отвечал Дорош. — Никак не узнаешь; хоть все псалтыри перечитай, то не узнаешь.

— Можно, можно, Дорош. Не говори этого, — произнес прежний утешитель. — Уже Бог недаром дал всякому особый обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик.

— Когда стара баба, то и ведьма, — сказал хладнокровно седой козак.

— О, уж хороши и вы! — подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок, — настоящие толстые кабаны.

Старый козак, которого имя было Явтух, а прозвание Ковтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху; а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставши один против другого, замычали разом.

Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую сотникову дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю, обратился к соседу своему с такими словами:

— Я хотел спросить, почему все это сословие,

что сидит за ужином, считает панночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь?

— Было всякого, — отвечал один из сидевших, с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату.

— А кто не припомнит псаря Микиту, или того…

— А что ж такое псарь Микита? — сказал философ.

— Стой! я расскажу про псаря Микиту, — сказал Дорош.

— Я расскажу про Микиту, — отвечал табунщик, — потому что он был мой кум.

— Я расскажу про Микиту, — сказал Спирид.

— Пускай, пускай Спирид расскажет! — закричала толпа.

Спирид начал:

— Ты, пан философ Хома, не знал Микиты. Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметки ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него — дрянь, помои.

— Ты хорошо рассказываешь, хорошо! — сказал Дорош, одобрительно кивнув головою.

Спирид продолжал:

— Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистнет: «А ну, Разбой! а ну, Быстрая!» — а сам на коне во всю прыть, — и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит: он ли собаку или собака его. Сивухи кварту свиснет вдруг, как бы не бывало. Славный был псарь! Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вклепался ли он точно в нее или уже она так его околдовала, только пропал человек, обабился совсем; сделался черт знает что; пфу! непристойно и сказать.

— Хорошо, — сказал Дорош.

— Как только панночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает, Разбоя зовет Бровкой, спотыкается и невесть что делает. Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня. Дай говорит, Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать; только во-

ротился едва живой, и с той поры иссохнул весь, как щепка; и когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро: сгорел совсем; сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти.

Когда Спирид окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря.

— А про Шепчиху ты не слышал? — сказал Дорош, обращаясь к Хоме.

— Нет.

— Эге-ге-ге! Так у вас, в бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, слушай! У нас есть на селе козак Шептун. Хороший козак! Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но… хороший козак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерять, Шептун с жинкою, окончивши вечерю, легли спать, а так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке; или нет: Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе…

— И не на лавке, а на полу легла Шепчиха, — подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.

Дорош поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал:

— Когда скину с тебя при всех исподницу, то

нехорошо будет.

Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи.

Дорош продолжал:

— А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась; ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось-либо перестанет выть, — и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка. Да притом пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала, — это бы еще ничего; но вот вещь и обстоятельство: что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала: «Ох, лишечко!» — да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак; сидит и дрожит, глупая баба, а потом видит, что панночка к ней идет и на чердак; кинулась на нее и

начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают! Оно хоть и панского помету, да всё когда ведьма, то ведьма.

После такого рассказа Дорош самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты; у другого украла шапку или трубку; у многих девок на селе отрезала косу; у других выпила по нескольку ведер крови.

Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора.

— А ну, пан Хома! теперь и нам пора идти к покойнице, — сказал седой козак, обратившись к философу, и все четверо, в том числе Спирид и Дорош, отправились в церковь, стегая кнутами собак, которых на улице было великое множество и которые со злости грызли их палки.

Философ, несмотря на то что успел подкрепить себя доброю кружкою горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освещенной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть; место становилось обнаженнее. Они вступили наконец за ветхую церковную ограду в небольшой дворик, за которым не было ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощенные ночным мраком луга. Три козака взошли вместе с Хомою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь, по приказанию пана.

Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и наконец уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость; сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном

месте опала, в другом вовсе почернела; лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся.

— Что ж, — сказал он, — чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего! — повторил он, махнув рукою, — будем читать!

Подходя к крылосу, увидел он несколько связок свечей.

«Это хорошо, — подумал философ, — нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить!»

И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалея их нимало, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз.

Такая страшная, сверкающая красота!

Он отворотился и хотел отойти; но по стран-

ному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови.

Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Одиноко, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу.

«Чего бояться? — думал он между тем сам про себя. Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит! Да и что я за козак, когда бы устрашился? Ну, выпил

лишнее — оттого и показывается страшно. А понюхать табаку: эх, добрый табак! Славный табак! Хороший табак!»

Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот, вот встанет! вот поднимется, вот выглянет из гроба!»

Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освещенная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей!

Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни. Но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос: «Что, если подымется, если встанет она?»

Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу! Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол.

«Ну, если подымется?..»

Она приподняла голову…

Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел

глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала… идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.

Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов.

Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но, не видя ничего, с бешенством — что выразило ее задрожавшее лицо — обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столп и угол, стараясь поймать Хому. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб.

Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он

не мог зацепить круга, им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на средине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою.

Сердце у философа билось, и пот катился градом; но, ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой Явтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты.

Пришедши на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечания и съел почти один довольно старого поросенка; но, однако же, о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству и на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа с своей трубкой в

зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрерывно поплевывал в сторону.

После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми; из двух хат его даже выгнали; одна смазливая молодка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли — род кеглей, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересною для зрителей: часто погонщик, широкий, как блин, влезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и Дорош, вскочивши на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно сурьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида. Хома напрасно старался вмешаться в эту игру: какая-то

темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшеюся по небу.

— А ну, пора нам, пан бурсак! — сказал ему знакомый седой козак, подымаясь с места вместе с Дорошем. — Пойдем на работу.

Хому опять таким же самым образом отвели в церковь; опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви.

— Что же, — произнес он, — теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого разу только страшно. Да! оно только с первого разу немного страшно, а там оно уже не страшно; оно уже совсем не страшно.

Он поспешно стал на крылос, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, роб-

ко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло.

Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятья и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова; хрипло всхлипывали они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинания.

Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали с визгом когтями по железу и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце; зажмурив глаза, всё читал он заклятья и молитвы. Наконец вдруг что-то засвистало вдали: это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился

и отдохнул духом.

Вошедшие сменить философа нашли его едва жива. Он оперся спиною в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его козаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панский двор, он встряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпивши ее, он пригладил на голове своей волосы и сказал:

— Много на свете всякой дряни водится! А страхи такие случаются — ну… — При этом философ махнул рукою.

Собравшийся возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. Даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала вправе уполномочивать вместо себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный мальчишка тоже разинул рот.

В это время проходила мимо еще не совсем пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске, выказывавшей ее круглый и крепкий стан, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришпилить к своему очипку: или кусок ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.

— Здравствуй, Хома! — сказала она, увидев философа. — Ай-ай-ай! что это с тобою? — вскричала она, всплеснув руками.

— Как что, глупая баба?

— Ах, боже мой! Да ты весь поседел!

— Эге-ге! Да она правду говорит! — произнес Спирид, всматриваясь в него пристально. — Ты точно поседел, как наш старый Явтух.

Философ, услышавши это, побежал опрометью в кухню, где он заметил прилепленный к стене, обпачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым были натыканы незабудки, барвинки и даже гирлянда из нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов: половина волос его, точно, побелела.

Повесил голову Хома Брут и предался размышлению.

— Пойду к пану, — сказал он наконец, — расскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев.

В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома.

Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице; та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранялась в

нем и доныне. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность.

— Здравствуй, небоже[126], — произнес он, увидев Хому, остановившегося с шапкою в руках у дверей. — Что, как идет у тебя? Все благополучно?

— Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несут.

— Как так?

— Да ваша, пан, дочка… По здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду; в том никто не станет прекословить, только не во гнев будь сказано, упокой Бог ее душу…

— Что же дочка?

— Припустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое Писание не учитывается.

— Читай, читай! Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.

---

[126] Примечания: 126
Небоже — бедняга.

— Власть ваша, пан: ей-богу, невмоготу!

— Читай, читай! — продолжал тем же увещательным голосом сотник. — Тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя.

— Да какие бы ни были награды… Как ты себе хочь, пан, а я не буду читать! — произнес Хома решительно.

— Слушай, философ! — сказал сотник, и голос его сделался крепок и грозен, — я не люблю этих выдумок. Ты можешь это делать в вашей бурсе. А у меня не так: я уже как отдеру, так не то что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные канчуки?

— Как не знать! — сказал философ, понизив голос. — Всякому известно, что такое кожаные канчуки: при большом количестве вещь нестерпимая.

— Да. Только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить! — сказал сотник грозно, подымаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирепое выражение, обнаружившее весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью. — У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять. Ступай, ступай! исправляй свое дело! Не исправишь — не

встанешь; а исправишь — тысяча червонных!

«Ого-го! да это хват! — подумал философ, выходя. — С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель: я так навострю лыжи, что ты с своими собаками не угонишься за мною».

И Хома положил непременно бежать. Он выжидал только послеобеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараями и, открывши рот, испускать такой храп и свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику. Это время наконец настало. Даже и Явтух зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда, ему казалось, удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад, по обыкновению, был страшно запущен и, стало быть, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал, как будто сетью, вершину всего этого пестрого собрания дерев и кустарников и составлял над ними крышу, напялившуюся на

плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границею сада, шел целый лес бурьяна, в который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы вдребезги, если бы захотела коснуться лезвеем своим одеревеневших толстых стеблей его.

Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала к земле, как будто ее кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, ему казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос: «Куда, куда?» Философ юркнул в бурьян и пустился бежать, беспрестанно оступаясь о старые корни и давя ногами своими кротов. Он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которьм чернел густой терновник, где он считал себя безопасным и пройдя который он, по предположению своему, думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив, вместо пошлины, куски своего сюртука на каждом остром шипе, и очутился на небольшой лощине. Верба разделившимися ветвями

преклонялась инде почти до самой земли. Небольшой источник сверкал, чистый, как серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что он чувствовал жажду нестерпимую.

— Добрая вода! — сказал он, утирая губы. — Тут бы можно отдохнуть.

— Нет, лучше побежим вперед: неравно будет погоня!

Эти слова раздались у него над ушами. Он оглянулся: перед ним стоял Явтух.

«Чертов Явтух! — подумал в сердцах про себя философ. — Я бы взял тебя, да за ноги… И мерзкую рожу твою, и все, что ни есть на тебе, побил бы дубовым бревном».

— Напрасно дал ты такой крюк, — продолжал Явтух, — гораздо лучше выбрать ту дорогу, по какой шел я: прямо мимо конюшни. Да притом и сюртука жаль. А сукно хорошее. Почем платил за аршин? Однако ж погуляли довольно, пора домой.

Философ, почесываясь, побрел за Явтухом. «Теперь проклятая ведьма задаст мне пфейферу[127], — подумал он. — Да, впрочем, что я, в самом деле? Чего боюсь? Разве я не козак? Ведь

---

[127] Примечания: 127
Пфейфер — перец *(нем.).*

читал же две ночи, поможет Бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит».

Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободривши себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить сулею сивухи, и оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра, так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал: «Музыкантов! непременно музыкантов!» — и, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вот это как долго танцует человек!» Наконец философ тут же лег спать, и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину. За ужином он говорил о том, что такое козак и что он не должен бояться ничего на свете.

— Пора, — сказал Явтух, — пойдем.

«Спичка тебе в язык, проклятый кнур![128]» —

---

[128] Примечания: 128

Кнур — боров.

подумал философ и, встав на ноги, сказал:

— Пойдем.

Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своими провожатыми. Но Явтух молчал; сам Дорош был неразговорчив. Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей. И самый лай собачий был как-то страшен.

— Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк, — сказал Дорош.

Явтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего.

Они приближились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показавшие, как мало заботился владетель поместья о боге и о душе своей. Явтух и Дорош по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно-знакомом виде. Он на минуту остановился. Посредине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь, ей-богу, не побоюсь!» — сказал он и, очертивши по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная; свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что

он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его: чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим. Вдруг… среди тишины… с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в божью церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хомы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился да читал как попало молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их; видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воз-

духе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом.

— Приведите Вия! ступайте за Вием! — раздались слова мертвеца.

И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий — и все сонмище кинулось подымать ему веки.

«Не гляди!» — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кину-

лись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха.

Раздался петуший крик. Это был уже второй крик; первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдет теперь к ней дороги.

Когда слухи об этом дошли до Киева и богослов Халява услышал наконец о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжение того времени произошли большие перемены. Счастие ему улыбнулось: по окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана.

— Ты слышал, что случилось с Хомою? — сказал, подошедши к нему, Тиберий Горобець, который

в то время был уже философ и носил свежие усы.

— Так ему Бог дал, — сказал звонарь Халява. — Пойдем в шинок да помянем его душу!

Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.

— Славный был человек Хома! — сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку. — Знатный был человек! А пропал ни за что.

— А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы.

На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но, заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл, по прежней привычке своей, утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.

Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем Глава I. Иван Иванович и Иван Никифорович

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки![129] Фу ты, пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них, — особенно если он станет с кем-нибудь говорить, — взгляните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи Боже мой! Николай Чудотворец, угодник Божий! отчего же у меня нет такой бекеши! Он сшил ее тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? та самая, что откусила ухо у заседателя.

Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него дом в Миргороде! Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет с себя и бекешу и исподнее, сам

---

[129] Примечания: 129
Смушки — шкурки ягненка.

останется в одной рубашке и отдыхает под навесом и глядит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами! Отворите только окно — так ветви и врываются в комнату. Это все перед домом; а посмотрели бы, что у него в саду! Чего там нет! Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом велит Гапке принести чернильницу и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: «Сия дыня съедена такого-то числа». Если при этом был какой-нибудь гость, то: «участвовал такой-то».

Покойный судья миргородский всегда любовался, глядя на дом Ивана Ивановича. Да, домишко очень недурен. Мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени и сенички, так что если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а

еще лучше на губки, нарастающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очеретом; ива, дуб и две яблони облокотились на них своими раскидистыми ветвями. Промеж дерев мелькают и выбегают даже на улицу небольшие окошки с резными выбеленными ставнями.

Прекрасный человек Иван Иванович! Его знает и комиссар полтавский! Дорош Тарасович Пухивочка, когда едет из Хорола, то всегда заезжает к нему. А протопоп отец Петр, что живет в Колиберде, когда соберется у него человек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович.

Боже, как летит время! уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Гапки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носит ключи от комор и погребов; от большого же сундука, что стоит в его спальне, и от средней коморы ключ Иван Иванович держит у себя и не любит никого туда пускать. Гапка, девка здоровая, ходит в *запаске*[130], с свежими икрами

---

[130] Примечания: 130

Запаска — кусок домотканой шерсти, которую носили вместо юбки.

и щеками.

А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Взошедши в нее, Иван Иванович, раскланявшись на все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтоб не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждала его к тому природная доброта.

— Здорово, небого![131] — обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу, в изодранном, сшитом из заплат платье. — Откуда ты, бедная?

— Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети.

— Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?

— А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.

— Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? — обыкновенно спрашивал Иван Иванович.

— Как не хотеть! голодна, как собака.

---

[131] Примечания: 131
Бедная. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

— Гм! — отвечал обыкновенно Иван Иванович. — Так тебе, может, и мяса хочется?

— Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.

— Гм! разве мясо лучше хлеба?

— Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.

При этом старуха обыкновенно протягивала руку.

— Ну, ступай же с Богом, — говорил Иван Иванович. — Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью! — и, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу, или к судье, или к городничему.

Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостинец. Это ему очень нравится.

Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собою приятели, каких свет не производил. Антон Прокофьевич Пупопуз, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал

веревочкой. Куда один, туда и другой плетется.

Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя проговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? Так, как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом назади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужным опровергать пред просвещенными читателями, которым, без всякого сомнения, известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть назади хвост, которые, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому.

Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры их из сравнения: Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь — и голову повесишь. Приятно! чрезвычайно приятно! как сон после купанья. Иван Никифорович, напротив, больше молчит, но зато

если влепит словцо, то держись только: отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом; ввечеру же надевает бекешу и идет куда-нибудь — или к городовому магазину, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день на крыльце, — если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце, — и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство, и опять на покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Никифорович иногда не убережется; тогда обыкновенно Иван Иванович встает с места и говорит: «Довольно, довольно, Иван Никифорович; лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова». Иван Иванович очень сердится, если ему попадется в

борщ муха: он тогда выходит из себя — и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе. Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифорович один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! Если ж чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву *ижицу*, у Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы. Иван Иванович если попотчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и,

поднесши, скажет, если вы с ним знакомы: «Смею ли просить, государь мой, об одолжении?»; если же незнакомы, то: «Смею ли просить, государь мой, не имея чести знать чина, имени и отчества, об одолжении?» Иван же Никифорович дает вам прямо в руки рожок свой и прибавит только: «Одолжайтесь». Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох; и оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят жида с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых, выбранив наперед его хорошенько за то, что он исповедует еврейскую веру.

Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович прекрасные люди.

Глава II, из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу, о чем происходил разговор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем и чем он окончился

Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух

и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе, успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему; уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа, он долго оглядывал коморы, двор, сараи, кур, бегавших по двору, и думал про себя: «Господи боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, всякая прихоть, водка перегонная настоянная; в саду груши, сливы; в огороде мак, капуста, горох… Чего ж еще нет у меня?.. Хотел бы я знать, чего нет у меня?»

Задавши себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался; а между тем глаза его отыскали новые предметы, перешагнули чрез забор в двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир с изношенными обшлагами протянул на воздух рукава и обнимал парчовую кофту, за ним высунулся дворянский, с гербовыми пуговицами, с отъеденным воротником; белые казимировые[132] панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана

[132] Примечания: 132
Казимировые — из полушерстяной материи.

Никифоровича и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. За ними скоро повисли другие, в виде буквы Л. Потом синий козацкий бешмет, который шил себе Иван Никифорович назад тому лет двадцать, когда готовился было вступить в милицию и отпустил было уже усы. Наконец, одно к одному, выставилась шпага, походившая на шпиц, торчавший в воздухе. Потом завертелись фалды чего-то похожего на кафтан травяно-зеленого цвета, с медными пуговицами величиною в пятак. Из-за фалд выглянул жилет, обложенный золотым позументом, с большим вырезом напереди. Жилет скоро закрыла старая юбка покойной бабушки, с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище, между тем, как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлаг или часть золотой парчи, или играя на шпажном шпице, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который развозят по хуторам кочующие пройдохи. Особливо когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода в золотой короне или на Антона, ведущего козу; за вертепом визжит скрыпка; цыган бренчит руками по

губам своим вместо барабана, а солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам и грудям полных хуторянок.

Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами.

«Вот глупая баба! — подумал Иван Иванович, — она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать!»

И точно: Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье.

«Что ж это значит? — подумал Иван Иванович, — я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что ж это он? стрелять не стреляет, а ружье держит! На что ж оно ему? А вещица славная! Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо; я люблю позабавиться ружьецом».

— Эй, баба, баба! — закричал Иван Иванович, кивая пальцем.

Старуха подошла к забору.

— Что это у тебя, бабуся, такое?

— Видите сами, ружье.

— Какое ружье?

— Кто его знает какое! Если б оно было мое, то я, может быть, и знала бы, из чего оно сделано. Но оно панское.

Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон и позабыл дать выговор старухе за то, что повесила его вместе с шпагою проветривать.

— Оно, должно думать, железное, — продолжала старуха.

— Гм! железное. Отчего ж оно железное? — говорил про себя Иван Иванович. — А давно ли оно у пана?

— Может быть, и давно.

— Хорошая вещица! — продолжал Иван Иванович. — Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь. Что, бабуся, дома пан?

— Дома.

— Что он? лежит?

— Лежит.

— Ну, хорошо; я приду к нему.

Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую

палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей, и пошел.

Двор Ивана Никифоровича хотя был возле двора Ивана Ивановича и можно было перелезть из одного в другой через плетень, однако ж Иван Иванович пошел улицею. С этой улицы нужно было перейти в переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, покамест, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу. Пешеход же убирался, как цветами, репейниками, росшими с обеих сторон возле забора. На этот переулок выходили с одной стороны сарай Ивана Ивановича, с другой — амбар, ворота и голубятня Ивана Никифоровича.

Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой: извнутри поднялся собачий лай; но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами, назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Иван Иванович перешел двор, на котором пестрели индейские голуби, кормимые собственноручно Иваном Никифоровичем, корки арбузов и дынь, местами зелень, местами

изломанное колесо, или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке, — картина, которую любят живописцы! Тень от развешанных платьев покрывала почти весь двор и сообщала ему некоторую прохладу. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалось крылечко с навесом на двух дубовых столбах — ненадежная защита от солнца, которое в это время в Малороссии не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Ивана Ивановича приобресть необходимую вещь, когда он решился выйти в такую пору, изменив даже своему всегдашнему обыкновению прогуливаться только вечером.

Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретяных крыш, дерев и развешанного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет.

— Помоги бог! — сказал Иван Иванович.

— А! здравствуйте, Иван Иванович! — отвечал голос из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разостланном на полу ковре. — Извините, что я перед вами в натуре.

Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки.

— Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович?

— Почивал. А вы почивали, Иван Иванович?

— Почивал.

— Так вы теперь и встали?

— Я теперь встал? Христос с вами, Иван Никифорович! как можно спать до сих пор! Я только что приехал из хутора. Прекрасные жита по дороге! восхитительные! и сено такое рослое, мягкое, злачное!

— Горпина! — закричал Иван Никифорович, — принеси Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаною.

— Хорошее время сегодня.

— Не хвалите, Иван Иванович. Чтоб его черт взял! некуда деваться от жару.

— Вот-таки нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович! Вы вспомните мое слово, да уже будет поздно: достанется вам на том свете за

богопротивные слова.

— Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел.

— Полно уже, полно, Иван Никифорович!

— Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович!

— Странно, что перепела до сих пор нейдут под дудочку.

— Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, только я вас не обидел ничем.

— Не знаю, отчего они нейдут, — говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича. — Время ли не приспело еще, только время, кажется, такое, какое нужно.

— Вы говорите, что жита хорошие?

— Восхитительные жита, восхитительные!

За сим последовало молчание.

— Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете? — наконец сказал Иван Иванович.

— Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь проветриваю; сукно тонкое, превосходное, только вывороти — и можно снова носить.

— Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович.

— Какая?

— Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем? — Тут Иван Иванович поднес табаку. — Смею ли просить об одолжении?

— Ничего, одолжайтесь! я понюхаю своего! — При этом Иван Никифорович пощупал вокруг себя и достал рожок. — Вот глупая баба, так она и ружье туда же повесила! Хороший табак жид делает в Сорочинцах. Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое! На канупер[133] немножко похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли, похоже на канупер? Возьмите, одолжайтесь!

— Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья: что вы будете с ним делать? ведь оно вам не нужно.

— Как не нужно? а случится стрелять?

— Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве по втором пришествии. Вы, сколько я знаю и другие запомнят, ни одной еще качки[134] не убили, да и ваша натура не так уже господом богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам

---

[133] Примечания: 133

Канупер — многолетняя трава с сильным запахом.

[134] Примечания: 134

То есть утки. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще, что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. (Иван Иванович, как упомянуто выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил! Боже, как он говорил!) Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне!

— Как можно! это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я, еще как собирался в милицию, купил его у турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его? Как можно? это вещь необходимая.

— На что же она необходимая?

— Как на что? А когда нападут на дом разбойники… Еще бы не необходимая. Слава тебе господи! теперь я спокоен и не боюсь никого. А отчего? Оттого, что я знаю, что у меня стоит в коморе ружье.

— Хорошее ружье! Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен.

— Что ж, что испорчен? Можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтоб не ржавел.

— Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак

не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни.

— Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно! Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки, и что ж? разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают чрез плетень в мой двор и играют с моими собаками — я ничего не говорю: пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали! пусть себе играют!

— Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.

— Что ж вы дадите мне за него? — При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ивана Ивановича.

— Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу[135]. Славная свинья! Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.

— Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать.

---

[135] Примечания: 135

Саж — хлев, в котором откармливают свиней.

— Опять! без черта таки нельзя обойтись! Грех вам, ей-богу, грех, Иван Никифорович!

— Как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает что такое: свинью!

— Отчего же она — черт знает что такое, Иван Никифорович?

— Как же, вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь известная; а то — черт знает что такое: свинья! Коли бы вы не говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону.

— Что ж нехорошего заметили вы в свинье?

— За кого же, в самом деле, вы принимаете меня? чтоб я свинью…

— Садитесь, садитесь! не буду уже… Пусть вам остается ваше ружье, пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в коморе, — не хочу больше говорить о нем.

После этого последовало молчание.

— Говорят, — начал Иван Иванович, — что три короля объявили войну царю нашему.

— Да, говорил мне Петр Федорович. Что ж это за война? и отчего она?

— Наверное не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.

— Вишь, дурни, чего захотели! — произнес

Иван Никифорович, приподнявши голову.

— Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову!

— Что ж? ведь наши побьют их, Иван Иванович!

— Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца?

— Мне странно, Иван Иванович: вы, кажется, человек, известный ученостью, а говорите, как недоросль. Что бы я за дурак такой…

— Садитесь, садитесь. Бог с ним! пусть оно себе околеет; не буду больше говорить!..

В это время принесли закуску.

Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом с сметаною.

— Слушайте, Иван Никифорович. Я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса, ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.

— Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись. (Это еще ничего, Иван Никифорович и не такие фразы отпускает.) Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Небось бекеши своей не поставите.

— Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и

свинью еще даю вам.

— Как! два мешка овса и свинью за ружье?

— Да что ж, разве мало?

— За ружье?

— Конечно, за ружье.

— Два мешка за ружье?

— Два мешка не пустых, а с овсом; а свинью позабыли?

— Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не хотите, так с чертом!

— О! вас зацепи только! Увидите: нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговору с вами нужно и лицо и руки умыть, и самому окуриться.

— Позвольте, Иван Иванович; ружье вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное…

— Вы, Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как *дурень с писаною торбою,* — сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться.

— А вы, Иван Иванович, настоящий *гусак*[136].

Если бы Иван Никифорович не сказал это-

---

[136] Примечания: 136

То есть гусь-самец. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

го слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, как всегда, приятелями; но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул.

— Что вы такое сказали, Иван Никифорович? — спросил он, возвысив голос.

— Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович!

— Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем?

— Что ж тут поносного? Да чего вы, в самом деле, так размахались руками, Иван Иванович?

— Я повторяю, как вы осмелились, в противность всех приличий, назвать меня гусаком?

— Начхать я вам на голову, Иван Иванович! Что вы так раскудахтались?

Иван Иванович не мог более владеть собою: губы его дрожали; рот изменил обыкновенное положение *ижицы*, а сделался похожим на *О*; глазами он так мигал, что сделалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно редко. Нужно было для этого его сильно рассердить.

— Так я ж вам объявляю, — произнес Иван Иванович, — что я знать вас не хочу!

— Большая беда! ей-богу, не заплачу от этого! —

отвечал Иван Никифорович.

Лгал, лгал, ей-богу, лгал! ему очень было досадно это.

— Нога моя не будет у вас в доме.

— Эге-ге! — сказал Иван Никифорович, с досады не зная сам, что делать, и, против обыкновения, встав на ноги. — Эй, баба, хлопче! — При сем показалась из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук. — Возьмите Ивана Ивановича за руки да выведите его за двери!

— Как! Дворянина? — закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович. — Осмельтесь только! подступите! Я вас уничтожу с глупым вашим паном! Ворон не найдет места вашего! (Иван Иванович говорил необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена.)

Вся группа представляла сильную картину: Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей без всякого украшения! Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину! Иван Иванович с поднятою вверх рукою, как изображались римские трибуны! Это была необыкновенная минута! спектакль великолепный! И между тем только один был зрителем:

это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос.

Наконец Иван Иванович взял шапку свою.

— Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович! прекрасно! Я это припомню вам.

— Ступайте, Иван Иванович, ступайте! да глядите, не попадайтесь мне: а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью!

— Вот вам за это, Иван Никифорович! — отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом захрипела и отворилась снова.

Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора.

Глава III. Что произошло после ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем

Итак, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздор, за гусака. Не захотели видеть друг друга, прервали все связи, между тем как прежде были известны за самых неразлучных друзей! Каждый

день, бывало, Иван Иванович и Иван Никифорович посылают друг к другу узнать о здоровье и часто переговариваются друг с другом с своих балконов и говорят друг другу такие приятные речи, что сердцу любо слушать было. По воскресным дням, бывало, Иван Иванович в штаметовой бекеше[137], Иван Никифорович в нанковом желто-коричневом казакине отправляются почти об руку друг с другом в церковь. И если Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, первый замечал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает иногда в Миргороде, то всегда говорил Ивану Никифоровичу: «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо». Иван Никифорович, с своей стороны, показывал тоже самые трогательные знаки дружбы и, где бы ни стоял далеко, всегда протянет к Ивану Ивановичу руку с рожком, примолвивши: «Одолжайтесь!» А какое прекрасное хозяйство у обоих!.. И эти два друга… Когда я услышал об этом, то меня как громом поразило! Я долго не хотел верить: боже праведный! Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем! Такие достойные люди! Что ж теперь прочно на

---

[137] Примечания: 137

Штаметовая бекеша — бекеша из плотной шерстяной материи.

этом свете?

Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, ест ли кобылка сено (у Ивана Ивановича кобылка саврасая, с лысинкой на лбу; хорошая очень лошадка); потом покормит индеек и поросенков из своих рук и тогда уже идет в покои, где или делает деревянную посуду (он очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева), или читает книжку, печатанную у Любия, Гария и Попова (названия ее Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя), или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивши Гапку, начал бранить, зачем она шатается без дела, между тем как она тащила крупу в кухню; кинул палкой в петуха, который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей; и когда подбежал к нему запачканный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал: «Тятя, тятя, дай пряника!» — то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный мальчишка забежал бог знает куда.

Наконец, однако ж, он одумался и начал за-

ниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать и уже ввечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила Гапка, выгнал совершенно утреннее происшествие. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство. Наконец остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе: «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича; пойду-ка к нему». Сказавши это, Иван Иванович взял палку и шапку и отправился на улицу; но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад. Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением перелезть в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифоровича: «Назад! назад! не нужно!» Однако ж Ивану Ивановичу сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла в готовый погаснуть огонь вражды.

К Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня приехала Агафия Федосеевна. Агафия Федосеевна

не была ни родственницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад; однако ж она ездила и проживала у него по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу, однако ж он, к удивлению, слушал ее, как ребенок, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафия Федосеевна брала верх.

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайника? Или руки их так созданы, или носы наши ни на что более не годятся. И несмотря, что нос Ивана Никифоровича был несколько похож на сливу, однако ж она схватила его за этот нос и водила за собою, как собачку. Он даже изменял при ней, невольно, обыкновенный свой образ жизни: не так долго лежал на солнце, если же и лежал, то не в натуре, а всегда надевал рубашку и шаровары, хотя Агафия Федосеевна совершенно этого не требовала. Она была неохотница до церемоний, и, когда у Ивана Никифоровича была лихорадка, она сама своими руками вытирала его с ног до головы скипидаром

и уксусом. Агафия Федосеевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами. Весь стан ее похож был на кадушку, и оттого отыскать ее талию было так же трудно, как увидеть без зеркала свой нос. Ножки ее были коротенькие, сформированные на образец двух подушек. Она сплетничала, и ела вареные бураки по утрам, и отлично хорошо ругалась, — и при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показывать одни только женщины.

Как только она приехала, все пошло навыворот.

— Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения: он тебя погубить хочет, это таковский человек! Ты его еще не знаешь.

Шушукала, шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче.

Все приняло другой вид: если соседняя собака затесалась когда на двор, то ее колотили чем ни попало; ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и с знаками розг на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел было ее спро-

сить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликатный, плюнул и примолвил только: «Экая скверная баба! хуже своего пана!»

Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз чрез плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью: в один день.

Это возбудило в Иване Ивановиче злость и желание отомстить. Он не показал, однако ж, никакого вида огорчения, несмотря на то, что хлев даже захватил часть его земли; но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие.

Так провел он день. Настала ночь… О, если б я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи! Я бы изобразил, как спит весь Миргород; как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды; как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак; как мимо их несется влюбленный пономарь и перелазит через плетень с рыцарскою бесстрашностию; как белые стены домов, охваченные лунным светом, стано-

вятся белее, осеняющие их деревья темнее, тень от дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно со всех углов заводят свои трескучие песни. Я бы изобразил, как в одном из этих низеньких глиняных домиков разметавшейся на одинокой постели чернобровой горожанке с дрожащими молодыми грудями снится гусарский ус и шпоры, а свет луны смеется на ее щеках. Я бы изобразил, как по белой дороге мелькает черная тень летучей мыши, садящейся на белые трубы домов… Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилою в руке. Столько на лице у него было написано разных чувств! Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах; подлезши к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить. Шум, производимый пилою, заставлял его поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен; Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван

Иванович вскрикнул и обомлел: ему показался мертвец; но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй столб подпилен: здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу; уже более половины его было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось… Иван Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Схвативши пилу, в страшном испуге прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно на следствия своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался: старая баба, Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке — все с дрекольями, предводительствуемые Агафией Федосеевной, шли разорять и ломать его дом.

Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отмщение за это, по крайней мере, подожжет дом его. И потому он дал повеление Гапке поминутно обсматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Наконец,

чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в миргородский поветовый[138] суд. В чем оно состояло, об этом можно узнать из следующей главы.

Глава IV. О том, что произошло в присутствии миргородского поветового суда

Чудный город Миргород! Каких в нем нет строений! И под соломенною, и под очеретяною, даже под деревянною крышею; направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень; по нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы… Роскошь! Плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным: или напяленною плахтою[139], или сорочкою, или шароварами. В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый веша-

[138] Примечания: 138
Поветовый — уездный.

[139] Примечания: 139
Плахта — ткань, расшитая узором; юбка из этой материи.

ет, что ему вздумается. Если будете подходить к площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Домы и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее.

Но я тех мыслей, что нет лучше дома, как поветовый суд. Дубовый ли он или березовый, мне нет дела; но в нем, милостивые государи, восемь окошек! восемь окошек в ряд, прямо на площадь и на то водное пространство, о котором я уже говорил и которое городничий называет озером! Один только он окрашен цветом гранита: прочие все домы в Миргороде просто выбелены. Крыша на нем вся деревянная, и была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярские, приправивши луком, не съели, что было, как нарочно, во время поста, и крыша осталась некрашеною. На площадь выступает крыльцо, на котором часто бегают куры, оттого что на крыльце всегда почти рассыпаны крупы или что-нибудь съестное, что, впрочем, делается не нарочно, но единственно от неосторожности просителей. Он разделен на

две половины: в одной *присутствие,* в другой *арестантская.* В той половине, где присутствие, находятся две комнаты чистые, выбеленные: одна — передняя для просителей; в другой стол, убранный чернильными пятнами; на нем зерцало[140]. Четыре стула дубовые с высокими спинками; возле стен сундуки, кованные железом, в которых сохранялись кипы поветовой ябеды. На одном из этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный ваксою. Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тонее Ивана Никифоровича, с доброю миною, в замасленном халате, с трубкою и чашкою чаю, разговаривал с подсудком[141]. У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу, сколько душе угодно было. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее. Итак, судья разговаривал с подсудком. Босая девка держала в стороне поднос с чашками.

В конце стола секретарь читал решение дела,

---

[140] Примечания: 140

Зерцало — треугольная призма, на которой наклеивались указы Петра I.

[141] Примечания: 141

Подсудок — чиновник земского уездного суда.

но таким однообразным и унывным тоном, что сам подсудимый заснул бы, слушая. Судья, без сомнения, это бы сделал прежде всех, если бы не вошел в занимательный между тем разговор.

— Я нарочно старался узнать, — говорил судья, прихлебывая чай уже с простывшей чашки, — каким образом это делается, что они поют хорошо. У меня был славный дрозд, года два тому назад. Что ж? вдруг испортился совсем. Начал петь бог знает что. Чем далее, хуже, хуже, стал картавить, хрипеть, — хоть выбрось! А ведь самый вздор! это вот отчего делается: под горлышком делается бобон[142], меньше горошинки. Этот бобончик нужно только проколоть иголкою. Меня научил этому Захар Прокофьевич, и именно, если хотите, я вам расскажу, каким это было образом: приезжаю я к нему…

— Прикажете, Демьян Демьянович, читать другое? — прервал секретарь, уже несколько минут как окончивший чтение.

— А вы уже прочитали? Представьте, как скоро! Я и не услышал ничего! Да где ж оно? дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас?

— Дело козака Бокитька о краденой корове.

---

[142] Примечания: 142
Бобон — опухоль.

— Хорошо, читайте! Да, так приезжаю я к нему… Я могу даже рассказать вам подробно, как он угостил меня. К водке был подан балык, единственный! Да, не нашего балыка, которым, — при этом судья сделал языком и улыбнулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, — которым угощает наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога под ложечкою. Но икры отведал; прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потом выпил я водки персиковой, настоянной на золототысячник. Была и шафранная; но шафранной, как вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: наперед, как говорят, раззадорить аппетит, а потом уже завершить… А! слыхом слыхать, видом видать… — вскричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича.

— Бог в помощь! желаю здравствовать! — произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны, с свойственною ему одному приятностию. Боже мой, как он умел обворожить всех своим обращением! Тонкости такой я нигде не видывал. Он знал очень хорошо сам свое достоинство и потому на всеобщее почтение смотрел, как на должное. Судья сам подал стул Ивану

Ивановичу, нос его потянул с верхней губы весь табак, что всегда было у него знаком большого удовольствия.

— Чем прикажете потчевать вас, Иван Иванович? — спросил он. — Не прикажете ли чашку чаю?

— Нет, весьма благодарю, — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.

— Сделайте милость, одну чашечку! — повторил судья.

— Нет, благодарю. Весьма доволен гостеприимством, — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.

— Одну чашку, — повторил судья.

— Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович!

При этом Иван Иванович поклонился и сел.

— Чашечку?

— Уж так и быть, разве чашечку! — произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу.

Господи боже! какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки!

— Не прикажете ли еще чашечку?

— Покорно благодарствую, — отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь.

— Сделайте одолжение, Иван Иванович!

— Не могу. Весьма благодарен. — При этом Иван Иванович поклонился и сел.

— Иван Иванович! сделайте дружбу, одну чашечку!

— Нет, весьма обязан за угощение.

Сказавши это, Иван Иванович поклонился и сел.

— Только чашечку! одну чашечку!

Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку.

Фу ты пропасть! как может, как найдется человек поддержать свое достоинство!

— Я, Демьян Демьянович, — говорил Иван Иванович, допивая последний глоток, — я к вам имею необходимое дело: я подаю позов[143]. — При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги. — Позов на врага своего, на заклятого врага.

— На кого же это?

— На Ивана Никифоровича Довгочхуна.

При этих словах судья чуть не упал со стула.

— Что вы говорите! — произнес он, всплеснув руками. — Иван Иванович! вы ли это?

---

[143] Примечания: 143

Позов — иск.

— Видите сами, что я.

— Господь с вами и все святые! Как! вы, Иван Иванович, стали неприятелем Ивану Никифоровичу? Ваши ли это уста говорят? Повторите еще! Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас?..

— Что ж тут невероятного. Я не могу смотреть на него; он нанес мне смертную обиду, оскорбил честь мою.

— Пресвятая Троица! как же мне теперь уверить матушку! А она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрою, говорит: «Вы, детки, живете между собою, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья так друзья! то-то приятели! то-то достойные люди!» Вот тебе и приятели! Расскажите, за что же это? как?

— Это дело деликатное, Демьян Демьянович! на словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот, возьмите с этой стороны, здесь приличнее.

— Прочитайте, Тарас Тихонович! — сказал судья, оборотившись к секретарю.

Тарас Тихонович взял просьбу и, высморкавшись таким образом, как сморкаются все секретари по поветовым судам, с помощью двух

пальцев, начал читать:

— «От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошение; а о чем, тому следуют пункты:

1) Известный всему свету своими богопротивными, в омерзение приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, сего 1810 года июля 7 дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижение и конфузию чина моего и фамилии. Оный дворянин, и сам притом гнусного вида, характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами…»

Тут чтец немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья с благоговением сложил руки и только говорил про себя:

— Что за бойкое перо! Господи боже! как пишет этот человек!

Иван Иванович просил читать далее, и Тарас Тихонович продолжал:

— «Оный дворянин, Иван, Никифоров сын, Довгочхун, когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно:

гусаком, тогда как известно всему Миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен. Доказательством же дворянского моего происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви *Трех Святителей*, записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение. *Гусак* же, как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо *гусак* есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему в семинарии, достоверно известно. Но оный злокачественный дворянин, будучи обо всем этом сведущ, не для чего иного, как чтобы нанесть смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня оным гнусным словом.

2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, собственность, тем, что, в противность всяким законам, перенес совершенно насупротив моего крыльца гусиный хлев, что делалось не с иным каким намерением, как чтоб усугубить нане-

сенную мне обиду, ибо оный хлев стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение вышеупомянутого дворянина состояло единственно в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей: ибо известно, что всякий человек не пойдет в хлев, тем паче в гусиный, для приличного дела. При таком противузаконном действии две передние сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, начинавшуюся от амбара и прямою линией до самого того места, где бабы моют горшки.

3) Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из нижеследующего явствуют: во-1-х, оный злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда, по причине своей лености и гнусной тучности тела, не предпринимал; во-2-х, в людской его, примыкающей о самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мною от покойного родителя моего, блаженной памяти Ивана,

Онисиева сына, Перерепенка, землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явное есть к тому доказательство, ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потушаем.

И потому прошу оного дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, яко повинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предосудительном присовокуплении к фамилии моей названия *гусака,* ко взысканию штрафа, удовлетворения проторей и убытков присудить и самого, яко нарушителя, в кандалы забить и, заковавши, в городскую тюрьму препроводить, и по сему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. — Писал и сочинял дворянин, миргородский помещик Иван, Иванов сын, Перерепенко».

По прочтении просьбы судья приблизился к Ивану Ивановичу, взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом:

— Что это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь! бросьте просьбу, пусть она пропадает! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь, да

купите сантуринского, или никопольского, или хоть просто сделайте пуншику, да позовите меня! Разопьем вместе и позабудем всё!

— Нет, Демьян Демьянович! не такое дело, — сказал Иван Иванович с важностию, которая так всегда шла к нему. — Не такое дело, чтобы можно было решить полюбовною сделкою. Прощайте! Прощайте и вы, господа! — продолжал он с тою же важностию, оборотившись ко всем. — Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие. — И ушел, оставив в изумлении все присутствие.

Судья сидел, не говоря ни слова; секретарь нюхал табак; канцелярские опрокинули разбитый черепок бутылки, употребляемый вместо чернильницы; и сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу.

— Что вы скажете на это, Дорофей Трофимович? — сказал судья, после некоторого молчания обратившись к подсудку.

— Ничего не скажу, — отвечал подсудок.

— Экие дела делаются! — продолжал судья.

Не успел он этого сказать, как дверь затрещала и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие, остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифоровича,

и еще в суд, так показалось необыкновенным, что судья вскрикнул; секретарь прервал свое чтение. Один канцелярист, в фризовом подобии полуфрака, взял в губы перо; другой проглотил муху. Даже отправлявший должность фельдъегеря и сторожа инвалид, который до того стоял у дверей, почесывая в своей грязной рубашке с нашивкою на плече, даже этот инвалид разинул рот и наступил кому-то на ногу.

— Какими судьбами! что и как? Как здоровье ваше, Иван Никифорович?

Но Иван Никифорович был ни жив ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Напрасно судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь из находившихся там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу. В передней находилась одна только старуха просительница, которая, несмотря на все усилия своих костистых рук, ничего не могла сделать. Тогда один из канцелярских, с толстыми губами, с широкими плечами, с толстым носом, глазами, глядевшими скоса и пьяна, с разодранными локтями, приближился к передней половине Ивана Никифоровича, сложил ему обе руки накрест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который уперся своим коленом

в брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, вытиснут он был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей. Причем канцелярский и его помощник, инвалид, от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом.

— Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам настойки, которою потрите только поясницу и спину, и все пройдет.

Но Иван Никифорович повалился на стул и, кроме продолжительных *охов,* ничего не мог сказать. Наконец слабым, едва слышным от усталости голосом произнес он:

— Не угодно ли? — и, вынувши из кармана рожок, прибавил: — Возьмите, одолжайтесь!

— Весьма рад, что вас вижу, — отвечал судья. — Но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такою приятною нечаянностию.

— С просьбою… — мог только произнесть Иван Никифорович.

— С просьбою? с какою?

— С позвом… — тут одышка произвела долгую

паузу, — ох!.. с позвом на мошенника… Ивана Иванова Перерепенка.

— Господи! и вы туда! Такие редкие друзья! Позов на такого добродетельного человека!..

— Он сам сатана! — произнес отрывисто Иван Никифорович.

Судья перекрестился.

— Возьмите просьбу, прочитайте.

— Нечего делать, прочитайте, Тарас Тихонович, — сказал судья, обращаясь к секретарю с видом неудовольствия, причем нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его.

Секретарь, сделавши обыкновенный свой приступ, который он всегда употреблял перед начатием чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом:

— «Просит дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун, а о чем, тому следуют пункты:

1) По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином,

Иван, Иванов сын, Перерепенко всякие пакости, убытки и иные ехидненские и в ужас приводящие поступки мне чинит и вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать, с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями, забрался ночью в мой двор и в находящийся в оном мой же собственный хлев, собственноручно и поносным образом его изрубил. На что, с моей стороны, я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку.

2) Оный же дворянин Перерепенко имеет посягательство на самую жизнь мою и до 7-го числа прошлого месяца, содержа втайне сие намерение, пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него, с свойственною ему скупостью, многие негодные вещи, как то: свинью бурую и две мерки овса. Но, предугадывая тогда же преступное его намерение, я всячески старался от оного уклонить его; но оный мошенник и подлец, Иван, Иванов сын, Перерепенко, выбранил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую. Притом же оный, часто поминаемый, неистовый дворянин и разбойник, Иван, Иванов сын, Перерепенко, и происхождения весьма по-

носного: его сестра была известная всему свету потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею назад тому пять лет в Миргороде; а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и разбойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела: постов не содержит, ибо накануне Филипповки сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке Гапке, оговариваясь, аки бы ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи.

Посему прошу оного дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличенного уже в воровстве и грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму или государственный острог препроводить, и там уже, по усмотрению, лиша чинов и дворянства, добре барбарами шмаровать[144] и в Сибирь на каторгу по надобности заточить; проторы, убытки велеть ему заплатить и по сему моему прошению решение учинить. — К сему

---

[144] Примечания: 144
Бить плетьми.

прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился, с намерением уйти.

— Куда же вы, Иван Никифорович? — говорил ему вслед судья. — Посидите немного! выпейте чаю! Орышко! что ты стоишь, глупая девка, и перемигиваешься с канцелярскими? Ступай принеси чаю!

Но Иван Никифорович с испугу, что так далеко зашел от дому и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь, проговорив:

— Не беспокойтесь, я с удовольствием… — и затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие.

Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес, как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще бóльшую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудка и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур, яиц, краюх хлеба, пирогов, книшей и прочего дрязгу, в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению при-

сутствовавших, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая хавронья убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы.

Это чрезвычайное происшествие произвело страшную суматоху, потому что даже копия не была еще списана с нее. Судья, то есть его секретарь и подсудок, долго трактовали об таком неслыханном обстоятельстве; наконец решено было на том, чтобы написать об этом отношение к городничему, так как следствие по этому делу более относилось к гражданской полиции. Отношение за № 389 послано было к нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объяснение, о котором читатели могут узнать из следующей главы.

Глава V, в которой излагается совещание двух почетных в Миргороде особ

Как только Иван Иванович управился в своем хозяйстве и вышел, по обыкновению, полежать под навесом, как, к несказанному удивлению

своему, увидел что-то красневшее в калитке. Это был красный обшлаг городничего, который, равномерно как и воротник его, получил политуру и по краям превращался в лакированную кожу. Иван Иванович подумал про себя: «Недурно, что пришел Петр Федорович поговорить», — но очень удивился, увидя, что городничий шел чрезвычайно скоро и размахивал руками, что случалось с ним, по обыкновению, весьма редко. На мундире у городничего посажено было восемь пуговиц, девятая как оторвалась во время процессии при освящении храма назад тому два года, так до сих пор десятские не могут отыскать, хотя городничий при ежедневных рапортах, которые отдают ему квартальные надзиратели, всегда спрашивает, нашлась ли пуговица. Эти восемь пуговиц были насажены у него таким образом, как бабы садят бобы; одна направо, другая налево. Левая нога была у него прострелена в последней кампании, и потому он, прихрамывая, закидывал ею так далеко в сторону, что разрушал этим почти весь труд правой ноги. Чем быстрее действовал городничий своею пехотою, тем менее она подвигалась вперед. И потому, покамест дошел городничий к навесу, Иван Иванович имел довольно времени теряться в догадках,

отчего городничий так скоро размахивал руками. Тем более это его занимало, что дело казалось необыкновенной важности, ибо при нем была даже новая шпага.

— Здравствуйте, Петр Федорович! — вскричал Иван Иванович, который, как уже сказано, был очень любопытен и никак не мог удержать своего нетерпения при виде, как городничий брал приступом крыльцо, но все еще не поднимал глаз своих вверх и ссорился с своею пехотою, которая никаким образом не могла с одного размаху взойти на ступеньку.

— Доброго дня желаю любезному другу и благодетелю Ивану Ивановичу! — отвечал городничий.

— Милости прошу садиться. Вы, как я вижу, устали, потому что ваша раненая нога мешает…

— Моя нога! — вскрикнул городничий, бросив на Ивана Ивановича один из тех взглядов, какие бросает великан на пигмея, ученый педант на танцевального учителя. При этом он вытянул свою ногу и топнул ею об пол. Эта храбрость, однако ж, ему дорого стоила, потому что весь корпус его покачнулся и нос клюнул перила; но мудрый блюститель порядка, чтоб не подать никакого вида, тотчас оправился и полез в карман,

как будто бы с тем, чтобы достать табакерку. — Я вам доложу о себе, любезнейший друг и благодетель Иван Иванович, что я делывал на веку своем не такие походы. Да, серьезно, делывал. Например, во время кампании тысяча восемьсот седьмого года… Ах, я вам расскажу, каким манером я перелез через забор к одной хорошенькой немке. — При этом городничий зажмурил один глаз и сделал бесовски плутовскую улыбку.

— Где ж вы бывали сегодня? — спросил Иван Иванович, желая прервать городничего и скорее навести его на причину посещения; ему бы очень хотелось спросить, что такое намерен объявить городничий; но тонкое познание света представляло ему всю неприличность такого вопроса, и Иван Иванович должен был скрепиться и ожидать разгадки, между тем как сердце его колотилось с необыкновенною силою.

— А позвольте, я вам расскажу, где был я, — отвечал городничий. — Во-первых, доложу вам, что сегодня отличное время…

При последних словах Иван Иванович почти что не умер.

— Но позвольте, — продолжал городничий. — Я пришел сегодня к вам по одному весьма важному делу. — Тут лицо городничего и осанка приняли

то же самое озабоченное положение, с которым брал он приступом крыльцо.

Иван Иванович ожил и трепетал, как в лихорадке, не замедливши, по обыкновению своему, сделать вопрос:

— Какое же оно важное? разве оно важное?

— Вот извольте видеть: прежде всего осмелюсь доложить вам, любезный друг и благодетель Иван Иванович, что вы... с моей стороны, я, извольте видеть, я ничего; но виды правительства, виды правительства этого требуют: вы нарушили порядок благочиния!..

— Что это вы говорите, Петр Федорович? Я ничего не понимаю.

— Помилуйте, Иван Иванович! Как вы ничего не понимаете? Ваша собственная животина утащила очень важную казенную бумагу, и вы еще говорите после этого, что ничего не понимаете!

— Какая животина?

— С позволения сказать, ваша собственная бурая свинья.

— А я чем виноват? Зачем судейский сторож отворяет двери!

— Но, Иван Иванович, ваше собственное животное — стало быть, вы виноваты.

— Покорно благодарю вас за то, что с свиньею

меня равняете.

— Вот уж этого я не говорил, Иван Иванович! Ей-богу, не говорил! Извольте рассудить по чистой совести сами: вам, без всякого сомнения, известно, что, согласно с видами начальства, запрещено в городе, тем же паче в главных градских улицах, прогуливаться нечистым животным. Согласитесь сами, что это дело запрещенное.

— Бог знает, что это вы говорите! Большая важность, что свинья вышла на улицу!

— Позвольте вам доложить, позвольте, позвольте, Иван Иванович, это совершенно невозможно. Что ж делать? Начальство хочет — мы должны повиноваться. Не спорю, забегают иногда на улицу и даже на площадь куры и гуси, — заметьте себе: куры и гуси; но свиней и козлов я еще в прошлом году дал предписание не впускать на публичные площади. Которое предписание тогда же приказал прочитать изустно, в собрании, пред целым народом.

— Нет, Петр Федорович, я здесь ничего не вижу, как только то, что вы всячески стараетесь обижать меня.

— Вот этого-то не можете сказать, любезнейший друг и благодетель, чтобы я старался обижать. Вспомните сами: я не сказал вам ни одного слова

прошлый год, когда вы выстроили крышу целым аршином выше установленной меры. Напротив, я показал вид, как будто совершенно этого не заметил. Верьте, любезнейший друг, что и теперь бы я совершенно, так сказать… но мой долг, словом, обязанность требует смотреть за чистотою. Посудите сами, когда вдруг на главной улице…

— Уж хороши ваши главные улицы! Туда всякая баба идет выбросить то, что ей не нужно.

— Позвольте вам доложить, Иван Иванович, что вы сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по большей части только под забором, сараями или коморами; но чтоб на главной улице, на площадь втесалась супоросная свинья, это такое дело…

— Что ж такое, Петр Федорович! Ведь свинья творение Божие!

— Согласен! Это всему свету известно, что вы человек ученый, знаете науки и прочие разные предметы. Конечно, я наукам не обучался никаким: скорописному письму я начал учиться на тридцатом году своей жизни. Ведь я, как вам известно, из рядовых.

— Гм! — сказал Иван Иванович.

— Да, — продолжал городничий, — в тысяча восемьсот первом году я находился в сорок вто-

ром егерском полку в четвертой роте поручиком. Ротный командир у нас был, если изволите знать, капитан Еремеев. — При этом городничий запустил свои пальцы в табакерку, которую Иван Иванович держал открытою и переминал табак.

Иван Иванович отвечал:

— Гм!

— Но мой долг, — продолжал городничий, — есть повиноваться требованиям правительства. Знаете ли вы, Иван Иванович, что похитивший в суде казенную бумагу подвергается, наравне со всяким другим преступлением, уголовному суду?

— Так знаю, что, если хотите, и вас научу. Так говорится о людях, например если бы вы украли бумагу; но свинья животное, творение Божие!

— Всё так, но закон говорит: «виновный в похищении…» Прошу вас прислушаться внимательно: *виновный!* Здесь не означается ни рода, ни пола, ни звания, — стало быть, и животное может быть виновно. Воля ваша, а животное прежде произнесения приговора к наказанию должно быть представлено в полицию как нарушитель порядка.

— Нет, Петр Федорович! — возразил хладнокровно Иван Иванович. — Этого-то не будет!

— Как вы хотите, только я должен следовать предписаниям начальства.

— Что ж вы стращаете меня? Верно, хотите прислать за нею безрукого солдата? Я прикажу дворовой бабе его кочергой выпроводить. Ему последнюю руку переломят.

— Я не смею с вами спорить. В таком случае, если вы не хотите представить ее в полицию, то пользуйтесь ею, как вам угодно: заколите, когда желаете, ее к Рождеству и наделайте из нее окороков, или так съедите. Только я бы у вас попросил, если будете делать колбасы, пришлите мне парочку тех, которые у вас так искусно делает Гапка из свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна очень их любит.

— Колбас, извольте, пришлю парочку.

— Очень вам буду благодарен, любезный друг и благодетель. Теперь позвольте вам сказать еще одно слово: я имею поручение, как от судьи, так равно и от всех наших знакомых, так сказать, примирить вас с приятелем вашим, Иваном Никифоровичем.

— Как! с невежею? чтобы я примирился с этим грубияном? Никогда! Не будет этого, не будет! — Иван Иванович был в чрезвычайно решительном состоянии.

— Как вы себе хотите, — отвечал городничий, угощая обе ноздри табаком. — Я сам не смею советовать; однако ж позвольте доложить: вот вы теперь в ссоре, а как помиритесь…

Но Иван Иванович начал говорить о ловле перепелов, что обыкновенно случалось, когда он хотел замять речь.

Итак, городничий, не получив никакого успеха, должен был отправиться восвояси.

Глава VI, из которой читатель легко может узнать все то, что в ней содержится

Сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь Миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только: «Не бурая ли?»

Но Агафия Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифоровичу:

— Что ты, Иван Никифорович? Над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь!

Какой ты после этого будешь дворянин! Ты будешь хуже бабы, что продает сластены, которые ты так любишь!

И уговорила неугомонная! Нашла где-то человечка средних лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, в темно-синем, с заплатами на локтях, сюртуке — совершенную приказную чернильницу! Сапоги он смазывал дегтем, носил по три пера за ухом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы; съедал за одним разом девять пирогов, а десятый клал в карман, и в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханьем. Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и наконец состряпало такую бумагу:

«В миргородский поветовый суд от дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна.

Вследствие оного прошения моего, что от меня, дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, к тому имело быть, совокупно с дворянином Иваном, Ивановым сыном, Перерепенком, чему и сам поветовый миргородский суд потворство свое изъявил. И самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи втайне содержимо и

уже от сторонних людей до слуха дошедшись. Понеже оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит; ибо оная свинья есть животное глупое и тем паче способное к хищению бумаги. Из чего очевидно явствует, что часто поминаемая свинья не иначе как была подущена к тому самим противником, называющим себя дворянином Иваном, Иванов сын, Перерепенком, уже уличенном в разбое, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но оный миргородский суд, с свойственным ему лицеприятием, тайное своей особы соглашение изъявил; без какового соглашения оная свинья никоим бы образом не могла быть допущенною к утащению бумаги: ибо миргородский поветовый суд в прислуге весьма снабжен, для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время в приемной пребывающего, который хотя имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но, чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имеет весьма соразмерные способности. Из чего достоверно видно потворство оного миргородского суда и бесспорно разделение жидовского от того барыша по взаимности совмещаясь. Оный же вышеупомянутый разбойник и дворянин Иван, Иванов сын, Перерепенко в

приточении ошельмовавшись состоялся. Почему и довожу оному поветовому суду я, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, в надлежащее всеведение, если с оной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепенка означенная просьба взыщена не будет и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, о таковом оного суда противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела. — Дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Эта просьба произвела свое действие: судья был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка. Он обратился к секретарю. Но секретарь пустил сквозь губы густой «гм» и показал на лице своем ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана, когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось: примирить двух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако ж еще решились попытаться; но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет, и даже весьма рассердился.

Иван Никифорович вместо ответа оборотился спиною назад и хоть бы слово сказал. Тогда процесс пошел с необыкновенною быстротою, которою обыкновенно так славятся судилища. Бумагу пометили, записали, выставили нумер, вшили, расписались — всё в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало — год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж; в Миргороде пробили новую улицу; у судьи выпал один коренной зуб и два боковых; у Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде: откуда они взялись, бог один знает! Иван Никифорович, в упрек Ивану Ивановичу, выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подальше прежнего, и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга, — и дело все лежало, в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен.

Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода.

Городничий давал ассамблею! Где возьму я кистей и красок, чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? Возьмите часы, откройте их и посмотрите, что там делается!

Не правда ли, чепуха страшная? Представьте же теперь себе, что почти столько же, если не больше, колес стояло среди двора городничего. Каких бричек и повозок там не было! Одна — зад широкий, а перед узенький; другая — зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка и повозка вместе; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху; другая на растрепанного жида или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи; иная была в профиле совершенная трубка с чубуком; другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Из среды этого хаоса колес и козел возвышалось подобие кареты с комнатным окном, перекрещенным толстым переплетом. Кучера, в серых чекменях, свитках и серяках, в бараньих шапках и разнокалиберных фуражках, с трубками в руках, проводили по двору распряженных лошадей. Что за ассамблею дал городничий! Позвольте, я перечту всех, которые были там: Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихиевич, Иван Иванович — не тот Иван Иванович, а другой, Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елевферий Елевфериевич, Макар Назарьевич, Фома

Григорьевич… Не могу далее! не в силах! Рука устает писать! А сколько было дам! смуглых и белолицых, длинных и коротеньких, толстых, как Иван Никифорович, и таких тонких, что казалось, каждую можно было упрятать в шпажные ножны городничего. Сколько чепцов! сколько платьев! красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных; платков, лент, ридикулей! Прощайте, бедные глаза! вы никуда не будете годиться после этого спектакля. А какой длинный стол был вытянут! А как разговорилось все, какой шум подняли! Куда против этого мельница со всеми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами! Не могу вам сказать наверно, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и полезных вещах, как то: о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец Иван Иванович — не тот Иван Иванович, а другой, у которого один глаз крив, — сказал:

— Мне очень странно, что правый глаз мой (кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически) не видит Ивана Никифоровича господина Довгочхуна.

— Не хотел прийти! — сказал городничий.

— Как так?

— Вот уже, слава богу, есть два года, как поссорились они между собою, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем; и где один, туда другой ни за что не пойдет!

— Что вы говорите! — При этом кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. — Что ж теперь, если уже люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком!

На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. Сам высокий, худощавый человек, в байковом сюртуке, с пластырем на носу, который до того сидел в углу и ни разу не переменил движения на своем лице, даже когда залетела к нему в нос муха, — этот самый господин встал с своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей кривого Ивана Ивановича.

— Послушайте! — сказал кривой Иван Иванович, когда увидел, что его окружило порядочное общество. — Послушайте! Вместо того что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим двух наших приятелей! Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами, — пошлем потихоньку за Иваном

Никифоровичем, да и столкнем их вместе.

Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом — просить его во что бы ни стало приехать к городничему на обед. Но важный вопрос — на кого возложить это важное поручение? — повергнул всех в недоумение. Долго спорили, кто способнее и искуснее в дипломатической части: наконец единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Голопузя.

Но прежде нужно несколько познакомить читателя с этим замечательным лицом. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова: даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шею или исподнее — он благодарит; щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Если у него спрашивали: «Отчего это у вас, Антон Прокофьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые?» — то он обыкновенно всегда отвечал: «А у вас и такого нет! Подождите, обносится, весь будет одинаковый!» И точно: голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневое и теперь совершенно подходит под цвет сюртука! Но вот что странно: что Антон Прокофьевич имеет

обыкновение суконное платье носить летом, а нанковое зимою. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде, на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой разъезжал гостить по помещикам. Но так как с ними много было хлопот и притом нужны были деньги на овес, то Антон Прокофьевич их променял на скрипку и дворовую девку, взявши придачи двадцатипятирублевую бумажку. Потом скрыпку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет сафьянный с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. За это наслаждение он уже не может разъезжать по деревням, а должен оставаться в городе и ночевать в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Антон Прокофьевич любит хорошо поесть, играет изрядно в «дураки» и «мельники». Повиноваться всегда было его стихиею, и потому он, взявши шапку и палку, немедленно отправился в путь. Но, идучи, стал рассуждать, каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею. Несколько крутой нрав сего, впрочем, достойного человека делал его предприятие почти невозможным. Да и как, в самом деле, ему

решиться прийти, когда встать с постели уже ему стоило великого труда? Но положим, что он встанет, как ему прийти туда, где находится, — что, без сомнения, он знает, — непримиримый враг его? Чем более Антон Прокофьевич обдумывал, тем более находил препятствий. День был душен; солнце жгло; пот лился с него градом. Антон Прокофьевич, несмотря, что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела, — в ме́не только был он не так счастлив, — он очень знал, когда нужно прикинуться дураком, и иногда умел найтиться в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться.

В то время как изобретательный ум его выдумывал средство, как убедить Ивана Никифоровича, и уже он храбро шел навстречу всего, одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его. Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры. Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва только он предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил слух его. Антон Прокофьевич

поднял такой крик, — громче его никто не умел кричать, — что не только знакомая баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались к нему, и хотя собаки только за одну ногу успели его укусить, однако ж это очень уменьшило его бодрость и он с некоторого рода робостью подступал к крыльцу.

Глава VII, и последняя

— А! здравствуйте. На что вы собак дразните? — сказал Иван Никифорович, увидевши Антона Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не говорил, как шутя.

— Чтоб они передохли все! Кто их дразнит? — отвечал Антон Прокофьевич.

— Вы врете.

— Ей-богу, нет! Просил вас Петр Федорович на обед.

— Гм!

— Ей-богу! так убедительно просил, что выразить не можно. Что это, говорит, Иван Никифорович чуждается меня, как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить либо посидеть.

Иван Никифорович погладил свой подбородок.

— Если, говорит, Иван Никифорович и теперь не придет, то я не знаю, что подумать: верно, он имеет на меня какой умысел! Сделайте милость, Антон Прокофьевич, уговорите Ивана Никифоровича! Что ж, Иван Никифорович? пойдем! там собралась теперь отличная компания!

Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, изо всей мочи драл горло.

— Если бы вы знали, Иван Никифорович, — продолжал усердный депутат, — какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу!

При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться.

Это ободрило депутата.

— Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич! Что ж вы? — прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении. — Что ж? идем или нейдем?

— Не хочу.

Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича. Он уже думал, что убедительное представление его совершенно склонило этого, впрочем, достойного человека, но вместо того услышал решительное «не хочу».

— Отчего же не хотите вы? — спросил он почти

с досадою, которая показывалась у него чрезвычайно редко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий.

Иван Никифорович понюхал табаку.

— Воля ваша, Иван Никифорович, я не знаю, что вас удерживает.

— Чего я пойду? — проговорил наконец Иван Никифорович, — там будет разбойник! — Так он называл обыкновенно Ивана Ивановича.

Боже праведный! А давно ли…

— Ей-богу, не будет! вот как Бог свят, что не будет! Чтоб меня на самом этом месте громом убило! — отвечал Антон Прокофьевич, который готов был божиться десять раз на один час. — Пойдемте же, Иван Никифорович!

— Да вы врете, Антон Прокофьевич, он там?

— Ей-богу, ей-богу, нет! Чтобы я не сошел с этого места, если он там! Да и сами посудите, с какой стати мне лгать? Чтоб мне руки и ноги отсохли!.. Что, и теперь не верите? Чтоб я околел тут же перед вами! чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать Царствия Небесного! Еще не верите?

Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принесть шаровары и

нанковый казакин.

Я полагаю, что описывать, каким образом Иван Никифорович надевал шаровары, как ему намотали галстук и, наконец, надели казакин, который под левым рукавом лопнул, совершенно излишне. Довольно, что он во все это время сохранял приличное спокойствие и не отвечал ни слова на предложения Антона Прокофьевича — что-нибудь променять на его турецкий кисет.

Между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится наконец всеобщее желание, чтобы сии достойные люди примирились между собою; многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Городничий даже бился об заклад с кривым Иваном Ивановичем, что не придет, но разошелся только потому, что кривой Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил в заклад подстреленную свою ногу, а он кривое око, — чем городничий очень обиделся, а компания потихоньку смеялась. Никто еще не садился за стол, хотя давно уже был второй час — время, в которое в Миргороде, даже в парадных случаях, давно уже обедают.

Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен все-

ми. Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом: «Не будет». Едва только он это произнес, и уже град выговоров, браней, а может быть, и щелчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, как вдруг дверь отворилась и — вошел Иван Никифорович.

Если бы показался сам сатана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокофьевич только заливался, ухватившись за бока, от радости, что так подшутил над всею компаниею.

Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было; он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Никифорович целовался со всяким и говорил: «Очень одолжен».

Между тем запах борща понесся чрез комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Вереница дам, говорливых и молчаливых, тощих и толстых, по-

тянулась вперед, и длинный стол зарябел всеми цветами. Не стану описывать кушаньев, какие были за столом! Ничего не упомяну ни о мнишках в сметане, ни об утрибке[145], которую подавали к борщу, ни об индейке с сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединая песнь старинного повара, — о том соусе, который подавался обхваченный весь винным пламенем, что очень забавляло и вместе пугало дам. Не стану говорить об этих кушаньях потому, что мне гораздо более нравится есть их, нежели распространяться об них в разговорах.

Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул насупротив: творец небесный, как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович!

В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович!.. Нет!.. не могу!.. Дайте мне другое перо! Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом для этой картины! Лица их с отразившимся изум-

---

[145] Примечания: 145
Утрибка — кушанье из потрохов.

лением сделались как бы окаменелыми. Каждый из них увидел лицо давно знакомое, к которому, казалось бы, невольно готов подойти, как к приятелю неожиданному, и поднесть рожок с словом: «одолжайтесь», или: «смею ли просить об одолжении»; но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование! Пот катился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующие, все, сколько их ни было за столом, онемели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей. Дамы, которые до того времени были заняты довольно интересным разговором, о том, каким образом делаются каплуны, вдруг прервали разговор. Все стихло! Это была картина, достойная кисти великого художника!

Наконец Иван Иванович вынул носовой платок и начал сморкаться; а Иван Никифорович осмотрелся вокруг и остановил глаза на растворенной двери. Городничий тотчас заметил это движение и велел затворить дверь покрепче. Тогда каждый из друзей начал кушать и уже ни разу не взглянули друг на друга.

Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда городничий мигнул, и

Иван Иванович, — не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, — стал за спиною Ивана Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. Иван Иванович, что с кривым глазом, натолкнул Ивана Никифоровича, хотя и несколько косо, однако ж довольно еще удачно и в то место, где стоял Иван Иванович; но городничий сделал дирекцию слишком в сторону, потому что он никак не мог управиться с своевольною пехотою, не слушавшею на тот раз никакой команды и, как назло, закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно в противную сторону (что, может, происходило оттого, что за столом было чрезвычайно много разных наливок), так что Иван Иванович упал на даму в красном платье, которая из любопытства просунулась в самую средину. Такое предзнаменование не предвещало ничего доброго. Однако ж судья, чтоб поправить это дело, занял место городничего и, потянувши носом с верхней губы весь табак, отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону. В Миргороде это обыкновенный способ примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича,

Иван Иванович с кривым глазом уперся всею силою и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то что оба приятеля весьма упирались, однако ж таки были столкнуты, потому что обе действовавшие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей.

Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки.

— Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович! Скажите по совести, за что вы поссорились? не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед Богом!

— Я не знаю, — сказал Иван Никифорович, пыхтя от усталости (заметно было, что он был весьма не прочь от примирения), — я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу; за что же он порубил мой хлев и замышлял погубить меня?

— Не повинен ни в каком злом умысле, — говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича. — Клянусь и пред Богом и пред вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит и наносит вред моему чину и званию?

— Какой же я вам, Иван Иванович, нанес

вред? — сказал Иван Никифорович.

Еще одна минута объяснения — и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать: «Одолжайтесь».

— Разве это не вред, — отвечал Иван Иванович, не подымая глаз, — когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать?

— Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович! (при этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение), — вы обиделись за черт знает что такое: за то, что я вас назвал *гусаком*...

Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово; но уже было поздно: слово было произнесено.

Все пошло к черту!

Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в каком не дай бог видывать человека, — что ж теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убийственное слово произнесено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович

любил быть особенно приличным? Поступи Иван Никифорович не таким образом, скажи он *птица,* а не *гусак,* еще бы можно было поправить.

Но — все кончено!

Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд — и какой взгляд! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. И этот человек, образец кротости, который ни одну нищую не пропускал, чтоб не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти!

Целый месяц ничего не было слышно об Иване Ивановиче. Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт, из сундука были вынуты — что же? карбованцы! старые, дедовские карбованцы! И эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы! с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжение десяти лет!

Назад тому лет пять я проезжал чрез город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень

с своею грустно-сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень — творение скучных, беспрерывных дождей — покрывала жидкою сетью поля и нивы, к которым она так пристала, как шалости старику, розы — старухе. На меня тогда сильное влияние производила погода: я скучал, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! я двенадцать лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитых людей! Судья Демьян Демьянович уже тогда был покойником; Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже приказал долго жить. Я въехал в главную улицу; везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы: производилась какая-то новая планировка! Несколько изб было снесено. Остатки заборов и плетней торчали уныло.

День был тогда праздничный; я приказал рогоженную кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было. Церковь была пуста. Народу почти никого. Видно было, что и

самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать — больном дне, как-то были странно неприятны; темные притворы были печальны; продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и оборотился к одному почтенному старику с поседевшими волосами:

— Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?

В это время лампада вспыхнула живее пред иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые! Это был сам Иван Никифорович! Но как изменился!

— Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели!

— Да, постарел. Я сегодня из Полтавы, — отвечал Иван Никифорович.

— Что вы говорите! вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду?

— Что ж делать! тяжба…

При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал:

— Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе, и в мою пользу.

Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче.

— Иван Иванович здесь, — сказал мне кто-то, — он на крылосе.

Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые; но бекеша была все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселою улыбкою, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал:

— Уведомить ли вас о приятной новости?

— О какой новости? — спросил я.

— Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала наверное.

Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу, и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил ливмя на жида, сидевшего на козлах и накрывшегося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле,

местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. — Скучно на этом свете, господа!

Повести

Невский проспект

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть, и надобность

выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится *с* ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестию которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, — все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что

выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст: плотные содержатели магазинов и их комми еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофий; нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед, летавший вчера, как муха, с шоколадом, вылезает, с метлой в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ: иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до двенадцати часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно наполняется лицами, имеющими

свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или о семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах, с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, — никто этого не заметит.

В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличною солидностию изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки, идут величаво позади своих легеньких, вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько

выше плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время Невский проспект — педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они наконец вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец выпивших чашку кофию и чаю; к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено

приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах Провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, — предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорты помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, — пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском

проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую,

что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и, если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но, однако же, ничуть не бывало: они большею частию служат в разных департаментах, многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое; или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, — словом, большею частию всё порядочные люди. В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос,

третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстук, возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и выставка оканчивается, толпа редеет… В три часа — новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна: он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтиться по Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову: им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих; они еще не вполне оторвались от забот своих; в их голове ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел; им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии.

С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкою в руках, какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повытчика, пущенная по миру во фризовой шинели, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны, какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикюлем и книжкою в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек в демикотоновом сюртуке с талией на спине, с узенькою бородою, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару, иногда низкий ремесленник; больше никого не встретите вы на Невском проспекте.

Но как только сумерки упадут на домы и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите очень много молодых людей, большею частию холостых, в теплых сюртуках

и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами Полицейского моста. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники большею частию сидят дома, или потому, что это народ женатый, или потому, что им очень хорошо готовят кушанье живущие у них в домах кухарки-немки. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такою важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в два часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим, а более всего сидельцам, артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках гуляющим целою толпою и обыкновенно под руку.

— Стой! — закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во

фраке и плаще. — Видел?

— Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка.

— Да ты о ком говоришь?

— Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! Боже, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица — чудеса!

— Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?

— О, как можно! — воскликнул, закрасневшись, молодой человек во фраке. — Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, — продолжал он, вздохнувши, — один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!

— Простак! — закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту сторону, где развевался яркий плащ ее. — Ступай, простофиля, прозеваешь! а я пойду за блондинкою.

Оба приятеля разошлись.

«Знаем мы вас всех», — думал про себя с самодовольною и самонадеянною улыбкою Пирогов, уверенный, что нет красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человек во фраке и плаще робким и

трепетным шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ, то окидывавшийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось, и он невольно ускорял шаг свой. Он не смел и думать о том, чтобы получить какое-нибудь право на внимание улетавшей вдали красавицы, тем более допустить такую черную мысль, о какой намекал ему поручик Пирогов; но ему хотелось только видеть дом, заметить, где имеет жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетело с неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит неизвестно куда. Он летел так скоро, что сталкивал беспрестанно с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами. Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. Это исключительное сословие очень необыкновенно в том городе, где всё или чиновники, или купцы, или мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! художник в земле снегов, художник в стране финнов, где

все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно. Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив того, это большею частию добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе небрегущий об излишнем. Он вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть, с тем, чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувственную мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякий художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках. У них всегда почти на всем серенький мутный колорит — неизгладимая печать севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работою. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно,

развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на чистый воздух. Они вообще очень робки: звезда и толстый эполет приводят их в такое замешательство, что они невольно понижают цену своих произведений. Они любят иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на них слишком резким и несколько походит на заплату. На них встретите вы иногда отличный фрак и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет и сюртук весь в красках. Таким же самым образом, как на неоконченном их пейзаже увидите вы иногда нарисованную вниз головою нимфу, которую он, не найдя другого места, набросал на запачканном грунте прежнего своего произведения, когда-то писанного им с наслаждением. Он никогда не глядит вам прямо в глаза; если же глядит, то как-то мутно, неопределенно; он не вонзает в вас ястребиного взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского офицера. Это происходит оттого, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса, стоящего в его комнате, или ему представляется его же собственная картина, которую он еще думает произвесть. От этого он отвечает часто несвязно, иногда невпопад, и мешающиеся

в его голове предметы еще более увеличивают его робость. К такому роду принадлежал описанный нами молодой человек, художник Пискарев, застенчивый, робкий, но в душе своей носивший искры чувства, готовые при удобном случае превратиться в пламя. С тайным трепетом спешил он за своим предметом, так сильно его поразившим, и, казалось, дивился сам своей дерзости. Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными, как агат, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим румянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез. Все, что остается от воспоминания о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, — все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. Она взглянула на Пискарева, и при этом взгляде затрепетало его сердце; она взглянула сурово, чувство негодования проступило у ней на лице при виде такого наглого преследования; но на этом прекрасном лице и

самый гнев был обворожителен. Постигнутый стыдом и робостью, он остановился, потупив глаза; но как утерять это божество и не узнать даже той святыни, где оно опустилось гостить? Такие мысли пришли в голову молодому мечтателю, и он решился преследовать. Но, чтобы не дать этого заметить, он отдалился на дальнее расстояние, беспечно глядел по сторонам и рассматривал вывески, а между тем не упускал из виду ни одного шага незнакомки. Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише; красавица оглянулась, и ему показалось, как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки; нет, это собственные мечты смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели, и все перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице

его глаз. И все это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, он несся по легким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить быстроту своего шага, летевшего под такт сердца. Иногда овладевало им сомнение: точно ли выражение лица ее было так благосклонно, — и тогда он на минуту останавливался, но сердечное биение, непреодолимая сила и тревога всех чувств стремила его вперед. Он даже не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный дом, все четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули на него разом, и перилы у подъезда противопоставили ему железный толчок свой. Он видел, как незнакомка летела по лестнице, оглянулась, положила на губы палец и дала знак следовать за собой. Колени его дрожали; чувства, мысли горели; молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце. Нет, это уже не мечта! Боже! столько счастия в один миг! такая чудесная жизнь в двух минутах!

Но не во сне ли это все? ужели та, за один небесный взгляд которой он готов бы был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу которой уже он почитал за неизъяснимое блаженство, ужели та была сейчас так благосклонна и внимательна к

нему? Он взлетел на лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более освятило их. Это доверие, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это доверие наложило на него обет строгости рыцарской, обет рабски исполнять все повеления ее. Он только желал, чтоб эти веления были как можно более трудны и неудобоисполняемы, чтобы с бóльшим напряжением сил лететь преодолевать их. Он не сомневался, что какое-нибудь тайное и вместе важное происшествие заставило незнакомку ему довериться; что от него, верно, будут требоваться значительные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все.

Лестница вилась, и вместе с нею вились его быстрые мечты. «Идите осторожнее!» — зазвучал, как арфа, голос и наполнил все жилы его новым трепетом. В темной вышине четвертого этажа незнакомка постучала в дверь, — она отворилась, и они вошли вместе. Женщина довольно недурной наружности встретила их со свечою в руке,

но так странно и нагло посмотрела на Пискарева, что он опустил невольно свои глаза. Они вошли в комнату. Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна раскладывала карты; другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза; третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели довольно хорошие были покрыты пылью; паук застилал своею паутиною лепной карниз; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира; громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения.

Боже, куда зашел он! Сначала он не хотел верить и начал пристальнее всматриваться в предметы, наполнявшие комнату; но голые стены и окна без занавес не показывали никакого присутствия заботливой хозяйки; изношенные лица этих жалких созданий, из которых одна села почти перед его носом и так же спокойно его

рассматривала, как пятно на чужом платье, — все это уверило его, что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною образованностию и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом. Пискарев мерил ее с ног до головы изумленными глазами, как бы еще желая увериться, та ли это, которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте. Но она стояла перед ним так же хороша; волосы ее были так же прекрасны; глаза ее казались все еще небесными. Она была свежа; ей было только семнадцать лет; видно было, что еще недавно настигнул ее ужасный разврат; он еще не смел коснуться к ее щекам, они были свежи и легко оттенены тонким румянцем, — она была прекрасна.

Он неподвижно стоял перед нею и уже готов

был так же простодушно позабыться, как позабылся прежде. Но красавица наскучила таким долгим молчанием и значительно улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости; она так была странна и так же шла к ее лицу, как идет выражение набожности роже взяточника или бухгалтерская книга поэту. Он содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить что-то, но все это было так глупо, так пошло… Как будто вместе с непорочностию оставляет и ум человека. Он уже ничего не хотел слышать. Он был чрезвычайно смешон и прост, как дитя. Вместо того чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вместо того чтобы обрадоваться такому случаю, какому, без сомнения, обрадовался бы на его месте всякий другой, он бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу.

Повесивши голову и опустивши руки, сидел он в своей комнате, как бедняк, нашедший бесценную жемчужину и тут же выронивший ее в море. «Такая красавица, такие божественные черты — и где же? в каком месте!..» Вот все, что он мог выговорить.

В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой

тлетворным дыханием разврата. Пусть бы еще безобразие дружилось с ним, но красота, красота нежная… она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях. Красавица, так околдовавшая бедного Пискарева, была действительно чудесное, необыкновенное явление. Ее пребывание в этом презренном кругу еще более казалось необыкновенным. Все черты ее были так чисто образованы, все выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга; она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонников; но, увы! она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидел он перед нагоревшею свечою. Уже и полночь давно минула, колокол башни бил половину

первого, а он сидел неподвижный, без сна, без деятельного бдения. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошел лакей в богатой ливрее. В его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притом в такое необыкновенное время… Он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел на пришедшего лакея.

— Та барыня, — произнес с учтивым поклоном лакей, — у которой вы изволили за несколько часов пред сим быть, приказала просить вас к себе и прислала за вами карету.

Пискарев стоял в безмолвном удивлении: «Карету, лакей в ливрее!.. Нет, здесь, верно, есть какая-нибудь ошибка…»

— Послушайте, любезный, — произнес он с робостью, — вы, верно, не туда изволили зайти. Вас барыня, без сомнения, прислала за кем-нибудь другим, а не за мною.

— Нет, сударь, я не ошибся. Ведь вы изволили проводить барыню пешком к дому, что в Литейной, в комнату четвертого этажа?

— Я.

— Ну, так пожалуйте поскорее, барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом.

Пискарев сбежал с лестницы. На дворе точно стояла карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами — и освещенная перспектива домов с яркими вывесками понеслась мимо каретных окон. Пискарев думал во всю дорогу и не знал, как разрешить это приключение. Собственный дом, карета, лакей в богатой ливрее… — все это он никак не мог согласить с комнатою в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным фортепианом.

Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом, и его разом поразили: ряд экипажей, говор кучеров, ярко освещенные окна и звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сени с мраморными колоннами, с облитым золотом швейцаром, с разбросанными плащами и шубами, с яркою лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверх. Он уже был на ней, уже взошел в первую залу, испугавшись и попятившись

с первым шагом от ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолепных хоров, — все было для него блистательно. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звездами на фраках, дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету или сидевших рядами, он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук, дамы так были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так очаровательно потупляли глаза, что… но один уже смиренный вид Пискарева, прислонившегося с боязнию к колонне, показы-

вал, что он растерялся вовсе. В это время толпа обступила танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным созданием Парижа, в платьях, сотканных из самого воздуха; небрежно касались они блестящими ножками паркета и были более эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ими всех лучше, всех роскошнее и блистательнее одета. Невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе, и при всем том она, казалось, вовсе о нем не заботилась и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядела и не глядела на обступившую толпу зрителей, прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно, и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее.

Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее; но, к величайшей досаде, какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее беспрестанно; притом толпа его притиснула так, что он не смел податься вперед, не смел попятиться назад, опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника. Но вот он продрался-таки вперед и взглянул на свое платье,

желая прилично оправиться. Творец небесный, что это! На нем был сюртук и весь запачканный красками: спеша ехать, он позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до ушей и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться решительно было некуда: камер-юнкеры в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенною стеною. Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом поднял он глаза посмотреть, не глядит ли она на него: Боже! она стоит перед ним… Но что это? что это? «Это она!» — вскрикнул он почти во весь голос. В самом деле, это была она, та самая, которую встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу.

Она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом. «Ай, ай, ай, как хороша!..» — мог только выговорить он с захватившимся дыханием. Она обвела своими глазами весь круг, наперерыв жаждавший остановить ее внимание, но с каким-то утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! дай силы, Создатель, перенести это! жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу! Она подала знак, но не рукою, не наклонением головы, нет, в ее

сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выражением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его. Танец длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец — конец! Она села, грудь ее воздымалась под тонким дымом газа; рука ее (Создатель, какая чудесная рука!) упала на колени, сжала под собою ее воздушное платье, и платье под нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означил яркую белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее — и ничего больше! Никаких других желаний — они все дерзки… Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать.

— Вам было скучно? — произнесла она. — Я также скучала. Я замечаю, что вы меня ненавидите… — прибавила она, потупив свои длинные ресницы…

— Вас ненавидеть! мне? я… — хотел было произнесть совершенно потерявшийся Пискарев и наговорил бы, верно, кучу самых несвязных слов, но в это время подошел камергер с острыми и приятными замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он довольно приятно показывал ряд довольно недурных зубов и каждою остротою

своею вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец кто-то из посторонних, к счастию, обратился к камергеру с каким-то вопросом.

— Как это несносно! — сказала она, подняв на него свои небесные глаза. — Я сяду на другом конце зала; будьте там!

Она проскользнула между толпою и исчезла. Он как помешанный растолкал толпу и был уже там.

Так, это она! она сидела, как царица, всех лучше, всех прекраснее, и искала его глазами.

— Вы здесь, — произнесла она тихо. — Я буду откровенна перед вами: вам, верно, странными показались обстоятельства нашей встречи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу творений, в котором вы встретили меня? Вам кажутся странными мои поступки, но я вам открою тайну: будете ли вы в состоянии, — произнесла она, устремив пристально на его глаза свои, — никогда не изменить ей?

— О, буду! буду! буду!..

Но в это время подошел довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева

и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода, но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст. Он отправился вслед за нею; но толпа разделила их. Он уже не видел сиреневого платья; с беспокойством проходил он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречных, но во всех комнатах всё сидели тузы за вистом, погруженные в мертвое молчание. В одном углу комнаты спорило несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статскою; в другом люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта-труженика. Пискарев чувствовал, что один пожилой человек с почтенною наружностью схватил за пуговицу его фрака и представлял на его суждение одно весьма справедливое свое замечание, но он грубо оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно значительный орден. Он перебежал в другую комнату — и там нет ее. В третью — тоже нет. «Где же она? дайте ее мне! о, я не могу жить, не взглянувши на нее! мне хочется выслушать, что она хотела сказать», — но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, утомленный, он прижался к углу и смотрел на толпу; но напряженные глаза его начали

ему представлять все в каком-то неясном виде. Наконец ему начали явственно показываться стены его комнаты. Он поднял глаза; перед ним стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим в глубине его; вся свеча истаяла; сало было налито на столе его.

Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться? зачем было одной минуты не подождать: она бы, верно, опять явилась! Досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке… О, как отвратительна действительность! Что она против мечты? Он разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать улетевшее сновидение. Сон, точно, не замедлил к нему явиться, но представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть: то поручик Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож, то действительный статский советник, то голова чухонки, с которой он когда-то рисовал портрет, и тому подобная чепуха.

До самого полудня пролежал он в постели, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы ее обнаженная, яркая, как заоблачный снег,

рука мелькнула перед ним.

Все откинувши, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный только одного сновидения. Ни к чему не думал он притронуться; глаза его без всякого участия, без всякой жизни глядели в окно, обращенное в двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: *«Старого платья продать».* Вседневное и действительное странно поражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностию бросился в постель. Долго боролся он с бессонницею, наконец пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкий сон. «Боже, умилосердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!» Он опять ожидал вечера, опять заснул, опять снился какой-то чиновник, который был вместе и чиновник и фагот; о, это нестерпимо! Наконец она явилась! ее головка и локоны… она глядит… О, как ненадолго! опять туман, опять какое-то глупое сновидение.

Наконец сновидения сделались его жизнию, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-нибудь видел сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим

по улице, то, верно бы, принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками; взгляд его был вовсе без всякого значения, природная рассеянность наконец развилась и властительно изгоняла на лице его все чувства, все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи.

Такое состояние расстроило его силы, и самым ужасным мучением было для него то, что наконец сон начал его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, он употреблял все средства восстановить его. Он слышал, что есть средство восстановить сон — для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержавшего магазин шалей, который всегда почти, когда ни встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него, без сомнения, есть этот опиум. Персиянин принял его сидя на диване и поджавши под себя ноги.

— На что тебе опиум? — спросил он его.

Пискарев рассказал ему про свою бессонницу.

— Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица! чтобы брови были черные и очи большие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле нее и

курила трубку! слышишь? чтобы хорошая была! чтобы была красавица!

Пискарев обещал все. Персиянин на минуту вышел и возвратился с баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлил часть ее в другую баночку и дал Пискареву с наставлением употреблять не больше как по семи капель в воде. С жадностию схватил он эту драгоценную баночку, которую не отдал бы за груду золота, и опрометью побежал домой.

Пришедши домой, он отлил несколько капель в стакан с водою и, проглотив, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она! но уже совершенно в другом виде. О, как хорошо сидит она у окна деревенского светлого домика! наряд ее дышит такою простотою, в какую только облекается мысль поэта. Прическа на голове ее... Создатель, как проста эта прическа и как она идет к ней! Коротенькая косынка была слегка накинута на стройной ее шейке; все в ней скромно, все в ней — тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Как мила ее грациозная походка! как музыкален шум ее шагов и простенького платья! как хороша рука ее, стиснутая волосяным браслетом! Она говорит ему со слезою на глазах: «Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы

принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнее и скажите: разве я способна к тому, что вы думаете?» — «О! нет, нет! пусть тот, кто осмелится подумать, пусть тот…» Но он проснулся, растроганный, растерзанный, с слезами на глазах. «Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника! Я бы не отходил от холста, я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя. Я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшею мечтою, и я бы был тогда счастлив. Никаких бы желаний не простирал далее. Я бы призывал тебя, как ангела-хранителя, пред сном и бдением, и тебя бы ждал я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь… какая ужасная жизнь! Что пользы в том, что она живет? Разве жизнь сумасшедшего приятна его родственникам и друзьям, некогда его любившим? Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью!» Почти такие мысли занимали его беспрестанно. Ни о чем он не думал, даже почти ничего не ел и с нетерпением, со страстию любовника ожидал вечера и желанного видения. Беспрестанное устремление мыслей к одному наконец взяло такую власть над всем бытием его и воображением, что желанный образ являлся ему почти каждый

день, всегда в положении противуположном действительности, потому что мысли его были совершенно чисты, как мысли ребенка. Чрез эти сновидения самый предмет как-то более делался чистым и вовсе преображался.

Приемы опиума еще более раскалили его мысли, и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он.

Из всех сновидений одно было радостнее для него всех: ему представилась его мастерская, он так был весел, с таким наслаждением сидел с палитрою в руках! И она тут же. Она была уже его женою. Она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула, и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства; все в комнате его дышало раем; было так светло, так убрано. Создатель! она склонила к нему на грудь прелестную свою головку… Лучшего сна он еще никогда не видывал. Он встал после него как-то свежее и менее рассеянный, нежели прежде. В голове его родились странные мысли. «Может быть, — думал он, — она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в разврат; может

быть, движения души ее склонны к раскаянию; может быть, она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего. И неужели равнодушно допустить ее гибель, и притом тогда, когда только стоит подать руку, чтобы спасти ее от потопления?» Мысли его простирались еще далее. «Меня никто не знает, — говорил он сам себе, — да и кому какое до меня дело, да и мне тоже нет до них дела. Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение».

Составивши такой легкомысленный план, он почувствовал краску, вспыхнувшую на его лице; он подошел к зеркалу и испугался сам впалых щек и бледности своего лица. Тщательно начал он принаряжаться; приумылся, пригладил волоса, надел новый фрак, щегольской жилет, набросил плащ и вышел на улицу. Он дохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце, как выздоравливающий, решившийся выйти в первый раз после продолжительной бо-

лезни. Сердце его билось, когда он подходил к той улице, на которой нога его не была со времени роковой встречи.

Долго он искал дома; казалось, память ему изменила. Он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец один показался ему похожим. Он быстро взбежал на лестницу, постучал в дверь: дверь отворилась, и кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которою он жил, так ужасно, так страдательно, так сладко жил. Она сама стояла перед ним: он затрепетал; он едва мог удержаться на ногах от слабости, охваченный порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасна, хотя глаза ее были заспаны, хотя бледность кралась на лице ее, уже не так свежем, но она все была прекрасна.

— А! — вскрикнула она, увидевши Пискарева и протирая глаза свои (тогда было уже два часа). — Зачем вы убежали тогда от нас?

Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее.

— А я только что теперь проснулась; меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна, — прибавила она с улыбкою.

О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе

языка, чем произносить такие речи! Она вдруг показала ему, как в панораме, всю жизнь ее. Однако ж, несмотря на это, скрепившись сердцем, решился попробовать он, не будут ли иметь над нею действия его увещания. Собравшись с духом, он дрожащим и вместе пламенным голосом начал представлять ей ужасное ее положение. Она слушала его с внимательным видом и с тем чувством удивления, которое мы изъявляем при виде чего-нибудь неожиданного и странного. Она взглянула, легко улыбнувшись, на сидевшую в углу свою приятельницу, которая, оставивши вычищать гребешок, тоже слушала со вниманием нового проповедника.

— Правда, я беден, — сказал наконец после долгого и поучительного увещания Пискарев, — но мы станем трудиться; мы постараемся наперерыв, один перед другим, улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязану во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием, и мы ни в чем не будем иметь недостатка.

— Как можно! — прервала она речь с выражением какого-то презрения. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, — жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата.

— Женитесь на мне! — подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница. — Если я буду женою, я буду сидеть вот как!

При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу.

О, это уже слишком! этого нет сил перенести. Он бросился вон, потерявши чувства и мысли. Ум его помутился: глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день. Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет; на другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с признаками безумия на лице. Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконец прошла неделя, и комната все так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа; наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым

рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная душа его оставила тело.

Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий, робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта, быть может со временем бы вспыхнувшего широко и ярко. Никто не поплакал над ним; никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя и равнодушной мины городового лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту; за ним идучи, плакал один только солдат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство. Впрочем, ему было вовсе не до того: он был занят чрезвычайным происшествием. Но обратимся к нему.

Я не люблю трупов и покойников, и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу длинная погребальная процессия и инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином, нюхает левою рукою табак, потому что правая занята факелом. Я

всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка и бархатного гроба; но досада моя смешивается с грустью, когда я вижу, как ломовой извозчик тащит красный, ничем не покрытый гроб бедняка и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькое, довольно интересное созданьице. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окнах кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. «Ты, голубушка, моя!» — говорил с самоуверенностию Пирогов, продолжая свое преследование и закутавши лицо свое воротником шинели, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Но не мешает известить читателей, кто таков был поручик Пирогов.

Но прежде нежели мы скажем, кто таков был поручик Пирогов, не мешает кое-что рассказать о том обществе, к которому принадлежал Пирогов. Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере,

на обеде у статского советника или у действительного статского, который выслужил этот чин сорокалетними трудами, вы всегда найдете одного из них. Несколько бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей, из которых иные перезрели, чайный столик, фортепиано, домашние танцы — все это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет при лампе, между благонравной блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства. Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всем была та мелочь, которую любят женщины. В этом надобно отдать справедливость означенным господам. Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом: «Ах, перестаньте! не стыдно ли вам так смешить!» — бывают им часто лучшею наградою. В высшем классе они попадаются очень редко или, лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами; впрочем, они

считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове. Они не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии или даже о лесоводстве. В театре, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного из них, выключая разве если уже играются какие-нибудь «Филатки», которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус. В театре они бессменно. Это самые выгодные люди для театральной дирекции. Они особенно любят в пьесе хорошие стихи, также очень любят громко вызывать актеров; многие из них, преподавая в казенных заведениях или приготовляя к казенным заведениям, заводятся наконец кабриолетом и парою лошадей. Тогда круг их становится обширнее; они достигают наконец до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч или около того наличных и кучею брадатой родни. Однако ж этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши, по крайней мере, до полковничьего чина. Потому что русские бородки, несмотря на то что от них еще несколько отзывается капустою, никаким образом не хотят

видеть дочерей своих ни за кем, кроме генералов или, по крайней мере, полковников. Таковы главные черты этого сорта молодых людей. Но поручик Пирогов имел множество талантов, собственно ему принадлежавших. Он превосходно декламировал стихи из «Димитрия Донского» и «Горе от ума», имел особенное искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно, что вдруг мог нанизать их около десяти одно на другое. Умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе. Впрочем, оно несколько трудно перечесть все таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапорщик. Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: «Ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?» — но втайне его очень льстило это новое достоинство; он в разговоре часто старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не

другой какой офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы. Пирогов вообще показывал страсть ко всему изящному и поощрял художника Пискарева; впрочем, это происходило, может быть, оттого, что ему весьма желалось видеть мужественную физиономию свою на портрете. Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно.

Итак, Пирогов не переставал преследовать незнакомку, от времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвечала резко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли темными Казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов — за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами, с закопченным потолком. Ку-

ча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе; пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом.

Перед ним сидел Шиллер, — не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, — не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову; а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немец-

ком языке, и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только «гут морген», ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем.

«Я не хочу, мне не нужен нос! — говорил он, размахивая руками. — У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин не держит русского табаку, я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по сорок копеек; это будет рубль двадцать копеек; двенадцать раз рубль двадцать копеек — это будет четырнадцать рублей сорок копеек. Слышишь, друг мой Гофман? на один нос четырнадцать рублей сорок копеек! Да по праздникам я нюхаю рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхал два фунта рапе, по два рубля фунт. Шесть да четырнадцать — двадцать рублей сорок копеек на один табак. Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли? — Гофман, который сам был пьян, отвечал утвердительно. — Двадцать рублей сорок копеек! Я швабский немец; у меня есть король в Германии. Я не хочу носа! режь мне нос! вот мой нос!»

И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то, без всякого сомнения, Гофман отре-

зал бы ни за что ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, непрошеное лицо так некстати ему помешало. Он, несмотря на то что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов слегка наклонился и с свойственною ему приятностию сказал:

— Вы извините меня…

— Пошел вон! — отвечал протяжно Шиллер.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лице, вдруг пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал:

— Мне странно, милостивый государь… вы, верно, не заметили… я офицер…

— Что такое офицер! Я — швабский немец. Мой сам (при этом Шиллер ударил кулаком по столу) будет офицер: полтора года юнкер, два года поручик, и я завтра сейчас офицер. Но я не хочу служить. Я с офицером сделает этак: фу! — при этом Шиллер подставил ладонь и фукнул на нее.

Поручик Пирогов увидел, что ему больше ни-

чего не оставалось, как только удалиться; однако ж такое обхождение, вовсе не приличное его званию, ему было неприятно. Он несколько раз останавливался на лестнице, как бы желая собраться с духом и подумать о том, каким бы образом дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом; к тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила:

— Что вам угодно?

— А, здравствуйте, моя миленькая! вы меня не узнали? плутовочка, какие хорошенькие глазки! — при этом поручик Пирогов хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок.

Но блондинка произнесла пугливое восклицание и с тою же суровостию спросила:

— Что вам угодно?

— Вас видеть, больше ничего мне не угодно, — произнес поручик Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе; но, заметив, что

пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь, прибавил: — Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне сделать шпоры? хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не нужно шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!

Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода.

— Я сейчас позову моего мужа, — вскрикнула немка и ушла, и через несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходившего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. Взглянувши на офицера, он припомнил, как в смутном сне, происшествие вчерашнего дня. Он ничего не помнил в таком виде, в каком было, но чувствовал, что сделал какую-то глупость, и потому принял офицера с очень суровым видом.

— Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей, — произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении. Шиллер любил пить совершенно без свидетелей, с двумя, тремя приятелями, и запирался на это время даже от своих работников.

— Зачем же так дорого? — ласково сказал Пи-

рогов.

— Немецкая работа, — хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок. — Русский возьмется сделать за два рубля.

— Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей.

Шиллер минуту оставался в размышлении: ему, как честному немцу, сделалось немного совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше двух недель не может сделать. Но Пирогов без всякого прекословия изъявил совершенное согласие.

Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу, чтобы она действительно стоила пятнадцать рублей. В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчивостью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось.

— Мейн фрау! — закричал он.

— Вас волен зи дох? — отвечала блондинка.

— Гензи на кухня!

Блондинка удалилась.

— Так через две недели? — сказал Пирогов.

— Да, через две недели, — отвечал в размышлении Шиллер, — у меня теперь очень много работы.

— До свидания! я к вам зайду.

— До свидания, — отвечал Шиллер, запирая за ним дверь.

Поручик Пирогов решился не оставлять своих исканий, несмотря на то что немка оказала явный отпор. Он не мог понять, чтобы можно было ему противиться, тем более что любезность его и блестящий чин давали полное право на внимание. Надобно, однако же, сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа.

Впрочем, глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере, я знал много мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышит в них миловидностью; но исчезни она — и женщине нужно быть в двадцать раз умнее мужчины,

чтобы внушить к себе если не любовь, то, по крайней мере, уважение. Впрочем, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда верна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии; но с победою препятствий всегда соединяется наслаждение, и блондинка становилась для него интереснее день ото дня. Он начал довольно часто осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это наконец наскучило. Он употреблял все усилия, чтобы окончить скорее начатые шпоры; наконец шпоры были готовы.

— Ах, какая отличная работа! — закричал поручик Пирогов, увидевши шпоры. — Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет этаких шпор.

Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер — умный человек», — думал он сам про себя.

— Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, к кинжалу или другим вещам?

— О, очень могу, — сказал Шиллер с улыбкою.

— Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я вам принесу; у меня очень хороший турецкий кин-

жал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую.

Шиллера это как бомбою хватило. Лоб его вдруг наморщился. «Вот тебе на!» — подумал он про себя, внутренне ругая себя за то, что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, притом же русский офицер похвалил его работу. Он, несколько покачавши головою, изъявил свое согласие; но поцелуй, который, уходя, Пирогов влепил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение.

Я почитаю не излишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером. Шиллер был совершенный немец, в полном смысле всего этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, в которое русский живет на фуфу, уже Шиллер размерил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье. Он положил себе в течение десяти лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели

немец решится переменить свое слово. Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек, и если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни одной копейки, но уменьшал только количество, и хотя оставался иногда несколько голодным, но, однако же, привыкал к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп; впрочем, в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однако же, он всегда бранил. Пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается один. Напротив, он, как немец, пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с столяром Кунцом, тоже немцем и большим пьяницею. Таков был характер благородного Шиллера, который наконец был приведен в чрезвычайно затруднительное положение. Хотя он был флегматик и немец, однако ж поступки Пирогова возбудили в нем что-то похожее на ревность. Он ломал голову и не мог придумать,

каким образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем Пирогов, куря трубку в кругу своих товарищей, — потому что уже так Провидение устроило, что где офицеры, там и трубки, — куря трубку в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятною улыбкою об интрижке с хорошенькою немкою, с которою, по словам его, он уже совершенно был накоротке и которую он на самом деле едва ли не терял уже надежды преклонить на свою сторону.

В один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами; к величайшей радости своей, увидел он головку блондинки, свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручкою и сказал: «Гут морген!» Блондинка поклонилась ему как знакомому.

— Что, ваш муж дома?

— Дома, — отвечала блондинка.

— А когда он не бывает дома?

— Он по воскресеньям не бывает дома, — сказала глупенькая блондинка.

«Это недурно, — подумал про себя Пирогов, — этим нужно воспользоваться».

И в следующее воскресенье как снег на голову

явился пред блондинкою. Шиллера действительно не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показал всю красоту своего гибкого перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными словами. Наконец, заходивши со всех сторон и видя, что ничто не может занять ее, он предложил ей танцевать. Немка согласилась в одну минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом Пирогов очень много основывал свою надежду: во-первых, это уже доставляло ей удовольствие, во-вторых, это могло показать его торнюру и ловкость, в-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и проложить начало всему; короче, он выводил из этого совершенный успех. Он начал какой-то гавот, зная, что немкам нужна постепенность. Хорошенькая немка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее целовать. Немка начала кричать и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова; он ее засыпал поцелуями. Как вдруг дверь отворилась, и вошел Шиллер с Гофманом

и столяром Кунцом. Все эти достойные ремесленники были пьяны как сапожники.

Но я предоставляю самим читателям судить о гневе и негодовании Шиллера.

— Грубиян! — закричал он в величайшем негодовании, — как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русский офицер. Черт побери, мой друг Гофман, я немец, а не русская свинья!

Гофман отвечал утвердительно.

— О, я не хочу иметь роги! бери его, мой друг Гофман, за воротник, я не хочу, — продолжал он, сильно размахивая руками, причем лицо его было похоже на красное сукно его жилета. — Я восемь лет живу в Петербурге, у меня в Швабии мать моя, и дядя мой в Нюренберге; я немец, а не рогатая говядина! прочь с него всё, мой друг Гофман! держи его за рука и нога, камрат мой Кунц!

И немцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился он отбиваться; эти три ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события.

Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке, что он дрожал как лист, ожидая с

минуты на минуту прихода полиции, что он Бог знает чего бы не дал, чтобы все происходившее вчера было во сне. Но что уже было, того нельзя переменить. Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в Главный штаб. Если же Главный штаб определит недостаточным наказание, тогда прямо в Государственный совет, а не то самому государю.

Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту; к девяти часам он успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоить генерала, притом он, без сомнения, куда-нибудь отозван, и потому он отправился на вечер к одному правителю Контрольной коллегии, где

было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров.

«Дивно устроен свет наш! — думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия. — Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, — тогда как другой, которого сердце горит лошадиною страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною в арку Главного штаба, но, увы! должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша!»

Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Нев-

скому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему вовсе офицера? Совсем нет, он говорит о Лафайете. Вы думаете, что эти дамы… но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Но Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради Бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, все

дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.

Нос
I

Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его — где изображен господин с намыленною щекою и надписью: «И кровь отворяют» — не выставлено ничего более), цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала из печи только что испеченные хлебы.

— Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофию, — сказал Иван Яковлевич, — а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком.

(То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.) «Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше, — подумала про се-

бя супруга, — останется кофию лишняя порция». И бросила один хлеб на стол.

Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное! — сказал он сам про себя, — что бы это такое было?»

Он засунул пальцы и вытащил — нос!.. Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! и еще, казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою.

— Где это ты, зверь, отрезал нос? — закричала она с гневом. — Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся.

Но Иван Яковлевич был ни жив ни мертв. Он узнал, что этот нос был не чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил

каждую середу и воскресенье.

— Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок; пусть там маленечко полежит, а после его вынесу.

— И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции?.. Ах ты пачкун, бревно глупое! Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!

Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал — и не знал, что подумать.

— Черт его знает, как это сделалось, — сказал он наконец, почесав рукою за ухом. — Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..

Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага… и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и

сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но, на беду, ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас запросом: «Куда идешь?», или: «Кого так рано собрался брить?» — так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив: «Подыми! вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице, по мере того как начали отпираться магазины и лавочки.

Он решился идти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях.

Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя

каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно небрит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий; то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках; воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!» — то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» — «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою — одним словом, где только ему была охота.

Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост: много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд; Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в кон-

це моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил:

— А подойди сюда, любезный!

Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедши проворно, сказал:

— Желаю здравия вашему благородию!

— Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?

— Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволька отвечать!

— Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия, — отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки! Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?

Иван Яковлевич побледнел… Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно.

II

Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: «брр…» — что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно, нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа!.. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.

Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощию ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные

рода. Ученые коллежские асессоры… Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка, — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, — ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только: здесь ли живет майор Ковалев? — тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором.

Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно

видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные, румяные щеки и очень хорошо играют в бостон: эти бакенбарды идут по самой средине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано: середа, четверг, понедельник и проч. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то — экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа преглупое, ровное и гладкое место.

Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. «Но авось-либо мне так представилось: не может

быть, чтобы нос пропал сдуру», — подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастию, в кондитерской никого не было; мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки; на столах и стульях валялись залитые кофием вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет, — произнес он, — теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул. «Черт знает что, какая дрянь! — произнес он, плюнувши. — Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»

С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы то ни

стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Чрез две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: «Подавай!» — сел и уехал.

Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, — был в мундире! Он побежал за каретою, которая, к счастию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором.

Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его

стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.

«Как подойти к нему? — думал Ковалев. — По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!»

Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.

— Милостивый государь… — сказал Ковалев, внутренне принуждая себя ободриться, — милостивый государь…

— Что вам угодно? — отвечал нос, оборотившись.

— Мне странно, милостивый государь… мне кажется… вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? — в церкви. Согласитесь…

— Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить… Объяснитесь…

«Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал:

— Конечно, я… впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить… притом будучи

во многих домах знаком с дамами: Чехтарева, статская советница, и другие… Вы посудите сами… я не знаю, милостивый государь. (При этом майор Ковалев пожал плечами.) Извините… если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести… вы сами можете понять…

— Ничего решительно не понимаю, — отвечал нос. — Изъяснитесь удовлетворительнее.

— Милостивый государь… — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, — я не знаю, как понимать слова ваши… Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно… Или вы хотите… Ведь вы мой собственный нос!

Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились.

— Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству.

Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.

Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья; подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею

тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.

Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос… Но носа уже не было; он успел ускакать, вероятно опять к кому-нибудь с визитом.

Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел

назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем; но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такою быстротою, что трудно было даже приметить; но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма; дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоначальник в сенате, большой приятель, который вечно в бостоне обремизивался, когда играл восемь. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему…

— А, черт возьми! — сказал Ковалев. — Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!

Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю ивановскую!»

— У себя обер-полицмейстер? — вскричал он, зашедши в сени.

— Никак нет, — отвечал привратник, — только что уехал.

— Вот тебе раз!

— Да, — прибавил привратник, — оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома.

Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом:

— Пошел!

— Куда? — сказал извозчик.

— Пошел прямо!

— Как прямо? тут поворот: направо или налево?

Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в Управу благочиния, не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах; искать же удовлетворения по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного и он мог так

же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в Управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города, — и тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего Боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само Небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! скорей, мошенник!» — «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стегая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на болонке. Дрожки наконец остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник, в старом фраке и очках, сидел за столом и,

взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.

— Кто здесь принимает объявления? — закричал Ковалев. — А, здравствуйте!

— Мое почтение, — сказал седой чиновник, поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег.

— Я желаю припечатать…

— Позвольте. Прошу немножко повременить, — произнес чиновник, ставя одною рукою цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.

Лакей с галунами и наружностию, показывавшею пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола, с запискою в руках, и почел приличным показать свою общежительность:

— Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит восьми гривен, то есть я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей-богу, любит, — и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей! Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны: уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя; не пожалей пятисот, тысячу дай, но зато уж чтоб была собака хорошая.

Почтенный чиновник слушал это с значитель-

ною миною и в то же время занимался сметою: сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения; в другой — малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дворовая девка девятнадцати лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ; прочные дрожки без одной рессоры; молодая горячая лошадь в серых яблоках, семнадцати лет от роду; новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса; дача со всеми угодьями: двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов желающих купить старые подошвы, с приглашением явиться к переторжке каждый день от восьми до трех часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ; но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился Бог знает в каких местах.

— Милостивый государь, позвольте вас попросить… Мне очень нужно, — сказал он наконец с

нетерпением.

— Сейчас, сейчас! Два рубля сорок три копейки! Сию минуту! Рубль шестьдесят четыре копейки! — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза. — Вам что угодно? — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.

— Я прошу… — сказал Ковалев, — случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение.

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых: Чехтарева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша… Вдруг узнают, Боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский асессор, или, еще лучше, состоящий в майорском чине.

— А сбежавший был ваш дворовый человек?

— Какое дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество! Сбежал от меня… нос…

— Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?

— Нос то есть… вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт

хотел подшутить надо мною!

— Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.

— Да я не могу вам сказать, каким образом; но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите, в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог — и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой; Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне теперь… Мне теперь к ним нельзя явиться.

Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы.

— Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах, — сказал он наконец после долгого молчания.

— Как? отчего?

— Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то…

И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.

— Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.

— Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расчету пришлось два рубля семьдесят три копейки, и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения.

— Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом себе.

— Нет, такого объявления я никак не могу поместить.

— Да когда у меня точно пропал нос!

— Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.

— Клянусь вам, вот как Бог свят! Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.

— Зачем беспокоиться! — продолжал чиновник, нюхая табак. — Впрочем, если не в беспокойство, — прибавил он с движением любопытства, — то желательно бы взглянуть.

Коллежский асессор отнял от лица платок.

— В самом деле, чрезвычайно странно! — сказал чиновник, — место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!

— Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен; и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться…

Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличать.

— Напечатать-то, конечно, дело небольшое, — сказал чиновник, — только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле» (тут он понюхал еще раз табаку) для пользы юношества (тут он утер нос) или так, для общего любопытства.

Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза в низ газеты, где было

извещение о спектаклях; уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карман: есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах, — но мысль о носе все испортила!

Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах:

— Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? это разбивает головные боли и печальные расположения; даже в отношении к геморроидам это хорошо.

Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко повернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке.

Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.

— Я не понимаю, как вы находите место шуткам, — сказал он с сердцем, — разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб черт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный

ваш березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе.

Сказавши это, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты; шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную треугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его; и он, после боевой, бранной жизни готовился вкусить удовольствия мира.

Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя; и не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь, — обыкновенно говорил он, — уж нет ничего лучше этой вещи: есть не просит, места займет немного, в кармане

всегда поместится, уронишь — не расшибется».

Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть (из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов), что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам.

То есть не в бровь, а прямо в глаз! Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить…» — и вышел.

Он приехал домой, едва слыша под собою ноги.

Были уже сумерки. Печальною или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его; он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»

Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ.

Вошедши в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресла и наконец после нескольких вздохов сказал:

— Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастие? Будь я без руки или без ноги — все бы это лучше; будь я без ушей — скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин, — просто возьми да и вышвырни за окошко! И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиною; но ведь пропал ни за что ни про что, пропал даром, ни за грош!.. Только нет, не может быть, — прибавил он, немного подумав. — Невероятно, чтобы нос пропал; никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или

просто грезится; может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которою вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее.

Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с тою мыслию, что авось-либо нос покажется на своем месте; но в ту же минуту отскочил назад, сказавши:

— Экой пасквильный вид!

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное; но пропасть, и кому же пропасть? и притом еще на собственной квартире!.. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами,

сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было сорок два года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан: никто не входил к нему в комнату; цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел — это он помнил и знал очень хорошо; притом была бы им чувствуема боль, и, без сомнения, рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы: звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность.

Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнес-

ший:

— Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?

— Войдите. Майор Ковалев здесь, — сказал Ковалев, вскочивши поспешно и отворяя дверь.

Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исакиевского моста.

— Вы изволили затерять нос свой?

— Так точно.

— Он теперь найден.

— Что вы говорите? — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба на стоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. — Каким образом?

— Странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастию, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но

ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит.

Ковалев был вне себя.

— Где же он? Где? Я сейчас побегу.

— Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был.

При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.

— Так, он! — закричал Ковалев. — Точно, он! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю.

— Почел бы за большую приятность, но никак не могу: мне нужно заехать отсюда в смирительный дом… Очень большая поднялась дороговизна на все припасы… У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие надежды: очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких…

Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который,

расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего с своею телегою как раз на бульвар.

Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать: в такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.

— Так, он, точно он! — говорил майор Ковалев. — Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня.

Майор чуть не засмеялся от радости.

Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первою уже не так жива; в третью минуту она становится еще слабее и наконец незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено: нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место.

— А что, если он не пристанет?

При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел.

С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О ужас! Нос не приклеивался!.. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек; но нос никаким образом не держался.

— Ну! ну же! полезай, дурак! — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. — Неужели он не прирастет? — говорил он в испуге. Но сколько раз ни подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно.

Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в бельэтаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую, здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти

три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастие, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такою силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: «Гм!» Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: «Гм!» — и в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал:

— Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его; но я вас уверяю, что это для вас хуже.

— Вот хорошо! как же мне оставаться без носа? — сказал Ковалев. — Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что! Куда же

я с этакою пасквильностию покажуся? Я имею хорошее знакомство; вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком: статская советница Чехтарева, Подточина — штаб-офицерша… хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только чрез полицию. Сделайте милость, — произнес Ковалев умоляющим голосом, — нет ли средства? как-нибудь приставьте; хоть не хорошо, лишь бы только держался; я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства…

— Верите ли, — сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим, — что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос; но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, бу-

дете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом или, еще лучше, влить туда две столовые ложки острой водки и подогретого уксуса, — и тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь.

— Нет, нет! ни за что не продам! — вскричал отчаянный майор Ковалев, — лучше пусть он пропадет!

— Извините! — сказал доктор, откланиваясь, — я хотел быть вам полезным… Что ж делать! По крайней мере, вы видели мое старание.

Сказавши это, доктор с благородною осанкою вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки.

Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания:

«Милостивая государыня
Александра Григорьевна!
Не могу понять странного со стороны

вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой. Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствие волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я с своей стороны почитаю долгом вас предуведомить: если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов.

Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть.

Ваш покорный слуга

Платон Ковалев».

«Милостивый государь
Платон Кузьмич!

Чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он, точно, искал руки моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовою к услугам вашим

Александра Подточина».

«Нет, — говорил Ковалев, прочитавший письмо. — Она точно не виновата. Не может быть! Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении. — Коллежский асессор был в этом сведущ потому, что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области. — Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» — сказал он наконец, опустив руки.

Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице, и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера — и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор почтенной наружности, с бакенбар-

дами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за восемьдесят копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу; но, к большому негодованию своему, увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшою бородкою, — картинку, уже более десяти лет висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою: «Как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?»

Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда еще проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов Хирургической академии отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и,

если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей.

Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим… но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.

III

Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не бывало вновь на своем

месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля седьмого числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он: нос! — хвать рукою — точно нос! «Эге!» — сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тот же час дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало: нос! Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало: нос!

— А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик, — сказал он и между тем думал: «Вот беда, как Иван скажет: да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет!»

Но Иван сказал:

— Ничего-с, никакого прыщика: нос чистый!

«Хорошо, черт побери!» — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала.

— Говори вперед: чисты руки? — кричал еще издали ему Ковалев.

— Чисты.

— Врешь!

— Ей-богу-с, чисты, сударь.

— Ну, смотри же.

Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновенье с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах.

«Вишь ты! — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувши на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку. — Вона! эк его, право, как подумаешь», — продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца, с тем чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.

— Ну, ну, ну, смотри! — закричал Ковалев.

Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою; и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил.

Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в

кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» — а сам в ту же минуту к зеркалу: есть нос! Он весело оборотился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал об вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя чрез приемную, он взглянул в зеркало: есть нос! Потом поехал он к другому коллежскому асессору, или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну, уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогою он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что ни есть, сидит на своем месте». Но коллежский асессор ничего. «Хорошо, хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаньями: стало быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая

про себя: «Вот, мол, вам, бабьё, куриный народ! а на дочке все-таки не женюсь. Так просто, par amour, — изволь!» И майор Ковалев с тех пор прогуливался как ни в чем не бывало и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже как ни в чем не бывало сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в Гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена.

Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского советника, — как Ковалев не смекнул, что нельзя чрез газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо! И

опять тоже — как нос очутился в печеном хлебе и как сам Иван Яковлевич?.. нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непонятнее всего, — это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это…

А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже… ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают.

Портрет
Часть I

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, — вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтриса

Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей — куча. Какой-нибудь забулдыга лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит.

В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье

показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренне смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Еруслановъ Лазаревичей,* на *объедал* и *обпивал,* на *Фому* и *Ерему,* это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пестрых, грязных масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесл, бездарность, которая была верна, однако

ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!.. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже наконец не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой, не бритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно.

— Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет; только что получены с биржи; еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима! — Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно чтобы показать всю доброту зимы. — Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку.

— Постой, брат, не так скоро, — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал:

— А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь, — и, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малеванья, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, — словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров.

Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку: «Сюда, батюшка, вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены». Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и от-

правился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты.

Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит», — и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет

на землю.

— А что ж, возьмите портрет! — сказал хозяин.

— А сколько? — сказал художник.

— Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!

— Нет.

— Ну, да что ж дадите?

— Двугривенный, — сказал художник, готовясь идти.

— Эк цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вот только что первый покупатель.

Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай картина!»

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? на что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились; досада и равнодушная пустота обняли его в ту же мину-

ту. «Черт побери! гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой легкий тон!» — и слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг.

Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в Пятнадцатую линию на Васильевский остров. С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались наконец позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика,

краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе не заметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожею, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване,

он наконец спросил свечу.

— Свечи нет, — сказал Никита.

— Как нет?

— Да ведь и вчера еще не было, — сказал Никита.

Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

— Да вот еще, хозяин был, — сказал Никита.

— Ну, приходил за деньгами? знаю, — сказал художник, махнув рукой.

— Да он не один приходил, — сказал Никита.

— С кем же?

— Не знаю, с кем… какой-то квартальный.

— А квартальный зачем?

— Не знаю зачем; говорит, затем, что за квартиру не плачено.

— Ну, что ж из того выйдет?

— Я не знаю, что выйдет; он говорил: коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще прийти оба.

— Пусть их приходят, — сказал с грустным равнодушием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом,

пророчившим многое; вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат, — говорил ему не раз его профессор, — у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится — ты им занят, а прочее у тебя дрянь, прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна; ты уж гоняешься за модным освещеньем, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском… Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство — пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет».

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щеголь-

нуть — словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним; но он уже прозревал в них кое-что, хотя внутренне не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда,

когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда наконец сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображенье участь богача-живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить все и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении.

— Да! терпи, терпи! — произнес он с досадою. — Есть же наконец и терпенью конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята недаром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, попытки — и всё будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? да и кому нужны рисунки с антиков из натурного класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца?

Что, в самом деле? Зачем я мучусь и, как ученик, копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами.

Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел: на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпенье; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!» Ему

пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это? — невольно вопрошал себя художник. — Ведь это, однако же, натура, это живая натура; отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким,

нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он ни великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца».

Он опять подошел к портрету, с тем чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего

из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно, сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив; но воображенье и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он наконец робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширму и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный

тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего.

Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сиянье месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но наконец уже в самом деле… он видит, видит ясно: простыни уже нет… портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему вовнутрь… У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам… Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который наконец становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы ста-

рик. И вот он глянул, точно, за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть — и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движенье — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе, и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено: *«1000 червонных»*. Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других, у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его

и, полный страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам, — видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка. И вот — он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул — и проснулся.

Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться; грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову, но страшная живость явленья не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее где холст, где гипсо-

вую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищеные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постеле, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это уже не сон: черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать… С воплем отчаянья отскочил он — и проснулся.

«Неужели и это был сон?» С биющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постеле в таком точно положенье, как заснул. Пред ним ширмы; свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах — виден был портрет, закрытый как следует простынею, — так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он

вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это!» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся.

И это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара как домового, бред ли горячки или живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненье и расколыхнувшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо: изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь,

лег в постель и скоро заснул как убитый, самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара; голова его неприятно болела. В комнате было тускло; неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил наконец весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображенье так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них необыкновенно страшного; только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, что это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в

самом взгляде и выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него. Ему казалось, что, если бы он держал покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения.

«Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» — сказал он, тяжело вздохнувши, и в воображенье его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью: «1000 червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянье оторваться от такого предмета, — как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чартков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в Пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской

стороне или в отдаленном углу Коломны, — творенье, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп; но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для того чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать; одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки.

— Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич, — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки, — вот не платит за квартиру, не платит.

— Что ж, если нет денег? Подождите, я запла-

чу.

— Мне, батюшка, ждать нельзя, — сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке, — у меня вот Потогонкин, подполковник, живет, семь лет уж живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимает на два стойла, три при ней дворовых человека, — вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.

— Да, уж если порядились, так извольте платить, — сказал квартальный надзиратель, с небольшим потряхиваньем головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.

— Да чем платить? — вопрос. У меня нет теперь ни гроша.

— В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича издельями своей профессии, — сказал квартальный, — он, может быть, согласится взять картинами.

— Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика нарисовал, мужика

в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него, свиньи, портрет рисовать; ему я шею наколочу: он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее, со всем сором и дрязгом, какой ни валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, изволите сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна… Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец: свинья свиньей живет, просто не приведи Бог.

И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриваньем картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлениям.

— Хе, — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина, — предмет, того… игривый. А у этого зачем так под носом черно? табаком, что ли, он себе засыпал?

— Тень, — отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чартков.

— Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место

отнести, а под носом слишком видное место, — сказал квартальный, — а это чей портрет? — продолжал он, подходя к портрету старика, — уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный; ахти, да он просто глядит! Эх, какой Громобой! С кого вы писали?

— А это с одного… — сказал Чартков и не кончил слова: послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих; боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Чарткову бросилась в глаза надпись: «1000 червонных». Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившейся вниз от тяжести.

— Никак, деньги зазвенели, — сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движенья, с какою бросился Чартков прибрать.

— А вам какое дело знать, что у меня есть?

— А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру; что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, — вот что.

— Ну, я заплачу ему сегодня.

— Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите?

— Потому что этих денег мне не хотелось трогать; я ему сегодня же ввечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.

— Ну, Иван Иванович, он вам заплатит, — сказал квартальный, обращаясь к хозяину. — А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня ввечеру, тогда уж извините, господин живописец.

Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумье.

— Слава богу, черт их унес! — сказал Чартков, когда услышал затворившуюся в передней дверь.

Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетаньем разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно

их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, и все еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: «Не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета?» Полный романического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою: не связано ли существованье портрета с его собственным существованьем, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение? Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желоб, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз; они уже не казались ему страшными, но все еще в душе оставалось всякий

раз невольно неприятное чувство. «Нет, — сказал он сам в себе, — чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновенья. «Что с ними сделать? — думал он, уставив на них глаза. — Теперь я обеспечен, по крайней мере, на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет; куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником».

Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но извнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем двадцать два года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после

долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в… и прочее, — и он, схвативши деньги, был уже на улице.

Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстухов, более, нежели было нужно, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторану-французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил

он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе, так что остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем.

Все вещи и все, что ни было: станок, холст, картины — были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже — забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чартков, Чартков! видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!» Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате, уносился невесть куда. На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретен-

ных сальных свечах статья с таким заглавием: *«О необыкновенных талантах Чарткова»:* «Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен: отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж — всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной

яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил фамильярность)! Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою».

С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно — это было для него новостию; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза «Виват, Андрей Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству — честь, доныне ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился на кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его; он побежал отворять. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с

дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее.

— Вы мсьё Чартков? — сказала дама.

Художник поклонился.

— Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства. — Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. — А где же ваши портреты?

— Вынесли, — сказал художник, несколько смешавшись, — я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге… не доехали.

— Вы были в Италии? — сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесть его.

— Нет, я не был, но хотел быть… впрочем, теперь покамест я отложил… Вот кресла-с, вы устали?..

— Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон наконец вижу вашу работу! — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. — C'est charmant! Lise, Lise, venez ici! Комната во вкусе Теньера, видишь: беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль, — видишь, как пыль нари-

сована! C'est charmant! А вот на другом холсте женщина, моющая лицо, — quelle jolie figure! Ах, мужичок! Lise, Lise, мужичок в русской рубашке! смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?

— О, это вздор… Так, шалил… этюды…

— Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той… как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была любительница живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии). Однако мсьё Ноль… ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсьё Ноля?

— Кто этот Ноль? — спросил художник.

— Мсьё Ноль. Ах, какой талант! он написал с нее портрет, когда ей было только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Lise, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет.

— Как же, я готов сию минуту.

И в одно мгновенье придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз

в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико.

— Знаете ли, — сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, — я бы хотела… на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли; я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща… чтобы

незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств… простоты, простоты чтобы было больше.

Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми.

Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все это в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали — и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии, одним движеньем кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который наконец начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.

— Довольно, на первый раз довольно, — сказала дама.

— Еще немножко, — говорил позабывшийся

художник.

— Нет, пора! Lise, три часа! — сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула: — Ах, как поздно!

— Минуточку только, — говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.

Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.

«Это, однако ж, досадно, — подумал про себя Чартков, — рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте — пиши с него сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор

он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком, в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем и опять проехался в карете по городу без всякой нужды.

Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представля-

лась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери. «Ах, зачем это? это не нужно, — говорила дама. — У вас тоже… вот, в некоторых местах… как будто бы несколько желто и вот здесь совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; и что это ему только так кажется. «Но позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской», — сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко не располо-

жена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивленье, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это

было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумленья и всплеснули руками.

— Lise, Lise! Ах, как похоже! Superbe, superbe! Как хорошо вы вздумали, что одели ее в грече-

ский костюм. Ах, какой сюрприз!

Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестясь и потупя голову, он произнес тихо:

— Это Психея.

— В виде Психеи? C'est charmant! — сказала мать, улыбнувшись, причем улыбнулась также и дочь. — Не правда ли, Lise, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи? Quelle idée délicieuse! Но какая работа! Это Корредж. Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет.

Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи.

«Что мне с ними делать? — подумал художник. — Если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется», — и произнес вслух:

— Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.

— Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не… она так теперь похожа.

Но художник понял, что опасенья были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выраженья глазам. А по

справедливости, ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходства с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали наконец выходить яснее из облика Психеи.

— Довольно! — сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось наконец уже чересчур близко.

Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатьем руки, приглашеньем на обеды; словом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но, на беду, это всё был народ, с которым было трудно ладить, народ торопливый, занятой или же принадлежащий свету, — стало

быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выраженье и не углубляться кистью в утонченные подробности; одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумленье художника: та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая мечтательность, третья во что бы ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался наконец в одну точку, не больше булавочной головки. И,

несмотря на все это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном, энергическом повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс; гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «Всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требованья: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положенье и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости

своей кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.

Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его званье, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам; одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля

писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не все хорошо и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут натурально, невольным образом доходило дело и до себя.

— Нет, я не понимаю, — говорил он, — напряженья других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне, труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня, — говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям, — этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я… я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это уж ремесло, а не художество.

Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его ки-

сти, издавали даже восклицания, услышав, как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу: «Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!»

Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался, как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде и, будто бы ненарочно, показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положенье и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал и, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему невмочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека, — все это уносило его далеко

от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения, и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они всё еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Чарткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарованье в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.

Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенности

ума и лет; стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные: «почтенный наш Андрей Петрович», «заслуженный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников, — не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех, вступающих в такие лета, укорять без изъятья молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновенья свыше нет и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразья. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда все, дышащее порывом, сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательней в его заман-

чивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадается в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердца человек, которому кажутся они движущимися каменными гробами с мертвецом внутри наместо сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.

В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом, присланном из Италии, произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил

в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, — в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд и в не развлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, нещегольским нарядом. Ему не было нужды, сердилась ли или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, все отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданьях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в

нем прекрасно, и наконец оставил себе в учители одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял наконец себе настольною книгой одну только «Илиаду» Гомера, открыв, что в ней все есть, чего хочешь, и что нет ничего, что бы не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши в залу, Чартков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиогномию знатока и приблизился к картине; но, Боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления

созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Все тут, казалось, соединилось вместе: изученье Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты все, вперившие глаза на картину, — ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась наконец в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли,

миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда наконец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников, вроде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что; видно, что хотел он выразить что-то; однако же, что касается до главного…» И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.

С минуту, неподвижный и бесчувственный, стоял он посреди своей великолепной мастер-

ской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить все это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных

сведений и первых основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынесть прочь из своей мастерской все последние произведенья, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблагодарно было все то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!

«Но точно ли был у меня талант? — сказал он наконец, — не обманулся ли я?» И, произнесши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачужке на

уединенном Васильевском острову, вдали людей, изобилья и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. «Да, — проговорил он отчаянно, — у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы…»

Он остановился и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращенья, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побужденья, погубившие его талант, — почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту же минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волненье оттого не умирилось: все чувства

и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться; ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду; ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслажденья. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни

одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворялся тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова и вечного порицанья, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии, попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточна отравить потом весь день.

К счастию мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, со-

единенная с самою быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных

его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

Часть II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпой посетителей, налетевших, как хищные птицы на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и даже толкучего рынка, в синих немецких сюртуках. Вид их и выраженье лиц

были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то что в этой же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа; наконец, те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владете-

ля, может быть, не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты — все было навалено, и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно: в нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусствам. Все это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатленья.

Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: «Рубль, рубль, рубль», — не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа

хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз был реставрирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, с необыкновенным, странным выраженьем в лице; но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли вниманье почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набили неимоверную. Остались только два известные аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретенья. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес:

— Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякий другой, имею право на этот портрет.

Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное

лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: все показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших.

— Как ни странны вам покажутся слова мои, — продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, — но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Всё меня уверяет, что портрет есть тот самый, которого я ищу.

Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того как рассказ его становился занимательней.

— Вам известна та часть города, которую называют Коломною. — Так он начал. — Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие

молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофию да на четыре сахару, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, — людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра; иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой

обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за двенадцать часов ночи.

Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут всё пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц, даже с кофием поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеют из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в

шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи — таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина моста до толкучего рынка, с тем чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние.

Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам; и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности

и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в душах их всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один… но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один — существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависнувшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение,

вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы, — с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва, по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих — это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распущенные слухи — это осталось неизвестно. Но несколько примеров,

случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны.

Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучи денег и наконец расстроился. Но, полный великодушного движенья, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и наконец обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинени-

ях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда, на беду, случилась французская революция. Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чудились намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал наконец подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть наконец престола. Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не

во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волненье и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне: ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды — все соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь.

Другой разительный пример произошел тоже в

виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слиянье нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом, и рыцарскими, великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандисон во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положенье дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и спустя непродолжительное время является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе

разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог наверно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорных поклонников. Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом дви-

женье неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и, без сомнения, заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя — и в ужаснейших муках окончил жизнь.

Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волоса и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки… словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что все это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и,

словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерную высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды — все, казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: «Дьявол, совершенный дьявол!» Но надобно вас поскорее познакомить с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории.

Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедший, по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою; одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом «невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы, и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул сам собой истинное значение слова «историческая живопись»; постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет tableau de genre, несмотря на все притязанья художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное

убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно и резко. «Что на них глядеть, — обыкновенно говорил он, — ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймет меня — поблагодарит, не поймет — все-таки помолится Богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи; зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях, — зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет! Всякому свое, всякий пусть занимается своим. По мне, уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит». Он работал за небольшую плату, то есть за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и

для доставленья возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику; веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, знаю только то — на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ; ему хотелось осуществить в лице его все тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно: «Вот бы с кого мне следовало написать дьявола». Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь, и вслед за тем прямо вошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней

дрожи, которая пробежала невольно по его телу.

— Ты художник? — сказал он без всяких церемоний моему отцу.

— Художник, — сказал отец в недоуменье, ожидая, что будет далее.

— Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?

Отец мой подумал: «Чего лучше? — он сам просится в дьяволы ко мне на картину». Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые старинными коврами, и, наконец, сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним, — все это произвело на него странное впечатление. Окна, как нарочно, были заставлены и загромождены снизу так, что давали свет только с одной верхушки. «Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо!» — сказал он про себя и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещенье. «Экая сила! — повторил он про

себя. — Если я хотя вполовину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов; они побледнеют пред ним. Какая дьявольская сила! он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты!» — повторял он беспрестанно, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальною точностью всякую незаметную черту и выраженье. Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать их точно, как были в натуре. Однако же во что бы то ни стало он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну… Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращенье, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней

тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего зависит судьба его и существование в мире, что уже он тронул своею кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти и палитру и бросился опрометью вон из комнаты.

Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. Ввечеру того же дни узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тем с этого времени оказалась

в характере его ощутительная перемена: он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему за то свое особенное расположение. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец, к довершенью досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нет, не дам же молокососу восторжествовать! — говорил он. — Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь! Еще, слава богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь». И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался; добился наконец того, что на картину объявлен был конкурс и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно,

это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника, точно, есть много таланта, — сказал он, — но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был, к неописанной своей досаде, услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь.

На этом движенье застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не заносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело все, что попадалось, и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.

— Что ты делаешь, что собираешься жечь? — сказал он и подошел к портрету. — Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя.

— А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне, — сказал отец, сделавши движенье швырнуть его в камин.

— Остановись, ради Бога! — сказал приятель, удержав его, — отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз.

Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.

По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей

зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес:

— Нет, это Бог наказал меня; картина моя поделом понесла посрамленье. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться в ней.

Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался сколько мог загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал:

— Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное… Я ведьмам не верю, но, воля твоя: в нем сидит

нечистая сила…

— Как? — сказал отец мой.

— А так, что с тех пор как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую… точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие… я и сам не умею сказать, сны ли это или что другое: точно домовой тебя душит, и все мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта!

Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и наконец спросил:

— И портрет теперь у твоего племянника?

— Куда у племянника! не выдержал, — сказал весельчак, — знать, душа самого ростовщика

переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате; и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук.

Этот рассказ произвел сильное впечатление на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и наконец совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзанья зависти, и проч., и проч. Три случившиеся вслед за тем несчастия, три внезапные смерти — жены, дочери и малолетнего сына — почел он небесною казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный

образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконец уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословенья настоятеля в пустынь, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых. Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было Рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не

выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было, точно, чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смиренья и кротости в лице Пречистой Матери, склонившейся над Младенцем, глубокий разум в очах Божественного Младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам Его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, — все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатление было магическое. Вся братья поверглась на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая, высшая сила водила твоею кистью, и благословенье Небес почило на труде твоем».

В это время окончил я свое ученье в Академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию — лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне

оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже двенадцать лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бденья. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец! И следов изможденья не было заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякий мой собрат сделал то же.

— Я ждал тебя, сын мой, — сказал он, когда я подошел к его благословенью. — Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть та-

лант; талант есть драгоценнейший дар Бога — не погуби его. Исследуй, изучай все, что ни видишь, покори всё кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волненья мирского; во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, — во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всею страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и

примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты…

Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако.

— Есть одно происшествие в моей жизни, — сказал он. — Доныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существованье дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным природе. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, — не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассевает томительные впечатленья, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя Всевышний

от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его, и указывает на него пальцем, и толкуют об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна.

Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах.

— Исполни, сын мой, одну мою просьбу, — сказал он мне уже при самом расставанье. — Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению, — во что бы то ни было истреби его…

Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжение целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь, на аукционе…

Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену, с тем чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова: «Украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманьем слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.

Шинель

В департаменте… но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем *одним департаментом.* Итак, *в одном департаменте* служил *один чиновник;* чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по

обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным… Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на

кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уже если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель

мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите», или «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского ост-

роумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с сво-

ими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным…

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать,

чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать

под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные

на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, — когда все уже отдохнуло после департаментского скрыпенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек, — когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер — истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, — словом, даже в то время,

когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, — словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, — Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра? Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому

советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рас-

смотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка; сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачиванье других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило, точно, мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, — разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то, нечего делать, подавайте нам и Петровича

сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям, и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и

мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: «Не лезет, варварка; уела ты меня, шельма этакая!» Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражем, или, как выражалась жена его, «осадился сивухой, одноглазый черт». В таком состоянии

Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакиевич невольно выговорил:

— Здравствуй, Петрович!

— Здравствовать желаю, сударь, — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.

— А я вот к тебе, Петрович, того…

Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «Это,

право, совершенно того…» — а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.

— Что же такое? — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и петлей, — что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных: это первое, что он сделает при встрече.

— А я вот того, Петрович… шинель-то, сукно… вот видишь, везде в других местах, совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того… на спине, да еще вот на плече одном немного попротерлось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и все. И работы немного…

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках

и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и наконец сказал:

— Нет, нельзя поправить: худой гардероб!

У Акакия Акакиевича при этих словах екнуло сердце.

— Отчего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребенка, — ведь только всего что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки…

— Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, — сказал Петрович, — да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет.

— Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.

— Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, подержка больно велика. Только слава что сукно, а подуй ветер, так разлетится.

— Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того!..

— Нет, — сказал Петрович решительно, — ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время,

наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам придется новую делать.

При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки.

— Как же новую? — сказал он, все еще как будто находясь во сне, — ведь у меня и денег на это нет.

— Да, новую, — сказал с варварским спокойствием Петрович.

— Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того…

— То есть что будет стоить?

— Да.

— Да три полсотни с лишком надо будет приложить, — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.

— Полтораста рублей за шинель! — вскрикнул бедный Акакий Акакиевич, вскрикнул, может быть, в первый раз от роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

— Да-с, — сказал Петрович, — да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу да пустить капишон на шелковой подкладке, так и в двести войдет.

— Петрович, пожалуйста, — говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов, — как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.

— Да нет, это выйдет: и работу убивать и деньги попусту тратить, — сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный.

А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. «Этаково-то дело этакое, — говорил он сам себе, — я, право, и не думал, чтобы оно вышло того… — а потом, после некоторого молчания, прибавил: — Так вот как! наконец вот что вышло,

а я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак». Засим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: «Так этак-то! вот какое уж, точно, никак неожиданное, того… этого бы никак… этакое-то обстоятельство!» Сказавши это, он, вместо того чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: «Чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле самом сердечном и близком. «Ну нет, — сказал Акакий Акакиевич, — теперь с Петровичем нельзя толковать: он теперь того…

жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром: он после канунешной субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговорчивее и шинель тогда и того…» Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. «Нельзя, — сказал, — извольте заказать новую». Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек. «Благодарствую, судырь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье, — сказал Петрович, — а уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим».

Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал: «Уж новую я вам сошью беспременно, в этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода: воротник будет застегивать-

ся на серебряные лапки под аплике».

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же, в самом деле, на что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уж размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге, — словом, все деньги совершенно должны были разойтися; и если бы даже директор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных определил бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что ты с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за

восемьдесят рублей возьмется сделать; однако все же откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и, таким образом, в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на сорок рублей. Итак, половина была в руках; но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти на цыпочках,

чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали

самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «ух!» и перекрестился. В продолжение каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей; уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца небольшого голодания — и у Акакия Акакиевича набралось точно около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень

хорошего — и немудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей — меньше никак нельзя было: все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это было… трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно

крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки, он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава, — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору. Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево; а на Нев-

ском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича.

Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: «Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник». Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь чрез то случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия

Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил, для сравненья, прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постеле, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и всё, что ни есть в Петербурге, все улицы и домы слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города, — стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по

мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками, — напротив, всё попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на все это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши, таким образом, всю ногу, очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе не знакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохра-

няется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: «Ну, уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того...» А может быть, даже и этого не подумал — ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать все, что он ни думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели всё шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и

смутно поразили слух его беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его и шинель и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это: шум, говор и толпа людей, — все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более что уж давно наступило то время, в которое он, по обыкновению, ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили вы-

пить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшею на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Ско-

ро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.

Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшей на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», — подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя!» — сказал

один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову, примолвив: «А вот только крикни!» Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он, вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял

шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь

представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: спит; он пришел в одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так что наконец Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай в его

жизни). На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же, многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю, — итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему; а лучше всего, чтобы он обратился к одному *значительному лицу,* что *значительное лицо,* спишась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился идти

к *значительному лицу.* Какая именно и в чем состояла должность *значительного лица,* это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что *одно значительное лицо* недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность; чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже, таким образом, доходило дело до него. Так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши

ее «комнатой присутствия», и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в «комнате присутствия» насилу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи *значительного лица* были солидны и величественны, но не многосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и — строгость», — говаривал он обыкновенно и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе; завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал стоя ввытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с

пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамилиярно, и не уронит ли он чрез то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то *значительному лицу* явился наш Акакий Акакиевич, и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знако-

мым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то чиновник». — «А! может подождать, теперь не время», — сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович!» — «Этак-то, Степан Варламович!» Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник; скажите ему, что он может войти». Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он оборотился к

нему вдруг и сказал: «Что вам угодно?» — голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заране у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц «того», что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с господином обер-полицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамилиярным.

— Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне…

— Но, ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую

горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, — я, ваше превосходительство, осмелился утрудить потому, что секретари того… ненадежный народ…

— Что, что, что? — сказал значительное лицо. — Откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших!

Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет.

— Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.

Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное

лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того,

чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины; а впрочем, тут же объявил ему чрез полтора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог». Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горемычной своей жизни, — ничего этого не известно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство!» — то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав

от него ничего подобного, тем более что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство». Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, Бог знает: в этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвы-

чайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как обрушивалось на царей и повелителей мира… Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож, с приказанием немедленно явиться: начальник-де требует; но сторож должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может больше прийти, и на запрос «почему?» выразился словами: «Да так, уж он умер, четвертого дня похоронили». Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание.

По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у

Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели, и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы — словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно будочник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом

месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку приморо-женный нос свой; но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он, точно, в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: «Эй, ты, ступай своею дорогою!» — и мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили *одно значительное лицо,* который, по-настоящему, едва ли не был причиною фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде

всего долг справедливости требует сказать, что *одно значительное лицо* скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как и нельзя ли в самом деле чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что всего лучше — все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его

расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен — словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского — средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать его руку, приговаривая: «bonjour, papa». Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше

и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: «К Каролине Ивановне», — а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг; многие из них он даже повторял вполголоса и нашел, что они всё так же смешны, как и прежде, а потому немудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг Бог знает откуда и невесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя, таким образом, вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал *значительное лицо,* что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник.

Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, — отдавай же теперь свою!» Бедное *значительное лицо* чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: «У, какой характер!» — но здесь он, подобно весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!» Кучер, услышавши голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в

плечи, замахнулся кнутом и помчался как стрела. Минут в шесть с небольшим значительное лицо уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?»; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как

показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак, — итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» — и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего», — да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.

Записки сумасшедшего

Октября 3.

Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Я встал поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил, который час. Услышавши, что уже давно било десять, я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит: «Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой? Ты иной раз метаешься как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет, в титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера». Проклятая цапля! он, верно, завидует, что я сижу в директорском кабинете и очиниваю перья для его превосходительства. Словом, я не пошел бы в департамент, если бы не надежда видеться с казначеем и авось-либо выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь из жалованья вперед. Вот еще создание! Чтобы он выдал когда-нибудь вперед за месяц деньги — Господи Боже мой, да скорее Страшный суд придет. Проси, хоть тресни, хоть будь в раз-

нужде, — не выдаст, седой черт. А на квартире собственная кухарка бьет его по щекам. Это всему свету известно. Я не понимаю выгод служить в департаменте. Никаких совершенно ресурсов. Вот в губернском правлении, гражданских и казенных палатах совсем другое дело: там, смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкой, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую он дачу нанимает! Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси к нему: «Это, говорит, докторский подарок»; а ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в триста. С виду такой тихенькой, говорит так деликатно: «Одолжите ножичка починить перышко», — а там обчистит так, что только одну рубашку оставит на просителе. Правда, у нас зато служба благородная, чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению, столы из красного дерева, и все начальники на *вы.* Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент.

Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел проливной дождик. На улицах не было никого; одни только бабы, накрывшись полами платья, да русские купцы под зонтиками, да курьеры попадались мне на глаза. Из благород-

ных только наш брат чиновник попался мне. Я увидел его на перекрестке. Я, как увидел его, тотчас сказал себе: «Эге! нет, голубчик, ты не в департамент идешь, ты спешишь вон за тою, что бежит впереди, и глядишь на ее ножки». Что это за бестия наш брат чиновник! Ей-богу, не уступит никакому офицеру: пройди какая-нибудь в шляпке, непременно зацепит. Когда я думал это, увидел подъехавшую карету к магазину, мимо которого я проходил. Я сейчас узнал ее: это была карета нашего директора. «Но ему незачем в магазин, — я подумал, — верно, это его дочка». Я прижался к стенке. Лакей отворил дверцы, и она выпорхнула из кареты, как птичка. Как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами… Господи, Боже мой! пропал я, пропал совсем. И зачем ей выезжать в такую дождевую пору. Утверждай теперь, что у женщин не велика страсть до всех этих тряпок. Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться как можно более, потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона. Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие, один на другом; да и сукно совсем не дегатированное. Собачонка ее, не успевши вскочить в дверь ма-

газина, осталась на улице. Я знаю эту собачонку. Ее зовут Меджи. Не успел я пробыть минуту, как вдруг слышу тоненький голосок: «Здравствуй, Меджи!» Вот тебе на! кто это говорит? Я обсмотрелся и увидел под зонтиком шедших двух дам: одну старушку, другую молоденькую; но они уже прошли, а возле меня опять раздалось: «Грех тебе, Меджи!» Что за черт! я увидел, что Меджи обнюхивалась с собачонкою, шедшею за дамами. «Эге! — сказал я сам себе, — да полно, не пьян ли я? Только это, кажется, со мною редко случается». — «Нет, Фидель, ты напрасно думаешь, — я видел сам, что произнесла Меджи, — я была, ав! ав! я была, ав, ав, ав! очень больна». Ах ты ж, собачонка! Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящею по-человечески. Но после, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда же перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю. Но, признаюсь, я гораздо более удивился, когда Меджи сказала: «Я писала

к тебе, Фидель; верно, Полкан не принес письма моего!» Да чтоб я не получил жалованья! Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин. Оно, конечно, некоторые и купчики-конторщики и даже крепостной народ пописывает иногда; но их писание большею частью механическое: ни запятых, ни точек, ни слога.

Это меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал. «Пойду-ка я, — сказал я сам себе, — за этой собачонкою и узнаю, что она и что такое думает».

Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец к Кокушкину мосту и остановились перед большим домом. «Этот дом я знаю, — сказал я сам себе. — Это дом Зверкова». Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько приезжих! а нашей братьи чиновников — как собак, один на другом сидит. Там есть и у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Дамы взошли в пятый этаж. «Хорошо, — подумал я, — теперь не пойду, а замечу место и при первом

случае не премину воспользоваться».

Октября 4.

Сегодня середа, и потому я был у нашего начальника в кабинете. Я нарочно пришел пораньше и, засевши, перечинил все перья. Наш директор должен быть очень умный человек. Весь кабинет его уставлен шкафами с книгами. Я читал название некоторых: всё ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет: всё или на французском, или на немецком. А посмотреть в лицо ему: фу, какая важность сияет в глазах! Я еще никогда не слышал, чтобы он сказал лишнее слово. Только разве, когда подашь бумаги, спросит: «Каково на дворе?» — «Сыро, ваше превосходительство!» Да, не нашему брату чета! Государственный человек. Я замечаю, однако же, что он меня особенно любит. Если бы и дочка… эх, канальство!.. Ничего, ничего, молчание! Читал «Пчелку». Эка глупый народ французы! Ну, чего хотят они? Взял бы, ей-богу, их всех, да и перепорол розгами! Там же читал очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут. После этого заметил я, что уже било половину первого, а наш не выходил из своей спальни. Но около половины второго случилось происшествие, которого

никакое перо не опишет. Отворилась дверь, я думал, что директор, и вскочил со стула с бумагами; но это была она, она сама! Святители, как она была одета! платье на ней было белое, как лебедь: фу, какое пышное! а как глянула: солнце, ей-богу, солнце! Она поклонилась и сказала: «Папá здесь не было?» Ай, ай, ай! какой голос! Канарейка, право, канарейка! «Ваше превосходительство, — хотел я было сказать, — не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою». Да, черт возьми, как-то язык не поворотился, и я сказал только: «Никак нет-с». Она поглядела на меня, на книги и уронила платок. Я кинулся со всех ног, подскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа, однако ж удержался и достал платок. Святые, какой платок! тончайший, батистовый — амбра, совершенная амбра! так и дышит от него генеральством. Она поблагодарила и чуть-чуть усмехнулась, так что сахарные губки ее почти не тронулись, и после этого ушла. Я еще час сидел, как вдруг пришел лакей и сказал: «Ступайте, Аксентий Иванович, домой, барин уже уехал из дому». Я терпеть не могу лакейского круга: всегда развалится в передней, и хоть бы головою потрудился кивнуть. Этого мало: один раз одна

из этих бестий вздумала меня, не вставая с места, потчевать табачком. Да знаешь ли ты, глупый холоп, что я чиновник, я благородного происхождения. Однако ж я взял шляпу и надел сам на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадут, и вышел. Дома большею частию лежал на кровати. Потом переписал очень хорошие стишки: «Душеньки часок не видя, Думал, год уж не видал; Жизнь мою возненавидя, Льзя ли жить мне, я сказал». Должно быть, Пушкина сочинение. Ввечеру, закутавшись в шинель, ходил к подъезду ее превосходительства и поджидал долго, не выйдет ли сесть в карету, чтобы посмотреть еще разик, — но нет, не выходила.

Ноября 6.

Разбесил начальник отделения. Когда я пришел в департамент, он подозвал меня к себе и начал мне говорить так: «Ну, скажи, пожалуйста, что ты делаешь?» — «Как что? Я ничего не делаю», — отвечал я. «Ну, размысли хорошенько! ведь тебе уже за сорок лет — пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себе? Ты думаешь, я не знаю всех твоих проказ? Ведь ты волочишься за директорскою дочерью? Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? ведь ты нуль, более ничего. Ведь у тебя нет ни гроша за душою. Взгляни хоть в зер-

кало на свое лицо, куды тебе думать о том!» Черт возьми, что у него лицо похоже несколько на аптекарский пузырек, да на голове клочок волос, завитый хохолком, да держит ее кверху, да примазывает ее какою-то розеткою, так уже думает, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отчего он злится на меня. Ему завидно; он увидел, может быть, предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный советник! вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги по тридцати рублей — да черт его побери! я разве из каких-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских детей? Я дворянин. Что ж, и я могу дослужиться. Мне еще сорок два года — время такое, в которое, по-настоящему, только что начинается служба. Погоди, приятель! будем и мы полковником, а может быть, если Бог даст, то чем-нибудь и побольше. Заведем и мы себе репутацию еще и получше твоей. Что ж ты себе забрал в голову, что, кроме тебя, уже нет вовсе порядочного человека? Дай-ка мне ручевский фрак, сшитый по моде, да повяжи я себе такой же, как ты, галстук, — тебе тогда не стать мне и в подметки. Достатков нет — вот беда.

Ноября 8.

Был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся. Был еще какой-то водевиль с забавными стишками на стряпчих, особенно на одного коллежского регистратора, весьма вольно написанные, так что я дивился, как пропустила цензура, а о купцах прямо говорят, что они обманывают народ и что сынки их дебошничают и лезут в дворяне. Про журналистов тоже очень забавный куплет: что они любят всё бранить и что автор просит от публики защиты. Очень забавные пьесы пишут нынче сочинители. Я люблю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане — никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братьи чиновников есть такие свиньи: решительно не пойдет, мужик, в театр; разве уже дашь ему билет даром. Пела одна актриса очень хорошо. Я вспомнил о той… эх, канальство!.. ничего, ничего… молчание.

Ноября 9.

В восемь часов отправился в департамент. Начальник отделения показал такой вид, как будто бы он не заметил моего прихода. Я тоже с своей стороны, как будто бы между нами ничего не было. Пересматривал и сверял бумаги. Вышел в четыре часа. Проходил мимо директорской квартиры, но никого не было видно. После обеда

большею частию лежал на кровати.

Ноября 11.

Сегодня сидел в кабинете нашего директора, починил для него двадцать три пера и для ее, ай! ай!.. для ее превосходительства четыре пера. Он очень любит, чтобы стояло побольше перьев. У! должен быть голова! Все молчит, а в голове, я думаю, все обсуживает. Желалось бы мне узнать, о чем он больше всего думает; что такое затевается в этой голове. Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и придворные штуки — как они, что они делают в своем кругу, — вот что бы мне хотелось узнать! Я думал несколько раз завести разговор с его превосходительством, только, черт возьми, никак не слушается язык: скажешь только, холодно или тепло на дворе, а больше решительно ничего не выговоришь. Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиною еще в одну комнату. Эх, какое богатое убранство! Какие зеркала и фарфоры! Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее превосходительство, — вот куда хотелось бы мне! В будуар: как там стоят все эти баночки, скляночки, цветы такие, что и дохнуть на них страшно; как лежит там разбросанное ее платье,

больше похожее на воздух, чем на платье. Хотелось бы заглянуть в спальню… там-то, я думаю, чудеса, там-то, я думаю, рай, какого и на небесах нет. Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она становит, вставая с постели, свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек… ай! ай! ай! ничего, ничего… молчание.

Сегодня, однако ж, меня как бы светом озарило: я вспомнил тот разговор двух собачонок, который слышал я на Невском проспекте. «Хорошо, — подумал я сам в себе, — я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянные собачонки. Там я, верно, кое-что узнаю». Признаюсь, я даже подозвал было к себе один раз Меджи и сказал: «Послушай, Меджи, вот мы теперь одни; я, когда хочешь, и дверь запру, так что никто не будет видеть, — расскажи мне все, что знаешь про барышню, что она и как? Я тебе побожусь, что никому не открою». Но хитрая собачонка поджала хвост, съежилась вдвое и вышла тихо в дверь так, как будто бы ничего не слышала. Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека; я даже был уверен, что она может говорить, но что в ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политик: все замечает, все шаги человека. Нет, во что бы то ни

стало, я завтра же отправляюсь в дом Зверкова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу все письма, которые писала к ней Меджи.

Ноября 12.

В два часа пополудни отправился с тем, чтобы непременно увидеть Фидель и допросить ее. Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской; к тому же из-под ворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускают копоти и дыму из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться. Когда я пробрался в шестой этаж и зазвонил в колокольчик, вышла девчонка, не совсем дурная собою, с маленькими веснушками. Я узнал ее. Это была та самая, которая шла вместе со старушкою. Она немножко закраснелась, и я тотчас смекнул: ты, голубушка, жениха хочешь. «Что вам угодно?» — сказала она. «Мне нужно поговорить с вашей собачонкой». Девчонка была глупа! я сейчас узнал, что глупа! Собачонка в это время прибежала с лаем; я хотел ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за нос. Я увидал, однако же, в углу ее лукошко. Э, вот этого мне и нужно! Я подошел к нему, перерыл

солому в деревянной коробке и, к необыкновенному удовольствию своему, вытащил небольшую связку маленьких бумажек. Скверная собачонка, увидевши это, сначала укусила меня за икру, а потом, когда пронюхала, что я взял бумаги, начала визжать и ластиться, но я сказал: «Нет, голубушка, прощай!» — и бросился бежать. Я думаю, что девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотел было тот же час приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свечах несколько дурно вижу. Но Мавра вздумала мыть пол. Эти глупые чухонки всегда некстати чистоплотны. И потому я пошел прохаживаться и обдумывать это происшествие. Теперь-то наконец я узна́ю все дела, помышления, все эти пружины и доберусь наконец до всего. Эти письма мне всё откроют. Собаки народ умный, они знают все политические отношения, и потому, верно, там будет все: портрет и все дела этого мужа. Там будет что-нибудь и о той, которая… ничего, молчание! К вечеру я пришел домой. Большею частию лежал на кровати.

Ноября 13.

А ну, посмотрим: письмо довольно четкое. Однако же в почерке все есть как будто что-то

собачье. Прочитаем:

Милая Фидель, я все не могу привыкнуть к твоему мещанскому имени. Как будто бы уже не могли дать тебе лучшего? Фидель, Роза — какой пошлый тон! однако ж все это в сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать друг к другу.

Письмо писано очень правильно. Пунктуация и даже буква <ять> везде на своем месте. Да эдак просто не напишет и наш начальник отделения, хотя он и толкует, что где-то учился в университете. Посмотрим далее:

Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете.

Гм! мысль почерпнута из одного сочинения, переведенного с немецкого. Названия не припомню.

Я говорю это по опыту, хотя и не бегала по свету далее ворот нашего дома. Моя ли жизнь не протекает в удовольствии? Моя барышня, которую папа называет Софи, любит меня без памяти.

Ай, ай!.. ничего, ничего. Молчание!

Папа тоже очень часто ласкает. Я пью чай и

кофий со сливками. Ах, ma chère, я должна тебе сказать, что я вовсе не вижу удовольствия в больших обглоданных костях, которые жрет на кухне наш Полкан. Кости хороши только из дичи, и притом тогда, когда еще никто не высосал из них мозга. Очень хорошо мешать несколько соусов вместе, но только без каперсов и без зелени; но я не знаю ничего хуже обыкновения давать собакам скатанные из хлеба шарики. Какой-нибудь сидящий за столом господин, который в руках своих держал всякую дрянь, начнет мять этими руками хлеб, подзовет тебя и сунет тебе в зубы шарик. Отказаться как-то неучтиво, ну и ешь; с отвращением, а ешь…

Черт знает что такое! Экой вздор! Как будто бы не было предмета получше, о чем писать. Посмотрим на другой странице. Не будет ли чего подельнее.

Я с большою охотою готова тебя уведомлять о всех бывающих у нас происшествиях. Я уже тебе кое-что говорила о главном господине, которого Софи называет папá. Это очень странный человек.

А! вот наконец! Да, я знал: у них политический взгляд на все предметы. Посмотрим, что папá:

…очень странный человек. Он больше молчит. Говорит очень редко; но неделю назад беспрестанно говорил сам с собою: «Получу или не получу?» Возьмет в одну руку бумажку, другую сложит пустую и говорит: «Получу или не получу?» Один раз он обратился и ко мне с вопросом: «Как ты думаешь, Меджи? получу или не получу?» Я ровно ничего не могла понять, понюхала его сапог и ушла прочь. Потом, та chère, через неделю папа пришел в большой радости. Все утро ходили к нему господа в мундирах и с чем-то поздравляли. За столом он был так весел, как я еще никогда не видала, отпускал анекдоты, а после обеда поднял меня к своей шее и сказал: «А посмотри, Меджи, что это такое». Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромата; наконец потихоньку лизнула: соленое немного.

Гм! Эта собачонка, мне кажется, уже слишком… чтобы ее не высекли! А! так он честолюбец! Это нужно взять к сведению.

Прощай, та chère, я бегу и прочее… и прочее… Завтра окончу письмо. Ну, здравствуй! Я теперь снова с тобою. Сегодня барышня моя Софи…

А! ну, посмотрим, что Софи. Эх, канальство!..

Ничего, ничего… будем продолжать.

…барышня моя Софи была в чрезвычайной суматохе. Она собиралась на бал, и я обрадовалась, что в отсутствие ее могу писать к тебе. Моя Софи всегда чрезвычайно рада ехать на бал, хотя при одевании всегда почти сердится. Я никак не понимаю, ma chère, удовольствия ехать на бал. Софи приезжает с балу домой в шесть часов утра, и я всегда почти угадываю по ее бледному и тощему виду, что ей, бедняжке, не давали там есть. Я, признаюсь, никогда бы не могла так жить. Если бы мне не дали соуса с рябчиком или жаркого куриных крылышек, то… я не знаю, что бы со мною было. Хорош также соус с кашкою. А морковь, или репа, или артишоки никогда не будут хороши…

Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною. Посмотрим-ка еще в одно письмецо. Что-то длинновато. Гм! и числа не выставлено.

Ах, милая! как ощутительно приближение весны. Сердце мое бьется, как будто все чего-то ожидает. В ушах у меня вечный шум, так что я часто, поднявши ножку, стою несколько минут, прислушиваясь к дверям. Я тебе открою, что у

меня много куртизанов. Я часто, сидя на окне, рассматриваю их. Ах, если б ты знала, какие между ними есть уроды. Иной преаляповатый, дворняга, глуп страшно, на лице написана глупость, преважно идет по улице и воображает, что он презнатная особа, думает, что так на него и заглядятся все. Ничуть. Я даже и внимания не обратила, так как бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается перед моим окном! Если бы он стал на задние лапы, чего, грубиян, он, верно, не умеет, — то он бы был целою головою выше папá моей Софи, который тоже довольно высокого роста и толст собою. Этот болван, должно быть, наглец преужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало. Хотя бы поморщился! высунул свой язык, повесил огромные уши и глядит в окно — такой мужик! Но неужели ты думаешь, ma chère, что сердце мое равнодушно ко всем исканиям, — ах нет… Если бы ты видела одного кавалера, перелезающего через забор соседнего дома, именем Трезора. Ах, ma chère, какая у него мордочка!

Тьфу, к черту!.. Экая дрянь!.. И как можно наполнять письма эдакими глупостями. Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека; я требую пищи — той, которая бы питала и услаждала мою

душу; а вместо того эдакие пустяки… перевернем через страницу, не будет ли лучше:

…Софи сидела за столиком и что-то шила. Я глядела в окно, потому что я люблю рассматривать прохожих. Как вдруг вошел лакей и сказал: «Теплов!» — «Проси, — закричала Софи и бросилась обнимать меня… — Ах, Меджи, Меджи! Если б ты знала, кто это: брюнет, камер-юнкер, а глаза какие! черные и светлые, как огонь», — и Софи убежала к себе. Минуту спустя вошел молодой камер-юнкер с черными бакенбардами, подошел к зеркалу, поправил волоса и осмотрел комнату. Я поворчала и села на свое место. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье; а я себе так, как будто не замечая ничего, продолжала глядеть в окошко; однако ж голову наклонила несколько набок и старалась услышать, о чем они говорят. Ах, ma chère! о каком вздоре они говорили! Они говорили о том, как одна дама в танцах вместо одной какой-то фигуры сделала другую; также, что какой-то Бобов был очень похож в своем жабо на аиста и чуть было не упал; что какая-то Лидина воображает, что у ней голубые глаза, между тем как они зеленые, — и тому подобное. «Куда ж, — подумала я сама в себе, — если сравнить камер-юнкера с Трезором!» Небо! какая

разница! Во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерскою. А глаза, приемы, ухватки совершенно не те. О, какая разница! Я не знаю, та chère, что она нашла в своем Теплове. Отчего она так им восхищается?..

Мне самому кажется, здесь что-нибудь да не так. Не может быть, чтобы ее мог так обворожить камер-юнкер. Посмотрим далее:

Мне кажется, если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папá в кабинете. Ах, та chère, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке…

Какой же бы это чиновник?..

Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папа всегда посылает его вместо слуги.

Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где ж у меня волоса как сено?

Софи никак не может удержаться от смеха,

когда глядит на него.

Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкий язык! Как будто я не знаю, что это дело зависти. Как будто я не знаю, чьи здесь штуки. Это штуки начальника отделения. Ведь поклялся же человек непримиримою ненавистью — и вот вредит да и вредит, на каждом шагу вредит. Посмотрим, однако же, еще одно письмо. Там, может быть, дело раскроется само собою.

Ma chère Фидель, ты извини меня, что так давно не писала. Я была в совершенном упоении. Подлинно справедливо сказал какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. Притом же у нас в доме теперь большие перемены. Камер-юнкер теперь у нас каждый день. Софи влюблена в него до безумия. Папá очень весел. Я даже слышала от нашего Григория, который метет пол и всегда почти разговаривает сам с собою, что скоро будет свадьба; потому что папá хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за камер-юнкером, или за военным полковником…

Черт возьми! я не могу более читать… Всё или камер-юнкер, или генерал. Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам. Найдешь себе бедное богатство,

думаешь достать его рукою, — срывает у тебя камер-юнкер или генерал. Черт побери! Желал бы я сам сделаться генералом: не для того, чтобы получить руку и прочее, нет, хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные придворные штуки и экивоки, и потом сказать им, что я плюю на вас обоих. Черт побери. Досадно! Я изорвал в клочки письма глупой собачонки.

Декабря 3.

Не может быть. Враки! Свадьбе не бывать! Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинство; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков. Ведь сколько примеров по истории: какой-нибудь простой, не то уже чтобы дворянин, а просто какой-нибудь

мещанин или даже крестьянин, — и вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, а иногда даже и государь. Когда из мужика да иногда выходит эдакое, что же из дворянина может выйти? Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире: у меня и на правом плече эполета, и на левом плече эполета, через плечо голубая лента — что? как тогда запоет красавица моя? что скажет и сам папа́, директор наш? О, это большой честолюбец! это масон, непременно масон, хотя он и прикидывается таким и эдаким, но я тотчас заметил, что он масон: он если даст кому руку, то высовывает только два пальца. Да разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором, или интендантом, или там другим каким-нибудь? Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?

Декабря 5.

Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и оттого происходят возмущения. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол упразднен? Говорят, какая-то донна должна взойти на престол. Не

может взойти донна на престол. Никак не может. На престоле должен быть король.

Да, говорят, нет короля, — не может статься, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности. Он, статься может, находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как то: Франции и других земель, заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины.

Декабря 8.

Я было уже совсем хотел идти в департамент, но разные причины и размышления меня удержали. У меня всё не могли выйти из головы испанские дела. Как же может это быть, чтобы донна сделалась королевою? Не позволят этого. И, во-первых, Англия не позволит. Да притом и дела политические всей Европы: австрийский император, наш государь… Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Мавра замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно, я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы. Ничего поучительного не

мог извлечь. Большею частию лежал на кровати и рассуждал о делах Испании.

Год 2000 апреля 43 числа.

Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Сначала я объявил Мавре, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля. Я, однако же, старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее уверить в благосклонности, и что я вовсе не сержусь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги. Ведь

это черный народ. Им нельзя говорить о высоких материях. Она испугалась оттого, что находится в уверенности, будто все короли в Испании похожи на Филиппа II. Но я растолковал ей, что между мною и Филиппом нет никакого сходства и что у меня нет ни одного капуцина… В департамент не ходил… Черт с ним! Нет, приятели, теперь не заманите меня; я не стану переписывать гадких бумаг ваших!

Мартобря 86 числа. Между днем и ночью.

Сегодня приходил наш экзекутор с тем, чтобы я шел в департамент, что уже более трех недель как я не хожу на должность. Я для шутки пошел в департамент. Начальник отделения думал, что я ему поклонюсь и стану извиняться, но я посмотрел на него равнодушно, не слишком гневно и не слишком благосклонно, и сел на свое место, как будто никого не замечая. Я глядел на всю канцелярскую сволочь и думал: «Что, если бы вы знали, кто между вами сидит… Господи Боже! какую бы вы ералашь подняли, да и сам начальник отделения начал бы мне так же кланяться в пояс, как он теперь кланяется перед директором». Передо мною положили какие-то бумаги, чтобы я сделал из них экстракт. Но я и пальцем не притронулся. Через несколько минут все засуетилось. Сказали,

что директор идет. Многие чиновники побежали наперерыв, чтобы показать себя перед ним. Но я ни с места. Когда он проходил чрез наше отделение, все застегнули на пуговицы свои фраки; но я совершенно ничего! Что за директор! чтобы я встал перед ним — никогда! Какой он директор? Он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Вот которою закупоривают бутылки. Мне больше всего было забавно, когда подсунули мне бумагу, чтобы я подписал. Они думали, что я напишу на самом кончике листа: столоначальник такой-то. Как бы не так! а я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул: «Фердинанд VIII». Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось; но я кивнул только рукою, сказав: «Не нужно никаких знаков подданничества!» — и вышел. Оттуда я пошел прямо в директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотел меня не впустить, но я ему такое сказал, что он и руки опустил. Я прямо пробрался в уборную. Она сидела перед зеркалом, вскочила и отступила от меня. Я, однако же, не сказал ей, что я испанский король. Я сказал только, что счастие ее ожидает такое, какого она и вообразить себе не может, и что, несмотря на козни неприятелей, мы

будем вместе. Я больше ничего не хотел говорить и вышел. О, это коварное существо — женщина! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то, — она любит только одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет, она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он спрятался к нему во фрак. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него. Выйдет. А вот эти все, чиновные отцы их, вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору и говорят, что они патриоты и то и се: аренды, аренды хотят эти патриоты! Мать, отца, Бога продадут за деньги, честолюбцы, христопродавцы! Все это честолюбие, и честолюбие оттого, что под язычком находится маленький пузырек и в нем небольшой червячок величиною с булавочную головку, и это все делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой. Я не помню, как его зовут; но достоверно известно, что он, вместе с одною повивальною бабкою, хочет по всему свету распространить магометанство, и оттого уже, говорят, во Франции большая часть

народа признает веру Магомета.

Никоторого числа. День был без числа.

Ходил инкогнито по Невскому проспекту. Проезжал государь император. Весь город снял шапки, и я также; однако же не подал никакого вида, что я испанский король. Я почел неприличным открыться тут же при всех; потому, что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сих пор не имею королевского костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантию. Я хотел было заказать портному, но это совершенные ослы, притом же они совсем небрегут своею работою, ударились в аферу и большею частию мостят камни на улице. Я решился сделать мантию из нового вицмундира, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился шить, заперши дверь, чтобы никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой.

Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое.

Мантия совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее. Однако же я еще не решаюсь представляться ко двору. До сих пор нет

депутации из Испании. Без депутатов неприлично. Никакого не будет веса моему достоинству. Я ожидаю их с часа на час.

Числа 1-го.

Удивляет меня чрезвычайно медленность депутатов. Какие бы причины могли их остановить. Неужели Франция?

Да, это самая неблагоприятствующая держава. Ходил справляться на почту, не прибыли ли испанские депутаты. Но почтмейстер чрезвычайно глуп, ничего не знает: нет, говорит, здесь нет никаких испанских депутатов, а письма если угодно написать, то мы примем по установленному курсу. Черт возьми! что письмо! Письмо вздор. Письма пишут аптекари…

Мадрид. Февруарий тридцатый.

Итак, я в Испании, и это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Сегодня поутру явились ко мне депутаты испанские, и я вместе с ними сел в карету. Мне показалась странною необыкновенная скорость. Мы ехали так шибко, что через полчаса достигли испанских границ. Впрочем, ведь теперь по всей Европе чугунные дороги, и пароходы ездят чрезвычайно скоро. Странная земля Испания: когда мы вошли в первую ком-

нату, то я увидел множество людей с выбритыми головами. Я, однако же, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который вел меня за руку; он толкнул меня в небольшую комнату и сказал: «Сиди тут, и если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту». Но я, зная, что это было больше ничего кроме искушение, отвечал отрицательно, — за что канцлер ударил меня два раза палкою по спине так больно, что я чуть было не вскрикнул, но удержался, вспомнивши, что это рыцарский обычай при вступлении в высокое звание, потому что в Испании еще и доныне ведутся рыцарские обычаи. Оставшись один, я решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай. Но меня, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в семь часов совершится странное явление: земля сядет на луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил

сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И по тому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу Государственного совета, с тем чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Бритые гранды, которых я застал в зале Государственного совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал: «Господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее», — то все в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание, и многие полезли на стену, с тем чтобы достать луну; но

в это время вошел великий канцлер. Увидевши его, все разбежались. Я, как король, остался один. Но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палкою и прогнал в мою комнату. Такую имеют власть в Испании народные обычаи!

Январь того же года, случившийся после февраля.

До сих пор не могу понять, что это за земля Испания. Народные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю ничего. Сегодня выбрили мне голову, несмотря на то что я кричал изо всей силы о нежелании быть монахом. Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мне на голову капать холодною водою. Такого ада я еще никогда не чувствовал. Я готов был впасть в бешенство, так что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значения этого странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный! Для меня непостижима безрассудность королей, которые до сих пор не уничтожают его. Судя по всем вероятиям, догадываюсь: не попался ли я в руки инквизиции, и тот, которого я принял за канцлера, не есть ли сам великий инквизитор. Только я все не могу понять, как же мог король подвергнуться инкви-

зиции. Оно, правда, могло со стороны Франции, и особенно Полинияк. О, это бестия Полинияк! Поклялся вредить мне по смерть. И вот гонит да и гонит; но я знаю, приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик. Он везде юлит. Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, то Франция чихает.

Число 25.

Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: «Поприщин!» — я ни слова. Потом: «Аксентий Иванов! титулярный советник! дворянин!» Я все молчу. «Фердинанд VIII, король испанский!» Я хотел было высунуть голову, но после подумал: «Нет, брат, не надуешь! знаем мы тебя: опять будешь лить холодную воду мне на голову». Однако же он увидел меня и выгнал палкою из-под стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочем, за все это вознаградило меня нынешнее открытие: я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями. Великий инквизитор, однако же, ушел от меня разгневанный и грозя мне каким-то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бессильною злобою, зная, что он действует,

как машина, как орудие англичанина.

Чи 34, сло Мц гдао,
349.

Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном

дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?

Коляска

Городок Б. очень повеселел, когда начал в нем стоять *** кавалерийский полк. А до того времени было в нем страх скучно. Когда, бывало, проезжаешь его и взглянешь на низенькие мазаные домики, которые смотрят на улицу до невероятности кисло, то… невозможно выразить, что делается тогда на сердце: тоска такая, как будто бы или проигрался, или отпустил некстати какую-нибудь глупость, — одним словом: нехорошо. Глина на них обвалилась от дождя, и стены вместо белых сделались пегими; крыши большею частию крыты тростником, как обыкновенно бывает в южных городах наших; садики, для лучшего вида, городничий давно приказал вырубить. На улицах ни души не встретишь, разве только петух перейдет чрез мостовую, мягкую, как подушка, от лежащей на четверть пыли, которая при малейшем дожде превращается в грязь, и тогда улицы городка Б. наполняются теми дородными животными, которых тамошний городничий называет французами. Выставив серьезные морды из своих ванн, они подымают такое хрюканье, что проезжающему остается

только погонять лошадей поскорее. Впрочем, проезжающего трудно встретить в городке Б. Редко, очень редко какой-нибудь помещик, имеющий одиннадцать душ крестьян, в нанковом сюртуке, тарабанит по мостовой в какой-то полубричке и полутележке, выглядывая из мучных наваленных мешков и пристегивая гнедую кобылу, вслед за которою бежит жеребенок. Самая рыночная площадь имеет несколько печальный вид: дом портного выходит чрезвычайно глупо не всем фасадом, но углом; против него строится лет пятнадцать какое-то каменное строение о двух окнах; далее стоит сам по себе модный дощатый забор, выкрашенный серою краскою под цвет грязи, который, на образец другим строениям, воздвиг городничий во время своей молодости, когда не имел еще обыкновения спать тотчас после обеда и пить на ночь какой-то декокт, заправленный сухим крыжовником. В других местах всё почти плетень; посреди площади самые маленькие лавочки; в них всегда можно заметить связку баранков, бабу в красном платке, пуд мыла, несколько фунтов горького миндалю, дробь для стреляния, демикотон и двух купеческих приказчиков, во всякое время играющих около дверей в свайку. Но как начал стоять в уездном

городке Б. кавалерийский полк, все переменилось. Улицы запестрели, оживились — словом, приняли совершенно другой вид. Низенькие домики часто видели проходящего мимо ловкого, статного офицера с султаном на голове, шедшего к товарищу поговорить о производстве, об отличнейшем табаке, а иногда поставить на карточку дрожки, которые можно было назвать полковыми, потому что они, не выходя из полку, успевали обходить всех: сегодня катался в них майор, завтра они появлялись в поручиковой конюшне, а чрез неделю, смотри, опять майорский денщик подмазывал их салом. Деревянный плетень между домами весь был усеян висевшими на солнце солдатскими фуражками; серая шинель торчала непременно где-нибудь на воротах; в переулках попадались солдаты с такими жесткими усами, как сапожные щетки. Усы эти были видны во всех местах. Соберутся ли на рынке с ковшиками мещанки, из-за плеч их, верно, выглядывают усы. На лобном месте солдат с усами уж верно мылил бороду какому-нибудь деревенскому пентюху, который только покряхтывал, выпуча глаза вверх. Офицеры оживили общество, которое до того времени состояло только из судьи, жившего в одном доме с какою-то диаконицею, и город-

ничего, рассудительного человека, но спавшего решительно весь день: от обеда до вечера и от вечера до обеда. Общество сделалось еще многолюднее и занимательнее, когда переведена была сюда квартира бригадного генерала. Окружные помещики, о которых существовании никто бы до того времени не догадался, начали приезжать почаще в уездный городок, чтобы видеться с господами офицерами, а иногда поиграть в банчик, который уже чрезвычайно темно грезился в голове их, захлопотанной посевами, женинными поручениями и зайцами. Очень жаль, что не могу припомнить, по какому обстоятельству случилось бригадному генералу давать большой обед; заготовление к нему было сделано огромное: стук поваренных ножей на генеральской кухне был слышен еще близ городской заставы. Весь рынок был забран совершенно для обеда, так что судья с своею диаконицею должен был есть одни только лепешки из гречневой муки да крахмальный кисель. Небольшой дворик генеральской квартиры был весь уставлен дрожками и колясками. Общество состояло из мужчин: офицеров и некоторых окружных помещиков. Из помещиков более всех был замечателен Пифагор Пифагорович Чертокуцкий, один из главных аристократов Б…

уезда, более всех шумевший на выборах и приезжавший туда в щегольском экипаже. Он служил прежде в одном из кавалерийских полков и был один из числа значительных и видных офицеров. По крайней мере, его видали на многих балах и собраниях, где только кочевал их полк; впрочем, об этом можно спросить у девиц Тамбовской и Симбирской губерний. Весьма может быть, что он распустил бы и в прочих губерниях выгодную для себя славу, если бы не вышел в отставку по одному случаю, который обыкновенно называется неприятною историею: он ли дал кому-то в старые годы оплеуху или ему дали ее, об этом наверное не помню, дело только в том, что его попросили выйти в отставку. Впрочем, он этим ничуть не уронил своего весу: носил фрак с высокою талией на манер военного мундира, на сапогах шпоры и под носом усы, потому что без того дворяне могли бы подумать, что он служил в пехоте, которую он презрительно называл иногда пехтурой, а иногда пехонтарией. Он бывал на всех многолюдных ярмарках, куда внутренность России, состоящая из мамок, дочек и толстых помещиков, наезжала веселиться бричками, таратайками, тарантасами и такими каретами, какие и во сне никому не снились. Он проню-

хивал носом, где стоял кавалерийский полк, и всегда приезжал видеться с господами офицерами. Очень ловко соскакивал перед ними с своей легонькой колясочки или дрожек и чрезвычайно скоро знакомился. В прошлые выборы дал он дворянству прекрасный обед, на котором объявил, что если только его выберут предводителем, то он поставит дворян на самую лучшую ногу. Вообще вел себя по-барски, как выражаются в уездах и губерниях, женился на довольно хорошенькой, взял за нею двести душ приданого и несколько тысяч капиталу. Капитал был тотчас употреблен на шестерку действительно отличных лошадей, вызолоченные замки к дверям, ручную обезьяну для дома и француза-дворецкого. Двести же душ вместе с двумястами его собственных были заложены в ломбард для каких-то коммерческих оборотов. Словом, он был помещик как следует… Изрядный помещик. Кроме него, на обеде у генерала было несколько и других помещиков, но об них нечего говорить. Остальные были все военные того же полка и два штаб-офицера: полковник и довольно толстый майор. Сам генерал был дюж и тучен, впрочем хороший начальник, как отзывались о нем офицеры. Говорил он довольно густым, значительным басом. Обед

был чрезвычайный: осетрина, белуга, стерляди, дрофы, спаржа, перепелки, куропатки, грибы доказывали, что повар еще со вчерашнего дня не брал в рот горячего, и четыре солдата с ножами в руках работали на помощь ему всю ночь *фрикасеи* и *желеи.* Бездна бутылок, длинных с лафитом, короткошейных с мадерою, прекрасный летний день, окна, открытые напролет, тарелки со льдом на столе, отстегнутая последняя пуговица у господ офицеров, растрепанная манишка у владетелей укладистого фрака, перекрестный разговор, покрываемый генеральским голосом и заливаемый шампанским, — все отвечало одно другому. После обеда все встали с приятною тяжестью в желудках и, закурив трубки с длинными и короткими чубуками, вышли с чашками кофию в руках на крыльцо.

У генерала, полковника и даже майора мундиры были вовсе расстегнуты, так что видны были слегка благородные подтяжки из шелковой материи, но господа офицеры, сохраняя должное уважение, пребыли с застегнутыми, выключая трех последних пуговиц.

— Вот ее можно теперь посмотреть, — сказал генерал. — Пожалуйста, любезнейший, — примолвил он, обращаясь к своему адъютанту,

довольно ловкому молодому человеку приятной наружности, — прикажи, чтобы привели сюда гнедую кобылу! Вот вы увидите сами. — Тут генерал потянул из трубки и выпустил дым. — Она еще не слишком в холе: проклятый городишко, нет порядочной конюшни. Лошадь, пуф, пуф, очень порядочная!

— И давно, ваше превосходительство, пуф, пуф, изволите иметь ее? — сказал Чертокуцкий.

— Пуф, пуф, пуф, пу… пуф, не так давно. Всего только два года, как она взята мною с завода!

— И получить ее изволили объезженную или уже здесь изволили объездить?

— Пуф, пуф, пу, пу, пу… у… у…ф, здесь, — сказавши это, генерал весь исчезнул в дыме.

Между тем из конюшни выпрыгнул солдат, послышался стук копыт, наконец показался другой, в белом балахоне, с черными огромными усами, ведя за узду вздрагивавшую и пугавшуюся лошадь, которая, вдруг подняв голову, чуть не подняла вверх присевшего к земле солдата вместе с его усами. «Ну ж, ну! Аграфена Ивановна!» — говорил он, подводя ее под крыльцо.

Кобыла называлась Аграфена Ивановна; крепкая и дикая, как южная красавица, она грянула копытами в деревянное крыльцо и вдруг оста-

новилась.

Генерал, опустивши трубку, начал смотреть с довольным видом на Аграфену Ивановну. Сам полковник, сошедши с крыльца, взял Аграфену Ивановну за морду. Сам майор потрепал Аграфену Ивановну по ноге, прочие пощелкали языком.

Чертокуцкий сошел с крыльца и зашел ей взад. Солдат, вытянувшись и держа узду, глядел прямо посетителям в глаза, будто бы хотел вскочить в них.

— Очень, очень хорошая! — сказал Чертокуцкий, — статистая лошадь! А позвольте, ваше превосходительство, узнать, как она ходит?

— Шаг у нее хорош; только… черт его знает… этот дурак фершел дал ей каких-то пилюль, и вот уже два дня все чихает.

— Очень, очень хороша. А имеете ли, ваше превосходительство, соответствующий экипаж?

— Экипаж?.. Да ведь это верховая лошадь.

— Я это знаю; но я спросил ваше превосходительство для того, чтобы узнать, имеете ли к другим лошадям соответствующий экипаж.

— Ну, экипажей у меня не слишком достаточно. Мне, признаться вам сказать, давно хочется иметь нынешнюю коляску. Я писал об этом к брату моему, который теперь в Петербурге, да не

знаю, пришлет ли он или нет.

— Мне кажется, ваше превосходительство, — заметил полковник, — нет лучше коляски, как венская.

— Вы справедливо думаете, пуф, пуф, пуф.

— У меня, ваше превосходительство, есть чрезвычайная коляска настоящей венской работы.

— Какая? Та, в которой вы приехали?

— О нет. Это так, разъездная, собственно для моих поездок, но та… это удивительно, легка как перышко; а когда вы сядете в нее, то просто как бы, с позволения вашего превосходительства, нянька вас в люльке качала!

— Стало быть, покойна?

— Очень, очень покойна; подушки, рессоры, — это все как будто на картинке нарисовано.

— Это хорошо.

— А уж укладиста как! то есть я, ваше превосходительство, и не видывал еще такой. Когда я служил, то у меня в ящики помещалось десять бутылок рому и двадцать фунтов табаку; кроме того, со мною еще было около шести мундиров, белье и два чубука, ваше превосходительство, такие длинные, как, с позволения сказать, солитер, а в карманы можно целого быка поместить.

— Это хорошо.

— Я, ваше превосходительство, заплатил за нее четыре тысячи.

— Судя по цене, должна быть хороша; и вы купили ее сами?

— Нет, ваше превосходительство; она досталась по случаю. Ее купил мой друг, редкий человек, товарищ моего детства, с которым бы вы сошлись совершенно; мы с ним — что твое, что мое, все равно. Я выиграл ее у него в карты. Не угодно ли, ваше превосходительство, сделать мне честь пожаловать завтра ко мне отобедать, и коляску вместе посмотрите.

— Я не знаю, что вам на это сказать. Мне одному как-то… Разве уж позволите вместе с господами офицерами?

— И господ офицеров прошу покорнейше. Господа, я почту себе за большую честь иметь удовольствие видеть вас в своем доме!

Полковник, майор и прочие офицеры отблагодарили учтивым поклоном.

— Я, ваше превосходительство, сам того мнения, что если покупать вещь, то непременно хорошую, а если дурную, то нечего и заводить. Вот у меня, когда сделаете мне честь завтра пожаловать, я покажу кое-какие статьи, которые я сам завел по хозяйственной части.

Генерал посмотрел и выпустил изо рту дым. Чертокуцкий был чрезвычайно доволен, что пригласил к себе господ офицеров; он заранее заказывал в голове своей паштеты и соусы, посматривал очень весело на господ офицеров, которые также с своей стороны как-то удвоили к нему свое расположение, что было заметно из глаз их и небольших телодвижений вроде полупоклонов. Чертокуцкий выступал вперед как-то развязнее, и голос его принял расслабление: выражение голоса, обремененного удовольствием.

— Там, ваше превосходительство, познакомитесь с хозяйкой дома.

— Мне очень приятно, — сказал генерал, поглаживая усы.

Чертокуцкий после этого хотел немедленно отправиться домой, чтобы заблаговременно приготовить все к принятию гостей к завтрашнему обеду; он взял уже было и шляпу в руки, но как-то так странно случилось, что он остался еще на несколько времени. Между тем уже в комнате были расставлены ломберные столы. Скоро все общество разделилось на четверные партии в вист и расселось в разных углах генеральских комнат.

Подали свечи. Чертокуцкий долго не знал, са-

диться или не садиться ему за вист. Но как господа офицеры начали приглашать, то ему показалось очень несогласно с правилами общежития отказаться. Он присел. Нечувствительно очутился перед ним стакан с пуншем, который он, позабывшись, в ту же минуту выпил. Сыгравши два роберта, Чертокуцкий опять нашел под рукою стакан с пуншем, который тоже, позабывшись, выпил, сказавши наперед: «Пора, господа, мне домой, право, пора». Но опять присел и на вторую партию. Между тем разговор в разных углах комнаты принял совершенно частное направление. Играющие в вист были довольно молчаливы; но неигравшие, сидевшие на диванах в стороне, вели свой разговор. В одном углу штаб-ротмистр, подложивши себе под бок подушку, с трубкою в зубах, рассказывал довольно свободно и плавно любовные свои приключения и овладел совершенно вниманием собравшегося около него кружка. Один чрезвычайно толстый помещик с короткими руками, несколько похожими на два выросшие картофеля, слушал с необыкновенно сладкою миною и только по временам силился запустить коротенькую свою руку за широкую спину, чтобы вытащить оттуда табакерку. В другом углу завязался довольно жаркий спор об

эскадронном учении, и Чертокуцкий, который в это время уже вместо дамы два раза сбросил валета, вмешивался вдруг в чужой разговор и кричал из своего угла: «В котором году?» или «Которого полка?» — не замечая, что иногда вопрос совершенно не приходился к делу. Наконец, за несколько минут до ужина, вист прекратился, но он продолжался еще на словах, и казалось, головы всех были полны вистом. Чертокуцкий очень помнил, что выиграл много, но руками не взял ничего и, вставши из-за стола, долго стоял в положении человека, у которого нет в кармане носового платка. Между тем подали ужин. Само собою разумеется, что в винах не было недостатка и что Чертокуцкий почти невольно должен был иногда наливать в стакан себе потому, что направо и налево стояли у него бутылки.

Разговор затянулся за столом предлинный, но, впрочем, как-то странно он был веден. Один помещик, служивший еще в кампанию 1812 года, рассказал такую баталию, какой никогда не было, и потом, совершенно неизвестно по каким причинам, взял пробку из графина и воткнул ее в пирожное. Словом, когда начали разъезжаться, то уже было три часа, и кучера должны были нескольких особ взять в охапку, как бы

узелки с покупкою, и Чертокуцкий, несмотря на весь аристократизм свой, сидя в коляске, так низко кланялся и с таким размахом головы, что, приехавши домой, привез в усах своих два репейника.

В доме все совершенно спало; кучер едва мог сыскать камердинера, который проводил господина чрез гостиную, сдал горничной девушке, за которою кое-как Чертокуцкий добрался до спальни и уложился возле своей молоденькой и хорошенькой жены, лежавшей прелестнейшим образом, в белом как снег спальном платье. Движение, произведенное падением ее супруга на кровать, разбудило ее. Протянувшись, поднявши ресницы и три раза быстро зажмуривши глаза, она открыла их с полусердитою улыбкою; но, видя, что он решительно не хочет оказать на этот раз никакой ласки, с досады поворотилась на другую сторону и, положив свежую свою щеку на руку, скоро после него заснула.

Было уже такое время, которое по деревням не называется *рано,* когда проснулась молодая хозяйка возле храпевшего супруга. Вспомнивши, что он возвратился вчера домой в четвертом часу ночи, она пожалела будить его и, надев спальные башмачки, которые супруг ее выписал из

Петербурга, в белой кофточке, драпировавшейся на ней, как льющаяся вода, она вышла в свою уборную, умылась свежею, как сама, водою и подошла к туалету. Взглянувши на себя раза два, она увидела, что сегодня очень недурна. Это, по-видимому, незначительное обстоятельство заставило ее просидеть перед зеркалом ровно два часа лишних. Наконец она оделась очень мило и вышла освежиться в сад. Как нарочно, время было тогда прекрасное, каким может только похвалиться летний южный день. Солнце, вступивши на полдень, жарило всею силою лучей, но под темными густыми аллеями гулять было прохладно, и цветы, пригретые солнцем, утроили свой запах. Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о том, что уже двенадцать часов и супруг ее спит. Уже доходило до слуха ее послеобеденное храпенье двух кучеров и одного форейтора, спавших в конюшне, находившейся за садом. Но она все сидела в густой аллее, из которой был открыт вид на большую дорогу, и рассеянно глядела на безлюдную ее пустынность, как вдруг показавшаяся вдали пыль привлекла ее внимание. Всмотревшись, она скоро увидела несколько экипажей. Впереди ехала открытая двуместная легонькая колясочка; в ней сидел генерал с толстыми,

блестевшими на солнце эполетами и рядом с ним полковник. За ней следовала другая, четвероместная; в ней сидел майор с генеральским адъютантом и еще двумя насупротив сидевшими офицерами; за коляской следовали известные всем полковые дрожки, которыми владел на этот раз тучный майор; за дрожками четвероместный бонвояж, в котором сидели четыре офицера и пятый на руках… за бонвояжем рисовались три офицера на прекрасных гнедых лошадях в темных яблоках.

«Неужели это к нам? — подумала хозяйка дома. — Ах, Боже мой! в самом деле они поворотили на мост!» Она вскрикнула, всплеснула руками и побежала чрез клумбы и цветы прямо в спальню своего мужа. Он спал мертвецки.

— Вставай, вставай! вставай скорее! — кричала она, дергая его за руку.

— А? — проговорил, потягиваясь, Чертокуцкий, не раскрывая глаз.

— Вставай, пульпультик! слышишь ли? гости!

— Гости, какие гости? — сказавши это, он испустил небольшое мычание, какое издает теленок, когда ищет мордою сосцов своей матери. — Мм… — ворчал он, — протяни, моньмуня, свою шейку! я тебя поцелую.

— Душенька, вставай, ради Бога, скорей. Генерал с офицерами! Ах, Боже мой, у тебя в усах репейник.

— Генерал? А, так он уже едет? Да что же это, черт возьми, меня никто не разбудил? А обед, что ж обед, все ли там как следует готово?

— Какой обед?

— А я разве не заказывал?

— Ты? ты приехал в четыре часа ночи, и, сколько я ни спрашивала тебя, ты ничего не сказал мне. Я тебя, пульпультик, потому не будила, что мне жаль тебя стало: ты ничего не спал… — Последние слова сказала она чрезвычайно томным и умоляющим голосом.

Чертокуцкий, вытаращив глаза, минуту лежал на постеле, как громом пораженный. Наконец вскочил он в одной рубашке с постели, позабывши, что это вовсе неприлично.

— Ах я лошадь! — сказал он, ударив себя по лбу. — Я звал их на обед. Что делать? далеко они?

— Я не знаю… они должны сию минуту уже быть.

— Душенька… спрячься!.. Эй, кто там! ты, девчонка! ступай, чего, дура, боишься? Приедут офицеры сию минуту. Ты скажи, что барина нет дома, скажи, что и не будет совсем, что еще с утра

выехал, слышишь? И дворовым всем объяви, ступай скорее!

Сказавши это, он схватил наскоро халат и побежал спрятаться в экипажный сарай, полагая там положение свое совершенно безопасным. Но, ставши в углу сарая, он увидел, что и здесь можно было его как-нибудь увидеть. «А вот это будет лучше», — мелькнуло в его голове, и он в одну минуту отбросил ступени близ стоявшей коляски, вскочил туда, закрыл за собою дверцы, для большей безопасности закрылся фартуком и кожею и притих совершенно, согнувшись в своем халате.

Между тем экипажи подъехали к крыльцу.

Вышел генерал и встряхнулся, за ним полковник, поправляя руками султан на своей шляпе. Потом соскочил с дрожек толстый майор, держа под мышкою саблю. Потом выпрыгнули из бонвояжа тоненькие подпоручики с сидевшим на руках прапорщиком, наконец сошли с седел рисовавшиеся на лошадях офицеры.

— Барина нет дома, — сказал, выходя на крыльцо, лакей.

— Как нет? стало быть, он, однако ж, будет к обеду?

— Никак нет. Они уехали на весь день. Завтра

разве около этого только времени будут.

— Вот тебе на! — сказал генерал. — Как же это?..

— Признаюсь, это штука, — сказал полковник, смеясь.

— Да нет, как же этак делать? — продолжал генерал с неудовольствием. — Фить… Черт… Ну, не можешь принять, зачем напрашиваться?

— Я, ваше превосходительство, не понимаю, как можно это делать, — сказал один молодой офицер.

— Что? — сказал генерал, имевший обыкновение всегда произносить эту вопросительную частицу, когда говорил с обер-офицером.

— Я говорил, ваше превосходительство: как можно поступать таким образом?

— Натурально… Ну, не случилось, что ли, — дай знать, по крайней мере, или не проси.

— Что ж, ваше превосходительство, нечего делать, поедемте назад! — сказал полковник.

— Разумеется, другого средства нет. Впрочем, коляску мы можем посмотреть и без него. Он, верно, ее не взял с собою. Эй, кто там, подойди, братец, сюда!

— Чего изволите?

— Ты конюх?

— Конюх, ваше превосходительство.

— Покажи-ка нам новую коляску, которую недавно достал барин.

— А вот пожалуйте в сарай!

Генерал отправился вместе с офицерами в сарай.

— Вот извольте, я ее немного выкачу, здесь темненько.

— Довольно, довольно, хорошо!

Генерал и офицеры обошли вокруг коляску и тщательно осмотрели колеса и рессоры.

— Ну, ничего нет особенного, — сказал генерал, — коляска самая обыкновенная.

— Самая неказистая, — сказал полковник, — совершенно нет ничего хорошего.

— Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит четырех тысяч, — сказал один из молодых офицеров.

— Что?

— Я говорю, ваше превосходительство, что, мне кажется, она не стоит четырех тысяч.

— Какое четырех тысяч! она и двух не стоит. Просто ничего нет. Разве внутри есть что-нибудь особенное… Пожалуйста, любезный, отстегни кожу…

И глазам офицеров предстал Чертокуцкий, си-

дящий в халате и согнувшийся необыкновенным образом.

— А, вы здесь!.. — сказал изумившийся генерал.

Сказавши это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертокуцкого фартуком и уехал вместе с господами офицерами.

Рим
Отрывок

Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесной косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица — образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем — благородством дивным дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратится ли затылком с подобранными кверху чудесными волосами, показав сверкающую позади шею и красоту не виданных землею плеч, — и там она чудо! Но чудеснее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замиранье в сердце. Полный голос ее звенит, как медь. Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней

венец созданья, от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она — уже несет с собой картину: спешит ли ввечеру к фонтану с кованой медной вазой на голове, — вся проникается чудным согласием обнимающая ее окрестность: легче уходят вдаль чудесные линии альбанских гор, синее глубина римского неба, прямей летит вверх кипарис, и красавица южных дерев, римская пинна, тонее и чаще рисуется на небе своею зонтикообразною, почти плывущею на воздухе верхушкою. И всё: и самый фонтан, где уже столпились в кучу на мраморных ступенях, одна выше другой, альбанские горожанки, переговаривающиеся сильными серебряными голосами, пока поочередно бьет вода звонкой алмазной дугой в подставляемые медные чаны, и самый фонтан, и самая толпа — все, кажется, для нее, чтобы ярче выказать торжествующую красоту, чтобы видно было, как она предводит всем, подобно как царица предводит за собою придворный чин свой. В праздничный ли день, когда темная древесная галерея, ведущая из Альбано в Кастель-Гандольфо, вся полна празднично убранного народа, когда мелькают под сумрачными ее сводами щеголи миненти в бархатном убранстве, с яркими поясами и золо-

тистым цветком на пуховой шляпе, бредут или несутся вскачь ослы с полузажмуренными глазами, живописно неся на себе стройных и сильных альбанских и фраскатанских женщин, далеко блистающих белыми головными уборами, или таща вовсе не живописно, с трудом и спотыкаясь, длинного неподвижного англичанина в гороховом непроникаемом макинтоше, скорчившего в острый угол свои ноги, чтобы не зацепить ими земли, или неся художника в блузе, с деревянным ящиком на ремне и ловкой вандиковской бородкой, а тень и солнце бегут попеременно по всей группе, — и тогда, и в оный праздничный день при ней далеко лучше, чем без нее. Глубина галереи выдает ее из сумрачной темноты своей всю сверкающую, всю в блеске. Пурпурное сукно альбанского ее наряда вспыхивает, как ищерь, тронутое солнцем. Чудный праздник летит из лица ее навстречу всем. И, повстречав ее, останавливаются как вкопанные и щеголь миненте с цветком за шляпой, издавши невольное восклицание; и англичанин в гороховом макинтоше, показав вопросительный знак на неподвижном лице своем; и художник с вандиковской бородкой, долее всех остановившийся на одном месте, подумывая: «То-то была бы чудная модель для

Дианы, гордой Юноны, соблазнительных Граций и всех женщин, какие только передавались на полотно!» — и дерзновенно думая в то же время: «То-то был бы рай, если б такое диво украсило навсегда смиренную его мастерскую!»

Но кто же тот, чей взгляд неотразимее вперился за ее следом? Кто сторожит ее речи, движенья и движенья мыслей на ее лице? Двадцатипятилетний юноша, римский князь, потомок фамилии, составлявшей когда-то честь, гордость и бесславие Средних веков, ныне пустынно догорающей в великолепном дворце, исписанном фресками Гверчина и Караччей, с потускневшей картинной галереей, с полинявшими штофами, лазурными столами и поседевшим как лунь maestro di casa. Его-то увидали недавно римские улицы, несущего свои черные очи, метатели огней из-за перекинутого через плечо плаща, нос, очеркнутый античной линией, слоновую белизну лба и брошенный на него летучий шелковый локон. Он появился в Риме после пятнадцати лет отсутствия, появился гордым юношею вместо еще недавно бывшего дитяти.

Но читателю нужно знать непременно, как все это свершилось, и потому пробежим наскоро историю его жизни, еще молодой, но уже

обильной многими сильными впечатлениями. Первоначальное детство его протекло в Риме; воспитывался он так, как в обычае у доживающих век свой римских вельмож. Учитель, гувернер, дядька и все что угодно, был у него аббат, строгий классик, почитатель писем Пиетра Бембо, сочинений Джиованни делла Casa и пяти-шести песней Данта, читающий их не иначе как с сильными восклицаниями: «Dio, che cosa divina!» — и потом через две строки: «Diavolo, che divina cosa» — в чем состояла почти вся художественная оценка и критика, обращавший остальной разговор на броколи и артишоки, любимый свой предмет, знавший очень хорошо, в какое время лучше телятина, с какого месяца нужно начинать есть козленка, любивший обо всем этом поболтать на улице, встретясь с приятелем, другим аббатом, обтягивавший весьма ловко полные икры свои в шелковые черные чулки, прежде запихнувши под них шерстяные, чистивший себя регулярно один раз в месяц лекарством olio di ricino в чашке кофию и полневший с каждым днем и часом, как полнеют все аббаты. Натурально, что молодой князь узнал не много под таким началом. Узнал он только, что латинский язык есть отец итальянского, что монсиньоры бывают трех ро-

дов — одни в черных чулках, другие в лиловых, а третьи такие, которые бывают почти то же, что кардиналы; узнал несколько писем Пиетра Бембо к тогдашним кардиналам, большею частью поздравительных; узнал хорошо улицу Корсо, по которой ходил прогуливаться с аббатом, да виллу Боргезе, да две-три лавки, перед которыми останавливался аббат для закупки бумаги, перьев и нюхательного табаку, да аптеку, где брал он свое olio di ricino. В этом заключался весь горизонт сведений воспитанника. О других землях и государствах аббат намекнул в каких-то неясных и нетвердых чертах: что есть земля Франция, богатая земля, что англичане — хорошие купцы и любят ездить, что немцы — пьяницы, и что на севере есть варварская земля Московия, где бывают такие жестокие морозы, от которых может лопнуть мозг человеческий. Далее сих сведений воспитанник вероятно бы не узнал, достигнув до двадцатипятилетнего своего возраста, если б старому князю не пришла вдруг в голову идея переменить старую методу воспитанья и дать сыну образование европейское, что можно было отчасти приписать влиянию какой-то французской дамы, на которую он с недавнего времени стал наводить беспрестанно лорнет на всех театрах и

гуляньях, засовывая поминутно свой подбородок в огромный белый жабо и поправляя черный локон на парике. Молодой князь был отправлен в Лукку, в университет. Там, во время шестилетнего его пребыванья, развернулась его живая итальянская природа, дремавшая под скучным надзором аббата. В юноше оказалась душа, жадная наслаждений избранных, и наблюдательный ум. Итальянский университет, где наука влачилась, скрытая в черствых схоластических образах, не удовлетворял новой молодежи, которая уже слыхала урывками о ней живые намеки, перелетавшие через Альпы. Французское влияние становилось заметно в Верхней Италии: оно заносилось туда вместе с модами, виньетками, водевилями и напряженными произведениями необузданной французской музы, чудовищной, горячей, но местами не без признаков таланта. Сильное политическое движение в журналах с Июльской революции отозвалось и здесь. Мечтали о возвращении погибшей итальянской славы, с негодованием глядели на ненавистный белый мундир австрийского солдата. Но итальянская природа, любительница покойных наслаждений, не вспыхнула восстанием, над которым не позадумался бы француз; все окончилось только

непреодолимым желанием побывать в заальпийской, в настоящей Европе. Вечное ее движение и блеск заманчиво мелькали вдали. Там была новость, противуположность ветхости итальянской, там начиналось XIX столетие, европейская жизнь. Сильно порывалась туда душа молодого князя, чая приключений и света, и всякий раз тяжелое чувство грусти его осеняло, когда он видел совершенную к тому невозможность: ему был известен непреклонный деспотизм старого князя, с которым было не под силу ладить, — как вдруг получил он от него письмо, в котором предписано было ему ехать в Париж, окончить ученье в тамошнем университете и дождаться в Лукке только приезда дяди, с тем чтобы отправиться с ним вместе. Молодой князь прыгнул от радости, перецеловал всех своих друзей, угостил всех в загородной остерии и через две недели был уже в дороге, с сердцем, готовым встретить радостным биеньем всякий предмет. Когда переехали Симплон, приятная мысль пробежала в голове его: он на другой стороне, он в Европе! Дикое безобразие швейцарских гор, громоздившихся без перспективы, без легких далей, несколько ужаснуло его взор, приученный к высокоспокойной нежащей красоте итальянской природы. Но он просветлел

вдруг при виде европейских городов, великолепных светлых гостиниц, удобств, расставленных всякому путешественнику, располагающемуся как дома. Щеголеватая чистота, блеск — все было ему ново. В немецких городах несколько поразил его странный склад тела немцев, лишенный стройного согласия красоты, чувство которой зарождено уже в груди итальянца; немецкий язык также поразил неприятно его музыкальное ухо. Но перед ним была уже французская граница, сердце его дрогнуло. Порхающие звуки европейского модного языка, лаская, облобызали слух его. Он с тайным удовольствием ловил скользящий шелест их, который уже в Италии казался ему чем-то возвышенным, очищенным от всех судорожных движений, какими сопровождаются сильные языки полуденных народов, не умеющих держать себя в границах. Еще большее впечатление произвел на него особый род женщин — легких, порхающих. Его поразило это улетучившееся существо с едва вызначавшимися легкими формами, с маленькой ножкой, с тоненьким воздушным станом, с ответным огнем во взорах и легкими, почти невыговаривающимися речами. Он ждал с нетерпением Парижа, населял его башнями, дворцами, составил себе по-своему

образ его и с сердечным трепетом увидел наконец близкие признаки столицы: наклеенные афиши, исполинские буквы, умножавшиеся дилижансы, омнибусы… наконец понеслись домы предместья. И вот он в Париже, бессвязно обнятый его чудовищною наружностью, пораженный движением, блеском улиц, беспорядком крыш, гущиной труб, безархитектурными сплоченными массами домов, облепленных тесной лоскутностью магазинов, безобразьем нагих, неприслоненных боковых стен, бесчисленной смешанной толпой золотых букв, которые лезли на стены, на окна, на крыши и даже на трубы, светлой прозрачностью нижних этажей; состоявших только из одних зеркальных стекол. Вот он, Париж, это вечное волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещенья, мод, изысканного вкуса и мелких, но сильных законов, от которых не властны оторваться и сами порицатели их, великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант, скрытый в невидных углах Европы, трепет и любимая мечта двадцатилетнего человека, размен и ярмарка Европы! Как ошеломленный, не в силах собрать себя, пошел он по улицам, пересыпавшимся всяким народом, исчерченным путями движущихся ом-

нибусов, поражаясь то видом кафе, блиставшего неслыханным царским убранством, то знаменитыми крытыми переходами, где оглушал его глухой шум нескольких тысяч шумевших шагов сплошно двигавшейся толпы, которая вся почти состояла из молодых людей, и где ослеплял его трепещущий блеск магазинов, озаряемых светом, падавшим сквозь стеклянный потолок в галерею; то останавливаясь перед афишами, которые миллионами пестрели и толпились в глаза, крича о двадцати четырех ежедневных представлениях и бесчисленном множестве всяких музыкальных концертов; то растерявшись, наконец, совсем, когда вся эта волшебная куча вспыхнула ввечеру при волшебном освещении газа — все домы вдруг стали прозрачными, сильно засиявши снизу; окна и стекла в магазинах, казалось, исчезли, пропали вовсе, и все, что лежало внутри их, осталось прямо среди улицы неугасимо, блистая и отражаясь в углубленье зеркалами. «Ma quest'è una cosa divina!» — повторял живой итальянец.

И жизнь его потекла живо, как течет жизнь многих парижан и толпы молодых иностранцев, наезжающих в Париж. В девять часов утра, схватившись с постели, он уже был в великолепном кафе с модными фресками за стеклом, с

потолком, облитым золотом, с листами длинных журналов и газет, с благородным приспешником, проходившим мимо посетителей, держа великолепный серебряный кофейник в руке. Там пил он с сибаритским наслаждением свой жирный кофий из громадной чашки, нежась на эластическом, упругом диване и вспоминая о низеньких, темных итальянских кафе с неопрятным боттегой, несущим невымытые стеклянные стаканы. Потом принимался он за чтение колоссальных журнальных листов и вспомнил о чахоточных журналишках Италии, о каком-нибудь «Diario di Roma», «il Pirato» и тому подобных, где помещались невинные политические известия и анекдоты чуть не о Термопилах и персидском царе Дарии. Тут, напротив, везде видно было кипевшее перо. Вопросы на вопросы, возраженья на возраженья — казалось, всякий из всех сил топорщился: тот грозил близкой переменой вещей и предвещал разрушенье государству. Всякое чуть заметное движение и действие камер и министерства разрасталось в движение огромного размаха между упорными партиями и почти отчаянным криком слышалось в журналах. Даже страх чувствовал итальянец, читая их, думая, что завтра же вспыхнет революция,

как будто в чаду выходил из литературного кабинета, и только один Париж с своими улицами мог выветрить в одну минуту из головы весь этот груз. Его порхающий по всему блеск и пестрое движение, после этого тяжелого чтения, казались чем-то похожим на легкие цветки, взбежавшие по оврагу пропасти. В один миг он переселялся весь на улицу и сделался, подобно всем, зевакою во всех отношениях. Он зевал пред светлыми, легкими продавицами, только что вступившими в свою весну, которыми были наполнены все парижские магазины, как будто бы суровая наружность мужчины была неприлична и мелькала бы темным пятном из-за цельных стекол. Он глядел, как заманчиво щегольские тонкие руки, вымытые всякими мылами, блистая, заворачивали бумажки конфект, меж тем как глаза светло и пристально вперялись на проходящих, как рисовалась в другом месте светловолосая головка в картинном склоне, опустивши длинные ресницы в страницы модного романа, не видя, что около нее собралась уже куча молодежи, рассматривающая и ее легкую снежную шейку, и всякий волосок на голове ее, подслушивающая самое колебание груди, произведенное чтением. Он зевал и перед книжной лавкой, где, как пауки,

темнели на слоновой бумаге черные виньетки, набросанные размашисто, сгоряча, так что иногда и разобрать нельзя было, что на них такое, и глядели иероглифами странные буквы. Он зевал и перед машиной, которая одна занимала весь магазин и ходила за зеркальным стеклом, катая огромный вал, растирающий шоколад. Он зевал перед лавками, где останавливаются по целым часам парижские крокодилы, засунув руки в карманы и разинув рот, где краснел в зелени огромный морской рак, воздымалась набитая трюфелями индейка с лаконическою надписью: «300 fr.» и мелькали золотистым пером и хвостами желтые и красные рыбы в стеклянных вазах. Он зевал и на широких булеварах, царственно проходящих поперек весь тесный Париж, где среди города стояли дерева́ в рост шестиэтажных домов, где на асфальтовые тротуары валила наездная толпа и куча доморощенных парижских львов и тигров, не всегда верно изображаемых в повестях. И, назевавшись вдоволь и досыта, взбирался он к ресторану, где уже давно сияли газом зеркальные стены, отражая в себе бесчисленные толпы дам и мужчин, шумевших речами за маленькими столиками, разбросанными по залу. После обеда уже он спешил в театр, недоумевая

только, который выбрать: на каждом из них своя знаменитость, на каждом свой автор, свой актер. Везде новость. Там блещет водевиль, живой, ветреный, как сам француз, новый всякий день, создавшийся весь в три минуты досуга, смешивший весь от начала до конца благодаря неистощимым капризам веселости актера; там горячая драма. И он невольно сравнил сухую, тощую драматическую сцену Италии, где повторялись один и тот же старик Гольдони, знаемый всеми наизусть, или же новые комедийки, невинные и наивные до того, что ребенок бы соскучился над ними; он сравнил их тощую группу с этим живым, торопливым драматическим наводнением, где все ковалось, пока было горячо, где всякий боялся только, чтобы не простыла его новость. Насмеявшись досыта, наволновавшись, наглядевшись, утомленный, подавленный впечатлениями, возвращался он домой и бросался в постель, которая, как известно, одна только нужна французу в его комнате; кабинетом, обедом и вечерним освещением он пользуется в публичных местах. Но князь, однако же, не позабыл с этим разнообразным зеваньем соединить занятий ума, которых требовала нетерпеливо душа его. Он принялся слушать всех знаменитых профессоров.

Живая речь, часто восторженная, новые точки и стороны, подмененные ретивым профессором, были неожиданны для молодого итальянца. Он чувствовал, как стала спадать с глаз его пелена, как в другом, ярком виде восставали перед ним прежде не замеченные предметы и самый приобретенный им хлам кое-каких знаний, которые обыкновенно погибают у большей части людей без всяких применений, пробуждался и, оглянутый другим глазом, утверждался навсегда в его памяти. Он не пропустил также услышать ни одного знаменитого проповедника, публициста, оратора камерных прений и всего, чем шумно гремит в Европе Париж. Несмотря на то, что не всегда доставало ему средств, что старый князь присылал ему содержание как студенту, а не как князю, он успел, однако же, найти случай побывать везде, найти доступ ко всем знаменитостям, о которых трубят, повторяя друг друга, европейские листки, даже увидал в лицо тех модных писателей, которых странными созданьями была поражена, наряду с другими, его пылкая молодая душа и в которых всем мнилось слышать еще небранные дотоле струны, неуловимые доселе изгибы страстей. Словом, жизнь итальянца приняла широкий, многосторонний образ, обнялась

всем громадным блеском европейской деятельности. Разом, в один и тот же день, беззаботное зеванье и тревожное пробужденье, легкая работа глаз и напряженная ума, водевиль на театре, проповедник в церкви, политический вихрь журналов и камер, рукоплесканье в аудиториях, потрясающий гром консерваторного оркестра, воздушное блистанье танцующей сцены, громотня уличной жизни — какая исполинская жизнь для двадцатипятилетнего юноши! Нет лучшего места, как Париж; ни за что не променял бы он такой жизни. Как весело и любо жить в самом сердце Европы, где, идя, подымаешься выше, чувствуешь, что член великого всемирного общества! В голове его даже вертелась мысль отказаться вовсе от Италии и основаться навсегда в Париже. Италия казалась ему теперь каким-то темным заплеснелым углом Европы, где заглохла жизнь и всякое движенье.

Так пронеслись четыре пламенные года его жизни, — четыре года, слишком значительные для юноши, и к концу их уже многое показалось не в том виде, как было прежде. Во многом он разочаровался. Тот же Париж, вечно влекущий к себе иностранцев, вечная страсть парижан, уже показался ему много, много не тем, чем был

прежде. Он видел, как вся эта многосторонность и деятельность его жизни исчезала без выводов и плодоносных душевных осадков. В движении вечного его кипенья и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность, страшное царство слов вместо дел. Он видел, как всякий француз, казалось, только работал в одной разгоряченной голове; как это журнальное чтение огромных листов поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; как всякий француз воспитывался этим странным вихрем книжной, типографски движущейся политики и, еще чуждый сословия, к которому принадлежал, еще не узнав на деле всех прав и отношений своих, уже приставал к той или другой партии, горячо и жарко принимая к сердцу все интересы, становясь свирепо против своих супротивников, еще не зная в глаза ни интересов своих, ни супротивников… и слово политика опротивело наконец сильно итальянцу.

В движенье торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости. Один силился пред другим во что бы то ни стало взять верх хотя бы на одну минуту. Купец весь капитал свой употреблял на одну только уборку магазина, чтобы блеском и вели-

колепием его заманить к себе толпу. Книжная литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтоб ими привлечь к себе охлаждающееся внимание. Странностью неслыханных страстей, уродливостью исключений из человеческой природы силились повести и романы овладеть читателем. Все, казалось, нагло навязывалось и напрашивалось само, без зазыва, как непотребная женщина, ловящая человека ночью на улице; все, одно перед другим, вытягивало повыше свою руку, как обступившая толпа надоедливых нищих. В самой науке, в ее одушевленных лекциях, которых достоинство не мог не признать он, теперь стало ему заметно везде желание выказаться, хвастнуть, выставить себя; везде блестящие эпизоды, и нет торжественного, величавого теченья всего целого. Везде усилия поднять доселе не замеченные факты и дать им огромное влияние иногда в ущерб гармонии целого, с тем только, чтобы оставить за собой честь открытия; наконец, везде почти дерзкая уверенность и нигде смиренного сознания собственного неведения, — и он привел себе на память стих, которым итальянец Альфиери, в едком расположенье своего духа, попрекнул французов:

Tutto fanno, nulla sanno,

Tutto sanno, nulla fanno;
Gira volta son Francesi,
Piu gli pesi, men ti danno.

Тоскливое расположение духа им овладело. Напрасно старался он развлекать себя, старался сойтись с людьми, которых уважал, но не сошлась итальянская природа с французским элементом. Дружба завязывалась быстро, но уже в один день француз выказывал себя всего до последней черты: на другой день нечего было и узнавать в нем, далее известной глубины уже нельзя было погрузить вопроса в его душу, не вонзалось далее острие мысли; а чувства итальянца были слишком сильны, чтобы встретить себе полный ответ в легкой природе. И нашел он какую-то странную пустоту даже в сердцах тех, которым не мог отказать в уваженье. И увидел он наконец, что, при всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках, вся нация была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же порожденный. Не почила на ней величественно-степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет самых мыслей; везде полустрасти, и нет страстей, все не окончено, все наметано, набросано с быстрой руки; вся нация — блестящая

виньетка, а не картина великого мастера.

Нашедшая ли внезапно на него хандра дала ему возможность увидать все в таком виде или внутреннее верное и свежее чувство итальянца было тому причиною, — то или другое, только Париж со всем своим блеском и шумом скоро сделался для него тягостной пустыней, и он невольно выбирал глухие, отдаленные концы его. Только в одну еще итальянскую оперу заходил он, там только как будто отдыхала душа его, и звуки родного языка теперь вырастали пред ним во всем могуществе и полноте. И стала представляться ему чаще забытая им Италия, вдали, в каком-то манящем свете; с каждым днем зазывы ее становились слышнее, и он решился наконец писать к отцу, чтобы позволил ему возвратиться в Рим, что в Париже оставаться более он не видит для себя нужды. Два месяца не получал он никакого ответа, ни даже обычных векселей, которые давно следовало ему получить. Сначала ожидал он терпеливо, зная капризный характер своего отца, наконец начало овладевать им беспокойство. Несколько раз на неделю наведывался к своему банкиру и всегда получал один и тот же ответ, что из Рима нет никаких известий. Отчаянии готово было вспыхнуть в душе его. Средства со-

держания уже давно у него все прекратились, уже давно сделал он у банкира заем, но и эти деньги давно вышли, давно уже он обедал, завтракал и жил кое-как в долг; косо и неприятно начинали посматривать на него — и хоть бы от кого-нибудь из друзей какое-нибудь известие. Тут-то он сильно почувствовал свое одиночество. В беспокойном ожидании бродил он в этом надоевшем насмерть городе. Летом он был для него еще невыносимее: все наездные толпы разлетелись по минеральным водам, по европейским гостиницам и дорогам. Призрак пустоты виделся на всем. Домы и улицы Парижа были несносны, сады его томились сокрушительно между домов, палимых солнцем. Как убитый останавливался он над Сеной, на грузном, тяжелом мосту, на ее душной набережной, напрасно стараясь чем-нибудь позабыться, на что-нибудь заглядеться; тоска необъятная жрала его, и безыменный червь точил его сердце. Наконец судьба над ним умилосердилась — и в один день банкир вручил ему письмо. Оно было от дяди, который извещал его, что старый князь уже не существует, что он может приехать распорядиться наследством, которое требует его личного присутствия, потому что расстроено сильно. В письме был тощий

билет, едва доставший на дорогу и на расплату четвертой доли долгов. Молодой князь не хотел медлить минуты, уговорил кое-как банкира отсрочить долг и взял место в курьерской карете. Казалось, страшная тягость свалилась с души его, когда скрылся из вида Париж и дохнуло на него свежим воздухом полей. В двое суток он уже был в Марселе, не хотел отдохнуть часу и того же вечера пересел на пароход. Средиземное море показалось ему родным: оно омывало берега его отчизны, и он посвежел уже, только глядя на одни бесконечные его волны. Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее при виде первого итальянского города, — это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее, вдруг обнесший его со всех сторон, когда пароход пришел к пристани. Никогда не видал он Генуи. Эта играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была единственна. Сошедши на берег, он очутился вдруг в этих темных, чудных, узеньких, мощенных плитами улицах, с одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта теснота между домами,

высокими, огромными, отсутствие экипажного стуку, треугольные маленькие площадки и между ними, как тесные коридоры, изгибающиеся линии улиц, наполненных лавочками генуэзских серебряников и золотых мастеров. Живописные кружевные покрывала женщин, чуть волнуемые теплым широкко; их твердые походки, звонкий говор в улицах; отворенные двери церквей, кадильный запах, несшийся оттуда, — все это дунуло на него чем-то далеким, минувшим. Он вспомнил, что уже много лет не был в церкви, потерявшей свое чистое, высокое значение в тех умных землях Европы, где он был. Тихо вошел он и стал в молчании на колени у великолепных мраморных колонн и долго молился, сам не зная за что: молился, что его приняла Италия, что снизошло на него желанье молиться, что празднично было у него на душе, — и молитва эта, верно, была лучшая. Словом, как прекрасную станцию унес он за собою Геную: в ней принял он первый поцелуй Италии. С таким же ясным чувством увидел он Ливорно, пустеющую Пизу, Флоренцию, слабо знаемую им прежде. Величаво глянул на него тяжелый граненый купол ее собора, темные дворцы царственной архитектуры и строгое величье небольшого городка. Потом по-

несся через Апеннины, сопровождаемый тем же светлым расположением духа, и когда наконец после шестидневной дороги показался в ясной дали, на чистом небе, чудесно круглившийся купол — о!.. сколько чувств тогда столпилось разом в его груди! Он не знал и не мог передать их; он оглядывал всякий холмик и отлогость. И вот уже наконец Ponte Molle, городские ворота, и вот обняла его красавица площадей Piazza del Popolo, глянул Monte Pincio с террасами, лестницами, статуями и людьми, прогуливающимися на верхушках. Боже! как забилось его сердце! Ветурин понесся по улице Корсо, где когда-то ходил он с аббатом, невинный, простодушный, знавший только, что латинский язык есть отец итальянского. Вот предстали пред ним опять все домы, которые он знал наизусть: Palazzo Ruspoli с своим огромным кафе, Piazza Colonna, Palazzo Sciarra, Palazzo Doria; наконец поворотил он в переулки, так бранимые иностранцами, не кипящие переулки, где изредка только попадалась лавка брадобрея с нарисованными лилиями над дверьми, да лавка шляпочника, высунувшего из дверей долгополую кардинальскую шляпу, да лавчонка плетеных стульев, делавшихся тут же на улице. Наконец карета остановилась перед ве-

личавым дворцом брамантовского стиля. Никого не было в нагих неубранных сенях. На лестнице встретил его дряхлый maestro di casa, потому что швейцар с своей булавой ушел, по обыкновению, в кафе, где проводил все время. Старик побежал отворять ставни и освещать мало-помалу старинные величественные залы. Грустное чувство овладело им, — чувство, понятное всякому приезжающему после нескольких лет отсутствия домой, когда все что ни было кажется еще старее, еще пустее и когда тягостно говорит всякий предмет, знаемый в детстве, — и чем веселее были с ним сопряженные случаи, тем сокрушительней грусть, насылаемая им на сердце. Он прошел длинный ряд зал, оглянул кабинет и спальню, где еще не так давно старый владетель дворца засыпал в кровати под балдахином с кистями и гербом и потом выходил в шлафроке и туфлях в кабинет выпить стакан ослиного молока, с намереньем пополнеть; уборную, где он наряжался с утонченным стараньем старой кокетки и откуда отправлялся потом в коляске с своими лакеями на гулянье в виллу Боргезе, лорнировать постоянно какую-то англичанку, приезжавшую туда также прогуливаться. На столах и в ящиках видны были еще остатки румян, белил и всяких притираний,

которыми молодил себя старик. Maestro di casa объявил, что уже за две недели до смерти он принял было твердое намерение жениться и сделал нарочно консультацию с иностранными докторами, как поддержать con onore i doveri di marito; но что в один день, сделавши два или три визита кардиналам и какому-то приору, он возвратился усталый домой, сел в кресла и умер смертью праведника, хотя смерть его была бы еще блаженнее, если бы он, по словам maestro di casa, догадался послать за две минуты прежде за своим духовником il padre Benvenuto. Все это слушал молодой князь, рассеянный, не принадлежа мыслью ни к чему. Отдохнувши от дороги и от странных впечатлений, он занялся своими делами. Его поразил страшный беспорядок их. Все, от малого до большого, было в бестолковом, запутанном виде. Четыре бесконечные тяжбы за обвалившиеся дворцы и земли в Ферраре и Неаполе, совершенно опустошенные доходы за три года вперед, долги и нищенский недостаток среди великолепия — вот что представилось глазам его. Старый князь был непонятное соединение скупости и пышности. Он держал огромную прислугу, которая не получала никакой платы, ничего, кроме ливреи, и довольствовалась подаяниями иностранцев,

приходивших смотреть галерею. При князе были егери, официанты, лакеи, которые ездили у него за коляской, лакеи, которые никуда не ездили и просиживали по целым дням в ближнем кафе или остерии, болтая всякий вздор. Он распустил тот же час всю эту сволочь, всех егерей и охотников, и оставил одного только старика maestro di casa; уничтожил почти вовсе конюшню, продав никогда не употреблявшихся лошадей; призвал адвокатов и распорядился с своими тяжбами, по крайней мере, так, что из четырех составил две, бросив остальные, как вовсе бесполезные; решился ограничить себя во всем и вести жизнь со всею строгостью экономии. Это было ему нетрудно сделать, потому что уже заблаговременно он привык ограничивать себя. Ему нетрудно было также отказаться от всякого сообщества с своим сословием, — которое, впрочем, все состояло из двух-трех доживавших фамилий, — общества, воспитанного кое-как отголосками французского образованья, да богача банкира, собиравшего около себя круг иностранцев, да неприступных кардиналов, людей необщительных, черствых, уединенно проводивших время за карточной игрой в tresette (род дурачка) с своим камердинером или брадобреем. Словом, он уединился

совершенно, принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами, и с недоумением вопрошает, попадая из переулка в переулок: где же огромный Древний Рим? — и потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться Древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной, где фронтоном посреди вонючего рыбного рынка, где целым портиком перед нестаринной церковью, и, наконец, далеко, там, где оканчивается вовсе живущий город, громадно воздымается он среди тысячелетних плющей, алоэ и открытых равнин необъятным Колизеем, триумфальными арками, останками необозримых цезарских дворцов, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полям; и уже не видит иноземец нынешних тесных его улиц и переулков, весь объятый Древним миром: в памяти его восстают колоссальные образы цезарей; криками и плесками древней толпы поражается ухо…

Но не так, как иностранец, преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к

одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город, — нет, он находил все ра́вно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могучий средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век с толпящимся новым народонаселением. Ему нравилось это чудное их слияние в одно, эти признаки людной столицы и пустыни вместе: дворец, колонны, трава, дикие кусты, бегущие по стенам, трепещущий рынок среди темных, молчаливых, заслоненных снизу громад, живой крик рыбного продавца у портика, лимонадчик с воздушной, украшенной зеленью лавчонкой перед Пантеоном. Ему нравилась самая невзрачность улиц — темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города: отдыхавшее стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие на всеми ясной, торжественной тишины, обнимавшей человека. Ему нравились эти беспрерывные внезапности, нежданности, поражающие в Риме. Как охотник, выходящий с утра на ловлю, как старинный рыцарь, искатель приключений, он отправлялся

отыскивать всякий день новых и новых чудес и останавливался невольно, когда вдруг среди ничтожного переулка возносился пред ним дворец, дышавший строгим, сумрачным величием. Из темного травертина были сложены его тяжелые, несокрушимые стены, вершину венчал великолепно набранный колоссальный карниз, мраморными брусьями обложена была большая дверь, и окна глядели величаво, обремененные роскошным архитектурным убранством; или как вдруг нежданно вместе с небольшой площадью выглядывал картинный фонтан, обрызгивавший себя самого и свои обезображенные мхом гранитные ступени; как темная грязная улица оканчивалась нежданно играющей архитектурной декорацией Бернини, или летящим кверху обелиском, или церковью и монастырской стеною, вспыхивавшими блеском солнца на темно-лазурном небе, с черными, как уголь, кипарисами. И чем далее вглубь уходили улицы, тем чаще росли дворцы и архитектурные созданья Браманта, Борромини, Сангалло, Деллапорта, Виньолы, Бонаротти, — и понял он наконец ясно, что только здесь, только в Италии, слышно присутствие архитектуры и строгое ее величие как художества. Еще выше было духовное его наслажденье, когда он пере-

носился во внутренность церквей и дворцов, где арки, плоские столпы и круглые колонны из всех возможных сортов мрамора, перемешанные с базальтовыми, лазурными карнизами, порфиром, золотом и античными камнями, сочетались согласно, покоренные обдуманной мысли, и выше их всех вознеслось бессмертное создание кисти. Они были высоко прекрасны, эти обдуманные убранства зал, полные царского величия и архитектурной роскоши, везде умевшей почтительно преклониться пред живописью в сей плодотворный век, когда художник бывал и архитектор, и живописец, и даже скульптор вместе. Могучие созданья кисти, уже не повторяющейся ныне, возносились сумрачно пред ним на потемневших стенах, все еще непостижимые и недоступные для подражания. Входя и погружаясь более и более в созерцание их, он чувствовал, как развивался видимо его вкус, залог которого уже хранился в душе его. И как пред этой величественной, прекрасной роскошью показалась ему теперь низкою роскошь XIX столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшенья магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых и

лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анджелов, низведшая к ремеслу искусство. Как низкою показалась ему эта роскошь, поражающая только первый взгляд и озираемая потом равнодушно, перед этой величавой мыслию украсить стены вековечным созданьем кисти, перед этой прекрасной мыслью владельца дворца доставить себе вечный предмет наслажденья в часы отдыха от дел и от шумного жизненного дрязга, уединившись там, в углу, на старинной софе, далеко от всех, вперя безмолвно взор и вместе со взором входя глубже душою в тайны кисти, зрея невидимо в красе душевных помыслов. Ибо высоко возвышает искусство человека, придавая благородство и красоту чудную движеньям души. Как низки казались ему пред этой незыблемой плодотворной роскошью, окружившею человека предметами движущими и воспитывающими душу, нынешние мелочные убранства, ломаемые и выбрасываемые ежегодно беспокойною модою, странным, непостижимым порожденьем XIX века, пред которым безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разрушительницей всего, что колоссально, величественно, свято. При таких рассуждениях невольно приходило ему на мысль: не оттого ли сей равнодушный хлад,

обнимающий нынешний век, торговый, низкий расчет, ранняя притупленность еще не успевших развиться и возникнуть чувств? Иконы вынесли из храма — и храм уже не храм; летучие мыши и злые духи обитают в нем.

Чем более он всматривался, тем более поражала его сия необыкновенная плодотворность века, и он невольно восклицал: «Когда и как успели они это наделать!» Эта великолепная сторона Рима как будто бы росла перед ним ежедневно. Галереи и галереи, и конца им нет… И там, и в той церкви, хранится какое-нибудь чудо кисти. И там, на дряхлеющей стене, еще дивит готовый исчезнуть фреск. И там, на вознесенных мраморах и столпах, набранных из древних языческих храмов, блещет неувядаемой кистью плафон. Все это было похоже на скрытые золотые рудники, сокровенные обыкновенной землей, знакомые одному только рудокопу. Как полно было у него всякий раз на душе, когда возвращался он домой; как было различно это чувство, объятое спокойной торжественностью тишины, от тех тревожных впечатлений, которыми бессмысленно наполнялась душа его в Париже, когда он возвращался домой усталый, утомленный, редко будучи в силах поверить итог их.

Теперь ему казалось еще более согласною с этими внутренними сокровищами Рима его неприглядная, потемневшая, запачканная наружность, так бранимая иностранцами. Ему неприятно было бы выйти после всего этого в модную улицу с блестящими магазинами, щеголеватостью людей и экипажей: это было бы чем-то развлекающим, святотатственным. Ему лучше нравилась эта скромная тишина улиц, это особенное выражение римского населения, этот призрак восемнадцатого века, еще мелькавший по улице то в виде черного аббата с треугольною шляпой, черными чулками и башмаками, то в виде старинной пурпурной кардинальской кареты с позлащенными осями, колесами, карнизами и гербами, — все как-то согласовалось с важностью Рима: этот живой, неторопящийся народ, живописно и покойно расхаживающий по улицам, закинув полуплащ или набросив себе на плечо куртку, без тягостного выражения в лицах, которое так поражало его на синих блузах и на всем народонаселенье Парижа. Тут самая нищета являлась в каком-то светлом виде, беззаботная, незнакомая с терзаньем и слезами, беспечно и живописно протягивавшая руку; картинные полки монахов, переходившие улицы

в длинных белых или черных одеждах; нечистый рыжий капуцин, вдруг вспыхнувший на солнце светло-верблюжьим цветом; наконец, это населенье художников, собравшихся со всех сторон света, которые бросили здесь узенькие лоскуточки одеяний европейских и явились в свободных живописных нарядах; их величественные осанистые бороды, снятые с портретов Леонардо да Винчи и Тициана, так непохожие на те уродливые узкие бородки, которые француз переделывает и стрижет себе по пяти раз в месяц. Тут художник почувствовал красоту длинных волнующихся волос и позволил им рассыпаться кудрями. Тут самый немец с кривизной ног своих и бесперехватностью стана получил значительное выражение, разнеся по плечам золотистые свои локоны, драпируясь легкими складками греческой блузы или бархатным нарядом, известным под именем cinquecento, которое усвоили себе только одни художники в Риме. Следы строгого спокойствия и тихого труда отражались на их лицах. Самые разговоры и мненья, слышимые на улицах, в кафе, в остериях, были вовсе противоположны или непохожи на те, которые слышались ему в городах Европы. Тут не было толков о понизившихся фондах, о камерных пре-

ньях, об испанских делах: тут слышались речи об открытой недавно древней статуе, о достоинстве кистей великих мастеров, раздавались споры и разногласья о выставленном произведении нового художника, толки о народных праздниках и, наконец, частные разговоры, в которых раскрывался человек, вытесненные из Европы скучными общественными толками и политическими мнениями, изгнавшими сердечное выражение из лиц.

Часто оставлял он город для того, чтобы оглянуть его окрестности, и тогда его поражали другие чудеса. Прекрасны были эти немые пустынные римские поля, усеянные останками древних храмов, с невыразимым спокойством расстилавшиеся вокруг, где пламенея сплошным золотом от слившихся вместе желтых цветков, где блеща жаром раздутого угля от пунцовых листов дикого мака. Они представляли четыре чудные вида на четыре стороны. С одной — соединялись они прямо с горизонтом одной резкой ровной чертой, арки водопроводов казались стоящими на воздухе и как бы наклеенными на блистающем серебряном небе. С другой — над полями сияли горы; не вырываясь порывисто и безобразно, как в Тироле или Швейцарии, но согласными

плывучими линиями выгибаясь и склоняясь, озаренные чудною ясностью воздуха, они готовы были улететь в небо; у подошвы их неслася длинная аркада водопроводов, подобно длинному фундаменту, и вершина гор казалась воздушным продолжением чудного зданья, и небо над ними было уже не серебряное, но невыразимого цвета весенней сирени. С третьей — эти поля увенчались тоже горами, которые уже ближе и выше возносились, выступая сильнее передними рядами и легкими уступами уходя вдаль. В чудную постепенность цветов облекал их тонкий голубой воздух; и сквозь это воздушно-голубое их покрывало сияли чуть приметные домы и виллы Фраскати, где тонко и легко тронутые солнцем, где уходящие в светлую мглу пылившихся вдали чуть приметных рощ. Когда же обращался он вдруг назад, тогда представлялась ему четвертая сторона вида: поля оканчивались самим Римом. Сияли резко и ясно углы и линии домов, круглость куполов, статуи Латранского Иоанна и величественный купол Петра, вырастающий выше и выше по мере отдаленья от него и властительно остающийся, наконец, один на всем полгоризонте, когда уже совершенно скрылся весь город. Еще лучше любил он оглянуть эти поля с террасы

которой-нибудь из вилл Фраскати или Альбано в часы захожденья солнца. Тогда они казались необозримым морем, сиявшим и возносившимся из темных перил террасы; отлогости и линии исчезали в обнявшем их свете. Сначала они еще казались зеленоватыми, и по ним еще виднелись там и там разбросанные гробницы и арки, потом они сквозили уже светлой желтизною в радужных оттенках света, едва выказывая древние остатки, и, наконец, становились пурпурней и пурпурней, поглощая в себе и самый безмерный купол и сливаясь в один густой малиновый цвет, и одна только сверкающая вдали золотая полоса моря отделяла их от пурпурного, так же как и они, горизонта. Нигде, никогда ему не случалось видеть, чтобы поле превращалось в пламя, подобно небу. Долго, полный невыразимого восхищенья, стоял он пред таким видом, и потом уже стоял так, просто, не восхищаясь, позабыв все, когда и солнце уже скрывалось, потухал быстро горизонт и еще быстрее потухали вмиг померкнувшие поля, везде устанавливал свой темный образ вечер, над развалинами огнистыми фонтанами подымались светящиеся мухи, и неуклюжее крылатое насекомое, несущееся стоймя, как человек, известное под именем дьявола, ударялось без

толку ему в очи. Тогда только он чувствовал, что наступивший холод южной ночи уже прохватил его всего, и спешил в городские улицы, чтобы не схватить южной лихорадки.

Так протекала жизнь его в созерцаньях природы, искусств и древностей. Среди сей жизни почувствовал он, более нежели когда-либо, желание проникнуть поглубже историю Италии, доселе ему известную эпизодами, отрывками; без нее казалось ему неполно настоящее, и он жадно принялся за архивы, летописи и записки. Он теперь мог их читать не так, как итальянец-домосед, входящий и телом и душою в читаемые события и не видящий из-за обступивших его лиц и происшествий всей массы целого. Он теперь мог оглядывать все покойно, как из ватиканского окна. Пребыванье вне Италии, в виду шума и движенья действующих народов и государств, служило ему строгою поверкою всех выводов, сообщило многосторонность и всеобъемлющее свойство его глазу. Читая, теперь он еще более и вместе с тем беспристрастней был поражен величием и блеском минувшей эпохи Италии. Его изумляло такое быстрое разнообразное развитие человека на таком тесном углу земли, таким сильным движеньем всех сил. Он видел,

как здесь кипел человек, как каждый город говорил своею речью, как у каждого города были целые томы истории, как разом возникли здесь все образы и виды гражданства и правлений: волнующиеся республики сильных, непокорных характеров и полновластные деспоты среди их; целый город царственных купцов, опутанный сокровенными правительственными нитями под призраком единой власти дожа; призванные чужеземцы среди туземцев; сильные напоры и отпоры в недре незначительного городка; почти сказочный блеск герцогов и монархов крохотных земель; меценаты, покровители и гонители; целый ряд великих людей, столкнувшихся в одно и то же время; лира, циркуль, меч и палитра; храмы, воздвигающиеся среди браней и волнений; вражда, кровавая месть, великодушные черты и кучи романических происшествий частной жизни среди политического общественного вихря и чудная связь между ими: такое изумляющее раскрытие всех сторон жизни политической и частной, такое пробуждение в столь тесном объеме всех элементов человека, совершавшихся в других местах только частями и на больших пространствах! И все это исчезло и прошло вдруг, все застыло, как погаснувшая лава, и выброшено

даже из памяти Европою, как старый, ненужный хлам. Нигде, даже в журналах, не выказывает бедная Италия своего развенчанного чела, лишенная значенья политического, а с ним и влиянья на мир.

«И неужели, — думал он, — не воскреснет никогда ее слава? Неужели нет средств возвратить минувший блеск ее?» И вспомнил он то время, когда еще в университете, в Лукке, бредил он о возобновлении ее минувшей славы, как это было любимой мыслью молодежи, как за стаканами добродушно и простосердечно мечтала она о том; и увидел он теперь, как близорука была молодежь и как близоруки бывают политики, упрекающие народ в беспечности и лени. Почуял он теперь, смутясь, великий перст, пред ним же повергается в прах немеющий человек, — великий перст, чертящий свыше всемирные события. Он вызвал из среды ее же гонимого ее гражданина, бедного генуэзца, который один убил свою отчизну, указав миру неведомую землю и другие широкие пути. Раздался всемирный горизонт, огромным размахом закипели движенья Европы, понеслись вокруг света корабли, двинув могучие северные силы. Осталось пусто Средиземное море; как обмелевшее речное русло, обмелела

обойденная Италия. Стои́т Венеция, отразив в адриатические волны свои потухнувшие дворцы, и разрывающей жалостью проникается сердце иностранца, когда поникший гондольер влечет его под пустынными стенами и разрушенными перилами безмолвных мраморных балконов. Онемела Феррара, пугая дикой мрачностью своего герцогского дворца. Глядят пустынно на всем пространстве Италии ее наклонные башни и архитектурные чуда, очутясь среди равнодушного к ним поколенья. Звонкое эхо раздается в шумевших когда-то улицах, и бедный ветурин подъезжает к грязной остерии, поселившейся в великолепном дворце. В нищенском вретище очутилась Италия, и пыльными отрепьями висят на ней куски ее померкнувшей царственной одежды.

В порыве душевной жалости готов он был даже лить слезы. Но утешительная, величественная мысль приходила сама к нему в душу, и чуял он другим, высшим чутьем, что не умерла Италия, что слышится ее неотразимое вечное владычество над всем миром, что вечно веет над нею ее великий гений, уже в самом начале завязавший в груди ее судьбу Европы, внесший крест в европейские темные леса, захвативший гражданским

багром на дальнем краю их дикообразного человека, закипевший здесь впервые всемирной торговлей, хитрой политикой и сложностью гражданских пружин, вознесшийся потом всем блеском ума, венчавший чело свое святым венцом поэзии и, когда уже политическое влияние Италии стало исчезать, развернувшийся над миром торжественными дивами — искусствами, подарившими человеку неведомые наслажденья и божественные чувства, которые дотоле не подымались из лона души его. Когда же и век искусства сокрылся и к нему охладели погруженные в расчеты люди, он веет и разносится над миром в завывающих воплях музыки, и на берегах Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземного, Черного моря, в стенах Алжира и на отдаленных, еще недавно диких, островах гремят восторженные плески звонким певцам. Наконец, самой ветхостью и разрушеньем своим он грозно владычествует ныне в мире: эти величавые архитектурные чуда остались, как призраки, чтобы попрекнуть Европу в ее китайской мелочной роскоши, в игрушечном раздроблении мысли. И самое это чудное собрание отживших миров, и прелесть соединенья их с вечно цветущей природой — все существует для того, чтобы будить мир,

чтоб жителю севера, как сквозь сон, представлялся иногда этот юг, чтоб мечта о нем вырывала его из среды хладной жизни, преданной занятиям, очерствляющим душу, — вырывала бы его оттуда, блеснув ему нежданно уносящею вдаль перспективой, колизейскою ночью при луне, прекрасно умирающей Венецией, невидимым небесным блеском и теплыми поцелуями чудесного воздуха, — чтобы хоть раз в жизни был он прекрасным человеком…

В такую торжественную минуту он примирялся с разрушеньем своего отечества, и зрелись тогда ему во всем зародыши вечной жизни, вечно лучшего будущего, которое вечно готовит миру его вечный творец. В такие минуты он даже весьма часто задумывался над нынешним значением римского народа. Он видел в нем материал еще непочатый. Еще ни разу не играл он роли в блестящую эпоху Италии. Отмечали на страницах истории имена свои папы да аристократические домы, но народ оставался незаметен. Его не зацеплял ход двигавшихся внутри и вне его интересов. Его не коснулось образованье и не взметнуло вихрем сокрытые в нем силы. В его природе заключалось что-то младенчески благородное. Эта гордость римским именем, вследствие которой

часть города, считая себя потомками древних квиритов, никогда не вступала в брачные союзы с другими. Эти черты характера, смешанного из добродушия и страстей, показывающие светлую его натуру: никогда римлянин не забывал ни зла, ни добра, он или добрый или злой, или расточитель или скряга, в нем добродетели и пороки в своих самородных слоях и не смешались, как у образованного человека, в неопределенные образы, у которого всяких страстишек понемногу под верховным начальством эгоизма. Эта невоздержность и порыв развернуться на все деньги, — замашка сильных народов, — все это имело для него значение. Эта светлая непритворная веселость, которой теперь нет у других народов: везде, где он ни был, ему казалось, что стараются тешить народ; здесь, напротив, он тешится сам. Он сам хочет быть участником, его насилу удержишь в карнавале; все, что ни накоплено им в продолжение года, он готов промотать в эти полторы недели; все усадит он на один наряд: оденется паяцом, женщиной, поэтом, доктором, графом, врет чепуху и лекции и слушающему и неслушающему, — и веселость эта обнимает, как вихорь, всех — от сорокалетнего до ребятишки: последний бобыль, которому не во что одеться,

выворачивает себе куртку, вымазывает лицо углем и бежит туда же, в пеструю кучу. И веселость эта прямо из его природы; ею не хмель действует, — тот же самый народ освищет пьяного, если встретит его на улице. Потом черты природного художественного инстинкта и чувства: он видел, как простая женщина указывала художнику погрешность в его картине; он видел, как выражалось невольно это чувство в живописных одеждах, в церковных убранствах, как в Дженсано народ убирал цветочными коврами улицы, как разноцветные листики цветов обращались в краски и тени, на мостовой выходили узоры, кардинальские гербы, портрет папы, вензеля, птицы, звери и арабески. Как накануне Светлого Воскресенья продавцы съестных припасов, *пицикаролы*, убирали свои лавчонки: свиные окорока, колбасы, белые пузыри, лимоны и листья обращались в мозаику и составляли плафон; круги пармезанов и других сыров, ложась один па другой, становились в колонны; из сальных свечей составлялась бахрома мозаичного занавеса, драпировавшего внутренние стены; из сала, белого как снег, отливались целые статуи, исторические группы христианских и библейских содержаний, которые изумленный зритель принимал

за алебастровые, — вся лавочка обращалась в светлый храм, сияя позлащенными звездами, искусно освещаясь развешанными шкаликами и отражая зеркалами бесконечные кучи яиц. Для всего этого нужно было присутствие вкуса, и пицикароло делал это не из каких-нибудь доходов, но для того, чтобы полюбовались другие и полюбоваться самому. Наконец, народ, в котором живет чувство собственного достоинства: здесь он il popolo, а не чернь, и носит в своей природе прямые начала времен первоначальных квиритов; его не могли даже совратить наезды иностранцев, развратителей недействующих наций, порождающие по трактирам и дорогам презреннейший класс людей, по которым путешественник произносит часто суждение обо всем народе. Самая нелепость правительственных постановлений, эта бессвязная куча всяких законов, возникших во все времена и отношенья и не уничтоженных поныне, между которыми даже есть эдикты времен древней римской республики, — все это не искоренило высокого чувства справедливости в народе. Он порицает неправедного притязателя, освистывает гроб покойника и впрягается великодушно в колесницу, везущую тело, любезное народу. Самые поступки духовен-

ства, часто соблазнительные, произведшие бы в других местах разврат, почти не действуют на него: он умеет отделить религию от лицемерных исполнителей и не заразился холодной мыслью неверия. Наконец, самая нужда и бедность, неизбежный удел стоячего государства, не ведут его к мрачному злодейству: он весел и переносит все, и только в романах да повестях режет по улицам. Все это показывало ему стихии народа сильного, непочатого, для которого как будто бы готовилось какое-то поприще впереди. Европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось его и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования. Самое духовное правительство, этот странный уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния, чтоб никто из честолюбивых соседей не посягнул на его личность, чтобы до времени в тишине таилась его гордая народность. Притом здесь, в Риме, не слышалось что-то умершее; в самых развалинах и великолепной бедности Рима не было того томительного, проникающего чувства, которым объемлется невольно человек, созерцающий памятники заживо умирающей нации. Тут противоположное чувство; тут яс-

ное, торжественное спокойство. И всякий раз, соображая все это, князь предавался невольно размышлениям и стал подозревать какое-то таинственное значение в слове «вечный Рим».

Итог всего этого был тот, что он старался узнавать более и более свой народ. Он его следил на улицах, в кафе, где в каждом были свои посетители: в одном антикварии, в другом стрелки и охотники, в третьем кардинальские слуги, в четвертом художники, в пятом вся римская молодежь и римское щегольство; следил в остериях, чисто римских остериях, куда не заходит иностранец, где римский nobile садится иногда рядом с миненте и общество скидает с себя сюртуки и галстуки в жаркие дни; следил его в загородных живописно-невзрачных трактиришках с воздушными окнами без стекол, куда фамилиями и компаниями наезжали римляне обедать, или, по их выражению, far allegria. Он садился и обедал вместе с ними, вмешивался охотно в разговор, дивясь весьма часто простому здравомыслию и живой оригинальности рассказа простых, неграмотных горожан. Но более всего он имел случай узнавать его во время церемоний и празднеств, когда всплывает наверх все народонаселение Рима и вдруг показывается несметное множество

дотоле неподозреваемых красавиц, — красавиц, которых образы мелькают только в барельефах да в древних антологических стихотворениях. Эти полные взоры, алебастровые плечи, смолистые волосы, в тысяче разных образов поднятые на голову или опрокинутые назад, картинно пронзенные насквозь золотой стрелой, руки, гордая походка, везде черты и намеки на серьезную классическую красоту, а не легкую прелесть грациозных женщин. Тут женщины казались подобны зданьям в Италии: они или дворцы или лачужки, или красавицы или безобразные; середины нет между ними: хорошеньких нет. Он ими наслаждался, как наслаждался в прекрасной поэме стихами, выбившимися из ряда других и насылавшими свежительную дрожь на душу.

Но скоро к таким наслажденьям присоединилось чувство, объявившее сильную борьбу всем прочим, — чувство, которое вызвало из душевного дна сильные человеческие страсти, подымающие демократический бунт против высокого единодержавия души: он увидел Аннунциату. И вот таким образом мы добрались наконец до светлого образа, который озарил начало нашей повести.

Это было во время карнавала.

— Сегодня я не пойду на Корсо, — сказал принчипе своему maestro di casa, выходя из дому, — мне надоедает карнавал, мне лучше нравятся летние праздники и церемонии…

— Но разве это карнавал? — сказал старик. — Это карнавал ребят. Я помню карнавал: когда по всему Корсо ни одной кареты не было и всю ночь гремела по улицам музыка; когда живописцы, архитекторы и скульпторы выдумывали целые группы, истории; когда народ, — князь понимает: весь народ, все — все золотильщики, рамщики, мозаичисты, прекрасные женщины, вся синьория, все nobili, все, все, все… o quanta allegria! Вот когда был карнавал так карнавал, а теперь что за карнавал? Э! — сказал старик и пожал плечами, потом опять сказал: — Э! — и пожал плечами; и потом уже произнес: — E una porcheria.

Затем maestro di casa в душевном порыве сделал необыкновенно сильный жест рукою, но утишился, увидев, что князя давно пред ним не было. Он был уже на улице. Не желая участвовать в карнавале, он не взял с собой ни маски, ни железной сетки на лицо и, забросившись плащом, хотел только пробраться через Корсо на другую половину города. Но народная толпа была слишком густа. Едва только продрался он

между двух человек, как уже попотчевали его сверху мукой; пестрый арлекин ударил его по плечу трещоткою, пролетев мимо с своей коломбиною; конфетти и пучки цветов полетели ему в глаза; с двух сторон стали ему жужжать в уши: с одной стороны граф, с другой медик, читавший ему длинную лекцию о том, что у него находится в желудочной кишке. Пробиться между них не было сил, потому что народная толпа возросла; цепь экипажей, уже не будучи в возможности двинуться, остановилась. Внимание толпы занял какой-то смельчак, шагавший на ходулях вравне с домами, рискуя всякую минуту быть сбитым с ног и грохнуться насмерть о мостовую. Но об этом, кажется, у него не было забот. Он тащил на плечах чучело великана, придерживая его одной рукою, неся в другой написанный на бумаге сонет с приделанным к нему бумажным хвостом, какой бывает у бумажного змея, и крича во весь голос: «Ecco il gran poeta morto. Ecco il suo sonetto colla coda!» («Вот умерший великий поэт! вот его сонет с хвостом!»)[146] Этот смельчак сгустил за

[146] Примечания: 146

В итальянской поэзии существует род стихотворения, известного под именем сонета с хвостом (con la coda), — когда мысль не вместилась и ведет за собою прибавление, которое часто бывает длиннее самого сонета. (*Прим. Н.В. Гоголя.*)

собою толпу до такой степени, что князь едва мог перевести дух. Наконец вся толпа двинулась вперед за мертвым поэтом; цепь экипажей тронулась, чему он обрадовался сильно, хоть народное движение сбило с него шляпу, которую он теперь бросился подымать. Поднявши шляпу, он поднял вместе и глаза и остолбенел: перед ним стояла неслыханная красавица. Она была в сияющем альбанском наряде, в ряду двух других тоже прекрасных женщин, которые были пред ней, как ночь пред днем. Это было чудо в высшей степени. Все должно было померкнуть пред этим блеском. Глядя на нее, становилось ясно, почему итальянские поэты и сравнивают красавиц с солнцем. Это именно было солнце, полная красота. Все, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, все это собралось сюда вместе. Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц. Пред ее густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Ее руки были для того, чтобы всякого обратить в художника, — как художник, глядел бы он на них вечно, не смея дохнуть. Пред ее ногами показались бы щепками ноги англичанок, немок, француженок и женщин всех других

наций; одни только древние ваятели удержали высокую идею красоты их в своих статуях. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить! Тут не нужно было иметь какой-нибудь особенный вкус: тут все вкусы должны были сойтиться, все должны были повергнуться ниц: и верующий и неверующий упали бы пред ней, как пред внезапным появленьем божества. Он видел, как весь народ, сколько его там ни было, загляделся на нее, как женщины — выразили невольное изумленье на своих лицах, смешанное с наслажденьем, и повторяли: «O bella!» — как все, что ни было, казалось, превратилось в художника и смотрело пристально на одну ее. Но в лице красавицы написано было только одно вниманье к карнавалу: она смотрела только на толпу и на маски, не замечая обращенных на нее глаз, едва слушая стоявших позади ее мужчин в бархатных куртках, вероятно родственников, пришедших вместе с ними. Князь принимался было расспрашивать у близ стоявших около себя, кто была такая чудная красавица и откуда. Но везде получал в ответ одно только пожатье плечьми, сопровождаемое жестом, и слова: «Не знаю,

должно быть, иностранка»[147]. Недвижный, утаив дыханье, он поглощал ее глазами. Красавица наконец навела на него свои полные очи, но тут же смутилась и отвела их в другую сторону. Его пробудил крик: пред ним остановилась громадная телега. Толпа находившихся в ней масок в розовых блузах, назвав его по имени, принялась качать в него мукой, сопровождая одним длинным восклицаньем: «У, у, у!..» И в одну минуту с ног до головы был он обсыпан белою пылью, при громком смехе всех обступивших его соседей. Весь белый, как снег, даже с белыми ресницами, князь побежал наскоро домой переодеться.

Покамест он сбегал домой, пока успел переодеться, уже только полтора часа оставалось до Ave Maria. С Корсо возвращались пустые кареты: сидевшие в них перебрались на балконы — смотреть оттуда не переставшую двигаться толпу, в ожидании конного бега. При повороте на Корсо встретил он телегу, полную мужчин в куртках и сияющих женщин с цветочными венками на головах, с бубнами и тимпанами в руках. Телега, казалось, весело возвращалась домой, бока ее

---

[147] Примечания: 147

Римляне всех, кто не живет в Риме, называют иностранцами (forestieri), хотя бы они обитали только в десяти милях от города. (*Прим. Н.В. Гоголя.*)

были убраны гирляндами, спицы и ободья колес увиты зелеными ветвями. Сердце его захолонуло, когда он увидел, что среди женщин сидела в ней поразившая его красавица. Сверкающим смехом озарялось ее лицо. Телега быстро промчалась при кликах и песнях. Первым делом его было бежать вслед ее, но дорогу перегородил ему огромный поезд музыкантов: на шести колесах везли страшилищной величины скрыпку. Один человек сидел верхом на подставке, другой, идя сбоку ее, водил громадным смычком по четырем канатам, натянутым на нее вместо струн. Скрипка, вероятно, стоила больших трудов, издержек и времени. Впереди шел исполинский барабан. Толпа народа и мальчишек тесно валила вслед за музыкальным поездом, и шествие замыкал известный в Риме своею толщиною пицикароло, неся клистирную трубку вышиною в колокольню. Когда улица очистилась от поезда, князь увидел, что бежать за телегой глупо и поздно, и притом неизвестно, по каким дорогам понеслась она. Он не мог, однако же, отказаться от мысли искать ее. В воображенье его порхал этот сияющий смех и открытые уста с чудными рядами зубов. «Это блеск молнии, а не женщина, — повторял он в себе и в то же время с гордостью прибав-

лял: — Она римлянка. Такая женщина могла только родиться в Риме. Я должен непременно ее увидеть. Я хочу ее видеть не с тем, чтобы любить ее, нет, — я хотел бы только смотреть на нее, смотреть на всю ее, смотреть на ее очи, смотреть на ее руки, на ее пальцы, на блистающие волосы. Не целовать ее, хотел бы только глядеть на нее. И что же? Ведь это так должно быть, это в законе природы; она не имеет права скрыть и унести красоту свою. Полная красота дана для того в мир, чтобы всякий ее увидал, чтобы идею о ней сохранял навечно в своем сердце. Если бы она была просто прекрасна, а не такое верховное совершенство, она бы имела право принадлежать одному, ее бы мог он унести в пустыню, скрыть от мира. Но красота полная должна быть видима всем. Разве великолепный храм строит архитектор в тесном переулке? Нет, он ставит его на открытой площади, чтобы человек со всех сторон мог оглянуть его и подивиться ему. Разве для того зажжен светильник, сказал божественный учитель, чтобы скрывать его и ставить под стол? Нет, светильник зажжен для того, чтобы стоять на столе, чтобы всем было видно, чтобы все двигались при его свете. Нет, я должен ее видеть непременно». Так рассуждал князь и потом

долго передумывал и перебирал все средства, как достигнуть этого, — наконец, как казалось, остановился на одном и отправился тут же, нимало не медля, в одну из тех отдаленных улиц, которых много в Риме, где нет даже кардинальского дворца с выставленными расписными гербами на деревянных овальных щитах, где виден нумер над каждым окном и дверью тесного домишка, где идет горбом выпученная мостовая, куда из иностранцев заглядывает только разве пройдоха немецкий художник с походным стулом и красками да козел, отставший от проходящего стада и остановившийся посмотреть с изумленьем, что за улица, им никогда не виданная. Тут раздается звонко лепет римлянок: со всех сторон, изо всех окон несутся речи и переговоры. Тут все откровенно, и проходящий может совершенно знать все домашние тайны; даже мать с дочерью разговаривают не иначе между собою, как высунув обе свои головы на улицу; тут мужчин не заметно вовсе. Едва только блеснет утро, уже открывает окно и высовывается сьора Сусанна, потом из другого окна выказывается сьора Грация, надевая юбку. Потом открывает окно сьора Нанна. Потом вылезает сьора Лучия, расчесывая гребнем косу; наконец, сьора Чечилия высовывает руку из ок-

на, чтобы достать белье на протянутой веревке, которое тут же и наказывается за то, что долго не дало достать себя, наказывается скомканьем, киданьем на пол и словами: «Che bestia!» Тут все живо, все кипит: летит из окна башмак с ноги в шалуна сына или в козла, который подошел к корзинке, где поставлен годовалый ребенок, принялся его нюхать и наклоня голову, готовился ему объяснить, что такое значат рога. Тут ничего не было неизвестно: все известно. Синьоры все знали, что ни есть: какой сьора Джюдита купила платок, у кого будет рыба за обедом, кто любовник у Барбаручьи, какой капуцин лучше исповедует. Изредка только вставляет свое слово муж, стоящий обыкновенно на улице, облокотясь у стены, с коротенькою трубкою в зубах, почитавший необходимостью, услыша о капуцине, прибавить короткую фразу: «Все мошенники», — после чего продолжал снова пускать под нос себе дым. Сюда не заезжала никакая карета, кроме разве только одной двухколесной трясучки, запряженной мулом, привезшим хлебнику муку, и сонного осла, едва дотащившего перекидную корзину с брокольми, несмотря на все понуканья мальчишек, угобжающих каменьями его нещекотливые бока. Тут нет никаких магазинов, кроме лавчонки,

где продавался хлеб и веревки, с стеклянными бутылями, да темного узенького кафе, находившегося в самом углу улицы, откуда виден был беспрестанно выходивший боттега, разносивший синьорам кофий или шоколад на козьем молоке в жестяных маленьких кофейничках, известный под именем Авроры. Домы тут принадлежали двум, трем, а иногда и четырем владельцам, из которых один имеет только пожизненное право, другой владеет одним этажом и имеет право пользоваться с него доходом только два года, после чего, вследствие завещания, этаж должен был перейти от него к padre Vincenzo на десять лет, у которого, однако же, хочет оттягать его какой-то родственник прежней фамилии, живущий во Фраскати и уже заблаговременно затеявший процесс. Были и такие владельцы, которые владели одним окном в одном доме, да другими двумя в другом доме, да пополам с братом пользовались доходами с окна, за которое, впрочем, вовсе не платил неисправный жилец, — словом, предмет неистощимых тяжб и продовольствия адвокатов и куриалов, наполняющих Рим. Дамы, о которых только что было упомянуто, — все, как первоклассные, честимые полными именами, так и второстепенные, на-

зывавшиеся уменьшительными именами, все Тетты, Тутты, Нанны, — большею частию ничем не занимались; они были супруги: адвоката, мелкого чиновника, мелкого торгаша, носильщика, факина, а чаще всего незанятого гражданина, умевшего только красиво драпироваться не весьма надежным плащом.

Многие из синьор служили моделями для живописцев. Тут были всех родов модели. Когда бывали деньги — они проводили весело время в остерии с мужьями и целой компанией; не было денег — не были скучны и глядели в окно. Теперь улица была тише обыкновенного, потому что некоторые отправились в народную толпу на Корсо. Князь подошел к ветхой двери одного домишка, которая вся была выверчена дырами, так что сам хозяин долго тыкал в них ключом, покамест попадал в настоящую. Уже готов он был взяться за кольцо, как вдруг услышал слова:

— Сьер принчипе хочет видеть Пеппе?

Он поднял голову вверх: из третьего этажа глядела, высунувшись, сьора Тутта.

— Экая крикунья, — сказала из супротивного окна сьора Сусанна. — Принчипе, может быть, совсем пришел не с тем, чтобы видеть Пеппе.

— Конечно, с тем, чтобы видеть Пеппе, не прав-

да ли, князь? С тем, чтобы видеть Пеппе, не так ли, князь? Чтобы увидеть Пеппе?

— Какой Пеппе, какой Пеппе! — продолжала с жестом обеими руками сьора Сусанна. — Князь стал бы думать теперь о Пеппе! Теперь время карнавала, князь поедет вместе с своей куджиной, маркезой Монтелли, поедет с друзьями в карете бросать цветы, поедет за город far allegria. Какой Пеппе! Какой Пеппе!

Князь изумился таким подробностям о своем препровождении времени; но изумляться ему было нечего, потому что сьора Сусанна знала все.

— Нет, мои любезные синьоры, — сказал князь, — мне, точно, нужно видеть Пеппе.

На это дала ответ князю уже синьора Грация, которая давно высунулась из окошка второго этажа и слушала. Ответ дала она, слегка пощелкав языком и покрутив пальцем, — обыкновенный отрицательный знак у римлянок, — и потом прибавила:

— Нет дома.

— Но, может быть, вы знаете, где он, куда ушел?

— Э! куда ушел! — повторила сьора Грация, приклонив голову к плечу. — Статься может, в остерии, на площади у фонтана; верно, кто-ни-

будь позвал его, куда-нибудь ушел, chi lo sa (кто его знает)!

— Если хочет принчипе что-нибудь сказать ему, — подхватила из супротивного окна Барбаручья, надевая в то же время серьгу в свое ухо, — пусть скажет мне, я ему передам.

«Ну, нет», — подумал князь и поблагодарил за такую готовность.

В это время выглянул из перекрестного переулка огромный запачканный нос и, как большой топор, повиснул над показавшимися вслед за ними губами и всем лицом.

Это был сам Пеппе.

— Вот Пеппе! — воскликнула сьора Сусанна.

— Вот идет Пеппе, sior principe! — вскрикнула живо из своего окна синьора Грация.

— Идет, идет Пеппе! — зазвенела из самого угла улицы сьора Чечилия.

— Принчипе, принчипе! вон Пеппе, вон Пеппе (ecco Peppe, ecco Peppe)! — кричали на улице ребятишки.

— Вижу, вижу, — сказал князь, оглушенный таким живым криком.

— Вот я, eccelenza, вот! — сказал Пеппе, снимая шапку.

Он, как видно, уже успел попробовать карна-

вала. Его откуда-то сбоку хватило сильно мукою. Весь бок и спина были у него выбелены совершенно, шляпа изломана, и все лицо было убито белыми гвоздями. Пеппе уже был замечателен потому, что всю жизнь свою остался с уменьшительным именем своим Пеппе. До Джузеппе он никак не добрался, хотя и поседел. Он происходил даже из хорошей фамилии, из богатого дома негоцианта, но последний домишко был у него оттяган тяжбой. Еще отец его, человек тоже вроде самого Пеппе, хотя и назывался sior Джиованни, проел последнее имущество, и он мыкал теперь свою жизнь, подобно многим, — то есть как приходилось: то вдруг определялся слугой у какого-нибудь иностранца, то был на посылках у адвоката, то являлся убирателем студии какого-нибудь художника, то сторожем виноградника или виллы; и по мере того изменялся на нем беспрестанно костюм. Иногда Пеппе попадался на улице в круглой шляпе и широком сюртуке, иногда в узеньком кафтане, лопнувшем в двух или трех местах, с такими узенькими рукавами, что длинные руки его выглядывали оттуда, как метлы; иногда на ноге его являлся поповский чулок и башмак, иногда он показывался в таком костюме, что уж и разобрать было трудно, тем

более, что все это было надето вовсе не так, как следует: иной раз просто можно было подумать, что он надел на ноги вместо панталон куртку, собравши и завязавши ее кое-как сзади. Он был самый радушный исполнитель всех возможных поручений, часто вовсе безынтересно: тащил продавать всякую ветошь, которую поручали дамы его улицы, пергаментные книги разорившегося аббата или антиквария, картину художника; заходил по утрам к аббатам забирать их панталоны и башмаки для почистки к себе на дом, которые потом позабывал в урочное время отнести назад от излишнего желанья услужить кому-нибудь попавшемуся третьему, и аббаты оставались арестованными, без башмаков и панталон, на весь день. Часто ему перепадали порядочные деньги, но деньгами он распоряжался по-римски: то есть на завтра никогда почти их не ставало; не потому, чтобы он тратил на себя или проедал, но потому, что все у него шло на лотерею, до которой был он страшный охотник. Вряд ли существовал такой нумер, которого бы он не попробовал. Всякое незначащее ежедневное происшествие у него имело важное значение. Случилось ли ему найти на улице какую-нибудь дрянь, он тот же час справлялся в гадательной книге, за каким

нумером она там стоит, с тем чтобы его тотчас же взять в лотерее. Приснился ему однажды сон, что сатана, который и без того ему снился неизвестно по какой причине в начале каждой весны, — что сатана потащил его за нос по всем крышам всех домов, начиная от церкви Св. Игнатия, потом по всему Корсо, потом по переулку tre Ladroni, потом по via della stamperia и остановился наконец у самой trinita на лестнице, приговаривая: «Вот тебе, Пеппе, за то, что ты молился святому Панкратию: твой билет не выиграет». Сон этот произвел большие толки между сьорой Чечилией, сьорой Сусанной и всей почти улицей; но Пеппе разрешил его по-своему: сбегал тот же час за гадательной книгой, узнал, что черт значит 13 нумер, нос 24, святой Панкратий 30, и взял того же утра все три нумера. Потом сложил все три нумера, вышел: 67, он взял и 67. Все четыре нумера, по обыкновению, лопнули. В другой раз случилось ему завести перепалку с виноградарем, толстым римлянином, сьором Рафаэлем Томачели. За что они поссорились — бог их ведает, но кричали они громко, производя сильные жесты руками, и, наконец, оба побледнели — признак ужасный, при котором обыкновенно со страхом высовываются из окон все женщины и проходящий пешеход

отсторанивается подальше, — признак, что дело доходит наконец до ножей. И точно, толстый Томачели запустил уже руку за ременное голенище, обтягивавшее его толстую икру, чтобы вытащить оттуда нож, и сказал: «Погоди ты, вот я тебя, телячья голова!» — как вдруг Пеппе ударил себя рукою по лбу и убежал с места битвы. Он вспомнил, что на телячью голову он еще ни разу не взял билета; отыскал нумер телячьей головы и побежал бегом в лотерейную контору, так что все, приготовившиеся смотреть кровавую сцену, изумились такому нежданному поступку, и сам Рафаэль Томачели, засунувши обратно нож в голенище, долго не знал, что ему делать, и наконец сказал: «Che uomo curioso!» (Какой странный человек!) Что билеты лопались и пропадали, этим не смущался Пеппе. Он был твердо уверен, что будет богачом, и потому, проходя мимо лавок, спрашивал почти всегда, что стоит всякая вещь. Один раз, узнавши, что продается большой дом, он зашел нарочно поговорить об этом с продавцом, и когда стали над ним смеяться знавшие его, он отвечал очень простодушно: «Но к чему смеяться, к чему смеяться? Я ведь не теперь хотел купить, а после, со временем, когда будут деньги. Тут ничего нет такого… всякий должен приоб-

ретать состояние, чтобы оставить потом детям, на церковь, бедным, на другие разные вещи… chi lo sa!» Он уже давно был известен князю, был даже когда-то взят отцом его в дом в качестве официанта и тогда же прогнан — за то, что в месяц износил свою ливрею и выбросил за окно весь туалет старого князя, нечаянно толкнув его локтем.

— Послушай, Пеппе! — сказал князь.

— Что хочет приказать eccelenza? — говорил Пеппе, стоя с открытою головою. — Князю стоит только сказать: «Пеппе!» — а я: «Вот я». Потом князь пусть только скажет: «Слушай, Пеппе», — а я: «Ecco me, eccelenza!»

— Ты должен, Пеппе, сделать мне теперь вот какую услугу… — При сих словах князь взглянул вокруг себя и увидел, что все сьоры Грации, сьоры Сусанны, Барбаручьи, Тетты, Тутты — все, сколько их ни было, — выставились любопытно из окна, а бедная сьора Чечилия чуть не вывалилась вовсе на улицу.

«Ну, дело плохо!» — подумал князь.

— Пойдем, Пеппе, ступай за мною.

Сказавши это, он пошел вперед, а за ним Пеппе, потупив голову и разговаривая сам с собою: «Э! женщины потому и любопытны, потому что

женщины, потому что любопытны».

Долго шли они из улицы в улицу, погрузясь каждый в свои соображения. Пеппе думал вот о чем: «Князь даст, верно, какое-нибудь поручение, может быть важное, потому что не хочет сказать при всех; стало быть, даст хороший подарок или деньги. Если же князь даст денег, что с ними делать? Отдавать ли их сьору Сервилию, содержателю кафе, которому он давно должен? потому что сьор Сервилио на первой же неделе поста непременно потребует с него денег, потому что сьор Сервилио усадил все деньги на чудовищную скрыпку, которую собственноручно делал три месяца для карнавала, чтоб проехаться с нею по всем улицам, — теперь, вероятно, сьор Сервилио долго будет есть вместо жаренного на вертеле козленка одни броколи, варенные в воде, пока не наберет вновь денег за кофий. Или же не платить сьору Сервилио да вместо того позвать его обедать в остерию? потому что сьор Сервилио il vero Romano и за предложенную ему честь будет готов потерпеть долг, — а лотерея непременно начнется со второй недели поста. Только каким образом до того времени уберечь деньги, как сохранить их так, чтобы не узнал ни Джякомо, ни мастер Петручьо, точильщик, которые непремен-

но попросят у него взаймы, потому что Джякомо заложил в Гету жидам все свое платье, а мастер Петручьо тоже заложил свое платье в Гету жидам и разорвал на себе юбку и последний платок жены, нарядясь женщиною… как сделать так, чтобы не дать им взаймы?» Вот о чем думал Пеппе.

Князь думал вот о чем: «Пеппе может разыскать и узнать имя, где живет, и откуда, и кто такая красавица. Во-первых, он всех знает и потому больше, нежели всякий другой, может встретить в толпе приятелей, может чрез них разведать, может заглянуть во все кафе и остерии, может заговорить даже, не возбудив ни в ком подозрения своей фигурой. И хотя он подчас болтун и рассеянная голова, но если обязать его словом настоящего римлянина, он сохранит все в тайне».

Так думал князь, идя из улицы в улицу, и наконец остановился, увидевши, что уже давно перешел мост, давно уже был в Транстеверской стороне Рима, давно взбирается на гору и недалеко от него церковь S. Pietro in Montorio. Чтобы не стоять на дороге, он взошел на площадку, с которой открывался весь Рим, и произнес, оборотившись к Пеппе:

— Слушай, Пеппе, я от тебя потребую одной услуги.

— Что хочет eccelenza? — сказал опять Пеппе.

Но здесь князь взглянул на Рим и остановился: пред ним в чудной сияющей панораме предстал Вечный город. Вся светлая груда домов, церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца. Группами и поодиночке один из-за другого выходили домы, крыши, статуи, воздушные террасы и галереи; там пестрела и разыгрывалась масса тонкими верхушками колоколен и куполов с узорною капризностью фонарей; там выходил целиком темный дворец; там плоский купол Пантеона; там убранная верхушка Антониновской колонны с капителью и статуей апостола Павла; еще правее возносили верхи капитолийские здания с конями, статуями; еще правее, над блещущей толпой домов и крыш, величественно и строго подымалась темная ширина колизейской громады; там опять играющая толпа стен, террас и куполов, покрытая ослепительным блеском солнца. И над всей сверкающей сей массой темнели вдали своей черною зеленью верхушки каменных дубов из вилл Людовизи, Медичис, и целым стадом стояли над ними в воздухе куполообразные верхушки римских пинн, поднятые тонкими стволами. И потом во всю длину всей картины возносились

и голубели прозрачные горы, легкие, как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом. Ни словом, ни кистью нельзя было передать чудного согласия и сочетанья всех планов этой картины. Воздух был до того чист и прозрачен, что малейшая черточка отдаленных зданий была ясна, и все казалось так близко, как будто можно было схватить рукою. Последний мелкий архитектурный орнамент, узорное убранство карниза — все вызначалось в непостижимой чистоте. В это время раздались пушечный выстрел и отдаленный слившийся крик народной толпы — знак, что уже пробежали кони без седоков, завершающие день карнавала. Солнце опускалось ниже к земле; румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе; еще живей и ближе сделался город; еще темней зачернели пинны; еще голубее и фосфорнее стали горы; еще торжественней и лучше готовый погаснуть небесный воздух… Боже, какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что ни есть на свете.

Пьесы

Ревизор

Комедия в пяти действиях

На зеркало неча пенять, коли рожа крива.

Народная пословица

Действующие лица

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий.

Анна Андреевна, жена его.

Марья Антоновна, дочь его.

Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ.

Жена его.

Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья.

Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений.

Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер.

Городские помещики.

Петр Иванович Добчинский

Петр Иванович Бобчинский

Иван Александрович Хлестаков, чиновник из

Петербурга.

Осип, слуга его.

Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь.

Отставные чиновники, почетные лица в городе.

Федор Андреевич Люлюков

Иван Лазаревич Растаковский

Степан Иванович Коробкин

Степан Ильич Уховертов, частный пристав.

Полицейские.

Свистунов

Пуговицын

Держиморда

Абдулин, купец.

Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша.

Жена унтер-офицера.

Мишка, слуга городничего.

Слуга трактирный.

Гости и гостьи, купцы, мещане, просители.

Характеры и костюмы

Замечания для господ актеров

Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженые, с проседью.

Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполовину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае выказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем потому только, что тот не находится что отвечать ей; но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках. Она четыре раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы.

Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех,

тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, — один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.

Осип, слуга, таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит сурьезно, смотрит несколько вниз, резонер и любит себе самому читать нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить, и молча плут. Костюм его — серый или синий поношенный сюртук.

Бобчинский и Добчинский, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но

Бобчинский развязнее и живее Добчинского.

Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом — как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют.

Земляника, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив.

Почтмейстер, простодушный до наивности человек.

Прочие роли не требуют особых изъяснений. Оригиналы их всегда почти находятся пред глазами.

Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвесть электрическое потрясение на всех разом, вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть

весь эффект.

Действие первое

Комната в доме городничего

Явление I

Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

Аммос Федорович. Как ревизор?

Артемий Филиппович. Как ревизор?

Городничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем.

Аммос Федорович. Вот те на!

Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай!

Лука Лукич. Господи Боже! еще и с секретным предписаньем!

Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам

прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель (*бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами*)… и уведомить тебя». А! вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд (*значительно поднимает палец вверх*). Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки…» (*остановясь*), ну, здесь свои… «то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито… Вчерашнего дни я…» Ну, тут уж пошли дела семейные: «…сестра Анна Кириловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кирилович очень потолстел и все играет на скрыпке…» — и прочее, и прочее. Так вот какое обстоятельство!

Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое… необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.

Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего

это? Зачем к нам ревизор?

Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! *(Вздохнув.)* До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.

Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что: Россия… да… хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.

Городничий. Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.

Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того… вы не… Начальство имеет тонкие виды: даром что далеко, а оно себе мотает на ус.

Городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряженья сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович! Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения — и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов,

как обыкновенно они ходят по-домашнему.

Артемий Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.

Городничий. Да, и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке… это уж по вашей части, Христиан Иванович, — всякую болезнь: когда кто заболел, которого дня и числа… Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше: тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача.

Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, — лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает.

Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву *и* и несколько на *е*.

Городничий. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа за-

вели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему ж сторожу и не завесть его? только, знаете, в таком месте неприлично… Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.

Аммос Федорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.

Городничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш… он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода, — это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.

Христиан Иванович издает тот же звук.

Аммос Федорович. Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.

Городничий. Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нет человека, который бы за собою не имел какихнибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят.

Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам — рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.

Городничий. Ну, щенками или чем другим — всё взятки.

Аммос Федорович. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль…

Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я по

крайней мере в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы… О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.

Аммос Федорович. Да ведь сам собою дошел, собственным умом.

Городничий. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде; а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда: это уж такое завидное место, сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо… не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак *(делает гримасу),* и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это посетителю, — это может быть очень

худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти.

Лука Лукич. Что ж мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству.

Городничий. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и что силы есть хвать стулом об пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне.

Лука Лукич. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже замечал… Говорит: «Как хотите, для науки я жизни не пощажу».

Городничий. Да, таков уже неизъяснимый за-

кон судеб: умный человек — или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.

Лука Лукич. Не приведи Бог служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.

Городничий. Это бы еще ничего, — инкогнито проклятое! Вдруг заглянет: «А, вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь судья?» — «Ляпкин-Тяпкин». — «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?» — «Земляника». — «А подать сюда Землянику!» Вот что худо!

Явление II

Те же и почтмейстер.

Почтмейстер. Объясните, господа, что, какой чиновник едет?

Городничий. А вы разве не слышали?

Почтмейстер. Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.

Городничий. Ну, что? Как вы думаете об этом?

Почтмейстер. А что думаю? война с турками будет.

Аммос Федорович. В одно слово! я сам то же

думал.

Городничий. Да, оба пальцем в небо попали!

Почтмейстер. Право, война с турками. Это все француз гадит.

Городничий. Какая война с турками! Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо.

Почтмейстер. А если так, то не будет войны с турками.

Городничий. Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?

Почтмейстер. Да что я? Как вы, Антон Антонович?

Городничий. Да что я? Страху-то нет, а так, немножко… Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся, а я, вот ей-богу, если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю *(берет его под руку и отводит в сторону),* я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно

опять запечатать; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное.

Почтмейстер. Знаю, знаю… Этому не учите, это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслажденьем прочтешь — так описываются разные пассажи… а назидательность какая… лучше, чем в «Московских ведомостях»!

Городничий. Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?

Почтмейстер. Нет, о петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако ж, что вы не читаете писем: есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом… очень, очень хорошо: «Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет…» — с большим, с большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту?

Городничий. Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич: если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких

рассуждений задерживайте.

Почтмейстер. С большим удовольствием.

Аммос Федорович. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.

Почтмейстер. Ах, батюшки!

Городничий. Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что-нибудь сделали, но ведь это дело семейственное.

Аммос Федорович. Да, нехорошее дело заварилось! А я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем чтобы попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и теперь мне роскошь: травлю зайцев на землях и у того и у другого.

Городничий. Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и — шасть…

Явление III

Те же, Бобчинский и Добчинский, оба входят запыхавшись.

Бобчинский. Чрезвычайное происшествие!

Добчинский. Неожиданное известие!

Все. Что, что такое?

Добчинский. Непредвиденное дело: приходим в гостиницу…

Бобчинский *(перебивая).* Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу…

Добчинский *(перебивая).* Э, позвольте, Петр Иванович, я расскажу.

Бобчинский. Э, нет, позвольте уж я… позвольте, позвольте… вы уж и слога такого не имеете…

Добчинский. А вы собьетесь и не припомните всего.

Бобчинский. Припомню, ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте! Скажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал.

Городничий. Да говорите, ради Бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа! Возьмите стулья! Петр Иванович, вот вам стул.

Все усаживаются вокруг обоих Петров Ивановичей.

Ну, что, что такое?

Бобчинский. Позвольте, позвольте: я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с, — так я тогда же забежал… уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр

Иванович! Я уж все, все, все знаю-с. Так я, вот изволите видеть, забежал к Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, завороти к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем…

Добчинский *(перебивая).* Возле будки, где продаются пироги.

Бобчинский. Возле будки, где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему: «Слышали ли вы о новости-та, которую получил Антон Антонович из достоверного письма?» А Петр Иванович уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, за чем-то была послана к Филиппу Антоновичу Почечуеву.

Добчинский *(перебивая).* За бочонком для французской водки.

Бобчинский *(отводя его руки).* За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почечуеву… Уж вы, Петр Иванович… энтого… не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте!.. Пошли к Почечуеву, да на дороге Петр Иванович говорит: «Зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня… с утра я ничего не

ел, так желудочное трясение…» — да-с, в желудке-то у Петра Ивановича… «А в трактир, говорит, привезли теперь свежей семги, так мы закусим». Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек…

Добчинский *(перебивая).* Недурной наружности, в партикулярном платье…

Бобчинский. Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение… физиономия… поступки, и здесь *(вертит рукою около лба)* много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с» Да. А Петр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек?» — а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит… Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом… «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга, а по

фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!» — говорю я Петру Ивановичу…

Добчинский. Нет, Петр Иванович, это я сказал «э!»

Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию?» Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.

Городничий. Кто, какой чиновник?

Бобчинский. Чиновник-та, о котором изволили получить нотицию, — ревизор.

Городничий *(в страхе).* Что вы, Господь с вами! это не он.

Добчинский. Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная прописана в Саратов.

Бобчинский. Он, он, ей-богу он… Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка…

да, так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.

Городничий. Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?

Добчинский. В пятом номере, под лестницей.

Бобчинский. В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.

Городничий. И давно он здесь?

Добчинский. А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.

Городничий. Две недели! *(В сторону.)* Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак, нечистота! Позор! поношенье! *(Хватается за голову.)*

Артемий Филиппович. Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.

Аммос Федорович. Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге «Деяния Иоанна Масона»…

Городничий. Нет, нет: позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. Авось Бог вынесет и теперь. *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Вы говорите, он молодой человек?

Бобчинский. Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.

Городничий. Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей. Эй, Свистунов!

Свистунов. Что угодно?

Городничий. Ступай сейчас за частным приставом; или нет, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава, и приходи сюда.

Квартальный бежит впопыхах.

Артемий Филиппович. Идем, идем, Аммос Федорович! В самом деле может случиться беда.

Аммос Федорович. Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.

Артемий Филиппович. Какое колпаки! Больным велено габерсуп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.

Аммос Федорович. А я на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни

не будет рад. Я вот уж пятнадцать лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку — а! только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда.

Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почтмейстер уходят и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным.

Явление IV

Городничий, Бобчинский, Добчинский и квартальный.

Городничий. Что, дрожки там стоят?

Квартальный. Стоят.

Городничий. Ступай на улицу… или нет, постой! Ступай принеси… Да другие-то где? неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?

Квартальный. Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.

Городничий. Как так?

Квартальный. Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.

Городничий *(хватаясь за голову).* Ах, Боже мой,

Боже мой! Ступай скорее на улицу, или нет — беги прежде в комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем!

Бобчинский. И я, и я… позвольте и мне, Антон Антонович!

Городничий. Нет, нет, Петр Иванович, нельзя, нельзя! Неловко, да и на дрожках не поместимся.

Бобчинский. Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку-та, в дверь этак посмотреть, как у него эти поступки…

Городничий *(принимая шпагу, к квартальному).* Беги сейчас возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет… Эк шпага как исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулин — видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ! А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице… черт возьми, по улице — по метле! и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто… Слышишь! Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки, — смотри, у меня ухо востро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым — а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку.

Смотри! не по чину берешь! Ступай!

Явление V

Те же и частный пристав.

Городничий. А, Степан Ильич! Скажите, ради Бога: куда вы запропастились? На что это похоже?

Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами.

Городничий. Ну, слушайте же, Степан Ильич! Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?

Частный пристав. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.

Городничий. А Держиморда где?

Частный пристав. Держиморда поехал на пожарной трубе.

Городничий. А Прохоров пьян?

Частный пристав. Пьян.

Городничий. Как же вы это так допустили?

Частный пристав. Да Бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка, — поехал туда для порядка, а возвратился пьян.

Городничий. Послушайте ж, вы сделайте вот

что: квартальный Пуговицын… он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, Боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор — черт их знает откудова и нанесут всякой дряни! *(Вздыхает.)* Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? — чтобы говорили: «Всем довольны, ваше благородие»; а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия… О, ох, хо, хо, х! грешен, во многом грешен. *(Берет вместо шляпы футляр.)* Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску. О Боже мой, Боже мой! Едем, Петр Иванович! *(Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр.)*

Частный пристав. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.

Городничий *(бросая коробку).* Коробка так

коробка. Черт с ней! Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами — и правому и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович! *(Уходит и возвращается.)* Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.

Все уходят.

Явление VI

Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену.

Анна Андреевна. Где ж, где ж они? Ах, Боже мой!.. *(Отворяя дверь.)* Муж! Антоша! Антон! *(Говорит скоро.)* А все ты, а всё за тобой. И пошла копаться: «Я булавочку, я косынку». *(Подбегает к окну и кричит.)* Антон, куда, куда? Что, приехал?

ревизор? с усами! с какими усами?

Голос городничего. После, после, матушка!

Анна Андреевна. После? Вот новости — после! Я не хочу после… Мне только одно слово: что он, полковник? А? *(С пренебрежением.)* Уехал! Я тебе вспомню это! А все эта: «Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку; я сейчас». Вот тебе и сейчас! Вот тебе ничего и не узнали! А все проклятое кокетство; услышала, что почтмейстер здесь, и давай пред зеркалом жеманиться; и с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься.

Марья Антоновна. Да что ж делать, маменька? Все равно чрез два часа мы всё узнаем.

Анна Андреевна. Чрез два часа! покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом! Как ты не догадалась сказать, что чрез месяц еще лучше можно узнать! *(Свешивается в окно.)* Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Машет руками? Пусть машет, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать! В голове чепуха, всё женихи сидят. А? Скоро уехали! да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас! Слышишь, побеги расспроси, куда поехали; да расспроси

хорошенько: что за приезжий, каков он, — слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все, и глаза какие: черные или нет, и сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее! *(Кричит до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна.)*

Действие второе

Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.

Явление I

Осип лежит на барской постели.

Черт побери, есть так хочется и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только, домой! Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера! Профинтил дорогою денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; нет, вишь ты, нужно в каждом городе показать

себя! *(Дразнит его.)* «Эй, Осип, ступай посмотри комнату, лучшую, да обед спроси самый лучший: я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед». Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой! С проезжающим знакомится, а потом в картишки — вот тебе и доигрался! Эх, надоела такая жизнь! Право, на деревне лучше: оно хоть нет публичности, да и заботности меньше; возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на полатях да ешь пироги. Ну, кто ж спорит: конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеятры, собаки тебе танцуют, и все что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит; пойдешь на Щукин — купцы тебе кричат: «Почтенный!»; на перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел — ступай в лавочку: там тебе кавалер расскажет про лагери и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот как на ладони все видишь. Старуха офицерша забредет; горничная иной раз заглянет такая… фу, фу, фу! *(Усмехается и трясет головою.)* Галантерейное, черт возьми, обхождение! Невежливого слова никогда не услышишь, всякой тебе говорит «вы». Наскучило идти — берешь извозчика и

сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему — изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать — и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый день ты доставай в кеятр билет, а там через неделю, глядь — и посылает на толкучий продавать новый фрак. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка… Ей-богу, правда! И сукно такое важное, аглицкое! рублев полтораста ему один фрак станет, а на рынке спустит рублей за двадцать; а о брюках и говорить нечего — нипочем идут. А отчего? — оттого, что делом не занимается: вместо того чтобы в должность, а он идет гулять по прешпекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин! Он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатим? *(Со вздохом.)* Ах, Боже

ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится; верно, это он идет. *(Поспешно схватывается с постели.)*

Явление II

Осип и Хлестаков.

Хлестаков. На, прими это. *(Отдает фуражку и тросточку.)* А, опять валялся на кровати?

Осип. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли?

Хлестаков. Врешь, валялся; видишь, вся склочена.

Осип. Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать? У меня есть ноги; я и постою. Зачем мне ваша кровать?

Хлестаков *(ходит по комнате).* Посмотри, там в картузе табаку нет?

Осип. Да где ж ему быть, табаку? Вы четвертого дня последнее выкурили.

Хлестаков *(ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом).* Послушай… эй, Осип!

Осип. Чего изволите?

Хлестаков *(громким, но не столь решительным голосом).* Ты ступай туда.

Осип. Куда?

Хлестаков *(голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе).* Вниз, в буфет… Там скажи… чтобы мне дали пообедать.

Осип. Да нет, я и ходить не хочу.

Хлестаков. Как ты смеешь, дурак!

Осип. Да так; все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать.

Хлестаков. Как он смеет не дать? Вот еще вздор!

Осип. «Еще, говорит, и к городничему пойду; третью неделю барин денег не плотит. Вы-де с барином, говорит, мошенники, и барин твой — плут. Мы-де, говорит, этаких шерамыжников и подлецов видали».

Хлестаков. А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это.

Осип. Говорит: «Этак всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо с жалобою, чтоб на съезжую да в тюрьму».

Хлестаков. Ну, ну, дурак, полно! Ступай, ступай скажи ему. Такое грубое животное!

Осип. Да лучше я самого хозяина позову к вам.

Хлестаков. На что ж хозяина? Ты поди сам

скажи.

Осип. Да, право, сударь…

Хлестаков. Ну, ступай, черт с тобой! позови хозяина.

Осип уходит.

Явление III

Хлестаков один.

Ужасно как хочется есть! Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит, — нет, черт возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня: штосы удивительно, бестия, срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел — и всё обобрал. А при всем том страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишко! В ово́щенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло. *(Насвистывает сначала из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни сё ни то.)* Никто не хочет идти.

Явление IV

Хлестаков, Осип и трактирный слуга.

Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно?

Хлестаков. Здравствуй, братец! Ну, что ты, здоров?

Слуга. Слава Богу.

Хлестаков. Ну что, как у вас в гостинице? хорошо ли все идет?

Слуга. Да, слава Богу, все хорошо.

Хлестаков. Много проезжающих?

Слуга. Да, достаточно.

Хлестаков. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят, так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее, — видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.

Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему.

Хлестаков. Да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется; я не шутя это говорю.

Слуга. Так-с. Он говорил: «Я ему обедать не дам,

покамест он не заплатит мне за прежнее». Таков уж ответ его был.

Хлестаков. Да ты урезонь, уговори его.

Слуга. Да что ж ему такое говорить?

Хлестаков. Ты растолкуй ему сурьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою… Он думает, что, как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости!

Слуга. Пожалуй, я скажу.

Явление V

Хлестаков один.

Это скверно, однако ж, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты, а хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить этаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади, одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились: «Кто такой, что такое?» А лакей входит *(вытягиваясь и представляя лакея):* «Иван Александрович Хлестаков из

Петербурга, прикажете принять?» Они, пентюхи, и не знают, что такое значит «прикажете принять». К ним если приедет какой-нибудь гусь помещик, так и валит, медведь, прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь: «Сударыня, как я…» *(Потирает руки и подшаркивает ножкой.)* Тьфу! *(плюет)* даже тошнит, так есть хочется.

Явление VI

Хлестаков, Осип, потом слуга.

Хлестаков. А что?

Осип. Несут обед.

Хлестаков *(прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле)*. Несут! несут! несут!

Слуга *(с тарелками и салфеткой).* Хозяин в последний раз уж дает.

Хлестаков. Ну, хозяин, хозяин… Я плевать на твоего хозяина! Что там такое?

Слуга. Суп и жаркое.

Хлестаков. Как, только два блюда?

Слуга. Только-с.

Хлестаков. Вот вздор какой! я этого не принимаю. Ты скажи ему: что это, в самом деле, такое!.. Этого мало.

Слуга. Нет, хозяин говорит, что еще много.

Хлестаков. А соуса почему нет?

Слуга. Соуса нет.

Хлестаков. Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человека ели семгу и еще много кой-чего.

Слуга. Да оно-то есть, пожалуй, да нет.

Хлестаков. Как нет?

Слуга. Да уж нет.

Хлестаков. А семга, а рыба, а котлеты?

Слуга. Да это для тех, которые почище-с.

Хлестаков. Ах ты, дурак!

Слуга. Да-с.

Хлестаков. Поросенок ты скверный… Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?

Слуга. Да уж известно, что не такие.

Хлестаков. Какие же?

Слуга. Обнаковенно какие! они уж известно: они деньги платят.

Хлестаков. Я с тобою, дурак, не хочу рассуждать. *(Наливает суп и ест.)* Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку: никакого вкусу нет, только воняет. Я не хочу этого супу, дай мне другого.

Слуга. Мы примем-с. Хозяин сказал: коли не хотите, то и не нужно.

Хлестаков *(защищая рукою кушанье).* Ну, ну, ну… оставь, дурак! Ты привык там обращаться с другими: я, брат, не такого рода! со мной не советую… *(Ест.)* Боже мой, какой суп! *(Продолжает есть.)* Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супу: какие-то перья плавают вместо масла. *(Режет курицу.)* Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Там супу немного осталось. Осип, возьми себе. *(Режет жаркое.)* Что это за жаркое? Это не жаркое.

Слуга. Да что ж такое?

Хлестаков. Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины. *(Ест.)* Мошенники, канальи, чем они кормят! И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. *(Ковыряет пальцем в зубах.)* Подлецы! Совершенно как деревянная кора, ничем вытащить нельзя; и зубы почернеют после этих блюд. Мошенники! *(Вытирает рот салфеткой.)* Больше ничего нет?

Слуга. Нет.

Хлестаков. Канальи! подлецы! и даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники! дерут только с проезжающих.

Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Оси-

пом.

Явление VII

Хлестаков, потом Осип.

Хлестаков. Право, как будто и не ел; только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.

Осип *(входит).* Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.

Хлестаков *(испугавшись).* Вот тебе на! Эка бестия трактирщик, успел уже пожаловаться! Что, если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом, я, пожалуй… нет, нет, не хочу! Там в городе таскаются офицеры и народ, а я, как нарочно, задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой… Нет, не хочу… Да что он, как он смеет в самом деле? Что я ему, разве купец или ремесленник? *(Бодрится и выпрямливается.)* Да я ему прямо скажу: «Как вы смеете, как вы…» *(У дверей вертится ручка; Хлестаков бледнеет и съеживается.)*

Явление VIII

Хлестаков, городничий и Добчинский.

Городничий, вошед, останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.

Городничий *(немного оправившись и протянув руки по швам).* Желаю здравствовать!

Хлестаков *(кланяется).* Мое почтение…

Городничий. Извините.

Хлестаков. Ничего…

Городничий. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений…

Хлестаков *(сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко).* Да что ж делать?.. Я не виноват… Я, право, заплачу… Мне пришлют из деревни.

Бобчинский выглядывает из дверей.

Он больше виноват: говядину мне подает такую твердую, как бревно; а суп — он черт знает чего плеснул туда, я должен был выбросить его за окно. Он меня морил голодом по целым дням…

Чай такой странный: воняет рыбой, а не чаем. За что ж я… Вот новость!

Городничий *(робея).* Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то… Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.

Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть — в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. Да вот я… Я служу в Петербурге. *(Бодрится.)* Я, я, я…

Городничий *(в сторону).* О Господи ты Боже, какой сердитый! Все узнал, всё рассказали проклятые купцы!

Хлестаков *(храбрясь).* Да вот вы хоть тут со всей своей командой — не пойду! Я прямо к министру! *(Стучит кулаком по столу.)* Что вы? что вы?

Городничий *(вытянувшись и дрожа всем телом).* Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие… не сделайте несчастным человека.

Хлестаков. Нет, я не хочу! Вот еще! мне какое дело? Оттого, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму, вот прекрасно!

Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге

прячется.

Нет, благодарю покорно, не хочу.

Городничий *(дрожа).* По неопытности, ей-богу по неопытности. Недостаточность состояния… Сами извольте посудить: казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платья. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета. Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.

Хлестаков. Да что? мне нет никакого дела до них. *(В размышлении.)* Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове… Унтер-офицерская жена совсем другое, а меня вы не смеете высечь, до этого вам далеко… Вот еще! смотри ты какой!.. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки.

Городничий *(в сторону).* О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману напустил! разбери кто хочет! Не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать не куды пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось. *(Вслух.)* Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом,

то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.

Хлестаков. Дайте, дайте мне взаймы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей двести или хоть даже и меньше.

Городничий *(поднося бумажки).* Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать.

Хлестаков *(принимая деньги).* Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни… у меня это вдруг… Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.

Городничий *(в сторону).* Ну, слава Богу! деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот четыреста ввернул.

Хлестаков. Эй, Осип!

Осип входит.

Позови сюда трактирного слугу! *(К городничему и Добчинскому.)* А что ж вы стоите? Сделайте милость, садитесь. *(Добчинскому.)* Садитесь, прошу покорнейше.

Городничий. Ничего, мы и так постоим.

Хлестаков. Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушие, а то, признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня… *(Добчинскому.)* Садитесь.

Городничий и Добчинский садятся. Бобчинский выглядывает в дверь и прислушивается.

Городничий *(в сторону).* Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы: прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. *(Вслух.)* Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет; но я, я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтоб всякому смертному оказывался хороший прием, — и вот, как будто в награду, случай доставил такое приятное знакомство.

Хлестаков. Я тоже сам очень рад. Без вас я, признаюсь, долго бы просидел здесь: совсем не знал, чем заплатить.

Городничий *(в сторону).* Да, рассказывай, не знал, чем заплатить! *(Вслух.)* Осмелюсь ли спросить: куда и в какие места ехать изволите?

Хлестаков. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.

Городничий *(в сторону, с лицом, принимающим ироническое выражение).* В Саратовскую

губернию! А? и не покраснеет! О, да с ним нужно ухо востро. *(Вслух.)* Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги: говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь, с другой стороны, развлеченье для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете?

Хлестаков. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.

Городничий *(в сторону).* Прошу посмотреть, какие пули отливает! и старика отца приплел! *(Вслух.)* И на долгое время изволите ехать?

Хлестаков. Право, не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности; душа моя жаждет просвещения.

Городничий *(в сторону).* Славно завязал узелок! Врет, врет — и нигде не оборвется! А ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы придавил его. Ну, да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать!

(Вслух.) Справедливо изволили заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь: ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестно еще когда будет. *(Окидывает глазами комнату.)* Кажется, эта комната несколько сыра?

Хлестаков. Скверная комната, и клопы такие, каких я нигде не видывал: как собаки кусают.

Городничий. Скажите! такой просвещенный гость, и терпит — от кого же? — от каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никак, даже темно в этой комнате?

Хлестаков. Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь, — не могу: темно, темно.

Городничий. Осмелюсь ли просить вас… но нет, я недостоин.

Хлестаков. А что?

Городничий. Нет, нет, недостоин, недостоин!

Хлестаков. Да что ж такое?

Городничий. Я бы дерзнул… У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная… Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь… Не рассердитесь — ей-богу от простоты

души предложил.

Хлестаков. Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.

Городничий. А уж я так буду рад! А уж как жена обрадуется! У меня уже такой нрав: гостеприимство с самого детства, особливо если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести; нет, не имею этого порока, от полноты души выражаюсь.

Хлестаков. Покорно благодарю. Я сам тоже — я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие, и я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уваженье, уваженье и преданность.

Явление IX

Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом.

Бобчинский выглядывает в дверь.

Слуга. Изволили спрашивать?

Хлестаков. Да; подай счет.

Слуга. Я уж давича подал вам другой счет.

Хлестаков. Я уж не помню твоих глупых счетов.

Говори, сколько там?

Слуга. Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли всё в долг брать.

Хлестаков. Дурак! еще начал высчитывать. Всего сколько следует?

Городничий. Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. *(Слуге.)* Пошел вон, тебе пришлют.

Хлестаков. В самом деле, и то правда. *(Прячет деньги.)*

Слуга уходит. В дверь выглядывает Бобчинский.

Явление X

Городничий, Хлестаков, Добчинский.

Городничий. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как то — богоугодные и другие?

Хлестаков. А что там такое?

Городничий. А так, посмотрите, какое у нас течение дел… порядок какой…

Хлестаков. С большим удовольствием, я готов.

Бобчинский выставляет голову в дверь.

Городничий. Также, если будет ваше желание,

оттуда в уездное училище, осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки.

Хлестаков. Извольте, извольте.

Городничий. Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы — рассмотрите, как у нас содержатся преступники.

Хлестаков. Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения.

Городничий. Как вам угодно. Как вы намерены: в своем экипаже или вместе со мною на дрожках?

Хлестаков. Да, я лучше с вами на дрожках поеду.

Городничий *(Добчинскому)*. Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.

Добчинский. Ничего, я так.

Городничий *(тихо Добчинскому).* Слушайте: вы побегите, да бегом, во все лопатки, и снесите две записки: одну в богоугодное заведение Землянике, а другую жене. *(Хлестакову.)* Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтоб она приготовилась к принятию почтенного гостя?

Хлестаков. Да зачем же?.. А впрочем, тут и чернила, только бумаги — не знаю... Разве на этом счете?

Городничий. Я здесь напишу. *(Пишет и в то же время говорит про себя.)* А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика да бутылки толстобрюшки! Да есть у нас губернская мадера: неказиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. *(Написавши, отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицания. Бобчинский подымается.)*

Хлестаков. Что? не ушиблись ли вы где-нибудь?

Бобчинский. Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства, только сверх носа небольшая нашлепка! Я забегу к Христиану Ивановичу: у него-с есть пластырь такой, так вот оно и пройдет.

Городничий *(делая Бобчинскому укорительный знак. Хлестакову).* Это-с ничего. Прошу покорнейше, пожалуйте! А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. *(Осипу.)* Любезнейший, ты перенеси все ко мне, к городничему, — тебе всякий покажет. Прошу покорнейше! *(Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним, но, оборотившись, говорит с укоризной Бобчинскому.)* Уж и вы! не на-

шли другого места упасть! И растянулся, как черт знает что такое. *(Уходит; за ним Бобчинский.)*

Занавес опускается.

Действие третье

Комната первого действия.

Явление I

Анна Андреевна, Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях.

Анна Андреевна. Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством: совершенно оделась, нет, еще нужно копаться… Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада! как нарочно, ни души! как будто бы вымерло все.

Марья Антоновна. Да, право, маменька, чрез минуты две всё узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. *(Всматривается в окно и вскрикивает.)* Ах, маменька, маменька! кто-то идет, вон в конце улицы.

Анна Андреевна. Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста… во фраке… Кто ж это? а? Это,

однако ж, досадно! Кто ж бы это такой был?

Марья Антоновна. Это Добчинский, маменька.

Анна Андреевна. Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое… Совсем не Добчинский. *(Машет платком.)* Эй вы, ступайте сюда! скорее!

Марья Антоновна. Право, маменька, Добчинский.

Анна Андреевна. Ну вот, нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе — не Добчинский.

Марья Антоновна. А что? а что, маменька? Видите, что Добчинский.

Анна Андреевна. Ну да, Добчинский, теперь я вижу, — из чего же ты споришь? *(Кричит в окно.)* Скорей, скорей! вы тихо идете. Ну что, где они? А? Да говорите же оттуда — все равно. Что? очень строгий? А? А муж, муж? *(Немного отступя от окна, с досадою.)* Такой глупый: до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет!

Явление II

Те же и Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, скажите, пожалуйста: ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека: все вдруг выбежа-

ли, и вы туда ж за ними! и я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизаньку а вы вот как со мною поступили!

Добчинский. Ей-богу кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевесть. Мое почтение, Марья Антоновна!

Марья Антоновна. Здравствуйте, Петр Иванович!

Анна Андреевна. Ну что? Ну, рассказывайте: что и как там?

Добчинский. Антон Антонович прислал вам записочку.

Анна Андреевна. Ну, да кто он такой? генерал?

Добчинский. Нет, не генерал, а не уступит генералу: такое образование и важные поступки-с.

Анна Андреевна. А! так это тот самый, о котором было писано мужу.

Добчинский. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.

Анна Андреевна. Ну, расскажите: что и как?

Добчинский. Да, слава богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово, да-с; сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме; но потом,

как узнал невинность Антона Антоновича и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения… А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса; я сам тоже перетрухнул немножко.

Анна Андреевна. Да вам-то чего бояться? ведь вы не служите.

Добчинский. Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх.

Анна Андреевна. Ну, что ж… это все, однако ж, вздор. Расскажите, каков он собою? что, стар или молод?

Добчинский. Молодой, молодой человек; лет двадцати трех; а говорит совсем так, как старик: «Извольте, говорит, я поеду и туда, и туда…» *(размахивает руками)* так это все славно. «Я, говорит, и написать и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно».

Анна Андреевна. А собой каков он: брюнет или блондин?

Добчинский. Нет, больше шантрет, и глаза такие быстрые, как зверки, так в смущенье даже приводят.

Анна Андреевна. Что тут пишет он мне в запис-

ке? *(Читает.)* «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек…» *(Останавливается.)* Я ничего не понимаю: к чему же тут соленые огурцы и икра?

Добчинский. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости: там какой-то счет был написан.

Анна Андреевна. А, да, точно. *(Продолжает читать.)* «Но, уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками; к обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича, а вина вели побольше; скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целуя, душенька, твою ручку, остаюсь твой: Антон Сквозник-Дмухановский…» Ах, Боже мой! Это, однако ж, нужно поскорей! Эй, кто там? Мишка!

Добчинский *(бежит и кричит в дверь).* Мишка! Мишка! Мишка!

Мишка входит.

Анна Андреевна. Послушай: беги к купцу Аб-

дулину, постой, я дам тебе записочку *(садится к столу, пишет записку и между тем говорит):* эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтоб он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.

Добчинский. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает.

Анна Андреевна. Ступайте, ступайте! я не держу вас.

Явление III

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка: Боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.

Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь Земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.

Анна Андреевна. Цветное!.. Право, говоришь —

лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю палевое.

Марья Антоновна. Ах, маменька, вам нейдет палевое!

Анна Андреевна. Мне палевое нейдет?

Марья Антоновна. Нейдет, я что угодно даю, нейдет: для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.

Анна Андреевна. Вот хорошо! а у меня глаза разве не темные? самые темные. Какой вздор говорит! Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму?

Марья Антоновна. Ах, маменька! вы больше червонная дама.

Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки! Я никогда не была червонная дама. *(Поспешно уходит вместе с Марьей Антоновной и говорит за сценою.)* Этакое вдруг вообразится! червонная дама! Бог знает что такое!

По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове.

Явление IV

Мишка и Осип.

Осип. Куда тут?

Мишка. Сюда, дядюшка, сюда!

Осип. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.

Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будет генерал?

Осип. Какой генерал?

Мишка. Да барин ваш.

Осип. Барин? Да какой он генерал?

Мишка. А разве не генерал?

Осип. Генерал, да только с другой стороны.

Мишка. Что ж, это больше или меньше настоящего генерала?

Осип. Больше.

Мишка. Вишь ты как! то-то у нас сумятицу подняли.

Осип. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка там что-нибудь поесть.

Мишка. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простова блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того

же кушанья отпустят.

Осип. Ну, а простова-то что у вас есть?

Мишка. Щи, каша да пироги.

Осип. Давай их, щи, кашу и пироги! Ничего, всё будем есть. Ну, понесем чемодан! Что, там другой выход есть?

Мишка. Есть.

Оба несут чемодан в боковую комнату.

Явление V

Квартальные отворяют обе половинки дверей.

Входит Хлестаков; за ним городничий, далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу. Городничий указывает квартальным на полу бумажку — они бегут и снимают ее, толкая друг друга впопыхах.

Хлестаков. Хорошие заведения. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.

Городничий. В других городах, осмелюсь доложить вам, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть, пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того,

чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.

Хлестаков. Завтрак был очень хорош; я совсем объелся. Что, у вас каждый день бывает такой?

Городничий. Нарочно для такого приятного гостя.

Хлестаков. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?

Артемий Филиппович *(подбегая).* Лабардан-с.

Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы завтракали? в больнице, что ли?

Артемий Филиппович. Так точно-с, в богоугодном заведении.

Хлестаков. Помню, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели? там их, кажется, немного.

Артемий Филиппович. Человек десять осталось, не больше; а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор как я принял начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.

Городничий. Уж на что, осмелюсь доложить

вам, головоломна обязанность градоначальника! Столько лежит всяких дел, относительно одной чистоты, починки, поправки… словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение Богу, все идет благополучно. Иной городничий, конечно, радел бы о своих выгодах; но, верите ли, что, даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи Боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно?..» Наградит ли оно или нет — конечно, в его воле; по крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало… то чего ж мне больше? Ей-ей, и почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью всё прах и суета.

Артемий Филиппович *(в сторону).* Эка, бездельник, как расписывает! Дал же Бог такой дар!

Хлестаков. Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и стишки выкинутся.

Бобчинский *(Добчинскому*). Справедливо, все справедливо, Петр Иванович! Замечания такие… видно, что наукам учился.

Хлестаков. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы мож-

но было, например, поиграть в карты?

Городничий *(в сторону).* Эге, знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают! *(Вслух.)* Боже сохрани! здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал; даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно; и если случится увидеть этак какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да после того всю ночь снились проклятые. Бог с ними! Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?

Лука Лукич *(в сторону).* А у меня, подлец, выпонтировал вчера сто рублей.

Городничий. Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную.

Хлестаков. Ну, нет, вы напрасно, однако же… Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь тогда, как нужно гнуть от трех углов… ну, тогда конечно… Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.

Явление VI

Те же, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Осмелюсь представить семейство мое: жена и дочь.

Хлестаков *(раскланиваясь)*. Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть.

Анна Андреевна. Нам еще более приятно видеть такую особу.

Хлестаков *(рисуясь).* Помилуйте, сударыня, совершенно напротив: мне еще приятнее.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы это так изволите говорить, для комплимента. Прошу покорно садиться.

Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастие; впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.

Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет… Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною.

Хлестаков. Чрезвычайно неприятна. Привыкши жить comprenez vous, в свете, и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры, мрак невежества… Если б, признаюсь, не такой случай,

который меня… *(посматривает на Анну Андреевну и рисуется перед ней)* так вознаградил за всё…

Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно.

Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.

Хлестаков. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.

Анна Андреевна. Я живу в деревне…

Хлестаков. Да деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки… Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю; нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: «Приходи, братец, обедать!» Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать: «Это вот так, это вот так!» А там уж чиновник для письма, этакая крыса, пером только — тр, тр… пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да, думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: «Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу». *(Городничему.)* Что

вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь!

Вместе.

Городничий. Чин такой, что еще можно постоять.

Артемий Филиппович. Мы постоим.

Лука Лукич. Не извольте беспокоиться!

Хлестаков. Без чинов, прошу садиться.

Городничий и все садятся.

Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь всегда проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя! Только выйду куда-нибудь, уж и говорят: «Вон, говорят, Иван Александрович идет!» А один раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего».

Анна Андреевна. Скажите как!

Хлестаков. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики… Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то всё…» Большой оригинал.

Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это

должно быть приятно сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат „Надежды“» и «Московский телеграф»… все это я написал.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение?

Хлестаков. Да, это мое сочинение.

Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.

Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.

Хлестаков. Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой.

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!

Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. *(Обращаясь ко всем.)* Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.

Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы!

Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж — скажешь только кухарке: «На, Маврушка, шинель…» Что ж я вру — я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница стоит… А

любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж… ж… ж… Иной раз и министр…

Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев.

Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, — куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми! После видят, нечего делать, — ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? — я спрашиваю. «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдет до государя, ну да и послужной список тоже… «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я…» И точно: бывало, как прохожу

через департамент, — просто землетрясенье, всё дрожит и трясется, как лист.

Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее.

О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам Государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого… я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш… *(Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)*

Городничий *(подходя и трясясь всем телом, силится выговорить).* А ва-ва-ва… ва…

Хлестаков *(быстрым, отрывистым голосом).* Что такое?

Городничий. А ва-ва-ва… ва…

Хлестаков *(таким же голосом).* Не разберу ничего, всё вздор.

Городничий. Ва-ва-ва… шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?.. вот и комната, и все, что нужно.

Хлестаков. Вздор — отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош… Я доволен, я доволен. *(С декламацией.)* Лабардан! лабардан! *(Входит в боковую комнату, за ним*

городничий.)

Явление VII

Те же, кроме Хлестакова и городничего.

Бобчинский *(Добчинскому).* Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жисть не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?

Добчинский. Я думаю, чуть ли не генерал.

Бобчинский. А я так думаю, что генерал-то ему и в подметки не станет! а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус. Слышали: Государственный-то совет как прижал? Пойдем расскажем поскорее Аммосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна!

Добчинский. Прощайте, кумушка!

Оба уходят.

Артемий Филиппович *(Луке Лукичу).* Страшно просто. А отчего, и сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится да в Петербург махнет донесение? *(Уходит в задумчивости вместе с смотрителем училищ, произнеся:)* Прощайте, сударыня!

Явление VIII

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ах, какой приятный!

Марья Антоновна. Ах, милашка!

Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение! сейчас можно увидеть столичную штучку. Приемы и все это такое… Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась: я заметила — все на меня поглядывал.

Марья Антоновна. Ах, маменька, он на меня глядел!

Анна Андреевна. Пожалуйста, с своим вздором подальше! Это здесь вовсе неуместно.

Марья Антоновна. Нет, маменька, право!

Анна Андреевна. Ну вот! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя, да и полно! Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?

Марья Антоновна. Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня, и потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.

Анна Андреевна. Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. «А, — говорит себе, — дай уж посмотрю на нее!»

Явление IX

Те же и городничий.

Городничий *(входит на цыпочках).* Чш… ш…

Анна Андреевна. Что?

Городничий. И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? *(Задумывается.)* Да как же и не быть правде? Подгулявши, человек все несет наружу: что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного; да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит… Так вот, право, чем больше думаешь… черт его знает, не знаешь, что и делается в голове; просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.

Анна Андреевна. А я никакой совершенно не ощутила робости; я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет.

Городничий. Ну, уж вы — женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно! Вам всё —

финтирлюшки! Вдруг брякнут ни из того ни из другого словцо. Вас посекут, да и только, а мужа и поминай как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.

Анна Андреевна. Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кой-что знаем такое… *(Посматривает на дочь.)*

Городничий *(один).* Ну, уж с вами говорить!.. Эка в самом деле оказия! До сих пор не могу очнуться от страха! *(Отворяет дверь и говорит в дверь.)* Мишка, позови квартальных Свистунова и Держиморду: они тут недалеко где-нибудь за воротами. *(После небольшого молчания.)* Чудно все завелось теперь на свете: хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький — как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, а как наденет фрачишку — ну точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давича в трактире, заламливал такие аллегории и екивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот наконец и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.

Явление X

Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.

Анна Андреевна. Подойди сюда, любезный!

Городничий. Чш!.. что? что? спит?

Осип. Нет еще, немножко потягивается.

Анна Андреевна. Послушай, как тебя зовут?

Осип. Осип, сударыня.

Городничий *(жене и дочери).* Полно, полно вам! *(Осипу.)* Ну что, друг, тебя накормили хорошо?

Осип. Накормили, покорнейше благодарю; хорошо накормили.

Анна Андреевна. Ну что, скажи: к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей?

Осип *(в сторону).* А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. *(Вслух.)* Да, бывают и графы.

Марья Антоновна. Душенька Осип, какой твой барин хорошенький!

Анна Андреевна. А что, скажи, пожалуйста, Осип, как он…

Городничий. Да перестаньте, пожалуйста! Вы этакими пустыми речами только мне мешаете.

Ну что, друг?..

Анна Андреевна. А чин какой на твоем барине?

Осип. Чин обыкновенно какой.

Городничий. Ах, Боже мой, вы всё с своими глупыми расспросами! не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин?.. строг? любит этак распекать или нет?

Осип. Да, порядок любит. Уж ему чтоб все было в исправности.

Городничий. А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек. Ну что…

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а как барин твой там, в мундире ходит, или…

Городничий. Полно вам, право, трещотки какие! Здесь нужная вещь: дело идет о жизни человека… *(К Осипу.)* Ну что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик, — оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай.

Осип *(принимая деньги).* А покорнейше благодарю, сударь. Дай Бог вам всякого здоровья! бедный человек, помогли ему.

Городничий. Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг…

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?

Марья Антоновна. Осип, душенька! какой миленький носик у твоего барина!..

Городничий. Да постойте, дайте мне!.. *(К Осипу.)* А что, друг, скажи, пожалуйста: на что больше барин твой обращает внимание, то есть что ему в дороге больше нравится?

Осип. Любит он, по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение чтоб было хорошее.

Городничий. Хорошее?

Осип. Да, хорошее. Вот уж на что я, крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу! Бывало, заедем куда-нибудь: «Что, Осип, хорошо тебя угостили?» — «Плохо, ваше высокоблагородие!» — «Э, говорит, это, Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду». — «А, — думаю себе *(махнув рукою),* — Бог с ним! я человек простой».

Городничий. Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки.

Осип. За что жалуете, ваше высокоблагородие? *(Прячет деньги.)* Разве уж выпью за ваше здоровье.

Анна Андреевна. Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь.

Марья Антоновна. Осип, душенька, поцелуй своего барина!

Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова.

Городничий. Чш! *(Поднимается на цыпочки; вся сцена вполголоса.)* Боже вас сохрани шуметь! Идите себе! полно уж вам…

Анна Андреевна. Пойдем, Машенька! я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.

Городничий. О, уж там наговорят! Я думаю, поди только да послушай, — и уши потом заткнешь. *(Обращаясь к Осипу.)* Ну, друг…

Явление XI

Те же, Держиморда и Свистунов.

Городничий. Чш! экие косолапые медведи — стучат сапогами! Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги! Где вас черт таскает?

Держиморда. Был по приказанию…

Городничий. Чш! *(Закрывает ему рот.)* Эк как

каркнула ворона! *(Дразнит его.)* Был по приказанию! Как из бочки, так рычит. *(К Осипу.)* Ну, друг, ты ступай приготовляй там, что нужно для барина. Все, что ни есть в доме, требуй.

Осип уходит.

А вы — стоять на крыльце, и ни с места! И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов! Если хоть одного из них впустите, то… Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, взашей так прямо и толкайте! так его! хорошенько! *(Показывает ногою.)* Слышите? Чш… чш… *(Уходит на цыпочках вслед за квартальными.)*

Действие четвертое

Та же комната в доме городничего.

Явление I

Входят осторожно, почти на цыпочках: Аммос Федорович, Артемий Филиппович, почтмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский, в полном параде и мундирах.

Вся сцена происходит вполголоса.

Аммос Федорович *(строит всех полукружием).* Ради Бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку! Бог с ним: и во дворец ездит, и Государственный совет распекает! Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу! Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут.

Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках.

Артемий Филиппович. Воля ваша, Аммос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.

Аммос Федорович. А что именно?

Артемий Филиппович. Ну, известно что.

Аммос Федорович. Подсунуть?

Артемий Филиппович. Ну да, хоть и подсунуть.

Аммос Федорович. Опасно, черт возьми! раскричится: государственный человек. А разве в виде приношенья со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?

Почтмейстер. Или же: «вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие».

Артемий Филиппович. Смотрите, чтоб он вас по почте не отправил куды-нибудь подальше. Слушайте: эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке,

да между четырех глаз и того… как там следует — чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается! Ну, вот вы, Аммос Федорович, первый и начните.

Аммос Федорович. Так лучше ж вы: в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.

Артемий Филиппович. Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.

Лука Лукич. Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что, заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет, и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте!

Артемий Филиппович. Да, Аммос Федорович, кроме вас, некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.

Аммос Федорович. Что вы! что вы: Цицерон! Смотрите, что выдумали! Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей ищейке…

Все *(пристают к нему).* Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении… Нет, Аммос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим!.. Нет, Аммос Федорович!

Аммос Федорович. Отвяжитесь, господа!

В это время слышны шаги и откашливание в

комнате Хлестакова.

Все спешат наперерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого.

Раздаются вполголоса восклицания:

Голос Бобчинского. Ой, Петр Иванович, Петр Иванович! наступили на ногу!

Голос Земляники. Отпустите, господа, хоть душу на покаяние — совсем прижали!

Выхватываются несколько восклицаний: «Ай, ай!» — наконец все выпираются, и комната остается пуста.

Явление II

Хлестаков один, выходит с заспанными глазами.

Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком: в голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностию проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка городничего

очень недурна, да и матушка такая, что еще можно бы… Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.

Явление III

Хлестаков и Аммос Федорович.

Аммос Федорович *(входя и останавливаясь, про себя).* Боже, Боже! вынеси благополучно; так вот коленки и ломает. *(Вслух, вытянувшись и придерживая рукою шпагу.)* Имею честь представиться: судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин.

Хлестаков. Прошу садиться. Так вы здесь судья?

Аммос Федорович. С восемьсот шестнадцатого был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.

Хлестаков. А выгодно, однако же, быть судьею?

Аммос Федорович. За три трехлетия представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со стороны начальства. *(В сторону.)* А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне.

Хлестаков. А мне нравится Владимир. Вот Анна третьей степени уже не так.

Аммос Федорович *(высовывая понемногу вперед*

сжатый кулак. В сторону). Господи Боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою.

Хлестаков. Что это у вас в руке?

Аммос Федорович *(потерявшись и роняя на пол ассигнации).* Ничего-с.

Хлестаков. Как ничего? Я вижу, деньги упали.

Аммос Федорович *(дрожа всем телом).* Никак нет-с. *(В сторону.)* О Боже, вот уж я и под судом! и тележку подвезли схватить меня!

Хлестаков *(подымая).* Да, это деньги.

Аммос Федорович *(в сторону).* Ну, все кончено — пропал! пропал!

Хлестаков. Знаете ли что? дайте их мне взаймы.

Аммос Федорович *(поспешно).* Как же-с, как же-с… с большим удовольствием. *(В сторону.)* Ну, смелее, смелее! Вывози, Пресвятая Матерь!

Хлестаков. Я, знаете, в дороге издержался: то да се… Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.

Аммос Федорович. Помилуйте, как можно! и без того это такая честь… Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству… постараюсь заслужить… *(Приподымается со стула, вытянувшись и руки по швам.)* Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет

ли какого приказанья?

Хлестаков. Какого приказанья?

Аммос Федорович. Я разумею, не дадите ли какого приказанья здешнему уездному суду?

Хлестаков. Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности.

Аммос Федорович *(раскланиваясь и уходя, в сторону).* Ну, город наш!

Хлестаков *(по уходе его).* Судья — хороший человек!

Явление IV

Хлестаков и почтмейстер, входит вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.

Почтмейстер. Имею честь представиться: почтмейстер, надворный советник Шпекин.

Хлестаков. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно — ну что ж? Ведь это не столица. Не правда ли, ведь это не столица?

Почтмейстер. Совершенная правда.

Хлестаков. Ведь это только в столице бонтон

и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. *(В сторону.)* А он, однако ж, ничуть не горд; обо всем расспрашивает.

Хлестаков. А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, — не правда ли?

Почтмейстер. Совершенно справедливо.

Хлестаков. Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. *(Глядя в глаза ему, говорит про себя.)* А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы! *(Вслух.)* Какой странный со мною случай: в дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?

Почтмейстер. Почему же? почту за величайшее счастие. Вот-с, извольте. От души готов служить.

Хлестаков. Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге, да и к чему? Не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. *(Встает, вытяги-*

вается и придерживает шпагу.) Не смея долее беспокоить своим присутствием… Не будет ли какого замечания по части почтового управления?

Хлестаков. Нет, ничего.

Почтмейстер раскланивается и уходит.

(Раскуривая сигарку.) Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.

Явление V

Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух: «Чего робеешь?»

Лука Лукич *(вытягиваясь не без трепета и придерживая шпагу).* Имею честь представиться: смотритель училищ, титулярный советник Хлопов.

Хлестаков. А, милости просим! Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку? *(Подает ему сигару.)*

Лука Лукич *(про себя, в нерешимости).* Вот тебе раз! Уж этого никак не предполагал. Брать или не брать?

Хлестаков. Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там,

батюшка, я куривал сигарочки по двадцати пяти рублей сотенка, просто ручки потом себе поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите. *(Подает ему свечу.)*

Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит.

Да не с того конца!

Лука Лукич *(от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукою, про себя).* Черт побери все! сгубила проклятая робость!

Хлестаков. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я признаюсь: это моя слабость. Вот еще насчет женского полу, никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся — брюнетки или блондинки?

Лука Лукич находится в совершенном недоумении, что сказать.

Нет, скажите откровенно: брюнетки или блондинки?

Лука Лукич. Не смею знать.

Хлестаков. Нет, нет, не отговаривайтесь! Мне хочется узнать непременно ваш вкус.

Лука Лукич. Осмелюсь доложить… *(В сторону.)* Ну, и сам не знаю, что говорю.

Хлестаков. А! а! не хотите сказать. Верно, уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала?

Лука Лукич молчит.

А! а! покраснели! Видите! видите! Отчего ж вы не говорите?

Лука Лукич. Оробел, ваше бла… преос… сият… *(В сторону.)* Продал проклятый язык, продал!

Хлестаков. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать, не так ли?

Лука Лукич. Так точно-с.

Хлестаков. Вот со мной престранный случай: в дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?

Лука Лукич *(хватаясь за карманы, про себя).* Вот те штука, если нет! Есть, есть! *(Вынимает и подает, дрожа, ассигнации.)*

Хлестаков. Покорнейше благодарю.

Лука Лукич *(вытягиваясь и придерживая шпагу).* Не смею долее беспокоить присутствием.

Хлестаков. Прощайте.

Лука Лукич *(летит вон почти бегом и говорит в сторону).* Ну, слава Богу! авось не заглянет в классы!

Явление VI

Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу.

Артемий Филиппович. Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника.

Хлестаков. Здравствуйте, прошу покорно садиться.

Артемий Филиппович. Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению богоугодных заведениях.

Хлестаков. А, да! помню. Вы очень хорошо угостили завтраком.

Артемий Филиппович. Рад стараться на службу отечеству.

Хлестаков. Я — признаюсь, это моя слабость, — люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?

Артемий Филиппович. Очень может быть. *(Помолчав.)* Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. *(Придвигается ближе с своим стулом и говорит вполголоса.)* Вот здешний почтмейстер совершенно ничего

не делает: все дела в большом запущении, посылки задерживаются… извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был пред моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак и поведения, если признаться пред вами, — конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, — поведения самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть; и как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его, я присягнуть готов… И нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.

Хлестаков. Скажите пожалуйста! а я никак этого не думал.

Артемий Филиппович. Вот и смотритель здешнего училища… Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность: он хуже, чем якобинец, и такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге?

Хлестаков. Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, этак люблю в скучное

время прочесть что-нибудь забавное… Как ваша фамилия? я все позабываю.

Артемий Филиппович. Земляника.

Хлестаков. А, да! Земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?

Артемий Филиппович. Как же-с, пятеро; двое уже взрослых.

Хлестаков. Скажите, взрослых! А как они… как они того?..

Артемий Филиппович. То есть не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?

Хлестаков. Да, как их зовут?

Артемий Филиппович. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя.

Хлестаков. Это хорошо.

Артемий Филиппович. Не смея беспокоить своим присутствием, отнимать времени, определенного на священные обязанности… *(Раскланивается с тем, чтобы уйти.)*

Хлестаков *(провожая).* Нет, ничего. Это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое тоже время… Я это очень люблю. *(Возвращается и, отворивши дверь, кричит вслед ему.)* Эй вы! как вас? я все позабываю, как ваше имя и отчество.

Артемий Филиппович. Артемий Филиппович.

Хлестаков. Сделайте милость, Артемий Филиппович, со мной странный случай: в дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взаймы — рублей четыреста?

Артемий Филиппович. Есть.

Хлестаков. Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.

Явление VII

Хлестаков, Бобчинский и Добчинский.

Бобчинский. Имею честь представиться: житель здешнего города, Петр, Иванов сын, Бобчинский.

Добчинский. Помещик Петр, Иванов сын, Добчинский.

Хлестаков. А, да я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали? Что, как ваш нос?

Бобчинский. Слава Богу! не извольте беспокоиться: присох, теперь совсем присох.

Хлестаков. Хорошо, что присох. Я рад… *(Вдруг и отрывисто.)* Денег нет у вас?

Бобчинский. Денег? как денег?

Хлестаков *(громко и скоро).* Взаймы рублей тысячу.

Бобчинский. Такой суммы, ей-богу, нет. А нет

ли у вас, Петр Иванович?

Добчинский. При мне-с не имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного призрения.

Хлестаков. Да, ну если тысячи нет, так рублей сто.

Бобчинский *(шаря в карманах).* У вас, Петр Иванович, нет ста рублей? У меня всего сорок ассигнациями.

Добчинский *(смотря в бумажник).* Двадцать пять рублей всего.

Бобчинский. Да вы поищите-то получше, Петр Иванович! У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха, так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.

Добчинский. Нет, право, и в прорехе нет.

Хлестаков. Ну, все равно. Я ведь только так. Хорошо, пусть будет шестьдесят пять рублей. Это все равно. *(Принимает деньги.)*

Добчинский. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.

Хлестаков. А что это?

Добчинский. Дело очень тонкого свойства-с: старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мною еще до брака.

Хлестаков. Да?

Добчинский. То есть оно так только говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и все это, как следует, я завершил потом законными-с узами супружества-с. Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он теперь уже был совсем, то есть, законным моим сыном-с и назывался бы так, как я: Добчинский-с.

Хлестаков. Хорошо, пусть называется! Это можно.

Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой… большие надежды подает: наизусть стихи разные расскажет и, если где попадет ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с. Вот и Петр Иванович знает.

Бобчинский. Да, большие способности имеет.

Хлестаков. Хорошо, хорошо! Я об этом постараюсь, я буду говорить… я надеюсь… все это будет сделано, да, да… *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?

Бобчинский. Как же, имею очень нижайшую просьбу.

Хлестаков. А что, о чем?

Бобчинский. Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам

разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Бобчинский. Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Добчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Бобчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Хлестаков. Ничего, ничего! Мне очень приятно. *(Выпровожает их.)*

Явление VIII

Хлестаков один.

Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Экое дурачье! Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину: он пописывает статейки — пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай

мне бумагу и чернила!

Осип выглянул из дверей, произнесши: «Сейчас».

А уж Тряпичкину, точно, если кто попадет на зубок, — берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди; это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи триста; это от почтмейстера триста, шестьсот, семьсот, восемьсот… Какая замасленная бумажка! Восемьсот, девятьсот… Ого! за тысячу перевалило… Ну-ка, теперь, капитан, ну-ка, попадись-ка ты мне теперь! Посмотрим, кто кого!

Явление IX

Хлестаков и Осип с чернилами и бумагою.

Хлестаков. Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? *(Начинает писать.)*

Осип. Да, слава Богу! Только знаете что, Иван Александрович?

Хлестаков *(пишет).* А что?

Осип. Уезжайте отсюда. Ей-богу, уже пора.

Хлестаков *(пишет).* Вот вздор! Зачем?

Осип. Да так. Бог с ними со всеми! Погуляли здесь два денька — ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них! не ровен час, какой-нибудь другой наедет… ей-богу, Иван Александрович! А лошади тут славные — так бы закатили!..

Хлестаков *(пишет).* Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.

Осип. Да что завтра! Ей-богу, поедем, Иван Александрович! Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее: ведь вас, право, за кого-то другого приняли… И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно! А лошадей бы важных здесь дали.

Хлестаков *(пишет).* Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо; пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато, смотри, чтоб лошади хорошие были! Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому; чтобы так, как фельдъегеря, катили и песни бы пели!.. *(Продолжает писать.)* Воображаю, Тряпичкин умрет со смеху…

Осип. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтоб не прошло понапрасну время.

Хлестаков *(пишет).* Хорошо. Принеси только

свечу.

Осип *(выходит и говорит за сценой).* Эй, послушай, брат! Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял без денег; да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не плотит: прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб всё живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово.

Хлестаков *(продолжает писать).* Любопытно знать, где он теперь живет — в Почтамтской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и недоплачивать. Напишу наудалую в Почтамтскую. *(Свертывает и надписывает.)*

Осип приносит свечу. Хлестаков печатает. В это время слышен голос Держиморды: «Куда лезешь, борода? Говорят тебе, никого не велено пускать».

(Дает Осипу письмо.) На, отнеси.

Голоса купцов. Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить: мы за делом пришли.

Голос Держиморды. Пошел, пошел! Не принимает, спит.

Шум увеличивается.

Хлестаков. Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум.

Осип *(глядя в окно).* Купцы какие-то хотят войти, да не допускает квартальный. Машут бумагами: верно, вас хотят видеть.

Хлестаков *(подходя к окну).* А что вы, любезные?

Голоса купцов. К твоей милости прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять.

Хлестаков. Впустите их, впустите! пусть идут. Осип, скажи им: пусть идут.

Осип уходит.

(Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает:) «Его высокоблагородному светлости господину финансову от купца Абдулина…» Черт знает что: и чина такого нет!

Явление X

Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами.

Хлестаков. А что вы, любезные?

Купцы. Челом бьем вашей милости!

Хлестаков. А что вам угодно?

Купцы. Не погуби, государь! Обижательство терпим совсем понапрасну.

Хлестаков. От кого?

Один из купцов. Да всё от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит: «Ах ты, татарин!» Ей-богу! Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем: что следует на платья супружнице его и дочке — мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало — ей-ей! Придет в лавку и, что ни попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит: «Э, милый, это хорошее суконцо: снеси-ка его ко мне». Ну и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят.

Хлестаков. Неужели? Ах, какой же он мошенник!

Купцы. Ей-богу! такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть, не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет: чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается; нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия

несешь.

Хлестаков. Да это просто разбойник!

Купцы. Ей-ей! А попробуй прекословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что, велит запереть двери. «Я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать — это, говорит, запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки!»

Хлестаков. Ах, какой мошенник! Да за это просто в Сибирь.

Купцы. Да уж куда милость твоя ни запровадит его, все будет хорошо, лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью: кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина.

Хлестаков. Нет, вы этого не думайте: я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей триста — ну, тогда совсем дело другое: взаймы я могу взять.

Купцы. Изволь, отец наш! *(Вынимают деньги.)* Да что триста! Уж лучше пятьсот возьми, помоги только.

Хлестаков. Извольте: взаймы — я ни слова, я возьму.

Купцы *(подносят ему на серебряном подносе деньги).* Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите.

Хлестаков. Ну, и подносик можно.

Купцы *(кланяясь).* Так уж возьмите за одним разом и сахарцу.

Хлестаков. О нет, я взяток никаких…

Осип. Ваше высокоблагородие! зачем вы не берете? Возьмите! в дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек! Подавай все! все пойдет впрок. Что там? веревочка? Давай и веревочку, — и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно.

Купцы. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уже вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть: просто хоть в петлю полезай.

Хлестаков. Непременно, непременно! Я постараюсь.

Купцы уходят. Слышен голос женщины: «Нет, ты не смеешь не допустить меня! Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно!»

Кто там? *(Подходит к окну.)* А, что ты, матушка?

Голоса двух женщин. Милости твоей, отец, прошу! Повели, государь, выслушать!

Хлестаков *(в окно).* Пропустить ее.

Явление XI

Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.

Слесарша *(кланяясь в ноги).* Милости прошу…

Унтер-офицерша. Милости прошу…

Хлестаков. Да что вы за женщины?

Унтер-офицерша. Унтер-офицерская жена Иванова.

Слесарша. Слесарша, здешняя мещанка, Февронья Петрова Пошлепкина, отец мой…

Хлестаков. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?

Слесарша. Милости прошу: на городничего челом бью! Пошли ему Бог всякое зло! Чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядьям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было!

Хлестаков. А что?

Слесарша. Да мужу-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой! да и по закону нельзя: он женатый.

Хлестаков. Как же он мог это сделать?

Слесарша. Сделал, мошенник, сделал — побей Бог его и на том и на этом свете! Чтобы ему, если и тетка есть, то и тетке всякая пакость, и отец если

жив у него, то чтоб и он, каналья, околел или поперхнулся навеки, мошенник такой! Следовало взять сына портного, он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали, так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала к супруге полотна три штуки; так он ко мне. «На что, говорит, тебе муж? он уж тебе не годится». Да я-то знаю — годится или не годится; это мое дело, мошенник такой! «Он, говорит, вор; хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет, его и без того на следующий год возьмут в рекруты». Да мне-то каково без мужа, мошенник такой! Я слабый человек, подлец ты такой! Чтоб всей родне твоей не довелось видеть света Божьего! А если есть теща, то чтоб и теще…

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ну, а ты? *(Выпроваживает старуху.)*

Слесарша *(уходя).* Не позабудь, отец наш! будь милостив!

Унтер-офицерша. На городничего, батюшка, пришла…

Хлестаков. Ну, да что, зачем? говори в коротких словах.

Унтер-офицерша. Высек, батюшка!

Хлестаков. Как?

Унтер-офицерша. По ошибке, отец мой! Бабы-то

наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схватил меня. Да так отрапортовали: два дни сидеть не могла.

Хлестаков. Так что ж теперь делать?

Унтер-офицерша. Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штрафт. Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились.

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте! я распоряжусь.

В окно высовываются руки с просьбами.

Да кто там еще? *(Подходит к окну.)* Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно! *(Отходя.)* Надоели, черт возьми! Не впускай, Осип!

Осип *(кричит в окно).* Пошли, пошли! Не время, завтра приходите!

Дверь отворяется, и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели, с небритою бородою, раздутою губою и перевязанною щекою; за нею в перспективе показывается несколько других.

Пошел, пошел! чего лезешь? *(Упирается первому руками в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собою дверь.)*

Явление XII

Хлестаков и Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Ах!

Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня?

Марья Антоновна. Нет, я не испугалась.

Хлестаков *(рисуется).* Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который… Осмелюсь ли спросить вас: куда вы намерены были идти?

Марья Антоновна. Право, я никуда не шла.

Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я думала, не здесь ли маменька…

Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами.

Хлестаков *(рисуется).* А ваши глаза лучше, нежели важные дела… Вы никак не можете мне помешать, никаким образом не можете; напротив того, вы можете принесть удовольствие.

Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному.

Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должно не стул, а трон.

Марья Антоновна. Право, я не знаю… мне так нужно было идти. *(Села.)*

Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек!

Марья Антоновна. Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными.

Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.

Марья Антоновна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой-то платочек… Сегодня какая странная погода!

Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.

Марья Антоновна. Вы всё эдакое говорите… Я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много.

Хлестаков. Для вас, сударыня, все что хотите. Требуйте, какие стихи вам?

Марья Антоновна. Какие-нибудь эдакие — хорошие, новые.

Хлестаков. Да что стихи! я много их знаю.

Марья Антоновна. Ну, скажите же, какие же вы мне напишете?

Хлестаков. Да к чему же говорить? я и без того их знаю.

Марья Антоновна. Я очень люблю их…

Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек!..» Ну и другие… теперь не могу припомнить; впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда… *(Придвигая стул.)*

Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь… я никогда и не знала, что за любовь… *(Отдвигает стул.)*

Хлестаков *(придвигая стул).* Отчего ж вы отдвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.

Марья Антоновна *(отдвигаясь).* Для чего ж близко? все равно и далеко.

Хлестаков *(придвигаясь).* Отчего ж далеко? все равно и близко.

Марья Антоновна *(отдвигается).* Да к чему ж это?

Хлестаков *(придвигаясь).* Да ведь это вам кажется только, что близко; а вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б

мог прижать вас в свои объятия.

Марья Антоновна *(смотрит в окно).* Что это там как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица?

Хлестаков *(целует ее в плечо и смотрит в окно).* Это сорока.

Марья Антоновна *(встает в негодовании).* Нет, это уж слишком… Наглость такая!..

Хлестаков *(удерживая ее).* Простите, сударыня: я это сделал от любви, точно от любви.

Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провинциалку… *(Силится уйти.)*

Хлестаков *(продолжая удерживать ее).* Из любви, право, из любви. Я так только, пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить прощения. *(Падает на колени.)* Простите же, простите! Вы видите, я на коленях.

Явление XIII

Те же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна *(увидев Хлестакова на коленях).* Ах, какой пассаж!

Хлестаков *(вставая).* А, черт возьми!

Анна Андреевна *(дочери).* Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие?

Марья Антоновна. Я, маменька…

Анна Андреевна. Поди прочь отсюда! слышишь: прочь, прочь! И не смей показываться на глаза.

Марья Антоновна уходит в слезах.

Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление…

Хлестаков *(в сторону).* А она тоже очень аппетитна, очень недурна. *(Бросается на колени.)* Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.

Анна Андреевна. Как, вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте! здесь пол совсем нечист.

Хлестаков. Нет, на коленях, непременно на коленях! Я хочу знать, что такое мне суждено: жизнь или смерть.

Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери?

Хлестаков. Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей.

Анна Андреевна. Но позвольте заметить: я в некотором роде… я замужем.

Хлестаков. Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй… Руки вашей, руки прошу!

Явление XIV

Те же и Марья Антоновна, вдруг вбегает.

Марья Антоновна. Маменька, папенька сказал, чтобы вы… *(Увидя Хлестакова на коленях, вскрикивает.)* Ах, какой пассаж!

Анна Андреевна. Ну что ты? к чему? зачем? Что за ветреность такая! Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было восемнадцать лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанной девице; когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках.

Марья Антоновна *(сквозь слезы).* Я, право, маменька, не знала…

Анна Андреевна. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове; ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие — перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать.

Хлестаков *(схватывая за руку дочь).* Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию, благословите постоянную любовь!

Анна Андреевна *(с изумлением).* Так вы в нее?..

Хлестаков. Решите: жизнь или смерть?

Анна Андреевна. Ну вот видишь, дура, ну вот видишь: из-за тебя, этакой дряни, гость изволил стоять на коленях; а ты вдруг вбежала как сумасшедшая. Ну вот, право, стоит, чтобы я нарочно отказала: ты недостойна такого счастия.

Марья Антоновна. Не буду, маменька. Право, вперед не буду.

Явление XV

Те же и городничий впопыхах.

Городничий. Ваше превосходительство! не погубите! не погубите!

Хлестаков. Что с вами?

Городничий. Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла.

Хлестаков. Провались унтер-офицерша — мне

не до нее!

Городничий. Не верьте, не верьте! Это такие лгуны… им вот эдакой ребенок не поверит. Они уж и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, осмелюсь доложить: это такие мошенники, каких свет не производил.

Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой чести удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.

Городничий. Куда! куда!.. Рехнулась, матушка! Не извольте гневаться, ваше превосходительство: она немного с придурью, такова же была и мать ее.

Хлестаков. Да, я точно прошу руки. Я влюблен.

Городничий. Не могу верить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Да когда говорят тебе?

Хлестаков. Я не шутя вам говорю… Я могу от любви свихнуть с ума.

Городничий. Не смею верить, недостоин такой чести.

Хлестаков. Да, если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, то я черт знает что готов…

Городничий. Не могу верить: изволите шутить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Ах, какой чурбан в самом

деле! Ну, когда тебе толкуют?

Городничий. Не могу верить.

Хлестаков. Отдайте, отдайте! Я отчаянный человек, я решусь на все: когда застрелюсь, вас под суд отдадут.

Городничий. Ах, Боже мой! Я, ей-ей, не виноват ни душою, ни телом. Не извольте гневаться! Извольте поступать так, как вашей милости угодно! У меня, право, в голове теперь… я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал.

Анна Андреевна. Ну, благословляй!

Хлестаков подходит с Марьей Антоновной.

Городничий. Да благословит вас Бог, а я не виноват.

Хлестаков целуется с Марьей Антоновной.

Городничий смотрит на них.

Что за черт! в самом деле! *(Протирает глаза.)* Целуются! Ах, батюшки, целуются! Точный жених! *(Вскрикивает, подпрыгивает от радости.)* Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Вона, как дело-то пошло!

Явление XVI

Те же и Осип.

Осип. Лошади готовы.

Хлестаков. А, хорошо… я сейчас.

Городничий. Как-с? Изволите ехать?

Хлестаков. Да, еду.

Городничий. А когда же, то есть… вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы?

Хлестаков. А это… На одну минуту только… на один день к дяде — богатый старик; а завтра же и назад.

Городничий. Не смеем никак удерживать, в надежде благополучного возвращения.

Хлестаков. Как же, как же, я вдруг. Прощайте, любовь моя… нет, просто не могу выразить! Прощайте, душенька! *(Целует ее ручку.)*

Городничий. Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах?

Хлестаков. О нет, к чему это? *(Немного подумав.)* А впрочем, пожалуй.

Городничий. Сколько угодно вам?

Хлестаков. Да вот тогда вы дали двести, то есть не двести, а четыреста, — я не хочу воспользо-

ваться вашею ошибкою, — так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было восемьсот.

Городничий. Сейчас! *(Вынимает из бумажника.)* Еще, как нарочно, самыми новенькими бумажками.

Хлестаков. А, да! *(Берет и рассматривает ассигнации.)* Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.

Городничий. Так точно-с.

Хлестаков. Прощайте, Антон Антонович! Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька Марья Антоновна!

Выходят.

За сценой:

Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей Марья Антоновна!

Голос городничего. Как же это вы? прямо так на перекладной и едете?

Голос Хлестакова. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор.

Голос ямщика. Тпр…

Голос городничего. Так, по крайней мере, чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик?

Голос Хлестакова. Нет, зачем? это пустое; а впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.

Голос городничего. Эй, Авдотья! ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший — что по голубому полю, персидский. Скорей!

Голос ямщика. Тпр…

Голос городничего. Когда же прикажете ожидать вас?

Голос Хлестакова. Завтра или послезавтра.

Голос Осипа. А, это ковер? давай его сюда, клади вот так! Теперь давай-ка с этой стороны сена.

Голос ямщика. Тпр…

Голос Осипа. Вот с этой стороны! сюда! еще! хорошо. Славно будет. *(Бьет рукою по ковру.)* Теперь садитесь, ваше благородие!

Голос Хлестакова. Прощайте, Антон Антонович!

Голос городничего. Прощайте, ваше превосходительство!

Женские голоса. Прощайте, Иван Александрович!

Голос Хлестакова. Прощайте, маменька!

Голос ямщика. Эй вы, залетные!

Колокольчик звенит. Занавес опускается.

Действие пятое

Та же комната.

Явление I

Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз, канальство! Ну, признайся откровенно: тебе и во сне не виделось — просто из какой-нибудь городничихи и вдруг… фу ты, канальство!.. с каким дьяволом породнилась!

Анна Андреевна. Совсем нет; я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек, никогда не видел порядочных людей.

Городничий. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались! а, Анна Андреевна? Высокого полета, черт побери! Постой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?

Входит квартальный.

А, это ты, Иван Карпович! Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их, каналий! Так жаловаться на меня? Вишь ты, проклятый иудейский народ! Постойте ж, голубчики! Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали: что вот, дискать, какую честь Бог послал городничему, — что выдает дочь свою не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может все сделать, все, все, все! Всем объяви, чтобы все знали. Кричи во весь народ, валяй в колокола, черт возьми! Уж когда торжество, так торжество!

Квартальный уходит.

Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь, где будем жить? здесь или в Питере?

Анна Андреевна. Натурально, в Петербурге. Как можно здесь оставаться!

Городничий. Ну, в Питере так в Питере; а оно хорошо бы и здесь. Что, ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна?

Анна Андреевна. Натурально, что за городничество!

Городничий. Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он запанибрата со всеми министрами и во дворец ездит, так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна: можно влезть в генералы?

Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.

Городничий. А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна: красную или голубую?

Анна Андреевна. Уж конечно, голубую лучше.

Городничий. Э? вишь, чего захотела! хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? — потому что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: «Лошадей!» И там на станциях никому не дадут, всё дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там — стой, городничий! Хе, хе, хе! *(Заливается и помирает со смеху.)* Вот что, канальство, заманчиво!

Анна Андреевна. Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то что

какой-нибудь судья-собачник, с которым ты ездишь травить зайцев, или Земляника; напротив, знакомые твои будут с самым тонким обращением: графы и все светские… Только я, право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.

Городничий. Что ж? ведь слово не вредит.

Анна Андреевна. Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая.

Городничий. Да, там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.

Анна Андреевна. Ему всё бы только рыбки! Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти и нужно бы только этак зажмурить глаза. *(Зажмуривает глаза и нюхает.)* Ах, как хорошо!

Явление II

Те же и купцы.

Городничий. А! Здорово, соколики!

Купцы *(кланяясь).* Здравия желаем, батюшка!

Городничий. Что, голубчики, как поживаете? как товар идет ваш? Что, самоварники, аршин-

ники, жаловаться? Архиплуты, протобестии, надувалы мирские! жаловаться? Что, много взяли? Вот, думают, так в тюрьму его и засадят. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что…

Анна Андреевна. Ах, Боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь!

Городничий *(с неудовольствием).* А, не до слов теперь! Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? А? что теперь скажете? Теперь я вас… у!.. обманываете народ… Сделаешь подряд с казною, на сто тысяч надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь двадцать аршин, да и давай тебе еще награду за это? Да если б знали, так бы тебе… И брюхо сует вперед: он купец; его не тронь. «Мы, говорит, и дворянам не уступим». Да дворянин… ах ты, рожа! — дворянин учится наукам: его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он знал полезное. А ты что? — начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, «Отче наша» не знаешь, а уж обмериваешь; а как разопрет тебе брюхо да набьешь себе карман, так и заважничал! Фу ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваров выдуешь в день,

так оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!

Купцы *(кланяясь).* Виноваты, Антон Антонович!

Городничий. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? а?

Один из купцов. Богу виноваты, Антон Антонович! Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, не гневись только!

Городничий. Не гневись! Вот ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? — оттого, что мое взяло; а будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня, каналья, втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.

Купцы *(кланяются в ноги).* Не погуби, Антон Антонович!

Городничий. Не погуби! Теперь: не погуби! А прежде что? Я бы вас… *(Махнув рукой.)* Ну да Бог простит! полно! Я не памятозлобен; только теперь смотри держи ухо востро! Я выдаю дочку

не за какого-нибудь простого дворянина: чтоб поздравление было… понимаешь? не то чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару… Ну, ступай с Богом!

Купцы уходят.

Явление III

Те же, Аммос Федорович, Артемий Филиппович, потом Растаковский.

Аммос Федорович *(еще в дверях).* Верить ли слухам, Антон Антонович? к вам привалило необыкновенное счастие?

Артемий Филиппович. Имею честь поздравить с необыкновенным счастием. Я душевно обрадовался, когда услышал. *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Анна Андреевна! *(Подходя к ручке Марьи Антоновны.)* Марья Антоновна!

Растаковский *(входит).* Антона Антоновича поздравляю. Да продлит Бог жизнь вашу и новой четы и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ручке Марьи Антоновны.)*

Явление IV

Те же, Коробкин с женою, Люлюков.

Коробкин. Имею честь поздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ее ручке.)*

Жена Коробкина. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастием.

Люлюков. Имею честь поздравить, Анна Андреевна! *(Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства.)* Марья Антоновна! Имею честь поздравить. *(Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством.)*

Явление V

Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря: «Анна Андреевна!» — потом к Марье Антоновне, говоря: «Марья Антоновна!»

Бобчинский и Добчинский проталкиваются.

Бобчинский. Имею честь поздравить!

Добчинский. Антон Антонович! имею честь поздравить!

Бобчинский. С благополучным происшествием!

Добчинский. Анна Андреевна!

Бобчинский. Анна Андреевна!

Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами.

Добчинский. Марья Антоновна! *(Подходит к ручке.)* Честь имею поздравить. Вы будете в большом, большом счастии, в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать; очень забавно будете проводить время.

Бобчинский *(перебивая).* Марья Антоновна, имею честь поздравить! Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка-с этакого маленького, вон энтакого-с *(показывает рукою),* чтоб можно было на ладонку посадить, да-с! Все будет мальчишка кричать: уа! уа! уа!..

Явление VI

Еще несколько гостей, подходящих к ручкам.

Лука Лукич с женою.

Лука Лукич. Имею честь…

Жена Луки Лукича *(бежит вперед).* Поздравляю вас, Анна Андреевна!

Целуются.

А я так, право, обрадовалась. Говорят мне: «Анна Андреевна выдает дочку». «Ах, Боже мой!» — думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу: «Послушай, Луканчик, вот какое счастие Анне Андреевне!» «Ну, — думаю себе, — слава Богу!» И говорю ему: «Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне…» «Ах, Боже мой! — думаю себе, — Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери, а вот теперь такая судьба: именно так сделалось, как она хотела», — и так, право, обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит: «Отчего ты, Настенька, рыдаешь?» — «Луканчик, говорю, я и сама не знаю, слезы так вот рекой и льются».

Городничий. Покорнейше прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.

Гости садятся.

Явление VII

Те же, частный пристав и квартальные.

Частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета!

Городничий. Спасибо, спасибо! Прошу садиться, господа!

Гости усаживаются.

Аммос Федорович. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось, постепенный ход всего, то есть, дела.

Городничий. Ход дела чрезвычайный: изволил собственнолично сделать предложение.

Анна Андреевна. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит: «Я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам…» И такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил! «Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь — копейка; я только потому, что уважаю ваши редкие качества».

Марья Антоновна. Ах, маменька! ведь это он мне говорил.

Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся! «Я, Анна Андреевна, изумляюсь...» В таких лестных рассыпался словах... И когда я хотела сказать: «Мы никак не смеем надеяться на такую честь», — он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим! согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».

Марья Антоновна. Право, маменька, он обо мне это говорил.

Анна Андреевна. Да, конечно... и об тебе было, я ничего этого не отвергаю.

Городничий. И так даже напугал: говорил, что застрелится. «Застрелюсь, застрелюсь!» — говорит.

Многие из гостей. Скажите пожалуйста!

Аммос Федорович. Экая штука!

Лука Лукич. Вот подлинно, судьба уж так вела.

Артемий Филиппович. Не судьба, батюшка, судьба — индейка: заслуги привели к тому. *(В сторону.)* Этакой свинье лезет всегда в рот счастье!

Аммос Федорович. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого

торговали.

Городничий. Нет, мне теперь не до кобельков.

Аммос Федорович. Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся.

Жена Коробкина. Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастию! вы не можете себе представить.

Коробкин. Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.

Городничий. Да, он отправился на один день по весьма важному делу.

Анна Андреевна. К своему дяде, чтоб испросить благословения.

Городничий. Испросить благословения; но завтра же… *(Чихает.)*

Поздравления сливаются в один гул.

Много благодарен! Но завтра же и назад… *(Чихает.)*

Поздравительный гул; слышнее других голоса:

Частного пристава. Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

Бобчинского. Сто лет и куль червонцев!

Добчинского. Продли Бог на сорок сороков!

Артемия Филипповича. Чтоб ты пропал!

Жены Коробкина. Черт тебя побери!

Городничий. Покорнейше благодарю! И вам того ж желаю.

Анна Андреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух… деревенский уж слишком!.. признаюсь, большая неприятность… Вот и муж мой… он там получит генеральский чин.

Городничий. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.

Лука Лукич. И дай Бог получить!

Растаковский. От человека невозможно, а от Бога все возможно.

Аммос Федорович. Большому кораблю — большое плаванье.

Артемий Филиппович. По заслугам и честь.

Аммос Федорович *(в сторону).* Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом! Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло! Ну, брат, нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.

Артемий Филиппович *(в сторону).* Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет! Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности, лукавый не взял бы его, довольно. *(Обращаясь*

к нему.) Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.

Аммос Федорович. И если что случится, например какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством!

Коробкин. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию, место отца заступите сиротке.

Городничий. Я готов с своей стороны, готов стараться.

Анна Андреевна. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно и с какой стати себя обременять этакими обещаниями?

Городничий. Почему ж, душа моя? иногда можно.

Анна Андреевна. Можно, конечно, да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство.

Жена Коробкина. Вы слышали, как она трактует нас?

Гостья. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за стол, она и ноги свои…

Явление VIII

Те же и почтмейстер впопыхах, с распечатанным письмом в руке.

Почтмейстер. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор.

Все. Как не ревизор?

Почтмейстер. Совсем не ревизор, — я узнал это из письма…

Городничий. Что вы? что вы? из какого письма?

Почтмейстер. Да из собственного его письма. Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес — вижу: «В Почтамтскую улицу». Я так и обомлел. «Ну, — думаю себе, — верно, нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство». Взял да и распечатал.

Городничий. Как же вы?..

Почтмейстер. Сам не знаю, неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера, с тем чтобы отправить его с эштафетой, — но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу! слышу, что не могу! тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: «Эй,

не распечатывай! пропадешь, как курица»; а в другом словно бес какой шепчет: «Распечатай, распечатай, распечатай!» И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-богу мороз. И руки дрожат, и все помутилось.

Городничий. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

Почтмейстер. В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особа!

Городничий. Что ж он, по-вашему, такое?

Почтмейстер. Ни се ни то; черт знает что такое!

Городничий *(запальчиво).* Как ни се ни то? Как вы смеете назвать его ни тем ни сем, да еще и черт знает чем? Я вас под арест…

Почтмейстер. Кто? Вы?

Городничий. Да, я!

Почтмейстер. Коротки руки!

Городничий. Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу?

Почтмейстер. Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа! позвольте прочитать письмо!

Все. Читайте, читайте!

Почтмейстер *(читает).* «Спешу уведомить тебя,

душа Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать, — думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали нашерамыжку и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счет доходов аглицкого короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки: помести их в свою литературу. Во-первых: городничий — глуп, как сивый мерин…»

Городничий. Не может быть! Там нет этого.

Почтмейстер *(показывает письмо).* Читайте сами.

Городничий *(читает).* «Как сивый мерин». Не может быть! вы это сами написали.

Почтмейстер. Как же бы я стал писать?

Артемий Филиппович. Читайте!

Лука Лукич. Читайте!

Почтмейстер *(продолжая читать).* «Городничий — глуп, как сивый мерин…»

Городничий. О, черт возьми! нужно еще повторять! как будто оно там и без того не стоит.

Почтмейстер *(продолжая читать).* Хм… хм… хм… хм… «сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек…» *(Оставляя читать.)* Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился.

Городничий. Нет, читайте!

Почтмейстер. Да к чему ж?..

Городничий. Нет, черт возьми, когда уж читать, так читать! Читайте всё!

Артемий Филиппович. Позвольте, я прочитаю. *(Надевает очки и читает.)* «Почтмейстер точь-в-точь департаментский сторож Михеев; должно быть, также, подлец, пьет горькую».

Почтмейстер *(к зрителям).* Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь; больше ничего!

Артемий Филиппович *(продолжая читать).* «Надзиратель над богоугодным заведе…и…и…и…» *(Заикается.)*

Коробкин. А что ж вы остановились?

Артемий Филиппович. Да нечеткое перо… впрочем, видно, что негодяй.

Коробкин. Дайте мне! Вот у меня, я думаю, по-

лучше глаза. *(Берет письмо.)*

Артемий Филиппович *(не давая письма).* Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво.

Коробкин. Да позвольте, уж я знаю.

Артемий Филиппович. Прочитать я и сам прочитаю; далее, право, все разборчиво.

Почтмейстер. Нет, всё читайте! ведь прежде все читано.

Все. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо! *(Коробкину.)* Читайте!

Артемий Филиппович. Сейчас. *(Отдает письмо.)* Вот, позвольте… *(Закрывает пальцем.)* Вот отсюда читайте.

Все приступают к нему.

Почтмейстер. Читайте, читайте! вздор, всё читайте!

Коробкин *(читая).* «Надзиратель за богоугодным заведением Земляника — совершенная свинья в ермолке».

Артемий Филиппович *(к зрителям).* И неостроумно! Свинья в ермолке! где ж свинья бывает в ермолке?

Коробкин *(продолжая читать).* «Смотритель училищ протухнул насквозь луком».

Лука Лукич *(к зрителям).* Ей-богу, и в рот нико-

гда не брал луку.

Аммос Федорович *(в сторону).* Славу Богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет!

Коробкин *(читает).* «Судья…»

Аммос Федорович. Вот тебе на! *(Вслух.)* Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем: дрянь этакую читать.

Лука Лукич. Нет!

Почтмейстер. Нет, читайте!

Артемий Филиппович. Нет уж, читайте!

Коробкин *(продолжает).* «Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон…» *(Останавливается.)* Должно быть, французское слово.

Аммос Федорович. А черт его знает, что оно значит! Еще хорошо, если только мошенник, а может быть, и того еще хуже.

Коробкин *(продолжая читать).* «А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить; хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. *(Переворачивает письмо и читает адрес.)* Его благородию, милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, в Санкт-Петер-

бурге, в Почтамтскую улицу, в доме под нумером девяносто седьмым, поворотя на двор, в третьем этаже направо».

Одна из дам. Какой репримант неожиданный!

Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего… Воротить, воротить его! *(Машет рукою.)*

Почтмейстер. Куды воротить! Я, как нарочно, приказал смотрителю дать самую лучшую тройку; черт угораздил дать и вперед предписание.

Жена Коробкина. Вот уж точно, вот беспримерная конфузия!

Аммос Федорович. Однако ж, черт возьми, господа! он у меня взял триста рублей взаймы.

Артемий Филиппович. У меня тоже триста рублей.

Почтмейстер *(вздыхает).* Ох! и у меня триста рублей.

Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем шестьдесят пять-с на ассигнации-с, да-с.

Аммос Федорович *(в недоумении расставляет руки)*. Как же это, господа? Как это, в самом деле, мы так оплошали?

Городничий *(бьет себя по лбу).* Как я — нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из ума!..

Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул!.. Что губернатор! *(махнул рукой)* нечего и говорить про губернаторов…

Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой…

Городничий *(в сердцах).* Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с обрученьем!.. *(В исступлении.)* Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! *(Грозит самому себе кулаком.)* Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю. Мало того что пойдешь в посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!.. Эх вы!.. *(Стучит со злости ногами об пол.)* Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые! чертово семя! Узлом бы вас

всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку! в шапку туды ему!.. *(Суетит кулаком и бьет каблуком в пол. После некоторого молчания.)* До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего — и вдруг все: ревизор! ревизор! Ну кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!

Артемий Филиппович *(расставляя руки).* Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал.

Аммос Федорович. Да кто выпустил — вот кто выпустил: эти молодцы! *(Показывает на Добчинского и Бобчинского.)*

Бобчинский. Ей-ей, не я! и не думал…

Добчинский. Я ничего, совсем ничего…

Артемий Филиппович. Конечно, вы.

Лука Лукич. Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал и денег не плотит…» Нашли важную птицу!

Городничий. Натурально, вы! сплетники городские, лгуны проклятые!

Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами!

Городничий. Только рыскаете по городу да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!

Аммос Федорович. Пачкуны проклятые!

Лука Лукич. Колпаки!

Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

Все обступают их.

Бобчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.

Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того…

Бобчинский. А вот и нет; первые-то были вы.

Явление последнее

Те же и жандарм.

Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.

Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении.

Немая сцена

Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выраженьем лица, относящимся прямо к семейству городничего. По левую сторону городничего: Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел посвистать или произнесть: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский и Добчинский с устремившимися движеньями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами.

Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.

Женитьба

Совершенно невероятное событие в двух действиях.

Писано в 1833 году

Действующие лица

Агафья Тихоновна, купеческая дочь, невеста.
Арина Пантелеймоновна, тетка.
Фекла Ивановна, сваха.
Подколесин, служащий, надворный советник.
Кочкарев, друг его.
Яичница, экзекутор.
Анучкин, отставной пехотный офицер.
Жевакин, моряк.
Дуняшка, девочка в доме.
Стариков, гостинодворец.
Степан, слуга Подколесина.

Действие первое
Явление I

Комната холостяка.

Подколесин один, лежит на диване с трубкой.

Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно нужно

жениться. Что, в самом деле? Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится. Вот опять пропустил мясоед. А ведь, кажется, все готово, и сваха вот уж три месяца ходит. Право, самому как-то становится совестно. Эй, Степан!

Явление II

Подколесин, Степан.

Подколесин. Не приходила сваха?

Степан. Никак нет.

Подколесин. А у портного был?

Степан. Был.

Подколесин. Что ж он, шьет фрак?

Степан. Шьет.

Подколесин. И много уже нашил?

Степан. Да, уж довольно. Начал уж петли метать.

Подколесин. Что ты говоришь?

Степан. Говорю: начал уж петли метать.

Подколесин. А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фрак?

Степан. Нет, не спрашивал.

Подколесин. Может быть, он говорил, не хочет ли барин жениться?

Степан. Нет, ничего не говорил.

Подколесин. Ты видел, однако ж, у него и другие фраки? Ведь он и для других тоже шьет?

Степан. Да, фраков у него много висит.

Подколесин. Однако ж ведь сукно-то на них будет, чай, похуже, чем на моем?

Степан. Да, это будет поприглядистее, что на вашем.

Подколесин. Что ты говоришь?

Степан. Говорю: это поприглядистее, что на вашем.

Подколесин. Хорошо. Ну, а не спрашивал: для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?

Степан. Нет.

Подколесин. Не говорил ничего о том, что не хочет ли, дискать, жениться?

Степан. Нет, об этом не заговаривал.

Подколесин. Ты, однако же, сказал, какой на мне чин и где служу?

Степан. Сказывал.

Подколесин. Что ж он на это?

Степан. Говорит: буду стараться.

Подколесин. Хорошо. Теперь ступай.

Степан уходит.

Явление III

Подколесин один.

Я того мнения, что черный фрак как-то солиднее. Цветные больше идут секретарям, титулярным и прочей мелюзге, молокососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого… вот позабыл слово! и хорошее слово, да позабыл. Да, батюшка, уж как ты там себе ни переворачивай, а надворный советник тот же полковник, только разве что мундир без эполет. Эй, Степан!

Явление IV

Подколесин, Степан.

Подколесин. А ваксу купил?

Степан. Купил.

Подколесин. Где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил, что на Вознесенском проспекте?

Степан. Да-с, в той самой.

Подколесин. Что ж, хороша вакса?

Степан. Хороша.

Подколесин. Ты пробовал чистить ею сапоги?

Степан. Пробовал.

Подколесин. Что ж, блестит?

Степан. Блестеть-то она блестит хорошо.

Подколесин. А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса?

Степан. Нет.

Подколесин. Может быть, не говорил ли: не затевает ли, дискать, барин жениться?

Степан. Нет, ничего не говорил.

Подколесин. Ну, хорошо, ступай себе.

Явление V

Подколесин один.

Кажется, пустая вещь сапоги, а ведь, однако же, если дурно сшиты да рыжая вакса, уж в хорошем обществе и не будет такого уважения. Всё как-то не того… Вот еще гадко, если мозоли. Готов вытерпеть Бог знает что, только бы не мозоли. Эй, Степан!

Явление VI

Подколесин, Степан.

Степан. Чего изволите?

Подколесин. Ты говорил сапожнику, чтоб не было мозолей?

Степан. Говорил.

Подколесин. Что ж он говорит?

Степан. Говорит, хорошо.

Степан уходит.

Явление VII

Подколесин, потом Степан.

Подколесин. А ведь хлопотливая, черт возьми, вещь женитьба! То, да се, да это. Чтобы то да это было исправно, — нет, черт побери, это не так легко, как говорят. Эй, Степан!

Степан входит.

Я хотел тебе еще сказать…

Степан. Старуха пришла.

Подколесин. А, пришла; зови ее сюда.

Степан уходит.

Да, это вещь… вещь не того… трудная вещь.

Явление VIII

Подколесин и Фекла.

Подколесин. А, здравствуй, здравствуй, Фекла Ивановна. Ну что? как? Возьми стул, садись, да и рассказывай. Ну, так как же, как? Как бишь ее: Меланья?..

Фекла. Агафья Тихоновна.

Подколесин. Да, да, Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь сорокалетняя дева?

Фекла. Уж вот нет так нет. То есть как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить.

Подколесин. Да ты врешь, Фекла Ивановна.

Фекла. Устарела я, отец мой, чтобы врать; пес врет.

Подколесин. А приданое-то, приданое? Расскажи-ка вновь.

Фекла. А приданое: каменный дом в Московской части, о двух елтажах, уж такой прибыточный, что истинно удовольствие. Один лабазник платит семьсот за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Два деревянных хлигеря: один хлигерь совсем деревянный, дру-

гой на каменном фундаменте; каждый рублев по четыреста приносит доходу. Огород есть еще на Выборгской стороне: третьего года купец нанимал под капусту; и такой купец трезвый, совсем не берет хмельного в рот, и трех сыновей имеет: двух уж поженил, «а третий, говорит, еще молодой, пусть посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче отправлять. Я уж, говорит, стар, так пусть сын посидит в лавке, чтобы торговля шла полегче».

Подколесин. Да собой-то, какова собой?

Фекла. Как рефинат! Белая, румяная, как кровь с молоком, сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете вот по этих пор довольны *(показывает на горло);* то есть и приятелю и неприятелю скажете: «Ай да Фекла Ивановна, спасибо!»

Подколесин. Да ведь она, однако ж, не штабофицерка?

Фекла. Купца третьей гильдии дочь. Да уж такая, что и генералу обиды не нанесет. О купце и слышать не хочет. «Мне, говорит, какой бы ни был муж, хоть и собой-то невзрачен, да был бы дворянин». Да, такой великатес! А к воскресному-то как наденет шелковое платье — так вот те Христос, так и шумит. Княгиня просто!

Подколесин. Да ведь я-то потому тебя спра-

шивал, что я надворный советник, так мне, понимаешь…

Фекла. Да уж обноковенно, как не понимать. Был у нас и надворный советник, да отказали: не пондравился. Такой уж у него нрав-то странный был: что ни скажет слово, то и соврет, а такой на взгляд видный. Что ж делать, так уж ему Бог дал. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть. Такая уж на то воля Божия.

Подколесин. Ну, а кроме этой, других там нет никаких?

Фекла. Да какой же тебе еще? Уж это что ни есть лучшая.

Подколесин. Будто уж самая лучшая?

Фекла. Хоть по всему свету исходи, такой не найдешь.

Подколесин. Подумаем, подумаем, матушка. Приходи-ка послезавтра. Мы с тобой, знаешь, опять вот эдак: я полежу, а ты расскажешь…

Фекла. Да помилуй, отец! уж вот третий месяц хожу к тебе, а проку-то ни насколько. Все сидит в халате да трубку знай себе покуривает.

Подколесин. А ты думаешь небось, что женитьба все равно что «эй, Степан, подай сапоги!» Натянул на ноги, да и пошел? Нужно порассудить, порассмотреть.

Фекла. Ну, так что ж? Коли смотреть, так и смотри. На то товар, чтобы смотреть. Вот прикажи-тка подать кафтан да теперь же, благо утреннее время, и поезжай.

Подколесин. Теперь? А вон видишь, как пасмурно. Выеду, а вдруг хватит дождем.

Фекла. А тебе же худо! Ведь в голове седой волос уж глядит, скоро совсем не будешь годиться для супружеска дела. Невидаль, что он придворный советник! Да мы таких женихов приберем, что и не посмотрим на тебя.

Подколесин. Что за чепуху несешь ты? Из чего вдруг угораздило тебя сказать, что у меня седой волос? Где ж седой волос? *(Щупает свои волосы.)*

Фекла. Как не быть седому волосу, на то живет человек. Смотри ты! Тою ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня есть на примете такой капитан, что ты ему и под плечо не подойдешь, а говорит-то — как труба; в алгалантьерстве служит.

Подколесин. Да врешь, я посмотрю в зеркало; где ты выдумала седой волос? Эй, Степан, принеси зеркало! Или нет, постой, я пойду сам. Вот еще. Боже сохрани. Это хуже, чем оспа. *(Уходит в другую комнату.)*

Явление IX

Фекла и Кочкарев, вбегая.

Кочкарев. Что Подколесин?.. *(Увидев Феклу.)* Ты как здесь? Ах, ты!.. Ну послушай, на кой черт ты меня женила?

Фекла. А что ж дурного? Закон исполнил.

Кочкарев. Закон исполнил! Эк невидаль, жена! Без нее-то разве я не мог обойтись?

Фекла. Да ведь ты ж сам пристал: жени, бабушка, да и полно.

Кочкарев. Ах ты, крыса старая!.. Ну, а здесь зачем? Неужели Подколесин хочет…

Фекла. А что ж? Бог благодать послал.

Кочкарев. Нет! Эк мерзавец, ведь мне ничего об этом. Каков! Прошу покорно: сподтишка, а?

Явление X

Те же и Подколесин с зеркалом в руках, в которое вглядывается очень внимательно.

Кочкарев *(подкрадываясь сзади, пугает его).* Пуф!

Подколесин *(вскрикнув и роняя зеркало).* Су-

масшедший! Ну зачем, зачем… Ну что за глупости! Перепугал, право, так, что душа не на месте.

Кочкарев. Ну, ничего, пошутил.

Подколесин. Что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало вон разбил. Ведь это вещь не даровая: в английском магазине куплено.

Кочкарев. Ну полно: я сыщу тебе другое зеркало.

Подколесин. Да, сыщешь. Знаю я эти другие зеркала. Целым десятком кажет старее, и рожа выходит косяком.

Кочкарев. Послушай, ведь я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал?

Подколесин. Вот вздор: совсем и не думал.

Кочкарев. Да ведь улика налицо. *(Указывает на Феклу.)* Ведь вот стоит — известно, что за птица. Ну что ж, ничего, ничего. Здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества. Изволь, изволь: я беру на себя все дела. *(К Фекле.)* Ну, говори, как, что и прочее? Дворянка, чиновница или в купечестве, что ли, и как зовут?

Фекла. Агафья Тихоновна.

Кочкарев. Агафья Тихоновна Брандахлыстова?

Фекла. Ан нет — Купердягина.

Кочкарев. В Шестилавочной, что ли, живет?

Фекла. Уж вот нет; будет поближе к Пескам, в Мыльном переулке.

Кочкарев. Ну да, в Мыльном переулке, тотчас за лавочкой — деревянный дом?

Фекла. И не за лавочкой, а за пивным погребом.

Кочкарев. Как же за пивным, — вот тут-то я не знаю.

Фекла. А вот как поворотишь в проулок, так будет тебе прямо будка, и как будку минешь, свороти налево, и вот тебе прямо в глаза — то есть, так вот тебе прямо в глаза и будет деревянный дом, где живет швея, что жила прежде с сенатским обер-секлехтарем. Ты к швее-то не заходи, а сейчас за нею будет второй дом, каменный — вот этот дом и есть ее, в котором, то есть, она живет, Агафья Тихоновна-то, невеста.

Кочкарев. Хорошо, хорошо. Теперь я все это обделаю; а ты ступай, — в тебе больше нет нужды.

Фекла. Как так? Неужто ты сам свадьбу хочешь заправить?

Кочкарев. Сам, сам; ты уж не мешайся только.

Фекла. Ах, бесстыдник какой! Да ведь это не мужское дело. Отступись, батюшка, право!

Кочкарев. Пойди, пойди. Не смыслишь ничего, не мешайся! Знай, сверчок, свой шесток, — убирайся!

Фекла. У людей только чтобы хлеб отымать, безбожник такой! В такую дрянь вмешался. Кабы знала, ничего бы не сказывала. *(Уходит с досадой.)*

Явление XI

Подколесин и Кочкарев.

Кочкарев. Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем.

Подколесин. Да ведь я еще ничего. Я так только подумал…

Кочкарев. Пустяки, пустяки! Только не конфузься: я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к невесте, и увидишь, как всё вдруг.

Подколесин. Вот еще! Сейчас бы и ехать!

Кочкарев. Да за чем же, помилуй, за чем дело?.. Ну, рассмотри сам: ну что из того, что ты неженатый? Посмотри на свою комнату. Ну, что в ней? Вон невычищенный сапог стоит, вон лоханка для умывания, вон целая куча табаку на столе, и ты вот сам лежишь, как байбак, весь день на боку.

Подколесин. Это правда. Порядка-то у меня, я

знаю сам, что нет.

Кочкарев. Ну, а как будет у тебя жена, так ты просто ни себя, ничего не узнаешь: тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделье… И, вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг к тебе подсядет бабеночка, хорошенькая эдакая, и ручкой тебя.

Подколесин. А, черт, как подумаешь, право, какие в самом деле бывают ручки. Ведь просто, брат, как молоко.

Кочкарев. Куды тебе! Будто у них только что ручки!.. У них, брат… Ну да что и говорить! у них, брат, просто черт знает чего нет.

Подколесин. А ведь сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая.

Кочкарев. Ну видишь, сам раскусил. Теперь только нужно распорядиться. Ты уж не заботься ни о чем. Свадебный обед и прочее — это все уж я… Шампанского меньше одной дюжины никак, брат, нельзя, уж как ты себе хочешь. Мадеры тоже полдюжины бутылок непременно. У невесты, верно, есть куча тетушек и кумушек — эти шутить не любят. А рейнвейн — черт с ним, не правда ли? а? А что же касается до обеда — у меня, брат, есть на примете придворный официант: так, собака, накормит, что просто не встанешь.

Подколесин. Помилуй, ты так горячо берешься, как будто бы в самом деле уж и свадьба.

Кочкарев. А почему ж нет? Зачем же откладывать? Ведь ты согласен?

Подколесин. Я? Ну нет… я еще не совсем согласен.

Кочкарев. Вот тебе на! Да ведь ты сейчас объявил, что хочешь.

Подколесин. Я говорил только, что не худо бы.

Кочкарев. Как, помилуй! Да мы уж совсем было все дело… Да что? разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли?

Подколесин. Нет… нравится.

Кочкарев. Ну, так что ж? За чем дело стало?

Подколесин. Да дело ни за чем не стало, а только странно…

Кочкарев. Что ж странно?

Подколесин. Как же не странно: все был неженатый, а теперь вдруг — женатый.

Кочкарев. Ну, ну… ну не стыдно ли тебе? Нет, я вижу, с тобой нужно говорить сурьезно: я буду говорить откровенно, как отец с сыном. Ну посмотри, посмотри на себя внимательно, вот, например, так, как смотришь теперь на меня. Ну что ты теперь такое? Ведь просто бревно, никакого значения не имеешь. Ну для чего ты живешь?

Ну взгляни в зеркало, что ты там видишь? глупое лицо — больше ничего. А тут, вообрази, около тебя будут ребятишки, ведь не то что двое или трое, а, может быть, целых шестеро, и все на тебя как две капли воды. Ты вот теперь один, надворный советник, экспедитор или там начальник какой, Бог тебя ведает, а тогда, вообрази, около тебя экспедиторчонки, маленькие эдакие канальчонки, и какой-нибудь постреленок, протянувши ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды, а ты только будешь ему по-собачьи: ав, ав, ав! Ну есть ли что-нибудь лучше этого, скажи сам?

Подколесин. Да ведь они только шалуны большие: будут всё портить, разбросают бумаги.

Кочкарев. Пусть шалят, да ведь все на тебя похожи — вот штука.

Подколесин. А оно, в самом деле, даже смешно, черт побери: этакой какой-нибудь пышка, щенок эдакой, и уж на тебя похож.

Кочкарев. Как не смешно, конечно смешно. Ну, так поедем.

Подколесин. Пожалуй, поедем.

Кочкарев. Эй, Степан! Давай скорее своему барину одеваться.

Подколесин *(одеваясь перед зеркалом).* Я думаю, однако ж, что нужно бы в белом жилете.

Кочкарев. Пустяки, все равно.

Подколесин *(надевая воротнички).* Проклятая прачка, так скверно накрахмалила воротнички — никак не стоят. Ты ей скажи, Степан, что если она, глупая, так будет гладить белье, то я найму другую. Она, верно, с любовниками проводит время, а не гладит.

Кочкарев. Да ну, брат, поскорее! Как ты копаешься!

Подколесин. Сейчас, сейчас. *(Надевает фрак и садится.)* Послушай, Илья Фомич. Знаешь ли что? Поезжай-ка ты сам.

Кочкарев. Ну вот еще; с ума сошел разве? Мне ехать! Да кто из нас женится: ты или я?

Подколесин. Право, что-то не хочется; пусть лучше завтра.

Кочкарев. Ну есть ли в тебе капля ума? Ну не олух ли ты? Собрался совершенно, и вдруг: не нужно! Ну скажи, пожалуйста, не свинья ли ты, не подлец ли ты после этого?

Подколесин. Ну что ж ты бранишься? с какой стати? что я тебе сделал?

Кочкарев. Дурак, дурак набитый, это тебе всякий скажет. Глуп, вот просто глуп, хоть и экспедитор. Ведь о чем стараюсь? О твоей пользе; ведь изо рта выманят кус. Лежит, проклятый

холостяк! Ну скажи, пожалуйста, ну на что ты похож? Ну, ну, дрянь, колпак, сказал бы такое слово… да неприлично только. Баба! хуже бабы!

Подколесин. И ты хорош в самом деле! *(Вполголоса.)* В своем ли ты уме? Тут стоит крепостной человек, а он при нем бранится, да еще эдакими словами; не нашел другого места.

Кочкарев. Да как же тебя не бранить, скажи, пожалуйста? Кто может тебя не бранить? У кого достанет духу тебя не бранить? Как порядочный человек, решился жениться, последовал благоразумию и вдруг — просто сдуру, белены объелся, деревянный чурбан…

Подколесин. Ну, полно, я еду — чего ж ты раскричался?

Кочкарев. Еду! Конечно, что ж другое делать, как не ехать! *(Степану.)* Давай ему шляпу и шинель.

Подколесин *(в дверях).* Такой, право, странный человек! С ним никак нельзя водиться: выбранит вдруг ни за что ни про что. Не понимает никакого обращения.

Кочкарев. Да уж кончено, теперь не браню.

Оба уходят.

Явление XII

Комната в доме Агафьи Тихоновны.

Агафья Тихоновна раскладывает на картах, из-за руки глядит тетка Арина Пантелеймоновна.

Агафья Тихоновна. Опять, тетушка, дорога! Интересуется какой-то бубновый король, слезы, любовное письмо; с левой стороны трефовый изъявляет большое участье, но какая-то злодейка мешает.

Арина Пантелеймоновна. А кто бы, ты думала, был трефовый король?

Агафья Тихоновна. Не знаю.

Арина Пантелеймоновна. А я знаю кто.

Агафья Тихоновна. А кто?

Арина Пантелеймоновна. А хороший торговец, что по суконной линии, Алексей Дмитриевич Стариков.

Агафья Тихоновна. Вот уж верно не он! я хоть что ставлю, не он.

Арина Пантелеймоновна. Не спорь, Агафья Тихоновна, волос уж такой русый. Нет другого трефового короля.

Агафья Тихоновна. А вот же нет: трефовый король значит здесь дворянин. Купцу далеко до

трефового короля.

Арина Пантелеймоновна. Эй, Агафья Тихоновна, а ведь не то бы ты сказала, как бы покойник-то Тихон, твой батюшка, Пантелеймонович был жив. Бывало, как ударит всей пятерней по столу да вскрикнет: «Плевать я, говорит, на того, который стыдится быть купцом; да не выдам же, говорит, дочь за полковника. Пусть их делают другие! А и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит государю так же, как и всякий другой?» Да всей пятерней-то по столу и хватит. А рука-то в ведро величиною — такие страсти! Ведь если сказать правду, он и усахарил твою матушку, а покойница прожила бы подолее.

Агафья Тихоновна. Ну вот, чтобы и у меня еще был такой злой муж! Да ни за что не выйду за купца!

Арина Пантелеймоновна. Да ведь Алексей-то Дмитриевич не такой.

Агафья Тихоновна. Не хочу, не хочу! У него борода: станет есть, все потечет по бороде. Нет, нет, не хочу!

Арина Пантелеймоновна. Да ведь где же достать хорошего дворянина? Ведь его на улице не сыщешь.

Агафья Тихоновна. Фекла Ивановна сыщет. Она обещалась сыскать самого лучшего.

Арина Пантелеймоновна. Да ведь она лгунья, мой свет.

Явление XIII

Те же и Фекла.

Фекла. Ан нет, Арина Пантелеймоновна, грех вам понапрасну поклеп взводить.

Агафья Тихоновна. Ах, это Фекла Ивановна! Ну что, говори, рассказывай! Есть?

Фекла. Есть, есть, дай только прежде с духом собраться — так ухлопоталась! По твоей комиссии все дома исходила, по канцеляриям, по министериям истаскалась, в караульни наслонялась... Знаешь ли ты, мать моя, ведь меня чуть было не прибили, ей-богу! Старуха-то, что женила Аферовых, так было приступила ко мне: «Ты такая и этакая, только хлеб перебиваешь, знай свой квартал», — говорит. «Да что ж, — сказала я напрямик, — я для своей барышни, не прогневайся, все готова удовлетворить». Зато уж каких женихов тебе припасла! То есть, и стоял свет и будет стоять, а таких еще не было! Сегодня же иные и прибудут. Я забежала нарочно тебя предварить.

Агафья Тихоновна. Как же сегодня? Душа моя Фекла Ивановна, я боюсь.

Фекла. И, не пугайся, мать моя! дело житейское. Приедут, посмотрят, больше ничего. И ты посмотришь их: не понравятся — ну и уедут.

Арина Пантелеймоновна. Ну уж, чай, хороших приманила!

Агафья Тихоновна. А сколько их? много?

Фекла. Да человек шесть есть.

Агафья Тихоновна *(вскрикивает).* Ух!

Фекла. Ну что ж ты, мать моя, так вспорхнулась? Лучше выбирать: один не придется, другой придется.

Агафья Тихоновна. Что ж они: дворяне?

Фекла. Все как на подбор. Уж такие дворяне, что еще и не было таких.

Агафья Тихоновна. Ну, какие же, какие?

Фекла. А славные все такие, хорошие, аккуратные. Первый Балтазар Балтазарович Жевакин, такой славный, во флоте служил, — как раз по тебе придется. Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле, а поджаристых совсем не любит. А Иван-то Павлович, что служит езекухтором, такой важный, что и приступу нет. Такой видный из себя, толстый; как закричит на меня: «Ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая

и эдакая! ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого?» — «Столько-то и столько-то, отец мой!» — «Ты врешь, собачья дочь!» Да еще, мать моя, вклеил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я так вмиг и спознала: э, да это должен быть важный господин.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто?

Фекла. А еще Никанор Иванович Анучкин. Это уж такой великатный! а губы, мать моя, — малина, совсем малина! такой славный. «Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, чтобы и по-французскому умела говорить». Да, тонкого поведенья человек, немецкая штучка! А сам-то такой субтильный, и ножки узенькие, тоненькие.

Агафья Тихоновна. Нет, мне эти субтильные как-то не того… не знаю… Я ничего не вижу в них…

Фекла. А коли хочешь поплотнее, так возьми Ивана Павловича. Уж лучше нельзя выбрать никого. Уж тот, неча сказать, барин так барин: мало в эти двери не войдет, — такой славный.

Агафья Тихоновна. А сколько лет ему?

Фекла. А человек еще молодой: лет пятьдесят, да и пятидесяти еще нет.

Агафья Тихоновна. А фамилия как?

Фекла. А фамилия Иван Павлович Яичница.

Агафья Тихоновна. Это такая фамилия?

Фекла. Фамилия.

Агафья Тихоновна. Ах Боже мой, какая фамилия! Послушай, Феклуша, как же это, если я выйду за него замуж и вдруг буду называться Агафья Тихоновна Яичница? Бог знает что такое!

Фекла. И, мать моя, да на Руси есть такие прозвища, что только плюнешь да перекрестишься, коли услышишь. А пожалуй, коли не нравится прозвище, то возьми Балтазара Балтазаровича Жевакина — славный жених.

Агафья Тихоновна. А какие у него волосы?

Фекла. Хорошие волосы.

Агафья Тихоновна. А нос?

Фекла. Э… и нос хороший. Всё на своем месте. И сам такой славный. Только не погневайся: уж на квартире одна только трубка и стоит, больше ничего нет — никакой мебели.

Агафья Тихоновна. А еще кто?

Фекла. Акинф Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник, немножко заикается только, зато уж такой скромный.

Арина Пантелеймоновна. Ну что ты все: чиновник, чиновник! А не любит ли он выпить, вот, мол, что скажи.

Фекла. А пьет, не прекословлю, пьет. Что ж делать, уж он титулярный советник; зато такой тихий, как шелк.

Агафья Тихоновна. Ну нет, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница.

Фекла. Твоя воля, мать моя! Не хочешь одного, возьми другого. Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее, — ведь не всю же неделю бывает пьян: иной день выберется и трезвый.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто?

Фекла. Да есть еще один, да только такой… Бог с ним! Эти будут почище.

Агафья Тихоновна. Ну, да кто же он?

Фекла. А не хотелось бы и говорить про него. Он-то, пожалуй, андворный советник и петлицу носит, да уж на подъем куды тяжел, не выманишь из дому.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто? Ведь тут только всего пять, а ты говорила шесть.

Фекла. Да неужто тебе еще мало? Смотри ты, как тебя вдруг поразобрало, а ведь давича было испугалась.

Арина Пантелеймоновна. Да что с них, с дворян-то твоих? Хоть их у тебя и шестеро, а, право, купец один станет за всех.

Фекла. А нет, Арина Пантелеймоновна. Дворя-

нин будет почтенней.

Арина Пантелеймоновна. Да что в почтенье-та? А вот Алексей Дмитриевич да в собольей шапке, в санках-то как прокатится…

Фекла. А дворянин-то с аполетой пройдет навстречу, скажет: «Что ты, купчишка? свороти с дороги!» Или: «Покажи, купчишка, бархату самого лучшего!» А купец: «Извольте, батюшка!» — «А сними-ка, невежа, шляпу!» — вот что скажет дворянин.

Арина Пантелеймоновна. А купец, если захочет, не даст сукна; а вот дворянин-то и голенькой, и не в чем ходить дворянину!

Фекла. А дворянин зарубит купца.

Арина Пантелеймоновна. А купец пойдет жаловаться в полицию.

Фекла. А дворянин пойдет на купца к сенахтору.

Арина Пантелеймоновна. А купец к губернахтору.

Фекла. А дворянин…

Арина Пантелеймоновна. Врешь, врешь: дворянин… Губернахтор больше сенахтора! Разносилась с дворянином! а дворянин при случае так же гнет шапку…

В дверях слышен звонок.

Никак, звонит кто-то.

Фекла. Ахти, это они!

Арина Пантелеймоновна. Кто они?

Фекла. Они… кто-нибудь из женихов.

Агафья Тихоновна *(вскрикивает).* Ух!

Арина Пантелеймоновна. Святые, помилуйте нас, грешных! В комнате совсем не прибрано. *(Схватывает все, что ни есть на столе, и бегает по комнате.)* Да салфетка-то, салфетка на столе совсем черная. Дуняшка, Дуняшка!

Дуняшка является.

Скорее чистую салфетку! *(Стаскивает салфетку и мечется по комнате.)*

Агафья Тихоновна. Ах, тетушка, как мне быть? Я чуть не в рубашке!

Арина Пантелеймоновна. Ах, мать моя, беги скорей одеваться! *(Мечется по комнате.)*

Дуняшка приносит салфетку: в дверях звонят.

Беги скажи: «сейчас»!

Дуняшка кричит издалека: «Сейчас!»

Агафья Тихоновна. Тетушка, да ведь платье не выглажено.

Арина Пантелеймоновна. Ах, Господи милосердный, не погуби! Надень другое.

Фекла *(вбегая).* Что ж вы нейдете? Агафья Тихо-

новна, поскорей, мать моя!

Слышен звонок.

Ахти, а ведь он все дожидается!

Арина Пантелеймоновна. Дуняшка, введи его и проси обождать.

Дуняшка бежит в сени и отворяет дверь.

Слышны голоса: «Дома?» — «Дома, пожалуйте в комнату».

Все с любопытством стараются рассмотреть в замочную скважину.

Агафья Тихоновна *(вскрикивает).* Ах, какой толстый!

Фекла. Идет, идет!

Все бегут опрометью.

Явление XIV

Иван Павлович Яичница и девчонка.

Девчонка. Погодите здесь. *(Уходит.)*

Яичница. Пожалуй, пождать — пождем, как бы только не замешкаться. Отлучился ведь только на минутку из департамента. Вдруг вздумает генерал: «А где экзекутор?» — «Невесту пошел выглядывать». Чтоб не задал он такой невесты…

А однако ж, рассмотреть еще раз роспись. *(Читает.)* «Каменный двухэтажный дом…» *(Подымает глаза вверх и обсматривает комнату.)* Есть! *(Продолжает читать.)* «Флигеля два: флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный…» Ну, деревянный плоховат. «Дрожки, сани парные с резьбой, под большой ковер и под малый…» Может быть, такие, что в лом годятся? Старуха, однако ж, уверяет, что первый сорт; хорошо, пусть первый сорт. «Две дюжины серебряных ложек…» Конечно, для дома нужны серебряные ложки. «Две лисьих шубы…» Гм… «Четыре больших пуховика и два малых. *(Значительно сжимает губы.)* Шесть пар шелковых и шесть пар ситцевых платьев, два ночных капота, два…» Ну, это статья пустая! «Белье, салфетки…» Это пусть будет, как ей хочется. Впрочем, нужно все это поверить на деле. Теперь, пожалуй, обещают и домы, и экипажи, а как женишься — только и найдешь, что пуховики да перины.

Слышен звонок. Дуняшка бежит впопыхах через комнату отворять дверь. Слышны голоса: «Дома?» — «Дома».

Явление XV

Иван Павлович и Анучкин.

Дуняшка. Погодите тут. Они выдут. *(Уходит.)*

Анучкин раскланивается с Яичницей.

Яичница. Мое почтение!

Анучкин. Не с папенькой ли прелестной хозяйки дома имею честь говорить?

Яичница. Никак нет, вовсе не с папенькой. Я даже еще не имею детей.

Анучкин. Ах, извините! извините!

Яичница *(в сторону).* Физиогномия этого человека мне что-то подозрительна: чуть ли он не за тем же сюда пришел, за чем и я. *(Вслух.)* Вы, верно, имеете какую-нибудь надобность к хозяйке дома?

Анучкин. Нет, что ж… надобности никакой нет, а так, зашел с прогулки.

Яичница *(в сторону).* Врет, врет, с прогулки! Жениться, подлец, хочет!

Слышен звонок. Дуняшка бежит через комнату отворять дверь.

В сенях голоса: «Дома?» — «Дома».

Явление XVI

Те же и Жевакин, в сопровождении девчонки.

Жевакин *(девчонке).* Пожалуйста, душенька, почисть меня… Пыли-то, знаешь, на улице попристало немало. Вон там, пожалуйста, сними пушинку. *(Поворачивается.)* Так! спасибо, душенька. Вот еще, посмотри, там как будто паучок лазит! а на подборах-то сзади ничего нет? Спасибо, родимая! Вон тут еще, кажется. *(Гладит рукою рукав фрака и поглядывает на Анучкина и Ивана Павловича.)* Суконцо-то ведь аглицкое! Ведь каково носится! В девяносто пятом году, когда была эскадра наша в Сицилии, купил я его еще мичманом и сшил с него мундир; в восемьсот первом, при Павле Петровиче, я был сделан лейтенантом, — сукно было совсем новешенькое; в восемьсот четырнадцатом сделал экспедицию вокруг света, и вот только по швам немного поистерлось; в восемьсот пятнадцатом вышел в отставку, только перелицевал: уж десять лет ношу — до сих пор почти что новый. Благодарю, душенька, м… раскрасоточка! *(Делает ей ручку и, подходя к зеркалу, слегка взъерошивает волосы.)*

Анучкин. А как, позвольте узнать, Сицилия…

вот вы изволили сказать: Сицилия, — хорошая это земля Сицилия?

Жевакин. А, прекрасная! Мы тридцать четыре дня там пробыли; вид, я вам доложу, восхитительный! эдакие горы, эдак деревцо какое-нибудь гранатное, и везде италианочки, такие розанчики, так вот и хочется поцеловать.

Анучкин. И хорошо образованны?

Жевакин. Превосходным образом! Так образованные, как вот у нас только графини разве. Бывало, пойдешь по улице — ну, русский лейтенант… Натурально, здесь эполеты *(показывает на плеча),* золотое шитье… и эдак красоточки черномазенькие, — у них ведь возле каждого дома балкончики, и крыши, вот как этот пол, совершенно плоски. Бывало, эдак смотришь, и сидит эдакой розанчик… Ну, натурально, чтобы не ударить лицом в грязь… *(Кланяется и размахивает рукою.)* И она эдак только. *(Делает рукою движение.)* Натурально, одета: здесь у ней какая-нибудь тафтица, шнуровочка, дамские разные сережки… ну, словом, такой лакомый кусочек…

Анучкин. А как, позвольте еще вам сделать вопрос, — на каком языке изъясняются в Сицилии?

Жевакин. А натурально, все на французском.

Анучкин. И все барышни решительно говорят

по-французски?

Жевакин. Все-с решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу: мы жили тридцать четыре дня, и во все это время ни одного слова я не слыхал от них по-русски.

Анучкин. Ни одного слова?

Жевакин. Ни одного слова. Я не говорю уже о дворянах и прочих синьорах, то есть разных ихних офицерах; но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь, попробуйте скажите ему: «Дай, братец, хлеба», — не поймет, ей-богу не поймет; а скажи по-французски: «Dateci del pane» или «portate vino» — поймет, и побежит, и точно принесет.

Иван Павлович. А любопытная, однако ж, как я вижу, должна быть земля эта Сицилия. Вот вы сказали — мужик: что мужик, как он? так ли совершенно, как и русский мужик, широк в плечах и землю пашет, или нет?

Жевакин. Не могу вам сказать: не заметил, пашут или нет, а вот насчет нюханья табаку, так я вам доложу, что все не только нюхают, а даже за губу-с кладут. Перевозка тоже очень дешева; там все почти вода и везде гондолы… Натурально, сидит эдакая италианочка, такой

розанчик, одета: манишечка, платочек… С нами были и аглицкие офицеры; ну, народ, так же как и наши, — моряки; и сначала, точно, было очень странно: не понимаешь друг друга, — но потом, как хорошо обознакомились, начали свободно понимать: покажешь, бывало, эдак на бутылку или стакан — ну, тотчас и знает, что это значит выпить; приставишь эдак кулак ко рту и скажешь только губами: паф-паф — знает: трубку выкурить. Вообще, я вам доложу, язык довольно легкий, наши матросы в три дни каких-нибудь стали совершенно понимать друг друга.

Иван Павлович. А преинтересная, как вижу, жизнь в чужих краях. Мне очень приятно сойтись с человеком бывалым. Позвольте узнать: с кем имею честь говорить?

Жевакин. Жевакин-с, лейтенант в отставке. Позвольте с своей стороны тоже спросить: с кем-с имею счастье изъясняться?

Иван Павлович. В должности экзекутора, Иван Павлович Яичница.

Жевакин *(не дослышав).* Да, я тоже перекусил. Дороги-то, знаю, впереди будет довольно, а время холодновато: селедочку съел с хлебцем.

Иван Павлович. Нет, кажется, вы не так поняли: это фамилия моя — Яичница.

Жевакин *(кланяясь).* Ах, извините! я немножко туговат на ухо. Я, право, думал, что вы изволили сказать, что покушали яичницу.

Иван Павлович. Да что делать? я хотел было уже просить генерала, чтобы позволил называться мне Яичницын, да свои отговорили: говорят, будет похоже на «собачий сын».

Жевакин. А это, однако ж, бывает. У нас вся третья эскадра, все офицеры и матросы, — все были с престранными фамилиями: Помойкин, Ярыжкин, Перепреев, лейтенант. А один мичман, и даже хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. И капитан бывало: «Эй ты, Дырка, поди сюда!» И, бывало, над ним всегда пошутишь. «Эх ты, дырка эдакой!» — говоришь, бывало, ему.

Слышен в сенях звонок, Фекла бежит через комнату отворять.

Яичница. А, здравствуй, матушка!

Жевакин. Здравствуй; как живешь, душа моя?

Анучкин. Здравствуйте, матушка Фекла Ивановна.

Фекла *(бежит впопыхах).* Спасибо, отцы мои! Здорова, здорова. *(Отворяет дверь.)*

В сенях раздаются голоса: «Дома?» — «Дома». Потом несколько почти неслышных слов, на которые Фекла отвечает с досадою: «Смотри ты

какой!»

Явление XVII

Те же, Кочкарев, Подколесин и Фекла.

Кочкарев *(Подколесину)*. Ты помни, только кураж, и больше ничего. *(Оглядывается и раскланивается с некоторым изумлением; про себя.)* Фу ты, какая куча народу! Это что значит? Уж не женихи ли? *(Толкает Феклу и говорит ей тихо.)* С которых сторон понабрала ворон, а?

Фекла *(вполголоса).* Тут тебе ворон нет, всё честные люди.

Кочкарев *(ей).* Гости-то несчитанные, кафтаны общипанные.

Фекла. Гляди налёт на свой полёт, а и похвастаться нечем: шапка в рубль, а щи без круп.

Кочкарев. Небось твои разживные, по дыре в кармане. *(Вслух.)* Да что она делает теперь? Ведь эта дверь, верно, к ней в спальню? *(Подходит к двери.)*

Фекла. Бесстыдник! говорят тебе, еще одевается.

Кочкарев. Эка беда! что ж тут такого? Ведь только посмотрю, и больше ничего. *(Смотрит в замочную скважину.)*

Жевакин. А позвольте мне полюбопытствовать тоже.

Яичница. Позвольте взглянуть мне только один разочек.

Кочкарев *(продолжая смотреть).* Да ничего не видно, господа. И распознать нельзя, что такое белеет: женщина или подушка.

Все, однако ж, обступают дверь и продираются взглянуть.

Чш… кто-то идет!

Все отскакивают прочь.

Явление XVIII

Те же, Арина Пантелеймоновна и Агафья Тихоновна. Все раскланиваются.

Арина Пантелеймоновна. А по какой причине изволили одолжить посещением?

Яичница. А по газетам узнал я, что желаете вступить в подряды насчет поставки лесу и дров, и потому, находясь в должности экзекутора при казенном месте, я пришел узнать, какого роду лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить.

Арина Пантелеймоновна. Хоть подрядов

никаких не берем, а приходу рады. А как по фамилии?

Яичница. Коллежский асессор Иван Павлович Яичница.

Арина Пантелеймоновна. Прошу покорнейше садиться. *(Обращается к Жевакину и смотрит на него.)* А позвольте узнать…

Жевакин. Я тоже, в газетах вижу объявляют о чем-то: дай-ка, думаю себе, пойду. Погода же показалась хорошею, по дороге везде травка…

Арина Пантелеймоновна. А как-с по фамилии?

Жевакин. А лейтенант морской службы в отставке, Балтазар Балтазаров Жевакин-второй. Был у нас еще другой Жевакин, да тот еще прежде моего вышел в отставку: был ранен, матушка, под коленком, и пуля так странно прошла, что коленка-то самого не тронула, а по жиле прохватила — как иголкой сшило, так что, когда, бывало, стоишь с ним, все кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить.

Арина Пантелеймоновна. А прошу покорнейше садиться. *(Обращаясь к Анучкину.)* А позвольте узнать, по какой причине?..

Анучкин. По соседству-с. Находясь довольно в близком соседстве…

Арина Пантелеймоновна. Не в доме ли купече-

ской жены Тулубовой, что насупротив, изволите жить?

Анучкин. Нет, я покамест живу еще на Песках, но имею, однако же, намерение со временем перебраться сюда-с в соседство, в эту часть города.

Арина Пантелеймоновна. А прошу покорнейше садиться. *(Обращаясь к Кочкареву.)* А позвольте узнать…

Кочкарев. Да неужели вы меня не узнаете? *(Обращаясь к Агафье Тихоновне.)* И вы также, сударыня?

Агафья Тихоновна. Сколько мне кажется, совсем не видала вас.

Кочкарев. Однако ж припомните. Вы меня, верно, где-нибудь видели.

Агафья Тихоновна. Право, не знаю. Уж разве не у Бирюшкиных ли?

Кочкарев. Именно, у Бирюшкиных.

Агафья Тихоновна. Ах, ведь вы не знаете, с ней ведь история случилась.

Кочкарев. Как же, вышла замуж.

Агафья Тихоновна. Нет, это бы еще хорошо, а то переломила ногу.

Арина Пантелеймоновна. И сильно переломила. Возвращалась довольно поздно домой на дрожках, а кучер-то был пьян и вывалил с

дрожек.

Кочкарев. Да то-то я помню, что-то было: или вышла замуж, или переломила ногу.

Арина Пантелеймоновна. А как по фамилии?

Кочкарев. Как же, Илья Фомич Кочкарев, в родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит о том… Позвольте, позвольте *(берет за руку Подколесина и подводит его):* приятель мой, Подколесин Иван Кузьмич, надворный советник; служит экспедитором, один все дела делает, усовершенствовал отличнейше свою часть.

Арина Пантелеймоновна. А как по фамилии?

Кочкарев. Подколесин Иван Кузьмич, Подколесин. Директор так только, для чина поставлен, а все дела он делает, Иван Кузьмич Подколесин.

Арина Пантелеймоновна. Так-с. Прошу покорнейше садиться.

Явление XIX

Те же и Стариков.

Стариков *(кланяясь живо и скоро, по-купечески, и слегка берясь в бока).* Здравствуйте, матушка Арина Пантелеевна. Ребята на Гостином дворе сказывали, что продаете шерсть, матушка!

Агафья Тихоновна *(отворачиваясь с пренебре-*

жением, вполголоса, но так, что он слышит). Здесь не купеческая лавка.

Стариков. Вона! Аль невпопад пришли? Аль и без нас дело сварили?

Арина Пантелеймоновна. Прошу, прошу, Алексей Дмитриевич; хоть шерсти не продаем, а приходу рады. Прошу покорно садиться.

Все уселись. Молчание.

Яичница. Странная погода нынче: поутру совершенно было похоже на дождик, а теперь как будто и прошло.

Агафья Тихоновна. Да-с, уж эта погода ни на что не похожа: иногда ясно, а в другое время совершенно дождливая. Очень большая неприятность.

Жевакин. Вот в Сицилии, матушка, мы были с эскадрой в весеннее время, — если пригонять, так выйдет к нашему февралю, — выйдешь, бывало, из дому: день солнечный, а потом эдак дождик; и смотришь, точно, как будто дождик.

Яичница. Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совсем другое дело — не скучно; а если в одиночестве — так это просто…

Жевакин. О, смерть, совершенная смерть!..

Анучкин. Да-с, это можно сказать…

Кочкарев. Какое! Просто терзанье! жизни не будешь рад; не приведи Бог испытать такое положение.

Яичница. А как, сударыня, если бы пришлось вам избрать предмет? Позвольте узнать ваш вкус. Извините, что я так прямо. В какой службе, вы полагаете, быть приличнее мужу?

Жевакин. Хотели ли бы вы, сударыня, иметь мужем человека, знакомого с морскими бурями?

Кочкарев. Нет, нет. Лучший, по моему мнению, муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом.

Анучкин. Почему же предубеждение? Зачем вы хотите оказать пренебрежение к человеку, который хотя, конечно, служил в пехотной службе, но умеет, однако ж, ценить обхождение высшего общества.

Яичница. Сударыня, разрешите вы!

Агафья Тихоновна молчит.

Фекла. Отвечай же, мать моя. Скажи им что-нибудь.

Яичница. Как же, матушка?..

Кочкарев. Как же ваше мнение, Агафья Тихоновна?

Фекла *(тихо ей).* Скажи же, скажи: благодарствую, мол, с моим удовольствием. Не хорошо же

так сидеть.

Агафья Тихоновна *(тихо).* Мне стыдно, право стыдно, я уйду, право уйду. Тетушка, посидите за меня.

Фекла. Ах, не делай этого сраму, не уходи; совсем острамишься. Они невесть что подумают.

Агафья Тихоновна *(так же).* Нет, право уйду. Уйду, уйду! *(Убегает.)*

Фекла и Арина Пантелеймоновна уходят вслед за нею.

Явление XX

Те же, кроме ушедших.

Яичница. Вот тебе на, и ушли все! Это что значит?

Кочкарев. Что-нибудь, верно, случилось.

Жевакин. Как-нибудь насчет дамского туалетца… Эдак поправить что-нибудь… манишечку… пришпилить.

Фекла входит. Все к ней навстречу с вопросами: «Что, что такое?»

Кочкарев. Что-нибудь случилось?

Фекла. Как можно, чтобы случилось. Ей-богу ничего не случилось.

Кочкарев. Да зачем же она вышла?

Фекла. Да пристыдили, потому и вышла; совсем исконфузили, так что не высидела на месте. Просит извинить: ввечеру-де на чашку чаю чтобы пожаловали. *(Уходит.)*

Яичница *(в сторону).* Ох уж эта мне чашка чаю! Вот за что не люблю сватаний — пойдет возня: сегодня нельзя, да пожалуйте завтра, да еще послезавтра на чашку, да нужно еще подумать. А ведь дело дрянь, ничуть не головоломное. Черт побери, я человек должностной, мне некогда!

Кочкарев *(Подколесину*). А ведь хозяйка недурна, а?

Подколесин. Да, недурна.

Жевакин. А ведь хозяечка-то хороша.

Кочкарев *(в сторону).* Вот черт побери! Этот дурак влюбился. Еще будет мешать, пожалуй. *(Вслух.)* Совсем нехороша, совсем нехороша.

Яичница. Нос велик.

Жевакин. Ну, нет, носа я не заметил. Она… эдакой розанчик.

Анучкин. Я сам тоже их мненья. Нет, не то, не то… Я даже думаю, что вряд ли она знакома с обхождением высшего общества. Да и знает ли она еще по-французски?

Жевакин. Да что ж вы, смею спросить, не по-

пробовали, не поговорили с ней по-французски? Может быть, и знает.

Анучкин. Вы думаете, я говорю по-французски? Нет, я не имел счастия воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был мерзавец, скотина. Он и не думал меня выучить французскому языку. Я был тогда еще ребенком, меня легко было приучить — стоило только посечь хорошенько, и я бы знал, я бы непременно знал.

Жевакин. Ну, да теперь же, когда вы не знаете, что ж вам за прибыль, если она…

Анучкин. А нет, нет. Женщина совсем другое дело. Нужно, чтобы она непременно знала, а без того у ней и то, и это… *(показывает жестами)* — все уж будет не то.

Яичница *(в сторону).* Ну, об этом заботься кто другой. А я пойду да обсмотрю со двора дом и флигеля: если только все как следует, так сего же вечера добьюсь дела. Эти женишки мне не опасны — народ что-то больно жиденький. Таких невесты не любят.

Жевакин. Пойти выкурить трубочку. А что, не по дороге ли нам? Вы где, позвольте спросить, живете?

Анучкин. А на Песках, в Петровском переулке.

Жевакин. Да-с, будет круг: я на острову, в Во-

семнадцатой линии; а впрочем, все-таки я вас попровожу.

Стариков. Нет, тут что-то спесьевато. Ай, припомните потом, Агафья Тихоновна, и нас. С моим почтением, господа! *(Кланяется и уходит.)*

Явление XXI

Подколесин и Кочкарев.

Подколесин. А что ж, пойдем и мы.

Кочкарев. Ну что, ведь правда, хозяйка мила?

Подколесин. Да что! мне, признаюсь, она не нравится.

Кочкарев. Вот на! это что? Да ведь ты сам согласился, что она хороша.

Подколесин. Да так, как-то не того: и нос длинный, и по-французски не знает.

Кочкарев. Это еще что? тебе на что по-французски?

Подколесин. Ну, все-таки невеста должна знать по-французски.

Кочкарев. Почему ж?

Подколесин. Да потому что… уж я не знаю почему, а все уж будет у ней не то.

Кочкарев. Ну вот, дурак сейчас один сказал, а он и уши развесил. Она красавица, просто краса-

вица; такой девицы не сыщешь нигде.

Подколесин. Да мне самому сначала она было приглянулась, да после, как начали говорить: длинный нос, длинный нос, — ну, я рассмотрел, и вижу сам, что длинный нос.

Кочкарев. Эх ты, пирей, не нашел дверей! Они нарочно толкуют, чтобы тебя отвадить; и я тоже не хвалил, — так уж делается. Это, брат, такая девица! Ты рассмотри только глаза ее: ведь это черт знает что за глаза; говорят, дышат! А нос — я не знаю, что за нос! белизна — алебастр! Да и алебастр не всякий сравнится. Ты рассмотри сам хорошенько.

Подколесин *(улыбаясь).* Да теперь-то я опять вижу, что она как будто хороша.

Кочкарев. Разумеется, хороша! Послушай, теперь, так как они все ушли, пойдем к ней, изъяснимся — и всё кончим!

Подколесин. Ну, этого я не сделаю.

Кочкарев. Отчего ж?

Подколесин. Да что ж за нахальство? Нас много, пусть она сама выберет.

Кочкарев. Ну да что тебе смотреть на них: боишься соперничества, что ли? Хочешь, я их всех в одну минуту спроважу.

Подколесин. Да как же ты их спровадишь?

Кочкарев. Ну, уж это мое дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться.

Подколесин. Почему ж не дать? изволь. Я не отпираюсь: я хочу жениться.

Кочкарев. Руку!

Подколесин *(подавая).* Возьми!

Кочкарев. Ну, этого только мне и нужно.

Оба уходят.

Действие второе

Комната в доме Агафьи Тихоновны.

Явление I

Агафья Тихоновна одна, потом Кочкарев.

Агафья Тихоновна. Право, такое затруднение — выбор! Если бы еще один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович недурен, хотя, конечно, худощав; Иван Кузьмич тоже недурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарович опять мужчина с достоинствами. Уж как трудно решиться, так просто

рассказать нельзя, как трудно! Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай! просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю Божию: кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет что будет. *(Подходит к столику, вынимает оттуда ножницы и бумагу, нарезывает билетики и скатывает, продолжая говорить.)* Такое несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это, и даже просто не хотят понять этого. Вот они все, уж готовы! остается только положить их в ридикуль, зажмурить глаза, да и пусть будет что будет. *(Кладет билетики в ридикуль и мешает их рукою.)* Страшно… Ах, если бы Бог дал, чтобы вынулся Никанор Иванович. Нет, отчего же он? Лучше ж Иван Кузьмич. Отчего же Иван Кузьмич? чем же худы те, другие?.. Нет, нет, не хочу… какой выберется, такой пусть и будет. *(Шарит рукою в ридикуле и вынимает вместо одного все.)* Ух! все! все вынулись! А сердце так

и колотится! Нет, одного! одного! непременно одного! *(Кладет билетики в ридикуль и мешает.)*

В это время входит потихоньку Кочкарев и становится позади.

Ах, если бы вынуть Балтазара… Что я! хотела сказать Никанора Ивановича… нет, не хочу, не хочу. Кого прикажет судьба!

Кочкарев. Да возьмите Ивана Кузьмича, всех лучше.

Агафья Тихоновна. Ах! *(Вскрикивает и закрывает лицо обеими руками, страшась взглянуть назад.)*

Кочкарев. Да чего ж вы испугались? Не пугайтесь, это я. Право, возьмите Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Ах, мне стыдно, вы подслушали.

Кочкарев. Ничего, ничего! Ведь я свой, родня, передо мною нечего стыдиться; откройте же ваше личико.

Агафья Тихоновна *(вполовину открывая лицо).* Мне, право, стыдно.

Кочкарев. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Ах! *(Вскрикивает и закрывается вновь руками.)*

Кочкарев. Право, чудо человек, усовершенствовал часть свою… просто удивительный человек.

Агафья Тихоновна *(понемногу открывает лицо).* Как же, а другой? а Никанор Иванович? ведь он тоже хороший человек.

Кочкарев. Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Отчего же?

Кочкарев. Ясно отчего. Иван Кузьмич человек… ну, просто человек… человек, каких не сыщешь.

Агафья Тихоновна. Ну, а Иван Павлович?

Кочкарев. И Иван Павлович дрянь! все они дрянь.

Агафья Тихоновна. Будто бы уж все?

Кочкарев. Да вы только посудите, сравните только: это, как бы то ни было, Иван Кузьмич; а ведь то что ни попало: Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает что такое!

Агафья Тихоновна. А ведь, право, они очень… скромные.

Кочкарев. Какое скромные! Драчуны, самый буйный народ. Охота же вам быть прибитой на другой день после свадьбы.

Агафья Тихоновна. Ах, Боже мой! Уж это точно такое несчастие, хуже которого не может быть.

Кочкарев. Еще бы! Хуже этого и не выдумаешь ничего.

Агафья Тихоновна. Так, по вашему совету, луч-

ше взять Ивана Кузьмича?

Кочкарев. Ивана Кузьмича, натурально Ивана Кузьмича. *(В сторону.)* Дело, кажется, идет на лад. Подколесин сидит в кондитерской, пойти поскорей за ним.

Агафья Тихоновна. Так вы думаете — Ивана Кузьмича?

Кочкарев. Непременно Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. А тем, другим, разве отказать?

Кочкарев. Конечно, отказать.

Агафья Тихоновна. Да ведь как же это сделать? как-то стыдно.

Кочкарев. Почему ж стыдно? Скажите, что еще молоды и не хотите замуж.

Агафья Тихоновна. Да ведь они не поверят, станут спрашивать: да почему, да как?

Кочкарев. Ну, так если вы хотите кончить за одним разом, скажите просто: «Пошли вон, дураки!»

Агафья Тихоновна. Как же можно так сказать?

Кочкарев. Ну да уж попробуйте. Я вас уверяю, что после этого все выбегут вон.

Агафья Тихоновна. Да ведь это выйдет уж как-то бранно.

Кочкарев. Да ведь вы больше их не увидите, так

не все ли равно?

Агафья Тихоновна. Да все как-то нехорошо… они ведь рассердятся.

Кочкарев. Какая же беда, если рассердятся? Если бы из этого что бы нибудь вышло, тогда другое дело; а ведь здесь самое большее, если кто-нибудь из них плюнет в глаза, вот и все.

Агафья Тихоновна. Ну вот видите!

Кочкарев. Да что же за беда? Ведь иным плевали несколько раз, ей-богу! Я знаю тоже одного: прекраснейший собой мужчина, румянец во всю щеку; до тех пор егозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалованья, что тот наконец не вынес — плюнул в самое лицо, ей-богу! «Вот тебе, говорит, твоя прибавка, отвяжись, сатана!» А жалованья, однако же, все-таки прибавил. Так что ж из того, что плюнет? Если бы, другое дело, был далеко платок, а то ведь он тут же, в кармане, — взял да и вытер.

В сенях звонят.

Стучатся: кто-нибудь из них, верно; я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас там другого выхода?

Агафья Тихоновна. Как же, по черной лестнице. Но, право, я вся дрожу.

Кочкарев. Ничего, только присутствие духа.

Прощайте! *(В сторону.)* Поскорей приведу Подколесина.

Явление II

Агафья Тихоновна и Яичница.

Яичница. Я нарочно, сударыня, пришел немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине, на досуге. Ну, сударыня, насчет чина, я уже полагаю, вам известно: служу коллежским асессором, любим начальниками, подчиненные слушаются… недостает только одного: подруги жизни.

Агафья Тихоновна. Да-с.

Яичница. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга эта — вы. Скажите напрямик: да или нет? *(Смотрит ей в плеча; в сторону.)* О, она не то, что как бывают худенькие немки, — кое-что есть!

Агафья Тихоновна. Я еще очень молода-с… не расположена еще замуж.

Яичница. Помилуйте, а сваха зачем хлопочет? Но, может быть, вы хотите что-нибудь другое сказать? изъяснитесь…

Слышен колокольчик.

Черт побери, никак не дадут делом заняться.

Явление III

Те же и Жевакин.

Жевакин. Извините, сударыня, что я, может быть, слишком рано. *(Оборачивается и видит Яичницу.)* Ах, уж есть… Ивану Павловичу мое почтение!

Яичница *(в сторону).* Провалился бы ты с своим почтением! *(Вслух.)* Так как же, сударыня?.. Скажите одно только слово: да или нет?..

Слышен колокольчик; Яичница плюет с сердцов.

Опять колокольчик!

Явление IV

Те же и Анучкин.

Анучкин. Может быть, я, сударыня, ранее, чем следует и повелевает долг приличия… *(Видя прочих, испускает восклицание и раскланивается.)* Мое почтение!

Яичница *(в сторону).* Возьми себе свое почтение! Нелегкая тебя принесла, подломились бы тебе твои поджарые ноги! *(Вслух.)* Так как же,

сударыня, решите, — я человек должностной, времени у меня немного: да или нет?

Агафья Тихоновна *(в смущении).* Не нужно-с… не нужно-с… *(В сторону.)* Ничего не понимаю, что говорю.

Яичница. Как не нужно? в каком отношении не нужно?

Агафья Тихоновна. Ничего-с, ничего… Я не того-с… *(Собираясь с духом.)* Пошли вон!.. (В *сторону, всплеснувши руками.)* Ах, Боже мой, что я такое сказала?

Яичница. Как «пошли вон»? Что такое значит «пошли вон»? Позвольте узнать, что вы разумеете под этим? *(Подбоченившись, подступает к ней грозно.)*

Агафья Тихоновна *(взглянув ему в лицо, вскрикивает).* Ух, прибьет, прибьет! *(Убегает.)*

Яичница стоит разинувши рот. Вбегает на крик Арина Пантелеймоновна и, взглянув ему в лицо, вскрикивает тоже: «Ух, прибьет!» — и убегает.

Яичница. Что за притча такая! Вот, право, история!

В дверях звенит звонок и слышны голоса.

Голос Кочкарева. Да входи, входи, что ж ты остановился?

Голос Подколесина. Да ступай ты вперед. Я только на минуту: оправлюсь, расстегнулась стремешка.

Голос Кочкарева. Да ты улизнешь опять.

Голос Подколесина. Нет, не улизну! ей-богу, не улизну!

Явление V

Те же и Кочкарев.

Кочкарев. Ну вот, очень нужно поправлять стремешку.

Яичница *(обращаясь к нему).* Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли?

Кочкарев. А что? случилось разве что?

Яичница. Да непонятные поступки: выбежала, стала кричать: «Прибьет, прибьет!» Черт знает что такое!

Кочкарев. Ну да, это за ней водится. Она дура.

Яичница. Скажите, ведь вы ей родственник?

Кочкарев. Как же, родственник.

Яичница. А как родственник, позвольте узнать?

Кочкарев. Право, не знаю: как-то тетка моей матери что-то такое ее отцу или отец ее что-то такое моей тетке — об этом знает жена моя, это

их дело.

Яичница. И давно за ней водится дурь?

Кочкарев. А еще с самого сызмала.

Яичница. Да, конечно, лучше если бы она была умней, а впрочем, и дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке.

Кочкарев. Да ведь за ней ничего нет.

Яичница. Как так, а каменный дом?

Кочкарев. Да ведь только слава, что каменный, а знали бы вы, как он выстроен: стены ведь выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь — мусор, щепки, стружки.

Яичница. Что вы?

Кочкарев. Разумеется. Будто не знаете, как теперь строятся домы? — лишь бы только в ломбард заложить.

Яичница. Однако ж ведь дом не заложен.

Кочкарев. А кто вам сказал? Вот в том-то и дело — не только заложен, да за два года еще проценты не выплачены. Да в сенате есть еще брат, который тоже запускает глаза на дом; сутяги такого свет не производил: с родной матери последнюю юбку снял, безбожник!

Яичница. Как же мне старуха сваха… Ах она бестия эдакая, изверг рода челове… *(В сторону.)* Однако ж он, может быть, и врет. Под строжай-

ший допрос старуху, и если только правда… ну… я заставлю запеть ее не так, как другие поют.

Анучкин. Позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает ли женщина по-французски или нет. Как хозяйка дома, знает?..

Кочкарев. Ни бельмеса.

Анучкин. Что вы?

Кочкарев. Как же? я это очень хорошо знаю. Она училась вместе с женой в пансионе, известная была ленивица, вечно в дурацкой шапке сидит. А французский учитель просто бил ее палкой.

Анучкин. Представьте же, что у меня с первого разу, как только ее увидел, было какое-то предчувствие, что она не знает по-французски.

Яичница. Ну, черт с французским! Но как сваха-то проклятая… Ах ты, бестия эдакая, ведьма! Ведь если бы вы знали, какими словами она расписала! Живописец, вот совершенный живописец! «Дом, флигеля, говорит, на фундаментах, серебряные ложки, сани», — вот садись, да и катайся! — словом, в романе редко выберется такая страница. Ах ты, подошва ты старая! Попадись только ты мне…

Явление VI

Те же и Фекла.

Все, увидев ее, обращаются к ней с следующими словами:

Яичница. А! вот она! А подойди-ка сюда, старая греховодница! а подойди-ка сюда!

Анучкин. Так-то вы обманули меня, Фекла Ивановна?

Кочкарев. Ну-ка ступай, Варвара, на расправу!

Фекла. И ни слова не разберу: оглушили совсем!

Яичница. Дом строен в один кирпич, старая подошва, а ты наврала: и с мезонинами, и черт знает с чем.

Фекла. А не знаю, не я строила. Может быть, нужно было в один кирпич, оттого так и построили.

Яичница. Да и в ломбард еще заложен! Черти б тебя съели, ведьма ты проклятая! *(Притопывая ногой.)*

Фекла. Смотри ты какой! Еще и бранится. Иной бы благодарить стал за удовольствие, что хлопотала о нем.

Анучкин. Да, Фекла Ивановна, вот вы и мне

тоже насказали, что она знает по-французски.

Фекла. Знает, родимый, все знает, и по-немецкому, и по-всякому; какие хочешь манеры — всё знает.

Анучкин. Ну нет, кажется, она только по-русски и говорит.

Фекла. Что ж тут худого? Понятливее по-русски, потому и говорит по-русски. А кабы умела по-басурмански, то тебе же хуже — и сам бы не понял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую речь! речь известно какая: все святые говорили по-русски.

Яичница. А подойди-ка сюда, проклятая! подойди-ка ко мне!

Фекла *(пятясь ближе к дверям).* И не подойду, я знаю тебя. Ты человек тяжелый, ни за что прибьешь.

Яичница. Ну, смотри, голубушка, это не пройдет тебе! Вот я тебя как сведу в полицию, так ты у меня будешь знать, как обманывать честных людей. Вот ты увидишь! А невесте скажи, что она подлец! Слышишь, непременно скажи. *(Уходит.)*

Фекла. Смотри ты какой! расходился как! Что толст, так думает, ему и равного никого нет. А я скажу, что ты сам подлец, вот что!

Анучкин. Признаюсь, любезнейшая, никак не

думал я, чтобы вы стали так обманывать. Знай я, что невеста с таким образованием, да я… да и нога бы моя просто не была здесь. Вот как-с. *(Уходит.)*

Фекла. Белены объелись или выпили лишнее! Вишь, переборщики нашлись какие! Свела с ума глупая грамота!

Явление VII

Фекла, Кочкарев, Жевакин.

Кочкарев хохочет во все горло, смотря на Феклу и указывая на нее пальцем.

Фекла *(с досадою).* Ты что горло дерешь?

Кочкарев продолжает хохотать.

Эк как разобрало его!

Кочкарев. Сваха-то! сваха-то! Мастерица женить! знает, как повести дело! *(Продолжает хохотать.)*

Фекла. Эк его заливается! Знать, покойница свихнула с ума в тот час, как тебя рожала! *(Уходит с досадою.)*

Явление VIII

Кочкарев, Жевакин.

Кочкарев *(продолжая хохотать).* Ох, не могу, право не могу! Силы не выдержат, чувствую, что тресну от смеха! *(Продолжает хохотать.)*

Жевакин, глядя на него, начинает тоже смеяться.

(В усталости валится на стул.) Ох, право, выбился из сил. Чувствую, что если засмеюсь еще, порву последние жилы.

Жевакин. Мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман Петухов, Антон Иванович; тоже эдак был веселого нрава. Бывало, ему, ничего больше, покажешь эдак один палец — вдруг засмеется, ей-богу, и до самого вечера смеется. Ну, глядя на него, бывало, и себе сделается смешно, и смотришь, наконец, и сам точно эдак смеешься.

Кочкарев *(переводя дыханье).* Ох, Господи, помилуй нас, грешных! Ну что она вздумала, дура? Ну, куда ж ей женить, ей ли женить? Вот я женю так женю!

Жевакин. Нет? так вы можете не в шутку женить?

Кочкарев. Еще бы! кого угодно на ком угодно.

Жевакин. Если так, жените меня на здешнейа хозяйке.

Кочкарев. Вас? да зачем вам жениться?

Жевакин. Как зачем? вот, позвольте заметить, странный немножко вопрос! А известное дело зачем.

Кочкарев. Да ведь вы слышали, у ней приданого ничего нет.

Жевакин. На нет и суда нет. Конечно, это дурно, а впрочем, с эдакою прелюбезною девицею, с ее обхожденьями, можно прожить и без приданого. Небольшая комнатка *(размеривает примерно руками),* эдак здесь маленькая прихожая, небольшая ширмочка или какая-нибудь вроде эдакой перегородки…

Кочкарев. Да что вам в ней так понравилось?

Жевакин. А сказать правду — мне понравилась она потому, что полная женщина. Я большой аматёр со стороны женской полноты.

Кочкарев *(поглядывая на него искоса, говорит в сторону).* А ведь сам уж куды не пощеголяет; точно кисет, из которого вытрясли табак. *(Вслух.)* Нет, вам совсем не следует жениться.

Жевакин. Как так?

Кочкарев. Да так. Ну что у вас за фигура, между нами будь сказано? Нога петушья…

Жевакин. Петушья?

Кочкарев. Конечно. Что с вас за вид!

Жевакин. То есть как, однако же, петушья

нога?

Кочкарев. Да просто, петушья.

Жевакин. Мне кажется, это, однако ж, касается насчет личности…

Кочкарев. Да ведь я говорю потому, что знаю: вы рассудительный человек; другому я не скажу. Я вас женю, извольте, — только на другой.

Жевакин. Нет уж, я бы просил, чтобы на другой меня не женили. Уж будьте эдак благодетельны, чтобы на этой.

Кочкарев. Извольте, женю! Только с условием: вы не мешайтесь ни во что и не показывайтесь даже на глаза невесте. Я всё сделаю без вас.

Жевакин. Да как, однако же, всё без меня? Все-таки мне хоть на глаза нужно будет показаться.

Кочкарев. Совсем не нужно. Идите домой и ждите; сего же вечера все будет сделано.

Жевакин *(потирает руки).* А вот это уж куды бы хорошо! Да не нужно ли аттестат, послужной список? Может быть, невеста захочет полюбопытствовать? Я сбегаю за ними в минуту.

Кочкарев. Ничего не нужно, отправляйтесь только домой. Я вам сегодня же дам знать. *(Выпроваживает его.)* Да, черта с два, как бы не так! Что ж это? Что же это Подколесин не идет? Это, однако ж, странно. Неужели он до сих пор поправляет

свою стремешку? Уж не побежать ли за ним?

Явление IX

Кочкарев, Агафья Тихоновна.

Агафья Тихоновна *(осматриваясь).* Что, ушли? никого нет?

Кочкарев. Ушли, ушли, никого.

Агафья Тихоновна. Ах, если бы вы знали, как я вся дрожала! Эдакого, точно, еще никогда не бывало со мною. Но только какой страшный этот Яичница! Какой он должен быть тиран для жены. Мне все так вот и кажется, что он сейчас воротится.

Кочкарев. О, ни за что не воротится. Я ставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет нос свой здесь.

Агафья Тихоновна. А третий?

Кочкарев. Какой третий?

Жевакин *(высовывает голову в двери).* Смерть хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком… розанчик эдакой!

Агафья Тихоновна. А Балтазар Балтазарович?

Жевакин. А, вот оно! вот оно! *(Потирает руки.)*

Кочкарев. Фу ты пропасть! Я думал, о ком вы говорите. Да ведь это просто черт знает что, на-

битый дурак.

Жевакин. Это что такое? Уж этого я, признаюсь, никак не понимаю.

Агафья Тихоновна. А он, однако же, на вид показался очень хорошим человеком.

Кочкарев. Пьяница!

Жевакин. Ей-богу, не понимаю.

Агафья Тихоновна. Неужели и пьяница еще?

Кочкарев. Помилуйте, отъявленный мерзавец!

Жевакин *(громко).* Нет, позвольте, уж этого я никак не просил вас говорить. Что-нибудь замолвить в мой профит, похвалить — другое дело; а чтобы эдаким образом, эдакими словами — уж извольте разве кого-нибудь другого, а уж я слуга покорный!

Кочкарев *(в сторону).* Как это угораздило его подвернуться? *(Агафье Тихоновне, вполголоса.)* Смотрите, смотрите: на ногах не держится. Эдакое мыслете он всякий день пишет. Прогоните его, да и концы в воду! *(В сторону.)* А Подколесина нет как нет. Экой мерзавец! Уж я ж вымещу на нем! *(Уходит.)*

Явление X

Агафья Тихоновна и Жевакин.

Жевакин *(в сторону).* Обещался хвалить, а вместо того выбранил! Престранный человек! *(Вслух.)* Вы, сударыня, не верьте…

Агафья Тихоновна. Извините, мне нездоровится… болит-с голова. *(Хочет уйти.)*

Жевакин. Но, может быть, вам что-нибудь во мне не нравится? *(Указывая на голову.)* Вы не глядите на то, что у меня здесь маленькая плешина. Это ничего, это от лихорадки; волоса сейчас вырастут.

Агафья Тихоновна. Мне все равно-с, что бы у вас там ни было.

Жевакин. У меня, сударыня… если надену черный фрак, так цвет лица будет побелее.

Агафья Тихоновна. Для вас лучше. Прощайте! *(Уходит.)*

Явление XI

Жевакин один, говорит вслед ей.

Сударыня, позвольте, скажите причину: зачем?

почему? Или во мне какой-либо существенный есть изъян, что ли?.. Ушла! Престранный случай! Вот уж никак в семнадцатый раз случается со мною, и всё почти одинаким образом: кажется, эдак сначала все хорошо, а как дойдет дело до развязки — смотришь, и откажут. *(Ходит по комнате в размышлении.)* Да… Вот эта уж будет никак семнадцатая невеста! И чего же ей, однако ж, хочется? Чего бы ей, например, эдак… с какой стати… *(Подумав.)* Темно, чрезвычайно темно! Добро бы был нехорош чем. *(Осматривается.)* Кажется, нельзя сказать этого — всё слава богу, натура не обидела. Непонятно. Разве не пойти ли домой да порыться в сундучке? Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит… Ей-богу уму непонятно! Сначала, кажись, повезло… Видно, приходится поворотить назад оглобли. А жаль, право жаль. *(Уходит.)*

Явление XII

Подколесин и Кочкарев входят и оба оглядываются назад.

Кочкарев. Он не заметил нас! Видел, с каким длинным носом вышел?

Подколесин. Неужели и ему так же отказано,

как и тем?

Кочкарев. Наотрез.

Подколесин *(с самодовольною улыбкой).* А преконфузно, однако же, должно быть, если откажут.

Кочкарев. Еще бы!

Подколесин. Я все еще не верю, чтобы она прямо сказала, будто предпочитает меня всем.

Кочкарев. Какое предпочитает! Она от тебя просто без памяти. Такая любовь: одних имен каких надавала. Такая страсть — так просто и кипит!

Подколесин *(самодовольно усмехается).* А ведь в самом деле — женщина, если захочет, каких слов не наскажет. Век бы не выдумал: мордашечка, таракашечка, чернушка…

Кочкарев. Что еще эти слова! Вот как женишься, так ты увидишь в первые два месяца, какие пойдут слова. Просто, брат, ну вот так и таешь.

Подколесин *(усмехается).* Будто?

Кочкарев. Как честный человек! Послушай, теперь, однако ж, скорее к делу. Изъясни ей и открой сию же минуту сердце и требуй руки.

Подколесин. Но как же сию минуту? что ты!

Кочкарев. Непременно сию же минуту… А вот и она сама.

Явление XIII

Те же и Агафья Тихоновна.

Кочкарев. Я привел к вам, сударыня, смертного, которого вы видите. Еще никогда не было так влюбленного — просто не приведи Бог, и неприятелю не пожелаю…

Подколесин *(толкая его под руку, тихо).* Ну, уж ты, брат, кажется, слишком.

Кочкарев *(ему).* Ничего, ничего. *(Ей, тихо.)* Будьте посмелее, он очень смирен; старайтесь быть как можно развязнее. Эдак поворотите как-нибудь бровями или, потупивши глаза, так вдруг и срезать его, злодея, или выставьте ему как-нибудь плечо, и пусть его, мерзавец, смотрит! Напрасно, впрочем, вы не надели платья с короткими рукавами; да, впрочем, и это хорошо. *(Вслух.)* Ну, я оставляю вас в приятном обществе! Я на минуточку загляну только к вам в столовую и на кухню; нужно распорядиться: сейчас придет официант, которому заказан ужин; может быть, и вина принесены… До свиданья! *(Подколесину.)* Смелее, смелее! *(Уходит.)*

Явление XIV

Подколесин и Агафья Тихоновна.

Агафья Тихоновна. Прошу покорнейше садиться.

Садятся и молчат.

Подколесин. Вы, сударыня, любите кататься?

Агафья Тихоновна. Как-с кататься?

Подколесин. На даче очень приятно летом кататься в лодке.

Агафья Тихоновна. Да-с, иногда с знакомыми прогуливаемся.

Подколесин. Какое-то лето будет — неизвестно.

Агафья Тихоновна. А желательно, чтобы было хорошее.

Оба молчат.

Подколесин. Вы, сударыня, какой цветок больше любите?

Агафья Тихоновна. Который покрепче пахнет-с; гвоздику-с.

Подколесин. Дамам очень идут цветы.

Агафья Тихоновна. Да, приятное занятие.

Молчание.

В которой церкви вы были прошлое воскресенье?

Подколесин. В Вознесенской, а неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви. В той только украшение лучше.

Молчат. Подколесин барабанит пальцами по столу.

Вот, скоро будет екатерингофское гулянье.

Агафья Тихоновна. Да, чрез месяц, кажется.

Подколесин. Даже и месяца не будет.

Агафья Тихоновна. Должно быть, веселое будет гулянье.

Подколесин. Сегодня восьмое число. *(Считает по пальцам.)* Девятое, десятое, одиннадцатое… чрез двадцать два дни.

Агафья Тихоновна. Представьте, как скоро!

Подколесин. Я сегодняшнего дни даже не считаю.

Молчание.

Какой это смелый русский народ!

Агафья Тихоновна. Как?

Подколесин. А работники. Стоит на самой верхушке… Я проходил мимо дома, так щекатурщик штукатурит и не боится ничего.

Агафья Тихоновна. Да-с. Так это в каком месте?

Подколесин. А вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность.

Молчание. Подколесин опять начинает барабанить пальцами, наконец берется за шляпу и раскланивается.

Агафья Тихоновна. А вы уж хотите…

Подколесин. Да-с. Извините, что, может быть, наскучил вам.

Агафья Тихоновна. Как-с можно! Напротив, я должна благодарить за подобное препровождение времени.

Подколесин *(улыбаясь).* А мне так, право, кажется, что я наскучил.

Агафья Тихоновна. Ах, право, нет.

Подколесин. Ну, так если нет, так позвольте мне и в другое время, вечерком когда-нибудь…

Агафья Тихоновна. Очень приятно-с.

Раскланиваются. Подколесин уходит.

Явление XV

Агафья Тихоновна одна.

Какой достойный человек! Я теперь только

узнала его хорошенько; право, нельзя не полюбить: и скромный, и рассудительный. Да, приятель его давича справедливо сказал; жаль только, что он так скоро ушел, а я бы еще хотела его послушать. Как приятно с ним говорить! И ведь, главное, то хорошо, что совсем не пустословит. Я было хотела ему тоже словца два сказать, да, признаюсь, оробела, сердце так стало биться… Какой превосходный человек! Пойду расскажу тетушке. *(Уходит.)*

Явление XVI

Подколесин и Кочкарев входят.

Кочкарев. Да зачем домой? Вздор какой! Зачем домой?

Подколесин. Да зачем же мне оставаться здесь? Ведь я все уже сказал, что следует.

Кочкарев. Стало быть, сердце ей ты уж открыл?

Подколесин. Да вот только разве что сердца еще не открыл.

Кочкарев. Вот те история! Зачем же не открыл?

Подколесин. Ну, да как же ты хочешь, не поговоря прежде ни о чем, вдруг сказать сбоку припеку: «Сударыня, дайте я на вас женюсь!»

Кочкарев. Ну да о чем же вы, о каком вздоре толковали битых полчаса?

Подколесин. Ну, мы переговорили обо всем, и, признаюсь, я очень доволен; с большим удовольствием провел время.

Кочкарев. Да послушай, посуди ты сам: когда же все это успеем? Ведь через час нужно ехать в церковь, под венец.

Подколесин. Что ты, с ума сошел? Сегодня под венец!

Кочкарев. Почему ж нет?

Подколесин. Сегодня под венец!

Кочкарев. Да ведь ты ж сам дал слово, сказал, что как только женихи будут прогнаны — сейчас готов жениться.

Подколесин. Ну, я и теперь не прочь от слова. Только не сейчас же; месяц, по крайней мере, нужно дать роздыху.

Кочкарев. Месяц!

Подколесин. Да, конечно.

Кочкарев. Да ты с ума сошел, что ли?

Подколесин. Да меньше месяца нельзя.

Кочкарев. Да ведь я официанту заказал ужин, бревно ты! Ну, послушай, Иван Кузьмич, не упрямься, душенька, женись теперь.

Подколесин. Помилуй, брат, что ты говоришь?

как же теперь?

Кочкарев. Иван Кузьмич, ну я тебя прошу. Если не хочешь для себя, так для меня по крайней мере.

Подколесин. Да, право, нельзя.

Кочкарев. Можно, душа, все можно. Ну, пожалуйста, не капризничай, душенька!

Подколесин. Да, право, нет. Неловко, совсем неловко.

Кочкарев. Да что неловко? кто тебе сказал это? Ты посуди сам; ведь ты человек умный. Я говорю тебе это не с тем, чтобы к тебе подольститься, не потому, что ты экспедитор, а просто говорю из любви… Ну, полно же, душенька, решись, взгляни оком благоразумного человека.

Подколесин. Да если бы было можно, так я бы…

Кочкарев. Иван Кузьмич! Лапушка, милочка! Ну хочешь ли, я стану на колени перед тобой?

Подколесин. Да зачем же?..

Кочкарев *(становясь на колени).* Ну, вот я и на коленях! Ну, видишь сам, прошу тебя. Век не забуду твоей услуги, не упрямься, душенька!

Подколесин. Ну нельзя, брат, право, нельзя.

Кочкарев *(вставая, в сердцах).* Свинья!

Подколесин. Пожалуй, бранись себе.

Кочкарев. Глупый человек! Еще никогда не было такого.

Подколесин. Бранись, бранись.

Кочкарев. Я для кого же старался, из чего бился? Все для твоей, дурак, пользы. Ведь что мне? Я сейчас брошу тебя; мне какое дело?

Подколесин. Да кто ж просил тебя хлопотать? Пожалуй, бросай.

Кочкарев. Да ведь ты пропадешь, ведь ты без меня ничего не сделаешь. Не жени тебя, ведь ты век останешься дураком.

Подколесин. Тебе что до того?

Кочкарев. О тебе, деревянная башка, стараюсь.

Подколесин. Я не хочу твоих стараний.

Кочкарев. Ну так ступай же к черту!

Подколесин. Ну и пойду.

Кочкарев. Туда тебе и дорога!

Подколесин. Что ж, и пойду.

Кочкарев. Ступай, ступай, и чтобы ты себе сейчас же переломил ногу. Вот от души посылаю тебе желание, чтобы тебе пьяный извозчик въехал дышлом в самую глотку! Тряпка, а не чиновник! Вот клянусь тебе, что теперь между нами все кончилось, и на глаза мне больше не показывайся!

Подколесин. И не покажусь. *(Уходит.)*

Кочкарев. К дьяволу, к своему старому приятe-

лю! *(Отворяя дверь, кричит ему вслед.)* Дурак!

Явление XVII

Кочкарев, один, ходит в сильном движении взад и вперед.

Ну был ли когда виден на свете подобный человек? Эдакой дурак! Да если уж пошло на правду, то и я хорош. Ну скажите, пожалуйста, вот я на вас всех сошлюсь. Ну не олух ли я, не глуп ли я? Из чего бьюсь, кричу, инда горло пересохло? Скажите, что он мне? родня, что ли? И что я ему такое: нянька, тетка, свекруха, кума, что ли? Из какого же дьявола, из чего, из чего я хлопочу о нем, не даю себе покою, нелегкая прибрала бы его совсем? А просто черт знает из чего! Поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает! Эдакой мерзавец! Какая противная, подлая рожа! Взял бы тебя, глупую животину, да щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы — во всякое место! *(В сердцах дает несколько щелчков на воздух.)* Ведь вот что досадно: вышел себе — ему и горя мало; с него все это так, как с гуся вода, — вот что нестерпимо! Пойдет к себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку. Экое противное созданье! Бывают противные рожи, но ведь эда-

кой просто не выдумаешь; не сочинишь хуже этой рожи, ей-богу не сочинишь! Так вот нет же, пойду нарочно ворочу его, бездельника! Не дам улизнуть, пойду приведу подлеца! *(Убегает.)*

Явление XVIII

Агафья Тихоновна входит.

Уж так, право, бьется сердце, что изъяснить трудно. Везде, куды ни поворочусь, везде так вот и стоит Иван Кузьмич. Точно правда, что от судьбы никак нельзя уйти. Давича совершенно хотела было думать о другом, но чем ни займусь — пробовала сматывать нитки, шила ридикуль, — а Иван Кузьмич все так вот и лезет в руку. *(Помолчав.)* И так вот, наконец, ожидает меня перемена состояния! Возьмут меня, поведут в церковь… потом оставят одну с мужчиною — уф! Дрожь так меня и пробирает. Прощай, прежняя моя девичья жизнь! *(Плачет.)* Столько лет провела в спокойствии… Вот жила, жила — а теперь приходится выходить замуж! Одних забот сколько: дети, мальчишки, народ драчливый; а там и девочки пойдут; подрастут — выдавай их замуж. Хорошо еще, если выйдут за хороших, а если за пьяниц или за таких, что готов сегодня же поставить на карточку

все, что ни есть на нем! *(Начинает мало-помалу опять рыдать.)* Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием, и двадцати семи лет не пробыла в девках… *(Переменяя голос.)* Да что ж Иван Кузьмич так долго мешкается?

Явление XIX

Агафья Тихоновна и Подколесин (выталкивается на сцену из дверей двумя руками Кочкарева).

Подколесин *(запинаясь).* Я пришел вам, сударыня, изъяснить одно дельце… Только я бы хотел прежде знать, не покажется ли оно вам странным?

Агафья Тихоновна *(потупляя глаза).* Что же такое?

Подколесин. Нет, сударыня, вы скажите наперед: не покажется ли вам странно?

Агафья Тихоновна *(потупляя глаза).* Что же такое?

Подколесин. Но признайтесь: верно, вам покажется странным то, что я вам скажу?

Агафья Тихоновна. Помилуйте, как можно, чтобы было странно, — от вас все приятно слышать.

Подколесин. Но этого вы еще никогда не слышали.

Агафья Тихоновна потупляет еще более глаза; в это время входит потихоньку Кочкарев и становится у него за плечами.

Это вот в чем… Но пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после.

Агафья Тихоновна. А что же это такое?

Подколесин. А это… Я хотел бы, признаюсь, теперь объявить вам это, да все еще как-то сомневаюсь.

Кочкарев *(про себя, складывая руки).* Господи ты Боже мой, что это за человек! Это просто старый бабий башмак, а не человек, насмешка над человеком, сатира на человека!

Агафья Тихоновна. Отчего же вы сомневаетесь?

Подколесин. Да все как-то берет сомнение.

Кочкарев *(вслух).* Как это глупо, как это глупо! Да вы, сударыня, видите: он просит руки вашей, желает объявить, что он без вас не может жить, существовать. Спрашивает только, согласны ли вы его осчастливить.

Подколесин *(почти испугавшись, толкает его, произнося тихо).* Помилуй, что ты!

Кочкарев. Так что ж, сударыня! Решаетесь вы сему смертному доставить счастие?

Агафья Тихоновна. Я никак не смею думать,

чтобы я могла составить счастие… А впрочем, я согласна.

Кочкарев. Натурально, натурально, так бы давно. Давайте ваши руки!

Подколесин. Сейчас! *(Хочет сказать что-то ему на ухо. Кочкарев показывает ему кулак и хмурит брови; он дает руку.)*

Кочкарев *(соединяя руки).* Ну, Бог вас благословит! Согласен и одобряю ваш союз. Брак — это есть такое дело… Это не то, что взял извозчика, да и поехал куды-нибудь; это обязанность совершенно другого рода, это обязанность… Теперь вот только мне времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это сделать. Ты теперь должен это сделать.

Агафья Тихоновна потупляет глаза.

Ничего, ничего, сударыня; это так должно, пусть поцелует.

Подколесин. Нет, сударыня, позвольте, теперь уж позвольте. *(Целует ее и берет за руку.)* Какая прекрасная ручка! Отчего это у вас, сударыня, такая прекрасная ручка?.. Да позвольте, сударыня, я хочу, чтобы сей же час было венчанье, непременно сей же час.

Агафья Тихоновна. Как сейчас? Уж это, может

быть, очень скоро.

Подколесин. И слышать не хочу! Хочу еще скорее, чтобы сию же минуту было венчанье.

Кочкарев. Браво! хорошо! Благородный человек! Я, признаюсь, всегда ожидал от тебя много в будущем! Вы, сударыня, в самом деле поспешите теперь поскорее одеться: я, сказать правду, послал уже за каретою и напросил гостей. Они все теперь поехали прямо в церковь. Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю.

Агафья Тихоновна. Как же, давно готово. Я в минуточку оденусь.

Явление XX

Кочкарев и Подколесин.

Подколесин. Ну, брат, благодарю! Теперь я вижу всю твою услугу. Отец родной для меня не сделал бы того, что ты. Вижу, что ты действовал из дружбы. Спасибо, брат, век буду помнить твою услугу. *(Тронутый.)* Будущей весною навещу непременно могилу твоего отца.

Кочкарев. Ничего, брат, я рад сам. Ну, подойди, я тебя поцелую. *(Целует его в одну щеку, а потом в другую.)* Дай Бог, чтоб ты прожил благополучно *(целуются)*, в довольстве и достатке; детей бы

нажили кучу…

Подколесин. Благодарю, брат. Именно наконец теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь предо мною открылся совершенно новый мир, теперь я вот вижу, что все это движется, живет, чувствует, эдак как-то испаряется, как-то эдак, не знаешь даже сам, что делается. А прежде я ничего этого не видел, не понимал, то есть просто был лишенный всякого сведения человек, не рассуждал, не углублялся и жил вот, как и всякий другой человек живет.

Кочкарев. Рад, рад! Теперь я пойду посмотрю только, как убрали стол; в минуту ворочусь. *(В сторону.)* А шляпу все лучше на всякий случай припрятать. *(Берет и уносит шляпу с собою.)*

Явление XXI

Подколесин один.

В самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал, ничего не понимал. Ну, каков был мой холостой век? Что я значил, что я делал? Жил, жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал, — словом, был в свете самый препустой и обыкновенный человек. Только теперь видишь, как глупы все, которые не

женятся; а ведь если рассмотреть — какое множество людей находится в такой слепоте. Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека!.. Право, как подумаешь: чрез несколько минут — и уже будешь женат. Вдруг вкусишь блаженство, какое, точно, бывает только разве в сказках, которого просто даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить. *(После некоторого молчанья.)* Однако ж что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего — все кончено, все сделано. Уж вот даже и теперь назад никак нельзя попятиться: чрез минуту и под венец; уйти даже нельзя — там уж и карета, и все стоит в готовности. А будто в самом деле нельзя уйти? Как же, натурально нельзя: там в дверях и везде стоят люди; ну, спросят: зачем? Нельзя, нет. А вот окно открыто; что, если бы в окно? Нет, нельзя; как же, и неприлично, да и высоко. *(Подходит к окну.)* Ну, еще не так высоко: только один фундамент, да и тот низенький. Ну нет, как же, со мной даже нет картуза. Как же без шляпы?

неловко. А неужто, однако же, нельзя без шляпы? А что, если бы попробовать, а? Попробовать, что ли? *(Становится на окно и, сказавши: «Господи, благослови», — соскакивает на улицу; за сценой кряхтит и охает.)* Ох! однако ж высоко! Эй, извозчик!

Голос извозчика. Подавать, что ли?

Голос Подколесина. На Канавку, возле Семеновского мосту.

Голос извозчика. Да гривенник, без лишнего.

Голос Подколесина. Давай! пошел!

Слышен стук отъезжающих дрожек.

Явление XXII

Агафья Тихоновна входит в венчальном платье, робко и потупив голову.

И сама не знаю, что со мною такое! Опять сделалось стыдно, и я вся дрожу. Ах! если бы его хоть на минутку на эту пору не было в комнате, если бы он за чем-нибудь вышел! *(С робостью оглядывается.)* Да где ж это он? Никого нет. Куда же он вышел? *(Отворяет дверь в прихожую и говорит туда.)* Фекла, куда ушел Иван Кузьмич?

Голос Феклы. Да он там.

Агафья Тихоновна. Да где же там?

Фекла *(входя).* Да ведь он тут сидел, в комнате.

Агафья Тихоновна. Да ведь нет его, ты видишь.

Фекла. Ну да уж из комнаты он тоже не выходил, я сидела в прихожей.

Агафья Тихоновна. Да где же он?

Фекла. Я уж не знаю где; не вышел ли на другой выход, по черной лесенке, или не сидит ли в комнате Арины Пантелеймоновны?

Агафья Тихоновна. Тетушка! тетушка!

Явление XXIII

Те же и Арина Пантелеймоновна.

Арина Пантелеймоновна *(разодетая).* А что такое?

Агафья Тихоновна. Иван Кузьмич у вас?

Арина Пантелеймоновна. Нет, он тут должен быть; ко мне не заходил.

Фекла. Ну, так и в прихожей тоже не был, ведь я сидела.

Агафья Тихоновна. Ну, так и здесь же нет его, вы видите.

Явление XXIV

Те же и Кочкарев.

Кочкарев. А что такое?

Агафья Тихоновна. Да Ивана Кузьмича нет.

Кочкарев. Как нет? ушел?

Агафья Тихоновна. Нет, и не ушел даже.

Кочкарев. Как же — и нет, и не ушел?

Фекла. Уж куды бы мог он деваться, я и ума не приложу. В передней я все сидела и не сходила с места.

Арина Пантелеймоновна. Ну, уж по черной лестнице никак не мог пройти.

Кочкарев. Как же, черт возьми? Ведь пропасть тоже, не выходя из комнаты, никак он не мог. Разве не спрятался ли?.. Иван Кузьмич! где ты? не дурачься, полно, выходи скорее! Ну что за шутки такие? в церковь давно пора! *(Заглядывает за шкаф, искоса запускает даже глаз под стулья.)* Непонятно! Но нет, он не мог уйти, никаким образом не мог. Да он здесь; в той комнате и шляпа, я ее нарочно положил туда.

Арина Пантелеймоновна. Уж разве спросить девчонку? Она стояла все на улице, не знает ли она как-нибудь… Дуняшка! Дуняшка!..

Явление XXV

Те же и Дуняшка.

Арина Пантелеймоновна. Где Иван Кузьмич, ты не видала?

Дуняшка. Да оне-с выпрыгнули в окошко.

Агафья Тихоновна вскрикивает, всплеснувши руками.

Все трое. В окошко?

Дуняшка. Да-с, а потом, как выскочили, взяли извозчика и уехали.

Арина Пантелеймоновна. Да ты вправду говоришь?

Кочкарев. Врешь, не может быть!

Дуняшка. Ей-богу, выскочили! Вот и купец в мелочной лавочке видел. Порядили за гривенник извозчика и уехали.

Арина Пантелеймоновна *(подступая к Кочкареву).* Что ж вы, батюшка, в издевку-то разве, что ли? посмеяться разве над нами задумали? на позор разве мы достались вам, что ли? Да я шестой десяток живу, а такого страму еще не наживала. Да я за то, батюшка, вам плюну в лицо, коли вы честный человек. Да вы после этого подлец, коли

вы честный человек. Осрамить перед всем миром девушку! Я — мужичка, да не сделаю этого. А еще и дворянин! Видно, только на пакости да на мошенничества у вас хватает дворянства! *(Уходит в сердцах и уводит невесту.)*

Кочкарев стоит как ошеломленный.

Фекла. Что? А вот он тот, что знает повести дело! без свахи умеет заварить свадьбу! Да у меня пусть такие и эдакие женихи, общипанные и всякие, да уж таких, чтобы прыгали в окна, — таких нет, прошу простить.

Кочкарев. Это вздор, это не так, я побегу к нему, я возвращу его! *(Уходит.)*

Фекла. Да, поди ты, вороти! Дела-то свадебного не знаешь, что ли? Еще если бы в двери выбежал — ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в окно — уж тут просто мое почтение!

Мертвые души

Поэма

Том первый
Глава первая

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, — словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор

и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.

Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее показывать ниспосланный ему Богом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение,

всегда заставленною комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою.

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными

губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устроиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.

Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы — всякий проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою извест-

ную пару чаю; тот же закопченный потолок; та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масляными красками, — словом, все то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусства, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда,

как то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярку жареную, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему все это подавалось и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор — о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин; на что половой, по обыкновению, отвечал: «О, большой, сударь, мошенник». Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы; он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, — словом, не пропустил ни одного значительного чиновника; но еще с большею точностию, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии

края: не было ли каких болезней в их губернии — повальных горячек, убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому подобного, и все так обстоятельно и с такою точностию, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал: не нужно ли чего? После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой нумер, где, прилегши, заснул два часа. Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: «Коллежский советник

Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям». Когда половой все еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам: сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров»; где нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем

этим было написано: «И вот заведение». Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконическою надписью: «Питейный дом». Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что «город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых дерев, дающих прохладу в знойный день», и что при этом «было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику». Расспросивши подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города, дорогою

оторвал прибитую к столбу афишу, с тем чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее, с узелком в руке, и, еще раз окинувши все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой нумер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Поплёвин, Кору — девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления, потом переворотил на другую сторону: узнать, нет ли там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким

сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства.

Весь следующий день посвящен был визитам; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками… жаль, что несколько трудно упомнить всех сильных мира сего; но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов: он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, да уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные, и что те правительства, которые

назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских будочников; а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал даже ошибкою два раза: «ваше превосходительство», что очень им понравилось. Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочие чиновники тоже, с своей стороны, кто на обед, кто на бостончик, кто на чашку чаю.

О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностию, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он не значащий червь мира сего и не достоин того, чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, прибывши в этот город, почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановникам. Вот все, что узнали в городе об этом новом лице, кото-

рое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло с лишком два часа времени, и здесь в приезжем оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывано. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их извнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала; коляска с фонарями, перед подъездом два жандарма, форейторские крики вдали — словом, всё как нужно. Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и

носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами.

Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних

лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что Бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских, имели так же весьма обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват, волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер «черт меня побери», как говорят французы, — волосы у них

были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь — и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по

русскому обычаю, на курьерских все отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу», — человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, — которые все приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько набок, впрочем, не без приятности. Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу прощения». Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельно-

му. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнею губою верхнюю и сохранил такое положение во все время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!», если же король: «Пошел, тамбовский мужик!» А председатель приговаривал: «А я его по усам! А я ее по усам!» Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: «А! была не была, не с чего, так с бубен!» Или же просто восклицания: «черви! червоточина! пикенция!» или: «пикендрас! пичурущух! пичура!» и даже просто: «пичук!» — названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: «вы пошли», но: «вы изволили пойти», «я имел честь покрыть вашу двойку» и тому подобное. Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание

приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше. Он тотчас же осведомился о них, отозвавши тут же несколько в сторону председателя и почтмейстера. Несколько вопросов, им сделанных, показали в госте не только любознательность, но и основательность; ибо прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них душ крестьян и в каком положении находятся их имения, а потом уже осведомился, как имя и отчество. В немного времени он совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой, по его словам, было только пятнадцать верст от городской заставы. На что Чичиков с весьма вежливым наклонением головы и искренним пожатием руки отвечал, что он не только с большою охотою готов это исполнить, но даже почтет за священнейший долг. Собакевич тоже сказал несколько лаконически: «И ко мне прошу», — шаркнувши ногою, обутою в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо

в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводиться богатыри.

На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи. Там, между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет тридцати, разбитным малым, который ему после трех-четырех слов начал говорить «ты». С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески; но, когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе двух каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого; на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал в

себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, — он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре — и в бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках, и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор — что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты — что он знающий и почтенный человек;

полицеймейстер — что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера — что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!» На что супруга отвечала: «Гм!» — и толкнула его ногою.

Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе, и оно держалось до тех пор, покамест одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение почти всего города.

Глава вторая

Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, как говорится, очень приятно время. Наконец он решился перенести

свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина, дело более серьезное, близшее к сердцу… Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку; Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с сими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их, — но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем и с этой стороны, несмотря на то что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, не много времени и места, потому что не много нужно прибавить к тому, что уже читатель знает, то есть что Петрушка

ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел, по обычаю людей своего звания, крупный нос и губы. Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, — он всё читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вотде из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характерические черты: спать не раздеваясь, так, как есть, в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем, так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать,

хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет десять жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях привередливый, потянувши к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил бы ты хоть в баню». На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом; или подходил с щеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал, — может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош, не надоело тебе сорок раз повторять одно и то же», — Бог ведает, трудно знать, что думает дворовый крепостной человек в то время, когда барин ему дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек… Но автор весьма совестится занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное

знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что ни пресмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но как ни прискорбно то и другое, а все, однако ж, нужно возвратиться к герою. Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрою губкой, что делалось только по воскресным дням, — а в тот день случись воскресенье, — выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку. С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных

рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай сиротинке!» Кучер, заметивши, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыснул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец; и еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся наконец по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по снурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих шитых узорами утиральников. Несколько мужиков, по обыкновению, зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Проехавши пятнадцатую версту, он вспомнил,

что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня, но и шестнадцатая верста пролетела мимо, а деревни все не было видно, и если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал:

— Маниловка, может быть, а не Заманиловка?

— Ну да, Маниловка.

— Маниловка! а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть, так прямо направо.

— Направо? — отозвался кучер.

— Направо, — сказал мужик. — Это будет тебе дорога в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом, каменный, в два этажа, господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка, а Заманиловки совсем нет никакой здесь и не было.

Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа все еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил,

что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного размышления»; пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения, и частию по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту же минуту принялся считать и насчитал более двухсот; нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и

подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то что голова продолблена была до самого мозгу носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более.

— Павел Иванович! — вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. — Насилу вы таки нас вспомнили!

Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжение которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера: там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ — и портрет готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, — эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд.

Один Бог разве мог сказать, какой был харак-

тер Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что такое!» — и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более ограничен-

ным, спит и грезит о том, как бы пройтиться на гулянье с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым; шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков, — словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большею частию размышлял и думал, но о чем он думал, тоже разве Богу было известно. Хозяйством нельзя сказать чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то сделать», — «Да, недурно», — отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. «Да, именно недурно», — повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, по́дать заработать», — «Ступай», — говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик

шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Ввечеру пода-

вался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его… впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то что минуло более восьми лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготовляемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неизвестно из каких причин, один, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были, то что говорится, счастливы. Конечно, можно бы заметить, что

в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастия семейственной жизни, фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время; все это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепьяно, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а

там уже фортепьяно. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова… но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед.

— Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после, — говорил Чичиков.

— Нет, Павел Иванович, нет, вы гость, — говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.

— Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите, — говорил Чичиков.

— Нет уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю.

— Почему ж образованному?.. Пожалуйста, проходите.

— Ну да уж извольте проходить вы.

— Да отчего ж?

— Ну да уж оттого! — сказал с приятною улыбкою Манилов.

Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга.

— Позвольте мне вам представить жену мою, — сказал Манилов. — Душенька! Павел Иванович!

Чичиков, точно, увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была недурна, одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета; тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела; Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее не проходило дня, чтобы не вспоминал о нем.

— Да, — примолвил Манилов, — уж она, бывало, все спрашивает меня: «Да что же твой приятель не едет?» — «Погоди, душенька, приедет». А вот вы наконец и удостоили нас своим посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение… майский день… именины сердца…

Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного.

— Вы всё имеете, — прервал Манилов с такою же приятною улыбкою, — всё имеете, даже еще более.

— Как вам показался наш город? — примолвила Манилова. — Приятно ли провели там время?

— Очень хороший город, прекрасный город, — отвечал Чичиков, — и время провел очень приятно: общество самое обходительное.

— А как вы нашли нашего губернатора? — сказала Манилова.

— Не правда ли, что препочтеннейший и прелюбезнейший человек? — прибавил Манилов.

— Совершенная правда, — сказал Чичиков, — препочтеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее! Нужно желать побольше таких людей.

— Как он может этак, знаете, принять всякого, наблюсти деликатность в своих поступках, — присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем.

— Очень обходительный и приятный человек, — продолжал Чичиков, — и какой искусник! я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры! Он мне показывал своей работы кошелек: редкая дама может так искусно вышить.

— А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек? — сказал Манилов, опять несколько

прищурив глаза.

— Очень, очень достойный человек, — отвечал Чичиков.

— Ну, позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?

— Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек! Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов; очень, очень достойный человек.

— Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера? — прибавила Манилова. — Не правда ли, прелюбезная женщина?

— О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю, — отвечал Чичиков.

Засим не пропустили председателя палаты, почтмейстера и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми.

— Вы всегда в деревне проводите время? — сделал наконец, в свою очередь, вопрос Чичиков.

— Больше в деревне, — отвечал Манилов. — Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время

жить взаперти.

— Правда, правда, — сказал Чичиков.

— Конечно, — продолжал Манилов, — другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое… — Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько зарапортовался, ковырнул только рукою в воздухе и продолжал: — Тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей. Но решительно нет никого… Вот только иногда почитаешь «Сын отечества».

Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединенье, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу…

— Но знаете ли, — прибавил Манилов, — все если нет друга, с которым бы можно поделиться…

— О, это справедливо, это совершенно справедливо! — прервал Чичиков. — Что все сокровища тогда в мире! «Не имей денег, имей хороших людей для обращения», — сказал один мудрец.

— И знаете, Павел Иванович! — сказал Ма-

нилов, явя в лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента. — Тогда чувствуешь какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение… Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастие, можно сказать образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором…

— Помилуйте, что ж за приятный разговор?.. Ничтожный человек, и больше ничего, — отвечал Чичиков.

— О! Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным: я бы с радостию отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы!..

— Напротив, я бы почел с своей стороны за величайшее…

Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово.

— Прошу покорнейше, — сказал Манилов. — Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах, у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу.

Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и наконец Чичиков вошел боком в столовую.

В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку; гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки.

— Какие миленькие дети, — сказал Чичиков, посмотрев на них, — а который год?

— Старшему осьмой, а меньшему вчера только минуло шесть, — сказала Манилова.

— Фемистоклюс! — сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался освободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку.

Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому, неизвестно почему, Манилов дал окончание на «юс», но постарался тот же час привесть лицо в обыкновенное положение.

— Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?

Здесь учитель обратил все внимание на Фемистоклюса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза,

но наконец совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклюс сказал: «Париж».

— А у нас какой лучший город? — спросил опять Манилов.

Учитель опять настроил внимание.

— Петербург, — отвечал Фемистоклюс.

— А еще какой?

— Москва, — отвечал Фемистоклюс.

— Умница, душенька! — сказал на это Чичиков. — Скажите, однако ж… — продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым, — в такие лета и уже такие сведения! Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности.

— О, вы еще не знаете его, — отвечал Манилов, — у него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой, Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс, — продолжал он, снова обратясь к нему, — хочешь быть посланником?

— Хочу, — отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.

В это время стоявший позади лакей утер по-

сланнику нос, и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемый замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и, как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал по столу, устремив глаза на сидевших насупротив его детей. Это было у места, потому что Фемистоклюс укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову с словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда».

Уже встали из-за стола. Манилов был доволен

чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом препроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле.

— В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет, — сказал Манилов и повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес. — Вот мой уголок, — сказал Манилов.

— Приятная комнатка, — сказал Чичиков, окинувши ее глазами.

Комната была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубенькой краской вроде серенькой, четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенною закладкою, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько исписанных бумаг, но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени.

— Позвольте вас попросить расположиться в

этих креслах, — сказал Манилов. — Здесь вам будет попокойнее.

— Позвольте, я сяду на стуле.

— Позвольте вам этого не позволить, — сказал Манилов с улыбкою. — Это кресло у меня уж ассигновано для гостя: ради или не ради, но должны сесть.

Чичиков сел.

— Позвольте мне вас попотчевать трубочкою.

— Нет, не курю, — отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления.

— Отчего? — сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления.

— Не сделал привычки, боюсь; говорят, трубка сушит.

— Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. В нашем полку был поручик, прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже сорок с лишком лет, но, благодаря Бога, до сих пор так здоров, как нельзя лучше.

Чичиков заметил, что это, точно, случается и что в натуре находится много вещей, неизъясни-

мых даже для обширного ума.

— Но позвольте прежде одну просьбу… — проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем неизвестно отчего оглянулся назад. Манилов тоже неизвестно отчего оглянулся назад. — Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?[148]

— Да уж давно; а лучше сказать, не припомню.

— Как с того времени много у вас умерло крестьян?

— А не могу знать; об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек! позови приказчика, он должен быть сегодня здесь.

Приказчик явился. Это был человек лет под сорок, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики: был прежде просто грамотным мальчишкой в

[148] Примечания: 148

Ревизская сказка — список крепостных крестьян, составлявшийся при переписи (ревизии).

доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики: водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял на тягла[149] победнее, проснувшись в девятом часу утра, поджидал самовара и пил чай.

— Послушай, любезный! сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?

— Да как сколько? Многие умирали с тех пор, — сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою, наподобие щитка.

— Да, признаюсь, я сам так думал, — подхватил Манилов, — именно, очень многие умирали! — Тут он оборотился к Чичикову и прибавил еще: — Точно, очень многие.

— А как, например, числом? — спросил Чичиков.

— Да, сколько числом? — подхватил Манилов.

— Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало, их никто не считал.

— Да, именно, — сказал Манилов, обратясь к Чичикову, — я тоже предполагал, большая смерт-

---

[149] Примечания: 149

Тягло — крестьянская семья, составляющая хозяйственную единицу. Раскладка податей и повинностей производилась по тяглам.

ность; совсем неизвестно, сколько умерло.

— Ты, пожалуйста, их перечти, — сказал Чичиков, — и сделай подробный реестрик всех поименно.

— Да, всех поименно, — сказал Манилов.

Приказчик сказал: «Слушаю!» — и ушел.

— А для каких причин вам это нужно? — спросил по уходе приказчика Манилов.

Этот вопрос, казалось, затруднил гостя, в лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел, — напряжение что-то выразить, не совсем покорное словам. И в самом деле, Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши.

— Вы спрашиваете, для каких причин? причины вот какие: я хотел бы купить крестьян… — сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи.

— Но позвольте спросить вас, — сказал Манилов, — как желаете вы купить крестьян: с землею или просто на вывод, то есть без земли?

— Нет, я не то чтобы совершенно крестьян, — сказал Чичиков, — я желаю иметь мертвых…

— Как-с? извините… я несколько туг на ухо, мне послышалось престранное слово…

— Я полагаю приобресть мертвых, которые,

впрочем, значились бы по ревизии как живые, — сказал Чичиков.

Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперя друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он; но ничего не было видно такого, напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного; потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально; но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегает в глазах сумасшедшего человека, все было прилично и в порядке. Как ни придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струею.

— Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но жи-

вых относительно законной формы, передать, уступить или как вам заблагорассудится лучше?

Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него.

— Мне кажется, вы затрудняетесь?.. — заметил Чичиков.

— Я?.. нет, я не то, — сказал Манилов, — но я не могу постичь… извините… я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении; не имею высокого искусства выражаться… Может быть, здесь… в этом, вами сейчас выраженном изъяснении… скрыто другое… Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?

— Нет, — подхватил Чичиков, — нет, я разумею предмет таков как есть, то есть те души, которые, точно, уже умерли.

Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос — черт его знает. Кончил он наконец тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а чрез носовые ноздри.

— Итак, если нет препятствий, то с Богом можно бы приступить к совершению купчей крепости, — сказал Чичиков.

— Как, на мертвые души купчую?

— А, нет! — сказал Чичиков. — Мы напишем, что они живы, так, как стои́т действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон — я немею пред законом.

Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал наконец хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства; но чубук хрипел, и больше ничего.

— Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?

— О! помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть, критическое предосуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция[150], — так не будет ли эта негоция несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?

---

[150] Примечания: 150

Негоция — коммерческая сделка.

Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела.

Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие, или негоция, никак не будет несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины.

— Так вы полагаете?..

— Я полагаю, что это будет хорошо.

— А, если хорошо, это другое дело: я против этого ничего, — сказал Манилов и совершенно успокоился.

— Теперь остается условиться в цене.

— Как в цене? — сказал опять Манилов и остановился. — Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то с своей стороны я передаю их вам

безынтересно и купчую беру на себя.

Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он поворотился так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивавшая подушку; сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении. Побужденный признательностью, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смешался, весь покраснел, производил головою отрицательный жест и наконец уже выразился, что это сущее ничего, что он, точно, хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде совершенная дрянь.

— Очень не дрянь, — сказал Чичиков, пожав ему руку. Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным излияниям; не без чувства и выражения произнес он наконец следующие слова: — Если б вы знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и роду! Да и действитель-

но, чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн… Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте-горемыке!.. — Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу.

Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руку и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были навернувшиеся слезы. Манилов никак не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал жать ее так горячо, что тот уже не знал, как ее выручить. Наконец, выдернувши ее потихоньку, он сказал, что не худо бы купчую совершить поскорее и хорошо бы, если бы он сам понаведался в город. Потом взял шляпу и стал откланиваться.

— Как? вы уже хотите ехать? — сказал Манилов, вдруг очнувшись и почти испугавшись.

В это время вошла в кабинет Манилова.

— Лизанька, — сказал Манилов с несколько жалостливым видом, — Павел Иванович оставляет нас!

— Потому что мы надоели Павлу Ивановичу, — отвечала Манилова.

— Сударыня! здесь, — сказал Чичиков, — здесь,

вот где, — тут он положил руку на сердце, — да, здесь пребудет приятность времени, проведенного с вами! и поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами если не в одном доме, то, по крайней мере, в самом ближайшем соседстве.

— А знаете, Павел Иванович, — сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль, — как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одною кровлею, или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться!..

— О! это была бы райская жизнь! — сказал Чичиков, вздохнувши. — Прощайте, сударыня! — продолжал он, подходя к ручке Маниловой. — Прощайте, почтеннейший друг! Не позабудьте просьбы!

— О, будьте уверены! — отвечал Манилов. — Я с вами расстаюсь не долее как на два дни.

Все вышли в столовую.

— Прощайте, миленькие малютки! — сказал Чичиков, увидевши Алкида и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа. — Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что,

признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете, но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю; хочешь саблю?

— Хочу, — отвечал Фемистоклюс.

— А тебе барабан; не правда ли, тебе барабан? — продолжал он, наклонившись к Алкиду.

— Парапан, — отвечал шепотом и потупив голову Алкид.

— Хорошо, я тебе привезу барабан. Такой славный барабан, этак все будет: туррр… ру… тра-та-та, та-та-та… Прощай, душенька! прощай! — Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей.

— Право, останьтесь, Павел Иванович! — сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. — Посмотрите, какие тучи.

— Это маленькие тучки, — отвечал Чичиков.

— Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?

— Об этом хочу спросить вас.

— Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру. — Тут Манилов с такою же любезностью рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «вы».

Кучер, услышав, что нужно пропустить два

поворота и поворотить на третий, сказал: «Потрафим, ваше благородие», — и Чичиков уехал, сопровождаемый долго поклонами и маханьями платка приподымавшихся на цыпочках хозяев.

Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала не видна, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером[151], что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал

---

[151] Примечания: 151

Бельведер — буквально: прекрасный вид; здесь: башня на здании.

их генералами, и далее, наконец, бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове: как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и все время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина.

Глава третья

А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей, а потому не диво, что он скоро погрузился весь в него и телом и душою. Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого внимания на то, как его кучер, довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для

вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся Заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудилися от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие. «Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю! — говорил Селифан, приподнявшись и хлыснув кнутом ленивца. — Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой — почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему с охотою дам лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель тож хороший конь… Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь куда ползет!» Здесь он опять хлыснул его кнутом, примолвив: «У, варвар! Бонапарт ты проклятый!» Потом прикрикнул на всех: «Эй вы, любезные!» — и стегнул по всем по трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: «Ты думаешь, что скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были, хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коли хороший человек; с человеком хорошим мы всегда

свои други, тонкие приятели: выпить ли чаю или закусить — с охотою, коли хороший человек. Хорошему человеку всякой отдаст почтение. Вот барина нашего всякой уважает, потому что он, слышь ты, сполнял службу государскую, он сколеской[152] советник…»

Так рассуждая, Селифан забрался наконец в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему; но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя; все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, потом, изменивши образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо в верх его кузова; брызги наконец стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками,

[152] Примечания: 152
Сколеской (советник) — искаженное *коллежский.*

определенными на рассматривание дорожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что, точно, не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други, почтенные!» — и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога.

Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его, давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но тем-

нота была такая, хоть глаз выколи.

— Селифан! — сказал он наконец, высунувшись из брички.

— Что, барин? — отвечал Селифан.

— Погляди-ка, не видно ли деревни?

— Нет, барин, нигде не видно! — После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло: все ободрительные и побудительные крики, которыми потчевают лошадей по всей России от одного конца до другого; прилагательные всех родов без дальнейшего разбора, как что первое попалось на язык. Таким образом дошло до того, что он начал называть их наконец секретарями.

Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова.

— Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? — сказал Чичиков.

— Да что ж, барин, делать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма! — Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был

держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял.

— Держи, держи, опрокинешь! — кричал он ему.

— Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул, — говорил Селифан. — Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опрокину. — Затем начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и наконец выворотил ее совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил, впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты, и перекинулась!»

— Ты пьян как сапожник! — сказал Чичиков.

— Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян! Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого; и закусили вместе. Закуска не обидное дело; с хорошим человеком можно закусить.

— А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? а? забыл? — сказал Чичиков.

— Нет, ваше благородие, как можно, чтобы я позабыл. Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что…

— Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком!

— Как милости вашей будет завгодно, — отвечал на все согласный Селифан, — коли высечь, то и высечь; я ничуть не прочь от того. Почему ж не посечь, коли за дело, на то воля господская. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки; почему ж не посечь?

На такое рассуждение барин совершенно не нашелся, что отвечать. Но в это время, казалось, как будто сама судьба решилась над ним сжалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз; от этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя ни зги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился только тогда, когда бричка ударилася оглоблями в забор

и когда решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и досягнул туманною струею до забора, указавши нашим дорожным ворота. Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабий голос:

— Кто стучит? чего расходились?

— Приезжие, матушка, пусти переночевать, — произнес Чичиков.

— Вишь ты, какой востроногий, — сказала старуха, — приехал в какое время! Здесь тебе не постоялый двор: помещица живет.

— Что ж делать, матушка: вишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи.

— Да, время темное, нехорошее время, — прибавил Селифан.

— Молчи, дурак, — сказал Чичиков.

— Да кто вы такой? — сказала старуха.

— Дворянин, матушка.

Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать.

— Погодите, я скажу барыне, — произнесла она и минуты через две уже возвратилась с фонарем в руке.

Ворота отперлись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, въехавши на двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотою трудно было рассмотреть. Только одна половина его была озарена светом, исходившим из окон; видна была еще лужа перед домом, на которую прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно молодого щенка, и все это, наконец, повершал бас, может быть, старик, наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе: тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все,

что ни есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная; но промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о постели. Не успела бричка совершенно остановиться, как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал. На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату. Чичиков кинул вскользь два взгляда: комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев; за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок; стенные часы с нарисованными цветами на циферблате… невмочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом

наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают всё целковики, в другой полтинники, в третий четвертачки, хотя с виду и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья, да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого салопа, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек со всякими пряженцами[153] или поизотрется само собою. Но не сгорит платье и не изотрется само собою; бережлива старушка, и салопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатной сестры вместе со всяким другим хламом.

Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом.

— Ничего, ничего, — сказала хозяйка. — В какое это время вас Бог принес! Сумятица и вьюга такая… С дороги бы следовало поесть чего-нибудь,

---

[153] Примечания: 153

Пряженцы — «маленькие пирожки с мясом и луком; подается к ним суп или бульон». *(Из записной книжки Н.В. Гоголя.)*

да пора-то ночная, приготовить нельзя.

Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и, наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево.

Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что, кроме постели, он ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу, на что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени и что такого помещика вовсе нет.

— По крайней мере, знаете Манилова? — сказал Чичиков.

— А кто таков Манилов?

— Помещик, матушка.

— Нет, не слыхивала, нет такого помещика.

— Какие же есть?

— Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин,

Трепакин, Плешаков.

— Богатые люди или нет?

— Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать, а таких, чтоб по сотне, таких нет.

Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь.

— Далеко ли, по крайней мере, до города?

— А верст шестьдесят будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать! не хотите ли, батюшка, выпить чаю?

— Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кроме постели.

— Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фетинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время послал Бог: гром такой — у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у борова, вся спина и бок в грязи! где так изволил засалиться?

— Еще слава Богу, что только засалился, нужно благодарить, что не отломал совсем боков.

— Святители, какие страсти! Да не нужно ли чем потереть спину?

— Спасибо, спасибо. Не беспокойтесь, а при-

кажите только вашей девке повысушить и вычистить мое платье.

— Слышишь, Фетинья! — сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходившей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбивши ее с обоих боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате. — Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как делывали покойнику барину, а после перетри и выколоти хорошенько.

— Слушаю, сударыня! — говорила Фетинья, постилая сверх перины простыню и кладя подушки.

— Ну, вот тебе постель готова, — сказала хозяйка. — Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал.

Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фетинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю, и Фетинья, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая

была почти до потолка. Фетинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту. Проснулся на другой день он уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза, и мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему: одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз, ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре, он потянул впросонках в самый нос, что заставило его крепко чихнуть, — обстоятельство, бывшее причиною его пробуждения. Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не всё были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче. Часы опять испустили шипение и пробили десять; в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя

совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе: кто бы это был, и наконец вспомнил, что это была хозяйка. Он надел рубаху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало возле него. Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух — окно же было очень близко от земли — заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно «желаю здравствовать», на что Чичиков сказал ему дурака. Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник; по крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик, или курятник, преграждал дощатый забор, за которым тянулись пространные огороды с капустой, луком,

картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах, с растопыренными руками; на одном из них надет был чепец самой хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, которые хотя были выстроены врассыпную и не заключены в правильные улицы, но, по замечанию, сделанному Чичиковым, показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует: изветшавший тес на крышах везде был заменен новым; ворота нигде не покосились, а в обращенных к нему крестьянских крытых сараях заметил он где стоявшую запасную почти новую телегу, а где и две. «Да у ней деревушка не маленька», — сказал он и положил тут же разговориться и познакомиться с хозяйкой покороче. Он заглянул в щелочку двери, из которой она было высунула голову, и, увидев ее, сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом.

— Здравствуйте, батюшка. Каково почивали? —

сказала хозяйка, приподнимаясь с места. Она была одета лучше, нежели вчера, — в темном платье и уже не в спальном чепце, но на шее все так же было что-то навязано.

— Хорошо, хорошо, — говорил Чичиков, садясь в кресла. — Вы как, матушка?

— Плохо, отец мой.

— Как так?

— Бессонница. Все поясница болит, и нога, что повыше косточки, так вот и ломит.

— Пройдет, пройдет, матушка. На это нечего глядеть.

— Дай бог, чтобы прошло. Я-то смазывала свиным салом и скипидаром тоже смачивала. А с чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовая.

— Недурно, матушка, хлебнем и фруктовой.

Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большею свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем

же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, — словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных, — да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с

Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! «Да это не Иван Петрович, — говоришь, глядя на него. — Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький и худенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеется, а этот черт знает что: пищит птицей и все смеется». Подходишь ближе, глядишь — точно Иван Петрович! «Эхе-хе», — думаешь себе… Но, однако ж, обратимся к действующим лицам. Чичиков, как уж мы видели, решился вовсе не церемониться и потому, взявши в руки чашку с чаем и вливши туда фруктовой, повел такие речи:

— У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ?

— Душ-то в ней, отец мой, без малого восемьдесят, — сказала хозяйка, — да беда, времена плохи, вот и прошлый год был такой неурожай, что Боже храни.

— Однако ж мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся… приехал в ночное время…

— Коробочка, коллежская секретарша.

— Покорнейше благодарю. А имя и отчество?

— Настасья Петровна.

— Настасья Петровна? хорошее имя Настасья

Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.

— А ваше имя как? — спросила помещица. — Ведь вы, я чай, заседатель?

— Нет, матушка, — отвечал Чичиков, усмехнувшись, — чай, не заседатель, а так ездим по своим делишкам.

— А, так вы покупщик! Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня, верно, его купил.

— А вот меду и не купил бы.

— Что ж другое? Разве пеньку? Да вить и пеньки у меня теперь маловато: полпуда всего.

— Нет, матушка, другого рода товарец: скажите, у вас умирали крестьяне?

— Ох, батюшка, осьмнадцать человек! — сказала старуха, вздохнувши. — И умер такой всё славный народ, всё работники. После того, правда, народилось, да что в них: всё такая мелюзга; а заседатель подъехал — подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, а плати, как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал.

— Разве у вас был пожар, матушка?

— Бог приберег от такой беды, пожар бы еще

хуже; сам сгорел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил, только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почернел, как уголь, а такой был преискусный кузнец! и теперь мне выехать не на чем: некому лошадей подковать.

— На все воля Божья, матушка! — сказал Чичиков, вздохнувши, — против мудрости Божией ничего нельзя сказать… Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?

— Кого, батюшка?

— Да вот этих-то всех, что умерли.

— Да как же уступить их?

— Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги.

— Да как же? Я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?

Чичиков увидел, что старуха хватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать, в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на бумаге и души будут прописаны как бы живые.

— Да на что ж они тебе? — сказала старуха, выпучив на него глаза.

— Это уж мое дело.

— Да ведь они ж мертвые.

— Да кто же говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?

— Право, не знаю, — произнесла хозяйка с расстановкой. — Ведь я мертвых никогда еще не продавала.

— Еще бы! Это бы скорей походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?

— Нет, этого-то я не думаю. Что ж в них за прок, проку никакого нет. Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые.

«Ну, баба, кажется, крепколобая!» — подумал про себя Чичиков.

— Послушайте, матушка. Да вы рассудите только хорошенько: ведь вы разоряетесь, платите за него подать, как за живого…

— Ох, отец мой, и не говори об этом! — подхватила помещица. — Еще третью неделю взнесла больше полутораста. Да заседателя подмаслила.

— Ну, видите, матушка. А теперь примите в соображение только то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них; я, а не вы; я принимаю на себя все

повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги, понимаете ли вы это?

Старуха задумалась. Она видела, что дело, точно, как будто выгодно, да только уж слишком новое и небывалое; а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупщик; приехал же бог знает откуда, да еще и в ночное время.

— Так что ж, матушка, по рукам, что ли? — говорил Чичиков.

— Право, отец мой, никогда еще не случалось продавать мне покойников. Живых-то я уступила, вот и третьего года протопопу двух девок, по сту рублей каждую, и очень благодарил, такие вышли славные работницы: сами салфетки ткут.

— Ну, да не о живых дело; бог с ними. Я спрашиваю мертвых.

— Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а они того… они больше как-нибудь стоят.

— Послушайте, матушка… эх, какие вы! что ж они могут стоить? Рассмотрите: ведь это прах. Понимаете ли? это просто прах. Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например, даже простую тряпку, и тряпке есть цена: ее хоть,

по крайней мере, купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?

— Уж это, точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно; да ведь меня одно только и останавливает, что ведь они уже мертвые.

«Эк ее, дубинноголовая какая! — сказал про себя Чичиков, уже начиная выходить из терпения. — Пойди ты сладь с нею! в пот бросила, проклятая старуха!» Тут он, вынувши из кармана платок, начал отирать пот, в самом деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резинный мяч отскакивает от стены. Отерши пот, Чичиков решился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какою-нибудь иною стороною.

— Вы, матушка, — сказал он, — или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить… Я вам даю деньги: пятнадцать рублей ассигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почем продали мед?

— По двенадцати рублей пуд.

— Хватили немножко греха на душу, матушка. По двенадцати не продали.

— Ей-богу, продала.

— Ну видите ль? Так зато это мед. Вы собирали его, может быть, около года, с заботами, со старанием, хлопотами; ездили, морили пчел, кормили их в погребе целую зиму; а мертвые души дело не от мира сего. Тут вы с своей стороны никакого не прилагали старания, на то была воля Божия, чтоб они оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а всё синими ассигнациями. — После таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец поддастся.

— Право, — отвечала помещица, — мое такое неопытное вдовье дело! лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.

— Страм, страм, матушка! просто страм! Ну что вы это говорите, подумайте сами! Кто же станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать?

— А может, в хозяйстве-то как-нибудь под слу-

чай понадобятся… — возразила старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.

— Мертвые в хозяйстве! Эк куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?

— С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! — проговорила старуха, крестясь.

— Куда ж еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, ведь кости и могилы — все вам остается, перевод только на бумаге. Ну, так что же? Как же? отвечайте, по крайней мере.

Старуха вновь задумалась.

— О чем же вы думаете, Настасья Петровна?

— Право, я все не приберу, как мне быть; лучше я вам пеньку продам.

— Да что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете! Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна?

— Ей-богу, товар такой странный, совсем небывалый!

Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей черта.

Черта помещица испугалась необыкновенно.

— Ох, не припоминай его, бог с ним! — вскрикнула она, вся побледнев. — Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то Бог и наслал его. Такой гадкий привиделся; а рога-то длиннее бычачьих.

— Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел: вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду… да пропади и околей со всей вашей деревней!..

— Ах, какие ты забранки пригинаешь! — сказала старуха, глядя на него со страхом.

— Да не найдешь слов с вами! Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене: и сама не ест сена, и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду… — Здесь он прилгнул, хоть и вскользь, и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну, по крайней мере, она произнесла уже почти просительным голосом:

— Да чего ж ты рассердился так горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсем

тебе и не прекословила.

— Есть из чего сердиться! Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться!

— Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать ассигнацией! Только смотри, отец мой, насчет подрядов-то: если случится муки брать ржаной, или гречневой, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обидь меня.

— Нет, матушка не обижу, — говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует.

— Как же, протопопа, отца Кирила, сын служит в палате, — сказала Коробочка.

Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо и, чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить.

«Хорошо бы было, — подумала между тем про себя Коробочка, — если бы он забирал у меня в казну муку и скотину. Нужно его задобрить: теста со вчерашнего вечера еще осталось, так пойти сказать Фетинье, чтоб спекла блинов; хорошо бы также загнуть пирог пресный с яйцом, у меня его славно загибают, да и времени берет

немного». Хозяйка вышла, с тем чтобы привести в исполненье мысль насчет загнутия пирога и, вероятно, пополнить ее другими произведениями домашней пекарни и стряпни; а Чичиков вышел в гостиную, где провел ночь, с тем чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной давно уже было все прибрано, роскошные перины вынесены вон, перед диваном стоял покрытый стол. Поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чувствовал, что был весь в поту, как в реке: все, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, все было мокро. «Эк уморила как, проклятая старуха!» — сказал он, немного отдохнувши, и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить! Вот оно, внутреннее расположение: в самой средине мыльница, за мыльницею шесть-семь узеньких перегородок для бритв; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленною между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными,

похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист, потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что наверно нельзя сказать, сколько было там денег. Чичиков тут же занялся и, очинив перо, начал писать. В это время вошла хозяйка.

— Хорош у тебя ящик, отец мой, — сказала она, подсевши к нему. — Чай, в Москве купил его?

— В Москве, — отвечал Чичиков, продолжая писать.

— Я уж знала это: там все хорошая работа. Третьего года сестра моя привезла оттуда теплые сапожки для детей: такой прочный товар, до сих пор носится. Ахти, сколько у тебя тут гербовой бумаги! — продолжала она, заглянувши к нему в шкатулку. И в самом деле, гербовой бумаги было там немало. — Хоть бы мне листок подарил! а у меня такой недостаток; случится в суд просьбу подать, а и не на чем.

Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения крепо-

стей, а не для просьб. Впрочем, чтобы успокоить ее, он дал ей какой-то лист в рубль ценою. Написавши письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький списочек мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть; он заставил ее тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, прежде останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев Неуважай-Корыто, так что он не мог не сказать: «Экой длинный!» Другой имел прицепленный к имени «Коровий кирпич», иной оказался просто: Колесо Иван. Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле.

— Прошу покорно закусить, — сказала хозяйка.

Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было.

— Пресный пирог с яйцом! — сказала хозяйка.

Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его. И в самом деле, пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее.

— А блинков? — сказала хозяйка.

В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинов.

— У вас, матушка, блинцы очень вкусны, — сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие.

— Да у меня-то их хорошо пекут, — сказала хозяйка, — да вот беда: урожай плох, мука уж такая неавантажная… Да что же, батюшка, вы так спешите? — проговорила она, увидя, что Чичиков взял в руки картуз, — ведь и бричка еще не заложена.

— Заложат, матушка, заложат. У меня скоро закладывают.

— Так уж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов.

— Не забуду, не забуду, — говорил Чичиков, выходя в сени.

— А свиного сала не покупаете? — сказала хозяйка, следуя за ним.

— Почему не покупать? Покупаю, только после.

— У меня о Святках и свиное сало будет.

— Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим.

— Может быть, понадобится птичьих перьев. У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья.

— Хорошо, хорошо, — говорил Чичиков.

— Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова, — сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.

— Будет, будет готова. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги.

— Как же бы это сделать? — сказала хозяйка. — Рассказать-то мудрено, поворотов много; разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила. Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где бы присесть ей.

— Как не быть.

— Пожалуй, я тебе дам девчонку; она у меня знает дорогу, только ты смотри! не завези ее, у меня уже одну завезли купцы.

Чичиков уверил ее, что не завезет, и Коробочка,

успокоившись, уже стала рассматривать все, что было во дворе ее; вперила глаза на ключницу, выносившую из кладовой деревянную побратиму[154] с медом, на мужика, показавшегося в воротах, и мало-помалу вся переселилась в хозяйственную жизнь. Но зачем так долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная — мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город, мысли не о том, что делается

[154] Примечания: 154

Побратима — «шарообразный сосуд деревянный, с узким горлом; кладут мед, варенье». *(Из записной книжки Н.В. Гоголя.)*

в ее доме и в ее поместьях, запутанных и расстроенных благодаря незнанью хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм. Но мимо, мимо! зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумающих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя: еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо…

— А вот бричка, вот бричка! — вскричал Чичиков, увидя наконец подъезжавшую свою бричку. — Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя не весь еще выветрило.

Селифан на это ничего не отвечал.

— Прощайте, матушка! А что же, где ваша девчонка?

— Эй, Пелагея! — сказала помещица стоявшей около крыльца девчонке лет одиннадцати, в платье из домашней крашенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежею грязью. — Покажи-ка барину дорогу.

Селифан помог взлезть девчонке на козлы, которая, ставши одной ногой на барскую сту-

пеньку, сначала запачкала ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за нею и сам Чичиков занес ногу на ступеньку и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленек, наконец поместился, сказавши:

— А! теперь хорошо! прощайте, матушка!

Кони тронулись.

Селифан был во всю дорогу суров и с тем вместе очень внимателен к своему делу, что случалося с ним всегда после того, когда либо в чем провинился, либо был пьян. Лошади были удивительно как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся дотоле почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выглядывала пакля, был искусно зашит. Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не обращал никакой поучительной речи к лошадям, хотя чубарому коню, конечно, хотелось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо в это время вожжи всегда как-то лениво держались в руках словоохотного возницы и кнут только для формы гулял поверх спин. Но из угрюмых уст слышны были на сей раз одни однообразно неприятные восклицания: «Ну же, ну, ворона! зевай! зевай!» — и больше ничего. Даже сам гнедой и Заседатель были недоволь-

ны, не услышавши ни разу ни «любезные», ни «почтенные». Чубарый чувствовал пренеприятные удары по своим полным и широким частям. «Вишь ты, как разнесло его! — думал он сам про себя, несколько припрядывая ушами. — Небось знает, где бить! Не хлыснет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее: по ушам зацепит или под брюхо захлыснет».

— Направо, что ли? — с таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между ярко-зелеными, освеженными полями.

— Нет, нет, я уж покажу, — отвечала девчонка.

— Куда ж? — сказал Селифан, когда подъехали поближе.

— Вот куды, — отвечала девчонка, показывая рукою.

— Эх ты! — сказал Селифан. — Да это и есть направо: не знает, где право, где лево!

Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж; к тому же почва была глиниста и цепка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не

могли выбраться из проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыплют из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине. Скоро девчонка показала рукою на черневшее вдали строение, сказавши:

— Вон столбовая дорога!

— А строение? — спросил Селифан.

— Трактир, — сказала девчонка.

— Ну, теперь мы сами доедем, — сказал Селифан, — ступай себе домой.

Он остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы: «Эх ты, черноногая!»

Чичиков дал ей медный грош, и она побрела восвояси, уже довольная тем, что посидела на козлах.

Глава четвертая

Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. С одной стороны, чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода лю-

дей. Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю; глотающие устерс[155], морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем или кулебякой с сомовьим плёсом[156], так что вчуже пронимает аппетит, — вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием неба! Не один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложен-

[155] Примечания: 155

Устерс — устриц.

[156] Примечания: 156

Сомовий плёс — «хвост у сома, весь из жира». *(Из записной книжки Н.В. Гоголя.)*

ных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки; но то беда, что ни за какие деньги, ниже́ имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки.

Деревянный, потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами.

Взобравшись узенькою деревянною лестницею наверх, в широкие сени, он встретил отворявшуюся со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: «Сюда пожалуйте!» В комнате попались всё старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выстроено по дорогам, а именно: заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф

с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички пред образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку; наконец натыканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего.

— Поросенок есть? — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе.

— Есть.

— С хреном и со сметаною?

— С хреном и со сметаною.

— Давай его сюда!

Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшею костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол.

Герой наш, по обыкновению, сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир, или есть хозяин, и сколько дает доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что старший сын холостой или женатый человек, и

какую взял жену, с большим ли приданым или нет, и доволен ли был тесть, и не сердился ли, что мало подарков получил на свадьбе, — словом, не пропустил ничего. Само собою разумеется, что полюбопытствовал узнать, какие в окружности находятся у них помещики, и узнал, что всякие есть помещики: Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков-полковник, Собакевич. «А! Собакевича знаешь?» — спросил он и тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова, и что Манилов будет поделикатней Собакевича: велит тотчас сварить курицу, спросит и телятинки; коли есть баранья печенка, то и бараньей печенки спросит, и всего только что попробует, а Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато всё съест, даже и подбавки потребует за ту же цену.

Когда он таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уже последний кусок, послышался стук колес подъехавшего экипажа. Выглянувши в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкою добрых лошадей. Из брички вылезали двое каких-то мужчин. Один белокурый, высокого роста; другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей

венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще колясчонка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице наверх, между тем как черномазый еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время ехавшей за ними коляске. Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее. Это быт мужчина высокого роста, лицом худощавый, или что называют издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то, по крайней мере, табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжение немногих минут они вероятно бы разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним дождем и теперь ехать и прохладно и приятно, как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив

рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его.

— Ба, ба, ба! — вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. — Какими судьбами?

Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты», хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода.

— Куда ездил? — говорил Ноздрев и, не дождавшись ответа, продолжал: — А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал! Вот посмотри нарочно в окно! — Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ею об рамку. — Видишь, какая дрянь! Насилу дотащили, проклятые, я уже перелез вот в его бричку. — Говоря это, Ноздрев показал пальцем на своего товарища. — А вы еще не знакомы? Зять мой Мижуев! Мы с ним все утро говорили о тебе. «Ну, смотри, говорю, если мы не

встретим Чичикова». Ну, брат, если б ты знал, как я продулся! Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков — всё спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов… — Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. — А ведь будь только двадцать рублей в кармане, — продолжал Ноздрев, — именно не больше как двадцать, я отыграл бы всё, то есть кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек, тридцать тысяч сейчас положил бы в бумажник.

— Ты, однако, и тогда так говорил, — отвечал белокурый, — а когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же просадил их.

— И не просадил бы! ей-богу, не просадил бы! Не сделай я сам глупость, право, не просадил бы. Не загни я после пароле на проклятой семерке утку[157], я бы мог сорвать весь банк.

— Однако ж не сорвал, — сказал белокурый.

— Не сорвал потому, что загнул утку не вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет?

— Хорошо или не хорошо, однако ж он тебя обыграл.

---

[157] Примечания: 157
Утка — прибавка к ставке.

— Эка важность! — сказал Ноздрев, — этак и я его обыграю. Нет, вот попробуй он играть дублетом[158], так вот тогда я посмотрю, я посмотрю тогда, какой он игрок! Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни! Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что ни привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец, как покутили! Теперь даже, как вспомнишь… черт возьми! то есть как жаль, что ты не был. Вообрази, что в трех верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, сорок человек одних офицеров было в городе; как начали мы, братец, пить… Штабс-ротмистр Поцелуев… такой славный! усы, братец, такие! Бордо называет просто бурдашкой. «Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки!» Поручик Кувшинников… Ах, братец, какой премилый человек! вот уж, можно сказать, во всей форме кутила. Мы всё были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев! Нужно тебе знать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя брать: в вино мешает всякую дрянь: сандал, жженую пробку и даже бузиной, подлец, затирает; но зато

---

[158] Примечания: 158

Играть дублетом — «не отделять от выигрыша, а пускать вдвое». *(Из записной книжки Н.В. Гоголя.)*

уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку — ну просто, брат, находишься в эмпиреях. Шампанское у нас было такое — что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием: бонбон. Запах? — розетка и все что хочешь. Уж так покутили!.. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским, нет ни одной бутылки во всем городе, всё офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского.

— Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь, — заметил белокурый.

— Как честный человек говорю, что выпил, — отвечал Ноздрев.

— Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, что и десяти не выпьешь.

— Ну хочешь об заклад, что выпью!

— К чему же об заклад?

— Ну, поставь свое ружье, которое купил в городе.

— Не хочу.

— Ну да поставь, попробуй!

— И пробовать не хочу.

— Да, был бы ты без ружья, как без шапки. Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было. Я знаю, что ты бы не расстался с поручиком Кувшинниковым. Уж как бы вы с ним хорошо сошлись! Это не то что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот, братец, и в гальбик[159], и в банчишку, и во все что хочешь. Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя! Мижуев, смотри, вот судьба свела: ну что он мне или я ему? Он приехал бог знает откуда, я тоже здесь живу… А сколько было, брат, карет, и все это en gros[160]. В фортунку[161] крутнул: выиграл две банки помады, фарфоровую чашку и гитару; потом опять поставил один раз и прокрутил, канальство, еще сверх шесть целковых. А какой, если б ты знал, волокита Кувшинников! Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, рюши на ней,

---

[159] Примечания: 159
Гальбик — карточная игра.

[160] Примечания: 160
В большом количестве *(фр.)*.

[161] Примечания: 161
Фортунка — игра с помощью вертящегося кружка (фортунки).

и трюши, и черт знает чего не было… я думаю себе только: «черт возьми!» А Кувшинников, то есть это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты… Поверишь ли, простых баб не пропустил. Это он называет: попользоваться насчет клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собою один; хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь?

— А я к человечку к одному, — сказал Чичиков.

— Ну, что человечек, брось его! поедем ко мне!

— Нет, нельзя, есть дело.

— Ну вот уж и дело! уж и выдумал! Ах ты, Оподелдок Иванович!

— Право, дело, да еще и нужное.

— Пари держу, врешь! Ну скажи только, к кому едешь?

— Ну, к Собакевичу.

Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, и сосед за двумя дверями, в третьей комнате, вскидывается со сна, вытаращив очи и произнося: «Эк его разобрало!»

— Что ж тут смешного? — сказал Чичиков, от-

части недовольный таким смехом.

Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая:

— Ой, пощади, право, тресну со смеху!

— Ничего нет смешного: я дал ему слово, — сказал Чичиков.

— Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему, это просто жидомор! Ведь я знаю твой характер, ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец: ну к черту Собакевича, поедем ко мне! каким балыком попотчую! Пономарев, бестия, так раскланивался, говорит: «Для вас только, всю ярмарку, говорит, обыщите, не найдете такого». Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил: «Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники!» Смеется, бестия, поглаживая бороду. Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке. Ах, брат, вот позабыл тебе сказать: знаю, что ты теперь не отстанешь, но за десять тысяч не отдам, наперед говорю. Эй, Порфирий! — закричал он, подошедши к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то

из брички. — Эй, Порфирий, — кричал Ноздрев, — принеси-ка щенка! Каков щенок! — продолжал он, обращаясь к Чичикову. — Краденый, ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостырева… — Чичиков, впрочем, отроду не видел ни каурой кобылы, ни Хвостырева.

— Барин! ничего не хотите закусить? — сказала в это время, подходя к нему, старуха.

— Ничего. Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки; какая у тебя есть?

— Анисовая, — отвечала старуха.

— Ну, давай анисовой, — сказал Ноздрев.

— Давай уж и мне рюмку! — сказал белокурый.

— В театре одна актриса так, каналья, пела, как канарейка! Кувшинников, который сидел возле меня, — «Вот, говорит, брат, попользоваться бы насчет клубнички!» Одних балаганов, я думаю, было пятьдесят. Фенарди[162] четыре часа вертелся мельницею. — Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему за то низко поклонилась. — А, давай его сюда! — закричал он, увидевши Порфирия, вошедшего с щенком. Порфирий был одет, так же как и барин, в каком-то архалуке,

---

[162] Примечания: 162

Фенарди — известный в двадцатые годы XIX века акробат и фокусник.

стеганном на вате, но несколько позамасленней.

— Давай его, клади сюда на пол!

Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю.

— Вот щенок! — сказал Ноздрев, взявши его за спинку и приподнявши рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой.

— Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил, — сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка, — и не подумал вычесать его?

— Нет, я его вычесывал.

— А отчего же блохи?

— Не могу знать. Статься может, как-нибудь из брички поналезли.

— Врешь, врешь, и не воображал чесать; я думаю, дурак, еще своих напустил. Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши, на-ка пощупай рукою.

— Да зачем, я и так вижу: доброй породы! — отвечал Чичиков.

— Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши!

Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши:

— Да, хорошая будет собака.

— А нос, чувствуешь, какой холодный? возь-

ми-ка рукою.

Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши:

— Хорошее чутье.

— Настоящий мордаш[163], — продолжал Ноздрев, — я признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его!

Порфирий, взявши щенка под брюхо, унес его в бричку.

— Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне, пять верст всего, духом домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Собакевичу.

«А что ж, — подумал про себя Чичиков, — заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других, такой же человек, да еще и проигрался. Горазд он, как видно, на все, стало быть, у него даром можно кое-что выпросить».

— Изволь, едем, — сказал он, — но чур не задержать, мне время дорого.

— Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо, постой же, я тебя поцелую за это. — Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались. — И славно: втроем и покатим!

---

[163] Примечания: 163

Мордаш — порода собак, малорослых и большеголовых.

— Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти, — говорил белокурый, — мне нужно домой.

— Пустяки, пустяки, брат, не пущу.

— Право, жена будет сердиться; теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку.

— Ни, ни, ни! И не думай.

Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противуположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке; а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку, — словом, начнут гладью, а кончат гадью.

— Вздор! — сказал Ноздрев в ответ на какое-то представление белокурого, надел ему на голову картуз, и — белокурый отправился вслед за ними.

— За водочку, барин, не заплатили… — сказала старуха.

— А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятек! заплати, пожалуйста. У меня нет ни копейки

в кармане.

— Сколько тебе? — сказал зятек.

— Да что, батюшка, двугривенник всего, — сказала старуха.

— Врешь, врешь. Дай ей полтину[164], предовольно с нее.

— Маловато, барин, — сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностию и еще побежала впопыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка.

Приезжие уселись. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли свободно между собою разговаривать в продолжение дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колясчонка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком.

Так как разговор, который путешественники вели между собою, был не очень интересен для читателя, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в

---

[164] Примечания: 164

Двугривенник серебром больше пятидесяти копеек ассигнациями, которые предлагал дать Ноздрев.

нашей поэме.

Лицо Ноздрева, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за хороших товарищей и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе «ты». Дружбу заведут, кажется, навек: но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрев в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в осьмнадцать и двадцать: охотник погулять. Женитьба его ничуть не переменила, тем более что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши двух ребятишек, которые решительно ему были не нужны. За детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами; он уж в одно мгновенье ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, подобно всем таковым, стра-

стишку к картишкам. В картишки, как мы уже видели из первой главы, играл он не совсем безгрешно и чисто, зная много разных передержек и других тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою: или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густым и очень хорошим бакенбардам, так что возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежних. И что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, он чрез несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался как ни в чем не бывало, и он, как говорится, ничего, и они ничего.

Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не будет: или

нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или проврется самым жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, кажется, уж начал пули лить». Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах, с благородною наружностию, со звездой на груди[165], будет вам жать руку, разговорится с вами о предметах глубоких, вызывающих на размышления, а потом, смотришь, тут же, пред вашими глазами, и нагадит вам. И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди, разговаривающий о предметах, вызывающих на размышление, так что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более. Такую же странную страсть имел и Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходился, тому он скорее всех насаливал: распускал небылицу, глупее которой трудно выдумать,

[165] Примечания: 165
Звезда на груди — орден Станислава.

расстроивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем; напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: «Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь». Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все что ни есть на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь — все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть: это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупичатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду — насколько хватало денег. Впрочем, редко случалось, чтобы это было довезено домой; почти в тот же день спускалось оно все другому, счастливейшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка с кисетом

и мундштуком, а в другой раз и вся четверня со всем: с коляской и кучером, так что сам хозяин отправлялся в коротеньком сюртучке или архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот какой был Ноздрев! Может быть, назовут его характером избитым, станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы! несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком.

Между тем три экипажа подкатили уже к крыльцу дома Ноздрева. В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню; пол весь был обрызган белилами. Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеления. Гости слышали, как он заказывал повару обед; сообразив это, Чичиков, начинавший уже несколько чувствовать аппетит, увидел, что раньше пяти часов они не сядут за стол. Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать все,

что ни было у него на деревне, и в два часа с небольшим показал решительно все, так что ничего уж больше не осталось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, где видели двух кобыл, одну серую в яблоках, другую каурую, потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев божился, что заплатил десять тысяч.

— Десять тысяч ты за него не дал, — заметил зять. — Он и одной не стоит.

— Ей-богу, дал десять тысяч, — сказал Ноздрев.

— Ты себе можешь божиться, сколько хочешь, — отвечал зять.

— Ну, хочешь, побьемся об заклад! — сказал Ноздрев.

Об заклад зять не захотел биться.

Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже хорошие лошади. В этой же конюшне видели козла, которого, по старому поверью, почитали необходимым держать при лошадях, который, как казалось, был с ними в ладу, гулял под их брюхами, как у себя дома. Потом Ноздрев повел их глядеть волчонка, бывшего на привязи. «Вот волчонок! — сказал он. — Я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем!» Пошли

смотреть пруд, в котором, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку, в чем, однако ж, родственник не преминул усомниться. «Я тебе, Чичиков, — сказал Ноздрев, — покажу отличнейшую пару собак: крепость черных мясов[166] просто наводит изумление, щиток[167] — игла!» — и повел их к выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большим загороженным со всех сторон двором. Вошедши на двор, увидели там всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, черных с подпалинами, полво-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих… Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай[168], допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства; все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собаче-

[166] Примечания: 166

Черные мяса — ляжки у борзых.

[167] Примечания: 167

Щиток — острая морда у собак.

[168] Примечания: 168

Скосырь — хват, забияка; *черкай* — от слова «черкаться» (чертыхаться).

ев правúлами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук десять из них положили свои лапы Ноздреву на плеча. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул. Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов, — хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука; осмотрели и суку — сука, точно, была слепая. Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень, быстро вращающийся на веретене, — «порхающий», по чудному выражению русского мужика.

— А вот тут скоро будет и кузница! — сказал Ноздрев.

Немного прошедши, они увидели, точно, кузницу, осмотрели и кузницу.

— Вот на этом поле, — сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, — русаков такая гибель, что земли не видно; я сам своими руками поймал одного за задние ноги.

— Ну, русака ты не поймаешь рукою! — заме-

тил зять.

— А вот же поймал, нарочно поймал! — отвечал Ноздрев. — Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — границу, где оканчивается моя земля.

Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взборонеными нивами. Чичиков начинал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду, до такой степени место было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где большая, а где меньшая грязь. Прошедши порядочное расстояние, увидели, точно, границу, состоявшую из деревянного столбика и узенького рва.

— Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое.

— Да когда же этот лес сделался твоим? — спросил зять. — Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой.

— Да, я купил его недавно, — отвечал Ноздрев.

— Когда же ты успел его так скоро купить?

— Как же, я еще третьего дня купил, и дорого, черт возьми, дал.

— Да ведь ты был в то время на ярмарке.

— Эх ты, Софрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил.

— Да, ну разве приказчик! — сказал зять, но и тут усумнился и покачал головою.

Гости воротились тою же гадкою дорогою к дому. Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели только сабли и два ружья — одно в триста, а другое в восемьсот рублей. Зять, осмотревши, покачал только головою. Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показалась гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел пред ними кое-что. Шарманка играла не без приятности, но в средине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею: «Мальбруг в поход поехал», а «Мальбруг в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго

еще потом свистела она одна. Потом показались трубки — деревянные, глиняные, пенковые, обкуренные и необкуренные, обтянутые замшею и необтянутые, чубук с янтарным мундштуком, недавно выигранный, кисет, вышитый какою-то графинею, где-то на почтовой станции влюбившеюся в него по уши, у которой ручки, по словам его, были самой субдительной сюперфлю[169], — слово, вероятно означавшее у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыком, они сели за стол близ пяти часов. Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец — он сыпал перец, капуста ли попалась — совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох — словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выдет. Зато Ноздрев налег на вина: еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по другому госотерна, потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна.

[169] Примечания: 169

Суперфлю — (от *фр.* superflu) — рохля, кисляй. Здесь употреблено Ноздревым без всякого смысла.

Потом Ноздрев велел принести бутылку мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера, точно, даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что всё вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принесть какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургоньон и шампаньон вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана, и направо и налево, и зятю и Чичикову; Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он не много прибавлял. Это заставило его быть осторожным, и как только Ноздрев как-нибудь заговаривался или наливал зятю, он опрокидывал в ту же минуту свой стакан в тарелку. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе. Потом пили какой-то бальзам, носивший такое имя, которое даже трудно было припомнить, да и сам хозяин в другой раз назвал его уже другим именем. Обед давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости всё еще сидели за столом. Чичиков никак не

хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета. Все-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле, ежеминутно клевался носом. Заметив и сам, что находился не в надежном состоянии, он стал наконец отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут.

— И ни-ни! не пущу! — сказал Ноздрев.

— Нет, не обижай меня, друг мой, право, поеду, — говорил зять, — ты меня очень обидишь.

— Пустяки, пустяки! мы соорудим сию минуту банчишку.

— Нет, сооружай, брат, сам, а я не могу, жена будет в большой претензии, право, я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие. Нет, ты не держи меня!

— Ну ее, жену, к…! важное в самом деле дело станете делать вместе!

— Нет, брат! она такая почтенная и верная! Услуги оказывает такие… поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня; как честный

человек, поеду. Я тебя в этом уверяю по истинной совести.

— Пусть его едет, что в нем проку! — сказал тихо Чичиков Ноздреву.

— А и вправду! — сказал Ноздрев. — Смерть не люблю таких растепелей![170] — и прибавил вслух: — Ну, черт с тобою, поезжай бабиться с женою, фетюк![171]

— Нет, брат, ты не ругай меня фетюком, — отвечал зять, — я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает… до слез разбирает; спросит, что видел на ярмарке, нужно всё рассказать, такая, право, милая.

— Ну поезжай, ври ей чепуху! Вот картуз твой.

— Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться; этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь, она такая милая.

— Ну, так и убирайся к ней скорее!

— Да, брат, поеду, извини, что не могу остаться. Душой рад бы был, но не могу.

Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уже давно сидел в бричке, давно

---

[170] Примечания: 170

Растепель (от «растеплить») — рохля, кислый.

[171] Примечания: 171

Фетюк — слово, обидное для мужчины, происходит от *Ѳ* — буквы, почитаемой некоторыми неприличною буквою. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

выехал за ворота и перед ним давно были одни пустые поля. Должно думать, что жена не много слышала подробностей о ярмарке.

— Такая дрянь! — говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжавший экипаж. — Вон как потащился! конек пристяжной недурен, я давно хотел подцепить его. Да ведь с ним нельзя никак сойтиться. Фетюк, просто фетюк!

Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт.

— А что, брат, — говорил Ноздрев, прижавши бока колоды пальцами и несколько погнувши ее, так что треснула и отскочила бумажка. — Ну, для препровождения времени, держу триста рублей банку!

Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, и сказал, как бы вдруг припомнив:

— А! чтоб не позабыть: у меня к тебе просьба.

— Какая?

— Дай прежде слово, что исполнишь.

— Да какая просьба?

— Ну, да уж дай слово!

— Изволь.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Вот какая просьба: у тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии?

— Ну есть, а что?

— Переведи их на меня, на мое имя.

— А на что тебе?

— Ну да мне нужно.

— Да на что?

— Ну да уж нужно… уж это мое дело, — словом, нужно.

— Ну уж, верно, что-нибудь затеял. Признайся, что?

— Да что ж затеял? из этакого пустяка и затеять ничего нельзя.

— Да зачем же они тебе?

— Ох, какой любопытный! ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать!

— Да к чему ж ты не хочешь сказать?

— Да что же тебе за прибыль знать? ну, просто так, пришла фантазия.

— Так вот же: до тех пор, пока не скажешь, не сделаю!

— Ну вот видишь, вот уж и нечестно с твоей стороны: слово дал, да и на попятный двор.

— Ну, как ты себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь, на что.

«Что бы такое сказать ему?» — подумал Чичиков и после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он поместьев больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.

— Врешь, врешь! — сказал Ноздрев, не давши окончить. — Врешь, брат!

Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко и предлог довольно слаб.

— Ну, так я ж тебе скажу прямее, — сказал он, поправившись, — только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться; но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбиционные люди. Такая, право, комиссия: не рад, что связался, хотят непременно, чтоб у жениха было никак не меньше трехсот душ, а так как у меня целых почти полутораста крестьян недостает…

— Ну врешь! врешь! — закричал опять Ноздрев.

— Ну вот уж здесь, — сказал Чичиков, — ни вот на столько не солгал, — и показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть.

— Голову ставлю, что врешь!

— Однако ж это обидно! что же я такое в самом деле! почему я непременно лгу?

— Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе! Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве.

Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся.

— Ей-богу, повесил бы, — повторил Ноздрев, — я тебе говорю это откровенно, не с тем чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю.

— Всему есть границы, — сказал Чичиков с чувством достоинства. — Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы, — и потом присовокупил: — Не хочешь подарить, так продай.

— Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них?

— Эх, да ты ведь тоже хорош! смотри ты! что они у тебя бриллиантовые, что ли?

— Ну, так и есть. Я уж тебя знал.

— Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское по-

буждение! Ты бы должен просто отдать мне их.

— Ну, послушай, чтоб доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник[172], я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу.

— Помилуй, на что ж мне жеребец? — сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением.

— Как на что? да ведь я за него заплатил десять тысяч, а тебе отдаю за четыре.

— Да на что мне жеребец? завода я не держу.

— Да послушай, ты не понимаешь: ведь я с тебя возьму теперь всего только три тысячи, а остальную тысячу ты можешь заплатить мне после.

— Да не нужен мне жеребец, бог с ним!

— Ну, купи каурую кобылу.

— И кобылы не нужно.

— За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только две тысячи.

— Да не нужны мне лошади.

— Ты их продашь, тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше.

— Так лучше ж ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь втрое.

---

[172] Примечания: 172

Скалдырник — скряга.

— Я знаю, что выиграю, да мне хочется, чтобы и ты получил выгоду.

Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от каурой кобылы.

— Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает! Брудастая[173], с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребр уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет.

— Да зачем мне собаки? я не охотник.

— Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если уж не хочешь собак, так купи у меня шарманку, чудная шарманка; самому, как честный человек, обошлась в полторы тысячи: тебе отдаю за девятьсот рублей.

— Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы, тащася с ней по дорогам, выпрашивать деньги.

— Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган; посмотри нарочно: вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще! — Здесь Ноздрев, схвативши за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату, и как тот ни упирался

---

[173] Примечания: 173

Брудастая — «собака с усами и торчащей шерстью». *(Из записной книжки Н.В. Гоголя.)*

ногами в пол и ни уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбруг. — Когда ты не хочешь на деньги, так вот что, слушай: я тебе дам шарманку и все, сколько ни есть у меня, мертвые души, а ты мне дай свою бричку и триста рублей придачи.

— Ну вот еще, а я-то в чем поеду?

— Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее! Ты ее только перекрасишь, и будет чудо бричка.

«Эк его неугомонный бес как обуял!» — подумал про себя Чичиков и решился во что бы то ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на непостижимую уму бочковатость ребр и комкость лап.

— Да ведь бричка, шарманка и мертвые души, всё вместе!

— Не хочу, — сказал еще раз Чичиков.

— Отчего ж ты не хочешь?

— Оттого, что просто не хочу, да и полно.

— Экой ты, право, такой! с тобой, как я вижу, нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами, такой, право!.. Сейчас видно, что двуличный человек!

— Да что же я, дурак, что ли? ты посуди сам:

зачем же приобретать вещь, решительно для меня ненужную?

— Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая, право, ракалия! Ну, послушай, хочешь метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту, шарманку тоже.

— Ну, решаться в банк значит подвергаться неизвестности, — говорил Чичиков и между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты. Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый крап глядел весьма подозрительно.

— Отчего ж неизвестности? — сказал Ноздрев. — Никакой неизвестности! будь только на твоей стороне счастие, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вон она! экое счастье! — говорил он, начиная метать для возбуждения задору. — Экое счастье! экое счастье! вон: так и колотит! вот та проклятая девятка, на которой я всё просадил! Чувствовал, что продаст, да уже, зажмурив глаза, думаю себе: «Черт тебя побери, продавай, проклятая!»

Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить.

— Отчего ж ты не хочешь играть? — сказал

Ноздрев.

— Ну оттого, что не расположен. Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть.

— Отчего ж не охотник?

Чичиков пожал плечами и прибавил:

— Потому что не охотник.

— Дрянь же ты!

— Что ж делать? так Бог создал.

— Фетюк просто! Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким… никакого прямодушия, ни искренности! совершенный Собакевич, такой подлец!

— Да за что же ты бранишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этого вздору.

— Черта лысого получишь! хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же! Хоть три царства давай, не отдам. Такой шильник[174], печник гадкий! С этих пор с тобой никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть их едят

---

[174] Примечания: 174

Шильник — плут.

одно сено.

Последнего заключения Чичиков никак не ожидал.

— Лучше б ты мне просто на глаза не показывался! — сказал Ноздрев.

Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гость и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которое было то, что называют кислятина во всех отношениях. После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель:

— Вот тебе постель! Не хочу и доброй ночи желать тебе!

Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренне досадовал на себя, бранил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время. Но еще более бранил себя за то, что заговорил с ним о деле, поступил неосторожно, как ребенок, как дурак: ибо дело совсем не такого роду, чтобы быть вверену Ноздреву… Ноздрев человек-дрянь, Ноздрев может наврать, прибавить, распустить черт знает что, выйдут еще какие-нибудь сплетни — нехорошо, нехорошо. «Просто дурак я», — говорил он сам

себе. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие пребойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А, чтоб вас черт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате, с трубкою в зубах.

Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось.

— Так себе, — отвечал Чичиков весьма сухо.

— А я, брат, — говорил Ноздрев, — такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать, и во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь: снилось, что меня высекли, ей-ей! и, вообрази, кто? Вот ни за что не угадаешь: штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым.

«Да, — подумал про себя Чичиков, — хорошо бы, если б тебя отодрали наяву».

— Ей-богу! да пребольно! Проснулся: черт возьми, в самом деле что-то почесывается, — верно, ведьмы блохи. Ну, ты ступай теперь одевайся, я к

тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика.

Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкою рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина; кажется, половая щетка не притрогивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирюльным вывескам, или выстриженных под гребенку.

— Ну, так как же думаешь? — сказал Ноздрев, немного помолчавши. — Не хочешь играть на души?

— Я уже сказал тебе, брат, что не играю; купить — изволь, куплю.

— Продать я не хочу, это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы с черт знает чего. В банчик — другое дело. Прокинем хоть талию![175]

---

[175] Примечания: 175
Талия — карточная игра.

— Я уж сказал, что нет.

— А меняться не хочешь?

— Не хочу.

— Ну, послушай, сыграем в шашки, выиграешь — твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии. Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу.

— Напрасен труд, я не буду играть.

— Да ведь это не в банк; тут никакого не может быть счастья или фальши: все ведь от искусства; я даже тебя предваряю, что я совсем не умею играть, разве что-нибудь мне дашь вперед.

«Сем-ка я, — подумал про себя Чичиков, — сыграю с ним в шашки! В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться».

— Изволь, так и быть, в шашки сыграю.

— Души идут в ста рублях!

— Зачем же? довольно, если пойдут в пятидесяти.

— Нет, что ж за куш пятьдесят? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам.

— Ну, изволь! — сказал Чичиков.

— Сколько же ты мне дашь вперед? — сказал Ноздрев.

— Это с какой стати? Конечно, ничего.

— По крайней мере, пусть будут мои два хода.

— Не хочу, я сам плохо играю.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же самое время подвинул обшлагом рукава и другую шашку.

— Давненько не брал я в руки!.. Э, э! это, брат, что? отсади-ка ее назад! — говорил Чичиков.

— Кого?

— Да шашку-то, — сказал Чичиков и в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки; откуда она взялась, это один только Бог знал. — Нет, — сказал Чичиков, вставши из-за стола, — с тобой нет никакой возможности играть! Этак не ходят, по три шашки вдруг.

— Отчего ж по три? Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину, изволь.

— А другая-то откуда взялась?

— Какая другая?

— А вот эта, что пробирается в дамки?

— Вот тебе на, будто не помнишь!

— Нет, брат, я все ходы считал и всё помню; ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где!

— Как, где место? — сказал Ноздрев, покраснев-ши. — Да ты, брат, как я вижу, сочинитель!

— Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно.

— За кого ж ты меня почитаешь? — говорил Ноздрев. — Стану я разве плутовать?

— Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор никогда не буду.

— Нет, ты не можешь отказаться, — говорил Ноздрев, горячась, — игра начата!

— Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку.

— Нет, врешь, ты этого не можешь сказать!

— Нет, брат, сам ты врешь!

— Я не плутовал, а ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию!

— Этого ты меня не заставишь сделать, — сказал Чичиков хладнокровно и, подошедши к доске, смешал шашки.

Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил шага два назад.

— Я тебя заставлю играть! Это ничего, что ты смешал шашки, я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были.

— Нет, брат, дело кончено, я с тобою не стану играть.

— Так ты не хочешь играть?

— Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть.

— Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть? — говорил Ноздрев, подступая все ближе.

— Не хочу! — сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко.

Эта предосторожность была весьма у места, потому что Ноздрев размахнулся рукой… и очень бы могло статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестием; но, счастливо отведши удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал его крепко.

— Порфирий, Павлушка! — кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться.

Услыша эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены и вместе с тем чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это

самое время вошел Порфирий и с ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно.

— Так ты не хочешь оканчивать партии? — говорил Ноздрев. — Отвечай мне напрямик!

— Партии нет возможности оканчивать, — говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, а Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо, но из комнаты не было никакой возможности выбраться: в дверях стояли два дюжих крепостных дурака.

— Так ты не хочешь доканчивать партии? — повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне.

— Если бы ты играл, как прилично честному человеку. Но теперь не могу.

— А! так ты не можешь, подлец! когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь! Бейте его! — кричал он исступленно, обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук. Чичиков стал бледен как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука.

— Бейте его! — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную

крепость. — Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» — какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, все пошло кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на великое дело. «Ребята, вперед!» — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его, уже, зажмурив глаза, ни жив ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего

хозяина, и бог знает чего бы ни случилось с ним; но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно стук колес подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно: кто-то, с усами, в полувоенном сюртуке, вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный.

— Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев? — сказал незнакомец, посмотревши в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения.

— Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить? — сказал Ноздрев, подходя к нему ближе.

— Капитан-исправник.

— А что вам угодно?

— Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу.

— Что за вздор, по какому делу? — сказал Ноздрев.

— Вы были замешаны в историю, по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде.

— Вы врете! я и в глаза не видал помещика Максимова!

— Милостивый государь! позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне.

Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку да по-за спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.

Глава пятая

Герой наш трухнул, однако ж, порядком. Хотя бричка мчалась во всю пропалую и деревня Ноздрева давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками, но он все еще поглядывал назад со страхом, как бы ожи-

дая, что вот-вот налетит погоня. Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал приложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке. «Эк какую баню задал! смотри ты какой!» Тут много было посулено Ноздреву всяких нелегких и сильных желаний; попались даже и нехорошие слова. Что ж делать? Русский человек, да еще и в сердцах. К тому ж дело было совсем нешуточное. «Что ни говори, — сказал он сам себе, — а не подоспей капитан-исправник, мне бы, может быть, не далось бы более и на свет божий взглянуть! Пропал бы, как волдырь на воде, без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени!» Герой наш очень заботился о своих потомках.

«Экой скверный барин! — думал про себя Селифан. — Я еще не видал такого барина. То есть плюнуть бы ему за это! Ты лучше человеку не дай есть, а коня ты должен накормить, потому что конь любит овес. Это его продовольство: что, примером, нам кошт, то для него овес, он его продовольство».

Кони тоже, казалось, думали невыгодно об Ноздреве: не только гнедой и Заседатель, но и сам чубарый был не в духе. Хотя ему на часть и

доставался всегда овес похуже и Селифан не иначе всыпал ему в корыто, как сказавши прежде: «Эх ты, подлец!» — но, однако ж, это все-таки был овес, а не простое сено, он жевал его с удовольствием и часто засовывал длинную морду свою в корытца к товарищам поотведать, какое у них было продовольствие, особливо когда Селифана не было в конюшне, но теперь одно сено… нехорошо; все были недовольны.

Но скоро все недовольные были прерваны среди излияний своих внезапным и совсем неожиданным образом. Все, не исключая и самого кучера, опомнились и очнулись только тогда, когда на них наскакала коляска с шестериком коней и почти над головами их раздалися крик сидевших в коляске дам, брань и угрозы чужого кучера: «Ах ты мошенник эдакой; ведь я тебе кричал в голос: сворачивай, ворона, направо! Пьян ты, что ли?» Селифан почувствовал свою оплошность, но так как русский человек не любит сознаться перед другим, что он виноват, то тут же вымолвил он, приосанясь: «А ты что так расскакался? глаза-то свои в кабаке заложил, что ли?» Вслед за сим он принялся отсаживать назад бричку, чтобы высвободиться таким образом из чужой упряжи, но не тут-то было, все перепуталось. Чубарый с

любопытством обнюхивал новых своих приятелей, которые очутились по обеим сторонам его. Между тем сидевшие в коляске дамы глядели на все это с выражением страха в лицах. Одна была старуха, другая молоденькая, шестнадцатилетняя, с золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головке. Хорошенький овал лица ее круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какою-то прозрачною белизною, когда свежее, только что снесенное, оно держится против света в смуглых руках испытующей его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца; ее тоненькие ушки также сквозили, рдея проникавшим их теплым светом. При этом испуг в открытых, остановившихся устах, на глазах слезы — все это в ней было так мило, что герой наш глядел на нее несколько минут, не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад, чужой кучер сделал то же, лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись, переступивши постромки. При этом обстоятельстве чубарому коню так понравилось новое знакомство, что он никак не хотел

выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами, и, положивши свою морду на шею своего нового приятеля, казалось, что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно, чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами.

На такую сумятицу успели, однако ж, собраться мужики из деревни, которая была, к счастию, неподалеку. Так как подобное зрелище для мужика сущая благодать, все равно что для немца газеты или клуб, то скоро около экипажа накопилась их бездна, и в деревне остались только старые бабы да малые ребята. Постромки отвязали; несколько тычков чубарому коню в морду заставили его попятиться; словом, их разрознили и развели. Но досада ли, которую почувствовали приезжие кони за то, что разлучили их с приятелями, или просто дурь, только, сколько ни хлыстал их кучер, они не двигались и стояли как вкопанные. Участие мужиков возросло до невероятной степени. Каждый наперерыв совался с советом: «Ступай, Андрюшка, проведи-ка ты пристяжного, что с правой стороны, а дядя Митяй пусть сядет верхом на коренного! Садись, дядя Митяй!» Сухощавый и длинный дядя Митяй с рыжей бородой взобрался на коренного коня и

сделался похожим на деревенскую колокольню, или, лучше, на крючок, которым достают воду в колодцах. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было, ничего не пособил дядя Митяй. «Стой, стой! — кричали мужики. — Садись-ка ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядет дядя Миняй!» Дядя Миняй, широкоплечий мужик с черною, как уголь, бородою и брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка, с охотою сел на коренного, который чуть не пригнулся под ним до земли. «Теперь дело пойдет! — кричали мужики. — Накаливай, накаливай его! пришпандорь кнутом вон того, того, солового, что он корячится, как корамора!»[176] Но, увидевши, что дело не шло и не помогло никакое накаливанье, дядя Митяй и дядя Миняй сели оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконец кучер, потерявши терпение, прогнал и дядю Митяя и дядю Миняя, и хорошо сделал, потому что от лошадей пошел такой пар, как будто бы они отхватали не переводя духа

[176] Примечания: 176

Корамора — большой, длинный, вялый комар; иногда залетает в комнату и торчит где-нибудь одиночкой на стене. К нему спокойно можно подойти и ухватить его за ногу, в ответ на что он только топырится или корячится, как говорит народ. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

станцию. Он дал им минуту отдохнуть, после чего они пошли сами собою. Во все продолжение этой проделки Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на виденье, и опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных и неопрятно-плеснеющих низменных рядов ее или среди однообразно-хладных и скучно-опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явленье, не похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде поперек каким бы ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме

сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом показалась в нашей повести и так же скрылась. Попадись на ту пору вместо Чичикова какой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он или просто только что начавший жизненное поприще, — и боже! чего бы не проснулось, не зашевелилось, не заговорило в нем! Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи в даль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры, и распеканья за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и все, что ни есть в мире.

Но герой наш уже был средних лет и осмотрительно-охлажденного характера. Он тоже задумался и думал, но положительнее, не так безотчетны и даже отчасти очень основательны были его мысли. «Славная бабешка! — сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку. — Но ведь что, главное, в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятного.

Она теперь как дитя, все в ней просто, она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. Из нее все можно сделать, она может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выдет дрянь! Вот пусть-ка только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнят всяким бабьем, что сам родной отец не узнает. Откуда возьмется и надутость и чопорность, станет ворочаться по вытверженным наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем и как, и сколько нужно говорить, как на кого смотреть, всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно, запутается наконец сама, и кончится тем, что станет наконец врать всю жизнь, и выдет просто черт знает что!» Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил: «А любопытно бы знать, чьих она? что, как ее отец? богатый ли помещик почтенного нрава или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на службе? Ведь если, положим, этой девушке да придать тысячонок двести приданого, из нее бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного человека». Двести тысячонок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он внутренно начал досадовать

на самого себя, зачем в продолжение хлопотни около экипажей не разведал от форейтора или кучера, кто такие были проезжающие. Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету.

Деревня показалась ему довольно велика; два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и слева; посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми или, лучше, дикими стенами, — дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин — удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой.

Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирчёных[177] стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихоструйного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались. На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником

[177] Примечания: 177

Кирчёная изба — «вытесанная, когда бревна стесаны в гладкую стену». *(Из записной книжки Н.В. Гоголя.)*

и ввел Чичикова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто: «Прошу!» — и повел его во внутренние жилья.

Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со своего плеча: хватила топором раз — вышел нос, хватила в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: «Живет!» Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и в силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! совершенный

медведь! Нужно же такое странное сближение: его даже звали Михайлом Семеновичем. Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех и тот же час спросил: «Не побеспокоил ли я вас?» Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства.

Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказавши опять: «Прошу!» Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Миаули, Канари[178]. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять

[178] Примечания: 178

Маврокордато, Миаули, Канари — греческие полководцы в период национальной войны за освобождение Греции от турецкого ига (1821–1828).

следовала героиня греческая Бобелина[179], которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича. Гость и хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в гостиной отворилась и вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма.

— Это моя Феодулия Ивановна! — сказал Собакевич.

Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом.

— Душенька, рекомендую тебе, — продолжал Собакевич, — Павел Иванович Чичиков! У губернатора и почтмейстера имел честь познакомиться.

---

[179] Примечания: 179

Бобелина — греческая партизанка, героиня той же войны.

Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: «Прошу!» — и сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью.

Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Канари с толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда в клетке.

Почти в течение целых пяти минут все хранили молчание; раздавался только стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было, — все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома; в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства, — словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или: «И я тоже очень похож на Собакевича!»

— Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича, — сказал наконец Чичиков, видя, что никто не располагается начи-

нать разговора, — в прошедший четверг. Очень приятно провели там время.

— Да, я не был тогда у председателя, — отвечал Собакевич.

— А прекрасный человек!

— Кто такой? — сказал Собакевич, глядя на угол печи.

— Председатель.

— Ну, может быть, это вам так показалось: он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил.

Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал:

— Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор какой превосходный человек!

— Губернатор превосходный человек?

— Да, не правда ли?

— Первый разбойник в мире!

— Как, губернатор разбойник? — сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники. — Признаюсь, этого я бы никак не подумал, — продолжал он. — Но позвольте, однако же, заметить: поступки его совершенно не такие, напротив, скорее даже мягкости в нем много. — Тут он привел в до-

казательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.

— И лицо разбойничье! — сказал Собакевич. — Дайте ему только нож да выпустите его на большую дорогу — зарежет, за копейку зарежет! Он да еще вице-губернатор — это Гога и Магога![180]

«Нет, он с ними не в ладах, — подумал про себя Чичиков. — А вот заговорю я с ним о полицеймейстере: он, кажется, друг его».

— Впрочем, что до меня, — сказал он, — мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакой характер прямой, открытый; в лице видно что-то простосердечное.

— Мошенник! — сказал Собакевич очень хладнокровно, — продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.

После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать, и вспомнил,

---

[180] Примечания: 180

Гога и Магога — князь Гог, предводитель разбойничьего народа Магог *(библ.).*

что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться.

— Что ж, душенька, пойдем обедать, — сказала Собакевичу его супруга.

— Прошу! — сказал Собакевич.

Засим, подошедши к столу, где была закуска, гость и хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую; впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на четыре прибора. На четвертое место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме: что-то без чепца, около тридцати лет, в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель и думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст; а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто: ого-го!

— Щи, моя душа, сегодня очень хороши! — ска-

зал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. — Эдакой няни, — продолжал он, обратившись к Чичикову, — вы не будете есть в городе, там вам черт знает что подадут!

— У губернатора, однако ж, недурен стол, — сказал Чичиков.

— Да знаете ли, из чего это все готовится? вы есть не станете, когда узнаете.

— Не знаю, как приготовляется, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны.

— Это вам так показалось. Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца.

— Фу! какую ты неприятность говоришь, — сказала супруга Собакевича.

— А что ж, душенька, так у них делается, я не виноват, так у них у всех делается. Все что ни есть ненужного, что Акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они его в суп! да в суп! туда его!

— Ты за столом всегда эдакое расскажешь! —

возразила опять супруга Собакевича.

— Что ж, душа моя, — сказал Собакевич, — если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа. Возьмите барана, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — это бараний бок с кашей! Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая суток по четыре на рынке валяется! Это все выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это! Выдумали диету, лечить голодом! Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят! Нет, это всё не то, это всё выдумки, это всё… — Здесь Собакевич даже сердито покачал головою. — Толкуют: просвещенье, просвещенье, а это просвещенье — фук! Сказал бы и другое слово, да вот только что за столом неприлично. У меня не так. У меня когда свинина — всю свинью давай на стол, баранина — всего барана тащи, гусь — всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует. — Собакевич подтвердил это делом: он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки.

«Да, — подумал Чичиков, — у этого губа не дура».

— У меня не так, — говорил Собакевич, вытирая салфеткою руки, — у меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина: восемьсот душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха!

— Кто такой этот Плюшкин? — спросил Чичиков.

— Мошенник, — отвечал Собакевич. — Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом.

— Вправду! — подхватил с участием Чичиков. — И вы говорите, что у него, точно, люди умирают в большом количестве?

— Как мухи мрут.

— Неужели как мухи! А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?

— В пяти верстах.

— В пяти верстах! — воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. — Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?

— Я вам даже не советую дороги знать к этой собаке! — сказал Собакевич. — Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем

к нему.

— Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только, что интересуюсь познанием всякого рода мест, — отвечал на это Чичиков.

За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом в теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился; но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюдечке варенье — ни груша, ни слива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вышла, с тем чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только покряхтывал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами:

— Я хотел было поговорить с вами об одном дельце.

— Вот еще варенье, — сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком, — редька, варенная в меду!

— А вот мы его после! — сказал Собакевич. — Ты ступай теперь в свою комнату, мы с Павлом Ивановичем скинем фраки, маленько приотдохнем!

Хозяйка уже изъявила было готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал: «Ничего, мы отдохнем в креслах», — и хозяйка ушла.

Собакевич слегка принагнул голову, приготовляясь слышать, в чем было дельце.

Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются… Собакевич все слушал, наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного, ревизские души, окончивши жизненное поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтоб таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложность и без того уже весьма сложного государственного механизма… Собакевич все слушал, наклонивши голову, — и что, однако же, при всей справедливости этой меры

она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их взносить подати так, как бы за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность. Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими.

Собакевич слушал все по-прежнему, нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности.

— Итак?.. — сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения ответа.

— Вам нужно мертвых душ? — спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.

— Да, — отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши: — несуществующих.

— Найдутся, почему не быть… — сказал Собакевич.

— А если найдутся, то вам, без сомнения… будет приятно от них избавиться?

— Извольте, я готов продать, — сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупщик, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.

«Черт возьми, — подумал Чичиков про себя, — этот уж продает прежде, чем я заикнулся!» — и проговорил вслух:

— А, например, как же цена? хотя, впрочем, это такой предмет… что о цене даже странно…

— Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сту рублей за штуку! — сказал Собакевич.

— По сту! — вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался, или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.

— Что ж, разве это для вас дорого? — произнес Собакевич и потом прибавил: — А какая бы, однако ж, ваша цена?

— Моя цена! Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю с своей стороны, положа руку на сердце: по восьми гривен за душу, это самая красная цена!

— Эк куда хватили — по восьми гривенок!

— Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя.

— Ведь я продаю не лапти.

— Однако ж согласитесь сами: ведь это тоже и не люди.

— Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вам продал по двугривенному ревизскую душу?

— Но позвольте: зачем вы их называете ревизскими, ведь души-то самые давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по полтора рубли, извольте, дам, а больше не могу.

— Стыдно вам и говорить такую сумму! вы торгуйтесь, говорите настоящую цену!

— Не могу, Михаил Семенович, поверьте моей совести, не могу: чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать, — говорил Чичиков, однако ж по полтинке еще прибавил.

— Да чего вы скупитесь? — сказал Собакевич. — Право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души; а у меня что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите:

вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час, — прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!

Чичиков открыл рот, с тем чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова:

— А Пробка Степан, плотник? я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!

Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете; но Собакевича, как видно, пронесло: полились такие потоки речей, что только нужно было слушать:

— Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин.

— Но позвольте, — сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было, — зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это всё народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.

— Да, конечно, мертвые, — сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: — Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди.

— Да всё же они существуют, а это ведь мечта.

— Ну нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете: машинища такая, что в эту комнату не войдет; нет, это не мечта! А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади; хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!

Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим на стене портретам Багратиона и Колокотрони[181], как обыкновенно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг,

---

[181] Примечания: 181

Колокотрони — участник национально-освободительного движения в Греции в 20-х гг. XIX в.

неизвестно почему, обратится не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого знает, что не услышит ни ответа, ни мнения, ни подтверждения, но на которого, однако ж, так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники; и несколько смешавшийся в первую минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надлежащее приличие, и потом уже уйти прочь.

— Нет, больше двух рублей я не могу дать, — сказал Чичиков.

— Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте — по семидесяти пяти рублей за душу, только ассигнациями, право, только для знакомства!

«Что он в самом деле, — подумал про себя Чичиков, — за дурака, что ли, принимает меня?» — и прибавил потом вслух:

— Мне странно, право: кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия, иначе я не могу себе объяснить… Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет про-

сто фу-фу. Что ж он стоит? кому нужен?

— Да вот вы же покупаете, стало быть, нужен.

Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать. Он стал было говорить про какие-то обстоятельства фамильные и семейственные, но Собакевич отвечал просто:

— Мне не нужно знать, какие у вас отношения; я в дела фамильные не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души, я и продаю вам, и будете раскаиваться, что не купили.

— Два рублика, — сказал Чичиков.

— Эк, право, затвердила сорока Якова одно про всякого, как говорит пословица; как наладили на два, так не хотите с них и съехать. Вы давайте настоящую цену!

«Ну, уж черт его побери, — подумал про себя Чичиков, — по полтине ему прибавлю, собаке, на орехи!»

— Извольте, по полтине прибавлю.

— Ну, извольте, и я вам скажу тоже мое последнее слово: пятьдесят рублей! право, убыток себе, дешевле нигде не купите такого хорошего народа!

«Экой кулак!» — сказал про себя Чичиков и потом продолжал вслух с некоторою досадою:

— Да что в самом деле… как будто точно сурьез-

ное дело; да я в другом месте нипочем возьму. Еще мне всякий с охотой сбудет их, чтобы только поскорей избавиться. Дурак разве станет держать их при себе и платить за них подати!

— Но знаете ли, что такого рода покупки, я это говорю между нами, по дружбе, не всегда позволительны, и расскажи я или кто иной — такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства.

«Вишь, куды метит, подлец!» — подумал Чичиков и тут же произнес с самым хладнокровным видом:

— Как вы себе хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так, по наклонности собственных мыслей. Два с полтиною не хотите — прощайте!

«Его не собьешь, неподатлив!» — подумал Собакевич.

— Ну, бог с вами, давайте по тридцати и берите их себе!

— Нет, я вижу, вы не хотите продать, прощайте!

— Позвольте, позвольте! — сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу, ибо герой наш позабыл поберечься, в наказанье

за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге.

— Прошу прощенья! я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйте, садитесь сюда! Прошу! — Здесь он усадил его в кресла с некоторою даже ловкостию, как такой медведь, который уже побывал в руках, умеет и перевертываться, и делать разные штуки на вопросы: «А покажи, Миша, как бабы парятся» или: «А как, Миша, малые ребята горох крадут?»

— Право, я напрасно время трачу, мне нужно спешить.

— Посидите одну минуточку, я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово. — Тут Собакевич подсел поближе и сказал ему тихо на ухо, как будто секрет: — Хотите угол?

— То есть двадцать пять рублей? Ни, ни, ни, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю.

Собакевич замолчал. Чичиков тоже замолчал. Минуты две длилось молчание. Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку.

— Какая ж ваша будет последняя цена? — сказал наконец Собакевич.

— Два с полтиною.

— Право, у вас душа человеческая все равно что пареная репа. Уж хоть по три рубли дайте!

— Не могу.

— Ну, нечего с вами делать, извольте! Убыток, да уж нрав такой собачий: не могу не доставить удовольствия ближнему. Ведь, я чай, нужно и купчую совершить, чтоб все было в порядке.

— Разумеется.

— Ну вот то-то же, нужно будет ехать в город.

Так совершилось дело. Оба решили, чтобы завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью. Чичиков попросил списочка крестьян. Собакевич согласился охотно и тут же, подошед к бюро, собственноручно принялся выписывать всех не только поименно, но даже с означением похвальных качеств.

А Чичиков от нечего делать занялся, находясь позади, рассматриваньем всего просторного его оклада. Как взглянул он на его спину, широкую, как у вятских приземистых лошадей, и на ноги его, походившие на чугунные тумбы, которые ставят на тротуарах, не мог не воскликнуть внутренно: «Эк наградил-то тебя Бог! вот уж точно, как говорят, неладно скроен, да крепко сшит!.. Родился ли ты уж так медведем, или омедведила тебя захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками, и ты чрез них сделался то, что называют человек-кулак? Но нет: я думаю, ты

все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы в ход и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье. Вся разница в том, что теперь ты упишешь полбараньего бока с кашей, закусивши ватрушкою в тарелку, а тогда бы ты ел какие-нибудь котлетки с трюфелями. Да вот теперь у тебя под властью мужики: ты с ними в ладу и, конечно, их не обидишь, потому что они твои, тебе же будет хуже; а тогда бы у тебя были чиновники, которых бы ты сильно пощелкивал, смекнувши, что они не твои же крепостные, или грабил бы ты казну! Нет! кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь! А разогни кулаку один или два пальца, выдет еще хуже. Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки, даст он знать потом, занявши место повиднее, всем тем, которые в самом деле узнали какую-нибудь науку. Да еще, пожалуй, скажет потом: «Дай-ка себя покажу!» Да такое выдумает мудрое постановление, что многим придется солоно… Эх, если бы все кулаки!..»

— Готова записка, — сказал Собакевич, оборотившись.

— Готова? Пожалуйте ее сюда! — Он пробежал ее глазами и подивился аккуратности и точности: не только было обстоятельно прописано ремесло, звание, лета и семейное состояние, но

даже на полях находились особенные отметки насчет поведения, трезвости, — словом, любо было глядеть.

— Теперь пожалуйте же задаточек! — сказал Собакевич.

— К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги.

— Все, знаете, так уж водится, — возразил Собакевич.

— Не знаю, как вам дать, я не взял с собою денег. Да, вот десять рублей есть.

— Что ж десять! Дайте, по крайней мере, хоть пятьдесят!

Чичиков стал было отговариваться, что нет; но Собакевич так сказал утвердительно, что у него есть деньги, что он вынул еще бумажку, сказавши:

— Пожалуй, вот вам еще пятнадцать, итого двадцать пять. Пожалуйте только расписку.

— Да на что ж вам расписка?

— Все, знаете, лучше расписку. Не ровен час, все может случиться.

— Хорошо, дайте же сюда деньги!

— На что ж деньги? У меня вот они в руке! как только напишете расписку, в ту же минуту их возьмете.

— Да позвольте, как же мне писать расписку? прежде нужно видеть деньги.

Чичиков выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, приблизившись к столу и накрывши их пальцами левой руки, другою написал на лоскутке бумаги, что задаток двадцать пять рублей государственными ассигнациями за проданные души получил сполна. Написавши записку, он пересмотрел еще раз ассигнации.

— Бумажка-то старенькая! — произнес он, рассматривая одну из них на свете, — немножко разорвана, ну да между приятелями нечего на это глядеть.

«Кулак, кулак! — подумал про себя Чичиков, — да еще и бестия в придачу!»

— А женского пола не хотите?

— Нет, благодарю.

— Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку.

— Нет, в женском поле не нуждаюсь.

— Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы нет закона: кто любит попа, а кто попадью, говорит пословица.

— Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами, — говорил Чичиков, прощаясь.

— Да уж само собою разумеется. Третьего сюда нечего мешать; что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте! Благодарю, что посетили; прошу и вперед не забывать: коли выберется свободный часик, приезжайте пообедать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу.

«Да, как бы не так! — думал про себя Чичиков, садясь в бричку. — По два с полтиною содрал за мертвую душу, чертов кулак!»

Он был недоволен поведением Собакевича. Все-таки, как бы то ни было, человек знакомый, и у губернатора, и у полицеймейстера видались, а поступил как бы совершенно чужой, за дрянь взял деньги! Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет.

— Подлец, до сих пор еще стоит! — проговорил он сквозь зубы и велел Селифану, поворотивши к крестьянским избам, отъехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали, как мухи, но не хотелось, чтобы

Собакевич знал про это. Когда бричка была уже на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, поднявши где-то на дороге претолстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу.

— Эй, борода! а как проехать отсюда к Плюшкину, так чтоб не мимо господского дома?

Мужик, казалось, затруднился сим вопросом.

— Что ж, не знаешь?

— Нет, барин, не знаю.

— Эх ты! А и седым волосом еще подернуло! скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей?

— А! заплатанной, заплатанной! — вскрикнул мужик.

Было им прибавлено и существительное к слову «заплатанной», очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург,

и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, — одной чертой обрисован ты с ног до головы!

Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами, рассыпано на святой, благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в вы-

раженье его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познаньем жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.

Глава шестая

Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, — любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатленье какой-нибудь заметной особенности, — все останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный дом, известной архитектуры с половиною фальшивых окон, один-одинешенек торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских обывательских домиков, круглый ли

правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленною, как снег, новою церковью, рынок ли, франт ли уездный, попавшийся среди города, — ничто не ускользало от свежего тонкого вниманья, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, мелькавшие из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфект, глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного бог знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке[182] на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник пройди мимо — я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей, и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в монистах или мальчик в толстой куртке прине-

[182] Примечания: 182
Сибирка — кафтан с перехватом и сборками.

сет уже после супа сальную свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или широкую темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали сквозь древесную зелень красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады и он покажется весь с своею, тогда, увы! вовсе не пошлою, наружностью; и по нем старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшею сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу.

Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные

уста. О моя юность! о моя свежесть!

Покамест Чичиков думал и внутренне посмеивался над прозвищем, отпущенным мужиками Плюшкину, он не заметил, как въехал в средину обширного села со множеством изб и улиц. Скоро, однако же, дал заметить ему это препорядочный толчок, произведенный бревенчатою мостовою, пред которою городская каменная была ничто. Эти бревна, как фортепьянные клавиши, подымались то вверх, то вниз, и необерегшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или синее пятно на лоб, или же случалось своими собственными зубами откусить пребольно хвостик собственного же языка. Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребр. Кажется, сами хозяева снесли с них дранье и тес, рассуждая, и, конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а в вёдро и сама не каплет, бабиться же в ней незачем, когда есть простор и в кабаке, и на большой дороге, — словом, где хочешь. Окна в избенках были без стекол, иные были заткнуты тряпкой или зипуном; балкончики под крышами с перилами, неизвестно для

каких причин делаемые в иных русских избах, покосились и почернели даже не живописно. Из-за изб тянулись во многих местах рядами огромные клади хлеба, застоявшиеся, как видно, долго; цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь, и даже прицепился сбоку кустарник. Хлеб, как видно, был господский. Из-за хлебных кладей и ветхих крыш возносились и мелькали на чистом воздухе, то справа, то слева, по мере того как бричка делала повороты, две сельские церкви, одна возле другой: опустевшая деревянная и каменная, с желтенькими стенами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями стал выказываться господский дом и наконец глянул весь в том месте, где цепь изб прервалась и наместо их остался пустырем огород или капустник, обнесенный низкою, местами изломанною городьбою. Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два; на темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывавшей их краски. Стены дома ощеливали местами нагую штукатурную решетку и, как вид-

но, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками. Эти два окна, с своей стороны, были тоже подслеповаты; на одном из них темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги.

Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна; косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до

половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник[183], густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под один из которых забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели

[183] Примечания: 183

Чапыжник — «мелкий кривой дрянной лес, кустами поросший от корней». *(Из записной книжки Н.В. Гоголя.)*

вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности.

Сделав один или два поворота, герой наш очутился наконец перед самым домом, который показался теперь еще печальнее. Зеленая плесень уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений: людских, амбаров, погребов, видимо ветшавших, — наполняла двор; возле них направо и налево видны были ворота в другие дворы. Все говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и все глядело ныне пасмурно. Ничего не заметно было оживляющего картину: ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома! Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что въехал мужик с нагруженною телегою, покры-

тою рогожею, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего места; в другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок-исполин. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сиплым для женщины. «Ой, баба! — подумал он про себя и тут же прибавил: — ой, нет!» — «Конечно, баба!» — наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. Фигура с своей стороны глядела на него тоже пристально. Казалось, гость был для нее в диковинку, потому что она обсмотрела не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. По висевшим у ней за поясом ключам и по тому, что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это, верно, ключница.

— Послушай, матушка, — сказал он, выходя из брички, — что барин?..

— Нет дома, — прервала ключница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом, спустя минуту,

прибавила: — А что вам нужно?

— Есть дело!

— Идите в комнаты! — сказала ключница, отворотившись и показав ему спину, запачканную мукою, с большой прорехою пониже.

Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюре, выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете

с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов.

По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин: длинный пожелтевший гравюр какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями, без стекла, вставленный в раму красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по углам. В ряд с ними занимала полстены огромная почерневшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку. С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах. Что именно нахо-

дилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высовывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо, если бы не возвещал его пребыванье старый, поношенный колпак, лежавший на столе. Пока он рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь и взошла та же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем ключница: ключница, по крайней мере, не бреет бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей. Чичиков, давши вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпеньем, что хочет сказать ему ключник. Ключник тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему сказать Чичиков. Наконец последний, удивленный таким странным недоумением, решился спросить:

— Что ж барин? у себя, что ли?

— Здесь хозяин, — сказал ключник.

— Где же? — повторил Чичиков.

— Что, батюшка, слепы-то, что ли? — спросил ключник. — Эхва! А вить хозяин-то я!

Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Ему случалось видеть немало всякого рода людей, даже таких, каких нам с читателем, может быть, никогда не придется увидать; но такого он еще не видывал. Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков, один подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать; маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть[184], какая идет

[184] Примечания: 184
*Юфт*ь — грубая кожа.

на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша. Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик. У этого помещика была тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы[185] загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной[186]. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено

[185] Примечания: 185

Сушилы — «верхний этаж над амбарами, ледниками и проч., где лежат пух, окорока, рыба высушенная, овчины, кожи разные». (*Из записной книжки Н.В. Гоголя.)*

[186] Примечания: 186

Губина — «все, что подходит под губу, съедобное; всякая овощь, кроме хлеба и мяса». *(Из записной книжки Н.В. Гоголя.)*

было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся, — ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы и где горами белеет всякое дерево — шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересеки, ушаты, лагуны́[187], жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники[188], куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, — но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь сим, он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, — все тащил к себе и склады-

[187] Примечания: 187

Лагун — «форма ведра с закрышкой». *(Из записной книжки Н.В. Гоголя.)*

[188] Примечания: 188

Мыкольник — лукошко для пучков льна.

вал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Вон уже рыболов пошел на охоту!» — говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было мести улицу: случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу; если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь; но если только она попадала в кучу, тогда все кончено: он божился, что вещь его, куплена им тогда-то, у того-то или досталась от деда. В комнате своей он подымал с пола все, что ни видел: сургучик, лоскуток бумажки, перышко, и все это клал на бюро или на окошко.

А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! был женат и семьянин, и сосед заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размеренным ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные станки, прядильни; везде во все входил зоркий взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной

паутины. Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум; опытностию и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать; приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством; навстречу выходили две миловидные дочки, обе белокурые и свежие, как розы; выбегал сын, разбитной мальчишка, и целовался со всеми, мало обращая внимания на то, рад ли или не рад был этому гость. В доме были открыты все окна, антресоли были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и был большой стрелок: приносил всегда к обеду тетерек или уток, а иногда и одни воробьиные яйца, из которых заказывал себе яичницу, потому что больше в целом доме никто ее не ел. На антресолях жила также его компатриотка, наставница двух девиц. Сам хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, локти были в порядке: нигде никакой заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. На старшую дочь Александру Степановну он не мог во всем положиться, да и был прав, потому что Александра Степановна скоро

убежала с штабс-ротмистром, бог весть какого кавалерийского полка, и обвенчалась с ним где-то наскоро в деревенской церкви, зная, что отец не любит офицеров по странному предубеждению, будто бы все военные картежники и мотишки. Отец послал ей на дорогу проклятие, а преследовать не заботился. В доме стало еще пустее. Во владельце стала заметнее обнаруживаться скупость, сверкнувшая в жестких волосах его седина, верная подруга ее, помогла ей еще более развиться; учитель-француз был отпущен, потому что сыну пришла пора на службу; мадам была прогнана, потому что оказалась не безгрешною в похищении Александры Степановны; сын, будучи отправлен в губернский город, с тем чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную, определился вместо того в полк и написал к отцу уже по своем определении, прося денег на обмундировку; весьма естественно, что он получил на это то, что называется в простонародии шиш. Наконец последняя дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владетелем своих богатств. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем становится

ненасытнее; человеческие чувства, которые и без того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. Случись же под такую минуту, как будто нарочно в подтверждение его мнения о военных, что сын его проигрался в карты; он послал ему от души свое отцовское проклятие и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете или нет. С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно, как уже видел читатель, было заклеено бумагою; с каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате; неуступчивее становился он к покупщикам, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения; покупщики торговались, торговались и наконец бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек; сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее рубить, к сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались в пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него было

чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему: столько же оброку должен был принесть мужик, таким же приносом орехов обложена была всякая баба; столько же поставов холста должна была наткать ткачиха, — все это сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха, и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-то приезжала раза два с маленьким сынком, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить; видно, походная жизнь с штабс-ротмистром не была так привлекательна, какою казалась до свадьбы. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал. В другой раз Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал обоих внуков и, посадивши их к себе одного на правое колено, а другого на левое,

покачал их совершенно таким образом, как будто они ехали на лошадях, кулич и халат взял, но дочери решительно ничего не дал; с тем и уехала Александра Степановна.

Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым! Должно сказать, что подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться, и тем поразительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернется помещик, кутящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких, темных владельцев: дворцами глядят его белые каменные домы с бесчисленным множеством труб, бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещеньями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театры, балы; всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашенный громом музыки сад. Полгубернии разодето и весело гуляет под деревьями, и никому не является дикое и грозящее в сем насильственном освещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи озаренная поддельным светом ветвь, лишенная

своей яркой зелени, а вверху темнее, и суровее, и в двадцать раз грознее является чрез то ночное небо и, далеко трепеща листьями в вышине, уходя глубже в непробудный мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, осветивший снизу их корни.

Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и «редкие свойства души» можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок»; и потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что, наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, можно бы было привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело

тогда на ум.

На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было, что именно, неизвестно, но, вероятно, смысл был таков: «А побрал бы тебя черт с твоим почтением!» Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее: «Прошу покорнейше садиться!»

— Я давненько не вижу гостей, — сказал он, — да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущения… да и лошадей их корми сеном! Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то совсем развалилась: начнешь топить, еще пожару наделаешь.

«Вон оно как! — подумал про себя Чичиков. — Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да ломоть бараньего бока».

— И такой скверный анекдот, что сена хоть бы клок в целом хозяйстве! — продолжал Плюшкин. — Да и в самом деле, как прибережешь его? землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабак… того и гляди, пойдешь на старости лет по миру!

— Мне, однако же, сказывали, — скромно заметил Чичиков, — что у вас более тысячи душ.

— А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал! Он, пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот, бают, тысячи душ, а поди-тка сосчитай, а и ничего не начтешь! Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков.

— Скажите! и много выморила? — воскликнул Чичиков с участием.

— Да, снесли многих.

— А позвольте узнать: сколько числом?

— Душ восемьдесят.

— Нет?

— Не стану лгать, батюшка.

— Позвольте еще спросить: ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?

— Это бы еще слава богу, — сказал Плюшкин, — да лих-то, что с того времени до ста двадцати наберется.

— Вправду? Целых сто двадцать? — воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.

— Стар я, батюшка, чтобы лгать: седьмой де-

сяток живу! — сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким почти радостным восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнует.

— Да ведь соболезнование в карман не положишь, — сказал Плюшкин. — Вот возле меня живет капитан; черт знает его, откуда взялся, говорит — родственник: «Дядюшка, дядюшка!» — и в руку целует, а как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный: пеннику, чай, насмерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, или театральная актриса выманила, так вот он теперь и соболезнует!

Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его, и, не откладывая дела далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями. Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он, вытаращив глаза, долго смотрел на него и наконец спросил:

— Да вы, батюшка, не служили ли в военной

службе?

— Нет, — отвечал Чичиков довольно лукаво, — служил по статской.

— По статской? — повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал. — Да ведь как же? Ведь это вам самим-то в убыток?

— Для удовольствия вашего готов и на убыток.

— Ах, батюшка! ах, благодетель мой! — вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак, на образец густого кофия, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для рассматриванья. — Вот утешили старика! Ах, господи ты мой! ах, святители вы мои!.. — Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и прошла, будто ее вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернувши его в комок, стал им возить себя по верхней губе.

— Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год беретесь платить за них подать? и деньги будете выдавать мне или в казну?

— Да мы вот как сделаем: мы совершим на них

купчую крепость, как бы они были живые и как бы вы их мне продали.

— Да, купчую крепость… — сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами. — Ведь вот купчую крепость — всё издержки. Приказные такие бессовестные! Прежде, бывало, полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь, такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимание; сказал бы какое-нибудь поучение: ведь что ни говори, а против слова-то Божия не устоишь.

«Ну, ты, я думаю, устоишь!» — подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что, из уважения к нему, он готов принять даже издержки по купчей на свой счет.

Услыша, что даже издержки по купчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто служил по статской, а, верно, был в офицерах и волочился за актерками. При всем том он, однако ж, не мог скрыть своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него или нет. Подошед к окну, постучал он пальцами в стекло и закричал: «Эй, Прошка!» Чрез минуту

было слышно, что кто-то вбежал впопыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами, наконец дверь отворилась и вошел Прошка, мальчик лет тринадцати, в таких больших сапогах, что, ступая, едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же: у Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. Всякий призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким уже образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул из окошка в осеннее время и особенно когда по утрам начинаются маленькие изморози, то бы увидел, что вся дворня делала такие скачки, какие вряд ли удастся выделать на театрах самому бойкому танцовщику.

— Вот посмотрите, батюшка, какая рожа! — сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки. — Глуп ведь как дерево, а попробуй что-нибудь положить, мигом украдет! Ну, чего ты пришел, дурак, скажи, чего? — Тут он произвел небольшое молчание, на которое

Прошка отвечал тоже молчанием. — Поставь самовар, слышишь, да вот возьми ключ да отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую: там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к чаю!.. Постой, куда же ты? Дурачина! эхва, дурачина! Бес у тебя в ногах, что ли, чешется?.. ты выслушай прежде: сухарь-то сверху, чай, поиспортился, так пусть соскоблит его ножом да крох не бросает, а снесет в курятник. Да смотри ты, ты не входи, брат, в кладовую, не то я тебя, знаешь! березовым-то веником, чтобы для вкуса-то! Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше! Вот попробуй-ка пойти в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Им ни в чем нельзя доверять, — продолжал он, обратившись к Чичикову, после того как Прошка убрался вместе с своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными, и он подумал про себя: «Ведь черт его знает, может быть, он просто хвастун, как все эти мотишки; наврет, наврет, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет!» А потому из предосторожности и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что

недурно бы совершить купчую поскорее, потому что-де в человеке не уверен: сегодня жив, а завтра и бог весть.

Чичиков изъявил готовность совершить ее хоть сию же минуту и потребовал только списка всем крестьянам.

Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать, и точно, взявши ключи, приблизился к шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и наконец произнес:

— Ведь вот не сыщешь, а у меня был славный ликерчик, если только не выпили! народ такие воры! А вот разве не это ли он? — Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке. — Еще покойница делала, — продолжал Плюшкин, — мошенница ключница совсем было его забросила и даже не закупорила, каналья! Козявки и всякая дрянь было напичкались туда, но я весь сор-то повынул, и теперь вот чистенькая; я вам налью рюмочку.

Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил и ел.

— Пили уже и ели! — сказал Плюшкин. — Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь: он не ест, а сыт; а как эдакой какой-ни-

будь воришка, да его сколько ни корми… Ведь вот капитан — приедет: «Дядюшка, говорит, дайте чего-нибудь поесть!» А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, нечего, так вот он и шатается! Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев? Как же, я, как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть.

Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такою пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие: и Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий Доезжай-не-доедешь; всех было сто двадцать с лишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город.

— В город? Да как же?.. а дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник: в день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить.

— Так не имеете ли кого-нибудь знакомого?

— Да кого же знакомого? Все мои знакомые

перемерли или раззнакомились. Ах, батюшка! как не иметь, имею! — вскричал он. — Ведь знаком сам председатель, езжал даже в старые годы ко мне, как не знать! однокорытниками были, вместе по заборам лазили! как не знакомый? уж такой знакомый! так уж не к нему ли написать?

— И, конечно, к нему.

— Как же, уж такой знакомый! в школе были приятели.

И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки, — появление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственней и еще пошлее.

— Лежала на столе четвертка чистой бумаги, — сказал он, — да не знаю, куда запропастилась: люди у меня такие негодные! — Тут стал он за-

глядывать и под стол и на стол, шарил везде и наконец закричал: — Мавра! а Мавра!

На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошел такой разговор:

— Куда ты дела, разбойница, бумагу?

— Ей-богу, барин, не видывала, опричь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку.

— А вот я по глазам вижу, что подтибрила.

— Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку с ней никакого; я грамоте не знаю.

— Врешь, ты снесла пономаренку: он маракует, так ты ему и снесла.

— Да пономаренок, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка!

— Вот погоди-ка: на Страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками! вот посмотришь, как припекут!

— Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четвертки? Уж скорее другой какой бабьей слабостью, а воровством меня еще никто не попрекал.

— А вот черти-то тебя и припекут! скажут: «А вот тебе, мошенница, за то, что барина-то обманывала!», да горячими-то тебя и припекут!

— А я скажу: «Не за что! ей-богу, не за что, не брала я...» Да вон она лежит на столе. Всегда понапраслиной попрекаете!

Плюшкин увидел, точно, четвертку и на минуту остановился, пожевал губами и произнес:

— Ну, что ж ты расходилась так? Экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она уж в ответ десяток! Поди-ка принеси огоньку запечатать письмо. Да стой, ты схватишь сальную свечу, сало дело топкое: сгорит — да и нет, только убыток, а ты принеси-ка мне лучинку!

Мавра ушла, а Плюшкин, севши в кресла и взявши в руку перо, долго еще ворочал на все стороны четвертку, придумывая: нельзя ли отделить от нее еще осьмушку, но наконец убедился, что никак нельзя; всунул перо в чернильницу с какою-то заплесневшею жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая расскакивалась по всей бумаге, лепя скупо строка на строку и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется много чистого пробела.

И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все

может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «Здесь погребен человек!», но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости.

— А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, — сказал Плюшкин, складывая письмо, — которому бы понадобились беглые души?

— А у вас есть и беглые? — быстро спросил Чичиков, очнувшись.

— В том-то и дело, что есть. Зять делал выправки: говорит, будто и след простыл, но ведь он человек военный: мастер притопывать шпорой, а если бы похлопотать по судам…

— А сколько их будет числом?

— Да десятков до семи тоже наберется.

— Нет?

— А ей-богу, так! Ведь у меня что год, то бегают. Народ-то больно прожорлив, от праздности

завел привычку трескать, а у меня есть и самому нечего… А уж я бы за них что ни дай взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то: отыщись ведь только десяток, так вот уж у него славная деньга. Ведь ревизская душа стоит в пятистах рублях.

«Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим», — сказал про себя Чичиков и потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более, ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана да уходить подалее; но что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать… но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить.

— А сколько бы вы дали? — спросил Плюшкин и сам ожидовел: руки его задрожали, как ртуть.

— Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу.

— А как вы покупаете, на чистые?

— Да, сейчас деньги.

— Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже дали бы по сорока копеек.

— Почтеннейший! — сказал Чичиков, — не только по сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы! с удовольствием заплатил бы, потому что вижу — почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия.

— А ей-богу, так! ей-богу, правда! — сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее. — Всё от добродушия.

— Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему ж не дать бы мне по пятисот рублей за душу, но… состоянья нет; по пяти копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась, таким образом, в тридцать копеек.

— Ну, батюшка, воля ваша, хоть по две копейки пристегните.

— По две копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили семьдесят?

— Нет. Всего наберется семьдесят восемь.

— Семьдесят восемь, семьдесят восемь, по тридцати копеек за душу, это будет… — здесь герой наш одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг: — это будет двадцать четыре рубля девяносто шесть копеек! — он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такою же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедши к бюро, он переглядел их еще раз и уложил, тоже чрезвычайно осторожно, в один из ящиков, где,

верно, им суждено быть погребенными до тех пор, покамест отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого, к неописанной радости зятя и дочери, а может быть, и капитана, приписавшегося ему в родню. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресла и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить.

— А что, вы уж собираетесь ехать? — сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок.

Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать.

— Да, мне пора! — произнес он, взявшись за шляпу.

— А чайку?

— Нет, уж чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время.

— Как же, а я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю: напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прошка! не нужно самовара! Сухарь отнеси Мавре, слышишь: пусть его положит на то же место, или нет, подай его сюда, я ужо снесу его сам. Прощайте, батюшка, да благословит вас Бог,

а письмо-то председателю вы отдайте. Да! пусть прочтет, он мой старый знакомый. Как же! были с ним однокорытниками!

Засим это странное явление, этот съежившийся старичишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошел кладовые, с тем чтобы осмотреть, на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок, наместо чугунной доски; после того заглянул в кухню, где под видом того чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся препорядочно щей с кашею и, выбранивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы ему возблагодарить гостя за такое в самом деле беспримерное великодушие. «Я ему подарю, — подумал он про себя, — карманные часы: они ведь хорошие, серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь томпаковые или бронзовые; немножко поиспорчены, да ведь он себе переправит; он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте! Или нет, — прибавил он после некоторого размышления, — лучше я оставлю их ему после моей смерти, в духовной, чтобы

вспоминал обо мне».

Но герой наш и без часов был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего двести с лишком человек! Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкина, он уже предчувствовал, что будет кое-какая пожива, но такой прибыточной никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе, и наконец затянул какую-то песню, до такой степени необыкновенную, что сам Селифан слушал, слушал и потом, покачав слегка головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет!» Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешалась совершенно, и казалось, самые предметы перемешалися тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет; усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка взъехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начинались освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и

разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где много солдат, извозчиков, работников и особенного рода существ, в виде дам в красных шалях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекресткам. Чичиков не замечал их и даже не заметил многих тоненьких чиновников с тросточками, которые, вероятно сделавши прогулку за городом, возвращались домой. Изредка доходили до слуха его какие-то, казалось, женские восклицания: «Врешь, пьяница! я никогда не позволяла ему такого грубиянства!» — или: «Ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!..» Словом, те слова, которые вдруг обдадут, как варом, какого-нибудь замечтавшегося двадцатилетнего юношу, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями. Чего нет и что не грезится в голове его? он в небесах и к Шиллеру заехал в гости — и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова, и видит он, что вновь очутился на земле, и даже на Сенной площади, и даже близ кабака, и вновь пошла по-будничному щеголять перед ним жизнь.

Наконец бричка, сделавши порядочный скачок, опустилась, как будто в яму, в ворота гостиницы,

и Чичиков был встречен Петрушкою, который одною рукою придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другою стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал, со свечою в руке и салфеткою на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно, по крайней мере, они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась.

— Долго изволили погулять, — сказал половой, освещая лестницу.

— Да, — сказал Чичиков, когда взошел на лестницу. — Ну, а ты что?

— Слава богу, — отвечал половой, кланяясь. — Вчера приехал поручик какой-то военный, занял шестнадцатый номер.

— Поручик?

— Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади.

— Хорошо, хорошо, веди себя и вперед хорошо! — сказал Чичиков и вошел в свою комнату. Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке: — Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер!

— Да я их отпирал, — сказал Петрушка, да и

соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уж не хотел ничего возражать. После сделанной поездки он чувствовал сильную усталость. Потребовавши самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко, заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей.

Глава седьмая

Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит наконец знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но

горе холостяку!

Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих и печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь повергался и в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их, как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах… Нет равного ему в силе — он бог! Но не таков удел,

и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлечением; ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признаёт современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых; ибо не признаёт

современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признаёт современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движеньем и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признаёт сего современный суд и все обратит в упрек и поношенье непризнанному писателю; без разделенья, без ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество.

И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святый ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей…

В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг окунемся в жизнь со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками и посмотрим, что делает

Чичиков.

Чичиков проснулся, потянул руки и ноги и почувствовал, что выспался хорошо. Полежав минуты две на спине, он щелкнул рукою и вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого четыреста душ. Тут же вскочил он с постели, не посмотрел даже на свое лицо, которое любил искренно и в котором, как кажется, привлекательнее всего находил подбородок, ибо весьма часто хвалился им перед кем-нибудь из приятелей, особливо если это происходило во время бритья. «Вот, посмотри, — говорил он обыкновенно, поглаживая его рукою, — какой у меня подбородок: совсем круглый!» Но теперь он не взглянул ни на подбородок, ни на лицо, а прямо, так, как был, надел сафьяновые сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок благодаря халатным побужденьям русской натуры, и, по-шотландски, в одной короткой рубашке, позабыв свою степенность и приличные средние лета, произвел по комнате два прыжка, пришлепнув себя весьма ловко пяткой ноги. Потом в ту же минуту приступил к делу: перед шкатулкой потер руки с таким же удовольствием, как потирает их выехавший на следствие неподкупный земский суд, подходя-

щий к закуске, и тот же час вынул из нее бумаги. Ему хотелось поскорее кончить все, не откладывая в долгий ящик. Сам решился он сочинить крепости, написать и переписать, чтоб не платить ничего подьячим. Форменный порядок был ему совершенно известен: бойко выставил он большими буквами: «Тысяча восемьсот такого-то года», потом вслед за тем мелкими: «помещик такой-то», и все, что следует. В два часа готово было все. Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и чрез то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие Коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостию в слоге: часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств и потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенною полнотою и обстоятельностию, ни одно из качеств мужика не было пропущено; об одном было сказано:

«хороший столяр», к другому приписано: «дело смыслит и хмельного не берет». Означено было также обстоятельно, кто отец, и кто мать, и какого оба были поведения; у одного только какого-то Федотова было написано: «отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор». Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?» И глаза его невольно остановились на одной фамилии: это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто, принадлежавший когда-то помещице Коробочке. Он опять не утерпел, чтоб не сказать: «Эх, какой длинный, во всю строку разъехался! Мастер ли ты был или просто мужик, и какою смертью тебя прибрало? в кабаке ли, или середи дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник, трезвости примерной. А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне,

чай, притаскивал всякий раз домой целковиков по сту, а может, и государственную[189] зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог, — где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись, оттуда, с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!» — а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Максим Телятников, сапожник. Хе, сапожник! «Пьян, как сапожник», говорит пословица. Знаю, знаю тебя, голубчик; если хочешь, всю историю твою расскажу: учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил ремнем по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу повесничать, и был ты чудо, а не сапожник, и не нахвалился тобою немец, говоря с женой или с камрадом. А как кончилось твое ученье: «А вот теперь я заведусь своим домком, — сказал ты, — да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею». И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты лавчонку, набрав заказов кучу, и пошел работать. Достал где-то втридешева гни-

[189] Примечания: 189
Государственная — ассигнация в тысячу рублей.

лушки кожи и выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да через недели две перелопались твои сапоги, и выбранили тебя подлейшим образом. И вот лавчонка твоя запустела, и ты пошел попивать да валяться по улицам, приговаривая: «Нет, плохо на свете! Нет житья русскому человеку, всё немцы мешают». Это что за мужик: Елизавета Воробей. Фу-ты пропасть: баба! она как сюда затесалась? Подлец, Собакевич, и здесь надул!» Чичиков был прав: это была, точно, баба. Как она забралась туда, неизвестно, но так искусно была прописана, что издали можно было принять ее за мужика, и даже имя оканчивалось на букву ъ, то есть не Елизавета, а Елизаветъ. Однако же он это не принял в уваженье, и тут же ее вычеркнул. «Григорий Доезжай-не-доедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги, и пошел тащиться с купцами на ярмарку. На дороге ли ты отдал душу Богу, или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может, и сам, лежа на полатях, думал, думал, да ни с того ни с другого заворотил

в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай как звали. Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью! А вы что, мои голубчики? — продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина, — вы хоть и в живых еще, а что в вас толку! то же, что и мертвые, и где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги? Плохо ли вам было у Плюшкина или просто, по своей охоте, гуляете по лесам да дерете проезжих? По тюрьмам ли сидите или пристали к другим господам и пашете землю? Еремей Карякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита — эти, и по прозвищу видно, что хорошие бегуны. Попов, дворовый человек, должен быть грамотей: ножа, я чай, не взял в руки, а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя беспашпортного поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. «Чей ты?» — говорит капитан-исправник, ввернувши тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. «Такого-то и такого-то помещика», — отвечаешь ты бойко. «Зачем ты здесь?» — говорит капитан-исправник. «Отпущен на оброк», — отвечаешь ты без запинки. «Где твой пашпорт?» — «У хозяина, мещанина Пименова». — «Позвать Пименова! Ты Пименов?» — «Я Пименов». — «Давал он тебе

пашпорт свой?» — «Нет, не давал он мне никакого пашпорта». — «Что ж ты врешь?» — говорит капитан-исправник с прибавкою кое-какого крепкого словца. «Так точно, — отвечаешь ты бойко, — я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на подержание Антипу Прохорову, звонарю». — «Позвать звонаря! Давал он тебе пашпорт?» — «Нет, не получал я от него пашпорта». — «Что ж ты опять врешь! — говорит капитан-исправник, скрепивши речь кое-каким крепким словцом. — Где ж твой пашпорт?» — «Он у меня был, — говоришь ты проворно, — да, статься может, видно, как-нибудь дорогой пообронил его». — «А солдатскую шинель, — говорит капитан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу кое-какое крепкое словцо, — зачем стащил? и у священника тоже сундук с медными деньгами?» — «Никак нет, — говоришь ты, не сдвинувшись, — в воровском деле никогда еще не оказывался». — «А почему же шинель нашли у тебя?» — «Не могу знать: верно, кто-нибудь другой принес ее». — «Ах ты бестия, бестия! — говорит капитан-исправник, покачивая головою и взявшись под бока. — А набейте ему на ноги колодки да сведите в тюрьму». — «Извольте! я с удовольствием», — отвечаешь ты. И вот, вы-

нувши из кармана табакерку, ты потчеваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашиваешь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, покамест в суде производится твое дело. И пишет суд: препроводить тебя из Царевококшайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: «Нет, вот весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше!» Абакум Фыров! ты, брат, что? где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу и взлюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам?..» Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли он над участью Абакума Фырова или задумался так, сам собою, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни? И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими,

стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при криках, бранях и понуканьях, нацепляя крючком по девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки[190] и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню.

«Эхе, хе! двенадцать часов! — сказал наконец Чичиков, взглянув на часы. — Что ж я так закопался? Да еще пусть бы дело делал, а то ни с того ни с другого сначала загородил околесину, а потом задумался. Экой я дурак в самом деле!» Сказавши это, он переменил свой шотландский костюм на европейский, стянул покрепче пряжкой свой полный живот, вспрыснул себя одеколоном, взял в руки теплый картуз и бумаги под мышку и отправился в гражданскую палату

---

[190] Примечания: 190

Суда-суряки — суда, получившие свое название от реки Суры.

совершать купчую. Он спешил не потому, что боялся опоздать, — опоздать он не боялся, ибо председатель был человек знакомый и мог продлить и укоротить по его желанию присутствие, подобно древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему героев или дать им средство додраться, но он сам в себе чувствовал желание скорее как можно привести дела к концу; до тех пор ему казалось все неспокойно и неловко; все-таки приходила мысль: что души не совсем настоящие и что в подобных случаях такую обузу всегда нужно поскорее с плеч. Не успел он выйти на улицу, размышляя об всем этом и в то же время таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся тоже с господином в медведях, крытых коричневым сукном, и в теплом картузе с ушами. Господин вскрикнул, это был Манилов. Они заключили тут же друг друга в объятия и минут пять оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли. С четверть часа держал он обеими

руками руку Чичикова и нагрел ее страшно. В оборотах самых тонких и приятных он рассказал, как летел обнять Павла Ивановича; речь была заключена таким комплиментом, какой разве только приличен одной девице, с которой идут танцевать. Чичиков открыл рот, еще не зная сам, как благодарить, как вдруг Манилов вынул из-под шубы бумагу, свернутую в трубочку и связанную розовою ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами.

— Это что?

— Мужички.

— А! — Он тут же развернул ее, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка. — Славно написано, — сказал он, — не нужно и переписывать. Еще и каемка вокруг! кто это так искусно сделал каемку?

— Ну, уж не спрашивайте, — сказал Манилов.

— Вы?

— Жена.

— Ах боже мой! мне, право, совестно, что нанес столько затруднений.

— Для Павла Ивановича не существует затруднений.

Чичиков поклонился с признательностью. Узнавши, что он шел в палату за совершением

купчей, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись под руку и пошли вместе. При всяком небольшом возвышении, или горке, или ступеньке, Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятною улыбкою, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиков совестился, не зная, как благодарить, ибо чувствовал, что несколько был тяжеленек. Во взаимных услугах они дошли наконец до площади, где находились присутственные места: большой трехэтажный каменный дом, весь белый, как мел, вероятно для изображения чистоты душ помещавшихся в нем должностей; прочие здания на площади не отвечали огромностию каменному дому. Это были: караульная будка, у которой стоял солдат с ружьем, две-три извозчичьи биржи и, наконец, длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углем и мелом; более не находилось ничего на сей уединенной, или, как у нас выражаются, красивой площади. Из окон второго и третьего этажа высовывались неподкупные головы жрецов Фемиды и в ту ж минуту прятались опять: вероятно, в то время входил в комнату начальник. Приятели не взошли, а

взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь избегнуть поддерживанья под руки со стороны Манилова, ускорял шаг, а Манилов тоже, с своей стороны, летел вперед, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма сильно, когда вступили в темный коридор. Ни в коридорах, ни в комнатах взор их не был поражен чистотою. Тогда еще не заботились о ней, и то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате принимала гостей. Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши герои, но автор питает сильную робость ко всем присутственным местам. Если и случалось ему проходить их даже в блистательном и облагороженном виде, с лакированными полами и столами, он старался пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно не знает, как там все благоденствует и процветает. Герои наши видели много бумаги, и черновой и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сертуки губернского покроя и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову набок и

положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттяганье земли или описке имения, захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживающим век свой под судом, нажившим себе и детей и внуков под его покровом, да слышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федосеевич, дельце за № 368!» — «Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку с казенной чернильницы!» Иногда голос более величавый, без сомнения одного из начальников, раздавался повелительно: «На, перепиши! а не то снимут сапоги и просидишь ты у меня шесть суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями.

Чичиков и Манилов подошли к первому столу, где сидели два чиновника еще юных лет, и спросили:

— Позвольте узнать, где здесь дела по крепостям?

— А что вам нужно? — сказали оба чиновника, оборотившись.

— А мне нужно подать просьбу.

— А вы что купили такое?

— Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте?

— Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем где, а так нельзя знать.

Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым чиновникам, и хотели придать более весу и значения себе и своим занятиям.

— Послушайте, любезные, — сказал он, — я очень хорошо знаю, что все дела по крепостям, в какую бы ни было цену, находятся в одном месте, а потому прошу вас показать нам стол, а если вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других.

Чиновники на это ничего не отвечали, один из них только тыкнул пальцем в угол комнаты, где сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно.

— Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь дела по крепостям?

Старик поднял глаза и произнес с расстановкою:

— Здесь нет дел по крепостям.

— А где же?

— Это в крепостной экспедиции.

— А где же крепостная экспедиция?

— Это у Ивана Антоновича.

— А где же Иван Антонович?

Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антоновичу. Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса, но в ту же минуту погрузился еще внимательнее в писание.

— Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь крепостной стол?

Иван Антонович как будто бы и не слыхал и углубился совершенно в бумаги, не отвечая ничего. Видно было вдруг, что это был уже человек благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертопляс. Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за сорок лет; волос на нем был черный, густой; вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос, — словом, это было то лицо, которое называют в общежитье кувшинным рылом.

— Позвольте узнать, здесь крепостная экспедиция? — сказал Чичиков.

— Здесь, — сказал Иван Антонович, поворотил свое кувшинное рыло и приложился опять

писать.

— А у меня дело вот какое: куплены мною у разных владельцев здешнего уезда крестьяне на вывод: купчая есть, остается совершить.

— А продавцы налицо?

— Некоторые здесь, а от других доверенность.

— А просьбу принесли?

— Принес и просьбу. Я бы хотел… мне нужно поторопиться… так нельзя ли, например, кончить дело сегодня?

— Да, сегодня! сегодня нельзя, — сказал Иван Антонович. — Нужно навести еще справки, нет ли еще запрещений.

— Впрочем, что до того, чтоб ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг…

— Да ведь Иван Григорьевич не один; бывают и другие, — сказал сурово Иван Антонович.

Чичиков понял закавыку, которую завернул Иван Антонович, и сказал:

— Другие тоже не будут в обиде, я сам служил, дело знаю…

— Идите к Ивану Григорьевичу, — сказал Иван Антонович голосом несколько поласковее, — пусть он даст приказ, кому следует, а за нами дело не постоит.

Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил ее перед Иваном Антоновичем, которую тот совершенно не заметил и накрыл тотчас ее книгою. Чичиков хотел было указать ему ее, но Иван Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать.

— Вот он вас проведет в присутствие! — сказал Иван Антонович, кивнув головою, и один из священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Виргилий прислужился Данту[191], и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла и в них перед столом, за зерцалом[192] и двумя толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый Виргилий почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести туда ногу и поворотил назад, показав свою спину,

---

[191] Примечания: 191

Древнеримский поэт Вергилий (70–19 гг. до н. э.) в поэме Данте Алигьери (1265–1321) «Божественная комедия» через Ад и Чистилище провожает автора до Рая.

[192] Примечания: 192

Зерцало — трехгранная пирамида с указами Петра I, стоявшая на столе во всех присутственных местах.

вытертую, как рогожка, с прилипнувшим где-то куриным пером. Вошедши в залу присутствия, они увидели, что председатель был не один, подле него сидел Собакевич, совершенно заслоненный зерцалом. Приход гостей произвел восклицание, правительственные кресла были отодвинуты с шумом. Собакевич тоже привстал со стула и стал виден со всех сторон с длинными своими рукавами. Председатель принял Чичикова в объятия, и комната присутствия огласилась поцелуями; спросили друг друга о здоровье; оказалось, что у обоих побаливает поясница, что тут же было отнесено к сидячей жизни. Председатель, казалось, уже был уведомлен Собакевичем о покупке, потому что принялся поздравлять, что сначала несколько смешало нашего героя, особливо когда он увидел, что и Собакевич и Манилов, оба продавцы, с которыми дело было улажено келейно, теперь стояли вместе лицом друг к другу. Однако же он поблагодарил председателя и, обратившись тут же к Собакевичу, спросил:

— А ваше как здоровье?

— Слава богу, не пожалуюсь, — сказал Собакевич.

И точно, не на что было жаловаться: скорее железо могло простудиться и кашлять, чем этот

на диво сформованный помещик.

— Да вы всегда славились здоровьем, — сказал председатель, — и покойный ваш батюшка был также крепкий человек.

— Да, на медведя один хаживал, — отвечал Собакевич.

— Мне кажется, однако ж, — сказал председатель, — вы бы тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него.

— Нет, не повалю, — отвечал Собакевич, — покойник был меня покрепче, — и, вздохнувши, продолжал: — Нет, теперь не те люди; вот хоть и моя жизнь, что за жизнь? так как-то себе…

— Чем же ваша жизнь не красна? — сказал председатель.

— Нехорошо, нехорошо, — сказал Собакевич, покачав головою. — Вы посудите, Иван Григорьевич: пятый десяток живу, ни разу не был болен; хоть бы горло заболело, веред или чирей выскочил… Нет, не к добру! когда-нибудь придется поплатиться за это. — Тут Собакевич погрузился в меланхолию.

«Эк его, — подумали в одно время и Чичиков и председатель, — на что вздумал пенять!»

— К вам у меня есть письмецо, — сказал Чичиков, вынув из кармана письмо Плюшкина.

— От кого? — сказал председатель и, распечатавши, воскликнул: — А! от Плюшкина. Он еще до сих пор прозябает на свете. Вот судьба, ведь какой был умнейший, богатейший человек! а теперь…

— Собака, — сказал Собакевич, — мошенник, всех людей переморил голодом.

— Извольте, извольте, — сказал председатель, прочитав письмо, — я готов быть поверенным. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или после?

— Теперь, — сказал Чичиков, — я буду просить даже вас, если можно, сегодня, потому что мне завтра хотелось бы выехать из города; я принес и крепости, и просьбу.

— Все это хорошо, только, уж как хотите, мы вас не выпустим так рано. Крепости будут совершены сегодня, а вы все-таки с нами поживите. Вот я сейчас отдам приказ, — сказал он и отворил дверь в канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые уподобились трудолюбивым пчелам, рассыпавшимся по сотам, если только соты можно уподобить канцелярским делам: — Иван Антонович здесь?

— Здесь, — отозвался голос извнутри.

— Позовите его сюда!

Уже известный читателям Иван Антонович

кувшинное рыло показался в зале присутствия и почтительно поклонился.

— Вот возьмите, Иван Антонович, все эти крепости их…

— Да не позабудьте, Иван Григорьевич, — подхватил Собакевич, — нужно будет свидетелей, хотя по два с каждой стороны. Пошлите теперь же к прокурору, он человек праздный и, верно, сидит дома, за него все делает стряпчий Золотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор врачебной управы, он также человек праздный и, верно, дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты, да еще тут много есть, кто поближе, — Трухачевский, Бегушкин, они все даром бременят землю!

— Именно, именно! — сказал председатель и тот же час отрядил за ними всеми канцелярского.

— Еще я попрошу вас, — сказал Чичиков, — пошлите за поверенным одной помещицы, с которой я тоже совершил сделку, сыном протопопа отца Кирила; он служит у вас же.

— Как же, пошлем и за ним! — сказал председатель. — Все будет сделано, а чиновным вы никому не давайте ничего, об этом я вас прошу. Приятели мои не должны платить. — Сказавши это, он тут же дал какое-то приказанье Ивану

Антоновичу, как видно ему не понравившееся. Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо когда он увидел, что всех покупок было почти на сто тысяч рублей. Несколько минут он смотрел в глаза Чичикову с выраженьем большого удовольствия и наконец сказал:

— Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! так вот вы приобрели.

— Приобрел, — отвечал Чичиков.

— Благое дело, право, благое дело!

— Да я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни было, цель человека все еще не определена, если он не стал наконец твердой стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности. — Тут он весьма кстати выбранил за либерализм, и поделом, всех молодых людей. Но замечательно, что в словах его была все какая-то нетвердость, как будто бы тут же сказал он сам себе: «Эх, брат, врешь ты, да еще и сильно!» Он даже не взглянул на Собакевича и Манилова из боязни встретить что-нибудь на их лицах. Но напрасно боялся он: лицо Собакевича не шевельнулось, а Манилов, обвороженный фразою, от удовольствия только потряхивал одобрительно головою, погрузясь

в такое положение, в каком находится любитель музыки, когда певица перещеголяла самую скрыпку и пискнула такую тонкую ноту, какая невмочь и птичьему горлу.

— Да, что ж вы не скажете Ивану Григорьевичу, — отозвался Собакевич, — что такое именно вы приобрели; а вы, Иван Григорьевич, что вы не спросите, какое приобретение они сделали? Ведь какой народ! просто золото. Ведь я им продал и каретника Михеева.

— Нет, будто и Михеева продали? — сказал председатель. — Я знаю каретника Михеева: славный мастер; он мне дрожки переделал. Только позвольте, как же… Ведь вы мне сказывали, что он умер…

— Кто, Михеев умер? — сказал Собакевич, ничуть не смешавшись. — Это его брат умер, а он преживехонький и стал здоровее прежнего. На днях такую бричку наладил, что и в Москве не сделать. Ему, по-настоящему, только на одного государя и работать.

— Да, Михеев славный мастер, — сказал председатель, — и я дивлюсь даже, как вы могли с ним расстаться.

— Да будто один Михеев! А Пробка Степан, плотник, Милушкин, кирпичник, Телятников

Максим, сапожник, — ведь все пошли, всех продал! — А когда председатель спросил, зачем же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Собакевич отвечал, махнувши рукой: — А! так просто, нашла дурь: дай, говорю, продам, да и продал сдуру! — Засим он повесил голову так, как будто сам раскаивался в этом деле, и прибавил: — Вот и седой человек, а до сих пор не набрался ума.

— Но позвольте, Павел Иванович, — сказал председатель, — как же вы покупаете крестьян без земли? разве на вывод?

— На вывод.

— Ну, на вывод другое дело. А в какие места?

— В места… в Херсонскую губернию.

— О, там отличные земли! — сказал председатель и отозвался с большою похвалою насчет рослости тамошних трав. — А земли в достаточном количестве?

— В достаточном; столько, сколько нужно для купленных крестьян.

— Река или пруд?

— Река. Впрочем, и пруд есть. — Сказав это, Чичиков взглянул ненароком на Собакевича, и хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, но ему казалось, будто бы было написано на лице

его: «Ой, врешь ты! вряд ли есть река, и пруд, да и вся земля!»

Пока продолжались разговоры, начали мало-помалу появляться свидетели: знакомый читателю прокурор-моргун, инспектор врачебной управы, Трухачевский, Бегушкин и прочие, по словам Собакевича, даром бременящие землю. Многие из них были совсем незнакомы Чичикову: недостававшие и лишние набраны были тут же, из палатских чиновников. Привели также не только сына протопопа отца Кирила, но даже и самого протопопа. Каждый из свидетелей поместил себя со всеми своими достоинствами и чинами, кто оборотным шрифтом, кто косяками, кто просто чуть не вверх ногами, помещая такие буквы, каких даже и не видано было в русском алфавите. Известный Иван Антонович управился весьма проворно: крепости были записаны, помечены, занесены в книгу и куда следует, с принятием полупроцентовых и за припечатку в «Ведомостях», и Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже председатель дал приказание из пошлинных денег взять с него только половину, а другая, неизвестно каким образом, отнесена была на счет какого-то другого просителя.

— Итак, — сказал председатель, когда все было

кончено, — остается теперь только вспрыснуть покупочку.

— Я готов, — сказал Чичиков. — От вас зависит только назначить время. Был бы грех с моей стороны, если бы для эдакого приятного общества да не раскупорить другую-третью бутылочку шипучего.

— Нет, вы не так приняли дело: шипучего мы сами поставим, — сказал председатель, — это наша обязанность, наш долг. Вы у нас гость: нам должно угощать. Знаете ли что, господа! Покамест что, а мы вот как сделаем: отправимтесь-ка все, так как есть, к полицеймейстеру; он у нас чудотворец: ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или погреба, так мы, знаете ли, так закусим! да при этой оказии и в вистишку.

От такого предложения никто не мог отказаться. Свидетели уже при одном наименованье рыбного ряда почувствовали аппетит; взялись все тот же час за картузы и шапки, и присутствие кончилось. Когда проходили они канцелярию, Иван Антонович кувшинное рыло, учтиво поклонившись, сказал потихоньку Чичикову:

— Крестьян накупили на сто тысяч, а за труды

дали только одну беленькую[193].

— Да ведь какие крестьяне, — отвечал ему на это тоже шепотом Чичиков, — препустой и преничтожный народ, и половины не стоит.

Иван Антонович понял, что посетитель был характера твердого и больше не даст.

— А почем купили душу у Плюшкина? — шепнул ему на другое ухо Собакевич.

— А Воробья зачем приписали? — сказал ему в ответ на это Чичиков.

— Какого Воробья? — сказал Собакевич.

— Да бабу, Елизавету Воробья, еще и букву ъ поставили на конце.

— Нет, никакого Воробья я не приписывал, — сказал Собакевич и отошел к другим гостям.

Гости добрались наконец гурьбой к дому полицеймейстера. Полицеймейстер, точно, был чудотворец: как только услышал он, в чем дело, в ту ж минуту кликнул квартального, бойкого малого в лакированных ботфортах, и, кажется, всего два слова шепнул ему на ухо да прибавил только: «Понимаешь!» — а уж там, в другой комнате, в продолжение того времени, как гости резались в вист, появилась на столе белуга, осетры, семга,

---

[193] Примечания: 193

Беленькая — ассигнация в двадцать пять рублей.

икра паюсная, икра свежепросольная, селедки, севрюжки, сыры, копченые языки и балыки, — это все было со стороны рыбного ряда. Потом появились прибавления с хозяйской стороны, изделия кухни: пирог с головизною, куда вошли хрящ и щеки девятипудового осетра, другой пирог — с груздями, пряженцы, маслянцы[194], взваренцы[195].

Полицеймейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую. Вообще он сидел, как говорится, на своем месте и должность свою постигнул в совершенстве. Трудно было даже и решить, он ли был создан для места или место для него. Дело было так поведено умно, что он получал вдвое больше доходов противу всех своих предшественников, а между тем заслужил любовь всего города. Купцы первые его очень любили, именно за то, что не горд; и точно, он крестил у них детей, кумился с ними и хоть драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко: и по

[194] Примечания: 194
Маслянцы — клецки в растопленном масле.

[195] Примечания: 195
Взваренцы — компот с медом.

плечу потреплет, и засмеется, и чаем напоит, пообещается и сам прийти поиграть в шашки, расспросит обо всем: как делишки, что и как. Если узнает, что детеныш как-нибудь прихворнул, и лекарство присоветует, — словом, молодец! Поедет на дрожках, даст порядок, а между тем и словцо промолвит тому-другому: «Что, Михеич! нужно бы нам с тобою доиграть когда-нибудь в горку»[196]. — «Да, Алексей Иванович, — отвечал тот, снимая шапку, — нужно бы». — «Ну, брат, Илья Парамоныч, приходи ко мне поглядеть рысака: в обгон с твоим пойдет, да и своего заложи в беговые; попробуем». Купец, который на рысаке был помешан, улыбался на это с особенною, как говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорил: «Попробуем, Алексей Иванович!» Даже все сидельцы[197] обыкновенно в это время, снявши шапки, с удовольствием посматривали друг на друга и как будто бы хотели сказать: «Алексей Иванович хороший человек!» Словом, он успел приобресть совершенную народность, и мнение купцов было такое, что Алексей Иванович «хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст».

---

[196] Примечания: 196

Горка — карточная игра.

[197] Примечания: 197

Сиделец — приказчик, продавец в лавке.

Заметив, что закуска была готова, полицеймейстер предложил гостям окончить вист после завтрака, и все пошли в ту комнату, откуда несшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь, наметив издали осетра, лежавшего в стороне на большом блюде. Гости, выпивши по рюмке водки темного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати, приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. Собакевич, оставив без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру, и, покамест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал его всего, так что когда полицеймейстер вспомнил было о нем и, сказавши: «А каково вам, господа, покажется вот это произведенье природы?» — подошел было к нему с вилкою вместе с другими, то увидел, что от произведенья природы оставался всего один хвост; а Собакевич пришипился так, как будто и не он, и, подошедши к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкою в какую-то сушеную маленькую рыбку. Отделавши

осетра, Собакевич сел в кресла и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами. Полицеймейстер, кажется, не любил жалеть вина; тостам не было числа. Первый тост был выпит, как читатели, может быть, и сами догадаются, за здоровье нового херсонского помещика, потом за благоденствие крестьян его и счастливое их переселение, потом за здоровье будущей жены его, красавицы, что сорвало приятную улыбку с уст нашего героя. Приступили к нему со всех сторон и стали упрашивать убедительно остаться хоть на две недели в городе:

— Нет, Павел Иванович! как вы себе хотите, это выходит избу только выхолаживать: на порог, да и назад! нет, вы проведите время с нами! Вот мы вас женим: не правда ли, Иван Григорьевич, женим его?

— Женим, женим! — подхватил председатель. — Уж как ни упирайтесь руками и ногами, мы вас женим! Нет, батюшка, попали сюда, так не жалуйтесь. Мы шутить не любим.

— Что ж? зачем упираться руками и ногами, — сказал, усмехнувшись, Чичиков, — женитьба еще не такая вещь, чтобы того, была бы невеста.

— Будет и невеста, как не быть, все будет, все, что хотите!..

— А коли будет…

— Браво, остается! — закричали все. — Виват, ура, Павел Иванович! ура! — И все подошли к нему чокаться с бокалами в руках.

Чичиков перечокался со всеми. «Нет, нет, еще!» — говорили те, которые были позадорнее, и вновь перечокались; потом полезли в третий раз чокаться, перечокались и в третий раз. В непродолжительное время всем сделалось весело необыкновенно. Председатель, который был премилый человек, когда развеселялся, обнимал несколько раз Чичикова, произнеся в излиянии сердечном: «Душа ты моя! маменька моя!» — и даже, щелкнув пальцами, пошел приплясывать вокруг него, припевая известную песню: «Ах ты такой и этакой камаринский мужик». После шампанского раскупорили венгерское, которое придало еще более духу и развеселило общество. Об висте решительно позабыли; спорили, кричали, говорили обо всем: об политике, об военном даже деле, излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Решили тут же множество самых затруднительных вопросов. Чичиков никогда не чувствовал себя в таком веселом расположении, воображал себя уже настоящим херсонским помещиком, говорил

об разных улучшениях: о трехпольном хозяйстве, о счастии и блаженстве двух душ, и стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте[198], на которое тот хлопал только глазами, сидя в креслах, ибо после осетра чувствовал большой позыв ко сну. Чичиков смекнул и сам, что начал уже слишком развязываться, попросил экипажа и воспользовался прокурорскими дрожками. Прокурорский кучер, как оказалось в дороге, был малый опытный, потому что правил одной только рукой, а другую засунув назад, придерживал ею барина. Таким образом, уже на прокурорских дрожках доехал он к себе в гостиницу, где долго еще у него вертелся на языке всякий вздор: белокурая невеста с румянцем и ямочкой на правой щеке, херсонские деревни, капиталы. Селифану даже были даны кое-какие хозяйственные приказания: собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку. Селифан молча слушал очень долго и потом вышел из комнаты, сказавши Петрушке: «Ступай раздевать барина!» Петрушка принялся снимать с него сапоги и чуть не стащил вместе с ними на пол и самого барина.

---

[198] Примечания: 198

Вертер и *Шарлотта* — герои сентиментального романа И.-В. Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774).

Но наконец сапоги были сняты; барин разделся как следует и, поворочавшись несколько времени на постеле, которая скрыпела немилосердно, заснул решительно херсонским помещиком. А Петрушка между тем вынес на коридор панталоны и фрак брусничного цвета с искрой, который, растопыривши на деревянную вешалку, начал бить хлыстом и щеткой, напустивши пыли на весь коридор. Готовясь уже снять их, он взглянул с галереи вниз и увидел Селифана, возвращавшегося из конюшни. Они встретились взглядами и чутьем поняли друг друга: барин-де завалился спать, можно и заглянуть кое-куда. Тот же час, отнесши в комнату фрак и панталоны, Петрушка сошел вниз, и оба пошли вместе, не говоря друг другу ничего о цели путешествия и балагуря дорогою совершенно о постороннем. Прогулку сделали они недалекую: именно, перешли только на другую сторону улицы, к дому, бывшему насупротив гостиницы, и вошли в низенькую стеклянную закоптившуюся дверь, приводившую почти в подвал, где уже сидело за деревянными столами много всяких: и бривших и не бривших бороды, и в нагольных тулупах и просто в рубахе,

а кое-кто и во фризовой шинели[199].

Что делали там Петрушка с Селифаном, бог их ведает, но вышли они оттуда через час, взявшись за руки, сохраняя совершенное молчание, оказывая друг другу большое внимание и предостерегая взаимно от всяких углов. Рука в руку, не выпуская друг друга, они целые четверть часа взбирались на лестницу, наконец одолели ее и взошли. Петрушка остановился с минуту перед низенькою своею кроватью, придумывая, как бы лечь приличнее, и лег совершенно поперек, так что ноги его упирались в пол. Селифан лег и сам на той же кровати, поместив голову у Петрушки на брюхе и позабыв о том, что ему следовало спать вовсе не здесь, а, может быть, в людской, если не в конюшне близ лошадей. Оба заснули в ту же минуту, поднявши храп неслыханной густоты, на который барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними все угомонилось, и гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары

---

[199] Примечания: 199

Фризовая шинель — из фриза (толстая ткань, вроде байки).

и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели, с тем чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук.

Глава восьмая

Покупки Чичикова сделались предметом разговоров. В городе пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из прений многие отзывались совершенным познанием предмета. «Конечно, — говорили иные, — это так, против этого и спору нет: земли в южных губерниях, точно, хороши и плодородны; но каково будет крестьянам Чичикова без воды? реки ведь нет никакой». — «Это бы еще ничего, что нет воды, это бы ничего, Степан Дмитриевич, но переселение-то ненадежная вещь. Дело известное, что мужик: на новой земле, да заняться еще хлебопашеством, да ничего у него нет, ни избы, ни двора, — убежит, как дважды два, навострит так лыжи, что и следа не отыщешь». — «Нет, Алексей Иванович, позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек

способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и пошел рубить себе новую избу». — «Но, Иван Григорьевич, ты упустил из виду важное дело: ты не спросил еще, каков мужик у Чичикова. Позабыл то, что ведь хорошего человека не продаст помещик; я готов голову положить, если мужик Чичикова не вор и не пьяница в последней степени, праздношатайка и буйного поведения». — «Так, так, на это я согласен, это правда, никто не продаст хороших людей, и мужики Чичикова пьяницы, но нужно принять во внимание, что вот тут-то и есть мораль, тут-то и заключена мораль: они теперь негодяи, а, переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными. Уж было немало таких примеров: просто в мире, да и по истории тоже». — «Никогда, никогда, — говорил управляющий казенными фабриками, — поверьте, никогда это не может быть. Ибо у крестьян Чичикова будут теперь два сильные врага. Первый враг есть близость губерний малороссийских, где, как известно, свободная продажа вина. Я вас уверяю: в две недели они изопьются и будут стельки. Другой враг есть уже самая привычка

к бродяжнической жизни, которая необходимо приобретется крестьянами во время переселения. Нужно разве, чтобы они вечно были перед глазами Чичикова и чтоб он держал их в ежовых рукавицах, гонял бы их за всякий вздор, да и не то чтобы полагаясь на другого, а чтобы сам таки лично, где следует, дал бы и зуботычину и подзатыльника». — «Зачем же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники, он может найти и управителя». — «Да, найдете управителя: все мошенники!» — «Мошенники потому, что господа не занимаются делом». — «Это правда, — подхватили многие. — Знай господин сам хотя сколько-нибудь толку в хозяйстве да умей различать людей — у него будет всегда хороший управитель». Но управляющий сказал, что меньше как за пять тысяч нельзя найти хорошего управителя. Но председатель сказал, что можно и за три тысячи сыскать. Но управляющий сказал: «Где же вы его сыщете? разве у себя в носу?» Но председатель сказал: «Нет, не в носу, а в здешнем же уезде, именно: Петр Петрович Самойлов: вот управитель, какой нужен для мужиков Чичикова!» Многие сильно входили в положение Чичикова, и трудность переселения такого огромного количества крестьян их чрезвычайно

устрашала; стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова. На это полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение его существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник хоть сам и не езди, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства. Многие предложили свои мнения насчет того, как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова. Мнения были всякого рода: были такие, которые уже чересчур отзывались военною жестокостью и строгостию, едва ли не излишнею; были, однако же, и такие, которые дышали кротостию. Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом, по его выражению, ввести даже благодетельное просвещение, и при этом случае отозвался с большою похвалою об Ланкастеровой

школе[200] взаимного обученья.

Таким образом рассуждали и говорили в городе, и многие, побуждаемые участием, сообщили даже Чичикову лично некоторые из сих советов, предлагали даже конвой для безопасного препровожденья крестьян до места жительства. За советы Чичиков благодарил, говоря, что при случае не преминет ими воспользоваться, а от конвоя отказался решительно, говоря, что он совершенно не нужен, что купленные им крестьяне отменно смирного характера, чувствуют сами добровольное расположение к переселению и что бунта ни в каком случае между ними быть не может.

Все эти толки и рассуждения произвели, однако ж, самые благоприятные следствия, каких только мог ожидать Чичиков. Именно, пронеслись слухи, что он не более, не менее как миллионщик. Жители города и без того, как уже мы видели в первой главе, душевно полюбили Чичикова, а теперь, после таких слухов, полюбили еще

---

[200] Примечания: 200

Ланкастерова школа — обучение по системе английского педагога Ланкастера (1778–1838), по которой педагог обучает только лучших учеников, а те, в свою очередь, обучают других учеников. Метод Ланкастера применялся декабристами при преподавании солдатам грамоты. Тем, что почтмейстер хвалит «Ланкастерову школу», Гоголь подчеркивает некоторое его «вольнодумство», проявляющееся и в рассказе о капитане Копейкине.

душевнее. Впрочем, если сказать правду, они всё были народ добрый, жили между собою в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и короткости: «Любезный друг Илья Ильич», «Послушай, брат, Антипатор Захарьевич!», «Ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич». К почтмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли: «Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?» — словом, все было очень семейственно. Многие были не без образования: председатель палаты знал наизусть «Людмилу» Жуковского, которая еще была тогда непростывшею новостию, и мастерски читал многие места, особенно: «Бор заснул, долина спит», и слово «чу!» так, что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза. Почтмейстер вдался более в философию и читал весьма прилежно, даже по ночам, Юнговы «Ночи» и «Ключ к таинствам натуры» Эккартсгаузена[201], из которых делал весьма длинные выписки, но какого рода они

[201] Примечания: 201

Юнговы «Ночи» — поэма английского поэта Э. Юнга (1683–1765) «Жалобы, или Ночные думы о жизни, смерти и бессмертии» (1742–1745); *«Ключ к таинствам натуры»* (1804) — религиозно-мистическое сочинение немецкого писателя К. Эккартсгаузена (1752–1803).

были, это никому не было известно; впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, уснастить речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, как то: «судырь ты мой, эдакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно так сказать, некоторым образом», и прочими, которые сыпал он мешками; уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что все придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам. Прочие тоже были более или менее люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать: не встанет ни в каком случае. Насчет благовидности уже известно, все они были люди надежные, чахоточного между ними никого не было. Все были такого рода, которым жены в нежных разговорах, происходящих в уединении, давали названия: кубышки, толстунчика, пузантика, чернушки, кики, жужу и проч. Но вообще они были народ добрый, полны гостеприимства,

и человек, вкусивший с ними хлеба-соли или просидевший вечер за вистом, уже становился чем-то близким, тем более Чичиков с своими обворожительными качествами и приемами, знавший в самом деле великую тайну нравиться. Они так полюбили его, что он не видел средств, как вырваться из города; только и слышал он: «Ну, недельку, еще одну недельку поживите с нами, Павел Иванович!» — словом, он был носим, как говорится, на руках. Но несравненно замечательнее было впечатление (совершенный предмет изумления!), которое произвел Чичиков на дам. Чтоб это сколько-нибудь изъяснить, следовало бы сказать многое о самих дамах, об их обществе, описать, как говорится, живыми красками их душевные качества; но для автора это очень трудно. С одной стороны, останавливает его неограниченное почтение к супругам сановников, а с другой стороны… с другой стороны — просто трудно. Дамы города N. были… нет, никаким образом не могу: чувствуется точно робость. В дамах города N. больше всего замечательно было то… Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем. Так и быть: о характерах их, видно, нужно предоставить сказать тому, у которого поживее

краски и побольше их на палитре, а нам придется разве слова два о наружности да о том, что поповерхностней. Дамы города N. были то, что называют презентабельны, и в этом отношении их можно было смело поставить в пример всем другим. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество приличий самых тонких, а особенно наблюсти моду в самых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Одевались они с большим вкусом, разъезжали по городу в колясках, как предписывала последняя мода, сзади покачивался лакей, и ливрея в золотых позументах. Визитная карточка, будь она писана хоть на трефовой двойке или бубновом тузе, но вещь была очень священная. Из-за нее две дамы, большие приятельницы и даже родственницы, перессорились совершенно, именно за то, что одна из них как-то манкировала контрвизитом. И уж как ни старались потом мужья и родственники примирить их, но нет, оказалось, что все можно сделать на свете, одного только нельзя: примирить двух дам, поссорившихся за манкировку визита. Так обе дамы и остались во взаимном нерасположении, по выражению городского света. Насчет занятия первых мест происходило тоже множе-

ство весьма сильных сцен, внушавших мужьям иногда совершенно рыцарские, великодушные понятия о заступничестве. Дуэли, конечно, между ними не происходило, потому что все были гражданские чиновники, но зато один другому старался напакостить, где было можно, что, как известно, подчас бывает тяжелее всякой дуэли. В нравах дамы города N. были строги, исполнены благородного негодования противу всего порочного и всяких соблазнов, казнили без всякой пощады всякие слабости. Если же между ими и происходило какое-нибудь то, что называют *другое-третье,* то оно происходило втайне, так что не было подаваемо никакого вида, что происходило; сохранялось все достоинство, и самый муж так был приготовлен, что если и видел *другое-третье* или слышал о нем, то отвечал коротко и благоразумно пословицею: «Кому какое дело, что кума с кумом сидела». Еще нужно сказать, что дамы города N. отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностию и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «я высморкалась», «я вспотела», «я плюнула», а говорили: «я облегчила себе нос», «я обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать: «этот стакан

или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, а говорили вместо того: «этот стакан нехорошо ведет себя» или что-нибудь вроде этого. Чтоб еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку, зато уж там, по-французски, другое дело: там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых. Итак, вот что можно сказать о дамах города, говоря поповерхностней. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иных вещей; но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. Итак, ограничась поверхностью, будем продолжать. До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения; но с тех пор как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки; виною всему слово «миллионщик», — не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей

хороших, — словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость, совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик. Нельзя сказать, чтобы это нежное расположение к подлости было почувствовано дамами; однако же в многих гостиных стали говорить, что, конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине, что будь он немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо. При этом было сказано как-то даже несколько обидно насчет тоненького мужчины: что он больше ничего, как что-то вроде зубочистки, а не человек. В дамских нарядах оказались многие разные прибавления. В гостином дворе сделалась толкотня, чуть не давка; образовалось даже гулянье, до такой степени наехало экипажей. Купцы изумились, увидя, как несколько кусков материй, привезенных ими с ярмарки и не сходивших с рук по причине цены, показавшейся высокою, пошли вдруг в ход и были раскупле-

ны нарасхват. Во время обедни у одной из дам заметили внизу платья такое руло[202], которое растопырило его на полцеркви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуться народу подалее, то есть поближе к паперти, чтоб как-нибудь не измялся туалет ее высокоблагородия. Сам даже Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел на столе у себя письмо; откуда и кто принес его, ничего нельзя было узнать; трактирный слуга отозвался, что принесли-де и не велели сказывать от кого. Письмо начиналось очень решительно, именно так: «Нет, я должна к тебе писать!» Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами; эта истина скреплена была несколькими точками, занявшими почти полстроки; потом следовало несколько мыслей, весьма замечательных по своей справедливости, так что считаем почти необходимым их выписать: «Что жизнь наша? — Долина, где поселились горести. Что свет? — Толпа людей, которая не чувствует». Затем писавшая упоминала, что омочает слезами строки нежной матери,

[202] Примечания: 202
Руло — обруч из китового уса, вшитый в юбку.

которая, протекло двадцать пять лет, как уже не существует на свете; приглашали Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом; окончание письма отзывалось даже решительным отчаяньем и заключалось такими стихами:

Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах.
Воркуя томно, скажут,
Что она умерла во слезах.

В последней строке не было размера, но это, впрочем, ничего: письмо было написано в духе тогдашнего времени. Никакой подписи тоже не было: ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и числа. В postscriptum[203] было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую и что на бале у губернатора, имеющем быть завтра, будет присутствовать сам оригинал.

Это очень его заинтересовало. В анониме было так много заманчивого и подстрекающего любопытство, что он перечел и в другой и в третий раз письмо и наконец сказал: «Любопытно бы,

---

[203] Примечания: 203
В приписке *(лат.)*.

однако ж, знать, кто бы такая была писавшая!» Словом, дело, как видно, сделалось сурьезно; более часу он все думал об этом, наконец, расставив руки и наклоня голову, сказал: «А письмо очень, очень кудряво написано!» Потом, само собой разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку, в соседстве с какою-то афишею и пригласительным свадебным билетом, семь лет сохранявшимся в том же положении и на том же месте. Немного спустя принесли к нему, точно, приглашенье на бал к губернатору, — дело весьма обыкновенное в губернских городах: где губернатор, там и бал, иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства.

Все постороннее было в ту же минуту оставлено и отстранено прочь, и все было устремлено на приготовление к балу; ибо, точно, было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого созданья света не было употреблено столько времени на туалет. Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто почтительное без улыбки; отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении

неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, чувствуя притом, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты мордашка эдакой!» — и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во все время одевания: надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенною ловкостию и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие: задрожал комод, и упала со стола щетка.

Появление его на бале произвело необыкновенное действие. Все, что ни было, обратилось к нему навстречу, кто с картами в руках, кто на самом интересном пункте разговора произнесши: «а нижний земский суд отвечает на это…», но что такое отвечает земский суд, уж это он бросил в сторону и спешил с приветствием к нашему герою. «Павел Иванович! Ах боже мой, Павел Иванович! Любезный Павел Иванович!

Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя, Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Вот он, наш Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка его сюда, вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича!» Чичиков разом почувствовал себя в нескольких объятиях. Не успел совершенно выкарабкаться из объятий председателя, как очутился уже в объятиях полицеймейстера; полицеймейстер сдал его инспектору врачебной управы; инспектор врачебной управы — откупщику, откупщик — архитектору… Губернатор, который в это время стоял возле дам и держал в одной руке конфектный билет, а в другой болонку, увидя его, бросил на пол и билет и болонку, — только завизжала собачонка; словом, распространил он радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на котором бы не выразилось удовольствие или, по крайней мере, отражение всеобщего удовольствия. Так бывает на лицах чиновников во время осмотра приехавшим начальником вверенных управлению их мест: после того как уже первый страх прошел, они увидели, что многое ему нравится, и он сам изволил наконец пошутить, то есть произнести с приятною усмешкой несколько слов. Смеются вдвое в ответ на это обступившие

его приближенные чиновники; смеются от души те, которые, впрочем, несколько плохо услыхали произнесенные им слова, и, наконец, стоящий далеко у дверей у самого выхода какой-нибудь полицейский, отроду не смеявшийся во всю жизнь свою и только что показавший перед тем народу кулак, и тот по неизменным законам отражения выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более похожа на то, как бы кто-нибудь собирался чихнуть после крепкого табаку. Герой наш отвечал всем и каждому и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную: раскланивался направо и налево, по обыкновению своему несколько набок, но совершенно свободно, так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающею гирляндою и нанесли с собой целые облака всякого рода благоуханий: одна дышала розами, от другой несло весной и фиалками, третья вся насквозь была продушена резедой; Чичиков подымал только нос кверху да нюхал. В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над

этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах и, казалось, говорил: «Эй, улечу, жаль только, что не подыму с собой красавицу!» Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N. были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить). Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем «поцелуя», эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем «скромностей». Эти «скромности» скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая

погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною полнотою; у иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее, — словом, кажется, как будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж! Только местами вдруг высовывался какой-нибудь не виданный землею чепец или даже какое-то чуть не павлиное перо в противность всем модам, по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя, таково свойство губернского города: где-нибудь уж он непременно оборвется. Чичиков, стоя перед ними, думал: «Которая, однако же, сочинительница письма?» — и высунул было вперед нос; но по самому носу дернул его целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых шемизеток и платьев. Галопад летел во всю пропалую: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский — все поднялось и понеслось…

— Вона! пошла писать губерния! — проговорил Чичиков, попятившись назад, и как только

дамы расселись по местам, он вновь начал выглядывать: нельзя ли по выражению в лице и в глазах узнать, которая была сочинительница; но никак нельзя было узнать ни по выражению в лице, ни по выражению в глазах, которая была сочинительница. Везде было заметно такое чуть-чуть обнаруженное, такое неуловимо-тонкое, у! какое тонкое!.. «Нет, — сказал сам в себе Чичиков, — женщины, это такой предмет… — Здесь он и рукой махнул: — просто и говорить нечего! Поди-ка попробуй рассказать или передать все то, что бегает на их лицах, все те излучинки, намеки, — а вот просто ничего не передашь. Одни глаза их такое бесконечное государство, в которое заехал человек — и поминай как звали! Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь. Ну попробуй, например, рассказать один блеск их: влажный, бархатный, сахарный. Бог их знает какого нет еще! и жесткий, и мягкий, и даже совсем томный, или, как иные говорят, в неге, или без неги, но пуще, нежели в неге — так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе, как будто смычком. Нет, просто не приберешь слова: галантёрная половина человеческого рода, да и ничего больше!»

Виноват! Кажется, из уст нашего героя излетело

словцо, подмеченное на улице. Что ж делать? Таково на Руси положение писателя! Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели, и прежде всего читатели высшего общества: от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь, и наделят даже с сохранением всех возможных произношений: по-французски в нос и картавя, по-английски произнесут, как следует птице, и даже физиономию сделают птичью, и даже посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии; а вот только русским ничем не наделят, разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе. Вот каковы читатели высшего сословия, а за ними и все причитающие себя к высшему сословию! А между тем какая взыскательность! Хотят непременно, чтобы все было написано языком самым строгим, очищенным и благородным, — словом, хотят, чтобы русский язык сам собою опустился вдруг с облаков, обработанный как следует, и сел бы им прямо на язык, а им бы больше ничего, как только разинуть рты да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человеческого рода;

но почтенные читатели, надо признаться, бывают еще мудренее.

А Чичиков приходил между тем в совершенное недоумение решить, которая из дам была сочинительница письма. Попробовавши устремить внимательнее взор, он увидел, что с дамской стороны тоже выражалось что-то такое, ниспосылающее вместе и надежду, и сладкие муки в сердце бедного смертного, что он наконец сказал: «Нет, никак нельзя угадать!» Это, однако же, никак не уменьшило веселого расположения духа, в котором он находился. Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным, мелким шагом, или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички щеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам. Посеменивши с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде коротенького хвостика или наподобие запятой. Дамы были очень довольны и не только отыскали в нем кучу приятностей и любезностей, но даже стали находить величественное выражение в лице, что-то даже марсовское и военное, что, как известно,

очень нравится женщинам. Даже из-за него уже начинали несколько ссориться: заметивши, что он становился обыкновенно около дверей, некоторые наперерыв спешили занять стул поближе к дверям, и когда одной посчастливилось сделать это прежде, то едва не произошла пренеприятная история, и многим, желавшим себе сделать то же, показалась уже чересчур отвратительною подобная наглость.

Чичиков так занялся разговорами с дамами, или, лучше, дамы так заняли и закружили его своими разговорами, подсыпая кучу самых замысловатых и тонких аллегорий, которые все нужно было разгадывать, отчего даже выступил у него на лбу пот, — что он позабыл исполнить долг приличия и подойти прежде всего к хозяйке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услышал голос самой губернаторши, стоявшей перед ним уже несколько минут. Губернаторша произнесла несколько ласковым и лукавым голосом с приятным потряхиванием головы: «А, Павел Иванович, так вот как вы!..» В точности не могу передать слов губернаторши, но было сказано что-то исполненное большой любезности, в том духе, в котором изъясняются дамы и кавалеры в повестях наших светских писателей, охотников

описывать гостиные и похвалиться знанием высшего тона, в духе того, что «неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет более ни места, ни самого тесного уголка для безжалостно позабытых вами». Герой наш поворотился в ту ж минуту к губернаторше и уже готов был отпустить ей ответ, вероятно ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Гремины и всякие ловкие военные люди, как, невзначай поднявши глаза, остановился вдруг, будто оглушенный ударом.

Перед ним стояла не одна губернаторша: она держала под руку молоденькую шестнадцатилетнюю девушку, свеженькую блондинку с тоненькими и стройными чертами лица, с остреньким подбородком, с очаровательно круглившимся овалом лица, какое художник взял бы в образец для Мадонны и какое только редким случаем попадается на Руси, где любит все оказаться в широком размере, всё что ни есть: и горы и леса и степи, и лица и губы и ноги; ту самую блондинку, которую он встретил на дороге, ехавши от Ноздрева, когда, по глупости кучеров или лошадей, их экипажи так странно столкнулись, перепутавшись упряжью, и дядя Митяй с дядею Миняем взялись распутывать дело. Чичиков

так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова, и пробормотал черт знает что такое, чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Звонский, ни Лидин.

— Вы не знаете еще моей дочери? — сказала губернаторша, — институтка, только что выпущена.

Он отвечал, что уже имел счастие нечаянным образом познакомиться; попробовал еще кое-что прибавить, но кое-что совсем не вышло. Губернаторша, сказав два-три слова, наконец отошла с дочерью в другой конец залы к другим гостям, а Чичиков все еще стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу, с тем чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на все, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека: вмиг беззаботное выражение слетает с лица его; он силится припомнить, что позабыл он, — не платок ли? но платок в кармане; не деньги ли? но деньги тоже в кармане, все, кажется, при нем, а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что-то. И вот уже глядит он растерянно и смутно на движущуюся толпу перед ним, на лета-

ющие экипажи, на кивера и ружья проходящего полка, на вывеску — и ничего хорошо не видит. Так и Чичиков вдруг сделался чуждым всему, что ни происходило вокруг него. В это время из дамских благовонных уст к нему устремилось множество намеков и вопросов, проникнутых насквозь тонкостию и любезностию. «Позволено ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаете?» — «Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша?» — «Можно ли знать имя той, которая погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости?» Но он отвечал на все решительным невниманием, и приятные фразы канули, как в воду. Он даже до того был неучтив, что скоро ушел от них в другую сторону, желая повысмотреть, куда ушла губернаторша с своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотели оставить его так скоро; каждая внутренне решилась употребить всевозможные орудия, столь опасные для сердец наших, и пустить в ход все, что было лучшего. Нужно заметить, что у некоторых дам, — я говорю у некоторых, это не то, что у всех, — есть маленькая слабость: если они заметят у себя что-нибудь особенно хорошее, лоб ли, рот ли, руки ли, то уже думают, что лучшая часть лица их так первая

и бросится всем в глаза и все вдруг заговорят в один голос: «Посмотрите, посмотрите, какой у ней прекрасный греческий нос!» или: «Какой правильный, очаровательный лоб!» У которой же хороши плечи, та уверена заранее, что все молодые люди будут совершенно восхищены и то и дело станут повторять в то время, когда она будет проходить мимо: «Ах, какие чудесные у этой плечи», — а на лицо, волосы, нос, лоб даже не взглянут, если же и взглянут, то как на что-то постороннее. Таким образом думают иные дамы. Каждая дама дала себе внутренний обет быть как можно очаровательней в танцах и показать во всем блеске превосходство того, что у нее было самого превосходного. Почтмейстерша, вальсируя, с такой томностию опустила набок голову, что слышалось в самом деле что-то неземное. Одна очень любезная дама, — которая приехала вовсе не с тем чтобы танцевать, по причине приключившегося, как сама выразилась, небольшого инкомодите́[204] в виде горошинки на правой ноге, вследствие чего должна была даже надеть плисовые сапоги, — не вытерпела, однако же, и сделала несколько кругов в плисовых сапогах,

---

[204] Примечания: 204

Инкомодите́ (от фр. l'incommodité) — здесь: нездоровье.

для того именно, чтобы почтмейстерша не забрала в самом деле слишком много себе в голову.

Но все это никак не производило предполагаемого действия на Чичикова. Он даже не смотрел на круги, производимые дамами, но беспрестанно подымался на цыпочки выглядывать поверх голов, куда бы могла забраться занимательная блондинка; приседал и вниз тоже, высматривая промеж плечей и спин, наконец доискался и увидел ее, сидящую вместе с матерью, над которою величаво колебалась какая-то восточная чалма с пером. Казалось, как будто он хотел взять их приступом; весеннее ли расположение подействовало на него, или толкал его кто сзади, только он протеснялся решительно вперед, несмотря ни на что; откупщик получил от него такой толчок, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одной ноге, не то бы, конечно, повалил за собою целый ряд; почтмейстер тоже отступился и посмотрел на него с изумлением, смешанным с довольно тонкой иронией, но он на них не поглядел; он видел только вдали блондинку, надевавшую длинную перчатку и, без сомнения, сгоравшую желанием пуститься летать по паркету. А уж там в стороне четыре пары откалывали мазурку; каблуки ломали пол, и армейский штабс-капитан

работал и душою и телом, и руками и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не случалось отвертывать. Чичиков прошмыгнул мимо мазурки почти по самым каблукам и прямо к тому месту, где сидела губернаторша с дочкой. Однако ж он подступил к ним очень робко, не семенил так бойко и франтовски ногами, даже несколько замялся, и во всех движениях оказалась какая-то неловкость.

Нельзя сказать наверно, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви, — даже сомнительно, чтобы господа такого рода, то есть не так чтобы толстые, однако ж и не то чтобы тонкие, способны были к любви; но при всем том здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить: ему показалось, как сам он потом сознавался, что весь бал, со всем своим говором и шумом, стал на несколько минут как будто где-то вдали; скрыпки и трубы нарезывали где-то за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и окончено только одни тонкие черты увлекательной блондинки: ее овально-круглившееся личико, ее тоненький, тоненький стан, какой бывает у

институтки в первые месяцы после выпуска, ее белое, почти простое платьице, легко и ловко обхватившее во всех местах молоденькие стройные члены, которые означались в каких-то чистых линиях. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы.

Видно, так уж бывает на свете; видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов; но слово «поэт» будет уже слишком. По крайней мере, он почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром. Увидевши возле них пустой стул, он тотчас его занял. Разговор сначала не клеился, но после дело пошло, и он начал даже получать форс, но… здесь, к величайшему прискорбию, надобно заметить, что люди степенные и занимающие важные должности как-то немного тяжеловаты в разговорах с дамами; на это мастера господа поручики и никак не далее капитанских чинов. Как они делают, бог их ведает: кажется, и не очень мудреные вещи говорят, а девица то и дело качается на стуле от смеха; статский же советник бог знает что расскажет: или поведет речь о том,

что Россия очень пространное государство, или отпустит комплимент, который, конечно, выдуман не без остроумия, но от него ужасно пахнет книгою; если же скажет что-нибудь смешное, то сам несравненно больше смеется, чем та, которая его слушает. Здесь это замечено для того, чтобы читатели видели, почему блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя. Герой, однако же, совсем этого не замечал, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах: именно в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами — Софией Александровной и Маклатурой Александровной.

Всем дамам совершенно не понравилось такое обхождение Чичикова. Одна из них нарочно прошла мимо его, чтобы дать ему это заметить, и даже задела блондинку довольно небрежно толстым руло своего платья, а шарфом, который порхал вокруг плеч ее, распорядилась так, что он махнул концом своим ее по самому лицу; в то же самое время позади его из одних дамских уст изнеслось вместе с запахом фиалок довольно колкое и язвительное замечание. Но, или он не услышал в самом деле, или прикинулся, что не услышал, только это было нехорошо, ибо мнением дам нужно дорожить: в этом он и раскаялся, но уже после, стало быть поздно.

Негодование, во всех отношениях справедливое, изобразилось во многих лицах. Как ни велик был в обществе вес Чичикова, хотя он и миллионщик, и в лице его выражалось величие и даже что-то марсовское и военное, но есть вещи, которых дамы не простят никому, будь он кто бы ни было, и тогда прямо пиши пропало! Есть случаи, где женщина, как ни слаба и бессильна характером в сравнении с мужчиною, но становится вдруг тверже не только мужчины, но и всего что ни есть на свете. Пренебрежение, оказанное Чичиковым, почти неумышленное, восстановило

между дамами даже согласие, бывшее было на краю погибели по случаю завладения стулом. В произнесенных им невзначай каких-то сухих и обыкновенных словах нашли колкие намеки. В довершение бед какой-то из молодых людей сочинил тут же сатирические стихи на танцевавшее общество, без чего, как известно, никогда почти не обходится на губернских балах. Эти стихи были приписаны тут же Чичикову. Негодованье росло, и дамы стали говорить о нем в разных углах самым неблагоприятным образом; а бедная институтка была уничтожена совершенно, и приговор ее уже был подписан.

А между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность: в то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историйки, и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев. Из буфета ли он вырвался или из небольшой зеленой гостиной, где производилась игра посильнее, чем в обыкновенный вист, своей ли волею или вытолкали его, только он явился веселый, радостный, ухвативши под руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал несколько времени, потому что бедный прокурор поворачивал на все стороны

свои густые брови, как бы придумывая средство выбраться из этого дружеского подручного путешествия. В самом деле, оно было невыносимо. Ноздрев, захлебнув куражу в двух чашках чаю, конечно не без рома, врал немилосердно. Завидев еще издали его, Чичиков решился даже на пожертвование, то есть оставить свое завидное место и сколько можно поспешнее удалиться: ничего хорошего не предвещала ему эта встреча. Но, как на беду, в это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашел Павла Ивановича, и остановил его, прося быть судиею в споре его с двумя дамами насчет того, продолжительна ли женская любовь или нет; а между тем Ноздрев уже увидал его и шел прямо навстречу.

— А, херсонский помещик, херсонский помещик! — кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие, румяные, как весенняя роза, щеки. — Что? много наторговал мертвых? Ведь вы не знаете, ваше превосходительство, — горланил он тут же, обратившись к губернатору, — он торгует мертвыми душами! Ей-богу! Послушай, Чичиков! ведь ты, — я тебе говорю по дружбе, вот мы все здесь твои друзья, вот и его превосходительство здесь, — я бы тебя

повесил, ей-богу, повесил!

Чичиков просто не знал, где сидел.

— Поверите ли, ваше превосходительство, — продолжал Ноздрев, — как сказал он мне: «Продай мертвых душ», — я так и лопнул со смеха. Приезжаю сюда, мне говорят, что накупил на три миллиона крестьян на вывод: каких на вывод! да он торговал у меня мертвых. Послушай, Чичиков, да ты скотина, ей-богу, скотина, вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор?

Но прокурор, и Чичиков, и сам губернатор пришли в такое замешательство, что не нашлись совершенно, что отвечать, а между тем Ноздрев, нимало не обращая внимания, нес полутрезвую речь:

— Уж ты, брат, ты, ты… я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвые души. Послушай, Чичиков, ведь тебе, право, стыдно, у тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я. Вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор? Вы не поверите, ваше превосходительство, как мы друг к другу привязаны, то есть, просто если бы вы сказали, вот, я тут стою, а вы бы сказали: «Ноздрев! скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков?» — скажу: «Чичиков», ей-богу… Позволь, душа, я тебе

влеплю один безе[205]. Уж вы позвольте, ваше превосходительство, поцеловать мне его. Да, Чичиков, уж ты не противься, одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою!

Ноздрев был так оттолкнут с своими безе, что чуть не полетел на землю: от него все отступились и не слушали больше; но все же слова его о покупке мертвых душ были произнесены во всю глотку и сопровождены таким громким смехом, что привлекли внимание даже тех, которые находились в самых дальних углах комнаты. Эта новость так показалась странною, что все остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением. Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись между собою с какою-то злобною, едкою усмешкою и в выражении некоторых лиц показалось что-то такое двусмысленное, которое еще более увеличило это смущение. Что Ноздрев лгун отъявленный, это было известно всем, и вовсе не было в диковинку слышать от него решительную бессмыслицу; но смертный, право, трудно даже понять, как устроен этот смертный: как бы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, он непременно

---

[205] Примечания: 205
Безе (от фр. le baiser) — поцелуй.

сообщит ее другому смертному, хотя бы именно для того только, чтобы сказать: «Посмотрите, какую ложь распустили!» — а другой смертный с удовольствием преклонит ухо, хотя после скажет сам: «Да это совершенно пошлая ложь, не стоящая никакого внимания!» — и вслед за тем сей же час отправится искать третьего смертного, чтобы, рассказавши ему, после вместе с ним воскликнуть с благородным негодованием: «Какая пошлая ложь!» И это непременно обойдет весь город, и все смертные, сколько их ни есть, наговорятся непременно досыта и потом признают, что это не стоит внимания и не достойно, чтобы о нем говорить.

Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека. Он стал чувствовать себя неловко, неладно: точь-в-точь как будто прекрасно вычищенным сапогом вступил вдруг в грязную, вонючую лужу; словом, нехорошо, совсем нехорошо! Он пробовал об этом не думать, старался рассеяться, развлечься, присел в вист, но все пошло как кривое колесо: два раза сходил он в чужую масть и, позабыв, что по третьей не бьют, размахнулся со всей руки и хватил сдуру

свою же. Председатель никак не мог понять, как Павел Иванович, так хорошо и, можно сказать, тонко разумевший игру, мог сделать подобные ошибки и подвел даже под обух его пикового короля, на которого он, по собственному выражению, надеялся, как на Бога. Конечно, почтмейстер и председатель и даже сам полицеймейстер, как водится, подшучивали над нашим героем, что уж не влюблен ли он и что мы знаем, дескать, что у Павла Ивановича сердечишко прихрамывает, знаем, кем и подстрелено; но все это никак его не утешало, как он ни пробовал усмехаться и отшучиваться. За ужином тоже он никак не был в состоянии развернуться, несмотря на то что общество за столом было приятное и что Ноздрева давно уже вывели; ибо сами даже дамы наконец заметили, что поведение его чересчур становилось скандалезно. Посреди котильона он сел на пол и стал хватать за полы танцующих, что было уже ни на что не похоже, по выражению дам. Ужин был очень весел, все лица, мелькавшие перед тройными подсвечниками, цветами, конфектами и бутылками, были озарены самым непринужденным довольством. Офицеры, дамы, фраки — все сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульев и бежали

отнимать у слуг блюда, чтобы с необыкновенною ловкостию предложить их дамам. Один полковник подал даме тарелку с соусом на конце обнаженной шпаги. Мужчины почтенных лет, между которыми сидел Чичиков, спорили громко, заедая дельное слово рыбой или говядиной, обмакнутой нещадным образом в горчицу, и спорили о тех предметах, в которых он даже всегда принимал участие; но он был похож на какого-то человека, уставшего или разбитого дальней дорогой, которому ничто не лезет на ум и который не в силах войти ни во что. Даже не дождался он окончания ужина и уехал к себе несравненно ранее, чем имел обыкновение уезжать.

Там, в этой комнатке, так знакомой читателю, с дверью, заставленной комодом, и выглядывавшими иногда из углов тараканами, положение мыслей и духа его было так же неспокойно, как неспокойны те кресла, в которых он сидел. Неприятно, смутно было у него на сердце, какая-то тягостная пустота оставалась там. «Чтоб вас черт побрал всех, кто выдумал эти балы! — говорил он в сердцах. — Ну, чему сдуру обрадовались? В губернии неурожаи, дороговизна, так вот они за балы! Эк штука: разрядились в бабьи тряпки! Невидаль, что иная навертела на себя тысячу

рублей! А ведь на счет же крестьянских оброков или, что еще хуже, на счет совести нашего брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой: для того чтобы жене достать на шаль или на разные роброны, провал их возьми, как их называют. А из чего? чтобы не сказала какая-нибудь подстёга Сидоровна, что на почтмейстерше лучше было платье, да из-за нее бух тысячу рублей. Кричат: «Бал, бал, веселость!» — просто дрянь бал, не в русском духе, не в русской натуре; черт знает что такое: взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый, как чертик, и давай месить ногами. Иной даже, стоя в паре, переговаривает с другим об важном деле, а ногами в то же время, как козленок, вензеля направо и налево… Всё из обезьянства, всё из обезьянства! Что француз в сорок лет такой же ребенок, каким был и в пятнадцать, так вот давай же и мы! Нет, право… после всякого бала точно как будто какой грех сделал; и вспомнить даже о нем не хочется. В голове просто ничего, как после разговора с светским человеком: всего он наговорит, всего слегка коснется, все скажет, что понадергал из книжек, пестро, красно, а в голове хоть бы что-нибудь из того вынес, и видишь потом, как даже разговор

с простым купцом, знающим одно свое дело, но знающим его твердо и опытно, лучше всех этих побрякушек. Ну что из него выжмешь, из этого бала? Ну если бы, положим, какой-нибудь писатель вздумал описывать всю эту сцену так, как она есть? Ну и в книге, и там была бы она так же бестолкова, как в натуре. Что она такое: нравственная ли, безнравственная ли? просто черт знает что такое! Плюнешь, да и книгу потом закроешь». Так отзывался неблагоприятно Чичиков о балах вообще; но, кажется, сюда вмешалась другая причина негодованья. Главная досада была не на бал, а на то, что случилось ему оборваться, что он вдруг показался пред всеми бог знает в каком виде, что сыграл какую-то странную, двусмысленную роль. Конечно, взглянувши оком благоразумного человека, он видел, что все это вздор, что глупое слово ничего не значит, особливо теперь, когда главное дело уже обделано как следует. Но странен человек: его огорчало сильно нерасположенье тех самых, которых он не уважал и насчет которых отзывался резко, понося их суетность и наряды. Это тем более было ему досадно, что, разобравши дело ясно, он видел, как причиной этого был отчасти сам. На себя, однако же, он не рассердился, и в том, конечно, был прав.

Все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше приискать какого-нибудь ближнего, на ком бы выместить свою досаду, например, на слуге, на чиновнике, нам подведомственном, который в пору подвернулся, на жене или, наконец, на стуле, который швырнется черт знает куда, к самым дверям, так что отлетит от него ручка и спинка: пусть, мол, его знает, что такое гнев. Так и Чичиков скоро нашел ближнего, который потащил на плечах своих все, что только могла внушить ему досада. Ближний этот был Ноздрев, и нечего сказать, он был так отделан со всех боков и сторон, как разве только какой-нибудь плут староста или ямщик бывает отделан каким-нибудь езжалым, опытным капитаном, а иногда и генералом, который сверх многих выражений, сделавшихся классическими, прибавляет еще много неизвестных, которых изобретение принадлежит ему собственно. Вся родословная Ноздрева была разобрана, и многие из членов его фамилии в восходящей линии сильно потерпели.

Но в продолжение того, как он сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева и всю родню его, и перед ним теплилась сальная свечка, которой

светильня давно уже накрылась нагоревшею черною шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая, темная ночь, готовая посинеть от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи, и в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающая одну только (увы!) слишком протертую русским забубенным народом дорогу, — в это время на другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя. Именно, в отдаленных улицах и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, кое-как связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан

мешками с хлебами, калачами, кокурками[206], скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядывали даже наверх. Запятки были заняты лицом лакейского происхождения, в куртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подернутою легкой проседью, — лицо, известное под именем «малого». Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города будочника, который, подняв свою алебарду, закричал спросонья что стало мочи: «Кто идет?» — но, увидев, что никто не шел, а слышалось только вдали дребезжанье, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошед к фонарю, казнил его тут же у себя на ногте. После чего, отставивши алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства. Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы, и притом, как видно, покойная городская мостовая была им мало знакома. Колымага, сделавши несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви Николы на Недотычках и остановилась пред воротами дома протопопши.

---

[206] Примечания: 206
Кокурка — булка с начинкой.

Из брички вылезла девка, с платком на голове, в телогрейке, и хватила обоими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине (малый в куртке из пеструшки[207] был уже потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки). Собаки залаяли, и ворота, разинувшись наконец, проглотили, хотя и с большим трудом, это неуклюжее дорожное произведение. Экипаж въехал в тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами; из экипажа вылезла барыня: эта барыня была помещица, коллежская секретарша Коробочка. Старушка вскоре после отъезда нашего героя в такое пришла беспокойство насчет могущего произойти со стороны его обмана, что, не поспавши три ночи сряду, решилась ехать в город, несмотря на то что лошади не были подкованы, и там узнать наверно, почем ходят мертвые души и уж не промахнулась ли она, боже сохрани, продав их, может быть, втридешева. Какое произвело следствие это прибытие, читатель может узнать из одного разговора, который произошел между одними двумя дамами. Разговор сей… но пусть лучше сей разговор будет в следующей главе.

---

[207] Примечания: 207

Пеструшка — домотканая пестрая ткань.

Глава девятая

Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе N. для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом щегольском клоке[208], сопровождаемая лакеем в шинели с несколькими воротниками и золотым галуном на круглой лощеной шляпе. Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенною поспешностью по откинутым ступенькам в стоявшую у подъезда коляску. Лакей тут же захлопнул даму дверцами, закидал ступеньками и, ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру: «Пошел!» Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение непреодолимое скорее сообщить ее. Всякую минуту выглядывала она из окна и видела, к несказанной досаде, что все еще остается полдороги. Всякий дом казался ей длиннее обыкновенного; белая каменная богадельня с узенькими окнами тянулась нестерпимо долго, так что она наконец не вытерпела не сказать: «Проклятое строение, и конца нет!»

---

[208] Примечания: 208

Клок — дамское широкое пальто.

Кучер уже два раза получал приказание: «Поскорее, поскорее, Андрюшка! ты сегодня несносно долго едешь!» Наконец цель была достигнута. Коляска остановилась перед деревянным же одноэтажным домом темно-серого цвета, с белыми барельефчиками над окнами, с высокою деревянною решеткою перед самыми окнами и узеньким палисадником, за решеткою которого находившиеся тоненькие деревца побелели от никогда не сходившей с них городской пыли. В окнах мелькали горшки с цветами, попугай, качавшийся в клетке, уцепясь носом за кольцо, и две собачонки, спавшие перед солнцем. В этом доме жила искренняя приятельница приехавшей дамы. Автор чрезвычайно затрудняется, как назвать ему обеих дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как серживались встарь. Назвать выдуманною фамилией опасно. Какое ни придумай имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь, носящий его, и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно, с тем чтобы выведать все, что он такое сам, и в каком тулупчике ходит, и к какой Аграфене Ивановне наведывается, и что любит покушать. Назови же

по чинам — боже сохрани, и того опасней. Теперь у нас все чины и сословия так раздражены, что все, что ни есть в печатной книге, уже кажется им личностью: таково уж, видно, расположенье в воздухе. Достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и личность; вдруг выскочит господин почтенной наружности и закричит: «Ведь я тоже человек, стало быть, я тоже глуп», — словом, вмиг смекнет, в чем дело. А потому, для избежания всего этого, будем называть даму, к которой приехала гостья, так, как она называлась почти единогласно в городе N.: именно, дамою приятною во всех отношениях. Это название она приобрела законным образом, ибо, точно, ничего не пожалела, чтобы сделаться любезною в последней степени, хотя, конечно, сквозь любезность прокрадывалась ух какая юркая прыть женского характера! и хотя подчас в каждом приятном слове ее торчала ух какая булавка! а уж не приведи бог, что кипело в сердце против той, которая бы пролезла как-нибудь и чем-нибудь в первые. Но все это было облечено самою тонкою светскостью, какая только бывает в губернском городе. Всякое движение производила она со вкусом, даже любила стихи, даже иногда мечтательно умела держать

голову, — и все согласились, что она, точно, дама приятная во всех отношениях. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и потому будем называть ее: просто приятная дама. Приезд гостьи разбудил собачонок, спавших на солнце: мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких ножках. Тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостья освобождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора и цвета и в длинных хвостах на шее: жасмины понеслись по всей комнате. Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как уже вбежала в переднюю. Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой. Поцелуй совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова, за что были хлопнуты платком, и обе дамы отправились в гостиную, разумеется голубую, с диваном, овальным столом и даже ширмочками, обвитыми плющом; вслед за ними побежали, ворча, мохнатая Адель и высокий

Попури на тоненьких ножках. «Сюда, сюда, вот в этот уголочек! — говорила хозяйка, усаживая гостью в угол дивана. — Вот так! вот так! вот вам и подушка!» Сказавши это, она запихнула ей за спину подушку, на которой был вышит шерстью рыцарь таким образом, как их всегда вышивают по канве: нос вышел лестницею, а губы четвероугольником. «Как же я рада, что вы… Я слышу, кто-то подъехал, да думаю себе, кто бы мог так рано. Параша говорит: «вице-губернаторша», а я говорю: «ну вот, опять приехала дура надоедать», и уж хотела сказать, что меня нет дома…»

Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость. Но восклицание, которое издала в это время дама приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление разговору.

— Какой веселенький ситец! — воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы.

— Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье, которого просто нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие-узенькие, какие только мо-

жет представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки… Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете.

— Милая, это пестро.

— Ах нет, не пестро.

— Ах, пестро!

Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонна к отрицанию и сомнению и отвергала весьма многое в жизни.

Здесь просто приятная дама объяснила, что это отнюдь не пестро, и вскрикнула:

— Да, поздравляю вас: оборок более не носят.

— Как не носят?

— На место их фестончики.

— Ах, это нехорошо, фестончики!

— Фестончики, всё фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики.

— Нехорошо, Софья Ивановна, если всё фестончики.

— Мило, Анна Григорьевна, до невероятности; шьется в два рубчика: широкие проймы и

сверху… Но вот, вот, когда вы изумитесь, вот уж когда скажете, что… Ну, изумляйтесь: вообразите, лифчики пошли еще длиннее, впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ; юбка вся собирается вокруг, как, бывало, в старину фижмы[209], даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бель-фам[210].

— Ну уж это просто: признаюсь! — сказала дама приятная во всех отношениях, сделавши движенье головою с чувством достоинства.

— Именно, это уж, точно, признаюсь, — отвечала просто приятная дама.

— Уж как вы хотите, я ни за что не стану подражать этому.

— Я сама тоже… Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода… ни на что не похоже! Я выпросила у сестры выкройку нарочно для смеху; Меланья моя принялась шить.

— Так у вас разве есть выкройка? — вскрикнула во всех отношениях приятная дама не без заметного сердечного движенья.

— Как же, сестра привезла.

— Душа моя, дайте ее мне ради всего святого.

---

[209] Примечания: 209
Фижмы — юбка с каркасом.

[210] Примечания: 210
Бель-фам (от *фр.* belle femme) — пышная женщина.

— Ах, я уж дала слово Прасковье Федоровне. Разве после нее.

— Кто ж станет носить после Прасковьи Федоровны? Это уже слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочтете своим.

— Да ведь она тоже мне двоюродная тетка.

— Она вам тетка еще бог знает какая: с мужниной стороны… Нет, Софья Ивановна, я и слышать не хочу, это выходит: вы мне хотите нанесть такое оскорбленье… Видно, я вам наскучила уже, видно, вы хотите прекратить со мною всякое знакомство.

Бедная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей делать. Она чувствовала сама, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвасталась! Она бы готова была исколоть за это иголками глупый язык.

— Ну что ж наш прелестник? — сказала между тем дама приятная во всех отношениях.

— Ах, боже мой! что ж я так сижу перед вами! вот хорошо! Ведь вы знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам? — Тут дыхание гостьи сперлось, слова, как ястребы, готовы были пуститься в погоню одно за другим, и только нужно было до такой степени быть бесчеловечной, какова была искренняя приятельница, чтобы решиться

остановить ее.

— Как вы ни выхваляйте и ни превозносите его, — говорила она с живостью, более нежели обыкновенною, — а я скажу прямо, и ему в глаза скажу, что он негодный человек, негодный, негодный, негодный…

— Да послушайте только, что я вам открою…

— Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош, и нос у него… самый неприятный нос.

— Позвольте же, позвольте же только рассказать вам… душенька, Анна Григорьевна, позвольте рассказать! Ведь это история, понимаете ли: история, сконапель истоар[211], — говорила гостья с выражением почти отчаяния и совершенно умоляющим голосом. Не мешает заметить, что в разговор обеих дам вмешивалось очень много иностранных слов и целиком иногда длинные французские фразы. Но как ни исполнен автор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит французский язык России, как ни исполнен благоговения к похвальному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нем во все часы дня, конечно, из глубокого чув-

[211] Примечания: 211

Сконапель истоар (от *фр.* ce qu'on appele histoire) — что называется, история.

ства любви к отчизне, но при всем том никак не решается внести фразу какого бы ни было чуждого языка в сию русскую свою поэму. Итак, станем продолжать по-русски.

— Какая же история?

— Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, если бы вы могли только представить то положение, в котором я находилась, вообразите: приходит ко мне сегодня протопопша — протопопша, отца Кирилы жена — и что бы вы думали: наш-то смиренник, приезжий-то наш, каков, а?

— Как, неужели он и протопопше строил куры?[212]

— Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ничего; слушайте только, что рассказала протопопша: приехала, говорит, к ней помещица Коробочка, перепуганная и бледная как смерть, и рассказывает, и как рассказывает, послушайте только, совершенный роман; вдруг в глухую полночь, когда все уже спало в доме, раздается в ворота стук, ужаснейший, какой только можно себе представить; кричат: «Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота!» Каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник?

---

[212] Примечания: 212

Строить куры (от *фр.* faire la cour) — ухаживать.

— Да что Коробочка, разве молода и хороша собою?

— Ничуть, старуха.

— Ах, прелести! Так он за старуху принялся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашли в кого влюбиться.

— Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, что является вооруженный с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина[213], и требует: «Продайте, говорит, все души, которые умерли». Коробочка отвечает очень резонно, говорит: «Я не могу продать, потому что они мертвые». — «Нет, говорит, они не мертвые, это мое, говорит, дело знать, мертвые ли они или нет, они не мертвые, не мертвые, кричит, не мертвые». Словом, скандальозу наделал ужасного: вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит, никто никого не понимает, ну просто оррёр, оррёр, оррёр!..[214] Но вы себе представить не можете, Анна Григорьевна, как я перетревожилась, когда услышала все это. «Голубушка барыня, — говорит мне Маш-

---

[213] Примечания: 213

Ринальдо Ринальдини — разбойник, герой одноименного романа немецкого писателя Х.-А. Вульпиуса (1762–1827).

[214] Примечания: 214

Оррёр (от *фр.* une horreur) — ужас.

ка, — посмотрите в зеркало: вы бледны». — «Не до зеркала, говорю, мне, я должна ехать рассказать Анне Григорьевне». В ту ж минуту приказываю заложить коляску: кучер Андрюшка спрашивает меня, куда ехать, а я ничего не могу и говорить, гляжу просто ему в глаза, как дура; я думаю, что он подумал, что я сумасшедшая. Ах, Анна Григорьевна, если б вы только могли себе представить, как я перетревожилась!

— Это, однако ж, странно, — сказала во всех отношениях приятная дама, — что бы такое могли значить эти мертвые души? Я, признаюсь, тут ровно ничего не понимаю. Вот уже во второй раз я все слышу про эти мертвые души; а муж мой еще говорит, что Ноздрев врет; что-нибудь, верно же, есть.

— Но представьте же, Анна Григорьевна, каково мое было положение, когда я услышала это. «И теперь, — говорит Коробочка, — я не знаю, говорит, что мне делать. Заставил, говорит, подписать меня какую-то фальшивую бумагу, бросил пятнадцать рублей ассигнациями; я, говорит, неопытная беспомощная вдова, я ничего не знаю…» Так вот происшествия! Но только если бы вы могли сколько-нибудь себе представить, как я вся перетревожилась.

— Но только, воля ваша, здесь не мертвые души, здесь скрывается что-то другое.

— Я, признаюсь, тоже, — произнесла не без удивления просто приятная дама и почувствовала тут же сильное желание узнать, что бы такое могло здесь скрываться. Она даже произнесла с расстановкой: — А что ж, вы полагаете, здесь скрывается?

— Ну, как вы думаете?

— Как я думаю?.. Я, признаюсь, совершенно потеряна.

— Но, однако ж, я бы все хотела знать, какие ваши насчет этого мысли?

Но приятная дама ничего не нашлась сказать. Она умела только тревожиться, но чтобы составить какое-нибудь сметливое предположение, для этого никак ее не ставало, и оттого, более нежели всякая другая, она имела потребность в нежной дружбе и советах.

— Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души, — сказала дама приятная во всех отношениях, и гостья при таких словах вся обратилась в слух: ушки ее вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на

легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновенья.

Так русский барин, собачей и иора[215] -охотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный[216] доезжачими заяц, превращается весь с своим конем и поднятым арапником в один застывший миг, в порох, к которому вот-вот поднесут огонь. Весь впился он очами в мутный воздух и уж настигнет зверя, уже допечет его неотбойный, как ни воздымайся против него вся мятущая снеговая степь, пускающая серебряные звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку.

— Мертвые души… — произнесла во всех отношениях приятная дама.

— Что, что? — подхватила гостья, вся в волненье.

— Мертвые души!..

— Ах, говорите, ради бога!

— Это просто выдумано только для прикрытья, а дело вот в чем: он хочет увезти губернаторскую дочку.

---

[215] Примечания: 215

Иора (ёра) — забияка, удалец.

[216] Примечания: 216

Оттопать — «вогнать опять в лес, чтоб выгнать на барина». *(Из записной книжки Н.В. Гоголя.)*

Это заключение, точно, было никак неожиданно и во всех отношениях необыкновенно. Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, побледнела, побледнела как смерть и, точно, перетревожилась не на шутку.

— Ах, боже мой! — вскрикнула она, всплеснув руками, — уж этого я бы никак не могла предполагать.

— А я, признаюсь, как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чем дело, — отвечала дама приятная во всех отношениях.

— Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание! ведь вот невинность!

— Какая невинность! Я слышала, как она говорила такие речи, что, признаюсь, у меня не станет духа произнести их.

— Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего достигла наконец безнравственность.

— А мужчины от нее без ума. А по мне, так я, признаюсь, ничего не нахожу в ней… Манерна нестерпимо.

— Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, она статуя, и хоть бы какое-нибудь выраженье в лице.

— Ах, как манерна! ах, как манерна! Боже, как манерна! Кто выучил ее, я не знаю, но я еще не

видывала женщины, в которой бы было столько жеманства.

— Душенька! она статуя и бледна как смерть.

— Ах, не говорите, Софья Ивановна: румянится безбожно.

— Ах, что это вы, Анна Григорьевна: она мел, мел, чистейший мел.

— Милая, я сидела возле нее: румянец в палец толщиной и отваливается, как штукатурка, кусками. Мать выучила, сама кокетка, а дочка еще превзойдет матушку.

— Ну, позвольте, ну положите сами клятву, какую хотите, я готова сей же час лишиться детей, мужа, всего именья, если у ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого-нибудь румянца!

— Ах, что вы это говорите, Софья Ивановна! — сказала дама приятная во всех отношениях и всплеснула руками.

— Ах, какие же вы, право, Анна Григорьевна! я с изумленьем на вас гляжу! — сказала приятная дама и всплеснула тоже руками.

Да не покажется читателю странным, что обе дамы были не согласны между собою в том, что видели почти в одно и то же время. Есть, точно, на свете много таких вещей, которые имеют уже

такое свойство: если на них взглянет одна дама, они выйдут совершенно белые, а взглянет другая, выйдут красные, красные, как брусника.

— Ну, вот вам еще доказательство, что она бледна, — продолжала приятная дама, — я помню, как теперь, что я сижу возле Манилова и говорю ему: «Посмотрите, какая она бледная!» Право, нужно быть до такой степени бестолковыми, как наши мужчины, чтобы восхищаться ею. А наш-то прелестник… Ах, как он мне показался противным! Вы не можете себе представить, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным.

— Да, однако же, нашлись некоторые дамы, которые были неравнодушны к нему.

— Я, Анна Григорьевна? Вот уж никогда вы не можете сказать этого, никогда, никогда!

— Да я не говорю об вас, как будто, кроме вас, никого нет.

— Никогда, никогда, Анна Григорьевна! Позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю; а разве со стороны каких-нибудь иных дам, которые играют роль недоступных.

— Уж извините, Софья Ивановна! Уж позвольте вам сказать, что за мной подобных скандальозностей никогда еще не водилось. За кем другим

разве, а уж за мной нет, уж позвольте мне вам это заметить.

— Отчего же вы обиделись? ведь там были и другие дамы, были даже такие, которые первые захватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе.

Ну, уж после таких слов, произнесенных приятною дамою, должна была неминуемо последовать буря, но, к величайшему изумлению, обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не последовало. Во всех отношениях приятная дама вспомнила, что выкройка для модного платья еще не находится в ее руках, а просто приятная дама смекнула, что она еще не успела выведать никаких подробностей насчет открытия, сделанного ее искреннею приятельницею, и потому мир последовал очень скоро. Впрочем, обе дамы нельзя сказать чтобы имели в своей натуре потребность наносить неприятность, и вообще в характерах их ничего не было злого, а так, нечувствительно, в разговоре рождалось само собою маленькое желание кольнуть друг друга; просто одна другой из небольшого наслаждения при случае всунет иное живое словцо: вот, мол, тебе! на, возьми, съешь! Разного рода бывают потребности в сердцах как мужеского, так и женского пола.

— Я не могу, однако же, понять только того, — сказала просто приятная дама, — как Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой отважный пассаж. Не может быть, чтобы тут не было участников.

— А вы думаете, нет их?

— А кто же бы, полагаете, мог помогать ему?

— Ну да хоть и Ноздрев.

— Неужели Ноздрев?

— А что ж? ведь его на это станет. Вы знаете, он родного отца хотел продать или, еще лучше, проиграть в карты.

— Ах, боже мой, какие интересные новости я узнаю от вас! Я бы никак не могла предполагать, чтобы и Ноздрев был замешан в эту историю!

— А я всегда предполагала.

— Как подумаешь, право, чего не происходит на свете! Ну можно ли было предполагать, когда, помните, Чичиков только что приехал к нам в город, что он произведет такой странный марш в свете? Ах, Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я перетревожилась! Если бы не ваша благосклонность и дружба… вот уже, точно, на краю погибели… куда ж? Машка моя видит, что я бледна как смерть. «Душечка барыня, — говорит мне, — вы бледны как смерть». — «Машка, гово-

рю, мне не до того теперь». Так вот какой случай! Так и Ноздрев здесь, прошу покорно!

Приятной даме очень хотелось выведать дальнейшие подробности насчет похищения, то есть в котором часу и прочее, но многого захотела. Во всех отношениях приятная дама прямо отозвалась незнанием. Она не умела лгать: предположить что-нибудь — это другое дело, но и то в таком случае, когда предположение основывалось на внутреннем убеждении; если ж было почувствовано внутреннее убеждение, тогда умела она постоять за себя, и попробовал бы какой-нибудь дока-адвокат, славящийся даром побеждать чужие мнения, попробовал бы он состязаться здесь, — увидел бы он, что значит внутреннее убеждение.

Что обе дамы наконец решительно убедились в том, что прежде предположили только как одно предположение, в этом ничего нет необыкновенного. Наша братья, народ умный, как мы называем себя, поступает почти так же, и доказательством служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлецом, начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным запросом: не оттуда ли? не из того ли угла получила имя такая-то

страна? или: не принадлежит ли этот документ к другому, позднейшему времени? или: не нужно ли под этим народом разуметь вот какой народ? Цитует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек или просто показалось ему намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает на них, позабывая вовсе о том, что начал робким предположением; ему уже кажется, что он это видит, что это ясно, — и рассуждение заключено словами: «так это вот как было, так вот какой народ нужно разуметь, так вот с какой точки нужно смотреть на предмет!» Потом во всеуслышанье с кафедры, — и новооткрытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и поклонников.

В то время, когда обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор с вечно неподвижною своей физиономией, густыми бровями и моргавшим глазом. Дамы наперерыв принялись сообщать ему все события, рассказали о покупке мертвых душ, о намерении увезти губернаторскую дочку и сбили его совершенно с толку, так что сколько ни продолжал он стоять на одном

и том же месте, хлопать левым глазом и бить себя платком по бороде, сметая оттуда табак, но ничего решительно не мог понять. Так на том и оставили его обе дамы и отправились каждая в свою сторону бунтовать город. Это предприятие удалось произвести им с небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован; все пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, а особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленными. Положение их в первую минуту было похоже на положение школьника, которому сонному товарищи, вставшие поранее, засунули в нос гусара, то есть бумажку, наполненную табаком. Потянувши впросонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит, как дурак, выпучив глаза, во все стороны, и не может понять, где он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящее в окно наступившее утро, с проснувшимся лесом, звучащим тысячами птичьих голосов, и с осветившеюся речкою, там и там пропадающею блещущими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную нагими ре-

бятишками, зазывающими на купанье, и потом уже наконец чувствует, что в носу у него сидит гусар. Таково совершенно было в первую минуту положение обитателей и чиновников города. Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Мертвые души, губернаторская дочка и Чичиков сбились и смешались в головах их необыкновенно странно; и потом уже, после первого одурения, они как будто бы стали различать их порознь и отделять одно от другого, стали требовать отчета и сердиться, видя, что дело никак не хочет объясниться. Что ж за притча, в самом деле, что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах; как же покупать мертвые души? где ж дурак такой возьмется? и на какие слепые деньги станет он покупать их? и на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? и зачем вмешалась сюда губернаторская дочка? Если же он хотел увезти ее, так зачем для этого покупать мертвые души? Если же покупать мертвые души, так зачем увозить губернаторскую дочку? подарить, что ли, он хотел ей эти мертвые души? Что ж за вздор, в самом деле, разнесли по городу? Что ж за направленье такое, что не успеешь поворотиться, а тут уж и выпустят историю, и хоть бы какой-нибудь смысл был… Однако ж

разнесли, стало быть, была же какая-нибудь причина? Какая же причина в мертвых душах? даже и причины нет. Это, выходит, просто: Андроны едут[217], чепуха, белиберда, сапоги всмятку! это просто черт побери!.. Словом, пошли толки, толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичикова, и все, что ни есть, поднялось. Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на портного, то на пьяницу кучера. Все те, которые прекратили давно уже всякие знакомства и знались только, как выражаются, с помещиками Завалишиным да Полежаевым (знаменитые термины, произведенные от глаголов «полежать» и «завалиться», которые в большом ходу у нас на Руси, все равно как фраза: заехать к Сопикову и Храповицкому, означающая всякие мертвецкие сны на боку, на спине и во всех иных положениях, с захрапами, носовыми свистами и прочими

[217] Примечания: 217

Андроны едут — выражение, употребляемое как синоним чепухи (андроны — телеги с жердями, концы которых тащатся по земле и производят шум).

принадлежностями); все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку пятисотрублевой ухи с двухаршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками; словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный, с простреленною рукою, такого высокого роста, какого даже и не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки — и заварилась каша. В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи, может быть, не обратили бы на себя никакого внимания; но город N. уже давно не получал никаких совершенно вестей. Даже не происходило в продолжение трех месяцев ничего такого, что называют в столицах комеражами[218], что, как известно, для города то же, что своевременный подвоз съестных припасов. В городской толковне оказалось вдруг два совершенно противоположных мнения и образовалися вдруг две противоположные партии: мужская и женская.

[218] Примечания: 218
Комеражи (от *фр.* le commeragé) — сплетни.

Мужская партия, самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. В этой партии, надо заметить к чести дам, было несравненно более порядка и осмотрительности. Таково уже, видно, самое назначение их быть хорошими хозяйками и распорядительницами. Все у них скоро приняло живой определенный вид, облеклось в ясные и очевидные формы, объяснилось, очистилось, одним словом, вышла оконченная картинка. Оказалось, что Чичиков давно уже был влюблен, и виделись они в саду при лунном свете, что губернатор даже бы отдал за него дочку, потому что Чичиков богат, как жид, если бы причиною не была жена его, которую он бросил (откуда они узнали, что Чичиков женат, — это никому не было ведомо), и что жена, которая страдает от безнадежной любви, написала письмо к губернатору самое трогательное, и что Чичиков, видя, что отец и мать никогда не согласятся, решился на похищение. В других домах рассказывалось это несколько иначе: что у Чичикова нет вовсе никакой жены, но что он, как человек тонкий и действующий наверняка, предпринял, с тем чтобы получить руку дочери, начать дело с матери и имел с нею

сердечную тайную связь, и что потом сделал декларацию насчет руки дочери; но мать, испугавшись, чтобы не совершилось преступление, противное религии, и чувствуя в душе угрызение совести, отказала наотрез, и что вот потому Чичиков решился на похищение. Ко всему этому присоединялись многие объяснения и поправки по мере того, как слухи проникали наконец в самые глухие переулки. На Руси же общества низшие очень любят поговорить о сплетнях, бывающих в обществах высших, а потому начали обо всем этом говорить в таких домишках, где даже в глаза не видывали и не знали Чичикова, пошли прибавления и еще большие пояснения. Сюжет становился ежеминутно занимательнее, принимал с каждым днем более окончательные формы и наконец, так как есть, во всей своей окончательности, доставлен был в собственные уши губернаторши. Губернаторша, как мать семейства, как первая в городе дама, наконец как дама, не подозревавшая ничего подобного, была совершенно оскорблена подобными историями и пришла в негодование, во всех отношениях справедливое. Бедная блондинка выдержала

самый неприятный tête-à-tête[219], какой только когда-либо случалось иметь шестнадцатилетней девушке. Полились целые потоки расспросов, допросов, выговоров, угроз, упреков, увещаний, так что девушка бросилась в слезы, рыдала и не могла понять ни одного слова; швейцару дан был строжайший приказ не принимать ни в какое время и ни под каким видом Чичикова.

Сделавши свое дело относительно губернаторши, дамы насели было на мужскую партию, пытаясь склонить их на свою сторону и утверждая, что мертвые души выдумка и употреблена только для того, чтобы отвлечь всякое подозрение и успешнее произвесть похищение. Многие даже из мужчин были совращены и пристали к их партии, несмотря на то что подвергнулись сильным нареканиям от своих же товарищей, обругавших их бабами и юбками — именами, как известно, очень обидными для мужеского пола.

Но как ни вооружались и ни противились мужчины, а в их партии совсем не было такого порядка, как в женской. Все у них было как-то черство, неотесанно, неладно, негоже, нестройно, нехорошо, в голове кутерьма, сутолока, сбивчи-

---

[219] Примечания: 219
Разговор с глазу на глаз (*фр.*).

вость, неопрятность в мыслях, — одним словом, так и вызначилась во всем пустая природа мужчины, природа грубая, тяжелая, не способная ни к домостроительству, ни к сердечным убеждениям, маловерная, ленивая, исполненная беспрерывных сомнений и вечной боязни. Они говорили, что все это вздор, что похищенье губернаторской дочки более дело гусарское, нежели гражданское, что Чичиков не сделает этого, что бабы врут, что баба что мешок: что положат, то несет, что главный предмет, на который нужно обратить внимание, есть мертвые души, которые, впрочем, черт его знает, что значат, но в них заключено, однако ж, весьма скверное, нехорошее. Почему казалось мужчинам, что в них заключалось скверное и нехорошее, сию минуту узнаем: в губернию назначен был новый генерал-губернатор — событие, как известно, приводящее чиновников в тревожное состояние: пойдут переборки, распеканья, взбутетениванья и всякие должностные похлебки, которыми угощает начальник своих подчиненных. «Ну что, — думали чиновники, — если он узнает только просто, что в городе их вот-де какие глупые слухи, да за это одно может вскипятить не на жизнь, а на самую смерть». Инспектор врачебной управы вдруг побледнел; ему

представилось бог знает что: не разумеются ли под словом «мертвые души» больные, умершие в значительном количестве в лазаретах и в других местах от повальной горячки, против которой не было взято надлежащих мер, и что Чичиков не есть ли подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия. Он сообщил об этом председателю. Председатель отвечал, что это вздор, и потом вдруг побледнел сам, задав себе вопрос, а что, если души, купленные Чичиковым, в самом деле мертвые? а он допустил совершить на них крепость да еще сам сыграл роль поверенного Плюшкина, и дойдет это до сведения генерал-губернатора, что тогда? Он об этом больше ничего, как только сказал тому и другому, и вдруг побледнели и тот и другой; страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг. Все вдруг отыскали в себе такие грехи, каких даже не было. Слово «мертвые души» так раздалось неопределенно, что стали подозревать даже, нет ли здесь какого намека на скоропостижно погребенные тела, вследствие двух не так давно случившихся событий. Первое событие было с какими-то сольвычегодскими купцами, приехавшими в город на ярмарку и задавшими после торгов пирушку приятелям своим усть-

сысольским купцам, пирушку на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, пуншами, бальзамами и проч. Пирушка, как водится, кончилась дракой. Сольвычегодские уходили насмерть устьсысольских, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки и в подсочельник, свидетельствовавшую о непомерной величине кулаков, которыми были снабжены покойники. У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот нос, по выражению бойцов, то есть весь размозжен нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца. В деле своем купцы повинились, изъясняясь, что немного пошалили; носились слухи, будто при повинной голове они приложили по четыре государственные каждый; впрочем, дело слишком темное; из учиненных выправок и следствий оказалось, что устьсысольские ребята умерли от угара, а потому так их и похоронили, как угоревших. Другое происшествие, недавно случившееся, было следующее: казенные крестьяне сельца Вшивая-спесь, соединившись с таковыми же крестьянами сельца Боровки, Задирайлово-тож, снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице заседателя, какого-то Дробяжкина, что будто земская полиция, то есть заседатель Дробяжкин, повадился уж чересчур

часто ездить в их деревню, что в иных случаях стоит повальной горячки, а причина-де та, что земская полиция, имея кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на баб и деревенских девок. Наверное, впрочем, неизвестно, хотя в показаниях крестьяне выразились прямо, что земская полиция был-де блудлив, как кошка, и что уже не раз они его оберегали и один раз даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда он было забрался. Конечно, земская полиция достоин был наказания за сердечные слабости, но мужиков как Вшивой-спеси, так и Задирайлова-тож нельзя было также оправдать за самоуправство, если они только действительно участвовали в убиении. Но дело было темно, земскую полицию нашли на дороге, мундир или сертук на земской полиции был хуже тряпки, а уж физиогномии и распознать нельзя было. Дело ходило по судам и поступило наконец в палату, где было сначала наедине рассуждено в таком смысле: так как неизвестно, кто из крестьян именно участвовал, а всех их много, Дробяжкин же человек мертвый, стало быть, ему немного в том проку, если бы даже он и выиграл дело, а мужики были еще живы, стало быть, для них весьма важно решение в их пользу; то вследствие того решено было

так: что заседатель Дробяжкин был сам причиною, оказывая несправедливые притеснения мужикам Вшивой-спеси и Задирайлова-тож, а умер-де он, возвращаясь в санях, от апоплексического удара. Дело, казалось бы, обделано было кругло, но чиновники, неизвестно почему, стали думать, что, верно, об этих мертвых душах идет теперь дело. Случись же так, что, как нарочно, в то время, когда господа чиновники и без того находились в затруднительном положении, пришли к губернатору разом две бумаги. В одной из них содержалось, что по дошедшим показаниям и донесениям находится в их губернии делатель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами, и чтобы немедленно было учинено строжайшее розыскание. Другая бумага содержала в себе отношение губернатора соседственной губернии о убежавшем от законного преследования разбойнике, и что буде окажется в их губернии какой подозрительный человек, не предъявящий никаких свидетельств и пашпортов, то задержать его немедленно. Эти две бумаги так и ошеломили всех. Прежние заключения и догадки совсем были сбиты с толку. Конечно, никак нельзя было предполагать, чтобы тут относилось что-нибудь к Чичикову; однако ж все,

как поразмыслили каждый с своей стороны, как припомнили, что они еще не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков, что он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица, говорил, правда, что потерпел по службе за правду, да ведь все это как-то неясно, и когда вспомнили при этом, что он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его, то задумались еще более: стало быть, жизнь его была в опасности, стало быть, его преследовали, стало быть, он ведь сделал же что-нибудь такое… да кто же он в самом деле такой? Конечно, нельзя думать, чтобы он мог делать фальшивые бумажки, а тем более быть разбойником: наружность благонамеренна; но при всем том, кто же бы, однако ж, он был такой на самом деле? И вот господа чиновники задали себе теперь вопрос, который должны были задать себе в начале, то есть в первой главе нашей поэмы. Решено было еще сделать несколько расспросов тем, у которых были куплены души, чтобы, по крайней мере, узнать, что за покупки, и что именно нужно разуметь под этими мертвыми душами, и не объяснил ли он кому, хоть, может быть, невзначай, хоть вскользь как-нибудь настоящих своих намерений, и не сказал ли он кому-нибудь о том, кто

он такой. Прежде всего отнеслись к Коробочке, но тут почерпнули не много: купил-де за пятнадцать рублей, и птичьи перья тоже покупает, и много всего обещался накупить, в казну сало тоже ставит, и потому, наверно, плут, ибо уж был один такой, который покупал птичьи перья и в казну сало поставлял, да обманул всех и протопопшу надул более чем на сто рублей. Все, что ни говорила она далее, было повторение почти одного и того же, и чиновники увидели только, что Коробочка была просто глупая старуха. Манилов отвечал, что за Павла Ивановича всегда готов он ручаться, как за самого себя, что он бы пожертвовал всем своим имением, чтобы иметь сотую долю качеств Павла Ивановича, и отозвался о нем вообще в самых лестных выражениях, присовокупив несколько мыслей насчет дружбы уже с зажмуренными глазами. Эти мысли, конечно, удовлетворительно объяснили нежное движение его сердца, но не объяснили чиновникам настоящего дела. Собакевич отвечал, что Чичиков, по его мнению, человек хороший, а что крестьян он ему продал на выбор и народ во всех отношениях живой; но что он не ручается за то, что случится вперед, что если они попримрут во время трудностей переселения в дороге, то не

его вина, и в том властен Бог, а горячек и разных смертоносных болезней есть на свете немало, и бывают примеры, что вымирают-де целые деревни. Господа чиновники прибегнули еще к одному средству, не весьма благородному, но которое, однако же, иногда употребляется, то есть стороною, посредством разных лакейских знакомств, расспросить людей Чичикова, не знают ли они каких подробностей насчет прежней жизни и обстоятельств барина, но услышали тоже не много. От Петрушки услышали только запах жилого покоя, а от Селифана, что сполнял службу государскую да служил прежде по таможне, и ничего более. У этого класса людей есть весьма странный обычай. Если его спросить прямо о чем-нибудь, он никогда не вспомнит, не приберет всего в голову и даже просто ответит, что не знает, а если спросить о чем другом, тут-то он и приплетет его, и расскажет с такими подробностями, которых и знать не захочешь. Все поиски, произведенные чиновниками, открыли им только то, что они наверное никак не знают, что такое Чичиков, а что, однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно. Они положили наконец потолковать окончательно об этом предмете и решить, по крайней мере, что и как им делать, и какие

меры предпринять, и что такое он именно: такой ли человек, которого нужно задержать и схватить, как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех, как неблагонамеренных. Для всего этого предположено было собраться нарочно у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города.

Глава десятая

Собравшись у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города, чиновники имели случай заметить друг другу, что они даже похудели от этих забот и тревог. В самом деле, назначение нового генерал-губернатора, и эти полученные бумаги такого сурьезного содержания, и эти бог знает какие слухи — все это оставило заметные следы в их лицах, и фраки на многих сделались заметно просторней. Все подалось: и председатель похудел, и инспектор врачебной управы похудел, и прокурор похудел, и какой-то Семен Иванович, никогда не называвшийся по фамилии, носивший на указательном пальце перстень, который давал рассматривать дамам, даже и тот похудел. Конечно, нашлись,

как и везде бывает, кое-кто неробкого десятка, которые не теряли присутствия духа, но их было весьма немного. Почтмейстер один только. Он один не изменялся в постоянно ровном характере и всегда в подобных случаях имел обыкновение говорить: «Знаем мы вас, генерал-губернаторов! Вас, может быть, три-четыре переменится, а я вот уже тридцать лет, судырь мой, сижу на одном месте». На это обыкновенно замечали другие чиновники: «Хорошо тебе, шпрехен зи дейч Иван Андрейч, у тебя дело почтовое: принять да отправить экспедицию; разве только надуешь, заперши присутствие часом раньше, да возьмешь с опоздавшего купца за прием письма в неуказанное время или перешлешь иную посылку, которую не следует пересылать, — тут, конечно, всякий будет святой. А вот пусть к тебе повадится черт подвертываться всякий день под руку, так что вот и не хочешь брать, а он сам сует. Тебе, разумеется, сполагоря, у тебя один сынишка, а тут, брат, Прасковью Федоровну наделил Бог такою благодатию, что год, то несет: либо Праскушку, либо Петрушу; тут, брат, другое запоешь». Так говорили чиновники, а можно ли в самом деле устоять против черта, об этом судить не авторское дело. В собравшемся на сей раз совете очень

заметно было отсутствие той необходимой вещи, которую в простонародье называют толком. Вообще мы как-то не создались для представительных заседаний. Во всех наших собраниях, начиная от крестьянской мирской сходки до всяких возможных ученых и прочих комитетов, если в них нет одной главы, управляющей всем, присутствует препорядочная путаница. Трудно даже и сказать, почему это; видно, уже народ такой, только и удаются те совещания, которые составляются для того, чтобы покутить или пообедать, как то: клубы и всякие воксалы[220] на немецкую ногу. А готовность всякую минуту есть, пожалуй, на все. Мы вдруг, как ветер повеет, заведем общества благотворительные, поощрительные и невесть какие. Цель будет прекрасна, а при всем том ничего не выйдет. Может быть, это происходит оттого, что мы вдруг удовлетворяемся в самом начале и уже почитаем, что все сделано. Например, затеявши какое-нибудь благотворительное общество для бедных и пожертвовавши значительные суммы, мы тотчас в ознаменование такого похвального поступка задаем обед всем первым

[220] Примечания: 220

Воксал (англ. vauxholl) — увеселительное заведение, собрание; впоследствии это название было присвоено станционным помещениям на железной дороге.

сановникам города, разумеется, на половину всех пожертвованных сумм; на остальные нанимается тут же для комитета великолепная квартира, с отоплением и сторожами, а затем и остается всей суммы для бедных пять рублей с полтиною, да и тут в распределении этой суммы еще не все члены согласны между собою, и всякий сует какую-нибудь свою куму. Впрочем, собравшееся ныне совещание было совершенно другого рода: оно образовалось вследствие необходимости. Не о каких-либо бедных или посторонних шло дело, дело касалось всякого чиновника лично, дело касалось беды, всем равно грозившей; стало быть, поневоле тут должно быть единодушнее, теснее. Но при всем том вышло черт знает что такое. Не говоря уже о разногласиях, свойственных всем советам, во мнении собравшихся обнаружилась какая-то даже непостижимая нерешительность: один говорил, что Чичиков делатель государственных ассигнаций, и потом сам прибавлял: «а может быть, и не делатель»; другой утверждал, что он чиновник генерал-губернаторской канцелярии, и тут же присовокуплял: «а впрочем, черт его знает, на лбу ведь не прочтешь». Против догадки, не переодетый ли разбойник, вооружились все; нашли, что сверх наружности, которая сама

по себе была уже благонамеренна, в разговорах его ничего не было такого, которое бы показывало человека с буйными поступками. Вдруг почтмейстер, остававшийся несколько минут погруженным в какое-то размышление, вследствие ли внезапного вдохновения, осенившего его, или чего иного, вскрикнул неожиданно:

— Знаете ли, господа, кто это?

Голос, которым он произнес это, заключал в себе что-то потрясающее, так что заставил вскрикнуть всех в одно время:

— А кто?

— Это, господа, судырь мой, не кто другой, как капитан Копейкин!

А когда все тут же в один голос спросили: «Кто таков этот капитан Копейкин?» — почтмейстер сказал:

— Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?

Все отвечали, что никак не знают, кто таков капитан Копейкин.

— Капитан Копейкин, — сказал почтмейстер, открывший свою табакерку только вполовину, из боязни, чтобы кто-нибудь из соседей не запустил туда своих пальцев, в чистоту которых он плохо верил и даже имел обыкновение приговаривать:

«Знаем, батюшка: вы пальцами своими, может быть, невесть в какие места наведываетесь, а табак вещь, требующая чистоты». — Капитан Копейкин, — сказал почтмейстер, уже понюхавши табаку, — да ведь это, впрочем, если рассказать, выйдет презанимательная для какого-нибудь писателя в некотором роде целая поэма.

Все присутствующие изъявили желание узнать эту историю, или, как выразился почтмейстер, презанимательную для писателя в некотором роде целую поэму, и он начал так:

Повесть о капитане Копейкине

«После кампании двенадцатого года, судырь ты мой, — так начал почтмейстер, несмотря на то что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро, — после кампании двенадцатого года вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Под Красным ли, или под Лейпцигом, только, можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сделано было насчет раненых никаких, знаете, эдаких распоряжений; этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен, можете представить себе, в некотором роде гораздо после. Капитан Копейкин видит:

нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, левая. Наведался было домой к отцу; отец говорит: «Мне нечем тебя кормить, я, — можете представить себе, — сам едва достаю хлеб». Вот мой капитан Копейкин решился отправиться, судырь мой, в Петербург, чтобы просить государя, не будет ли какой монаршей милости: «что вот-де, так и так, в некотором роде, так сказать, жизнию жертвовал, проливал кровь…» Ну, как-то там, знаете, с обозами или фурами казенными, — словом, судырь мой, дотащился он кое-как до Петербурга. Ну, можете представить себе: эдакой какой-нибудь, то есть, капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире! Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехерезада. Вдруг какой-нибудь эдакой, можете представить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми! или там эдакая какая-нибудь Литейная; там шпиц эдакой какой-нибудь в воздухе; мосты там висят эдаким чертом, можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения, — словом, Семирамида, судырь, да и полно! Понатолкался было нанять квартиры, только все это кусается страшно: гардины, шторы, чертовство такое,

понимаете, ковры — Персия целиком; ногой, так сказать, попираешь капиталы. Ну просто, то есть, идешь по улице, а уж нос твой так и слышит, что пахнет тысячами; а у моего капитана Копейкина весь ассигнационный банк, понимаете, состоит из каких-нибудь десяти синюх. Ну, как-то там приютился в ревельском трактире за рубль в сутки; обед — щи, кусок битой говядины. Видит: заживаться нечего. Расспросил, куда обратиться. Говорят, есть, в некотором роде, высшая комиссия, правленье, понимаете, эдакое, и начальником генерал-аншеф[221] такой-то. А государя, нужно вам знать, в то время не было еще в столице; войска, можете себе представить, еще не возвращались из Парижа, все было за границей. Копейкин мой, вставший поранее, поскреб себе левой рукой бороду, потому что платить цирюльнику — это составит, в некотором роде, счет, натащил на себя мундиришку и на деревяшке своей, можете вообразить, отправился к самому начальнику, к вельможе. Расспросил квартиру. «Вон», — говорят, указав ему дом на Дворцовой набережной. Избенка, понимаете, мужичья: стеклушки в окнах, можете себе пред-

[221] Примечания: 221
Генерал-аншеф — высший генеральский чин.

ставить, полуторасаженные зеркала, так что вазы и всё, что там ни есть в комнатах, кажутся как бы внаруже, — мог бы, в некотором роде, достать с улицы рукой; драгоценные мраморы на стенах, металлические галантереи, какая-нибудь ручка у дверей, так что нужно, знаете, забежать наперед в мелочную лавочку, да купить на грош мыла, да прежде часа два тереть им руки, да потом уже решишься ухватиться за нее, — словом: лаки на всем такие — в некотором роде ума помрачение. Один швейцар уже смотрит генералиссимусом: вызолоченная булава, графская физиогномия, как откормленный жирный мопс какой-нибудь; батистовые воротнички, канальство!.. Копейкин мой встащился кое-как с своей деревяшкой в приемную, прижался там в уголку себе, чтобы не толкнуть локтем, можете себе представить, какую-нибудь Америку или Индию — раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу эдакую. Ну, разумеется, что он настоялся там вдоволь, потому что, можете представить себе, пришел еще в такое время, когда генерал, в некотором роде, едва поднялся с постели и камердинер, может быть, поднес ему какую-нибудь серебряную лоханку для разных, понимаете, умываний эдаких. Ждет мой Копейкин часа четыре, как вот входит

наконец адъютант или там другой дежурный чиновник. «Генерал, говорит, сейчас выйдет в приемную». А в приемной уж народу — как бобов на тарелке. Все это не то, что наш брат холоп, всё четвертого или пятого класса, полковники, а кое-где и толстый макарон блестит на эполете — генералитет, словом, такой. Вдруг в комнате, понимаете, пронеслась чуть заметная суета, как эфир какой-нибудь тонкий. Раздалось там и там: «шу, шу», и наконец тишина настала страшная. Вельможа входит. Ну… можете представить себе: государственный человек! В лице, так сказать… ну, сообразно с званием, понимаете… с высоким чином… такое и выраженье, понимаете. Все, что ни было в передней, разумеется, в ту же минуту в струнку, ожидает, дрожит, ждет решенья, в некотором роде, судьбы. Министр, или вельможа, подходит к одному, к другому: «Зачем вы? зачем вы? что вам угодно? какое ваше дело?» Наконец, судырь мой, к Копейкину. Копейкин, собравшись с духом: «Так и так, ваше превосходительство: проливал кровь, лишился, в некотором роде, руки и ноги, работать не могу, осмеливаюсь просить монаршей милости». Министр видит: человек на деревяшке и правый рукав пустой пристегнут к мундиру: «Хорошо, говорит, понаведайтесь на

днях». Копейкин мой выходит чуть не в восторге: одно то, что удостоился аудиенции, так сказать, с первостатейным вельможею; а другое то, что вот теперь наконец решится, в некотором роде, насчет пенсиона. В духе, понимаете, таком, подпрыгивает по тротуару. Зашел в Палкинский трактир выпить рюмку водки, пообедал, судырь мой, в Лондоне, приказал подать себе котлетку с каперсами, пулярку спросил с разными финтерлеями; спросил бутылку вина, ввечеру отправился в театр — одним словом, понимаете, кутнул. На тротуаре, видит, идет какая-то стройная англичанка, как лебедь, можете себе представить, эдакой. Мой Копейкин — кровь-то, знаете, разыгралась в нем — побежал было за ней на своей деревяшке, трюх-трюх следом — «да нет, подумал, пусть после, когда получу пенсион, теперь уж я что-то расходился слишком». Вот, судырь мой, каких-нибудь через три-четыре дня является Копейкин мой снова к министру, дождался выходу. «Так и так, говорит, пришел, говорит, услышать приказ вашего высокопревосходительства по одержимым болезням и за ранами…», — и тому подобное, понимаете, в должностном слоге. Вельможа, можете вообразить, тотчас его узнал: «А, говорит, хорошо, говорит, на этот раз ничего

не могу сказать вам более, как только то, что вам нужно будет ожидать приезда государя; тогда, без сомнения, будут сделаны распоряжения насчет раненых, а без монаршей, так сказать, воли я ничего не могу сделать». Поклон, понимаете, и — прощайте. Копейкин, можете вообразить себе, вышел в положении самом неопределенном. Он-то уже думал, что вот ему завтра так и выдадут деньги: «На тебе, голубчик, пей да веселись»; а вместо того ему приказано ждать, да и время не назначено. Вот он совой такой вышел с крыльца, как пудель, понимаете, которого повар облил водой: и хвост у него между ног, и уши повесил. «Ну, нет, — думает себе, — пойду в другой раз, объясню, что последний кусок доедаю, — не поможете, должен умереть, в некотором роде, с голода». Словом, приходит он, судырь мой, опять на Дворцовую набережную; говорят: «Нельзя, не принимает, приходите завтра». На другой день — то же; а швейцар на него просто и смотреть не хочет. А между тем у него из синюх-то, понимаете, уж остается только одна в кармане. То, бывало, едал щи, говядины кусок, а теперь в лавочке возьмет какую-нибудь селедку или огурец соленый да хлеба на два гроша, — словом, голодает бедняга, а между тем аппетит просто волчий. Проходит ми-

мо эдакого какого-нибудь ресторана — повар там, можете себе представить, иностранец, француз эдакой с открытой физиогномией, белье на нем голландское, фартук, белизною равный снегам, работает там фензерв[222] какой-нибудь, котлетки с трюфелями, — словом, рассупе-деликатес такой, что просто себя, то есть, съел бы от аппетита. Пройдет ли мимо Милютинских лавок, там из окна выглядывает, в некотором роде, семга эдакая, вишенки — по пяти рублей штучка, арбуз-громадище, дилижанс эдакой, высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил сто рублей, — словом, на всяком шагу соблазн такой, слюнки текут, а он слышит между тем всё «завтра». Так можете вообразить себе, каково его положение: тут, с одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с другой-то, — ему подносят все одно и то же блюдо: «завтра». Наконец сделалось бедняге, в некотором роде, невтерпеж, решился во что бы то ни стало пролезть штурмом, понимаете. Дождался у подъезда, не пройдет ли еще какой проситель, и там с каким-то генералом, понимаете, проскользнул с своей деревяшкой в приемную. Вельможа, по обыкновению, выходит:

---

[222] Примечания: 222

Фензерв (*фр.* fins herbe — пахучие травы) — пряный соус.

«Зачем вы? Зачем вы? А! — говорит, увидевши Копейкина, — ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения». — «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имею, так сказать, куска хлеба…» — «Что же делать? Я для вас ничего не могу сделать; старайтесь покамест помочь себе сами, ищите сами средств». — «Но, ваше высокопревосходительство, сами можете, в некотором роде, судить, какие средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги». — «Но, — говорит сановник, — согласитесь: я не могу вас содержать, в некотором роде, на свой счет; у меня много раненых, все они имеют равное право… Вооружитесь терпением. Приедет государь, я могу вам дать честное слово, что его монаршая милость вас не оставит». — «Но, ваше высокопревосходительство, я не могу ждать», — говорит Копейкин, и говорит, в некотором отношении, грубо. Вельможе, понимаете, сделалось уже досадно. В самом деле: тут со всех сторон генералы ожидают решений, приказаний; дела, так сказать, важные, государственные, требующие самоскорейшего исполнения, — минута упущения может быть важна, — а тут еще привязался сбоку неотвязчивый черт. «Извините, говорит, мне некогда… меня ждут дела важнее ваших».

Напоминает способом, в некотором роде, тонким, что пора наконец и выйти. А мой Копейкин, — голод-то, знаете, пришпорил его: «Как хотите, ваше высокопревосходительство, говорит, не сойду с места до тех пор, пока не дадите резолюцию». Ну… можете представить: отвечать таким образом вельможе, которому стоит только слово — так вот уж и полетел вверх тарашки, так что и черт тебя не отыщет… Тут если нашему брату скажет чиновник, одним чином поменьше, подобное, так уж и грубость. Ну, а там размер-то, размер каков: генерал-аншеф и какой-нибудь капитан Копейкин! Девяносто рублей и нуль! Генерал, понимаете, больше ничего, как только взглянул, а взгляд — огнестрельное оружие: души уж нет — уж она ушла в пятки. А мой Копейкин, можете вообразить, ни с места, стоит как вкопанный. «Что же вы?» — говорит генерал и принял его, как говорится, в лопатки. Впрочем, сказать правду, обошелся он еще довольно милостиво: иной бы пугнул так, что дня три вертелась бы после того улица вверх ногами, а он сказал только: «Хорошо, говорит, если вам здесь дорого жить и вы не можете в столице покойно ожидать решенья вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря! препроводить его

на место жительства!» А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит: трехаршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков, — словом, дантист эдакой… Вот его, раба божия, схватили, судырь мой, да в тележку, с фельдъегерем. «Ну, — Копейкин думает, — по крайней мере, не нужно платить прогонов, спасибо и за то». Вот он, судырь мой, едет на фельдъегере, да, едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе: «Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе, — хорошо, говорит, я, говорит, найду средства!» Ну, уж как только его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. Но, позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно; но не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атаман-то этой шайки был, судырь мой, не кто другой…»

— Только позволь, Иван Андреевич, — сказал вдруг, прервавши его, полицеймейстер, — ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и

ноги, а у Чичикова…

Здесь почтмейстер вскрикнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавши себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка: «Русский человек задним умом крепок». Однако ж минуту спустя он тут же стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было.

Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почтмейстер хватил уже слишком далеко. Впрочем, они, с своей стороны, тоже не ударили лицом в грязь и, наведенные остроумной догадкой почтмейстера, забрели едва ли не далее. Из числа многих в своем роде сметливых предположений было наконец одно — странно даже и сказать: что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика

и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, и под собакой разумеется Наполеон: «Смотри, мол, говорит, если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку!» — и вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков.

Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицеймейстер, который служил в кампанию двенадцатого года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова и что складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать чтобы слишком толст, однако ж и не так чтобы тонок. Может быть, некоторые читатели назовут все это невероятным; автор тоже в угоду им готов бы назвать все это невероятным; но, как на беду, все именно произошло так, как рассказывается, и тем еще изумительнее, что город был не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих

столиц. Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались, по крайней мере, на целые восемь лет заклятыми политиками. «Московские ведомости» и «Сын отечества» зачитывались немилосердно и доходили к последнему чтецу в кусочках, не годных ни на какое употребление. Вместо вопросов: «Почем, батюшка, продали меру овса? как воспользовались вчерашней порошей?» — говорили: «А что пишут в газетах, не выпустили ли опять Наполеона из острова?» Купцы этого сильно опасались, ибо совершенно верили предсказанию одного пророка, уже три года сидевшего в остроге; пророк пришел неизвестно откуда в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром. Пророк за предсказание попал, как следует, в острог, но тем не менее дело свое сделал и смутил совершенно купцов. Долго еще, во время даже самых прибыточных сделок, купцы, отправляясь в трактир запивать их чаем, поговаривали

об антихристе. Многие из чиновников и благородного дворянства тоже невольно подумывали об этом и, зараженные мистицизмом, который, как известно, был тогда в большой моде, видели в каждой букве, из которых было составлено слово «Наполеон», какое-то особенное значение; многие даже открыли в нем апокалипсические цифры[223]. Итак, ничего нет удивительного, что чиновники невольно задумались на этом пункте; скоро, однако же, спохватились, заметив, что воображение их уже чересчур рысисто и что все это не то. Думали, думали, толковали, толковали и наконец решили, что не худо бы еще расспросить хорошенько Ноздрева. Так как он первый вынес историю о мертвых душах и был, как говорится, в каких-то тесных отношениях с Чичиковым, стало быть, без сомнения, знает кое-что из обстоятельств его жизни, то попробовать еще, что скажет Ноздрев.

Странные люди эти господа чиновники, а за ними и все прочие звания: ведь очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове, ни в самой безделице, а между

---

[223] Примечания: 223

Апокалипсические цифры — мистическое число (три шестерки), которым обозначалось в Апокалипсисе (одной из книг Нового Завета) имя антихриста.

тем именно прибегнули к нему. Поди ты сладь с человеком! не верит в Бога, а верит, что если почешется переносье, то непременно умрет; пропустит мимо создание поэта, ясное как день, все проникнутое согласием и высокою мудростью простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, изломает, выворотит природу, и ему оно понравится, и он станет кричать: «Вот оно, вот настоящее знание тайн сердца!» Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашептываньями и заплевками, или, еще лучше, выдумает сам какой-нибудь декохт из невесть какой дряни, которая, бог знает почему, вообразится ему именно средством против его болезни. Конечно, можно отчасти извинить господ чиновников действительно затруднительным их положением. Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, и у него нет в это время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха, а в нем весу чуть не четыре пуда, если даже не целых пять; но не приходит ему в то время соображение в голову, и он хватается за щепку. Так и господа наши ухватились наконец и за Ноздрева. Полицеймейстер в ту же минуту написал к нему

записочку пожаловать на вечер, и квартальный, в ботфортах, с привлекательным румянцем на щеках, побежал в ту же минуту, придерживая шпагу, вприскочку на квартиру Ноздрева. Ноздрев был занят важным делом; целые четыре дня уже не выходил он из комнаты, не впускал никого и получал обед в окошко, — словом, даже исхудал и позеленел. Дело требовало большой внимательности: оно состояло в подбирании из нескольких десятков дюжин карт одной талии, но самой меткой, на которую можно было бы понадеяться, как на вернейшего друга. Работы оставалось еще, по крайней мере, на две недели; во все продолжение этого времени Порфирий должен был чистить меделянскому щенку пуп особенной щеточкой и мыть его три раза на день в мыле. Ноздрев был очень рассержен за то, что потревожили его уединение; прежде всего он отправил квартального к черту, но, когда прочитал в записке городничего, что может случиться пожива, потому что на вечер ожидают какого-то новичка, смягчился в ту же минуту, запер комнату наскоро ключом, оделся как попало и отправился к ним. Показания, свидетельства и предположения Ноздрева представили такую резкую противоположность таковым же господ чиновников, что и последние

их догадки были сбиты с толку. Это был решительно человек, для которого не существовало сомнений вовсе; и сколько у них заметно было шаткости и робости в предположениях, столько у него твердости и уверенности. Он отвечал на все пункты даже не заикнувшись, объявил, что Чичиков накупил мертвых душ на несколько тысяч и что он сам продал ему, потому что не видит причины, почему не продать; на вопрос, не шпион ли он и не старается ли что-нибудь разведать, Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в школе, где он с ним вместе учился, его называли фискалом, и что за это товарищи, а в том числе и он, несколько его поизмяли, так что нужно было потом приставить к одним вискам двести сорок пьявок, — то есть он хотел было сказать сорок, но двести сказалось как-то само собою. На вопрос, не делатель ли он фальшивых бумажек, он отвечал, что делатель, и при этом случае рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что в его доме находилось на два миллиона фальшивых ассигнаций, опечатали дом его и приставили караул, на каждую дверь по два солдата, и как Чичиков переменил их все в одну ночь, так что на другой день, когда сняли печати, увидели, что все были ассигнации настоящие.

На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение увезти губернаторскую дочку и правда ли, что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, Ноздрев отвечал, что помогал и что если бы не он, то не вышло бы ничего, — тут он и спохватился было, видя, что солгал вовсе напрасно и мог таким образом накликать на себя беду, но языка никак уже не мог придержать. Впрочем, и трудно было, потому что представились сами собою такие интересные подробности, от которых никак нельзя было отказаться: даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой положено было венчаться, именно деревня Трухмачевка, поп — отец Сидор, за венчание — семьдесят пять рублей, и то не согласился бы, если бы он не припугнул его, обещаясь донести на него, что перевенчал лабазника Михайла на куме, что он уступил даже свою коляску и заготовил на всех станциях переменных лошадей. Подробности дошли до того, что уже начинал называть по именам ямщиков. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесину, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия, так

что чиновники, вздохнувши, все отошли прочь; один только полицеймейстер долго еще слушал, думая, не будет ли, по крайней мере, чего-нибудь далее, но наконец и рукой махнул, сказавши: «Черт знает что такое!» И все согласились в том, что как с быком ни биться, а все молока от него не добиться. И остались чиновники еще в худшем положении, чем были прежде, и решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков. И оказалось ясно, какого рода созданье человек: мудр, умен и толков он бывает во всем, что касается других, а не себя; какими осмотрительными, твердыми советами снабдит он в трудных случаях жизни! «Экая расторопная голова! — кричит толпа. — Какой неколебимый характер!» А нанесись на эту расторопную голову какая-нибудь беда и доведись ему самому быть поставлену в трудные случаи жизни, куды делся характер, весь растерялся неколебимый муж, и вышел из него жалкий трусишка, ничтожный, слабый ребенок, или просто фетюк, как называет Ноздрев.

Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедши домой, стал ду-

мать, думать и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: «Ах, боже мой!» — послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. А между тем появленье смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал, зачем он умер или зачем жил, об этом один Бог ведает.

Но это, однако ж, несообразно! это несогласно ни с чем! это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя; создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело! Так скажут многие читатели и укорят автора в несообразностях или назовут

бедных чиновников дураками, потому что щедр человек на слово «дурак» и готов прислужиться им двадцать раз на день своему ближнему. Довольно из десяти сторон иметь одну глупую, чтобы быть признану дураком мимо девяти хороших. Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет. И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги! Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями, но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз уже наведенные нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья,

умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: где выход, где дорога? Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблужденьям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отвсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки.

Чичиков ничего обо всем этом не знал совершенно. Как нарочно, в то время он получил легкую простуду — флюс и небольшое воспаление в горле, в раздаче которых чрезвычайно щедр климат многих наших губернских городов. Чтобы не прекратилась, боже сохрани, как-нибудь жизнь без потомков, он решился лучше посидеть денька три в комнате. В продолжение сих дней он полоскал беспрестанно горло молоком с фигой, которую потом съедал, и носил привязанную к щеке подушечку из ромашки и камфары. Желая чем-нибудь занять время, он сделал несколько новых и подробных списков всем накупленным

крестьянам, прочитал даже какой-то том герцогини Лавальер[224], отыскавшийся в чемодане, пересмотрел в ларце разные находившиеся там предметы и записочки, кое-что перечел и в другой раз, и все это прискучило ему сильно. Никак не мог он понять, что бы значило, что ни один из городских чиновников не приехал к нему хоть бы раз наведаться о здоровье, тогда как еще недавно то и дело стояли перед гостиницей дрожки — то почтмейстерские, то прокурорские, то председательские. Он пожимал только плечами, ходя по комнате. Наконец почувствовал он себя лучше и обрадовался бог знает как, когда увидел возможность выйти на свежий воздух. Не откладывая, принялся он немедленно за туалет, отпер свою шкатулку, налил в стакан горячей воды, вынул щетку и мыло и расположился бриться, чему, впрочем, давно была пора и время, потому что, пощупав бороду рукою и взглянув в зеркало, он уже произнес: «Эк какие пошли писать леса!» И в самом деле, леса не леса, а по всей щеке и подбородку высыпал довольно густой посев. Выбрившись, принялся он за одеванье живо и скоро, так что чуть не выпрыгнул из панталон. Наконец

[224] Примечания: 224

«Герцогиня Лавальер» — роман французской писательницы С. Жанлис (1746–1830).

он был одет, вспрыснут одеколоном и, закутанный потеплее, выбрался на улицу, завязавши из предосторожности щеку. Выход его, как всякого выздоровевшего человека, был точно праздничный. Все, что ни попадалось ему, приняло вид смеющийся: и домы, и проходившие мужики, довольно, впрочем, сурьезные, из которых иной уже успел съездить своего брата в ухо. Первый визит он намерен был сделать губернатору. Дорогою много приходило ему всяких мыслей на ум; вертелась в голове блондинка, воображенье начало даже слегка шалить, и он уже сам стал немного шутить и подсмеиваться над собою. В таком духе очутился он перед губернаторским подъездом. Уже стал он было в сенях поспешно сбрасывать с себя шинель, как швейцар поразил его совершенно неожиданными словами:

— Не приказано принимать!

— Как, что ты, ты, видно, не узнал меня? Ты всмотрись хорошенько в лицо! — говорил ему Чичиков.

— Как не узнать, ведь я вас не впервой вижу, — сказал швейцар. — Да вас-то именно одних и не велено пускать, других всех можно.

— Вот тебе на! отчего? почему?

— Такой приказ, так уж, видно, следует, — ска-

зал швейцар и прибавил к тому слово: «да». После чего стал перед ним совершенно непринужденно, не сохраняя того ласкового вида, с каким прежде торопился снимать с него шинель. Казалось, он думал, глядя на него: «Эге! уж коли тебя бары гоняют с крыльца, так ты, видно, так себе, шушера какой-нибудь!»

«Непонятно!» — подумал про себя Чичиков и отправился тут же к председателю палаты, но председатель палаты так смутился, увидя его, что не мог связать двух слов, и наговорил такую дрянь, что даже им обоим сделалось совестно. Уходя от него, как ни старался Чичиков изъяснить дорогою и добраться, что такое разумел председатель и насчет чего могли относиться слова его, но ничего не мог понять. Потом зашел к другим: к полицеймейстеру, к вице-губернатору, к почтмейстеру, но все или не приняли его, или приняли так странно, такой принужденный и непонятный вели разговор, так растерялись, и такая вышла бестолковщина изо всего, что он усомнился в здоровье их мозга. Попробовал было еще зайти кое к кому, чтобы узнать, по крайней мере, причину, и не добрался никакой причины. Как полусонный, бродил он без цели по городу, не будучи в состоянии решить, он ли сошел с ума,

чиновники ли потеряли голову, во сне ли все это делается или наяву заварилась дурь почище сна. Поздно уже, почти в сумерки, возвратился он к себе в гостиницу, из которой было вышел в таком хорошем расположении духа, и от скуки велел подать себе чаю. В задумчивости и в каком-то бессмысленном рассуждении о странности положения своего стал он разливать чай, как вдруг отворилась дверь его комнаты и предстал Ноздрев никак неожиданным образом.

— Вот говорит пословица: «Для друга семь верст не околица!» — говорил он, снимая картуз. — Прохожу мимо, вижу свет в окне, дай, думаю себе, зайду, верно, не спит. А! вот хорошо, что у тебя на столе чай, выпью с удовольствием чашечку: сегодня за обедом объелся всякой дряни, чувствую, что уж начинается в желудке возня. Прикажи-ка мне набить трубку! Где твоя трубка?

— Да ведь я не курю трубки, — сказал сухо Чичиков.

— Пустое, будто я не знаю, что ты куряка. Эй! как, бишь, зовут твоего человека? Эй, Вахрамей, послушай!

— Да не Вахрамей, а Петрушка.

— Как же? да у тебя ведь прежде был Вахрамей.

— Никакого не было у меня Вахрамея.

— Да, точно, это у Деребина Вахрамей. Вообрази, Деребину какое счастье: тетка его поссорилась с сыном за то, что женился на крепостной, и теперь записала ему все именье. Я думаю себе, вот если бы эдакую тетку иметь для дальнейших! Да что ты, брат, так отдалился от всех, нигде не бываешь? Конечно, я знаю, что ты занят иногда учеными предметами, любишь читать (уж почему Ноздрев заключил, что герой наш занимается учеными предметами и любит почитать, этого, признаемся, мы никак не можем сказать, а Чичиков и того менее). Ах, брат Чичиков, если бы ты только увидал… вот уж, точно, была бы пища твоему сатирическому уму (почему у Чичикова был сатирический ум, это тоже неизвестно). Вообрази, брат, у купца Лихачева играли в горку, вот уж где смех был! Перепендев, который был со мною: «Вот, говорит, если бы теперь Чичиков, уж вот бы ему точно!..» (между тем Чичиков отроду не знал никакого Перепендева). А ведь признайся, брат, ведь ты, право, преподло поступил тогда со мною, помнишь, как играли в шашки, ведь я выиграл… Да, брат, ты просто поддедюлил меня. Но ведь я, черт меня знает, никак не могу сердиться. Намедни с председателем… Ах, да! я ведь тебе

должен сказать, что в городе все против тебя; они думают, что ты делаешь фальшивые бумажки, пристали ко мне, да я за тебя горой, наговорил им, что с тобой учился и отца знал; ну и, уж нечего говорить, слил им пулю порядочную.

— Я делаю фальшивые бумажки? — вскрикнул Чичиков, приподнявшись со стула.

— Зачем ты, однако ж, так напугал их? — продолжал Ноздрев. — Они, черт знает, с ума сошли со страху: нарядили тебя в разбойники и в шпионы… А прокурор с испугу умер, завтра будет погребение. Ты не будешь? Они, сказать правду, боятся нового генерал-губернатора, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вышло; а я насчет генерал-губернатора такого мнения, что если он подымет нос и заважничает, то с дворянством решительно ничего не сделает. Дворянство требует радушия, не правда ли? Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного бала, да ведь этим что ж? Ведь этим ничего не выиграешь. А ведь ты, однако ж, Чичиков, рискованное дело затеял.

— Какое рискованное дело? — спросил беспокойно Чичиков.

— Да увезти губернаторскую дочку. Я, признаюсь, ждал этого, ей-богу, ждал! В первый раз, как только увидел вас вместе на бале, ну уж,

думаю себе, Чичиков, верно, недаром… Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор, я ничего в ней не нахожу хорошего. А есть одна, родственница Бикусова, сестры его дочь, так вот уж девушка! можно сказать: чудо коленкор!

— Да что ты, что ты путаешь? Как увезти губернаторскую дочку, что ты? — говорил Чичиков, выпуча глаза.

— Ну, полно, брат, экой скрытный человек! Я, признаюсь, к тебе с тем пришел: изволь, я готов тебе помогать. Так и быть: подержу венец тебе, коляска и переменные лошади будут мои, только с уговором: ты должен мне дать три тысячи взаймы. Нужны, брат, хоть зарежь!

В продолжение всей болтовни Ноздрева Чичиков протирал несколько раз себе глаза, желая увериться, не во сне ли он все это слышит. Делатель фальшивых ассигнаций, увоз губернаторской дочки, смерть прокурора, которой причиною будто бы он, приезд генерал-губернатора — все это навело на него порядочный испуг. «Ну, уж коли пошло на то, — подумал он сам в себе, — так мешкать более нечего, нужно отсюда убираться поскорей».

Он постарался сбыть поскорее Ноздрева, призвал к себе тот же час Селифана и велел ему быть

готовым на заре, с тем чтобы завтра же в шесть часов утра выехать из города непременно, чтобы все было пересмотрено, бричка подмазана и прочее, и прочее. Селифан произнес: «Слушаю, Павел Иванович!» — и остановился, однако ж, несколько времени у дверей, не двигаясь с места. Барин тут же велел Петрушке выдвинуть из-под кровати чемодан, покрывшийся уже порядочно пылью, и принялся укладывать вместе с ним, без большого разбора, чулки, рубашки, белье мытое и немытое, сапожные колодки, календарь… Все это укладывалось как попало; он хотел непременно быть готовым с вечера, чтобы назавтра не могло случиться никакой задержки. Селифан, постоявши минуты две у дверей, наконец очень медленно вышел из комнаты. Медленно, как только можно вообразить себе медленно, спускался он с лестницы, отпечатывая своими мокрыми сапогами следы по сходившим вниз избитым ступеням, и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесыванье? и что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась задуманная назавтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, опоясанном кушаком, где-нибудь во царевом кабаке, или уже завязалась в новом месте какая зазнобушка сер-

дечная и приходится оставлять вечернее стоянье у ворот и политичное держанье за белы ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью и плетет тихие речи разночинный отработавшийся народ? Или просто жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом, близ печи, да щей с городским мягким пирогом, с тем чтобы вновь тащиться под дождь, и слякоть, и всякую дорожную невзгоду? Бог весть, не угадаешь. Многое разное значит у русского народа почесыванье в затылке.

Глава одиннадцатая

Ничто, однако же, не случилось так, как предполагал Чичиков. Во-первых, проснулся он позже, нежели думал, — это была первая неприятность. Вставши, он послал тот же час узнать, заложена ли бричка и все ли готово; но донесли, что бричка еще была не заложена и ничего не было готово. Это была вторая неприятность. Он рассердился, приготовился даже задать что-то вроде потасовки приятелю нашему Селифану и ожидал только с нетерпением, какую тот с своей стороны приведет причину в оправдание. Скоро Селифан

показался в дверях, и барин имел удовольствие услышать те же самые речи, какие обыкновенно слышатся от прислуги в таком случае, когда нужно скоро ехать.

— Да ведь, Павел Иванович, нужно будет лошадей ковать.

— Ах ты чушка! чурбан! а прежде зачем об этом не сказал? Не было разве времени?

— Да время-то было… Да вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорога ухабиста, шибень[225] такой везде пошел… Да если позволите доложить: перед у брички совсем расшатался, так что она, может быть, и двух станций не сделает.

— Подлец ты! — вскрикнул Чичиков, всплеснув руками, и подошел к нему так близко, что Селифан из боязни, чтобы не получить от барина подарка, попятился несколько назад и посторонился. — Убить ты меня собрался? а? зарезать меня хочешь? На большой дороге меня собрался зарезать, разбойник, чушка ты проклятый, страшилище морское! а? а? Три недели сидели на месте, а? Хоть бы заикнулся, беспутный, — а вот

---

[225] Примечания: 225
Шибень — выбоины.

теперь к последнему часу и пригнал! когда уж почти начеку: сесть бы да и ехать, а? а ты вот тут-то и напакостил, а? а? Ведь ты знал это прежде? ведь ты знал это, а? а? Отвечай. Знал? А?

— Знал, — отвечал Селифан, потупивши голову.

— Ну так зачем же тогда не сказал, а?

На этот вопрос Селифан ничего не отвечал, но, потупивши голову, казалось, говорил сам себе: «Вишь ты, как оно мудрено случилось; и знал ведь, да не сказал!»

— А вот теперь ступай приведи кузнеца, да чтоб в два часа все было сделано. Слышишь? непременно в два часа, а если не будет, так я тебя, я тебя… в рог согну и узлом завяжу! — Герой наш был сильно рассержен.

Селифан оборотился было к дверям, с тем чтоб идти выполнить приказание, но остановился и сказал:

— Да еще, сударь, чубарого коня, право, хоть бы продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец; он такой конь, просто не приведи бог, только помеха.

— Да! вот пойду, побегу на рынок продавать!

— Ей-богу, Павел Иванович, он только что на вид казистый, а на деле самый лукавый конь;

такого коня нигде…

— Дурак! когда захочу продать, так продам. Еще пустился в рассужденья! Вот посмотрю я: если ты мне не приведешь сейчас кузнецов да в два часа не будет все готово, так я тебе такую дам потасовку… сам на себе лица не увидишь! Пошел! ступай!

Селифан вышел.

Чичиков сделался совершенно не в духе и швырнул на пол саблю, которая ездила с ним в дороге для внушения надлежащего страха кому следует. Около четверти часа с лишком провозился он с кузнецами, покамест сладил, потому что кузнецы, как водится, были отъявленные подлецы и, смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно вшестеро. Как он ни горячился, называл их мошенниками, разбойниками, грабителями проезжающих, намекнул даже на Страшный суд, но кузнецов ничем не пронял: они совершенно выдержали характер — не только не отступились от цены, но даже провозились за работой вместо двух часов целых пять с половиною. В продолжение этого времени он имел удовольствие испытать приятные минуты, известные всякому путешественнику, когда в чемодане все уложено и в комнате валяются только веревочки,

бумажки да разный сор, когда человек не принадлежит ни к дороге, ни к сиденью на месте, видит из окна проходящих плетущихся людей, толкующих об своих гривнах и с каким-то глупым любопытством поднимающих глаза, чтобы, взглянув на него, опять продолжать свою дорогу, что еще более растравляет нерасположение духа бедного неедущего путешественника. Все, что ни есть, все, что ни видит он: и лавчонка против его окон, и голова старухи, живущей в супротивном доме, подходящей к окну с коротенькими занавесками, — все ему гадко, однако же он не отходит от окна. Стоит, то позабываясь, то обращая вновь какое-то притупленное внимание на все, что перед ним движется и не движется, и душит с досады какую-нибудь муху, которая в это время жужжит и бьется об стекло под его пальцем. Но всему бывает конец, и желанная минута настала: все было готово, перед у брички как следует был налажен, колесо было обтянуто новою шиною, кони приведены с водопоя, и разбойники кузнецы отправились, пересчитав полученные целковые и пожелав благополучия. Наконец и бричка была заложена, и два горячие калача, только что купленные, положены туда, и Селифан уже засунул кое-что для себя в карман,

бывший у кучерских козел, и сам герой наконец, при взмахивании картузом полового, стоявшего в том же демикотоновом сюртуке, при трактирных и чужих лакеях и кучерах, собравшихся позевать, как выезжает чужой барин, и при всяких других обстоятельствах, сопровождающих выезд, сел в экипаж, — и бричка, в которой ездят холостяки, которая так долго застоялась в городе и так, может быть, надоела читателю, наконец выехала из ворот гостиницы. «Слава те, Господи!» — подумал Чичиков и перекрестился. Селифан хлыснул кнутом; к нему подсел сперва повисевший несколько времени на подножке Петрушка, и герой наш, усевшись получше на грузинском коврике, заложил за спину себе кожаную подушку, притиснул два горячие калача, и экипаж пошел опять подплясывать и покачиваться благодаря мостовой, которая, как известно, имела подкидывающую силу. С каким-то неопределенным чувством глядел он на домы, стены, забор и улицы, которые также с своей стороны, как будто подскакивая, медленно уходили назад и которые, бог знает, судила ли ему участь увидеть еще когда-либо в продолжение своей жизни. При повороте в одну из улиц бричка должна была остановиться, потому что во всю длину ее проходила бесконечная

погребальная процессия. Чичиков, высунувшись, велел Петрушке спросить, кого хоронят, и узнал, что хоронят прокурора. Исполненный неприятных ощущений, он тот же час спрятался в угол, закрыл себя кожею и задернул занавески. В это время, когда экипаж был таким образом остановлен, Селифан и Петрушка, набожно снявши шляпу, рассматривали, кто, как, в чем и на чем ехал, считая числом, сколько было всех и пеших и ехавших, а барин, приказавши им не признаваться и не кланяться никому из знакомых лакеев, тоже принялся рассматривать робко сквозь стеклышка, находившиеся в кожаных занавесках: за гробом шли, снявши шляпы, все чиновники. Он начал было побаиваться, чтобы не узнали его экипажа, но им было не до того. Они даже не занялись разными житейскими разговорами, какие обыкновенно ведут между собою провожающие покойника. Все мысли их были сосредоточены в это время в самих себе: они думали, каков-то будет новый генерал-губернатор, как возьмется за дело и как примет их. За чиновниками, шедшими пешком, следовали кареты, из которых выглядывали дамы в траурных чепцах. По движениям губ и рук их видно было, что они были заняты живым разговором;

может быть, они тоже говорили о приезде нового генерал-губернатора и делали предположения насчет балов, какие он даст, и хлопотали о вечных своих фестончиках и нашивочках. Наконец за каретами следовало несколько пустых дрожек, вытянувшихся гуськом, наконец и ничего уже не осталось, и герой наш мог ехать. Открывши кожаные занавески, он вздохнул, произнесши от души: «Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови». Тут он приказал Селифану ехать поскорее и между тем подумал про себя: «Это, однако ж, хорошо, что встретились похороны; говорят, значит счастие, если встретишь покойника».

Бричка между тем поворотила в более пустынные улицы; скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие конец города. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге.

И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны[226], солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца… Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими

---

[226] Примечания: 226

Рыдван — в старину: большая дорожная карета.

в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела

мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! — И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка.

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и как чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух… покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмемся к углу! В последний раз пробежавшая дрожь прохватила члены, и уже сменила ее приятная теплота. Кони мчатся… как соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон слышатся и «Не белы снеги», и сап лошадей, и шум колес, и

уже храпишь, прижавши к углу своего соседа. Проснулся: пять станций убежало назад; луна, неведомый город, церкви с старинными деревянными куполами и чернеющими остроконечьями, темные бревенчатые и белые каменные дома. Сияние месяца там и там: будто белые полотняные платки развешались по стенам, по мостовой, по улицам; косяками пересекают их черные, как уголь, тени; подобно сверкающему металлу блистают вкось озаренные деревянные крыши, и нигде ни души — все спит. Один-одинешенек, разве где-нибудь в окошке брезжит огонек: мещанин ли городской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возится в печурке — что до них? А ночь! небесные силы! какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.. Но дышит свежо в самые очи холодное ночное дыхание и убаюкивает тебя, и вот уже дремлешь, и забываешься, и храпишь, и ворочается сердито, почувствовав на себе тяжесть, бедный, притиснутый в углу сосед. Проснулся — и уже опять перед тобою поля и степи, нигде ничего — везде пустырь, все открыто. Верста с цифрой летит тебе в очи; занимается утро; на побелевшем холодном небосклоне золо-

тая бледная полоса; свежее и жестче становится ветер: покрепче в теплую шинель!.. какой славный холод! какой чудный, вновь обнимающий тебя сон! Толчок — и опять проснулся. На вершине неба солнце. «Полегче! легче!» — слышится голос, телега спускается с кручи: внизу плотина широкая и широкий ясный пруд, сияющий, как медное дно, перед солнцем; деревня, избы рассыпались на косогоре; как звезда, блестит в стороне крест сельской церкви; болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке… Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!.. Но и друг наш Чичиков чувствовал в это время не вовсе прозаические грезы. А посмотрим, что он чувствовал. Сначала он не чувствовал ничего и поглядывал только назад, желая увериться, точно ли выехал из города; но когда увидел, что город уже давно скрылся, ни кузниц, ни мельниц, ни всего того, что находится вокруг городов, не было видно и даже белые верхушки каменных церквей давно ушли в землю, он занялся только одной

дорогою, посматривал только направо и налево, и город N. как будто не бывал в его памяти, как будто проезжал он его давно, в детстве. Наконец и дорога перестала занимать его, и он стал слегка закрывать глаза и склонять голову к подушке. Автор признается, этому даже рад, находя, таким образом, случай поговорить о своем герое; ибо доселе, как читатель видел, ему беспрестанно мешали то Ноздрев, то балы, то дамы, то городские сплетни, то, наконец, тысячи тех мелочей, которые кажутся только тогда мелочами, когда внесены в книгу, а покамест обращаются в свете, почитаются за весьма важные дела. Но теперь отложим совершенно все в сторону и прямо займемся делом.

Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям. Дамам он не понравится, это можно сказать утвердительно, ибо дамы требуют, чтоб герой был решительное совершенство, и если какое-нибудь душевное или телесное пятнышко, тогда беда! Как глубоко ни загляни автор ему в душу, хоть отрази чище зеркала его образ, ему не дадут никакой цены. Самая полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в каком случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворо-

тившись, скажут: «Фи, такой гадкий!» Увы! все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека, но… может быть, в сей же самой повести почуются иные, еще доселе не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертва книга пред живым словом! Подымутся русские движения… и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов… Но к чему и зачем говорить о том, что впереди? Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше. Всему свой черед, и место, и время! А добродетельный человек все-таки не взят в герои. И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек»; потому что обрати-

ли в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом, и всем чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!

Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные — Бог ведает; лицом он на них не походил: по крайней мере, родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пигалицами, взявши в руки ребенка, вскрикнула: «Совсем вышел не такой, как я думала! Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что было бы и лучше, а он родился просто, как говорит пословица: ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца». Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприютно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве! Маленькая горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето, отец, боль-

ной человек, в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший в стоявшую в углу песочницу, вечное сиденье на лавке, с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах, вечная пропись перед глазами: «не лги, послушествуй старшим и носи добродетель в сердце»; вечный шарк и шлепанье по комнате хлопанцев, знакомый, но всегда суровый голос: «опять задурил!», отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскуча однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кавыку или хвост; и вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев: вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память. Но в жизни все меняется быстро и живо: и в один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая[227] пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем сорóки; ею правил кучер, маленький горбунок,

[227] Примечания: 227
Мухортая — лошадь с желтыми подпалинами.

родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На сорóке тащились они полтора дни с лишком; на дороге ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареною бараниною, и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули нежданным великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом сорóка бултыхнула вместе с тележкою в яму, которою начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и запруженный грязью; долго работала она там всеми силами и месила ногами, подстрекаемая и горбуном, и самим барином, и наконец втащила их в небольшой дворик, стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями пред стареньким домиком и садиком позади его, низеньким, маленьким, состоявшим только из рябины, бузины и скрывавшейся во глубине ее деревянной будочки, крытой драньем, с узеньким матовым окошечком. Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою. Тут должен был он

остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавши, на другой же день выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту Бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей сорóке, и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.

Павлуша с другого же дни принялся ходить в

классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностию; но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощенье, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив — в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, — признак подступающего голода, — он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился наконец

до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевелиться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность! — говорил он. — Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях! ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам. «Способности и дарования? это все вздор, — говаривал он, — я смотрю только на поведенье. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому нуль, хотя он Солона

заткни за пояс!» Так говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей», — и всегда рассказывавший с наслаждением в лице и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно было, как муха летит; что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто там или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во все время класса, как ни щипали его сзади; как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всех треух (учитель ходил в треухе); подавши треух, он выходил первый из класса и старался ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами *за примерное прилежание и благонадежное поведение.* Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, с подбородком, потребовавшим бритвы. В это вре-

мя умер отец его. В наследстве оказались четыре заношенные безвозвратно фуфайки, два старых сертука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишко с ничтожной землицей за тысячу рублей, а семью людей перевел в город, располагаясь основаться в нем и заняться службой. В это же время был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить; наконец и пить уже было ему не на что; больной, без куска хлеба и помощи, пропадал он где-то в нетопленной забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых ему мерещилась беспрестанно непокорность и заносчивое поведение, узнавши об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное; один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то пятак серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: «Эх ты, жила!» Закрыл лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших учеников своих; слезы градом полились из погасавших очей, как у бессильного

дитяти. «При смерти на одре привел Бог заплакать», — произнес он слабым голосом и тяжело вздохнул, услышав о Чичикове, прибавя тут же: «Эх, Павлуша! вот как переменяется человек! ведь какой был благонравный, ничего буйного, шелк! Надул, сильно надул…»

Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова и черства и чувства его были до того притуплены, чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания; он чувствовал и то и другое, он бы даже хотел помочь, но только, чтобы не заключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было не трогать; словом, отцовское наставление: береги и копи копейку — пошло впрок. Но в нем не было привязанности собственно к деньгам для денег; им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им: ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками; экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды — вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы наконец потом, со временем, вкусить непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе и другому. Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой

упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь был конторщик, волосы носил в кружок!» И все, что ни отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим. Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть: так сильно было у него желанье скорее приняться за дело и службу. Однако же, несмотря на похвальные аттестаты, с большим трудом определился он в казенную палату. И в дальних захолустьях нужна протекция! Местечко досталось ему ничтожное, жалованья тридцать или сорок рублей в год. Но решился он жарко заняться службою, все победить и преодолеть. И точно, самоотвержение, терпенье и ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги, не ходил домой, спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас с сторожами и при всем том умел сохранить опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу приятное выражение и даже что-то благородное в движениях. Надобно сказать, что палатские чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием. У иных бы-

ли лица, точно дурно выпеченный хлеб: щеку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу взнесло пузырем, которая в прибавку к тому еще и треснула; словом, совсем некрасиво. Говорили они все как-то сурово, таким голосом, как бы собирались кого прибить; приносили частые жертвы Вакху, показав таким образом, что в славянской природе есть еще много остатков язычества; приходили даже подчас в присутствие, как говорится, нализавшись, отчего в присутствии было нехорошо и воздух был вовсе не ароматический. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков, представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотребленьем никаких крепких напитков. Но при всем том трудна была его дорога; он попал под начальство уже престарелому повытчику[228], который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости: вечно тот же, неприступный, никогда в жизни не явивший на лице своем усмешки, не приветствовавший ни разу никого даже запросом о здоровье. Никто не видал, чтобы он хоть раз был

[228] Примечания: 228
Повытчик — начальник отдела («выть» — отдел).

не тем, чем всегда, хоть на улице, хоть у себя дома; хоть бы раз показал он в чем-нибудь участье, хоть бы напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы; хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту, но даже тени не было в нем ничего такого. Ничего не было в нем ровно: ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось в сем отсутствии всего. Черство-мраморное лицо его, без всякой резкой неправильности, не намекало ни на какое сходство; в суровой соразмерности между собою были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, черт приходил по ночам молотить горох. Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение, но Чичиков попробовал. Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах: рассмотрел внимательно чинку перьев, какими писал он, и, приготовивши несколько по образцу их, клал ему всякий раз их под руку; сдувал и сметал со стола его песок и табак; завел новую тряпку для его чернильницы; отыскал где-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал ее возле него за

минуту до окончания присутствия; чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом у стены, — но все это осталось решительно без всякого замечания, так, как будто ничего этого не было и делано. Наконец, он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь, узнал, что у него была зрелая дочь, с лицом, тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз насупротив ее, чисто одетый, накрахмаливши сильно манишку, — и дело возымело успех: пошатнулся суровый повытчик и зазвал его на чай! И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку и сахар, с дочерью обращался, как с невестой, повытчика звал папенькой и целовал его в руку; все положили в палате, что в конце февраля перед Великим постом будет свадьба. Суровый повытчик стал даже хлопотать за него у начальства, и чрез несколько времени Чичиков сам сел повытчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связей его с старым повытчиком, потому

что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повытчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки, а о свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его на чай, так что старый повытчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул, чертов сын!»

Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор пошло легче и успешнее. Он стал человеком заметным. Все оказалось в нем, что нужно для этого мира: и приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют хлебное местечко, и воспользовался им отличным образом. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток; преследований он не испугался и обратил их тот же час в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело устроено было вот как: как только приходил проситель и за-

совывал руку в карман, с тем чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражаются у нас на Руси: «Нет, нет, — говорил он с улыбкой, удерживая его руки, — вы думаете, что я… нет, нет. Это наш долг, наша обязанность, без всяких возмездий мы должны сделать! С этой стороны уж будьте покойны: завтра же все будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру, вам и заботиться не нужно самим, все будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая: «Вот наконец человек, каких нужно побольше, это просто драгоценный алмаз!» Но ждет проситель день, другой, не приносят дела на дом, на третий тоже. Он в канцелярию, дело и не начиналось; он к драгоценному алмазу. «Ах, извините! — говорил Чичиков очень учтиво, схвативши его за обе руки, — у нас было столько дел; но завтра же все будет сделано, завтра непременно, право, мне даже совестно!» И все это сопровождалось движениями обворожительными. Если при этом распахивалась как-нибудь пола халата, то рука в ту же минуту старалась дело поправить и придержать полу. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дела на дом. Проситель

берется за ум: да полно, нет ли чего? Выведывает; говорят, нужно дать писарям. «Почему ж не дать? я готов четвертак, другой». — «Нет, не четвертак, а по беленькой». — «По беленькой писарям!» — вскрикивает проситель. «Да чего вы так горячитесь? — отвечают ему, — оно так и выйдет, писарям и достанется по четвертаку, а остальное пойдет к начальству». Бьет себя по лбу недогадливый проситель и бранит на чем свет стоит новый порядок вещей, преследование взяток и вежливые, облагороженные обращения чиновников. Прежде было знаешь, по крайней мере, что делать: принес правителю дел красную[229], да и дело в шляпе, а теперь по беленькой, да еще неделю провозишься, пока догадаешься; черт бы побрал бескорыстие и чиновное благородство! Проситель, конечно, прав, но зато теперь нет взяточников: все правители дел честнейшие и благороднейшие люди, секретари только да писаря мошенники. Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее: образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших

---

[229] Примечания: 229

Красная — ассигнация в десять рублей.

членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержанья и неумолимого своего самоотверженья. Тут только долговременный пост наконец был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собою. Оказались кое-какие излишества: он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою; уже приобрел он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцом; уже завел он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном; уже

покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости коже, уже…

Но вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнул он всех до одного, потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности; дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов[230], все распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику, почему именно, бог ведает, — иногда даже просто не бывает на это причин, — и он возненавидел его насмерть. И грозен был сильно для всех неумолимый начальник. Но так как все же он был человек военный, стало быть, не знал всех тонкостей гражданских проделок, то чрез несколько времени, посредством правдивой наружности и уменья подделаться ко всему,

[230] Примечания: 230

Кантонисты — солдатские сыновья, с самого рождения определенные в военное ведомство.

втерлись к нему в милость другие чиновники, и генерал скоро очутился в руках еще больших мошенников, которых он вовсе не почитал такими; даже был доволен, что выбрал наконец людей как следует, и хвастался не в шутку тонким уменьем различать способности. Чиновники вдруг постигнули дух его и характер. Все, что ни было под начальством его, сделалось страшными гонителями неправды; везде, во всех делах они преследовали ее, как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по нескольку тысяч капиталу. В это время обратились на путь истины многие из прежних чиновников и были вновь приняты на службу. Но Чичиков уж никаким образом не мог втереться, как ни старался и ни стоял за него подстрекнутый письмами князя Хованского первый генеральский секретарь, постигнувший совершенно управленье генеральским носом, но тут он ничего решительно не мог сделать. Генерал был такого рода человек, которого хотя и водили за нос (впрочем, без его ведома), но зато уже, если в голову ему западала какая-нибудь мысль, то она там была все равно что железный гвоздь: ничем нельзя было ее оттуда вытеребить.

Все, что мог сделать умный секретарь, было уничтоженье запачканного послужного списка, и на то уже он подвинул начальника не иначе, как состраданием, изобразив ему в живых красках трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастию, у него не было.

«Ну, что ж! — сказал Чичиков, — зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать». И вот решился он сызнова начать карьер, вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как ни привольно и ни хорошо было развернулся прежде. Нужно было переехать в другой город, там еще приводить себя в известность. Все как-то не клеилось. Две, три должности должен он был переменить в самое короткое время. Должности как-то были грязны, низменны. Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал в свете. Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева и все бы было благородно. Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел отсутствие должного уважения к чину

или званию. Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие два дни переменял на себе белье, а летом во время жаров даже и всякий день: всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидавать сапоги, клал себе в нос гвоздичку, и во многих случаях нервы у него были щекотливые, как у девушки; и потому тяжело ему было очутиться вновь в тех рядах, где все отзывалось пенником и неприличьем в поступках. Как ни крепился он духом, однако же похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал было он полнеть и приходить в те круглые и приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном: о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями; но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая! какой же я стал гадкий!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил все герой наш, переносил сильно, терпеливо переносил, и — перешел наконец в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный

предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться: и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам; как оно называлось, бог ведает, но, по его предположениям, непременно находилось на границе. Итак, он давно бы хотел в таможню, но удерживали текущие разные выгоды по строительной комиссии, и он рассуждал справедливо, что таможня, как бы то ни было, все еще не более как журавль в небе, а комиссия уже была синица в руках. Теперь же решился он во что бы то ни стало добраться до таможни, и добрался. За службу свою принялся он с ревностью необыкновенною. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В три-четыре недели он уже так набил руку в таможенном

деле, что знал решительно все: даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи; взявши в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье: нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку, и все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать?» Или: «Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами». Или: «Позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели» — и, говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был черт, а не человек: он отыскивал в колесах,

дышлах[231], лошадиных ушах и невесть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновникам. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжение нескольких минут не мог опомниться и, отирая пот, выступивший мелкою сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну, ну!» Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его, с тем чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти наконец до сведения начальства.

---

[231] Примечания: 231

Дышло — толстая оглобля, прикрепляемая к середине передней оси повозки при парной упряжке.

Он получил чин и повышение и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов обдуманно-правильным образом; на миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведение о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как простой пешкой, стало быть, немного получил бы; но теперь… теперь совсем другое дело: он мог предложить какие угодно условия. Чтобы дело шло беспрепятственней, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против соблазна, несмотря на то что волосом был сед. Условия были заключены, и общество приступило к действиям. Действия начались блистательно: читатель,

без сомнения, слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион брабантских кружев. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможне. Не участвуй он сам в этом предприятии, никаким жидам в мире не удалось бы привести в исполнение подобного дела. После трех или четырех бараньих походов через границу у обоих чиновников очутилось по четыреста тысяч капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за пятьсот, потому что был побойчее. Бог знает до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Черт сбил с толку обоих чиновников; чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивши, Чичиков назвал другого чиновника поповичем, а тот, хотя действительно был попович, неизвестно почему обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно и необыкновенно резко, именно вот как: «Нет, врешь, я статский советник, а не попович, а вот ты так попович!» И потом еще прибавил ему в пику для большей

досады: «Да вот, мол, что!» Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него им же приданное название, и хотя выражение «вот, мол, что!» могло быть сильно, но, недовольный сим, он послал еще на него тайный донос. Впрочем, говорят, что и без того была у них ссора за какую-то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа, по выражению таможенных чиновников; что были даже подкуплены люди, чтобы под вечерок в темном переулке поизбить нашего героя; но что оба чиновника были в дураках и бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев. Как было дело в самом деле, бог их ведает; пусть лучше читатель-охотник досочинит сам. Главное в том, что тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть и сам пропал, но таки упек своего товарища. Чиновников взяли под суд, конфисковали, описали все, что у них ни было, и все это разрешилось вдруг как гром над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали. Статский советник, по русскому обычаю, с горя запил, но коллежский устоял. Он умел затаить часть деньжонок, как ни чутко было обоняние наехавшего на следствие начальства. Употребил все тонкие извороты

ума, уже слишком опытного, слишком знающего хорошо людей: где подействовал приятностью оборотов, где трогательною речью, где покурил лестью, ни в каком случае не портящею дела, где всунул деньжонку, — словом, обработал дело, по крайней мере, так, что отставлен был не с таким бесчестьем, как товарищ, и увернулся из-под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещиц, ничего не осталось ему; на все это нашлись другие охотники. Удержалось у него тысячонок десяток, запрятанных про черный день, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да два крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка, да таможенные чиновники, движимые сердечною добротою, оставили ему пять или шесть кусков мыла для сбережения свежести щек — вот и все. Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш! Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову! Это называл он: потерпеть по службе за правду. Теперь можно бы заключить, что после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы и жизненного горя он удалится с оставшимися кровными десятью тысячонками в какое-нибудь мирное захолустье

уездного городишка и там заклекнет[232] навеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбирая по воскресным дням драку мужиков, возникшую пред окнами, или для освежения пройдясь в курятник пощупать лично курицу, назначенную в суп, и проведет таким образом нешумный, но в своем роде тоже небесполезный век. Но так не случилось. Надобно отдать справедливость непреодолимой силе его характера. После всего того, что бы достаточно было если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Словом, он показал терпенье, пред которым ничто деревянное терпенье немца, заключенное уже в медленном, ленивом обращении крови его. Кровь Чичикова, напротив, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтоб набросить узду на все то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости: «Почему ж

---

[232] Примечания: 232
Заклекнуть — завянуть.

я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? — все приобретают. Несчастным я не сделал никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякий брал бы; не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем? И что я теперь? Куда я гожусь? какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю, и что скажут потом мои дети? Вот, скажут, отец, скотина, не оставил нам никакого состояния!»

Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собою: а что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе: мыло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу — словом, не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш, а между тем деятельность никак не умирала

в голове его; там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съежился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил себя во всем, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь. И в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием, еще не приобретшим у нас гражданства, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкою приказною тварью и даже самими доверителями, осужденным на пресмыканье в передних, грубости и прочее, но нужда заставила решиться на все. Из поручений досталось ему, между прочим, одно: похлопотать о заложении в опекунский совет[233] нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими падежами, плутами приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников, и, наконец, бестолковьем самого помещика, убиравшего себе в Москве дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку все состояние свое до последней копейки, так что уж не на что было есть. По этой-то причине понадобилось наконец заложить по-

[233] Примечания: 233

Опекунский совет — учреждение, ведавшее воспитательными домами и занимавшееся также выдачей ссуд под залог имений.

следнее оставшееся имение. Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков в качестве поверенного, прежде расположивши всех (без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, все же хоть по бутылке мадеры придется влить во всякую глотку), — итак, расположивши всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство: половина крестьян вымерла, так чтобы не было каких-нибудь потом привязок…

— Да ведь они по ревизской сказке числятся? — сказал секретарь.

— Числятся, — отвечал Чичиков.

— Ну, так чего же вы оробели? — сказал секретарь, — один умер, другой родится, а все в дело годится.

Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким-простота, — сказал он сам в себе, — ищу рукавиц, а обе за поясом! Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж две-

сти тысяч капиталу! А теперь же время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует; все полезло в Петербург служить; имения брошены, управляются как ни попало, подати уплачиваются с каждым годом труднее, так мне с радостью уступит их каждый уже потому только, чтобы не платить за них подушных денег; может, в другой раз так случится, что с иного и я еще зашибу за это копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этого истории. Ну да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное то хорошо, что предмет-то покажется всем невероятным, никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут! А переселение можно сделать законным образом, как следует по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян: пожалуй, я и тут не прочь, почему же нет? я представлю и свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать

Чичикова слободка или по имени, данному при крещении: сельцо Павловское». И вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет, за который, не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо, что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма.

Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства, и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертностей и прочего и прочего, — словом, где бы можно удобнее и дешевле накупить потребного народа. Он не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе, чтобы, если можно, более дружбою, а не покупкою приобрести мужиков. Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, доныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу: это вина Чичикова, здесь он полный

хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если, точно, падет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего широкого теченья и объема дела. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен; сначала все серо и однообразно: тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом, а потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел; как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двигнутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом. Еще много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно от

Заседателя до подлеца чубарого. Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть! Но потребуют, может быть, заключительного определения одной чертою: кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно. Кто же он? стало быть, подлец? Почему ж подлец, зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два, три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение — вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название не *очень чистых.* Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб-соль и проводить приятно время, станет глядеть на него косо, если он очутится героем драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин. Быстро все превращается в человеке;

не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась в рожденном на лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его. Блажен избравший себе из всех прекраснейшую страсть; растет и десятерится с каждым часом и минутой безмерное его блаженство, и входит он глубже и глубже в бесконечный рай своей души. Но есть страсти, которых избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту рожденья его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаньями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им: все равно, в мрачном ли образе или пронестись светлым явленьем, возрадующим мир, — одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в сем же самом

Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме.

Но не то тяжело, что будут недовольны героем, тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни автор поглубже ему в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, и все были бы радешеньки и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы как живой пред глазами; зато по окончании чтения душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто

видеть то, что вовсе не утешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы! «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно? — говорит помещик приказчику. — Я, брат, это знаю без тебя, да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого, я тогда счастлив». И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвенье. Спит ум, может быть обретший бы внезапный родник великих средств; а там имение бух с аукциона, и пошел помещик забываться по миру с душою, от крайности готовою на низости, которых бы сам ужаснулся прежде.

Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устроивая судьбу свою на счет других; но как только случится что-нибудь, по мненью их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики: «Да хорошо ли выводить

это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше — хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?» На такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ. А разве вот что: жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался; существованье его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом: «Вот, например, зверь, — говорил он, ходя по комнате, — зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица, почему не вылупливается из яйца? Как, право, того: совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься!» Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич. Но не в этом еще главное дело. Другой обитатель был Мокий Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь, и в то время, когда отец занимался рожденьем зверя, двадцатилетняя плечистая натура его так и поры-

валась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка: все или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве все, от дворовой девки до дворовой собаки, бежало прочь, его завидя; даже собственную кровать в спальне изломал он в куски. Таков был Мокий Кифович, а впрочем, был он доброй души. Но не в этом еще главное дело. А главное дело вот в чем: «Помилуй, батюшка барин, Кифа Мокиевич, — говорила отцу и своя и чужая дворня, — что у тебя за Мокий Кифович? Никому нет от него покоя, такой припертень!»[234] — «Да, шаловлив, шаловлив, — говорил обыкновенно на это отец, — да ведь как быть: драться с ним поздно, да и меня же все обвинят в жестокости; а человек он честолюбивый, укори его при другом-третьем, он уймется, да ведь гласность-то — вот беда! город узнает, назовет его совсем собакой. Что, право, думают, мне разве не больно? разве я не отец? Что занимаюсь философией да иной раз нет времени, так уж я и не отец? ан вот нет же, отец! отец, черт их побери, отец! У меня Мокий Кифович вот тут сидит, в сердце! — Тут Кифа Мокиевич бил себя весьма сильно в грудь

[234] Примечания: 234
Припертень — обидчик.

кулаком и приходил в совершенный азарт. — Уж если он и останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнают, пусть не я выдал его». И, показав такое отеческое чувство, он оставлял Мокия Кифовича продолжать богатырские свои подвиги, а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос: «Ну а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать». Так проводили жизнь два обитателя мирного уголка, которые нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы, выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвиненье со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся какой-нибудь философией или приращениями на счет сумм нежно любимого ими отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Но нет, не патриотизм и не первое чувство суть причины обвинений, другое скрывается под ними. К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор,

вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым, может быть, даже похвалите автора, скажете: «Однако ж кое-что он ловко подметил, должен быть веселого нрава человек!» И после таких слов с удвоившеюся гордостию обратитесь к себе, самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите: «А ведь должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые!» А кто из вас, полный христианского смиренья, не гласно, а в тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит во внутрь собственной души сей тяжелый запрос: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» Да, как бы не так! А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин ни слишком большой, ни слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное знанию и летам, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиков! Чичиков! Чичиков!»

Но мы стали говорить довольно громко, по-

забыв, что герой наш, спавший во все время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю сполагоря, рассердится ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем: еще не мало пути и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку; две большие части впереди — это не безделица.

— Эхе-хе! что ж ты? — сказал Чичиков Селифану, — ты?

— Что? — сказал Селифан медленным голосом.

— Как что? Гусь ты! как ты едешь? Ну же, потрогивай!

И в самом деле, Селифан давно уже ехал зажмуря глаза, изредка только потряхивая впросонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей; а с Петрушки уже давно невесть в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине чубарого, после чего тот пустился рысцой, да помахнувши сверху кнутом на всех, примолвил

тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх! эх! эх!» — плавно подскакивая на козлах, по мере того как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя

выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины

знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, посторанивaются и дают ей дорогу другие народы и государства.

Том второй[235]
Глава первая

Зачем же выставлять напоказ бедность нашей жизни и наше грустное несовершенство, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если такого свойства сочинитель, и так уже заболел он сам собственным несовершенством, и так уже устроен талант его, чтобы изображать ему бедность нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства! И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок.

Зато какая глушь и какой закоулок!

На тысячу с лишком верст неслись, извиваясь, горные возвышения. Точно как бы исполинский вал какой-то бесконечной крепости, возвышались они над равнинами то желтоватым отломом, в виде стены, с промоинами и рытвинами, то зеленой кругловидной выпуклиной, покрытой, как мерлушками, молодым кустарником, подымавшимся от срубленных дерев, то наконец

---

[235] Примечания: 235

Второй том «Мертвых душ» представлен в ранней редакции как наиболее полной.

темным лесом, еще уцелевшим от топора. Река то, верная своим высоким берегам, давала вместе с ними углы и колена по всему пространству, то иногда уходила от них прочь, в луга, затем, чтобы, извившись там в несколько извивов, блеснуть, как огонь, перед солнцем, скрыться в рощи берез, осин и ольх и выбежать оттуда в торжестве, в сопровожденье мостов, мельниц и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте.

В одном месте крутой бок возвышений воздымался выше прочих и весь от низу до верху убирался в зелень столпившихся густо дерев. Тут было все вместе: и клен, и груша, и низкорослый ракитник, и чилига, и березка, и ель, и рябина, опутанная хмелем; тут…[236] мелькали красные крыши господских строений, коньки и гребни сзади скрывшихся изб и верхняя надстройка господского дома, а над всей этой кучей дерев и крыш старинная церковь возносила свои пять играющих верхушек. На всех их были золотые прорезные кресты, золотыми прорезными цепями прикрепленные к куполам, так что издали сверкало, как бы на воздухе, ни к чему не прикрепленное, висевшее золото. И вся эта куча

[236] Примечания: 236
В рукописи стерто два слова.

дерев, крыш, вместе с церковью, опрокинувшись верхушками вниз, отдавалась в реке, где картинно-безобразные старые ивы, одни стоя у берегов, другие совсем в воде, опустивши туда и ветви и листья, точно как бы рассматривали это изображение, которым не могли налюбоваться во все продолженье своей многолетней жизни.

Вид был очень недурен, но вид сверху вниз, с надстройки дома на равнины и отдаленья, был еще лучше. Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. У него захватывало в груди, и он мог только произнесть: «Господи, как здесь просторно!» Пространства открывались без конца. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, зеленели и синели густые леса, как моря или туман, далеко разливавшийся. За лесами, сквозь мглистый воздух, желтели пески. За песками лежали гребнем на отдаленном небосклоне меловые горы, блиставшие ослепительной белизной даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. Кое-где дымились по ним легкие туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни, но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшая, подобно искре, золотая церковная маковка давала знать, что это было

людное, большое селенье. Все это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных певцов, наполнявших воздух. Словом, не мог равнодушно выстоять на балконе никакой гость и посетитель, и после какого-нибудь двухчасового созерцания издавал он то же самое восклицание, как и в первую минуту: «Силы небес, как здесь просторно!»

Кто ж был жилец этой деревни, к которой, как к неприступной крепости, нельзя было и подъехать отсюда, а нужно было подъезжать с другой стороны — полями, хлебами и, наконец, редкой дубровой, раскинутой картинно по зелени, вплоть до самых изб и господского дома? Кто был жилец, господин и владетель этой деревни? Какому счастливцу принадлежал этот закоулок?

А помещику Тремалаханского уезда Андрею Ивановичу Тентетникову, молодому тридцатитрехлетнему господину, коллежскому секретарю, неженатому человеку.

Что же за человек такой, какого нрава, каких свойств и какого характера был помещик Андрей Иванович Тентетников?

Разумеется, следует расспросить у соседей. Сосед, принадлежавший к фамилии отставных

штаб-офицеров, брандеров, выражался о нем лаконическим выраженьем: «Естественнейший скотина!» Генерал, проживавший в десяти верстах, говорил: «Молодой человек, неглупый, но много забрал себе в голову. Я бы мог быть ему полезным, потому что у меня и в Петербурге, и даже при...» Генерал речи не оканчивал. Капитан-исправник замечал: «Да ведь чинишка на нем — дрянь; а вот я завтра же к нему за недоимкой!» Мужик его деревни на вопрос о том, какой у них барин, ничего не отвечал. Словом, общественное мненье о нем было скорее неблагоприятное, чем благоприятное.

А между тем в существе своем Андрей Иванович был не то доброе, не то дурное существо, а просто — коптитель неба. Так как уже немало есть на белом свете людей, коптящих небо, то почему же и Тентетникову не коптить его? Впрочем, вот в немногих словах весь журнал его дня, и пусть из него судит читатель сам, какой у него был характер.

Поутру просыпался он очень поздно и, приподнявшись, долго еще сидел на своей кровати, протирая глаза. Глаза же, как на беду, были маленькие, и потому протиранье их производилось необыкновенно долго. Во все это время стоял у

дверей человек Михайло с рукомойником и полотенцем. Стоял этот бедный Михайло час, другой, отправлялся потом на кухню, потом вновь приходил, — барин все еще протирал глаза и сидел на кровати. Наконец подымался он с постели, умывался, надевал халат и выходил в гостиную затем, чтобы пить чай, кофий, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлеба безжалостно и насоривая повсюду трубочной золы бессовестно. Два часа просиживал он за чаем; этого мало: он брал еще холодную чашку и с ней подвигался к окну, обращенному на двор. У окна же происходила всякий раз следующая сцена.

Прежде всего ревел небритый буфетчик Григорий, относившийся к Перфильевне, ключнице, в сих выражениях:

— Душонка ты мелкопоместная, ничтожность этакая! Тебе бы, гнусной бабе, молчать, да и только.

— Уж тебя-то не послушаюсь, ненасытное горло! — выкрикивала ничтожность, или Перфильевна.

— Да ведь с тобой никто не уживется, ведь ты и с приказчиком сцепишься, мелочь ты анбарная! — ревел Григорий.

— Да и приказчик — вор такой же, как и ты! — выкрикивала ничтожность так, что было на деревне слышно. — Вы оба пиющие, губители господского, бездонные бочки! Ты думаешь, барин не знает вас? Ведь он здесь, ведь он вас слышит.

— Где барин?

— Да вот он сидит у окна; он все видит.

И точно, барин сидел у окна и все видел.

К довершению этого, кричал кричмя дворовый ребятишка, получивший от матери затрещину; визжал борзой кобель, присев задом к земле, по поводу горячего кипятка, которым обкатил его, выглянувши из кухни, повар. Словом, все голосило и верещало невыносимо. Барин все видел и слышал. И только тогда, когда это делалось до такой степени несносно, что даже мешало барину ничем не заниматься, высылал он сказать, чтоб шумели потише.

За два часа до обеда Андрей Иванович уходил к себе в кабинет затем, чтобы заняться сурьезно и действительно. Занятие было, точно, сурьезное. Оно состояло в обдумыванье сочинения, которое уже издавна и постоянно обдумывалось. Сочинение это долженствовало обнять всю Россию со всех точек — с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить за-

труднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность — словом, большого объема. Но покуда все оканчивалось одним обдумыванием; изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось на сторону, бралась наместо того в руки книга и уже не выпускалась до самого обеда. Книга эта читалась вместе с супом, соусом, жарким и даже с пирожным, так что иные блюда оттого стыли, а другие принимались вовсе нетронутыми. Потом следовала прихлебка чашки кофию с трубкой, потом игра в шахматы с самим собой. Что же делалось потом до самого ужина — право, уже и сказать трудно. Кажется, просто ничего не делалось.

И этак проводил время, один-одинешенек в целом <мире>[237], молодой тридцатидвухлетний человек, сидень сиднем, в халате, без галстука. Ему не гулялось, не ходилось, не хотелось даже подняться вверх взглянуть на отдаленности и виды, не хотелось даже растворять окна затем, чтобы забрать свежего воздуха в комнату, и прекрасный вид деревни, которым не мог равнодушно любоваться никакой посетитель, точно не

[237] Примечания: 237

В угловых скобках даются отсутствующие в рукописи, но необходимые по смыслу слова.

существовал для самого хозяина.

Из этого журнала читатель может видеть, что Андрей Иванович Тентетников принадлежал к семейству тех людей, которых на Руси много, которым имена — увальни, лежебоки, байбаки и тому подобные.

Родятся ли уже сами собою такие характеры или создаются потом, как отвечать на это. Я думаю, что лучше вместо ответа рассказать историю детства и воспитания Андрея Ивановича.

В детстве был он остроумный, талантливый мальчик, то живой, то задумчивый. Счастливым или несчастливым случаем попал он в такое училище, где был директором человек, в своем роде необыкновенный, несмотря на некоторые причуды. Александр Петрович имел дар слышать природу русского человека и знал язык, которым нужно говорить с ним. Никто из детей не уходил от него с повиснувшим носом; напротив, даже после строжайшего выговора чувствовал он какую-то бодрость и желанье загладить сделанную пакость и проступок. Толпа воспитанников его с виду казалась так шаловлива, развязна и жива, что иной принял бы ее за беспорядочную, необузданную вольницу. Но он обманулся бы: власть одного слишком была слышна в этой вольнице.

Не было проказника и шалуна, который бы не пришел к нему сам и не рассказал всего, что ни напроказил. Малейшее движенье их помышлений было ему известно. Во всем поступал он необыкновенно. Он говорил, что прежде всего следует пробудить в человеке честолюбье, — честолюбье называл он силою, толкающею вперед человека, — без которого не подвигнешь его на деятельность. Многих резвостей и шалостей он не удерживал вовсе: в первоначальных резвостях видел он начало развитья свойств душевных. Они были ему нужны затем, чтобы видеть, что такое именно таится в ребенке. Так умный врач глядит спокойно на появляющиеся временные припадки и сыпи, показывающиеся на теле, не истребляет их, но всматривается внимательно, дабы узнать достоверно, что именно заключено внутри человека.

Учителей у него было немного: большую часть наук читал он сам. И надо сказать правду, что, без всяких педантских терминов, огромных воззрений и взглядов, которыми любят пощеголять молодые профессора, он умел в немногих словах передать самую душу науки, так что и малолетнему было очевидно, на что именно она ему нужна, наука. Он утверждал, что всего нужнее человеку

наука жизни, что, узнав ее, он узнает тогда сам, чем он должен заняться преимущественнее.

Эту-то науку жизни сделал он предметом отдельного курса воспитания, в который поступали только одни самые отличные. Малоспособных выпускал он на службу из первого курса, утверждая, что их не нужно много мучить: довольно с них, если приучились быть терпеливыми, работящими исполнителями, не приобретая заносчивости и всяких видов вдаль. «Но с умниками, но с даровитыми мне нужно долго повозиться», — обыкновенно говорил он. И становился в этом курсе совершенно другой Александр Петрович и с первых же раз возвещал, что доселе он требовал от них простого ума, теперь потребует ума высшего. Не того ума, который умеет подтрунить над дураком и посмеяться, но умеющего вынесть всякое оскорбление, спустить дураку — и не раздражиться. Здесь-то стал он требовать того, что другие требуют от детей. Это-то называл он высшей степенью ума. Сохранить посреди каких бы то ни было огорчений высокий покой, в котором вечно должен пребывать человек, — вот что называл он умом! В этом-то курсе Александр Петрович показал, что знает, точно, науку жизни. Из наук были избраны только те, которые спо-

собны образовать из человека гражданина земли своей. Большая часть лекций состояла в рассказах о том, что ожидает впереди человека на всех поприщах и ступенях государственной службы и частных занятий. Все огорченья и преграды, какие только воздвигаются человеку на пути его, все искушенья и соблазны, ему предстоящие, собирал он перед ними во всей наготе, не скрывая ничего. Все было ему известно, точно как бы перебыл он сам во всех званьях и должностях. Словом, чертил он перед ними вовсе не радужную будущность. Странное дело! оттого ли, что честолюбие уже так сильно было в них возбуждено; оттого ли, что в самых глазах необыкновенного наставника было что-то говорящее юноше: вперед! — это слово, производящее такие чудеса над русским человеком, — то ли, другое ли, но юноша с самого начала искал только трудностей, алча действовать только там, где трудно, где нужно было показать большую силу души. Было что-то трезвое в их жизни. Александр Петрович делал с ними всякие опыты и пробы, наносил им <то> сам чувствительные оскорбления, то посредством их же товарищей, но, проникнувши это, они становились еще осторожней. Из этого курса вышло немного, но эти немногие были крепы-

ши, были обкуренные порохом люди. В службе они удержались на самых шатких местах, тогда как многие, гораздо их умнейшие, не вытерпев, бросили службу из-за мелочных личных неприятностей, бросили вовсе или же, не ведая ничего, очутились в руках взяточников и плутов. Но воспитанные Александ<ром Петровичем> не только не пошатнулись, но, умудренные познаньем человека и души, возымели высокое нравственное влияние даже на взяточников и дурных людей.

Но этого ученья не удалось попробовать бедному Андрею Ивановичу. Только что он был удостоен перевода в этот высший курс как один из самых лучших, — вдруг несчастие: необыкновенный наставник, которого одно одобрительное слово уже бросало его в сладкий трепет, скоропостижно умер. Все переменилось в училище: на место Александра Петровича поступил какой-то Федор Иванович, человек добрый и старательный, но совершенно другого взгляда на вещи. В свободной развязности детей первого курса почудилось ему что-то необузданное. Начал он заводить между ними какие-то внешние порядки, требовал, чтобы молодой народ пребывал в какой-то безмолвной тишине, чтобы ни в каком случае иначе все не ходили, как попарно. Начал

даже сам аршином размерять расстоянье от пары до пары. За столом, для лучшего вида, рассадил всех по росту, а не по уму, так что ослам доставались лучшие куски, умным — оглодки. Все это произвело ропот, особенно когда новый начальник, точно как наперекор своему предместнику, объявил, что для него ум и хорошие успехи в науках ничего не значат, что он смотрит только на поведенье, что если человек и плохо учится, но хорошо ведет себя, он предпочтет его умнику. Но именно того-то и не получил Федор Иванович, чего добивался. Завелись шалости потаенные, которые, как известно, хуже открытых. Все было в струнку днем, а по ночам — кутежи.

В образе преподавания наук он все переворотил вверх дном. С самыми благими намерениями завел он всякие нововведения — и все невпопад. Выписал новых преподавателей, с новыми взглядами и новыми точками воззрений. Читали они учено, забросали слушателей множеством новых терминов и слов. Видна была и логическая связь, и следованье за новыми открытиями, но увы! не было только жизни в самой науке. Мертвечиной стало все это казаться в глазах уж начинавших понимать слушателей. Все пошло навыворот. Но хуже всего было то, что потерялось уваженье к

начальству и власти: стали насмехаться и над наставниками, и над преподавателями, директора стали называть Федькой, Булкой и другими разными именами; завелись такие дела, что нужно было многих выключить и выгнать.

Андрей Иванович был нрава тихого. Он не участвовал в ночных оргиях с товарищами, которые, несмотря на строжайший присмотр, завели на стороне любовницу — одну на восемь человек, — ни также в других шалостях, доходивших до кощунства и насмешек над самою религиею из-за того только, что директор требовал частого хожденья в церковь и попался плохой священник. Но он повесил нос. Честолюбье было возбуждено в нем сильно, а деятельности и поприща ему не было. Лучше б было и не возбуждать его! Он слушал горячившихся на кафедре профессоров, а вспоминал прежнего наставника, который, не горячась, умел говорить понятно. Он слушал и химию, и философию прав, и профессорские углубления во все тонкости политических наук, и всеобщую историю человечества в таком огромном виде, что профессор в три года успел только прочесть введение да развитие общин каких-то немецких городов; но все это оставалось в голове его какими-то безобразными клочками. Благо-

даря природному уму он чувствовал только, что не так должно преподаваться, а как — не знал. И вспоминал он часто об Александре Петровиче, и так ему бывало грустно, что не знал он, куда деться от тоски.

Но у молодости есть будущее. По мере того как приближалось время к выпуску, сердце у него билось. Он говорил себе: «Ведь это еще не жизнь, это только приготовленье к жизни: настоящая жизнь на службе. Там подвиги». И, не взглянувши на прекрасный уголок, так поражавший всякого гостя-посетителя, не поклонившись праху своих родителей, по обычаю всех честолюбцев понесся он в Петербург, куда, как известно, стремится ото всех сторон России наша пылкая молодежь — служить, блистать, выслуживаться или же просто схватывать вершки бесцветного, холодного как лед, общественного обманчивого образованья. Честолюбивое стремление Андрея Ивановича осадил, однако же, с самого начала его дядя, действительный статский советник Онуфрий Иванович. Он объявил, что главное дело — в хорошем почерке, а не в чем-либо другом, что без этого не попадешь ни в министры, ни в государственные советники, а Тентетников писал тем самым письмом, о котором говорят:

«Писала сорока лапой, а не человек».

С большим трудом и с помощью дядиных протекций, проведя два месяца в каллиграфических уроках, достал он наконец место списывателя бумаг в каком-то департаменте. Когда взошел он в светлый зал, где повсюду за письменными лакированными столами сидели пишущие господа, шумя перьями и наклоня голову набок, и когда посадили его самого, предложа ему тут же переписать какую-то бумагу, — необыкновенно странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, как бы он очутился в какой-то малолетней школе, затем, чтобы сызнова учиться азбуке, как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний. Сидевшие вокруг его господа показались ему так похожими на учеников. Иные из них читали роман, засунув его в большие листы разбираемого дела, как бы занимались они самым делом, и в то же время вздрагивая при всяком появленье начальника. Ему вдруг представилось, как невозвратно-потерянный рай, школьное время его. Так высокими сделались вдруг занятья ученьем перед этим мелким письменным занятьем. Как это учебное приготовленье к службе казалось ему теперь выше самой службы. И вдруг предстал в его мыслях,

как живой, его ни с кем не сравненный, чудесный воспитатель, никем не заменимый Александр Петрович, — и в три ручья потекли вдруг слезы из глаз его. Закружилась комната, задвигались столы, перемешались чиновники, и чуть не упал он от мгновенного потемненья. «Нет, — сказал он в себе, очнувшись, — примусь за дело, как бы оно ни казалось вначале мелким!» Скрепясь духом и сердцем, решился он служить по примеру прочих.

Где не бывает наслаждений? Живут они и в Петербурге, несмотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещит по улицам сердитый тридцатиградусный мороз, визжит отчаянным бесом ведьма-вьюга, нахлобучивая на голову воротники шуб и шинелей, пудря усы людей и морды скотов, но приветливо светит вверху окошко где-нибудь, даже и в четвертом этаже; в уютной комнатке, при скромных стеариновых свечках, под шумок самовара, ведется согревающий и сердце и душу разговор, читается светлая страница вдохновенного русского поэта, какими наградил Бог свою Россию, и так возвышенно-пылко трепещет молодое сердце юноши, как не случается нигде в других землях и под полуденным роскошным небом.

Скоро Тентетников свыкнулся с службою, но только она сделалась у него не первым делом и целью, как он полагал было вначале, но чем-то вторым. Она служила ему распределеньем времени, заставив его более дорожить оставшимися минутами. Дядя, действительный статский советник, уже начинал было думать, что в племяннике будет прок, как вдруг племянник подгадил. Надобно сказать, что в числе друзей Андрея Ивановича попалось два человека, которые были то, что называется огорченные люди. Это были те беспокойно-странные характеры, которые не могут переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется в их глазах несправедливостью. Добрые поначалу, но беспорядочные сами в своих действиях, они исполнены нетерпимости к другим. Пылкая речь их и благородный образ негодованья подействовали на него сильно. Разбудивши в нем нервы и дух раздражительности, они заставили замечать все те мелочи, на которые он прежде и не думал обращать внимание. Федор Федорович Леницын, начальник того отделения, в котором он числился, человек наиприятнейшей наружности, вдруг ему не понравился. Он стал отыскивать в нем бездну недостатков и возненавидел его за

то, будто бы он выражал в лице своем чересчур много сахару, когда говорил с высшими, и тут же, оборотившись к низшему, становился весь уксус. «Я бы ему простил, — говорил Тентетников, — если бы эта перемена происходила не так скоро в его лице; но как тут же, при моих глазах, и сахар и уксус в одно и то же время!» С этих пор он стал замечать всякий шаг. Ему казалось, что и важничал Федор Федорович уже чересчур, что имел он все замашки мелких начальников, как то: брать на замечанье тех, которые не являлись к нему с поздравленьем в праздники, даже мстить всем тем, которых имена не находились у швейцара на листе, и множество разных тех грешных принадлежностей, без которых не обходится ни добрый, ни злой человек. Он почувствовал к нему отвращенье нервическое. Какой-то злой дух толкал его сделать что-нибудь неприятное Федору Федоровичу. Он наискивался на это с каким-то особым наслаждением и в том успел. Раз поговорил он с ним до того крупно, что ему объявлено было от начальства — или просить извинения, или выходить в отставку. Он подал в отставку. Дядя, действительный статский советник, приехал к нему перепуганный и умоляющий.

— Ради самого Христа! помилуй, Андрей Ивано-

вич, что это ты делаешь! Оставлять так выгодно начатый карьер из-за того только, что попался начальник не того… Что ж это? Ведь если на это глядеть, тогда и в службе никто бы не остался. Образумься, образумься. Еще есть время! Отринь гордость и самолюбье, поезжай и объяснись с ним!

— Не в том дело, дядюшка, — сказал племянник. — Мне не трудно попросить у него извиненья, тем более что я, точно, виноват. Он мне начальник, и мне ни в каком случае не следовало так говорить с ним. Но дело вот в чем: вы позабыли, что у меня есть другая служба; у меня триста душ крестьян, именье в расстройстве, а управляющий — дурак. Государству утраты немного, если вместо меня сядет в канцелярию другой переписывать бумагу, но большая утрата, если триста человек не заплатят податей. Я помещик: званье это также не бездельно. Если я позабочусь о сохраненье, сбереженье и улучшенье участи вверенных мне людей и представлю государству триста исправнейших, трезвых, работящих подданных — чем моя служба будет хуже службы какого-нибудь начальника отделения Леницына?

Действительный статский советник остался

с открытым ртом от изумленья. Такого потока слов он не ожидал. Немного подумавши, начал он было в таком роде:

— Но все же таки… но как же таки… как же запропастить себя в деревне? Какое же общество может быть между мужичьем? Здесь все-таки на улице попадется навстречу генерал или князь. Захочешь — и сам пройдешь мимо каких-нибудь публичных красивых зданий, на Неву пойдешь взглянуть, а ведь там, что ни попадется, все это или мужик, или баба. За что ж себя осудить на невежество на всю жизнь свою?

Так говорил дядя, действительный статский советник. Сам же он во всю жизнь свою не ходил по другой улице, кроме той, которая вела к месту его службы, где не было никаких публичных красивых зданий; не замечал никого из встречных, был ли он генерал или князь; в глаза не знал прихотей, какие дразнят в столицах людей, падких на невоздержанье, и даже отроду не был в театре. Все это он говорил единственно затем, чтобы затеребить честолюбье и подействовать на воображенье молодого человека. В этом, однако же, не успел: Тентетников стоял на своем упрямо. Департаменты и столица стали ему надоедать. Деревня начинала представляться каким-то

привольным приютом, воспоительницею дум и помышлений, единственным поприщем полезной деятельности. Через недели две после этого разговора был он уже в окрестности мест, где пронеслось его детство. Как стало все припоминаться, как забилось в нем сердце, когда почувствовал, что он уже вблизи отцовской деревни! Он уже многие места позабыл вовсе и смотрел любопытно, как новичок, на прекрасные виды. Когда дорога понеслась узким оврагом в чащу огромного заглохнувшего леса и он увидел вверху, внизу, над собой и под собой трехсотлетние дубы, трем человекам в обхват, вперемежку с пихтой, вязом и осокором, перераставшим вершину тополя, и когда на вопрос: «Чей лес?» — ему сказали: «Тентетникова»; когда, выбравшись из леса, понеслась дорога лугами, мимо осиновых рощ, молодых и старых ив и лоз, в виду тянувшихся вдали возвышений, и перелетела мостами в разных местах одну и ту же реку, оставляя ее то вправо, то влево от себя, и когда на вопрос: «Чьи луга и поемные места?» — отвечали ему: «Тентетникова»; когда поднялась потом дорога на гору и пошла по ровной возвышенности с одной стороны мимо неснятых хлебов: пшеницы, ржи и ячменя, с другой же стороны мимо

всех прежде проеханных им мест, которые все вдруг показались в картинном отдалении, и когда, постепенно темнея, входила и вошла потом дорога под тень широких развилистых дерев, разместившихся врассыпку по зеленому ковру до самой деревни, и замелькали кирченые избы мужиков и крытые красными крышами господские строения; когда пылко забившееся сердце и без вопроса знало, куды приехало, — ощущенья, непрестанно накоплявшиеся, исторгнулись наконец почти такими словами: «Ну, не дурак ли я был доселе? Судьба назначила мне быть обладателем земного рая, принцем, а я закабалил себя в канцелярию писцом! Учившись, воспитавшись, просветившись, сделавши порядочный запас тех именно сведений, какие требуются для управления людьми, улучшения целой области, для исполнения многообразных обязанностей помещика, являющегося и судьей, и распорядителем, и блюстителем порядка, вверить это место невеже-управителю! И выбрать вместо этого что же? — переписыванье бумаг, что может несравненно лучше производить ничему не учившийся кантонист!» И еще раз дал себе названье дурака Андрей Иванович Тентетников.

А между тем его ожидало другое зрелище.

Узнавши о приезде барина, населенье всей деревни собралося к крыльцу. Пестрые платки, повязки, повойники, зипуны, бороды всех родов: заступом, лопатой и клином, рыжие, русые и белые, как серебро, покрыли всю площадь. Мужики загремели: «Кормилец, дождались мы тебя!» Бабы заголосили: «Золото, серебро ты сердечное!» Стоявшие подале даже подрались от усердья продраться. Дряблая старушонка, похожая на сушеную грушу, прошмыгнула промеж ног других, подступила к нему, всплеснула руками и взвизгнула: «Соплюнчик ты наш, да какой же ты жиденький! изморила тебя окаянная немчура!» — «Пошла ты, баба! — закричали ей тут же бороды заступом, лопатой и клином. — Ишь куды полезла, корявая!» Кто-то приворотил к этому такое словцо, от которого один только русский мужик мог не засмеяться. Барин не выдержал и рассмеялся, но тем не менее он тронут был глубоко в душе своей. «Столько любви! и за что? — думал он в себе. — За то, что я никогда не видал их, никогда не занимался ими! Отныне же даю слово разделить с вами труды и занятья ваши! Употреблю все, чтобы помочь вам сделаться тем, чем вы должны быть, чем вам назначила быть ваша добрая, внутри вас же самих заключенная

природа ваша, чтобы не даром была любовь ваша ко мне, чтобы я, точно, был кормилец ваш!»

И действительно, Тентетников не шутя принялся хозяйничать и распоряжаться. Он увидел на месте, что приказчик был баба и дурак со всеми качествами дрянного приказчика, то есть вел аккуратно счет кур и яиц, пряжи и полотна, приносимых бабами, но не знал ни бельмеса в уборке хлеба и посевах, а в прибавленье ко всему подозревал мужиков в покушенье на жизнь свою. Дурака приказчика он выгнал, наместо его выбрал другого, бойкого. Оставил мелочи, обратил вниманье на главные части, уменьшил барщину, убавил дни работы на себя, прибавил времени мужикам работать на них самих и думал, что теперь дела пойдут наиотличнейшим порядком. Сам стал входить во все, показываться на полях, на гумне, в овинах, на мельницах, у пристани, при грузке и сплавке барок и плоскодонов.

«Да он, вишь ты, востроногой!» — стали говорить мужики и даже почесывать в затылках, потому что от долговременного бабьего управления они все изрядно поизленились. Но это продолжалось не долго. Русский мужик сметлив и умен: он понял скоро, что барин хоть и прыток, и есть в нем охота взяться за многое,

но как именно, каким образом взяться, — этого еще не смыслит, говорит как-то чересчур грамотно и затейливо, мужику невдолбеж и не в науку. Вышло то, что барин и мужик как-то не то чтобы совершенно не поняли друг друга, но просто не спелись вместе, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тентетников стал замечать, что на господской земле все выходило как-то хуже, чем на мужичьей: сеялось раньше, всходило позже. А работали, казалось, хорошо: он сам присутствовал и приказал выдать даже по чапорухе водки за усердные труды. У мужиков уже давно колосилась рожь, высыпался овес и кустилось просо, а у него едва начинал только идти хлеб в трубку, пятка колоса еще не завязывалась. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Попробовал было укорить, но получил такой ответ: «Как можно, барин, чтобы мы о господской, то есть, выгоде не радели? Сами изволили видеть, как старались, когда пахали и сеяли: по чапорухе водки приказали подать». Что было на это возражать? «Да отчего ж теперь вышло скверно?» — допрашивал барин. «Кто его знает! Видно, червь подъел снизу, да и лето, вишь ты, какое: совсем дождей не было». Но барин видел, что у мужиков червь

не подъедал снизу, да и дождь шел как-то странно, полосою: мужику угодил, а на барскую ниву хоть бы каплю выронил. Еще трудней ему было ладить с бабами. То и дело отпрашивались они от работ, жалуясь на тягость барщины. Странное дело! Он уничтожил вовсе всякие приносы холста, ягод, грибов и орехов, наполовину сбавил с них других работ, думая, что бабы обратят это время на домашнее хозяйство, обошьют, оденут своих мужей, умножат огороды. Не тут-то было! Праздность, драка, сплетни и всякие ссоры завелись между прекрасным полом такие, что мужья то и дело приходили к нему с такими словами: «Барин, уйми беса-бабу! Точно черт какой! житья нет от ней!» Несколько раз, скрепя свое сердце, хотел он приняться за строгость. Но как быть строгим? Баба приходила такой бабой, так развизгивалась, такая была хворая, больная, таких скверных, гадких наворачивала на себя тряпок — уж откуда она их набирала, бог ее весть. «Ступай, ступай себе только с глаз моих, бог с тобой!» — говорил бедный Тентетников и вослед за тем имел удовольствие видеть, как больная, вышед за ворота, схватывалась с соседкой за какую-нибудь репу и так отламывала ей бока, как не сумеет и здоровый мужик. Вздумал он было по-

пробовать какую-то школу между ними завести, но от этого вышла такая чепуха, что он и голову повесил, — лучше было и не задумывать! Все это значительно охладило его рвенье и к хозяйству, и к разбирательному судейскому делу, и вообще к деятельности. При работах он уже присутствовал почти без вниманья: мысли были далеко, глаза отыскивали посторонние предметы. Во время покосов не глядел он на быстрое подыманье шестидесяти разом кос и мерное с легким шумом паденье под ними рядами высокой травы; он глядел вместо того на какой-нибудь в стороне извив реки, по берегам которой ходил красноносый, красноногий мартын — разумеется, птица, а не человек; он глядел, как этот мартын, поймав рыбу, держал ее впоперек в носу, как бы раздумывая, глотать или не глотать, и глядя в то же время пристально вздоль реки, где в отдаленье виден был другой мартын, еще не поймавший рыбы, но глядевший пристально на мартына, уже поймавшего рыбу. Во время уборки хлебов не глядел он на то, как складывали снопы копнами, крестами, а иногда и просто шишом. Ему не было дела до того, лениво или шибко метали стога и клали клади. Зажмуря глаза и приподняв голову кверху, к пространствам небесным, предоставлял он

обонянью впивать запах полей, а слуху — поражаться голосами воздушного певучего населенья, когда оно отовсюду, от небес и от земли, соединяется в один звукосогласный хор, не переча друг другу. Бьет перепел, дергает в траве дергун, урчат и чиликают перелетающие коноплянки, по невидимой воздушной лестнице сыплются трели жаворонков, и турлыканье журавлей, несущихся в стороне вереницею, — точный звон серебряных труб, — слышится в пустоте звонко сотрясающейся пустыни воздушной. Вблизи ли производилась работа — он был вдали от нее; была ли она вдали — его глаза отыскивали, что было поближе. И был он похож на того рассеянного ученика, который глядит в книгу, но в то же время видит и фигу, подставленную ему товарищем. Наконец и совсем перестал он ходить на работы, бросил совершенно и суд, и всякие расправы, засел в комнаты и перестал принимать к себе даже с докладами приказчика.

Временами из соседей завернет к нему, бывало, отставной гусар-поручик, прокуренный насквозь трубочный куряка, или брандер-полковник, мастер и охотник на разговоры обо всем. Но и это стало ему надоедать. Разговоры их начали ему казаться как-то поверхностными; живое,

ловкое обращенье, потрепки по колену и прочие развязности начали ему казаться уже чересчур прямыми и открытыми. Он решился с ними раззнакомиться и произвел это даже довольно резко. Именно, когда представитель всех полковников-брандеров, наиприятнейший во всех поверхностных разговорах обо всем, Варвар Николаич Вишнепокромов приехал к нему затем именно, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философии, и литературы, и морали, и даже состоянья финансов в Англии, он выслал сказать, что его нет дома, и в то же время имел неосторожность показаться перед окошком. Гость и хозяин встретились взорами. Один, разумеется, проворчал сквозь зубы: «Скотина!», другой послал ему тоже что-то вроде свиньи. Так и кончилось знакомство. С тех пор не заезжал к нему никто. Уединенье полное водворилось в доме. Хозяин залез в халат безвыходно, предавши тело бездействию, а мысль — обдумыванью большого сочиненья о России. Как обдумывалось это сочинение, читатель уже видел. День приходил и уходил, однообразный и бесцветный. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которые как будто пробуждался он ото сна. Когда привозила почта газеты, новые книги и

журналы и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевавшего на видном поприще государственной службы или приносившего посильную дань наукам и образованью всемирному, тайная тихая грусть подступала ему под сердце, и скорбная, безмолвно-грустная, тихая жалоба на бездействие свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. С необыкновенной силой воскресало пред ним школьное минувшее время и представал вдруг, как живой, Александр Петрович… Градом лились из глаз его слезы, и рыданья продолжались почти весь день.

Что значили эти рыданья? Обнаруживала ли ими болеющая душа скорбную тайну своей болезни, что не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек; что, не испытанный измлада в борьбе с неудачами, не достигнул он до высокого состоянья возвышаться и крепнуть от преград и препятствий; что, растопившись, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки, и теперь, без упругости, бессильна его воля; что слишком для него рано умер необыкновенный наставник и нет теперь никого во всем свете, кто

бы был в силах воздвигнуть и поднять шатаемые вечными колебаньями силы и лишенную упругости немощную волю, — кто бы крикнул живым, пробуждающим голосом, — крикнул душе пробуждающее слово: *вперед!* — которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий, званий и промыслов, русский человек?

Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: *вперед?* кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек. Но веки проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлют непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово.

Одно обстоятельство чуть было, однако же, не разбудило Тентетникова и чуть было не произвело переворота в его характере. Случилось что-то вроде любви, но и тут дело как-то свелось на ничего. В соседстве, в десяти верстах от его деревни, проживал генерал, отзывавшийся, как мы уже видели, не совсем благосклонно о Тентетникове. Генерал жил генералом, хлебосольствовал,

любил, чтобы соседи приезжали изъявлять ему почтенье; сам, разумеется, визитов не платил, говорил хрипло, читал книги и имел дочь, существо невиданное, странное, которую скорей можно было почесть каким-то фантастическим видением, чем женщиной. Иногда случается человеку во сне увидеть что-то подобное, и с тех пор он уже во всю жизнь свою грезит этим сновиденьем, действительность для него пропадает навсегда, и он решительно ни на что не годится. Имя ей было Улинька. Воспиталась она как-то странно. Ее воспитывала англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова по-русски. Матери лишилась она еще в детстве. Отцу было некогда. Впрочем, любя дочь до безумия, он мог только избаловать ее. Необыкновенно трудно изобразить портрет ее. Это было что-то живое, как сама жизнь. Она была миловидней, чем красавица; лучше, чем умна; стройней, воздушней классической женщины. Никак бы нельзя было сказать, какая страна положила на нее свой отпечаток, потому что подобного профиля и очертанья лица трудно было где-нибудь отыскать, разве только на античных камеях. Как в ребенке, воспитанном на свободе, в ней было все своенравно. Если бы кто увидал, как внезапный гнев собирал вдруг строгие морщины

на прекрасном челе ее и как она спорила пылко с отцом своим, он бы подумал, что это было капризнейшее созданье. Но гнев бывал у нее только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или жестоком поступке с кем бы то ни было. Но как вдруг исчезнул бы этот гнев, если бы она увидела в несчастии того самого, на кого гневалась, как бы вдруг бросила она ему свой кошелек не размышляя, умно ли это или глупо, и разорвала на себе платье для перевязки, если б он был ранен! Было в ней что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось вослед за мыслью: выраженье лица, выраженье разговора, движенье рук, самые складки платья как бы стремились в ту же сторону, и казалось, как бы она сама вот улетит вослед за собственными ее словами. Ничего не было в ней утаенного. Ни перед кем не побоялась бы она обнаружить своих мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотелось говорить. Ее очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того бестрепетно-свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При ней как-то смущался недобрый человек и немел, а добрый, даже самый застенчивый, мог разговориться с нею, как никогда в жизни своей

ни с кем, и — странный обман! — с первых минут разговора ему уже казалось, что где-то и когда-то он знал ее, что случилось это во дни какого-то незапамятного младенчества, в каком-то родном доме, веселым вечером, при радостных играх детской толпы, и надолго после того как-то становился ему скучным разумный возраст человека.

Андрей Иванович Тентетников не мог бы никак рассказать, как это случилось, что с первого же дни он стал с ней так, как бы знаком был вечно. Неизъяснимое, новое чувство вошло к нему в душу. Скучная жизнь его на мгновенье озарилась. Халат на время был оставлен. Не так долго копался он на кровати, не так долго стоял Михайло с рукомойником в руках. Растворялись окна в комнатах, и часто владетель картинного поместья долго ходил по темным излучинам своего сада и останавливался по часам перед пленительными видами на отдаленья.

Генерал принимал сначала Тентетникова довольно хорошо и радушно; но совершенно сойтись между собою они не могли. Разговоры у них всегда оканчивались спором и каким-то неприятным ощущеньем с обеих сторон. Генерал не любил противуречья и возраженья, хотя в то же время любил поговорить даже и о том, чего не

знал вовсе. Тентетников, со своей стороны, тоже был человек щекотливый. Впрочем, ради дочери прощалось многое отцу, и мир у них держался до тех пор, покуда не приехали гостить к генералу родственницы, графиня Болдырева и княжна Юзякина: одна — вдова, другая — старая девка, обе фрейлины прежних времен, обе болтуньи, обе сплетницы, не весьма обворожительные любезностью своей, но, однако же, имевшие значительные связи в Петербурге, и перед которыми генерал немножко даже подличал. Тентетникову показалось, что с самого дня приезда их генерал стал к нему как-то холоднее, почти не замечал его и обращался как с лицом бессловесным или с чиновником, употребляемым для переписки, самым мелким. Он говорил ему то *братец,* то *любезнейший,* и один раз сказал ему даже *ты.* Андрея Ивановича взорвало; кровь бросилась ему в голову. Скрепя сердце и стиснув зубы, он, однако же, имел присутствие духа сказать необыкновенно учтивым и мягким голосом, между тем как пятна выступили на лице его и все внутри его кипело:

— Я должен благодарить вас, генерал, за ваше расположение. Вы приглашаете и вызываете меня словом *ты* на самую тесную дружбу, обязывая и меня также говорить вам *ты.* Но позвольте вам

заметить, что я помню различие наше в летах, совершенно препятствующее такому фамильярному между нами обращению.

Генерал смутился. Собирая слова и мысли, стал он говорить, хотя несколько несвязно, что слово *ты* было им сказано не в том смысле, что старику иной раз позволительно сказать молодому человеку *ты* (о чине своем он не упомянул ни слова).

Разумеется, с этих пор знакомство между ними прекратилось, и любовь кончилась при самом начале. Потухнул свет, на минуту было перед ним блеснувший, и последовавшие за ним сумерки стали еще сумрачней. Байбак сызнова залез в халат свой. Все поворотило сызнова на лежанье и бездействие. В доме завелись гадость и беспорядок. Половая щетка оставалась по целому дню посреди комнаты вместе с сором. Панталоны заходили даже в гостиную. На щеголеватом столе перед диваном лежали засаленные подтяжки, точно какое угощенье гостю, и до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но даже чуть не клевали домашние куры. Бессильно чертил он на бумаге по целым часам рогульки, домики, избы, телеги, тройки или же выписывал «Милостивый государь!» с восклицательным зна-

ком всеми почерками и характерами. А иногда же, все позабывши, перо чертило само собой, без ведома хозяина, маленькую головку с тонкими, острыми чертами, с приподнятой легкой прядью волос, упадавшей из-под гребня длинными тонкими кудрями, молодыми обнаженными руками, как бы летевшую, — и в изумленье видел хозяин, как выходил портрет той, с которой портрета не мог бы написать никакой живописец. И еще грустнее становилось ему потом, и, веря тому, что нет на земле счастья, оставался он на целый день скучным и безответным.

Таковы были обстоятельства Андрея Ивановича Тентетникова. Вдруг в один день, подходя к окну обычным порядком, с трубкой и чашкой в руках, заметил он во дворе движенье и некоторую суету. Поварчонок и поломойка бежали отворять вороты, и в воротах показались кони, точь-в-точь как лепят иль рисуют их на триумфальных воротах: морда направо, морда налево, морда посередине. Свыше их, на козлах — кучер и лакей в широком сюртуке, опоясавший себя носовым платком. За ними господин в картузе и шинели, закутанный в косынку радужных цветов. Когда экипаж изворотился перед крыльцом, оказалось, что был он не что другое, как рессорная легкая

бричка. Господин необыкновенно приличной наружности соскочил на крыльцо с быстротой и ловкостью почти военного человека.

Андрей Иванович струсил. Он принял его за чиновника от правительства. Надобно сказать, что в молодости своей он было замешался в одно неразумное дело. Какие-то философы из гусар, да недоучившийся студент, да промотавшийся игрок затеяли какое-то филантропическое общество, под верховным распоряжением старого плута, и масона, и карточного игрока, пьяницы и красноречивейшего человека. Общество было устроено с целью доставить прочное счастье всему человечеству от берегов Темзы до Камчатки. Касса денег потребовалась огромная, пожертвованья собирались с великодушных членов неимоверные. Куда это все пошло — знал об этом только один верховный распорядитель. В общество это затянули его два приятеля, принадлежавшие к классу огорченных людей, добрые люди, но которые от частых тостов во имя науки, просвещения и прогресса сделались потом формальными пьяницами. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга. Но общество успело уже запутаться в каких-то других действиях, даже не совсем приличных дворянину, так что

потом завязались дела и с полицией… А потому немудрено, что хотя и вышедши, и разорвавши всякие сношения с благодетелем человечества, Тентетников не мог, однако же, оставаться покоен. На совести у него было не совсем ловко. Не без страха глядел он и теперь на растворявшуюся дверь.

Страх его, однако же, прошел вдруг, когда гость раскланялся с ловкостью неимоверной, сохраняя почтительное положение головы несколько набок. В коротких, но определительных словах изъяснил, что уже издавна ездит он по России, побуждаемый и потребностями, и любознательностью; что государство наше преизобилует предметами замечательными, не говоря уже о красоте мест, обилии промыслов и разнообразии почв; что он увлекся картинностью местоположенья его деревни; что, несмотря, однако же, на картинность местоположенья, он не дерзнул бы никак обеспокоить его неуместным заездом своим, если бы не случилось что-то в бричке его, требующее руки помощи со стороны кузнецов и мастеров; что при всем том, однако же, если бы даже и ничего не случилось в его бричке, он бы не мог отказать себе в удовольствии засвидетельствовать ему лично свое почтенье.

Окончив речь, гость с обворожительной приятностью подшаркнул ножкой и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с легкостью резинного мячика.

Андрей Иванович подумал, что это должен быть какой-нибудь любознательный ученый-профессор, который ездит по России затем, чтобы собирать какие-нибудь растения или даже предметы ископаемые. Он изъявил ему всякую готовность споспешествовать; предложил своих мастеров, колесников и кузнецов для поправки брички; просил расположиться у него как в собственном доме; усадил обходительного гостя в большие вольтеровские <кресла> и приготовился слушать его рассказ, без сомнения, об ученых предметах и естественных.

Гость, однако же, коснулся больше событий внутреннего мира. Заговорил о превратностях судьбы; уподобил жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду ветрами; упомянул о том, что должен был переменить много мест и должностей, что много потерпел за правду, что даже самая жизнь его была не раз в опасности со стороны врагов, и много еще рассказал он такого, из чего Тентетников мог видеть, что гость его был скорее практический человек. В заключенье

всего, он высморкался в белый батистовый платок так громко, как Андрей Иванович еще и не слыхивал. Подчас попадается в оркестре такая пройдоха-труба, которая когда хватит, покажется, что крякнуло не в оркестре, но в собственном ухе. Точно такой же звук раздался в пробужденных покоях дремавшего дома, и немедленно вослед за ним воспоследовало благоуханье одеколона, невидимо распространенное ловким встряхнутьем носового батистового платка.

Читатель, может быть, уже догадался, что гость был не другой кто, как наш почтенный, давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. Он немножко постарел: как видно, не без бурь и тревог было для него это время. Казалось, как бы и самый фрак на нем немножко поустарел, и бричка, и кучер, и слуга, и лошади, и упряжь как бы поистерлись и поизносились. Казалось, как бы и самые финансы не были в завидном состоянии. Но выраженье лица, приличье, обхожденье остались те же. Даже как бы еще приятнее стал он в поступках и оборотах, еще ловче подвертывал под ножку ножку, когда садился в кресла; еще более было мягкости в выговоре речей, осторожной умеренности в словах и выраженьях, более уменья держать себя и более такту во всем. Белей

и чище снегов были на нем воротнички и манишка, и, несмотря на то что был он с дороги, ни пушинки не село к нему на фрак, — хоть на именинный обед! Щеки и подбородок выбриты были так, что один разве только слепой мог не полюбоваться приятной выпуклостью и круглотой их.

В доме произошло преобразованье. Половина его, дотоле пребывавшая в слепоте, с заколоченными ставнями, вдруг прозрела и озарилась. Из брички стали выносить поклажу. Все начало размещаться в осветившихся комнатах, и скоро все приняло такой вид: комната, определенная быть спальней, вместила в себе вещи, необходимые для ночного туалета; комната, определенная быть кабинетом… Но прежде необходимо знать, что в этой комнате было три стола: один письменный — перед диваном, другой ломберный — между окнами у стены, третий угольный — в углу, между дверью в спальню и дверью в необитаемый зал с инвалидною мебелью. На этом угольном столе поместилось вынутое из чемодана платье, а именно: панталоны под фрак, панталоны под сюртук, панталоны серенькие, два бархатных жилета и два атласных, сюртук и два фрака. (Жилеты же белого пике и летние брюки отошли к белью в комод.) Все это

разместилось один на другом пирамидкой и прикрылось сверху носовым шелковым платком. В другом углу, между дверью и окном, выстроились рядком сапоги: сапоги не совсем новые, сапоги совсем новые, сапоги с новыми головками и лакированные полусапожки. Они также стыдливо занавесились шелковым носовым платком — так, как бы их там вовсе не было. На столе перед двумя окнами поместилась шкатулка. На письменном столе перед диваном — портфель, банка с одеколоном, сургуч, зубные щетки, новый календарь и два какие-то романа, оба вторые тома. Чистое белье поместилось в комоде, уже находившемся в спальне; белье же, которое следовало прачке, завязано было в узел и подсунуто под кровать. Чемодан, по опростанье его, был тоже подсунут под кровать. Сабля поместилась также в спальне, повиснувши на гвозде невдалеке от кровати. Та и другая комната приняли вид чистоты и опрятности необыкновенной. Нигде ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый воздух как-то облагородился. В нем утвердился приятный запах здорового, свежего мужчины, который белья не занашивает, в баню ходит и вытирает себя мокрой губкой по воскресным дням. В вестибульной комнате покушался было утвердиться на время

запах служителя Петрушки, но Петрушка скоро перемещен был на кухню, как оно и следовало.

В первые дни Андрей Иванович опасался за свою независимость, чтобы как-нибудь гость не связал его, не стеснил какими-нибудь изменеиьями в образе жизни, и не разрушился бы порядок дня его, так удачно заведенный, — но опасенья были напрасны. Павел Иванович наш показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему. Одобрил философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обещает столетнюю жизнь. Об уединении выразился весьма счастливо — именно, что оно питает великие мысли в человеке. Взглянув на библиотеку и отозвавшись с похвалой о книгах вообще, заметил, что они спасают от праздности человека. Словом, выронил слов не много, но значительных. В поступках же своих поступал еще более кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил; не затруднял хозяина запросами в часы неразговорчивости его; с удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал. В то время, когда один пускал кудреватыми облаками трубочный дым, другой, не куря трубки, придумывал, однако же, соответствовавшее тому занятие: вынимал, например, из кармана

серебряную с чернью табакерку и, утвердив ее между двух пальцев левой руки, оборачивал ее быстро пальцем правой, в подобье того как земная сфера обращается около своей оси, или же просто барабанил по табакерке пальцами, насвистывая какое-нибудь ни то ни се. Словом, он не мешал хозяину никак. «Я в первый раз вижу человека, с которым можно жить, — говорил про себя Тентетников. — Вообще этого искусства у нас мало. Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, и добрых, но людей постоянно приятных, людей постоянно ровного характера, людей, с которыми можно прожить век и не поссориться, — я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких людей! Вот первый, единственный человек, которого я вижу!» Так отзывался Тентетников о своем госте.

Чичиков, со своей стороны, был очень рад, что поселился на время у такого мирного и смирного хозяина. Цыганская жизнь ему надоела. Приотдохнуть, хотя на месяц, в прекрасной деревне, в виду полей и начинавшейся весны, полезно было даже и в геморроидальном отношении. Трудно было найти лучший уголок для отдохновения. Весна убрала его красотой несказанной. Что яркости в зелени! Что свежести в воздухе! Что

птичьего крику в садах! Рай, радость и ликованье всего! Деревня звучала и пела, как будто новорожденная.

Чичиков ходил много. То направлял он прогулку свою по плоской вершине возвышений, в виду расстилавшихся внизу долин, по которым повсюду оставались еще большие озера от разлития воды; или же вступал в овраги, где едва начинавшие убираться листьями дерева отягчены птичьими гнездами, — оглушенный карканьем ворон, разговорами галок и граньями грачей, перекрестными летаньями, помрачавшими небо; или же спускался вниз к поемным местам и разорванным плотинам — глядеть, как с оглушительным шумом неслась повергаться вода на мельничные колеса; или же пробирался дале к пристани, откуда неслись, вместе с течью воды, первые суда, нагруженные горохом, овсом, ячменем и пшеницей; или отправлялся в поля на первые весенние работы глядеть, как свежая орань черной полосою проходила по зелени, или же как ловкий сеятель бросал из горсти семена ровно, метко, ни зернышка не передавши на ту или другую сторону. Толковал и говорил и с приказчиком, и с мужиком, и мельником — и что, и как, и каковых урожаев можно ожидать, и на

какой лад идет у них запашка, и по сколько хлеба продается, и что выбирают весной и осенью за умол муки, и как зовут каждого мужика, и кто с кем в родстве, и где купил корову, и чем кормит свинью — словом, все. Узнал и то, сколько перемерло мужиков. Оказалось, немного. Как умный человек, заметил он вдруг, что незавидно идет хозяйство у Андрея Ивановича. Повсюду упущенья, нераденье, воровство, немало и пьянства. И мысленно говорил он сам в себе: «Какая, однако же, скотина Тентетников! Запустить так имение, которое могло бы приносить по малой мере пятьдесят тысяч годового доходу!» И, не будучи в силах удержать справедливого негодования, повторял он: «Решительно скотина!» Не раз посреди таких прогулок приходило ему на мысль сделаться когда-нибудь самому, — то есть, разумеется, не теперь, но после, когда обделается главное дело и будут средства в руках, — сделаться самому мирным владельцем подобного поместья. Тут обыкновенно представлялась ему молодая хозяйка, свежая, белолицая бабенка, может быть, даже из купеческого сословия, впрочем, однако же, образованная и воспитанная так, как и дворянка, — чтобы понимала и музыку, хотя, конечно, музыка и не главное, но почему

же, если уже так заведено, зачем же идти противу общего мнения? Представлялось ему и молодое поколение, долженствовавшее увековечить фамилью Чичиковых: резвунчик мальчишка и красавица дочка, или даже два мальчугана, две и даже три девчонки, чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то что прошел по земле какой-нибудь тенью или призраком, — чтобы не было стыдно и перед отечеством. Представлялось ему даже и то, что недурно бы к чину некоторое прибавление: статский советник, например, чин почтенный и уважительный… И много приходило ему в голову того, что так часто уносит человека от скучной настоящей минуты, теребит, дразнит, шевелит его и бывает ему любо даже и тогда, когда уверен он сам, что это никогда не сбудется.

Людям Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они так же, как и он, обжились в ней. Петрушка сошелся очень скоро с буфетчиком Григорием, хотя сначала они оба важничали и дулись друг перед другом нестерпимо. Петрушка пустил Григорию пыль в глаза тем, что он бывал в Костроме, Ярославле, Нижнем и даже в Москве; Григорий же осадил его сразу Петербургом, в котором Петрушка не был. Последний хотел было

подняться и выехать на дальности расстояний тех мест, в которых он бывал; но Григорий назвал ему такое место, какого ни на какой карте нельзя было отыскать, и насчитал тридцать тысяч с лишком верст, так что Петрушка осовел, разинул рот и был поднят на смех тут же всею дворней. Впрочем, дело кончилось между ними самой тесной дружбой: дядя лысый Пимен держал в конце деревни знаменитый кабак, которому имя было «Акулька»; в этом заведенье видели их все часы дня. Там стали они свои други, или то, что называют в народе — кабацкие завсегдатели.

У Селифана была другого рода приманка. На деревне, что ни вечер, пелись песни, заплетались и расплетались весенние хороводы. Породистые, стройные девки, каких трудно было найти в другом месте, заставляли его по нескольким часам стоять вороной. Трудно было сказать, которая лучше: все белогрудые, белошейные, у всех глаза репой, у всех глаза с поволокой, походка павлином и коса до пояса. Когда, взявшись обеими руками за белые руки, медленно двигался он с ними в хороводе или же выходил на них стеной, в ряду других парней и погасал горячо рдеющий вечер, и тихо померкала вокруг окольность, и далече за рекой отдавался верный отголосок

неизменно грустного напева, — не знал он и сам тогда, что с ним делалось. Долго потом во сне и наяву, утром и в сумерки все мерещилось ему, что в обеих руках его белые руки и движется он с ними в хороводе. Махнув рукой, говорил он: «Проклятые девки!»

Коням Чичикова понравилось тоже новое жилище. И коренной, и пристяжной каурой масти, называемый Заседателем, и самый чубарый, о котором выражался Селифан: «подлец-лошадь», нашли пребыванье у Тентетникова совсем нескучным, овес отличным, а расположенье конюшен необыкновенно удобным. У всякого стойло, хотя и отгороженное, но через перегородки можно было видеть и других лошадей, так что, если бы пришла кому-нибудь из них, даже самому дальнему, фантазия вдруг заржать, то можно было ему ответствовать тем же тот же час.

Словом, все обжились, как дома. Читатель, может быть, изумляется, что Чичиков доселе не заикнулся по части известных душ. Как бы не так! Павел Иванович стал очень осторожен насчет этого предмета. Если бы даже пришлось вести дело с дураками круглыми, он бы и тут не вдруг начал. Тентетников же, как бы то ни было, читает книги, философствует, старается

изъяснить себе всякие причины всего — и отчего, и почему… «Нет, черт его возьми! разве начать с другого конца?» — Так думал Чичиков. Раздобаривая почасту с дворовыми людьми, он, между прочим, от них разведал, что барин ездил прежде довольно нередко к соседу генералу, что у генерала барышня, что барин было к барышне, да и барышня тоже к барину… но потом вдруг за что-то не поладили и разошлись. Он заметил и сам, что Андрей Иванович карандашом и пером все рисовал какие-то головки, одна на другую похожие. Один раз после обеда, оборачивая, по обыкновению, пальцем серебряную табакерку вокруг ее оси, сказал он так:

— У вас всё есть, Андрей Иванович; одного только недостает.

— Чего? — спросил тот, выпуская кудреватый дым.

— Подруги жизни, — сказал Чичиков.

Ничего не сказал Андрей Иванович. Тем разговор и кончился.

Чичиков не смутился, выбрал другое время, уже перед ужином, и, разговаривая о том и о сем, сказал вдруг:

— А право, Андрей Иванович, вам бы очень не мешало жениться.

Хоть бы слово сказал на это Тентетников, точно как бы и самая речь об этом была ему неприятна.

Чичиков не смутился. В третий раз выбрал он время, уже после ужина, и сказал так:

— А все-таки, как ни переворочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вам жениться: впадете в ипохондрию.

Слова ли Чичикова были на этот раз так убедительны, или же расположение духа у Андрея Ивановича было как-то особенно настроено к откровенности, — он вздохнул и сказал, пустивши кверху трубочный дым: «На все нужно родиться счастливцем, Павел Иванович», — и рассказал все, как было, всю историю знакомства с генералом и разрыв.

Когда услышал Чичиков, от слова до слова, все дело и увидел, что из-за одного слова *ты* произошла такая история, он оторопел. Несколько минут смотрел пристально в глаза Тентетникова и заключил: «Да он просто круглый дурак!»

— Андрей Иванович, помилуйте! — сказал он, взявши его за обе руки. — Какое ж оскорбление? что ж тут оскорбительного в слове *ты?*

— В самом слове нет ничего оскорбительного, — сказал Тентетников, — но в смысле слова,

но в голосе, с которым сказано оно, заключается оскорбленье. Ты — это значит: «Помни, что ты дрянь; я принимаю тебя потому только, что нет никого лучше, а приехала какая-нибудь княжна Юзякина, — ты знай свое место, стой у порога». Вот что это значит!

Говоря это, смирный и кроткий Андрей Иванович засверкал глазами; в голосе его послышалось раздражение оскорбленного чувства.

— Да хоть бы даже и в этом смысле, — что ж тут такого? — сказал Чичиков.

— Как? — сказал Тентетников, смотря пристально в глаза Чичикову. — Вы хотите, чтобы <я> продолжал бывать у него после такого поступка?

— Да какой же это поступок? это даже не поступок! — сказал Чичиков.

«Какой странный человек этот Чичиков!» — подумал про себя Тентетников.

«Какой странный человек этот Тентетников!» — подумал про себя Чичиков.

— Это не поступок, Андрей Иванович. Это просто генеральская привычка: они всем говорят ты. Да, впрочем, уж почему этого и не позволить заслуженному, почтенному человеку?

— Это другое дело, — сказал Тентетников. — Если бы он был старик, бедняк, не горд, не чванлив,

не генерал, я бы тогда позволил ему говорить мне ты и принял бы даже почтительно.

«Он совсем дурак! — подумал про себя Чичиков. — Оборвышу позволить, а генералу не позволить!» И вслед за таким размышлением так возразил ему вслух:

— Хорошо; положим, он вас оскорбил, зато вы и поквитались с ним: он вам, и вы ему. Но расставаться навсегда из пустяка, — помилуйте, на что же это похоже? Как же оставлять дело, которое только что началось? Если уже избрана цель, так тут уже нужно идти напролом. Что глядеть на то, что человек плюется! Человек всегда плюется; да вы не отыщете теперь во всем свете такого, который бы не плевался.

Тентетников совершенно озадачился этими словами, оторопел, глядел в глаза Павлу Ивановичу и думал про себя: «Престранный, однако ж, человек этот Чичиков!»

«Какой, однако же, чудак этот Тентетников!» — думал между тем Чичиков.

— Позвольте мне как-нибудь обделать это дело, — сказал он вслух. — Я могу съездить к его превосходительству и объясню, что случилось это с вашей стороны по недоразумению, по молодости и незнанью людей и света.

— Подличать перед ним я не намерен! — сказал сильно Тентетников.

— Сохрани бог подличать! — сказал Чичиков и перекрестился. — Подействовать словом увещания, как благоразумный посредник, но подличать… Извините, Андрей Иванович, за мое доброе желанье и преданность, я даже не ожидал, чтобы слова <мои> принимали вы в таком обидном смысле!

— Простите, Павел Иванович, я виноват! — сказал тронутый Тентетников, схвативши признательно обе его руки. — Ваше доброе участие мне дорого, клянусь! Но оставим этот разговор, не будем больше никогда об этом говорить.

— В таком случае я поеду просто к генералу без причины, — сказал Чичиков.

— Зачем? — спросил Тентетников, в недоумении смотря на Чичикова.

— Засвидетельствовать почтенье, — сказал Чичиков.

«Какой странный человек этот Чичиков!» — подумал Тентетников.

«Какой странный человек этот Тентетников!» — подумал Чичиков.

— Так как моя бричка, — сказал Чичиков, — не пришла еще в надлежащее состояние, то позволь-

те мне взять у вас коляску. Я бы завтра же, эдак около десяти часов, к нему съездил.

— Помилуйте, что за просьба! Вы — полный господин, выбирайте какой хотите экипаж: всё в вашем распоряжении.

Они простились и разошлись спать, не без рассуждения о странностях друг друга.

Чудная, однако же, вещь: на другой день, когда подали Чичикову лошадей и вскочил он в коляску с легкостью почти военного человека, одетый в новый фрак, белый галстук и жилет, и покатился свидетельствовать почтение генералу, Тентетников пришел в такое волненье духа, какого давно не испытывал. Весь этот ржавый и дремлющий ход его мыслей превратился в деятельно-беспокойный. Возмущенье нервическое обуяло вдруг всеми чувствами доселе погруженного в беспечную лень байбака. То садился он на диван, то подходил к окну, то принимался за книгу, то хотел мыслить, — безуспешное хотенье! — мысль не лезла к нему в голову. То старался ни о чем не мыслить, — безуспешное старание! — отрывки чего-то похожего на мысли, концы и хвостики мыслей лезли и отовсюду наклевывались к нему в голову. «Странное состоянье!» — сказал он и придвинулся к окну глядеть на дорогу, проре-

завшую дуброву, в конце которой еще курилась не успевшая улечься пыль, поднятая уехавшей коляской. Но оставим Тентетникова и последуем за Чичиковым.

Глава вторая

В полчаса с небольшим кони пронесли Чичикова чрез десятиверстное пространство — сначала дубровою, потом хлебами, начинавшими зеленеть посреди свежей орани, потом горной окраиной, с которой поминутно открывались виды на отдаленья, — и широкою аллеею раскидистых лип внесли его в генеральскую деревню. Аллея лип превратилась в аллею тополей, огороженных снизу плетеными коробками, и уперлась в чугунные сквозные ворота, сквозь которые глядел кудряво-великолепный резной фронтон генеральского дома, опиравшийся на восемь колонн с коринфскими капителями. Пахнуло повсюду масляной краской, которою беспрерывно обновлялось все, ничему не давая состариться. Двор чистотой подобен был паркету. Подкативши к подъезду, Чичиков с почтеньем соскочил на крыльцо, приказал о себе доложить и был введен прямо в кабинет к генералу.

Генерал поразил его величественной наружностью. Он был на ту пору в атласном малиновом халате. Открытый взгляд, лицо мужественное, бакенбарды и большие усы с проседью, стрижка низкая, а на затылке даже под гребенку, шея толстая, широкая, так называемая в три этажа или в три складки с трещиной поперек, голос — бас с некоторою охрипью, движения генеральские. Генерал Бетрищев, как и все мы грешные, был одарен многими достоинствами и многими недостатками. То и другое, как случается в русском человеке, было набросано в нем в каком-то картинном беспорядке. Самопожертвованье, великодушье в решительные минуты, храбрость, ум — и ко всему этому — изрядная подмесь себялюбья, честолюбья, самолюбия, мелочной щекотливости личной и многого того, без чего уже не обходится человек. Всех, которые ушли вперед его по службе, он не любил, выражался о них едко, в сардонических, колких эпиграммах. Всего больше доставалось от него его прежнему сотоварищу, которого считал он ниже себя и умом и способностями, и который, однако же, обогнал его и был уже генерал-губернатором двух губерний, и как нарочно тех, в которых находились его поместья, так что он очутился как бы в

зависимости от него. В отместку язвил он его при всяком случае, критиковал всякое распоряженье и видел во всех мерах и действиях его верх неразумия. Несмотря на доброе сердце, генерал был насмешлив. Вообще говоря, он любил первенствовать, любил фимиам, любил блеснуть и похвастаться умом, любил знать то, чего другие не знают, и не любил тех людей, которые знают что-нибудь такое, чего он не знает. Воспитанный полуиностранным воспитаньем, он хотел сыграть в то же время роль русского барина. С такой неровностью в характере, с такими крупными, яркими противуположностями, он должен был неминуемо встретить по службе кучу неприятностей, вследствие которых и вышел в отставку, обвиняя во всем какую-то враждебную партию и не имея великодушия обвинить в чем-либо себя самого. В отставке сохранил он ту же картинную, величавую осанку. В сертуке ли, во фраке ли, в халате — он был все тот же. От голоса до малейшего телодвиженья в нем все было властительное, повелевающее, внушавшее в низших чинах если не уважение, то, по крайней мере, робость.

Чичиков почувствовал то и другое: и уваженье и робость. Наклоня почтительно голову набок, начал он так:

— Счел долгом представиться вашему превосходительству. Питая уваженье к доблестям мужей, спасавших отечество на бранном поле, счел долгом представиться лично вашему превосходительству.

Генералу, как видно, не понравился такой приступ. Сделавши весьма милостивое движенье головою, он сказал:

— Весьма рад познакомиться. Милости просим садиться. Вы где служили?

— Поприще службы моей, — сказал Чичиков, садясь в кресла не в середине, но наискось, и ухватившись рукою за ручку кресел, — началось в казенной палате, ваше превосходительство; дальнейшее же теченье оной продолжал в разных местах: был и в надворном суде, и в комиссии построения, и в таможне. Жизнь мою можно уподобить судну среди волн, ваше превосходительство. На терпенье, можно сказать, вырос, терпеньем воспоен, терпеньем спеленат, и сам, так сказать, не что другое, как одно терпенье. А уж сколько претерпел от врагов, так ни слова, ни краски не сумеют передать. Теперь же, на вечере, так сказать, жизни своей, ищу уголка, где бы провесть остаток дней. Приостановился же покуда у близкого соседа вашего превосходительства…

— У кого это?

— У Тентетникова, ваше превосходительство.

Генерал поморщился.

— Он, ваше превосходительство, весьма раскаивается в том, что не оказал должного уважения…

— К чему?

— К заслугам вашего превосходительства. Не находит слов. Говорит: «Если бы я только мог чему-нибудь… потому что, точно, говорит, умею ценить мужей, спасавших отечество», — говорит.

— Помилуйте, что ж он?.. Да ведь я не сержусь! — сказал смягчившийся генерал. — В душе моей я искренно полюбил его и уверен, что со временем он будет преполезный человек.

— Совершенно справедливо изволите выразиться, ваше превосходительство, преполезный человек, обладает даром слова и владеет пером.

— Но пишет, я чай, пустяки, какие-нибудь стишки?

— Нет, ваше превосходительство, не пустяки…

— Что ж такое?

— Он пишет… историю, ваше превосходительство.

— Историю! о чем историю?

— Историю… — тут Чичиков остановился, и

оттого ли, что перед ним сидел генерал, или просто чтобы придать более важности предмету, прибавил: — историю о генералах, ваше превосходительство.

— Как о генералах! о каких генералах?

— Вообще о генералах, ваше превосходительство, в общности… то есть, говоря собственно, об отечественных генералах, — сказал Чичиков, а сам подумал: «Чтой-то я за вздор такой несу!»

— Извините, я не очень понимаю… что ж это выходит, историю какого-нибудь времени, или отдельные биографии, и притом всех ли, или только участвовавших в двенадцатом году?

— Точно так, ваше превосходительство, участвовавших в двенадцатом году! — проговоривши это, он подумал в себе: «Хоть убей, не понимаю».

— Так что же он ко мне не приедет? Я бы мог собрать ему весьма много любопытных материалов.

— Не смеет, ваше превосходительство.

— Какой вздор! Из какого-нибудь пустого слова… Да я совсем не такой человек. Я, пожалуй, к нему сам готов приехать.

— Он к тому не допустит, он сам приедет, — сказал Чичиков, и в то же время подумал в себе: «Генералы пришлись, однако же, кстати; между

тем ведь язык совершенно взболтнул сдуру».

В кабинете послышался шорох. Ореховая дверь резного шкафа отворилась сама собою. На обратной половине растворенной двери, ухватившись чудесной рукой за ручку двери, явилась живая фигурка. Если бы в темной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина, освещенная сзади лампою, она бы не поразила так, как эта сиявшая жизнью фигурка, которая точно предстала затем, чтобы осветить комнату. Казалось, как бы вместе с нею влетел солнечный луч в комнату, озаривши вдруг потолок, карниз и темные углы ее. Она казалась блистающего роста. Это было обольщенье; происходило это от необыкновенной стройности и гармонического соотношенья между собой всех частей тела, от головы до пальчиков. Одноцветное платье, на ней наброшенное, было наброшено с таким <вкусом>, что казалось, швеи столиц делали совещанье между собой, как бы получше убрать ее. Это был обман. Оделась она кое-как, сама собой; в двух, трех местах схватила неизрезанный кусок ткани, и он прильнул и расположился вокруг нее в таких складках, что ваятель перенес бы их тотчас же на мрамор, и барышни, одетые по моде, все казались перед ней какими-то пеструшками. Несмотря на то что

Чичикову почти знакомо было лицо ее по рисункам Андрея Ивановича, он смотрел на нее, как оторопелый, и после, уже очнувшись, заметил, что у ней был существенный недостаток, именно — недостаток толщины.

— Рекомендую вам мою баловницу! — сказал генерал, обратясь к Чичикову. — Однако ж, я вашего имени и отчества до сих пор не знаю.

— Впрочем, должно ли быть знаемо имя и отчество человека, не ознаменовавшего себя доблестями? — сказал Чичиков.

— Все же, однако ж, нужно знать…

— Павел Иванович, ваше превосходительство, — проговорил Чичиков, с легким наклоном головы набок.

— Улинька! Павел Иванович сейчас сказал преинтересную новость. Сосед наш Тентетников совсем не такой глупый человек, как мы полагали. Он занимается довольно важным делом: историей генералов двенадцатого года.

Улинька вдруг как бы вспыхнула и оживилась.

— Да кто же думал, что он глупый человек? — проговорила она быстро. — Это мог думать разве один только Вишнепокромов, которому ты веришь, папа, который и пустой и низкий человек!

— Зачем же низкий? Он пустоват, это правда, —

сказал генерал.

— Он подловат и гадковат, не только что пустоват, — подхватила живо Улинька. — Кто так обидел своих братьев и выгнал из дому родную сестру, тот гадкий человек…

— Да ведь это рассказывают только.

— Рассказывать не будут напрасно. У тебя, отец, добрейшая душа и редкое сердце, но ты поступаешь так, что иной подумает о тебе совсем другое. Ты будешь принимать человека, о котором сам знаешь, что он дурен, потому что он только краснобай и мастер перед тобой увиваться.

— Душа моя! ведь мне ж не прогнать его, — сказал генерал.

— Зачем прогонять, но зачем и любить?!

— А вот и нет, ваше превосходительство, — сказал Чичиков Улиньке, с легким наклоном головы, с приятной улыбкой. — По христианству именно таких мы должны любить.

И тут же, обратясь к генералу, сказал с улыбкой, уже несколько плутоватой:

— Изволили ли, ваше превосходительство, слышать когда-нибудь о том, что такое — «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит»?

— Нет, не слыхал.

— А это преказусный анекдот, — сказал Чичиков с плутоватой улыбкой. — В имении, ваше превосходительство, у князя Гукзовского, которого, без сомнения, ваше превосходительство, изволите знать…

— Не знаю.

— Был управитель, ваше превосходительство, из немцев, молодой человек. По случаю поставки рекрут и прочего имел он надобность приезжать в город и, разумеется, подмазывать судейских. — Тут Чичиков, прищуря глаз, выразил в лице своем, как подмазываются судейские. — Впрочем, и они тоже полюбили, угощали его. Вот как-то один раз у них на обеде говорит он: «Что ж, господа, когда-нибудь и ко мне, в имение к князю». Говорят: «Приедем». Скоро после того случилось выехать суду на следствие, по делу, случившемуся во владениях графа Трехметьева, которого, ваше превосходительство, без сомнения, тоже изволите знать.

— Не знаю.

— Самого-то следствия они не делали, а всем судом заворотили на экономический двор, к старику, графскому эконому, да три дня и три ночи без просыпу — в карты. Самовар и пунш, разумеется, со стола не сходят. Старику-то они

уж и надоели. Чтобы как-нибудь от них отделаться, он и говорит: «Вы бы, господа, заехали к княжому управителю немцу: он недалеко отсюда и вас ждет». — «А и в самом деле», — говорят, и сполупьяна, небритые и заспанные, как были, на телеги да к немцу… А немец, ваше превосходительство, надобно знать, в это время только что женился. Женился на институтке, молоденькой, субтильной (Чичиков выразил в лице своем субтильность). Сидят они двое за чаем, ни о чем не думая, вдруг отворяются двери — и ввалилось сонмище.

— Воображаю — хороши! — сказал генерал, смеясь.

— Управитель так и оторопел, говорит: «Что вам угодно?» — «А! говорят, так вот ты как!» И вдруг, с этим словом, перемена лиц и физиогномии… «За делом! Сколько вина выкуривается по именью? Покажите книги!» Тот сюды-туды. «Эй, понятых!» Взяли, связали, да в город, да полтора года и просидел немец в тюрьме.

— Вот на! — сказал генерал.

Улинька всплеснула руками.

— Жена — хлопотать! — продолжал Чичиков. — Ну, что ж может какая-нибудь неопытная молодая женщина? Спасибо, что случились

добрые люди, которые посоветовали пойти на мировую. Отделался он двумя тысячами да угостительным обедом. И на обеде, когда все уже развеселились, и он также, вот и говорят они ему: «Не стыдно ли тебе так поступить с нами? Ты все бы хотел нас видеть прибранными, да выбритыми, да во фраках. Нет, *ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит».*

Генерал расхохотался; болезненно застонала Улинька.

— Я не понимаю, папа, как ты можешь смеяться! — сказала она быстро. Гнев отемнил прекрасный лоб ее… — Бесчестнейший поступок, за который я не знаю, куды бы их следовало всех услать…

— Друг мой, я их ничуть не оправдываю, — сказал генерал, — но что ж делать, если смешно? Как бишь: «полюби нас беленькими»?..

— Черненькими, ваше превосходительство, — подхватил Чичиков.

— Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Ха, ха, ха, ха!

И туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда густые эполеты, тряслись, точно как бы носили и поныне густые эполеты.

Чичиков разрешился тоже междуиметием смеха, но, из уважения к генералу, пустил его на букву э: хе, хе, хе, хе, хе! И туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густых эполет.

— Воображаю, хорош был небритый суд! — говорил генерал, продолжая смеяться.

— Да, ваше превосходительство, как бы то ни было… без просыпу… трехдневное бдение — тот же пост: поизнурились, поизнурились, — говорил Чичиков, продолжая смеяться.

Улинька опустилась в кресла и закрыла рукой прекрасные глаза; как бы досадуя на то, что не с кем было поделиться негодованием, сказала она:

— Я не знаю, меня только берет одна досада.

В самом деле, необыкновенно странны были своею противуположностью те чувства, которые родились в сердцах троих беседовавших людей. Одному была смешна неповоротливая ненаходчивость немца. Другому смешно было оттого, что смешно изворотились плуты. Третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступок. Не было только четвертого, который бы задумался именно над этими словами, произведшими смех в одном и грусть в другом. Что значит, однако же, что и в паденье

своем гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? или слабый крик души, заглушенной тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющий: «Брат, спаси!» Не было четвертого, которому бы тяжелей всего была погибающая душа его брата.

— Я не знаю, — говорила Улинька, отнимая от лица руку, — меня одна только досада берет.

— Только, пожалуйста, не гневайся на нас, — сказал генерал. — Мы тут ни в чем не виноваты. Поцелуй меня и уходи к себе, потому что я сейчас буду одеваться к обеду. Ведь ты, — сказал генерал, вдруг обратясь к Чичикову, — обедаешь у меня?

— Если только ваше превосходительство…

— Без церемонии. Щи есть!

Чичиков приятно наклонил голову, и, когда приподнял потом ее вверх, он уже не увидал Улиньки. Она исчезнула. Наместо ее предстал, в густых усах и бакенбардах, великан-камердинер, с серебряной лоханкой и рукомойником в руках.

— Ты мне позволишь одеваться при себе? — сказал генерал, скидая халат и засучивая рукава рубашки на богатырских руках.

— Помилуйте, не только одеваться, но можете совершать при мне все, что угодно вашему пре-

восходительству, — сказал Чичиков.

Генерал стал умываться, брызгаясь и фыркая, как утка. Вода с мылом летела во все стороны.

— Как бишь? — сказал он, вытирая со всех сторон свою толстую шею, — полюби нас беленькими?..

— Черненькими, ваше превосходительство.

— Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Очень, очень хорошо!

Чичиков был в духе необыкновенном; он чувствовал какое-то вдохновенье.

— Ваше превосходительство! — сказал он.

— Что? — сказал генерал.

— Есть еще одна история.

— Какая?

— История тоже смешная, но мне-то от ней не смешно. Даже так, что если ваше превосходительство…

— Как так?

— Да вот, ваше превосходительство, как!.. — Тут Чичиков осмотрелся и, увидя, что камердинер с лоханкою вышел, начал так: — Есть у меня дядя, дряхлый старик. У него триста душ и, кроме меня, наследников никого. Сам управлять именьем, по дряхлости, не может, а мне не передает тоже. И какой странный приводит резон: «Я, говорит,

племянника не знаю; может быть, он мот. Пусть он докажет мне, что он надежный человек, пусть приобретет прежде сам собой триста душ, тогда я ему отдам и свои триста душ».

— Какой дурак!

— Справедливо изволили заметить, ваше превосходительство. Но представьте же теперь мое положение… — Тут Чичиков, понизивши голос, стал говорить как бы по секрету: — У него в доме, ваше превосходительство, есть ключница, а у ключницы дети. Того и смотри, все перейдет им.

— Выжил глупый старик из ума, и больше ничего, — сказал генерал. — Только я не вижу, чем тут я могу пособить.

— Я придумал вот что. Теперь, покуда новые ревизские сказки не поданы, у помещиков больших имений наберется немало, наряду с душами живыми, отбывших и умерших… Так, если, например, ваше превосходительство передадите мне их в таком виде, как бы они были живые, с совершением купчей крепости, я бы тогда эту крепость представил старику, и он, как ни вертись, а наследство бы мне отдал.

Тут генерал разразился таким смехом, каким вряд ли когда смеялся человек: как был, так и повалился он в кресла; голову забросил назад

и чуть не захлебнулся. Весь дом встревожился. Предстал камердинер. Дочь прибежала в испуге.

— Папа, что с тобой случилось?

— Ничего, мой друг. Ха, ха, ха! Ступай к себе, мы сейчас явимся обедать. Ха, ха, ха!

И несколько раз задохнувшись, вырывался с новою силою генеральский хохот, раздаваясь от передней до последней комнаты в высоких звонких генеральских покоях.

Чичиков с беспокойством ожидал конца этому необыкновенному смеху.

— Ну, брат, извини: тебя сам черт угораздил на такую штуку. Ха, ха, ха! Попотчевать старика, подсунуть ему мертвых! Ха, ха, ха, ха! Дядя-то, дядя! В каких дураках дядя! Ха, ха, ха, ха!

Положение Чичикова было конфузное: тут же стоял камердинер, разинувши рот и выпуча глаза.

— Ваше превосходительство, ведь смех этот выдумали слезы, — сказал он.

— Извини, брат! Ну, уморил. Да я бы пятьсот тысяч дал за то только, чтобы посмотреть на твоего дядю в то время, как ты поднесешь ему купчую на мертвые души. Да что, он слишком стар? Сколько ему лет?

— Восемьдесят лет, ваше превосходительство.

Но это келейное, я бы… чтобы… — Чичиков посмотрел значительно в лицо генерала и в то же время искоса на камердинера.

— Поди вон, братец. Придешь после, — сказал генерал камердинеру. Усач удалился.

— Да, ваше превосходительство… Это, ваше превосходительство, дело такое, что я бы хотел его подержать в секрете…

— Разумеется, я это очень понимаю. Экой дурак старик! Ведь придет же в восемьдесят лет этакая дурь в голову! Да что, он с виду как? бодр? держится еще на ногах?

— Держится, но с трудом.

— Экой дурак! И зубы есть?

— Два зуба всего, ваше превосходительство.

— Экой осел! Ты, братец, не сердись… а ведь он осел…

— Точно так, ваше превосходительство. Хоть он мне и родственник, и тяжело сознаваться в этом, но действительно — осел.

Впрочем, как читатель может смекнуть и сам, Чичикову не тяжело было в этом сознаться, тем более что вряд ли у него был когда-либо какой дядя.

— Так если, ваше превосходительство, будете уже так добры…

— Чтобы отдать тебе мертвых душ? Да за такую выдумку я их тебе с землей, с жильем! Возьми себе все кладбище! Ха, ха, ха, ха! Старик-то, старик! Ха, ха, ха, ха! В каких дураках! Ха, ха, ха, ха!

И генеральский смех пошел отдаваться вновь по генеральским покоям[238].

Глава третья

«Нет, я не так, — говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств, — нет, я не так распоряжусь. Как только, даст Бог, все покончу благополучно и сделаюсь действительно состоятельным, зажиточным человеком, я поступлю тогда совсем иначе: будет у меня и повар, и дом, как полная чаша, но будет и хозяйственная часть в порядке. Концы сведутся с концами, да понемножку всякий год будет откладываться сумма и для потомства, если только Бог пошлет жене плодородье...» — Эй ты — дурачина!

---

[238] Примечания: 238

Окончание главы отсутствует. В первом издании второго тома «Мертвых душ» (1855) имеется примечание: «Здесь пропущено примирение генерала Бетрищева с Тентетниковым; обед у генерала и беседа их о двенадцатом годе; помолвка Улиньки за Тентетниковым; молитва ее и плач на гробе матери; беседа помолвленных в саду. Чичиков отправляется, по поручению генерала Бетрищева, к родственникам его, для извещения о помолвке дочери, и едет к одному из этих родственников, полковнику Кошкареву».

Селифан и Петрушка оглянулись оба с козел.

— А куда ты едешь?

— Да так изволили приказывать, Павел Иванович, — к полковнику Кошкареву, — сказал Селифан.

— А дорогу расспросил?

— Я, Павел Иванович, изволите видеть, так как все хлопотал около коляски, так оно-с… генеральского конюха только видел… А Петрушка расспрашивал у кучера.

— Вот и дурак! На Петрушку, сказано, не полагаться: Петрушка бревно.

— Ведь тут не мудрость какая, — сказал Петрушка, глядя искоса, — окроме того, что, спустясь с горы, взять попрямей, ничего больше и нет.

— А ты, окроме сивухи, ничего больше, чай, и в рот не брал? Чай, и теперь налимонился?

Увидя, что речь повернула вона в какую сторону, Петрушка закрутил только носом. Хотел он было сказать, что даже и не пробовал, да уж как-то и самому стало стыдно.

— В коляске-с хорошо-с ехать, — сказал Селифан, оборотившись.

— Что?

— Говорю, Павел Иванович, что в коляске-де вашей милости хорошо-с ехать, получше-с, как в

бричке — не трясет.

— Пошел, пошел! Тебя ведь не спрашивают об этом.

Селифан хлыснул слегка бичом по крутым бокам лошадей и поворотил речь к Петрушке:

— Слышь, мужика Кошкарев барин одел, говорят, как немца: поодаль и не распознаешь, — выступает по-журавлиному, как немец. И на бабе не то чтобы платок, как бывает, пирогом или кокошник на голове, а немецкий капор такой, как немки ходят, знашь, в капорах, — так капор называется, знашь, капор. Немецкий такой капор.

— А тебя как бы нарядить немцем да в капор! — сказал Петрушка, острясь над Селифаном и ухмыльнувшись. Но что за рожа вышла из этой усмешки! И подобья не было на усмешку, а точно как бы человек, доставши себе в нос насморк и силясь при насморке чихнуть, не чихнул, но так и остался в положенье человека, собирающегося чихнуть.

Чичиков заглянул из-под низа ему в рожу, желая знать, что там делается, и сказал: «Хорош! а еще воображает, что красавец!» Надобно сказать, что Павел Иванович был сурьезно уверен в том, что Петрушка влюблен в красоту свою, тогда как последний временами позабывал, есть ли у

него даже вовсе рожа.

— Вот как бы догадались было, Павел Иванович, — сказал Селифан, оборотившись с козел, — чтобы выпросить у Андрея Ивановича другого коня, в обмен на чубарого; он бы, по дружественному расположению к вам, не отказал бы, а это конь-с, право, подлец-лошадь и помеха.

— Пошел, пошел, не болтай! — сказал Чичиков и про себя подумал: «В самом деле, напрасно я не догадался».

Легким ходом неслась тем временем легкая на ходу коляска. Легко подымалась и вверх, хотя подчас и неровна была дорога; легко опускалась и под гору, хотя и беспокойны были спуски проселочных дорог. С горы спустились. Дорога шла лугами через извивы реки, мимо мельниц. Вдали мелькали пески, выступали картинно одна из-за другой осиновые рощи; быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонкие ольхи и серебристые тополи, ударявшие ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бранил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою не догадался, все надеясь на то, что авось дальше не случится. Деревья

же становились гуще: к осинам и ольхам начала присоединяться береза, и скоро образовалась вокруг лесная гущина. Свет солнца сокрылся. Затемнели сосны и ели. Непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось, готовился превратиться в ночь. И вдруг промеж дерев — свет, там и там промеж ветвей и пней, точно живое серебро или зеркала. Лес стал освещаться, деревья редеть, послышались крики — и вдруг перед ними озеро. Водная равнина версты четыре в поперечнике, вокруг дерева, позади их избы. Человек двадцать, по пояс, по плеча и по горло в воде, тянули к супротивному берегу невод. Посреди их плавал проворно, кричал и хлопотал за всех человек, почти такой же меры в вышину, как и в толщину, круглый кругом, точный арбуз. По причине толщины, он уже не мог ни в каком случае потонуть и как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверх; и если бы село к нему на спину еще двое человек, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывал да пускал носом и ртом пузыри.

— Этот, Павел Иванович, — сказал Селифан, оборотясь с козел, — должен быть барин, полковник Кошкарев.

— Отчего?

— Оттого, что тело у него, изволите видеть, побелей, чем у других, и дородство почтительное, как у барина.

Крики между тем становились явственней. Скороговоркой и звонко выкрикивал барин-арбуз:

— Передавай, передавай, Денис, Козьме! Козьма, бери хвост у Дениса! Фома Большой, напирай туды же, где и Фома Меньшой! Заходи справа, справа заходи! Стой, стой, черт вас побери обоих! Запутали меня самого в невод! Зацепили, говорю, проклятые, зацепили за пуп.

Влачители правого крыла остановились, увидя, что действительно случилась непредвиденная оказия: барин запутался в сети.

— Вишь ты, — сказал Селифан Петрушке, — потащили барина, как рыбу.

Барин барахтался и, желая выпутаться, перевернулся на спину, брюхом вверх, запутавшись еще в сетку. Боясь оборвать сеть, плыл он вместе с пойманною рыбою, приказавши себя перехватить только впоперек веревкой. Перевязавши его веревкой, бросили конец ее на берег. Человек с двадцать рыбаков, стоявших на берегу, подхватили конец и стали бережно тащить его. Добравшись до мелкого места, барин стал на но-

ги, покрытый клетками сети, как в летнее время дамская ручка под сквозной перчаткой, — взглянул вверх и увидел гостя, в коляске въезжавшего на плотину. Увидя гостя, кивнул он головой. Чичиков снял картуз и учтиво раскланялся с коляски.

— Обедали? — закричал барин, подходя с пойманною рыбою на берег, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже — на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани.

— Нет, — сказал Чичиков.

— Ну, так благодарите же Бога.

— А что? — спросил Чичиков любопытно, держа над головою картуз.

— А вот что! — сказал барин, очутившийся на берегу вместе с коропами и карасями, которые бились у ног его и прыгали на аршин от земли. — Это ничего, на это не глядите; а вот штука, вон где!.. А покажите-ка, Фома Большой, осетра. — Два здоровых мужика вытащили из кадушки какое-то чудовище. — Каков князек? из реки зашел!

— Да это целый князь! — сказал Чичиков.

— Вот то-то же. Поезжайте-ка вы теперь вперед, а я за вами. Кучер, ты, братец, возьми дорогу пониже, через огород. Побеги, телепень Фома

Меньшой, снять перегородку. А я за вами — как тут, прежде чем успеете оглянуться.

«Полковник чудаковат», — подумал <Чичиков>, проехавши наконец бесконечную плотину и подъезжая к избам, из которых одни, подобно стаду уток, рассыпались по косогору возвышенья, а другие стояли внизу на сваях, как цапли. Сети, невода, бредни развешаны были повсюду. Фома Меньшой снял перегородку, коляска проехала огородом и очутилась на площади возле устаревшей деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши господских строений.

— А вот я и здесь! — раздался голос сбоку. Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый, на дрожках — травяно-зеленый нанковый сюртук, желтые штаны и шея без галстука, на манер купидона! Боком сидел он на дрожках, занявши собою все дрожки. Чичиков хотел было что-то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались на другой стороне и только слышался голос: «Щуку и семь карасей отнесите повару-телепню, а осетра подавай сюда: я его свезу сам на дрожках». Раздались снова голоса: «Фома Большой да Фома Меньшой! Козьма да Денис!» Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумленью его, толстый барин был

уже на крыльце и принял его в свои объятья. Как он успел так слетать, было непостижимо. Они поцеловались троекратно навкрест.

— Я привез вам поклон от его превосходительства, — сказал Чичиков.

— От какого превосходительства?

— От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича.

— Кто это Александр Дмитриевич?

— Генерал Бетрищев, — отвечал Чичиков с некоторым изумлением.

— Не знаю-с, незнаком.

Чичиков пришел еще в большее изумление.

— Как же это?.. Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кошкаревым?

— Петр Петрович Петух, Петух Петр Петрович! — подхватил хозяин.

Чичиков остолбенел.

— Вот тебе на! Как же вы, дураки, — сказал он, оборотившись к Селифану и Петрушке, которые оба разинули рты и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у дверец коляски, — как же вы, дураки? Ведь вам сказано — к полковнику Кошкареву… А ведь это Петр Петрович Петух…

— Ребята сделали отлично! — сказал Петр Пет-

рович. — За это вам по чапорухе водки и кулебяка в придачу. Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую!

— Я совещусь, — говорил Чичиков, раскланиваясь, — такая неожиданная ошибка…

— Не ошибка, — живо проговорил Петр Петрович Петух, — не ошибка. Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете: ошибка ли это? Покорнейше прошу, — сказал <он>, взявши Чичикова под руку и вводя его во внутренние покои.

Чичиков, чинясь, проходил в дверь боком, чтоб дать и хозяину пройти с ним вместе; но это было напрасно: хозяин бы не прошел, да его уж и не было. Слышно было только, как раздавались его речи по двору: «Да что ж Фома Большой? Зачем он до сих пор не здесь? Ротозей Емельян, беги к повару-телепню, чтобы потрошил поскорей осетра. Молоки, икру, потроха и лещей в уху, а карасей — в соус. Да раки, раки! Ротозей Фома Меньшой, где же раки? раки, говорю, раки?!» И долго раздавалися всё — раки да раки.

— Ну, хозяин захлопотался, — сказал Чичиков, садясь в кресла и осматривая углы и стены.

— А вот я и здесь, — сказал, входя, хозяин и ведя за собой двух юношей, в летних сюртуках. Тонкие, точно ивовые хлысты, выгнало их вверх

почти на целый аршин выше Петра Петровича.

— Сыны мои, гимназисты. Приехали на праздники. Николаша, ты побудь с гостем, а ты, Александа, ступай за мной.

И снова исчезнул Петр Петрович Петух.

Чичиков занялся с Николашей. Николаша был говорлив. Он рассказал, что у них в гимназии не очень хорошо учат, что больше благоволят к тем, которых маменьки шлют побогаче подарки, что в городе стоит Ингерманландский гусарский полк; что у ротмистра Ветвицкого лучше лошадь, нежели у самого полковника, хотя поручик Взъемцев ездит гораздо его почище.

— А что, в каком состоянье имение вашего батюшки? — спросил Чичиков.

— Заложено, — сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной, — заложено.

Чичикову осталось сделать то же самое движенье губами, которое делает человек, как дело идет на нуль и оканчивается ничем.

— Зачем же вы заложили? — спросил он.

— Да так. Все пошли закладывать, так зачем же отставать от других? Говорят, выгодно. Притом же все жил здесь, дай-ка еще попробую прожить в Москве.

«Дурак, дурак! — думал Чичиков, — промотает

все, да и детей сделает мотишками. Оставался бы себе, кулебяка, в деревне».

— А ведь я знаю, что вы думаете, — сказал Петух.

— Что? — спросил Чичиков, смутившись.

— Вы думаете: «Дурак, дурак этот Петух! зазвал обедать, а обеда до сих пор нет». Будет готов, почтеннейший. Не успеет стриженая девка косы заплесть, как он поспеет.

— Батюшка, Платон Михалыч едет! — сказал Алексаша, глядя в окно.

— Верхом на гнедой лошади! — подхватил Николаша, нагибаясь к окну. — Ты думаешь, Алексаша, наш чагравый хуже его?

— Хуже не хуже, но выступка не такая.

Между ними завязался спор о гнедом и чагравом. Между тем вошел в комнату красавец — стройного роста, светло-русые блестящие кудри и темные глаза. Гремя медным ошейником, мордатый пес, собака-страшилище, вошел вослед за ним.

— Обедали? — спросил Петр Петрович Петух.

— Обедал, — сказал гость.

— Что ж вы, смеяться, что ли, надо мной приехали? — сказал, сердясь, Петух. — Что мне в вас после обеда?

— Впрочем, Петр Петрович, — сказал гость, усмехнувшись, — могу вас утешить тем, что ничего не ел за обедом: совсем нет аппетита.

— А каков был улов, если б вы видели! Какой осетрище пожаловал! Карасей и не считали.

— Даже завидно вас слушать, — сказал гость. — Научите меня быть так же веселым, как вы.

— Да от <чего> же скучать? помилуйте! — сказал хозяин.

— Как отчего скучать? — оттого, что скучно.

— Мало едите, вот и все. Попробуйте-ка хорошенько пообедать. Ведь это в последнее время выдумали скуку. Прежде никто не скучал.

— Да полно хвастать! Будто уж вы никогда не скучали?

— Никогда! Да и не знаю, даже и времени нет для скучанья. Поутру проснешься — ведь нужно пить чай, и тут ведь приказчик, а тут и на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть, а тут и ужин, а после пришел повар — заказывать нужно на завтра обед. Когда же скучать?

Во все время разговора Чичиков рассматривал гостя.

Платон Михалыч Платонов был Ахиллес и Па-

рид[239] вместе: стройное сложение, картинный рост, свежесть — все было собрано в нем. Приятная усмешка с легким выраженьем иронии как бы еще усиливала его красоту. Но, несмотря на все это, было в нем что-то неоживленное и сонное. Страсти, печали и потрясения не навели морщины на девственное, свежее его лицо, но с тем вместе и не оживили его.

— Признаюсь, я тоже, — произнес Чичиков, — не могу понять, если позволите так заметить, не могу понять, как при такой наружности, как ваша, скучать. Конечно, могут быть причины другие: недостача денег, притесненья от каких-нибудь злоумышленников, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на самую жизнь.

— В том-то <и дело>, что ничего этого нет, — сказал Платонов. — Поверите ли, что иной раз я бы хотел, чтобы это было, чтобы была какая-нибудь тревога и волненья. Ну, хоть бы просто рассердил меня кто-нибудь. Но нет! Скучно — да и только.

— Не понимаю. Но, может быть, именье у вас недостаточное, малое количество душ?

— Ничуть, у нас с братом земли на десять тысяч

---

[239] Примечания: 239
Так в рукописи. Следует: Парис.

десятин и при них тысяча душ крестьян.

— И при этом скучать. Непонятно! Но, может быть, именье в беспорядке? были неурожаи, много людей вымерло?

— Напротив, всё в наилучшем порядке, и брат мой отличнейший хозяин.

— Не понимаю! — сказал Чичиков и пожал плечами.

— А вот мы скуку сейчас прогоним, — сказал хозяин. — Бежи, Алексаша, проворней на кухню и скажи повару, чтобы поскорей прислал нам расстегайчиков. Да где ж ротозей Емельян и вор Антошка? Зачем не дают закуски?

Но дверь растворилась. Ротозей Емельян и вор Антошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с шестью графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок — икра, сыры, соленые грузди, опенки, да новые приносы из кухни чего-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей Емельян и вор Антошка были народ хороший и расторопный. Названья эти хозяин давал только потому, что без прозвищ все как-то выходило пресно, а он пресного не любил; сам был добр душой, но словцо любил пряное. Впро-

чем, и люди за это не сердились.

Закуске последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая: «Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете». Съедал гость два — подваливал ему третий, приговаривая: «Что ж за число два? Бог любит троицу». Съедал гость три — он ему: «Где ж бывает телега о трех колесах? Кто ж строит избу о трех углах?» На четыре у него была опять поговорка, на пять — тоже. Чичиков съел чего-то чуть ли не двенадцать ломтей и думал: «Ну, теперь ничего не приберет больше хозяин». Не тут-то было: хозяин, не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жаренного на вертеле, лучшую часть, какая ни была, с почками, да и какого теленка!

— Два года воспитывал на молоке, — сказал хозяин, — ухаживал, как за сыном!

— Не могу! — сказал Чичиков.

— Да вы попробуйте, да потом скажите: не могу!

— Не взойдет. Нет места.

— Да ведь и в церкви не было места. Взошел городничий — нашлось. А ведь была такая давка,

что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте: этот кусок — тот же городничий.

Попробовал Чичиков — действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место, а казалось, ничего нельзя было поместить.

С винами была тоже история. Получивши деньги из ломбарда, Петр Петрович запасся провизией на десять лет вперед. Он то и дело подливал да подливал; чего ж не допивали гости, давал допить Алексаше и Николаше, которые так и хлопали рюмка за рюмкой, а встали из-за стола — как бы ни в чем не бывали, точно выпили по стакану воды. С гостьми было не то: в силу, в силу перетащились они на балкон и в силу поместились в креслах. Хозяин как сел в свое, какое-то четырехместное, так тут же и заснул. Тучная собственность его превратилась в кузнецкий мех. Через открытый рот и носовые ноздри начала она издавать какие-то звуки, какие не бывают и в новой музыке. Тут было все — и барабан, и флейта, и какой-то отрывистый звук, точно собачий лай.

— Эк его насвистывает! — сказал Платонов.

Чичиков рассмеялся.

— Разумеется, если этак пообедать, — заговорил Платонов, — как тут прийти скуке! тут сон придет.

— Да, — говорил Чичиков лениво. Глазки стали у него необыкновенно маленькие. — А все-таки, однако ж, извините, не могу понять, как можно скучать. Против скуки есть так много средств.

— Какие же?

— Да мало ли для молодого человека! Можно танцевать, играть на каком-нибудь инструменте… а не то — жениться.

— На ком? скажите.

— Да будто в окружности нет хороших и богатых невест?

— Да нет.

— Ну, поискать в других местах, поездить. — Тут богатая мысль сверкнула в голове Чичикова, глаза его стали побольше. — Да вот прекрасное средство! — сказал он, глядя в глаза Платонову.

— Какое?

— Путешествие.

— Куды ж ехать?

— Да если вам свободно, так поедем со мной, — сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова: «А это было бы хорошо: тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счет».

— А вы куда едете?

— Да как сказать — куда? Еду я покуда не столь-

ко по своей надобности, сколько по надобности другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников… Конечно, родственники родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя; ибо видеть свет, коловращенье людей — кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука.

Платонов задумался.

Чичиков между тем так помышлял: «Право, было <бы> хорошо! Можно даже и так, что все издержки будут на его счет. Можно даже сделать и так, чтобы отправиться на его лошадях, а мои покормятся у него в деревне. Для сбереженья можно и коляску оставить у него в деревне, а в дорогу взять его коляску».

«Что ж? почему ж не проездиться? — думал между тем Платонов. — Авось-либо будет повеселее. Дома же мне делать нечего, хозяйство и без того на руках у брата; стало быть, расстройства никакого. Почему ж, в самом деле, не проездиться?»

— А согласны ли вы, — сказал он вслух, — погостить у брата денька два? Иначе он меня не отпустит.

— С большим удовольствием! Хоть три.

— Ну, если так — по рукам! Едем! — сказал, оживляясь, Платонов.

— Браво! — сказал Чичиков, хлопнув по руке его. — Едем!

— Куда? куда? — воскликнул хозяин, проснувшись и выпуча на них глаза. — Нет, государи, и колеса приказано снять с вашей коляски, а ваш жеребец, Платон Михайлыч, отсюда теперь за пятнадцать верст. Нет, вот вы сегодня переночуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте себе.

«Вот тебе на!» — подумал Чичиков. Платонов ничего на это не сказал, зная, что Петух держался обычаев своих крепко. Нужно было остаться.

Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. Двенадцать гребцов, в двадцать четыре весла, с песнями, понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку, беспредельную, с пологими берегами по обе стороны. Хоть бы струйкой шевельнулись воды. На катере они пили с калачами чай, подходя ежеминутно под протянутые впоперек реки канаты для ловли рыбы снастью. Еще до чаю <хозяин> успел раздеться и выпрыгнуть в реку, где барахтался и шумел с полчаса с рыбаками, покрикивая

на Фому Большого и Кузьму, и, накричавшись, нахлопотавшись, намерзнувшись в воде, очутился на катере с аппетитом и так пил чай, что было завидно. Тем временем солнце зашло. Осталась небесная ясность. Крики отдавались звонче. Наместо рыбаков показались повсюду у берегов группы купающихся ребятишек: хлопанье по воде, смех отдавались далече. Гребцы, хвативши разом в двадцать четыре весла, подымали вдруг все весла вверх, и катер сам собой, как легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Здоровый, свежий, как девка, детина, третий от руля, запевал звонко один, вырабатывая чистым голосом; пятеро подхватывало, шестеро выносило — и разливалась беспредельная, как Русь, песня; и, заслонивши ухо рукой, как бы терялись сами певцы в ее беспредельности. Становилося как-то льготно, и думал Чичиков: «Эх, право, заведу себе когда-нибудь деревеньку!» — «Ну, что тут хорошего, — думал Платонов, — в этой заунывной песне? от ней еще большая тоска находит на душу».

Возвращались назад уже сумерками. Весла ударяли впотьмах по водам, уже не отражавшим неба. Едва видны были по берегам озера огоньки. Месяц подымался, когда они пристали к берегу.

Повсюду на треногах варили рыбаки уху, все из ершей да из животрепещущей рыбы. Все уже было дома. Гуси, коровы, козы давно уже были пригнаны, и самая пыль от них уже давно улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая крынки молока и приглашенья к ухе. Там и там слышались говор и гомон людской, громкое лаянье собак своей деревни и отдаленное — чужих деревень. Месяц подымался, стали озаряться потемки; и все наконец озарилось — и озеро и избы; побледнели огни; стал виден дым из труб, осеребренный лучами. Николаша и Алексаша пронеслись в это время перед ними на двух лихих жеребцах, в обгонку друг друга; пыль за ними поднялась, как от стада баранов. «Эх, право, заведу себе когда-нибудь деревеньку!» — думал Чичиков. Бабенка и маленькие Чичонки начали ему снова представляться. Кого ж не разогреет такой вечер?

А за ужином опять объелись. Когда вошел Павел Иванович в отведенную комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой: «Барабан! — сказал, — никакой городничий не взойдет!» Надобно же было такому стеченью обстоятельств: за стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось все, что там

ни говорилось. Хозяин заказывал повару, под видом раннего завтрака, на завтрашний день, решительный обед. И как заказывал! У мертвого родился бы аппетит. И губами подсасывал, и причмокивал. Раздавалось только: «Да поджарь, да дай взопреть хорошенько!» А повар приговаривал тоненькой фистулой: «Слушаю-с. Можно-с. Можно-с и такой».

— Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне щеки осетра да вязигу, в другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого…

— Слушаю-с. Можно будет и так.

— Да чтобы с одного боку она, понимаешь — зарумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то, исподку-то, понимаешь, пропеки ее так, чтобы рассыпалась, чтобы всю ее проняло, знаешь, соком, чтобы и не услышал ее во рту — как снег бы растаяла.

«Черт побери! — думал Чичиков, ворочаясь. — Просто не даст спать!»

— Да сделай ты мне свиной сычуг. Положи в середку кусочек льду, чтобы он взбухнул хорошенько. Да чтобы к осетру обкладка, гарнир-то, гарнир-то чтобы был побогаче! Обложи его ра-

ками, да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фаршецом из снеточков, да подбавь мелкой сечки, хренку, да груздочков, да репушки, да морковки, да бобков, да нет ли еще там какого коренья?

— Можно будет подпустить брюкву или свеклу звездочкой, — сказал повар.

— Подпусти и брюкву, и свеклу. А к жаркому ты сделай мне вот какую обкладку…

— Пропал совершенно сон! — сказал Чичиков, переворачиваясь на другую сторону, закутал голову в подушки и закрыл себя всего одеялом, чтобы не слышать ничего. Но сквозь одеяло слышалось беспрестанно: «Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть хорошенько». Заснул он уже на каком-то индюке.

На другой день до того объелись гости, что Платонов уже не мог ехать верхом; жеребец был отправлен с конюхом Петуха. Они сели в коляску. Мордатый пес лениво пошел за коляской: он тоже объелся.

— Нет, это уже слишком, — сказал Чичиков, когда выехали они со двора. — Это даже по-свински. Не беспокойно ли вам, Платон Михалыч? Препокойная была коляска, и вдруг стало беспокойно. Петрушка, ты, верно, по глупости, стал перекла-

дывать? отовсюду торчат какие-то коробки!

Платон усмехнулся.

— Это, я вам объясню, — сказал он, — Петр Петрович насовал в дорогу.

— Точно так, — сказал Петрушка, оборотясь с козел, — приказано было все поставить в коляску — пашкеты и пироги.

— Точно-с, Павел Иванович, — сказал Селифан, оборотясь с козел, веселый, — очень почтенный барин. Угостительный помещик! По рюмке шампанского выслал. Точно-с, и приказал от стола отпустить блюда — оченно хорошего блюда, деликатного скусу. Такого почтительного господина еще и не было.

— Видите ли? он всех удовлетворил, — сказал Платонов. — Однако же, скажите просто: есть ли у вас время, что<бы> заехать в одну деревню, отсюда верст десять? Мне бы хотелось проститься с сестрой и зятем.

— С большим удовольствием, — сказал Чичиков.

— От этого вы не будете внакладе: зять мой — весьма замечательный человек.

— По какой части? — спросил Чичиков.

— Это первый хозяин, какой когда-либо бывал на Руси. Он в десять лет с небольшим, купивши

расстроенное имение, едва дававшее двадцать тысяч, возвел его до того, что теперь он получает двести тысяч.

— А, почтенный человек! Вот этакого человека жизнь стоит того, чтобы быть переданной в поученье людям! Очень, очень будет приятно познакомиться. А как по фамилии?

— Костанжогло[240].

— А имя и отчество?

— Константин Федорович.

— Константин Федорович Костанжогло. Очень приятно познакомиться. Поучительно узнать этакого человека. — И Чичиков пустился в расспросы о Костанжогле, и все, что он узнал о нем от Платонова, было, точно, изумительно.

— Вот смотрите, в этом месте уже начинаются его земли, — говорил Платонов, указывая на поля. — Вы увидите тотчас отличье от других. Кучер, здесь возьмешь дорогу налево. Видите ли этот молодник-лес? Это — сеяный. У другого в пятнадцать лет не поднялся <бы> так, а у него в восемь вырос. Смотрите, вот лес и кончился. Начались уже хлеба; а через пятьдесят десятин опять будет

[240] Примечания: 240

В ранней редакции — Скудронжогло. В дальнейшем Гоголь изменил эту фамилию на Костанжогло. Так печаталось во всех изданиях второго тома «Мертвых душ».

лес, тоже сеяный, а там опять. Смотрите на хлеба, во сколько раз они гуще, чем у другого.

— Вижу. Да как же он это делает?

— Ну, расспросите у него, вы увидите, что...[241] Это всезнай, такой всезнай, какого вы нигде не найдете. Он мало того что знает, какую почву что любит, знает, какое соседство для кого нужно, поблизости какого леса нужно сеять какой хлеб. У нас у всех земля трескается от засух, а у него нет. Он рассчитает, насколько нужно влажности, столько и дерева разведет; у него все играет две-три роли: лес лесом, а полю удобренье от листьев да от тени. И это во всем так.

— Изумительный человек! — сказал Чичиков и с любопытством посматривал на поля.

Все было в порядке необыкновенном. Леса были загороженные; повсюду попадались скотные дворы, тоже не без причины обстроенные, завидно содержимые; хлебные клади росту великанского. Обильно и хлебно было повсюду. Видно было вдруг, что живет туз-хозяин. Поднявшись на небольшую возвышенность, <увидели> на супротивной стороне большую деревню, рассыпавшуюся на трех горных возвышениях. Все

---

[241] Примечания: 241

В рукописи четыре слова не разобрано.

тут было богато: торные улицы, крепкие избы; стояла ли где телега — телега была крепкая и новешенькая; попадался ли конь — конь был откормленный и добрый; рогатый скот — как на отбор. Даже мужичья свинья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой. Не было тут аглицких парков, беседок и мостов с затеями и разных проспектов перед домом. От изб до господского двора потянулись рабочьи дворы. На крыше большой фонарь, не для видов, но для рассматривания, где и в каком месте и как производились работы.

Они подъехали к дому. Хозяина не было; встретила их жена, родная сестра Платонова, белокурая, белоликая, с прямо русским выраженьем, так же красавица, но так же полусонная, как он. Кажется, как будто ее мало заботило то, о чем заботятся, или оттого, что всепоглощающая деятельность мужа ничего не оставила на ее долю, или оттого, что она принадлежала, по самому сложению своему, к тому философическому разряду людей, которые, имея и чувства, и мысли, и ум, живут как-то вполовину, на жизнь глядят вполглаза и, видя возмутительные тревоги и борьбы, говорят: «<Пусть> их, дураки, бесятся!

Им же хуже».

— Здравствуй, сестра! — сказал Платонов. — Где же Константин?

— Не знаю. Ему следовало быть давно уже здесь. Верно, захлопотался.

Чичиков на хозяйку не обратил <внимания>. Ему было интересно рассмотреть жилище этого необыкновенного человека. Он думал отыскать в нем свойства самого хозяина, — как по раковине можно судить, какого рода сидела в ней устрица или улитка. Но этого-то и не было. Комнаты были бесхарактерны совершенно — просторны, и ничего больше. Ни фресков, ни картин по стенам, ни бронзы по столам, ни этажерок с фарфором или чашками, ни ваз, ни цветов, ни статуек, — словом, как-то голо. Простая обыкновенная мебель да рояль стоял в стороне, и тот покрыт был пылью: как видно, хозяйка редко за него садилась. Из гостиной отворена <была дверь в кабинет хозяина>[242]; но и там было так же — просто и голо. Видно было, что хозяин приходил в дом только отдохнуть, а не то чтобы жить в нем; что для обдумыванья своих планов и мыслей ему не надобно было кабинета с пружинными креслами

[242] Примечания: 242

В рукописи фраза не дописана. Стоящие в скобках слова прибавлены П. Кулишом в издании «Сочинения и письма Н.В. Гоголя». СПб. 1857.

и всякими покойными удобствами и что жизнь его заключалась не в очаровательных грезах у пылающего камина, но прямо в деле. Мысль исходила вдруг из обстоятельств, в ту минуту, как они представлялись, и обращалась вдруг в дело, не имея никакой надобности в том, чтобы быть записанной.

— А! вот он! Идет, идет! — сказал Платонов.

Чичиков тоже устремился к окну. К крыльцу подходил лет сорока человек, живой, смуглой наружности. На нем был триповый картуз. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли двое нижнего сословия, — шли, разговаривая и о чем-то с <ним> толкуя. Один, казалось, был простой мужик; другой, в синей сибирке, какой-то заезжий кулак и пройдоха.

— Так уж прикажите, батюшка, принять! — говорил мужик, кланяясь.

— Да нет, братец, я уж двадцать раз вам повторял: не возите больше. У меня материалу столько накопилось, что девать некуда.

— Да у вас, батюшка Константин Федорович, весь пойдет в дело. Уж эдакого умного человека во всем свете нельзя сыскать. Ваше здоровье всяку вещь в место поставит. Так уж прикажите принять.

— Мне, братец, руки нужны; мне работников доставляй, а не материал.

— Да уж в работниках не будете иметь недостатку. У нас целые деревни пойдут в работы: бесхлебье такое, что и не запомним. Уж вот беда-то, что не хотите нас совсем взять, а отслужили бы верою вам, ей-богу, отслужили. У вас всякому уму научишься, Константин Федорович. Так прикажите принять в последний раз.

— Да ведь ты и тогда говорил: в последний раз, а ведь вот опять привез.

— Уж в последний раз, Константин Федорович. Если вы не возьмете, то у меня никто не возьмет. Так уж прикажите, батюшка, принять.

— Ну, слушай, этот раз возьму, и то из сожаления только, чтобы не провозился напрасно. Но если ты привезешь в другой раз, хоть три недели канючь — не возьму.

— Слушаю-с, Константин Федорович; уж будьте покойны, в другой раз уж никак не привезу. Покорнейше благодарю. — Мужик отошел, довольный. Врет, однако же, привезет: авось — великое словцо.

— Так уж того-с, Константин Федорович, уж сделайте милость… посбавьте, — говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синей

сибирке.

— Ведь я тебе на первых порах объявил. Торговаться я не охотник. Я тебе говорю опять: я не то, что другой помещик, к которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард. Ведь я вас знаю всех. У вас есть списки всех, кому когда следует уплачивать. Что ж тут мудреного? Ему приспичит, он тебе и отдаст за полцены. А мне что твои деньги? У меня вещь хоть три года лежи! Мне в ломбард не нужно уплачивать…

— Настоящее дело, Константин Федорович. Да ведь я того-с… оттого только, чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задаточку извольте принять.

Кулак вынул из-за пазухи пук засаленных ассигнаций. Костанжогло прехладнокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сюртука.

«Гм, — подумал Чичиков, — точно как бы носовой платок!»

Минуту спустя Костанжогло показался в дверях гостиной.

— Ба, брат, ты здесь! — сказал он, увидев Платонова. Они обнялись и поцеловались. Платонов рекомендовал Чичикова. Чичиков благоговейно подступил к хозяину, лобызнул его в щеку, при-

нявши и от него впечатленье поцелуя.

Лицо Костанжогло было очень замечательно. В нем было заметно южное происхожденье. Волосы на голове и на бровях темны и густы, глаза говорящие, блеску сильного. Ум сверкал во всяком выраженье лица, и уж ничего не было в нем сонного. Но заметна, однако же, была примесь чего-то желчного и озлобленного. Какой, собственно, был он нации? Есть много на Руси русских нерусского происхожденья, в душе, однако же, русские. Костанжогло не занимался своим происхожденьем, находя, что это в строку нейдет и в хозяйстве вещь лишняя. Притом не знал и другого языка, кроме русского.

— Знаешь ли, Константин, что я выдумал? — сказал Платонов.

— А что?

— Выдумал я проездиться по разным губерниям; авось-либо это вылечит от хандры.

— Что ж? это очень может быть.

— Вот вместе с Павлом Ивановичем.

— Прекрасно! В какие же места, — спросил Костанжогло, приветливо обращаясь к Чичикову, — предполагаете теперь ехать?

— Признаюсь, — сказал Чичиков, наклоня голову набок и взявшись рукою за ручку кресел, — еду

я, покамест, не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя; потому что, точно, не говоря уже о пользе, которая может быть в геморроидальном отношенье, одно уже то, чтоб увидать свет, коловращенье людей… кто что ни говори, есть, так сказать, живая книга, та же наука.

— Да, заглянуть в иные уголки не мешает.

— Превосходно изволили заметить, — отнесся Чичиков, — точно, не мешает. Видишь вещи, которых бы не видел; встречаешь людей, которых бы не встретил. Разговор с иным тот же червонец. Научите, почтеннейший Константин Федорович, научите, к вам прибегаю. Жду, как манны, сладких слов ваших.

Костанжогло смутился.

— Чему же, однако?.. чему научить? Я и сам учился на медные деньги.

— Мудрости, почтеннейший, мудрости! мудрости управлять хозяйством, подобно вам; подобно вам уметь извлекать доходы верные; приобресть, подобно вам, имущество не мечтательное, а су-

щественное, и тем исполнить долг гражданина, заслужить уваженье соотечественников.

— Знаете ли что? — сказал Костанжогло, — останьтесь денек у меня. Я покажу вам все управление и расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет.

— Брат, оставайся этот день, — сказала хозяйка, обращаясь к Платонову.

— Пожалуй, мне все равно, — произнес тот равнодушно, — как Павел Иванович?

— Я тоже, я с большим удовольствием… Но вот обстоятельство — нужно посетить родственника генерала Бетрищева. Есть некто полковник Кошкарев…

— Да ведь он… знаете ли вы это? Ведь он дурак и помешан.

— Об этом я уже слышал. Мне к нему и дела нет. Но так как генерал Бетрищев — близкий приятель и, даже так сказать, благотворитель… так уж как-то и неловко.

— В таком случае знаете ли что, — сказал <Костанжогло>, — поезжайте к нему теперь же. У меня стоят готовые пролетки. К нему и десяти верст <нет>, так вы слетаете духом. Вы даже раньше ужина возвратитесь назад.

Чичиков с радостью воспользовался предло-

женьем. Пролетки были поданы, и он поехал тот же час к полковнику, который изумил его так, как еще никогда ему не случалось изумляться. Все было у полковника необыкновенно. Вся деревня была вразброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то дома вроде присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами: «Депо земледельческих орудий», на другом: «Главная счетная экспедиция», на третьем: «Комитет сельских дел»; «Школа нормального просвещенья поселян», — словом, черт знает, чего не было! Он думал, не въехал ли в губернский город. Сам полковник был какой-то чопорный. Лицо какое-то чинное в виде треугольника. Бакенбарды по щекам его были протянуты в струнку; волосы, прическа, нос, губы, подбородок — все как бы лежало дотоле под прессом. Начал он говорить, как бы и дельный человек. С первых начал начал он ему жаловаться на необразованность окружающих помещиков, на великие труды, которые ему предстоят. Принял он Чичикова отменно ласково и радушно, ввел его совершенно в доверенность и рассказал с самоуслажденьем, скольких и скольких стоило ему трудов возвесть именье до нынешнего

благосостояния; как трудно было дать понять простому мужику, что есть высшие побуждения, которые доставляют человеку просвещенная роскошь, искусство и художества; сколько нужно было бороться с невежеством русского мужика, чтобы одеть его в немецкие штаны и заставить почувствовать, хотя сколько-нибудь, высшее достоинство человека; что баб, несмотря на все усилия, он до сих <пор> не мог заставить надеть корсет, тогда как в Германии, где он стоял с полком в 14-м году, дочь мельника умела играть даже на фортепиано, говорила по-французски и делала книксен. С соболезнованием рассказывал он, как велика необразованность соседей помещиков; как мало думают они о своих подвластных; как они даже смеялись, когда он старался изъяснить, как необходимо для хозяйства устроенье письменной конторы, контор комиссии и даже комитетов, чтобы тем предохранить всякие кражи и всякая вещь была бы известна, чтобы писарь, управитель и бухгалтер образовались бы не как-нибудь, но оканчивали бы университетское воспитанье; как, несмотря на все убеждения, он не мог убедить помещиков в том, что какая бы выгода была их имениям, если бы каждый крестьянин был воспитан так, чтобы, идя за плу-

гом, мог читать в то же время книгу о громовых отводах.

На это Чичиков <подумал>: «Ну, вряд ли выберется такое время. Вот я выучился грамоте, а «Графиня Лавальер» до сих пор еще не прочитана».

— Ужасное невежество! — сказал в заключенье полковник Кошкарев. — Тьма средних веков, и нет средств помочь… Поверьте, нет! А я бы мог всему помочь; я знаю одно средство, вернейшее средство.

— Какое?

— Одеть всех до одного в России, как ходят в Германии. Ничего больше, как только это, и я вам ручаюсь, что все пойдет как по маслу: науки возвысятся, торговля подымется, золотой век настанет в России.

Чичиков глядел на него пристально и думал: «Что ж? с этим, кажется, чиниться нечего». Не отлагая дела в дальний ящик, он объяснил полковнику тут же, что так и так: имеется надобность вот в каких душах, с совершеньем таких-то крепостей.

— Сколько могу видеть из слов ваших, — сказал полковник, нимало не смутясь, — это просьба; не так ли?

— Так точно.

— В таком случае, изложите ее письменно. Она пойдет в комиссию всяких прошений. Комиссия всяких прошений, пометивши, препроводит ее ко мне. От меня поступит она в комитет сельских дел, там сделают всякие справки и выправки по этому делу. Главноуправляющий вместе с конторою в самоскорейшем времени положит свою резолюцию, и дело будет сделано.

Чичиков оторопел.

— Позвольте, — сказал <он>, — этак дело затянется.

— А! — сказал с улыбкой полковник, — вот тут-то и выгода бумажного производства! Оно, точно, несколько затянется, но зато уже ничто не ускользнет: всякая мелочь будет видна.

— Но позвольте… Как же трактовать об этом письменно? Ведь это такого рода дело… Души ведь некоторым образом… мертвые.

— Очень хорошо. Вы так и напишите, что души некоторым образом… мертвые.

— Но ведь как же — мертвые? Ведь этак же нельзя написать. Они хотя и мертвые, но нужно, чтобы казались как бы были живые.

— Хорошо. Вы так и напишите: «но нужно, или требуется, чтобы казалось, как бы живые».

Что было делать с полковником? Чичиков решился отправиться сам поглядеть, что это за комиссии и комитеты; и что нашел он там, то было не только изумительно, но превышало решительно всякое понятье. Комиссия всяких прошений существовала только на вывеске. Председатель ее, прежний камердинер, был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил конторщик Тимошка, откомандированный на следствие — разбирать пьяницу приказчика с старостой, мошенником и плутом. Чиновника — нигде.

— Да где ж тут?.. да как добиться какого-нибудь <толку>? — сказал Чичиков своему сопутнику, чиновнику по особенным поручениям, которого полковник дал ему в проводники.

— Да никакого толку не добьетесь, — сказал проводник, — у нас бестолковщина. У нас всем, изволите видеть, распоряжается комиссия построения, отрывает всех от дела, посылает куды угодно. Только и выгодно у нас, что в комиссии построения. — Он, как видно, был недоволен на комиссию построенья. — У нас так заведено, что все водят за нос барина. Он думает, что всё-с как следует, а ведь это названье только одно.

«Это, однако же, нужно ему сказать», — подумал

Чичиков и, пришедши к полковнику, объявил, что у него каша и никакого толку нельзя добиться, и комиссия построений ворует напропалую.

Полковник воскипел благородным негодованьем. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал восемь строжайших запросов: на каком основании комиссия построений самоуправно распорядилась с неподведомственными ей чиновниками? Как мог допустить главноуправляющий, чтобы председатель, не сдавши своего поста, отправился на следствие? и как мог видеть равнодушно комитет сельских дел, что даже не существует комиссии прошений?

«Ну, пойдет кутерьма», — подумал Чичиков и начал раскланиваться.

— Нет, я вас не отпущу. В два часа, не более, вы будете удовлетворены во всем. Дело ваше я поручу теперь особенному человеку, который только что окончил университетский курс. Посидите у меня в библиотеке. Тут все, что для вас нужно: книги, бумага, перья, карандаши — все. Пользуйтесь, пользуйтесь всем — вы господин.

Так говорил Кошкарев, введя его в книгохранилище. Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там даже и чучела животных. Книги по всем частям — по части

лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства, тысячи всяких журналов, руководств и множество журналов, представлявших самые позднейшие развития и усовершенствования и по коннозаводству, и естественным наукам. Были и такие названия: «Свиноводство как наука». Видя, что здесь вещи не приятного препровождения <времени>, он обратился к другому шкафу. Из огня — в полымя. Тут были всё книги философии. На одной было заглавие: «Философия, в смысле науки»; шесть томов в ряд под названием: «Предуготовительное вступление к теории мышления в их общности, совокупности, сущности и во применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности». Что ни разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице — проявленье, развитье, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает, чего там не было. «Нет, это все не по мне», — сказал Чичиков и оборотился к третьему шкафу, где были книги всё по части искусств. Тут вытащил он какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать. Это было по его вкусу. Такого рода картинки нравятся холостякам средних <лет>. Говорят, что в последнее время стали они нра-

виться даже и старичкам, изощрившим вкус на балетах. Что ж делать, человечество нашего века пряные коренья любит. Окончивши рассматриванье этой книги, Чичиков вытащил уже было и другую в том же роде, как вдруг появился полковник Кошкарев, с сияющим видом и бумагою.

— Все сделано, и сделано отлично. Человек этот решительно понимает один за всех. За это я его поставлю выше всех: заведу особенное, высшее управление и поставлю его президентом. Вот что он пишет…

«Ну слава те господи», — подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать:

— «Приступая к обдумыванью возложенного на меня вашим высокородием поручения, честь имею сим донести на оное: 1) В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова есть уже некоторое недоразумение: в изъясненье того, что требуются ревизские души, постигнутые всякими внезапностями, вставлены и умершие. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие; ибо умершие не приобретаются. Что ж и приобретать, если ничего нет? Об этом говорит и самая логика. Да и в словесных науках они, как видно, не далеко уходили…» — Тут на минуту

Кошкарев остановился и сказал: — В этом месте, плут… он немножко кольнул вас. Но судите, однако же, какое бойкое перо — статс-секретарский слог; а ведь всего три года побыл в университете, даже не кончил курса. — Кошкарев продолжал: — «…в словесных науках, как видно, не далеко… ибо выразились о душах *умершие*, тогда как всякому, изучавшему курс познаний человеческих, известно заподлинно, что душа бессмертна. 2) Оных упомянутых ревизских душ, пришлых, или прибылых, или, как они неправильно изволили выразиться, умерших, нет налицо таковых, которые бы не были в залоге, ибо все в совокупности не только заложены без изъятия, но и перезаложены, с прибавкой по полутораста рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловка, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Предищевым, и потому ни в продажу, ни в залог поступить не может».

— Так зачем же вы мне этого не объявили прежде? Зачем из пустяков держали? — сказал с сердцем Чичиков.

— Да ведь как же я мог знать об этом сначала? В этом-то и выгода бумажного производства, что вот теперь все, как на ладони, оказалось ясно.

«Дурак ты, глупая скотина! — думал про себя

Чичиков. — В книгах копался, а чему выучился?» Мимо всяких учтивств и приличий, схватил он шапку — из дома. Кучер стоял, пролетки наготове и лошадей не откладывал: о корме пошла бы письменная просьба, и резолюция — выдать овес лошадям — вышла бы только на другой день. Как ни был Чичиков груб и неучтив, но Кошкарев, несмотря на все, был с ним необыкновенно учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку, и прижал ее к сердцу, и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства; что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать и пружины сельского управленья заржавеют и ослабеют; что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль: устроить новую комиссию, которая будет называться комиссией наблюдения за комиссиею построения, так что уже тогда никто не осмелится украсть.

«Осел! дурак!» — думал Чичиков, сердитый и недовольный во всю дорогу. Ехал он уже при звездах. Ночь была на небе. В деревнях были огни. Подъезжая к крыльцу, он увидел в окнах, что уже стол был накрыт для ужина.

— Что это вы так запоздали? — сказал Костанжогло, когда он показался в дверях.

— О чем вы это так долго с ним толковали? — сказал Платонов.

— Уморил! — сказал Чичиков. — Этакого дурака я еще отроду не видывал.

— Это еще ничего! — сказал Костанжогло. — Кошкарев — утешительное явление. Он нужен затем, что в нем отражаются карикатурно и видней глупости умных людей. Завели конторы и присутствия, и управителей, и мануфактуры, и фабрики, и школы, и комиссию, и черт их знает что такое. Точно как будто бы у них государство какое! Как вам это нравится? я спрашиваю. Помещик, у которого пахотные земли и недостает крестьян обработывать, а он завел свечной завод, из Лондона мастеров выписал свечных, торгашом сделался! Вон другой дурак еще лучше: фабрику шелковых материй завел!

— Да ведь и у тебя же есть фабрики, — заметил Платонов.

— А кто их заводил? Сами завелись: накопилось шерсти, сбыть некуды, я и начал ткать сукна, да и сукна толстые, простые; по дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают. Рыбью шелуху, например, сбрасывали на мой берег шесть лет сряду; ну, куды ее девать? я начал с нее варить клей, да сорок тысяч и взял. Ведь у меня всё так.

«Экой черт! — думал Чичиков, глядя на него в оба глаза, — загребистая какая лапа!»

— Да я и строений для этого не строю; у меня нет зданий с колоннами да фронтонами. Мастеров я не выписываю из-за границы. А уж крестьян от хлебопашества ни за что не оторву. На фабриках у меня работают только в голодный год, всё пришлые, из-за куска хлеба. Этаких фабрик наберется много. Рассмотри только попристальнее свое хозяйство, то увидишь — всякая тряпка пойдет в дело, всякая дрянь даст доход, так что после отталкиваешь только да говоришь: не нужно.

— Это изумительно! Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход! — сказал Чичиков.

— Гм! да не только это!.. — Речи Костанжогло не кончил: желчь в нем пробудилась, и ему хотелось побранить соседей помещиков. — Вон опять один умник — что вы думаете у себя завел? Богоугодные заведения, каменное строение в деревне! Христолюбивое дело!.. Уж хочешь помогать, так ты помогай всякому исполнить этот долг, а не отрывай его от христианского долга. Помоги сыну пригреть у себя больного отца, а не давай ему возможности сбросить его с плеч своих. Дай лучше ему средства приютить у себя в дому ближнего и брата, дай ему на это денег,

помоги всеми силами, а не отлучай его: он совсем отстанет от всяких христианских обязанностей. Дон-Кишоты просто по всем частям!.. Двести рублей выходит на человека в год в богоугодном заведении!.. Да я на эти деньги буду у себя в деревне десять человек содержать! — Костанжогло рассердился и плюнул.

Чичиков не интересовался богоугодным заведеньем: он хотел повести речь о том, как всякая дрянь дает доход. Но Костанжогло уже рассердился, желчь в нем закипела, и слова полились.

— А вот другой Дон-Кишот просвещенья: завел школы! Ну, что, например, полезнее человеку, как знанье грамоты? А ведь как распорядился? Ведь ко мне приходят мужики из его деревни. «Что это, говорят, батюшка, такое? сыновья наши совсем от рук отбились, помогать в работах не хотят, все в писаря хотят, а ведь писарь нужен один». Ведь вот что вышло!

Чичикову тоже не было надобности до школ, но Платонов подхватил этот предмет:

— Да ведь этим нечего останавливаться, что теперь не надобны писаря: после будет надобность. Работать нужно для потомства.

— Да будь, братец, хоть ты умен! Ну, что вам далось это потомство? Все думают, что они какие-то

Петры Великие. Да ты смотри себе под ноги, а не гляди в потомство; хлопочи о том, чтобы мужика сделать достаточным да богатым, да чтобы было у него время учиться по охоте своей, а не то что с палкой в руке говорить: «Учись!» Черт знает, с которого конца начинают!.. Ну, послушайте: ну, вот я вам на суд… — Тут Костанжогло подвинулся ближе к Чичикову и, чтобы заставить его получше вникнуть в дело, взял его на абордаж, другими словами — засунул палец в петлю его фрака. — Ну, что может быть яснее? У тебя крестьяне затем, чтобы ты им покровительствовал в их крестьянском быту. В чем же быт? в чем же занятия крестьянина? В хлебопашестве? Так старайся, чтобы он был хорошим хлебопашцем. Ясно? Нет, нашлись умники, говорят: «Из этого состоянья его нужно вывести. Он ведет слишком грубую, простую жизнь: нужно познакомить его с предметами роскоши». Что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезней черт знает каких понабрались, и уж нет осьмнадцатилетнего мальчишки, который бы не испробовал всего: и зубов у него нет, и плешив, — так хотят теперь и этих заразить. Да слава богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями! За это

мы просто должны благодарить Бога. Да, хлебопашцы для меня всех почтеннее. Дай Бог, чтобы все были хлебопашцы!

— Так вы полагаете, что хлебопашеством всего выгоднее заниматься? — спросил Чичиков.

— Законнее, а не то, что выгоднее. Возделывай землю в поте лица своего. Это нам всем сказано; это недаром сказано. Опытом веков уже это доказано, что в земледельческом звании человек чище нравами. Где хлебопашество легло в основанье быта общественного, там изобилье и довольство; бедности нет, роскоши нет, а есть довольство. Возделывай землю — сказано человеку, трудись… что тут хитрить! Я говорю мужику: «Кому бы ты ни трудился, мне ли, себе ли, соседу ли, только трудись. В деятельности я твой первый помощник. Нет у тебя скотины, вот тебе лошадь, вот тебе корова, вот тебе телега… Всем, что нужно, готов тебя снабдить, но трудись. Для меня смерть, если хозяйство у тебя не в устройстве и вижу у тебя беспорядок и бедность. Не потерплю праздности. Я затем над тобой, чтобы ты трудился». Гм! думают увеличить доходы заведеньями да фабриками! Да ты подумай прежде о том, чтобы всякий мужик был у тебя богат, так тогда ты и сам будешь богат без фабрик, и без заводов, и без

глупых <затей>.

— Чем больше слушаешь вас, почтеннейший Константин Федорович, — сказал Чичиков, — тем большее получаешь желание слушать. Скажите, досточтимый мною: если бы, например, я возымел намерение сделаться помещиком, положим, здешней губернии, на что преимущественно обратить внимание? как быть, как поступить, чтобы в непродолжительное <время> разбогатеть, чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина?

— Как поступить, чтобы разбогатеть? А вот как… — сказал Костанжогло.

— Пойдем ужинать! — сказала хозяйка, поднявшись с дивана, и выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые продрогнувшие свои члены.

Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека, подлетел к хозяйке с мягким выраженьем в улыбке деликатного штатского человека, коромыслом подставил ей руку и повел ее парадно через две комнаты в столовую, сохраняя во все время приятное наклоненье головы несколько набок. Служитель снял крышку с суповой чашки; все со стульями придвинулись ближе к столу, и началось хлебанье супа.

Отделавши суп и запивши рюмкой наливки (наливка была отличная), Чичиков сказал так Костанжоглу:

— Позвольте, почтеннейший, вновь обратить вас к предмету прекращенного разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться…[243]

……

……

— Именье, за которое если бы он запросил и сорок тысяч, я б ему тут же отсчитал.

— Гм! — Чичиков задумался. — А отчего же вы сами, — проговорил он с некоторою робостью, — не покупаете его?

— Да нужно знать наконец пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений. Притом у нас дворяне и без того уже кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными их положеньями, скупаю земли за бесценок. Это мне уж наконец надоело.

— Дворянство способно к злословью! — сказал Чичиков.

---

[243] Примечания: 243

Далее в рукописи отсутствуют две страницы. В первом издании второго тома «Мертвых душ» (1855) примечание: «Здесь в разговоре Костанжогло с Чичиковым пропуск. Должно полагать, что Костанжогло предложил Чичикову приобрести покупкою именье соседа его, помещика Хлобуева».

— А уж у нас, в нашей губернии… Вы не можете себе представить, что они говорят обо мне. Они меня иначе и не называют, как сквалыгой и скупердяем первой степени. Себя они во всем извиняют. «Я, говорит, конечно, промотался, но потому, что жил высшими потребностями жизни. Мне нужны книги, я должен жить роскошно, чтобы промышленность поощрять; а этак, пожалуй, можно прожить и не разорившись, если бы жить такой свиньею, как Костанжогло». Ведь вот как!

— Желал бы я быть этакой свиньей! — сказал Чичиков.

— И ведь это всё оттого, что не задаю обедов да не занимаю им денег. Обедов я потому не даю, что меня бы тяготило, я к этому не привык. А приезжай ко мне есть то, что я ем, — милости просим! Не даю денег взаймы — это вздор. Приезжай ко мне в самом деле нуждающийся да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно и деньги принесут тебе явную прибыль, — я тебе не откажу и не возьму даже процентов. Но бросать денег на ветер я не стану. Уж пусть меня в этом извинят. Он затевает какой-нибудь обед своей любовнице или на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом, а ему

давай деньги взаймы!..

Здесь Костанжогло плюнул и чуть-чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии супруги. Суровая тень темной ипохондрии омрачила его живое лицо. Вздоль лба и впоперек его собрались морщины, обличители гневного движенья взволнованной желчи.

Чичиков выпил рюмку малиновки и сказал так:

— Позвольте мне, досточтимый мною, обратить вас вновь к предмету прекращенного разговора. Если бы, положим, я приобрел то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени и как скоро можно разбогатеть в такой степени…

— Если вы хотите, — подхватил сурово и отрывисто Костанжогло, еще полный нерасположенья духа, — разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете; если же хотите разбогатеть, не спрашивая о времени, то разбогатеете скоро.

— Вот оно как! — сказал Чичиков.

— Да, — сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова. — Надобно иметь любовь к труду; без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да! И, поверьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что

в деревне тоска… да я бы умер от тоски, если бы хотя один день провел в городе так, как проводят они! Хозяину нет времени скучать. В жизни его нет пустоты — все полнота. Нужно только рассмотреть весь этот многообразный круг годовых занятий — и каких занятий! занятий, истинно возвышающих дух, не говоря уже о разнообразии. Тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всему, что совершается в творенье. Еще не появилась весна, а уж зачинаются работы: подвозы и дров, и всего на время распутицы; подготовка семян; переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка; установленье новых тягол. Прошли снега и реки, — работы так вдруг и закипят: там погрузки на суда, здесь расчистка дерев по лесам, пересадка дерев по садам, и пошли взрывать повсюду землю. В огородах работает заступ, в полях — соха и борона. И начинаются посевы. Безделица! Грядущий урожай сеют! Наступило лето — покосы, первейший праздник хлебопашца. Безделица! Пойдут жатва за жатвой: за рожью пшеница, за ячменем овес, а тут и дерганье конопли. Мечут стога, кладут клади. А тут и август перевалил за половину — пошла свозка всего на гумны. Наступила осень — запашки и посевы озимых хлебов,

чинка амбаров, риг, скотных дворов, хлебный опыт и первый умолот. Наступит зима — и тут не дремлют работы: первые подвозы в город, молотьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из риг в амбары, по лесам рубка и пиленье дров, подвоз кирпичу и материалу для весенних построек. Да просто я и обнять всего не в состоянье. Какое разнообразие работ! Сюда и туда взглянуть идешь: и на мельницу, и на рабочий двор, и на фабрики, и на гумна! Идешь и к мужику взглянуть, как он на себя работает. Безделица! Да для меня праздник, если плотник хорошо владеет топором; я два часа готов пред ним простоять: так веселит меня работа. А если видишь еще, с какой целью все это творится, как вокруг тебя все множится да множится, принося плод да доход. Да я и рассказать вам не могу, какое удовольствие. И не потому, что растут деньги, — деньги деньгами, — но потому, что все это — дело рук твоих; потому, что видишь, как ты всему причина и творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилье и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслажденье? — сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, все морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчанья своего, сиял он. — Да в

целом мире не отыщете вы подобного наслажденья! Здесь, именно здесь подражает Богу человек: Бог предоставил себе дело творенья, как высшее наслажденье, и требует от человека также, чтобы он был творцом благоденствия и стройного теченья дел. И это называют скучным делом!

Как пенья райской птички, заслушался Чичиков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста. Глаза умаслились и выражали сладость, и все бы он слушал.

— Константин! пора вставать, — сказала хозяйка, приподнявшись со стула. Платонов приподнялся, Костанжогло приподнялся, Чичиков приподнялся, хотя хотелось ему все сидеть да слушать. Подставив руку коромыслом, повел он обратно хозяйку. Но голова его не была склонена приветливо набок, недоставало ловкости в его оборотах, потому что мысли были заняты существенными оборотами и соображениями.

— Что ни рассказывай, а все, однако же, скучно, — говорил, идя позади их, Платонов.

«Гость, кажется, очень неглупый человек, — думал хозяин, — степенен в словах и не щелкопер». И, подумавши так, стал он еще веселее, точно как бы сам разогрелся от своего разговора и как бы празднуя, что нашел человека, готового слушать

умные советы.

Когда потом поместились они все в маленькой, уютной комнатке, озаренной свечками, насупротив балконной стеклянной двери наместо окна, Чичикову сделалось так приютно, как не бывало давно. Точно как бы после долгих странствований приняла уже его родная крыша и, по совершенье всего, он уже получил все желаемое и бросил скитальческий посох, сказавши: «Довольно!» Такое обаятельное расположенье навел ему на душу разумный разговор хозяина. Есть для всякого человека такие речи, которые как бы ближе и родственней ему других речей. И часто неожиданно, в глухом, забытом захолустье, на безлюдье безлюдном, встретишь человека, которого греющая беседа заставит позабыть тебя и бездорожье дороги, и бесприютность ночлегов, и современный свет, полный глупостей людских, обманов, обманывающих человека. И живо потом навсегда и навеки останется проведенный таким образом вечер, и все, что тогда случилось и было, удержит верная память: и кто соприсутствовал, и кто на каком месте стоял, и что было в руках его, — стены, углы и всякую безделушку.

Так и Чичикову заметилось все в тот вечер: и эта малая, неприхотливо убранная комнат-

ка, и добродушное выраженье, воцарившееся в лице хозяина, и поданная Платонову трубка с янтарным мундштуком, и дым, который он стал пускать в толстую морду Ярбу, и фырканье Ярба, и смех миловидной хозяйки, прерываемый словами: «Полно, не мучь его», — и веселые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, которая оттоле на них глядела, облокотясь на вершины дерев, из чащи которых высвистывали весенние соловьи.

— Сладки мне ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович, — произнес Чичиков. — Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму.

Он улыбнулся.

— Нет, Павел Иванович, — сказал он, — уж если хотите знать умного человека, так у нас, действительно, есть один, о котором, точно, можно сказать: «умный человек», которого я и подметки не стою.

— Кто это? — с изумленьем спросил Чичиков.

— Это наш откупщик Муразов.

— В другой уже раз про него слышу! — вскрикнул Чичиков.

— Это человек, который не то что именьем помещика, — целым государством управит. Будь

у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов.

— Слышал. Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия, десять миллионов, говорят, нажил.

— Какое десять! перевалило за сорок. Скоро половина России будет в его руках.

— Что вы говорите! — вскрикнул Чичиков, оторопев.

— Всенепременно. У него теперь приращенье должно идти с быстротой невероятной. Это ясно. Медленно богатеет только тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч; а у кого миллионы, у того радиус велик: что ни захватит, так вдвое и втрое противу самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно. Тут уж и соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену чему ни назначит, такая и останется: некому перебить.

Вытаращив глаза и разинувши рот, как вкопанный, смотрел Чичиков в глаза Костанжогло. Захватило дух в груди ему.

— Уму непостижимо! — сказал он, приходя немного в себя. — Каменеет мысль от страха. Изумляются мудрости промысла в рассматриванье букашки; для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие

громадные суммы! Позвольте предложить вам вопрос насчет одного обстоятельства; скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?

— Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами.

— Не поверю, почтеннейший, извините, не поверю. Если б это были тысячи, еще бы так, но миллионы… извините, не поверю.

— Напротив, тысячи — трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям. Прямой таки дорогой так и ступай, все бери, что ни лежит перед тобой! Другой не подымет.

— Уму непостижимо! И что всего непостижимей, это то, что дело ведь началось из копейки!

— Да иначе и не бывает. Это законный порядок вещей, — сказал Костанжогло. — Кто родился с тысячами, воспитался на тысячах, тот уже не приобретет: у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нет! Начинать нужно с начала, а не с середины. Снизу, снизу нужно начинать. Тут только узнаешь хорошо люд и быт, среди которых придется потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным

гвоздем прибита, да как перейдешь все мытарства, тогда тебя умудрит и вышколит <так>, что уж не дашь промаха ни в каком предприятье и не оборвешься. Поверьте, это правда. С начала нужно начинать, а не с середины. Кто говорит мне: «Дайте мне сто тысяч, я сейчас разбогатею», — я тому не поверю: он бьет наудачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать!

— В таком случае я разбогатею, — сказал Чичиков, — потому что начинаю почти, так сказать, с ничего.

Он разумел мертвые души.

— Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать, — сказала хозяйка, — а ты все болтаешь.

— И непременно разбогатеете, — сказал Костанжогло, не слушая хозяйки. — К вам потекут реки, реки золота. Не будете знать, куда девать доходы.

Как очарованный, сидел Павел Иванович, и в золотой области возрастающих грез и мечтаний закружилися его мысли.

— Право, Константин, Павлу Ивановичу пора спать.

— Да что ж тебе? Ну, и ступай, если захотелось! — сказал хозяин и остановился: громко, по

всей комнате раздалось храпенье Платонова, а вслед за ним Ярб захрапел еще громче. Уже давно слышался отдаленный стук в чугунные доски. Дело потянуло за полночь. Костанжогло заметил, что в самом деле пора на покой. Все разбрелись, пожелав спокойного сна друг другу, и не замедлили им воспользоваться.

Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, как сделаться помещиком, подобным Костанжогло. После разговора с хозяином все становилося так ясно; возможность разбогатеть казалась так очевидной. Трудное дело хозяйства становилось теперь так легко и понятно и так казалось свойственно самой его натуре, что начал помышлять он сурьезно о приобретении не воображаемого, но действительного поместья; он определил тут же на деньги, которые будут выданы ему из ломбарда за фантастические души, приобресть поместье уже не фантастическое. Уже он видел себя действующим и правящим именно так, как поучал Костанжогло, — расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь всего старого, все высмотревши собственными глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя оттолкнувши, отдавши себя только труду

да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведется стройный порядок и бойким ходом двигнутся все пружины хозяйства, деятельно толкая друг друга. Труд закипит, и, подобно тому <как> в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдет вымалываться изо всякого дрязгу и хламу чистоган да чистоган. Чудный хозяин так и стоял перед ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, к которому почувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки! Собственно за ум он не уважал еще ни одного человека. Костанжогло был первый. Чичиков понял и то, что с этаким нечего толковать о мертвых душах и самая речь об этом будет неуместна. Его занимал теперь другой прожект — купить именье Хлобуева. Десять тысяч у него было: другие десять тысяч предполагал он призанять у Костанжогло, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому, желающему разбогатеть и заняться хозяйством. Остальные десять тысяч можно было обязаться потом, по заложении душ. Заложить все накупленные души еще нельзя было, потому что не было еще земель, на которые следовало переселить их. Хотя <уверял>

он, что в Херсонской губернии есть у него земли, но они существовали больше в предположенье. Предполагалось еще и скупить их в Херсонской губернии, потому что они там продавались за бесценок и даже отдавались даром, лишь бы только на них селились. Думал он также и о том, что надобно торопиться закупать, у кого какие еще находятся беглецы и мертвецы, ибо помещики друг перед другом спешат закладывать имения и скоро во всей России может не остаться и угла, не заложенного в казну. Все эти мысли попеременно наполняли его голову и мешали сну. Наконец сон, который уже целые четыре часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял наконец и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.

Глава четвертая

На другой день все обделалось как нельзя лучше. Костанжогло дал с радостью десять тысяч без процентов, без поручительства — просто под одну расписку. Так был он готов помогать всякому на пути к приобретенью. Этого мало: он сам взялся сопровождать Чичикова к Хлобуеву, с тем чтобы осмотреть вместе с ним имение. После сытного завтрака все они отправились, севши

все трое в коляску Павла Ивановича; пролетки хозяина следовали порожняком за ними. Ярб бежал впереди, сгоняя с дороги птиц. В полтора часа с небольшим сделали они восемнадцать верст и увидели деревушку с двумя домами. Один большой и новый, недостроенный и остававшийся вчерне несколько лет, другой маленький и старенький. Хозяина нашли они растрепанного, заспанного, недавно проснувшегося; на сюртуке у него была заплата, а на сапоге дырка.

Приезду гостей он обрадовался, как бог весть чему. Точно как бы увидел он братьев, с которыми надолго расстался.

— Константин Федорович! Платон Михайлович! — вскрикнул он. — Отцы родные! вот одолжили приездом! Дайте протереть глаза! Я уж, право, думал, что ко мне никто не заедет. Всяк бегает меня, как чумы: думает — попрошу взаймы. Ох, трудно, трудно, Константин Федорович! Вижу — сам всему виной! Что делать? свинья свиньей зажил. Извините, господа, что принимаю вас в таком наряде: сапоги, как видите, с дырами. Да чем вас потчевать, скажите?

— Пожалуйста, без околичностей. Мы к вам приехали за делом, — сказал Костанжогло. — Вот вам покупщик, Павел Иванович Чичиков.

— Душевно рад познакомиться. Дайте прижать мне вашу руку.

Чичиков дал ему обе.

— Хотел бы очень, почтеннейший Павел Иванович, показать вам имение, стоящее внимания… Да что, господа, позвольте спросить, вы обедали?

— Обедали, обедали, — сказал Костанжогло, желая отделаться. — Не будем и мешкать и пойдем теперь же.

— В таком случае пойдем.

Хлобуев взял в руки картуз. Гости надели на головы картузы, и все отправились пешком осматривать деревню.

— Пойдем осматривать беспорядки и беспутство мое, — говорил Хлобуев. — Конечно, вы сделали хорошо, что пообедали. Поверите ли, Константин Федорович, курицы нет в доме, — до того дожил. Свиньей себя веду, просто свиньей!

Он, глубоко вздохнув и как бы чувствуя, что мало будет участия со стороны Константина Федоровича и жестковато его сердце, подхватил под руку Платонова и пошел с ним вперед, прижимая крепко его к груди своей. Костанжогло и Чичиков остались позади и, взявшись под руки, следовали за ними в отдалении.

— Трудно, Платон Михалыч, трудно! — говорил

Хлобуев Платонову. — Не можете вообразить, как трудно! Безденежье, бесхлебье, бессапожье! Трын-трава бы это было все, если бы был молод и один. Но когда все эти невзгоды станут тебя ломать под старость, а под боком жена, пятеро детей, — сгрустнется, поневоле сгрустнется…

Платонову стало жалко.

— Ну, а если вы продадите деревню, это вас поправит? — спросил он.

— Какое поправит! — сказал Хлобуев, махнувши рукой. — Все пойдет на уплату необходимейших долгов, а затем для себя не останется и тысячи.

— Так что ж вы будете делать?

— А бог знает, — говорил Хлобуев, пожимая плечами.

Платонов удивился.

— Как же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться из таких обстоятельств?

— Что ж предпринять?

— Будто нет уже средств?

— Никаких.

— Ну, ищите должности, возьмите какое-нибудь место.

— Ведь я губернский секретарь. Какое ж мне могут дать выгодное место? Жалованье дадут

ничтожное, а ведь у меня жена, пятеро детей.

— Ну, частную какую-нибудь должность. Пойдите в управляющие.

— Да кто ж мне поверит имение! я промотал свое.

— Ну, да если голод и смерть грозят, нужно же что-нибудь предпринимать. Я спрошу, не может ли брат мой через кого-либо в городе выхлопотать какую-нибудь должность.

— Нет, Платон Михайлович, — сказал Хлобуев, вздохнувши и сжавши крепко его руку, — не гожусь я теперь никуды. Одряхлел прежде старости своей, и поясница болит от прежних грехов, и ревматизм в плече. Куды мне! Что разорять казну! И без того теперь завелось много служащих ради доходных мест. Храни бог, чтобы из-за меня, из-за доставки мне жалованья прибавлены были подати на бедное сословие: и без того ему трудно при этом множестве сосущих. Нет, Платон Михайлович, бог с ним.

«Вот положение! — думал Платонов. — Это хуже моей спячки».

Тем временем Костанжогло и Чичиков, идя позади их на порядочном расстоянии, так между собою говорили:

— Вон запустил как все! — говорил Костанжог-

ло, указывая пальцем. — Довел мужика до какой бедности! Когда случился падеж, так уж тут нечего глядеть на свое добро. Тут все свое продай, да снабди мужика скотиной, чтобы он не оставался и одного дни без средств производить работу. А ведь теперь и годами не поправишь: и мужик уже изленился, и загулял, и стал пьяница.

— Так, стало быть, теперь не совсем выгодно и покупать эдакое имение? — спросил Чичиков.

Тут Костанжогло взглянул на него так, как бы хотел ему сказать: «Ты что за невежа! С азбуки, что ли, нужно с тобой начинать?»

— Невыгодно! да через три года я буду получать двадцать тысяч годового дохода с этого именья. Вот оно как невыгодно! В пятнадцати верстах. Безделица! А земля-то какова? разглядите землю! Всё поемные места. Да я засею льну, да тысяч на пять одного льну отпущу; репой засею — на репе выручу тысячи четыре. А вон смотрите — по косогору рожь поднялась; ведь это все падаль. Он хлеба не сеял — я это знаю. Да этому именью полтораста тысяч, а не сорок.

Чичиков стал опасаться, чтобы Хлобуев не услышал, и потому отстал еще подальше.

— Вон сколько земли оставил впусте! — говорил, начиная сердиться, Костанжогло. — Хоть бы

повестил вперед, так набрели бы охотники. Ну, уж если нечем пахать, так копай под огород. Огородом бы взял. Мужика заставил пробыть четыре года без труда. Безделица! Да ведь этим одним ты уже его развратил и навеки погубил. Уж он успел привыкнуть к лохмотью и бродяжничеству! Это стало уже жизнью его. — И, сказавши это, плюнул Костанжогло, и желчное расположение осенило сумрачным облаком его чело…

— Я не могу здесь больше оставаться: мне смерть глядеть на этот беспорядок и запустенье! Вы теперь можете с ним покончить и без меня. Отберите у этого дурака поскорее сокровище. Он только бесчестит Божий дар!

И, сказавши это, Костанжогло простился с Чичиковым и, нагнавши хозяина, стал также прощаться.

— Помилуйте, Константин Федорович, — говорил удивленный хозяин, — только что приехали — и назад!

— Не могу. Мне крайняя надобность быть дома, — сказал Костанжогло, простился, сел и уехал на своих пролетках.

Казалось, как будто Хлобуев понял причину его отъезда.

— Не выдержал Константин Федорович, — ска-

зал он. — Чувствую, что не весело такому хозяину, каков он, глядеть на эдакое беспутное управленье. Верите ли, что не могу, не могу, Павел Иванович… что почти вовсе не сеял хлеба в этом году! Как честный человек. Семян не было, не говоря уже о том, что нечем пахать. Ваш братец, Платон Михайлыч, говорят, необыкновенный хозяин; о Константине Федоровиче что уж говорить — это Наполеон своего рода. Часто, право, думаю: «Ну, зачем столько ума дается в одну голову? ну, что бы хоть каплю его в мою глупую, хоть бы на то, чтобы сумел дом свой держать! Ничего не умею, ничего не могу». Ах, Павел Иванович, <возьмите> в свое распоряжение! Жаль больше всего мне мужичков бедных. Чувствую, что не умел быть…[244] что прикажете делать, не могу быть взыскательным и строгим. Да и как мог приучить их к порядку, когда сам беспорядочен! Я бы их отпустил сейчас же на волю, да как-то устроен русский человек, как-то не может без понукателя… Так и задремлет, так и заплеснет.

— Ведь это, точно, странно, — сказал Платонов, — отчего это у нас так, что если не смотришь во все глаза за простым человеком, сделается и

[244] Примечания: 244
Одно слово в рукописи не прочтено.

пьяницей и негодяем?

— От недостатка просвещения, — заметил Чичиков.

— Ну, бог весть отчего. Вот мы и просветились, а ведь как живем? Я и в университете был, и слушал лекции по всем частям, а искусству и порядку жить не только не выучился, а еще как бы больше выучился искусству побольше издерживать деньги на всякие новые утонченности да комфорты, больше познакомился с такими предметами, на которые нужны деньги. Оттого ли, что я бестолково учился? Только нет: ведь так и другие товарищи. Может быть, два-три человека извлекли себе настоящую пользу, да и то оттого, может, что и без того были умны, а прочие ведь только и стараются узнать то, что портит здоровье, да и выманивает деньги. Ей-богу! Ведь учиться приходили только затем, чтобы аплодировать профессорам, раздавать им награды, а не самим от них получать. Так из просвещенья-то мы все-таки выберем то, что погаже; наружность его схватим, а его самого <не> возьмем. Нет, Павел Иванович, не умеем мы жить отчего-то другого, а отчего, ей-богу, я не знаю.

— Причины должны быть, — сказал Чичиков.

Вздохнул глубоко бедный Хлобуев и сказал

так:

— Иной раз, право, мне кажется, что будто русский человек — какой-то пропащий человек. Нет силы воли, нет отваги на постоянство. Хочешь все сделать — и ничего не можешь. Все думаешь — с завтрашнего дни начнешь новую жизнь, с завтрашнего дни примешься за все как следует, с завтрашнего дни сядешь на диету, — ничуть не бывало: к вечеру того же дни так объешься, что только хлопаешь глазами и язык не ворочается, как сова, сидишь, глядя на всех, — право и эдак все.

— Нужно в запасе держать благоразумие, — сказал Чичиков, — ежеминутно совещаться с благоразумием, вести с ним дружескую беседу.

— Да что! — сказал Хлобуев. — Право, мне кажется, мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живет, собирает и копит деньгу, — не верю я и тому! На старости и его черт попутает — спустит потом всё вдруг! И все у нас так: и благородные, и мужики, и просвещенные, и непросвещенные. Вон какой был умный мужик: из ничего нажил сто тысяч, а как нажил сто тысяч, пришла в голову дурь сделать ванну из шампанского, и

выкупался в шампанском. Но вот мы, кажется, и все обсмотрели. Больше ничего нет. Хотите разве взглянуть на мельницу? Впрочем, в ней нет колеса, да и строенье никуда не годится.

— Что ж и рассматривать ее! — сказал Чичиков.

— В таком случае пойдем домой. — И они все направили шаги к дому.

На возвратном пути были виды те же. Неопрятный беспорядок так и выказывал отовсюду безобразную свою наружность. Все было опущено и запущено. Прибавилась только новая лужа посреди улицы. Сердитая баба, в замасленной дерюге, прибила до полусмерти бедную девчонку и ругала на все бока всех чертей. Поодаль два мужика глядели с равнодушием стоическим на гнев пьяной бабы. Один чесал у себя пониже спины, другой зевал. Зевота видна была на строениях. Крыши тоже зевали. Платонов, глядя на них, зевнул. «Мое-то будущее достоянье — мужики, — подумал Чичиков, — дыра на дыре и заплата на заплате!» И точно, на одной избе, вместо крыши, лежали целиком ворота; провалившиеся окна подперты были жердями, стащенными с господского амбара. Словом, в хозяйство введена была, кажется, система Тришкина кафтана: отрезыва-

лись обшлага и фалды на заплату локтей.

Они вошли в комнаты. Чичикова несколько поразило смешение нищеты с некоторыми блестящими безделушками позднейшей роскоши. Посреди изорванной утвари и мебели — новенькие бронзы. Какой-то Шекспир сидел на чернильнице; на столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почесыванья себе самому спины. Хлобуев отрекомендовал им хозяйку жену. Она была хоть куда. В Москве не ударила бы лицом в <грязь>. Платье на ней было со вкусом, по моде. Говорить любила больше о городе да о театре, который там завелся. По всему было видно, что деревню она любила еще меньше, чем муж, и что зевала она больше Платонова, когда оставалась одна. Скоро комната наполнилась детьми, девочками и мальчиками. Их было пятеро. Шестое принеслось на руках. Все были прекрасны. Мальчики и девочки — загляденье. Они были одеты мило и со вкусом, были резвы и веселы. И от этого было еще грустнее глядеть на них. Лучше бы одеты они были дурно, в простых пестрядевых юбках и рубашках, бегали себе по двору и ничем не отличались от простых крестьянских детей! К хозяйке приехала гостья. Дамы ушли на свою половину. Дети убежали вслед за ними. Мужчины

остались одни.

Чичиков приступил к покупке. По обычаю всех покупщиков, сначала он охаял покупаемое имение. И, охаявши его со всех сторон, сказал:

— Какая же будет ваша цена?

— Видите ли что? — сказал Хлобуев. — Запрашивать с вас дорого не буду, да и не люблю: это было бы с моей стороны и бессовестно. Я от вас не скрою также и того, что в деревне моей из ста душ, числящихся по ревизии, и пятидесяти нет налицо: прочие или померли от эпидемической болезни, или отлучились беспаспортно, так что вы почитайте их как бы умершими. Поэтому-то я и прошу с вас всего только тридцать тысяч.

— Ну вот — тридцать тысяч! Именье запущено, люди мертвы, и тридцать тысяч! Возьмите двадцать пять тысяч.

— Павел Иванович! Я могу его заложить в ломбард в двадцать пять тысяч, понимаете ли это? Тогда я получаю двадцать пять тысяч и имение при мне. Продаю я единственно затем, что мне нужны скоро деньги, а при закладке была бы проволочка, надобно бы платить приказным, а платить нечем.

— Ну, да все-таки возьмите двадцать пять тысяч.

Платонову сделалось совестно за Чичикова.

— Покупайте, Павел Иванович, — сказал он. — За именье можно всегда дать эту <цену>. Если вы не дадите за него тридцать тысяч, мы с братом складываемся и покупаем.

Чичиков испугался…

— Хорошо! — сказал он. — Даю тридцать тысяч. Вот две тысячи задатку дам вам теперь, восемь тысяч через неделю, а остальные двадцать тысяч через месяц.

— Нет, Павел Иванович, только на том условии, чтобы деньги как можно скорее. Теперь вы мне дайте пятнадцать тысяч, по крайней мере, а остальные никак не дальше, как через две недели.

— Да нет пятнадцати тысяч! Десять у меня всего теперь. Дайте соберу.

То есть Чичиков лгал: у него было двадцать тысяч.

— Нет, пожалуйста, Павел Иванович! я говорю, что необходимо мне нужны пятнадцать тысяч.

— Да, право, недостает пяти тысяч. Не знаю сам откуда взять.

— Я вам займу, — подхватил Платонов.

— Разве эдак! — сказал Чичиков и подумал про себя: «А это, однако же, кстати, что он дает

взаймы: в таком случае завтра можно будет привезти». Из коляски была принесена шкатулка, и тут же было из нее вынуто десять тысяч Хлобуеву; остальные же пять тысяч обещано было привезти ему завтра: то есть обещано; предполагалось же привезти три; другие потом, денька через два или три, а если можно, то и еще несколько просрочить. Павел Иванович как-то особенно не любил выпускать из рук денег. Если ж настояла крайняя необходимость, то все-таки казалось ему, лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То есть он поступал как все мы! Ведь нам приятно же поводить просителя. Пусть его натрет себе спину в передней! Будто уж и нельзя подождать ему! Какое нам дело до того, что, может быть, всякий час ему дорог и терпят оттого дела его! «Приходи, братец, завтра, а сегодня мне как-то некогда».

— Где ж вы после этого будете жить? — спросил Платонов Хлобуева. — Есть у вас другая деревушка?

— Деревушки нет, а я перееду в город. Все же равно это было нужно сделать не для себя, а для детей. Им нужны будут учителя закону божию, музыке, танцеванью. Ведь в деревне нельзя достать.

«Куска хлеба нет, а детей хочет учить танцева-

нью!» — подумал Чичиков.

«Странно!» — подумал Платонов.

— Что ж, нужно нам чем-нибудь вспрыснуть сделку, — сказал Хлобуев. — Эй, Кирюшка, принеси, брат, бутылку шампанского.

«Куска хлеба нет, а шампанское есть!» — подумал Чичиков.

Платонов не знал, что и думать.

Шампанское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуев развязался, стал умен и мил. Остроты и анекдоты сыпались у него беспрерывно. В речах его оказалось столько познанья людей и света! Так хорошо и верно видел он многие вещи, так метко и ловко очерчивал в немногих словах соседей помещиков, так видел ясно недостатки и ошибки всех, так хорошо знал историю разорившихся бар — и почему, и как, и отчего они разорились, так оригинально и метко умел передавать малейшие их привычки, что они оба были совершенно обворожены его речами и готовы были признать его за умнейшего человека.

— Послушайте, — сказал Платонов, схвативши его за руку, — как вам, при таком уме, опытности и познаниях житейских, не найти средств выпутаться из вашего затруднительного положения?

— Средства-то есть, — сказал Хлобуев и вслед за тем выгрузил им целую кучу прожектов. Все они были до того нелепы, так странны, так мало истекали из познанья людей и света, что оставалось только пожимать плечами да говорить: «Господи боже! какое необъятное расстояние между *знаньем света* и уменьем пользоваться этим знаньем!» Почти все прожекты основывались на потребности вдруг достать откуда-нибудь сто или двести тысяч. Тогда, казалось ему, все бы устроилось как следует, и хозяйство бы пошло, и прорехи все бы заплатались, и доходы можно учетверить, и себя привести в возможность выплатить все долги. И оканчивал он речь свою: — Но что прикажете делать? Нет да и нет такого благодетеля, который бы решился дать двести или хоть сто тысяч взаймы! Видно, уж Бог не хочет.

«Еще бы, — подумал Чичиков, — эдакому дураку послал Бог двести тысяч!»

— Есть у меня, пожалуй, трехмиллионная тетушка, — сказал Хлобуев, — старушка богомольная: на церкви и монастыри дает, но помогать ближнему тугенька. А старушка очень замечательная. Прежних времен тетушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней одних канареек сотни четыре. Моськи, и приживалки, и слуги, каких уж

теперь нет. Меньшому из слуг будет лет шестьдесят, хоть она и зовет его: «Эй, малый!» Если гость как-нибудь себя не так поведет, так она за обедом прикажет обнести его блюдом. И обнесут, право.

Платонов усмехнулся.

— А как ее фамилия и где она проживает? — спросил Чичиков.

— Живет она у нас же в городе — Александра Ивановна Ханасарова.

— Отчего ж вы не обратитесь к ней? — сказал с участьем Платонов. — Мне кажется, если бы она только поближе вошла в положенье вашего семейства, она бы не в силах была отказать вам, как бы ни была туга.

— Ну нет, в силах! У тетушки натура крепковата. Это старушка — кремень, Платон Михайлыч! Да к тому ж есть и без меня угодники, которые около нее увиваются. Там есть один, который метит в губернаторы, приплелся ей в родню… бог с ним! может быть, и успеет! Бог с ними со всеми! Я подъезжать и прежде не умел, а теперь и подавно: спина уж не гнется.

«Дурак! — подумал Чичиков. — Да я бы за этакой тетушкой ухаживал, как нянька за ребенком!»

— Что ж, ведь этак разговаривать сухо, — сказал

Хлобуев. — Эй, Кирюшка! принеси-ка еще другую бутылку шампанского.

— Нет, нет, я больше не буду пить, — сказал Платонов.

— Я также, — сказал Чичиков. И оба отказались они решительно.

— Ну, так, по крайней мере, дайте мне слово побывать у меня в городе: восьмого июня я даю обед нашим городским сановникам.

— Помилуйте! — воскликнул Платонов. — В таком состоянии, разорившись совершенно, — и еще обед?

— Что же делать? нельзя. Это долг, — сказал Хлобуев. — Они меня также угощали.

«Что с ним делать?» — подумал Платонов. Он еще не знал того, что на Руси, на Москве и других городах, водятся такие мудрецы, которых жизнь — необъяснимая загадка. Все, кажется, прожил, кругом в долгах, ниоткуда никаких средств, и обед, который задается, кажется, последний; и думают обедающие, что завтра же хозяина потащут в тюрьму. Проходит после того десять лет — мудрец все еще держится на свете, еще больше прежнего кругом в долгах и так же задает обед, и все думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащат хозяина в

тюрьму. Такой же мудрец был Хлобуев. Только на одной Руси можно было существовать таким образом. Не имея ничего, он угощал и хлебосольничал, и даже оказывал покровительство, поощрял всяких артистов, приезжавших в город, давал им у себя приют и квартиру. Если <бы> кто заглянул в дом его, находившийся в городе, он бы никак не узнал, кто в нем хозяин. Сегодня поп в ризе служил там молебен, завтра давали репетицию французские актеры. В иной день какой-нибудь, не известный никому почти в дому, поселялся в самой гостиной с бумагами и заводил там кабинет, и это не смущало, не беспокоило никого в доме, как бы было житейское дело. Иногда по целым дням не бывало крохи в доме, иногда же задавали в нем такой обед, который удовлетворил бы вкусу утонченнейшего гастронома. Хозяин являлся праздничный, веселый, с осанкой богатого барина, с походкой человека, которого жизнь протекает в избытке и довольстве. Зато временами бывали такие тяжелые минуты, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился. Но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутною его жизнью. В эти горькие, тяжелые минуты развертывал он книгу

и читал жития страдальцев и тружеников, воспитывавших дух свой быть превыше страданий и несчастий. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух и слезами исполнялись глаза его. И — странное дело! — почти всегда приходила к нему в то время откуда-нибудь неожиданная помощь. Или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги; или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю, с стремительным великодушьем женского сердца присылала ему богатую подачу; или выигрывалось где-нибудь в пользу его дело, о котором он никогда и не слышал. Благоговейно, благодарно признавал он тогда необъятное милосердье провиденья, служил благодарственный молебен и — вновь начинал беспутную жизнь свою.

— Жалок он мне, право, жалок! — сказал Чичикову Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него.

— Блудный сын! — сказал Чичиков. — О таких людях и жалеть нечего.

И скоро они оба перестали о нем думать: Платонов — потому, что лениво и полусонно смотрел на положенья людей, так же как и на все в мире. Сердце его сострадало и щемило при виде

страданий других, но впечатленья как-то не впечатлевались глубоко в его душе. Он потому не думал о Хлобуеве, что и о себе самом не думал. Чичиков потому не думал о Хлобуеве, что все мысли были заняты приобретенною покупкою. Он исчислял, рассчитывал и соображал все выгоды купленного имения. И как ни рассматривал, на какую сторону ни оборачивал дело, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Можно было поступить и так, чтобы заложить именье в ломбард. Можно было поступить и так, чтобы заложить одних только мертвецов и беглых. Можно было поступить и так, чтобы прежде выпродать по частям все лучшие земли, а потом уже заложить в ломбард. Можно было распорядиться и так, чтобы заняться самому хозяйством и сделаться помещиком, по образцу Костанжогла, пользуясь его советами, как соседа и благодетеля. Можно было поступить даже и так, чтобы перепродать в частные <руки> имение (разумеется, если не захочется самому хозяйничать), оставивши при себе беглых и мертвецов. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогле денег, взятых у него взаймы. Словом, всячески, как ни оборачивал он это дело, видел,

что во всяком случае покупка была выгодна. Он почувствовал удовольствие, — удовольствие оттого, что стал теперь помещиком, помещиком не фантастическим, но действительным, помещиком, у которого есть уже и земли, и угодья, и люди — люди не мечтательные, не в воображенье пребываемые, но существующие. И понемногу начал он и подпрыгивать, и потирать себе руки, и подпевать, и приговаривать, и вытрубил на кулаке, приставивши его себе ко рту, как бы на трубе, какой-то марш, и даже выговорил вслух несколько поощрительных слов и названий себе самому, вроде мордашки и каплунчика. Но потом, вспомнивши, что он не один, притихнул вдруг, постарался кое-как замять неумеренный порыв восторгновенья, и когда Платонов, принявши кое-какие из этих звуков за обращенную к нему речь, спросил у него: «Чего?» — он отвечал: «Ничего».

Тут только, оглянувшись вокруг себя, он заметил, что они ехали прекрасною рощей; миловидная березовая ограда тянулась у них справа и слева. Между дерев мелькала белая каменная церковь. В конце улицы показался господин, шедший к ним навстречу, в картузе, с суковатой палкой в руке. Облизанный аглицкий пес на

высоких ножках бежал перед ним.

— Стой! — сказал Платонов кучеру и выскочил из коляски.

Чичиков вышел вслед за ним также из коляски. Они пошли пешком навстречу господину. Ярб уже успел облобызаться с аглицким псом, с которым, как видно, был знаком уже давно, потому что принял равнодушно в свою толстую морду живое лобызанье Азора (так назывался аглицкий пес). Проворный пес, именем Азор, облобызавши Ярба, подбежал к Платонову, лизнул проворным языком ему руки, вскочил на грудь Чичикова с намереньем лизнуть его в губы, но не достал и, оттолкнутый им, побежал снова к Платонову, пробуя лизнуть его хоть в ухо.

Платон и господин, шедший навстречу, в это время сошлись и обнялись.

— Помилуй, брат Платон! что это ты со мною делаешь? — живо спросил господин.

— Как что? — равнодушно отвечал Платонов.

— Да как же в самом деле: три дни от тебя ни слуху ни духу! Конюх от Петуха привел твоего жеребца. «Поехал, говорит, с каким-то барином». Ну, хоть бы слово сказал: куды, зачем, на сколько времени? Помилуй, братец, как же можно этак поступать? А я бог знает чего не передумал в

эти дни!

— Ну что ж делать? позабыл, — сказал Платонов. — Мы заехали к Константину Федоровичу… Он тебе кланяется, сестра также. Рекомендую тебе Павла Ивановича Чичикова. Павел Иванович, — брат Василий. Прошу полюбить его так же, как и меня.

Брат Василий и Чичиков, снявши картузы, поцеловались.

«Кто бы такой был этот Чичиков? — думал брат Василий. — Брат Платон на знакомства неразборчив и, верно, не узнал, что он за человек». И оглянул он Чичикова, насколько позволяло приличие, и увидел, что он стоял, несколько наклонивши голову и сохранив приятное выраженье в лице.

Со своей стороны Чичиков оглянул также, насколько позволяло приличие, брата Василия. Он был ростом пониже Платона, волосом темней его и лицом далеко не так красив; но в чертах его лица было много жизни и одушевленья. Видно было, что он не пребывал в дремоте и спячке.

— Знаешь ли, Василий, что я придумал? — сказал брат Платон.

— Что? — спросил Василий.

— Проездиться по святой Руси, вот именно с

Павлом Ивановичем: авось-либо это размычет и растеребит хандру мою.

— Как же так вдруг решился?.. — начал было говорить Василий, озадаченный не на шутку таким решеньем, и чуть было не прибавил: «И еще замыслил ехать с человеком, которого видишь в первый раз, который, может быть, и дрянь, и черт знает что!» И, полный недоверия, стал он рассматривать искоса Чичикова и увидел, что он держался необыкновенно прилично, сохраняя все то же приятное наклоненье головы несколько набок и почтительно-приветное выражение в лице, так что никак нельзя было узнать, какого роду был Чичиков.

В молчанье они пошли все трое по дороге, по левую руку которой находилась мелькавшая промеж дерев белая каменная церковь, по правую — начинавшие показываться, также промеж дерев, строенья господского двора. Наконец показались и ворота. Они вступили на двор, где был старинный господский дом под высокой крышей. Две огромные липы, росшие посреди двора, покрывали почти половину его своею тенью. Сквозь опущенные вниз развесистые их ветви едва сквозили стены дома, находившегося позади их. Под липами стояло несколько длинных скаме-

ек. Брат Василий пригласил Чичикова садиться. Чичиков сел, и Платонов сел. По всему двору разливалось благоуханье цветущих сиреней и черемух, которые, нависши отовсюду из саду в двор через миловидную березовую ограду, кругом его обходившую, казалися цветущею цепью или бисерным ожерельем, его короновавшим.

Ухватливый и ловкий детина лет семнадцати, в красивой рубашке розовой ксандрейки, принес и поставил перед ними графины с водой и разноцветными квасами всех сортов, шипевшими, как газовые лимонады. Поставивши пред ними графины, он подошел к дереву и, взявши прислоненный к нему заступ, отправился в сад. У братьев Платоновых вся дворня работала в саду, все слуги были садовники, или лучше сказать, слуг не было, но садовники исправляли иногда эту должность. Брат Василий все утверждал, что без слуг можно обойтись. Подать что-нибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особого сословья; что будто русский человек по тех пор только хорош, и расторопен, и красив, и развязен, и много работает, покуда он ходит в рубашке и зипуне, но что, как только заберется в немецкий сертук — станет и неуклюж, и некрасив, и нерасторопен, и лентяй. Он утверждал,

что и чистоплотность у него содержится по тех пор, покуда он еще носит рубашку и зипун, и что, как только заберется в немецкий сертук — и рубашки не переменяет, и в баню не ходит, и спит в сертуке, и заведутся у него под сертуком и клопы, и блохи, и черт знает что. В этом, может быть, он был и прав. В деревне их народ одевался как-то особенно щеголевато и опрятно, и таких красивых рубашек и зипунов нужно было далеко поискать.

— Не угодно ли вам прохладиться? — сказал брат Василий Чичикову, указывая на графины. — Это квасы нашей фабрики; ими издавна славится дом наш.

Чичиков налил стакан из первого графина — точно липец, который он некогда пивал в Польше: игра как у шампанского, а газ так и шибнул приятным кручком изо рта в нос.

— Нектар! — сказал Чичиков. Выпил стакан от другого графина — еще лучше.

— В какую же сторону и в какие места предполагаете преимущественно ехать? — спросил брат Василий.

— Еду я, — сказал Чичиков, потирая себе рукой по колену, в сопровожденье легкого покачиванья всего туловища и наклоняя голову набок, — не

столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо, — не говоря уже о пользе в геморроидальном отношении, — видеть свет и коловращенье людей — есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука.

Брат Василий задумался. «Говорит этот человек несколько витиевато, но в словах его есть правда, — думал <он>. — Брату моему Платону недостает познания людей, света и жизни». Несколько помолчав, сказал так вслух:

— Я начинаю думать, Платон, что путешествие может, точно, расшевелить тебя. У тебя душевная спячка. Ты просто заснул, и заснул не от пресыщения или усталости, но от недостатка живых впечатлений и ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы очень желал не так живо чувствовать и не так близко принимать к сердцу все, что ни случается.

— Вольно ж принимать все близко к сердцу! — сказал Платон. — Ты выискиваешь себе беспокойства и сам сочиняешь себе тревоги.

— Как сочинять, когда и без того на всяком шагу

неприятность? — сказал Василий. — Слышал ты, какую без тебя сыграл с нами штуку Леницын? Захватил пустошь, где у нас празднуют Красную горку.

— Не знает, потому и захватил, — сказал Платон, — человек новый, только что приехал из Петербурга. Ему нужно объяснить, растолковать.

— Знает, очень знает. Я посылал ему сказать, но он отвечал грубостью.

— Тебе нужно было съездить самому растолковать. Переговори с ним сам.

— Ну нет. Он чересчур уже заважничал. Я к нему не поеду. Поезжай, если хочешь, ты.

— Я бы поехал, но ведь я не мешаюсь. Он может меня и провести и обмануть.

— Да если угодно, так я поеду, — сказал Чичиков.

Василий взглянул на него и подумал: «Экой охотник ездить!»

— Вы мне подайте только понятие, какого рода он человек, — сказал Чичиков, — и в чем дело.

— Мне совестно наложить на вас такую неприятную комиссию, потому что одно изъяснение с таким человеком для меня уже неприятная комиссия. Надобно вам сказать, что он из простых, мелкопоместных дворян нашей губернии,

выслужился в Петербурге, вышел кое-как в люди, женившись там на чьей-то побочной дочери, и заважничал. Задает здесь тоны. Да у нас в губернии, слава богу, народ живет не глупый: мода нам не указ, а Петербург — не церковь.

— Конечно, — сказал Чичиков, — а дело в чем?

— А дело, по-настоящему, вздор. У него нет достаточно земли, — ну, он и захватил чужую пустошь, то есть он рассчитывал, что она не нужна, и о ней хозяева <забыли>, а у нас, как нарочно, уже испокон века собираются крестьяне праздновать там Красную горку. По этому-то поводу я готов пожертвовать лучше другими лучшими землями, чем отдать ее. Обычай для меня — святыня.

— Стало быть, вы готовы уступить ему другие земли?

— То есть, если бы он не так со мной поступил; но он хочет, как я вижу, знаться судом. Пожалуй, посмотрим, кто выиграет. Хоть на плане и не так ясно, но есть свидетели — старики еще живы и помнят.

«Гм! — подумал Чичиков. — Оба-то, как вижу, с душком». И сказал вслух:

— А мне кажется, что это дело обделать можно миролюбно. Все зависит от посредника. Пись-

мен...[245]

.....

...что и для вас самих будет очень выгодно перевесть, например, на мое имя всех умерших душ, какие по сказкам последней ревизии числятся в имениях ваших, так, чтобы я за них платил подати. А чтобы не подать какого соблазна, то передачу эту вы совершите посредством купчей крепости, как бы эти души были живые.

«Вот тебе на! — подумал Леницын. — Это что-то престранное». И несколько даже отодвинулся со стулом назад, потому что совершенно озадачился.

— Я никак в том не сомневаюсь, что вы на это дело совершенно будете согласны, — сказал Чичиков, — потому что это дело совершенно в том роде, как мы сейчас говорили. Совершено оно будет между солидными людьми втайне, и соблазна никому.

Что тут делать? Леницын очутился в затруднительном положении. Он никак не мог предвидеть, чтобы мнение, им незадолго изъявленное, приве-

---

[245] Примечания: 245

В рукописи отсутствуют две страницы. В первом издании второго тома «Мертвых душ» (1855) примечание: «Здесь пропуск, в котором, вероятно, содержался рассказ о том, как Чичиков отправился к помещику Леницыну».

ло его к такому быстрому осуществленью на деле. Предложение было до крайности неожиданно. Конечно, ничего вредоносного ни для кого не могло быть в этом поступке: помещики все равно заложили бы также эти души наравне с живыми, стало быть, казне убытку не может быть никакого; разница в том, что они были бы в одних руках, а тогда были бы в разных. Но тем не менее он затруднился. Он был законник и делец, и делец в хорошую сторону: неправо не решил бы он дела ни за какие подкупы. Но тут он остановился, не зная, какое имя дать этому действию — правое ли оно или неправое. Если бы кто-нибудь другой обратился к нему с таким предложением, он мог бы сказать: «Это вздор! пустяки! Я не хочу играть в куклы или дурачиться». Но гость уже так ему понравился, так они сошлись во многом насчет успехов просвещенья и наук, — как отказать? Леницын находился в презатруднительном положении.

Но в это время, точно как будто затем, чтобы помочь горю, вошла в комнату молодая курносенькая хозяйка, супруга Леницына, и бледная, и худенькая, и низенькая, и одетая со вкусом, как все петербургские дамы. За нею был вынесен мамкой на руках ребенок-первенец, плод нежной

любви недавно бракосочетавшихся супругов. Чичиков, разумеется, подошел тот же час к даме и, не говоря уже о приличном приветствии, одним приятным наклоненьем головы набок много расположил ее в свою пользу. Затем подбежал к ребенку. Тот было разревелся; но, однако же, Чичикову удалось словами: «Агу, агу, душенька!» — пощелкиваньем пальцев и сердоликовой печаткой от часов переманить его на руки к себе. Взявши его к себе на руки, начал он приподымать его кверху и тем возбудил в ребенке приятную усмешку, которая очень обрадовала обоих родителей.

Но от удовольствия ли или от чего-нибудь другого, ребенок вдруг повел себя нехорошо. Жена Леницына закричала:

— Ах, боже мой! он вам испортил весь фрак!

Чичиков посмотрел: рукав новешенького фрака был весь испорчен. «Пострел бы тебя побрал, чертенок проклятый!» — пробормотал он в сердцах про себя.

Хозяин, и хозяйка, и мамка — все побежали за одеколоном; со всех сторон принялись его вытирать.

— Ничего, ничего, совершенно ничего, — говорил Чичиков. — Может ли что-нибудь невинный

ребенок? — И в то же время думал про себя: «Да ведь как метко обделал, канальчонок проклятый!» — Золотой возраст! — сказал он, когда уже его совершенно вытерли и приятное выражение возвратилось на его лицо.

— А ведь точно, — сказал хозяин, обратившись к Чичикову, тоже с приятной улыбкой, — что может быть завидней ребяческого возраста: никаких забот, никаких мыслей о будущем…

— Состоянье, на которое можно сей же час поменяться, — сказал Чичиков.

— За глаза, — сказал Леницын.

Но, кажется, оба соврали: предложи им такой обмен, они бы тут же на попятный двор. Да и что за радость сидеть у мамки на руках да портить фраки!

Молодая хозяйка и первенец удалились с мамкой, потому что и на нем требовалось кое-что поправить: наградив Чичикова, он и себя не позабыл.

Это, по-видимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина к удовлетворению Чичикова. Как, в самом деле, отказать такому гостю, который столько ласк оказал его малютке и великодушно поплатился за то собственным фраком? Леницын думал так:

«Почему ж, в самом деле, не исполнить его просьбы, если уж такое его желание?»[246]

<Одна из последних глав>[247]

В то самое время, когда Чичиков в персидском новом халате из золотистой термаламы, развалясь на диване, торговался с заезжим контрабандистом-купцом жидовского происхождения и немецкого выговора, и перед ними уже лежали купленная штука первейшего голландского полотна на рубашки и две бумажные коробки с отличнейшим мылом первостатейнейшего свойства (это было мыло то именно, которое он некогда приобретал на радзивилловской таможне; оно имело действительно свойство сообщать нежность и белизну щекам изумительную), — в то время, когда он, как знаток, покупал эти необходимые для воспитанного человека продукты, раздался гром подъехавшей кареты, отозвавшийся легким дрожаньем комнатных окон и стен, и вошел его превосходительство

---

[246] Примечания: 246
Окончание главы в рукописи отсутствует.

[247] Примечания: 247
Из более ранней, чем остальные главы, редакции.

Алексей Иванович Леницын.

— На суд вашего превосходительства представляю: каково полотно, и каково мыло, и какова эта вчерашнего дни купленная вещица! — При этом Чичиков надел на голову ермолку, вышитую золотом и бусами, и очутился, как персидский шах, исполненный достоинства и величия.

Но его превосходительство, не отвечая на вопрос, сказал с озабоченным видом:

— Мне нужно с вами поговорить об деле.

В лице его заметно было расстройство. Почтенный купец немецкого выговора был тот же час выслан, и они остались <одни>.

— Знаете ли вы, какая неприятность? Отыскалось другое завещание старухи, сделанное назад тому пять <лет>. Половина именья отдается на монастырь, а другая — обеим воспитанницам пополам, и ничего больше никому.

Чичиков оторопел.

— Ну это завещанье — вздор. Оно ничего не значит, оно уничтожено вторым.

— Но ведь это не сказано в последнем завещании, что им уничтожается первое.

— Это само собою разумеется: последнее уничтожает первое. Первое завещанье никуда не годится. Я знаю хорошо волю покойницы. Я был

при ней. Кто его подписал? кто были свидетели?

— Засвидетельствовано оно, как следует, в суде. Свидетелем был бывший совестный судья Бурмилов и Хаванов.

«Худо, — подумал Чичиков, — Хаванов, говорят, честен; Бурмилов — старый ханжа, читает по праздникам «Апостола» в церквях».

— Но вздор, вздор, — сказал он вслух и тут же почувствовал решимость на все штуки. — Я знаю это лучше: я участвовал при последних минутах покойницы. Мне это лучше всех известно. Я готов присягнуть самолично.

Слова эти и решимость на минуту успокоили Леницына. Он был очень взволнован и уже начинал было подозревать, не было ли со стороны Чичикова какой-нибудь фабрикации относительно завещания. Теперь укорил себя в подозрении. Готовность присягнуть была явным доказательством, что Чичиков <невинен>. Не знаем мы, точно ли достало бы духу у Павла Ивановича присягнуть на святом, но сказать это достало духа.

— Будьте покойны, я переговорю об этом деле с некоторыми юрисконсультами. С вашей стороны тут ничего не должно прилагать; вы должны быть совершенно в стороне. Я же теперь могу жить в городе, сколько мне угодно.

Чичиков тот же час приказал подать экипаж и отправился к юрисконсульту. Этот юрисконсульт был опытности необыкновенной. Уже пятнадцать лет, как он находился под судом, и так умел распорядиться, что никак нельзя было отрешить от должности. Все знали его, за подвиги его следовало бы шесть раз уже послать на поселенье. Кругом и со всех сторон был он в подозрениях, но никаких нельзя было возвести явных и доказанных улик. Тут было действительно что-то таинственное, и его бы можно было смело признать колдуном, если бы история, нами описанная, принадлежала временам невежества.

Юрисконсульт поразил холодностью своего вида, замасленностью своего халата, представлявшего совершенную противуположность хорошим мебелям красного дерева, золотым часам под стеклянным колпаком, люстре, сквозившей сквозь кисейный чехол, ее сохранявший, и вообще всему, что было вокруг и носило на себе яркую печать блистательного европейского просвещения.

Не останавливаясь, однако ж, скептической наружностью юрисконсульта, Чичиков объяснил затруднительные пункты дела и в заманчивой перспективе изобразил необходимо последую-

щую благодарность за добрый совет и участие.

Юрисконсульт отвечал на это изображеньем неверности всего земного и дал тоже искусно заметить, что журавль в небе ничего не значит, а нужно синицу в руку.

Нечего делать: нужно было дать синицу в руки. Скептическая холодность философа вдруг исчезла. Оказалось, что это был наидобродушнейший человек, наиразговорчивый и наиприятнейший в разговорах, не уступавший ловкостью оборотов самому Чичикову.

— Позвольте вам вместо того, чтобы заводить длинное дело, вы, верно, не хорошо рассмотрели самое завещание: там, верно, есть какая-нибудь приписочка. Вы возьмите его на время к себе. Хотя, конечно, подобных вещей на дом брать запрещено, но если хорошенько попросить некоторых чиновников… Я с своей стороны употреблю мое участие.

«Понимаю», — подумал Чичиков и сказал:

— В самом деле, я, точно, хорошо не помню, есть ли там приписочка или нет, — точно как будто и не сам писал это завещание.

— Лучше всего вы это посмотрите. Впрочем, во всяком случае, — продолжал он весьма добродушно, — будьте всегда покойны и не смущайтесь

ничем, даже если бы и хуже что произошло. Никогда и ни в чем не отчаивайтесь: нет дела неисправимого. Смотрите на меня: я всегда покоен. Какие бы ни были возводимы на меня казусы, спокойствие мое непоколебимо.

Лицо юрисконсульта-философа пребывало действительно в необыкновенном спокойствии, так что Чичиков много…[248]

— Конечно, это первая вещь, — сказал <он>. — Но согласитесь, однако ж, что могут быть такие случаи и дела, такие дела и такие поклепы со стороны врагов, и такие затруднительные положения, что отлетит всякое спокойствие.

— Поверьте мне, это малодушие, — отвечал очень покойно и добродушно философ-юрист. — Старайтесь только, чтобы производство дела было все основано на бумагах, чтобы на словах ничего не было. И как только увидите, что дело идет к развязке и удобно к решению, старайтесь — не то чтобы оправдывать и защищать себя, — нет, просто спутать новыми вводными и так посторонними статьями.

— То есть, чтобы…

— Спутать, спутать, — и ничего больше, — от-

---

[248] Примечания: 248
Фраза в рукописи не дописана.

вечал философ, — ввести в это дело посторонние, другие обстоятельства, которые запутали <бы> сюда и других, сделать сложным — и ничего больше. И там пусть приезжий петербургский чиновник разбирает. Пусть разбирает, пусть его разбирает! — повторил он, смотря с необыкновенным удовольствием в глаза Чичикову, как смотрит учитель ученику, когда объясняет ему заманчивое место из русской грамматики.

— Да, хорошо, если подберешь такие обстоятельства, которые способны пустить в глаза мглу, — сказал Чичиков, смотря тоже с удовольствием в глаза философа, как ученик, который понял заманчивое место, объясняемое учителем.

— Подберутся обстоятельства, подберутся! Поверьте: от частого упражнения и голова сделается находчивою. Прежде всего помните, что вам будут помогать. В сложности дела выигрыш многим: и чиновников нужно больше, и жалованья им больше… Словом, втянуть в дело побольше лиц. Нет нужды, что иные напрасно попадут: да ведь им же оправдаться легко, им нужно отвечать на бумаги, им нужно о<т>купиться… Вот уж и хлеб… Поверьте мне, что, как только обстоятельства становятся критические, первое дело спутать. Так можно спутать, так все перепутать,

что никто ничего не поймет. Я почему спокоен? Потому что знаю: пусть только дела мои пойдут похуже, да я всех впутаю в свое — и губернатора, и вице-губернатора, и полицеймейстера, и казначея, — всех запутаю. Я знаю все их обстоятельства: и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочет упечь. Там, пожалуй, пусть их выпутываются, да покуда они выпутаются, другие успеют нажиться. Ведь только в мутной воде и ловятся раки. Все только ждут, чтобы запутать. — Здесь юрист-философ посмотрел Чичикову в глаза опять с тем наслажденьем, с каким учитель объясняет ученику еще заманчивейшее место из русской грамматики.

«Нет, этот человек, точно, мудрец», — подумал про себя Чичиков и расстался с юрисконсультом в наиприятнейшем и в наилучшем расположении духа.

Совершенно успокоившись и укрепившись, он с небрежною ловкостью бросился на эластические подушки коляски, приказал Селифану откинуть кузов назад (к юрисконсульту он ехал с поднятым кузовом и даже застегнутой кожей) и расположился, точь-в-точь как отставной гусарский полковник или сам Вишнепокромов — ловко подвернувши одну ножку под другую,

обратя с приятностью ко встречным лицо, сиявшее из-под шелковой новой шляпы, надвинутой несколько на ухо. Селифану было приказано держать направленье к гостиному двору. Купцы, и приезжие и туземные, стоя у дверей лавок, почтительно снимали шляпы, и Чичиков, не без достоинства, приподнимал им в ответ свою. Многие из них уже были ему знакомы; другие были хоть приезжие, но, очарованные ловким видом умеющего держать себя господина, приветствовали его, как знакомые. Ярмарка в городе Тьфуславле не прекращалась. Отошла конная и земледельческая, началась — с красными товарами для господ просвещенья высшего. Купцы, приехавшие на колесах, располагали назад не иначе возвращаться, как на санях.

— Пожалуте-с, пожалуте-с! — говорил у суконной лавки, учтиво рисуясь, с открытою головою, немецкий сюртук московского шитья, с шляпой в руке на отлете, только чуть державший двумя пальцами бритый круглый подбородок и выраженье тонкости просвещенья в лице.

Чичиков вошел в лавку.

— Покажите-ка мне, любезнейший, суконца.

Благоприятный купец тотчас приподнял вверх открывавшуюся доску с стола и, сделавши таким

образом себе проход, очутился в лавке, спиною к товару и лицом к покупателю.

Ставши спиной к товарам и лицом к покупателю, купец, с обнаженной головою и шляпой на отлете, еще раз приветствовал Чичикова. Потом надел шляпу и, приятно нагнувшись, обеими же руками упершись в стол, сказал так:

— Какого рода сукон-с? английских мануфактур или отечественной фабрикации предпочитаете?

— Отечественной фабрикации, — сказал Чичиков, — но только именно лучшего сорта, который называется аглицким.

— Каких цветов пожелаете иметь? — вопросил купец, все так <же> приятно колеблясь на двух упершихся в стол руках.

— Цветов темных, оливковых или бутылочных с искрою, приближающихся, так сказать, к бруснике, — сказал Чичиков.

— Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучше которого <нет> в обеих столицах, — говорил купец, потащившись доставать сверху штуку; бросил ее ловко на стол, разворотил с другого конца и поднес к свету. — Каков отлив-с! Самого модного, последнего вкуса!

Сукно блистало, как шелковое. Купец чутьем пронюхал, что перед ним стоит знаток сукон, и

не захотел начинать с десятирублевого.

— Порядочное, — сказал Чичиков, слегка погладивши. — Но знаете ли, почтеннейший? покажите мне сразу то, что вы напоследок показываете, да и цвету больше того… больше искрасна, чтобы искры были.

— Понимаю-с: вы истинно желаете такого цвета, какой нонче в Пе<тербурге в моду> входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства. Предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства.

— Давайте.

О цене ни слова.

Штука упала сверху. Купец ее развернул еще с большим искусством, поймал другой конец и развернул точно шелковую материю, поднес ее Чичикову так, что <тот> имел возможность не только рассмотреть его, но даже понюхать, сказавши только:

— Вот-с сукно-с! цвету наваринского дыму с пламенем.

О цене условились. Железный аршин, подобный жезлу чародея, отхватал тут же Чичикову на фрак <и> на панталоны. Сделавши ножницами нарезку, купец произвел обеими руками ловкое дранье сукна во всю его ширину, при окончанье

которого поклонился Чичикову с наиобольстительнейшею приятностью. Сукно тут же было свернуто и ловко заворочено в бумагу; сверток завертелся под легкой бечевкой. Чичиков хотел было лезть в карман, но почувствовал, <что> поясницу его приятно окружает чья-то весьма деликатная рука, и уши его услышали:

— Что вы здесь покупаете, почтеннейший?

— А, приятнейше неожиданная встреча! — сказал Чичиков.

— Приятное столкновенье, — сказал голос того же самого, который окружил его поясницу. Это был Вишнепокромов. — Готовился было пройти лавку без вниманья, вдруг вижу знакомое лицо — как отказаться от приятного удовольствия! Нечего сказать, сукна в этом году несравненно лучше. Ведь это стыд, срам! Я никак не мог было отыскать… Я готов тридцать рублей, сорок рублей… возьми пятьдесят даже, но дай хорошего. По мне, или иметь вещь, которая бы, точно, была уже отличнейшая, или уж лучше вовсе не иметь. Не так ли?

— Совершенно так! — сказал Чичиков. — Зачем же трудиться, как не затем, чтобы, точно, иметь хорошую вещь?

— Покажите мне сукна средних цен, — раздался

позади голос, показавшийся Чичикову знакомым. Он оборотился: это был Хлобуев. По всему видно было, что он покупал сукно не для прихоти, потому что сертучок был больно протерт.

— Ах, Павел Иванович! позвольте мне с вами наконец поговорить. Вас нигде не встретишь. Я был несколько раз — все вас нет и нет.

— Почтеннейший, я так был занят, что, ей-ей, нет времени. — Он поглядел по сторонам, как бы от объясненья улизнуть, и увидел входящего в лавку Муразова. — Афанасий Васильевич! Ах, боже мой! — сказал Чичиков. — Вот приятное столкновение!

И вслед за ним повторил Вишнепокромов:

— Афанасий Васильевич!

<Хлобуев> повторил:

— Афанасий Васильевич!

И, наконец, благовоспитанный купец, отнеся шляпу от головы настолько, сколько могла рука, и весь подавшись вперед, произнес:

— Афанасию Васильевичу наше нижайшее почтенье!

На лицах напечатлелась та собачья услужливость, какую оказывает миллионщикам собачье отродье людей.

Старик раскланялся со всеми и обратился пря-

мо к Хлобуеву:

— Извините меня: я, увидевши издали, как вы вошли в лавку, решился вас побеспокоить. Если вам будет после свободно и по дороге мимо моего дома, так сделайте милость, зайдите на малость времени. Мне с вами нужно будет переговорить.

Хлобуев сказал:

— Очень хорошо, Афанасий Васильевич.

— Какая прекрасная погода у нас, Афанасий Васильевич, — сказал Чичиков.

— Не правда ли, Афанасий Васильевич, — подхватил Вишнепокромов, — ведь это необыкновенно.

— Да-с, благодаря Бога недурно. Но нужно бы дождичка для посева.

— Очень, очень бы нужно, — сказал Вишнепокромов, — даже и для охоты хорошо.

— Да, дождичка бы очень не мешало, — сказал Чичиков, которому не нужно было дождика, но как уже приятно согласиться с тем, у кого миллион.

И старик, раскланявшись снова со всеми, вышел.

— У меня просто голова кружится, — сказал Чичиков, — как подумаешь, что у этого человека десять миллионов. Это просто даже невероятно.

— Противузаконная, однако ж, вещь, — сказал Вишнепокромов, — капиталы не должны быть в одних <руках>. Это теперь предмет трактатов во всей Европе. Имеешь деньги, — ну, сообщай другим: угощай, давай балы, производи благодетельную роскошь, которая дает хлеб мастерам, ремесленникам.

— Это я не могу понять, — сказал Чичиков. — Десять миллионов — и живет как простой мужик! Ведь это с десятью мильонами черт знает что можно сделать. Ведь это можно так завести, что и общества другого у тебя не будет, как генералы да князья.

— Да-с, — прибавил купец, — у Афанасия Васильевича при всех почтенных качествах непросветительности много. Если купец почтенный, так уж он не купец, он некоторым образом есть уже негоциант. Я уж тогда должен себе взять и ложу в театре, и дочь уж я за простого полковника — нет-с, не выдам: я за генерала, иначе я ее не выдам. Что мне полковник? Обед мне уж должен кондитер поставлять, а не то что кухарка…

— Да что говорить! помилуйте, — сказал Вишнепокромов, — с десятью миллионами чего не сделать? Дайте мне десять миллионов, — вы посмотрите, что я сделаю!

«Нет, — подумал Чичиков, — ты-то не много сделаешь толку с десятью миллионами. А вот если б мне десять миллионов, я бы, точно, кое-что сделал».

«Нет, если бы мне теперь, после этих страшных опытов, десять миллионов! — подумал Хлобуев. — Э, теперь бы я не так: опытом узнаешь цену всякой копейки». И потом, минуту подумавши, спросил себя внутренне: «Точно ли бы теперь умней распорядился?» И, махнувши рукой, прибавил: «Кой черт! я думаю, так же бы растратил, как и прежде», — и вышел из лавки, сгорая желанием знать, что объявит ему Муразов.

— Вас жду, Петр Петрович! — сказал Муразов, увидевши входящего Хлобуева. — Пожалуйста ко мне в комнатку.

И он повел Хлобуева в комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливее которой нельзя было найти и у чиновника, получающего семьсот рублей в год жалованья.

— Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? После тетушки все-таки вам досталось кое-что?

— Да как вам сказать, Афанасий Васильевич? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мне досталось всего пя<тьдесят> душ крестьян и

тридцать тысяч денег, которыми я должен был расплатиться с частью моих долгов, — и у меня вновь ровно ничего. А главное дело, что дело по этому завещанью самое нечистое. Тут, Афанасий Васильевич, завелись такие мошенничества! Я вам сейчас расскажу, и вы подивитесь, что такое делается. Этот Чичиков…

— Позвольте, Петр Петрович: прежде чем говорить об этом Чичикове, позвольте поговорить собственно о вас. Скажите мне: сколько, по вашему заключению, было бы для вас удовлетворительно и достаточно затем, чтобы совершенно выпутаться из обстоятельств?

— Мои обстоятельства трудные, — сказал Хлобуев. — Да чтобы выпутаться из обстоятельств, расплатиться совсем и быть в возможности жить самым умеренным образом, мне нужно, по крайней мере, сто тысяч, если не больше. Словом, мне это невозможно.

— Ну, если бы это у вас было, как бы вы тогда повели жизнь свою?

— Ну, я бы тогда нанял себе квартирку, занялся бы воспитанием детей, потому что мне самому не служить: я уж никуды не гожусь.

— А почему ж вы никуды не годитесь?

— Да куды ж мне, сами посудите! Мне нельзя

начинать с канцелярского писца. Вы позабыли, что у меня семейство. Мне сорок, у меня уж и поясница болит, я обленился; а должности мне поважнее не дадут; я ведь не на хорошем счету. Я признаюсь вам: я бы и сам не взял наживной должности. Я человек хоть и дрянной, и картежник, и все что хотите, но взятков брать я не стану. Мне не ужиться с Красноносовым да Самосвистовым.

— Но все, извините-с, я не могу понять, как же быть без дороги; как идти не по дороге; как ехать, когда нет земли под ногами; как плыть, когда челн не на воде? А ведь жизнь — путешествие. Извините, Петр Петрович, те господа ведь, про которых вы говорите, всё же они на какой-нибудь дороге, всё же они трудятся. Ну, положим, как-нибудь своротили, как случается со всяким грешным; да есть надежда, что опять набредут. Кто идет — нельзя, чтоб не пришел; есть надежда, что и набредет. Но как тому попасть на какую-нибудь дорогу, кто остается праздно? Ведь дорога не придет ко мне.

— Поверьте мне, Афанасий Васильевич, я чувствую совершенно справедливость <вашу>, но говорю вам, что во мне решительно погибла, умерла всякая деятельность; не вижу я, что могу

сделать какую-нибудь пользу кому-нибудь на свете. Я чувствую, что я решительно бесполезное бревно. Прежде, покамест был помоложе, так мне казалось, что все дело в деньгах, что если бы мне в руки сотни тысяч, я бы осчастливил множество: помог бы бедным художникам, завел бы библиотеки, полезные заведения, собрал бы коллекции. Я человек не без вкуса и, знаю, во многом мог бы гораздо лучше распорядиться тех наших богачей, которые все это делают бестолково. А теперь вижу, что и это суета, и в этом немного толку. Нет, Афанасий Васильевич, никуда не гожусь, ровно никуда, говорю вам. На малейшее дело не способен.

— Послушайте, Петр <Петрович>! Но ведь вы же молитесь, ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете и идете, — идете в четыре часа утра, когда никто не подымается.

— Это — другое дело, Афанасий Васильевич. Я это делаю для спасения души, потому что в убеждении, что этим хоть сколько-нибудь заглажу праздную жизнь, что как я ни дурен, но молитвы все-таки что-нибудь значат у Бога. Скажу вам, что я молюсь, — даже и без веры, но все-таки молюсь.

Слышится только, что есть господин, от которого все зависит, как лошадь и скотина, которою пашем, знает чутьем того, <кто> запрягает.

— Стало быть, вы молитесь затем, чтобы угодить тому, которому молитесь, чтобы спасти свою душу, и это дает вам силы и заставляет вас подыматься рано с постели. Поверьте, что если <бы> вы взялись за должность свою таким образом, как бы в уверенности, что служите тому, кому вы молитесь, у вас бы появилась деятельность, и вас никто из людей не в силах <был бы> охладить.

— Афанасий Васильевич! вновь скажу вам — это другое. В первом случае я вижу, что я все-таки делаю. Говорю вам, что я готов пойти в монастырь и самые тяжкие, какие на меня ни наложат, труды и подвиги я буду исполнять там. Я уверен, что не мое дело рассуждать, что взыщется <с тех>, которые заставили меня делать; там я повинуюсь и знаю, что Богу повинуюсь.

— А зачем же так вы не рассуждаете и в делах света? Ведь и в свете мы должны служить Богу, а не кому иному. Если и другому кому служим, мы потому только служим, будучи уверены, что так Бог велит, а без того мы бы и не служили. Что ж другое все способности и дары, которые розные у всякого? Ведь это орудия моленья на-

шего: то — словами, а это делом. Ведь вам же в монастырь нельзя идти: вы прикреплены к миру, у вас семейство.

Здесь Муразов замолчал. Хлобуев тоже замолчал.

— Так вы полагаете, что если бы, например, у <вас> было двести тысяч, так вы могли <бы> упрочить жизнь и повести отныне жизнь расчетливее?

— То есть, по крайней мере, я займусь тем, что можно будет сделать, — займусь воспитаньем детей, буду иметь в возможности доставить им хороших учителей.

— А сказать ли вам на это, Петр Петрович, что чрез два года будете опять кругом в долгах, как в шнурках?

Хлобуев несколько помолчал и начал с расстановкою:

— Однако ж нет, после этаких опытов…

— Да что ж опыты, — сказал Муразов. — Ведь я вас знаю. Вы человек с доброй душой: к вам придет приятель попросить взаймы — вы ему дадите; увидите бедного человека — вы захотите помочь; приятный гость придет к вам — захотите получше угостить, да и покоритесь первому доброму движенью, а расчет и позабываете. И

позвольте вам наконец сказать по искренности, что детей-то своих вы не в состоянии воспитать. Детей своих воспитать может только тот отец, который уж сам выполнил долг свой. Да и супруга ваша… она и доброй души… она совсем не так воспитана, чтобы детей воспитать. Я даже думаю — извините меня, Петр Петрович, — не во вред ли детям будет даже и быть с вами?

Хлобуев призадумался; он начал себя мысленно осматривать со всех сторон и наконец почувствовал, что Муразов был прав отчасти.

— Знаете ли, Петр Петрович? отдайте мне на руки это — детей, дела; оставьте и семью вашу, и детей: я их приберегу. Ведь обстоятельства ваши таковы, что вы в моих руках; ведь дело идет к тому, чтобы умирать с голоду. Тут уже на все нужно решаться. Знаете ли вы Ивана Потапыча?

— И очень уважаю, даже несмотря на то что он ходит в сибирке.

— Иван Потапыч был миллионщик, выдал дочерей своих за чиновников, жил как царь; а как обанкрутился — что ж делать? — пошел в приказчики. Не весело-то было ему с серебряного блюда перейти за простую миску: казалось-то, что и руки ни к чему не подымались. Теперь Иван Потапыч мог бы хлебать с серебряного блюда, да

уж не хочет. У него уж набралось бы опять, да он говорит: «Нет, Афанасий Иванович[249], служу я теперь уж не себе и <не> для себя, а потому, что Бог так <судил>. По своей воле не хочу ничего делать. Слушаю вас, потому что Бога хочу слушаться, а не людей, и так как Бог устами лучших людей только говорит. Вы умнее меня, а потому не я отвечаю, а вы». Вот что говорит Иван Потапыч; а он, если сказать по правде, в несколько раз умнее меня.

— Афанасий Васильевич! вашу власть и я готов над собою <признать>, ваш слуга и что хотите: отдаюсь вам. Но не давайте работы свыше сил: я не Потапыч и говорю вам, что ни на что доброе не гожусь.

— Не я-с, Петр Петрович, наложу-с <на> вас, а так как вы хотели бы послужить, как говорите сами, так вот богоугодное дело. Строится в одном месте церковь доброхотным дательством благочестивых людей. Денег нестает, нужен сбор. Наденьте простую сибирку… ведь вы теперь простой человек, разорившийся дворянин и тот же нищий: что ж тут чиниться? — да с книгой в руках, на простой тележке и отправляйтесь

---

[249] Примечания: 249
То есть Васильевич.

по городам и деревням. От архиерея вы получите благословенье и шнурованную книгу, да и с Богом.

Петр Петрович был изумлен этой совершенно новой должностью. Ему, все-таки дворянину некогда древнего рода, отправиться с книгой в руках просить на церковь, притом трястись на телеге! А между тем вывернуться и уклониться нельзя: дело богоугодное.

— Призадумались? — сказал Муразов. — Вы здесь две службы сослужите: одну службу Богу, а другую — мне.

— Какую же вам?

— А вот какую. Так как вы отправитесь по тем местам, где я еще не был, так вы узнаете-с на месте все: как там живут мужички, где побогаче, где терпят нужду и в каком состоянье все. Скажу вам, что мужичков люблю оттого, может быть, что я и сам из мужиков. Но дело в том, что завелось меж ними много всякой мерзости. Раскольники там и всякие-с бродяги смущают их, против властей их восстановляют, против властей и порядков, а если человек притеснен, так он легко восстает. Что ж, будто трудно подстрекнуть человека, который, точно, терпит. Да дело в том, что не снизу должна начинаться расправа. Уж тогда плохо, когда пой-

дут на кулаки: уж тут толку не будет — только ворам пожива. Вы человек умный, вы рассмотрите, узнаете, где действительно терпит человек от других, а где от собственного неспокойного нрава, да и расскажете мне потом все это. Я вам на всякий случай небольшую сумму дам на раздачу тем, которые уже и действительно терпят безвинно. С вашей стороны будет также полезно утешить их словом и получше истолковать им то, что Бог велит переносить безропотно, и молиться в это время, когда несчастлив, а не буйствовать и расправляться самому. Словом, говорите им, никого не возбуждая ни против кого, а всех примиряя. Если увидите в ком противу кого бы то ни было ненависть, употребите все усилие.

— Афанасий Васильевич! дело, которое вы мне поручаете, — сказал Хлобуев, — святое дело; но вы вспомните, кому вы его поручаете. Поручить его можно человеку почти святой жизни, который бы и сам уже <умел> прощать другим.

— Да я и не говорю, чтобы все это вы исполнили, а по возможности, что можно. Дело-то в том, что вы все-таки приедете с познаньями тех мест и будете иметь понятие, в каком положении находится тот край. Чиновник никогда не столкнется с лицом, да и мужик-то с ним не будет

откровенен. А вы, прося на церковь, заглянете ко всякому — и к мещанину и к купцу, и будете иметь случай расспросить всякого. Говорю-с вам это по той причине, что генерал-губернатор особенно теперь нуждается в таких людях; и вы, мимо всяких канцелярских повышений, получите такое место, где не бесполезна будет ваша жизнь.

— Попробую, приложу старанья, сколько хватит сил, — сказал Хлобуев. И в голосе его было заметно ободренье, спина распрямилась, и голова приподнялась, как у человека, которому светит надежда. — Вижу, что вас Бог наградил разуменьем, и вы знаете иное лучше нас, близоруких людей.

— Теперь позвольте вас спросить, — сказал Муразов, — что ж Чичиков и какого роду <дело>?

— А <про> Чичикова я вам расскажу вещи неслыханные. Делает он такие дела… Знаете ли, Афанасий Васильевич, что завещание ведь ложное? Отыскалось настоящее, где все имение принадлежит воспитанницам.

— Что вы говорите? Да ложное-то завещание кто смастерил?

— В том-то и дело, что премерзейшее дело! Говорят, что Чичиков и что подписано завещание уже

после смерти: нарядили какую-то бабу, наместо покойницы, и она уж подписала. Словом, дело соблазнительнейшее. Говорят, тысячи просьб поступило с разных сторон. К Марье Еремеевне теперь подъезжают женихи; двое уж чиновных лиц из-за нее дерутся. Вот какого роду дело, Афанасий Васильевич!

— Не слышал я об этом ничего, а дело, точно, не без греха. Павел Иванович Чичиков, признаюсь, для меня презагадочен, — сказал Муразов.

— Я подал от себя также просьбу, затем, чтобы напомнить, что существует ближайший наследник…

«А мне пусть их все передерутся, — думал Хлобуев, выходя. — Афанасий Васильевич не глуп. Он дал мне это порученье, верно, обдумавши. Исполнить его — вот и все». Он стал думать о дороге, в то время, когда Муразов все еще повторял в себе: «Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков! Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!»

А между тем, в самом деле, по судам шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которых и не слышал никто. Как птицы слетаются на мертвечину, так все налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи.

Доносы на Чичикова, на подложность последнего завещания, доносы на подложность и первого завещания, улики в покраже и в утаении сумм. Явились улики на Чичикова в покупке мертвых душ, в провозе контрабанды во время бытности его еще при таможне. Выкопали все, разузнали его прежнюю историю. Бог весть откуда все это пронюхали и знали. Только были улики даже и в таких делах, об которых, думал Чичиков, кроме его и четырех стен никто не знал. Покамест все это было еще судейская тайна и до ушей его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткого содержания: «Спешу вас уведомить, что по делу будет возня: но помните, что тревожиться никак не следует. Главное дело — спокойствие. Обделаем все». Записка эта успокоила совершенно его. «Этот человек, точно, гений», — сказал Чичиков.

В довершение хорошего, портной в это время принес <платье>. <Чичиков> получил желанье сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно об-

тянуло, икры тоже, сукно обхватило все малости, сообща им еще большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан. Он ударил по нем тут щеткой, прибавив: «Ведь какой дурак, а в целом он составляет картину». Фрак, казалось, был сшит еще лучше штанов: ни морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавши весь его перегиб. Под правой мышкой немного жало, но от этого еще лучше прихватывало на талии. Портной, который стоял в полном торжестве, говорил только: «Будьте покойны, кроме Петербурга, нигде так не сошьют». Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил: «Иностранец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так, чтобы впредь никто не появился с такими городами, а пусть себе пишет из какого-нибудь «Карлсеру» или «Копенгара».

Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством и con amore[250]. Оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде: щечки интереснее,

[250] Примечания: 250
С любовью *(итал.).*

подбородок заманчивей, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам; новомодные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный <жилет> давал <тон> манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая, как шелк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо! Поворотился налево — еще лучше! Перегиб такой, как у камергера или у такого господина, который так чешет по-французски, что перед ним сам француз ничего, который, даже и рассердясь, не срамит себя непристойно русским словом, даже и выбраниться не умеет на русском языке, а распечет французским диалектом. Деликатность такая! Он попробовал, склоня головку несколько набок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения: выходила просто картина. Художник, бери кисть и пиши! В удовольствии, он совершил тут же легкий прыжок, вроде антраша. Вздрогнул комод и шлепнулась на землю склянка с одеколоном; но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку дурой и подумал: «К кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше…»

Как вдруг в передней — вроде некоторого бря-

канья сапогов с шпорами и жандарм в полном вооружении, как <будто> в лице его было целое войско. «Приказано сей же час явиться к генерал-губернатору!» Чичиков так и обомлел. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело и ружье, и черт знает что: целое войско в одном только! Он начал было возражать, страшило грубо заговорило: «Приказано сей же час!» Сквозь дверь в переднюю он увидел, что там мелькало и другое страшило, взглянул в окошко — и экипаж. Что тут делать? Так, как был, в фраке наваринского пламени с дымом, должен был сесть и, дрожа всем телом, отправился к генерал-губернатору, и жандарм с ним.

В передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте! вас князь уже ждет», — сказал дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, мелькнула передняя с курьерами, принимавшими пакеты, потом зала, через которую он прошел, думая только: «Вот как схватит, да без суда, без всего, прямо в Сибирь!» Сердце его забилось с такой силою, с какой не бьется даже у наиревнивейшего любовника. Наконец растворилась пред

ним дверь: предстал кабинет, с портфелями, шкафами и книгами, и князь гневный, как сам гнев.

— Губитель, губитель! — сказал Чичиков. — Он мою душу погубит, зарежет, как волк агнца!

— Я вас пощадил, я позволил вам остаться в городе, тогда как вам следовало бы в острог; а вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо запятнал себя человек.

Губы князя дрожали от гнева.

— Каким же, ваше сиятельство, бесчестнейшим поступком и мошенничеством? — спросил Чичиков, дрожа всем телом.

— Женщина, — произнес князь, подступая несколько ближе и смотря прямо в глаза Чичикову, — женщина, которая подписывала по вашей диктовке завещание, схвачена и станет с вами на очную ставку.

Чичиков стал бледен, как полотно.

— Ваше сиятельство! Скажу всю истину дела. Я виноват; точно, виноват; но не так виноват. Меня обнесли враги.

— Вас не может никто обнесть, потому что в вас мерзостей в несколько раз больше того, что может <выдумать> последний лжец. Вы во всю свою жизнь, я думаю, не делали небесчестного

дела. Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестно, есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь! Нет, теперь полно! С сей же минуты будешь отведен в острог и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен <ждать> разрешенья участи своей. И это милостиво еще, потому что <ты> хуже их в несколько <раз>: они в армяке и тулупе, а ты…

Он взглянул на фрак наваринского пламени с дымом и, взявшись за шнурок, позвонил.

— Ваше сиятельство, — вскрикнул Чичиков, — умилосердитесь! Вы отец семейства. Не меня пощадите — старуха мать!

— Врешь! — вскрикнул гневно князь. — Так же ты меня тогда умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было, теперь — матерью!

— Ваше сиятельство, я мерзавец и последний негодяй, — сказал Чичиков голосом…[251] — Я действительно лгал, я не имел ни детей, ни семейства; но, вот Бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уваженье граждан и начальства… Но что за бедственные стечения обстоятельств! Кровью, ваше сиятель-

---

[251] Примечания: 251
В рукописи не дописано.

ство, кровью нужно было добывать насущное существование. На всяком шагу соблазны и искушенье… враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была — точно вихорь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я — человек, ваше сиятельство!

Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю, так, как был, во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете с атласным галстуком, новых штанах и причесанных волосах, изливавших чистый запах одеколона.

— Поди прочь от меня! Позвать, чтобы его взяли, солдат! — сказал князь взошедшим.

— Ваше сиятельство! — кричал <Чичиков> и обхватил обеими руками сапог князя.

Чувство содроганья пробежало по всем жилам <князя>.

— Подите прочь, говорю вам! — сказал он, усиливаясь вырвать свою ногу из объятья Чичикова.

— Ваше сиятельство! не сойду с места, покуда не получу милости! — говорил <Чичиков>, не выпуская сапог князя и проехавшись, вместе с ногой, по полу в фраке наваринского пламени и дыма.

— Подите, говорю вам! — говорил он с тем неизъяснимым чувством отвращенья, какое чувствует человек при виде безобразнейшего насекомого, которого нет духу раздавить ногой. Он стряхнул так, что Чичиков почувствовал удар сапога в нос, губы и округленный подбородок, но не выпустил сапога и еще с большей силой держал ногу в своих объятьях. Два дюжих жандарма в силах оттащили его и, взявши под руки, повели через все комнаты. Он был бледный, убитый, в том бесчувственно-страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий перед собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему…

В самых дверях на лестницу навстречу — Муразов. Луч надежды вдруг скользнул. В один миг с силой неестественной вырвался он из рук обоих жандармов и бросился в ноги изумленному старику.

— Батюшка, Павел Иванович, что с вами?

— Спасите! ведут в острог, на смерть…

Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать.

Промозглый сырой чулан с запахом сапогов и онуч гарнизонных солдат, некрашеный стол, два скверных стула, с железною решеткой окно,

дряхлая печь, сквозь щели которой шел дым и не давало тепла, — вот обиталище, где помещен был наш <герой>, уже было начинавший вкушать сладость жизни и привлекать внимание соотечественников в тонком новом фраке наваринского пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять с собой необходимые вещи, взять шкатулку, где были деньги. Бумаги, крепости на мертвые <души> — все было теперь у чиновников! Он повалился на землю, и плотоядный червь грусти страшной, безнадежной обвился около его сердца. С возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничем не защищенное. Еще день такой, день такой грусти, и не было <бы> Чичикова вовсе на свете. Но и над Чичиковым не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Час спустя двери тюрьмы растворились: взошел старик Муразов.

Если бы терзаемому палящей жаждой влил кто в засохнувшее горло струю ключевой воды, то он бы не оживился так, как оживился бедный Чичиков.

— Спаситель мой! — сказал Чичиков и, схвативши вдруг его руку, быстро поцеловал и прижал к груди. — Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного!

Он залился слезами.

Старик глядел на него скорбно-болезненным взором и говорил только:

— Ах, Павел, Павел Иванович! Павел Иванович, что вы сделали?

— Я подлец… Виноват… Я преступил… Но посудите, посудите, разве можно так поступать? Я — дворянин. Без суда, без следствия, бросить в тюрьму, отобрать все от меня: вещи, шкатулка… там деньги, там все имущество, там все мое имущество, Афанасий Васильевич, — имущество, которое кровным потом приобрел…

И, не в силах будучи удерживать порыва вновь подступившей к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщу стен острога и глухо отозвавшимся в отдаленье, сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукою около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом.

— Павел Иванович, все равно: и с имуществом, и со всем, что ни есть на свете, вы должны проститься. Вы подпали под неумолимый закон, а не под власть какого человека.

— Сам погубил себя, сам знаю — не умел вовремя остановиться. Но за что же такая страшная <кара>, Афанасий Васильевич? Я разве разбойник? От меня разве пострадал кто-нибудь? Разве

я сделал кого несчастным? Трудом и потом, кровавым потом добывал копейку. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобресть для блага, для службы отечеству. Покривил, не спорю, покривил… что ж делать? Но ведь покривил, увидя, что прямой дорогой не возьмешь и что косой дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился, я изощрялся. А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны, иль небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего!.. Афанасий Васильевич! Я не блудничал, я не пьянствовал. Да ведь сколько трудов, сколько железного терпенья! Да я, можно сказать, выкупил всякую добытую копейку страданьями, страданьями! Пусть их кто-нибудь выстрадает то, что я! Ведь что вся жизнь моя: лютая борьба, судно среди волн. И потеряно, Афанасий Васильевич, то, что приобретено такой борьбой…

Он не договорил и зарыдал громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул, и оторвал совсем висевшую разорванную полу фрака, и швырнул ее прочь от себя, и, запустивши обе руки себе в волосы, об укрепленье которых прежде старался, безжалостно рвал их, услаждаясь болью, кото-

рою хотел заглушить ничем не угасимую боль сердца.

— Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! — говорил <Муразов>, скорбно смотря на него и качая <головой>. — Я все думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же, и силою и терпеньем, да подвизались бы на добрый труд и для лучшей <цели>! Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добыванья своей копейки!.. да умели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием, и честолюбием, не жалея себя, как вы не жалели для добыванья своей копейки!..

— Афанасий Васильевич! — сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки. — О, если бы удалось мне освободиться, возвратить мое имущество! клянусь вам, повел бы отныне совсем другую жизнь! Спасите, благодетель, спасите!

— Что ж могу я сделать? Я должен воевать с законом. Положим, если бы я даже и решился на это, но ведь князь справедлив, — он ни за что не отступит.

— Благодетель! вы все можете сделать. Не закон меня страшит, — я перед законом найду

средства, — но то, что непов<инно> я брошен в тюрьму, что я пропаду здесь, как собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка… спасите!

Он обнял ноги старика, облил их слезами.

— Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! — говорил старик Муразов, качая <головою>. — Как вас ослепило это имущество! Из-за него вы и бедной души своей не слышите!

— Подумаю и о душе, но спасите!

— Павел Иванович! — сказал старик Муразов и остановился. — Спасти вас не в моей власти, — вы сами видите. Но приложу старанье, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться. Если же, паче чаянья, удастся, Павел Иванович, — я попрошу у вас награды за труды: бросьте все эти поползновенья на эти приобретения. Говорю вам по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества, — а у меня его больше, чем у вас, — я бы не заплакал. Ей-ей, <дело> не в этом имуществе, которое могут у меня конфисковать, а в том, которого никто не может украсть и отнять! Вы уж пожили на свете довольно. Вы сами называете жизнь свою судном среди волн. У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви и простым, добрым

людям; или, если знобит сильное желанье оставить по себе потомков, женитесь на небогатой доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти; пусть и он вас позабудет. В нем нет успокоенья. Вы видите: все в нем враг, искуситель или предатель.

Чичиков задумался. Что-то странное, какие-то неведомые дотоле, незнаемые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему: как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то подавленное из детства суровым, мертвым поученьем, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутно занесенное зимней вьюгой окно.

— Спасите только, Афанасий Васильевич! — вскричал он, — поведу другую жизнь, последую вашему совету! Вот вам мое слово!

— Смотрите же, Павел Иванович, от слова не отступитесь, — сказал Муразов, держа его руку.

— Отступился бы, может быть, если бы не такой страшный урок, — сказал, вздохнувши, бедный Чичиков и прибавил: — Но урок тяжел; тяжел,

тяжел урок, Афанасий Васильевич!

— Хорошо, что тяжел. Благодарите за это Бога, помолитесь. Я пойду о вас стараться.

Сказавши это, старик вышел.

Чичиков уже не плакал, не рвал на себе фрака и волос: он успокоился.

— Нет, полно! — сказал он наконец, — другую, другую жизнь. Пора в самом деле сделаться порядочным. О, если бы мне как-нибудь только выпутаться и уехать хоть с небольшим капиталом, поселюсь вдали от… А купчие?.. — Он подумал: «Что ж? зачем оставить это дело, стольким трудом приобретенное?.. Больше не стану покупать, но заложить те нужно. Ведь приобретенье это стоило трудов! Это я заложу, заложу, с тем чтобы купить на деньги поместье. Сделаюсь помещиком, потому что тут можно сделать много хорошего». И в мыслях его пробудились те чувства, которые овладели им, когда он был <у> Гоброжогло[252], и милая, при греющем свете вечернем, умная беседа хозяина о том, как плодотворно и полезно занятье поместьем. Деревня так вдруг представилась ему прекрасно, точно как бы он в силах был почувствовать все прелести

[252] Примечания: 252
То есть Костанжогло.

деревни.

— Глупы мы, за суетой гоняемся! — сказал он наконец. — Право, от безделья! Все близко, все под рукой, а мы бежим за тридевять <земель>. Чем не жизнь, если займешься хоть бы и в глуши? Ведь удовольствие действительно в труде. И ничего нет слаще, как плод собственных трудов… Нет, займусь трудом, поселюсь в деревне, и займусь честно, так, чтобы иметь доброе влиянье и на других. Что ж в самом деле, будто я уже совсем негодный? У меня есть способности к хозяйству; я имею качества и бережливости, и расторопности, и благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться, чувствую, что есть. Теперь только истинно и ясно чувствую, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, не отрываясь от того места и угла, на котором он постановлен.

И трудолюбивая жизнь, удаленная от шума городов и тех обольщений, которые от праздности выдумал, позабывши труд, человек, так сильно стала перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провиденье за этот тяжелый <урок>, если только выпустят его и отдадут хотя часть. Но… одностор-

чатая дверь его нечистого чулана растворилась, вошла чиновная особа — Самосвистов, эпикуреец, собой лихач, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нем сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес: его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимые, опасные места, украсть перед носом у самого неприятеля пушку, — это его бы дело. Но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, он был честным человеком, он пакостил и гадил. Непостижимое дело! с товарищами он был хорош, никого не продавал и, давши слово, держал; но высшее над собою начальство он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением…

— Знаем все об вашем положении, все услышали! — сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась. — Ничего, ничего! Не робейте: все будет поправлено. Все станет работать за вас и — ваши слуги! Тридцать тысяч на всех — и ничего больше.

— Будто? — вскрикнул Чичиков. — И я буду совершенно оправдан?

— Кругом! еще и вознагражденье получите за

убытки.

— И за труд?..

— Тридцать тысяч. Тут уже все вместе — и нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю.

— Но позвольте, как же я могу? Мои все вещи… шкатулка… все это теперь запечатано, под присмотром…

— Через час получите все. По рукам, что ли?

Чичиков дал руку. Сердце его билось, и он не доверял, чтобы это было возможно…

— Пока прощайте! Поручил вам <сказать> наш общий приятель, что главное дело — спокойствие и присутствие духа.

«Гм! — подумал Чичиков, — понимаю: юрисконсульт!»

Самосвистов скрылся. Чичиков, оставшись, все еще не доверял словам, как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка: бумаги, деньги — и всё в наилучшем порядке. Самосвистов явился в качестве распорядителя: выбранил поставленных часовых за то, что небдительно смотрели, приказал приставить еще лишних солдат для усиленья присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь компрометировать Чичикова; связал все это

вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову, в виде необходимых ночных и спальных вещей, так что Чичиков, вместе с бумагами, получил даже и все теплое, что нужно было для покрытия бренного его тела. Это скорое доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки: вечером театр, плясунья, за которою он волочился. Деревня и тишина стали бледней, город и шум — опять ярче, ясней… О, жизнь!

А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали перья писцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь, как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочал всем механизмом; всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, где караулилась схваченная женщина, он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку.

— Давно ты здесь стоишь?

— С утра, ваше благородие!

— Долго до смены?

— Три часа, ваше благородие!

— Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы наместо тебя отрядил другого.

— Слушаю, ваше благородие!

И, уехав домой, ни минуты не медля, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом, оказался в усах и бакенбардах — сам черт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, и, схвативши первую бабу, какая попалась, сдал ее двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился, в усах и с ружьем, как следует, к часовым:

— Ступай, меня прислал командир выстоять, наместо тебя, смену. — Обменился с часовым и стал сам с ружьем.

Только этого было и нужно. В это время наместо прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куды-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвизался в лице воина, юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще: губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику дал знать, <что> секретно проживающий чиновник пишет на него

доносы; секретно проживавшего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит, — и всех привел в такое положение, что к нему должны были обратиться за советами. Произошла такая бестолковщина: донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело: и кто незаконнорожденный сын, и какого рода и званья у кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны, и все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха: оба казались равного достоинства. Когда стали наконец поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума: никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились

раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, укокошили неантихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны <быть> помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики, — и целая волость, не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа. В это время доложили ему, что пришел откупщик.

— Пусть войдет, — сказал князь.

Старик взошел…

— Вот вам Чичиков! Вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится.

— Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело.

— Подлог завещания, и еще какой!.. Публичное наказание плетьми за этакое дело!

— Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы защищать Чичикова. Но ведь это дело не доказанное: следствие еще не сделано.

— Улика: женщина, которая была наряжена наместо умершей, схвачена. Я ее хочу расспросить нарочно при вас. — Князь позвонил и дал приказ позвать ту женщину.

Муразов замолчал.

— Бесчестнейшее дело! И, к стыду, замешались первые чиновники города, сам губернатор. Он не должен быть там, где воры и бездельники! — сказал князь с жаром.

— Ведь губернатор — наследник; он имеет право на притязания; а что другие-то со всех сторон прицепились, так это-с, ваше сиятельство, человеческое дело. Умерла-с богатая, распоряженья умного и справедливого не сделала; слетелись со всех сторон охотники поживиться — человеческое дело…

— Но ведь мерзости зачем же делать?.. Подлецы! — сказал князь с чувством негодованья. — Ни одного чиновника нет у меня хорошего: все — мерзавцы!

— Ваше сиятельство! да кто ж из нас, как следует, хорош? Все чиновники нашего города — люди, имеют достоинства и многие очень знающие в

деле, а от греха всяк близок.

— Послушайте, Афанасий Васильевич, скажите мне, я вас одного знаю за честного человека, что у вас за страсть защищать всякого рода мерзавцев?

— Ваше сиятельство, — сказал Муразов, — кто бы ни был человек, которого вы называете мерзавцем, но ведь он человек. Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от грубости и неведенья? Ведь мы делаем несправедливости на всяком шагу и всякую минуту бываем причиной несчастья другого, даже и не с дурным намереньем. Ведь ваше сиятельство сделали также большую несправедливость.

— Как! — воскликнул в изумлении князь, совершенно пораженный таким нежданным оборотом речи.

Муразов остановился, помолчал, как бы соображая что-то, и наконец сказал:

— Да вот хоть бы по делу Дерпенникова[253].

— Афанасий Васильевич! Преступленье против коренных государственных законов, равное измене земле своей!

— Я не оправдываю его. Но справедливо ли

---

[253] Примечания: 253
Ранее: Тентетникова.

то, если юношу, который по неопытности своей был обольщен и сманен другими, осудить так, как и того, который был один из зачинщиков? Ведь участь постигла ровная и Дерпенникова, и какого-нибудь Вороного-Дрянного; а ведь преступленья их не равны.

— Ради бога… — сказал князь с заметным волненьем, — вы что-нибудь знаете об этом? скажите. Я именно недавно послал еще прямо в Петербург об смягчении его участи.

— Нет, ваше сиятельство, я не насчет того говорю, чтобы я знал что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя, точно, есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило в его пользу, да он сам не согласится, потому <что> через это пострадал бы другой. А я думаю только то, что не изволили ли вы тогда слишком поспешить. Извините, ваше сиятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы несколько раз приказывали мне откровенно говорить. У меня-с, когда я еще был начальником, много было всяких работников, и дурных и хороших… Следовало бы тоже принять во внимание и прежнюю жизнь человека, потому что, если не рассмотришь все хладнокровно, а накричишь с первого раза, — запугаешь только его, да и признанья настоящего не добьешься: а как с

участием его расспросишь, как брат брата, — сам все выскажет и даже не просит о смягчении, и ожесточенья ни против кого нет, потому что ясно видит, что не я его наказываю, а закон.

Князь задумался. В это время вошел молодой чиновник и почтительно остановился с портфелем. Забота, труд выражались на его молодом и еще свежем лице. Видно было, что он недаром служил по особым порученьям. Это был один из числа тех немногих, который занимался делопроизводством con amore. Не сгорая ни честолюбьем, ни желаньем прибытков, ни подражаньем другим, он занимался только потому, что был убежден, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь. Следить, разобрать по частям и, поймавши все нити запутаннейшего дела, разъяснить его — это было его дело. И труды, и старания, и бессонные ночи вознаграждались ему изобильно, если дело наконец начинало перед ним объясняться, сокровенные причины обнаруживаться, и он чувствовал, что может передать его все в немногих словах, отчетливо и ясно, так что всякому будет очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-<нибудь> труднейшая фраза и обнаруживается настоящий

смысл мысли великого писателя, как радовался он, когда пред ним распутывалось запутаннейшее дело. Зато…[254]

[255] –…хлебом в местах, где голод; я эту часть получше знаю чиновников: рассмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сиятельство, я поговорю и с раскольниками. Они-то с нашим братом, с простым человеком, охотнее разговорятся. Так, бог весть, может быть, помогу уладить с ними миролюбиво. А денег-то от вас я не возьму, потому что, ей-богу, стыдно в такое время думать о своей прибыли, когда умирают с голода. У меня есть в запасе готовый хлеб; я и теперь еще послал в Сибирь, и к будущему лету вновь подвезут.

— Вас может только наградить один Бог за такую службу, Афанасий Васильевич. А я вам не скажу ни одного слова, потому что, — вы сами можете чувствовать, — всякое слово тут бессильно. Но позвольте мне одно сказать насчет той просьбы. Скажите сами: имею ли я право оставить это дело без внимания и справедливо ли, честно ли с

---

[254] Примечания: 254

Далее часть рукописи отсутствует.

[255] Примечания: 255

Текст начинается с новой страницы, начало фразы в рукописи отсутствует.

моей стороны будет простить мерзавцев.

— Ваше сиятельство, ей-богу, этак нельзя называть, тем более что из <них> есть многие весьма достойные. Затруднительны положенья человека, ваше сиятельство, очень, очень затруднительны. Бывает так, что, кажется, кругом виноват человек: а как войдешь — даже и не он.

— Но что скажут они сами, если оставлю? Ведь есть из них, которые после этого еще больше подымут нос и будут даже говорить, что они напугали. Они первые будут не уважать…

— Ваше сиятельство, позвольте мне вам дать свое мнение: соберите их всех, дайте им знать, что вам все известно, и представьте им ваше собственное положение точно таким самым образом, как вы его изволили изобразить сейчас передо мной, и спросите у них совета: что <бы> из них каждый сделал на вашем положении?

— Да вы думаете, им будут доступны движенья благороднейшие, чем каверзничать и наживаться? Поверьте, они надо мной посмеются.

— Не думаю-с, ваше сиятельство. У [русского] человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо. Разве жид какой-нибудь, а не русский. Нет, ваше сиятельство, вам нечего скрываться. Скажите так точно, как

изволили перед <мной>. Ведь они вас поносят, как человека честолюбивого, гордого, который и слышать ничего не хочет, уверен в себе, — так пусть же увидят всё, как оно есть. Что ж вам? Ведь ваше дело правое. Скажите им так, как бы вы не пред ними, а пред самим Богом принесли свою исповедь.

— Афанасий Васильевич, — сказал князь в раздумье, — я об этом подумаю, а покуда благодарю вас очень за совет.

— А Чичикова, ваше сиятельство, прикажите отпустить.

— Скажите этому Чичикову, чтобы он убирался отсюда как можно поскорей, и чем дальше, тем лучше. Его-то уже я бы никогда не простил.

Муразов поклонился и прямо от князя отправился к Чичикову. Он нашел Чичикова уже в духе, весьма покойно занимавшегося довольно порядочным обедом, который был ему принесен в фаянсовых судках из какой-то весьма порядочной кухни. По первым фразам разговора старик заметил тотчас, что Чичиков уже успел переговорить кое с кем из чиновников-казусников. Он даже понял, что сюда вмешалось невидимое участие знатока-юрисконсульта.

— Послушайте-с, Павел Иванович, — сказал

он, — я привез вам свободу на таком условии, чтобы сейчас вас не было в городе. Собирайте все пожитки свои — да и с Богом, не откладывая ни минуту, потому что дело еще хуже. Я знаю-с, вас тут один человек настраивает; так объявляю вам по секрету, что такое еще дело одно открывается, что уж никакие силы не спасут этого. Он, конечно, рад других топить, чтобы нескучно, да дело к разделке. Я вас оставил в расположенье хорошем, — лучшем, нежели в каком теперь. Советую вам-с не в шутку. Ей-<ей>, дело не в этом имуществе, из-за которого спорят и режут друг друга люди, точно как можно завести благоустройство в здешней жизни, не помысливши о другой жизни. Поверьте-с, Павел Иванович, что покамест, брося все то, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества. Наступят времена голода и бедности, как во всем народе, так и порознь во всяком… Это-с ясно. Что ни говорите, ведь от души зависит тело. Как же хотеть, чтобы <шло> как следует. Подумайте не о мертвых душах, а <о> своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу! Я тож выезжаю завтрашний день. Поторопитесь! не то без меня беда будет.

Сказавши это, старик вышел. Чичиков задумался. Значенье жизни опять показалось немаловажным. «Муразов прав, — сказал он, — пора на другую дорогу!» Сказавши это, он вышел из тюрьмы. Часовой потащил за ним шкатулку, другой — чемодан белья. Селифан и Петрушка обрадовались, как бог знает чему, освобожденью барина.

— Ну, любезные, — сказал Чичиков, обратившись <к ним> милостиво, — нужно укладываться да ехать.

— Покатим, Павел Иванович, — сказал Селифан. — Дорога, должно быть, установилась: снегу выпало довольно. Пора уж, право, выбраться из города. Надоел он так, что и глядеть на него не хотел бы.

— Ступай к каретнику, чтобы поставил коляску на полозки, — сказал Чичиков, а сам пошел в город, но ни <к> кому не хотел заходить отдавать прощальных визитов. После всего этого события было и неловко, — тем более, что о нем множество ходило в городе самых неблагоприятных историй. Он избегал всяких встреч и зашел потихоньку только к тому купцу, у которого купил сукна наваринского пламени с дымом, взял вновь четыре аршина на фрак и на штаны и отправился

сам к тому же портному. За двойную <цену> мастер решился усилить рвение и засадил всю ночь работать при свечах портное народонаселение — иглами, утюгами и зубами, и фрак на другой день был готов, хотя и немножко поздно. Лошади все были запряжены. Чичиков, однако ж, фрак примерил. Он был хорош, точь-точь как прежний. Но, увы! он заметил, что в голове уже белело что-то гладкое, и примолвил грустно: «И зачем было предаваться так сильно сокрушенью? А рвать волос не следовало бы и подавно». Расплатившись с портным, он выехал наконец из города в каком-то странном положении. Это был не прежний Чичиков. Это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобранным строеньем, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора определительный план и работники остались в недоуменье. Часом прежде его отправился старик Муразов, в рогоженной кибитке, вместе с Потапычем, а часом после отъезда Чичикова пошло приказание, что князь, по случаю отъезда в Петербург, желает видеть всех чиновников до едина.

В большом зале генерал-губернаторского дома

собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника: правители канцелярий и дел, советники, асессоры, Кислоедов, Красноносов, Самосвистов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие, — все ожидало с некоторым не совсем спокойным ожиданием генеральского выхода. Князь вышел ни мрачный, ни ясный: взор его был тверд, так же как и шаг… Все чиновное собрание поклонилось, многие — в пояс. Ответив легким поклоном, князь начал:

— Уезжая в Петербург, я почел приличным повидаться с вами всеми и даже объяснить вам отчасти причину. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собою открытие и других, не менее бесчестных дел, в которых замешались даже наконец и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне даже и сокровенная цель спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже, и кто главная пружина и чьим сокровенным…[256], хотя он и очень искусно

---

[256] Примечания: 256
В рукописи не дописано.

скрыл свое участие. Но дело в том, что я намерен это следить не формальным следованьем по бумагам, а военным быстрым судом, как в военное <время>, и надеюсь, что государь мне даст это право, когда я изложу все это дело. В таком случае, когда нет возможности произвести дело гражданским образом, когда горят шкафы с <бумагами> и, наконец, излишеством лживых посторонних показаний и ложными доносами стараются затемнить и без того довольно темное дело, — я полагаю военный суд единственным средством и желаю знать мнение ваше.

Князь остановился, как <бы> ожидая ответа. Все стояло, потупив глаза в землю. Многие были бледны.

— Известно мне также еще одно дело, хотя производившие его в полной уверенности, что оно никому не может быть известно. Производство его уже пойдет не по бумагам, потому что истцом и челобитчиком я буду уже сам и представлю очевидные доказательства.

Кто-то вздрогнул среди чиновного собрания; некоторые из боязливейших тоже смутились.

— Само по себе, что главным зачинщикам должно последовать лишенье чинов и имущества, прочим — отрешенье от мест. Само собой

разумеется, что в числе их пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии. Хотя я знаю, что это будет даже и не в урок другим, потому что наместо выгнанных явятся другие, и те самые, которые дотоле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут, — несмотря на все это, я должен поступить жестоко, потому что вопиет правосудие. Знаю, что меня будут обвинять в суровой жестокости, но знаю, что те будут еще…[257] меня те же обвинять… Я должен обратиться теперь только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на головы.

Содроганье невольно пробежало по всем лицам.

Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущенья душевного не выражало его лицо.

— Теперь тот самый, у которого в руках участь многих и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый бросается теперь к ногам вашим, вас всех просит. Все будет позабыто, изглажено, прощено; я буду сам ходатаем

---

[257] Примечания: 257
Край листа рукописи оторван.

за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды: она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего теченья. Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем, — я должен сделать клич хотя к тем, у которых еще есть в груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово «благородство». Что тут говорить о том, кто более из нас виноват! Я, может быть, больше всех виноват; я, может быть, слишком сурово вас принял вначале; может быть, излишней подозрительностью я оттолкнул из вас тех, которые искренно хотели мне быть полезными, хотя и я, с своей стороны, мог бы также сделать <им упрек>. Если они уже действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им оскорбиться на надменность моего обращения, следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать

своей личностью. Не может быть, чтобы я не заметил их самоотверженья и высокой любви к добру и не принял бы наконец от них полезных и умных советов. Все-таки скорей подчиненному следует применяться к нраву начальника, чем начальнику к нраву подчиненного. Это законней, по крайней мере, и легче, потому что у подчиненных один начальник, а у начальника сотни подчиненных. Но оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управленья, образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия; все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как <ни> ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против <врагов>, так должен восстать против неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным родством,

одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь <к> вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятье какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва…[258]

[258] Примечания: 258
На этом рукопись обрывается.

Незаконченные произведения

Отрывки
Две главы из малороссийской повести «страшный кабан»
I. Учитель

Прибытие нового лица в благословенные места голтвянские наделало более шуму, нежели пронесшиеся за два года пред тем слухи о прибавке рекрут, нежели внезапно поднявшаяся цена на соль, вывозимую из Крыма украинскими степовиками. В шинке, по улицам, на мельнице, в винокурне только и речей было, что про приезжего учителя. Догадливые политики в серых кобеняках и свитах, пуская дым себе под нос с самым флегматическим видом, пытались определить влияние такого лица, которому судьба, казалось, при рождении указала высоту, чуть-чуть не над головами всех мирян, которое живет в панских покоях и обедает за одним столом с обладательницею пятидесяти душ их селения. Поговаривали, что звания учителя для него мало, что, без всякого сомнения, влияние его будет накинуто и на хозяйственную систему; по крайней мере, уже, верно, не от другого кого-либо будет

зависеть наряжение подвод, отпуск муки, сала и проч. Некоторые с значительным видом давали заметить, что едва ли и сам приказчик не будет теперь нулем. Один только *мирошник*[259], Солопий Чубко, дерзнул утверждать, что старшинам со стороны его нечего опасаться, что готов он держать заклад об новой шапке из серых решетиловских смушков, если смыслит учитель, как остановить пятерню и поворотить застоявшийся жернов. Но важная осанка, блистательное торжество над дьячком, громоподобный бас, приведший в умиление всех прихожан, живы были во всеобщей памяти, и выгодное мнение об учителе подтверждалось. И если в честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, зато любезные сожительницы их не ударили себя лицом в грязь: одаренные тем звонким и пронзительным языком, который, по неисповедимым велениям судьбы, у женщин почти вчетверо быстрее поворачивается, нежели у мужчин, они гибко развертывали его в опровержение и защиту достоинств учителя.

Трескотня и разноголосица, прерываемые взвизгиваньем и бранью, раздавались по мирным

---

[259] Примечания: 259
Мельник.

закоулкам села Мандрык. А как почтеннейшие обитательницы его имели похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицам то и дело, что находили кумушек, уцепившихся так плотно друг за друга, как подлипало цепляется за счастливца, как скряга за свой боковой карман, когда улица уходит в глушь и одинокий фонарь отливает потухающий свет свой на палевые стены уснувшего города. Более всего доставалось муженькам, пытавшимся разнимать их: очипки, черепья, как град летели им на голову, и часто раздраженная кумушка, в пылу своего гнева, вместо чужого, колотила собственного сожителя.

В это время педагог наш почти освоился в доме Анны Ивановны. Он принадлежал к числу тех семинаристов, *убоявшихся бездны премудрости,* которыми ***ская семинария снабжает не слишком зажиточных панков в Малороссии, рублей за сто в год, в качестве домашнего учителя. — Впрочем, Иван Осипович дошел даже до богословия и залетел бы невесть куда, вероятно, еще далее, если бы не шалуны его товарищи, которые беспрестанно подсмеивались над усами и колючею его бородой. С годами, когда одни выходили совсем, а на место их поступали моложе и моложе — ему наконец не давали прохода: то

бросали цепким репейником в бороду и усы, то привешивали сзади побрякушки, то пудрили ему голову песком или подсыпали в табакерку его чемерки, так что Иван Осипович, наскуча быть безмолвным зрителем беспрестанно менявшегося ветреного поколения и детской игрушкой, принужден был бросить семинарию и определиться *на ваканцию*[260].

Перемещение это сделало важную эпоху и перелом в его жизни. Беспрестанные насмешки и проказы шалунов заместило, наконец, какое-то почтение, какая-то особенная приязнь и расположение. Да и как было не почувствовать невольного почтения, когда он появлялся, бывало, в праздник в своем светлосинем сюртуке, — заметьте: в светлосинем сюртуке, это немаловажно. Долгом поставляю надоумить читателя, что сюртук вообще (не говоря уже о синем), будь только он не из смурого сукна, производит в селах, на благословенных берегах Голтвы, удивительное влияние: где ни показывается он, там шапки с самых неповоротливых голов перелетают в руки, и солидные, вооруженные черными, седыми усами, загоревшие лица отмеривают в пояс по-

[260] Примечания: 260

Эти слова в украинских семинариях значат: пойти в домашние учители.

чтительные поклоны. Всех сюртуков, полагая в то число и хламиду дьячка, считалось в селе три; но как величественная тыква гордо громоздится и заслоняет прочих поселенцев богатой *бакши*[261], так и сюртук нашего приятеля затемнял прочих собратьев своих. Более всего придавали ему прелести большие костяные пуговицы, на которые толпами заглядывались уличные ребятишки. Не без удовольствия слышал наш щеголеватый наставник юношества, как матери показывали на них грудным ребятам, и малютки, протягивая ручонки, лепетали: *цяця, цяця*![262] За столом приятно было видеть, как чинно, с каким умилением, почтенный наставник, завесившись салфеткой, отправлял всеобщий процесс житейского насыщения. Ни слова постороннего, ни движения лишнего: весь переселялся он, казалось, в свою тарелку. Опорожнив ее так, что никакие принадлежащие к гастрономии орудия, как то: вилка и нож, ничего уже не могли захватить, отрезывал он ломтик хлеба, вздевал его на вилку и этим орудием проходил в другой раз по тарелке, после чего она выходила чистою, будто из фабрики. Но

[261] Примечания: 261
Нива, засеянная арбузами, дынями, тыквами и т. п.

[262] Примечания: 262
Хорошо! Хорошо!

все это, можно сказать, были только наружные достоинства, выказывавшие в нем знание тонких обычаев света, и читатель даст большой промах, если заключит, что тут-то были и все способности его. Почтенный педагог имел необъятные для простолюдина сведения, из которых иные держал под секретом, как то: составление лекарства против укушения бешеных собак, искусство окрашивать посредством одной только дубовой коры и острой водки в лучший красный цвет. Сверх того, он собственноручно приготовлял лучшую ваксу и чернила, вырезывал для маленького внучка Анны Ивановны фигурки из бумаги; в зимние вечера мотал мотки и даже прял.

Удивительно ли, если с такими дарованиями сделался он необходимым человеком в доме, если вся дворня была без ума от него, несмотря, что лицо его и окладом, и цветом, совершенно походило на бутылку, что огромнейший рот его, которого дерзким покушениям едва полагали преграду оттопырившиеся уши, поминутно строил гримасы приневоливая себя выразить улыбку, и что глаза его имели цвет яркой зелени, — глаза, какими, сколько мне известно, ни один герой в летописях романов не был одарен. Но, может быть, женщины видят более нас. Кто разгадает

их? Как бы то ни было, только и сама старушка, госпожа дома, была очень довольна сведениями учителя в домашнем хозяйстве, в умении делать настойку на шафране и herba rabarbarum, в искусном разматывании мотков и вообще в великой науке жить в свете. Ключнице более всего нравился щегольской сюртук его и уменье одеваться; впрочем, и она заметила, что учитель имел удивительно умильный вид, когда изволил молчать или кушать. Маленького внучка забавляли до чрезвычайности бумажные петухи и человечки. Сам кудлатый Бровко, едва только завидит, бывало, его, выходящего на крыльцо, как, ласково помахивая хвостом своим, побежит к нему навстречу и без церемонии целует его в губы, если только учитель, забыв важность, приличную своему сану, соизволит присесть под величественным фронтоном. Одни только два старшие внука и домашние мальчишки, с которыми проходил он *Аз — ангел, архангел, Буки — Бог, божество, Богородица,* — боялись красноречивых лоз грозного педагога.

В краткое пребывание свое Иван Осипович успел уже и сам сделать свои наблюдения и заключить в голове своей, будто на вогнутом стекле, миньятюрное отражение окружавшего

его мира. Первым лицом, на котором остановилось почтительное его наблюдение, как, верно, вы догадаетесь, была сама владетельница поместья. В лице ее, тронутом резкою кистью, которою время с незапамятных времен расписывает род человеческий и которую, бог знает с каких пор, называют морщиною, в темнокофейном ее капоте, в чепчике (покрой которого утратился в толпе событий, знаменовавших XVIII-е столетие), в коричневом шушуне, в башмаках без задков, глаза его узнали тот период жизни, который есть слабое повторение минувших, холодный, бесцветный перевод созданий пламенного, кипящего вечными страстями поэта, — тот период, когда воспоминание остается человеку, как представитель и настоящего, и прошедшего, и будущего, когда роковые шестьдесят лет гонят холод в некогда бившие огненным ключом жилы и термометр жизни переходит за точку замерзания. Впрочем, вечные заботы и страсть хлопотать несколько одушевляли потухшую жизнь в чертах ее, а бодрость и здоровье были верною порукою еще за тридцать лет вперед. Все время от пяти часов утра до шести вечера, то есть, до времени успокоения, было беспрерывною цепью занятий. До семи часов утра уже она обходила все

хозяйственные заведения, от кухни до погребов и кладовых, успевала побраниться с приказчиком, накормить кур и доморощенных гусей, до которых она была охотница. До обеда, который не бывал позже двенадцати часов, завертывала в пекарню и сама даже пекла хлебы и особенного рода крендели на меду и на яйцах, которых один запах производил непостижимое волнение в педагоге, страстно привязанном ко всему, что питает душевную и телесную природу человека. Время от обеда до вечера мало ли чем заняться хозяйке? — красить шерсть, мерять полотна, солить огурцы, варить варенья, подслащивать наливки. Сколько способов, секретов, домашних средств производится в это время в действо! От наблюдательного взгляда нашего педагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не чужда была тщеславия, и потому положил он за правило рассыпаться, разумеется, сколько позволяла природная его застенчивость, в похвалах необыкновенному ее искусству и знанию хозяйничать, и это, как после увидел он, послужило ему в пользу: почтенная старушка до тех пор не закупоривала сладких наливок и варенья, покамест Иван Осипович, отведав, не объявлял превосходной доброты того и другого. Все прочие лица стояли в тени пред

этим светилом так, как все строения во дворе, казалось, пресмыкались пред чудным зданием с великолепным его фронтоном. Только для глаз пронырливого наблюдателя заметны были их взаимные соотношения и особенный колорит, обозначавший каждого, и тогда ему открывалось, словно в муравьином рою, вечное движение, суматоха и ни на минуту не останавливавшийся шум. И педагог наш, как мы уже видели, умел угодить на вкус всех и, как могучий чародей, приковать к себе всеобщее почтение.

Непонятны только были причины, заставившие его сблизиться с кухмистером. Высокое ли уважение, которое Иван Осипович невольно чувствовал к его искусству, другое ли какое обстоятельство — мы этого не беремся решить. Довольно, что не прошло двух дней — и в Мандрыках воскресли Орест и Пилад нового мира. Но еще непонятнее была власть кухмистера над нашим педагогом, так что от природы скромный, застенчивый учитель, не бравший ничего в рот, кроме лекарственной настойки на буквицу и herba rabarbarum, невольно плелся за ним по шинкам и по всем закоулкам, куда разгульный кухмистер наш показывал только нос свой. Ивану Осиповичу нравилось романическое положе-

ние его местопребывания. Скоро осмотрел он обступившие в неровный кружок просторный господский двор — кухню, сараи, амбары, конюшни и кладовые, с особенным удовольствием остановился на густо-разросшемся саде, которого гигантские обитатели, закутанные темнозелеными плащами, дремали, увенчанные чудесными сновидениями, или, вдруг освободясь от грез, резали ветвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздух, и тогда по листам ходили непонятные речи, и мерные величественные движения всего их тела напоминали древних лицедеев, вызывавших на поприще Мельпомены великие тени усопших. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лепились около не столь высокопарных жильцов сада, зато увешанных с ног до головы грушами и яблоками, которыми кипит роскошная Украйна. Отсюда продирались они к кухне, за которою стлались плантации гороху, капусты, картофелю и вообще всех зелий, входящих в микстуру деревенской кухни. Не без особенного удовольствия вошел он в чистую, опрятно выбеленную и прибранную комнату, определенную для его помещения, с окошком, глядевшим на пруд и на лиловую, окутанную туманом, окрестность.

Мы имели уже случай заметить нечто о влиянии нашего учителя на мандрыковских красавиц: потупленные взгляды, перешептывание, низкие поклоны показывали, что овладение им считала каждая из них немаловажным делом. Впрочем, не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был синий фабричного сукна сюртук с черными, величиною с большой грош, костяными пуговицами; итак, ему очень было простительно перетолковать в свою пользу перемигиванья чернобровых проказниц. Но, к счастью или несчастью, чувство, так много известное бедному человечеству, наносившее ему с незапамятных времен море нестерпимых мук, не касалось нашего педагога. В этом случае Иван Осипович был настоящий стоик и, несмотря на то, что не дошел еще до *философии,* он твердо знал, что ни один из философов, начиная от Сенеки, Сократа и до лектора ***ской семинарии, не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода; ergo, любви не существует. Такие положения, обратившиеся у него, наконец, в правила, были тверды, слишком тверды… Homo proponit, deus disponit говаривал часто лектор ***ской семинарии, отсчитывая удары линейкою ленивым своим слушателям; а потому и мы в

следующей главе увидим небольшое обстоятельство, сильно поколебавшее философию учителя и надвинувшее облако недоразумения на ум его, доселе неуклонно шествоваший стезею своих великих наставников и бивший ровным пульсом в своей бутылкообразной сфере.

II. Успех посольства

(Кухмистер, несмотря на собственную сердечную рану, внезапно полученную им при виде мывшейся на берегу пруда Катерины, решается исполнить данное им учителю обещание и быть посланником и представителем его страсти. С таким намерением отправляется он в хату козака Харька Потылицы.)

Окончив туалет свой, Онисько не без боязни и тайного удовольствия переступил через порог. Бес как будто нарочно дразнил его (сам он после признавался в этом), поминутно рисуя перед ним стройные ножки соседки. «Эх, если бы не учитель! — повторял он несколько раз сам себе. — Ну, что бы задумать ему немного позже влюбиться?..» И, в задумчивости, тихими шагами он мерял широкий выгон, по которому бежала его дорога. Разноголосный лай прорезал облекавшую

его тучу задумчивости, и мысли его, как дикие утки, переполошась, разлетелись во все стороны. Подняв глаза, увидел он, что далее итти некуда. Перед ним торчали ворота, сквозь которые, как сквозь транспарант, светилось все недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска, огненная лента… Сердце в нем вспрыгнуло… и белокурая красавица, разгоняя хворостиной докучных собак, встретила его, отворяя ворота.

Двор Харька представлял собою большой, на покатости к пруду, квадрат, обнесенный со всех сторон плетнем. Когда ворота были отперты, глаза ударялись прямо в чисто выбеленную хату с большими, неровной величины, окнами, с почерневшею от старости дубовою дверью, с низеньким из глины фундаментом (*присьбою*), обремененным, по обыкновению малороссиян, бельем, мисками и каким-нибудь инвалидом-горшком, которому, несмотря на раны и увечье, не дают отставки и, в награду за ревностную службу, наливают помоями. По сторонам избы стояли с растрепанными крышами хлевы и амбары. Из-за хаты возвышалось гумно; из-за гумна еще выше подымалась голубятня, сверх которой уже ходили только одни облака и плавали голуби. К пруду, как богатая турецкая шаль, развернулся

огород козака. Кучи соломы разнесены были по всему двору.

Катерина показалась немного удивленною приходом Ониська. Полагая, что его, без всякого сомнения, завлекла нужда к ее отцу, отворила вполовину только ворота и проговорила с некоторою застенчивостью: «*Батька* нет дома, да вряд ли и к вечеру будет».

«*Нехай ему так легенько икнеться, як з тыну ввирветься*! Что бы я был за олух царя небесного, когда бы стал убирать постную кашу, когда перед самым носом вареники в сметане?»

Белокурая красавица остановилась в недоумении, не зная, как понимать слова его. Улыбка, вызванная наружу этою странностью, показалась на лице ее и ожидала, казалось, изъяснения.

Кухмистер почувствовал сам, что выразился не совсем ясно и притом помянул отца ее немного шероховатыми словами; он продолжал: «Нелегкая понесла бы меня к *батьке,* когда есть такая хорошенькая дочка».

«А, вот что! — проговорила Катерина, усмехнувшись и покраснев. — Милости просим!» — и пошла вперед его к дверям хаты.

Девушки в Малороссии имеют гораздо более свободы, нежели где-либо, и потому не должно

показаться удивительным, что красавица наша, без ведома отца, принимала у себя гостя. «Ты пешком сюда пришел, Онисько?» — спросила она его, садясь на *присьбе* у дверей хаты и стараясь принять степенный вид, хотя лукавая улыбка явно изменяла ей и заставляла против воли показать ряд красивых зубов.

«Как пешком? Что за нелегкая, неужели она знает про вчерашнее? — подумал кухмистер. — Без всякого сомнения, пешком, моя красавица. Черт ли бы заставил меня запрягать нарочно панского *гнедого,* чтобы только перетащиться из одного двора в другой».

«Однако ж от кухни до *коморы* не так-то далеко».

Тут, не удержавшись более, она захохотала.

«Нет, плутовка! сам лукавый не хитрее этой девки!» — повторил сам себе несколько раз кухмистер и громогласно послал учителя к черту, позабыв и приязнь, и дружбу их.

«Однако ж, моя красавица, я бы согласился, чтобы у меня пригорели на сковороде караси с свежепросольными *опенками,* лишь бы только ты еще раз этак засмеялась».

Сказав это, кухмистер не утерпел, чтоб не обнять ее.

«Вот этого-то я уж и не люблю! — вскрикнула, покраснев, Катерина и приняв на себя сердитый вид. — Ей-богу, Онисько, если ты в другой раз это сделаешь, то я прямехонько пущу тебе в голову вот этот горшок».

При сем слове сердитое личико немного прояснело, и улыбка, мгновенно проскользнувшая по нем, выговорила ясно: «Я не в состоянии буду этого сделать».

«Полно же, полно! *не возом зацепил тебя.* Есть из чего сердиться! как будто, бог знает, какая беда — обнять красную девушку».

«Смотри, Онисько: я не сержусь, — сказала она, садясь немного от него подалее и приняв снова веселый вид. — Да что ты, послышалось мне, упомянул про учителя?»

Тут лицо кухмистера сделало самую жалкую мину и, по крайней мере, на вершок вытянулось длиннее обыкновенного. «Учитель… Иван Осипович, то есть… Тьфу, дьявольщина! у меня, как будто после запеканки, слова глотаются прежде, нежели успевают выскочить изо рта. Учитель…вот что я тебе скажу, *сердце*! Иван Осипович *вклепался*[263] в тебя так, что… ну, сло-

[263] Примечания: 263
То есть, влюбился.

вом — рассказать нельзя. Кручинится да горюет, как покойная бурая, которую *пани* купила у жида и которая околела после *запала.* Что делать? сжалился над бедным человеком: пришел наудачу похлопотать за него».

«Хорошую же ты выбрал себе должность! — прервала Катерина с некоторою досадой. — Разве ты ему сват, или *родич* какой? Я советовала бы тебе еще набрать изо всего околотка бродяг к себе в кухню, а самому отправиться по-миру выпрашивать под окнами для них милостины».

«Да это все так; однако ж я знаю, что тебе любо, и слишком любо, что вздумалось учителю приволокнуться…»

«Мне любо? Слушай, Онисько, если ты говоришь с тем, чтобы посмеяться надо мною, то с этого мало тебе прибудет. Стыдно тебе же, что ты обносишь бедную девушку! Если же вправду так думаешь, то ты, верно, уже наиглупейший изо всего села. Слава богу, я еще не ослепла; слава богу, я еще при своем уме… Но ты не сдуру это сказал: я знаю, тебя другое что-то заставило. Ты, верно, думал… Нет, ты недобрый человек!»

Сказав это, она отерла шитым рукавом своей сорочки слезу, мгновенно блеснувшую и прокатившуюся по жарко зардевшейся щечке, будто

падающая звезда по теплому вечернему небу.

«Черт побери всех на свете учителей!» — думал про себя Онисько, глядя на зардевшееся личико Катерины, на котором по-прежнему показавшаяся улыбка долго спорила с неприятным чувством и, наконец, рассеяла его.

«Убей меня гром на этом самом месте! — вскричал он наконец, не могши преодолеть внутреннего волнения и обхватывая одной рукою кругленький стан ее. — Если я не так же рад тому, что ты не любишь Ивана Осиповича, как старый *Бровко,* когда я вынесу ему помои».

«Нашел, чему радоваться! поэтому ты станешь еще более скалить зубы, когда услышишь, что почти все девушки нашего села говорят то же».

«Нет, Катерина, этого не говори. Девушки-то любят его. Намедни шли мы с ним через село, так то и дело, что выглядывают из-за плетня, словно лягушки из болота. Глянь направо — так и пропала, а с левой стороны выглядывает другая. Только дьявол побери их вместе с учителем. Я бы отдал штоф лучшей третьепробной водки, чтоб узнать от тебя, Катерина, любишь ли ты меня хоть на копейку?»

«Не знаю, люблю ли я тебя; знаю только, что ни за что бы на свете не вышла за пьяницу. Кому

любо жить с ним? Несчастная доля семье той, где выберется такой человек; в хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодные дети плачут… Нет, нет, нет! Пусть бог милует! Дрожь обдает меня при одной мысли об этом…»

Тут прекрасная Катерина пристально взглянула на него. Как осужденный, с поникнутою головою, погрузился кухмистер в свое протекшее. Тяжелые думы, порождения тайного угрызения сердечного, вырезывались на лице его и показывали ясно, что на душе у него не слишком было радостно. Пронзительный взор Катерины, казалось, прожигал его внутренность и подымал наружу все разгульные поступки, проходившие перед ним длинною, почти бесконечною цепью.

«В самом деле, на что я похож? кому угодно житье мое? только что досаждаю *пании.* Что я сделал до сих пор такого, за что бы сказал мне спасибо добрый человек? Все гулял да гулял. Да гулял ли когда-нибудь так, чтобы и на душе, и на сердце было весело? Напьешься, как собака, да и протрезвишься тоже, как собака, если не протрезвят тебя еще хуже. Нет! прах возьми… собачья моя жизнь!»

Прелестная Катерина, казалось, угадывала его философские рассуждения с самим собою, и по-

тому, положив на плечо ему смугленькую руку свою, прошептала вполголоса: «Не правда ли, Онисько, ты не станешь более пить?»

«Не стану, мое *серденько*! не стану; пусть ему всякая всячина! Все для тебя готов сделать».

Девушка посмотрела на него умильно, и восхищенный кухмистер бросился обнимать ее, осыпая градом поцелуев, какими давно не оглашался мирный и спокойный огород Харька.

Едва только влюбленные поцелуи успели раздаться, как звонкий и пронзительный голос страшнее грома поразил слух разнежившихся. Подняв глаза, кухмистер с ужасом увидел стоявшую на плетне Симониху.

«Славно! славно! Ай да ребята! У нас по селу еще и не знают, как парни целуются с девками, когда батька нет дома! Славно! Ай да мандрыковская овечка! Говорите же теперь, что лжет поговорка: в тихом омуте черти водятся. Так вот что деется! так вот какие шашни!..»

Со слезами на глазах принуждена была красавица уйти в хату, зная, что ничем иным нельзя было избавиться от ядовитых речей содержательницы шинка.

«Типун бы тебе под язык, старая ведьма! — проговорил кухмистер. — Тебе какое дело?»

«Мне какое дело? — продолжала неутомимая шинкарка. — Вот прекрасно! Парни изволят лазить через плетни в чужие огороды, девки подманивают к себе молодцов, — и мне нет дела! Изволят *женихаться*, целуются, — и мне нет дела! Ты слышал ли, Карпо? — вскричала она, быстро оборотясь к мимо проходившему мужику, который, не обращая ни на что внимания, шел, помахивая батогом, впереди так же медленно выступавшей коровы. — Слышал ли ты? постой на минуточку. Тут такая история. Харькова дочка…»

«Тьфу, дьявол! — вскричал кухмистер, плюнув в сторону и потеряв последнее терпение. — Сам сатана перерядился в эту бабу. Постой, Яга! разве не найду уже, чем отплатить тебе».

Тут кухмистер наш занес ногу на плетень и в одно мгновение очутился в панском саду.

Было уже не рано, когда он пришел на кухню и принялся стряпать ужин. Евдоха, однако ж, не могла не заметить во всем необыкновенной его рассеянности. Часто задумчивый кухмистер подливал уксусу в сметанную кашу или с важным видом надвигал свою шапку на вертел и хотел жарить ее вместо курицы. За ужином Анна Ивановна никак не могла понять, отчего каша была кисла до невероятности, а соус так пересолен, что

не было никакой возможности взять в рот. Единственно только из уважения к понесенным им в тот день трудам оставили его в покое: в другое время это не прошло бы даром нашему герою.

«Нет, господин учитель! — твердил он, ложась на свою деревянную лавку и подмащивая под голову свою куртку. — Не видать вам Катерины, как ушей своих!» И, завернув голову, как доморощенный гусь, погрузился в мечты, а с ними и в сон.

Гетьман
<I>. <Несколько глав из неоконченной повести>
<Глава 1>

Был апрель 1645 года, время, когда природа в Малороссии похожа на первый день своего творения; самая нежная зелень убирала очнувшиеся деревья и степи. Этот день был перед самым воскресеньем Христовым. Он уже прошел, потому что молодая ночь давно уже обнимала землю, а чистый девственный воздух, разносивший дыхание весны, веял сильнее. Сквозь жидкую сеть вишневых листьев мелькали в огне окна деревянной церкви села Комишны. Старая, ис-

терзанная временем, покрытая мохом церковь будто обновилась; вокруг ее, как рои пчел, толпились козаки из ближних и дальних хуторов, из которых едва десятая часть поместилась в церкве. Было душно; но что-то говорило светлым торжеством. Автор просит читателей вообразить себе эту картину XVII столетия. Мужественные, худощавые, с резкими чертами, ли́ца и бритые головы, опустившиеся вниз усы, падавшие на грудь, широкие плечи, атлетическая сила, при каждом почти заткнутый за пояс пистолет и сабля показывали уже, в какую эпоху собрались козаки. Странно было глядеть на это море голов, почти не волновавшееся. Благоговейное чувство обнимало зрителя. Все здесь собравшееся было характер и воля; но и то, и другое было тихо и безмолвно. Свет паникадила, отбрасываясь на всех, придавал еще сильнее выражение лицам. Это была картина великого художника, вся полная движения, жизни, действия и между тем неподвижная. Почти незаметно прибавилось одно новое лицо к молящимся. Оно возвышалось над другими почти целою головою; какой-то крепкий, смелый оклад, какая-то легкая беспечность выказывалась на нем. Оно было спокойно и вместе так живо, что, взглянувши, ожидал бы непременно услышать

от него слово, чтобы увидеть его изменившимся, как будто бы оно непременно должно было все заговорить конвульсиями. Но между тем как все мало-помалу начали обращаться на него, вся масса двинулась из храма, для торжественного хода вокруг церкви, и замечательная физиономия смешалась с другими, выходя по церковной лестнице. У самого крыльца стояли несколько жидов, содержавшие, по воле польского правительства, откуп, и спорили между собою, намечая мелом пасхи, приносимые для освящения христианами. Нужно было видеть, как на лице каждого выходившего дрогнули скулы. Это постановление правительства было уже давно объявлено; народ с ропотом, но покорился силе. Оппозиционисты были ниспровержены. К этому, кажется, все уже привыкли, зная, что это так; но, несмотря на это, при виде этого постановления, приводимого в исполнение, он так изумился, как будто бы это была новость. Так преступник, знающий о своем осуждении на смерть, еще движется, еще думает о своих делах; но прочитанный приговор разом разрушает в нем жизнь. После перемены в лице, рука каждого невольно опустилась к кинжалу или к пистолетам. Но ход окончился; все спокойно вошли в церковь, при пении: *«Христос*

воскресе из мертвых!» Между тем совершенно наступило утро. Выстрелы из пистолетов и мушкетов потрясали деревянные стены церкви. На всех лицах просияла радость: у одних при мысли о пасхе, у девушек при целованьи с козаками, <у тех> при попойке, как вдруг страшный шум извне заставил многих выйти. Перед разрушившеюся церковью собрались в кучу, из которой раздавались брань и крик жидов. Три жида отбирали у дряхлого, поседевшего, как лунь, козака пасху, яйца и барана, утверждая, что он не вносил за них денег. За старика вступилось двое, стоявших около него; к ним пристали еще, и наконец целая толпа готовилась задавить жидов, если бы тот же самый широкоплечий, высокого росту, чья физиономия так поразила находившихся в церкве, не остановил одним своим мощным взглядом. «Чего вы, хлопцы, сдуру беснуетесь? У вас, видно, нет ни на волос божьего страха. Люди стоят в церкви и молятся, а вы тут, черт знает, что делаете. Гайда по местам!» Послушно все, как овцы, разбрелись по своим местам, рассуждая, что это за чудо такое, откудова оно взялось и с какой стати ввязывается он, куда его не просят, и отчего он хочет, чтобы слушались. Но это каждый только думал, а не сказал вслух. Взгляд и голос незнакомца как буд-

то имели волшебство: так были повелительны. Один жид стоял только, не отходя, и как скоро оправился от первого страха незванною помощью, начал было снова приступать, как тот же самый и схватил его могучею рукою за ворот так, что бедный потомок Израилев съежился и присел на колени. «Ты чего хочешь, свиное ухо? Так тебе еще мало, что душа осталась в галанцах? Ступай же, тебе говорю, поганая жидóвина, пока не оборвал тебе пейсики». После того толкнул он его, и жид расстлался на земле, как лягушка. Приподнявшись же немного, пустился бежать; спустя несколько времени, возвратился с начальником польских улан. Это был довольно рослый поляк, с глупо-дерзкою физиономиею, которая всегда почти отличает полицейских служителей. «Что это? Как это?.. Гунство, терем-те-те? Зачем драка, холопство проклятое? Лысый бес в кашу с смальцем! Разве? Что вы? Что тут драка? Порвал бы вас собака!..» Блюститель порядка не знал бы, куда обратиться и на кого излить поток своих наставлений, приправляемых бранью, если бы жид не подвел его к старику козаку, которого волосы, вздуваемые ветром, как снежный иней серебрились. «Что ты, глупый холоп, вздумал? Что ты начал драку? Басе мазенята, гунство! Зна-

ешь ты, что жид? Гунство проклятое!.. Знаешь, что борода поповская не стоит подошвы?.. Черт бы тебя схватил в бане за пуп!.. У него еломец краше, чем ваша *холопска вяра*...» Тут он схватил за волосы старца и выдернул клок серебряных волос его...

Глухое стенание испустил старый козак.

«Бей еще! Сам я виноват, что дожил до таких лет, что и счет уже им потерял. Сто лет, а может и больше, тому назад, меня драли за чуб, когда я был хлопцем у батька. Теперь опять бьют. Видно, снова воротились лета мои... Только нет, не то, не в силах теперь и руки поднять. Бей же меня!..» При сих словах стодвадцатилетний старец наклонил свою белую голову на руки, сложенные крестом на палке, и, подпершись ею, долго стоял в живописном положении. В словах старца было невероятно трогательное. Заметно было, что многие хватились рукою за сабли и пистолеты, но вид стольких усатых уланов на лошадях и несколько слов, сказанных незнакомцем, заставили всех принять положение молельщиков и креститься.

«Что ты врешь, глупый мужик, терем-те-те! Что<бы> я на тебе руки поганил, гунство проклятое! Лысый бес рогатый тебе в кашу! Гершко! возьми от него пасху! Пусть его одним овсяным

сухарем разговеется. Вишь, гунство проклятое! — говорил блюститель правосудия, подвигаясь к ряду девичьему и ущипнув одну из них за руку. — Что за драка? Ох, славная девка! Вишь, драку!.. Ай да Параска! Ай да Пидорка! Вишь, глупый мужик… порвал бы его собака!.. Ай, ай, ай! Сколько тут жиру!..» Блюститель порядка, верно, себе позволил нескромность, потому что одна из девушек вскрикнула во все горло. В это время пасхи были освящены, и обедня кончилась, и многие уже стали расходиться. Несколько только народу обступило козака, так заинтересовавшего толпу, который между тем подходил к исправлявшему звание алгиазила.

«Славный у тебя ус, пан!» — проговорил он, подступив к нему близко.

«Хороший! У тебя, холопа, не будет такого», — произнес он, расправляя его рукою. «Славный! Только не туда ты, пан, крутишь его. Вот куда нужно крутить!» — Мощный козак дернул сильною рукою так, что половина уса осталась у него. Старый волокита закряхтел и заревел от боли. Лицо его сделалось цвета вареной свеклы. «Рубите его, рубите, лайдака!» — кричал он, но почувствовал себя в руках высокого козака, и увидя насмешливые лица всех, стал искать гла-

замами своих воинов. Малеванный шут струсил…

«Как же тебе, пан, не совестно бить такого старика! А если бы твоего старого отца кто-нибудь стал бесчестить так поносно при всех, как ты обесчестил старейшего из всех нас? что тогда? Весело тебе было бы терпеть это? Ступай, пан! Если бы ты не у короля в службе был, я бы тебя не выпустил живого». Выпущенный пленник побежал, отряхиваясь. За ним следом повалил народ. Между тем козак <*2 нрзб*> отвязавши коня, привязанного к церковной ограде, готовился сесть, как был остановлен среднего роста воином, поседевшим человеком, который долго не отводил от него внимания и заглядывал ему в глаза с таким любопытством, как иногда собака, когда видит ядущего хлеб. «Добродию! ведь я вас знаю». — «Может быть, и правда». — «Ей-богу, знаю. Не скажу, таки точно знаю. Ей-богу, знаю! Чи вы Остраница, чи вы Омельченко?» — «Может, и он». — «Ну, так! Я стою в церкви и говорю: вот то, что стоит возле его, то Остраница. Ей-ей, Остраница. Да, может быть, и нет. Может быть и не Остраница. Нет, Остраница. Ей, тебе так показалось! Ну, как нет? Остраница да и Остраница. Как только послушал голос, ну, тогда и рукою махнул. Вот так, точнехонько покойный батюш-

ка — пусть ему легко икнется на том свете! — так же разумно, бывало, каждое слово отметит».

Остраница внимательно начал в него всматриваться и нашел точно что-то знакомое. Небольшое продолговатое лицо его было уже прорыто морщинами. Нос, загнувшись вниз, придавал ему несколько горбатое сложение и неподвижность членам; но зато узенькие серые глаза продирались довольно увертливо сквозь чащу насунувшихся бровей, которые, верно, придали бы лицу суровый вид, если бы нижняя часть лица, что-то простодушное и веселое в губах, не давали ему противного выражения. Под кобеняком, надетым в рукава, виден был овчинный кожух, хотя воздух был довольно тепел и день был жарок.

«Я верю и не верю, что вижу опять вас. А что́, добродию, — не во гнев будь сказано, — прошу извинить, только хотел бы узнать, что́ сделалось с теми, которые пошли с вами? Что́ Дигтяй, Кузубия? Воротились ли они с вами, или там остались, или ворон, может, где-нибудь доедает козацки косточки?»

«Дигтяй твой сидит на колу у турецкого султана, а Кузубия гуляет с рыбами на дне Сиваша и тянет гнилую воду вместо горелки… Но… ну, после об этом поговорим. Я тебя тоже узнал.

Здравствуй, старый Пудько! Христос воскресе!»

«Воистину воскресе! — говорил, целуясь, Пудько. — Как на то, и крашанки нет. Жинка давала, побоялся взять: народу такое множество… передавил бы на кисель. Так, добродию, как будто сердце знало…»

«Ты, ты по-прежнему торгуешь всякою дрянью?»

«А что ж делать? Нужно торговать. Еще слава богу, что продал табак. Прошлого году отец с полвоза накупил кремней, дроби, пороху, серы, ну и всего, что до мизерии относится. Напросился на дороге жидок один. «Свези, человече, на Хыякивску ярмарку, — дам три рубля!» Свез его как доброго, и надул проклятый жидок, ей-богу, надул! Хоть бы чвертку горелки дал, гаспид лысый. Знаете, что у меня чуть было ляхи не отняли всего скота. Кобылу взяли под верх вербуна. Теперь у меня только и конины, что Гнедко, — примолвил он, садясь на гнедого коня и видя, что Остраница поворотил коня ехать. — Эх, добродию! Если бы теперь кто сказал: «А ну, старый, гайда на войну бить ляхов!» — все бы продал, и жинку, и детей бы покинул, пошел бы в компанейство». При этом Пудько выпрямился и поскакал за Остраницею, который пришпорил сильнее коня своего.

«Скажите, добродию, пане сотнику, — говорил он, поровнявшись с ним, — может, вы теперь уже и не сотник, в другой роте какой значитесь? Скажите, до какой это поры дожили, что уже и храмы божии взяло на откуп жидовство? Как же это, добродию, не обидно? Каково было снесть всякому христианину, что горелка находится у врагов христианства? А теперь и храмы божии! Тут, добродию, нужно нам взять вправо, ибо мимо валу нет уже проезду. Да, и забыл, что он при вас был подкопан. Говорят, как свечка полетел под самое небо. Боже ты мой! сколько народу перемерло! Так и Дигтяй, вы говорите, теперь сидит на колу? И Кузубия потонул? А какой важный, какой сильный народ был! Сколько, подумаешь, пропадает козачества! Вы слышите, как постукивают хлопци из мушкетов, что земля дрожит? Мы сейчас будем ехать мимо площади, где веселится народ. Если вы в хутор свой едете, добродию, то и я с вами. Лучше там разговеюсь святою пасхою, чем дома с бабами. Пусть жинка и дочка остаются сами. Верно, добродию, что произошло меж народом, потому что все столпились в кучу и бросили всякое гулянье». В самом деле, на открывшейся в это время из-за хат площади народ сросся в одну кучу. Качели, стрельба и игры

были оставлены. Остраница, взглянувши, тотчас увидел причину: на шесте был повешен, вверх ногами, жид, тот самый, которого он освободил из рук разгневанного народа. На ту же самую виселицу тащили храбреца с оборванным усом. Остраница ужаснулся, увидев это. «Нужно поспешить, — говорил он, пришпорив коня. — Народ не знает сам, что делает. Дурни! Это на их же головы рушится. Стойте, козаки, рыцарство и посполитый народ! Разве этак по-козацки делается?» — произнес он, возвыся голос. «Что смотреть его! — послышался говор между молодежью. — В другой раз хочет у нас вытащить из рук». — «Послушайте, у кого есть свой разум». — «Он правду говорит», — говорило несколько умеренных. «Молоды вы еще; я вам расскажу, как делают по-козацки. Когда один да выйдет против трех, то бравый козак; против десяти — еще лучше; один против одного — не штука; когда ж три на одного нападут, то все не козаки. Бабы они тогда, то, что… плюнуть хочется; для святого праздника не скажу страмного слова. Как же хочете, теперь, братцы, напасть гурьбою на беззащитного, как будто на какую крепость страшную? Спрашиваю вас, братцы, — продолжал Остраница, заметив внимание, — как назвать тех?..» — «А чем назвать

его?» — заговорили многие вполголоса. — Что ж есть хуже бабы, или того, что он постыдился сказать? мы не знаем». — «Э, не к тому речь, паноче, своротил, — произнесло в голос несколько парубков. — Что ж? Разве мы должны позволить, чтоб всякая падаль топтала нас ногами?» — «Глупы вы еще: не велик, видно, ус у вас», — продолжал Остраница. При этом многие ухватились за усы и стали покручивать их, как бы в опровержение сказанного им. «Слушайте, я расскажу вам одну присказку. Один школяр учился у одного дьяка. Тому школяру не далось слово божье. Верно, он был придурковат, а может быть и лень тому мешала. Дьяк его поколотил дубинкою раз, а после в другой, а там и в третий. «Крепко бьется проклятая дубина», — сказал школяр, принес секиру и изрубил ее в куски. «Постой же ты!» — сказал дьяк, да и вырубил дубину, толщиною в оглоблю, и так погладил ему бока, что и теперь еще болят. Кто ж тут виноват: дубина разве?» «Нет, нет, — кричала толпа. — Тут виноват, виноват король!..»

Радуясь, что наконец удалось успокоить народ и спасти шляхтича, Остраница выехал из местечка и пришпорил коня сильнее, и услышал, что его нагоняет Пудько. Как-то тягостно ему было ви-

деть возле себя другого. Множество скопившихся чувств нудило его к раздумью. Свежий, тихий весенний воздух и притом нежно одевающиеся деревья как-то расположили в такое состояние, когда всякий товарищ бывает скучен в глазах вечно упоительной природы. И потому Остраница выдумал предлог отослать вперед Пудька в хутор и ожидать его там, а сам, сказав, что ему еще нужно заехать к одному пану, поворотил с дороги.

Этим распоряжением Пудько, кажется, не был недоволен, или, может, только принял на себя такой вид, потому что чрез это нимало не изменял любимой привычке своей говорить. Вся разница, что вместо Остраницы он все это пересказывал своему Гнедку… «О, это разумная голова! Ты еще не знаешь его, Гнедко! Он тогда еще, когда было поднялось все наше рыцарство на ляхов, он славную им дал перепойку. Дали б и они ему перцу, когда бы не улизнул на Запорожье. А правда, не важно жид болтается на виселице? А пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него недостает одной клепки в голове; ну, да что ж делать? Он от короля поставлен. Может, ты еще спросишь, за что ж жида повесили? ведь и он от короля поставлен? Гм!.. ведь ты дурак, Гнедко!

Он зато враг Христов, нашего бога святого». Тут он ударил хлыстом своего скромного слушателя: убаюкиваемый его россказнями, <конь> развесил уши и начал ступать уже шагом. «Оно не так далеко и хутор, а все лучше раньше поспеть. Уже давно пора, хочется разговеться святою пасхою. Говори, мол: мне не пасхи, мне овса подавай. Потерпи немножко: у пана славный овес, и пшеницы дам вволю, а <меня> сивухою попотчивают. Я давно хотел у тебя спросить, Гнедко, что лучше для тебя, пшеница или овес? Молчишь? Ну, и будешь же век молчать, потому что бог повелел <говорить> только человеку, да еще одной маленькой пташке…»

При этом он опять хлеснул Гнедка, заметив, что он заслушался и стал выступать по-прежнему… Но, вместо того, чтобы слушать рассуждения наших путешественников на седле и под седлом, обратимся к Остранице, давно скакавшему по проселочной дороге.

<Глава 2>

Как только рыцарь потерял из виду своего сотоварища, тотчас остановил рысь коня своего и поехал шагом. Солнце показывало полдень. День

был ясный, как душа младенца. Изредка два или три небольших облака, повиснув, еще более увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солнечные были осязательно живительны; ветру не было, но щеки чувствовали какое-то тонкое влияние свежести. Птицы чиликали и перепархивали по недавно разрытым нивам, на которых стройно, как будто лес житных игол, восходил молодой посев. Дорога входила в рытвины и была с обеих сторон сжата крутыми глинистыми стенами. Без сомнения, очень давно была прорыта эта дорога в горе, потому что по обеим сторонам обрыва поросла орешником, на самой же горе подымались по обеим сторонам высокие, как стрела, осокори. Иногда перемеживала их лоза, вся в отпрысках, иногда дуб толстый, которому сто лет, и весь убранный павиликой, плющом, величаво расширял свою <верхушку?> над ними, и казался еще выше от обросшего кустами подмостка. Местами дикая яблоня протягивалась искривленными своими кудрявыми ветвями на противуположную сторону и образовала над головою свод, и сыпала на голову путешественника серебророзовые цветы свои, между тем как из дерев часто выглядывал обрыв, весь в цветах и самых нежных первенцах весны. В другом месте

деревья так тесно и часто перемешивались между собою, что образовали, несмотря на молодость листьев, совершенный мрак, на котором резко зеленели обхваченные лучами солнца молодые ветви. Здесь было изумительное разнообразие: листья осины трепетали под самым небом; клен простирал свои листья, похожие на зеленые лапки, узколиственный ясень рябил еще более, а терновник и дикий глод, оградивши их колючею стеною, скрывал пышные стволы и сучья, и только очень редко северная береза высовывала из <чащи?> часть своего ослепительного, как рука красавицы, ствола. Уже дорога становилась шире, и наконец открылась равнина, раздольная, ограниченная, как рамами, синеватыми вдали горами и лесами, сквозь которые искрами серебра блестела прерванная нить реки и под нею стлались хутора. Здесь путешественник наш остановился, встал с коня и, как будто в усталости или в желании собраться с мыслями, стал поваживать по лбу. Долго стоял он в таком положении, наконец, как бы решившись на что, сел на коня и, уже не останавливаясь более, поехал в ту сторону, где на косогоре синели сады и, по мере приближения, становились белее разбросанные хаты. Посреди хутора, над прудом, находилась, вся закрытая

вишневыми и сливными деревьями, светлица. Очеретяная ее крыша, местами поросшая зеленью, на которой ярко отливалась желтая свежая заплата, с белою трубою, покрытою китайскою черною крышею, была очень хороша. В ту минуту солнце стало кидать лучи уже вечерние, и тогда нежный серебророзовый колер цветущих дерев становился пурпурным. Путешественник слез с коня и, держа его за повод, пошел пешком через плотину, стараясь итти как можно тише. Полощущиеся утки покрывали пруд; через плотину девочка лет семи гнала гусей.

«Дома пан?» — спросил путешественник.

«Дома», — отвечала девочка, разинув рот и став совершенно в машинальное положение.

«А пани?»

«И пани дома».

«А панночка?» — Это слово произнес путешественник как-то тише и с каким-то страхом.

«И панночка дома».

«Умная девочка! Я дам тебе пряник. А как сделаешь то, что я скажу, дам и другой, еще и злотый».

«Дай!» — говорила простодушно девочка, протягивая руку.

«Дам, только пойди наперед к панночке и скажи, чтоб она на минуту вышла; скажи, что

одна баба старая дожидается ее. Слышишь? Ну, скажешь ли ты так?» — «Скажу». — «Как же ты скажешь ей?» — «Не знаю». Рыцарь засмеялся и повторил ей снова те самые слова; и, наконец, уверившись, что она совершенно поняла, отпустил ее вперед, а сам, в ожидании, сел под вербою.

Не прошло несколько минут, как мелькнула между деревьев белая сорочка, и девушка лет осьмнадцати стала спускаться к гребле. Шелковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали стан ее, так что формы ее были как будто отлиты. Стройная роскошь совершенно нежных <членов> не была скрыта. Широкие рукава, шитые красным шелком и все в мережках, спускались с плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, как спеющее яблоко, тогда как на груди под сорочкою упруго трепетали молодые перси. Сходя на плотину, она подняла дотоле опущенную голову, и черные очи и брови мелькнули как молния. Это не была совершенно правильная голова, правильное лицо, совершенно приближавшееся к греческому: ничего в ней не было законно, прекрасно-правильно; ни одна черта лица, ничто не соответствовало с положенными правилами красоты. Но в этом

своенравном, несколько смугловатом лице что-то было такое, что вдруг поражало. Всякий взгляд ее полонил сердце, душа занималась, и дыхание отрывисто становилось.

«Откудова ты, человек добрый?» — спросила она, увидев козака.

«А из Запорожья, панночка; зашел сюда по просьбе одного пана, коли милости вашей известно, — Остраницы».

Девушка вспыхнула. «А ты видел его?» — «Видел. Слушай…» — «Нет, говори по правде! Еще раз: видел?» — «Видел». — «Забожись!» — «Ейбогу!» — «Ну, теперь я верю, — повторила она, немного успокоившись. — Где ж ты его видел? Что, он не позабыл меня?» — «Тебя позабыть, моя Ганночко, мое серденько, дорогой ты кристалл мой, голубочко моя! Разве хочется мне быть растоптану татарским конем?..» Тут он схватил ее за руки и посадил подле себя. Удивление девушки так было велико, что она краснела и бледнела, не произнося ни одного слова. «Как ты сюда прилетел? — говорила она шепотом. — Тебя поймают. Еще никто не позабыл про тебя. Ляхи еще не вышли из Украины». — «Не бойся, моя голубочка, я не один, не поймают. Со мною соберется кой-кто из наших. Слушай, Галю: любишь ли ты меня?»

«Люблю», — отвечала она и склонила к нему на грудь разгоревшееся лицо. «Когда любишь, слушай же, что я скажу тебе: убежим отсюда! Мы поедем в Польшу к королю. Он, верно, даст мне землю. Не то поедем хоть в Галицию, или хоть к султану; и он даст мне землю. Мы с тобою не разлучимся тогда и заживем так же хорошо, еще лучше, чем тут на хуторах наших. Золота у меня много, ходить есть в чем, — сукон, епанечек, чего захочешь только». — «Нет, нет, козак, — говорила она, кивая головою с грустным выражением в лице. — Не пойду с тобою. Пусть у тебя и золото, и сукна, и едамашки. Хотя я тебя больше люблю, чем все сокровища, но не пойду. Как я оставлю престарелую бедную мать мою? Кто приглядит за нею? «Глядите, люди, — скажет она, — как бросила меня родная дочка моя!» Слезы покатились по ее щекам.

«Мы не надолго ее оставим, — говорил Остраница. — Только год один пробудем на Перекопе или на Запорожьи, а тогда я выхлопочу грамоту от короля и шляхетства, и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажет ничего и отец твой».

Галя качала головою все с тою же грустью и слезами на глазах.

«Тогда мы оба станем присматривать за ма-

терью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старее твоей. Но я не сижу с ней вместе. Придет время, женюсь, — тогда и не то будет со мною».

«Нет, полно. Ты не то, ты — козак; тебе подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чем тебе не думать. Если б я была козаком, и я бы закурила люльку, села на коня — и все мне» (при этом она махнула грациозно рукой) «трын-трава! Но что будешь делать? я козачка. У бога не вымолишь, чтоб переменил долю… Еще бы я кинула, может быть, когда бы она была на руках у добрых людей, хоть даже одна; но ты знаешь, каков отец мой. Он прибьет ее; жизнь ее, бедненькой моей матери, будет горше полыни. Она и то говорит: «Видно, скоро поставят надо мною крест, потому что мне все снится, то, что она замуж выходит, то, что рядят ее в богатое платье, но все с черными пятнами».

«Может быть, тебе оттого так жаль своей матери, что ты не любишь меня», — говорил Остраница, поворотив голову на сторону.

«Я не люблю тебя? Гляди: я как хмелинонька около дуба, вьюсь к тебе, — говорила она, обвивая его руками. — Я без тебя не живу».

«Может быть, вместо меня, какой-нибудь другой с шпорами, с золотою кистью?.. что доброго,

может быть и лях?»

«Тарас, Тарас! пощади, помилуй! Мало я плакала по тебе! Зачем ты укоряешь меня так?» — сказала она, почти упав на колени и в слезах.

«О, ваш род таков, — продолжал все так же Остраница. — Вы, когда захотите, подымете такой вой, как десять волчиц, и слез, когда захотите, напускаете вволю, хоть ведра подставляй, а как на деле…»

«Ну, чего ж тебе хочется? Скажи, что тебе нужно, чтоб я сделала?»

«Едешь со мною или нет?»

«Еду, еду!»

«Ну, вставай, полно плакать; встань, моя голубочка, Галочка! — говорил он, принимая ее на руки и осыпая поцелуями. — Ты теперь моя! Теперь я знаю, что тебя никто не отнимет. Не плачь, моя… За это согласен я, чтоб ты осталась с матерью до тех пор, пока не пройдет наше горе. Что делает отец твой?»

«Он спал в саду под грушею. Теперь, я слышу, ведут ему коня. Верно, он проснулся. Прощай! Советую тебе ехать скорее, и лучше не попадаться ему теперь: он на тебя сердит». При этом Ганна вскочила и побежала в светлицу… Остраница медленно садился на коня и, выехавши, обора-

чивался несколько раз назад, как <бы> желая вспомнить, не позабыл ли он чего, и уже поздно, почти около полуночи, достигнул он своего хутора.

<Глава 3>

Небо звездилось, но одеяние ночи было так темно, что рыцарь едва мог только приметить хаты, почти подъехав к самому хутору. В другое время путешественник наш верно бы досадовал на темноту, мешавшую взглянуть на знакомые хаты, сады, огороды, нивы, с которыми срослось его детство. Но теперь столько его занимали происшествия дня, что он не обращал внимания, не чувствовал, почти не заметил, как заливавшиеся со всех сторон собаки прыгали перед лошадью его так высоко, что, казалось, хотели ее укусить за морду. Так человек, которого будят, открывает на мгновение глаза и тотчас их смежает: он еще не разлучился со сном, ленивою рукою берется он за халат, но это движение для того только, чтобы обмануть разбудившего его, будто он хочет вставать; а между тем он еще весь в бреду и во сне, щеки его горят, можно читать целый водопад сновидений, и утро дышит свежестью, и лучи

солнца еще так живы и прохладны, как горный ключ. Конь сам собою ускорил шаг, угадав родимое стойло, и только одни приветливые ветви вишен, которые перекидывались через плетень, стеснявший узкую улицу, хлестая его по лицу, заставляли его иногда браться рукою. Но это движение было машинально. Тогда только, когда конь остановился под воротами, он очнулся. «Кто такой?..» Наконец ворота отворились. Остраница въехал в двор, но, к изумлению своему, чуть не наехал на трех уланов, спящих в мундирах. Это выгнало все мечты из головы его. Он терялся в догадках, откудова взялись польские уланы. Неужели успели уже узнать о его приезде? И кто бы мог открыть это? Если бы, точно, узнали, то как можно в таком скором времени совершить эту экспедицию? И где же делись его запорожцы, которые должны были еще утром поспеть в его хутор? Все это повергло его в такое недоумение, что <он> не знал, на что решиться: ехать ли опрометью назад, или остаться и узнать причину такой странности? Он был тронут тем самым, который отпер ему ворота. Первым движением его было схватиться за саблю, но, увидевши, что это запорожец, он опустил руку. «Но пойдемте, добродию, в светлицу: здесь не в обычае говорить, и

слишком многолюдно», — отвечал последний. В сенях вышла старая ключница, бывшая нянькою нашего героя, с каганцем в руках. Осмотревши с головы до ног, она начала ворчать: «Чего вас черт носит сюда? Все только пугают меня. Я думала, что наш пан приехал. Что вам нужно? Еще мало горелки выпили!» — «Дурна баба! рассмотри хорошенько: ведь это пан ваш». Горпина снова начала осматривать с ног до головы, наконец вскрикнула: «Да это ты, мой голубчик! Да это ж ты, моя матусенька! Да это ж ты, мой сокол! Как ты переменился весь! как же ты загорел! как же ты оброс! Да у тебя, я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не дал переменить». Тут Горпина рыдала навзрыд и подняла такой вой, что лай собак, который было начал стихать, удвоился. «Сумасшедшая баба! — говорил запорожец, отступивши и плюнувши ей прямо в глаза. — Чего сдуру ты заревела? Народ весь разбудишь». — «Довольно, Горпина, — прервал Остраница. — Вот тебе, гляди на меня! Ну, насмотрелась?» — «Насмотрелась, моя матинько родная! Как не наглядеться! Еще когда ты маленьким был, носила я на руках тебя, и как вырастал, все не спускала глаз, боже мой! А теперь вот опять вижу тебя! Охо, хо!» И старуха принялась рыдать.

«Слушай, Горпино! — сказал Остраница, приметив, что ключница для праздника наградила себя порядочной кружкой водки. — Лучше ты принеси закусить чего-нибудь и наперед подай святой пасхи потому, что я, грешный, целый день сегодня не ел ничего, и даже не попробовал пасхи».

«Да ты ж вот ото и пасхи не отведывал, бедная моя головонька! Несчастная горемыка я на этом свете! Охо, хо!» Тут потоки слез, разрешившись, хлынули целым водопадом, и, подперши щеку рукою, <ключница?> снова была готова завыть, если б не увидела над собою замахнувшейся руки запорожца.

«Добродию! позволь кием угомонить проклятую бабу! Что это за соромный народ! Пришла ж охота господу богу породить этакое племя! Или ему недосуг тогда был или бог знает, что ему тогда было…»

Остраница вошел между тем в светлицу и, снявши с себя кобеняк, бросился на ковер. Дорога, голод и встречи привели его в такую усталость, что он растянулся на нем в совершенной бесчувственности, не обращая ни на что глаз своих, а потому наше дело представить описание светлицы, замечательной тем, что постройка ее принадлежала еще деду. Очень замечательная

достопамятность в той стране, где древностей почти не было, где брани, вечные брани, производили жестокое опустошение и обращали в руины все то, что успевали сделать трудолюбие и общежительность. Это была просторная, более продолговатая, комната и вместе с тем низенькая, как обыкновенно строилось в тот век. Ничто в ней не говорило о прочности, как будто, кажется, строитель был твердо уверен, что ее существование должно быть эфемерно; но, однако ж, поправками, приделками ветхое строение простояло около 50 лет. Стены были очень тонки, вымазаны глиною и выбелены снаружи и внутри так ярко, что глаза едва могли выносить этот блеск. Весь пол в комнате был тоже вымазан глиною, но так был чисто выметен, что на нем можно было лечь, не опасаясь запылить платья. В углу комнаты, у дверей, находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ее, обращенная к окнам, была покрыта белыми изразцами, на которых синею краскою были нарисованы подобия человеческим лицам, с желтыми глазами и губами; другая сторона состояла из зеленых гладких изразцов. Окна были невелики, круглы; матовые стекла, пропуская свет, не давали видеть ничего происходящего на дворе. На стене висел портрет

деда Остраницы, воевавшего с знаменитым Баторием. Он был изображен почти во весь рост, в кольчуге, с парою <пистолетов>, заткнутою за пояс; нижняя часть ног до колен не была только видна. Потемневшие краски едва позволяли видеть суровое, мужественное лицо, которому жалость и все мягкое, казалось, было совершенно неизвестно. Над дверьми висела тоже небольшая картина, масляными красками, изображающая беззаботного запорожца с боченком водки, с надписью: «*Козак, душа правдивая, сорочки не мае*», которую и доныне можно иногда встретить в Малороссии. Против дверей — несколько икон, убранных калиною и зелеными цветами, а под ними на длинной деревянной доске нарисованы сцены из священного писания: тут был Авраам, прицеливающийся из пистолета в Исаака; святой Дамиян, сидящий на колу, и другие подобные. Подалее висело несколько турецких саблей, ружье и разной величины пистолеты; неподвижный под образами стол, накрытый чистою скатертью, шитою по краям красным шелком и потемневшим серебром; два странного вида складных стула. В этом состояло убранство комнаты… Остраница между тем теперь только заметил, что стол был уставлен деревянными блюдами с яйцами,

маслом и бараниною. Первым его делом было приблизиться к столу и утолить голод, который теперь начал сильнее докучать ему. В это время вошла старая ключница с пасхой, с сметаной, сыром… «Вот тебе, паночиньку мой, и розговены! Вот тебе и сметанка! — говорила <она>. — Куда ж как он проголодался, бедная дытына! Вот как не подавится, бедненький! А я-то думала, а я хлопотала, а я бегала, как бы ему, моему сердечному… А вот Господь сподобил, опять вижу тебя. Охо, хо, хо!» Горпина опять было хотела всплакнуть, но запорожец Пудько, который начал было подремывать, сидя возле насыщавшего свой голод рыцаря, устремил на нее глаза и проговорил: «Ну, ну, ну! попробуй только зареветь!..» Это остановило намерение Горпины… «Кушай, кушай, сынку мой! ешь на здоровье, ешь, я не мешаю тебе! Голубчик мой! Мы с тобою только раз христосовались. Похристосуемся, мое серденько, похристосуемся!..»

«Еще и христосоваться! — проговорил Пудько сквозь сон и схватил вместо пуги Горпинину ногу. — Пошла, проклятая баба!»

«Ступай, Горпино! полно тебе! — проговорил, поднявшись, Остраница. — А не то я, несмотря на то, что ты стара и что няньчила меня, сниму со

стены вот этот батог; видишь ты этот батог?» Горпина, которая привыкла бояться повелительного голоса своего пана, немедленно повиновалась. «Ну, Пудько, где ж Тарас? Что он делает? Что я его не вижу?» — «А что ж ему делать? Известно, что делает: спит где-нибудь». — «Ну, так пойдем же и мы спать! только не в душной хате, а на вольной земле, под небом». Запорожец натянул на себя кобеняк и пошел вслед за Остраницею из светлицы, в которой чуть было не упал, зацепившись за что-то, лежавшее у порога, но голосу которое не дало, — завернувшееся в кожух туловище. Остраница узнал Курника, но заметно было, что он хватил не меньше других, потому что в его словах была страшная противуположность тому, что он говорил в дверях. Даже самый образ выражения был не тот; множество слов вмешивалось таких, которых странно и смешно было от него слышать. Заметно было, что на него много сделали влияния запорожцы. «Эх, славная конница у запорожцев! Торо, торо, торо, гайда, гоп, гоп, гоп! Эка славная конница у запорожцев! Торо, торо, гоп, гоп, гоп! Экая конница! Послушай, любезный, скажи мне: какая у тебя конница? У меня конница запорожская. Откуда ты, мужичок? Зачем ты пришел? Не могу, у меня конница запорожская!

Торо, торо, торо, гоп, гоп, гоп!» и тому подобное. Остраница попробовал было подойти к атаману, которого указал ему Пудько и который лежал, подмостивши себе под голову боченок, но услышал от него одни совершенно бессвязные слова, из чего он заключил, что все гуляли, как следует, и решился оставить их в покое и присоединиться к другим, которых храпение составляло самую фантастическую музыку. Скоро все уснули.

<Глава 4>

Однако ж Остраница долго не мог заснуть; напрасно переворачивался он с боку на бок и пробовал все положения: сон убегал его, а думы незваные приходили и силою ложились в его мозгу. Итак, его приезд понапрасну; и столько приготовлений, столько забот — все по-пустому! Она не хочет ехать с ним. Так вот это та любовь, та горячая, безграничная любовь! Ей жаль матери: для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда может еще думать при нем об другом, об отце или матери? Нет, нет! Где любовь настоящая, такая, как следует, там нет ни брата, ни отца. — «Нет, я хочу, — говорил он, разбрасывая руками. — Чтоб она или меня одного,

или никого не любила. Целуй, прижимай меня! Пусть жар дыханья твоего пахнет мне на щеки! Обнимая дрожащие груди твои, прижму тебя к моим грудям… И еще при этом думать об другом!.. О, как чудно, как странно создана женщина! Как приводит она в бешенство! Весь горишь! пламень в сердце, душно, тоска, агония… а сама она, может, и не знает, что творит в нас; она себе так, как ни в чем не бывало, глядит беспечно и не знает, что за муку произвела». Но между тем луна, плывшая среди необозримого синего роскошного неба, и свежий воздух весенней ночи на время успокоили его мысли. Они излились в длинном монологе, из которого, может быть, <читатели> узнают сколько-нибудь жизнь героя. «И как же ей, в самом деле, оставить бедную мать, которая когда-то ее лелеяла и которую теперь она лелеет, для которой нет ничего и не будет уже ничего в мире, когда не будет ее дочери! Она одна для нее радость, пища, жизнь, защита от отца. Нет, права она. И странная судьба моя! Отца я не видал: его убили на войне, когда меня еще на свете не было. Матери я видел только посинелый и разрезанный труп. Она, говорят, утонула. Ее вытянули мертвую и из утробы ее вырезали меня, бесчувственного, неживого. Как мне спасли жизнь — сам не

знаю. Кто спас? Зачем спас? Лучше бы пропал, не живши! Чужие призрели. Еще мал и глуп, я уже наездничал с запорожцами. Опять случай: меня полонили татары. Не годится жить меж ними христианину, пить кобылье молоко, есть конину. Однако ж я был весел душой; ну, вырвусь же когда-нибудь на волю! И вот приехал я на родину, сирота-сиротою. Не встретил никого знакомого. Хотя бы собака была такая, которая знала меня в детстве. Никого, никого! Однако ж, хотя грустная, а все-таки радость была — и печально, и радостно! Больно было глядеть, как посмеивался католик православному народу, и вместе весело. Подожди, ляше, увидишь, как растопчет тебя вольный рыцарский народ! Что же? Вот тебе и похвалился! Увидел хорошую дивчину — и все позабыл, все к черту. Ох, очи, черные очи! Захотел бог погубить людей за беззаконья, и послал вас. Собиралось компанейство отмстить за ругательства над христовой верой и за бесчестье народу. Я ни об чем не думал, меня почти силою уже заставили схватиться за саблю. В недобрый час затеялась эта битва. Что-то делают теперь в Польше коронный гетьман, сейм и полковники? Грех лежать на печке. Еще бы можно было поправить; вражья потеря верно б была сильнее, когда бы

ударил из засады я. Бежат все запорожцы, увидав, что и Галькин отец держит вражью сторону. А все вы, черные брови, вы всему виной! И вот я снова приехал сюда с ватагою товарищей; но не правда, и месть, и жажда искупить себе славу силой и кровью завели меня, — все вы, все вы, черные брови! Дивно диво — любовь! Ни об чем не думаешь, ничего на свете не хочешь, только сидеть бы возле ней, уставивши на нее очи, прижавши ближе к себе, так, чтобы пылающие щеки коснулись щеки, и все бы глядеть. Боже, как хороша она была, смеясь! Вот она глядит на меня. Серденько мое, Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, крошка моя! Что-то теперь делаешь ты? Верно, лежишь и думаешь обо мне! Нет, не могу, не в силах оставить тебя, не оставлю ни за что… Как же придумать?.. Голова моя горит, а не знаю, что делать! Поеду к королю, упрошу Ивана Остраницу: он добудет мне грамоту и королевское прощение, и тогда, тогда… бог знает, что тогда будет! Только все лучше, я буду близь нее жить…» Так раздумывал и почти разговаривал сам с собою Остраница; уже он обнимал в мыслях и свою Галю; вместе уже воображал себя с нею в одной светлице; они хозяйничают в этом земном рае… Но настоящее опять вторгалось в это

обворожительное будущее, и герой наш в досаде снова разбрасывал руками; кобеняк слетел с плеч его. Его терзала мысль, каким образом объявить запорожскому атаману, что теперь уже он оставляет свое предприятие и, стало быть, помощь его больше не нужна.

<Глава 5>

Как только проснулся Остраница, то увидел весь двор, наполненный народом: усы, байбараки, женские парчевые кораблики, белые намитки, синие кунтуши; одним словом, двор представлял игрушечную лавку, или блюдо винегрета, или, еще лучше, пестрый турецкий платок. Со всею этою кучею народа <он> должен был перецеловаться и принять неимоверное множество яиц, подносимых в шапках, в платках, уток, гусей и прочего — обыкновенную дань, которую подносили поселяне своему господину, который, с своей стороны, должен был отблагодарить угощением. Подносимое принято; и так как яйца, будучи сложены в кучу, казались пирамидою ядер, выставленных на крепости, <то> против этого хозяин выкатил две страшные бочки горелки для всех гостей, и хуторянцы сделали

самое страшное вторжение. Поглаживая усы, толпа нетерпеливо ждала вступить в бой с этим драгоценным неприятелем. И между тем как одна толпа бросилась на столы, трещавшие под баранами, жареными поросятами с хреном, а другая к пустившему хмельный водопад, боясь ослушаться власти атамана, который наконец гостей принимал, держа в руках плеть. Он хлестал ею одного из подчиненных своих, который стоял неподвижно, но только почесываясь и стараясь удерживать свои стенания при каждом ударе. Атаман приговаривал таким дружеским образом, что если бы не было в руках плети, то можно подумать, что он ласкает родного сына. «Вот это тебе, голубчик, за то, чтоб ты знал, как почитать старших! Вот тебе, любезный, еще на придачу! А вот еще один раз! Вот тебе еще другой! Да, голубчик, не делай так! А вот это как тебе кажется? А этот вкусен? Признайся, вкусен? Когда по вкусу, так вот еще! Что за славная плеть! Чудная плеть! Что, как вот это? Нашлись же такие искусники, что так хитро сплели! Что, танцуешь? Тебе, видно, весело? То-то, я знал, что будет весело. Я затем тебя и благословляю так…» Тут атаман, наконец, увидев, что молодой преступник, несмотря на все старание устоять на месте, готов был закричать,

остановился. «Ну, теперь подойди, да поклонись же, да ниже поклонись!» Принявший удары, с опущенными глазами, из которых ручьем полились слезы, приблизился и отвесил поклон в ноги. «Говори, любезный: благодарю, атаман, за науку!» — «Благодарю, атаман, за науку». — «Теперь ступай! Гайда! Задай перцю баранам и сивухе!»

«Христос воскрес, атаман! Мы с тобою еще не христосовались». — «Воистину воскрес!» — отвечал атаман.

«Нет ли у тебя в запасе губки? Охота забирает люльку затянуть». — При этом <Остраница> вложил в зубы вытянутую из кармана трубку.

«Как не быть! Это занятие, когда материя не клеится».

«Я хотел сказать тебе дело», — примолвил Остраница с некоторою робостью.

«Гм!» — отвечал атаман, вырубливая огонь.

«Мое дело не клеится».

«Не клеится? — промолвил <атаман>, раскуривая трубку. — Погано!»

«Вряд ли нам что-нибудь достанется здесь».

«Не достанется?.. Погано!»

«Придется нам возвратиться ни с чем».

«Гм!..»

«Что ж ты скажешь?» — спросил Остраница,

удивленный таким неудовлетворительным ответом.

«Когда воротиться, — отвечал запорожец, сплевывая. — Так и воротиться».

Остраницу ободрило такое равнодушие. «Только я не пойду с вами; я поеду на время в Варшаву».

«Гм!» — отвечал атаман.

«Ты, может быть, сердит на меня, что я так обманул и поддел вас? Божусь, что я сам обманут!» При этом слове грянула музыка, и, вместе с нею, грянуло топанье танцующих. Атаман, с трубкою в зубах, ринулся в кучу танцующей компании, очистил около себя круг и пустился выбивать ногами и навприсядку.

<Глава 6>

«Что он себе думает, этот дурень Остраница? — говорил старый Пудько. — Щенок! Еще и родниться задумал со мною! Поганый нечестивец! Поди к матери своей, чтоб доносила наперед! И достало духу у него сказать это! Дурень, дурень! — говорил он, дергая рукою, как будто драл кого-нибудь за волоса. — Молод козак, ус еще не прошибся!» Старый Кузубия не мог вынести,

когда видел, что младший равняется с старшими. «Знать должен, что кто задумал мстить, тот у того не жди уже милости. Скорее солнце посинеет, вместо дождя посыплются раки с неба, чем я позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду! Не хочу! Не хочу! Жинко! Жинко!» Этим восклицанием обыкновенно оканчивал он свою речь, когда бывал сердит и боже сохрани жинке не явиться тот же час! На эту речь, едва передвигая ноги, пришло, или, лучше сказать, приползло иссохнувшее, едва живущее существо. Вид ее не вдруг <поражал>. Нужно было вглядеться в этот несчастный остаток человека, в это олицетворенное страдание, чтобы ощутить в душе неизъяснимо тоскливое чувство. Представьте себе длинное, все в морщинах, почти бесчувственное лицо; глаза черные, как уголь, некогда — огонь, буря, страсть, ныне неподвижные; губы какого-то мертвого цвета, но, однако ж, они были когда-то свежи, как румянец на спеющем яблоке. И кто бы подумал, что эти слившиеся в сухие руины черты были когда-то чертовски очаровательны, что движение этих, некогда гордых и величественных, бровей дарило счастие, необитаемое на земле? И все прошло, прошло незаметно; образовалось, наконец, лишь бесчувственное терпение и безграничное пови-

новение.

<II>. Кровавый бандурист. Глава из романа

В 1543 году, в начале весны, ночью, тишина маленького городка Лукомья была смущена отрядом рейстровых коронных войск. Ущербленный месяц, вырезываясь блестящим рогом своим сквозь беспрерывно обступавшие его тучи, на мгновение освещал дно провала, в котором лепился этот небольшой городок. К удивлению немногих жителей, успевших проснуться, отряд, которого прежде одно появление служило предвестием буйства и грабительства, ехал с какою-то ужасающею тишиною. Заметно было, что всю силу напряженного внимания его останавливал тащившийся среди его пленник, в самом странном наряде, какой когда-либо налагало насилие на человека: он был весь с ног до головы увязан ружьями, вероятно для сообщения неподвижности его телу. Пушечный лафет был укреплен на спине его. Конь едва ступал под ним. Несчастный пленник давно бы свалился, если бы толстый канат не прирастил его к седлу. Осветить бы месячному лучу хоть на минуту его

лицо — и он бы верно блеснул в каплях кровавого пота, катившегося по щекам его! Но месяц не мог видеть его лица, потому, что оно было заковано в железную решетку. Любопытные жители, с разинутыми ртами, иногда решались подступить поближе, но, увидя угрожающий кулак, или саблю одного из провожатых, пятились и бежали в свои щедушные домики, закутываясь покрепче в наброшенные на плеча татарские тулупы и продрогивая от свежести ночного воздуха.

Отряд минул город и приближался к уединенному монастырю. Это строение, составленное из двух, совершенно противуположных частей, стояло почти в конце города на косогоре. Нижняя половина церкви была каменная, и, можно сказать, вся состояла из трещин, обожжена, закурена порохом, почерневшая, позеленевшая, покрытая крапивою, хмелем и дикими колокольчиками, носившая на себе всю летопись страны, терпевшей кровавые жатвы. Верх церкви с теми изгибистыми деревянными пятью куполами, которые установила испорченная архитектура византийская, еще более изуродованная варваризмом подражателей, был весь деревянный. Новые доски, желтевшие между почерневшими старыми, придавали ей пестроту и показыва-

ли, что еще не так давно она была починена богомольными прихожанами. Бледный луч серпорогого месяца, продравшись сквозь кудрявые яблони, укрывавшие ветвями в своей гуще часть здания, упал на низкие двери и на выдавшийся над ними вызубренный карниз, покрытый небольшими своевольно выросшими желтыми цветами, которые на тот раз блестели и казались огнями, или золотою надписью на диком карнизе. Один из толпы с неизмеримыми, когда-либо виданными усами, длиннее даже локтей рук его, которого по замашкам и дерзкому повелительному взгляду признать можно было начальником отряда, ударил дулом ружья в дверь. Дряхлые монастырские стены отозвались и, казалось, испустили умирающий голос, уныло потерявшийся в воздухе. После сего молчание снова заступило свое место. Брань на разных наречиях посыпалась из-под огромнейших усов начальника отряда: «Терем-те-те, поповство проклятое! А то я знаю, чем вас разбудить!» Раздался пистолетный выстрел, пуля пробила ворота и шлепнулась в церковное окно, стекла которого с дребезгом посыпались во внутренность церкви. Это произвело смятение в кельях, которые примыкали к церкви; показались огни; связка ключей загре-

мела; ворота со скрыпом отворились, — и четыре монаха, предшествуемые игуменом, предстали бледные с крестами в руках.

«Изыдите, нечистые! кромешники! — произнес едва слышным дрожащим голосом настоятель. — Во имя Отца и Сына и Святого Духа, изыди, диаволе!»

«Але то еще и брешет, поганый собака! — прогремел начальник языком, которому ни один человек не мог бы дать имени: из таких разнородных стихий был он составлен. — То брешешь, лайдак, же говоришь, что мы дьяволы; а то мы не дьяволы, мы коронные».

«Что вы за люди? Я не знаю вас! Зачем вы пришли смущать православную церковь?» — произнес настоятель.

«Я тебе, псяюха, порохом прочищу глаза! Дай нам ключи от монастырских погребов!»

«На что вам ключи от наших погребов?»

«Я, глупый поп, не буду с тобою говорить! Але ты хочешь, басамазенята, поговори з моим конем: нех тебе отвечает из под…»

«Принеси им, антихристам, ключи, брат Касьян! — простонал настоятель, оборотившись к одному монаху. — Только у меня нет вина! Как бог свят, нет! Ни одной бочки, ни боченка, и ни-

чего такого, что бы вам было нужно».

«А то мне какое дело! Ребята хочут пить. Я тебе говорю, же ты, глупой поп, сена, стойла и пшеницы не дашь лошадям, то я в костел ваш поставлю их и тебя сапогом до морды».

Настоятель, не говоря ни слова, возвел на них оловянные свои глаза, которые казалось давно уже не принадлежали миру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встретился с злобно устремившимися на него глазами иезуита. Отворотившись от него, он остановил их на странном пленнике с железным наличником. Вид этот, казалось, поразил почти бесчувственного ко всему, кроме церкви, старца.

«За что вы схватили этого человека? Господи, накажи их трехипостасною силою своею! Верно опять какой-нибудь мученик за веру Христову!»

Пленник испустил только слабое стенание.

Ключи были принесены, и при свете сонно горевшей светильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Как только опустились они под земляные безобразные своды, могильная сырость обдала всех. В молчании шел начальствовавший отрядом, и непостоянный огонь светильни, окруженный туманным кружком, бросал в лицо ему какое-то

бледное привидение света, тогда как тень от бесконечных усов его подымалась вверх и двумя длинными полосами покрывала всех. Одни только грубо закругленные оконечности лица его были определительно тронуты светом и давали разглядеть глубоко бесчувственное выражение его, показывавшее, что все мягкое умерло и застыло в этой душе; что жизнь и смерть — трын-трава; что величайшее наслаждение — табак и водка; что рай там, где все дребезжит и валится от пьяной руки. Это было какое-то смешение пограничных наций. Родом серб, буйно искоренивший из себя все человеческое в венгерских попойках и грабительствах, по костюму и несколько по языку поляк, по жадности к золоту жид, по расточительности его козак, по железному равнодушию дьявол. Во все время казался он спокоен; по временам только шумела между усами его обыкновенная брань, особенно, когда неровный земляной пол, час от часу уходивший глубже вниз, заставлял его оступаться. Тщательно осматривал он находившиеся в земляных стенах норы, совершенно обсыпавшиеся, служившие когда-то кельями и единственными убежищами в той земле, где в редкий год не проходило по степям и полям разрушение, где никто не строил креп-

ких строений и зáмков, зная, как непрочно их существование. Наконец показалась деревянная, заросшая мхом, зацветшая гнилью, дверь, закиданная тяжелыми бревнами и каменьями. Пред ней остановился он и оглядел ее значительно снизу до верху. — «А ну!» — сказал он, мигнувши бровью на дверь, и от брови, казалось, пахнул ветер. Несколько человек принялись и не без труда отвалили бревна. Дверь отворилась. Боже! какое обиталище открылось глазам! Присутствовавшие взглянули безмолвно друг на друга, прежде, нежели осмелились войти туда. Есть что-то могильно-страшное во внутренности земли. Там царствует в оцепенелом величии смерть, распустившая свои костистые члены под всеми цветущими городами, под всем веселящимся, живущим миром. Но если эта дышущая смертию внутренность земли населена еще живущими, теми адскими гномами, которых один вид уже наводит содрогание, тогда она еще ужаснее. Запах гнили пахнул так сильно, что сначала заняло у всех дух. Почти исполинского роста жаба остановилась неподвижно, выпучив свои страшные глаза на нарушителей ее уединения. Это была четырехугольная, без всякого другого выхода, пещера. Целые лоскутья паутины висели тол-

стыми клоками с земляного свода, служившего потолком. Обсыпавшаяся со сводов земля лежала кучами на полу. На одной из них торчали человеческие кости; летавшие молниями ящерицы быстро мелькали по ним. Сова или летучая мышь была бы здесь красавицею.

«А чем не светлица? Светлица хорошая! — проревел предводитель. — Терем-те-те! Лысый бес начхай тебе в кашу! Але тебе, псяюхе, тут добре будет спать. Сам ложись на ковалки, а под голову подмости ту жабу, али возьми ее за женку на ночь!»

Один из коронных вздумал было засмеяться на это, но смех его так страшно, беззвучно отдался под сырыми сводами, что сам засмеявшийся испугался. Пленник, который стоял до того неподвижно, был втолкнут на средину и слышал только, как заскрыпела за ним дверь и глухо застучали заваливаемые бревна, свет пропал и мрак поглотил пещеру.

Несчастный вздрогнул. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась над ним, а стук бревен, заваливших вход его, казался стуком заступа, когда страшная земля валится на последний признак существования человека, и могильно-равнодушная толпа говорит, как сквозь сон: «Его

нет уже, но он был».

После первого ужаса он предался какому-то бессмысленному вниманию, бездушному существованию, которому предается человек, когда удар бывает так ужасен, что он даже не собирается с духом подумать о нем, и вместо того устремляет глаза на какую-нибудь безделицу и рассматривает ее. Тогда он принадлежит к другому миру и ничего не разделяет человеческого. Видит без мыслей; чувствует, не чувствуя; странно живет. Прежде всего внимание его впилось в темноту. Все было на время забыто, и ужас ее, и мысль о погребении живого. Он всеми чувствами вселился в темноту. И тогда пред ним развернулся совершенно новый, странный мир. Ему начали показываться во мраке светлые струи, — последнее воспоминание света! Эти струи принимали множество разных узоров и цветов. Совершенного мрака нет для глаза. Он всегда, как ни зажмурь его, рисует и представляет цвета, которые видел. Эти разноцветные узоры принимали или вид пестрой шали, или волнистого мрамора, или, наконец, тот вид, который поражает нас своею чудною необыкновенностью, когда рассматриваем в микроскоп часть крылышка или ножки насекомого. Иногда стройный переплет

окна, — которого, увы! не было в его темнице, — проносился перед ним. Лазурь фантастически мелькала в черной его раме, потом изменилась в кофейную, потом исчезала совсем и обращалась в черную, усеянную или желтыми, или голубыми, или неопределенного цвета крапинами. Скоро весь этот мир начал исчезать: пленник чувствовал что-то другое. Сначала чувствование это было безотчетное; потом начало приобретать определительность. Он слышал на руке своей что-то холодное; пальцы его невольно дотронулись к чему-то склизкому. Мысль о жабе вдруг осенила его!.. он вскрикнул… и разом переселился в мир действительный. Мысли его окунулись вдруг в весь ужас существенности. К тому еще присоединилось изнурение сил, ужасный спертый воздух: все это повергло его в продолжительный обморок.

Между тем отряд коронных войск разместился в монастырских кельях как дома, высылал монахов подчищать конюшни, и пировал от радости, что наконец схватил того, кто им был нужен!

«Попался, псяюха! — говорил усастый предводитель. — Хотел бы я знать, чего они так быстры на ноги, собачьи дети? Пойдем, хлопцы, доведаемся, кто с ним был, лысый бес начхай ему в

кашу!»

Жолнеры опустились вниз, и нашли пленника лежащего без чувств. «Дай ему понюхать чего-нибудь!» Один из них немедленно насыпал ему на руку пороху, к которой прислонилась его голова, и зажег его. Пленник чихнул, и поднял голову, будто после беспокойного сна. «Толкните его дубиной! рассказывай, терем-те-те, бабий сын! Але кто с тобою разбойничал? Двенадцать дьяблов твоей матке! Где твои ребята?» Пленник молчал. «А то я тебя спрашиваю, псяюха! Скиньте с него наличник! Сорвите с него епанчу! А то лайдак! Але то я знаю добре твою морду: зачем ее прячешь?» Жолнеры принялись, разорвали верхнюю эпанчу тонкого черного сукна, которою закрывался пленник, сорвали наличник… и глазам их мелькнули две черные косы, упавшие с головы на грудь, очаровательная белизна лица, бледного как мрамор, бархат бровей, обмершие губы и девственные обнаженные груди, стыдливо задрожавшие, лишенные покрова.

Начальник отряда коронных войск окаменел от изумления; команда тоже.

«Але то баба?» — наконец обратился он к ним с таким вопросом.

«Баба!» — отвечали некоторые.

«А то как могла быть баба? Мы козака ловили».

Предстоящие пожали плечами.

«На цугундру бабу! Как ты, — глупая баба — дьявол бы тебя!.. — Але как ты смела?.. рассказывай, где тот псяюха, где Остраница?»

Полуживая не отвечала ни слова.

«То тебя заставят говорить, лысый бес начхай тебе в кашу! — кричал в ярости воевода. — Ломайте ей руки!»

И два жолнера схватили ее за обнаженные руки, белизною равнявшиеся пыли волн. Раздирающий душу крик раздался из уст ее, когда они стиснули их жилистыми руками своими.

«Что? скажешь теперь, бесова баба?»

«Скажу!» — простонала жертва.

«Оставь ее! Рассказывай, где тот бабий сын, сто дьяблов его матке!»

«Боже! — проговорила она тихо, сложив свои руки. — Как мало сил у женщины! Отчего я не могу стерпеть боли!»

«То мне того не нужно! Мне нужно знать, где он?»

Губы несчастной пошевелились и, казалось, готовы были что-то вымолвить, как вдруг это напряжение их было прервано неизъяснимо странным происшествием: из глубины пеще-

ры послышались довольно внятно умоляющие слова: «Не говори, Ганулечка! Не говори, Галюночка!» Голос, произнесший эти слова, несмотря на тихость, был невыразимо пронзителен и дик. Он казался чем-то средним между голосом старика и ребенка. В нем было какое-то, можно сказать, нечеловеческое выражение; слышавшие чувствовали, как волосы шевелились на головах и холод трепетно бегал по жилам; как будто это был тот ужасный черный голос, который слышит человек перед смертью.

Допросчик содрогнулся, и положил невольно на себя крест, потому, что он всегда считал себя католиком. Минуту спустя уже ему показалось, что это только почудилось. Жолнеры обшарили углы, но ничего не нашли, кроме жаб и ящериц.

«Говори!» — проговорил снова неумолимый допросчик, однако ж не присовокупив на этот раз никакой брани. Она молчала.

«А ну, принимайтесь!» — При этом густая бровь воеводы мигнула предстоящим.

Исполнители схватили ее за руки.

И те снежные руки, за которые бы сотни рыцарей переломали копья, те прекрасные руки, поцелуй в которые уже дарит столько блаженства человеку, эти белые руки должны были

вытерпеть адские мучения! Не многие глаза выдержали бы то ужасное зрелище, когда один из них с варварским зверством свернул ей два пальца, как перчатку. Звук хрустевших костей был тих, но его, казалось, слышали самые стены темницы. Сердцу, с несовсем оглохлыми чувствами, не достало бы сил выслушать этот звук. Страшно внимать хрипению убиваемого человека; но если в нем повержена сила, оно может вынести и не тронуться его страданиями. Когда же врывается в слух стон существа слабого, которое ничто пред нашею силою, тогда нет сердца, которого бы даже сквозь самую ярость мести не ужалила ядовитая змея жалости.

Пленница ни звука не издала. Лицо ее только означилось мгновенным судорожным движением муки и губы задрожали.

«Говори, я тебя!.. поганая лайдачка!..» — произнес воевода, которому муки слабого доставляли какое-то сладострастное наслаждение, которое он мог только сравнить с дорого доставшеюся рюмкою водки.

Но только что он произнес эти слова, как снова тот же нестерпимый голос так же явственно раздался и так же невыносимо жалобно произнес: «Не говори, Ганулечка!»

На этот раз страх запал глубже в душу начальника.

Все обратились в ту сторону, откуда послышался этот странный голос — и что же?..

Ужас оковал их. Никогда не мог предстать человеку страшнейший фантом!.. Это был… ничто не могло быть ужаснее и отвратительнее этого зрелища! Это был… у кого не потряслись бы все фибры, весь состав человека! Это был… ужасно! — это был человек… но без кожи. Кожа была с него содрана. Весь он был закипевший кровью. Одни жилы синели и простирались по нем ветвями!.. Кровь капала с него!.. Бандура на кожаной ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза…

Невозможно было описать ужаса присутствовавших. Все обратилось, казалось, в неподвижный мрамор со всеми знаками испуга на лицах. Но, к удивлению, это появление, отнявши силу у сильных, возвратило ее слабому. Собравши всю себя, всю душевную крепость, молодая узница тихо поползла к дверям и вступила в земляной корридор, которого гнилой воздух показался ей райским в сравнении с ее темницей…

<III>. Глава из исторического романа

Между тем посланник наш переехал границу, отделяющую ныне пирятинский повет от лубенского. Общих езжалых дорог тогда не было в Малороссии, но почти каждому известна была какая-нибудь проселочная, по мнению его, самая ближайшая. Часто такая дорога, уклоняясь от ровной поверхности, проскальзывала в рытвины, царапалась по косогору, вешалась над провалами, и один неровный, слегка протоптанный подковою коня, след означал ее уклонения. Достаточно было только выехать в дорогу, чтобы выучиться не разбирать ночлегов. Главное же неудобство для путешественника, не ознакомленного с местами, было то, что он должен был, на расстоянии 25 или 50 ружейных выстрелов, выведывать и выспрашивать пути у жителей, которых показания всегда почти разногласили.

Пустив повода и наклонив голову, всадник наш давно уже погружен был в раздумье, и только изредка попадавшиеся кочки и пни срубленных дерев, заставляя спотыкаться верного его товарища, борзого коня, перерезывали разом его думы, которые снова обычным ожерельем низались

в голове его. В первый раз еще случалось ему выполнять такое поручение: ехать, бог знает куда, в незаселенные степи Украйны! И кто этот Глечик?.. Какая нужда Казимиру до начальника какой-то шайки, называвшего себя полковником миргородского полку?.. Ему не объявлено было ничего удовлетворительного ни о характере, ни о силе его, ни о том, какие он имеет сношения, и с кем… К чему же эта осторожность, какую нужно было иметь в речах с ним? Зачем перелетать такую даль, чтобы только доставить ему сведения о событиях, волновавших Варшаву? И чем мог быть полезен такой отдаленный союзник?.. Мысленно досадовал он на себя, что не выведал обстоятельно об этом от Бригитты: ей, без сомнения, сколько-нибудь были известны причины такого странного посольства. Солнце медленно прощалось с землею. Живописные облака, обхваченные по краям огненными лучами, поминутно меняясь и разрываясь, летели по воздуху. Сумерки угрюмо надвигали сизую тень свою и притворяли мало-помалу ставни окошек, освещавших светлый божий мир. В это время путник наш, после долгого степного странствия, въехал в лес. Раздетые безжалостною осенью деревья сквозили, как решето, и, казалось, дро-

жали от вечернего холода. Желтые листья, как объедки и битые ковши от недавнего пиршества, валялись неприбранные, и один только шелест их, ходя по лесу, давал знать о присутствии в нем нашего всадника. Сквозь обнаженную вершину леса темнело небо; резкий ветер подымался с поля и мчал заунывные свои вопли в гущу леса. Путник поневоле задумался и остановил коня своего в нерешимости, что́ предпринять, потому что дорога совершенно исчезла, и перед ним торчал один только лес да неизвестность; как вдруг громкий голос: «цоб, цоб!» поразил слух его; тяжело нагруженный воз заскрыпел, и пара волов показалась из-за деревьев. Надобно вообразить себя на месте путешественника, чтобы вполне почувствовать радость такой встречи. Луна в это время вырезалась на небе. Серебряный свет, перепутанный тенью от дерев, пал решеткою на землю, осветив далеко окрестность, и Лапчинский увидел перед собою дюжего пожилого селянина. Седые, закрученные вниз, усы его гордо покоились на смуглом, означенном резкими мускулами лице, которое так простодушно оттеняла какая-то азиатская беспечность. По черным бровям серебрилась седина; огонь вылетал из небольших карих глаз, и в огне том

высвечивались попеременно то хитрость, то простодушие. На голове у него была черная козацкая шапка с синим верхом. Коротенький нагольный тулуп, затянутый яркоцветным поясом, служил непроницаемыми латами от холода; сверх этого одеяния, вдобавку, накинут был обыкновенный кобеняк, из толстого смурого сукна, который и поныне носят малороссийские мужики. Из-за пояса торчали пищаль и изогнутая татарская сабля, — оружие, которое в тогдашние смутные времена всякий козак, ратник и селянин почитал необходимостью всегда иметь при себе.

«Помогай, Боже!» — сказал он, остановив волов и обнажив увенчанную только на верхушке кистью волос голову, в знак того уважения, какое обыкновенно оказывали тогда простые поселяне ратным людям. Надобно припомнить, что Лапчинский, в избежание неприятностей, каким бы он неминуемо подвергнулся от жителей, не терпевших всего, что только носило название ляха или принадлежало ляхам, принужден был переменить щегольской костюм свой на скромное одеяние козацкого десятника. Всадник наш отвечал легким наклонением головы на сие приветствие. «Не знаешь ли, земляк, — молвил он с ласковым видом, — далеко ли отсюда до Ромода-

новского шляху?»

«Не сумею, добродию, сказать вдруг; повремените немножко. — Тут принялся он высчитывать, что выражали машинально сгибаемые им пальцы. — До Ромодановского шляху!.. Как бы вам сказать… оно не так, чтобы близко. Надобно знать, что козаки наши немного было перетрусили: кто-то пронес слух, что все шляхетство собирается к нам на Сулу в гости. Спохватились сдуру и разломали мосты; так вам, добродию, чтоб не пришлось давать больших объездов. Впрочем, бог его знает: я говорю это потому, что другие говорят… так, может быть, выберется и короткий путь; только, знаете, теперь время осеннее… то станется, что и далеко… Только опять же, как подумаешь, то кажется, что и близко. Вот другое дело, если б были поставлены столбы по дороге, какие, без сомнения, сами, добродию, если бывали в Польше, встречали по тамошним дорогам».

Не должно удивляться противоречиям, испестрявшим монолог нашего поселянина. Кроме действительной неизвестности, малороссияне любили поусомниться и в самом знакомом им деле. Малороссиянин и доныне ничего не скажет наобум, но раз десять поправит себя, а иногда с умыслом запутает своего слушателя так, что

тот, к изумлению своему, видит, что до такого-то места и далеко, и близко.

«Куда же, по крайней мере, мне теперь держать путь?» — спросил странник, вперив испытующий взор на своего наставника.

Тут селянин наш осмотрел его хорошенько с головы до ног. «А вы, добродию, хотите теперь ехать?»

«Почему же не теперь?»

«Бог с вами! теперь и наш брат, здешний, уже сильно подумавши разве, поедет. Знаешь, мосьпане! ведь нам стоит только проехать такое время, в какое добрый мужик успеет вымолотить полкопны жита, чтобы заслышать собачий лай с моего двора. Все бы лучше опочить в теплой хате, а завтра хоть и с богом!» От такого предложения нельзя было отказаться путнику, который, кажется, того только и ожидал.

«А куда, — спросил дорогою поселянин наш своего будущего гостя, — лежит путь вам, мосьпане?»

«Еду-то я далеко, на ту сторону Ворскла, к миргородскому полковнику Глечику. Что, земляк, не знаешь ли и ты его?»

«Как не знать этой старой собаки! А из каких мест бог несет?»

«Из великой станицы, что под Лохвицею».

«Как же это, добродию, мы не слышали ничего про то, чтобы станица была под Лохвицею? — Тут вонзил он в него острый взор свой, который, казалось, хотел выпытать его душу. — И то сказать! где уже мужику знать все про войсковые дела; до нашего захолустья еще и слухи не дошли об этом».

Посланник наш спохватился, что не нужно бросать осторожности в россказнях и с простым селянином, и потому, собравшись немного с мыслями, продолжал: «То есть, вот видишь, земляк, наверное я еще не могу сказать. В самой-то станице я не был, а встретившийся под Лохвицею запорожский сотник Шляйко, узнав, что я еду в эти места, дал мне грамотку к миргородскому полковнику. Летел он, как угорелый; из расспросов его я ничего не мог узнать наверное. Недавно перед тем возвратился я из Варшавы… Видишь, он, может быть, имел причины не доверять мне… то есть… он… ты, думаю, понимаешь меня».

«Что вы говорите, добродию! Разве мужик поймет то, что толкуют паны? Ей-богу, нет; где нам понять! У нас и голова не так сделана, как у панов: черт знает, что такое; больше на капусту похоже, чем на голову».

«О, да ты штука!» — подумал про себя Лапчинский и положил себе быть как можно осторожнее в словах.

Он во все это время ехал шагом, уравнивая легкую поступь своего гордого коня с ленивою выступкою тяжелых волов, впереди которых с флегматическою важностью шел селянин, помахивая батогом и потягивая коротенькую люльку. Дым от нее обнимал облаками смуглое лицо его, которое, освещаясь иногда вспыхивавшим огоньком, казалось лицом какого-нибудь упыря, выказывавшимся по временам из непробудного болотного тумана и сеявшим искры чудного огня. Это заставляло Лапчинского чаще всматриваться ему в глаза, чтоб удостовериться, точно ли то был его товарищ. Но селянин наш сам отгонял всякое насчет его сомнение, не давая минуты задуматься своему гостю. «Слыхали ль вы, добродию, про таковое диво? — говорил он, не выпуская изо рта своей трубки. — Видишь ли сосну, вон далеко, далеко чернеет перед нами?» И путник, к удивлению своему, точно увидел сосну. Каким образом зашла она сюда, когда во всей почти этой стороне Малороссии, на расстоянии, может быть, по сту верст во все стороны, взор не отыскивал этой суровой жилицы Севера? Невольно вперил он на

нее глаза свои: она одна только посреди обнаженного леса сохраняла, казалось, жизнь. Но жизнь ли это? Это была мумия, которую с изумлением отыскивают между голыми скелетами, одну, не сокрушенную тлением. В ней видны те же черты, та же прекрасная форма человека объемлет ее. Но, боже, в каком виде! Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается в душу при взгляде на жалкий обман, которым суетное искусство силится выхватить и удержать что-то похожее на жизнь.

«Это еще не большое диво, что сосна, а вот что диво. Лет за пятьдесят перед тем, как мы балагурим с вами, жил, чуть ли не на вот этом месте, в хоромах великий пан. Воевода ли он был, сотник ли какой, или просто пан, этого я не умею сказать; знаю только, что он был лях и не нашей веры. Жил он, как все нечистые польские паны живут: дом с утра до вечера ходенем ходил от вина и от песень, и далече прохватывала дрожь крещеного человека, когда он слышал раздававшиеся из лесу крики. Хлопцы из дворни его то и дело что наездничали по хуторам да обирали бедных жителей. Этого мало. Стали обворовывать да обдирать божьи церкви, и такое делали… враг с ними! не хочу и говорить, что такое. Побить бы их

всех, добродию, — так нельзя, потому что дворни одной у них было, может, с полторы сотни, да и на каждого бердыши, самопалы и вся сбруя ратная. Вот и вызвался один дьякон, как уже его звали и из какого приходу он был, ей-богу, добродию, не знаю, — вызвался и пришел в лес. Если бы теперь не ночь и не засыпало листьем, то я, может статься, показал бы вам останки этого дьявольского гнезда. На ту пору, — так, видно, сам бог уже хотел, — был у них какой-то окаянный праздник. Дьякон шел уже напропало, сказал: «Господи, благослови!» и, сколько доставало духу, толкнулся в ворота, запертые толпившимся народом. Цымбалы и бандуры бренчали и гудели, словно на свадьбе, а пьяные паны и дворня изо всей силы отдирали краковяк. Как только завидели дьякона, так, добродию, и закричали: «Зачем сюда принесло попа?» А пан говорит: «Гей, хлопцы! налейте-ка попу водки: пусть его танцует с нами, добрыми христианами, краковяк, да подгоняйте его хорошенько батожьем!» Дьякон, исполнившись, видно, святого духа, начал представлять нечестивым весь грех беззаконного житья их, и какие на том свете будут им муки, и как будут они плясать в пекле, только не по своей воле, а подгоняемые горячими вилами чертей. «А, так

ты еще и проповедь читаешь! Гей, хлопцы! поднимите попа на крылос, а чтоб не застудил горла, накиньте ему галстук на шею!» И тут же челядь, с нечеловечьим смехом и гиканьем, втащила несчастного дьякона на ту самую сосну, мимо которой лежит нам путь. Позвольте, добродию: тут-то и история. Сосна эта как раз стояла перед хоромами и как нарочно еще перед самыми окошками панской светлицы. Вот, как ночь уже разогнала всех: кого на лавку, кого под лавку, пану нашему чудится, что на него каплет что-то холодное. «Что за нечистый! — подумал пан. — Отчего это каплет?» Встал с постели, глядит: колючие ветви сосны царапаются к нему сквозь стену и, будто живые, вытягиваются длиннее, длиннее и как раз достают до него. Перекрестился, может быть, в первый раз от роду наш пан, когда увидел, что из них каплет человечья кровь, сначала холодная как лед, а потом жжет да и только! К окну — так и ноги подкосились: сосна вся посинела, как мертвец, и страшно кивает ему черною, всклокоченною бородою. Сначала было думал пан, не хмель ли бродит у него в голове; так на следующую ночь то же диво, и вся дворня в один голос, что по лесу то и дело, что отпевают усопшего таким страшным голосом, что всякого

мороз драл по коже и волосы щетиною поднимались на голове. Чего уж ни делали: и погребли с честью тело дьякона, и принимались было рубить сосну, — так секира не берет: что ни ударят, топор вызубрится, а дерево стонет, будто дитя некрещеное. Решились, наконец, бросить это окаянное место. Вот каждый день и соберется вся челядь, оседлают коней, заберут все с собою и выедут, еще черти не бьются на кулачки; едут, едут, до самого вечера: кажись, бог знает, куда заехали! Остановятся ночевать — смотрят, знакомые все места: опять тот же дикий лес, те же хоромы, а проклятая сосна, протягивая ветви, словно руки, хватает пана и обдает его кровавыми каплями, а черная, всклокоченная борода так же жутко кивает ему…» Тут рассказчик наш стремительно ударил в слушателя огненными глазами своими, блиставшими еще ярче посреди ночи, и, казалось, не без удовольствия заметил в нем впечатление, произведенное его рассказом. Действительно, путник наш не мог не ощутить какого-то тайно врывавшегося в душу страха и с беспокойством посматривал вокруг. В это время поравнялись они с сосной. Серебряный свет падал на печальные ветви ее, и отбрасывавшиеся от них тени, будто продолжение их, переламливаясь о встреч-

ные деревья, ложились бесконечною лестницею на землю. Ветер слегка покачивал вершину, и когда путник, немного проехав, оглянулся назад, то ему показалось, что какой-нибудь неприязненный дух, приняв дикий, величественный образ, медленно следовал за ним, печально покачивая угрюмою бородою и раскидывая темнозеленые объятия свои в намерении схватить его.

«Что же далее случилось?» — спросил он умолкшего рассказчика, стараясь подавить невольную робость.

«Что? Круто пришлось пану: распустил всю свою дворню, стал схимником и, как отправил пятьдесят две панихиды за упокой души дьякона, тогда только стихнуло чудо. Куда же делся после того схимник, этого никто не скажет вам. Дня за три до Купала каплет с этого дерева, день и ночь, роса. Говорят еще, что и сгубленная чья-то душа таскается по лесу. Теща рассказывала года за четыре, когда была еще при памяти, что встретила однажды в лесу дьявола в красном жупане, в каком ходил и покойный пан. Цоб, цоб, цобе! гей! Вот мы, добродию, и приехали». Лапчинский увидел, действительно, перед собою низенькие ворота, редко убитые впоперек положенными досками, какие и теперь можно видеть почти у

каждого малороссийского поселянина. Лай собак залился по лесу, и старая женщина, в накинутом на плеча тулупе, вышла отворить ворота. Глазам нашего путника представился небольшой дворик, обнесенный забором из болотного тростника, несколько сараев и хлевов, укрытых таким же тростником, и обыкновенная малороссийская хата. На дворе навален был ворох ульев, из которых многие развешены были на деревьях, нагибавших со всех сторон любопытные ветви свои во двор, как будто низкая буколическая жизнь его могла доставить им, величественным, занимательное зрелище. Позади двора тянулось еще какое-то строение, которого за темнотою нельзя было распознать. По всему можно было заключить, что имение сие принадлежало слишком зажиточному козаку; в тогдашние времена не у всякого могло найтись подобное великолепие. Пока хозяин занимался выгрузкою своего вьюка, Лапчинскому было довольно времени рассмотреть внутренность этого обиталища. Все в нем было почти так же, как и ныне у простолюдинов Малороссии: против дверей несколько окон, перед ними стол, на котором заметил он ржаной хлеб и соль, не снимавшиеся с него никогда, в знак того, что гость во всякое время

может найти радушный прием себе. Всю комнату обходили липовые широкие и узкие лавки; у дверей громоздилась печь, с отверстием внизу, заслоненным частою решеткою, из-за которой выглядывали куры, гуси, индейки и домашние кролики. Каждый из сих бессловесных жильцов суетился по-своему: пищал, кудахтал, гоготал и давал знать, что он нимало не последнее из творений. На полу мальчишка лет четырех колотил огромным подсолнечником по опрокинутому горшку, между тем как другой, годом постарее, душил за горло кота, напевая какую-то песню, которую, верно, от частого повторения его матери, заучил навеки. Перед большим окованным сундуком сидела девочка лет одиннадцати, держа на руках грудного ребенка, плакавшего изо всех сил, несмотря на то, что она, желая забавить его, побрякивала огромным замком и стращала малютку вошедшим гостем. На стене висели: серп, сабля, ружье, которого замок был развинчен и лежал близ него на полке, вероятно, отложенный для подчинки, секира, турецкий пистолет, еще ружье, неопущенная коса и коротенькая нагайка, — орудия, с незапамятных времен вечно враждовавшие между собою и которые непонятный человек заставляет мириться, несмотря на

несходные их свойства.

«Прошу не погневаться, добродию, что заставил вас ждать немного! — сказал вошедший хозяин. — Так проклятая ярмарка ошеломила меня, что до сих пор в голове базар ходит. Счастье еще, что старухи моей нет дома, а то бы она вымыла мне голову. Дома только нас: я да теща». При сем слове вошла та самая старуха, которая отворяла ворота. С каким-то грустным чувством рассматривал ее путник: казалось, перед ним стояла жертва могилы, в которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человеку всю ничтожность долголетия, к коему так жадно стремятся его желания. Могильное равнодушие разливалось на усеянных морщинами чертах ее. Ни искры какой-нибудь живости в глазах! мутные, они устремлялись порой на него; но тот бы обманулся, кто прочитал бы в них что-нибудь похожее на любопытство. Они ни на что не глядели; им все казалось смутно, как не совсем проснувшемуся человеку. Покамест предавался он таким чувствам, старуха отправилась на печь, всегдашнее свое жилище, весь мир свой, который так же казался ей просторен и люден, как и всякий другой; а хозяин обратился к детям своим. «Ай да Федот! — говорил он, поднимая

одною рукою под потолок мальчика с подсолнечником. — Где ты взял такой страшный сонечник? Да этим ты как-нибудь человека убьешь. Ты что там делаешь, Карпо? кота душишь? Какой же я тебе гостинец привез! Ступай же, собачий сын! что ж ты стоишь и рот разинул? Вот, как видите, добродию, сто раз толкую, что я его батька; до сих пор не верит, ледача детина! А ты, плакса, долго будешь реветь? А подайте мне батог, вот я его! Давай его сюда, Маруся; я сейчас за окошко: пусть там съедят его волки, либо ляхи…»

«Тебя-таки, земляк, бог наделил детьми?» — сказал гость наш своему хозяину.

«Да, не без того, мосьпане! всех-то их у меня семеро. Два уже поженились на чужой стороне, только черт знает, какое приданое взяли за невестами: по сажени земли, на которой ничего не родится, кроме полыни и бурьяну. Что ж ты, Федот, не скажешь спасибо? Пан дает пряник, а он и не поклонится. Не извольте целовать его! у него вся рожа выпачкана золою. Были мне с ним порядочные хлопоты. Услышал, что еду на ярмарку. «Возьми и меня, тату!» — «Да куда я тебя дену? там тебя задавят!» — «Нет, не задавят, возьми, да возьми!» — «Да там теперь столько цыганов, что еще украдут тебя, и тогда поминай,

как звали». — «Возьми, да и только!» Что станешь делать? плачу такого натворил, что боже упаси! Насилу унял его обещанием привезти медового коня с золотой головою. Ну, Маруся, матери незачем дожидаться: давай-ка нам вечерять: баба уж, верно, спит! Так до кого, добродию, — продолжал он, вдруг оборотясь к гостю и садясь за стол, — говоришь ты, едешь? У меня под старость голова, как дырявое ведро: сколько ни лей воды в него, все пусто: сколько ни толкуй умных речей, все позабудет».

«Как, земляк? разве я не сказал тебе, что до Глечика?» — отвечал гость, немного удивленный такою странною забывчивостью.

«До миргородского полковника? так нечего тебе и забираться так далеко: не кто другой, как он, сидит перед тобою, мосьпане!»

Если бы в это время пуля пролетела мимо ушей Лапчинского, он был бы менее удивлен. Так внезапно, так неожиданно напасть на него врасплох, когда все мысли его разбрелись… когда… Нет, не может быть: он ослышался! И глаза его неподвижно устремились на хозяина, как бы желая удостовериться в лживости того, о чем донес ему слух его.

<IV>. <Мне нужно видеть полковника>
1

«Мне нужно видеть полковника, я к нему имею дело», — говорил почти отрок 17 лет.

«Тебе полковника?..» — произнес с расстановкою сторожевой козак перед большою ставкою, рассматривая и переминая на своей ладоне, с какой-то недоверчивостью, грубый крошеный табак, — это странное растение, которое с такою изумительною быстротою разнесла во все концы мира новооткрытая часть света. Трубка давно у него была в зубах. «На что́ тебе полковник?» — При этом <он> взглянул на просителя. Это был почти отрок, готовящийся быть юношею, лет 16, уже с мужественными чертами лица, воспитанного солнцем <и> здоровым воздухом, в полотняном крашеном кунтуше и шароварах. «С тобою не станет говорить полковник», — примолвил <козак поглядев> на него почти презрительно и *<1 нрзб>*, закинув назад алый рукав с золотым шнурком.

«Отчего же он не станет со мною говорить?»

«Кто ж с тобою станет говорить? ты еще недав-

но молоко сосал. Если б у тебя был хоть суконный кунтуш да пищаль, тогда бы конечно… Ведь ты, верно, попович или школяр? Знаешь ли ты этот инструмент?» — примолвил <козак> с видом самодовольной гордости, указав на трубку.

«Да думать…» Но молодой воин остановился, увидевши, что козак вдруг онемел, потупил глаза в землю и снял шапку, до того заломленную на бекрень. Двое пожилых мужчин, — один в коротком плаще с рукавами, выстеганными золотом, с узорно вычеканенными пистолетами, другой в шитом кафтане с серебряною привесною к поясу чернильницею, — прошли мимо и вошли в ставку. Дрожа и бледнея, шмыгнул за ними молодой человек и вошел в ставку.

Молодой человек ударил поклон в самую землю от страха, увидевши, как вошедшие перед ним богатые кафтаны поклонились в пояс и почтительно потупили глаза в землю с тем безграничным повиновением, которое так странно вмещалось вместе с необузданностью, чем особенно славились козацкие войска. Прямо на разостланном ковре сидел полковник. Ему, казалось на вид, было лет 50. Волоса у него стали седеть, сизые усы величаво опускались вниз. Длинный синий рубец на щеке и лбу тянулся по

его почти бронзовому лицу. Кажется, нельзя было отыскать никакой резкой характерной черты, но просто оно выражало с спокойствием уверенность козака. Глядя на него, можно было тотчас узнать, что у него рука железная и мощно может управлять <*1 нрзб*>. На нем были широкие, синие с серебром шаровары. Верхнее платье небрежно валялось на полу. Несколько пистолетов и ружей стояли, и висели по углам ставки уздечки; в углу куль соломы. Полковник сам, своею рукой, чинил свое седло, когда вошли к нему писарь и есаул.

«Здравствуйте, панове, мои верные, мои добрые товарищи. Вот вам приказ: не пускать далеко на попас, потому что татарва теперь рыскает по степям. Итти, как можно подальше, избирайте траву повыше, и шапки даже не снимайте. Да чтоб козаки не стреляли по дорогам дрохв и гусей, потому что и порох избавят даром, да что за мясоед такой козаку? Сухари да вода — то козацкая еда. А вы, мой любый кум и мой любезный приятель (при этом он оборотился к писарю), сделайте сей же час прокличку и запишите всех, кто налицо. Да смотрите оба, что<бы> все было как следует; а то я вам скажу, вчера я видел, как козак кланялся что-<то> слишком часто <на> коне. Я хотел было <*1 нрзб*> его, да жаль было заряда: у меня писто-

лет был заряжен хорошим порохом»...

2

«Мне нужно к полковнику. Я хочу видеть самого полковника!»

«Тебе полковника? — говорил полунасмешливым и полупрезрительным тоном сторожевой козак, потряхивая откидными рукавами алого цвета с золотым шнурком и поглядевши пристально на просителя, почти отрока, в темном длинном кунтуше. — Подожди немножко».

«Мне наскучило ждать, я устал и очень долго ожидаю».

«Подожди немножко».

«Да до коих пор ждать мне?»

«А вот, пока подрастешь», — отвечал хладнокровно козак, готовя и прочищая свою трубку.

«Дядюшка, ты мой батька, мать моя родная, пусти к полковнику!»

«Какого тебе дьявола нужно? Пан полковник не станет говорить с такими, как ты».

«Не будет говорить, так прогонит. Пусти только меня».

«Нельзя, пан полковник теперь спит».

«Лжет он. Я не сплю», — послышался голос

из ставки. Козак привстал. Молодой проситель вздрогнул; бледность вдруг осенила его лицо, и сердце начало так сильно биться, что другому можно было слышать его.

«Ну, ступай, иди. Чего же стал!»

Но обеспамятевший насилу мог собраться с духом. В это время пошли в ставку эсаул и полковой писарь. Обрадовавшись этому случаю, он скрепился и пошел вслед за ними.

Ночи на вилле

Они были сладки и томительны, эти бессонные ночи. Он сидел больной в креслах. Я при нем. Сон не смел касаться очей моих. Он безмолвно и невольно, казалось, уважал святыню ночного бдения. Мне было так сладко сидеть возле него, глядеть на него. Уже две ночи, как мы говорили друг другу: ты. Как ближе после этого он стал мне! Он сидел все тот же кроткий, тихий, покорный. Боже, с какою радостью, с каким бы веселием я принял бы на себя его болезнь, и если бы моя смерть могла возвратить его к здоровью, с какою готовностью я бы кинулся тогда к ней.

Я не был у него эту ночь. Я решился наконец заснуть ее у себя. О, как пошла, как подла была эта

ночь вместе с моим презренным сном! Я дурно спал ее, несмотря на то, что всю неделю проводил ночи без сна. Меня терзали мысли о нем. Мне он представлялся молящий, упрекающий. Я видел его глазами души. Я поспешил на другой день поутру и шел к нему как преступник. Он увидел меня лежащий в постели. Он усмехнулся тем же смехом ангела, которым привык усмехаться. Он дал мне руку. Пожал ее любовно: «Изменник! — сказал он мне. — Ты изменил мне». — «Ангел мой! — сказал я ему. — Прости меня. Я страдал сам твоим страданием, я терзался эту ночь. Не спокойствие был мой отдых, прости меня». Кроткий! Он пожал мою руку! Как я был полно вознагражден тогда за страдания, нанесенные мне моею глупо проведенною ночью. «Голова моя тяжела», — сказал он. Я стал его обмахивать веткою лавра. «Ах, как свежо и хорошо!» — говорил он. Его слова были тогда, что они были! Что бы я дал тогда, каких бы благ земных, презренных этих, подлых этих, гадких благ, нет! о них не стоит говорить. Ты, кому попадутся, если только попадутся, в руки эти нестройные слабые строки, бледные выражения моих чувств, ты поймешь меня. Иначе они не попадутся тебе. Ты поймешь, как гадка вся груда сокровищей и почестей, эта звенящая приманка

деревянных кукол, называемых людьми. О, как бы тогда весело, с какой бы злостью растоптал и подавил все, что сыплется от могущего скиптра полночного царя, если б только знал, что за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение на лице его.

«Что ты приготовил для меня такой дурной май!» — сказал он мне, проснувшись, сидя в креслах, услышав шумевший за стеклами окон ветер, срывавший благовония с цвевших диких жасминов и белых акаций и клубивший их вместе с листками роз.

В 10 часов я сошел к нему. Я его оставил за 3 часа до этого времени, чтобы отдохнуть немного и чтобы доставить какое-нибудь разнообразие, чтобы мой приход потом был ему приятнее. Я сошел к нему в 10 часов. Он уже более часу сидел один. Гости, бывшие у него, давно ушли. Он сидел один, томление скуки выражалось на лице его. Он меня увидел. Слегка махнул рукой. «Спаситель ты мой!» — сказал он мне. Они еще доныне раздаются в ушах моих, эти слова. «Ангел ты мой! ты скучал?» — «О, как скучал!» — отвечал он мне. Я поцеловал его в плечо. Он мне подставил свою щеку. Мы поцеловались. Он все еще жал мою руку.

Ночь 8

Он не любил и не ложился почти вовсе в постель. Он предпочитал свои кресла и то же свое сидячее положение. В ту ночь ему доктор велел отдохнуть. Он приподнялся неохотно и, опираясь на мое плечо, шел к своей постеле. Душенька мой! Его уставший взгляд, его теплый пестрый сюртук, медленное движение шагов его… Все это я вижу, все это передо мною. Он сказал мне на ухо, прислонившись к плечу и взглянувши на постель: «Теперь я пропавший человек». — «Мы всего только полчаса останемся в постеле, — сказал я ему. — Потом перейдем вновь в твои кресла».

Я глядел на тебя, мой милый, нежный цвет! Во все то время, как ты спал или только дремал на постеле и в креслах, я следил твои движения и твои мгновенья, прикованный непостижимою к тебе силою.

Как странно нова была тогда моя жизнь и как вместе с тем я читал в ней повторение чего-то отдаленного, когда-то давно бывшего. Но, мне кажется, трудно дать идею о ней: ко мне возвратился летучий свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими сверстниками, и дружбы решительно юно-

шеской, полной милых, почти младенческих мелочей и наперерыв оказываемых знаков нежной привязанности; когда сладко смотреть очами в очи и когда весь готов на пожертвования, часто даже вовсе не нужные. И все эти чувства сладкие, молодые, свежие — увы! жители невозвратимого мира, — все эти чувства возвратились ко мне. Боже! Зачем? Я глядел на тебя. Милый мой молодой цвет! Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старее целыми десятками, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь. Так угаснувший огонь еще посылает на воздух последнее пламя, озарившее трепетно мрачные стены, чтобы потом скрыться навеки и…[264]

[264] Примечания: 264
На этом рукопись обрывается.

Мелкие отрывки
Страшная рука

ПОВЕСТЬ ИЗ КНИГИ ПОД НАЗВАНИЕМ: ЛУННЫЙ СВЕТ В РАЗБИТОМ ОКОШКЕ ЧЕРДАКА НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ В 16-ОЙ ЛИНИИ.

Было далеко за полночь. Один фонарь только озарял капризно улицу и бросал какой-то страшный блеск на каменные домы и оставлял во мраке деревянные, <которые> из серых превращались совершенно в черные.

<Фонарь умирал>

Фонарь умирал на одной из дальних линий Василь<евского> Острова. Одни только белые каменные домы кое-где вызначивались. Деревянные чернели и сливались с густою массою мрака, тяготевшего над ними. Как страшно, когда каменный тротуар прерывается деревянным, когда деревянный даже пропадает, когда все чувствует 12 часов, когда отдаленный будочник спит, когда кошки, бессмысленные кошки, одни спевыва-

ются и бодрствуют! Но человек знает, что они не дадут сигнала и не поймут его несчастья, если внезапно будет атакован мошенника<ми>, выскочившими из этого темного переулка, который распростер к нему свои мрачные объятия. Но проходивший в это время пешеход ничего подобного не имел в мыслях. Он был не из обыкновенных в Петербурге пешеходов. Он был не чиновник, не русская борода, не офицер и не немецкий ремесленник. Существо вне гражданства столицы. Это был приехавший из Дерпта студент на факультеты, готовый на все должности, но еще покамест ничего, кроме студент, занявший пол-угла в Мещанской, у сапожника немца. Но обо всем этом после. Студент, который в этом чинном городе был тише воды, без шпаги и рапиры, закутавшись шинелью, пробирался под домами, отбрасывая от себя саму<ю> огромную тень, головою терявшуюся в мраке. Все, казалось, умерло, нигде огня. Ставни были закрыты. Наконец, подходя к Большому проспекту, особенно остановил внимание на одном доме. Тонкая щель в ставне, светившаяся огненной чертою, невольно привлекала и заманила заглянуть. Прильнув к ставне и приставив глаз к тому месту, где щель была пошире, и задумался. Лампа блистала в голубой комнате.

Вся она была завалена разбросанными штуками материй. Газ почти невидимый, бесцветный, воздушно висел на ручках кресел и тонкими струями, как льющийся водопад, падал на пол. Палевые цветы, на белой шелковой блиставшей блеском серебра материи, светились из-под газа. Около дюжины шалей, легких и мягких, как пуховые, с цветами совершенно живыми, смятые, были брошены на полу. Кушаки, золотые цепи висели на взбитых до потолка облаках батиста. Но более всего занимала студента стоявшая в углу комнаты стройная женская фигура. Все для студента в чудесно очаровательном, в ослепительно божественном платье — в самом прекраснейшем белом. Как дышет это платье!.. Сколько поэзии для студента в женском платье!.. Но белый цвет — с ним нет сравнения. Женщина выше женщины в белом. Она — царица, видение, все, что похоже на самую гармоническую мечту. Женщина чувствует это и потому в отдельные <?> минуты преображается в белую. Какие искры пролетают по жилам, когда блеснет среди мрака белое платье! Я говорю — среди мрака, потому что все тогда кажется мраком. Все чувства переселяются тогда в запах, несущийся от него, и в едва слышимый, но музыкальный шум,

производимый им. Это самое высшее и самое сладострастнейшее сладострастие. И потому студент наш, которого всякая горничная девушка на улице кидала в озноб, который не знал прибрать имени женщине, — пожирал глазами чудесное видение, которое, стоя с наклоненною на сторону головою, охваченное досадною тенью, наконец поворотило прямо против него ослепительную белизну лица и шеи с китайскою прическою. Глаза, неизъяснимые глаза, с бездною души под капризно и обворожительно поднятым бархатом бровей были невыносимы для студента. Он задрожал и тогда только увидел другую фигуру, в черном фраке, с самым странным профилем. Лицо, в котором нельзя было заметить ни одного угла, но вместе с сим оно не означалось легкими, округленными чертами. Лоб не опускал<ся> прямо к носу, но был совершенно покат, как ледяная гора для катанья. Нос был продолжение его — велик и туп. Губы, только верхняя выдвинулась далее. Подбородка совсем не было. От носа шла диагональная линия до самой шеи. Это был треугольник, вершина которого находилась в носе: лица, которые более всего выражают глупость.

<Дождь был продолжительный>

Дождь был продолжительный, сырой, когда я вышел на улицу. Серодымное небо предвещало его надолго. Ни одной полосы света; ни в одном месте, [ни]где не разрывалось серое покрывало. Движущаяся сеть дождя задернула почти совершенно все, что прежде видел глаз, и только одни передние домы мелькали будто сквозь тонкий газ. Тускло мелькала вывеска над <вы>веской, еще тусклее над ними балкон, выше его еще этаж, наконец крыша готова была потеряться в дождевом [тумане] и только мокрый блеск ее отличал ее немного от воздуха; вода урчала с труб. На тротуарах лужи. Черт возьми, люблю я это время. Ни одного зеваки на улице. Теперь не найдешь ни одного из тех господ, которые останавливаются для того что<бы> посмотреть на сапоги ваши, на штаны, на фрак или на шляпу и потом, разинувши рот, поворачиваются несколько раз назад для того, чтобы осмотреть задний фасад ваш. Теперь раздолье мне закута<ться> крепче в свой плащ. Как удирает этот любезный молодой <человек> с личиком, которое можно упрятать в дамский ридикюль; напрасно: не

спасет новенького сюртучка, красу и загляденье Невского проспекта. Крепче его, крепче, дождик: пусть он вбежит как мокрая крыса домой. А вот и суровая дама бежит в своих пестрых тряпках поднявши платье, далее чего нельзя поднять, не нарушив последней благопристойности; куда девался характер: и не ворчит, видя, как чиновная крыса в вицмундире с крестиком, запустив свои зеленые, как воротничек его, глаза, наслаждается видом полных, при каждом шаге трепещущих почти как бламанже выпуклостей ноги. О, это таковской народ! Они большие бестии, эти чиновники, ловить рыбу в мутной воде. В дождь, снег, ведро всегда эта амфибия на улице. Его воротник как хамелеон меняет свой цвет каждую минуту от температуры, но он сам неизменен как его канцелярский порядок. Навстречу русская борода, купец в синем немецкой работы сюртуке с талией на спине или лучше на шее. С какою купеческою ловкостью держит он зонтик над своею половиною. Как тяжело пыхтит эта масса мяса, обвернутая в капот и чепчик. Ее скорее можно причислить к молюскам, нежели к позвончатым животным. Сильнее, дождик, ради бога сильнее кропи его сюртук немецкого покрою и жирное мясо этой обитательницы пуховиков и подушек.

Боже, какую адскую струю они оставили после себя в воздухе из капусты и луку. Кропи их, дождь, за все, за наглое бесстыдство плутовской бороды, за жадность к деньгам, за бороду, полную насекомых, и сыромятную жизнь сожительницы… Какой вздор! их не проймет оплеуха квартального надзирателя, что же может сделать дождь. Но, как бы то ни было, только такого дождя давно не было. Он увеличился и переменил косвенное свое направление, сделался прямой, <с> шумом хлынул в крыши и мостовую, как <бы> желая вдавить еще ниже этот болотный город. Окна в кондитерских захлопнулись. Головы с усами и трубкою, долее всех глядевшие, спрятались. Даже серый рыцарь с алебардою и завязанною щекою убежал в будку.

<Рудокопов>

Я знал одного чрезвычайно замечательного человека. Фамилия его была Рудокопов и, действительно, отвечала его занятиям, потому что, казалось, к чему ни притрогивался он, все то обращалось в деньги. Я его еще помню, когда он имел только 20 душ крестьян да сотню десятин земли

и ничего больше, когда он еще принадлежал[265]

<Семен Семенович Батюшек>

Можно биться об заклад, что читатель, если ему случится только проезжать заштатный городишку Погар, увидит, что из окна одного деревянного, весьма крепкого дома, с высокою крышею и двумя белыми трубами, глядит весьма полное, без всяких рябин лицо, цветом несколько похожее на свежую, еще неношенную подошву.

Это Семен Семенович Батюшек — помещик, дворянин, губернский секретарь. Он завел обыкновение глядеть из окна решительно на все, что ни есть на улице. Едет ли проезжий какой-нибудь дворянин, может быть тоже и губернский секретарь, а может быть и повыше, в коляске покойной, глубокой как арбуз, из которой смотрят хлеб, няньки, подушки или просто жид извозчик на облучке <покрытом?> рогожами, с узкою дрянной бородой, в которой оставили весьма немного волос разные господа, одетые в военные и партикулярные платья; или пронесется с шумом <?> картинно <?> разбойник и <.....>

---

[265] Примечания: 265
Не дописано.

ремонтер. — Он все это рассмотр<ит>. Если ж и никто не проедет — ничего, это не беда. <Семен> Семенович посмотрит и на курицу и на чушку, которая пробежит перед окном, и весьма внимательно <?> от головы до хвоста. Когда столкнутся два воза, он из окна тут же подаст благоразумные советы, кому податься вперед, кому <назад> и первому проходящему прикажет помочь. Если один из очень быстрых его глаз завидит, что мальчик лезет через забор в чужой огород или пачкает углем на стене неприличную фигуру, он подзовет очень ласковым голоском к себе, велит потом подвинуться ему ближе к окну, потом еще ближе, потом, протянувши руку, хвать его за ухо и отдерет это бедное <ухо> таким образом, что тот унесет его домой, висящее на одной ниточке как нерадиво пришитая пуговица к сертуку. Если подерутся два мужика, то он сию ж минуту тут же из окна над ними суд, допросит чьи они, велит позвать Петрушку и Павлушку, повара и комнатного лакея, у <которого> на серой куртке неизвестно по какой причине военный воротник, и тут же высечет обоих мужиков, а другим еще прикажет придержать. Ему нет нужды, что не его люди.

Только на два часа в день прячется это лицо. Это

случается во время и после обеда, когда он имеет обыкновение отдыхать. Но и тут случись только какое-нибудь происшествие на улице, <Семен> Семенович как паук, к которому попадается в паутину муха, вдруг выбежит из своего угла и уже так знакомое заштатному городишку лицо, цвету еще неношенной подошвы, торчит у окна.

<Девицы Чабловы>

Девицы Чабловы, дочери бедных родителей, вышли вместе из института в одно время и вдруг очутились среди света, огромного, великого, со страхом и робостью в душе. Они были умны; каким образом они сделались умны — никто не знал, может бы<ть> это было внушено им от рождения как инстинкт или, может быть, они умели извлечь крупицы опытности и здравого суждения из книг, которые им удалось читать, из которых не всякой умеет извлекать что-либо. Дело в том, что они задумали<сь> о своем существовании, и в то время, когда ветрен<ая> и малодушная бросается на свет без рассмотрения, как бабочка на свечу. Они уже захотели сделать для себя план жизни и предначертать заранее для себя самих правила, в законах которых обращалась бы их

жизнь. — Вещь совершенно необыкновенная в девицах осьмнадцатилетних.

Что это?

1

Что это? Мне все как будто слышится чей-то голос. Ох! Деревья как будто движутся, каждый листок шепчет на всякого. Луна как будто нагибается и слушает. Черный мрак как будто выходит из гущи деревьев и хочет схватить меня. Ах, что вы хотите от меня, что вы глядите на меня, что вы грозите на меня, что же мне делать? я не могу, я не своя, близ его только сердца я могу успокоиться. Константин, Константин!

2

— Ну, что ты теперь скажешь о добродетели женщин, а? То-то, братец, никогда не бейся, особливо со мною. Мне даже было несколько жаль прельстить ее, но чтоб тебе доказать только и проучить, решился это сделать.

— И у тебя нет совести, так по́шло говорить об этом.

— Почему ж, если бы она была какая замарашка, мещанка или обыкновенная курносенькая краснощекая, каких дюжинами господь посылает, тогда другое было бы дело, но эта, братец, *никому бесчестья* не сделает. Хорошенькой я *очень рад,* я всегда, не краснея, похвалюсь ею!

3

Боже, ты правосуден, ты великодушен, этому ли ангелу оставить землю, этому ли ангелу пошлет рука твоя смерть! Нет, ты не произнесешь рокового определения, нет, ты сохранишь эту бесценную жизнь. Я напрасно даже сомневаюсь. О! Она выздоровеет. Она восстанет от своей болезни еще лучше, еще прекраснее прежнего. Какой яркий румянец оживил ее щеки, она будет здорова. Она будет здорова. Эта свежесть, разливша<яся> по ее лицу, есть уже признак ее здоровья.

4

Неумолимая, знай, что моя жизнь, что все мое помышление, желанье, надежда, все, что похоже на счастье, все в тебе. И ты… Не знаю, ты для

каких предопределений налагаешь на себя незаслуженные цепи наказания. О, чтобы наказать себя за какой-то проступок, незначащий, ничтожный в сравнении с ангельскою жизнью, за что же другой через это должен понесть всю тягость наказания. И кого же другого ты упрекаешь? Поразить меня, которого ты сама видела всю глубину любви к тебе. Нет, это не самоотвержение, это не самоотвержение, это не добродетель, это эгоизм. Я удалюсь. Немолчная глубокая тоска проточит меня. Я умру медлительною ужасною смертью. Юлия, я умру потому, что я не могу жить без <тебя>.

Драматические отрывки и наброски
Игроки
Дела давно минувших дней

Комната в городском трактире.

Явление I

Ихарев входит в сопровождении трактирного слуги Алексея и своего собственного Гаврюшки.

Алексей. Пожалуйте-с, пожалуйте! Вот-с покойчик! уж самый покойный, и шуму нет вовсе.

Ихарев. Шума нет, да чай конного войска вдоволь, скакунов?

Алексей. То есть изволите говорить насчет блох? уж будьте покойны. Если блоха или клоп укусит, уж это наша ответственность: уж с тем стоим.

Ихарев *(Гаврюшке)*. Ступай выносить из колясски. *(Гаврюшка уходит. Алексею.)* Тебя как зовут?

Алексей. Алексей-с.

Ихарев. Ну, послушай, *(значительно)* рассказывай, кто у вас живет?

Алексей. Да живут теперь много; все номера

почти заняты.

Ихарев. Кто же именно?

Алексей. Швохнев Петр Петрович, Кругель полковник, Степан Иванович Утешительный.

Ихарев. Играют?

Алексей. Да вот уж шесть ночей сряду играют.

Ихарев. Пара целковиков! *(Сует ему в руку.)*

Алексей *(кланяясь)*. Покорнейше благодарю.

Ихарев. После еще будет.

Алексей. Покорнейше-с благодарю.

Ихарев. Между собой играют?

Алексей. Нет, недавно обыграли поручика Артуновского, у князя Шенькина выиграли тридцать шесть тысяч.

Ихарев. Вот тебе еще красная бумажка! А если послужишь честно, еще получишь. Признайся, карты ты покупал?

Алексей. Нет-с, они сами брали вместе.

Ихарев. Да у кого?

Алексей. Да у здешнего купца Вахрамейкина.

Ихарев. Врешь, врешь, плут.

Алексей. Ей-богу.

Ихарев. Хорошо. Мы с тобой потолкуем ужо. *(Гаврюшка вносит шкатулку.)* Ставь ее здесь. Теперь ступайте, приготовьте мне умыться и побриться. *(Слуги уходят.)*

Явление II

Ихарев один, отпирает шкатулку, всю наполненную карточными колодами.

Каков вид, а? Каждая дюжина золотая. По́том, трудом досталась всякая. Легко сказать, до сих пор рябит в глазах проклятый крап. Но ведь зато, ведь это тот же капитал. Детям можно оставить в наследство! Вот она, заповедная колодишка — просто перл! За то ж ей и имя дано: да, Аделаида Ивановна. Послужила ты мне, душенька, так, как послужила сестрица твоя, выиграй мне также восемьдесят тысяч, так я тебе, приехавши в деревню, мраморный памятник поставлю. В Москве закажу. *(Услышав шум, поспешно закрывает шкатулку.)*

Явление III

Алексей и Гаврюшка *(несут лоханку, рукомойник и полотенце).*

Ихарев. Что эти господа где теперь? дома?

Алексей. Да-с, они теперь в общей зале.

Ихарев. Пойду взглянуть на них, что за народ.

(Уходит.)

Явление IV

Алексей и Гаврюшка.

Алексей. Что, издалека едете?

Гаврюшка. А из Рязани.

Алексей. А сами тамошней губернии?

Гаврюшка. Нет, сами из Смоленской.

Алексей. Так-с. Так поместив, выходит, в Смоленской губернии?

Гаврюшка. Нет, не в Смоленской. В Смоленской сто душ да в Калужской восемьдесят.

Алексей. Понимаю, в двух то есть губерниях.

Гаврюшка. Да, в двух губерниях. У нас одной дворни: Игнатий буфетчик, Павлушка, который прежде с барином ездил, Герасим лакей, Иван тоже опять лакей, Иван псарь, Иван опять музыкант, потом повар Григорий, повар Семен, Варух садовник, Дементий кучер, вот как у нас.

Явление V

Те же, Кругель, Швохнев *(осторожно входя)*.

Кругель. Право, я боюсь, чтоб он нас не застал

здесь.

Швохнев. Ничего, Степан Иванович его удержит. *(Алексею.)* Ступай, брат, тебя зовут! *(Алексей уходит. Швохнев, подходя поспешно к Гаврюшке.)* Откуда барин?

Гаврюшка. Да теперь из Рязани.

Швохнев. Помещик?

Гаврюшка. Помещик.

Швохнев. Играет?

Гаврюшка. Играет.

Швохнев. Вот тебе красуля. *(Дает ему бумажку.)* Рассказывай все!

Гаврюшка. Да вы не скажете баричу?

Оба. Ни, ни, не бойся!

Швохнев. Что, как он теперь, в выигрыше? а?

Гаврюшка. Да вы полковника Чеботарева не знаете?

Швохнев. Нет, а что?

Гаврюшка. Недели три тому назад мы его обыграли на восемьдесят тысяч деньгами, да коляску варшавскую, да шкатулку, да ковер, да золотые эполеты одной выжиги дали на шестьсот рублей.

Швохнев *(взглянув на Кругеля значительно)*. А? Восемьдесят тысяч!

Кругель *(показал головою)*.

Швохнев. Думаешь, нечисто? Это мы сейчас узнаем. *(Гаврюшке.)* Послушай, когда барин остается дома один, что делает?

Гаврюшка. Да как что делает? Известно, что делает. Он уж барин, так держит себя хорошо: он ничего не делает.

Швохнев. Врешь, чай карт из рук не выпускает.

Гаврюшка. Не могу знать, я с барином всего две недели. С ним прежде все Павлушка ездил. У нас тоже есть Герасим лакей, опять Иван лакей, Иван псарь, Иван музыкант, Дементий кучер, да намедни из деревни одного взяли.

Швохнев *(Кругелю)*. Думаешь, шулер?

Кругель. И очень может быть.

Швохнев. А попробовать все-таки попробуем. *(Оба убегают.)*

Явление VI

Гаврюшка один.

Проворные господа! а за бумажку спасибо. Будет Матрене на чепец, да пострельчонкам тоже по прянику. Эх, люблю походную жисть! Уж всегда что-нибудь приобретешь: барин пошлет купить чего-нибудь — все уж с рубля гривенни-

чек положишь себе в карман. Как подумаешь, что за житье господам на свете! куда хошь катай! В Смоленске наскучило, поехал в Рязань, не захотел в Рязани — в Казань. В Казань не захотел, валяй под самый Ярослав. Вот только до сих пор не знаю, который из городов будет партикулярней, Рязань или Казань? Казань будет потому партикулярней, что в Казани…

Явление VII

Ихарев, Гаврюшка, потом Алексей.

Ихарев. В них нет ничего особенного, как мне кажется. А впрочем… Эх, хотелось бы мне их обчистить! Господи боже, как бы хотелось! Как подумаешь, право, сердце бьется. *(Берет щетку, мыло, садится перед зеркалом и начинает бриться.)* Просто рука дрожит, никак не могу бриться. *(Входит Алексей.)*

Алексей. Не прикажете ли чего покушать?

Ихарев. Как же, как же. Принеси закуску на четыре человека. Икры, семги, бутылки четыре вина. Да накорми сейчас его *(указывая на Гаврюшку)*.

Алексей *(Гаврюшке)*. Пожалуйте в кухню, там для вас приготовлено. *(Гаврюшка уходит.)*

Ихарев *(продолжая бриться)*. Послушай! Много они тебе дали?

Алексей. Кто-с?

Ихарев. Ну, да уж не изворачивайся, говори!

Алексей. Да-с, за прислугу пожаловали.

Ихарев. Сколько? пятьдесят рублей?

Алексей. Да-с, пятьдесят рублей дали.

Ихарев. А от меня, не пятьдесят, а вон видишь на столе лежит сторублевая бумажка? возьми ее, что боишься? не укусит. От тебя не потребуется больше ничего, как только честности, понимаешь? Карты пусть будут у Вахрамейкина или у другого купца, это не мое дело, а вот тебе в придачу от меня дюжину. *(Дает ему запечатанную дюжину.)* Понимаешь?

Алексей. Да уж как не понять? Извольте положиться, это уж наше дело.

Ихарев. Да карты спрячь хорошенько, чтоб как-нибудь тебя не ощупали или не увидели. *(Кладет щетку и мыло и вытирается полотенцем. Алексей уходит.)* Хорошо бы было и очень бы хорошо. А уж как, признаюсь, хочется поддеть их.

Явление VIII

Швохнев, Кругель и Степан Иванович Утешительный входят с поклонами.

Ихарев *(с поклоном к ним навстречу)*. Прошу простить. Комната, как видите, не красна углами: четыре стула всего.

Утешительный. Приветливые ласки хозяина дороже всяких удобств.

Швохнев. Не с комнатой жить, а с добрыми людьми.

Утешительный. Именно правда. Я бы не мог быть без общества. *(Кругелю.)* Помнишь, почтеннейший, как я приехал сюды; один-одинешенек. Вообразите: знакомых никого. Хозяйка — старуха. На лестнице какая-то поломойка, урод естественнейший, вижу, увивается около нее какой-то армейщина, видно, натощаках… Словом, скука смертная. Вдруг судьба послала вот его, а потом случай свел с ним… Ну, уж как я был рад. Не могу, не могу часу пробыть без дружеского общества. Все, что ни есть на душе, готов рассказать каждому.

Кругель. Это, брат, порок твой, а не добродетель. Излишество вредит. Ты, верно, уж не раз

был обманут.

Утешительный. Да, обманывался, обманывался и всегда буду обманываться. А все-таки не могу без откровенности.

Кругель. Ну, признаюсь, это для меня непонятно. Быть откровенну со всяким. Дружба — это другое дело.

Утешительный. Так, но человек принадлежит обществу.

Кругель. Принадлежит, но не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет. весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь!

Швохнев *(Утешительному)*. Не спорь, брат, ты неправ.

Утешительный *(горячась)*. Нет, я докажу. Это обязанность… Это, это, это… это долг! это, это, это…

Швохнев. Ну, зарапортовался! Горяч необыкновенно: еще первые два слова можно понять из того, что он говорит, а уж дальше ничего не поймешь.

Утешительный. Не могу, не могу! Если дело коснется обязанностей или долга, я уж ничего не

помню. Я обыкновенно вперед уж объявляю: господа, если будет о чем подобном толк, извините, увлекусь, право, увлекусь. Точно хмель какой-то, а желчь так и кипит, так и кипит.

Ихарев *(про себя)*. Ну, нет, приятель! Знаем мы тех людей, которые увлекаются и горячатся при слове обязанность. У тебя, может быть, и кипит желчь, да только не в этом случае. *(Вслух.)* А что, господа, покамест спор о священных обязанностях, не засесть ли нам в банчик? *(В продолжение их разговора приготовлен на столе завтрак.)*

Утешительный. Извольте, если не в большую игру, почему нет.

Кругель. От невинных удовольствий я никогда не прочь.

Ихарев. А что, ведь в здешнем трактире, чай, есть карты?

Швохнев. О, только прикажите.

Ихарев. Карты! *(Алексей хлопочет около карточного стола.)* А между тем прошу, господа! *(Указывая рукой на закуску и подходя к ней.)* Балык, кажется, не того, а икра еще так и сяк.

Швохнев *(посылая в рот кусок)*. Нет, и балык того.

Кругель *(так же)*. И сыр хорош. Икра тоже недурна.

Швохнев *(Кругелю)*. Помнишь, какой отличный сыр ели мы недели две тому назад.

Кругель. Нет, никогда в жизни не позабуду я сыра, который ел я у Петра Александровича Александрова.

Утешительный. Да ведь сыр, почтеннейший, когда хорош? Хорош он тогда, когда сверх одного обеда наворотишь другой — вот где его настоящее значение. Он все равно, что добрый квартирмистр, говорят: «Добро пожаловать, господа, есть еще место».

Ихарев. Добро пожаловать, господа, карты на столе.

Утешительный *(подходя к карточному столу)*. А вот оно, старина, старина! Слышь, Швохнев, карты, а? Сколько лет…

Ихарев *(в сторону)*. Да полно тебе корчить!..

Утешительный. Хотите вы держать банчик?

Ихарев. Небольшой — извольте, пятьсот рублей. Угодно снять? *(Мечет банк.)*

Начинается игра. Раздаются восклицания:

Швохнев. Четверка, тузик, оба по десять.

Утешительный. Подай-ка, брат, мне свою колоду, я выберу себе карту на счастье нашей губернской предводительницы.

Кругель. Позвольте присовокупить девяточку.

Утешительный. Швохнев, подай мел. Приписываю и списываю.

Швохнев. Черт побери, пароле!

Утешительный. И пять рублей мазу!

Кругель. Атанде! Позвольте посмотреть, кажется, еще две тройки должны быть в колоде.

Утешительный *(вскакивает с места, про себя)*. Черт побери, тут что-то не так. Карты другие, это очевидно. *(Игра продолжается.)*

Ихарев *(Кругелю)*. Позвольте узнать: обе идут?

Кругель. Обе.

Ихарев. Не возвышаете?

Кругель. Нет.

Ихарев *(Швохневу)*. А вы что ж? не ставите?

Швохнев. Позвольте мне эту талию переждать. *(Встает со стула, торопливо подходит к Утешительному и говорит скоро):* Черт возьми, брат! И передергивает, и все что хочешь. Шулер первой степени.

Утешительный *(в волненье)*. Неужли, однако ж, отказаться от восьмидесяти тысяч?

Швохнев. Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять.

Утешительный. Ну, это еще вопрос, а пока с ним объясниться!

Швохнев. Как?

Утешительный. Открыться ему во всем.

Швохнев. Для чего?

Утешительный. После — скажу. Пойдем. *(Подходят оба к Ихареву и ударяют его с обеих сторон по плечу.)*

Утешительный. Да полно вам тратить попусту заряды.

Ихарев *(вздрогнув)*. Как?

Утешительный. Да что тут толковать, свой своего разве не узнал?

Ихарев *(учтиво)*. Позвольте узнать, в каком смысле я должен разуметь.

Утешительный. Да просто без дальнейших слов и церемоний. Мы видели ваше искусство и, поверьте, умеем отдавать справедливость достоинству. И потому от лица наших товарищей предлагаю вам дружеский союз. Соединя наши познания и капиталы, мы можем действовать несравненно успешней, чем порознь.

Ихарев. В какой степени я должен понимать справедливость слов ваших?..

Утешительный. Да вот в какой степени: за искренность мы платим искренностью. Мы признаемся тут же вам откровенно, что сговорились обыграть вас, потому что приняли вас за человека обыкновенного. Но теперь видим, что вам

знакомы высшие тайны. Итак, хотите ли принять нашу дружбу?

Ихарев. От такого радушного предложения не могу отказаться.

Утешительный. Итак, подадимте же, всякий из нас, друг другу руки. *(Все попеременно пожимают руку Ихареву.)* Отныне все общее, притворство и церемонии в сторону! Позвольте узнать, с каких пор начали исследовать глубину познаний?

Ихарев. Признаюсь — это уже с самых юных лет было моим стремлением. Еще в школе во время профессорских лекций я уже под скамьей держал банк моим товарищам.

Утешительный. Я так и полагал. Подобное искусство не может приобресться, не быв практиковано от лет гибкого юношества. Помнишь, Швохнев, этого необыкновенного ребенка?

Ихарев. Какого ребенка?

Утешительный. А вот расскажи!

Швохнев. Подобного события я никогда не позабуду. Говорит мне его зять *(указывая на Утешительного)*, Андрей Иванович Пяткин: «Швохнев, хочешь видеть чудо? Мальчик одиннадцати лет, сын Ивана Михаловича Кубышева, передергивает с таким искусством, как ни один из игроков! Поезжай в Тетюшевский уезд и посмотри!» Я, при-

знаюсь, тот же час отправился в Тетюшевский уезд. Спрашиваю деревню Ивана Михаловича Кубышева и приезжаю прямо к нему. Приказываю о себе доложить. Выходит человек почтенных лет. Я рекомендуюсь, говорю: «Извините, я слышал, что бог наградил вас необыкновенным сыном». — «Да, признаюсь, — говорит (и мне понравилось то, что без всяких, понимаете, этих претензий и отговорок), — да, — говорит, — точно, хотя отцу и неприлично хвалить собственного сына, но это действительно в некотором роде чудо. Миша! — говорит, — поди-ка сюда, покажи гостю искусство!» Ну, мальчик, просто ребенок, мне по плечо не будет, и в глазах ничего нет особенного. Начал он метать — я просто потерялся. Это превосходит всякое описанье.

Ихарев. Неужто ничего нельзя было приметить?

Швохнев. Ни, ни, никаких следов! Я смотрел в оба глаза.

Ихарев. Это непостижимо!

Утешительный. Феномен, феномен.

Ихарев. И как я подумаю, что при этом еще нужны познания, основанные на остроте глаз, внимательное изученье крапа.

Утешительный. Да ведь это очень облегчено те-

перь. Теперь накрапливанье и отметины вышли вовсе из употребления; стараются изучить ключ.

Ихарев. То есть ключ рисунка?

Утешительный. Да, ключ рисунка обратной стороны. Есть в одном городе, в каком именно, я не хочу назвать, один почтенный человек, который больше ничем уж и не занимается, как только этим. Ежегодно получает он из Москвы несколько сотен колод, от кого именно — это покрыто тайною. Вся обязанность его состоит в том, чтобы разобрать крап всякой карты и послать от себя только ключ. Смотри, мол, у двойки вот как расположен рисунок! у такой-то вот как! За это одно он получает чистыми деньгами пять тысяч в год.

Ихарев. Это, однако ж, важная вещь.

Утешительный. Да оно, впрочем, так и быть должно. Это то, что называется в политической экономии распределение работ. Все равно каретник. Ведь он не весь же экипаж делает сам. Он отдает и кузнецу и обойщику. А иначе не стало бы всей жизни человеческой.

Ихарев. Позвольте вам сделать один вопрос. Как поступали вы доселе, чтобы пустить в ход колоды? Подкупать слуг ведь не всегда можно.

Утешительный. Сохрани бог! да и опасно. Это

значит иногда самого себя продать. Мы делаем это иначе. Один раз мы поступили вот как: приезжает на ярмонку наш агент, останавливается под именем купца в городском трактире. Лавки еще не успел нанять; сундуки и вьюки пока в комнате. Живет он в трактире, издерживается, ест, пьет и вдруг пропадает неизвестно куда, не заплативши. Хозяин шарит в комнате. Видит, остался один вьюк; распаковывает — сто дюжин карт. Карты, натурально, сей же час проданы с публичного торга. Пустили рублем дешевле, купцы вмиг расхватали в свои лавки. А в четыре дни проигрался весь город.

Ихарев. Это очень ловко.

Швохнев. Ну, а у того, у помещика?..

Ихарев. Что у помещика?

Утешительный. А это дело тоже было поведено недурно. Не знаю, знаете ли вы, есть помещик Аркадий Андреевич Дергунов, богатейший человек. Игру ведет отличную, честности беспримерной, к поползновенью, понимаете, никаких путей: за всем смотрит сам, люди у него воспитаны, камергеры, дом — дворец, деревня, сады, все это по аглицкому образцу. Словом, русский барин в полном смысле слова. Мы живем уж там три дня. Как приступить к делу? — просто нет возможности.

Наконец, придумали. В одно утро пролетает мимо самого двора тройка. На телеге сидят молодцы. Все это пьяно, как нельзя больше, орет песни и дует во весь опор. На такое зрелище, как водится, выбежала вся дворня. Ротозеют, смеются и замечают, что из телеги что-то выпало, подбегают, видят — чемодан. Машут, кричат «остановись!» куды! никто не слышит, умчались, только пыль осталась по всей дороге. — Развязали чемодан — видят: белье, кое-какое платье, двести рублей денег и дюжин сорок карт. Ну, натурально, от денег не захотели отказаться, карты пошли на барские столы, и на другой же день ввечеру все, и хозяин и гости, остались без копейки в кармане, и кончился банк.

Ихарев. Очень остроумно. Ведь вот называют это плутовством и разными подобными именами, а ведь это тонкость ума, развитие.

Утешительный. Эти люди не понимают игры. В игре нет лицеприятия. Игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мною в карты — я обыграю отца. Не садись! здесь все равны.

Ихарев. Именно этого не понимают, что игрок может быть добродетельнейший человек. Я знаю одного, который наклонен к передержкам и к чему хотите, но нищему он отдаст последнюю

копейку. А между тем ни за что не откажется соединиться втроем против одного обыграть наверняка. Но, господа, так как пошло на откровенность, я вам покажу удивительную вещь: знаете ли вы то, что называют сводная или подобранная колода, в которой всякая карта может быть угадана мною на значительном расстоянии?

Утешительный. Знаю, но, может быть, другого рода.

Ихарев. Могу вам похвастаться, что подобной нигде не сыщете. Почти полгода трудов. Я две недели после того не мог на солнечный свет смотреть. Доктор опасался воспаленья в глазах. *(Вынимает из шкатулки.)* Вот она. Зато уж не прогневайтесь: она у меня носит имя, как человек.

Утешительный. Как имя?

Ихарев. Да, имя: Аделаида Ивановна.

Утешительный *(усмехаясь)*. Слышь, Швохнев, ведь это совершенно новая идея, назвать колоду карт Аделаидой Ивановной. Я нахожу даже, это очень остроумно.

Швохнев. Прекрасно: Аделаида Ивановна! очень хорошо…

Утешительный. Аделаида Ивановна. Немка даже! Слышь, Кругель, это тебе жена.

Кругель. Что я за немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки.

Утешительный *(рассматривая колоду)*. Это, точно, сокровище. Да, никаких совершенно признаков. Неужели, однако ж, всякая карта может быть вами угадана на каком угодно расстоянии?

Ихарев. Извольте, я стану от вас в пяти шагах и отсюда назову всякую карту. Двумя тысячами готов асикурировать, если ошибусь.

Утешительный. Ну, это какая карта?

Ихарев. Семерка.

Утешительный. Так точно. Эта?

Ихарев. Валет.

Утешительный. Черт возьми, да. Ну, эта?

Ихарев. Тройка.

Утешительный. Непостижимо!

Кругель *(пожимая плечами)*. Непостижимо!

Швохнев. Непостижимо!

Утешительный. Позвольте еще раз рассмотреть. *(Рассматривая колоду.)* Удивительная вещь. Стоит того, чтобы назвать ее именем. Но, позвольте заметить, употребить ее в дело трудно. Разве с слишком неопытным игроком, ведь это нужно подменить самому.

Ихарев. Да ведь это во время самой жаркой игры только делается, когда игра возвысится до

того, что и опытный игрок делается неспокойным; а потеряйся только немного человек, с ним можно все сделать. Вы знаете, что с лучшими игроками случается то, что называют, заиграться. Как поиграет два дни и две ночи сряду, не поспавши, ну и заиграется. В азартной игре я всегда подменю колоду. Поверьте, вся штука в том, чтобы быть хладнокровну тогда, когда другой горячится. А средств отвлечь вниманье других есть тысяча. Придеритесь тут же к кому-нибудь из понтёров, скажите, что у него не так записано. Глаза всех обратятся на него — а в это время колода уже и подменена.

Утешительный. Но, однако же, я вижу, что, кроме искусства, вы владеете еще достоинством хладнокровия. Это важная вещь. Приобретение вашего знакомства теперь стало для нас еще значительней. Будем без церемонии, оставим лишние этикеты и станем говорить друг другу «ты».

Ихарев. Этак бы давно следовало.

Утешительный. Человек, шампанского! В память дружеского союза!

Ихарев. Именно, это стоит того, чтобы запить.

Швохнев. Да ведь вот мы собрались для подвигов, орудия все у нас в руках, силы есть, одного

недостает только…

Ихарев. Именно, именно, крепости недостает только, на которую бы идти, вот беда.

Утешительный. Что ж делать? неприятеля пока нет. *(Смотря пристально на Швохнева.)* Что? у тебя как будто лицо такое, которое хочет сказать, что есть неприятель.

Швохнев. Есть, да… *(останавливается.)*

Утешительный. Знаю я, на кого ты метишь.

Ихарев *(с живостью)*. А на кого, на кого? кто это?

Утешительный. Э, вздор, вздор: он выдумал пустяки. Вот видите ли, есть здесь один приезжий помещик, Михал Александрович Глов. Ну, да что об этом толковать, когда он не играет вовсе? Мы уж возились около него… Я месяц за ним ухаживал; и в дружбу, и в доверенность вошел, а все ничего не сделал.

Ихарев. Ну, да послушай, нельзя ли как-нибудь увидеться с ним? Может быть, почему знать…

Утешительный. Ну, я тебе вперед говорю, что это будет вовсе напрасный труд.

Ихарев. Ну, да попробуем, попробуем еще раз.

Швохнев. Ну, да приведи его по крайней мере. Ну, не успеем, поговорим просто. Почему не попробовать?

Утешительный. Да, пожалуй, мне ничего это не значит, я приведу его.

Ихарев. Приведи его теперь же, пожалуйста.

Утешительный. Изволь, изволь. *(Уходит.)*

Явление IX

Те же, кроме Утешительного.

Ихарев. Ведь, точно, почему знать? Иногда дело кажется совсем невозможное…

Швохнев. Я сам того же мнения. Ведь не с богом здесь имеешь дело, а с человекам. А человек все-таки человек. Сегодня нет, завтра нет, послезавтра нет, а на четвертый день, как насядешь на него хорошенько, скажет: да. Иной ведь с виду корчит, что он недоступный, а разгляди его поближе, увидишь просто: даром тревогу подымал.

Кругель. Ну, однако ж, этот не таков.

Ихарев. Эх, если бы!.. Поверить нельзя, как возродилась во мне теперь жажда к деятельности. Нужно вам знать, что последний мой выигрыш, восемьдесят тысяч у полковника Чеботарева, был сделан в прошедшем месяце. С тех пор я не имел практики в продолжение целого месяца. Представить не можете, какую испытал я скуку во все это время. Скука, скука смертная!

Швохнев. Я понимаю это положение. Это все равно, что полководец: что он должен чувствовать, когда нет войны? Это, любезнейший, просто фатальный антракт. Я знаю по себе, с этим нечего шутить.

Ихарев. Поверишь ли, приходит так, что если бы кто сделал пять рублей банку — я готов сесть и играть.

Швохнев. Естественная вещь. Этак проигрывались иногда искуснейшие игроки. Стоскуется, работы нет, и наскочит с горя на одного из тех, которых называют голь и перетыка, — ну, и проиграется ни за что!

Ихарев. А богат этот Глов?

Кругель. О! Деньги есть. Кажется, около тысячи душ крестьян.

Ихарев. Эх, черт возьми, подпоить разве его, шампанского велеть подать.

Швохнев. В рот не берет.

Ихарев. Что ж с ним делать? Как подъехать? Но нет, однако ж, все я думаю… ведь игра соблазнительная вещь. Мне кажется, если бы он подсел только к играющим, он бы не утерпел потом.

Швохнев. Да вот мы попробуем. Мы вот здесь в стороне с Кругелем сделаем самую маленькую игру. Но не нужно к нему оказывать большого

внимания: старики подозрительны. *(Садятся в стороне с картами.)*

Явление X

Те же, Утешительный и Михайло Александрович Глов, человек почтенных лет.

Утешительный. Вот тебе, Ихарев, рекомендую: Михал Александрович Глов!

Ихарев. Я, признаюсь, давно искал этой чести. Живя в одном трактире…

Глов. Мне тоже очень приятно познакомиться. Жаль только, что это случилось почти на выезде…

Ихарев *(подавая ему стул)*. Прошу покорнейше!.. Давно изволите жить в этом городе? *(Утешительный, Швохнев и Кругель перешептываются между собою.)*

Глов. Ах, батюшка, уж он мне так надоел, этот город. И телом и душой рад бы отсюда поскорей вырваться.

Ихарев. Что ж, удерживают дела?..

Глов. Дела, дела. Такая комиссия мне эти дела!

Ихарев. Вероятно, тяжба?

Глов. Нет, слава богу, тяжбы нет, но тем не менее затруднительные обстоятельства. Выдаю замуж

дочь, батюшка, осьмнадцатилетнюю девицу. Понимаете ли вы отцовское положение? Приехал за разными покупками, а главное заложить имение. Дело бы уже все кончено, да приказ денег до сих пор не выдает. Даром совершенно живу.

Ихарев. А позвольте узнать, в какую сумму изволили заложить имение?

Глов. В двухстах тысячах. На днях бы должны выдать, да вот затянулось. А мне уж так опротивело здесь жить! Дома-то, знаете, все это оставил на самое короткое время. Дочь невеста… все это ждет. Я уж решился не дожидаться и бросить все.

Ихарев. Как же? и денег не хотите дождаться?

Глов. Что ж делать, батюшка? Вы рассмотрите и мое положение. Ведь вот уж месяц, как не видался с женой и детьми; писем даже не получаю, бог весть, что там делается. Я уж все дело поручаю сыну, который здесь остается. Надоело возиться. *(Обращаясь к Швохневу и Кругелю.)* А что ж вы, господа? Я, кажется, вам помешал. Вы чем-то занимались?

Кругель. Вздор. Это так. От нечего делать вздумали поиграть.

Глов. Кажется, что-то похоже на банчик.

Швохнев. Какое! для препровожденья времени

грошовый банчик.

Глов. Эх, господа, послушайте старика. Вы молодые люди. Конечно, тут ничего нет худого, больше для развлеченья, да и в грошовую игру нельзя много проиграть, все это так, но все… Эх, господа, я сам играл и знаю по опыту. Все на свете начинается грошовым делом, а смотришь, маленькая игра как раз кончилась большой.

Швохнев *(Ихареву)*. Ну, пошел уж старикашка плесть свое. *(Глову.)* Ну, вот видите, вы уж тотчас припишете важное следствие всякому вздору, это всегда уж обыкновенная замашка всех пожилых людей.

Глов. Да что ж, ведь я еще не так пожилой человек. Я сужу по опыту.

Швохнев. Я не об вас буду говорить. Но вообще у стариков есть это: например, если они на чем-нибудь обожглись, они твердо уверены — другой непременно обожжется на том же. Если они пошли какой-нибудь дорогою да, зазевавшись, шлепнулись о гололедь — они уж кричат и выдают правило, что по такой-то дороге никому нельзя ходить, потому что на ней есть в одном месте гололедь, и всякий непременно на ней шлепнется лбом, никак не принимая в уваженье того, что другой, может быть, не зазевается и

сапоги у него не на скользкой подошве. Нет, у них для этого нет соображенья. Собака укусила человека на улице — все кусаются собаки, и потому никому нельзя выходить на улицу.

Глов. Так, батюшка. Оно, точно, с одной стороны, есть тот грех. Да ведь за то ж и молодые! Ведь уж слишком много рыси: того и смотри, что сломит шею!

Швохнев. Вот то-то и есть, что у нас нет середины. Молодым бесится, так что невтерпеж другим, а под старость прикинется ханжой, так что невтерпеж другим.

Глов. Такого-то вы обидного мнения насчет стариков.

Швохнев. Да нет, что за обидное мнение? это правда, больше ничего.

Ихарев. Позвольте мне заметить. Твое мнение резко…

Утешительный. Насчет карт я совершенно согласен с Михал Александровичем. Я сам играл, играл сильно. Но, благодарю судьбу, бросил навсегда, не потому, чтобы проигрался или был вооружен против судьбы. Поверьте мне, это еще ничего: проигрыш не так важен, как важно душевное спокойствие. Одно это волнение, чувствуемое во время игры, кто что ни говори, а это

сокращает видимо нашу жизнь.

Глов. Так, батюшка, ей-богу! как вы премудро заметили! Позвольте сделать вам нескромный вопрос, сколько времени имею честь пользоваться вашим знакомством, а вот до сих пор…

Утешительный. Какой вопрос?

Глов. Позвольте узнать, хоть струна и щекотливая, который вам год?

Утешительный. Тридцать девять лет.

Глов. Представьте! Что ж такое тридцать девять лет? Еще молодой человек! Ну что, если бы у нас в России было побольше таких, которые бы так мудро рассуждали? Господи ты Боже мой, что бы это было: просто, золотой век-с, та же астрея. Уж как, ей-богу, благодарен судьбе я за то, что познакомился с вами.

Ихарев. Поверьте мне, я тоже разделяю это мнение. Мальчишкам я бы не позволил и в руки взять карт. Но благоразумным людям почему не поразвлечься, не позабавиться? Например, почтенному старику, которому нельзя уже ни плясать, ни танцевать.

Глов. Так, все так; но, поверьте, в жизни нашей есть столько удовольствий, столько обязанностей, так сказать, священных. Эх, господа, послушайте старика! Нет для человека лучшего

назначения, как семейная жизнь, в домашнем кругу. Все это, что вас окружает, — ведь это все волнение, ей-богу-с, волнение, а прямого-то блага вы не вкусили еще. Ведь вот я, поверите ли, минуты не дождусь, чтобы увидать своих, ей-богу! Как воображу: дочь кинется на шею: «Папаш ты мой, милый папаш!» Сын опять приехал из гимназии… полгода не видал… Просто слов недостает, ей-богу, так. Да после этого на карты смотреть не захочешь.

Ихарев. Но зачем же отеческие чувства мешать с картами? Отеческие чувства сами по себе, а карты тоже…

Алексей *(входя, говорит Глову)*. Ваш человек спрашивает насчет чемоданов. Прикажете выносить? Лошади уж готовы.

Глов. А вот я сейчас! Извините, господа, на одну минуточку вас оставлю. *(Уходит.)*

Явление XI

Швохнев, Ихарев, Кругель, Утешительный.

Ихарев. Ну, нет никакой надежды!

Утешительный. Я говорил это прежде. Не понимаю, как вы не можете видеть человека. Ведь стоит только взглянуть, чтобы узнать, кто не

расположен играть.

Ихарев. Ну, да все бы так и насесть на него хорошенько. Ну, зачем ты сам его поддерживал?

Утешительный. Да иначе, братец, нельзя. С этими людьми нужно тонко поступать. Не то как раз догадается, что его хотят обыграть.

Ихарев. Ну да ведь что ж вышло из того? ведь вот уедет все равно.

Утешительный. Ну, да постой еще не все дело кончено.

Явление XII

Те же и Глов.

Глов. Покорнейше благодарю вас, господа, за приятное знакомство. Жаль только, право, что вот перед самым концом. А впрочем, авось приведет Бог опять где-нибудь столкнуться.

Швохнев. О, вероятно. Дороги битые, а люди толкутся — как не столкнуться? Захоти только судьба.

Глов. Ей-богу так, совершенная правда. Судьба захочет, так завтра же увидимся — совершенная правда. Прощайте, господа! истинно благодарю! А уж вам, Степан Иванович, так обязан. Право, вы усладили мое уединение.

Утешительный. Помилуйте, не за что. Чем мог служить, служил.

Глов. Ну, уж если вы так добры, так сделайте еще одну милость, можно ли вас просить?

Утешительный. Какую? скажите! Все, что угодно готов.

Глов. Успокойте старика-отца!

Утешительный. Как?

Глов. Я оставляю здесь своего Сашу. Прекрасный малый, добрая душа. Но все еще ненадежен: двадцать два года, ну, что это за лета? почти ребенок… Кончил учебный курс и уж больше ни о чем и слышать не хочет, как об гусарах. Я говорю ему: «Рано, Саша, погоди, осмотрись прежде! Что тебе в гусары, почему знать, может быть, у тебя штатские наклонности. Ты еще не видел почти света, время не уйдет от тебя!..» Ну, сами знаете, молодая натура. Ему уж там, в гусарах, все это блестит: шитье, богатый мундир. Что ж прикажете? Склонностей ведь удержать никак нельзя… Так будьте так великодушны, батюшка Степан Иванович! Он остается теперь один, я возложил на него кое-какие делишки. Молодой человек, все может случиться: чтобы приказные как-нибудь его не обманули… мало ли чего… Так возьмите его под свое покровительство, надзирайте над его

поступками, отвлеките его от дурного. Будьте так добры, батюшка! *(Берет его за обе руки.)*

Утешительный. Извольте, извольте. Все, что может сделать отец для своего сына, все это я сделаю для него.

Глов. Ах, батюшка! *(Обнимаются и целуются.)* Ведь как видно, когда у человека-то доброе сердце, ей-богу! Бог вас наградит за это! Прощайте, господа, от души желаю вам счастливо оставаться.

Ихарев. Прощайте, доброй дороги!

Швохнев. Счастливо найти всех домашних!

Глов. Благодарю вас, господа!

Утешительный. А я вас таки провожу к самой коляске и посажу.

Глов. Ах, батюшка, как вы добры! *(Оба уходят.)*

Явление XIII

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Улетела птица!

Швохнев. Да, а было бы чем поживиться.

Ихарев. Признаюсь, как он сказал: двести тысяч — у меня вздрогнуло в самом сердце.

Кругель. О такой сумме и подумать даже сладко.

Ихарев. Ведь как подумаешь, сколько денег

пропадает даром, без всякой совершенно пользы. Ну, что из того, что у него будет двести тысяч, ведь это все так пойдет, на покупку каких-нибудь тряпок, ветошек.

Швохнев. И все это дрянь, гниль.

Ихарев. А ведь сколько даже так пропадает на свете, не обращаясь. Сколько есть мертвых капиталов, которые, именно как мертвецы, лежат в ломбардах. Право, даже жалость. Я бы больше не хотел иметь у себя денег, как столько, сколько лежит в Опекунском совете.

Швохнев. Я помирюсь и на половине.

Кругель. Я доволен буду и четвертью.

Швохнев. Ну, не ври, немец: захочешь больше.

Кругель. Как честный человек…

Швохнев. Надуешь.

Явление XIV

Те же и Утешительный *(входит поспешно и с радостным видом)*.

Утешительный. Ничего, ничего, господа! Уехал, черт его побери, тем лучше! Остался сын. Отец передал ему и доверенность, и все права на получение из приказа денег, и поручил надсматривать за всем мне. Сын молодец: так и рвется в

гусары. Будет жатва. Я пойду и сей же час приведу его к вам! *(Убегает.)*

Явление XV

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Ай да Утешительный!

Швохнев. Браво! дело возымело славный оборот! *(Все потирают в радости руки.)*

Ихарев. Молодец Утешительный! Теперь я понял, зачем он подбирался к отцу и потакал ему. И как все это ловко! как тонко!

Швохнев. О, у него на это талант необыкновенный!

Кругель. Способности невероятные!

Ихарев. Признаюсь, когда отец сказал, что оставляет здесь сына, у меня у самого промелькнула в голове мысль, да ведь только на миг, а уж он тотчас… Сметливость какая!

Швохнев. О, ты еще не знаешь его хорошенько.

Явление XVI

Те же. Утешительный и Глов Александр Михалыч, молодой человек.

Утешительный. Господа! Рекомендую: Александр Михалыч Глов, отличный товарищ, прошу полюбить, как меня.

Швохнев. Очень рад… *(Пожимает ему руку.)*

Ихарев. Знакомство ваше нам…

Кругель, Позвольте вас прямо в наши объятья.

Глов. Господа! я…

Утешительный. Без церемоний, без церемоний. Равенство первая вещь. Господа! Глов! здесь, видишь, все товарищи и потому к черту все этикеты! Съедем прямо на «ты».

Швохнев. Именно на «ты»!

Глов. На «ты»! *(Подает им всем руку.)*

Утешительный. Так, браво! Человек, шампанского! Замечаете, господа, как у него даже теперь уже видно что-то гусарское? Нет, твой отец, не говоря дурного слова, большая скотина, — извини, ведь мы на «ты», — ну как этого молодца вздумал было в чернильную службу! Ну что, брат, скоро свадьба сестры твоей?

Глов. Черт ее побери с ее свадьбой! Мне досадно, что из-за нее отец меня продержал три месяца в деревне.

Утешительный. Ну, послушай, а хороша сестра твоя?

Глов. А так хороша… Будь она не сестра… ну, уж

я бы ей не спустил.

Утешительный. Браво, браво, гусар! Сейчас видно гусара! Ну, послушай, а помог бы ты мне, если бы я захотел ее увезти?

Глов. Почему ж? помог бы.

Утешительный. Браво, гусар! Вот оно, что называется настоящий гусар, черт побери! Человек, шампанского! Вот это мой решительно вкус: этаких открытых людей я люблю. Постой, душа, дай обниму тебя!

Швохнев. Дай же и мне обнять его. *(Обнимает его.)*

Ихарев. Пусть же и я обниму его. *(Обнимает.)*

Кругель. Ну, так и я ж обниму его, если так. *(Обнимает. Алексей несет бутылку, придерживая пальцем пробку, которая хлопает и летит в потолок; наливает бокалы.)*

Утешительный. Господа, за здравие будущего гусарского юнкера. Пусть он будет первый рубака, первый волокита, первый пьяница, первый… словом, пусть его будет, что хочет!

Все. Пусть его будет, что хочет! *(Пьют.)*

Глов. За здравие всего гусарства! *(Подымая бокал.)*

Все. За здравие всего гусарства! *(Пьют.)*

Утешительный. Господа, нужно его теперь же

посвятить во все гусарские обычаи. Пьет он, как видно, уже сносно, но ведь это вздор. Нужно, чтобы он был картежник во всей силе! Играешь в банк?

Глов. Играл бы, смерть бы хотелось, да денег нет.

Утешительный. Экий вздор; нет денег! Было бы только с чем сесть, а там деньги будут — сейчас выиграешь.

Глов. Да ведь и сесть-то не с чем.

Утешительный. Да мы тебе поверим в долг. Ведь у тебя есть доверенность на получение из приказа. Мы подождем, а как тебе выдадут, ты нам тотчас и заплотишь. А до того времени ты можешь нам дать вексель. Да, впрочем, что я говорю? Как будто ты уж непременно проиграешь. Ты можешь тут же выиграть несколько тысяч чистоганом.

Глов. А как проиграю?

Утешительный. Стыдись, что ж ты за гусар после этого? Натурально, одно из двух: либо выиграешь, либо проиграешь. Да в этом-то и дело, в риске-то и есть главная добродетель. А не рискнуть, пожалуй, всякий может. Наверняка и приказная строка отважится, и жид полезет на крепость.

Глов *(махнув рукой)*. Черт побери, если так; играю! Что мне смотреть на отца!

Утешительный. Браво, юнкер! Человек, карты! *(Наливает ему в стакан.)* Главное, что нужно? Нужна отвага, удар, сила… Так и быть, господа, я вам сделаю банчик в двадцать пять тысяч. *(Мечет направо и налево.)* Ну, гусар… Ты, Швохнев, что ставишь? *(Мечет.)* Какое странное течение карт. Вот любопытно для вычислений! Валет убит, девятка взяла. Что там, что у тебя? И четверка взяла! А гусар, гусар-то, каков гусар? Замечаешь, Ихарев, как уж он мастерски возвышает ставки! А туз все еще не выходит. Что ж ты, Швохнев, не наливаешь ему? Вона, вона, вон туз! Вон уж Кругель потащил себе. Немцу всегда везет! Четверка взяла, тройка взяла. Браво, браво, гусар! Слышишь, Швохнев, гусар уже около пяти тысяч в выигрыше.

Глов *(перегинает карту)*. Черт побери! Пароле пе! да вон еще девятка на столе, идет и она, и пятьсот рублей мазу!

Утешительный *(продолжая метать)*. У! молодец, гусар! Семерка уби… ах, нет, плие, черт побери, плие, опять плие! А, проиграл гусар. Ну, что ж, брат, делать? Не у всякого жена Марья, кому Бог дал. Кругель, да полно тебе рассчитывать!

ну, ставь эту, которую выдернул. Браво, выиграл гусар! Что ж вы не поздравляете его? *(Все пьют и поздравляют его, чокаясь стаканами.)* Говорят, пиковая дама всегда продаст, а я не скажу этого. Помнишь, Швохнев, свою брюнетку, что называл ты пиковой дамой? Где-то она теперь, сердечная. Чай, пустилась во все тяжкие. Кругель! твоя убита! *(Ихареву.)* и твоя убита! Швохнев, твоя также убита; гусар также лопнул.

Глов. Черт побери, ва-банк!

Утешительный. Браво, гусар! Вот она, наконец, настоящая гусарская замашка! Замечаешь, Швохнев, как настоящее чувство всегда выходит внаружу? До сих пор все еще в нем было видно, что будет гусар. А теперь видно, что он уж теперь гусар. Вона натура-то как того… Убит гусар.

Глов. Ва-банк!

Утешительный. У! браво, гусар! на все пятьдесят тысяч! Вот оно что называется великодушие! Ну, поди-ка поищи, где отыщешь этакую черту… Это именно подвиг! Лопнул гусар!

Глов. Ва-банк, черт побери, ва-банк!

Утешительный. Ого, го, гусар! на сто тысяч! Каков, а? А глазки-то, глазки? Замечаешь, Швохнев, как у него глазки горят? Барклай-де-Тольевское что-то видно. Вот он героизм! А короля все нет. Вот

тебе, Швохнев, бубновая дама. На, немец, возьми, съешь семерку! Руте, решительно руте! просто карта фоска! А короля, видно, в колоде нет: право, даже странно. А вот он, вот он… Лопнул гусар!

Глов *(горячась)*. Ва-банк, черт побери, ва-банк!

Утешительный. Нет, брат, стой! Ты уж просадил двести тысяч. Прежде заплати, без этого нельзя начинать новой игры. Мы так много не можем тебе верить.

Глов. Да где ж у меня? у меня теперь нет.

Утешительный. Дай нам вексель, подпишись.

Глов. Извольте, я готов. *(Берет перо.)*

Утешительный. Да и доверенность на получение денег тоже отдай нам.

Глов. Вот вам и доверенность.

Утешительный. Теперь подпиши вот это да вот это. *(Дает ему подписаться.)*

Глов. Извольте, я готов все сделать. Ну, вот я и подписал. Ну, давайте ж играть!

Утешительный. Нет, брат, постой покажи-ка прежде деньги!

Глов. Да я вам заплачу. Уж будьте уверены.

Утешительный. Нет, брат, деньги на стол!

Глов. Да что ж это… Ведь это просто подлость.

Кругель. Нет, это не подлость.

Ихарев. Нет, это совсем другое дело. Шансы,

брат, не равны.

Швохнев. Этак ты, пожалуй, сядешь с тем, чтоб обыграть нас. Дело известное: кто садится без денег, тот садится с тем, чтобы обыграть наверное.

Глов. Ну что ж? чего вы хотите? назначьте какие угодно проценты, я на все готов. Я вдвое заплачу вам.

Утешительный. Что, брат, нам с твоих процентов? Мы сами готовы тебе заплатить какие угодно проценты, дай только нам взаймы.

Глов *(отчаянно и решительно)*. Ну, так скажите последнее слово: не хотите играть?

Швохнев. Принеси деньги, сейчас станем играть.

Глов *(вынимая из кармана пистолет)*. Ну, так прощайте же, господа. Больше вы меня не встретите на этом свете. *(Убегает с пистолетом.)*

Утешительный *(в испуге)*. Ты! ты! что ты? с ума сошел! Побежать за ним, в самом деле, чтоб еще как-нибудь не застрелился. *(Убегает.)*

Явление XVII

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Еще выйдет история, если этот черт вздумает застрелиться.

Швохнев. Черт его возьми, пусть себе стреляется, да не теперь только: еще деньги не в наших руках. Вот беда!

Кругель. Я всего боюсь. Это так возможно…

Явление XVIII

Те же, Утешительный и Глов.

Утешительный *(держа Глова за руку с пистолетом)*. Что ты, что ты, брат, рехнулся? Слышите, слышите, господа, уж пистолет вздумал было всунуть в рот, а? Стыдись!

Все *(приступая к нему)*. Что ты? что ты? Помилуй, что ты?

Швохнев. А еще и умный человек, из дряни вздумал стреляться.

Ихарев. Этак, пожалуй, вся Россия должна застрелиться: всякий или проигрался, или намерен проиграться. Да если бы этого не было, так как же можно выиграть, ты посуди только сам.

Утешительный. Ты дурак просто, позволь тебе сказать. Ты счастья своего не видишь. Разве ты не чувствуешь, как ты выиграл тем, что проиграл?

Глов *(с досадой)*. Что ж вы в самом деле меня уж за дурака считаете: какой тут выигрыш проиграть двести тысяч! Черт возьми!

Утешительный. Эх ты, простофиля! Да знаешь ли, какую ты этим себе славу сделаешь в полку? Слышь, безделица! Еще не будучи юнкером, да уж проиграл двести тысяч! Да тебя гусары на руках будут носить.

Глов *(ободрившись)*. Что ж вы думаете? У меня разве не станет духу наплевать на все это, если уж на то пошло. Черт побери, да здравствует гусарство!

Утешительный. Браво! Да здравствуют гусары! Терем-те-те! Шампанского! *(Несут бутылки.)*

Глов *(с стаканом)*. Да здравствуют гусары!

Ихарев. Да здравствуют гусары, черт побери!

Швохнев. Терем-те-те! да здравствуют гусары!

Глов. На все плюю, когда так!.. *(Ставит на стол стакан.)* Вот беда только: домой как приеду? Отец, отец! *(Хватает себя за волосы.)*

Утешительный. Да зачем тебе ехать к отцу? не нужно!

Глов *(вытаращив глаза)*. Как?

Утешительный. Ты отсюда прямо в полк! Мы тебе дадим на обмундировку. Нужно, брат Швохнев, дать ему теперь рублей двести, пусть его погуляет юнкер! Там, я уж заметил, у него есть одна… Черномазая-то, а?

Глов. Черт побери, побегу прямо к ней, возьму

приступом!

Утешительный. Каков гусар, а? Швохнев, нет у тебя двухсотрублевой?

Ихарев. Да вот я ему дам, пусть его погуляет на славу!

Глов *(Берет ассигнацию и помахивая ею на воздухе)*. Шампанского!

Все. Шампанского! *(Несут бутылки.)*

Глов. Да здравствуют гусары!

Утешительный. Да здравствуют… Знаешь ли, Швохнев, что мне пришло на ум? Покачаем его на руках так, как у нас качали в полку! Ну, приступай, бери его! *(Все приступают к нему, схватывают его за руки и ноги, качают, припевая на известный припев известную песню.)*

Мы тебя любим сердечно,

Будь ты начальник наш вечно!

Наши зажег ты сердца,

Мы в тебе видим отца!

Глов *(с поднятой рюмкой)*. Ура!

Все. Ура! *(Становят его на землю. Глов хлопнул рюмку об пол, все разбивают тоже свои рюмки, кто о каблук своего сапога, кто о пол.)*

Глов. Иду прямо к ней!

Утешительный. А нам нельзя за тобой, а?

Глов. Ни, никому! А кто сколько-нибудь… разделка на саблях!

Утешительный. У! Рубака какой! а? Ревнив и задорен, как черт. Я думаю, господа, что из него просто выйдет Бурцев, йора, забияка. Ну, прощай, прощай, гусар, не держим тебя!

Глов. Прощайте.

Швохнев. Да приходи нам после рассказать. *(Глов уходит.)*

Явление XIX

Те же, кроме Глова.

Утешительный. Нужно его покамест ласкать, пока еще деньги не в наших руках; а там черт с ним.

Швохнев. Одного боюсь я, чтоб как-нибудь не затянулась в приказе выдача денег.

Утешительный. Да, это будет скверно, а впрочем… ведь на это, сами знаете, есть понукатели. Как ни ворочай, а все-таки придется всунуть в руку тому и другому для соблюдения порядка.

Явление XX

Те же и чиновник Замухрышкин *(высовывает голову в дверь, одет в несколько поношенном фраке)*.

Замухрышкин. Позвольте узнать, не здесь ли Глов Александр Михалович?

Швохнев. Нет. Он сейчас вышел. А что вам угодно?

Замухрышкин. Да вот по делу их насчет выдачи денег.

Утешительный. А вы кто?

Замухрышкин. Да я чиновник из приказа.

Утешительный. А, милости просим. Прошу покорнейше садиться! В этом деле мы все принимаем живейшее участие. Тем более, что заключили кое-какие дружелюбные сделки с Александр Михаловичем. И потому можете понять, что вот и от него, и от него, и от него *(указывая пальцами на всех)* будет искреннейшая благодарность. Дело в том только, чтобы скорее, как можно, получить из приказа деньги.

Замухрышкин. Да уж как хотите, раньше двух недель никак нельзя.

Утешительный. Нет, это страшно далеко. Ведь

вы все позабываете, что со стороны нашей благодариость…

Замухрышкин. Да уж это само собой. Все это приемлется. Как это позабыть? Мы потому и говорим две недели, а то бы, пожалуй, вы и три месяца у нас провозились. Деньги к нам придут не раньше как через полторы недели, а теперь во всем приказе ни копейки. На прошлой неделе получили полтораста тысяч, все роздали, три помещика ожидают, еще с февраля заложили имение.

Утешительный. Ну, это так для других, а для нас по дружбе… Нужно, чтобы мы с вами покороче познакомились… Ну, да что?.. да и люди свои! Ну, как вас зовут? как? Фентефлей Перпентьич, что ли?

Замухрышкин. Псой Стахич-с.

Утешительный. Ну, все одно почти. Ну дак послушайте, Псой Стахич! Будем так, как давние приятели. Ну, что, как вы? как делишки, как служба ваша?

Замухрышкин. Да что служба. Известное дело — служим.

Утешительный. Ну, а доходов по службе этих, знаете, разных… а просто, много ли берете?

Замухрышкин. Конечно, сами посудите, с чего

ж и жить?

Утешительный. Ну что, как в приказе у вас, скажите откровенно, все хапуги?

Замухрышкин. Ну что! Вы уж, я вижу, смеетесь! Эх, господа!.. Ведь вот тоже и господа сочинители все подсмеиваются над теми, которые берут взятки; а как рассмотришь хорошенько, так взятки берут и те, которые повыше нас. Ну да вот хоть и вы, господа, только разве что придумали названья поблагородней: пожертвованье там или так, Бог ведает, что такое. А на деле выходит — такие же взятки: тот же Савка, да на других санках.

Швохнев. Вот уж Псой Стахич и обиделся, как я вижу, — вот что значит задеть за честь.

Замухрышкин. Да ведь честь, сами знаете, дело щекотливое. А сердиться тут не из чего. Я уж, батюшка, прожил свое.

Утешительный. Ну полно, поговоримте по-дружески, Псой Стахич! Ну что ж, как вы? Как у вас? Как поживаете? Как маячитесь на свете? Есть женушка, детки?

Замухрышкин. Слава Богу. Бог наградил. Двое сыновей, уж в уездное училище ходят. Два других поменьше. Один бегает пока в рубашонке, а другой на карачках ползает.

Утешительный. Ну, а ручонками, я чай, уже все

этак *(показывает рукой, как будто берет деньги)* умеют?

Замухрышкин. Ведь вот вы, право, какие, господа, ведь вот опять начали!

Утешительный. Ничего, ничего, Псой Стахич! ведь это по дружбе. Ну, что ж тут такого, свои. Эй, дай-ка бокал шампанского Псою Стахичу! скорей! Мы ведь теперь должны быть как короткие знакомые. Вот мы к вам соберемся тоже в гости.

Замухрышкин *(принимая бокал)*. А, милости просим, господа! Откровенно вам скажу, что такого чаю, как вы будете пить у меня, вы у губернатора не сыщете.

Утешительный. Небось даровой, от купца?

Замухрышкин. От купца-с, выписной из Кяхты.

Утешительный. Да как же, Псой Стахич? Ведь вы дел с купцами не имеете?

Замухрышкин *(выпив бокал и упираясь руками в колени)*. А вот как: купец здесь больше по причине глупости своей должен был приплатиться. Помещик Фракасов, если изволите знать, закладывает имение, все уж сделано, как следует, завтра остается получить деньги. Затеяли они завод какой-то в половине с купцом. Ну, нам-то, понимаете, какое дело знать, на завод ли, или на что другое нужны деньги, и с кем он в половине.

Это не наша часть. Да купец по глупости своей и проговорись в городе, что он с ним в половине и ждет от него с часу на час денег. Мы и подослали к нему сказать, что вот пришли две тысячи, сейчас выдадут деньги, а не то будешь ждать! А уж к нему на фабрику привезли, понимаете, и котлы и посуду, ожидают только задатков. Купец видит, плетью обуха не перешибешь, заплатил две тысячи да по три фунтика чаю каждому из нас. Скажут — взятка, да ведь за дело: не будь глуп; кто его толкал, языка разве не мог придержать?

Утешительный. Послушайте, Псой Стахич, ну, пожалуйста же, насчет этого дельца. Мы уж вам дадим, а вы уж там с начальниками своими сделайтесь, как следует. Только ради Бога, Псой Стахич! поскорее, а?

Замухрышкин. Да будем стараться. *(Вставая.)* Но откровенно скажу вам: так скоро, как вы хотите, нельзя. Пред богом, в приказе ни копейки денег. А будем стараться.

Утешительный. Ну, как вас там спросить?

Замухрышкин. Так и спросите: Псой Стахич Замухрышкин. Прощайте, господа. *(Идет к дверям.)*

Швохнев. Псой Стахич! а Псой Стахич! *(Оглядывается.)* Постарайтесь!

Утешительный. Псой Стахич, Псой Стахич, выручайте поскорее!

Замухрышкин *(уходя)*. Да уж сказал. Будем стараться.

Утешительный. Черт побери, как это долго. *(Бьет себя рукой по лбу.)* Нет, побегу, побегу за ним, авось что-нибудь успею, не пожалею денег. Черт его побери, три тысячи дам ему своих. *(Убегает.)*

Явление XXI

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Конечно, лучше если бы получить поскорее.

Швохнев. Да уж как нам нужно! как нам нужно!

Кругель. Эх, если бы он уломал его как-нибудь.

Ихарев. Да что, разве ваши дела…

Явление XXII

Те же и Утешительный.

Утешительный *(входит с отчаяньем)*. Черт побери, раньше четырех дней никак не может. Я

готов просто лоб расшибить себе об стену.

Ихарев. Да что тебе так приспичило? Неужто четырех дней нельзя обождать?

Швохнев. В том-то и штука, брат, что для нас это слишком важно.

Утешительный. Обождать! Да знаешь ли, что нас в Нижнем с часу на час ждут? Мы тебе не сказывали еще, а уж четыре дня назад тому мы имеем известие спешить как можно скорее, добывши во что бы ни стало хоть сколько-нибудь денег. Купец привез на шестьсот тысяч железа. Во вторник окончательная сделка, и деньги получает чистоганом, да вчера приехал один с пенькой на полмиллиона.

Ихарев. Ну дак что ж?

Утешительный. Как что ж? Да ведь старики-то остались дома, а выслали вместо себя сыновей.

Ихарев. Да будто сыновья уж непременно станут играть?

Утешительный. Да где ты живешь, в китайском государстве, что ли? Не знаешь, что такое купеческие сынки? Ведь купец как воспитывает сына? или чтоб он ничего не знал, или чтобы знал то, что нужно дворянину, а не купцу. Ну, натурально, он уж так и глядит — ходят под руку с офицерами, кутит. Это, брат, для нас самый

выгодный народ. Они, дурачье, не знают, что за всякий рубль, который они выплутуют у нас, они нам платят тысячами. Да это счастье наше, что купец только и думает о том, чтобы выдать дочь за генерала, а сыну доставить чин.

Ихарев. И дела совершенно верные?

Утешительный. Как не верные! Уж нас не уведомляли бы. Всё почти в наших руках. Теперь всякая минута дорога.

Ихарев. Эх, черт возьми! что ж мы сидим! Господа, а ведь условие-то действовать вместе!

Утешительный. Да, в этом наша польза. Послушай, что мне пришло на ум. Тебе ведь спешить пока еще незачем. Деньги у тебя есть, восемьдесят тысяч. Дай их нам, а от нас возьми векселя Глова. Ты верных получаешь полтораста тысяч, стало быть ровно вдвое, а нас ты даже одолжишь еще, потому что деньги нам теперь так нужны, что мы с радостью готовы платить алтын за всякую копейку.

Ихарев. Извольте, почему нет; чтобы доказать вам, что узы товарищества… *(Подходит к шкатулке и вынимает кипу ассигнаций.)* Вот вам восемьдесят тысяч!

Утешительный. А вот тебе и векселя! Теперь я побегу сейчас за Гловым; нужно его привесть и

все устроить по форме. Кругель, отнеси деньги в мою комнату, вот тебе ключ от моей шкатулки. *(Кругель уходит.)* Эх, если бы так устроить, чтобы к вечеру можно было ехать. *(Уходит.)*

Ихарев. Натурально, натурально. Тут и минуты незачем терять.

Швохнев. А тебе советую тоже не засиживаться. Как только деньги получишь, сейчас приезжай к нам. С двумястами тысяч знаешь, что можно сделать? Просто ярмонку можно подорвать… Ах, я и позабыл сказать Кругелю пренужное дело. Погоди, я сейчас возвращусь. *(Поспешно уходит.)*

Явление XXIII

Ихарев один.

Каков ход приняли обстоятельства! А? Еще поутру было только восемьдесят тысяч, а к вечеру уже двести. А? Ведь это для иного век службы, трудов, цена вечных сидений, лишений, здоровья. А тут в несколько часов, в несколько минут — владетельный принц! Шутка — двести тысяч! Да где теперь найдешь двести тысяч? Какое имение, какая фабрика даст двести тысяч? Воображаю, хорош бы я был, если бы сидел в деревне да возился с старостами да мужиками, собирая по три тысячи

ежегодного дохода. А образованье-то разве пустая вещь? Невежество-то, которое приобретешь в деревне, ведь его ножом после не обскоблишь. Время-то на что было бы утрачено? На толки с старостой, с мужиком… Да я хочу с образованным человеком поговорить! Теперь вот я обеспечен. Теперь время у меня свободно. Могу заняться тем, что споспешествует к образованию. Захочу поехать в Петербург — поеду и в Петербург. Посмотрю театр, монетный двор, пройдусь мимо дворца, по Аглицкой набережной, в Летнем саду. Поеду в Москву, пообедаю у Яра. Могу одеться по столичному образцу, могу стать наравне с другими, исполнить долг просвещенного человека. А что всему причина? чему обязан? Именно тому, что называют плутовством. И вздор, вовсе не плутовство. Плутом можно сделаться в одну минуту, а ведь тут практика, изученье. Ну, положим — плутовство. Да ведь необходимая вещь: что ж можно без него сделать? Оно некоторым образом предостерегательство. Ну, не знай я, например, всех тонкостей, не постигни всего этого — меня бы как раз обманули. Ведь вот же хотели обмануть, да увидели, что дело не с простым человеком имеют, сами прибегнули к моей помощи. Нет, ум великая вещь. В свете нужна

тонкость. Я смотрю на жизнь совершенно с другой точки. Этак прожить, как дурак проживет, это не шутка, но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обмануту самому — вот настоящая задача и цель!

Явление XXIV

Ихарев и Глов *(вбегающий торопливо)*.

Глов. Где ж они? Я сейчас был в комнате, там пусто.

Ихарев. Да они сию минуту здесь были. На минуту вышли.

Глов. Как, вышли уж? и деньги у тебя взяли?

Ихарев. Да, мы с ними сделались, за тобой остановка.

Явление XXV

Те же и Алексей

Алексей *(обращаясь к Глову)*. Изволили спрашивать, где господа?

Глов. Да.

Алексей. Да они уж уехали.

Глов. Как уехали?

Алексей. Да так-с. Уж у них с полчаса стояла тележка и готовые лошади.

Глов *(всплеснув руками)*. Ну, мы надуты оба!

Ихарев. Что за вздор! Я не могу понять ни одного слова. Утешительный сию минуту должен возвратиться сюда. Ведь ты знаешь, что теперь должен весь долг твой заплатить мне. Они перевели.

Глов. Какой черт долг! Получишь ты долг! Разве ты не чувствуешь, что в дураках и проведен, как пошлый пень.

Ихарев. Что ты за чепуху несешь? У тебя, видно, до сих пор в голове хмель распоряжается.

Глов. Ну, видно, хмель у обоих нас. Да проснись ты! Думаешь, я Глов? Я такой же Глов, как ты китайский император.

Ихарев *(беспокойно)*. Что ты, помилуй, что за вздор? И отец твой… и…

Глов. Старик-то? Во-первых, он и не отец, да и черт ли и будут от него дети! А во-вторых, тоже не Глов, а Крыницын, да и не Михал Александрович, а Иван Климыч, из их же компании.

Ихарев. Послушай ты! говори сурьезно, этим не шутят!

Глов. Какие шутки! Я сам участвовал и также обманут. Мне обещали три тысячи за труды.

Ихарев *(подходя к нему, запальчиво)*. Эй, не шути, говорю тебе! Думаешь, я уж дурак такой… И доверенность… и приказ… и чиновник сейчас был из приказа, Псой Стахич Замухрышкин. Ты думаешь, я не могу за ним сейчас послать?

Глов. Во-первых, он и не чиновник из приказа, а отставной штабс-капитан из их же компании, да и не Замухрышкин, а Мурзафейкин, да и не Псой Стахич, а Флор Семенович!

Ихарев *(отчаянно)*. Да ты кто? черт ты, говори, кто ты?

Глов. Да кто я? Я был благородный человек, поневоле стал плутом. Меня обыграли в пух, рубашки не оставили. Что ж мне делать, не умереть же с голода? За три тысячи я взялся участвовать, провести и обмануть тебя. Я говорю тебе это прямо: видишь, я поступаю благородно.

Ихарев *(в бешенстве схватывает за воротник его)*. Мошенник ты!..

Алексей *(в сторону)*. Ну, дело-то, видно, пошло на потасовку. Нужно отсюда убраться! *(Уходит.)*

Ихарев *(таща его)*. Пойдем! пойдем!

Глов. Куда, куда?

Ихарев. Куда? *(В исступлении.)* Куда? к правосудью! к правосудью!

Глов. Помилуй, не имеешь никакого права.

Ихарев. Как! не имею права? Обворовать, украсть деньги среди дня, мошенническим образом! Не имею права? Действовать плутовскими средствами! Не имею права? А вот ты у меня в тюрьме, в Нерчинске, скажешь, что не имею права! Вот погоди, переловят всю вашу мошенническую шайку! Будете вы знать, как обманывать доверие и честность добродушных людей. Закон! закон! закон призову! *(Тащит его.)*

Глов. Да ведь закон ты мог бы призвать тогда, если бы сам не действовал противузаконным образом. Но вспомни: ведь ты соединился вместе с ними с тем, чтобы обмануть и обыграть наверное меня. И колоды были твоей же собственной фабрики. Нет, брат! В том и шутка, что ты не имеешь никакого права жаловаться!

Ихарев *(в отчаяньи бьет себя рукой по лбу)*. Черт побери, в самом деле!.. *(В изнеможении упадает на стул. Глов между тем убегает.)* Но только какой дьявольский обман!

Глов *(выглядывая в дверь)*. Утешься! Ведь тебе еще с полугоря! У тебя есть Аделаида Ивановна! *(Исчезает.)*

Ихарев *(в ярости)*. Черт побери Аделаиду Ивановну! *(Схватывает Аделаиду Ивановну и швыряет ею в дверь. Дамы и двойки летят на*

пол.) Ведь существуют же к стыду и поношенью человеков эдакие мошенники. Но только я просто готов сойти с ума — как это все было чертовски разыграно! как тонко! И отец, и сын, и чиновник Замухрышкин! И концы все спрятаны! И жаловаться даже не могу! *(Схватывается со стула и в волненьи ходит по комнате.)* Хитри после этого! Употребляй тонкость ума! Изощряй, изыскивай средства!.. Черт побери, не стоит просто ни благородного рвенья, ни трудов. Тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует! мошенник, который за один раз подорвет строение, над которым работал несколько лет! *(С досадой махнув рукой.)* Черт возьми! Такая уж надувательная земля! Только и лезет тому счастье, кто глуп, как бревно, ничего не смыслит, ни о чем не думает, ничего не делает, а играет только по грошу в бостон подержанными картами!

Утро делового человека

Петербургские сцены

I

Кабинет; несколько шкафов с книгами; на столе разбросаны бумаги. Иван Петрович, деловой человек, потягиваясь, выходит в халате и звонит. Из передней слышен голос: «Сейчас!» Иван Петрович звонит во второй раз — опять тот же голос: «Сейчас!» Иван Петрович с нетерпением звонит в третий раз: входит слуга.

Иван Петрович. Что ты, оглох?

Лакей. Никак нет.

Иван Петрович. Что ж ты не изволил являться, когда я звоню в третий раз?

Лакей. Как же прикажете: мне нельзя было бросить дела, я сапоги чистил.

Иван Петрович. А Иван что делал?

Лакей. Иван мел комнату, а потом пошел в конюшню.

Иван Петрович. Подай сюда собачку.

Лакей приносит собачку.

Зюзюшка! Зюзюшка! а Зюзюшка! Вот я тебе бумажку привяжу. *(Нацепляет ей на хвост бу-*

мажку.)

Вбегает другой лакей: «Александр Иванович!»

Проси. *(Бросает поспешно собачку и развертывает свод законов.)*

II

Иван Петрович и Александр Иванович, также деловой человек.

Александр Иванович. Доброго утра, Иван Петрович!

Иван Петрович. Как здоровье ваше, Александр Иванович?

Александр Иванович. Очень благодарен. Не помешал ли я вам?

Иван Петрович. О, как можно! Ведь я всегда занят. Ну что, в котором часу приехали домой?

Александр Иванович. Час шестой был. Я как поворотил из Офицерской, то спросил, подъезжая к будочнику: «Не слышал ли, братец, который час?» — «Да шестой уже, говорит, пробило». Вот я и узнал, что уж был шестой час.

Иван Петрович. Представьте, я сам почти в то же время. Ну что, каков был вистец, хе, хе, хе?

Александр Иванович. Хе, хе, хе! Да, признаюсь,

мне даже во сне он мерещился.

Иван Петрович. Хе, хе, хе, хе! Я гляжу, что это значит, что он кладет короля? У меня ведь на руках сам-третей дама крестов, а у Лукьяна Федосеевича, я давно вижу, что ренонс.

Александр Иванович. Длиннее всего тянулся восьмой робер.

Иван Петрович. Да. *(Помолчав.)* Я уже мигаю Лукьяну Федосеевичу, чтоб он козырял, — нет. А ведь тут только козырни — валет мой пик и берет.

Александр Иванович. Позвольте, Иван Петрович, валет не берет.

Иван Петрович. Берет.

Александр Иванович. Не берет, потому что вам никоим образом нельзя взять в руку.

Иван Петрович. А семерка пик у Лукьяна Федосеевича? позабыли разве?

Александр Иванович. Да разве у него была пиковка? Я что-то не помню.

Иван Петрович. Конечно, у него были две пики: четверка, которую он сбросил на даму, и семерка.

Александр Иванович. Только нет, позвольте, Иван Петрович, у него не могло быть больше одной пиковки.

Иван Петрович. Ах, Боже мой, Александр Иванович, кому вы это говорите! Две пиковки! Я как теперь помню: четверка и семерка.

Александр Иванович. Четверка была, это так; но семерки не было. Ведь он бы козырнул; согласитесь сами, ведь он бы козырнул?

Иван Петрович. Ей-богу, Александр Иванович, ей-богу!

Александр Иванович. Нет, Иван Петрович. Это совершенно невозможное дело.

Иван Петрович. Да позвольте, Александр Иванович! Вот лучше всего: поедем завтра к Лукьяну Федосеевичу. Согласны ли вы?

Александр Иванович. Хорошо.

Иван Петрович. Ну, и спросим у него лично: была ли на руках у него семерка пик?

Александр Иванович. Извольте, я не прочь. Впрочем, если посудить, странно, что Лукьян Федосеевич так дурно играет. Ведь нельзя сказать, чтобы он был без ума. Человек тонкий и в обращении…

Иван Петрович. И прибавьте: больших сведений! человек, каких, сказать по секрету, у нас мало на Руси. Были ли у его высокопревосходительства?

Александр Иванович. Был. Я теперь только

от него. Сегодня поутру было немножко холодненько. Ведь я, как, думаю, вам известно, имею обыкновение носить лосиновую фуфайку: она гораздо лучше фланелевой, и притом не горячит. По этому-то случаю я велел себе подать шубу. Приезжаю к его высокопревосходительству — его высокопревосходительство еще спит. Однако ж я дождался. Ну, тут пошли рассказы о том и о сем.

Иван Петрович. А про меня не было ничего говорено?

Александр Иванович. Как же, было и про вас. Да еще прелюбопытный вышел разговор.

Иван Петрович *(оживляется)*. Что, что такое?

Александр Иванович. Позвольте, позвольте рассказать по порядку. Тут презанимательная вещь. Его высокопревосходительство, между прочим, спросил, где я бываю, что так давно он меня не видит? и пожелал узнать о вчерашней вечеринке и кто был. Я сказал: «Были, ваше высокопревосходительство, Павел Григорьевич Борщов, Илья Владимирович Бубуницын». Его высокопревосходительство после каждого слова говорил: «Гм!» Я сказал: «И еще был один известный вашему высокопревосходительству…»

Иван Петрович. Кто ж это такой?

Александр Иванович. Позвольте! что ж бы, вы

думали, сказал на это его высокопревосходительство?

Иван Петрович. Не знаю.

Александр Иванович. Он сказал: «Кто ж бы это такой?» — «Иван Петрович Барсуков», — отвечал я. «Гм! — сказал его высокопревосходительство, — это чиновник и притом…» *(Поднимает вверх глаза.)* Довольно хорошо у вас потолки расписаны: на свой или хозяйский счет?

Иван Петрович. Нет, ведь это казенная квартира.

Александр Иванович. Очень, очень недурно: корзиночки, лира, вокруг сухарики, бубны и барабан! очень, очень натурально!

Иван Петрович *(с нетерпением)*. Так что же сказал его высокопревосходительство?

Александр Иванович. Да, я и позабыл. Что ж он сказал?

Иван Петрович. Сказал «гм!» его высокопревосходительство; «это чиновник…»

Александр Иванович. Да, да; «это чиновник», ну, «и… служит у меня». После того разговор не был уже так интересен и начался об обыкновенных вещах.

Иван Петрович. А больше ничего не заговаривал обо мне?

Александр Иванович. Нет.

Иван Петрович *(про себя)*. Ну, покамест еще не много. Господи Боже мой! ну что, если бы сказал он: «Такого-то Барсукова, в уважение тех и тех и прочих заслуг его, представляю…»

III

Те же и Шрейдер (выглядывает в дверь).

Иван Петрович. Войдите, войдите; ничего, пожалуйте сюда. Что, это для доклада?

Шрейдер. Для подписания. Здесь отношение в палату и рапорт управляющему.

Иван Петрович *(между тем читает)*. «…Господину управляющему…» Что это значит? у вас поля по краям бумаги неровны. Как же это? Знаете ли, что вас можно посадить под арест?.. *(Устремляет на него глубокомысленный взор.)*

Шрейдер. Я говорил об этом Ивану Ивановичу: он мне сказал, что министр не будет смотреть на эту мелочь.

Иван Петрович. Мелочь! Ивану Ивановичу хорошо так говорить. Я сам то же думаю: министр точно не войдет в это. Ну, а вдруг вздумается?

Шрейдер. Можно переписать; только будет поздно. Но так как изволили сами сказать, что

министр не войдет…

Иван Петрович. Так! это все правда. Я с вами совершенно согласен: он не займется этими пустяками. Ну, а в случае так ему придется: «Дай-ка посмотрю, велико ли место остается для полей?»

Шрейдер. Если так, я сейчас перепишу.

Иван Петрович. То-то «если так». Ведь я с вами говорю и объясняюсь, потому что вы воспитывались в университете. С другим бы я не стал тратить слов.

Шрейдер. Я осмелился только потому, что господин министр…

Иван Петрович. Позвольте, позвольте! Это совершенная истина: я с вами не спорю ни на волос. Так, министр на это никогда не посмотрит и не вспомнит даже про это. Ну а вдруг… Что тогда?

Шрейдер. Я перепишу. *(Уходит.)*

IV

Иван Петрович *(пожимая плечами, оборачивается к Александру Ивановичу)*. Все еще ветер ходит в голове! Порядочный молодой человек, недавно из университета, но вот тут *(показывая на лоб)* нет. Вы себе не можете представить, почтеннейший Александр Иванович, скольких

трудов мне стоило привесть все это в порядок; посмотрели бы вы, в каком виде принял я нынешнее место! Вообразите, что ни один канцелярский не умел порядочно буквы написать. Смотришь: иной «къ» перенесет в другую строку; иной в одной строке пишет: «си», а в другой: «ятельству». Словом сказать: это был ужас! столпотворение вавилонское! Теперь возьмите вы бумагу: красиво! хорошо! душа радуется, дух торжествует. А порядок? порядок во всем!

Александр Иванович. Так вам чины, можно сказать, по́том и кровью достались.

Иван Петрович *(вздохнув)*. Именно потом и кровью. Что ж будете делать, ведь у меня такой характер. Чем бы я теперь не был, если бы сам доискивался? У меня бы места на груди не нашлось для орденов. Но что прикажете? не могу! Стороною я буду намекать часто, и экивоки подпускать, но сказать прямо, попросить чего непосредственно для себя… нет, это не мое дело! Другие выигрывают беспрестанно… А у меня уж такой характер: до всего могу унизиться, но до подлости никогда! *(Вздохнувши.)* Мне бы теперь одного только хотелось — если б получить хоть орденок на шею. Не потому, чтобы это слишком занимало, но единственно чтобы видели только

внимание ко мне начальства. Я вас буду просить, великодушнейший Александр Иванович, этак при случае, натурально мимоходом, намекнуть его высокопревосходительству: что у Барсукова-де в канцелярии такой порядок, какой вы редко где встречали, или что-нибудь подобное.

Александр Иванович. С большим удовольствием, если представится случай…

V

Те же и Катерина Александровна, жена Ивана Петровича.

Катерина Александровна *(увидев Александра Ивановича)*. А! Александр Иванович! Боже мой, как давно мы не видались! Позабыли меня! Что Наталья Фоминишна?

Александр Иванович. Слава Богу! неделю, впрочем, назад было захворала.

Катерина Александровна. Э!

Александр Иванович. В груди под ложечкой сделалась колика и стеснение. Доктор прописал очистительное и припарку из ромашки и нашатыря.

Катерина Александровна. Вы бы попробовали омеопатического средства.

Иван Петрович. Чудно, право, как подумаешь, до чего не доходит просвещение. Вот, ты говоришь, Катерина Александровна, про меопатию. Недавно был я в представлении. Что ж бы вы думали? Мальчишка, росту, как бы вам сказать, вот этакого *(показывает рукою)*, лет трех, не больше: посмотрели бы вы, как он пляшет на тончайшем канате! Я вас уверяю сурьезно, что дух занимается от страху.

Александр Иванович. Очень хорошо поет Мелас.

Иван Петрович *(значительно)*. Мелас? О да! с большим чувством!

Александр Иванович. Очень хорошо.

Иван Петрович. Заметили ли вы, как она ловко берет вот это?.. *(Вертит рукою перед глазами.)*

Александр Иванович. Именно, это она удивительно хорошо берет. Однако уж скоро два часа.

Иван Петрович. Куда же это вы, Александр Иванович?

Александр Иванович. Пора! Мне нужно еще места в три заехать до обеда.

Иван Петрович. Ну, так до свидания! Когда ж увидимся? Да, я и позабыл: ведь мы завтра у Лукьяна Федосеевича?

Александр Иванович. Непременно. *(Кланя-*

ется.)

Катерина Александровна. Прощайте, Александр Иванович!

Александр Иванович *(в лакейской, накидывая шубу)*. Не терплю я людей такого рода. Ничего не делает, жиреет только, а прикидывается, что он такой, сякой, и то наделал, и то поправил. Вишь, чего захотел! ордена! И ведь получит, мошенник! получит! Этакие люди всегда успевают. А я? ведь пятью годами старее его по службе, и до сих пор не представлен. Какая противная физиономия! И разнежился: ему совсем не хотелось бы, но только для того, чтобы показать внимание начальства. Еще просит, чтобы я замолвил за него! Да, нашел кого просить, голубчик! Я таки тебе удружу порядочно, и ты таки ордена не получишь! не получишь! *(Подтвердительно ударяет несколько раз кулаком по ладони и уходит.)*

Тяжба
I

Кабинет. Пролетов, сенатский обер-секретарь, один сидит в креслах и поминутно икает.

Что это у меня? точно отрыжка! вчерашний обед засел в горле; эти грибки да ботвинья… Ешь, ешь, просто, черт знает, чего не ешь! *(икает.)* Вот оно! *(икает)* еще! *(икает)* еще раз! *(икает.)* Ну, теперь в четвертый! *(икает.)* Туды к черту, и в четвертый! Прочитать еще «Северную Пчелу», что там такое? Надоела мне эта «Северная Пчела»: точь-в-точь баба, засидевшаяся в девках. *(Читает и вскрикивает.)* Крахманову награда! а? Петрушке Крахманову! Вот каким был мальчишкой *(показывает рукой)*, я поместил сам его кадетом в корпус, а? *(Продолжает читать и вскрикивает, вытаращив глаза.)* Что это? что это? Неужели Бурдюков? Да, он, Павел Петрович Бурдюков, произведен! а? каково? Взяточник, два раза был под судом, отец — вор, обокрал казну, гнуснейший человек, какого только можно представить себе, — каково? И ведь весь свет почитает его за прямодушного человека! Подлец! Говорит:

«Дело Бухтелева решено не так, сенат не вник-нул» — а? Просто, подлец, узнал, что на мою долю пришлось двадцать тысяч, так вот зачем не ему! Как собака на сене: ни себе, ни другим. Ну, да я знаю тебя, ступай морочь других, прикидывайся перед другими. Я слышал про тебя кое-что такое. Право, досадно, что заглянул в газету, прочитаешь — чувствуешь тоску, гадость — и больше ничего. Эй, Андрей!

II

Лакей *(входя).* Чего изволите-с?

Пролетов. Возьми вон эту газету! И к чему, зачем ты принес эту газету? Дурак этакой! *(Андрей уносит газету.)* Каков Бурдюков, а? Вот кого, не говоря дальних слов, упрятал бы в Камчатку. С большим наслаждением, признаюсь, нагадил бы ему, хоть сию минуту, да вот до сих пор нет, да и нет случая. Что прикажешь делать? Разгневался Бог. А я бы тебя погладил, мазнул бы тебя по губам. Да уж и губы зато какие? как у вола, у канальи.

Лакей. Бурдюков приехал.

Пролетов. Что?

Лакей. Бурдюков приехал.

Пролетов. Что ты вздор несешь!

Лакей. Так точно-с.

Пролетов. Врешь ты, дурак! Бурдюков, ко мне? Павел Петрович Бурдюков!

Лакей. Нет, не Павел Петрович, а другой какой-то.

Пролетов. Какой другой?

Лакей. Да вот извольте сами видеть: он здесь.

Пролетов. Проси.

III

Пролетов и Христофор Петрович Бурдюков.

Бурдюков. Прошу извинить за беспокойство, что наношу вам. Обстоятельства и дела понудили оставить городишку. Приехал просить личной помощи, заступничества.

Пролетов (*в сторону*). Это точно другой; а есть, однако же, какое-то сходство. (*Вслух.)* Что прикажете? в чем могу быть вам полезным?

Бурдюков (*с пожатием плеч*). Дело, тяжба!

Пролетов. Тяжба? с кем?

Бурдюков. С родным братом.

Пролетов. Прежде позвольте узнать фамилию, а потом изъясните свое дело. Прошу покорно садиться.

Бурдюков. Фамилия: Бурдюков, Христофор

Петров сын, а дело с родным братом Павлом Петровым Бурдюковым.

Пролетов. Что вы!! что? нет!

Бурдюков. Да что ж вы на меня уставили глаза? или думаете, я бы захотел оставлять напрасно Тамбов и скакать на почтовых?

Пролетов. Господи благослови вас за такое доброе дело! Позвольте с вами покороче познакомиться. Умнее этого дела вы не могли никогда бы придумать. Вот рассказывай теперь, что нет великодушия и справедливости, а это что же? Ведь вот родной брат, узы крови, связи, а ведь не пощадил! На брата — процесс! Позвольте вас обнять.

Бурдюков. Извольте! я сам обниму вас за такую готовность. *(Обнимаются.)* А прежде, признаюсь, взглянувши на вашу физиогномию, никак нельзя было думать, чтобы вы были путный человек.

Пролетов. Вот тебе раз! как так?

Бурдюков. Да сурьезно. Позвольте спросить: верно, покойница матушка ваша, когда была брюхата вами, перепугалась чего-нибудь?

Пролетов. Что за чепуху несет он?

Бурдюков. Нет, я вам скажу, вы не будьте в претензии, это очень часто случается. Вот у нашего заседателя вся нижняя часть лица баранья, так

сказать, как будто отрезана и поросла шерстью совершенно, как у барана. А ведь от незначительного обстоятельства: когда покойница рожала, подойди к окну баран и нелегкая подстрекни его заблеять.

Пролетов. Ну, оставим в покое заседателя и барана. Как же я рад!

Бурдюков. А уж я как рад, приобретши такое покровительство! Теперь только, как начинаю всматриваться в вас, вижу, что лицо ваше как будто знакомо: у нас в карабинерном полку был поручик, вот, как две капли воды, похож на вас! Пьяница страшнейший, то-есть я вам скажу, что дня не проходило, чтобы у него рожа не была разбита.

Пролетов *(в сторону).* У этого уездного медведя, как видно, нет совсем обычая держать язык за зубами. Вся дрянь, какая ни есть на душе — у него на языке. *(Вслух.)* Времени у меня немного, пожалуйста, приступим же к делу.

Бурдюков. Позвольте, сидя не расскажешь. Это дело — казусное! Знавали ли в устюжском уезде помещицу Евдокию Малафеевну Жеребцову? не знали, — хорошо. Она доводится родной теткой мне и бестии, моему брату. У ней ближайшими наследниками я да брат — изволите видеть: вот

оно куды пошло! Кроме того, еще сестра, что вышла за генерала Повалищева; ну, о той ни слова, та и без того получила следуемую ей часть. Позвольте: вот этот мошенник, брат, он на это хоть черту в дядьки годится, вот и подъехал он к ней: «Вы-де, тетушка, уже прожили, слава богу, семьдесят лет; где уже вам в таких преклонных летах мешаться самим в хозяйство: пусть лучше я буду приберегать и кормить». Вона! замечайте, замечайте! переехал к ней в дом, живет и распоряжается как настоящий хозяин. Да вы слышите ли это?

Пролетов. Слышу.

Бурдюков. То-то! Да. Вот занемогает тетушка, отчего бог знает, может быть, он сам и подсунул ей чего-нибудь. Мне дают уже знать стороною. Замечайте! Приезжаю; в сенях встречает меня эта бестия, то-есть брат, в слезах, так весь и заливается, и растаял, и говорит: «Ну», говорит, «братец, навеки мы несчастны с тобою: благодетельница наша…» — «Что, отдала богу душу?» — «Нет, при смерти». Я вхожу, и точно, тетушка лежит на карачках и только глазами хлопает. Ну, что ж? плакать? Не поможет. Ведь не поможет?

Пролетов. Не поможет.

Бурдюков. Ну что ж? нечего делать! так, видно,

Богу угодно! Я приступил поближе. «Ну, говорю, тетушка, мы все смертны, один Бог, как говорят, не сегодня, так завтра властен в нашей жизни: так не угодно ли вам заблаговременно сделать какое-нибудь распоряжение?» Что ж тетушка? Я вижу, не может уже языком поворотить, и только сказала: «э… э… э…» А эта шельма, что стоял возле кровати ее, брат, говорит: «Тетушка сим изъясняет, что она уже распорядилась». Слышите, слышите!

Пролетов. Как же, да ведь она разве сказала это?

Бурдюков. Кой черт сказала! Она сказала только «э… э… э…» Я все подступаю: «Но позвольте же узнать, тетушка, какое же это распоряжение?» Что ж тетушка? Тетушка опять отвечает: «э, э, э». А тот подлец опять: «Тетушка говорит, что все распоряжение по этой части находится в духовном завещании». Слышите? слышите? Что ж мне было делать? я замолчал и не сказал ни слова.

Пролетов. Однако ж, позвольте: как же вы не уличили тут же их во лжи?

Бурдюков. Что ж? *(Размахивает руками.)* стали божиться, что она точно все это говорила. Ну ведь… и поверил.

Пролетов. А духовное завещание распечатали?

Бурдюков. Распечатали.

Пролетов. Что ж?

Бурдюков. А вот что. Как только все это, как следует, христианским долгом было отправлено, я говорю, что не пора ли прочесть волю умершей. Брат ничего и говорить не может: страданья, отчаянья такие, что люди только! «Возьмите, говорит, читайте сами». Собрались свидетели и прочитали. Как же бы вы думали было написано завещание? А вот как: «Племяннику моему, Павлу Петрову сыну Бурдюкову — слушайте! — в возмездие его сыновних попечений и неотлучного себя при мне обретения до смерти — замечайте! замечайте! — оставляю во владение родовое и благоприобретенное имение мое в Устюжском уезде… — вона! вона! вона куды пошло! — пятьсот ревизских душ, угодья и прочее». А? слышите ли вы это? «Племяннице моей, Марии Петровой дочери Повалищевой, урожденной Бурдюковой, оставляю следуемую ей деревню изо ста душ. Племяннику — вона! замечайте! вот тут настоящий типун! — Хрисанфию сыну Петрову Бурдюкову — слушайте, слушайте! — на память обо мне… — ого! го! — завещаю: три штаметовые юбки и всю рухлядь, находящуюся в амбаре, как то: пуховика два, посуду фаянсовую, простыни,

чепцы», и там черт знает еще какое тряпье! А? как вам кажется? я спрашиваю: на кой черт мне штаметовые юбки?

Пролетов. Ах, он мошенник этакой! Прошу покорно!

Бурдюков. Мошенничество — это так, я с вами согласен; но спрашиваю я вас: на что мне штаметовые юбки? Что я с ними буду делать? разве себе на голову надену!

Пролетов. И свидетели подписались при этом?

Бурдюков. Как же, набрал какой-то сволочи.

Пролетов. А покойница собственноручно подписалась?

Бурдюков. Вот то-то и есть, что подписалась, да черт знает как!

Пролетов. Как?

Бурдюков. А вот как: покойницу звали Евдокия, а она нацарапала такую дрянь, что разобрать нельзя.

Пролетов. Как так?

Бурдюков. Черт знает что такое: ей нужно было написать: «Евдокия», а она написала: «Обмокни».

Пролетов. Что вы!

Бурдюков. О, я вам скажу, что он горазд на все. «А племяннику моему Хрисанфию Петрову три

штаметовые юбки!»

Пролетов (*в сторону*). Молодец, однако ж, Павел Петрович Бурдюков, я бы никак не мог думать, чтобы он ухитрился так!

Бурдюков (*размахивая руками*). «Обмокни!» Что ж это значит? Ведь это не имя «Обмокни»?

Пролетов. Как же вы намерены поступить теперь?

Бурдюков. Я подал уже прошение об уничтожении завещания, потому что подпись ложная. Пусть они не врут: покойницу звали Евдокией, а не «Обмокни».

Пролетов. И хорошо! Позвольте теперь мне за все это взяться. Я сейчас напишу записку к одному знакомому секретарю, а вы между тем доставьте мне копию с завещания вашего.

Бурдюков. Несказанно обязан вам! (*Берется за шапку.*) А в которые двери нужно выходить — в те или в эти?

Пролетов. Пожалуйте в эти.

Бурдюков. То-то. Я потому спросил, что мне нужно еще будет по своей надобности. До свидания, почтеннейший. Как вас? Я все позабываю!

Пролетов. Александр Иванович.

Бурдюков. Александр Иванович! Александр Иванович есть Прольдюковский, вы не знакомы

с ним?

Пролетов. Нет.

Бурдюков. Он еще живет в пяти верстах от моей деревни. Прощайте!

Пролетов. Прощайте, почтеннейший, прощайте!

IV

Пролетов, потом слуга.

Вот неожиданный клад! вот подарок! Просто Бог на шапку послал. Странно сказать, а по душе чувствуешь такое какое-то эдакое неизъяснимое удовольствие, как будто или жена в первый раз сына родила, или министр поцеловал тебя при всех чиновниках в полном присутствии. Ей-богу! эдакое магнетическое какое-то! Эй, Андрей! ступай сейчас к моему секретарю и проси его сюда. Слышишь? Да постой: вот тебе на водку, напейся пьян, как стелька, — для сегодняшнего дня я тебе позволяю; а вот еще сыну на пряники. Да скажи секретарю, чтобы — сейчас, самонужнейшее дело. А, наконец-таки, насилу! и на нашу улицу пришло веселье! Постой же, теперь я сяду играть, да и посмотрим, как ты будешь подплясывать. А уж коли из сенатских музыкантов наберу ор-

кестр, так ты у меня так запляшешь, что во всю жизнь не отдохнут у тебя бока.

Лакейская
I

Театр представляет переднюю. Направо дверь на лестницу, налево — в зал. На заднем занавесе дверь, несколько сбоку — в кабинет. До самых дверей во всю стену длинная скамья. Петр, Иван и Григорий сидят на ней и спят, уткнувши головы один другому в плечо. В дверях с лестницы звенит громкий звонок. Лакеи пробуждаются.

Григорий. Ступай отвори дверь! звонят!

Петр. Да ты что сидишь? На ногах у тебя пузыри, что ли? встать не можешь?

Иван *(махнув рукой)*. Ну, уж я пойду, так и быть, отворю! *(Отворяя дверь, вскрикивает.)* Это Андрюшка!

Чужой слуга входит в картузе, в шинели и с узелком в руке.

Григорий. А, московская ворона! Откуда тебя принесло?

Чужой слуга. Ах ты, чухонский сын! Побегал бы ты с мое. Вот *(подымая узелок)* к цветочнице велела снесть, что на Петербургской. Небось четвертака на извозчика не даст. Да и к вашему

тож. Что, спит?

Григорий. Кто? медведь? Нет, еще не рычал из берлоги.

Петр. Правда ли, что барыня ваша дает вам чулки штопать?

Все смеются.

Григорий. Ну, уж ты, брат, будь теперь штопальница. Уж мы так и звать тебя будем.

Чужой лакей. Врешь, а вот же и не штопал никогда.

Петр. Да ведь у вас известно: дворовый человек до обеда повар, а после обеда уж он кучер, или лакей, или башмаки шьет.

Чужой лакей. Ну так что ж, ремесло другому не помешает. Не сидеть же без дела. Конечно, я и лакей, да и женский портной вместе. И на барыню шью, и на других тоже — копейку добываю. А вы что, ведь вот ничего ж не делаете.

Григорий. Нет, брат, у хорошего барина лакея не займут работой, на то есть мастеровой. Вон у графа Булкина — тридцать, брат, человек слуг одних; и уж там, брат, нельзя так: «Эй, Петрушка, сходи-ка туды». — «Нет, мол, скажет, это не мое дело; извольте-с приказать Ивану». Вон оно как! Вот оно что значит, если барин хочет жить как барин. А вон ваша пигалица из Москвы приеха-

ла — коляска-то орех раскушенный, веревками хвосты лошадям позавязаны.

Смеются.

Чужой лакей. Ну ты, смехун, смехун! Что ж из того, что лежишь весь день? Ведь за то ж ни копейки за душой у тебя нет.

Григорий. Да на что ж мне твоя копейка? а барин-то зачем? Ведь жалованье-то уж он мне выдаст, хоть я работай или не работай. А копить мне на старость зачем? Что ж за барин, коли уж пенсиона слуге не выдаст за службу?

Чужой лакей. Что? говорят, ребята бал затеяли?

Петр. Да. А ты будешь?

Чужой лакей. Да ведь что ж этот бал! только, чай, слава, что бал.

Григорий. Нет, брат, бал будет на всю руку. По целковому жертвуют и больше. Княжой повар дал пять рублей и сам берется стол готовить. Угощенье будет не то что орехи: уж полпуда конфект купили, мороженого тоже…

Слышен тоненький звонок из барского кабинета.

Чужой лакей. Ступай, звонит барин.

Григорий. Подождет… Лиминацию тоже зажгут.

Музыку торговали, только не сошлись — баса нет, а то уж было…

Слышен звонок из кабинета громче прежнего.

Чужой лакей. Ступай! ступай! звонит.

Григорий. Подождет. Ну, ты сколько даешь?

Чужой лакей. Да ведь что ж этот бал, ведь это все так.

Григорий. Ну, развязывай мошну, ты, штопальница! Вон смотри, Петрушка, на него, какой он…

Тыкает на него пальцем; в это время отворяется дверь кабинета, и барин, в халате, протянувши руку, схватывает Григория за ухо. Все подымаются с своих мест.

II

Барин. Что вы, бездельники? Три человека — и хоть бы один поднялся с своего места? Я звоню что есть мочи, чуть тесьмы не оборвал.

Григорий. Да ничего не было слышно, сударь.

Барин. Врешь!

Григорий. Ей-богу! Что ж мне лгать? Вот Петрушка тоже сидел. Уж это такой колокольчик, судырь, никуды не годится: никогда ничего не слыхать. Нужно будет слесаря позвать.

Барин. Ну, так позвать слесаря.

Григорий. Да я уж сказывал дворецкому. Да ведь что ж? Ему говоришь, а ведь он еще и выбранит за это.

Барин *(увидя чужого лакея)*. Это что за человек?

Григорий. Это-с человек от Анны Петровны, зачем-то пришел к вам.

Барин. Что скажешь, брат?

Чужой лакей. Барыня приказала кланяться и доложить, что будут сегодня к вам.

Барин. Зачем, не знаешь?

Чужой лакей. Не могу знать. Они только сказали: «Скажи Федору Федоровичу, что я приказала кланяться и буду к ним».

Барин. Да когда, в котором часу?

Чужой лакей. Не могу знать, в котором часу. Они сказали только, что доложи-де, говорит, Федору Федоровичу, что я, говорит, к ним сама-де буду у них-с…

Барин. Хорошо. Петрушка, дай мне поскорей одеться: я иду со двора. А вы — не принимать никого! Слышишь, всем говорить, что меня нет дома! *(Уходит; за ним Петрушка.)*

III

Чужой лакей *(Григорию)*. Ну видишь, ведь вот и досталось.

Григорий *(махнув рукой)*. А! уж служба такая! как ни старайся — все выбранят.

В дверях, что у лестницы, раздается звонок.

Вот опять какой-то черт лезет. *(Ивану.)* Ступай отворяй, что ж ты зеваешь?

Иван отворяет дверь; входит господин в шубе.

IV

Господин в шубе. Федор Федорович дома?

Григорий. Никак нет.

Господин. Досадно. Не знаешь, куда уехал?

Григорий. Неизвестно. Должно быть, в департамент. А как об вас доложить?

Господин. Скажи, что был Невелещагин. Очень, мол, жалел, что не застал дома. Слышишь? не позабудешь? Невелещагин.

Григорий. Лентягин-с.

Господин *(вразумительнее)*. Невелещагин.

Григорий. Да вы немец?

Господин. Какой немец! просто русский: Не-ве-ле-ща-гин.

Григорий. Слышь, Иван, не позабудь: Ерда-щагин!

Господин уходит.

V

Чужой лакей. Прощайте, братцы, пора уж и мне.

Григорий. Да что ж — на бал будешь, что ли?

Чужой лакей. Ну, да уж там посмотрю после. Прощай, Иван!

Иван. Прощай! *(Идет отворять дверь.)*

VI

Горничная девушка, бежит бегом через лакейскую.

Григорий. Куды, куды! удостойте взглядом! *(Хватает ее за полу платья.)*

Девушка. Нельзя, нельзя, Григорий Павлович! не держите меня, совсем-с некогда. *(Вырывается и убегает в дверь на лестницу.)*

Григорий *(смотря вслед ей)*. Вот она, как поплелась! *(Смеется.)* Хе, хе, хе!

Иван *(смеется)*. Хи, хи, хи!

Выходит барин. Рожи у Григория и Ивана вдруг становятся насупившись и сурьезны. Григорий снимает с вешалки шубу и накидывает барину на плечи. Барин уходит.

Григорий *(стоит среди комнаты, чистя пальцем в носу)*. Ведь вот свободное время. Барин ушел, чего бы, кажется, лучше, — нет, сейчас привалит этот черт, брюхач-дворецкий.

За сценой слышен крик дворецкого: «Ведь вот, точно, Божеское наказание: десять человек в доме и хоть бы один что-нибудь прибрал».

Вон уж, пошел кричать толстобрюхий.

VII

Пузатый дворецкий *(входит с сильными движениями и размахами рук)*. Побоялись бы хоть совести своей, коли Бога не боитесь. Ведь ковры до сих пор не выколочены. Вы бы, Григорий Павлович, пример другим должны бы дать, а вы спите ровно от утра до вечера; ведь глаза-то у вас совсем заплыли от сна, ей-богу! Ведь вы совсем

подлец после этого, Григорий Павлович.

Григорий. Да что ж? нешто я не человек, что уж и заснуть нельзя?

Дворецкий. Да кто ж против этого и слово говорит? Почему ж не заснуть? Но ведь не весь же день спать. Ну, вот хоть бы и ты, Петр Иванович! ведь ты, не говоря дурного слова, на свинью похож, ей-богу! Ведь что тебе работы? всего два, три каких-нибудь подсвечника вычистить. Ну, зачем ты тут баишься?

Петр медленно уходит.

А тебе, Ванька, просто толчка в затылок следует.

Григорий *(уходя)*. Эх ты, житье, житье! вставши да за вытье!

Дворецкий *(оставшись один)*. В том-то и есть поведенье, что всякий человек должен знать долг. Коли слуга, так слуга, дворянин, так дворянин, архиерей, так архиерей. А то бы, пожалуй, всякий зачал… я бы сейчас сказал: «Нет, я не дворецкий, а губернатор или там какой-нибудь от инфантерии». Да ведь за то мне всякий бы сказал: «Нет, врешь, ты дворецкий, а не генерал», — вот что! «Твоя обязанность смотреть за домом, за поведеньем слуг», — вот что! «Тебе не то, что бон жур, коман ву франсе, и веди порядок, распоря-

женье», — вот что! Да.

VIII

Входит Аннушка, горничная девушка из другого дома.

Дворецкий. А! Анна Гавриловна! Насчет моего почтения с большим удовольствием вас вижу.

Аннушка. Не беспокойтесь, Лаврентий Павлович! Я нарочно зашла к вам на минуту: я встретила карету вашего барина и узнала, что его нет дома.

Дворецкий. И очень хорошо сделали, я и жена будем очень рады. Пожалуйте, садитесь.

Аннушка *(севши)*. Скажите, ведь вы знаете что-нибудь о бале, который на днях затевается?

Дворецкий. Как же. Оно примерно, вот изволите видеть, складчина. Один человек, другой, примерно также сказать, третий. Конечно, это, впрочем, составит большую сумму. Я пожертвовал вместе с женою пять рублей. Ну, натурально, бал, или, что обыкновенно говорится, вечеринка. Конечно, будет угощение, примерно сказать, прохладительное. Для молодых людей танцы и тому прочие подобные удовольствия.

Аннушка. Непременно, непременно буду! Я

только зашла затем, чтобы узнать, будете ли вы вместе с Агафьей Ивановной.

Дворецкий. Уж Агафья Ивановна только и говорит все что о вас.

Аннушка. Я боюсь только насчет общества.

Дворецкий. Нет, Анна Гавриловна, у нас будет общество хорошее. Не могу сказать наверно, но слышал, что будет камердинер графа Толстогуба, буфетчик и кучера князя Брюховецкого, горничная какой-то княгини… я думаю, тоже чиновники некоторые будут.

Аннушка. Одно только мне очень не нравится, что будут кучера. От них всегда запах простого табаку или водки; притом же все они такие необразованные, невежи.

Дворецкий. Позвольте вам доложить, Анна Гавриловна, что кучера кучерам рознь. Оно, конечно, так как кучера, по обыкновению больше своему, находятся неотлучно при лошадях, иногда подчищают, с позволения сказать, кал; конечно, человек простой, выпьет стакан водки или, по недостаточности больше, выкурит обыкновенного бакуну, какой большею частию простой народ употребляет; да, так оно натурально, что от него иногда, примерно сказать, воняет навозом или водкой; конечно, все это так; да, однако ж,

согласитесь сами, Анна Гавриловна, что есть и такие кучера, которые хотя и кучера, однако ж, по обыкновению своему, больше, примерно сказать, конюхи, нежели кучера. Их должность, или, так выразиться, дирекция, состоит в том, чтобы отпустить овес или укорить в чем, если провинился форейтор или кучер.

Аннушка. Как вы хорошо говорите, Лаврентий Павлович! я всегда вас заслушиваюсь.

Дворецкий *(с довольною улыбкою)*. Не стоит благодарности, сударыня. Оно, конечно, не всякий человек имеет, примерно сказать, речь, то есть дар слова. Натурально, бывает иногда… что, как обыкновенно говорят, косноязычие… Да. Или иные прочие подобные случаи, что, впрочем, уже происходит от натуры… Да не угодно ли вам пожаловать в мою комнату?

Аннушка идет. Лаврентий за нею.

Отрывок

Комната в доме Марьи Александровны.

I

Марья Александровна, пожилых лет дама, и Михал Андреевич, ее сын.

Марья Александровна. Слушай, Миша, я давно хотела с тобою переговорить: тебе должно переменить службу.

Миша. Пожалуй, хоть завтра же.

Марья Александровна. Ты должен служить в военной.

Миша *(вытаращив глаза)*. В военной?

Марья Александровна. Да.

Миша. Что вы, маменька? в военной?

Марья Александровна. Ну, что ж ты так изумился?

Миша. Помилуйте, да разве вы не знаете: ведь нужно начинать с юнкеров?

Марья Александровна. Ну да, послужишь год юнкером, а потом произведут в офицеры, уж это мое дело.

Миша. Да что вы нашли во мне военного? и фигура моя совершенно не военная. Подумайте, матушка, право, вы меня изумили этакими словами совершенно, так что я… я, я просто не знаю, что́ и подумать: я, слава Богу, и толстенек немножко, а как надену юнкерский мундир с короткими хвостиками — совестно даже будет смотреть.

Марья Александровна. Нет нужды. Произведут в офицеры, будешь носить мундир с длинными фалдами и совершенно закроешь толщину свою, так что ничего не будет заметно. Притом это и лучше, что ты немножко толст, — скорее пойдет производство: им же будет совестно, что у них в полку такой толстый прапорщик.

Миша. Но, матушка, ведь мне год, всего год осталось до коллежского асессора. Я уже два года, как в чине титулярного советника.

Марья Александровна. Перестань, перестань! Это слово «титулярный» тиранит мои уши; мне так и приходит на ум Бог знает что. Я хочу, чтобы сын мой служил в гвардии. На штафирку просто не могу и смотреть теперь.

Миша. Но посудите, матушка, рассмотрите меня хорошенько и наружность мою также: меня еще в школе звали хомяком. В военной службе

все же нужно, чтобы и на лошади лихо ездил, и голос бы имел звонкий, и рост бы имел богатырский, и талию.

Марья Александровна. Приобретешь, все приобретешь. Я хочу, чтобы ты непременно служил; на это есть очень, важная причина.

Миша. Да какая же причина?

Марья Александровна. Ну, уж причина важная.

Миша. Все же таки скажите, какая причина?

Марья Александровна. Такая причина… я не знаю даже, поймешь ли ты хорошенько. Губомазова, эта дура, третьего дни у Рогожинских говорит, и нарочно так, чтобы я слышала. А я сижу третьего, передо мной Софи Вотрушкова, княгиня Александрина и за княгиней Александриной сейчас я. Что бы ты думал эта негодная осмелилась говорить?.. Я, право, так и хотела встать с места и, если б не княгиня Александрина, я бы, не знаю, что я сделала. Говорит: «Я очень рада, что на придворных балах не пускают штатских. Это такие всё, говорит, mauvais genre, чем-то неблагородным от них отзывается. Я рада, говорит, что мой Алексис не носит этого скверного фрака». И все это произнесла с таким жеманством, с таким тоном… так право… я не знаю, что бы я сделала с

нею. А ее сын просто дурак набитый: только всего и умеет, что подымать ногу. Такая противная мерзавка!

Миша. Как, матушка, так в этом вся причина?

Марья Александровна. Да, я хочу назло, чтобы мой сын тоже служил в гвардии и был бы на всех придворных балах.

Миша. Помилуйте, матушка, из того только, что она дура…

Марья Александровна. Нет, уж я решилась. Пусть-ка она себе треснет с досады, пусть побесится.

Миша. Однако ж…

Марья Александровна. О! я ей покажу! Уж как она хочет, я употреблю все старанья, и мой сын будет тоже в гвардии. Уж хоть чрез это и потеряет, а уж непременно будет. Чтобы я позволила всякой мерзавке дуться передо мною и подымать и без того курносый нос свой! Нет уж, вот этого-то никогда не будет! Уж как вы себе хотите, Наталья Андреевна!

Миша. Да разве этим ей досадите?

Марья Александровна. О! уж этого-то не позволю!

Миша. Если вы это требуете, маменька, я перейду в военную; только, право, мне самому будет

смешно, когда увижу себя в мундире.

Марья Александровна. Уж, по крайней мере, гораздо благороднее этого фрачишки. Теперь второе: я хочу женить тебя.

Миша. За одним разом и переменить службу и женить?

Марья Александровна. Что же? Как будто нельзя и переменить службу и женить?

Миша. Да ведь я и намеренья еще не имел. Я еще не хочу жениться.

Марья Александровна. Захочешь, если только узнаешь, на ком. Этой женитьбой доставишь ты себе счастье и в службе, и в семейственной жизни. Словом, я хочу женить тебя на княжне Шлепохвостовой.

Миша. Да ведь она, матушка, дура первоклассная.

Марья Александровна. Вовсе не первоклассная, а такая же, как и все другие. Прекрасная девушка, вот только что памяти нет; иной раз забывается, скажет невпопад; но это от рассеянности, а уж зато вовсе не сплетница и никогда ничего дурного не выдумает.

Миша. Помилуйте, куды ей сплетничать! Она насилу слово может связать, да и то такое, что только руки расставишь, как услышишь. Вы зна-

ете сами, матушка, что женитьба дело сердечное, нужно, чтобы душа…

Марья Александровна. Ну, так! я вот как будто предчувствовала. Послушай, перестань либеральничать. Тебе это не пристало, не пристало, я тебе двадцать раз уже говорила. Другому еще это идет как-то, а тебе совсем не идет.

Миша. Ах, маменька, но когда и в чем я был не послушен вам?[266] Мне уже скоро тридцать лет, а между тем я, как дитя, покорен вам во всем. Вы мне велите ехать туды, куды бы мне смерть не хотелось ехать, — и я еду, не показывая даже и вида, что мне это тяжело. Вы мне приказываете потереться в передней такого-то — и я трусь в передней такого-то, хоть мне это вовсе не по сердцу. Вы мне велите танцовать на балах — и я танцую,

---

[266] Примечания: 266

Вместо: «Ах, маменька, но когда и в чем я был не послушен вам?» *в рукописи было:* «Ах, маменька, сколько я вас просил, не повторяйте этого слова. Вы не поверите, как оно мне противно и пошло, какое глупое ложное значение придали ему у нас. Не будьте похожи на тех старичков, которые имеют обычаи колоть этим словцом в глаза всех, не рассмотревши хорошенько ни человека, ни слова, которым его колют. Что осталось о пятидесяти каких-нибудь пустых головах, воспитанных на французскую ногу, они ухватились за это предание и давай придавать его ко всякому, честить им встречного и поперечного. У кого, заметят они, только немного сшито не так платье, как у другого, как-нибудь иначе прическа, словом что-нибудь не то, что у других, они тотчас: «Либерал, либерал! революционер! Вон у него фалды фрака не так, как у прочих! платок не так завязан! не так волосы носит!» Вы не поверите, как у меня всякий раз взрывается сердце, когда я услышу это! Как мало им ведомо сердце русского человека и твердые черты

его характера! Как не знают они того, что если и увлекается он, то увлекается силою душевных прекрасных побуждений, а не оторванной от всего мыслью, создавшейся в легкой голове какого-нибудь француза. И этот русский человек, в груди которого таится самобытное, слитое с самой его природой чувство, чувство непостижимой любви к царю, — чувство, из-за которого он пожертвует всем, понесет свое имущество, жизнь безмолвно, не крича об этом вперед, не хвастаясь и не хвалясь этим, — и этот русский укоряется этим пошлым словцом, которое без различия дается также и первому встречному сорванцу и бродяге. Нет, маменька, употребляйте все прочие слова, и не употребляйте этого истасканного и пошлого слова! Вы рассмотрите, когда и в чем я был не послушен вам».

хоть все надо мною смеются и над моей фигурой. Вы, наконец, велите мне переменить службу — и я переменяю службу, в тридцать лет иду в юнкера; в тридцать лет я перерождаюсь в ребенка, в угодность вам, и при всем том вы мне всякий день колете глаза либеральничеством. Не пройдет минуты, чтобы вы меня не назвали либералом. Послушайте, матушка, это больно, клянусь вам, это больно. Я достоин за мою искреннюю любовь и привязанность к вам лучшей участи…

Марья Александровна. Пожалуйста, не говори этого! Будто я не знаю, что ты либерал, и знаю даже, кто тебе все это внушает: все этот скверный Собачкин.

Миша. Нет, матушка, это уж слишком, чтобы Собачкина я даже стал слушаться. Собачкин мерзавец, картежник и все, что вы хотите. Но тут он невинен. Я никогда не позволю ему надо мною иметь и тени влияния.

Марья Александровна. Ах, боже мой, какой ужасный человек! я испугалась, когда его узнала. Без правил, без добродетели — какой гнусный, какой гнусный человек! Если б ты знал, что такое он разнес про меня!.. Я три месяца не могла никуда носа показать: что у меня подают сальные огарки; что у меня по целым неделям не вытира-

ются в комнате ковры щеткою; что я выехала на гулянье в упряжи из простых веревок на извозчичьих хомутах… Я вся краснела, я более недели была больна; я не знаю, как я могла перенести все это. Подлинно, одна вера в Провидение подкрепила меня.

Миша. И этакой человек, вы думаете, может иметь надо мною власть? и думаете, я позволю?..

Марья Александровна. Я сказала, чтоб он не смел мне на глаза показываться, и ты одним только можешь оправдать себя, когда без всякого упорства сделаешь княжне déclaration сегодня же.

Миша. Но, матушка, а если нельзя это сделать?

Марья Александровна. Как нельзя? это почему?

Миша *(в сторону)*. Ну, решительная минута!.. *(Вслух.)* Позвольте мне хотя здесь иметь свой голос, хотя в деле, от которого зависит счастие моей будущей жизни. Вы не спросили еще меня… ну, если я влюблен в другую?

Марья Александровна. Это, признаюсь, для меня новость. Об этом я еще ничего не слышала. Да кто ж такая эта другая?

Миша. Ах, маменька, клянусь, никогда еще не было подобной — ангел, ангел и лицом и душою.

Марья Александровна. Да чьих она, кто отец ее?

Миша. Отец — Александр Александрович Одосимов.

Марья Александровна. Одосимов? фамилия неслышная! Я ничего не знаю про Одосимова… да что он, богатый человек?

Миша. Редкий человек, удивительный человек.

Марья Александровна. И богатый?

Миша. Как вам сказать? Нужно, чтобы вы его видели. Таких достоинств души не сыщешь в свете.

Марья Александровна. Да что он, как, в чем состоит его чин, имущество?

Миша. Я понимаю, маменька, чего вы хотите. Позвольте мне на счет этот сказать откровенно мои мысли. Ведь теперь, как бы то ни было, может быть, во всей России нет жениха, который бы не искал богатой невесты. Всякий хочет поправиться на счет женина приданого. Ну, пусть еще в некотором отношении это извинительно: я понимаю, что бедный человек, которому не повезло по службе или в чем другом, которому, может быть, излишняя честность помешала составить состояние, — словом, что бы то ни было, но я по-

нимаю, что он вправе искать богатой невесты и, может быть, несправедливы бы были родители, если б не отдали должного его достоинствам и не выдали бы за него дочери. Но вы посудите, справедлив ли человек богатый, который будет искать тоже богатых невест, — что ж будет тогда на свете? Ведь это все равно, что сверх шубы да надеть шинель, когда и без того жарко, когда эта шинель, может быть, прикрыла бы чьи-нибудь плечи. Нет, маменька, это несправедливо. Отец пожертвовал всем имуществом на воспитанье дочери.

Марья Александровна. Довольно, довольно! Больше я не в силах слушать. Все знаю, все: влюбился в потаскушку, дочь какого-нибудь фурьера, которая занимается, может, публичным ремеслом.

Миша. Матушка…

Марья Александровна. Отец — пьяница, мать — стряпуха, родня — кварташки или служащие по питейной части… и я должна все это слышать, все это терпеть, терпеть от родного сына, для которого я не щадила жизни!.. Нет, я не переживу этого!

Миша. Но, матушка, позвольте…

Марья Александровна. Боже мой, какая теперь

нравственность у молодых людей! Нет, я не переживу этого, клянусь, не переживу этого… Ах! что это? у меня закружилась голова! *(Вскрикивает.)* Ах, в боку колика!.. Машка, Машка, склянку!.. Я не знаю, проживу ли я до вечера. Жестокий сын!

Миша *(бросаясь)*. Матушка, успокойтесь. Вы сами создаете для себя…

Марья Александровна. И все это наделал этот скверный Собачкин. Я не знаю, как не выгонят до сих пор эту чуму.

Лакей *(в дверях)*. Собачкин приехал.

Марья Александровна. Как! Собачкин? Отказать, отказать, чтоб его и духу здесь не было.

II

Те же и Собачкин.

Собачкин. Марья Александровна! извините великодушно, что так давно не был. Ей-богу, никак не мог! Поверить не можете, сколько дел; знал, что будете гневаться, право знал… *(Увидя Мишу.)* Здравствуй, брат! Как ты?

Марья Александровна *(в сторону)*. У меня, просто, слов не достает! Каков? Еще извиняется, что давно не был!

Собачкин. Как я рад, что вы, судя по лицу, так

свежи и здоровы. А братца вашего как здоровье? Я полагал, признаюсь, и его также застать у вас.

Марья Александровна. Для этого вы бы могли отправиться к нему, а не ко мне.

Собачкин *(усмехаясь)*. Я приехал рассказать вам один преинтересный анекдот.

Марья Александровна. Я не охотница до анекдотов.

Собачкин. Об Наталье Андреевне Губомазовой.

Марья Александровна. Как, об Губомазовой!.. *(Стараясь скрыть любопытство.)* Так это, верно, недавно случилось?

Собачкин. На днях.

Марья Александровна. Что ж такое?

Собачкин. Знаете ли, что она сама сечет своих девок?

Марья Александровна. Нет! что вы говорите? Ах, какой страм! можно ли это?

Собачкин. Вот вам крест! Позвольте же рассказать. Только один раз велит она виноватой девушке лечь, как следует, на кровать, а сама пошла в другую комнату, — не помню, за чем-то, кажется, за розгами. В это время девушка за чем-то выходит из комнаты, а на место ее приходит Натальи Андреевны муж, ложится и засыпает. Является Наталья Андреевна, как следует, с роз-

гами, велит одной девушке сесть ему на ноги, накрыла простыней и высекла мужа.

Марья Александровна *(всплеснув руками)*. Ах, боже мой, какой страм! Как это до сих пор я ничего об этом не знала? Я вам скажу, что я почти всегда была уверена, что она в состоянии это сделать.

Собачкин. Натурально. Я это говорил всему свету. Толкуют: «Примерная жена, сидит дома, занимается воспитанием детей, сама учит по-аглицки!» Какое воспитанье! Сечет всякий день мужа, как кошку!.. Как мне жаль, право, что я не могу пробыть у вас подолее *(раскланивается)*.

Марья Александровна. Куда ж это вы, Андрей Кондратьевич? Не совестно ли вам, столько времени у меня не бывши… Я всегда привыкла вас видеть, как друга дома: останьтесь! Мне хотелось еще с вами переговорить кое о чем. Послушай, Миша, у меня в комнате дожидается каретник; пожалуйста, переговори с ним. Спроси, возьмется ли он переделать карету к первому числу. Цвет чтобы был голубой с светлой уборкой, на манер кареты Губомазовой.

Миша уходит.

Марья Александровна. Я нарочно услала сына, чтобы переговорить с вами наедине. Скажите,

вы, верно, знаете: есть какой-то Александр Александрович Одосимов?

Собачкин. Одосимов?.. Одосимов… Одосимов… Знаю, есть где-то Одосимов; а, впрочем, я могу справиться.

Марья Александровна. Пожалуйста.

Собачкин. Помню, помню, есть Одосимов — столоначальник или начальник отделения… точно есть.

Марья Александровна. Вообразите, вышла одна смешная история… Вы мне можете сделать большое одолжение.

Собачкин. Вам стоит только приказать. Для вас я готов на все: вы сами это знаете.

Марья Александровна. Вот в чем дело: мой сын влюбился, или, лучше, не влюбился, а просто зашло в голову сумасбродство… Ну, молодой человек… Словом, он бредит дочерью этого Одосимова.

Собачкин. Бредит? А однако ж, он мне ничего об этом не сказал. Да впрочем, конечно, бредит, если вы говорите.

Марья Александровна. Я хочу от вас, Андрей Кондратьевич, большой услуги: вы, я знаю, нравитесь женщинам.

Собачкин. Хе, хе, хе! Да вы почему это думаете?

А ведь точно, вообразите: на масленой шесть купчих… может быть, вы думаете, что я с своей стороны как-нибудь волочился или что-нибудь другое… Клянусь, даже не посмотрел! Да вот еще лучше: вы знаете того, как бишь его, Ермолай, Ермолай… Ах боже, Ермолай, вот что жил на Литейной недалеко от Кирочной?

Марья Александровна. Не знаю там никого.

Собачкин. Ах, боже мой, Ермолай Иванович, кажется, вот хоть убей, позабыл фамилию. Еще жена его, лет пять тому назад, попала в историю. Ну, да вы знаете ее, Сильфида Петровна.

Марья Александровна. Совсем нет; не знаю я никакого ни Ермолая Ивановича, ни Сильфиды Петровны.

Собачкин. Боже мой! он еще жил недалеко от Куропаткина.

Марья Александровна. Да и Куропаткина я не знаю.

Собачкин. Да вы после припомните. Дочь, богачка страшная, до двухсот тысяч приданого и не то, чтобы с надуваньем, а еще до венца ломбардный билет в руки.

Марья Александровна. Что ж вы не женились?

Собачкин. Не женился. Отец три дня на коленях стоял, упрашивал; и дочь не перенесла, теперь в

монастыре сидит.

Марья Александровна. Почему ж вы не женились?

Собачкин. Да так как-то. Думаю себе: отец откупщик, родня — что ни попало. Поверите, самому, право, было потом жалко. Черт побери, право, как устроен свет: все условия да приличия. Скольких людей уже погубили!

Марья Александровна. Ну, да что же вам смотреть на свет? *(В сторону.)* Прошу покорно! Теперь всякая чуть вылезшая козявка уже думает, что он аристократ. Вот всего какой-нибудь титулярный, а послушай-ка, как говорит!

Собачкин. Ну, да нельзя, Марья Александровна, право, нельзя, все как-то… Ну, понимаете… Станут говорить: «Ну вот, женился черт знает на ком…» Да со мной, впрочем, всегда такие истории. Иной раз, право, совсем не виноват, с своей стороны решительно ничего… ну, что ты прикажешь делать? *(Говорит тихо.)* Ведь вот по вскрытии Невы всегда находят две-три утонувшие женщины, — я уж только молчу, потому что в такую еще впутаешься историю… Да, любят, а ведь за что бы, кажется? лицом нельзя сказать, чтобы очень…

Марья Александровна. Полно, будто вы сами не знаете, что вы хорош.

Собачкин *(усмехается)*. А ведь вообразите, что, еще как был мальчишкой, ни одна, бывало, не пройдет без того, чтобы не ударить пальцем под подбородок и не сказать: «Плутишка, как хорош!»

Марья Александровна *(в сторону)*. Прошу покорно! Ведь вот насчет красоты тоже — ведь моська совершенная, а воображает, что хорош. *(Вслух.)* Ну, так послушайте же, Андрей Кондратьевич, с вашей наружностью можно это сделать. Мой сын влюблен до дурачества и воображает, что она совершенная доброта и невинность. Нельзя ли как-нибудь, знаете, представить ее не в том виде, как-нибудь эдак, что называется, немножко замарать. Если вы, положим, не произведете на нее действия и она не сойдет с ума от вас…

Собачкин. Марья Александровна, сойдет! не спорьте, сойдет! Я голову дам отрубить, если не сойдет. Я вам скажу, Марья Александровна, со мной не такие бывали истории… Вот еще на днях…

Марья Александровна. Ну, как бы то ни было, сойдет или не сойдет, только нужно, чтобы по городу разнеслись слухи, что вы с нею в связи… и чтобы это дошло до моего сына.

Собачкин. До вашего сына?

Марья Александровна. Да, до моего сына.

Собачкин. Да.

Марья Александровна. Что — да?

Собачкин. Ничего, я так сказал «да».

Марья Александровна. Разве вы находите, что это для вас трудно?

Собачкин. О, нет, ничего. Но все эти влюбленные… вы не поверите, какие у них несообразности, неуместные ребячества разные: то пистолеты, то… черт знает что такое…Конечно, я не то, чтобы этим как-нибудь… но знаете, неприлично в хорошем обществе.

Марья Александровна. О! насчет этого будьте покойны. Положитесь на меня, я не допущу его до того.

Собачкин. Впрочем, я так только заметил. Поверьте, Марья Александровна, я для вас, если бы пришлось точно порисковать где жизнью, то с удовольствием, ей богу, с удовольствием… Я так вас люблю, что, признаться сказать, даже совестно, вы подумать можете бог знает что, а это именно одно только глубочайшее уважение. Ах, вот хорошо, что вспомнил! Я попрошу у вас, Марья Александровна, занять мне на самое короткое время тысячонки две. Черт его знает, какая дурацкая память! Одеваясь, все думал, как

бы не позабыть книжку, нарочно положил на стол перед глазами. Что прикажете, все взял, табакерку взял, платок даже лишний взял, а книжка осталась на столе.

Марья Александровна *(в сторону)*. Что с ним делать? Дашь — замотает, а не дашь — распустит по городу такую чепуху, что мне никуды нельзя будет носа показать. И мне нравится, что еще говорит: позабыл книжку! Книжка-то у тебя есть, я знаю, да пуста. А нечего делать, нужно дать. *(Вслух.)* Извольте, Андрей Кондратьевич; обождите только здесь, я вам их сейчас принесу.

Собачкин. Очень хорошо, я посижу здесь.

Марья Александровна *(уходя, в сторону)*. Без денег ничего, мерзавец, не может сделать.

Собачкин *(один)*. Да, эти две тысячи теперь мне и очень пригодятся. Долгов-то я отдавать не буду: и сапожник подождет, и портной подождет, и Анна Ивановна тоже подождет; конечно, раскричится, ну да что ж делать? нельзя же деньги сорить на все, с нее довольно и любви моей, а платье, она врет, у нее есть. А я сделаю вот как: скоро будет гулянье; колясчонка моя хоть и новая, ну да ее всякий уж видел и знает, а есть, говорят, у Иохима, только еще что вышла, последней моды, еще он даже никому не показывает. Если

прибавлю эти две тысячи к моей коляске, так я могу ее и весьма выменять. Так я, знаете, какого задам тогда эфекту! Может быть, на всем гуляньи всего и будет только одна иди две такие коляски. Так обо мне везде заговорят. А между тем нужно подумать об порученьи Марьи Александровны. Мне кажется, благоразумнее всего начать с любовных писем. Написать письмо от имени этой девушки, да и выронить как-нибудь нечаянно при нем или позабыть на столе в его комнате. Конечно, может выйти как-нибудь плохо. Да, впрочем, что ж? надает ведь только тузанов. Тузаны, конечно, больно, да все же ведь не до такой степени, чтобы... Да ведь я могу и удрать, и если что, в спальню Марьи Александровны и прямо под кровать, и пусть-ка он оттуда меня вытащит! Но, главное, как написать письмо? Смерть не люблю писать, то есть, просто, хоть зарежь. Черт его знает, так, кажется, на словах все бы славно изъяснил, а примешься за перо — просто, как будто бы кто-нибудь оплеуху дал, конфузия, конфузия, не подымается рука, да и полно. Разве вот что? у меня есть кое-какие письма, еще недавно ко мне писанные; выбрать, которое получше, подскоблить фамилию, а на место ее написать другую. Что ж, чем же это не хорошо?

право! Пошарить в кармане, может быть, тут же посчастливится найти именно такое, как нужно. *(Вынимает из кармана пучок писем.)* Ну, хоть бы это, например *(читает):* «Я очинь слава богу здарова но за немогаю от боле. Али вы душенька совсем позабыли. Иван Данилович видел вас душиньку в тиатере и то пришли бы успокоили веселостями разговора». Черт возьми! кажется, правописанья нет. Нет, этим, я думаю, не надуешь. *(Продолжает.)* «Я для вас душинька вышила подвязку». Ну, и разносилась с нежностями! Что-то буколического много, Шатобрианом пахнет. А вот, может быть, не будет ли здесь чего-нибудь? *(Развертывает другое и прищуривает глаз, стараясь разобрать.)* «Любезный друг!» Нет, это, однако ж, не любезный друг; что же однако ж? «Нежнейший, дражайший?» Нет, и не дражайший, нет, нет. *(Читает):* «Ме, ме, е… рзавец». Хм! *(Сжимает губы.)* «Если ты, коварный обольститель моей невинности, не отдашь задолженные мною на мелочную лавочку деньги, которые я по неопытности сердечной для тебя, скверная рожа *(последнее слово читает почти сквозь зубы)*… то я тебя в полицию». Черт знает что! Вот уж просто черт знает что! Вот уж именно ничего нет в этом письме. Конечно, обо всем можно сказать, но

можно сказать благопристойно, выраженьями такими, которые бы не оскорбляли человека. Нет, нет, все эти письма, я вижу, как-то не то… совсем не годятся. Нужно поискать чего-нибудь сильного, где виден кипяток, кипяток, что называют. А вот, вот, посмотрим это. *(Читает):* «Жестокий тиран души моей!» А, это что-то хорошее, однако ж. «Тронься сердечной моей участью!» И преблагородно! ей богу, преблагородно! Ведь вот видно воспитанье! Уж по началу видно, кто как себя поведет. Вот как нужно писать! Чувствительно, а между тем и человек не оскорблен. Вот это письмо я ему и подсуну. Далее уж и читать не нужно; только не знаю, как бы выскоблить так, чтобы не было заметно. *(Смотрит на подпись.)* Э, э! вот хорошо, даже имени не выставлено! Прекрасно! Это и подписать. Каково обделалось дельце само собою! А ведь говорят, наружность вздор: ну не будь смазлив, не влюбились бы в тебя, а не влюбившись, не написали бы писем, а не имея писем, не знал бы как взяться за это дело. *(Подходя к зеркалу.)* Еще сегодня как-то опустился, а то ведь иной раз точно даже что-то значительное в лице. Жаль только, что зубы скверные, а то бы совсем был похож на Багратиона. Вот не знаю, как запустить бакенбарды: так ли, чтобы решительно

вокруг было бахромкой, как говорят — сукном обшит, или выбрить все гольем, а под губой завести что-нибудь, а?

Театральный разъезд после представления новой комедии

Сени театра. С одной стороны видны лестницы, ведущие в ложи и галереи; посредине вход в кресла и амфитеатр, с другой стороны — выход. Слышен отдаленный гул рукоплесканий.

Автор пьесы[267] *(выходя).* Я вырвался, как из омута! Вот, наконец, и крики, и рукоплесканья! Весь театр гремит!.. Вот и слава! Боже, как бы забилось назад тому лет семь, восемь мое сердце! как бы встрепенулось все во мне! Но это было давно. Я был тогда молод, дерзномыслен, как юноша. Благ промысл, не давший вкусить мне ранних восторгов и хвал! Теперь… Но разумный холод лет умудрит хоть кого. Узнаешь наконец, что рукоплесканья еще не много значат и готовы служить всему наградой: актер ли постигнет всю тайну души и сердца человека, танцор ли добьется уменья выводить вензеля ногами, фокусник ли — всем им гремит рукоплесканье!

---

[267] Примечания: 267

Само собою разумеется, что автор пьесы лицо идеальное: в нем изображено положение комика в обществе, — комика, избравшего предметом осмеяние злоупотреблений в кругу различных сословий и должностей. (*Прим. Н.В. Гоголя.*)

Голова ли думает, сердце ли чувствует, звучит ли глубина души, работают ли ноги, или руки перевертывают стаканы — все покрывается равными плесками. Нет, не рукоплесканий я бы теперь желал: я бы желал теперь вдруг переселиться в ложи, в галереи, в кресла, в раек, проникнуть всюду, услышать все мненья и впечатленья, пока они еще девственны и свежи, пока еще не покорились толкам и сужденьям знатоков и журналистов, пока каждый под влиянием своего собственного суда. Мне это нужно: я комик. Все другие произведения и роды подлежат суду немногих, один комик подлежит суду всех; над ним всякий зритель уже имеет право, всякого звания человек уже становится судьей его. О, как бы хотел я, чтобы каждый указал мне мои недостатки и пороки! Пусть даже посмеется надо мной, пусть недоброжелательство правит устами его, пристрастье, негодованье, ненависть — все, что угодно, но пусть только произнесутся эти толки. Не может без причины произнестись слово, и везде может зародиться искра правды. Тот, кто решился указать смешные стороны другим, тот должен разумно принять указания слабых и смешных собственных сторон. Попробую, останусь здесь в сенях во все время разъезда. Нельзя,

чтобы не было толков о новой пьесе: человек под влиянием первого впечатления всегда жив и спешит им поделиться с другим. *(Отходит в сторону. Показываются несколько прилично одетых людей; один говорит, обращаясь к другому.)* Выйдем лучше теперь: играться будет незначительный водевиль. *(Оба уходят.)*

Два comme il faut, плотного свойства, сходят с лестницы.

Первый comme il faut. Хорошо, если бы полиция не далеко отогнала мою карету. Как зовут эту молоденькую актрису, ты не знаешь?

Второй comme il faut. Нет, а очень недурна.

Первый comme il faut. Да, недурна; но все чего-то еще нет. Да, рекомендую: новый ресторан: вчера нам подали свежий зеленый горох *(целует концы пальцев)* — прелесть! *(Уходят оба.)*

Бежит офицер, другой удерживает его за руку.

Другой офицер. Да останемся.

Первый офицер. Нет, брат, на водевиль и калачом не заманишь. Знаем мы эти пьесы, которые даются на закуску: лакеи вместо актеров, а женщины — урод на уроде. *(Уходят.)*

Светский человек, щеголевато одетый *(сходя с лестницы)*. Плут портной, претесно сделал мне

панталоны, все время было страх неловко сидеть. За это я намерен еще проволочить его и годика два не заплачу долгов. *(Уходит.)*

Тоже светский человек, поплотнее *(говорит с живостью другому)*. Никогда, никогда, поверь мне, он с тобою не сядет играть. Меньше как по полтораста рублей роберт он не играет. Я знаю это хорошо, потому что шурин мой, Пафнутьев, всякий день с ним играет.

Автор пьесы *(про себя)*. И все еще никто ни слова о комедии.

Чиновник средних лет *(выходя с растопыренными руками)*. Это просто черт знает что такое!.. Этакое!.. этакое!.. Это ни на что не похоже. *(Ушел.)*

Господин, несколько беззаботный насчет литературы *(обращаясь к другому)*. Ведь это, однако ж, кажется, перевод?

Другой. Помилуйте, что за перевод! Действие происходит в России, наши обычаи и чины даже.

Господин беззаботный насчет литературы. Я помню, однако ж, было что-то на французском, не совсем в этом роде. *(Оба уходят.)*

Один из двух зрителей *(тоже выходящих вон)*. Теперь еще ничего нельзя знать. Погоди, что скажут в журналах, тогда и узнаешь.

Две бекеши *(одна другой)*. Ну, как вы? Я бы желал знать ваше мнение о комедии.

Другая бекеша *(делая значительные движения губами)*. Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того… в своем роде… Ну, конечно, кто ж против этого и стоит, чтобы опять не было и… где ж, так сказать… а впрочем… *(Утвердительно сжимая губами.)* Да, да! *(Уходят.)*

Автор *(про себя)*. Ну, эти пока еще не много сказали. Толки, однако же, будут: я вижу, впереди горячо размахивают руками.

Два офицера.

Один. Я еще никогда так не смеялся.

Другой. Я полагаю: отличная комедия.

Первый. Ну, нет, посмотрим еще, что скажут в журналах: нужно подвергнуть суду критики… Смотри, смотри! *(Толкает его под руку.)*

Второй. Что?

Первый *(указывая пальцем на одного из двух идущих по лестнице)*. Литератор!

Второй *(торопливо)*. Который?

Первый. Вот этот. Чш! послушаем, что будут говорить.

Второй. А другой кто с ним?

Первый. Не знаю: неизвестно, какой человек. *(Оба офицера посторанивaются и дают им ме-*

сто.)

Неизвестно какой человек. Я не могу судить относительно литературного достоинства; но мне кажется, есть остроумные заметки. Остро, остро.

Литератор. Помилуйте, что ж тут остроумного? Что за низкий народ выведен, что за тон? Шутки самые плоские; просто даже сально!

Неизвестно какой человек. А, это другое дело. Я и говорю: в отношении литературного достоинства я не могу судить; я только заметил, что пьеса смешна, доставила удовольствие.

Литератор. Да и не смешна. Помилуйте, что ж тут смешного и в чем удовольствие? Сюжет невероятнейший. Всё несообразности; ни завязки, ни действия, ни соображения никакого.

Неизвестно какой человек. Ну, да против этого я и не говорю ничего. В литературном отношении так, в литературном отношении она не смешна; но в отношении, так сказать, со стороны в ней есть…

Литератор. Да что же есть? Помилуйте, и этого даже нет! Ну, что за разговорный язык? Кто говорит этак в высшем обществе? Ну, скажите сами, ну, говорим ли мы с вами, этак?

Неизвестно какой человек. Это правда; это вы очень тонко заметили. Именно, я вот сам про это

думал: в разговоре благородства нет. Все лица, кажется, как будто не могут скрыть низкой природы своей — это правда.

Литератор. Ну, а вы еще хвалите!

Неизвестно какой человек. Кто ж хвалит? я не хвалю. Я сам теперь вижу, что пьеса — вздор. Но ведь вдруг нельзя же этого узнать, я не могу судить в литературном отношении. *(Оба уходят.)*

Еще литератор *(входит в сопровождении слушателей, которым говорит, размахивая руками)*. Поверьте мне, я знаю это дело: отвратительная пьеса, грязная, грязная пьеса! Нет ни одного лица истинного, всё — карикатуры! В натуре нет этого, поверьте мне, нет, я лучше это знаю: я сам литератор. Говорят: живость, наблюдение… да ведь это все вздор, это все приятели, приятели хвалят, все приятели! Я уж слышал, что его чуть не в Фонвизины суют, а пьеса просто недостойна даже быть названа комедиею. Фарс, фарс, да и фарс самый неудачный. Последняя пустейшая комедийка Коцебу в сравнении с нею — Монблан перед Пулковскою горою. Я это им всем докажу, докажу математически, как дважды два. Просто, друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир. У нас всегда приятели захвалят. Вот,

например, и Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Все приятели: кричали, кричали, а потом вслед за ними и вся Россия стала кричать. *(Уходит вместе с слушателями.)*

Оба офицера подаются вперед и занимают их места.

Первый. Это справедливо, это совершенно справедливо: именно, фарс; я это и прежде говорил, глупый фарс, поддержанный приятелями. Признаюсь, на многое даже отвратительно было смотреть.

Второй. Да ведь ты ж говорил, что еще никогда так не смеялся?

Первый. А это опять другое дело. Ты не понимаешь, тебе нужно растолковать. Тут что в этой пьесе? Во-первых, завязки никакой, действия тоже нет, соображенья решительно никакого; всё невероятности, и притом всё карикатуры.

Двое других офицеров позади.

Один *(другому)*. Кто это рассуждает? Кажется, из ваших?

Другой, заглянув сбоку в лицо рассуждавшего, махнул рукой.

Первый. Что, глуп?

Второй. Нет, не то, чтобы. У него есть ум, но сейчас по выходе журнала, а запоздала выходом

книжка — и в голове ничего. — Но, однако ж, пойдем. *(Уходят.)*

Два любителя искусств.

Первый. Я вовсе не из числа тех, которые прибегают только к словам: грязная, отвратительная, дурного тона и тому подобное. Это уже доказанное почти дело, что такие слова большею частью исходят из уст тех, которые сами очень сомнительного тона, толкуют о гостиных и допускаются только в передние. Но не об них речь. Я говорю насчет того, что в пьесе, точно, нет завязки.

Второй. Да, если принимать завязку в том смысле, как ее обыкновенно принимают, то есть в смысле любовной интриги, так ее, точно, нет. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит вглядеться пристально вокруг. Все изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы ни стало, другого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?

Первый. Все это хорошо; но в этом отношении все-таки я не вижу в пьесе завязки.

Второй. Я не буду теперь утверждать, есть ли

в пьесе завязка или нет. Я скажу только, что вообще ищут частной завязки и не хотят видеть общей. Люди простодушно привыкли уже к этим беспрестанным любовникам, без женитьбы которых никак не может окончиться пьеса. Конечно, это завязка, но какая завязка? — точный узелок на уголке платка. Нет, комедия должна вязаться сама собою, всей своей массою, в один большой общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два, — коснуться того, что волнует, более или менее, всех действующих. Тут всякий герой; течение и ход пьесы производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться, как ржавое и не входящее в дело.

Первый. Но все не могут же быть героями; один или два должны управлять другими.

Второй. Совсем не управлять, а разве преобладать. И в машине одни колеса заметней и сильней движутся, их можно только назвать главными; но правит пьесою идея, мысль: без нее нет в ней единства. А завязать может все: самый ужас, страх ожидания, гроза идущего вдали закона…

Первый. Но это выходит уж придавать комедии какое-то значение более всеобщее.

Второй. Да разве не есть это ее прямое и настоящее значение? Уже в самом начале комедия

была общественным, народным созданием. По крайней мере, такою показал ее сам отец ее, Аристофан. После уже она вошла в узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ход, одну и ту же непременную завязку. Зато как слаба эта завязка у самых лучших комиков! как ничтожны эти театральные любовники с их картонной любовью!

Третий *(подходя и ударив слегка его по плечу).* Ты не прав: любовь так же, как и другие чувства, может тоже войти в комедию.

Второй. Я и не говорю, чтобы она не могла войти. Но только и любовь, и все другие чувства, более возвышенные, тогда только произведут высокое впечатление, когда будут развиты во всей глубине. Занявшись ими, неминуемо должно пожертвовать всем прочим. Все то, что составляет именно сторону комедии, тогда уже побледнеет, и значение комедии общественной непременно исчезнет.

Третий. Стало быть, предметом комедии должно быть непременно низкое? Комедия выйдет уже низкий род.

Второй. Для того, кто будет глядеть на слова, а не вникать в смысл, это так. Но разве положительное и отрицательное не может послужить

той же цели? Разве комедия и трагедия не могут выразить ту же высокую мысль? Разве все, до малейшей излучины души подлого и бесчестного человека, не рисует уже образ честного человека? Разве все это накопление низостей, отступлений от законов и справедливости не дает уже ясно знать, чего требует от нас закон, долг и справедливость? В руках искусного врача и холодная и горячая вода лечит с равным успехом одни и те же болезни: в руках таланта все может служить орудием к прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному.

Четвертый *(подходя)*. Что может послужить прекрасному и о чем у вас толки?

Первый. Спор завязался у нас о комедии. Мы все говорим о комедии вообще, а никто еще не сказал ничего о новой комедии. Что вы скажете?

Четвертый. А вот что скажу: виден талант, наблюдение жизни, много смешного, верного, взятого с натуры; но вообще во всей пьесе чего-то нет. Как-то не видишь ни завязки, ни развязки. Странно, что наши комики никак не могут обойтись без правительства. Без него у вас не развяжется ни одна комедия.

Третий. Это правда. А впрочем, с другой стороны, это очень естественно. Мы все принадлежим

правительству, все почти служим; интересы всех нас более или менее соединены с правительством. Стало быть, не мудрено, что это отражается в созданиях наших писателей.

Четвертый. Так. Ну, и пусть эта связь будет слышна; но смешно то, что пьеса никак не может кончиться без правительства. Оно непременно явится, точно неизбежный рок в трагедиях у древних.

Второй. Ну, видите: стало быть, это уже что-то невольное у наших комиков. Стало быть, это уже составляет какой-то отличительный характер нашей комедии. В груди нашей заключена какая-то тайная вера в правительство. Что ж? тут нет ничего дурного: дай бог, чтобы правительство всегда и везде слышало призванье свое — быть представителем провидения на земле, и чтобы мы веровали в него, как древние веровали в рок, настигавший преступления.

Пятый. Здравствуйте, господа! Я только и слышу слово «правительство». Комедия возбудила крики и толки…

Второй. Поговоримте лучше об этих толках и криках у меня, чем здесь, в театральных сенях. *(Уходят.)*

Несколько почтенных и прилично одетых лю-

дей появляются один за другим.

N 1. Так, так, я вижу: это верно, это есть у нас и случается в иных местах и похуже; но для какой, цели, к чему выводить это? — вот вопрос! Зачем эти представления? Какая польза от них? — вот что разрешите мне! Что мне нужды знать, что в таком-то месте есть плуты? Я просто… я не понимаю надобности таких представлений. *(Уходит.)*

N 2. Нет, это не осмеяние пороков; это отвратительная насмешка над Россиею — вот что. Это значит выставить в дурном виде самое правительство, потому что выставлять дурных чиновников и злоупотребления, которые бывают в разных сословиях, значит выставить самое правительство. Просто даже не следует дозволять таких представлений. *(Уходит.)*

Входят господин А. и господин Б., люди немаловажных чинов.

Господин А. Я насчет этого говорю; напротив, злоупотребленья нам нужно показывать; нужно, чтобы мы видели свои проступки; и я ничуть не разделяю мнений многих, чересчур разгорячившихся патриотов; но только мне кажется, что не слишком ли много здесь чего-то печального…

Господин Б. Я бы очень хотел, чтобы вы услыхали замечание одного очень скромно одетого

человека, который сидел возле меня в креслах… Ах, вот он сам!

Господин А. Кто?

Господин Б. Именно этот очень скромно одетый человек. *(Обращаясь к нему.)* Мы с вами не кончили разговора, которого начало было так для меня интересно.

Очень скромно одетый человек. А я, признаюсь, очень рад продолжать его. Сейчас только я слышал толки, именно: что это все неправда, что это насмешка над правительством, над нашими обычаями, и что это не следует вовсе представлять. Это заставило меня мысленно припомнить и обнять всю пьесу, и признаюсь, выражение комедии показалось мне теперь еще даже замечательней. В ней, как мне кажется, сильней и глубже всего поражено смехом лицемерие, благопристойная маска, под которою является низость и подлость, плут, корчащий рожу благонамеренного человека. Признаюсь, я чувствовал радость, видя, как смешны благонамеренные слова в устах плута и как уморительно смешна стала всем, от кресел до райка, надетая им маска. И после этого есть люди, которые говорят, что не нужно выводить этого на сцену! Я слышал одно замечание, сделанное, как мне показалось,

впрочем, довольно порядочным человеком: «А что скажет народ, когда увидит, что у нас бывают вот какие злоупотребления?»

Господин А. Признаюсь, вы извините меня, но мне самому тоже невольно представился вопрос: а что скажет народ наш, глядя на все это?

Очень скромно одетый человек. Что скажет народ? *(Посторанивается, проходят двое в армяках.)*

Синий армяк *(серому)*. Небось, прыткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа! *(Оба выходят вон.)*

Очень скромно одетый человек. Вот что скажет народ, вы слышали?

Господин А. Что?

Очень скромно одетый человек. Скажет: «Небось, прыткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа!» Слышите ли вы, как верен естественному чутью и чувству человек? Как верен самый простой глаз, если он не отуманен теориями и мыслями, надерганными из книг, а черплет их из самой природы человека! Да разве это не очевидно ясно, что после такого представления народ получит более веры в правительство? Да для него нужны такие представления. Пусть он отделит правительство

от дурных исполнителей правительства. Пусть видит он, что злоупотребления происходят не от правительства, а от непонимающих требований правительства, от нехотящих ответствовать правительству. Пусть он видит, что благородно правительство, что бдит равно над всеми его недремлющее око, что рано или поздно настигнет оно изменивших закону, чести и святому долгу человека, что побледнеют пред ним имеющие нечистую совесть. Да, эти представления ему должно видеть; поверьте, что если и случится ему испытать на себе прижимки и несправедливости, он выйдет утешенный после такого представления с твердой верой в недремлющий высший закон. Мне нравится тоже еще замечание: «народ получит дурное мнение о своих начальниках». То есть они воображают, что народ только здесь, в первый раз, в театре, увидит своих начальников; что если дома какой-нибудь плут-староста сожмет его в лапу, так этого он никак не увидит, а вот как пойдет в театр, так тогда и увидит. Они, право, народ наш считают глупее бревна, — глупым до такой степени, что будто уж он не в силах отличить, который пирог с мясом, а который с кашей. Нет, теперь, мне кажется, даже хорошо то, что не выведен на сцену честный человек.

Самолюбив человек: выстави ему при множестве дурных сторон одну хорошую, он уже гордо выйдет из театра. Нет, хорошо, что выставлены одни только исключенья и пороки, которые колют теперь до того глаза, что не хотят быть их соотечественниками, стыдятся даже сознаться, что это может быть.

Господин А. Но неужели, однако ж, существуют у нас точь-в-точь такие люди?

Очень скромно одетый человек. Позвольте мне сказать вам на это вот что: я не знаю, почему мне всякий раз становится грустно, когда я слышу подобный вопрос. Я могу с вами говорить откровенно: в чертах лиц ваших я вижу что-то такое, что располагает меня к откровенности. Человек прежде всего делает запрос: «Неужели существуют такие люди?» Но когда было видано, чтобы человек сделал такой вопрос: «Неужели я сам чист вовсе от таких пороков?» Никогда, никогда! Да вот что, — я буду с вами говорить прямодушно, — у меня доброе сердце, любви много в моей груди, но если бы вы знали, каких душевных усилий и потрясений мне было нужно, чтобы не впасть во многие порочные наклонности, в которые впадаешь невольно, живя с людьми! И как я могу сказать теперь, что во мне нет сию

же минуту тех самых наклонностей, которым только что посмеялись назад тому десять минут все и над которыми я сам посмеялся?

Господин А. *(после некоторого молчания)*. Признаюсь, над словами вашими призадумаешься. И когда я вспомню, представлю себе, как гордыми сделало нас европейское наше воспитание, вообще как скрыло нас от самих себя, как свысока и с каким презрением глядим мы на тех, которые не получили подобной нам наружной полировки, как всякий из нас ставит себя чуть не святым, а о дурном говорит вечно в третьем лице, — то, признаюсь, невольно становится грустно душе… Но простите мою нескромность, — вы, впрочем, виноваты в ней сами, — позвольте узнать: с кем я имею удовольствие говорить?

Очень скромно одетый человек. А я ни более, ни менее, как один из тех чиновников, в должности которых выведены были лица комедии, и третьего дня только приехал из своего городка.

Господин Б. Я бы этого не мог думать. И неужели вам не кажется после этого обидно жить и служить с такими людьми?

Очень скромно одетый человек. Обидно? А вот что я вам скажу на это: признаюсь, мне приходилось часто терять терпенье. В городке нашем не

все чиновники из честного десятка; часто приходится лезть на стену, чтобы сделать какое-нибудь доброе дело. Уже несколько раз хотел было я бросить службу; но теперь, именно после этого представления, я чувствую свежесть и вместе с тем новую силу продолжать свое поприще. Я утешен уже мыслью, что подлость у нас не остается скрытою или потворствуемой, что там, в виду всех благородных людей, она поражена осмеянием, что есть перо, которое не укоснит обнаружить низкие наши движения, хотя это и не льстит национальной нашей гордости, и что есть благородное правительство, которое дозволит показать это всем, кому следует, в очи; и уже это одно дает мне рвение продолжать мою полезную службу.

Господин А. Позвольте сделать вам одно предложение. Я занимаю государственную должность довольно значительную. Мне нужны истинно благородные и честные помощники. Я вам предлагаю место, где вам будет обширное поле действия, где вы получите несравненно более выгод и будете на виду.

Очень скромно одетый человек. Позвольте мне от всей души и от всего сердца поблагодарить вас за такое предложение и вместе с тем позвольте

отказаться от него. Если я уже чувствую, что полезен своему месту, то благородно ли с моей стороны его бросить? И как я могу оставить его, не будучи уверен твердо, что после меня не сядет какой-нибудь молодец, который начнет делать прижимки. Если же это предложение сделано вами в виде награды, то позвольте сказать вам: я аплодировал автору пьесы наравне с другими, но я не вызывал его. Какая ему награда? Пьеса понравилась — хвали ее, а он — он только выполнил долг свой. У нас, право, до того дошло, что не только по случаю какого-нибудь подвига, но просто, если только иной не нагадит никому, в жизни и на службе, то уже считает себя бог весть каким добродетельным человеком, сердится серьезно, если не замечают и не награждают его. «Помилуйте», говорит, «я целый век честно жил, совсем почти не делал подлостей, — как же мне не дают ни чина, ни ордена?» Нет, по мне кто не в силах быть благородным без поощрения — не верю я его благородству; не сто́ит гроша его мышиное благородство.

Господин А. По крайней мере вы мне не откажете в вашем знакомстве. Простите мою неотвязчивость; вы сами видите, что она есть следствие моего искреннего уважения. Дайте мне

ваш адрес.

Очень скромно одетый человек. Вот вам мой адрес; но будьте уверены, что я не допущу вас им воспользоваться и завтра же поутру явлюсь к вам. Извините меня, я не воспитан в большом свете и не умею говорить… Но встретить такое великодушное внимание в государственном человеке, такое стремление к добру… дай бог, чтобы всякий государь был окружен такими людьми! *(Поспешно уходит.)*

Господин А. *(переворачивая в руках карточку)*. Я смотрю на эту карточку и на эту неизвестную мне фамилию, и как-то полно становится на душе моей. Это в начале грустное впечатление рассеялось само собою. Да хранит тебя бог, наша малознаемая нами Россия! В глуши, в забытом углу твоем, скрывается подобный перл, и, вероятно, он не один. Они, как искры золотой руды, рассыпаны среди грубых и темных ее гранитов. Есть глубоко утешительное чувство в сем явлении, и душа моя осветилась после встречи с этим чиновником, как осветилась его собственная после представления комедии. Прощайте! Благодарю вас, что вы доставили мне эту встречу. *(Уходит.)*

Господин В. *(подходя к господину Б.)*. Кто это был с вами? Кажется, он министр, а?

Господин П. *(подходя с другой стороны)*. Помилуй, братец, ну, что это такое, как же это в самом деле?..

Господин Б. Что?

Господин П. Ну да как же выводить это?

Господин Б. Почему же нет?

Господин П. Ну, да сам посуди ты: ну, как же, право? Все пороки, да пороки; ну, какой пример подаст это зрителям?

Господин Б. Да разве пороки хвалятся? Ведь они же выведены на осмеяние.

Господин П. Ну, да все, брат, как ни говори: уваженье… ведь чрез это теряется уважение к чиновникам и должностям.

Господин Б. Уважение не теряется ни к чиновникам, ни к должностям, а к тем, которые скверно исполняют свои должности.

Господин В. Но позвольте, однако же, заметить: все это некоторым образом есть уже оскорбление, которое более или менее распространяется на всех.

Господин П. Именно. Вот это я сам хотел ему заметить. Это именно оскорбление, которое распространяется. Теперь, например, выведут какого-нибудь титулярного советника, а потом… э… пожалуй выведут… и действительного статского

советника…

Господин Б. Ну, так что ж? Личность только должна быть неприкосновенна; а если я выдумал собственное лицо, и придал ему кое-какие пороки, какие случаются между нами, и дал ему чин, какой мне вздумалось, хоть бы даже и действительного статского советника, и сказал бы, что этот действительный статский советник не таков, как следует: что ж тут такого? Разве не попадается гусь и между действительными статскими советниками?

Господин П. Ну уж, брат, это слишком. Как же может быть гусь действительный статский советник? Ну, пусть еще титулярный… Нет, ты уж слишком.

Господин В. Чем выставлять дурное, зачем же не выставить хорошее, достойное подражания?

Господин Б. Зачем? странный вопрос: «зачем?» Много можно сделать этаких «зачем». Зачем один отец, желая исторгнуть своего сына из беспорядочной жизни, не тратил слов и наставлений, а привел его в лазарет, где предстали пред ним во всем ужасе своем страшные следы беспорядочной жизни? Зачем он это сделал?

Господин В. Но позвольте вам заметить: это уже некоторым образом наши общественные раны,

которые нужно скрывать, а не показывать.

Господин П. Это правда. Я с этим совершенно согласен. У нас дурное нужно скрывать, а не показывать.

Господин Б. Если бы слова эти были сказаны кем другим, а не вами, я бы сказал, что ими водило лицемерие, а не истинная любовь к отечеству. По-вашему, нужно бы только закрыть, залечить как-нибудь снаружи эти, как вы называете, общественные раны, лишь бы только покамест они не были видны, а внутри пусть свирепствует болезнь — до того нет нужды. Нет нужды, что она может взорваться и обнаружиться такими симптомами, когда уже всякое лечение поздно. До того нет нужды. Вы не хотите знать того, что без глубокой сердечной исповеди, без христианского сознания грехов своих, без преувеличенья их в собственных глазах наших не в силах мы возвыситься над ними, не в силах возлететь душой превыше презренного в жизни. Вы не хотите знать этого! Пусть глух остается человек, пусть сонно проходит жизнь свою, пусть не содрогается, пусть не плачет в глубине сердца, пусть низведет до такого усыпленья свою душу, чтобы уже ничто не произвело в ней потрясения! Нет… простите меня! Холодный эгоизм движет устами,

произносящими такие речи, а не святая, чистая любовь к человечеству. *(Уходит.)*

Господин П. *(после некоторого молчания)*. Что ж ты молчишь? Каков? Чего наговорил, а?

Господин В. *(молчит)*.

Господин П. *(продолжая)*. Он может себе говорить, что ему угодно, а ведь все-таки наши, так сказать, раны.

Господин В. *(в сторону)*. Ну, попались ему на язык эти раны! Будет он толковать о них и встречному и поперечному!

Господин П. Этак, пожалуй, и я могу насказать кучу всего, да ведь что ж из этого?.. А вот князь N. Послушай, князь, не уходи!

Князь N. А что?

Господин П. Ну, потолкуем, остановись! Ну, что, как пьеса?

Князь N. Да смешна.

Господин П. Но, однако ж, скажи: как это представлять? на что это похоже…

Князь N. Почему ж не представлять?

Господин П. Ну, да посуди сам, ну, да как же это: вдруг на сцене плут — ведь это всё наши раны.

Князь N. Какие раны?

Господин П. Да, это наши раны, наши, так сказать, общественные раны.

Князь N. *(с досадою).* Возьми их себе! Пусть они будут твои, а не мои раны! Что ты мне их тычешь? Мне пора домой. *(Уходит.)*

Господин П. *(продолжая).* И потом опять, что за чепуху он наговорил здесь? Говорит: действительный статский советник может быть гусь. Ну, еще пусть титулярный, это можно допустить…

Господин В. Однако ж, пойдем, полно толковать; я думаю, все проходящие узнали уже, что ты действительный статский советник. *(В сторону.)* Есть люди, которые имеют искусство все охаять. Твою же мысль, повторивши, они умеют сделать ее так пошлою, что сам краснеешь. Скажешь глупость, она бы, может быть, так и проскользнула незамеченной — нет, отыщется поклонник и приятель, который непременно пустит ее в ход и сделает еще глупее, чем она есть. Даже досадно право: точно в грязь посадил. *(Уходят.)*

Военный и статский выходят вместе.

Статский. Ведь вот вы какие, господа военные! Вы говорите «это нужно выводить на сцену»; вы готовы вдоволь посмеяться над каким-нибудь штатским чиновником; а затронь как-нибудь военных, скажи только, что есть в таком-то полку офицеры, не говоря уже о порочных наклонностях, но просто скажи: есть офицеры дурного

тона, с неприличными ухватками — да вы из-за одного этого готовы с жалобой полезть в самый государственный совет.

Военный. Ну, послушайте, за кого же вы меня считаете? Конечно, есть между нами такие Донкишоты, но поверьте также, что есть много истинно-рассудительных людей, которые будут рады всегда, если будет выведен на всеобщее осмеяние порочащий свое звание. Да и в чем здесь обида? Подавайте, подавайте нам его! Мы всякий день готовы смотреть.

Статский *(в сторону)*. Этак всегда кричит человек: «подавайте! подавайте!» а подашь — так и рассердится. *(Уходят.)*

Две бекеши.

Первая бекеша. У французов тоже, например; но у них все это очень мило. Ну, вот помнишь, во вчерашнем водевиле: раздевается, ложится в постель, схватывает со стола салатник и ставит его под кровать. Оно, конечно, нескромно, но мило. На все это можно смотреть, это не оскорбляет… У меня жена и дети всякий день в театре. А здесь — ну, что это, право? — какой-нибудь мерзавец, мужик, которого я бы в переднюю не пустил, развалится с сапогами, зевает или ковыряет в зубах, — ну, что это, право? на что это похоже?

Другая бекеша. У французов другое дело. Там société, mon cher, У нас это невозможно. У нас ведь сочинители совершенно без всякого образованья: все это большею частью воспитывалось в семинарии. Он и к вину наклонен, он и потаскун. К моему лакею тоже ходил в гости один какой-то сочинитель: где ж ему иметь понятие о хорошем обществе? *(Уходят.)*

Светская дама *(в сопровождении двух мужчин: одного во фраке, другого в мундире)*. Но что за люди, что за лица выведены! хотя бы один привлек… Ну, отчего не пишут у нас так, как французы пишут, например как Дюма и другие? Я не требую образцов добродетели; выведите мне женщину, которая бы заблуждалась, которая бы даже изменила мужу, предалась, положим, самой порочной и непозволенной любви; но представьте это увлекательно, так, чтобы я побуждена была к ней участьем, чтобы я полюбила ее… А ведь здесь все лица — один отвратительней другого.

Мужчина в мундире. Да, тривиально, тривиально.

Светская дама. Скажите: отчего у нас в России все еще так тривиально?

Мужчина во фраке. Душа моя, после расскажешь, отчего тривиально: кричат нашу карету.

(Уходят.)

Входят трое мужчин вместе.

Первый. Почему ж не посмеяться? смеяться можно; но что за предмет для насмешки — злоупотребления и пороки? Какая здесь насмешка!

Второй. Так над чем же смеяться? Разве над добродетелями, над достоинствами человека?

Первый. Нет; да это не предмет для комедии, мой милый! Это уже некоторым образом касается правительства. Как будто нет других предметов, о чем можно писать?

Второй. Какие же другие предметы?

Первый. Ну, да мало ли есть всяких смешных светских случаев? Ну, положим, например, я отправился на гулянье на Аптекарский остров, а кучер меня вдруг завез там на Выборгскую или к Смольному монастырю. Мало ли есть всяких смешных сцеплений?

Второй. То есть вы хотите отнять у комедии всякое сурьезное значение. Но зачем же издавать непременный закон? Комедий в том именно вкусе, в каком вы желаете, есть множество. Почему же не допустить существования двух, трех таких, какова была игранная теперь? Если же вам нравятся те, о которых вы говорите, поезжайте только в театр: там всякий день вы увидите пье-

су, где один спрятался под стул, а другой вытащил его оттуда за ногу.

Третий. Ну, нет, послушайте: это не то. Всему есть свои границы. Есть вещи, над которыми, так сказать, не следует смеяться, которые в некотором роде уже святыня.

Второй *(про себя, с горькой усмешкой)*. Так всегда на свете: посмейся над истинно-благородным, над тем, что составляет высокую святыню души, никто не станет заступником; посмейся же над порочным, подлым и низким — все закричат: «он смеется над святыней».

Первый. Ну, вот, видите ли, вы, я вижу, теперь убеждены: не говорите ни слова. Поверьте, нельзя не быть убеждену: это истина. Я сам человек беспристрастный, и говорю не то, чтобы… но, просто, это не авторское дело, это не предмет для комедии. *(Уходят.)*

Второй *(про себя)*. Признаюсь, я бы ни за что не захотел быть на месте автора. Прошу угодить! Избери маловажные светские случаи, все будут говорить: «Он пишет вздор, никакой нет глубокой нравственной цели»; избери предмет, сколько-нибудь имеющий сурьезную нравственную цель — будут говорить: «Не его дело, пиши пустяки!» *(Уходит.)*

Молодая дама большого света в сопровождении мужа.

Муж. Карета наша не должна быть далеко, мы можем скоро уехать.

Господин N. *(подходя к даме)*. Что вижу! Вы приехали смотреть русскую пьесу!

Молодая дама. Что ж тут такого? разве я уже ничуть не патриотка?

Господин N. Ну, если так, то вы не очень насытили патриотизм свой. Вы, верно, браните пьесу?

Молодая дама. Совсем нет. Я нахожу, что многое очень верно: я смеялась от души.

Господин N. Отчего ж вы смеялись? Оттого ли, что любите посмеяться над всем, что русское?

Молодая дама. Оттого, что просто было смешно. Оттого, что выведена была наружу та подлость, низость, которая в какое бы платье ни нарядилась, хотя бы она была и не в уездном городке, а здесь, вокруг нас, — она была бы такая же подлость или низость: вот отчего смеялась.

Господин N. Мне говорила сейчас одна очень умная дама, что она тоже смеялась, но что при всем том пьеса произвела на нее грустное впечатление.

Молодая дама. Я не хочу знать, что чувствовала ваша умная дама; но у меня не так чувствитель-

ны нервы, и я всегда рада смеяться над тем, что внутренно смешно. Я знаю, что есть иные из нас, которые от души готовы посмеяться над кривым носом человека и не имеют духа посмеяться над кривою душою человека.

Вдали показывается тоже молодая дама с мужем.

Господин N. А, вот идет ваша приятельница. Я бы желал знать ее мнение о комедии. *(Обе дамы подают друг другу руку.)*

Первая дама. Я видела издали, как ты смеялась.

Вторая дама. Да кто же не смеялся? все смеялись.

Господин N. А не чувствовали вы никакого грустного чувства?

Вторая дама. Признаюсь, мне было, точно, грустно. Я знаю, все это очень верно; я сама тоже видела много подобного, но при всем том мне было тяжело.

Господин N. Стало быть, комедия вам не понравилась?

Вторая дама. Ну, послушайте, кто ж это говорит? Я вам говорю уже, что я смеялась от всей души, и больше даже, нежели все другие; я думаю, меня приняли даже за безумную… Но мне

было грустно оттого, что хотелось бы отдохнуть хоть на одном добром лице. Эго излишество и множество низкого…

Господин N. Говорите, говорите!

Вторая дама. Послушайте, посоветуйте автору, чтобы он вывел хоть одного честного человека. Скажите ему, что об этом его просят, что это будет, право, хорошо.

Муж первой дамы. А вот же этого именно и не советуйте. Дамам хочется непременно рыцаря, чтобы он тут же твердил им за всяким словом о благородстве, хотя бы самым пошлым слогом.

Вторая дама. Совсем нет. Как вы мало знаете нас! Вот вам-то принадлежит это! Вы именно любите только одни слова и толки о благородстве. Я слышала суждение одного из вас: один толстяк кричал так, что, я думаю, всех заставил на себя обратиться, — что это клевета, что подобных низостей и подлостей у нас никогда не делается. А кто говорил? — Самый низкий и подлый человек, который готов продать свою душу, совесть и все, что хотите. Я не хочу только, назвать его по имени.

Господин N. Ну, скажите же, кто это был?

Вторая дама. Зачем вам знать? Да не он один; я слышала беспрестанно, как около нас кричали:

«Это отвратительная насмешка над Россией, насмешка над правительством! Да как это позволить? Да что скажет народ?» А отчего они кричали? Оттого ли, что в самом деле думали и чувствовали это? — Извините. Оттого, чтобы произвести шум, чтобы запретили пьесу, потому что в ней, может быть, отыскали кое-что похожее на самих себя. Вот ваши настоящие, не театральные рыцари!

Муж первой дамы. О! да у вас уж начинает рождаться маленькая злость!

Вторая дама. Злость, именно злость. Да, я зла, очень зла. И нельзя не быть злою, видя, как подлость является под всякими личинами.

Муж первой дамы. Ну, да: вам бы хотелось, чтобы сейчас выскочил рыцарь, прыгнул через какую-нибудь пропасть, сломил бы себе шею…

Вторая дама. Извините.

Муж первой дамы. Натурально: женщине что нужно? — Ей непременно нужно, чтобы в жизни был роман.

Вторая дама. Нет, нет, нет! Двести раз готова говорить: нет! Это пошлая, старая мысль, которую вы нам навязываете беспрестанно. У женщины больше истинного великодушия, чем у мужчины. Женщина не может, женщина не в силах сделать,

тех подлостей и гадостей, какие делаете вы. Женщина не может там лицемерить, где лицемерите вы, не может смотреть сквозь пальцы на те низости, на которые вы смотрите. В ней есть довольно благородства для того, чтобы сказать все это, не осматриваясь по сторонам, понравится ли это кому-либо, или нет, — потому что нужно говорить. Что подло, то подло, как вы ни скрывайте его и какой ни давайте вид. Это подло, подло!

Муж первой дамы. Да вы, я вижу, рассердились во всех отношениях.

Вторая дама. Потому что я откровенна и не могу вынести, когда говорят неправду.

Муж первой дамы. Ну, не сердитесь же, дайте мне вашу ручку! Я пошутил.

Вторая дама. Вот вам рука моя, я не сержусь. *(Обращаясь к г-ну N.)* Послушайте, посоветуйте автору, чтобы он вывел в комедии благородного и честного человека.

Господин N. Да как же это сделать? Ну, если он выведет честного человека, а этот честный человек будет похож на театрального рыцаря?

Вторая дама. Нет, если он сильно и глубоко чувствует, то герой его не будет театральным рыцарем.

Господин N. Да ведь, я думаю, это не так легко

сделать.

Вторая дама. Просто, скажите лучше, что у автора вашего нет глубоких и сильных движений сердечных.

Господин N. Отчего ж так?

Вторая дама. Ну, да уж кто беспрестанно и вечно смеется, тот не может иметь слишком высоких чувств: ему не может быть знакомо то, что чувствует одно только нежное сердце.

Господин N. Вот хорошо! Стало быть, по-вашему, автор не должен быть благородный человек?

Вторая дама. Ну, вот видите, вы сейчас перетолковываете в другую сторону. Я не говорю ни слова о том, чтобы у комика не было благородства и строгого понятия о чести во всем смысле слова. Я говорю только, что он не мог бы… выронить сердечную слезу, любить что-нибудь сильно, всей глубиной души.

Муж второй дамы. Но как же ты можешь сказать это утвердительно?

Вторая дама. Могу, потому что знаю. Все люди, которые смеялись или были насмешниками, все они были самолюбивы, все почти эгоисты; конечно, благородные эгоисты, но все же эгоисты.

Господин N. Стало быть, вы решительно предпочитаете только тот род сочинений, где действуют

одни высокие движения человека?

Вторая дама. О, конечно! Я их всегда поставлю выше, и, признаюсь, я больше имею душевной веры к такому автору.

Муж первой дамы *(обращаясь к господину N)*. Ну, разве ты не видишь — выходит опять то же? Это женский вкус. Для них самая пошлая трагедия выше самой лучшей комедии, уж потому только, что она трагедия…

Вторая дама. Молчите, я опять буду зла. *(Обращаясь к господину N.)* Ну, скажите, не правду ли я сказала: ведь у комика душа непременно должна быть холодная?

Муж второй дамы. Или горячая, потому что раздражительность характера возбуждает тоже к насмешкам и сатирам.

Вторая дама. Ну, или раздражительная. Но что же это значит? — Это значит, что причиною таких произведений все же была желчь, ожесточение, негодование, может быть, и справедливое во всех отношениях. Но нет того, что бы показывало, что это порождено высокой любовью к человечеству… словом, любовью. Не правда ли?

Господин N. Это правда.

Вторая дама. Ну, скажите: похож автор комедии на этот портрет?

Господин N. Как вам сказать? Я не знаю так коротко его, чтобы мог судить о душе его. Но, соображая все, что я о нем слышал, он, точно, должен быть или эгоист, или очень раздражительный человек.

Вторая дама. Ну, видите ли, я это хорошо знала.

Первая дама. Не знаю почему, но мне бы не хотелось, чтобы он был эгоистом.

Муж первой дамы. А вот идет наш лакей, стало быть, карета готова. Прощайте. *(Пожимая руку второй дамы.)* Вы к нам, не правда ли? Чай пьем у нас?

Первая дама *(уходя)*. Пожалуйста!

Вторая дама. Непременно.

Муж второй дамы. Кажется, наша карета тоже готова. *(Уходят за ними.)*

Выходят двое зрителей.

Первый. Вот что растолкуйте мне: отчего, разбирая порознь всякое действие, лицо и характер, видишь: все это правда, живо, взято с натуры, а вместе кажется уже чем-то громадным, преувеличенным, карикатурным, так что, выходя из театра, невольно спрашиваешь: неужели существуют такие люди? А между тем ведь они не то, чтобы злодеи.

Второй. Ничуть, они вовсе не злодеи. Они именно то, что говорит пословица: «Не душой худ, а просто плут».

Первый. И потом еще одно: это громадное накопление, это излишество — не есть ли уже недостаток комедии? Скажите мне, где есть такое общество, которое бы состояло все из таких людей, чтобы не было если не половины, то, по крайней мере, некоторой части порядочных людей? Если комедия должна быть картиной и зеркалом общественной нашей жизни, то она должна отразить ее во всей верности.

Второй. Во-первых, по моему мнению, эта комедия вовсе не картина, а скорее фронтиспис. Вы видите — и сцена, и место действия идеальные. Иначе автор не сделал бы очевидных погрешностей и анахронизмов, не вставил бы даже иным лицам тех речей, которые, по свойству своему и по месту, занимаемому лицами, не принадлежат им. Только первая раздражительность приняла за личность то, в чем нет и тени личности и что принадлежит более или менее личности всех людей. Это — сборное место: отвсюду, из разных уголков России, стеклись сюда исключения из правды, заблуждения и злоупотребления, чтобы послужить одной идее — произвести в зрителе

яркое, благородное отвращение от многого кое-чего низкого. Впечатление еще сильней оттого, что никто из приведенных лиц не утратил своего человеческого образа: человеческое слышится везде. Оттого еще глубже сердечное содрогание. И смеясь, зритель невольно оборачивается назад, как бы чувствуя, что близко от него то, над чем он посмеялся, и что ежеминутно должен он стоять на, страже, чтобы не ворвалось оно в его собственную душу. Я думаю, забавней всего слышать автору, упреки: «зачем лица и герои его не привлекательны», тогда как он употребил все, чтобы оттолкнуть от них. Да если бы хотя одно лицо честное было помещено в комедию, и помещено со всей увлекательностью, то уже все до одного перешли бы на сторону этого честного лица и позабыли бы вовсе о тех, которые так испугали их теперь. Эти образы, может быть, не мерещились бы беспрестанно, как живые, по окончании представления; зритель не унес бы грустного чувства и не говорил бы: «Неужели существуют такие люди?»

Первый. Да. Ну, это, однако же, не вдруг поймут.

Второй. Весьма естественно. Смысл внутренний всегда постигается после. И чем живее, чем

ярче те образы, в которые он облекся и на которые раздробился, тем более останавливается всеобщее внимание на образах. Только сложивши их вместе, получишь итог и смысл создания. Но разбирать и складывать такие буквы быстро, читать по верхам и вдруг — не всякий может; а до тех пор долго будут видеть одни буквы. И вы — увидите, вот я вам говорю это вперед: прежде всего рассердится всякий уездный городишка в России и будет утверждать, что это злая сатира, пошлая, низкая выдумка, направленная именно на него. *(Уходят.)*

Один чиновник. Это пошлая, низкая выдумка; это сатира, пасквиль!

Другой чиновник. Теперь, значит, уж ничего не осталось. Законов не нужно, служить не нужно. Вицмундир, вот который на мне, — его, значит, нужно бросить: он уж теперь тряпка.

Бегут двое молодых людей.

Один. Ну, все рассердились. Я уж столько наслышался толков, что могу, взглянувши, угадать, что каждый думает о пьесе.

Другой. Ну, что думает вот этот?

Первый. Вот тот, который надевает шинель в рукава?

Другой. Да.

Первый. Вот что он думает: «За такую комедию тебя бы в Нерчинск!..» Однако ж, тронулось, кажется, верхнее население; водевиль, как видно, кончился. Сейчас нахлынут разночинцы. Уйдем! *(Оба уходят.)*

Шум увеличивается; по всем лестницам раздается беготня. Бегут армяки, полушубки, чепцы, немецкие долгополые кафтаны купцов. Треугольные шляпы и султаны, шинели всех родов: фризовые, военные, подержанные и щегольские — с бобрами. Толпа сталкивает господина, надевающего в рукав шинель; господин посторанивается и продолжает надевать ее в стороне. Показываются в толпе господа и чиновники всех родов и сортов. Лакеи в ливреях прочищают для барынь дорогу. Слышен бабий крик: «Батюшки, припихнули со всех сторон!»

Молоденький чиновник уклончивого свойства *(подбегая к господину, надевающему шинель)*. Ваше превосходительство, позвольте, я вам подержу!

Господин в шинели. А, здравствуй! Ты здесь? Пришел смотреть?

Молоденький чиновник. Да-с, ваше превосходительство, забавно подмечено.

Господин в шинели. Вздор! ничего нет забав-

ного!

Молоденький чиновник. Это правда, ваше превосходительство: совсем ничего нет.

Господин в шинели. За этакие вещи нужно сечь, а не хвалить.

Молоденький чиновник. Это правда, ваше превосходительство!

Господин в шинели. Вот, пускают молодых людей в театр. Много полезного вынесут! Вот и ты: теперь уж, чай, придешь в канцелярию, прямо грубить станешь?

Молоденький чиновник. Как можно, ваше превосходительство!.. Позвольте, я вам прочищу дорогу вперед! *(Народу, толкая того и другого.)* Эй, вы, посторонитесь, генерал идет! *(Подходя, с необыкновенною учтивостью к двум щегольски одетым.)* Господа, сделайте милость, позвольте пройти генералу!

Хорошо одетые, посторанивaясь и давая дорогу.

Первый. Не знаешь, какой генерал? Должен быть какой-нибудь известный?

Второй. Не знаю, я никогда не видывал его.

Чиновник разговорчивого свойства *(подхватывая сзади)*. Просто, статский советник, по месту только числится в четвертом классе. Каково сча-

стье? В пятнадцать лет службы Владимира, Анну, Станислава, три тысячи рублей жалованья, две тысячи столовых, да от совета, да от комиссии, да еще по департаменту.

Господа хорошо одетые *(один другому)*. Уйдем! *(Уходят.)*

Чиновник разговорчивого свойства. Должно быть матушкины сынки. Чай, в иностранной коллегии служат. Я не люблю комедий; на мой вкус больше нравятся трагедии. *(Уходит.)*

Голос из толпы. Эк народу навалило!

Офицер *(пробираясь с дамой под руку)*. Эй, вы, бороды, что напираете? Разве не видишь — дама?

Купец *(с дамой под руку)*. У самих, батюшка, дама.

Голос из толпы. Вот она поворотилась, видишь, видишь? Еще теперь подурнела, но года три тому назад…

Разные голоса. Да три гривны, слышь ты, взял с него сдачи. — Подлая, скверная пьеса! — Забавная пьеска! — Ты что лезешь в самое горло?

Голос в одном конце толпы. Все это вздор! Где могло случиться такое происшествие? Этакое происшествие могло только разве случиться на Чукотском острове.

Голос в другом конце. Ну, вот точь-в-точь этакое событие было в нашем городке. Я подозревал, что автор если не был сам там, то, вероятно, слышал.

Голос купца. Оно, вот изволите видеть, оно здесь больше, так сказать, с маральной стороны. Конечно, бывают, так сказать, всякие-с. Да ведь и то извольте посудить, что и честный человек, случаем придется… А насчет маральности, так и за дворянами это водится.

Голос господина поощрительного свойства. Должен быть бестия, пройдоха сочинитель: все изведал, все знает!

Голос сердитого чиновника, но, как видно, опытного. Что он знает? — черта он знает. И врет он, врет: все это, что ни написал он, все — враки. И взятки не так берут, если уж пошло на то…

Голос другого чиновника из толпы. Да что вы говорите: «смешно, смешно!» знаете ли, отчего смешно? Ведь это все личности. Ведь это все он вывел своих бабушек да тетушек. Вот отчего это смешно.

Неизвестный голос. Стой, украли платок!

Два офицера, узнавшие друг друга, переговариваются через толпу.

Первый. Мишель, ты туда?

Второй. Туда.

Первый. Ну, и я там.

Чиновник важной наружности. Я бы все запретил. Ничего не нужно печатать. Просвещеньем пользуйся, читай, а не пиши. Книг уж довольно написано, больше не нужно.

Голос в народе. Что ж, коли подлец, то и подлец. Не будь подлецом, то и не будут над тобой смеяться.

Красивый и плотный господин *(говорит с жаром невзрачному и низенькому)*. Нравственность, нравственность страждет, вот что главное!

Господин низенький и невзрачный, но ядовитого свойства. Да ведь нравственность — вещь относительная.

Красивый и плотный господин. Что вы разумеете под именем «относительная»?

Невзрачный, но ядовитого свойства господин. То, что нравственность всякий меряет относительно к себе. Один называет нравственностью сниманье ему шляпы на улице; другой называет нравственностью смотренье сквозь пальцы на то, как он ворует; третий называет нравственностью услуги, оказываемые его любовнице. Ведь, обыкновенно, как говорит всякий из нашей братии своим подчиненным? — Свысока говорит: «Милостивый государь, старайтесь исполнить свой

долг относительно бога, государя, отечества», а ты, мол, уж там себе разумей относительно чего. Впрочем, это так только в провинциях водится; в столицах этого не бывает, не правда ли? Тут если и явится у кого-нибудь в три года два дома, так ведь это отчего? Всё от честности, не так ли?

Красивый и плотный господин *(в сторону)*. Скверен как черт, а язык как у змеи.

Невзрачный, но ядовитого свойства господин *(толкая под руку вовсе незнакомого ему человека, говорит ему, кивая на красивого господина)*. Четыре дома в одной улице; все рядом один возле другого, в шесть лет выросли! Каково действует честность на прозябательную силу, а?

Незнакомец *(уходя поспешно)*. Извините, я не дослышал.

Невзрачный, но ядовитого свойства человек *(толкая под руку незнакомого соседа)*. Глухота-то как нынче распространилась в городе, а? Вот что значит нездоровый и сырой климат!

Незнакомый сосед. Да вот и грипп тоже. У меня все дети переболели.

Невзрачный, но ядовитого свойства человек. Да, и грипп, и глухота; свинка тоже в горле. *(Пропадает в толпе.)*

Разговор в группе на стороне.

Первый. А говорят, что подобное происшествие случилось с самим автором: он в каком-то городке сидел в тюрьме за долги.

Господин с другой стороны группы *(подхватывая речь)*. Нет, это не в тюрьме, это было на башне. Это видели те, которые проезжали. Говорят, это было что-то необыкновенное. Вообразите: поэт на высочайшей башне, вокруг го́ры, местоположение восхитительное, и он оттуда читает стихи. Не правда ли, что здесь является какая-то особенная черта писателя?

Господин положительного свойства. Автор должен быть умный человек.

Господин отрицательного свойства. Ничуть не умный. Я знаю, он служил, его чуть не выгнали из службы: просьбы не умел написать.

Простой враль. Бойкая, бойкая голова! Ему места долго не давали, так что ж вы думаете? Он прямо написал письмо к министру. Да ведь как написал! Квинтильяновским манером. Одно уж то, как начал: «милостивый государь!» А потом и пошел, и пошел, и пошел… страниц восемь отвалял кругом. Министр, как прочитал: «Ну», говорит, «благодарю, благодарю! Я вижу, у тебя много врагов. Будь начальник отделения!» И прямо из писцов махнул он в начальники от-

деления.

Господин добродушного свойства *(обращаясь к другому человеку хладнокровного свойства)*. Черт его знает, кому и верить! И в тюрьме сидел, и на башню лазил! И выгнали из службы, и место дали!

Господин хладнокровного свойства. Да ведь это все говорится экспромптом.

Господин добродушного свойства. Как экспромптом?

Господин хладнокровный. Так. Ведь они еще за две минуты не знают сами, что услышат от себя. Язык у них без ведома хозяина вдруг брякнет новость, а хозяин и рад — возвращается домой, как будто бы наелся. А на другой день он уж и позабыл о том, что сам выдумал. Ему кажется, что он услышал от других, — и пошел передавать ее по городу всем.

Господин добродушный. Это, однако же, бессовестно: лгать и не чувствовать самому.

Господин хладнокровный. Да есть и чувствительные. Есть такие, которые чувствуют, что лгут, но считают уже надобностью для разговора: красно поле рожью, а речь ложью.

Дама среднего света. Но только какой злой насмешник должен быть этот автор! Я, признаюсь,

ни за что бы не хотела попасться ему на глаза: этак он вдруг заметит во мне смешное.

Господин с весом. Я не знаю, что это за человек. Это, это, это… Для этого человека нет ничего священного; сегодня он скажет: такой-то советник не хорош, а завтра скажет, что и Бога нет. Ведь тут всего только один шаг.

Второй господин. Осмеять! Да ведь со смехом шутить нельзя. Это значит разрушить всякое уважение — вот что это значит. Да ведь меня после всего этого всякий прибьет на улице, скажет: «Да ведь над вами смеются; а на тебе такой же чин, так вот тебе затрещина!» Ведь это вот что значит.

Третий господин. Еще бы! Это сурьезная вещь! Говорят: «Безделушка, пустяки, театральное представление». Нет, это не простые безделушки; на это обратить нужно строгое внимание. За этакие вещи и в Сибирь посылают. Да если бы я имел власть, у меня бы автор не пикнул. Я бы его в такое место засадил, что он бы и света божьего невзвидел.

Появляется группа людей, Бог весть какого свойства, впрочем, благородной наружности и прилично одетых.

Первый. Постоимте лучше здесь, покамест

выйдет толпа. Ну, что это, право! Затевать шум, рукоплесканье, как будто бы бог знает что! Безделка, какая-нибудь пустая театральная пьеса и подымать такую тревогу, кричать, вызывать автора — ну, что это такое!

Второй. Однако ж, пьеса повеселила, развлекла.

Первый. Ну, да, повеселила, как обыкновенно веселит всякая безделка. Но зачем же из этого такие крики, толки? Рассуждают, как будто о какой-нибудь важной вещи, аплодируют… Ну, что это такое! Ну, я понимаю, если бы какая-нибудь певица или танцовщица — ну, там я понимаю: там удивляешься искусству, гибкости, проворству, природному таланту. Ну, а здесь что? Кричат: «Литератор! литератор! писатель!» Да что такое писатель? Что иной раз попадется остроумное словцо, да спишет кое-что с натуры… Да что же здесь за труд? Что ж тут такого? Ведь это все побасенки — и больше ничего.

Второй. Да, конечно, вещь неважная.

Первый. Рассудите: ну, танцор, например: там все-таки искусство, уж этого никак не сделаешь, что он делает. Ну, захоти я, например: да у меня, просто, ноги не подымутся. Ну, сделай я антраша — не сделаю ни за что. А ведь писать можно

не учившись. Я не знаю, кто такой автор, но мне сказывали, что он невежа совершенный, ничего не знает: его откуда-то, кажется, выгнали.

Второй. Но, однако ж, все-таки что-нибудь он должен знать: без этого нельзя писать.

Первый. Да помилуйте, что ж он может знать? Вы сами знаете, что такое литератор: пустейший человек! Это всему свету известно — ни на какое дело не годится. Уж их пробовали употреблять, да бросили. Ну, посудите сами, ну, что такое они пишут? Ведь это все пустяки, побасенки! Захоти, я сей же час это напишу, и вы напишете, и он напишет, и всякий напишет.

Второй. Да, конечно, почему ж и не написать. Будь только капля ума в голове, так уж и можно.

Первый. Да и ума не нужно. Зачем тут ум? Ведь это все побасенки. Ну, если бы еще была, положим, какая-нибудь ученая наука, какой-нибудь предмет, которого еще не знаешь, а ведь это что такое? Ведь это всякий мужик знает. Это всякий день увидишь на улице. Садись только у окна, да записывай все, что ни делается, — вот и вся штука!

Третий. Это правда. Как додумаешь, право, на какой вздор употребляют время!

Первый. Именно, трата времени — больше

ничего. Побасенки, пустяки! Просто бы нужно запретить давать им перо и чернила в руки. Однако ж, народ выходит, пойдемте! Подымать шум, кричать, поощрять! а дело, просто, вздор! Побасенки, пустяки! побасенки! *(Уходят. Толпа редеет, бегут кое-какие отставшие.)*

Добродушный чиновник. А все бы, право, ну, что бы хоть одного честного человека выставить! Все плуты, да плуты!

Один из народа. Слышь, ты, жди меня на перекрестке! Я забегу, возьму рукавицы.

Один из господ *(смотря на часы)*. Однако скоро час. Никогда я так поздно не выходил из театра. *(Уходит.)*

Отставший чиновник. Только время даром пропало! Нет, никогда больше не пойду в театр. *(Уходит. Сени пустеют.)*

Автор пьесы *(выходя)*. Я услышал более, чем предполагал. Какая пестрая куча толков! Счастье комику, который родился среди нации, где общество еще не слилось в одну недвижную массу, где оно не облеклось одной корой старого предрассудка, заключающего мысли всех в одну и ту же форму и мерку, где что человек, то и мненье, где всякий сам создатель своего характера. Какое разнообразие в этих мнениях, и как везде

блеснул этот твердый, ясный русский ум! и в сем благородном стремлении государственного мужа! и в сем высоком самоотверженьи забившегося в глушь чиновника! и в нежной красоте великодушной женской души! и в эстетическом чувстве ценителей! и в простом, верном чутье народа. Как даже в сих недоброжелательных осуждениях много того, что нужно знать комику! Какой живой урок! Да, я удовлетворен. Но отчего же грустно становится моему сердцу? Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был — *смех*. Он был благороден, потому что решился выступить, несмотря на низкое значение, которое дается ему в свете. Он был благороден, потому что решился выступить, несмотря на то, что доставил обидное прозвание комику, — прозвание холодного эгоиста, и заставил даже усомниться в присутствии нежных движений души его. Никто не вступился за этот смех. Я комик, я служил ему честно, и потому должен стать его заступником. Нет, смех значительней и глубже, чем думают, — не тот смех, который порождается временной раздражительностью,

желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлечения и забавы людей; — но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугали бы так человека. Презренное и ничтожное, мимо которого он равнодушно проходит всякий день, не возросло бы пред ним в такой страшной, почти карикатурной силе, и он не вскрикнул бы, содрогаясь: «Неужели есть такие люди?» — тогда как, по собственному сознанию его, бывают хуже люди. Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но, озаренное силою смеха, несет оно уже примирение в душу. И тот, кто бы понес мщение против злобного человека, уже почти мирится с ним, видя осмеянными низкие движения души его. Несправедливы те, которые говорят, что смех не действует на тех, против которых устремлен, и что плут первый посмеется над плутом, выве-

денным на сцену: плут-потомок посмеется, но плут-современник не в силах посмеяться. Он слышит, что уже у всех остался неотразимый образ, что одного низкого движенья с его стороны достаточно, чтобы этот образ пошел ему в вечное прозвище; а насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете. Нет, засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая душа. Но не слышат могучей силы такого смеха: «что смешно, то низко», говорит свет; только тому, что произносится суровым, напряженным голосом, тому только дают названье высокого. Но, Боже! сколько проходит ежедневно людей, для которых нет вовсе высокого в мире! Все, что ни творилось вдохновеньем, для них пустяки и побасенки; создания Шекспира для них побасенки; святые движенья души — для них побасенки. Нет, не оскорбленное мелочное самолюбие писателя заставляет меня сказать это, не потому, что мои незрелые, слабые создания были сейчас названы побасенками, — нет, я вижу свои пороки и вижу, что достоин упреков; но не могла выносить равнодушно душа моя, когда совершеннейшие творения честились именами пустяков и побасенок, когда все светила и звезды мира признавались творцами одних пустяков

и побасенок! Ныла душа моя, когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных, мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей и бесплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на бесчувственных их лицах не вздрагивал даже ни призрак выражения от того, что повергало в небесные слезы глубоко любящую душу, и не коснел язык их произнести свое вечное слово «побасенки!» Побасенки!.. А вон протекли века, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось все, что было, а побасенки живут и повторяются поныне, и внемлют им мудрые цари, глубокие правители, прекрасный старец и полный благородного стремления юноша. Побасенки!.. А вон стонут балконы и перилы театров: все потряслось снизу доверху, превратись в одно чувство, в один миг, в одного человека, все люди встретились, как братья, в одном душевном движеньи, и гремит дружным рукоплесканьем благодарный гимн тому, которого уже пятьсот лет как нет на свете. Слышат ли это в могиле истлевшие его кости? Отзывается ли душа его, терпевшая суровое горе жизни? Побасенки!.. А вон, среди сих же рядов потрясенной толпы, пришел удрученный горем и невыносимой тяжестью жизни, готовый под-

нять отчаянно на себя руки — и брызнули вдруг освежительные слезы из его очей, и вышел он примиренный с жизнью и просит вновь у неба горя и страданий, чтобы только жить и залиться вновь слезами от таких побасенок. Побасенки!.. Но мир задремал бы без таких побасенок, обмелела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души. Побасенки!.. О, да пребудут же вечно святы в потомстве имена благосклонно внимавших таким побасенкам: чудный перст Провидения был неотлучно над главами творцов их. В минуты даже бед и гонений, все, что было благороднейшего в государствах, становилось прежде всего их заступником: венчанный монарх осенял их царским щитом своим с вышины недоступного престола.

Бодрей же в путь! И да не смутится душа от осуждений, но да примет благодарно указанья недостатков, не омрачась даже и тогда, если бы отказали ей в высоких движеньях и в святой любви к человечеству! Мир — как водоворот: движутся в нем вечно мненья и толки, но все перемалывает время: как шелуха, слетают ложные, и, как твердые зерна, остаются недвижные истины. Что признавалось пустым, может явиться потом вооруженное строгим значеньем. В

глубине холодного смеха могут отыскаться и горячие искры вечной могучей любви. И почему знать — может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый возрастает, как исполин, среди бед, — в силу тех же самых законов, кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете!..

<Альфред>
Действие I

Народ толпится на набережной

Один из народа. Ай, что ты так теснишь! Пустите хоть душу на покаянье!

Другой из народа. Да посторонитесь ради бога!

Голос третий. Эх, как продирается! Чего тебе? Ну, море, вода, больше ничего. Что, не видел никогда? Думаешь, так прямо и увидишь короля?

<Туркил>. Ну, теперь, как бог даст, авось будет лучшее время, когда приедет король. Вот не прогонит ли собак-датчан?

— Ты откудова, брат?

Туркил. Из графства Гертинга. Томс Туркил. Сеорл.

— Не знаю.

<Туркил>. Бежал из Колдингама.

— Знаю. Где монахинь сожгли. Ах, страх там какой! Такого нехристиянства и от жидов, что распяли Христа, не было.

Женщина из толпы. А что же там было?

— А вот что. Когда узнали монахини, что уже подступает Ингвар с датчанами, которые, тетка,

такой народ, что не спустят ни одной женщине, будь хоть немного смазлива… дело женское… ну, понимаешь… Так игуменья — вот святая, так точно святая! — уговорила всех монахинь и сама первая изрезала себе все лицо. Да, изуродовала совсем себя. И как увидели эти звери — нет хороших лиц, так его не оставили и пережгли огнем всех монахинь.

Голос. Боже ты мой!

Голос в толпе. Эх, англосаксы…

Другой. Сильный народ проклятый.

— Конечно, нечистая сила.

— Что, как <в> вашем графстве?

— Что в нашем графстве? Вот я другой месяц обедни не слушал.

— Как?

— Все церкви пусты. Епископа со свечой не сыщешь.

— От датчан дурно, а от наших еще хуже. Всякий тан подличает с датчанином, чтоб больше земли притянуть к себе. А если какой-нибудь сеорл, чтоб убежать этой проклятой чужеземной собачьей власти, и поддастся в покровитель<ство> тану, думая, что если платить повинности, то уже лучше своему, чем чужому, — еще хуже: так закабалят его, что и бретон так<ого> рабства не знал.

— Ну, наконец, мы приободримся немного. Теперь у нас, говорят, будет такой король, как и не бывало, — мудрый, как в Писании Давид.

— Отчего ж он не здесь, а за морем?

Другой. А где это за морем?

— В городе в Риме.

— Зачем же там он?

— Там он обучался потому, что умный город, и выучился, говорят, всему-всему, что ни есть на свете.

Другой голос. Какой город, ты сказал?

— Рим.

<Другой голос>. Не знаю.

— Рима не знаешь? Ну, умен ты!

Другой. Да что это Рим? Там, где святейший живет?

— Ну, да, кон<ечно>. Пресвятая дева! Если бы мне довелось побывать когда-нибудь в Риме! Говорят, город больше всей Англии и дома из чистого золота.

Дру<гой голос>. Мне не так Рим, как бы хотелось увидеть папу. Ведь посуди ты: [выше] уж нет никого на свете, как папа, — и епископ и сам король ниже папы. Такой святой, что какие ни есть грехи, то может отпустить.

— Вот слышишь ли кто-то говорит, что видел

папу.

Голос народа на другой стороне. Ты видел папу?

Брифрик (*из толпы*). Видел.

— Где ж ты его видел?

<Брифрик>. В самом Риме.

<Голоса>. Ну, как же? — Что он? — Какой?

Народ сталкивается в ту сторону.

Голоса. Да пустите! — Ну, чего вы лезете? — Не слышали рассказов глупых?

Брифрик. Я расскажу по порядку, как я его видел… Когда тетка моя Маркинда умерла, то оставила мне все<го> только половину hydes земли. Тогда я сказал себе: «Зачем тебе, Брифрик, сын Квикельма, обработывать землю, когда ты можешь оружием добиться чести?» Сказавши это себе, я поехал кораблем к французскому королю. А французский король набирал себе дружину из людей самых сильных, чтобы охраняли его в случае сражения или когда выедет куда, то и они бы выезжали, чтобы, если посмотреть <?>, так хороший вид был. Когда я попросился, меня приняли. Славный народ! Латы лучше не в сто мер наших. Кольчуги такие ж, как и у нас, только не все железные. В одном месте, смотришь, — ряд колец медных, а в другом есть и серебряные. Меч

при каждом, стрел нет, только копья. Топор больше, чем в полпуда — о, куды больше! а железо такое острое<?> — то, что у старого Вульфинга на бердыше, ни к черту не годится!

Вульфинг (*из толпы*). Знай себя!

<Брифрик>. Вот мы отправились с французским королем в Рим, что<б> папе почтение отдать. Город такой, что никак нельзя рассказать. А домы и храмы божии не так, как у нас строятся, что крыши востры, как копье, а вот круглые — совсем как бы натянутый лук, и шпиц<ев> сов<сем> нет. А столпы везде, и так много и резьбы и золота, великолепие такое!.. — так и ослепило глаза. Да, теперь насчет папы скажу. В один вечер пришел товарищ мой, немец Арнуль. Славный воин! Перстней у него и золотых крестов, добытых на войне, куча, и на гитаре так славно играет… «Хочешь, говорит, видеть папу?» — «Ну, хочу». — «Так смотри же, завтра я приду к тебе пораньше. Будет сам папа служить». Пошли мы с Арнулем. Народу на улице — боже ты мой! — больше, чем здесь. Римлянки и римляне в таких нарядах!.. — так и ослепило глаза. Мы протолкались на лучшее место, но и то, если бы я немножко был ниже, то ничего бы не увидел за народом. Прежде всех пошли мальчишки лет десяти со

свечами, в вышитых золотом [платьях], и как вышли они — так и ослепило глаза. А ход-то, весь ход! Ход был выстлан красным сукном. Красным-красным, вот как кровь… Ей богу, такое красное сукно, какого я и не видал. Если бы из это<го> сукна да мне верхнюю мантию, то вот, говорю вам перед всеми, то не только бы свой новый шлем, что с каменьем и позолотою, который вы знаете, но если бы прибавить к этому ту збрую, которую пром<енял?> Кенфус рыжий за гнедого коня, да бердыш и рукавицы старого Вульфинга и еще коня в придачу — ей богу, не жаль бы за эту мантию! Красная-красная, как огонь!..

Голос в народе. Черт знает что! Ты рассказывай об папе, а какая нужда до твоих мантий!

Вульфинг (*из толпы*). Хвастун! Расхвастался!

Брифрик. Сейчас. Вот вслед за ребятами пошли те… как их? Они с одной стороны сдают на епископов, только не епископы, а так, как наши таны или бароны в рясах… Не помню, шепелявое какое-то имя. То эти все таны или епископы, как вышли — так и ослепили глаза. А как показался сам папа, то такой блеск пошел — так и ослепил глаза. На епископах-то, все серебряное, а на папе золотое. Где епископы выступают — там серебряный пол, а где папа — там золотой. Где епископы

стоят — там серебряный пол, а где папа — там золотой…

Голос из толпы. Бровинг! Корабль! Ей-богу, корабль!

Все бросаются, Брифрик первый, и теснятся гуще около набережной.

Голоса в толпе. Да ну, стой, ради бога! — Задави<ли> — Да дайте хоть назад выбраться!

Голос женщины. Ай, ай! Косолапый медведь! Руку выломил! Ой, пропусти! Кто во Христа верует, пропустите!

Брифрик *(оборачиваясь)*. Чего лезешь на плечи? Разве я тебе лошадь верхо<вая>? Где ж король? Где ж корабль? Экая теснота!

Голос в народе. Да нет корабля никакого!

— Кто выдумал, что король едет?

— Да кто же? Ты говорил!

— И не думал.

— Да кто ж сказал, что король?

— Джон Шпинг сказал, что король едет.

— Эй, Шпинг, зачем ты сказал, что король едет?

<Шпинг>. Ей богу, любезный народ, совсем было похоже на корабль.

— Вперед молчи, дурак, если не хочешь сам поплыть.

Старуха *(пролезая вперед)*. Нашли чего толкаться! И куды? Ведь никого нет.

Брифрик. А, Кудред! Откудова, приятель?

<Кудред>. Из дому.

<Брифрик>. Короля видеть пришел?

<Кудред>. И побольше, чем видеть.

<Брифрик>. А что еще?

<Кудред>. Жалобу прямо самому королю.

<Брифрик>. На кого?

<Кудред>. На королевского тана Этельбальда.

<Брифрик>. Ты шутишь, братец?

<Кудред>. Нет, не шучу.

Голоса в народе. Вишь, на Этельбальда жалуется! — Он сошел с ума! — Да он ведь сильнее всех в королевстве! — Войска и богатства у него больше, чем у короля.

Эгберт. Кто несет жалобу на Этельбальда, тот подай мне руку. Хоть ты и простой сеорл, а я тан, но я пожимаю, потому что ты честный человек и англосакс. Я тебе буду помогать.

Брифрик. За что ж жалуешься?

<Кудред>. За что? Этельбальд, хоть и королевских танов всех старше, но подлец и мошенник. Когда датчане ворвались в Вессекс и начали грабить, я прибегнул к нему, свинье. Думал, он богач и столько имеет земли, что зачем ему бы обижать

меня. Я обещался ему, если надобность, первы<м> явиться в его войско и лошадь привести свою и все вооружение мое. А он, мошенник, как только датчане ушли, совсем зачислил меня в свои рабы. За что я должен ему мостить чортовский мост к его замку и на моих двух лошадях, самых благородных, возить фашинник? А теперь, когда я отлучился по надобности в графство Гексгам, он взял мою собственную землю, родительскую землю, которой было у меня больше 2 гидес, и отдал в лен какому <-то>, а мне отдал двенадцать шагов песчанику за кладбищем. — «Вот тебе», говорит, «земля». Да разве я, старый плут, раб твой? Я вольный. Я сеорл. Я, если бы только захотел, прикупил еще два hydes земли, да выстроил церковь и дом, я бы сам был таном. Никто по законам англосакским не может обидеть и закабалить вольного человека. Разве я сделал какое преступление?

<Брифрик>. Да ходил ли ты с жалобою в ваш ширгемот?

<Кудред>. Подлецы все! Держут его сторону.

<Брифрик>. Ну да все-таки, как же порешили?

<Кудред>. Вот на́ тебе бумагу, если ты прочтешь.

<Брифрик>. Что ты! Э, так у вас судьи пишут? Слышь ты, народ, писанная бумага! У нас во всем

ширстве, да и во всем Вессексе ни один шир, ни алдерман не умеют писать. Вишь ты какие каракульки. Тут где-нибудь должно быть ABC… Я уж знаю, меня было начинал учить один церковник.

Туркил *(Вульфингу)*. Я думаю, нет мудренее науки, как письмо.

<Вульфинг?>. Попы все-таки прочтут.

Брифрик *(обращаясь к Киссе)*. Высокородный тан, прочти-ка. Ты, верно, знаешь?

Кисса. Поди прочь! Я тебе не поп.

Гунтинг. Давай, я прочту.

Туркил. Кто он?

Вульфинг. Не знаю.

Голос. Это, видишь, тот, что был школь<ным> учителем. Да теперь датчане разорили школу.

<Гунтинг> *(читает)*. «Да будет ведомо: в Schirgemot Агельмостане, в графстве Герефорт, во время царствования Этельреда, где…»

— А, при покойном короле! Храбрый был король, всю жизнь бился с этими мерзкими<?> датчанами.

<Гунтинг> *(продолжает)*. «…где заседали: Дунстан епископ, Кеолрик алдерман, Варвик — его сын, и Эсквин — сын Пентвина и Туркил косоглазый, как комиссары короля заседали»…

Вульфинг. Слышишь, Туркил? Это ты?

Туркил. Разве я косоглазый?

<Гунтинг> *(продолжает)*: «...в присутствии Брининга шерифа, Ательварда де Фрома, Леофина де Фрома черного, Годрига де Штока и всех танов графства Герефорта, Кудред — сын Эгвинов — представил суду против высо<ко>родного графа и королевского тана в том, что якобы он, Кудред, от него, выс<о>кородного графа Этельбальда...»

(В народе крик и давка.) Пусти, пусти! — Куда теперь сторониться! — Батюшки, батюшки, тресну! Со всех сторон придавили!

Высокий *(болтает вверху руками)*. Чего эти бабы лезут, желал <бы я знать.> <?>.

Брифрик. Чего народ лезет? *(Продирается)*.

— Да взбеленился просто, никого нет. Какой-то дурак опять пронес, что корабль показался.

Кудред *(кричит)*. Бумагу, бумагу, бумагу дай! Экой трус, изорвал...

Кисса. Да кто сказал, что король едет?

<Голоса>. Я не говорил. — Я не говорил. — Опять верно Шпинг.

Шпинг. Нет, высокородный тан, и языком не воротил.

Брифрик. Ей богу, глупый народ! Ну что, хоть бы и в самом деле был корабль.

Вульфинг. А сам, небось, первый полез.

Брифрик. Что ж! Только посмотреть.

Один из народа. Вот таны поехали на лошадях. Это верно встречать короля.

Рыцарь *на лошади.* Дорогу, дорогу! Народ, посторонись!

<Эгберт>. Кому дорогу?

<Рыцарь *на лошади*>. Посторонись, говорят тебе! Дорогу высо<кородному> королевскому тану Этельбальду.

Эгберт. Отнеси ему эту пощечину. *(Бьет его и убегает.)*

Рыцарь *(кричит)*. Мы увидимся, проклятый длиннорукий черт!

<Вульфинг>. Вон поехал граф Эдвиг. Видел?

<Туркил>. Видел. Славное вооружение.

<Вульфинг>. Вон Этельбальд. Гляди, какой около него строй стоит — в толпе рыцарей, как в лесу. Эх, как одеты славно! Какие кирасы, щиты! Ей богу, если б хотели, побили датчан.

Туркил. Отчего ж не хотят?

<Вульфинг>. А так. Сами держат руку неприятелей.

<Туркил>. Ну, вот!

<Вульфинг>. Почему ж не побить? Ведь наших впятеро будет больше, если собрать всех саксо-

нов, а англов-то одних всадников будет на всю дорогу от Лондона до Иорка! А датчан всех-на-всех трех тысяч не будет.

<Туркил>. Э, любезный приятель мой! Как твое имя? Вульфинг?

<Вульфинг>. Вульфинг.

<Туркил>. Так будем приятелями, Вульфинг.

<Вульфинг>. Вот тебе рука моя.

<Туркил>. Не говори этого, любезный Вульфинг. Им помогает нечистая сила, тот самый сатана, о котором читал нам в церкви священник, что искушает людей. Они, брат, и море заговаривают. Вдруг из бурн<ого> сделается тихо, как ребенок, а захотят — начнет выть, как волк. Наши всадники давно бы совладали с ними…

<Вульфинг>. Народ опять затеснился. Да и сами таны махают шапками. Посмотрим, верно, король наконец едет.

Голос в народе. Ну, теперь корабль, так корабль!

Туркил. Опять пошла теснота!

Голо<с>а. Корабль с тремя ветрилами. — Зачем дерешься? — Не лезь вперед!

— Вон и люди, как мухи, стоят на палубе.

— А что ж не видно короля?

— Где ж теперь его увидишь? Людей многое-

множество.

— Вон что-то блеснуло перед солнцем!

— Скоро идет корабль. Видно, что заморской работы! Вон как окошечки блестят. У нас таких кораблей нет.

— Это должен быть, что́ блестит, тан.

— Нет, вот тот больше блестит. Смотри — какой шлем, какое богатое убранство!

<Вульфинг?>. Это все те таны, что поехали за ним в Рим с посольством.

<Туркил?>. Где ж король? Ведь король в короне.

Вульфинг. Да еще не короновался.

<Туркил?>. А, вон снял шляпу… Таны машут… Виват король!..

Весь берег *(кричит)*. Виват, король!.. Здравствуй, король!..

— Вон снова машут… Здравствуй, король!..

Народ. Здравствуй, король!

Всадник *на лошади.* Расступись, народ! *(Машет алеба<рдой>. Народ пятится, прижатые кричат.)*

<Туркил>. Что он так кричит? Кто это?

<Всадник>. Тан из Кенульф, сын Эгальдов. Тан из Медлисекса, славный воин.

Корабль подходит к самому берегу. За столпив-

шимся народом видны только головы.

Альфред *(сходя с корабля)*. Здравствуйте, добрые мои подданные.

<Народ>. Здравствуй, король! Виват!

Король и свита подымаются на лошадях на народ.

Народ. Виват! Виват, король!

Альфред. Благодарю, благодарю вас, мои добрые. Я сам не менее рад видеть вас и мою отцовскую землю Англосаксию.

Эгберт. Слышишь? Англосаксию! Он, верно, не знает, что Мерси и Эст-Англ уже не наши.

Король уезжает. Таны и народ с восклицаниями тянутся за ним.

<Туркил?>. Молодец король — видный, рослый, лучше всех. Как он славно выступал, словно сокол <?> Я думаю, латы его стоят больше, чем твоя жизнь. Пойдем, посмот<рим>.

<Вульфинг?>. Постой! Зачем же итти? Глянь, за ними не угнаться: они на лошадях и во всю рысь поедут в Иорк.

<Туркил?>. Отчего ж не в Лондон?

<Вульфинг?>. Видишь, в Лондоне приготовят все как следует, а когда приготовят, тогда и он поедет.

Эгберт *(возвращаясь)*. Нет, я не хочу быть по-

следним. Я такой же тан. У меня тоже было в услужении 16 танов ситкундменов. Правда, я потерял много в войну. У меня теперь нет этого. Но я защищал землю нашу. Отчего граф Эдвиг, Кенульф, не говоря уж о собаке Этельбальде, молокосос сын его, рыжебородый Киль, — почему они имеют право провожать короля в первом ряду? Отчего я должен следовать еще за двумя танами? Я хотел был<о> сбить с седла копьем плута Киля, да не хотел только сделать этого при короле.

Кисса. Дьявол ему на шею! Я рад, по крайней мере, что король приехал. Датчан опять за море, завоюем опять Эст-Англию, Мерси и Нортумберланд также; хоть и разоренная страна, однако же, есть добрые земли для скота и для пашен.

<Эгберт>. Мне король понравился — добрый молодец? Пойду к нему прямо и суну ему руку по древнему саксонскому обычаю. Скажу: «Король, вот тебе рука! При первой надобности всегда привожу 14 тебе всадников, вооруженных, с добрыми конями, и сам пятнадцатый. А надежный ли человек? Вон, гляди <?>, сколько рубцов у меня». Пойдем, Кисса, выпьем его здоровье. Эй, Кудред! Тебя обидел Этельбальд? Будь завтра в Лондоне, спроси тана Эгберта, тана из графства

Сомерсетского. Меня знают.

Кудред. Ну, теперь, я думаю, король укротит немного танов.

<Вульфинг?>. Да что ж король? Ведь король не может сказать тану: «Отдай такую-то землю, я тебе приказываю». Что скажет витенагемот?

<Кудред?>. Да беспорядков верно будет меньше. Что ни скажет, а все будет лучше. По крайней мере, можно будет по дороге пройти безопасно. Чем живешь, Вульфинг?

<Вульфинг>. Один hydes земли держу от тана.

<Кудред?>. [Платишь хлебом?]

<Вульфинг>. Нет, еще никогда не марал рук своих в земле.

<Кудред?>. Кто ж ты?

<Вульфинг>. Пастух. Шесть десятков овец и три десятка рогатой скотины моей собственной выгоняю на Гельгудскую пажить. Если ты хочешь, пришлец, отдохни у меня. Ты будешь есть сыр и молоко, каких не сыщешь во всем Вессексе. А завтра ранним утром мы отправимся в Лондон смотреть королевский праздник. Гляди, чего народ опять смотрит? Чего вы, храбрые мужи, столпились?

Голос в народе. Корабль, опять корабль!

<Кудред?>. В самом деле корабль! Что ж это?

Верно, тоже королевская свита?

Туркил. Вишь, это уже не такой! Мачта и паруса совсем не так сделаны. Постой, рассмотреть поближе — и народ как будто не так одет.

Один из толпы *(всплескивая руками)*. Саксонцы! Убежим, убежим!..

Кудред. Что такое?

Одна из толпы. Морской король!

<Кудред?>. Нет, что ты!

<Туркил?>. Как христианин, не лгу! Разве вы не видите, что датский корабль!

<Голоса?>. Ай, народ, точно — датчане! — Вон машут, чтобы остались. — Да, как бы не так! — Бежим, друзья!

Все в беспорядке убегают. Корабль виден у берега. Руальд висит на мачте.

Голос Губбо. Перекидай канат.

Руальд *(сверху)*. Кормщик, бери ниже: там мель.

Норманд плывет с канатом в зубах.

<Руальд>. Еще ниже. Еще ниже. А, народ проклятый! Весь разбежался! Теперь прямо. Норманд, хватай крюком!.. Стой!

Губбо (*выходит с корабля*). Ну вот мы и в Англии. Тащите старшую лодку н<а> берег.

Вытаскивают лодку.

Губбо. Что, мои храбрые берсеркеры, дожидаться ли нам Ингвара или теперь налететь и окропить наши доспехи алою, как перед бурей вечерняя заря, кровью саксонцев, а?

<Воины?>. Наши копья готовы.

<Руальд>. Не лучше ли, король мой Губбо, послать проведать узнать о числе неприятеля?

<Губбо>. Это ты, Руальд, говоришь? Тебя, верно, не море пеленало. За эти слова тебя стоит вышвырнуть в море. «Какой храбрый когда спрашивает о числе?» — говорил отец мой Лодб<род>, победивший на 33 сражениях.

<Руальд>. Губбо, сын Лодбродов! Ты меня укоряешь трусостью. Когда же мы вместе с братом Гримуальдом срамили себя перед дружиною? Разве я когда-нибудь в жизни грелся у очага или спал под крышей? Разве платье мое на мачте сушилось, а не на мне?

<Губбо>. Прости, Руальд. Брат твой Гримуальд был славный воин. Мы лишились, други, храброго товарища. Великий Оден! Какая была буря и битва! Ветер оборвал во тьме наши платья и морские брызги пронзали разгоревшиеся лица наши. Клянусь моим мечом и копьем, ничего бы не пожалел за такую участь: завидная участь! Теперь Гримуальд пирует с легионом храбрых.

Сам Оден наливает ему чашу из широкого черепа и говорит ему: «А сколько ты, Гримуальд, получил ран на последней битве?» — «Ран 17 и 4», — отвечает ему Гримуальд. «Сильный воин! Вот тебе, Гримуальд, бессмертные лани с лоснящейся как серебро шерстью. Веселись, храбрый витязь, поражая их далеко достающим копьем». Слушай, Стемид, теперь <не> время, но когда будем пировать на покрытых пылью саксон<ских> трупах и зажжем альбионские дубы, ты спой нам песню о подвиге Гримуальда. Знаешь, какую песню? Такую, чтобы в груди все встрепенулось: отвага, самое бешеное веселье, и руки схватились за рукояти мечей… Но следует теперь сказать вам, мои товарищи, что мы будем делать. Англия земля хорошая: скота, пажитей и земель в ней много. В Нортумберландии и в Мерси, где уже поселились соотечественники наши, жители бедны, но здесь жилища, а более всего церкви, очень богаты, и золота в них много. Каждому достанется на золотую цепь. Мечи у англосаксов славные. Они достают их издалека. Мы можем тут себе выбрать любые мечи и копья и все вооружение. А еще я скажу теперь такое, что больше всего нравится, товарищи, и мне и вам: у англосаксов девы белизною лица, как наши скандинавские

снега, окрапленные алой кровью молодых ланей. Но стойте, товарищи! В Англии воинов, которые станут под мечом и копьем на конях, несметное множество. Только из них Оден никого не примет в Валгал к себе, потому что они презренные христиане. Помните и то, что ныне будут наши соотечественники, и как только нападем с одной стороны, они нападут с другой… Видите ли, как тут хорошо и тепло. В нашей Скандинавии нет это<го>. Тут зимы всего только два месяца.

Руальд. Я себе отвоюю лучший замок во всей Англии. Девять десятков англосакских рабов будет прислуживать мне за чашею пиршества.

— Что, конунг Губбо, правда ли что есть где-то земли еще теплее?

<Губбо>. Есть.

— И что зимы совсем не бывает?

Губбо. Ну, этого нет — чтобы зимы совсем не было. Зима есть. Нужно, одн<ако>, попробовать. Мы с тобою, Элгад <?>, пустимся потом далее. Скучно долго жить на одном месте. Чтобы и там, по ту сторону океана, вспоминали нас в песнях. Клянусь всей моей сбруей, приедешь оттуда на вызолоченном корабле. Красная, как огонь, мантия, и весь будет убран дорогими каменьями шлем. Крыло на нем будет, как вечерняя звезда,

сиять. И как приеду к первой царевне в мире, скажу: «Прекрасная царевна, я, король, пришел, горя любовью к твоим голубым очам. Его рука поразила сто и сто десятков витязей, и пришел король Губбо взять тебя этою самой рукой вместе с приданым, которое приготовил тебе престарелый отец твой».

<Воины>. Виват, король Губбо!

<Губбо>. Виват и вы, товарищи! Теперь идем. Вы два, Авлуг и Ролло, оставайтесь беречь лодки. А мы — никому не спускать и насыщать кровью мечи наши, пока есть…

–

Альфред (*окруженный танами и графами королевства*). Благодарю, благодарю вас, благородные таны, за ваше поздравление. Я надеюсь, что вы окажете с своей стороны мне всякую помощь разогн<ать> варварство и невежество, в котором тяготеет англосакская нация.

Граф Эдвиг. Я всегда готов. 50 вооруженных всадников всякую минуту может требовать государь.

Граф Этельбальд. Рука моя и моих 80 вассалов принадлежат тебе, государь мой.

Сифред. Всякое законное требование государя готов выполнить. 20 конных и 140 пеших стрел-

ков.

Клеобальд. В моей стране лошадей мало, но пеших сколько могу собрать…

<Альфред>. Вы ошибаетесь, друзья. Не этой помощи я требовал от вас, на которую, конечно, имею всегда право. Но я разумел о том благодетельном просвещении, которого нет в Англии. Я вас просил споспешествовать мне научить англосаксов искоренить грубость нравов, которая, как старая кора, пристала к ним.

Таны в безмолвии. Некоторые расставляют руки, рассуждая, что́ это значит.

Эдвиг. Как же, государь, ты говоришь, что англы и саксы грубы? Да ведь они покорили Англию!

<Альфред>. Ну, против этого мне ничего не остается говорить. Этот, кажется, кроме войны и думать ни о чем не хочет. Видел ли ты, Эдвиг, своего сына?

<Эдвиг>. Видел, государь.

<Альфред>. Что ж, как нашел его?

<Эдвиг>. Хорош малый, да чуть ли к чернокнижию не пристрастен и копьем плохо владеет.

<Альфред>. Нет, Эдвиг, ты должен благодарить бога за такого сына. Этот день побудь с ним, а завтра пришли ко мне. Мы с ним были друзья во всю бытность в Риме. Давно не видел я Ан-

глию. Прежнее время свое, как свой сон, помню. Ведь тут должны уцелеть еще остатки римских па<мя>тников. Существует ли та стена, которую выстроил император Константин в Лондоне, и бани близ Иорка, <выстроенные> римлянами?

<Эдвиг?>. Не знаю, государь, о каких ты римлянах говоришь.

<Альфред>. Римляне — народ, который завоевал Англию и которому были подвластны бритты.

<Эдвиг?>. Бритты были, это правда, а римлян, государь, никаких не было.

<Альфред>. Ты не знаешь, потому что не читал. Римляне были народ великий. Они покорили весь мир и в том числе Британь.

<Эдвиг?>. Воля твоя, король, римляне и живут в Риме. Нет, король, эта тебе солгали. У нас есть старики, которые помнят, как покорили саксы народ, которого храбрее еще никого не было. И те говорят, что были одни только бритты.

<Альфред>. Ну, об этом тоже нечего долго толковать. Хороши наши таны! Я, любезные, хочу слышать отчет об нынешнем положении государства и о всех происшествиях, бывших без меня по кончине брата моего Этельреда. Об отдыхе моем не беспокойтесь. Отдохнуть я успею.

Ты, Этельбальд, так как старший в государстве и первый советник в витенагемоте, расскажи мне подробно все.

<Этельбальд>. Все хорошо, государь. Со стороны датчан только худо. Впрочем, дорога от Иорка до Лондона поправлена и была мощена все время. Зверинец твой в исправности. Все королевские твои латы, щиты отцовские и добытые покойным братом твоим Этельредом я сохранил в исправности.

— Врет, старый мед<ведь>! Лучшее копье стянул себе.

<Альфред>. Ты, Этельбальд, говоришь о моем хозяйстве. Это дело пустое. Я просил тебя рассказать — как государство, в каком положении.

Граф Эдвиг. В гадком положении государство. Сеорлы и бретонские рабы ничего <?> не выплачивают. Поля очень опустошены датчанами. Не на что воружить рыцаря. Лошади мерзость.

<Альфред>. Зачем вы позволили датчанам взять Мерси; и Эст-Англию?

— Что ж делать, король. Покойный король, брат твой, храбро сражался, да сильнее перетянула сила… Они знаются с дьяволом, с ними из моря находят морские чудища.

<Альфред>. Брат мой Этельред сражался, как

должно храброму доблестному саксонцу, но вы были виною, непокорность вассалов была причиною.

Сифред. Если б я имел землю в Эст-Англии или Мерси, я бы защитил ее моею рукою и руками моих вассалов, но у меня свои земли есть.

Альфред. Да умели ли вы свои защитить? Отчего по всей дороге, по которой мы ехали, пустые пажити и две развалившиеся церкви? Малолюдный гирд<?> датчан издевался над вами, а вы, хорошо вооруженные христиане, могли вынести это?

— Браво, о король! — Вот король! — Прозорлив, как горный орел!

<Сифред?>. Я никогда не был бесчестным и всегда готов, и если бы граф Мидл<ьсекс?> не поссорился со мною<?>, я бы не впустил датчан, и Вессекс и его бы владения спас.

<Альфред>. И виною вы же, вы, через свои мелкие ссоры. Мне очень не нравится это ваше феодальное обыкновение. Бог знает что такое? Всякий управляет, как ему хочется. Высшему не повинуются, между собою несогласны. В государстве должно быть так, <как> в Римской империи: государь должен повелевать всем по своему усмотрению, как ему захочется.

Одон *(потупляет глаза)*. Гм! Я что-то не вполне понял это. Ведь англосакский всякий тан, вольный и свободный человек, разве возьмет землю, собственность короля…

<Альфред>. Отчего я не вижу здесь ни одного епископа? Один только дряхлый старик и вышел меня встретить.

— Епископ Вессекский убит во время войны с датчанами, а Адельстан из Кента умер.

<Альфред>. И никто не позаботился о том, чтобы избрать на место!

Арвальд. Нет, король, в том нет нам укоризны. Все таны нарочно собрались, но некого было избрать в епископы. Не нашли такого, который мог бы читать святое письмо.

<Альфред>. Будто уже в Англии нет ни одного священника, уме<ющего> читать? Ведь еще отцом Этельваль<дом> заведена была коллегия.

— Коллегии давно уж нет.

<Альфред>. Где же она?

— Сожжена датчанами.

<Альфред>. Опять датчане! Да что это за бич такой, датчане? Или Англия состоит вся из трусов или в самом деле датчане… Что это за человек? Что ты?

<Вестник>. Король!

<Альфред>. Что?

<Вестник>. Датчане ворвались и грабят Лондон.

Король *(в изумлении)*. Как легки на помине!.. Ну, господа таны и графы! Нам приходится сию минуту думать о вооружении. Нечего делать, нужно все отложить в сторону.

— Я готов.

— Все вассалы уже при мне, государь.

— Мое войско всегда со мною.

Этельбальд. Для тебя, государь, все рад принесть.

Арвальд. В одну минуту буду снаряжен. *(Уходит.)*

<Альфред>. Да, шумно начинается мое царствование. Дайте и вы все, благородные таны, клятву: ни пяди земли не уступить датчанам.

<Таны>. Спасителем Иисусом и Девой Марией клянемся!

<Альфред>. Идем и сейчас на коней! Но прежде я хочу обсмотреть войска ваши. Ну, король, яви теперь деятельность души. Вот тебе то поле, которое ты рвался возделать. Много работы предстоит. Страшные перспективы: внести туда пламенник наук и познаний, где их в помине нет, где нет букваря во всем государстве… Подвести

под законы и укротить своевольное неустройство этих беспокойных магнатов государства, глядящих лесным <зверем?>, а вдобавок и на плечах неприятель… Дай, боже, силы!.. *(Уходит.)*

Цеолин. Как мне нравится король!

Эдрик. Ты не знаешь его еще, Цеолин, хорошо. Это бог.

Эдвиг. Что, Кедовалла, у тебя все вооружены?

<Кедовалла>. Все.

<Эдвиг?>. Что король? Ведь, кажется, молодец?

<Кедовалла>. Да, кажется, храбрый. Да что-то так…

<Эдвиг>. Что?

Кедовалла. Мудреный что-то.

Действие II

Альфред, граф Этельбальд, граф Эдвиг, Цеолин, Кедовалла с толпою воинов входят на сцену.

Альфред. Мне еще не верится, чтобы мы были побеждены. Горсть, разбойничья шайка, не более, и перед этой шайкой не могло устоять пятнадцат<ь> [тысяч] всадников и цвет саксонской нации и 90 тысяч пеших! Что скажете вы на это, столпы этой нации, благородные таны?

Граф Эдвиг. Король, распусти нас. Я соберу всех

слуг своего замка, сам выгоню моих вассалов. Пусть каждый сделает то же.

<Альфред>. Граф, ты сед волосом, а даешь такой совет. Нет, благородные таны, все теперь зависит от нас самих и от нашей решимости. Уступим — мы потеряем все, возрастим гордость неприятельскую. Клянусь, мы им дадим и уверенность в их непо<бе>димости, и тогда кто против них? Вы видели, как они неслись в битве. Один шаг назад — и дерзость их возрастет, как Голиаф. Бароны, одно нам средство! Здесь нечего думать. С этими же самыми силами обратить отступление в нападение, покамест не узнала о нашем поражении нация.

<Кедовалла>. Король, ты видел сам, что наша храбрость не заслужила упрека. Я никогда не думал о своей жизни. Но клянусь Пресвятой Матерью, за них стоит демон! Я видел сам, как его темный образ мчался рядом с этим непобедимым Губбо. Мои вассалы в первый раз побледнели от страха. Мои латы, которые окропил епископ два года назад, в первый раз пробиты <?>.

Альфред. Какое черное невежество веет от Кедоваллы! Тебя, я знаю, не уверишь, потому что твоя душа в старой коре. Но, таны, как видно, что недавно приняли христианскую веру и не смыс-

лите ничего в ней! Вы испуга<лись> злого духа! Разве злой дух может устоять против бога? Разве есть что на свете больше христианского бога? Вы видели, с каким криком и острым копьем стремились в наши ряды эти морские люди. А отчего? Потому что призывали поминутно языческого бога их Одена, который — пыль и прах перед Богом христианским. А вы не надеетесь! Какие вы христиане! За вас Христос и Пречистая Дева…

<Таны?>. Король, идем! Ни двух шагов земли датчанам!

Часть народа и всадников. Король, датчане…

<Альфред>. Стой!

<Всадник>….гонятся!

<Альфред>. Все таны ни с места! Далеко датчане?

<Всадник>. По пятам нашим…

<Альфред>. Во имя Святой Марии! не подавайся<?>, как кельданские скалы.

Врывается на сцену дружина датчан. Саксонцы встречают копьями. Начинается сеча.

Губбо. Сыны Одена! не полон будет пир наш, если не сокрушим англо<саксов>.

<Альфред>. Англосаксы! не забывайте — с нами Христос и Мария.

Губбо. Ринальд, Ринальд! тихо гремит твой меч.

Мало искр вышибает твое копье из неприятельских лат.

Ринальд. Нет, король Губбо, кровь от вражеских трупов отуманила твой взгляд.

Альфред. Христиане, крепитесь! Святой Георгий на белом <коне> за нас!

<Губбо>. Оден! рука моя дымится кровью, а Ингвара нет со мною. Ринальд, Ринальд! Зачем избит шлем твой? Не дрожат ли твои перси?

<Ринальд>. Еще станет, король мой Губбо! Вот тебе, собака!.. Сыны Одена доставят черепов на пиршественные чаши.

<Альфред>. За Марию, за Христа, англосаксы!

Губбо. Уста мои запеклись, язык сохнет, а Ингвар мой не летит на помощь!

Ринальд *(падая)*. Оден! Готовь мне место в Валгале!

— Вот тебе, собака датчанин! *(Протыкает ему голову копьем.)*

Альфред. Англосаксы! победа за нами!

Губбо. Отд<ыха> не будет тебе, Альфред, до коих пор меч играет в руках моих.

Альфред. Остановитесь, датчане! Сдавайся, Губбо, и положи твое оружие.

<Губбо>. Никогда! Ты думаешь, что сыны Одена когда-нибудь соглашались быть чьи<ми> бы то

ни было рабами?

<Альфред>. Мне не нужно, Губбо, твоей свободы, я не отнимаю ее. На два слова.

Губбо тотчас останавливается. Обе стороны опускают копья.

<Альфред>. Я готов заключить с тобою <мир> и пощадить *<1 нрзб.>* остаток твоих товарищей с тем, чтобы ты теперь же немедля отправлялся за море, принес клятву, по обычаю своей религии, никогда не являться у берегов Англии. Оружие все при вас остается. Все, что ни имеете на себе, не будет тронуто.

<Губбо>. Король Альфред, я соглашаюсь.

<Альфред>. Итак, храбрый, произнеси клятву.

<Губбо>. Клянусь моим Оденом, моею сбруею, моим вызубренным мечом, что никогда я и вся храбрая моя дружина не будем нападать на твои владения, а когда не выполню моей клятвы, да будем желты, как медь на латах наших! Да обратятся наши копья на нас же самих!

Альфред. Слышите вы все клятву? Губбо, ты свободен. Ступай! Твои ладьи ждут у берегов.

<Губбо>. Пойдем, товарищи. Нам не стыдно глядеть друг на друга. Мы бились храбро. Не сегодня — завтра, не здесь — в другом месте, нанесут наши ладьи гибель неприятелям, носящим золо-

тое убранство…

Отрывки из неизвестной драмы
I

Баскаков. А, забрало, наконец. Какое это непостижимое явление! Подлец последней степени, мошенник, заклейменный печатью позора, для которого одна награда — виселица, и этот человек, попробуй кто-нибудь коснуться его чести, назвать его подлецом: «Как вы смеете, милостивый государь, поносить честь мою? Я требую удовлетворения за вашу обиду. Вы нанесли мне такую обиду, за которую… омыть кровью». Бездельник! И он стоит за честь свою, за честь, которая составлена из бесчестия.

Валуев. Я не в силах более перенесть этого! На этом месте, здесь же мы деремся.

Баскаков. Что? А! *(Становится спиною к дверям.)* Дуэль. Поединок. Неправда. Нет, братец. Этаких подлецов не вызывают на поединок. Для тебя нет этого удовлетворения. Этого для моей чести уже было бы слишком, чтобы я дрался с каторжником, которого ведут в Сибирь. Дуэль? Нет, тебя просто убить, как собаку. Бедное животное, благородное животное, прости, что я унизил сей-

час тебя, сравнивши с этим гнусным творением.

Валуев *(в бешенстве подбегает к окну).* Эй, Никанор! Подай пистолет мне.

Баскаков. Что, тебе хочется пистолета? вон он. Я бы тебя мог сию минуту убить; но дивись моему великодушию; две минуты я даю тебе еще приготовиться. В это время ты можешь еще произнесть к Богу одно такое слово, за которое, может быть, уменьшатся твои муки, когда унесет твою душу ее владелец — дьявол. *(Валуев бросается на него, желая вырвать пистолет. Несколько минут они борются.)*

Валуев. Я вырву таки у тебя его.

Баскаков. Нет, не вырвешь: у честного человека крепче рука, нежели у подлеца. *(Борются еще несколько секунд: наконец, Баскакову удается навести пистолет против груди. Раздается выстрел. Валуев падает. Подымается со всех сторон лай собак. Стучат в двери. Голос в замочную скважину: «Барин, отворите-с».)*

Баскаков. Зачем?

Голос. Кто-то из вас выстрелил из ружья.

Баскаков. Лжешь! Здесь никто не стрелял. Лежит, протянулся; даже не вздохнул, не помолился, ни последней молитвы не молвил на смертном одре своем — смерть, отвечающая его жизни.

Однако ж он жил; он имел такие же права жить, как и я, как и всякий другой. Он был гнусен, но был человек. А человек разве имеет право судить человека? Разве кроме меня нет высшего суда? Разве я был назначен его палачом? Убийство! Честный ли человек он был, подлец ли, но я все-таки убийца… Убийца не имеет права жить на свете. *(Застреливается.)*

Слышен собачий лай. Выламывают двери. Входят станционный смотритель и ямщики.

Станционный смотритель. Вишь, дуэль была.

Ямщик *(рассматривает тела).* Еще этот хрипит, а тот уже давно душу выпустил.

Станционный смотритель. Что же тут долго думать? Возьми-ка, Гришка, гнедого коня да ступай верхом за капитаном-исправником.

Занавес опускается.

II
Действие V

Комната 1-го действия.

Ольгин *(входя).* Боже, как у меня сердце бьется. Я ее опять увижу. *(Входит Петр.)* А, здравствуй, старик! Что, я могу видеть барыню?

Петр. Как об вас прикажете доложить?

Ольгин. Скажи, что управитель, тот самый, который ей рекомендован. *(Петр уходит.)* Как все уединенно. Я едва могу узнать прежнюю комнату. Верно, у ней не принимают никого: даже ворота заперты.

Петр. Барыня просила ее немножко подождать; она скоро выйдет к вам.

Ольгин. Послушай, старик: что, вы всегда живете так, как теперь? отчего у вас заперты ворота? Разве никто не заезжает к вам?

Петр. Вот то-то и есть, сударь, что мы живем бог знает как. Уж, по-моему, иди в монастырь, коли хочешь так жить. Гостей, объявить вам вот по чистосердечной совести, никого. Как добрый наш барин жил с нами, не так было! Что за редкостные люди были, если бы вы знали! Ну, что ж будешь делать. Не захотели жить вместе да полно. А отчего? За дрянь, за пустяк, чего-то рассердились один на другого. Барыня как-то нагрубила барину; ну, не вытерпел, человек молодой, и уехал. А по мне, право, из пустяков. Ведь уж известное дело бабы, ну, так чего же тут. Вот, конечно, вам лучше примерно сказать, моя старуха. Был я три года в отлучке. Приезжаю, навстречу идет она, с радости не знает, что делать, и ребенка ведет за руку. «Здравствуй!» — «Здравствуй. А откуда,

жена, ребенка взяла?» — «Бог дал», — говорит. «Ах ты, рожа, Бог дал. Я тебе дам». Ну, отломал таки сильно бока. Что ж? После простил все, стал по-прежнему жить. Что ж, ведь после оказалось, что я сам-то ведь был причиною рождения ребенка: похож на меня, как две капли воды; такой же совсем, как я, голубчик ты мой. *(Плачет.)* Вот уж два года тебя не знаю, и вести нет. Что-то ты, мой сердечный, жив ли ты?

Ольгин. Чем же, однако же, занимается барыня?

Петр. Как, чем занимается? Известно, дело женское. Я вам скажу, сударь, что дела хозяйственные идут у нас бог знает как. Вот вы сами увидите. Вы спросите, отчего; а бог знает отчего. Если бы вы увидели, как она изволит управлять, так это курам смешно. Вообразите, что сама переходит по всем избам, и чуть только где нашла больного, и пошла потеха: сама натащит мазей, тряпок, начнет перевязывать. Ну, скажите, пожалуйста, боярское ли это дело! Какое же после этого будет к ней уважение мужиков? Нет, уж коли хочешь управлять, то ты сама уж сиди на одном месте; а если что, пошли приказчика: уж это его дело; он уже обделает, как ему следует. Мужика не балуй. Мужика в ухо, — народ простой, вынесет.

А этим-то и держится порядок. При барине не так было. Ах, если бы вы знали, сударь, что это был за редкостный человек. Ну, да и она редкостная барыня. Если хотите, я вам покажу комнату барина, хотя барыня никого туда не впускает и запирается сама по нескольким часам, и что она там…

Наброски драмы из украинской истории

Как нужно создать эту драму

Облечь ее в месячную ночь и ее серебряное сияние и в роскошное дыхание юга.

Облить ее сверкающим потопом солнечных ярких лучей, и да исполнится она вся нестерпимого блеска!

Осветить ее всю минувшим и вызванным из строя удалившихся веков, полным старины временем, обвить разгулом, козачком и всем раздольем воли.

И в потоп речей неугасаемой страсти, и в решительный, отрывистый лаконизм силы и свободы, и в ужасный, дышащий диким мщением порыв, и в грубые, суровые добродетели, и в железные несмягченные пороки, и в самоотвержение неслыханное, дикое и нечеловечески-великодушное.

И в беспечность забубенных веков.

———

Отвечает сравнением, иносказательно: «Прав-

да, случается, что вол падал, издыхал, но под рукою человека, которому Бог дал ум на то, чтобы сделать нож; но никогда еще не случалось, чтобы бык погибал от свиньи».

Делает распоряжения о продаже рыбы, о запасе на зиму, именно на такое-то время, потому что тогда хлопцы пьянствуют. О покупке соли, о баштанах, хлебах, о порохе, ружьях, кунтушах для солдат. — «Войны, кажется, ожидать не нужно, потому что мужицкая и козацкая сноровка бунтовать — так, чтобы не побунтовать, не может проклятый народ; так вот у него рука чешется; дармоедничает да повесничает по шинкам да по улицам».

———

Монахам такого-то монастыря купить вытканные и шитые утиральники.

Рыцарские

Не поединки, а разделываются драками; набравши с собою сколько можно больше слуг и выехавши на поле, нападает на своих противников.

Мужики

Разговор между мужиками. «Вздорожало все, дорого. За землю, ей-богу, не длиннее вот этого пальца — двадцать четвериков, четыре пары цыплят, к Духову дню да к Пасхе — пару гусей, да десять с каждой свиньи, с меду, да и после каждых трех лет третьего вола».

——

Рассказывают про клады и сокровище запорожцев. «Уйду на Запорожье, здесь всякий черт тебя колотит».

——

Демьян превращается в кашевара, Самко — в переку<пщика?>

——

Выдумать, как запала мысль в голову молодому дворянину. Чисто козацкое изобретение, как подговорить. Лукаш говорит, что он ничего не значит, что нужно склонить полковников. Народ обступает их домы и вынуждают… И сказать, каким же образом…

———

Народ кипит и толчется на площади, около дома обоих полковников, требуя их принять участие в деле, начальство над ними. Полковник выходит на крыльцо, увещевает, уговаривает, представляет невозможность.

———

Входят, возвещают и советуют бежать.

«Бегите и спасайтесь, жены и бабы! Ляхи за нами, и грабят и жгут». В этом положении находят. Укладывается старушка, плачет, расставаясь с прежним жилищем, где столько пробыла и откуда никуда не выходила.

———

Вдохновенная, небесноуха́ющая, чудесная ночь. Любишь ли ты меня? По-прежнему ли ты глядишь на своего любимца, не изменившегося ни годами, ни тратами, и горишь и блещешь ему в очи, и целуешь его в уста и лоб? Ты так же ли по-прежнему ли смеешься, месячный свет? О боже, боже, боже! Такие ли звуки, такие снуются и дрожат в тебе? Клянусь, я слышал эти звуки, я слышал их один в то время, когда я перед окном: на груди рубашка раздернута и грудь и шея

моя навстречу освежительному ночному ветру. Какой божественный, и какой чудесный и обновительный, утомительный, дышащий негой и благовонием, рай и небеса — ветер ночной. Дышащий радостным холодом ветер урывками обнимал меня и обхватывал своими объятиями и убегал и вновь возвращался обнимать меня, а черные, угрюмые массы лесу, нагнувшись, издали глядели, и над ними стоял торжественный несмущенный воздух. И вдруг соловей… О небеса, как загорелось все, как вспыхнуло! У, какой гром… А месяц, месяц… Отдайте, возвратите мне, возвратите юность мою, молодую крепость сил моих, меня, свежего — того, который был. О, невозвратимо все, что ни есть в свете.

———

Сказавши монолог, долго кричит. Выходит мать. «Дочь, у тебя болит голова» и прочее.

— Нет, не голова. Болею я вся, болят мои руки, болят мои ноги, болит грудь моя, болит моя душа, болит мое сердце. Огонь во мне. Воды, мать моя, матушка, мамуся. Дай такой воды, чтобы загасила жгущее меня пламя. О, проклята моя злодейка, и проклят род твой, и прокляты те… что кричали. Мать моя, матушка, зачем ты меня породила

такую несчастную? Ты, видно, не ходила в церковь; ты, видно, не молилась Богу; ты, видно, в нечистой воде искупалась, в ядовитом зелье, на котором проползла гадина.

———

Внутри рвет меня, все немило мне: ни земля, ни небо, ни все, что вокруг меня.

———

Отречение от мира совершенное. А между тем рисуется прежнее счастие и богатство, которое могло… Прощание слезное с молодыми летами, с молодыми радостями, со всем и строгое покорение судьбе. Обеты и как будет молиться, как припадать к иконе: «И все буду плакать и ничего, никакой пищи бедному сердцу, не порадую его никаким воспоминанием».

И вдруг. Здесь встреча с соперницей в уничиженном состоянии, и все вспыхивает вновь во всем огне и силе. Потоки упреков и злобная радость. Потом опомнивается и вспоминает об обетах, бросается на колени и просит прощения.

Поэма

Ганц Кюхельгартен

Идиллия в картинах

Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только Автора, не побудили его к тому. Это произведение его восемнадцатилетней юности. Не принимаясь судить ни о достоинстве, ни о недостатках его, и предоставляя это просвещенной публике, скажем только то, что многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера. По крайней мере мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданьем юного таланта.

Картина I

Светает. Вот проглянула деревня,
Дома, сады. Все видно, все светло.
Вся в золоте сияет колокольня
И блещет луч на стареньком заборе.

Пленительно оборотилось все
Вниз головой, в серебряной воде:
Забор, и дом, и садик в ней такие ж.
Все движется в серебряной воде:
Синеет свод, и волны облак ходят,
И лес живой вот только не шумит.

На берегу далеко вшедшем в море,
Под тенью лип, стоит уютный домик
Пастора. В нем давно старик живет.
Ветшает он, и старенькая кровля
Посунулась; труба вся почернела;
И лепится давно цветистый мох
Уж по стенам; и окна искосились;
Но как-то мило в нем, и ни за что
Старик его б не отдал. Вот та липа,
Где отдыхать он любит, тож дряхлеет.
Зато вкруг ней зеленые прилавки
Из дерну свежего. В дуплистых норах
Ее гнездятся птички, старый дом
И сад веселой песнью оглашая.
Пастор всю ночь не спал, да пред рас-

светом
Уж вышел спать на чистый воздух;
И дремлет он под липой в старых креслах,
И ветерок ему свежит лицо,
И белые взвевает волоса.

Но кто прекрасная подходит?
Как утро свежее, горит
И на него глаза наводит?
Очаровательно стоит?
Взгляните же, как мило будит
Ее лилейная рука,
Его касаяся слегка,
И возвратиться в мир наш нудит.
И вот в полглаза он глядит,
И вот спросонья говорит:

«О дивный, дивный посетитель!
Ты навестил мою обитель!
Зачем же тайная тоска
Всю душу мне насквозь проходит,
И на седого старика
Твой образ дивный сдалека

Волненье странное наводит?
Ты посмотри: уже я хил,
Давно к живущему остыл,
Себя погреб в себе давно я,
Со дня я на день жду покоя,
О нем и мыслить уж привык,
О нем и мелет мой язык.
Чего ж ты, гостья молодая,
К себе так пламенно влечешь?
Или, жилица неба-рая,
Ты мне надежду подаешь,
На небеса меня зовешь?
О, я готов, да недостоин.
Велики тяжкие грехи
И я был злой на свете воин,
Меня робели пастухи;
Мне лютые дела не новость;
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя –
Заплата малая моя
За прежней жизни злую повесть...»

Тоски, смятения полна,

«Сказать, – подумала она, –
Он бог знает куда заедет…
Сказать ему, что он ведь бредит».
Но он в забвенье погружен.
Его объемлет снова сон.
Склонясь над ним, она чуть дышет.
Как почивает! как он спит!
Вздох чуть заметный грудь колышет;
Незримым воздухом обвит,
Его архангел сторожит;
Улыбка райская сияет,
Чело святое осеняет.

Вот он открыл свои глаза:
«Луиза, ты ль? мне снилось… странно…
Ты поднялась, шалунья, рано;
Еще не высохла роса.
Сегодня, кажется, туманно».

«Нет, дедушка, светло, свод чист;
Сквозь рощу солнце светит ярко;
Не колыхнется свежий лист,
И по утру уже все жарко.

Узнаете ль, зачем я к вам? –
У нас сегодня будет праздник.
У нас уж старый Лодельгам,
Скрыпач, с ним Фриц проказник;
Мы будем ездить по водам…
Когда бы Ганц…» Добросердечный
Пастор с улыбкой хитрой ждет,
О чем рассказ свой поведет
Младенец резвый и беспечный.

«Вы, дедушка, вы можете помочь
Одни неслыханному горю:
Мой Ганц страх болен; день и ночь
Все ходит к сумрачному морю;
Все не по нем, всему не рад,
Сам говорит с собой, к нам скучен,
Спросить – ответит невпопад,
И весь ужасно как измучен.
Ему зазнаться уж с тоской –
Да эдак он себя погубит.
При мысли я дрожу одной:
Быть может, недоволен мной;
Быть может, он меня не любит. –

Мне это – в сердце нож стальной.
Я вас просить, мой ангел, смею...»
И кинулась к нему на шею,
Стесненной грудью чуть дыша;
И вся зарделась, вся смешалась
Моя красавица-душа;
Слеза на глазках показалась...
Ах, как Луиза хороша!

«Не плачь, спокойся, друг мой милый!
Ведь стыдно плакать, наконец, –
Духовный молвил ей отец. –
Бог нам дарит терпенье, силы;
С твоей усердною мольбой,
Тебе ни в чем он не откажет.
Поверь, Ганц дышит лишь тобой;
Поверь, он то тебе докажет.
Зачем же мыслию пустой
Душевный растравлять покой?»

Так утешает он свою Луизу,
Ее к груди дряхлеющей прижав.
Вот старая Гертруда ставит кофий

Горячий и весь светлый, как янтарь.
Старик любил на воздухе пить кофий,
Держа во рту черешневый чубук.
Дым уходил и кольцами ложился.
И, призадумавшись, Луиза хлебом
Кормила с рук своих кота, который
Мурлыча крался, слыша сладкий запах.
Старик привстал с цвеченых старых кресел,
Принес мольбу и руку внучке подал;
И вот надел нарядный свой халат,
Весь из парчи серебряной, блестящей,
И праздничный неношенный колпак, –
Его в подарок нашему пастору
Из города привез недавно Ганц, –
И, опираясь на плечо Луизы
Лилейное, старик наш вышел в поле.
Какой же день! Веселые вились
И пели жавронки; ходили волны
От ветру золотого в поле хлеба;
Сгустились вот над ними дерева,
На них плоды пред солнцем наливались

Прозрачные; вдали темнели воды
Зеленые; сквозь радужный туман
Неслись моря душистых ароматов;
Пчела работница срывала мед
С живых цветов; резвунья стрекоза
Треща вилась; разгульная вдали
Неслася песнь, – то песнь гребцов удалых.
Редеет лес, видна уже долина,
По ней мычат игривые стада;
А издали видна уже и кровля
Луизина; краснеют черепицы
И ярко луч по краям их скользит.

Картина II

Волнуем думой непонятной,
Наш Ганц рассеянно глядел
На мир великий, необъятной,
На свой незнаемый удел.
Доселе тихий, безмятежной
Он жизнью радостно играл;

Душой невинною и нежной
В ней горьких бед не прозревал;
Земного мира уроженец,
Земных губительных страстей
Он не носил в груди своей,
Беспечный, ветренный младенец.
И было весело ему.
Он разрезвлялся мило, живо
В толпе детей; не верил злу;
Пред ним цвел мир как бы на диво.
Его подруга с детских дней
Дитя-Луиза, ангел светлый,
Блистала прелестью речей;
Сквозь кольца русые кудрей
Лукавый взгляд жег неприметно;
В зеленой юбочке сама
Поет, танцует ли она –
Все простодушно, в ней все живо,
Все детски в ней красноречиво;
На шейке розовый платок
С груди слетает понемножку,
И стройно белый башмачок

Ее охватывает ножку.
В лесу ль играет вместе с ним –
Его обгонит, все проникнет,
В куст притаясь с желаньем злым,
Ему вдруг в уши громко крикнет –
И испугает; спит ли он –
Ему лицо все разрисует,
И, звонким смехом пробужден,
Он покидает сладкий сон,
Шалунью резвую целует.

Уходит за весной весна.
Круг детских игр их стал уж скромен. –
Меж ними резвость не видна;
Огонь очей его стал томен,
Она застенчиво-грустна.
Они понятно угадали
Вас, речи первые любви!
Покуда сладкие печали!
Покуда радужные дни!
Чего б желать с Луизой милой?
Он с ней и вечер, с ней и день,
К ней привлечен он дивной силой,

Как верно бродящая тень.
Полны сердечного участья,
Не наглядятся старики
Их простодушные на счастье
Своих детей; и далеки
От них дни горя, дни сомнений:
Их осеняет мирный Гений.

Но скоро тайная печаль
Им овладела; взор туманен,
И часто смотрит он на даль,
И беспокоен весь и странен.
Чего-то смело ищет ум,
Чего-то тайно негодует;
Душа, в волненьи темных дум,
О чем-то, скорбная, тоскует;
Он как прикованный сидит,
На море буйное глядит.
В мечтаньи все кого-то слышит
При стройном шуме ветхих вод.
.....
Или в долине ходит думный;
Глаза торжественно блестят,

Когда несется ветер шумный
И громы жарко говорят;
Огонь мгновенный колет тучи;
Дождя источники горючи
Секутся звучно и шумят. –
Иль в час полночи, в час мечтаний
Сидит за книгою преданий,
И, перевертывая лист,
Он ловит буквы в ней немые
– Глаголят в них века седые,
И слово дивное гремит. –
Час углубясь в раздумьи целой,
С нее и глаз он не сведет;
Кто мимо Ганца ни пройдет,
Кто ни посмотрит, скажет смело:
Назад далеко он живет.
Чудесной мыслью очарован,
Под дуба сумрачную сень
Идет он часто в летний день,
К чему-то тайному прикован;
Он видит тайно чью-то тень,
И к ней он руки простирает,

Ее в забвеньи обнимает. –

А простодушна и одна
Луиза-ангел, что же? где же?
Ему всем сердцем предана,
Не знает, бедненькая, сна;
Ему приносит ласки те же;
Его ручонкой обовьет;
Его невинно поцелует;
Он на минуту растоскует
И снова то же запоет.

Они прекрасны, те мгновенья,
Когда прозрачною толпой
Далеко милые виденья
Уносят юношу с собой.
Но если мир души разрушен,
Забыт счастливый уголок,
К нему он станет равнодушен,
И для простых людей высок,
Они ли юношу наполнят?
И сердце радостью ль исполнят?

Пока в жилище суеты

Его подслушаем украдкой,
Доселе бывшие загадкой,
Разнообразные мечты.

Картина III

Земля классических, прекрасных созиданий,
И славных дел, и вольности земля!
Афины, к вам, в жару чудесных трепетаний,
Душой приковываюсь я!
Вот от треножников до самого Пирея
Кипит, волнуется торжественный народ;
Где речь Эсхинова, гремя и пламенея,
Все своенравно вслед влечет,
Как воды шумные прозрачного Иллиса.
Велик сей мраморный изящный Парфенон!
Колон дорических он рядом обнесен;
Минерву Фидий в нем переселил резцом,
И блещет кисть Парразия, Зевксиса.

Под портиком божественный мудрец
Ведет высокое о дольнем мире слово;
Кому за доблести бессмертие готово,
Кому позор, кому венец.
Фонтанов стройных шум, нестройных песней клики;
С восходом дня толпа в амфитеатр валит,
Персидский кандис весь испещренный блестит,
И вьются легкие туники.
Стихи Софокловы порывисто звучат;
Венки лавровые торжественно летят;
С медоточивых уст любимца Эпикура
Архонты, воины, служители Амура
Спешат прекрасную науку изучить:
Как жизнью жить, как наслажденье пить.
Но вот Аспазия! Не смеет и дохнуть
Смятенный юноша, при черных глаз сих встрече.
Как жарки те уста! как пламенны те речи!

И темные как ночь, те кудри как-нибудь,

Волнуясь, падают на грудь,

На беломраморные плечи.

Но что при звуке чаш тимпанов дикой вой?

Плющем увенчаны вакхические девы,

Бегут нестройною, неистовой толпой

В священный лес; все скрылось… что вы? где вы?..

Но вы пропали, я один.

Опять тоска, опять досада;

Хотя бы Фавн пришел с долин;

Хотя б прекрасная Дриада

Мне показалась в мраке сада.

О, как чудесно вы свой мир

Мечтою, греки, населили!

Как вы его обворожили!

А наш – и беден он, и сир,

И расквадрачен весь на мили.

И снова новые мечты

Его, смеяся, обнимают;

Его воздушно подымают
Из океана суеты.

Картина IV

В стране, где сверкают живые ключи;
Где, чудно сияя, блистают лучи;
Дыхание амры и розы ночной
Роскошно объемлет эфир голубой;
И в воздухе тучи курений висят;
Плоды мангустана златые горят;
Лугов Кандагарских сверкает ковер;
И смело накинут небесный шатер;
Роскошно валится дождь яркий цветов,
То блещут, трепещут рои мотыльков; –
Я вижу там Пери: в забвеньи она
Не видит, не внемлет, мечтаний полна.
Как солнца два, очи небесно горят;
Как Гемасагара, так кудри блестят;
Дыхание – лилий серебряных чад,

Когда засыпает истомленный сад
И ветер их вздохи развеет порой;
А голос, как звуки сиринды ночной,
Или трепетанье серебряных крыл,
Когда ими звукнет, резвясь, Исразил,
Иль плески Хиндары таинственных струй;
А что же улыбка? А что ж поцелуй?
Но вижу, как воздух, она уж летит,
В края поднебесны, к родимым спешит.
Постой, оглянися! Не внемлет она.
И в радуге тонет, и вот не видна.
Но воспоминанье мир долго хранит,
И благоуханьем весь воздух обвит.
.....
Живого юности стремленья
Так испестрялися мечты.
Порой небесного черты,
Души прекрасной впечатленья,
На нем лежали; но чего
В волненьях сердца своего
Искал он думою неясной,

Чего желал, чего хотел,
К чему так пламенно летел
Душой и жадною, и страстной,
Как будто мир желал обнять, –
Того и сам не мог понять.
Ему казалось душно, пыльно
В сей позаброшенной стране;
И сердце билось сильно, сильно
По дальней, дальней стороне.
Тогда когда б вы повидали,
Как воздымалась буйно грудь,
Как взоры гордо трепетали,
Как сердце жаждало прильнуть
К своей мечте, мечте неясной;
Какой в нем пыл кипел прекрасной;
Какая жаркая слеза
Живые полнила глаза.

Картина VI

От Висмара в двух милях та деревня,
Где ограничился лиц наших мир.

Не знаю, как теперь, но Люненсдорфом
Она тогда, веселая, звалась.
Уж издали белеет скромный домик
Вильгельма Бауха, мызника. – Давно,
Женившися на дочери пастора,
Его состроил он! Веселый домик!
Он выкрашен зеленой краской, крыт
Красивою и звонкой черепицей;
Вокруг каштаны старые стоят,
Нависши ветвями, как будто в окна
Хотят продраться; из-за них мелькает
Решетка из прекрасных лоз, красиво
И хитро сделана самим Вильгельмом;
По ней висит и змейкой вьется хмель;
С окна протянут шест, на нем белье
Блистает белое пред солнцем. Вот
В пролом на чердаке толпится стая
Мохнатых голубей; протяжно клохчут
Индейки; хлопая встречает день
Крикун петух и по двору вот важно,
Меж пестрых кур, он кучи разгребает
Зернистые; гуляют тут же две

Ручные козы и резвяся щиплют
Душистую траву. Давно курился
Уж дым из белых труб, курчаво он
Вился и облака приумножал.
С той стороны, где с стен валилась краска
И серые торчали кирпичи,
Где древние каштаны стлали тень,
Которую перебегало солнце,
Когда вершину их ветр резво колыхал, –
Под тенью тех деревьев вечно милых
Стоял с утра дубовый стол, весь чистой
Покрытый скатертью и весь уставлен
Душистой яствой: желтый вкусный сыр,
Редис и масло в фарфоровой утке,
И пиво, и вино, и сладкой бишеф,
И сахар, и коричневые вафли;
В корзине спелые, блестящие плоды:
Прозрачный грозд, душистая малина,
И как янтарь желтеющие груши,

И сливы синие, и яркий персик,
В затейливом виднелось все порядке.
Сегодня праздновал живой Вильгельм
Рожденье дорогой своей супруги,
С пастором и драгими дочерьми:
Луизой старшей и меньшою Фанни.
Но Фанни нет, она давно пошла
Звать Ганца и не возвращалась. Верно,
Он где-нибудь опять в раздумьи бродит.
А милая Луиза все глядит
Внимательно на темное окно
Соседа Ганца. Два шага всего ведь
К нему; но не пошла моя Луиза:
Чтоб не заметил он в ее лице
Тоски докучливой, чтоб не прочел
В ее глазах он едкого упрека.
Вот говорит Вильгельм, отец, Луизе:
«Смотри, ты Ганца пожури порядком:
Зачем он к нам так долго не идет?
Ведь ты его сама избаловала».
И вот дитя-Луиза так в ответ:

«Боюсь журить прекрасного я Ганца:
И без того он болен, бледен, худ...» –
– «Что за болезнь, – сказала мать,
Живая Берта, – не болезнь, тоска
Незванная к нему сама пристала;
Вот женится, и отпадет тоска.
Так молодой побег, совсем приглохший,
Опрыснутый дождем, в миг зацветет;
И что ж жена, как не веселье мужа?»
«Речь умная, – седой пастор примолвил. –
Все, верь, пройдет, когда захочет Бог,
И будь во всем его святая воля». –
Уже два раза он из трубки выбивал
Золу, и в спор вступал с Вильгельмом,
Разговорясь про новости газет,
Про злой неурожай, про греков и про турок,
Про Мисолунги, про дела войны,
Про славного вождя Колокотрони,
Про Канинга, про парламент,
Про бедствия и мятежи в Мадрите.

Как вдруг Луиза вскрикнула и мигом,
Увидя Ганца, бросилась к нему.
Воздушный стан ее обнявши стройный,
С волненьем юноша ее поцеловал.
Оборотясь к нему, вот молвит пастор:
«Эх, стыдно, Ганц, забыть своего друга!
Да что, коли уже забыл Луизу,
Об нас ли, стариках, и думать?» – «Полно
Тебе все Ганца, папенька, журить, –
сказала Берта, – лучше сядем мы
Теперь за стол, не то простынет все:
И каша с рисом и вином душистым,
И сахарный горох, каплун горячий,
Зажаренный с изюмом в масле». Вот
За стол они садятся мирно;
И скоро вмиг вино все оживило
И, светлое, смех в душу пролило.
Старик скрыпач и Фриц на звонкой флейте
Согласно грянули хозяйке в честь.

Все понеслись и закружились в вальсе.
Развеселясь, румяный наш Вильгельм
Пустился сам с своей женой, как с павой;
Как вихорь, несся Ганц с своей Луизой
В бурливом вальсе; и пред ними мир
Вертелся весь в чудесном, шумном строе.
А милая Луиза ни дохнуть,
Ни посмотреть вокруг не может, вся
В движеньи потерялась. Ими
Не налюбуясь, говорит пастор:
«Любезная, прекрасная чета!
Мила моя веселая Луиза,
Прекрасен и умен, и скромен Ганц; –
Сотворены они уж друг для друга
И счастливо свою жизнь проведут.
Благодарю тебя, о боже милосердый!
Что ниспослал на старость благодать,
Мои продлил дряхлеющие силы –
Чтобы узреть таких прекрасных внучат,

Чтобы сказать, прощаясь с ветхим телом:
Прекрасное я видел на земли».

Картина VII

С прохладою спокойный тихий вечер
Спускается; прощальные лучи
Целуют где-где сумрачное море;
И искрами живыми, золотыми
Деревья тронуты; и вдалеке
Виднеют, сквозь туман морской, утесы,
Все разноцветные. Спокойно все.
Пастушьих лишь рожков унывный голос
Несется вдаль с веселых берегов,
Да тихий шум в воде всплеснувшей рыбы
Чуть пробежит и вздернет море рябью,
Да ласточка, крылом черпнувши моря,
Круги по воздуху скользя дает.

Вот заблестел вдали, как точка, катер;
А кто же в нем, в том катере, сидит?
Сидит пастор, наш старец седовласый
И с дорогой супругою Вильгельм;
А резвая всегда шалунья Фанни,
С удой в руках и свесившись с перил,
Смеясь, рученкою болтала волны;
Возле кормы с Луизой милой Ганц.
И долго все в молчаньи любовались:
Как за кормой широкая ходила
Волна и в брызгах огнецветных, вдруг
Веслом разорванная, трепетала;
Как разъяснялась розовая дальность
И южный ветр дыханье навевал.
И вот пастор, исполнен умиленья,
Проговорил: «Как мил сей божий вечер!
Прекрасен, тих он, как благая жизнь
Безгрешного; она ведь также мирно
Кончает путь, и слезы умиленья
Священный прах, прекрасные, кропят.
Пора и мне уж; срок назначен,

И скоро, скоро я не буду ваш,
Но эдак ли прекрасно опочию?..»
Все прослезились. Ганц, который песню
Наигрывал на сладостном гобое,
Задумался и выронил гобой;
И снова сон какой-то осенил
Его чело; далеко мчались мысли,
И чудное на душу натекло.
И вот ему так говорит Луиза:
«Скажи мне, Ганц, когда еще ты любишь
Меня, когда я пробудить могу
*Хоть жалость, хоть живое сострадань*ье
В душе твоей, не мучь меня, скажи, –
Зачем один с какой-то книгой
Ты ночь сидишь? (Мне видно все,
И окнами ведь друг мы против друга.)
Зачем дичишься всех? зачем грустишь?
О, как меня твой грустный вид тревожит!
О, как меня печаль твоя печалит!»

И, тронутый, смутился Ганц;
Ее к груди с тоскою прижимает,
И брызнула невольная слеза.
«Не спрашивай меня, моя Луиза,
И беспокойством сим тоски не множь.
Когда ж кажусь погружен в мысли –
Верь, занят и тогда тобой одною,
И думаю я, как бы отвратить
Все от тебя печальные сомненья,
Как радостью твое наполнить сердце,
Как бы души твоей хранить покой,
Оберегать твой детский сон невинный:
Чтобы недоброе не приближалось,
Чтобы и тень тоски не прикасалась,
Чтоб счастие твое всегда цвело».
Спустясь к нему головкою на грудь,
В избытке чувств, в признательности сердца
Ни слова вымолвить она не может. –
По берегу неслася лодка плавно
И вдруг причалила. Все вышли
Вмиг из нее. «Ну! берегитесь, дети, –

сказал Вильгельм, – здесь сыро и роса,
Чтоб не нажить несносного вам кашля». –
Дорогой Ганц наш мыслит: «Что же будет,
Когда услышит то, чего и знать бы
Не должно ей?» И на нее глядит
И чувствует он в сердце укоризну:
Как будто бы недоброе что сделал,
Как будто бы пред Богом лицемерил.

Картина VIII

На башне бьет час полуночный.
Так, это час, час дум урочный,
Как Ганц один всегда сидит!
Свет лампы перед ним дрожит
И бледно сумрак освещает,
Как бы сомненья разливает.
Все спит. Ничей блудящий взор
На поле никого не встретит;
И, как далекий разговор,

Волна шумит, а месяц светит.
Все тихо, дышит ночь одна.
Теперь его глубоких дум
Не потревожит дневный шум:
Над ним такая ж тишина.

А что ж она? – Встает она,
Садится прямо у окна:
«Он не посмотрит, не приметит,
А насмотрюсь я на него;
Не спит для счастья моего!..
Благослови, Господь, его!»
Волна шумит, а месяц светит.
И вот над нею вьется сон
И голову невольно клонит.
Но Ганц все так же в мыслях тонет,
В глубь их далеко погружен.

1

Все решено. Теперь ужели
Мне здесь душою погибать?
И не узнать иной мне цели?

И цели лучшей не сыскать?
Себя обречь бесславью в жертву?
При жизни быть для мира мертву?

2

Душой ли, славу полюбившей,
Ничтожность в мире полюбить?
Душой ли, к счастью не остывшей,
Волненья мира не испить?
И в нем прекрасного не встретить?
Существованья не отметить?

3

Зачем влечете так к себе вы,
Земли роскошные края?
И день и ночь, как птиц напевы,
Призывный голос слышу я;
И день и ночь мечтами скован,
Я вами, вами очарован.

4

Я ваш! я ваш! из сей пустыни
Вниду я в райские места;
Как пилигрим бредет к святыне,
.....
Корабль пойдет, забрызжут волны;
Им чувства вслед, веселья полны.

5

И он спадет, покров неясный,
Под коим знала вас мечта,
И мир прекрасный, мир прекрасный
Отворит дивные врата,
Приветить юношу готовый
И в наслажденьях вечно новый.

6

Творцы чудесных впечатлений!
Резец ваш, кисть увижу я,

И ваших пламенных творений
Душа исполнится моя.
Шуми ж, мой океан широкий!
Неси корабль мой одинокий!

7

А ты прости, мой угол тесный,
И лес, и поле! луг, прости!
Кропи вас чаще дождь небесный!
И дай бог долее цвести!
По вас душа как будто страждет,
В последний раз обнять вас жаждет.

8

Прости, мой ангел безмятежный!
Чела слезами не кропи!
Не предавайсь тоске мятежной
И Ганца бедного прости!
Не плачь, не плачь, я скоро буду,
Я возвращусь – тебя ль забуду?..

Картина IX

Кто это позднею порой
Ступает тихо, осторожно?
Видна котомка за спиной,
Посох за поясом дорожний.
Направо домик перед ним,
Налево дальняя дорога,
Итти путем он хочет сим
И просит твердости у Бога.
Но мукой тайною томим,
Назад он ноги обращает
И в домик тот он поспешает.

Одно окно открыто в нем;
Облокотясь, пред тем окном
Краса-девица почивает,
И, вея ветр над ней крылом,
Ей сны чудесные внушает;
И, ими, милая, полна,
Вот улыбается она.
С душеволненьем к ней подходит…

Стеснилась грудь; дрожит слеза…
И на прекрасную наводит
Свои блестящие глаза.
Он наклонился к ней, пылает,
Ее целует и стенает.

И, вздрогнув, быстро он бежит
Опять дорогою далекой;
Но мрачен неспокойный вид,
Но грустно в сей душе глубокой.
Вот оглянулся он назад:
Но уж туман окрестность кроет,
И пуще юноши грудь ноет,
Прощальный посылая взгляд.
Ветр, пробудившися, суровой
Качнул зеленою дубровой.
Исчезло все в дали пустой.
Сквозь сон лишь смутною порой –
Готлиб привратник будто слышал,
Что из калитки кто-то вышел,
Да верный пес, как бы в укор,
Пролаял звучно на весь двор.

Картина X

Не всходит долго светлый вождь.
Ненастно утро; на поляны
Валятся серые туманы;
Звенит по кровлям частый дождь.
С зарей красавица проснулась;
Сама дивится, что она
Проспала ночь всю у окна.
Поправив кудри, улыбнулась,
Но, против воли, взор живой,
Блеснул досадною слезой.
«Что Ганц так долго не приходит?
Он обещал мне быть чуть свет.
Какой же день! тоску наводит;
Туман густой по полю ходит,
И ветр свистит; а Ганца нет».

Полна живого нетерпенья,
Глядит на милое окно:
Не отворяется оно.
Ганц, верно, спит, и сновиденья

Ему творят любой предмет;
Но день давно уж. Рвут долины
Ручьи дождя; дубов вершины
Шумят; а Ганца нет, как нет.

Уж скоро полдень. Неприметно
Туман уходит; лес молчит;
Гром в размышлении гремит
Вдали… Дугою семицветной
Горит на небе райский свет;
Унизан искрами дуб древний;
И песни звонкие с деревни
Звучат; а Ганца нет, как нет.

Что б это значило?.. находит
Злодейка грусть; слух утомлен
Считать часы… Вот кто-то входит
И в дверь… Он! он!.. ах, нет, не он!
В халате розовом покойном,
В цветном переднике с каймой,
Приходит Берта: «Ангел мой!
Скажи, что сделалось с тобой?
Ты ночь всю спала беспокойно;

Ты вся томна, ты вся бледна.
Не дождь ли помешал шумливый?
Или ревущая волна?
Или петух, буян крикливый,
Всю ночь не ведающий сна?
Иль потревожил дух нечистой
Во сне покой девицы чистой,
Навеял черную печаль?
Скажи, тебя всем сердцем жаль!» –

«Нет, не мешал мне дождь шумливый,
И не ревущая волна,
И не петух, буян крикливый,
Всю ночь не ведающий сна;
Не эти сны, не те печали
Мне грудь младую взволновали,
Не ими дух мой возмущен,
Иной мне снился дивный сон.

Мне снилось: в темной я пустыне,
Вокруг меня туман и глушь.
И на болотистой равнине
Нет места, где была бы сушь.

Тяжелый запах: топко, вязко;
Что шаг, то бездна подо мной:
Боюся я ступить ногой;
И вдруг мне сделалось так тяжко,
Так тяжко, что нельзя сказать…
Где ни возьмись Ганц дикий, странный,
– Бежала кровь, струясь из раны –
Вдруг начал надо мной рыдать;
Но, вместо слез, лились потоки
Какой-то мутныя воды…
Проснулась я: на грудь, на щеки,
На кудри русой головы,
Бежал ручьями дождь досадной;
И было сердцу не отрадно.
Меня предчувствие берет…
И я кудрей не выжимала;
И я все утро тосковала;
Где он? и что с ним? что нейдет?»

Стоит, качает головою,
Разумная, пред нею мать:
«Ну, дочка! мне с твоей бедою,
Не знаю, как уж совладать.

Пойдем к нему, узнаем сами,
Да будь святая сила с нами!»

Вот входят в комнату оне;
Но в ней все пусто. В стороне
Лежит, в густой пыли, том давний,
Платон и Шиллер своенравный,
Петрарка, Тик, Аристофан
Да позабытый Винкельман;
Куски изодранной бумаги;
На полке – свежие цветы;
Перо, которым, полн отваги,
Передавал свои мечты.
Но на столе мелькнуло что-то.
Записка!.. с трепетом взяла
Луиза в руки. От кого-то?
К кому?.. И что ж она прочла?..
Язык лепечет странно пени…
И вдруг упала на колени;
Ее кручина давит, жжет,
Гробовый холод в ней течет.

Картина XI

Ты посмотри, тиран жестокий,
На грусть убитыя души!
Как вянет цвет сей одинокий,
Забытый в пасмурной глуши!
Вглядись, вглядись в свое творенье:
Ее ты счастия лишил
И жизни радость претворил
В тоску ей, в адское мученье,
В гнездо разоренных могил.
О, как она тебя любила!
С каким восторгом чувств живым
Простые речи говорила!
И как внимал речам ты сим!
Как пламенен и как невинен
Был этот блеск ее очей!
Как часто ей, в тоске своей,
Тот день казался скучен, длинен,
Когда, раздумью предана,
Тебя не видела она.

И ты ль, и ты ль ее оставил?
Ты ль отвернулся от всего?
В страну чужую путь направил,
И для кого? и для чего?
Но посмотри, тиран жестокий:
Она все также, под окном,
Сидит и ждет в тоске глубокой,
Не промелькнет ли милый в нем.
Уж гаснет день; сияет вечер;
На все наброшен дивный блеск;
Прохладный вьется в небе ветер;
Волны чуть слышен дальний плеск.
Уже ночь тени настилает;
Но запад все еще сияет.
Свирель чуть льется; а она
Сидит недвижно у окна.

Ночные видения

Темнеет, тухнет вечер красный;
Спит в упоении земля;
И вот на наши уж поля

Выходит важно месяц ясный.
И все прозрачно, все светло;
Сверкает море, как стекло. –

В небе чудные вот тени
Развилися и свились,
И чудесно понеслись
На небесные ступени.
Прояснилось: две свечи;
Двое рыцарей косматых;
Два зубчатые мечи
И чеканенные латы;
Что-то ищут; стали в ряд.
И зачем-то переходят;
И дерутся, и блестят;
И чего-то не находят…
Все пропало, слилось с тмой;
Светит месяц над водой.

Блистательно всю рощу оглашает
Царь соловей. Звук тихо разнесен.
Чуть дышит ночь; земля сквозь сон
Мечтательно певцу внимает.

Лес не колышется; все спит,
Лишь вдохновенна песнь звучит.

Показался дивной феи
Слитый с воздуха дворец,
И в окне поет певец
Вдохновенные затеи.
На серебряном ковре,
Весь затканный облаками,
Чудный дух летит в огне;
Север, юг покрыл крылами.
Видит: фея спит в плену
За решеткою коральной;
Перламутную стену
Рушит он слезой хрустальной.
Обнялись… слилися с тмой…
Светит месяц над водой.

Сквозь пар окрестность чуть сверкает.
Какую кучу тайных дум
Наводит моря странный шум!
Огромный кит спиной мелькает;
Рыбак закутался и спит;

А море все шумит, шумит.

Вот из моря молодые
Девы чудные плывут;
Голубые, огневые
Волны белые гребут.
Призадумавшись, колышет
Грудь лилейную вода,
И красавица чуть дышит…
И роскошная нога
Стелет брызги в два ряда…
Улыбается, хохочет,
Страстно манит и зовет,
И задумчиво плывет,
Будто хочет и не хочет,
И задумчиво поет
Про себя, младу сирену,
Про коварную измену,
А на тверди голубой,
Светит месяц над водой.

Вот в стороне глухой кладбище:
Ограда ветхая кругом,

Кресты, каменья… скрыто мхом
Немых покойников жилище.
Полет да крики только сов
Тревожат сон пустых гробов.

Подымается протяжно
В белом саване мертвец,
Кости пыльные он важно
Отирает, молодец.
С чела давнего хлад веет,
В глазе палевый огонь,
И под ним великой конь,
Необъятный, весь белеет
И все более растет,
Скоро небо обоймет;
И покойники с покою
Страшной тянутся толпою.
Земля колется и – бух
Тени разом в бездну… Уф!

И стало страшно ей; мгновенно
Она прихлопнула окно.
Все в сердце трепетном смятенно,

И жар, и дрожь попеременно
По нем текут. В тоске оно.
Внимание развлечено.
Когда, рукою беспощадной,
Судьба надвинет камень хладный
На сердце бедное, – тогда,
Скажите, кто рассудку верен?
Чья против зол душа тверда?
Кто вечно тот же завсегда?
В несчастьи кто не суеверен?
Кто крепкой не бледнел душой
Перед ничтожною мечтой?

С боязнью, с горестию тайной,
В постель кидается она;
Но ждет напрасно в ложе сна.
В тме прошумит ли что случайно,
Скребунья-мышь ли пробежит, –
От вежд коварный сон летит.

Картина XIII

Печальны древности Афин.

Колонн, статуй ряд обветшалый
Среди глухих стоит равнин.
Печален след веков усталых:
Изящный памятник разбит,
Изломлен немощный гранит,
Одни обломки уцелели.
Еще доныне величав,
Чернеет дряхлый архитрав,
И вьется плющ по капители;
Упал расщепленный карниз
В давно заглохшие окопы.
Еще блестит сей дивный фриз,
Сии рельефные метопы;
Еще доныне здесь грустит
Коринфский орден многолепный,
– Рой ящериц по нем скользит –
На мир с презреньем он глядит;
Все тот же он великолепный,
Времен минувших вдавлен в тму,
И без вниманья ко всему.

Печальны древности Афин.
Туманен ряд былых картин.

Облокотясь на мрамор хладный,
Напрасно путник алчет жадный
В душе былое воскресить,
Напрасно силится развить
Протекших дел истлевший свиток, –
Ничтожен труд бессильных пыток;
Везде читает смутный взор
И разрушенье, и позор.
Промеж колон чалма мелькает,
И мусульманин по стенам,
По сим обломкам, камням, рвам,
Коня свирепо напирает,
Останки с воплем разоряет.
Невыразимая печаль
Мгновенно путника объемлет,
Души он тяжкий ропот внемлет;
Ему и горестно, и жаль,
Зачем он путь сюда направил.
Не для истлевших ли могил
Кров безмятежный свой оставил,
Покой свой тихий позабыл?
Пускай бы в мыслях обитали

Сии воздушные мечты!
Пускай бы сердце волновали
Зерцалом чистой красоты!
Но и убийственно, и хладно
Разворожились вы теперь.
Безжалостно и беспощадно
Пред ним захлопнули вы дверь,
Сыны существенности жалкой,
Дверь в тихий мир мечтаний, жаркой! –
И грустно, медленной стопой
Руины путник покидает;
Клянется их забыть душой;
И все невольно помышляет
О жертвах бренности слепой.

Картина XVI

Ушло два года. В мирном Люненсдорфе
По-прежнему красуется, цветет;
Все те ж заботы, и забавы те же
Волнуют жителей покойные сердца.

Но не по-прежнему в семье Вильгельма:
Пастора уж давно на свете нет.
Окончив путь и тягостный, и труд-
ный,
Не нашим сном он крепко опочил.
Все жители останки провожали
Священные, с слезами на глазах;
Его дела, поступки поминали:
Не он ли нам спасением служил?
Нас наделял своим духовным хлебом,
В словах добру прекрасно поучая.
Не он ли был утехою скорбящих;
Сирот и вдов нетрепетным щитом. –
В день праздничный, как кротко он, бывало,
Всходил на кафедру! и с умиленьем
Нам говорил про мучеников чистых,
Про тяжкие страдания Христовы,
А мы ему, растроганны, внимали,
Дивилися и слезы проливали.

От Висмара когда кто держит путь,
Встречается налево от дороги

Ему кладбище: старые кресты
Склонилися, обшиты мохом,
И времени изведены резцом.
Но промеж них белеет резко урна
На черном камне, и над ней смиренно
Два явора зеленые шумят,
Далеко хладной обнимая тенью. –
Тут бренные покоятся останки
Пастора. Вызвались на свой же счет
Сооружить над ним благие поселяне
Последний знак его существованья
В сем мире. Надпись с четырех сторон
Гласит, как жил и сколько мирных лет
Провел на пастве, и когда оставил
Свой долгий путь, и Богу дух вручил. –

И в час, когда стыдливый развивает
Румяные восток свои власы;
Подымется по полю свежий ветер;
Посыплется алмазами роса;
В своих кустах малиновка зальется;
Полсолнца на земле всходя горит; –
К нему идут младые поселянки,

С гвоздиками и розами в руках.
Увешают душистыми цветами,
Гирландою зеленой обовьют,
И снова в путь назначенный идут.
Из них одна, младая, остается
И, опершись лилейною рукой,
Над ним сидит в раздумьи долго, долго,
Как будто бы о непостижном мыслит.
В задумчивой, скорбящей деве сей
Кто б не узнал печальныя Луизы?
Давно в глазах веселье не блестит;
Не кажется невинная усмешка
В ее лице; не пробежит по нем,
Хотя ошибкой, радостное чувство;
Но как мила она и в грусти томной!
О, как возвышенен невинный этот взгляд!
Так светлый серафим тоскует
О пагубном паденьи человека.
Мила была счастливая Луиза,
Но как-то мне в несчастии милее.

Осьмнадцать лет тогда минуло ей,
Когда преставился пастор разумный.
Всей детскою она своей душой
Богоподобного любила старца;
И думает в душевной глубине:
«Нет, не сбылись живые упованья
Твои. Как, добрый старец, ты желал
Нас обвенчать перед святым налоем,
Навеки наш союз соединить.
Как ты любил мечтательного Ганца!
А он...»

Заглянем в хижину Вильгельма.
Уж осень. Холодно. И дома он
Вытачивал с искусством хитрым кружки
Из крепкого с слоями бука,
Затейливой резьбою украшая;
У ног его свернувшися лежал
Любимый друг, товарищ верный, Гектор.
А вот разумная хозяйка Берта
С утра уже заботливо хлопочет

О всем. Толпится также под окном
Гусей ватага долгошейных; так же
Неугомонные кудахчут куры;
Чиликают нахалы воробьи,
Весь день в навозной куче роясь.
Видали уж красавца снигиря;
И осенью давно запахло в поле,
И пожелтел давно зеленый лист,
И ласточки давно уж отлетели
За дальние, роскошные моря.
Кричит разумная хозяйка Берта:
«Так долго не годится быть Луизе!
Темнеет день. Теперь не то, что летом;
Уж сыро, мокро, и густой туман
Так холодом всего и пронимает.
Зачем бродить? беда мне с этой девкой;
Не выкинет она из мыслей Ганца;
А бог знает, он жив ли, или нет».
Не то совсем раздумывает Фанни,
За пяльцами сидя в своем углу.

Шестнадцать лет ей, и, полна тоски
И тайных дум по идеальном друге,
Рассеянно, невнятно говорит:
«И я бы так, и я б его любила».

Картина XVII

Унывна осени пора;
Но день сегодняшний прекрасен:
На небе волны серебра,
И солнца лик блестящ и ясен.
Один дорогой почтовой
Бредет, с котомкой за спиной,
Печальный путник из чужбины.
Уныл, и томен он, и дик,
Идет согнувшись, как старик;
В нем Ганца нет и половины.
Полупотухший бродит взор
По злачным холмам, желтым нивам,
По разноцветной цепи гор.
Как бы в забвении счастливом,
Его касается мечта;

Но мысль не тем уж занята. –
Он в думы крепкие погружен.
Ему покой теперь бы нужен.

Прошел он дальний, видно, путь;
Страдает больно, видно, грудь;
Душа страдает, жалко ноя;
Ему теперь не до покоя.

О чем же думы крепки те?
Дивится сам он суете:
Как был измучен он судьбою;
И зло смеется над собою,
Что поверял своей мечтой
Свет ненавистный, слабоумной;
Что задивился в блеск пустой
Своей душою неразумной;
Что, не колеблясь, смело он
Сим людям кинулся в объятья;
И, околдован, охмелен,
В их злые верил предприятья. –
Как гробы холодны они;
Как тварь презреннейшая низки;

Корысть и почести одни
Им лишь и дороги, и близки.
Они позорят дивный дар:
И попирают вдохновенье,
И презирают откровенье;
Их холоден притворный жар,
И гибельно их пробужденье.
О, кто б нетрепетно проник
В их усыпительный язык!
Как ядовито их дыханье!
Как ложно сердца трепетанье!
Как их коварна голова!
Как пустозвучны их слова!

И много истин он, печальный,
Теперь изведал и узнал,
Но сам счастливее ли стал
Во глубине души опальной?
Лучистой, дальнею звездой
Его влекла, тянула слава,
Но ложен чад ее густой,
Горька блестящая отрава. –

Склоняется на запад день,
Вечерняя длиннеет тень.
И облаков блестящих, белых
Ярчее алые края;
На листьях темных, пожелтелых
Сверкает золота струя.
И вот завидел странник бедный
Свои родимые луга.
И взор мгновенно вспыхнул бледный,
Блеснула жаркая слеза.
Рой прежних, тех забав невинных
И тех проказ, тех дум старинных –
Все разом налегло на грудь
И не дает ему дохнуть.
И мыслит он: что это значит?..
И, как ребенок слабый, плачет.

Дума

Благословен тот дивный миг,
Когда в поре самопознанья,
В поре могучих сил своих,

Тот, небом избранный, постиг
Цель высшую существованья;
Когда не грез пустая тень,
Когда не славы блеск мишурный
Его тревожат ночь и день,
Его влекут в мир шумный, бурный;
Но мысль и крепка, и бодра
Его одна объемлет, мучит
Желаньем блага и добра;
Его трудам великим учит.
Для них он жизни не щадит.
Вотще безумно чернь кричит:
Он тверд средь сих живых обломков.
И только слышит, как шумит
Благословение потомков.

Когда ж коварные мечты
Взволнуют жаждой яркой доли,
А нет в душе железной воли,
Нет сил стоять средь суеты, –
Не лучше ль в тишине укромной
По полю жизни протекать,
Семьей довольствоваться скромной

И шуму света не внимать?

Картина XVIII

Выходят звезды плавным хором,
Обозревают кротким взором
Опочивающий весь мир;
Блюдут сон тихий человека,
Ниспосылают добрым мир;
А злым яд гибельный упрека.
Зачем же, звезды, грустным вы
Не посылаете покоя?
Для горемычной головы
Вы – радость, и, на вас покоя
Свой грустный стосковалый взор,
Страстей он слышит разговор
В душе, и вас он призывает,
И вам он пени поверяет.
По-прежнему всегда томна,
Еще Луиза не разделась;
Не спится ей; в мечтах она
На ночь осенню загляделась.

Предмет и тот же, и один…
И вот восторг к ней в душу входит:
Песнь стройную она заводит,
Звучит веселый клавесин.

Внимая шуму листопада,
Промеж деревьев, где сквозит
Из стен решетчатых ограда,
В забвеньи сладостном, у сада,
Наш Ганц, закутавшись, стоит.
И что же с ним, когда он звуки
Давно знакомые узнал,
И голос тот, со дня разлуки
Что долго, долго не слыхал;
И песню ту, что в страсти жаркой,
В любви, в избытке дивных сил,
Под строй души в напевах яркой,
Ее, восторженный, сложил?
Чрез сад она звенит, несется
И в упоеньи тихом льется:

Тебя зову! тебя зову!
Твоей улыбкою чаруюсь,

С тобой не час, не два сижу,
С тебя очей я не свожу:
Дивуюся, не надивуюсь.

* * *

Поешь ли ты – и звон речей
Твоих, таинственный, невинный,
Ударит в воздух ли пустынный –
Звук в небе льется соловьиный,
Гремит серебряный ручей.

* * *

Приди ко мне, прижмись ко мне
В жару чудесного волненья.
Пылает сердце в тишине;
Они горят, они в огне,
Твои покойные движенья.

* * *

Я без тебя грущу, томлюсь,
И позабыть тебя нет силы.
И пробуждаюсь ли, ложусь,

Все о тебе молюсь, молюсь,
Все о тебе, мой ангел милый.

* * *

И вот почудилося ей:
Чудесным заревом очей
Возле нее блистает кто-то,
И слышит вздох она кого-то,
И страх, и дрожь ее берет...
И оглянулась...
«Ганц!»...
О, кто поймет
Всю эту радость чудной встречи!
И взоров пламенные речи!
И этот чувств счастливый гнет!
О, кто так пламенно опишет
Сию душевную волну,
Когда она грудь рвет и пышет,
Терзает сердца глубину,
А сам дрожишь, в весельи млеешь,
Ни дум, ни слов найти не смеешь;
В восторге, в куче сладких мук,

Сольешься в стройный, светлый звук!

Опомнясь, Ганц глядит сквозь слезы
В глаза подруги своея;
И мыслит: «Полно, это грезы;
Пусть же не просыпаюсь я.
Она все та ж, и так любила
Меня всей детскою душой!
Чело печалию накрыла,
Румянец свежий иссушила,
Губила век свой молодой;
А я, безумный, бестолковой,
Летел искать кручины новой!..»
И спал страданий тяжкий сон
С его души; живой, спокойной,
Переродился снова он.
На время бурей возмущен,
Так снова блещет мир наш стройной;
В огне закаленный булат
Так снова ярче во сто крат.

Пируют гости, рюмки, чаши
Кругом обходят и гремят; –

И старики болтают наши;
И в танцах юноши кипят.
Звучит протяжным, шумным громом
Музыка яркая весь день;
Ворочает веселье домом;
Гостеприимно блещет сень.
И поселянки молодые
Чету влюбленную дарят:
Несут фиалки голубые,
Несут им розы огневые,
Их убирают и шумят:
Пусть век цветут их дни младые,
Как те фиалки полевые;
Сердца любовью да горят,
Как эти розы огневые! –

И в упоеньи, в неге чувств
Заране юноша трепещет, –
И светлый взор весельем блещет;
И беспритворно, без искусств,
Оковы сбросив принужденья,
Вкушает сердце наслажденья.
И вас, коварные мечты,

Боготворить уж он не станет, –
Земной поклонник красоты.
Но что ж опять его туманит?
(Как непонятен человек!)
Прощаясь с ними он навек, –
Как бы по старом друге верном,
Грустит в забвении усердном.
Так в заключеньи школьник ждет,
Когда желанный срок придет.
Лета к концу его ученья –
Он полон дум и упоенья,
Мечты воздушные ведет:
Он независимый, он вольный,
Собой и миром всем довольный,
Но, расставаяся с семьей
Своих товарищей, душой
Делил с кем шалость, труд, покой, –
И размышляет он, и стонет,
И с невыразною тоской
Слезу невольную уронит.

Эпилог

В уединении, в пустыне,
В никем незнаемой глуши,
В моей неведомой святыне,
Так созидаются отныне
Мечтанья тихие души.
Дойдет ли звук подобно шуму,
Взволнует ли кого-нибудь,
Живую юноши ли думу,
Иль девы пламенную грудь?
Веду с невольным умиленьем
Я песню тихую мою,
И с неразгаданным волненьем
Свою Германию пою.
Страна высоких помышлений!
Воздушных призраков страна!
О, как тобой душа полна!
Тебя обняв, как некий Гений,
Великий Гёте бережет,
И чудным строем песнопений

Свевает облака забот.

Новоселье

«Невесел ты!» – «Я весел был, –
Так говорю друзьям веселья, –
Но радость жизни разлюбил
И грусть зазвал на новоселье.
Я весел был – и светлый взгляд
Был не печален; с тяжкой мукой
Не зналось сердце; темный сад
И голубое небо скукой
Не утомляли – я был рад…
Когда же вьюга бушевала
И гром гремел и дождь звенел
И небо плакало – грустнел
Тогда и я: слеза дрожала,
Как непогода плакал я…
Но небо яснело, гроза бежала –

И снова рад и весел я…
Теперь, как осень, вянет младость.
Угрюм, не веселится мне,
И я тоскую в тишине,

И дик, и радость мне не в радость.
Смеясь, мне говорят друзья:
«Зачем расплакался? – Погода
И разгулялась и ясна,
И не темна, как ты, природа».
А я в ответ: – Мне все равно,
Как день, все измененья года!
Светло ль, темно ли – все одно,
Когда в сем сердце непогода!»

<Акростих>

***С**е образ жизни нечестивой,*
***П**угалище монахов всех,*
***И**нок монастыря строптивый,*
***Р**асстрига, сотворивший грех.*
***И** за сие-то преступленье*
***Д**остал он титул сей.*
***О,** чтец! имей терпенье,*
***Н**ачальные слова в устах запечатлей*[268].

---

[268] Примечания: 268
Приписывается Гоголю. (*Ред.*)

Италия

Италия – роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует.
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует.
Бежит, шумит задумчиво волна
И берега чудесные целует;
В ней небеса прекрасные блестят;
Лимон горит и веет аромат.

9

И всю страну объемлет вдохновенье;
На всем печать протекшего лежит;
И путник зреть великое творенье,
Сам пламенный, из снежных стран спешит;
Душа кипит, и весь он – умиленье,
В очах слеза невольная дрожит;
Он, погружен в мечтательную думу,

Внимает дел давно минувших шуму.

17

Здесь низок мир холодной суеты,
Здесь гордый ум с природы глаз не сводит;
И радужней в сияньи красоты,
И жарче, и ясней по небу солнце ходит.
И чудный шум и чудные мечты
Здесь море вдруг спокойное наводит;
В нем облаков мелькает резвый ход,
Зеленый лес и синий неба свод.

25

А ночь, а ночь вся вдохновеньем дышит.
Как спит земля, красой упоена!
И страстно мирт над ней главой колышет,
Среди небес, в сиянии луна
Глядит на мир, задумалась и слышит,

Как под веслом проговорит волна;
Как через сад октавы пронесутся,
Пленительно вдали звучат и льются.

33

Земля любви и море чарований!
Блистательный мирской пустыни сад!
Тот сад, где в облаке мечтаний
Еще живут Рафаэль и Торкват!
Узрю ль тебя я, полный ожиданий?
Душа в лучах, и думы говорят,
Меня влечет и жжет твое дыханье, –
Я в небесах, весь звук и трепетанье!..[269]

[269] Примечания: 269
Приписывается Гоголю. (*Ред.*)

Из поэмы «Россия под игом татар»

Раздвинув тучки среброрунны,
Явилась трепетно луна[270].

[270] Примечания: 270
Приписывается Гоголю. (*Ред.*)

Публицистика, критика, исторические наброски

Статьи из сборника «Арабески»
<Предисловие>

Собрание это составляют пьесы, писанные мною в разные времена, в разные эпохи моей жизни. Я не писал их по заказу. Они высказывались от души, и предметом избирал я только то, что сильно меня поражало. Между ними читатели, без сомнения, найдут много молодого. Признаюсь, некоторых пьес я бы, может быть, не допустил вовсе в это собрание, если бы издавал его годом прежде, когда я был более строг к своим старым трудам. Но вместо того, чтобы строго судить свое *прошедшее*, гораздо лучше быть неумолимым к своим занятиям *настоящим*. Истреблять прежде написанное нами, кажется, так же несправедливо, как позабывать минувшие дни своей юности. Притом если сочинение заключает в себе две, три еще не сказанные истины, то уже автор не вправе скрывать его от читателя, и за две, три верные мысли можно простить несовершенство целого.

Я должен сказать о самом издании: когда я прочитал отпечатанные листы, меня самого ис-

пугали во многих местах неисправности в слоге, излишности и пропуски, происшедшие от моей неосмотрительности. Но недосуг и обстоятельства, иногда не очень приятные, не позволяли мне пересматривать спокойно и внимательно свои рукописи, и потому смею надеяться, что читатели великодушно извинят меня.

Скульптура, живопись и музыка

Благодарность зиждителю мириад за благость и сострадание к людям! Три чудные сестры посланы им украсить и усладить мир: без них он бы был пустыня и без пения катился бы по своему пути. Дружнее, союзнее сдвинем наши желания и — первый кубок за здравие скульптуры! Чувственная, прекрасная, она прежде всего посетила землю. Она — мгновенное явление. Она — оставшийся след того народа, который весь заключился в ней, со всем своим духом и жизнию. Она — ясный призрак того светлого, греческого мира, который ушел от нас в глубокое удаление веков, скрылся уже туманом и до которого достигает одна только мысль поэта. Мир, увитый виноградными гроздиями и масличными лозами, гармоническим вымыслом и роскош-

ным язычеством; мир, несущийся в стройной пляске, при звуке тимпанов, в порыве вакхических движений, где чувство красоты проникло всюду: в хижину бедняка, под ветви платана, под мрамор колонн, на площадь, кипящую живым, своенравным народом, в рельеф, украшающий чашу пиршества, изображающий всю вьющуюся вереницу грациозной мифологии, где из пены волн стыдливо выходит богиня красоты, тритоны несутся, ударяя в ладони, Посейдон выходит из глубины своей прекрасной стихии серебряный и белый; мир, где вся религия заключилась в красоте, в красоте человеческой, в богоподобной красоте женщины, — этот мир весь остался в ней, в этой нежной скульптуре; ничто кроме ее не могло так живо выразить его светлое существование. Белая, млечная, дышащая в прозрачном мраморе красотой, негой и сладострастием, она сохранила одну идею, одну мысль: красоту, гордую красоту человека. В каком бы ни было пылу страсти, в каком бы ни было сильном порыве, но всегда в ней человек является прекрасным, гордым и невольно остановит атлетическим, свободным своим положением. Все в ней слилось в красоту и чувственность: с ее страдающими группами не сливаешь страдающий вопль сердца, но, можно

сказать, наслаждаешься самым их страданием; так чувство красоты пластической, спокойной пересиливает в ней стремление духа! Она никогда не выражала долгого глубокого чувства, она создавала только быстрые движения: свирепый гнев, мгновенный вопль страдания, ужас, испуг при внезапности, слезы, гордость и презрение и, наконец, красоту, погруженную саму в себя. Она обращает все чувства зрителя в одно наслаждение, в наслаждение спокойное, ведущее за собою негу и самодовольство языческого мира. В ней нет тех тайных, беспредельных чувств, которые влекут за собою бесконечные мечтания. В ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясений и переворотов жизни. Она прекрасна, мгновенна, как красавица, глянувшая в зеркало, усмехнувшаяся, видя свое изображение, и уже бегущая, влача с торжеством за собою толпу гордых юношей. Она очаровательна, как жизнь, как мир, как чувственная красота, которой она служит алтарем. Она родилась вместе с языческим, ясно образовавшимся миром, выразила его — и умерла вместе с ним. Напрасно хотели изобразить ею высокие явления христианства, она так же отделялась от него, как самая языческая вера. Никогда возвышенные, стремительные мысли не могли

улечься на ее мраморной сладострастной наружности. Они поглощались в ней чувственностью.

Не таковы две сестры ее, живопись и музыка, которых христианство воздвигнуло из ничтожества и превратило в исполинское. Его порывом они развились и исторгнулись из границ чувственного мира. Мне жаль моей мраморно-облачной скульптуры! Но… светлее сияй, покал мой, в моей смиренной келье, и да здравствует живопись! Возвышенная, прекрасная, как осень в богатом своем убранстве мелькающая сквозь переплет окна, увитого виноградом, смиренная и обширная, как Вселенная, яркая музыка очей — ты прекрасна! Никогда скульптура не смела выразить твоих небесных откровений. Никогда не были разлиты по ней те тонкие, те таинственно-земные черты, вглядываясь в которые, слышишь, как наполняет душу небо, и чувствуешь невыразимое. Вот мелькают, как в облачном тумане, длинные галереи, где из старинных позолоченных рам выказываешь ты себя живую и темную от неумолимого времени, и перед тобою стоит, сложивши накрест руки, безмолвный зритель; и уже нет в его лице наслаждения, взор его дышит наслаждением не здешним. Ты не была выражением жизни какой-нибудь нации; нет, ты была выше:

ты была выражением всего того, что имеет таинственно-высокий мир христианский. Взгляните на нее, задумчивую, опустившую на руку прекрасную свою голову: как вдохновенен и долог ясный взор ее! Она не схватывает одного только быстрого мгновения, какое выражает мрамор; она длит это мгновение, она продолжает жизнь за границы чувственного, она похищает явления из другого безграничного мира, для названия которых нет слов. Все неопределенное, что не в силах выразить мрамор, рассекаемый могучим молотом скульптора, определяется вдохновенною ее кистью. Она также выражает страсти, понятные всякому, но чувственность уже не так властвует в них; духовное невольно проникает все. Страдание выражается живее и вызывает сострадание, и вся она требует сочувствия, а не наслаждения. Она берет уже не одного человека, ее границы шире: она заключает в себе весь мир; все прекрасные явления, окружающие человека, в ее власти; вся тайная гармония и связь человека с природою — в ней одной. Она соединяет чувственное с духовным.

Но сильнее шипи, третий покал мой! Ярче сверкай и брызгай по золотым краям его, звонкая пена, — ты сверкаешь в честь музыки. Она

восторженнее, она стремительнее обеих сестер своих. Она вся — порыв; она вдруг за одним разом отрывает человека от земли его, оглушает его громом могущих звуков и разом погружает его в свой мир. Она властительно ударяет, как по клавишам, по его нервам, по всему его существованию и обращает его в один трепет. Он уже не наслаждается, он не сострадает, он сам превращается в страдание; душа его не созерцает непостижимого явления, но сама живет, живет своею жизнию, живет порывно, сокрушительно, мятежно. Невидимая, сладкогласная она проникла весь мир, разлилась и дышит в тысяче разных образов. Она томительна и мятежна; но могущественней и восторженней под бесконечными, темными сводами катедраля, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремит она в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несется с ними горé, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук, трепещущий в углублении остроконечной башни.

Как сравнить вас между собою, три прекрасные царицы мира? Чувственная, пленительная скульптура внушает наслаждение, живопись — тихой восторг и мечтание, музыка — страсть и

смятение души; рассматривая мраморное произведение скульптуры, дух невольно погружается в упоение; рассматривая произведение живописи, он превращается в созерцание; слыша музыку, — в болезненный вопль, как бы душою овладело только одно желание вырваться из тела. Она — наша! она — принадлежность нового мира! Она осталась нам, когда оставили нас и скульптура, и живопись, и зодчество. Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и — бросились в музыку. О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй нас! буди чаще наши меркантильные души! ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам! Волнуй, разрывай их и гони, хотя на мгновение, этот холодно-ужасный эгоизм, силящийся овладеть нашим миром. Пусть, при могущественном ударе смычка твоего, смятенная

душа грабителя почувствует, хотя на миг, угрызение совести, спекулятор растеряет свои расчеты, бесстыдство и наглость невольно выронит слезу пред созданием таланта. О, не оставляй нас, божество наше! Великий Зиждитель мира поверг нас в немеющее безмолвие своею глубокою мудростью: дикому, еще не развернувшемуся человеку он уже вдвинул мысль о зодчестве. Простыми, без помощи механизма, силами он ворочает гранитную гору, высоким обрывом громоздит ее к небу и повергается ниц перед безобразным ее величием. Древнему, ясному, чувственному миру послал он прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту — и весь древний мир обратился в фимиам красоте. Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений. Векам неспокойным и темным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял все радужное в жизни, дал он вдохновенную живопись, показавшую миру неземные явления, небесные наслаждения угодников. Но в наш юный и дряхлый век ниспослал он могущественную музыку стремительно обращать нас к нему. Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?

1831

О Средних веках

Никогда история мира не принимает такой важности и значительности, никогда не показывает она такого множества индивидуальных явлений, как в Средние веки. Все события мира, приближаясь к этим векам, после долгой неподвижности, текут с усиленною быстротою, как в пучину, как в мятежный водоворот, и, закружившись в нем, перемешавшись, переродившись, выходят свежими волнами. В них совершилось великое преобразование всего мира; они составляют узел, связывающий мир древний с новым; им можно назначить то же самое место в истории человечества, какое занимает в устроении человеческого тела сердце, к которому текут и от которого исходят все жилы. Как совершилось это всемирное преобразование? какие удержались в нем старые стихии? что прибавлено нового? каким образом они смешались? что произошло от этого смешения? как образовалось величественное, стройное здание веков новых? — Это такие вопросы, которым равные по важности едва ли найдутся во всей истории. Все, что мы

имеем, чем пользуемся, чем можем похвалиться перед другими веками, все устройство и искусное сложение наших административных частей, все отношения разных сословий между собою, самые даже сословия, наша религия, наши права и привилегии, нравы, обычаи, самые знания, совершившие такой быстрый прогрессивный ход, — все это или получило начало и зародыш, или даже развилось и образовалось в темные, закрытые для нас Средние века. В них первоначальные стихии и фундамент всего нового; без глубокого и внимательного исследования их не ясна, не удовлетворительна, не полна новая история; и слушатели ее похожи на посетителей фабрики, которые изумляются быстрой отделке изделий, совершающейся почти перед глазами их, но позабывают заглянуть в темное подземелье, где скрыты первые всемогущие колеса, дающие толчок всему: такая история похожа на статую художника, не изучившего анатомии человека.

Отчего же, несмотря на всю важность этих необыкновенных веков, всегда как-то неохотно ими занимались? Отчего, приближаясь к ним, всегда спешили скорее пройти их и отделаться от них, и редкие, очень редкие, пораженные

величием предмета, возлагали на себя труд разрешить некоторые из приведенных вопросов? Мне кажется, это происходило оттого, что средней истории назначали самое низшее место. Время ее действия считали слишком варварским, слишком невежественным, и оттого-то оно и в самом деле сделалось для нас темным, раскрытое не вполне, оцененное не по справедливости, представленное не в гениальном величии. Невежественным можно назвать разве только одно начало, но это невежественное время уже имеет в себе то, что должно родить в нас величайшее любопытство. Самый процесс слияния двух жизней, древнего мира и нового, это резкое противоречие их образов и свойств, эти дряхлые, умирающие стихии старого мира, которые тянутся по новому пространству, как реки, впавшие в море, но долго еще не сливающие своих пресных вод с солеными волнами; эти дикие, мощные стихии нового, упорно не допускающие к себе чуждого влияния, но наконец невольно принимающие его; это старание, с каким европейские дикари кроят посвоему римское просвещение; эти отрывки или, лучше сказать, клочки римских форм, законов, среди новых, еще неопределенных, не получивших ни образа, ни границ, ни порядка; самый

этот хаос, в котором бродят разложенные начала страшного величия нынешней Европы и тысящелетней силы ее, — они все для нас занимательнее и более возбуждают любопытства, нежели неподвижное время всесветной Римской империи под правлением ее бессильных императоров.

Другая причина, почему неохотно занимались историею средних веков, это — мнимая сухость, которую привыкли сливать с понятием о ней. На нее глядели, как на кучу происшествий нестройных, разнородных, как на толпу раздробленных и бессмысленных движений, не имеющих главной нити, которая бы совокупляла их в одно целое. В самом деле ее страшная, необыкновенная сложность с первого раза не может не показаться чем-то хаосным, но рассматривайте внимательнее и глубже, и вы найдете и связь, и цель, и направление; я однако же не отрицаю, что для самого уменья найти все это нужно быть одарену тем чутьем, которым обладают немногие историки. Этим немногим предоставлен завидный дар увидеть и представить все в изумительной ясности и стройности. После их волшебного прикосновения происшествие оживляется и приобретает свою собственность, свою занимательность; без них оно долго представляется для

всякого сухим и бессмысленным. Все, что было и происходило, — все занимательно, если только о нем сохранились верные летописи, выключая разве совершенное бесстрастие народов; везде есть нить, как во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бывает заткана утоком: как в лучистом камне есть невидимый свет, который он отливает, будучи обращен к солнцу, — она исчезает только с утратою известий. Так и в первоначальных веках средней истории сквозь всю кучу происшествий невидимою нитью тянется постепенное возрастание папской власти и развивается феодализм. Казалось, события происходили совершенно отдельно и блеском своим затемняли уединенного, еще скромного римского первосвященника; действовал сильный государь или его вассал и действовал лично для себя, а между тем существенные выгоды незаметно текли в Рим. И все, что ни происходило, казалось, нарочно происходило для папы. Гильдебрандт только отдернул занавес и показал власть, уже давно приобретенную папами.

История Средних веков менее всего может назваться скучною. Нигде нет такой пестроты, такого живого действия, таких резких противоположностей, такой странной яркости, как в

ней: ее можно сравнить с огромным строением, в фундаменте которого улегся свежий, крепкий как вечность гранит, а толстые стены выведены из различного, старого и нового материала, так что на одном кирпиче видны готфские руны, на другом блестит римская позолота; арабская резьба, греческий карниз, готическое окно — все слепилось в нем и составило самую пеструю башню. Но яркость, можно сказать, только внешний признак событий средних веков; внутреннее же их достоинство есть колоссальность исполинская, почти чудесная, отвага, свойственная одному только возрасту юноши, и оригинальность, делающая их единственными, не встречающими себе подобия и повторения ни в древние, ни в новые времена.

Бросим взгляд на те из событий, которые произвели сильное влияние. Главный сюжет средней истории есть папа. Он — могущественный обладатель этих молодых веков, он движет всеми силами их и, как громовержец, одним мановением своим правит их судьбою. Словом, вся средняя история есть история папы. Его непреодолимое желание властвовать, его постоянные средства, исполненные проницательности и мудрости, следствия старческого возраста, его деспотизм и

деспотизм бесчисленных легионов его могущественного духовенства — ревностных подданных духовного монарха, наложивших свои железные оковы на все углы мира, куда ни проникло знамение креста, — представляют явление единственное, колоссальное и не повторявшееся никогда. Не стану говорить о злоупотреблении и о тяжести оков духовного деспота. Проникнув более в это великое событие, увидим изумительную мудрость провидения: не схвати эта всемогущая власть всего в свои руки, не двигай и не устремляй по своему желанию народы — и Европа рассыпалась бы, связи бы не было; некоторые государства поднялись бы, может быть, вдруг, и вдруг бы развратились; другие сохранили бы дикость свою на гибель соседам; образование и дух народный разлились бы неровно; в одном уголку выказывалось бы образование, в другом бы чернел мрак варварства; Европа бы не устоялась, не сохранила того равновесия, которое так удивительно ее содержит; она бы долее была в хаосе, она бы не слилась железною силою энтузиазма в одну стену, устранившую своею крепостью восточных завоевателей, и, может быть, без этого великого явления Европа уступила бы их напору, и магометанская луна горделиво

вознеслась бы над нею, вместо креста. Невольно преклонишь колена, следя чудные пути провидения: власть папам как будто нарочно дана была для того, чтобы в продолжение этого времени юные государства окрепли и возмужали; чтобы они повиновались прежде, нежели достигнут возраста повелевать другими; чтобы сообщить им энергию, без которой жизнь народов бесцветна и бессильна. И как только народы достигли состояния управлять собою, власть папы, как исполнившая уже свое предназначение, как более уже ненужная, вдруг поколебалась и стала разрушаться, несмотря на все сильные меры, на все желание удержать гибнущие силы свои. Власть их в этом отношении была то же, что подмостки и лес для постройки здания; вначале они выше и кажутся значительнее самого строения, но как только строение достигло настоящей высоты, они как ненужные принимаются прочь.

С мыслию о средних веках невольно сливается мысль о Крестовых походах — необыкновенном событии, которое стоит как исполин в средине других, тоже чудесных и необыкновенных. Где, в какое время было когда-нибудь равное ему своею оригинальностью и величием? Это не какая-нибудь война за похищенную жену, не

порождение ненависти двух непримиримых наций, не кровопролитная битва между двумя алчными властителями за корону или за клочок земли, даже не война за свободу и народную независимость. Нет! ни одна из страстей, ни одно собственное желание, ни одна личная выгода не входят сюда: все проникнуты одною мыслию — освободить Гроб Божественного Спасителя! Народы текут с крестами со всех сторон Европы; короли, графы в простых власяницах; монахи, препоясанные оружием, становятся в ряды воинов; епископы, пустынники с крестами в руках предводят несметными толпами — и все текут освободить свою веру. Владычество одной мысли объемлет все народы. Нет ли чего-то великого в этой мысли? И напрасно Крестовые походы называются безрассудным предприятием. Не странно ли было бы, если бы отрок заговорил словами рассудительного мужа? Они были порождение тогдашнего духа и времени. Предприятие это — дело юноши, но такого юноши, которому определено быть гением. А какие бесчисленные, какие удивительные и непредвиденные следствия Крестовых походов! Нужно было всю массу образовать и воспитать, дать ей увидеть свет, который часто заслоняло

духовенство, и вся масса для этого извергается в другую часть света, где потухающее аравийское просвещение силится передать ей свой пламень, и — вся Европа вояжирует по Азии. Не вправе ли мы изумляться? Обыкновенно какой-нибудь выходец из земли образованной один приносит просвещение и первые сведения в неизвестную страну и постепенно образует дикарей; но образование это тянется медленно, неровно. Здесь же, напротив, народы сами всею своею массою приходят за образованием и, несмотря на долгое пребывание, не сливаются с своими учителями, ничего не перенимают у них роскошного и развратного, удерживают свою самобытность, при всем заимствовании множества азиатских обыкновений, и возвращаются в Европу европейцами, а не азиатцами. Я уже не говорю о тех следствиях, тех переменах в феодальном правлении, для которых нужно было временное удаление многих сильных.

Но бросим взгляд на другие происшествия, наполняющие среднюю историю. Они хотя в сравнении с Крестовыми походами могут почесться второстепенными, но тем не менее все исполнены чудесности, сообщающей средним векам какой-то фантастический свет, все — порождение

юношества прекрасного, исполненного самых сильных и великих надежд, часто безрассудного, но пленительного и в самой безрассудности. Рассмотрим их по порядку времени; возьмем то блестящее время, когда появились аравитяне — краса народов восточных. И одному только человеку и созданной им религии, роскошной, как ночи и вечера Востока, пламенной, как природа, близкая к Индийскому морю, важной и размышляющей, какую только могли внушить великие пустыни Азии, — обязаны они всем своим блестящим, радужным существованием! С непостижимою быстротою они, эти смуглые чалмоносцы, воздвигают свои калифаты с трех сторон Средиземного моря. И воображение их, ум и все способности, которыми природа так чудно одарила араба, развиваются в виду изумленного Запада, отпечатываясь со всею роскошью на их дворцах, мечетях, садах, фонтанах, и так же внезапно, как в их сказках, кипящих изумрудами и перлами восточной поэзии. Век вперед — и уже он исчез, этот необыкновенный народ, так что в раздумьи спрашиваешь себя: точно ли он жил и существовал, или он — самое прекрасное создание нашего воображения?

Как чудесно и какой сильной исполнено проти-

воположности появление норманнов — народа, которого гневный Север свирепо выбросил из ледяных недр своих. Горсть людей дерзких, за которыми как будто гонятся по пятам мрачный их Один и снеговые горы Скандинавии, наводит панический страх на обширные государства! По Северному океану плывут их движущиеся королевства под начальством морских своих королей, — и все падает ниц перед этими малолюдными пришлецами, воспитанными бурею, морями, страшною бедностию Скандинавии и дикою религиею.

Колоссальные завоевания и распространение монголов были также делом почти сверхъестественным. Необъятная внутренность Азии, которая была скрыта от глаз всех народов, осветилась вдруг в самом страшном величии. Эти степи, которым нет конца, озера и пустыни исполинского размера, где все раздалось в ширину и беспредельную равнину, где человек встречается как будто для того, чтобы собою увеличить еще более окружающее пространство; степи, шумящие хлебом, никем не сеянным и не собираемым, травою, почти равняющеюся ростом с деревьями, степи, где пасутся табуны и стада, которых от века никто не считал, и сами владельцы не знают

настоящего количества, эти степи увидели среди себя Чингис-Хана, давшего обет перед толпами своих узкоглазых, плосколицых, широкоплечих, малорослых монголов завоевать мир, и — многолюдный Пекин горит целый месяц, миллион народа выстреливается монгольскими стрелами, государь тунгусский гибнет с сотнями тысяч подданных на замерзшем озере, стада пригоняются к границам Индии, табуны кишат при Волге. Словом, как будто на завоеваниях их отразилась колоссальность Азии. Такого быстрого распространения тоже не видала ни древняя, ни новая история.

Я уже ничего не говорю о важной торговле Венеции — этого небольшого лоскутка земли, которую всю занимал один город, и город без государства, выжимая золото со всего мира, и коего царственные купцы своими кораблями, горделиво обошедшими все моря, и дворцами при Адриатическом море далеко превосходили многих монархов. Этого явления я не считаю единственным и необыкновенным. Оно повторяется в истории мира часто, хотя в других формах и с разными изменениями. Несравненно оригинальнее жизнь Европы во время и после Крестовых походов, когда в ней все еще темны и

неопределенны границы государств; когда еще государь звучит одним именем своим, и вместо того миллионы владельцев, из которых каждый — маленькой император в своей земле; когда вся Европа облекается в неприступные замки с башнями и зубцами, и твердые крепости усеивают ее поверхность; когда воспитанная взаимным страхом и битвами сила рыцарей делается почти львиною и заковывается с ног до головы в железо, тяжести которого еще не выносил человек, и грубо, независимо развивается самостоятельная гордость души. Казалось, эта дикая храбрость должна бы совершенно закалить их и сделать так же бесчувственными, как непроницаемые их латы. Но как удивительно они были укрощены, и таким явлением, которое представляет совершенную противуположность с их нравами! это — всеобщее беспредельное уважение к женщинам. Женщина средних веков является божеством; для ней турниры, для ней ломаются копья, ее розовая или голубая лента вьется на шлемах и латах и вливает сверхъестественные силы; для ней суровый рыцарь удерживает свои страсти так же мощно, как арабского бегуна своего, налагает на себя обеты изумительные и неподражаемые по своей строгости к себе, и все

для того, чтобы быть достойным повергнуться к ногам своего божества. Если эта возвышенная любовь изумительна, то влияние ее на нравы и того более. Все благородство в характере европейцев было ее следствием. А вся эта странническая жизнь, которая обратила Европу в какую-то движущуюся столицу, доставившая тысячи опытов и приключений каждому и произведшая впоследствии в европейцах жажду к открытию новых земель! Как самые их взаимные брани и битвы, вечно неспокойное положение, вместо того, чтобы ослабить всеобщий дух и напряжение, как то обыкновенно делается в периодах истории, когда роскошь разъедает раны нравственной болезни народов и алчность выгод личных выводит за собою низость, лесть и способность устремиться на все утонченные пороки, — вместо этого они только укрепили и развили их! Пороки народов образованных не смели коснуться рыцарства Европы. Казалось, провидение бодрствовало над ним неусыпно и с заботливостью преданного наставника берегло его. Едва только возникли улучшения для жизни, которые подносила Венеция и Ганза, и начали отдалять рыцарей от их обетов и строгой жизни, подогревать желание наслаждений и уменьшать энтузиазм религи-

озный, как появившиеся чудные, небывалые никогда дотоле общества стали грозными соглядатаями, неумолимою совестью перед народами Европы. Никогда история не представляла обществ, связанных такими неразрывными узами, как эти духовные ордена рыцарей. Ничего для своей пользы или для своего существования, что всегда составляло цель обществ! Уничтожить все, что составляет желание человека, и жить для всего человечества; жить, чтобы быть грозными хранителями мира, чтобы носить в себе одно: защиту веры Христовой; все принести ей в жертву и отказаться от всего, что отзывается выгодою жизни! Не чудесно ли это явление! Эта энергия и сила для него могла быть только вычерпнута из Средних веков. И как только ордена рыцарские стали уклоняться от своей цели и обращать глаза на другие, как только начали заражаться желанием добычи и корысти, и роскошь заставляла их живее привязываться к собственной жизни, и они стали походить сами на тех, за которыми наложили на себя сами же смотрение, — как возникают уже страшные тайные суды, неумолимые, неотразимые, как высшие предопределения, являющиеся уже не совестью перед ветреным миром, но страшным изображением смерти и казни.

Ни сила, ни обширные земли, ни даже самая корона не спасают и не отменяют произнесенного ими приговора. Незнаемые, невидимые как судьба, где-нибудь в глуши лесов, под сырым сводом глубокого подземелья, они взвешивали и разбирали всю жизнь и дела того, которому посреди необъятных своих земель и сотни покорных вассалов и в мысль не приходило, есть ли где в мире власть выше его. И если эти подземные судьи раз произносили обвиняющее слово — все кончено. Напрасно властитель грозою могущества своего затрудняет к себе приближение, напрасно его золото залепляет уста и заставляет всех прославлять его — неумолимый кинжал настигает его на конце мира, крадется мимо пышной толпы и разит его из-за плеча друга. Не составляет ли это чудесности почти сказочной? Только там так неотразимо, так сверхъестественно, так неправильно действует человек, оторванный от общества, лишенный покрова законной власти, не знающий, что такое слово: невозможность.

А самый образ занятий, царствовавший в средине и конце Средних веков, — это всеобщее устремление всех к чудесной науке, это желание выпытать и узнать таинственную силу в природе, эта алчность, с какою все ударились

в волшебство и чародейственные науки, на которых ясно кипит признак европейского любопытства, без которого науки никогда бы не развились и не достигли нынешнего совершенства! Самая даже простодушная вера их в духов и обвинения в сообщении с ними имеют для нас уже необыкновенную занимательность. А занятия алхимиею, считавшеюся ключом ко всем познаниям, венцом учености Средних веков, в которой заключилось детское желание открыть совершеннейший металл, который бы доставил человеку все! Представьте себе какой-нибудь германский город в средние веки, эти узенькие, неправильные улицы, высокие, пестрые готические домики и среди их какой-нибудь ветхий, почти валящийся, считаемый необитаемым, по растреснувшимся стенам которого лепится мох и старость, окна глухо заколочены — это жилище алхимика. Ничто не говорит в нем о присутствии живущего, но в глухую ночь голубоватый дым, вылетая из трубы, докладывает о неусыпном бодрствовании старца, уже поседевшего в своих исканиях, но все еще неразлучного с надеждою, — и благочестивый ремесленник средних веков со страхом бежит от жилища, где, по его мнению, духи основали приют свой, и где вместо

духов основало жилище неугасимое желание, непреоборимое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, возгорающееся даже от неудачи — первоначальная стихия всего европейского духа, — которое напрасно преследует инквизиция, проникая во все тайные мышления человека: оно вырывается мимо и, облеченное страхом, еще с большим наслаждением предается своим занятиям.

А самая инквизиция? Какое мрачное и ужасное явление! Инквизиция свирепая, слепая, владевшая бесчисленными сводами и подземельями монастырей, не верящая ничему, кроме своих ужасных пыток, на которых человек показал адскую изобретательность; инквизиция, выпускавшая из-под монашеских мантий свои железные когти, хватавшие всех без различия, кто только ни предавался странным и необыкновенным занятиям; подтвердившая великую истину, что если может физическая природа человека, доведенная муками, заглушить голос души, то в общей массе всего человечества душа всегда торжествует над телом.

Не единственны ли все эти явления? Не дают ли они права назвать средние века веками чудесными? Чудесное прорывается при каждом

шаге и властвует везде во все течение этих юных десяти веков; юных потому, что в них действует все молодое, кипящее отвагою, порывы и мечты, не думавшие о следствиях, не призывавшие на помощь холодного соображения, еще не имевшие прошедшего, чтобы оглянуться. Все было в них — поэзия и безотчетность. Вы вдруг почувствуете перелом, когда вступите в область истории новой. Перемена слишком ощутительна, и состояние души вашей будет похоже на волны моря, прежде воздымавшиеся неправильными, высокими буграми, но после улегшиеся и всею своею необозримою равниною мерно и стройно совершающие правильное течение. Действия человека в Средних веках кажутся совершенно безотчетны; самые великие происшествия представляют совершенные контрасты между собою и противоречат во всем друг другу. Но совокупление их всех вместе в целое являет изумительную мудрость. Если можно сравнить жизнь одного человека с жизнию целого человечества, то средние века будут то же, что время воспитания человека в школе. Дни его текут незаметно для света, деяния его не так крепки и зрелы, как нужно для мира: об них никто не знает, но зато они все — следствие порыва и обнажают за одним

разом все внутренние движения человека, и без них не состоялась бы будущая его деятельность в кругу общества.

Теперь рассмотрите, между какими колоссальными событиями заключается время Средних веков! Великая империя, повелевавшая миром, двенадцативековая нация, дряхлая, истощенная, падает; с нею валится полсвета, с нею валится весь древний мир с полуязыческим образом мыслей, безвкусными писателями, гладиаторами, статуями, тяжестью роскоши и утонченностью разврата. Это их начало. Оканчиваются Средние века тоже самым огромным событием: всеобщим взрывом, подымающим на воздух все и обращающим в ничто все страшные власти, так деспотически их обнявшие. Власть папы подрывается и падает, власть невежества подрывается, сокровища и всемирная торговля Венеции подрываются, и когда всеобщий хаос переворота очищается и проясняется, пред изумленными очами являются монархи, держащие мощною рукою свои скипетры; корабли, расширенным взмахом несущиеся по волнам необъятного океана мимо Средиземного моря; в руках у европейцев вместо бессильного оружия — огонь; печатные листы разлетаются по всем концам

мира; и все это результаты Средних веков. Сильный напор и усиленный гнет властей, казалось, были для того только, чтобы сильнее произвесть всеобщий взрыв. Ум человека, задвинутый крепкою толщею, не мог иначе прорваться, как собравши все свои усилия, всего себя. И оттого-то, может быть, ни один век не представляет таких гигантских открытий, как XV век, которым так блистательно оканчиваются Средние века, величественные, как колоссальный готический храм, темные, мрачные, как его пересекаемые один другим своды, пестрые, как разноцветные его окна и куча изузоривающих его украшений, возвышенные, исполненные порывов, как его летящие к небу столпы и стены, оканчивающиеся мелькающим в облаках шпицем.

О преподавании всеобщей истории

I

Всеобщая история, в истинном ее значении, не есть собрание частных историй всех народов и государств без общей связи, без общего плана, без общей цели, куча происшествий без порядка, в безжизненном и сухом виде, в каком очень часто ее представляют. Предмет ее велик: она

должна обнять вдруг и в полной картине все человечество, каким образом оно из своего первоначального, бедного младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и наконец достигло нынешней эпохи. Показать весь этот великий процесс, который выдержал свободный дух человека кровавыми трудами, борясь от самой колыбели с невежеством, природой и исполинскими препятствиями: вот цель всеобщей истории! Она должна собрать в одно все народы мира, разрозненные временем, случаем, горами, морями, и соединить их в одно стройное целое; из них составить одну величественную полную поэму. Происшествие, не произведшее влияния на мир, не имеет права войти сюда. Все события мира должны быть так тесно связаны между собою и цепляться одно за другое, как кольца в цепи. Если одно кольцо будет вырвано, то цепь разрывается. Связь эту не должно принимать в буквальном смысле. Она не есть та видимая, вещественная связь, которою часто насильно связывают происшествия, или система, создающаяся в голове независимо от фактов и к которой после своевольно притягивают события мира. Связь эта должна заключаться в одной общей мысли: в одной неразрывной истории человечества, перед

которою и государства и события — временные формы и образы! Мир должен быть представлен в том же колоссальном величии, в каком он являлся, проникнутый теми же таинственными путями промысла, которые так непостижимо на нем означались. Интерес необходимо должен быть доведен до высочайшей степени, так, чтобы слушателя мучило желание узнать далее; чтобы он не в состоянии был закрыть книгу или не дослушать, но если бы и сделал это, то разве с тем только, чтобы начать сызнова чтение; чтобы очевидно было, как одно событие рождает другое и как без первоначального не было бы последующего. Только таким образом должна быть создана история.

II

Все, что ни является в истории: народы, события — должны быть непременно живы и как бы находиться пред глазами слушателей или читателей, чтоб каждый народ, каждое государство сохраняли свой мир, свои краски, чтобы народ со всеми своими подвигами и влиянием на мир проносился ярко, в таком же точно виде и костюме, в каком был он в минувшие времена. Для того нуж-

но собрать не многие черты, но такие, которые бы высказывали много, черты самые оригинальные, самые резкие, какие только имел изображаемый народ. Для того, чтобы извлечь эти черты, нужен ум, сильный схватить все незаметные для простого глаза оттенки, нужно терпение перерыть множество иногда самых неинтересных книг. Но что уже один узнал, то другим передается легко; и потому слушатели должны узнать это, не роясь в архивах.

III

Преподаватель должен призвать в помощь географию, но не в том жалком виде, в каком ее часто принимают, т. е. для того только, чтобы показать место, где что происходило. Нет! География должна разгадать многое, без нее неизъяснимое в истории. Она должна показать, как положение земли имело влияние на целые нации; как оно дало особенный характер им; как часто гора, вечная граница, взгроможденная природою, дала другое направление событиям, изменила вид мира, преградив великое разлитие опустошительного народа или заключивши в неприступной своей крепости народ малочисленный; как это могучее

положение земли дало одному народу всю деятельность жизни, между тем как другой осудило на неподвижность; каким образом оно имело влияние на нравы, обычаи, правление, законы. Здесь-то они должны увидеть, как образуется правление; что его не люди совершенно установляют, но нечувствительно устанавливает и развивает самое положение земли; что формы его оттого священны, и изменение их неминуемо должно навлечь несчастие на народ.

IV

События и эпохи великие, всемирные, должны быть означены ярко, сильно, должны выдвигаться на первом плане со всеми своими следствиями, изменившими мир: не так, как делают иногда преподаватели, которые, сказавши, что такое-то происшествие есть великое, тем и отделываются или приводят близорукие следствия в виде отрубленных ветвей, тогда как должно развить его во всем пространстве, вывесть наружу все тайные причины его явления и показать, каким образом следствия от него, как широкие ветви, распростираются по грядущим векам, более и более разветвляются на едва заметные отпрыски,

слабеют и наконец совершенно исчезают или глухо отдаются даже в нынешние времена, подобно сильному звуку в горном ущельи, который вдруг умирает после рождения, но долго еще отзывается в своем эхе. Эти события должно показать в таком виде, чтобы все видели ясно, что они великие маяки всеобщей истории; что на них она держится, как земля держится на первозданных гранитах, как животное на своем скелете.

V

Теперь об образе преподавания. Слог профессора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени овладеть вниманием слушателей. Если хоть один из них может предаться во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора: он не умел быть так занимателен, чтобы покорить своей воле даже мысли слушателей. Нельзя вообразить не испытавши, какое вредное влияние происходит от того, если слог профессора вял, сух и не имеет той живости, которая не дает мыслям ни на минуту рассыпаться. Тогда не спасет его самая ученость: его не будут слушать; тогда никакие истины не произведут на слушателей

влияния, потому что их возраст есть возраст энтузиазма и сильных потрясений; тогда происходит то, что самые ложные мысли, слышимые ими стороною, но выраженные блестящим и привлекательным языком, мгновенно увлекут их и дадут им совершенно ложное направление. Что же тогда, когда профессор еще сверх того облечен школьною методою, схоластическими мертвыми правилами и не имеет даже умственных сил доказать их; когда юный, развертывающийся ум слушателей, начиная понимать уже выше его, приучается презирать его? Тогда даже справедливые замечания возбуждают внутренний смех и желание действовать и умствовать наперекор; тогда самые священные слова в устах его, как то: преданность к религии и привязанность к отечеству и государю, превращаются для них в мнения ничтожные. Какие из этого бывают ужасные следствия, это видим к сожалению нередко. И потому-то не должно упускать из внимания, что возраст слушателей есть возраст сильных впечатлений; и потому нужно иметь всю силу, всю увлекательность, чтобы обратить этот энтузиазм их на прекрасное и благородное; чтобы рассказ профессора дышал сам энтузиазмом. Его убеждения должны быть так сильны, так выведены из

самой природы, так естественны, чтобы слушатели сами увидели истину еще прежде, нежели он совершенно укажет на нее. Рассказ профессора должен делаться по временам возвышен, должен сыпать и возбуждать высокие мысли, но вместе с тем должен быть прост и понятен для всякого. Истинно высокое одето величественною простотою: где величие, там и простота. Он не должен довольствоваться тем, что его некоторые понимают; его должны понимать все. Чтобы делаться доступнее, он не должен быть скуп на сравнения. Как часто понятное еще более поясняется сравнением! и потому эти сравнения он должен всегда брать из предметов самых знакомых слушателям. Тогда и идеальное и отвлеченное становятся понятным. Он не должен говорить слишком много, потому что этим утомляется внимание слушателей и потому что многосложность и большое обилие предметов не дадут возможности удержать всего в мыслях. Каждая лекция профессора непременно должна иметь целость и казаться оконченною, чтоб в уме слушателей она представлялась стройною поэмою; чтобы они видели в начале, что́ она должна заключать в себе и что́ заключает: чрез это они сами в своем рассказе всегда будут соблюдать цель и целость.

А это необходимее всего в истории, где ни одно событие не брошено без цели.

VI

План же для преподавания, после многих наблюдений, испытаний себя и слушателей, я полагаю лучшим следующий:

Прежде всего почитаю необходимым представить слушателям эскиз всей истории человечества, в немногих, но сильных словах и в нераздельной связи, чтобы они вдруг обняли все то, о чем будут слышать, иначе они не так скоро и не в такой ясности постигнут весь механизм истории. Все равно, как нельзя узнать совершенно город, исходивши все его улицы: для этого нужно взойти на возвышенное место, откуда бы он виден был весь, как на ладони. Я набрасываю здесь эскиз для того, чтобы показать вместе, в каком виде и в какой связи должна быть история.

Прежде всего я должен представить, каким образом человечество началось Востоком. Я должен изобразить Восток с его древними патриархальными царствами, с религиями, облеченными в глубокую таинственность, так непонятную для простого народа, кроме религии евреев, между

коими сохранилось чистое, первобытное ведение истинного Бога; как эти древние государства оградились друг от друга, будто неприступною стеною, нетерпимостью и китайскою осторожностью; как один только народ финикийский, первые мореплаватели древнего мира, приводил невольно своею промышленностью в сообщение эти почти неподвижные государства, и каким образом первый всемирный завоеватель, Кир, с свежим и сильным народом, персами, подверг весь Восток своей власти и насильно соединил разнохарактерные народы; но нравы, религия, формы правления остались в государствах те же, цари только обратились в сатрапов, и весь Восток видел над собою одну верховную власть царя царей, персидского повелителя; как постепенно от взаимного сообщения эти народы теряли свою особенность и национальность и вместе с своим царем царей, почти богом, невидимым для народа, поверглись в азиатскую роскошь. — Здесь я останавливаюсь и обращаюсь к другой части древнего мира, к Европе. Я должен изобразить, как возник в ней этот цвет его, народ греческий, с живым, любопытным умом, республиканским духом, совершенно противоположными формами правления, поэтической религией, ясными,

живыми идеями, так противоборствующими важной таинственности Востока; как развернулось у них просвещение в таком необыкновенном блеске, и как наконец один честолюбивый грек подверг их своей монархической власти, как этот великий грек задумал гигантское дело: соединить Восток с Европою и разнесть везде греческое просвещение. И вот, чтобы связать теснее три части света, строится город Александрия; герой умирает, всесветная монархия падает вместе с ним. Но подвиги его живы, плоды зреют: настает знаменитый александрийский век, когда весь древний мир толпится у гавани александрийской, когда греческие ученые во всех городах, и национальность опять исчезает, народы опять смешиваются! А между тем в Италии, почти невидимо от всех, созревает железная сила римлян.

Я должен изобразить, как этот суровый, воинственный народ покоряет одно за другим государства, обогащается награбленными богатствами, поглощает весь Восток. Легионы его проникают в те земли Европы, где владение уже не доставляет ничего нужного для человека. Уже Цезарь заносит ногу в Британнию, римские орлы на скалах Албиона…, между тем неведомые степи Средней Азии извергают толпы неведо-

мых народов, которые теснят и гонят пред собою других, вгоняют их в Европу, сами несутся по пятам их и грозно останавливаются на севере, как зловещая кара, ожидающая обреченной жертвы, скрытые от римлян германскими лесами и непроходимыми болотами. А между тем уже ни одного не остается независимого царства. Весь мир разделен на римские провинции. Римляне перенимают все у побежденных народов, сначала пороки, потом просвещение. Все мешается опять. Все делаются римлянами и ни одного настоящего римлянина! И когда развратные императоры, своевольное войско, отпущенники и содержатели зрелищ тиранствуют над миром, — в недрах его неприметно совершается великое событие: в ветхом мире зарождается новый! воплощается неузнанный миром Божественный Спаситель его; и вечное слово, не понятое властелинами, раздается в темницах и пустынях, таинственно выжидая новых народов. Наконец на весь древний мир непостижимо находит летаргический сон, та страшная неподвижность, то ужасное онемение жизни, когда просвещение не двигается ни вперед, ни назад, сила и характер исчезают, все обращается в мелкий, ничтожный этикет, жалкую, развратную бесхарактерность. А в Азии

между тем новый толчок, как электрическая искра, пробегает по всей цепи: один народ теснит и гонит перед собою другой, который в свою очередь сгоняет третий, и самые крайние появляются уже на римских границах, тогда как жалкие победители мира употребляют все усилия спасти себя: сначала откупаются золотом, потом из них же составляют себе войско защитников, потом отдают им одну за другою все свои провинции, наконец предают им Рим, и те, которые сохраняли еще слабые остатки познаний, бегут на Восток, прочие, невежественные и слабые, исчезают в сильных толпах нового народа.

Я должен изобразить, как начинается новая жизнь в Европе; как основываются и принимают крещение дикие государства в границах, назначенных природою, с феодальными правами, с вассальными владениями, и как могущественный папа, прежде только римский первосвященник, делается государем, незаметно присоединяет к своей сильной религиозной власти светскую. Между тем, на Востоке остатки римлян теснятся и покоряются новым сильным народом, мгновенно, как бы фантастически возродившимся на своем каменном Аравийском полуострове, подвигнутым до исступления религией, совершенно

восточной, основанной полупомешанным энтузиастом Магометом; как этот народ, с азиатской саблей в руках, распространял магометанство на место прежних остатков греческого просвещения, и как изумительно, быстро этот чудесный народ из завоевателей делается просветителем, развертывается во всем блеске, с своей роскошной фантазией, глубокими мыслями и поэзией жизни, и как он вдруг меркнет и затмевается выходцами из-за моря Каспийского, которым оставляет в наследство одно магометанство, как почти в то же время в Европе корсары северных морей, норманны, с неслыханною дерзостью, в малом числе, грабят и овладевают целыми государствами, наконец переменяют дикую религию свою на христианство и прибавляют Европе свою силу и нравы; а между тем папа мало-помалу делается неограниченным монархом всей Европы, и самый император немецкий, которого уважали все народы, не смеет противустать ему, и как по мановению его целые народы, вассалы, короли оставляют свои земли, богатства, кладут пламенный крест на рамена и спешат с энтузиазмом в Палестину; как вся Европа, двинувшись с мест, валится в Азию, Восток сшибается с Западом, и две грозные силы, христианство — с магометанством;

как это великое событие порождает рыцарство, обнявшее всю Европу; как возникли орденские общества, осудившие себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть верными одной цели, и произошел самый сильнорелигиозный христианский век; как энтузиазм к вере перешел потом границы, начертанные десницею Божественного Спасителя; и как в то же время невидимо от всей Европы совершается великий эпизод всемирной истории: созидается беспримерная по величине монархия Чингисханова, поглотившая все азиатские земли, неизвестные европейцам. В Европе одни только монастыри имеют землю и оседлость; все обратилось в рыцарство, все кочует, все неспокойно: каждый вместе и воин и полководец, и вассал и повелитель, и слушается и не слушается, — век величайшего разъединения и вместе единства! Каждый управляется своей волей, и между тем все согласны в одной цели и мыслях. Бедные поселяне, вытерпев чашу бед, наконец решаются соединиться независимо от своих повелителей в города. Возникает среднее сословие граждан, города начинают богатеть, и на севере Европы, в отпор рыцарям, образуется Ганзейский союз, связывающий всю Северную Европу своей торговлей. Между тем на юге возни-

кает порождение Крестовых походов — страшная торговлею Венеция, эта царица морей, эта чудная республика, с таким замысловатым и необыкновенно устроенным правлением. Все богатства Европы и Азии невидимо перешли в ее руки, и как папа религиозною властью, так Венеция непомерным богатством повелевала Европою. Духовный деспот употреблял все силы убить ее торговлю, но все было напрасно — пока наконец генуэзский гражданин не убил ее открытием Нового Света. Наконец я должен представить, как вдруг расширился круг действий; как пала торговля Средиземного моря. Европейцы с жадностью спешат в Америку и вывозят кучи золота; Атлантический и Восточный океаны в их власти; и в то же время папские миссии проникают в Северо-Восточную Азию и Африку — и мир открывается почти вдруг во всей своей обширности. Между тем в Европе понемногу сомневаются в справедливости папской власти и, как прежде торговлю Венеции убил бедный генуэзец, так власть папы сокрушил августинский монах Лютер. Как образовалась эта мысль в голове смиренного монаха, как сильно и упрямо защищал он свои положения! Как, при падении своем, папа становился грознее и изобретательнее: ввел

ужасную инквизицию и страшный невидимою силою орден иезуитский, который вдруг рассыпался по всему свету, проник во все, прошел везде и тайно сообщался между собою на двух розных концах мира. Но чем грознее становился папа, тем сильнее против него работали типографские станки. Вся Европа разделилась на две партии, и эти партии наконец схватились за оружие, и война жестокая внутри и вне государств, долгая, обхватила вдруг всю Европу. Но уже не копьями и не стрелами производилась она. Нет! пушками, ядрами, громом и огнем, ужасным и благодетельным изобретением монаха-алхимиста разыгралась эта великая тяжба. Духовная власть пала. Государи становятся сильнее. Я должен изобразить, как изменилась Европа после этих войн. Государства, народы сливаются плотнее в нераздельные массы. Нет того разъединения власти, как в средние века. Она сосредоточивается более в одном лице. И как оттого сильные характеры становятся виднее, круг государей, министров, полководцев обширнее! Сам собою, невольно завязывается в Европе политический союз, полагающий защищать оружием неприкосновенность каждого государства. А между тем неутомимые купцы-голландцы, вырвавшие

свою землю у моря, овладевают островами Восточного океана, берут миллионы за разводимые на них плантации драгоценных растений юга и, как прежде Венеция, схватывают торговлю всего мира, пока один необыкновенный государь не подрывает ее и не покушается на неприкосновенность государств. Я должен изобразить блестящий век, произведенный этим государем (Лудовиком XIV), когда Франция закипела изделиями роскоши, фабриками, писателями, когда Париж сделался всемирною столицею, куда съезжались со всей Европы, и французский язык, французские нравы, французский этикет и обычаи распространились по всей Европе. Но, нарушивши неприкосновенность чужих владений, этот честолюбивый король хотя и расстроивает торговлю голландцев, но вместе разоряет свое государство и сам убивает свое величие. Как быстро пользуются этим островитяне британские, которые до того медленно, но верно близились к своей цели, наконец очутились почти вдруг обладателями торговли всего мира: ворочают миллионами в Индии, собирают дань с Америки, и где только море, там британский флаг. Им преграждает путь исполин XIX века, Наполеон, и уже действует другим орудием: совершенно военным

деспотизмом; своими быстрыми движеньями оглушает Европу и налагает на нее железное свое протекторство. Напрасно гремит против него в английском парламенте Питт и составляет страшные союзы. Ничто не имеет духа ему противиться, пока он сам не набегает на гибель свою, вторгнувшись в Россию, где неведомые ему пространства, лютость климата и войска, образованные суворовскою тактикою, погубляют его. И Россия, сокрушившая этого исполина о неприступные твердыни свои, останавливается в грозном величии на своем огромном Северо-Востоке. Освобожденные государства получают прежний вид и прежние формы, утверждают снова союз и неприкосновенность владений. Просвещение, не останавливаемое ничем, начинает разливаться даже между низшим классом народа; паровые машины доводят мануфактурность до изумительного совершенства; будто невидимые духи помогают во всем человеку и делают силу его еще ужаснее и благодетельнее; и он, в священном трепете, видит, как слово из Назарета обтекло наконец весь мир.

Когда история мира будет удержана в таком кратком, но полном эскизе и происшествия будут так связаны между собою, тогда ничто не улетит

из головы слушателей, и в уме их невольно составится целое. Наконец этот эскиз, развившись в великом объеме, составит полную историю человечества.

VII

После изложения полной истории человечества, я должен разобрать отдельно историю всех государств и народов, составляющих великий механизм всеобщей истории. Натурально та же полнота, та же целость должна быть видна и здесь в обозрении каждого порознь. Я должен обнять его вдруг с начала до конца: как оно основалось, когда было в силе и блеске, когда и отчего пало (если только пало), и каким образом достигло того вида, в каком находится ныне; если же народ стерся с лица земли, то каким образом на место его образовался новый и что принял от прежнего.

VIII

Чтоб еще глубже все сказанное вошло в память, по окончании курса необходимы повторитель-

ные обзоры. Но чтобы повторение было успешнее, нужно стараться давать ему интерес и занимательность новизны. После истории всего мира и отдельно каждой земли и народа, не мешает сделать обзор каждой части света и тут показать все отличие как их, так и народов, в них находящихся, чтоб слушатели сами могли вывесть результат:

Во-первых, об Азии, этой обширной колыбели младенчествующего человечества — земле великих переворотов, где вдруг возрастают в страшном величии народы и вдруг стираются другими; где столько наций невозвратно пронеслись, одна за другою, а между тем формы правления, дух народов одни и те же: все так же важен, так же горд азиатец, так же быстро воспламеняется и кипит страстями, так же скоро предается лени и бездейственной роскоши. И вместе с сим эта часть света есть земля разительных противоположностей и какого-то великого беспорядка: еще один народ кочует беззаботно в необозримом многолюдстве с необозримыми табунами, а между тем на другом конце, где-нибудь в пустыне, исступленный изувер изнуряя себя бесконечным постом, замышляет новую религию, которая впоследствии обхватит всю Азию,

оденет народ, как непроницаемой бронею, своим исступленным вдохновением и поведет его на разрушение; и тут же, может быть, недалеко от него находится народ, уже перешедший все эти явления и кризисы, уже погруженный в роскошь, утомленный азиатским пресыщением. Только здесь может находиться та странная противоположность, которой дивимся в дереве юга, где на одной ветке, в одно время, один плод цветет, между тем как другой наливается, третий зреет, четвертый переспелый валится на землю.

Потом о Европе, история которой означена совершенно противоположною характерностью, где существование народов, напротив, долго и мощно; где все, напротив, порядок и стройность: народы разом подвигаются такт в такт, как регулярные европейские войска; государства все почти в одно время растут и совершенствуются; при всех характерных отличиях наций, в них видно общее единство, и каждая из них так чудно запутана с другими, что становится совершенно понятною только в соединении со всей Европою, и вся Европа кажется одним государством. И в этой небольшой части света решилась долгая тяжба: человек стал выше природы, а природа обратилась в искусство; самая бедность и скупость

ее вызвали наружу весь безграничный мир скрывавшийся в человеке, дали ему почувствовать, во сколько он выше земного, и превратили всю страну в вечную жизнь ума. В этой одной только части света могущественно развился высокий гений христианства, и необъятная мысль, осененная небесным знамением креста, витает над нею, как над отчизною.

Потом об Африке, представляющей в противоположность Европе смерть ума, где природа всегда деспотически властвовала над человеком; где она во всем своем царственном величии и всегда почти возвращала его в первобытное состояние, в жизнь чувственную; где ни один коренной туземный народ не прожил мощною жизнью и не отбросил от себя ярких лучей на мир; где даже переселенцы с других земель напрасно вступали в борьбу с палящею природою африканскою; чем далее погружались они в Африку, тем глубже повергались в чувственность.

Наконец об Америке, этой всемирной колонии, вавилонском смешении наций, где столкнулись три противуречащие части света, смешались, но еще не слились в одно, и потому еще не имеющей покамест никакого единства, даже единства религии; невзирая на частную характерность,

не получившей общего характера; несмотря на огромную массу, все еще состоящей из первоначальных стихий, разложенных начал; несмотря на независимые государства, все еще похожей на колонию.

Быстрый обзор истории каждой части света, во всей ее резкой характерности, не поверхностный, но глубокий — результат веков и событий, потому необходим, что он наводит на мысли и заставляет слушателей думать. Ум тогда быстрее развивается, когда сам предлагает себе великий и поэтический вопрос. Этот обзор каждой части тем более еще необходим, что показывает часто с новой стороны те же предметы. А для полного уразумения нужно, чтобы предмет был освещен со всех сторон. «Только тогда вы знаете хорошо историю, — говорит Шлецер, — когда знаете ее и вдоль и поперек, и вкось, и во всех направлениях».

IX

И для того в виде эпилога после окончания курса хорошо рассмотреть за одним разом весь мир по столетиям. Тогда всеобщая история представит у меня великую лестницу веков. Я должен

непременно показать, чем ознаменовано начало, средина и конец каждого столетия, потом дух и отличительные черты его. Чтобы лучше определить каждый век и избегнуть монотонности числ, я назову его именем того народа, или лица, который стал в нем выше других и ярче действовал на поприще мира. Эта лестница столетий есть лучшее средство к утверждению в памяти слушателей современности событий, лиц и явлений.

X

Мне кажется, что такой образ преподавания будет действительнее и ближе к истине. По крайней мере глубоко понимающий величие истории увидит, что он не произведение мгновенной фантазии, но плод долгих соображений и опыта; что ни один эпитет, ни одно слово не брошено здесь для красоты и мишурного блеска, но их породило долговременное чтение летописей мира; что составить эскиз общий, полный истории всего человечества, хотя даже столь краткий, как здесь, можно не иначе, как когда узнаешь и постигнешь самые тонкие и запутанные нити истории, и что одна любовь к науке, составляющей для меня наслаждение, понудила меня объявить мои

мысли; что цель моя — образовать сердца юных слушателей той основательной опытностью, которую развертывает история, понимаемая в ее истинном величии; сделать их твердыми, мужественными в своих правилах, чтобы никакой легкомысленный фанатик и никакое минутное волнение не могло поколебать их; сделать их кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками великого государя, чтобы ни в счастии, ни в несчастии не изменили они своему долгу, своей вере, своей благородной чести и своей клятве — быть верными отечеству и государю.

1832

Взгляд на составление Малороссии

I. Какое ужасно-ничтожное время представляет для России XIII век! Сотни мелких государств единоверных, одноплеменных, одноязычных, означенных одним общим характером и которых, казалось, против воли соединяло родство, — эти мелкие государства так были между собою разъединены, как редко случается с разнохарактерными народами. Они были разъединены

не ненавистью, сильные страсти не досягали сюда, ни постоянною политикою — следствием непреклонного ума и познания жизни. Это был хаос браней за временное, за минутное, браней разрушительных, потому что они мало-помалу извели народный характер, едва начинавший принимать отличительную физиогномию при сильных норманнских князьях. Религия, которая более всего связывает и образует народы, мало на них действовала. Религия не срослась тогда тесно с законами, с жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившиеся в свои кельи и закрывшие глаза для мира; молившиеся за всех, но не знавшие, как схватить с помощью своего сильного оружия, веры, власть над народом и возжечь этой верой пламень и ревность до энтузиазма, который один властен соединить младенчествующие народы и настроить их к великому. Здесь была совершенная противоположность Западу, где самодержавный папа, как будто невидимою паутиною, опутал всю Европу своею религиозною властью, где его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, где угроза страшного проклятия обуздывала страсти и полудикие народы. Здесь монастыри были убежищем тех людей, которые

кротостью и незлобием составляли исключение из общего характера и века. Изредка пастыри из пещер и монастырей увещали удельных князей; но их увещания были напрасны: князья умели только поститься и строить церкви, думая, что исполняют этим все обязанности христианской религии, а не умели считать ее законом и покоряться ее велениям. Самые ничтожные причины рождали между ими бесконечные войны. Это были не споры королей с вассалами или вассалов с вассалами: — нет! это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцом и детьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала их — нет! брат брата резал за клочок земли или просто, чтобы показать удальство. Пример ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители двух соседних уделов, родственники между собою, готовы были каждую минуту восстать друг против друга с яростью волков. Их не подвигала на это наследственная вражда, потому что кто был сегодня друг, тот завтра делался неприятелем. Народ приобрел хладнокровное зверство, потому что он резал, сам не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство, ни фанатизм, ни суеверие, ни даже предрассудок. Оттого, казалось, умерли

в нем почти все человеческие сильные благородные страсти, и если бы явился какой-нибудь гений, который бы захотел тогда с этим народом совершить великое, он бы не нашел в нем ни одной струны, за которую бы мог ухватиться и потрясти бесчувственный состав его, выключая разве физической железной силы. Тогда история, казалось, застыла и превратилась в географию: однообразная жизнь, шевелившаяся в частях и неподвижная в целом, могла почесться географическою принадлежностью страны.

II. Тогда случилось дивное происшествие. Из Азии, из средины ее, из степей, выбросивших столько народов в Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершивший столько завоеваний, сколько до него не производил никто. Ужасные монголы, с многочисленными, никогда дотоле невиданными Европою табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россию, осветивши путь свой пламенем и пожарами — прямо азиатским буйным наслаждением. Это нашествие наложило на Россию двухвековое рабство и скрыло ее от Европы. Было ли оно спасением для нее, сберегши ее для независимости, потому что удельные князья не сохранили бы ее от литовских завоевателей, или

оно было наказанием за те беспрерывные брани: как бы то ни было, но это страшное событие произвело великие следствия: оно наложило иго на северные и средние русские княжения, но дало между тем происхождение новому славянскому поколению в Южной России, которого вся жизнь была борьба и которого историю я взялся представить.

III. Южная Россия более всего пострадала от татар. Выжженные города и степи, обгорелые леса, древний, разрушенный Киев, безлюдье и пустыня — вот что представляла эта несчастная страна! Испуганные жители разбежались или в Польшу, или в Литву; множество бояр и князей выехало в Северную Россию. Еще прежде народонаселение начало заметно уменьшаться в этой стороне. Киев давно уже не был столицею; значительные владения были гораздо севернее. Народ, как бы понимая сам свою ничтожность, оставлял те места, где разновидная природа начинает становиться изобретательницею; где она раскинула степи прекрасные, вольные, с бесчисленным множеством трав почти гигантского роста, часто неожиданно среди них опрокинула косогор, убранный дикими вишнями, черешнями, или обрушила рытвину всю в цветах и по

всем вьющимся лентам рек разбросала очаровательные виды, протянула во всю длину Днепр с ненасытными порогами, с величественными гористыми берегами и неизмеримыми лугами, и все это согрела умеренным дыханием юга. Он оставлял эти места и столплялся в той части России, где местоположение, однообразно-гладкое и ровное, везде почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движения, но какое-то прозябение, поражающее душу мыслящего. Как будто бы этим подтвердилось правило, что только народ, сильный жизнью и характером, ищет мощных местоположений или что только смелые и поразительные местоположения образуют смелый, страстный, характерный народ.

IV. Когда первый страх прошел, тогда малопомалу выходцы из Польши, Литвы, России начали селиться в этой земле, настоящей отчизне славян, земле древних полян, северян, чистых славянских племен, которые в Великой России начинали уже смешиваться с народами финскими, но здесь сохранялись в прежней цельности со всеми языческими поверьями, детскими предрассудками, песнями, сказками, славянской мифологией, так простодушно у них смешав-

шейся с христианством. Возвращавшиеся на свои места прежние жители привели по следам своим и выходцев из других земель, с которыми от долговременного пребывания составили связи. Это население производилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народ был не за горами: их разделяли или, лучше сказать, соединяли одни степи. Несмотря на пестроту населения, здесь не было тех браней междоусобных, которые не переставали во глубине России: опасность со всех сторон не давала возможности заняться ими. Киев — древняя матерь городов русских — сильно разрушенный страшными обладателями табунов, долго оставался беден и едва ли мог сравниться со многими, даже не слишком значительными городами Северной России. Все оставили его, даже монахи-летописцы, для которых он всегда был священ. Известия о нем разом прервались, и несмотря на то, что там оставалась еще отрасль князей русских, ничто не спасло его от полувекового забвения. Изредка только, как будто сквозь сон, говорят летописцы, что он был страшно разорен, что в нем были ханские баскаки, — и потом он от них задернулся как бы непроницаемою завесою.

V. Между тем как Россия была повергнута та-

тарами в бездействие и оцепенение, великий язычник Гедимин вывел на сцену тогдашней истории новый народ — народ, бедный и жизнью и средствами для жизни, населявший дикие сосновые леса нынешней Белоруссии, еще носивший звериную кожу вместо одежды, еще боготворивший Перуна и поклонявшийся древнему огню в нетроганных топором рощах, плативший прежде дань русским князьям, известный под именем литовцев. И этот народ при своем князе Гедимине сделался самым видным на огромном северо-востоке Европы! Тогда города, княжества и народы на западе России были какие-то отрывки, обрезки, оставшиеся за гранью татарского порабощения. Они не составляли ничего целого, и потому литовский завоеватель почти одним движением языческих войск своих, совершенно созданных им, подверг своей власти весь промежуток между Польшей и татарской Россией. Потом двинул он войска свои на юг, во владения волынских князей. Весьма естественно, что успех сопровождал его везде. В Луцке однако ж князь Лев сильно сопротивлялся, но не в силах был отстоять земель своих. Гедимин, назначив старост и начальников, шел далее на юг, к самому сердцу Южной России, к Киеву. Убежавший луцкий

князь Лев успел кое-как уговорить киевского князя Станислава выйти с своими немноголюдными дружинами навстречу грозному победителю: дружины были усилены союзниками-татарами; но все бежало перед мощным литовцем. Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпени, вступил с торжеством в Киев, носивший на себе свежую печать татарского посещения, и постановил в нем правителем князя Миндова Ольшанского, принявшего греческую веру. Итак, литовский завоеватель у самых татар вырвал почти перед глазами их находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедимин был человек ума крепкого, был политик, несмотря на видимую свою дикость и свое невежественное время. Он умел сохранить дружбу с татарами, владея: отнятыми у них землями и не платя никакой дани. Этот дикий политик, не знавший письма и поклонявшийся языческому богу, ни у одного из покоренных им народов не изменил обычаев и древнего правления; все оставил по-прежнему, подтвердил все привилегии и старшинам строго приказал уважать народные права; нигде даже не означил пути своего опустошением. Совершенная ничтожность окружавших его народов и прямо

исторических лиц придают ему какой-то исполинский размер. Он умер в 1340 году; мертвый был посажен на коня с своим оруженосцем, с охотничьими собаками, соколами и сожжен по языческому обычаю литовцев. Вслед за ним такие же два сильные характера, Ольгерд и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику с присоединенными народами.

VI. И вот Южная Россия, под могущественным покровительством литовских князей, совершенно отделилась от Северной. Всякая связь между ими разорвалась; составились два государства, называвшиеся одинаким именем — Русью. Одно под татарским игом, другое под одним скипетром с литовцами. Но уже сношений между ими не было. Другие законы, другие обычаи, другая цель, другие связи, другие подвиги составили на время два совершенно различные характера. Каким образом это произошло, — составляет цель нашей истории. Но прежде всего нужно бросить взгляд на географическое положение этой страны, что непременно должно предшествовать всему, ибо от вида земли зависит образ жизни и даже характер народа. Многое в истории разрешает география.

Эта земля, получившая после название Укра-

ины, простирающаяся на север не далее 50° широты, более ровна, нежели гориста. Небольшие возвышенности встречаются очень часто, но ни одной гористой цепи. Северная ее часть перемежается лесами, содержавшими прежде в себе целые шайки медведей и диких кабанов; южная вся открыта, вся из степей, кипевших плодородием, но только изредка засевавшихся хлебом. Девственная и могучая почва их своевольно произращала бесчисленное множество трав. Эти степи кипели стадами сайг, оленей и диких лошадей, бродивших табунами. С севера на юг проходит великий Днепр, опутанный ветвями впадающих в него рек. Правый берег его горист и представляет пленительные и вместе дерзкие местоположения; левый весь из лугов, покрытых рощами, потоплявшимися водою. Двенадцать порогов — выросших из дна реки скал, недалеко от впадения его в море, преграждают течение и делают плавание по нем чрезвычайно опасным. Около порогов водился род диких коз — *сугаки* с белыми лоснящимися рогами, с мягкою, атласною шерстью. Прежде во́ды в Днепре были выше, разливался он шире и далее потоплял луга свои. Когда во́ды начинают опадать, тогда вид поразителен: все возвышенности выходят и кажутся

бесчисленными зелеными островами среди необозримого океана воды. В Днепр впадает только одна судоходная река, Десна, проходящая в северной Украине, с лесистыми берегами, почти с обеих сторон потопляемыми водою; но и эта река только в некоторых местах судоходна. Кроме того на севере Остер и часть Сейма, на юге Сула, Псел, с цепью видов, Хорол и другие; но ни одна из них не судоходна. Сообщения никакого нет; произведения не могли взаимно разменяться — и потому здесь не мог и возникнуть торговый народ. Все реки разветвляются посередине; ни одна из них не протекала на рубеже и не служила естественною гранью с соседственными народами. К северу ли с Россией, к востоку ли с кипчакскими татарами, к югу ли с крымскими, к западу ли с Польшей — везде она граничила полем, везде равнина, со всех сторон открытое место. Будь хотя с одной стороны естественная граница из гор или моря — и народ, поселившийся здесь, удержал бы политическое бытие свое, составил бы отдельное государство. Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошений и набегов, местом, где сшибались три враждущие нации, унавожена костями, утучнена кровью. Один татарский наезд разрушал весь труд земледельца: луга и нивы бы-

ли вытаптываемы конями и выжигаемы, легкие жилища сносимы до основания, обитатели разгоняемы или угоняемы в плен вместе со скотом. Это была земля страха; и потому в ней мог образоваться только народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь была бы повита и взлелеяна войною. И вот выходцы вольные и невольные, бездомные, те, которым нечего было терять, которым жизнь — копейка, которых буйная воля не могла терпеть законов и власти, которым везде грозила виселица, расположились и выбрали самое опасное место в виду азиатских завоевателей — татар и турков. Эта толпа, разросшись и увеличившись, составила целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину, сделавший чудо — превративший мирные славянские поколения в воинственные, известный под именем козаков, народ, составляющий одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу.

VII. Если не к концу XIII, то к началу XIV века можно отнести появление козачества, к тем векам, когда святая, сильная ревность к религии

еще не остыла в Европе, когда почти вдруг во всех концах беспрестанно образовывались братства и ордена рыцарские, составлявшие странную противоположность с тогдашним разъединением, с изумительным самоотвержением разрушившие и отвергнувшие условия обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые соглядатаи дел мира, железные поборники веры Христовой. Чем слабее была связь тогдашних государств, тем сильнее росла ужасная сила этих обществ. Разлитие магометанства и магометанских новых сильных народов, уже врывавшихся в Европу, увеличивало их еще более. Дух этих братств распространился везде и не между рыцарями и не для подобных предназначений. В это время явился близ порогов городок, или острог Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя которого звучит обитателями Кавказа, которого даже построение многие приписывают им, и где было главное сборище и местопребывание козаков. Вначале частые нападения татар на северную часть Украины заставляли жителей спасаться бегством, приставать к козакам и увеличивать их общество. Это было пестрое сборище самых отчаянных людей пограничных наций. Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от

деспотизма панов польский холоп, даже беглец исламизма татарин, может быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днепра, впоследствии постановившему целью, подобно орденским рыцарям, вечную войну с неверными. Это скопище людей не имело никаких укреплений, ни одного замка. Землянки, пещеры и тайники в днепровских утесах, часто под водою, на днепровских островах, в гуще степной травы, служили им укрытием для себя и для награбленных богатств. Гнездо этих хищников было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возвращались назад. Они поворотили против татар их же образ войны, те же азиатские набеги. Как жизнь их определена была на вечный страх, так точно с своей стороны они решились быть страхом для соседей. Татары и турки должны были всякой час ожидать этих неумолимых обитателей порогов. Магометанский сосед не знал, как назвать этот ненавистный народ. Если кто хотел к кому выразить величайшее презрение, то называл его козаком.

VIII. Большая часть этого общества состояла однако ж из первобытных, коренных обитателей Южной России. Доказательство — в языке, который, несмотря на принятие множества татарских

и польских слов, имел всегда чисто славянскую южную физиономию, приближавшую его к тогдашнему русскому, и в вере, которая всегда была греческая. Всякой имел полную волю приставать к этому обществу, но он должен был непременно принять греческую религию. Это общество сохраняло все те черты, которыми рисуют шайку разбойников; но, бросивши взгляд глубже, можно было увидеть в нем зародыш политического тела, основание характерного народа, уже вначале имевшего одну главную цель — воевать с неверными и сохранять чистоту религии своей. Это однако ж не были строгие рыцари католические: они не налагали на себя никаких обетов, никаких постов; не обуздывали себя воздержанием и умерщвлением плоти; были неукротимы, как их днепровские пороги, и в своих неистовых пиршествах и бражничестве позабывали весь мир. То же тесное братство, которое сохраняется в разбойничьих шайках, связывало их между собою. Все было у них общее — вино, цехины, жилища. Вечный страх, вечная опасность внушали им какое-то презрение к жизни. Козак больше заботился о доброй мере вина, нежели о своей участи. Но в нападениях видна была вся гибкость, вся сметливость ума, все уменье пользоваться

обстоятельствами. Нужно было видеть этого обитателя порогов в полутатарском, полупольском костюме, на котором так резко отпечаталась пограничность земли, азиатски мчавшегося на коне, пропадавшего в густой траве, бросавшегося с быстротою тигра из неприметных тайников своих или вылезавшего внезапно из реки или болота, обвешанного тиною и грязью, казавшегося страшилищем бегущему татарину. Этот же самый козак после набега, когда гулял и бражничал с своими товарищами, сорил и разбрасывал награбленные сокровища, был бессмысленно пьян и беспечен до нового набега, если только не предупреждали их татары, не разгоняли их пьяных и беспечных и не разрывали до основания городка их, который, как будто чудом, строился вновь, и опустошительный, ужасный набег был отмщением. После чего снова та же беспечность, та же разгульная жизнь.

IX. Казалось, существование этого народа было вечно. Он никогда не уменьшался: выбывшие, убитые, потонувшие заменялись новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякого. Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею; когда каждый в свою очередь стремился быть действующим лицом, а не зрителем. Это

скопление мало-помалу получило совершенно один общий характер и национальность, и чем ближе к концу XV века, тем более увеличивалось приходившими вновь. Наконец целые деревни и села начали поселяться с домами и семействами около этого грозного оплота, чтобы пользоваться его защитою, с условием за то некоторых повинностей. И таким образом места около Киева начали пустеть, а между тем по ту сторону Днепра люднели. Семейные и женатые мало-помалу от обращения и сношения с ними получали тот же воинственный характер. Сабля и плуг сдружились между собою и были у всякого селянина. Между тем разгульные холостяки вместе с червонцами, цехинами и лошадьми стали похищать татарских жен и дочерей и жениться на них. От этого смешения черты лица их, вначале разнохарактерные, получили одну общую физиогномию, более азиатскую. И вот составился народ, по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский, народ, в котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разнохарактерные стихии: европейская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хитрость, сильная

деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию — и между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствование.

1832

Несколько слов о Пушкине

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русской язык, русской характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тот же разгул и раздолье, к которому иногда позабывшись стремится русской и которое всегда нравится свежей русской молодежи, отразились на его первобытных годах вступления в свет. Судьба как нарочно забросила его туда, где границы России отличаются резкою, величавою характерностью; где гладкая неизмеримость России перерывается подоблачными горами и обвевается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые, неотразимые набеги; и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинавшую читать Россию. Рисует ли он боевую схватку чеченца с козаком — слог его молния; он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее самой битвы. Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими

ночами и садами. Может быть, оттого и в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно означил всю силу свою, и оттого произведения его, напитанные Кавказом, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имели чудную, магическую силу: им изумлялись даже те, которые не имели столько вкуса и развития душевных способностей, чтобы быть в силах понимать его. Смелое более всего доступно, сильнее и просторнее раздвигает душу, а особливо юности, которая вся еще жаждет одного необыкновенного. Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро. Все кстати и некстати считали обязанностию проговорить, а иногда исковеркать какие-нибудь ярко сверкающие отрывки его поэм. Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих марателей выставить его на своем творении, уже оно расходилось повсюду.

Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний

мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но последние его поэмы, писанные им в то время, когда Кавказ скрылся от него со всем своим грозным величием и державно возносящеюся из-за облак вершиною, и он погрузился в сердце России, в ее обыкновенные равнины, предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников и захотел быть вполне национальным поэтом, — его поэмы уже не всех поразили тою яркостью и ослепительной смелостью, какими дышит у него все, где ни являются

Эльбрус, горцы, Крым и Грузия.

Явление это, кажется, не так трудно разрешить: будучи поражены смелостью его кисти и волшебством картин, все читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерыв, чтобы отечественные и исторические происшествия сделались предметом его поэзии, позабывая, что нельзя теми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить более спокойный и гораздо менее исполненный страстей быт русской. Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине, представь дела наших предков в таком виде, как они были. Но попробуй поэт, послушный ее велению, изобразить все в совершенной истине и так, как было, она тотчас заговорит: это вяло, это слабо, это не хорошо, это нимало не похоже на то, что было. Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий, но горе ему, если он не умел скрыть всех ее недостатков. Русская история только со времени последнего ее направления при императорах приобретает яркую живость; до того характер народа большею

частию был бесцветен; разнообразие страстей ему мало было известно. Поэт не виноват; но и в народе тоже весьма извинительное чувство придать больший размер делам своих предков. Поэту оставалось два средства: или натянуть сколько можно выше свой слог, дать силу бессильному, говорить с жаром о том, что само в себе не сохраняет сильного жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его стороне, а вместе с ним и деньги; или быть верну одной истине, быть высоким там, где высок предмет, быть резким и смелым, где истинно резкое и смелое, быть спокойным и тихим, где не кипит происшествие. Но в этом случае прощай толпа! ее не будет у него, разве когда самый предмет, изображаемый им, уже так велик и резок, что не может не произвесть всеобщего энтузиазма. Первого средства не избрал поэт, потому что хотел остаться поэтом и потому что у всякого, кто только чувствует в себе искру святого призвания, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талант таким средством. Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный как воля, сам себе и судия и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и несмотря на то, что он зарезал своего врага, притаясь в ущельи, или

выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом посредством справок и выправок пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой, они оба — явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта — нерасчет перед его многочисленною публикою, а не перед собою. Он ничуть не теряет своего достоинства, даже, может быть, еще более приобретает его, но только в глазах немногих истинных ценителей. Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда чувствовал маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие,

хорошо растущее, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я из него извлек мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпе. Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организирована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина. По справедливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли, понял ли кто Бориса Годунова, это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней, неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? — по крайней мере печатно нигде не произнеслась им верная оценка, и они остались доныне нетронуты.

В мелких своих сочинениях, этой прелестной антологии, Пушкин разносторонен необыкновенно и является еще обширнее, виднее, нежели

в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений так резко ослепительны, что их способен понимать всякой, но зато большая часть из них и притом самых лучших кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступну понимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние. Нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сибаритом, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности привыкшему глотать изделия крепостного повара. Это собрание его мелких стихотворений — ряд самых ослепительных картин. Это тот ясный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в котором природа выражается так же живо, как в струе какой-нибудь серебряной реки, в котором быстро и ярко мелькают ослепительные плечи, или белые руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные гроздия винограда, или мирты и древесная сень, созданные для жизни. Тут все: и наслаждение, и простота,

и мгновенная высокость мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновения читателя. Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими и оглушает падением всей массы, но если отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия; никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинства этого не имеет сочинение, в котором слишком просвечивает одна главная идея.

Мне всегда было странно слышать суждения об них многих, слывущих знатоками и литераторами, которым я более доверял, покаместь еще не слышал их толков об этом предмете. Эти мелкие сочинения можно назвать пробным камнем, на котором можно испытывать вкус и эстетическое чувство разбирающего их критика. Непостижимое дело! казалось, как бы им не быть

доступными всем! Они так просто возвышенны, так ярки, так пламенны, так сладострастны и вместе так детски чисты. Как бы не понимать их! Но увы! это неотразимая истина: что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы, и наконец так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих истинных ценителей.

1832

Об архитектуре нынешнего времени

Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величеством рисунка, или своевольною дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительною пестротою украшений. Невольно втесняется мысль: неужели прошел невозвратимо век архитектуры? неужели величие и гениальность больше не посетят нас, или они — принадлежность народов юных, полных одного энтузиазма

и энергии и чуждых усыпляющей, бесстрастной образованности? Отчего же те народы, перед которыми мы так самодовольно гордимся, которым едва даем место в истории мира, отчего же они так возвышаются перед нами созданиями своего темного, не освещенного дробью познаний, ума? Отчего же колоссальные памятники индусов так величавы и неизмеримы, отчего аравийские так роскошны и очаровательны? отчего у нас в Европе в Средние века так много воздвиглось их в изумительном величии?

Не хотелось бы убедиться в этой грустной мысли, но все говорит, что она истинна. Они прошли, те века, когда вера, пламенная, жаркая вера, устремляла все мысли, все умы, все действия к одному, когда художник выше и выше стремился вознести создание свое к небу, к нему одному рвался и пред ним, почти в виду его, благоговейно подымал молящуюся свою руку. Здание его летело к небу; узкие окна, столпы, своды тянулись нескончаемо в вышину; прозрачный, почти кружевной шпиц, как дым, сквозил над ними, и величественный храм так бывал велик перед обыкновенными жилищами людей, как велики требования души нашей перед требованиями тела.

Была архитектура необыкновенная, христианская, национальная для Европы — и мы ее оставили, забыли, как будто чужую, пренебрегли, как неуклюжую и варварскую. Не удивительно ли, что три века протекло, и Европа, которая жадно бросалась на все, алчно перенимала все чужое, удивлялась чудесам древним, римским и византийским, или уродовала их по своим формам, — Европа не знала, что среди ее находятся чуда, перед которыми было ничто все ею виденное, что в недре ее находятся Миланский и Кельнский соборы и еще доныне чернеют кирпичи недоконченной башни Страсбургского мюнстера.

Готическая архитектура, та готическая архитектура, которая образовалась пред окончанием средних веков, есть явление такое, какого еще никогда не производил вкус и воображение человека. Ее напрасно производят от арабской, идеи этих двух родов совершенно расходятся: из арабской она заимствовала только одно искусство сообщать тяжелой массе здания роскошь украшений и легкость; но самая эта роскошь украшений вылилась у ней совершенно в другую форму. Она обширна и возвышенна, как христианство. В ней все соединено вместе: этот стройный и вы-

соко возносящийся над головою лес сводов, окна огромные, узкие, с бесчисленными изменениями и переплетами, присоединение к этой ужасающей колоссальности массы самых мелких, пестрых украшений, эта легкая паутина резьбы, опутывающая его своею сетью, обвивающая его от подножия до конца шпица и улетающая вместе с ним на небо; величие и вместе красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость — это такие достоинства, которых никогда кроме этого времени не вмещала в себе архитектура. Вступая в священный мрак этого храма, сквозь который фантастически глядит разноцветный цвет окон, поднявши глаза кверху, где теряются пересекаясь стрельчатые своды один над другим, один над другим, и им конца нет, — весьма естественно ощутить в душе невольный ужас присутствия святыни, которой не смеет и коснуться дерзновенный ум человека.

Но она исчезла, эта прекрасная архитектура! Как только энтузиазм средних веков угас и мысль человека раздробилась и устремилась на множество разных целей, как только единство и целость одного исчезло — вместе с тем исчезло и величие. Силы его, раздробившись, сделались малыми; он произвел вдруг во всех родах множе-

ство удивительных вещей, но истинно великого, исполинского уже не было. Византийцы, убежавши из своей развратной столицы, занятой мусульманами, перепортили вкус европейцев и колоссальную их архитектуру. Византийцы давно уже не имели древнего аттического вкуса; они уже не имели и первоначального византийского и принесли только испорченные остатки его. Они языческие, круглые, пленительные, сладострастные формы куполов и колонн тщились применить к христианству и применили так же неудачно, как неудачно привили христианство к своей языческой жизни, дряхлой, лишенной свежести. Купол вытянулся вверх и сделался почти угловатым, стройные линии, фронтоны как-то странно изломались и произвели ничтожные формы. В таком виде получили эту архитектуру европейцы, которые с своей стороны изменили ее еще более, потому что в душе своей еще носили первоначальный образ готический и мысль, совершенно противоположную расслабленной многосторонности греков. Тогда произошли тяжелые дворцы с колоннами, полуколоннами без всякой цели. Все это было робко, мелко. Это была не роскошь, но искаженность простоты. Множество мифологических голов и украшений

без смысла, облепив тяжелую массу, не придали ей никакой легкости, не смягчили крепких черт ее нежными и не выразили никакой идеи. Стремление в высоту, сообщавшее величие и легкость самым тяжелым массам, исчезло; вместо того они разъехались в ширину.

Но церкви, строенные в XVII и начале XVIII века, еще менее выражают идею своего назначения. Глядя на них, кажется, чувствуешь то же, как если бы человек грубый начал подделываться под светскую утонченность. В них прямая линия без всякого условия вкуса соединялась с выгнутою и кривою; при полуготической форме всей массы, они ничего не имеют в себе готического, окна мелкие, сбитые в кучу, или раскиданные без всякой гармонии, пилястры, не тянувшиеся во всю длину здания, но приклеенные иногда вверху под куполом, иногда на середине, коротенькие, неуклюжие, сверх которых часто находился другой этаж таких же колонн, маленьких, некрасивых, крыша из ломаных линий; при этом часто удерживался и готической шпиц, но уже не тот легкий и прозрачный, который под рукою художника средних веков принимал такую воздушность, но тяжелый, массивный, который уже вовсе не летел к небу. Все, что только отзывалось высокими,

устремленными кверху готическими детайлями, было оставлено как безвкусное.

Хотя в продолжение XVIII века вкус несколько улучшился, но из этого не выиграли мы ровно ничего: он улучшился в веригах чужих форм. Тяжесть готическая была справедливо изгнана совершенно, потому что она в греческой форме была уже до невозможности безобразна. Тогда еще с большим рвением стали изучать древние формы, но изучали так, как робкие ученики, копирующие с точностью мелочные подробности оригинала и позабывающие об идее целого. Брали части и с необыкновенным излишеством лепили в огромную массу, показавшую еще никогда дотоле небывалое разъединение в целом. Колонны и купол, больше всего прельстившие нас, начали приставлять к зданию без всякой мысли и во всяком месте: они уже не были главною идеею строения, а только частями или, лучше, украшениями его. Размер самого строения мы увеличили гораздо более, а размер купола в отношении к строению уменьшили. Мы не посмотрели в увеличительное стекло на строение, которое избрали моделью; не взглянули на него, отошедши на известное расстояние, но смотрели вблизи. Купол сделался ничтожным, малым.

Видя его пустынность и одиночество наверху здания, прибавили к нему несколько других, возвысили для этого под ними башни — и куполы стали походить на грибы. И купол, это лучшее, прелестнейшее творение вкуса, сладострастный, воздушно-выпуклый, который должен был обнять все строение и роскошно отдыхать на всей его массе белою, облачною своей поверхностью, исчез совершенно. Я люблю купол, тот прекрасный, огромный, легко-выпуклый купол, который возродил роскошный вкус греков в александрийский век и позже, в век наслаждений и эгоизма, век утонченного раздробления жизни, век антологии легкой, душистой, дышащей сладострастием, ленью и роскошью, когда каждый принадлежал себе, жил для себя, а не для общества, когда на великолепных роскошных банях, везде был виден этот смело выпуклый, как небесный свод, купол. Ничто не может так сладострастно, так пленительно украсить массу домов, как такой купол. Но для этого он должен быть помещен только на том здании, которое неизмеримо своею шириною и как можно более захватывает пространства; он должен лечь на всей обширной его платформе; он должен быть светлее самого здания и лучше, если он весь

белый. Ослепительная белизна сообщает неизъяснимую очаровательность и полноту его легко выпуклой форме, — он тогда лучше, роскошнее и облачнее круглится на небе. И доныне города сирийские и антиохские имеют необыкновенную прелесть через то, что удержали некоторое подобие этих куполов; и доныне на Востоке можно встретить их в величавом и огромном виде.

Портик с колоннами, это ясное произведение аттического стройного вкуса, который не терпел над собою никаких надстроек, у нас тоже пропал: ему не догадались дать колоссального размера, раздвинуть во всю ширину здания, возвысить во всю вышину его; его не развили, не увеличили, но стали употреблять в обыкновенном виде. Удивительно ли, что здания, которые требовались огромные, казались пусты, потому что фронтоны с колоннами лепилися только над крыльцами их. Громоздимые над ними в церквах, дворцах башни и массы, вовсе ему не отвечавшие, подавили и уничтожили его совершенно. Таким самым образом поэт, не имеющий обширного гения, всегда недоволен одним простым сюжетом и вместо того, чтобы развить его и сделать огромным, он привязывает к нему множество других; его поэма обременяется пестротою разных предметов, но

не имеет одной господствующей мысли и не выражает одного целого.

В начале XIX столетия вдруг распространилась мысль об аттической простоте и так же, как обыкновенно бывает, обратилась в моду и отразилась вдруг на всем, начиная с дамских костюмов, преобразовавшихся в небрежное, легкое одеяние гетер. Казалось, еще ближе присмотрелись к древним; еще глубже изучили их дух; но все, что ни строили по их образцу, все носило отпечаток мелкости и миниатюрности: узнали искусства более связывать и гармонировать между собою части, но не узнали искусства давать величие всему целому и определить ему размер, способный вызвать изумление. Это новое стремление решительно было издержано на мелочные беседки, павильоны в садах и подобные, небольшие игрушки. Они носили в себе много аттического, но их нужно было рассматривать в микроскоп. В огромных же публичных зданиях не считали за нужное ими руководствоваться: они сделались наконец просты до плоскости. Самое вредное направление архитектуре внушила мысль о соразмерности, не о той соразмерности, которая должна быть в строении в отношении к нему самому, но просто о соразмерности в отношении

к окружающим его зданиям. Это все равно, если бы гений стал удерживаться от оригинального и необыкновенного, потому только, что перед ним будут слишком уже низки и ничтожны обыкновенные люди. Эта соразмерность состояла еще в том, чтобы строение, как бы велико ни было в своем объеме, но непременно чтобы казалось малым. Его стали уединять и помещать на такой огромной и обширной площади, что оно казалось еще более ничтожным. Как будто бы старались нарочно внушить мысль, что великое совсем не велико, как будто бы насильно старались истребить в душе благоговение и сделать человека равнодушным ко всему.

Всем строениям городским стали давать совершенно плоскую, простую форму. Домы старались делать как можно более похожими один на другого; но они более были похожи на сараи или казармы, нежели на веселые жилища людей. Совершенно гладкая их форма ничуть не принимала живости от маленьких правильных окон, которые в отношении ко всему строению были похожи на зажмуренные глаза. И этою архитектурою мы еще недавно тщеславились, как совершенством вкуса, и настроили целые города в ее духе! Осмелился бы кто-нибудь даже

теперь, среди этой гладко-однообразной кучи, воздвигнуть здание, носившее бы на себе печать особенной, резкой архитектуры, осмелился бы кто-нибудь возле строения в аттическом вкусе непосредственно воздвигнуть готическое — его бы сочли едва ли не сумасшедшим. Оттого новые города не имеют никакого вида: они так правильны, так гладки, так монотонны, что, прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься от желания заглянуть в другую. Это ряд стен и больше ничего. Напрасно ищет взгляд, чтобы одна из этих беспрерывных стен в каком-нибудь месте вдруг возросла и выбросилась на воздух смелым переломленным сводом или изверглась какою-нибудь башней-гигантом. Старинный германский городок с узенькими улицами, с пестрыми домиками и высокими колокольнями имеет вид, несравненно более говорящий нашему воображению. Даже вид какого-нибудь восточного города с высокими, тонкими минаретами, с восточными пестрыми куполами, потонувшими в садах, имеет более характера, более дышит поэзией и воображением, нежели наши европейские города позднейшей архитектуры.

Башни огромные, колоссальные необходимы в

городе, не говоря уже о важности их назначения для христианских церквей. Кроме того, что они составляют вид и украшение, они нужны для сообщения городу резких примет, чтобы служить маяком, указывавшим бы путь всякому, не допуская сбиться с пути. Они еще более нужны в столицах для наблюдения над окрестностями. У нас обыкновенно ограничиваются высотою, дающею возможность обглядеть один только город. Между тем как для столицы необходимо видеть по крайней мере на полтораста верст во все стороны и для этого, может быть, один только или два этажа лишних — и все изменяется. Объем кругозора по мере возвышения распространяется необыкновенною прогрессией. Столица получает существенную выгоду, обозревая провинции и заранее предвидя все; здание, сделавшись немного выше обыкновенного, уже приобретает величие; художник выигрывает, будучи более настроен колоссальностию здания к вдохновению и сильнее чувствуя в себе напряжение.

Это направление архитектуры старалось как будто нарочно скрывать свое величие, вместо того, чтобы как можно более выказывать его пространству. Нет, не таков закон великого: строение должно неизмеримо возвышаться почти

над головою зрителя; чтобы он стал, пораженный внезапным удивлением, едва будучи в состоянии окинуть глазами его вершину. И потому строение всегда лучше, если стоит на тесной площади. К нему может идти улица, показывающая его в перспективе, издали, но оно должно иметь поражающее величие вблизи. Чтобы дорога проходила мимо его! Чтобы кареты гремели у самого его подножия! Чтобы люди лепились под ним и своею малостью увеличивали его величие! Дайте человеку большое расстояние — и он уже будет глядеть выше, гордо на находящиеся пред ним предметы; ему покажется все малым. Мы так непостижимо устроены, наши нервы так странно связаны, что только внезапное, оглушающее с первого взгляда, производит на нас потрясение. И потому вышину строения подымайте в соразмерности с площадью, на которой оно стоит. Если оно с последнего края площади кажется малым, и зритель не ощущает изумления, но должен для этого близко подходить к нему, то здание пропало, а вместе с ним пропали труды и издержки, употребленные на сооружение его.

Но возвращаюсь к простоте архитектуры, которая заразила наш XIX век. Сами греки чувствовали, что одни прямые линии и совершенная

простота строений будут казаться уже чересчур плоскими, особливо если множество такого рода строений соединятся вместе. Они чувствовали, что строгая правильность и гладкость строения должна непременно иметь возле себя какую-нибудь противоположность, чтобы быть более оригинальною и заметною. И потому простирали над ними навес древесный. Белизна прямолинейной стены или стройного с колоннами фронтона, выказываясь из-за темной гущи зелени, действительно хороша, потому что составляет контраст с облачным расположением дерева, почти всегда неправильно, но красиво раскидывающего свои ветви. Как только здание их окружалось другими и находилось среди города, они чувствовали излишнюю простоту его и старались придать сколько можно более игры. Мысль о дереве и о природе прежде всего приходила им в голову. Но в городе дерево — драгоценность; тогда они чаще начали употреблять не гладкие дорические колонны, но большею частию коринфские с капителью из завитых листьев. Вообще убирать строения листьями, вьющимися гроздьями винограда или украшениями, носящими неясный образ ветвей дерева, было инстинктом у всех народов. Они невольно, слепо следовали

тайному внушению своего вкуса. В готической архитектуре более всего заметен отпечаток, хотя неясный, тесно сплетенного леса, мрачного, величественного, где топор не звучал от века. Эти стремящиеся нескончаемыми линиями украшения и сети сквозной резьбы не что другое, как темное воспоминание о стволе, ветвях и листьях древесных. И потому смело возле готического строения ставьте греческое, исполненное стройности и простоты: оно будет стоять между ними, как между величественными, прекрасными деревьями. И готическое и греческое получат от этого двойную прелесть. Истинный эффект заключен в резкой противоположности; красота никогда не бывает так ярка и видна, как в контрасте. Контраст тогда только бывает дурен, когда располагается грубым вкусом или, лучше сказать, совершенным отсутствием вкуса, но, находясь во власти тонкого, высокого вкуса, он первое условие всего и действует ровно на всех. Разные части его гармонируют между собою по тем же законам, по которым цвет палевый гармонирует с синим, белый с голубым, розовый с зеленым и так далее. Все зависит от вкуса и от умения расположить. Не мешайте только в одном здании множества разных вкусов и родов архитектуры. Пусть каждое

носит в себе что-то целое и самобытное, но пусть противуположность между этими самобытными в отношении их друг к другу будет резка и сильна. Чем более в городе памятников разных родов зодчества, тем он интереснее; тем чаще заставляет осматривать себя, останавливаться с наслаждением на каждом шагу. Неужели было бы хорошо, если бы в английском саду вместо беспрерывных, неожиданных видов гуляющий находил ту же самую дорожку или, по крайней мере, так похожую своими окрестностями на виденную им прежде, что она кажется давно известною?

Терпимость нам нужна; без нее ничего не будет для художества. Все роды хороши, когда они хороши в своем роде. Какая бы ни была архитектура: гладкая массивная египетская, огромная ли, пестрая индусов, роскошная ли мавров, вдохновенная ли и мрачная готическая, грациозная ли греческая — все они хороши, когда приспособлены к назначению строения; все они будут величественны, когда только истинно постигнуты.

Если бы однако ж потребовалось отдать решительное преимущество которой-нибудь из этих архитектур, то я всегда отдам его готической. Она чисто европейская, создание европейского духа

и потому более всего прилична нам. Чудное ее величие и красота превосходит все другие. Но из милости, из сострадания ее ломайте, не коверкайте ее! Глядите чаще на знаменитый Кельнский собор; там все ее совершенство и величие. Лучшего памятника никогда не производили ни древние, ни новые веки. Я предпочитаю потому еще готическую архитектуру, что она более дает разгула художнику. Воображение живее и пламеннее стремится в высоту, нежели в ширину. И потому готическую архитектуру нужно употреблять только в церквях и строениях, высоко возносящихся. Линии и бескарнизные готические пилястры, узко одна от другой, должны лететь через все строение. Горе, если они отстоят далеко друг от друга, если строение не перевысило по крайней мере вдвое своей ширины, если не втрое! Оно тогда уничтожилось само в себе. Возносите его таким, каким оно быть должно: чтобы выше, выше, сколько можно выше, поднимались его стены, чтобы гуще, как стрелы, как тополи, как сосны, окружали их бесчисленные угольные столбы! никакого перереза, или перелома, или карниза, давшего бы другое направление или уменьшившего бы размер строения! чтобы они были ровны от основания до самой вершины!

Огромнее окна, разнообразнее их форму, колоссальнее их высоту! воздушнее, легче шпиц! чтобы все, чем более подымалось кверху, тем более бы летело и сквозило. И помните самое главное: никакого сравнения высоты с шириною. Слово ширина должно исчезнуть. Здесь одна законодательная идея — высота.

Я уверен, что некоторые будут утверждать, что постройка здания слишком высокого бесполезна, потому что нам нужно больше места, что высота ни к чему не служит и даром истрачивает материалы. Но я вовсе не советую этот готический образ строений употреблять на театры, на биржи, на какие-нибудь комитеты и вообще на здания, назначаемые для собраний веселящегося, или торгующего, или работающего народа. Со мною согласится всякой, что нет величественнее, возвышеннее и приличнее архитектуры для здания христианскому Богу, как готическая. И что же должны мы тогда уничтожить, чего лишиться? — Величественного, колоссального, при взгляде на которое мысли устремляются к одному и отрывают молельщика от низкой его хижины. Весьма не мешает вспомнить великую старую истину, что народ не в силах понять религии в такой же самой чистоте и бестелесности, как получившие

высшее образование, что на него более всего производят впечатление видимые предметы; что чем меньше этот видимый предмет на него действует, тем слабее его энтузиазм и простая вера. Великолепие повергает простолюдима в какое-то онемение и оно-то единственная пружина, двигающая диким человеком. Необыкновенное поражает всякого, но тогда только, когда оно смело, резко и разом бросается в глаза. Здесь уже прочь всякое скряжничество и расчет! В противном случае этот расчет будет не расчет; и выгода, возникшая из него, будет выгода одного человека перед выгодою целого человечества.

Вальтер Скотт первый отряхнул пыль с готической архитектуры и показал свету все ее достоинство. С того времени она быстро распространилась. В Англии все новые церкви строят в готическом вкусе. Они очень милы, очень приятны для глаз, но, увы, истинного величия, дышащего в великих зданиях старины, в них нет. Они, несмотря на стрельчатые окна и шпицы, не сохраняют в целом истинно готического вкуса и уклонились от образцов. Во-первых, они сами по себе вовсе не огромны (великий недостаток готического строения); во-вторых, весь этот лес четырехгранных тонких столбов и линий, союз-

но стремящихся чрез все строение, позабыт или отвергнут вовсе, оставшаяся чрез это гладкость нечувствительно дает им совершенно другое выражение.

Могущественным словом Вальтер Скотта вкус к готическому распространился быстро везде и проникнул во все. Еще не сделавшись великим, он уже сделался мелким: сельские домики, шкафы, ширмы, столы, стулья — все обратилось в готическое. И эти величественные, прекрасные украшения употреблены были на игрушки. Век наш так мелок, желания так разбросаны по всему, знания наши так энциклопедически, что мы никак не можем усредоточить на одном каком-нибудь предмете наших помыслов и оттого поневоле раздробляем все наши произведения на мелочи и на прелестные игрушки. Мы имеем чудный дар делать все ничтожным. Египетскую архитектуру, которой весь эффект в колоссальности, мы издерживаем на небольшие мостики, на ворота, вершину которых проезжающий кучер может достать рукою. Из готической мы делаем серьги, футляры для часов; греческую мы употребляем в беседках. В публичных же и огромных зданиях показываем такую архитектуру, которую вряд ли можно признать особенным родом. В

ней столько безмыслия, такое негармоническое соединение частей, такое отсутствие всякого воображения, что недостает сил назвать ее имеющею свой характер архитектурою.

Есть рудник, о котором едва только знают, что он существует; есть мир совершенно особенный, отдельный, из которого менее всего черпала Европа. Это — архитектура восточная. Архитектура, которая создана одним только воображением, воображением восточным, горячим, чудесным, облекшимся в гиперболу и аллегорию, пролетевшим мимо жизни и прозаических нужд ее. Жизнь азиатцев никогда не имела такого многостороннего развития, как европейцев: никогда потребности их не были так разнообразны и бесчисленны как наши, и потому очень естественно, что обыкновенные жилища их лишены пестроты, ясности и стройности; они уединенны, однообразны, так же скучны отсутствием всякой мысли, как самый азиатец во время своего покоя. Но зато везде, куда ни проникала только азиатская роскошь, огромная, великолепная, та роскошь, которая блещет в их волшебных сказках, везде, куда ни проникала эта увешенная ожерельями дочь восточного воображения, там стоят доныне дворцы, великолепие

которых изумительно. Строение их захватывало целые веки; целый народ, целая нация над ним трудилась, и предки верили, как в неотразимое предопределение, что здание будет окончено их потомками. Везде, куда ни проникала эта всемогущая массивная роскошь или дикий энтузиазм первоначальной их религии, везде громоздились памятники, ужасные своею огромностию, перед которыми мысль немеет от изумления, когда вспомнишь, как бедны были их средства и познания; как ничтожны их машины для поднятия и укрепления этих страшных масс. Еще более изумление овладевает духом, когда видишь, как почти дикий, неразвившийся человек развился внезапно на этом гигантском здании; как был он проникнут и восторжен мыслью о божестве, что невольно показал разоблачение своего гения и упредил медленные годы векового образования.

Взгляните на этот массивный, величественный Триченгурский храм у индусов, едва ли не одно из первых зданий по величине своей. Это пирамидальное склонение массы кверху, постепенное уменьшение этажей, бездна индейских портиков, облепливающих их стены, пилястры, громоздящиеся над пилястрами, колонны над колоннами, как будто ступающие одна на другую,

чтобы скорее достать вершины этой массы — все это явление совершенно оригинального вкуса. Но если Триченгурский храм слишком уже тяжел и дышит язычеством, взгляните на стройный, прекрасный Кутуб-Минар, которым по справедливости славятся Дельфи. Я не знаю в мире башни, которая бы при простоте почти аттической столько дышала глубиною красоты, где бы воображение вылилось так чисто и величаво. Если этот род не может быть совершенно усвоен нами, то европейцы вообще могут заимствовать с пользою это пирамидальное или конусообразное устремление кверху — резкое отличие индейского стиля.

Восточная архитектура дворцов представляет совершенно противуположный род: здесь царство азиатской роскоши. Строение раздается пространнее в ширину. Огромный восточный купол, или совершенно круглый, или выгибающийся, как сладострастная ваза, опрокинутая вниз, или в виде шара, или обремененный, облепленный резьбою и украшениями, как богатая митра, патриархально властвует над всем зданием; внизу, у самого подножия строения небольшие куполы целою оградою обходят его пространные стены, как покорные рабы; со всех сторон летят тонкие

минареты, представляющие самый очаровательный контраст своею легкою, веселою торнюрою с важным, величественным видом всего здания. Так величественный магометанин в широком, убранном золотом и каменьями, платье возлежит среди гурий стройных, обнаженных, ослепительных своею белизною.

Нигде зодчество не принимало столько разнообразных форм, как на Востоке. Там каждое здание выливалось, можно сказать, всегда мимо прежних условий, или, лучше сказать, оно выливалось, облеченное новыми условиями собственного предчувствия, сходствовавшими с прежними разве только в самом отдаленном начале религиозном или национальном. Вся Индия усеяна прекрасными зданиями. Каждое из них сохраняет свое резкое отличие, свой особый отпечаток, до такой степени, что их совершенно нельзя подвесть под одну категорию. Множество разных куполов всех возможных форм, вовсе не похожих один на другого, украшений и убранств, совсем отличных и всегда новых, — все говорит о необыкновенном воображении их, которое не стеснялось никакими правилами. Впрочем, причиною этого разнообразия, может быть, было бесчисленное множество сект, наполняющих

Индию, производивших вечную оппозицию, вечную раздражительность воображения. Но более исполнены роскоши очаровательной, которою говорит восточная природа, те здания, которых коснулся вкус аравитян. В Азии, во время этих разрушительных встреч новых и старых народов, особенно магометан, произошло необыкновенное смешение архитектур, произошли самые дерзкие отступления. Но никогда, нигде не соединялось смелое с такою прекрасною роскошью, как у аравитян. Они заимствовали от природы все то, что есть в ней верх прекраснейшего. Их архитектура не носит на себе печати дремучих лесов; она вся состоит из цветов. Она убрана цветами, она потоплена целым морем цветов, прекрасных, роскошных, какими убрана нежная долина Кашемира. Их узорные колонны увенчаны тюльпаном; их резьба в виде незабудок и цветов с четырью лепестками или развивающихся роз; их галлереи похожи на ветви пальм, вершинами своими образующих своды. Все отозвалось необыкновенной роскошью цветистого их вкуса. Эта архитектура как-то именно создалась для жизни, отданной наслаждениям, для веселых, светлых жилищ человека. Она решительно изгнала из себя все мрачное. Здание так прелестно,

очаровательно, как восточная красавица с черными, яркими как молния глазами, в пестром своем убранстве и драгоценных ожерельях.

Восточная архитектура имеет у себя то, чего никогда еще не употребляли европейцы. Это колонны, не гладкие, но распещренные украшениями от пьедестала до капители. Иногда эти колонны бывают совершенно сквозные и прозрачные: резьба проникает их насквозь. Они составляют пленительнейшее изобретение восточного вкуса. Здание, как бы ни было громоздко, но с такими колоннами кажется воздушно. Почему бы, казалось, нам не перенести их на свою почву? Но ум и вкус человека представляют странное явление: прежде нежели достигнет истины, он столько даст объездов, столько наделает несообразностей, неправильностей, ложного, что после сам дивится своей недогадливости. Обо всех сих памятниках Европа и не заботилась.

Один только вкус китайцев, который можно назвать самым мелким, самым ничтожным из всех восточных народов, каким-то поветрием занесся к нам в конце XVIII столетия. Хорошо, что европейцы, по обыкновению своему, тотчас обратили его на мостики, павильоны, вазы, камины, а не вздумали приспособить к большим строениям.

Этот вкус точно был недурен в безделках, потому что европейцы его тотчас усовершенствовали по-своему и дали ему ту прелесть, которой он сам в себе не имеет, так же как и его народ не имеет энергии, несмотря на всю свою образованность.

Есть еще особенный род архитектуры, совершенно отличный от всего, доселе показанного мною. Это архитектура катакомб индейских и египетских, где эти два народа так удивительно сошлись между собою и дали повод подозревать древнее между ими родство. Главный характер ее — тяжесть. Здесь все должно соединиться в массу и толщу; здание тяжело ступает, как на слоновых пядях, на коротких, тяжелых колоннах, которых ширина своим диаметром равняется почти с высотою. Здесь уже совершенно все ширина и масса. На ней как будто отпечаталась тяжесть земли, внутри которой она скрывает тяжелое свое величие. То, что порок в других родах ее, то здесь достоинство. Эта подземная архитектура имеет что-то также величавое, хотя внушает совершенно другие мысли. Здесь тяжесть не безобразна, а величественна, потому что составляет главную идею всего здания. Если художник предположил создать тяжелое и массивное и выполнил это, его творение верно будет хорошо; но когда начертал

он план тяжелого, а из него вышло вовсе не тяжелое, или наоборот, когда он замыслил произвесть легкое, а вышло тяжелое, то это уже решительно дурно. Здание это, когда с него сбрасывали землю и оно выходило на свет, представляло всегда странный и вместе страшный вид; как будто бы земля выказывала свою глубокую внутренность, как будто бы мрак очутился вдруг среди яркого света, мрак, только освещаемый светом, а не прогоняемый им, как египетская урна или мертвая голова среди пиршеств. Мне кажется, напрасно эту архитектуру вгоняют в землю: показавшись вдруг, нечаянно, среди светлых, легких домиков, она должна непременно поразить всякого и произвести свой эффект. Одно такого рода строение среди многолюдного города было бы прелесть, но только одно, не более. В строениях такого рода все части состоят из тяжестей, но при всем том отношения их между собою исполнены какой-то внутренней, несколько страшной гармонии и создать в этом роде совершенное весьма нелегко. Египетская архитектура надземная составляет совершенно другой род: она массивна тоже; но стройность и простота в высшей степени с нею неразлучны; главный же ее характер — колоссальность. Чем она глаже снизу доверху, без

всяких разделений и резких украшений, тем лучше. Но не употребляйте ее на небольшие мостики: без колоссальности эта архитектура менее нежели ничто. Еще раз повторяю: всякая архитектура прекрасна, если соблюдены все ее условия и если она выбрана совершенно согласно назначению строения. Без этой благонамеренной, беспристрастной терпимости не будет ни истинных талантов, ни истинно величественных произведений. Прочь этот схолацизм, предписывающий строения ранжировать под одну мерку и строить по одному вкусу! Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам. Пусть в нем совокупится более различных вкусов. Пусть в одной и той же улице возвышается и мрачное готическое, и обремененное роскошью украшений восточное, и колоссальное египетское, и проникнутое стройным размером греческое. Пусть в нем будут видны: и легко выпуклый млечный купол, и религиозный бесконечный шпиц, и восточная митра, и плоская крыша италианская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелиск. Пусть как можно реже дома сливаются в одну ровную, однообразную стену, но клонятся

то вверх, то вниз. Пусть разных родов башни как можно чаще разнообразят улицы. Неужели найдется такой смельчак или, лучше сказать, несмельчак, который бы ровное место в природе осмелился сравнить с видом утесов, обрывов, холмов, выходящих один из-за другого?

Архитектор-творец должен иметь глубокое познание во всех родах зодчества. Он менее всего должен пренебрегать вкусом тех народов, которым мы в отношении художеств обыкновенно оказываем презрение. Он должен быть всеобъемлющ, изучить и вместить в себе все бесчисленные изменения их. Но самое главное: должен изучить все в идее, а не в мелочной наружной форме и частях. Но для того, чтобы изучить в идее, нужно быть ему гением и поэтом.

Но обратимся к архитектуре городов. Город нужно строить таким образом, чтобы каждая часть, каждая отдельно взятая масса домов представляла живой пейзаж. Нужно толпе домов придать игру, чтобы она, если можно так выразиться, заиграла резкостями, чтобы она вдруг врезалась в память и преследовала бы воображение. Есть такие виды, которые век помнишь, и есть такие, которых при всех усилиях не можешь заметить в памяти. Зодчество грубее и вместе

колоссальнее других искусств, как то: живописи, скульптуры и музыки, и потому эффект его — в эффекте. Масса города имеет уже тем выгоду, что ее вдруг можно изменить, исправить по своему произволу. Иногда одно только строение среди ее — и она совершенно изменяет вид свой, принимает другое выражение; так, как всякой рисунок ученика вдруг оживляется под кистью или карандашом его учителя, который в одном месте подкрепит, в другом отделит, в третьем только тронет, — и все уже не то. Притом самые ошибки уже подают идею о том, как избежать их, бесхарактерное подает мысль о характерном, мелкое и плоское вызывают в противоположность дерзкое и необыкновенное, углубление вниз подает идею о возвышении вверх и наоборот. Гений — богач страшный, перед которым ничто весь мир и все сокровища.

При построении городов нужно обращать внимание на положение земли. Города строятся или на возвышении и холмах, или на равнинах. Город на возвышении менее требует искусства, потому что там природа работает уже сама, то подымает домы на величественных холмах своих и кажет их великанами из-за других домов, то опускает их вниз, чтобы дать вид другим. В таком городе

можно менее употреблять разнообразия. В нем можно более употреблять гладких и одинаковых домов, потому что неровное положение земли уже дает им некоторым образом разнообразие, помещая их в разных местоположениях. Нужно наблюдать только, чтобы домы показывали свою вышину один из-за другого, так, чтобы стоящему у подошвы казалось, что на него глядит двадцатиэтажная масса. Там мало нужно искусства, где природа одолевает искусство; там искусство, только для того, чтобы украсить ее. Но где положение земли гладко совершенно, где природа спит, там должно работать искусство во всей силе. Оно должно пропестрить, если можно сказать, изрыть, скрыть, равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни. Здесь однообразие и простота домов будет большая погрешность. Здесь архитектура должна быть как можно своенравнее: принимать суровую наружность, показывать веселое выражение, дышать древностью, блестеть новостью, обдавать ужасом, сверкать красотою, быть то мрачной, как день, обхваченный грозою с громовыми облаками, то ясною, как утро в солнечном сиянии. Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания и когда уже ничто не говорит о

погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, является среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем уже народе. Чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей его жизни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень понимания и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшее ступенью нашего собственного возвышения[271].

Неужели однако же невозможно создание (хотя для оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежних условий? Когда дикий и малоразвившийся человек, которому одна природа, еще грубо им понимаемая, служит руководством и вдохновением, создает творение, в котором является и красота и тайный инстинкт вкуса, отчего же мы, которых все способности

[271] Примечания: 271

Мне прежде приходила очень странная мысль: я думал, что весьма не мешало бы иметь в городе одну такую улицу, которая бы вмещала в себе архитектурную летопись. Чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами, — прошедши которые, зритель видел бы с двух сторон возвышающиеся величественные здания первобытного дикого вкуса, общего первоначальным народам. Потом постепенное изменение ее в разные виды: высокое преображение в колоссальную, исполненную простоты, египетскую, потом в красавицу греческую, потом в сладострастную александрийскую и византийскую с плоскими куполами, потом в римскую с арками в несколько рядов, далее вновь нисходящую к диким временам и вдруг потом поднявшеюся до необыкновенной роскоши аравийскою, потом дикою готическою, потом готико-арабскою, потом чисто готическою, венцом искусства, дышащею в Кельнском соборе, потом страшным смешением архитектур, происшедшим от обращения к византийской, потом древнею

греческою, в новом костюме и, наконец, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключившими бы в себе стихии нового вкуса. Эта улица сделалась бы тогда в некотором отношении историею развития вкуса, и кто ленив перевертывать толстые тома, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать все.

так обширно развились, которые более видим и понимаем природу во всех ее тайных явлениях, — отчего же мы не производим ничего совершенно проникнутого таким богатством нашего познания? Идея для зодчества вообще была черпана из природы, но тогда, когда человек сильно чувствовал на себе ее влияние; теперь же искусство поставил он выше самой природы, — разве не может он черпать своих идей из самого искусства или, лучше сказать, из гармонического слияния природы с искусством? Рассмотрите только, какую страшную изобретательность показал он на мелких изделиях утонченной роскоши; рассмотрите все эти модные безделицы, которые каждый день являются и гибнут, рассмотрите их, хотя в микроскоп, если так они не останавливают вашего внимания. Какого они исполнены тонкого вкуса! какие принимают они совершенно небывалые прелестные формы! Они создаются в таком особенном роде, который еще никогда не встречался. Резьба и тонкая отделка их так незаимствованы и вместе с тем так хороши, что мы иногда долго любуемся ими, и увы! вовсе не ощущаем жалости при виде, как гибнет вкус человека в ничтожном и временном, тогда как он был бы заметен в неподвижном и вечном. Разве

мы не можем эту раздробленную мелочь искусства превратить в великое? Неужели все то, что встречается в природе, должно быть непременно только колонна, купол и арка! Сколько других еще образов нами вовсе не тронуто! Сколько прямая линия может ломаться и изменять направление, сколько кривая выгибаться, сколько новых можно ввести украшений, которых еще ни один архитектор не вносил в свой кодекс! В нашем веке есть такие приобретения и такие новые, совершенно ему принадлежащие стихии, из которых бездну можно заимствовать никогда прежде невоздвигаемых зданий. Возьмем, например, те висящие украшения, которые начали появляться недавно. Покаместь висящая архитектура только показывается в ложах, балконах и в небольших мостиках. Но если целые этажи повиснут, если перекинутся смелые арки, если целые массы вместо тяжелых колонн очутятся на сквозных чугунных подпорах, если дом обвесится снизу доверху балконами с узорными чугунными перилами, и от них висящие чугунные украшения в тысячах разнообразных видов облекут его своею легкою сетью, и он будет глядеть сквозь них, как сквозь прозрачный вуаль, когда эти чугунные сквозные украшения, обвитые около круглой,

прекрасной башни, полетят вместе с нею на небо, — какую легкость, какую эстетическую воздушность приобретут тогда дома наши! Но какое множество есть разбросанных на всем намеков, могущих зародить совершенно необыкновенную живую идею в голове архитектора, если только этот архитектор — творец и поэт[272].

1831

Ал-Мамун
(Историческая характеристика)

Ни один государь не принимал правления в такую блестящую эпоху своего, государства, как Ал-Мамун. Грозный калифат величественно возвышался на классической земле древнего мира. Он обнимал на востоке всю цветущую Юго-Западную Азию и замыкался Индиею, на западе он простирался по берегам Африки до Гибралтара. Сильный флот покрывал Средиземное море; Багдад, столица этого нового чудесного мира, видел

[272] Примечания: 272

Статья эта писана давно. В последнее время вкус в Европе улучшился и особенно в нашей любезной России. Многие архитекторы уже ей делают честь; из них должно упомянуть о Брюллове, которого здания исполнены истинного вкуса и оригинальности.

повеления свои исполняющимися в отдаленных краях провинций; Бассора, Нигабур и Куфа зрели новообращенную Азию, стекающуюся в свои блестящие школы; Дамаск мог одеть всех сластолюбцев дорогими тканями и снабдить всю Европу стальными мечами, и араб уже думал, как бы осуществить на земле рай Магомета, создавал водопроводы, дворцы, целые леса пальм, где сладострастно били фонтаны и дымились благовония Востока. И к такому развитию роскоши еще не успела привиться ни одна нравственная болезнь политического общества. Все части этой великой империи, этого магометанского мира были связаны довольно сильно, и связь эта укреплена была волею необыкновенного Гаруна, который постигнул все разнообразные способности своего народа. Он не был исключительно государь-философ, государь-политик, государь-воин или государь-литератор. Он соединял в себе все, умел ровно разлить свои действия на все и не доставить перевеса ни одной отрасли над другою. Просвещение чужеземное он прививал к своей нации в такой только степени, чтобы помочь развитию ее собственного. Уже арабы перешли эпоху своего фанатизма и завоеваний, но все еще были исполнены энтузиазма, и огненные страницы

Корана перелистывались с тем же благоговением, исполнялись так же раболепно. Гарун умел ускорить весь административный государственный ход и исполнение повелений страхом своей вездесущности. Наместники и эмиры, из которых каждый обыкновенно стремится быть деспотом, опасались встретить всезрящего, переодетого калифа — и правление без законов двигалось крепко и определенно. В таком виде принял государство Ал-Мамун, государь, которого Царьград назвал великодушным покровителем наук, которого имя история внесла в число благодетелей человеческого рода и который замыслил государство политическое превратить в государство муз. Он был одарен всею живостию и способностию к долгому изучению. Его характер исполнен был благородства. Желание истины было его девизом. Он был влюблен в науку и влюблен совершенно бескорыстно: он любил науку для нее же самой, не думая о ее цели и применении. Он предался ей с исключительною страстью. Тогда аравитяне только что отрыли Аристотеля. Многообъемлющий и точный философ Греции не мог сойтись с их воображением, слишком стремительным, слишком колоссальным и восточным, но аравийские ученые, занимаясь дол-

гое время копотливою работою, уже несколько привыкнули к точности и формальности и оттого принялись за него с ученым энтузиазмом. Эти бесконечные выводы, это облечение в видимость и порядок того, что они прежде чувствовали в душе пламенными отрывками, не могли не околдовать тогдашних ученых. Воспитанный под их влиянием Ал-Мамун, исполненный истинной жажды просвещения, употреблял все старания ввести в свое государство этот чуждый дотоле греческий мир. Багдад распростер дружелюбные длани всему ученому тогдашнему свету. Милости калифа были открыты всякому, кто принадлежал к какому бы то ни было званию, какой бы ни был он религии, каких бы ни был исполнен противоречащих начал. Естественно, что тогда более всего приносили свои познания в Багдад те, которые еще сохраняли в душе своей образ политеизма, облеченного христианскими формами, которые готовы были стать грудью за Аммония Саккаса, Плотина и других последователей новоплатонизма, которые уже не находили поля для своих ученых ристаний в Царьграде, слишком занятом спорами о догмах христианства. Багдад превратился в республику разнородных отраслей познаний и мнений. Венценосный

араб вслушивался внимательно в усыпительную музыку ученых толкований и тонкостей. Правители государственных мест не могли не увлечься примером государя, и тогда высшие ступени государства обняла какая-то литературная мономания. Визири и эмиры старались окружить свой двор учеными пришельцами. Очевидно, что административная часть была как будто чем-то второстепенным, что правители должны были многое, относящееся к управлению, поверять усмотрению своих секретарей и любимцев, что эти любимцы были иногда вовсе невежды, часто получали пронырствами места, что все это должно было отозваться на народе и впоследствии времени обрушиться на самих правителей. Толпа теоретических философов и поэтов, занявших правительственные места, не может доставить государству твердого правления. Их сфера совершенно отдельна; они пользуются верховным покровительством и текут по своей дороге. Отсюда исключаются те великие поэты, которые соединяют в себе и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человека, проникли минувшее и прозрели будущее, которых глагол слышится всем народом. Они — великие жрецы. Мудрые властители чествуют их своею

беседою, берегут их драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней деятельностью правителя. Их призывают они только в важные государственные совещания, как ведателей глубины человеческого сердца.

Благородный Ал-Мамун истинно желал сделать счастливыми своих подданных. Он знал, что верный путеводитель к тому — науки, клонящиеся к развитию человека. Он всеми силами заставлял своих подданных принимать вводимое им просвещение. Но просвещение, вводимое Ал-Мамуном, менее всего отвечало природным элементам и колоссальности воображения арабов. Лишенные энергии начала политеизма, обратившиеся в кучу слов, дерзко обезображенные идеи христианства, странно озарившие тогдашние науки, не слившиеся с ними, но, можно сказать, уничтожившие их своим преобладанием — представляли совершенный контраст пламенной природе араба, у которого воображение слишком потопляло тощие выводы холодного ума. Этот чудный народ не шел, а летел к своему развитию. Гений его вдруг оказывался в войне, торговле, искусствах, мануфактурах и роскошной поэзии Востока. Его доселе небывалые в истории человечества стихии вспыхнули богато, ярко, странно

и совершенно оригинально. Казалось, этот народ обещал дотоле невиданное совершенство нации. Но Ал-Мамун не понял его. Он упустил из вида великую истину: что образование черпается из самого же народа, что просвещение наносное должно быть в такой степени заимствовано, сколько может оно помогать собственному развитию, но что развиваться народ должен из своих же национальных стихий. Но для араба поле подвигов было заграждено этим бесплодным чужестранным просвещением. Самый космополитизм Ал-Мамуна, открывавшего вход в государство ученым всех партий, уже зашел несколько далеко. Выгоды, которые в государстве получали христиане, не могли не возродить в собственных его подданных ненависти, а вместе и презрения к самым даже полезным их учреждениям, — и народ уже терял любовь к своему калифу. В правлении Ал-Мамун был больше философ-теоретик, нежели философ-практик, каким бы должен быть государь. Он знал жизнь своего народа из описаний, из рассказов других, а не изведал сам, как очевидец, как изведал его великий Гарун. В азиатских образах правления, не имеющих определенных законов, вся административная часть падает на самого монарха, и потому де-

ятельность его должна быть необыкновенна, внимание его должно быть вечно напряжено; он не может довериться совершенно никому, и глаз его должен иметь многосторонность Аргуса: минуту засни он — и его полномочные наместники вдруг возрастают, и государство наполняется миллионами деспотов. Но Ал-Мамун в своем Багдаде жил как в государстве муз, им же самим созданном и совершенно отдельном от мира политического. Христиане, которые стали наконец вмешиваться в административные должности, не могли узнать народного духа и обычаев земли. Притом самое иноверство их было невыносимо для араба, еще сохранявшего энтузиазм и нетерпимость. И когда имя Ал-Мамуна повторялось на устах ученых тогдашнего века, когда его гостеприимство привлекало пестрые флаги к берегам сирийским, власть его внутри государства становилась между тем слабее. Жители провинций, никогда не видавшие своего калифа, мало дорожили его именем. Военная сила ослабла. Просвещение обыкновенно стремилось из Багдада, как из центра, уменьшаясь и угасая по мере приближения к отдаленным границам. На границах арабы еще сохраняли свой первый период. На границах стояли войска, еще полные

фанатизма, еще стремившиеся огнем и мечом водружать веру Магомета. Сильные эмиры их, почувствовавши слабость связи Багдада, думали о независимости, и Ал-Мамун уже при жизни своей видел отторжение Персии, Индии и дальних провинций Африки. Но, может быть, все это неверное направление администрации было бы еще исправимое зло, если бы Ал-Мамун не простер уже слишком далеко своей любви к истине. Он захотел быть религиозным реформатором своей нации. Исполненный ума чисто теоретического, будучи выше суеверий и предрассудков, будучи ближе познакомлен с некоторыми догмами христианства, нежели его предшественники, он не мог не видеть всех бесчисленных противоречий, пламенных нелепостей, которые вырывались всеместно в постановлениях исступленного творца Корана. Он решился очистить и преобразовать Священную книгу магометан и — в то самое время, когда еще все низшие государственные ступени, вся чернь была уверена, что она принесена с неба и когда усомниться в маловажном постановлении ее уже считалось величайшим преступлением. Полугреческой образ мыслей Ал-Мамуна чуждался совершенно слепого энтузиазма его подданных. Первым

шагом к образованию своего народа он почитал истребление энтузиазма, того энтузиазма, который составлял существование народа аравийского, того энтузиазма, которому он обязан был всем своим развитием и блестящею эпохою, подорвать который значило подорвать политический состав всего государства. Ему нелепее, несообразнее всего казался Магометов рай, куда араб переносил всю чувственную земную жизнь свою, жизнь, назначенную для наслаждения и сладострастия. Но Ал-Мамун не принял в соображение того, что это постановление изверглось из огненного аравийского климата, из огненной природы араба, — что этот рай для магометанина есть великий оаз среди пустыни его жизни, что надежда в этот рай одна только заставляла чувственного араба терпеливо сносить бедность, притеснение, подавлять в душе своей зависть при виде утопающего в роскоши сибарита. Мысль, что и он будет наконец находиться среди гурий, среди роскоши, превышающей роскошь земных владык, одна могла быть доступна для такой чувственности и цветистости воображения, какими природа наделила араба, и что, может быть, с дальнейшим только развитием его могла нечувствительно очиститься его вера. Но Ал-Мамун не

постигал азиатской природы своих подданных.

Можно себе представить силу негодования многочисленного класса народа, когда распространились вести о преобразованиях калифовых. Как должен был принять это народ, который уже за одно покровительство христианам и привязанность к иностранцам обвинял гласно калифа в мотализме, или ереси? Грубая толпа прежних точных исполнителей Корана жестоким упорством своим наконец заставила калифа взяться за оружие. И благородный, великодушный Ал-Мамун, проникнутый истинною любовию к человечеству, явился гонителем своих подданных. Гонением своим он воскресил опять в арабах дикой фанатизм, но уже не тот фанатизм, который сдвинул прежде кочевых обитателей Аравии в одну массу, — он произвел оппозиционный фанатизм, который растерзал массу, который посеял плевелы к недрах государства, который разбудил дикие страсти араба, который дал нож и яд ненависти в руки исступленных последователей ислама, который произвел множество ослепленных сект и ужаснее всего секту карматианов, долго еще свирепствовавшую под именем Сирийских Убийц, во время Крестовых походов. Среди волнений, оказывавшихся в раз-

ных концах государства, среди смут и партий, рассыпая одною рукою благодеяния и милости на школы, фабрики, искусства, поражая другою непокорных, исступленных подданных, умер благородный Ал-Мамун. Умер, не поняв своего народа, не понятый своим народом. Во всяком случае он дал поучительный урок. Он показал собою государя, который при всем желании блага, при всей кротости сердца, при самоотвержении и необыкновенной страсти к наукам, был между прочим невольно одною из главных пружин, ускоривших падение государства.

Жизнь

Бедному сыну пустыни снился сон:

Лежит и расстилается великое Средиземное море, и с трех разных сторон глядят в него: палящие берега Африки с тонкими пальмами, сирийские голые пустыни и многолюдный, весь изрытый морем берег Европы.

Стоит в углу над неподвижным морем Древний Египет. Пирамида над пирамидою; граниты глядят серыми очами, обтесанные в сфинксов; идут бесчисленные ступени. Стоит он величавый, питаемый великим Нилом, весь убранный

таинственными знаками и священными зверями. Стоит и неподвижен, как очарованный, как мумия, несокрушимая тлением.

Раскинула вольные колонии веселая Греция. Кишат на Средиземном море острова, потопленные зелеными рощами; кинамон, виноградные лозы, смоковницы помавают облитыми медом ветвями; колонны, белые как перси девы, круглятся в роскошном мраке древесном; мрамор страстный дышит, зажженный чудным резцом, и стыдливо любуется своею прекрасною наготою; увитая гроздиями, с тирсами и чашами в руках, она остановилась в шумной пляске. Жрицы молодые и стройные с разметанными кудрями вдохновенно вонзили свои черные очи. Тростник, связанный в цевницу, тимпаны, мусикийские орудия мелькают, перевитые плющом. Корабли как мухи толпятся близ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающийся флаг дыханию ветра. И все стоит неподвижно, как бы в окаменелом величии.

Стоит и распростирается железный Рим, устремляя лес копий и сверкая грозною сталью мечей, вперив на все завистливые очи и протянув свою жилистую десницу. Но он неподвижен, как и все, и не тронется львиными членами.

Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнет, как будто бы царства предстали все на страшный суд перед кончиною мира.

И говорит Египет, помавая тонкими пальмами, жилицами его равнин, и устремляя иглы своих обелисков: «Народы, слушайте! я один постиг и проник тайну жизни и тайну человека. Все тлен. Низки искусства, жалки наслаждения, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвует над миром и человеком! Все пожирает смерть, все живет для смерти. Далеко, далеко до воскресения, да и будет ли когда воскресение. Прочь желания и наслаждения! Выше строй пирамиду, бедный человек, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бедное существование».

И говорит ясный, как небо, как утро, как юность, светлый мир греков, и, казалось, вместо слов, слышалось дыхание цевницы: «Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вместе с нею ее наслаждения. Все неси ему. Гляди, как выпукло и прекрасно все в природе, как дышит все согласием. Все в мире; все, чем ни владеют боги, все в нем; умей находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель мира; венчай дубом и лавром прекрасное

чело свое! мчись на колеснице, проворно правя конями, на блистательных играх. Далее корысть и жадность от вольной и гордой души! Резец, палитра и цевница созданы быть властителями мира, а властительницею их — красота. Увивай плющом и гроздием свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги. Жизнь создана для жизни, для наслаждения — умей быть достойным наслаждения!»

И говорит покрытый железом Рим, потрясая блестящим лесом копий: «Я постигнул тайну жизни человека. Низко спокойствие для человека; оно уничтожает его в самом себе. Мал для души размер искусств и наслаждений. Наслаждение в гигантском желании. Презренна жизнь народов и человека без громких подвигов. Славы, славы жаждай, человек! В порыве нерассказанного веселия, оглушенный звуком железа, несись на сомкнутых щитах бранноносных легионов! Слышишь ли, как у ног твоих собрался весь мир и, потрясая копьями, слился в одно восклицание? Слышишь ли, как твое имя замирает страхом на устах племен, живущих на краю мира? Все, что ни объемлет взор твой, наполняй своим именем. Стремись вечно: нет границ миру — нет границ и желанию. Дикий и суровый, далее и далее захва-

тывай мир — ты завоюешь наконец небо».

Но остановился Рим и вперил орлиные очи свои на восток. К востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждения, прекрасные очи; к востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи.

Камениста земля; презренен народ; немнолюдная весь прислонилася к обнаженным холмам, изредка, неровно оттененным иссохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградою стоит ослица. В деревянных яслях лежит младенец; над ним склонилась непорочная мать и глядит на него исполненными слез очами; над ним высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом.

Задумался Древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапращур земли…

1831

Шлецер, Миллер и Гердер

Шлецер, Миллер и Гердер были великие зодчие всеобщей истории. Мысль о ней была их любимою мыслью и не оставляла их во все время разнообразного их поприща. Шлецер, можно сказать, первый почувствовал идею об одном великом целом, об одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться все времена и народы. Он хотел одним взглядом обнять весь мир, все живущее. Казалось, как будто бы он силился иметь сто аргусовых глаз, для того чтобы разом видеть сбывающееся во всех отдаленных углах мира. Его слог — молния, почти вдруг блещущая то там, то здесь и освещающая предметы на одно мгновение, но зато в ослепительной ясности. Я не знаю, исполнил ли бы он в самом деле то, что резко показывал другим, но по крайней мере никто так сильно не поражен был сам своим предметом, как он. Он имел достоинство в высшей степени сжимать все в малообъемный фокус и двумя, тремя яркими чертами, часто даже одним эпитетом обозначать вдруг событие и народ. Его эпитеты удивительно горячи, дерзки, кажутся плодом одной счастли-

вой минуты, одного внезапного вдохновения и так исполнены резкой, поражающей правды, что не скоро бы пришли на ум определившему себя на долгое глубокое исследование, выключая только, если этот исследователь будет сам Шлецер. Он не был историк, и я думаю даже, что он не мог быть историком. Его мысли слишком отрывисты, слишком горячи, чтобы улечься в гармоническую, стройную текучесть повествования. Он анализировал мир и все отжившие и живущие народы, а не описывал их; он рассекал весь мир анатомическим ножом, резал и делил на массивные части, располагал и отделял народы таким же образом, как ботаник распределяет растения по известным ему признакам. И оттого начертание его истории, казалось бы, должно быть слишком скелетным и сухим; но, к удивлению, все у него сверкает такими резкими чертами, могущественный удар его глаза так верен, что, читая этот сжатый эскиз мира, замечаешь с изумлением, что собственное воображение горит, расширяется и дополняет все по такому же самому закону, который определил Шлецер одним всемогущим словом, иногда оно стремится еще далее, потому что ему указана смелая дорога. Будучи одним из первых, тревожимых мыслью о

величии и истинной цели всеобщей истории, он долженствовал быть непременно гением оппозиционным. Это положение сообщило ему сильную энергию, жар и даже досаду на близорукость предшественников, прорывающиеся очень часто в его сочинениях. Он уничтожает их одним громовым словом, и в этом одном слове соединяется и наслаждение, и сардоническая усмешка над пораженным, и вместе несокрушимая правда; его справедливее, нежели Канта, можно назвать всесокрушающим. Всегда действующие в оппозиционном духе слишком увлекаются своим положением и в энтузиастическом порыве держатся только одного правила: противоречить всему прежнему. В этом случае нельзя упрекнуть Шлецера: германский дух его стал неколебим на своем месте. Он как строгий, всезрящий судия; его суждения резки, коротки и справедливы. Может, быть, некоторым покажется странным, что я говорю о Шлецере, как о великом зодчем всеобщей истории, тогда как его мысли и труды по этой части улеглись в небольшой книжке, изданной им для студентов, — но эта маленькая книжка принадлежит к числу тех, читая которые, кажется, читаешь целые томы; ее можно сравнить с небольшим окошком, к которому приставивши

глаз поближе можно увидеть весь мир. Он вдруг осеняет светом и показывает, как нужно понять, и тогда сам собою наконец видишь все.

Миллер представляет собою историка совершенно в другом роде. Спокойный, тихий, размышляющий, он представляет противоположность Шлецеру. Он с какою-то очаровательною, особенною любовью предается своему предмету. Его слог не блестит тем резким отличием, каким означен слог Шлецера; нет тех порывов, того меткого лаконизма, какими исполнен Шлецер. Он не схватывает вдруг за одним взглядом всего и не сжимает его мощною рукою, но он исследывает все находящееся в мире спокойно, поочередно, не показывая той быстроты и поспешности, с какою выражается автор, опасающийся, чтобы у него не перехватил кто-нибудь мысли и не предупредил его. Слово «исследование» весьма идет к его стилю; его повествование именно исследовательное. Как человек государственный, он более всего занимается изложением форм правления и законов существующих и минувших государств; но он не предпочитает эту сторону до такой степени, чтобы оставить совершенно в тени все другие, к чему способен бывает историк односторонний и чего не мог избежать и Герен, напротив того, он

обращает внимание и на все сопредельное. Все, что не ясно в истории, что менее разоблачено, все это более другого подвергается его исследованию. Заметно даже, что он охотнее занимается временами первобытными и вообще теми эпохами, когда народ еще не был подвержен образованности и порокам, сохранял свои простые нравы и независимость. Это время изображает он с ясною подробностию, с тихим жаром, как будто позабываясь и воображая видеть себя среди своих добрых швейцарцев. Главный результат, царствующий в его истории, есть тот, что народ тогда только достигает своего счастия, когда сохраняет свято обычаи своей старины, свои простые нравы и свою независимость. Везде в нем видны старческая мудрость и младенческая ясность души. Благородство мыслей и любовь к свободе проникают все его творение. Мысль о единстве и нераздельной целости не служит такою целью, к которой бы явно устремлялось его повествование; он даже никогда не говорит о нем, но единство чувствуется в целом творении несмотря на то, что он, кажется, забывает вовсе дела всего мира, занявшись одним народом. История его не состоит из непрерывной движущейся цепи происшествий; драматического искусства

в нем нет; везде виден размышляющий мудрец. Он не выказывает слишком ярко своих мыслей; они у него таятся так скромно, иногда в таком незаметном уголке, что не ищущий не найдет их никогда; но зато они так высоки и глубоки, что открывшему их открывается, по выражению Вагнера в «Фаусте», на земле небо. Этот скромный, незаметный слог его и отсутствие ослепляющей яркости производит в душе невольное сожаление: чрез него Миллер очень мало известен или, лучше сказать, не так известен, как должен бы быть. Одни сильно проникнутые мыслью о истории и способные к тонкому развитию могут только вполне понимать его, другим же он кажется легким и не глубокомысленным.

Гердер представляет совершенно отличный образ воззрения. Он видит уже совершенно духовными глазами. У него владычество идеи вовсе поглощает осязательные формы. Везде он видит одного человека как представителя всего человечества. Он выпытывает глубоко, вдохновенно, как брамин природы, — название, которое придают ему немцы. У него крупнее группируются события; его мысли все высоки, глубоки и всемирны. Они у него являются мало соединенными с видимою природою и как будто извлеченными

из одного только чистого ее горнила. Оттого они у него не имеют исторической осязательности и видимости. Если событие колоссально и заключается в идее — оно у него развертывается все, со всеми своими сокровенными явлениями; но если слишком коснулось жизни и практического, оно у него не получает определенного колорита. Если он нисходит до частных лиц и деятелей истории, они у него не так ярки, как общие группы; они принимают слишком общую физиогномию; они у него или добрые, или злые; все бесчисленные оттенки характеров, все смешение и разнообразие качеств, познание которых достается в удел взирающему с недоверчивостию на других, все эти оттенки у него исчезли. Он мудрец в познании идеального человека и человечества, но младенец в познании человека, по весьма естественному ходу вещей, как всегда мудрец бывает велик в своих мыслях и невежа в мелочных занятиях жизни. Как поэт он выше Шлецера и Миллера. Как поэт он все создает и переваривает в себе, в своем уединенном кабинете, полный высшего откровения, избирая только одно прекрасное и высокое, потому что это уже принадлежность его возвышенной и чистой души. Но высокое и прекрасное вырыва-

ются часто из низкой и презренной жизни или же вызываются натиском тех бесчисленных и разнохарактерных явлений, которые беспрестанно пестрят жизнь человеческую и которых познание редко дается отвлеченному от жизни мудрецу. Стиль его более нежели у кого другого, исполнен живописи и широкого размера, потому что он поэт и этим резко отличается от Миллера, философа-законодателя, всегда спокойного и размышляющего, и Шлецера, философа-критика, всегда почти резкого и недовольного.

Мне кажется, что если бы глубокость результатов Гердера, нисходящих до самого начала человечества, соединить с быстрым, огненным взглядом Шлецера и изыскательною, расторопною мудростию Миллера, тогда бы вышел такой историк, который бы мог написать всеобщую историю. Но при всем том ему бы еще много коечего недоставало: ему бы недоставало высокого драматического искусства, которого не видно ни у Шлецера, ни у Миллера, ни у Гердера. Я разумею однако ж под словом драматического искусства не то искусство, которое состоит в умении вести разговор, но в драматическом интересе всего творения, который сообщил бы ему неодолимую увлекательность, тот интерес, который иногда

дышит в исторических отрывках Шиллера и особенно в *тридцатилетней войне* и которым отличается почти всякое немногосложное происшествие. Я бы к этому присоединил еще в некоторой степени занимательность рассказа Вальтера Скотта и его умение замечать самые тонкие оттенки; к этому присоединил бы шекспировское искусство развивать крупные черты характеров в тесных границах, и тогда бы, мне кажется, составился такой историк, какого требует всеобщая история. Но до того времени Миллер, Шлецер и Гердер долго останутся великими путеводителями. Они много, очень много осветили всеобщую историю, и если в нынешнее время мы имеем несколько замечательных сочинений, то этим обязаны им одним.

1832

О малороссийских песнях

Только в последние годы, в эти времена стремления к самобытности и собственной народной поэзии, обратили на себя внимание малороссийские песни, бывшие до того скрытыми от образованного общества и державшиеся в одном

народе. До того времени одна только очаровательная музыка их изредка заносилась в высший круг; слова же оставались без внимания и почти ни в ком не возбуждали любопытства. Даже музыка их не появлялась никогда вполне. Бездарный композитор безжалостно разрывал ее и клеил в свое бесчувственное, деревянное создание. Но лучшие песни и голоса слышали только одни украинские степи: только там, под сенью низеньких глиняных хат, увенчанных шелковицами и черешнями, при блеске утра, полудня и вечера, при лимонной желтизне падающих колосьев пшеницы, они раздаются, прерываемые одними степными чайками, вереницами жаворонков и стенящими иволгами.

Я не распространяюсь о важности народных песен. Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была деятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтического, и он при всей многосторонности ее не получил высшей цивилизации, то весь пыл, все сильное, юное бытие его выливается в народных песнях. Они — надгробный памятник былого, более нежели надгробный памятник: камень с красноречивым рельефом, с истори-

ческою надписью — ничто против этой живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии — все: и поэзия, и история, и отцовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей части России. Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции: в этом отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа, когда захочет выпытать дух минувшего века, общий характер всего целого и порознь каждого частного, тогда он будет удовлетворен вполне; история народа разоблачится перед ним в ясном величии.

Песни малороссийские могут вполне назваться историческими, потому что они не отрываются ни на миг от жизни и всегда верны тогдашней минуте и тогдашнему состоянию чувств. Везде проникает их, везде в них дышит эта широкая воля козацкой жизни. Везде видна та сила, радость, могущество, с какою козак бросает тишину и беспечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзию битв, опасностей и разгульного пир-

шества с товарищами. Ни чернобровая подруга, пылающая свежестью, с карими очами, с ослепительным блеском зубов, вся преданная любви, удерживающая за стремя коня его, ни престарелая мать, разливающаяся как ручей слезами, которой всем существованием завладело одно материнское чувство, — ничто не в силах удержать его. Упрямый, непреклонный, он спешит в степи, в вольницу товарищей. Его жену, мать, сестру, братьев — все заменяет ватага гульливых рыцарей набегов. Узы этого братства для него выше всего, сильнее любви. Сверкает Черное море; вся чудесная, неизмеримая степь от Тамана до Дуная — дикий океан цветов колышется одним налетом ветра; в беспредельной глубине неба тонут лебеди и журавли; умирающий козак лежит среди этой свежести девственной природы и собирает все силы, чтоб не умереть, не взглянув еще раз на своих товарищей.

То ще добре козацька голова знала,
Що без вийська козацького не вмирала.

Увидевши их, он насыщается и умирает. Выступает ли козацкое войско в поход с тишиною и повиновением; извергает ли из самопалов потоп дыма и пуль; кружает ли вольно мед, вино; опи-

сывается ли ужасная казнь гетмана, от которой дыбом подымается волос, мщение ли козаков, вид ли убитого козака, с широко раскинутыми руками на траве, с разметанным чубом, клекты ли орлов в небе, спорящих о том, кому из них выдирать козацкие очи: все это живет в песнях и окинуто смелыми красками. Остальная половина песней изображает другую половину жизни народа: в них разбросаны черты быта домашнего; здесь во всем совершенная противуположность. Там одни козаки, одна военная, бивачная и суровая жизнь; здесь, напротив, один женский мир, нежный, тоскливый, дышащий любовию. Эти два пола виделись между собою самое короткое время и потом разлучались на целые годы. Годы эти были проводимы женщинами в тоске, в ожидании своих мужей, любовников, мелькнувших перед ними в своем пышном военном убранстве, как сновидение, как мечта. Оттого любовь их делается чрезвычайно поэтическою. Свежая, невинная, как голубка, молодая супруга вдруг узнала все блаженство, весь рай женщины, которая вся создана для любви. Все начало весны ее, проведенное с этим мощным, вольным питомцем войны, столпило для нее радость всей жизни в одно быстро мелькнувшее мгновение. Против

него ничто вся остальная жизнь; она живет одним этим мгновением. Тоскуя, ждет она с утра до вечера возврата своего чернобрового супруга.

Ой черные бровенята!
Лыхо мини з вами:
Не хочете ночеваты
Ни ноченьки сами.

Она вся живет воспоминанием. Все, на что они глядели вместе, куда они вместе ходили, что вместе говорили, — все это припоминает она, не упуская ни одной мелкой черты. Она обращается ко всему, что ни видит в природе, дышащей жизнью, и даже к бесчувственным предметам, и всем им говорит и жалуется. И как просты, как поэтически просты ее исполненные души речи! Ко всему применяет она состояние свое и не может наговориться, потому что человек многоречив всегда, когда в его грусти заключается тайная сладость. Наконец с тихим, но безнадежным отчаянием говорит она:

Да вжеж мини не ходыты,
Куды я ходыла!
Да вжеж мини не любиты,
Кого я любила!

Да вжеж мини не ходыты
Ранком по-пид замком!
Да вжеж мини не стояты
Из моим коханком!
Да вжеж мини не ходыты
В лиски по оришки!
Да вжеж мини минулися
Дивоцкие смишки!

Чтобы сколько-нибудь сделать доступною для незнающих малороссийского языка глубину чувств, рассыпанных в этих песнях, привожу одну из них в переводе:

Рассердился, разгневался на меня мой милый! Вот он седлает своего вороного коня и едет далеко-далеко от меня.

«Куда же ты, мой милый, голубчик мой сизый, куда ты уезжаешь? Кому ты меня, беззащитную, молодую, кому оставляешь?»

«Оставляю тебя, моя милая, одному Богу. Жди меня, пока не возвращусь из дальней дороги».

О, если б я знала, если бы видела, откуда будет ехать мой милый: я бы ему по всей дороге мостила мосты из зеленого тростника и все бы ждала его в гости.

Боже Всесильный! выровняй все долины и горы, чтобы везде было ровно, чтобы оттоле ему до самого дому было хорошо ехать.

Чу! луга шумят, берега звенят, по дороге зеленеет трава — это он! это мой милый едет!

Чу! луга шумят, берега звенят, расцветает калина — верно где-нибудь мой милый, голубчик мой сизый, с другою разговаривает.

«Зачем же ты не приехал, зачем не прилетел, как я тебе говорила? Коня ли не имел, дороги ли не знал, или мать не велела тебе?»

«Я коня имею; я и дорогу знаю, и мать еще вчера с вечера велела мне седлать коня.

Но только лишь сяду на коня, только лишь выеду за ворота, как уже бежит за мною другая и так жалко стонет, так плачет, что тоска ее хватает за самое сердце».

Можно привесть до тысячи подобных песен, может быть, даже гораздо лучших. Все они благозвучны, душисты, разнообразны чрезвычайно. Везде новые краски, везде простота и невыразимая нежность чувств. Где же мысли в них коснулись религиозного, там они необыкновенно поэтически. Они не изумляются колоссальным созданиям вечного Творца: это изумление принадлежит уже ступившему на высшую ступень

самопознания; но их вера так невинна, так трогательна, так непорочна, как непорочна душа младенца. Они обращаются к Богу, как дети к отцу; они вводят его часто в быт своей жизни с такою невинною простотою, что безыскусственное его изображение становится у них величественным в самой простоте своей. От этого самые обыкновенные предметы в песнях их облекаются невыразимою поэзией, чему еще более помогают остатки обрядов древней славянской мифологии, которые они покорили христианству. Часто тоскующая дева умоляет Бога, чтобы он засветил на небе восковую свечку, пока ее милый перебредет через реку Дунай. На всем печать чистого первоначального младенчества, стало быть и высокой поэзии. Изложение песней их, как женских, так и козацких, почти всегда драматическое — признак развития народного духа и деятельной, беспокойной жизни, долго обнимавшей народ. Песни их почти никогда не обращаются в описательные и не занимаются долго изображением природы. Природа у них едва только скользит в куплете; но тем не менее черты ее так новы, тонки, резки, что представляют весь предмет: впрочем, к ним прибегают для того только, чтобы сильнее выразить чувства

души, и потому явления природы послушно влекутся у них за явлениями чувства. То же самое у них представляется разом и во внешнем и во внутреннем мире. Часто вместо целого внешнего находится только одна резкая черта, одна часть его. В них нигде нельзя найти подобной фразы: *был вечер;* но вместо этого говорится то, что бывает вечером, напр<имер>

Шли коровы из дубровы, а овечки с поля.
Выплакала кари очи, край милого стоя.

Оттого весьма многие, не поняв, считали подобные обороты бессмыслицей. Чувство у них выражается вдруг, сильно, резко и никогда не охлаждается длинным периодом. Во многих песнях нет одной общей мысли, так что они походят на ряд куплетов, из которых каждый заключает в себе отдельную мысль. Иногда они кажутся совершенно беспорядочными, потому что сочиняются мгновенно, и так как взгляд народа жив, то обыкновенно те предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помещаются и в песни. Но зато из этой пестрой кучи вышибаются такие куплеты, которые поражают самою очаровательною безотчетностью поэзии. Самая яркая и верная живопись и самая звонкая звучность слов

разом соединяются в них. Песня сочиняется не с пером в руке, не на бумаге, не с строгим расчетом, но в вихре, в забвении, когда душа звучит и все члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положение, становятся свободнее, руки вольно вскидываются на воздух и дикие волны веселья уносят его от всего. Это примечается даже в самых заунывных песнях, которых раздирающие звуки с болью касаются сердца. Они никогда не могли излиться из души человека в обыкновенном состоянии, при настоящем воззрении на предмет. Только тогда, когда вино перемешает и разрушит весь прозаический порядок мыслей, когда мысли непостижимо странно в разногласии звучат внутренним согласием, в таком-то разгуле, торжественном, больше нежели веселом, душа, к непостижимой загадке, изливается нестерпимо-унылыми звуками. Тогда прочь дума и бдение! Весь таинственный состав его требует звуков, одних звуков. Оттого поэзия в песнях неуловима, очаровательна, грациозна, как музыка. Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков, или, лучше сказать, поэзия поэзии. Ее один только избранный, один истинный в душе поэт понимает; и потому-то часто самая лучшая песня остается незамеченною, тогда как незавид-

ная выигрывает своим содержанием.

Стихосложение малороссийское самое выгодное для песен: в нем соединяются вместе и размер, и тоника, и рифма. Падение звуков в них скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бывает слишком длинна; если же это и случается, то цезура посередине с звонкою рифмою перерезывает ее. Чистые, протяжные ямбы редко попадаются. Большею частию быстрые хореи, дактили, амфибрахии летят шибко один за другим, прихотливо и вольно мешаются между собою, производят новые размеры и разнообразят их до чрезвычайности. Рифмы звучат и сшибаются одна с другою, как серебряные подковы танцующих. Верность и музыкальность уха — общая принадлежность их. Часто вся строка созвукивается с другою, несмотря, что иногда у обеих даже рифмы нет. Близость рифм изумительна. Часто строка два раза терпит цезуру и два раза рифмуется до замыкающей рифмы, которой сверх того дает ответ вторая строка, тоже два раза созвукнувшись на середине. Иногда встречается такая рифма, которую по-видимому нельзя назвать рифмою, но она так верна своим отголоском звуков, что нравится иногда более, нежели рифма, и никогда бы не пришла в голову поэту с пером в руке.

Характер музыки нельзя определить одним словом: она необыкновенно разнообразна. Во многих песнях она легка, грациозна; едва только касается земли и, кажется, шалит, резвится звуками. Иногда звуки ее принимают мужественную физиогномию; становятся сильны, могучи, крепки; стопы тяжело ударяют в землю, и кажется, как будто бы под них можно плясать одного только гопака. Иногда же звуки ее становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантские, силящиеся обхватить бездну пространства, вслушиваясь в которые танцующий чувствует себя исполином: душа его и все существование раздвигается, расширяется до беспредельности. Он отделяется вдруг от земли, чтобы ударить в нее блестящими подковами и взнестись опять на воздух. Что же касается до музыки грусти, то она нигде не слышна так, как у них. Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это на бесприютное положение тогдашней Малороссии… но звуки ее живут, жгут, раздирают душу. Русская заунывная музыка выражает, как справедливо заметил М. Максимович, забвение жизни: она стремится уйти от нее и заглушить вседневные нужды и заботы; но в малороссийских песнях она слилась с жиз-

нью — звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят: говорят словами, выговаривают речи, и каждое слово этой яркой речи проходит душу. Взвизги ее иногда так похожи на крик сердца, что оно вдруг и внезапно вздрагивает, как будто бы коснулось к нему острое железо. Безотрадное, равнодушное отчаяние иногда слышится в ней так сильно, что заслушавшийся забывается и чувствует, что надежда давно улетела из мира. В другом месте отрывистые стенания, вопли, такие яркие, живые, что с трепетом спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свирепое насилие вырывает младенца, чтобы с зверским смехом расшибить его о камень. Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни; если натиски насилий и непреодолимых вечных препятствий не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали из него жалобы и если эти жалобы не могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях. Такова была беззащитная Малороссия в ту годину, когда хищно ворвалась в нее уния. По ним, по этим звукам, можно догадываться о ее минувших страданиях, так точно, как о бывшей буре с градом и проливным дождем

можно узнать по бриллиантовым слезам, унизывающим снизу до вершины освеженные деревья, когда солнце мечет вечерний луч, разреженный воздух чист, вдали звонко дребезжит мычание стад, голубоватый дым — вестник деревенского ужина и довольства — несется светлыми кольцами к небу, и вечер, тихий, ясный вечер обнимает успокоенную землю.

1833

Мысли о географии
(для детского возраста)

Велика и поразительна область географии: край, где кипит юг и каждое творение бьется двойною жизнью, и край, где в искаженных чертах природы прочитывается ужас и земля превращается в оледенелый труп; исполины-горы, парящие в небо, наброшенный небрежно, дышащий всею роскошью растительной силы и разнообразия вид, и раскаленные пустыни и степи, оторванный кусок земли посреди безграничного моря, люди и искусство, и предел всего живущего! Где найдутся предметы, сильнее говорящие юному воображению! Какая другая

наука может быть прекраснее для детей, может быстрее возвысить поэзию младенческой души их! И не больно ли, если показывают им, вместо всего этого, какой-то безжизненный, сухой скелет, холодно говоря: «Вот земля, на которой живем мы, вот тот прекрасный мир, подаренный нам непостижимым его зодчим!» Этого мало: его совершенно скрывают от них и дают им вместо того грызть политическое тело, превышающее мир их понятий и несвязное даже для ума, обладающего высшими идеями. Невольно при этом приходит на мысль: неужели великий Гумбольт и те отважные исследователи, принесшие так много сведений в область науки, истолковавшие дивные иероглифы, коими покрыт мир наш, — должны быть доступны немногому числу ученых? а возраст, более других нуждающийся в ясности и определительности, должен видеть перед собою одни непонятные изображения?

Детский возраст есть еще одна жажда, одно безотчетное стремление к познанию. Он всего требует, все хочет узнать. Его более всего интересуют отдаленные земли: как там? что там такое? какие там люди? как живут — эти вопросы стремятся у него толпою, и все они относятся прямо к физической географии, и потому мир в

его физическом состоянии — величественный, роскошный, грозный, пленительный — должен более и обширнее занять его.

Во многих заведениях наших, по невозможности воспитанников узнать в один год всей географии, читают ее в двух и даже в трех классах. Это хорошо, и география стоит, чтоб ее проходили не в одном классе; но преподаватели впадают в большую ошибку: размежевывают земной шар на две или, смотря по классам, на три части, и самому начальному классу достается Европа, рассматриваемая обыкновенно в политическом отношении с подробнейшими подробностями, тогда как высшие классы блуждают по степям и пескам африканским и беседуют с дикарями. Не говоря уже о безрассудности и странной форме такого преподавания, нужно иметь необыкновенную память, чтобы удержать в ней всю эту нестройную массу. Если же и допустить такой феномен в природе, то в голове этого феномена никогда не удержится одно прекрасное целое. Это будут тщательно отделанные, разрозненные части, которыми не управляет одна мощная жизнь, бьющая ровным пульсом по всем жилам. Это народ, созданный для монархического правления и утративший его в буре политических

потрясений.

Гораздо лучше, если воспитанник будет проходить географию в два разные периоды своего возраста. В первом он должен узнать один только великий очерк всего мира, но очерк такой, который бы пробудил всю внимательность его, который бы показал всю обширность и колоссальность географического мира. В этот курс должны ниспослать от себя дань и естественная история, и физика, и статистика, и все, что только соприкасается к миру, чтобы мир составил одну яркую, живописную поэму, чтобы сколько возможно открыть ему все концы его. Ничего в подробности; но только одни резкие черты, но только, чтобы он чувствовал, где стужа, где более растительность, где выше мануфактурность, где сильнее образованность, где глубже невежество, где ниже земля, где стремительнее горы. Во втором периоде его возраста этот мир должен быть перед ним раздвинут. Он должен рассмотреть в микроскоп те предметы, которые доселе видел простым глазом. Тогда уже он узнает все исключения и переходы, менее резкие и более исполненные тонкого отличия.

Воспитанник не должен иметь вовсе у себя книги. Она, какая бы ни была, будет сжимать его

и умерщвлять воображение: перед ним должна быть одна только карта. Ни одного географического явления не нужно объяснять, не укрепивши на месте, хотя бы это было только яркое, живописное описание. Чтобы воспитанник, внимая ему, глядел на место в своей карте и чтобы эта маленькая точка как бы раздвигалась перед ним и вместила бы в себе все те картины, которые он видит в речах преподавателя. Тогда можно быть уверенным, что они останутся в памяти его вечно: и, взглянувши на скелетный очерк земли, он его вмиг наполнит красками.

Фигура Земли прежде всего должна удержаться в его памяти. Черчение карт, над которым заставляют воспитанников трудиться, мало приносит пользы. Множество мелких подробностей, множество отдельных государств может только в голове их уничтожиться одно другим. Гораздо лучше дать им прежде сильную, резкую идею о виде земли: для этого я бы советовал сделать всю воду белою и всю землю черною, чтобы они совершенно отделились, резкостью своею невольно вторгнулись в мысли их и преследовали бы их неотступно неправильною своею фигурою. После этого будет им гораздо легче начертить вид земли, но никак не допускать до подробностей, т. е.

означать все мелкие мысы и искривления берегов. Пусть лучше они вначале совсем не знают их, но зато удержат общий вид Земли.

Гораздо лучше проходить вначале разом весь мир, глядеть разом на все части света, чрез это очевиднее будут их взаимные противуположности. Заметивши их в общей массе, они могут тогда погрузиться глубже в каждую часть света. Но в порядке частей света я бы советовал лучше следовать за постепенным развитием человека, стало быть вместе и за постепенным открытием Земли: начать с Азии, с его колыбели, с его младенчества, перейти в Африку, в его пламенное и вместе грубое юношество, обратиться к Европе, к его быстрому разоблачению и зрелости ума, шагнуть вместе с ним в Америку, где развитый и властительный встретился он с первообразным и чувственным, и окончить разрозненными по необозримому океану островами.

Такое разделение, мне кажется, будет гораздо естественнее. Прежде всего воспитанник должен составить себе общее характеристическое понятие о каждой из них. Во-первых, об Азии, где все так велико и обширно, где люди так важны, так холодны с вида и вдруг кипят неукротимыми страстями; при детском уме своем думают, что

они умнее всех; где все гордость и рабство; где все одевается и вооружается легко и свободно, все наездничает; где турок рад просидеть целый век, поджав ноги и куря кальян свой, и где бедуин как вихорь мчится по пустыне; где вера переходит в фанатизм, и вся страна — страна вероисповеданий, разлившихся отсюда по всему миру. Об Африке, где солнце жжет и океаны песчаных степей растягиваются на неизмеримое пространство, львы, тигры, кокосы, пальмы и человек, мало чем разнящийся наружностью и своими чувственными наклонностями от обезьян, кочующих по ней ордами; и т<ак> далее.

Начертив вид части света, воспитанник указывает все высочайшие и низменные места на ней, рассказывает, как разветвляются по ней горы и протягивают свои длинные, безобразные цепи. В этом смысле можно с пользою употреблять Риттерево барельефное изображение Европы, хотя оно не совсем еще удобно для детей, по причине неясного отделения света от теней. Всего бы лучше на этот случай отлить из крепкой глины или из металла настоящий барельеф. Тогда воспитаннику стоило бы только взглянуть на него, чтобы сохранить навсегда в памяти все высокие и низменные места.

Так как горы сообщили форму всей Земле, то познание, их должно составить, так сказать, начало всей географии. Показав разветвление их по лицу Земли, должно показать вид их, форму, состав, образование и наконец характер и отличие каждой цепи, все это не сухо, не с подробною ученостью, но так, чтобы он знал, что такая-то цепь из темных и твердых гранитов, что внутренность другой белая, известковая или глинистая, рыхлая, желтая, темная, красная или, наконец, самых ярких цветов земель и камней. Можно даже рассказать, как в них лежат металлы и руды и в каком виде — и можно рассказать занимательно. Что же касается до поверхности их, то само собою разумеется, что нужно показать высочайшие точки, примечательные явления на них и высоту, до которой подымался человек.

Не мешало бы коснуться слегка подземной географии. Мне кажется, нет предмета более поэтического, как она, хотя совершенно понять ее может только возраст высший. Тут все явления и факты дышат исполинскою колоссальностью. Здесь встречаются целые массы. Тут на всем отпечаток величественных потрясений земли; душа сильнее чувствует великие дела Творца. Тут лежат погребенными целые цепи подземных

лесов. Тут лежит в глубоком уединении раковина и уже превращается в мрамор. Тут дышат вечные огни, и от взрыва их изменяется поверхность Земли. Часть этих явлений, будучи слегка открыта юному воспитаннику, нельзя чтоб не тронула его воображения.

Процесс и расселение растительной силы по Земле должно показать на карте лестницею градусов: где растение юга — хозяин, куда перешло оно как гость, под каким градусом умирает, где начинается растение севера, где и оно наконец гибнет, прозябение прекращается, природа обмирает в объятиях студеного океана и чудный полюс закутывается недоступными для человека льдами. Таким же образом и расселение животных. Но почва требует другого разделения Земли по полосам, из которых каждая должна заключать в себе особенный вид ее.

Произведения искусства вообще являются доселе у географов отрывисто. Перехода нет никакого от природы к произведениям человека. Они отрублены как топором от своего источника. Я уже не говорю о том, что у них не представлен вовсе этот брачный союз человека с природою, от которого рождается мануфактурность. Итак,

прежде нежели воспитанник приступит к обозрению мануфактур и произведений рук человека, нужно, чтобы он был приуготовлен к тому произведениями Земли, чтобы он сам собою мог вывесть, какие мануфактуры должны быть в таком-то государстве; если же встретится исключение, тогда необходимо показать, отчего оно произошло, может быть, беспечный характер народа, может, сторонние обстоятельства: или излишнее богатство соседей, или невозможность дальнейших сообщений, или другие подобные им, воспрепятствовали. Приуготовивши себя мануфактурностью, он может уже переходить к торговле, которая без того будет тоже незанимательна и непонятна.

При исчислении народов преподаватель необходимо обязан показать каждого физиогномию и те отпечатки, которые принял его характер, так сказать, от географических причин. Все народы мира он должен сгруппировать в большие семейства и представить прежде общие черты каждой группы, потом уже разветвление их. И потом физическую их историю, т. е. историю изменения их характера, чтоб объяснилось, отчего, например, тевтонское племя среди своей Германии означено твердостью флегматического характера и

отчего оно, перейдя Альпы, напротив, принимает всю игривость характера легкого.

Весьма полезны для детей карты, изображающие расселение просвещения по земному шару. Эта польза превращается в необходимость, когда проходят они Европу. Но как у нас нет таких карт, то преподавателю небольшого труда стоит сделать оные самому. Места, где просвещение достигло высочайшей степени, означать светом и бросать легкие тени, где оно ниже. Тени сии становятся чем далее, тем крепче и наконец превращаются в мрак, по мере того, как природа дичает и человек оканчивается бездушным эскимосом.

Величину земель, государств, никогда нельзя заучивать исчислением квадратных миль. Нужно только смотреть на карту — вот одно средство узнать ее. Не мешало бы вырезать каждое государство особенно, так, чтобы оно составляло отдельный кусок и, будучи сложено с другими, составило бы часть мира. Тогда будет видима и величина их и форма.

При изображении каждого города непременно должно означить резко его местоположение: подымается ли он на горе, опрокинут ли вниз;

его жизнь, его значительность, его средства — и вообще сильными и немногими чертами обозначить характер его. Преподаватель обязан исторгнуть из обширного материала все, что бросает на город отличие и отменяет его от множества других. Пусть воспитанник знает, что такое Рим, что Париж, что Петербург. Пусть не меряет своим масштабом, составившимся в его понятиях при виде Петербурга, других городов Европы. Все общее городам должно быть исключено в определении отдельно каждого города. Во многих наших географиях и до сих пор еще в определениях губернского города рассказывается, что в нем есть гимназия, соборная церковь; уездного, что в нем есть уездное училище и т. п. К чему? воспитаннику довольно сказать сначала, что у нас гимназии во всех губернских городах, церкви также. Но Кремля, Ватикана, Пале-Рояля, Фальконетова Петра, Киево-Печерской лавры, Кинг-Бенча нет других в мире. Об них дитя верно потребует подробного сведения. Не нужно заниматься ничтожным и скучным для воспитанника вычислением числа домов, церквей, разве только в таком случае, когда оно, по своей величине или отрицательно, выходит из категории обыкновенного. Вместо этого, можно

занять его архитектурой города, в каком вкусе он выстроен, колоссальны ли, прекрасны ли его строения. Если он древний, то как величественна даже в самой странности своей его старинная, повитая столетиями и на чудо взлелеянная, самими потрясениями архитектура и как, напротив того, легка и изящна архитектура другого города, созданного одним столетием. При мысли о каком-нибудь германском городке ученик тотчас должен представить себе тесные улицы, небольшие, узенькие и высокие домики, где все так просто, так мило, так буколически, и рядом с ними угловатые, просекающие острием воздух, шпицы церквей. При мысли о Риме, где глухо отозвался весь канувший в пучину столетий древний мир, у него должна быть неразлучна с тем мысль о зданиях-исполинах, которые, свободно поднявшись от земли и опершись на стройные портики и гигантские колонны, дряхлеют, как бы размышляя об утекших событиях великой своей юности. Для этого не мешает чаще показывать фасады примечательнейших зданий: тогда необыкновенный вид их врежется в памяти, притом это послужит невольно и нечувствительно к образованию юного вкуса.

История изредка должна только озарять воспо-

минаниями географический мир их. Протекшее должно быть слишком разительно и разве уже происходить из чисто географических причин, чтобы заставить вызывать его. Но если воспитанник проходит в это время и историю, тогда ему необходимо показать область ее действия; тогда география сливается и составляет одно тело с историей.

Слог преподавателя должен быть увлекающий, живописный; все поразительные местоположения, великие явления природы должны быть окинуты яркими красками. Что действует сильно на воображение, то не скоро выбьется из головы. Слог его должен более подходить к слогу путешественника. Строгая аналитическая систематика не может удержаться в голове отрока, особливо если она распространена в мелочах. Дитя тогда только удерживает систему, когда не видит ее глазами, когда она искусно скрыта от него. Его система — интерес, нить происшествий или нить описаний. Все, что истинно нужно, что более относится к нашей жизни, что более можем мы впоследствии приспособить к себе, все это уже интересно. Да впрочем, что не интересно в географии? Она такое глубокое море, так раздвигает наши самые действия, и, несмотря на то, что

показывает границы каждой земли, так скрывает свои собственные, что даже для взрослого представляет философически увлекательный предмет. Короче, нужна стараться познакомить сколько можно более с миром, со всем бесчисленным разнообразием его, но чтобы это никак не обременило памяти, а представлялось бы светло нарисованною картиною. Богатый для сего запас заключается в описаниях путешественников, которых множество и из которых, кажется, доныне в этом отношении мало умели извлекать пользы.

Леность и непонятливость воспитанника обращаются в вину педагога и суть только вывески его собственного нерадения; он не умел, он не хотел овладеть вниманием своих юных слушателей; он заставил их с отвращением принимать горькие свои пилюли. Совершенной неспособности невозможно предполагать в дитяти. Мне часто случалось быть свидетелем, как ребенок, признанный за не способного ни к чему, обиженного природою, — слушал с неразвлекаемым вниманием страшную сказку, и на лице его, почти бездушном, не оживляемом до того никаким чувством участия, попеременно прорывались черты беспокойства и боязни. Неужели нельзя

задобрить такого внимания в пользу науки?

1829

Последний день Помпеи
(картина Брюллова)

Картина Брюллова — одно из ярких явлений XIX века. Это — светлое воскресение живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полулетаргическом состоянии. Не стану говорить о причине этого необыкновенного застоя, хотя она представляет занимательный предмет для исследования, замечу только, что если конец XVIII столетия и начало XIX ничего не произвели полного и колоссального в живописи, то зато они много разработали ее части. Она распалась на бесчисленные атомы и части. Каждый из этих атомов развит и постигнут несравненно глубже, нежели в прежние времена. Заметили такие тайные явления, каких прежде никто не подозревал. Вся та природа, которую чаще видит человек, которая его окружает и живет с ним, вся эта видимая природа, вся эта мелочь, которою пренебрегали великие художники, достигли изумительной истины и совершенства. Все на-

перерыв старались заметить тот живой колорит, которым дышит природа. Все тайное в ее лоне, весь этот немой язык пейзажа подмечены или, лучше сказать, украдены, вырваны из самой природы; хотя все это украдено отрывками, хотя все произведения этого века похожи более на опыты или, лучше сказать, записки, материалы, свежие мысли, которые наскоро вносит путешественник в свою книгу с тем, чтобы не позабыть их и чтобы составить из них после нечто целое. Живопись раздробилась на низшие ограниченные ступени: гравировка, литография и многие мелкие явления были с жадностию разработываемы в частях. Этим обязаны мы XIX веку. Колорит, употребляемый XIX веком, показывает великий шаг в знании природы. Взгляните на эти беспрестанно появляющиеся отрывки, перспективы, пейзажи, которые решительно в XIX веке определили слияние человека с окружающею природою: как в них делится и выходит окинутая мраком и освещенная светом перспектива строений! как сквозит освещенная вода, как дышит она в сумраке ветвей! как ярко и знойно уходит прекрасное небо и оставляет предметы перед самыми глазами зрителя! какое смелое, какое дерзкое употребление теней там, где прежде вовсе их не подозревали! и;

вместе, при всей этой резкости, какая роскошная нежность, какая подмечена тайная музыка в предметах обыкновенных, бесчувственных! Но что сильнее всего постигнуто в наше время, так это освещение. Освещение придает такую силу и, можно сказать, единство всем нашим творениям, что они, не имея слишком глубокого достоинства, показывающего гений, необыкновенно приятны для глаз. Они общим выражением своим не могут не поразить, хотя, внимательно рассматривая, иногда увидишь в творце их необширное познание искусства.

Возьмите все беспрестанно являющиеся гравюры, эти отпрыски яркого таланта, в которых дышит и веет природа так, что они кажутся как будто оцвечены колоритом. В них заря так тонко светлеет на небе, что всматриваясь, кажется, видишь алый отблеск вечера; деревья, облитые сиянием солнца, как будто покрыты тонкою пылью; в них яркая белизна сладострастно сверкает в самом глубоком мраке тени. Рассматривая их, кажется, боишься дохнуть на них. Весь этот эффект, который разлит в природе, который происходит от сражения света с тенью, весь этот эффект сделался целию и стремлением всех наших артистов. Можно сказать, что XIX век есть

век эффектов. Всякой от первого до последнего — торопится произвесть эффект, начиная от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надоедают, и, может быть, XIX век по странной причуде своей наконец обратится ко всему безэффектному. Впрочем, можно сказать, что эффекты более всего выгодны в живописи и вообще во всем том, что видим нашими глазами. Там, если они будут ложны и неуместны, то их ложность и неуместность тотчас видна всякому. Но в произведениях, подверженных духовному оку, совершенно другое дело. Там они, если ложны, то вредны тем, что распространяют ложь, потому что простодушная толпа без рассуждения кидается на блестящее. В руках истинного таланта они верны и превращают человека в исполина, но когда они в руках поддельного таланта, то для истинного понимателя они отвратительны, как отвратителен карло, одетый в платье великана, как отвратителен подлый человек, пользующийся незаслуженным знаком отличия. Но все это однако ж не относится к нынешнему делу. Должно признаться, что в общей массе стремление к эффектам более полезно, нежели вредно: оно более двигает вперед, нежели назад, и даже в последнее время подвинуло все к усо-

вершенствованию. Желая произвести эффект, многие более стали рассматривать предмет свой, сильнее напрягать умственные способности. И если верный эффект оказывался большею частию только в мелком, то этому виною безлюдие крупных гениев, а не огромное раздробление жизни и познаний, которым обыкновенно приписывают. Притом стремление к эффектам обделало многие мелкие части чрезвычайно удовлетворительно и резкою своею очевидностию сделало их доступными для всех. Не помню, кто-то сказал, что в XIX веке невозможно появление гения всемирного, обнявшего бы в себе всю жизнь XIX века. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и отзывается каким-то малодушием. Напротив: никогда полет гения не будет так ярок, как в нынешние времена. Никогда не были для него так хорошо приготовлены материалы, как в XIX веке. И его шаги уже верно будут исполински и видимы всеми от мала до велика.

Картина Брюллова может назваться полным, всемирным созданием. В ней все заключилось. По крайней мере, она захватила в область свою столько разнородного, сколько до него никто не захватывал. Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы сам

чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою массою. Всякому известны прекрасные создания, к которым принадлежат Видение Валтазара, Разрушение Ниневии и несколько других, где в страшном величии представлены великие катастрофы, которые составляют совершенство освещения, где молния в грозном величии озаряет ужасный мрак и скользит по верхушкам голов молящегося народа. Общее выражение этих картин поразительно и исполнено необыкновенного единства. Но в них вообще только одна идея этой мысли. Они похожи на отдаленные виды; в них только общее выражение. Мы чувствуем только страшное положение всей толпы, но не видим человека, в лице которого был бы весь ужас им самим зримого разрушения. Ту мысль, которая виделась нам в такой отдаленной перспективе, Брюллов вдруг поставил перед самыми нашими глазами. Эта мысль у него разрослась огромно и как будто нас самих захватила в свой мир. Создание и обстановку своей мысли произвел он необыкновенным и дерзким образом: он схватил молнию и бросил ее целым потопом на свою картину. Молния у него залила и потопила все,

как будто бы с тем, чтобы все выказать, чтобы ни один предмет не укрылся от зрителя. Оттого на всем у него разлита необыкновенная яркость. Фигуры он кинул сильно такою рукою, какою мечет только могущественный гений: эта вся группа, остановившаяся в минуту удара и выразившая тысячи разных чувств, этот гордый атлет, издавший крик ужаса, силы, гордости и бессилия, закрывшийся плащом от летящего вихря каменьев, эта грянувшая на мостовую женщина, кинувшая свою чудесную, еще никогда не являвшуюся в такой красоте руку, этот ребенок, вонзивший в зрителя взор свой, этот несомый детьми старик, в страшном теле которого дышит уже могила, оглушенный ударом, которого рука окаменела в воздухе с распростертыми пальцами, мать, уже не желающая бежать и непреклонная на моления сына, которого просьбы, кажется, слышит зритель, толпа, с ужасом отступающая от строений и со страхом, с диким забвением страха, взирающая на страшное явление, наконец знаменующее конец мира, жрец в белом саване, с безнадежною яростью мечущий взгляд свой на весь мир, — все это у него так мощно, так смело, так гармонически сведено в одно, как только могло это возникнуть в голове гения всеобщего.

Я не стану изъяснять содержания картины и приводить толкования и пояснения на изображенные события. Для этого у всякого есть глаз и мерило чувства; притом же это слишком очевидно, слишком касается жизни человека и той природы, которую он видит и понимает, потому-то они доступны всем от мала до велика; я замечу только те достоинства, те резкие отличия, которые имеет в себе стиль Брюллова, тем более, что эти замечания вероятно сделали немногие. Брюллов первый из живописцев, у которого пластика достигла верховного совершенства. Его фигуры, несмотря на ужас всеобщего события и своего положения, не вмещают в себе того дикого ужаса, наводящего содрогание, каким дышат суровые создания Микеля-Анжела. У него нет также того высокого преобладания небесно-непостижимых и тонких чувств, которыми весь исполнен Рафаэль. Его фигуры прекрасны при всем ужасе своего положения. Они заглушают его своею красотою. У него не так, как у Микеля-Анжела, у которого тело только служило для того, чтобы показать одну силу души, ее страдания, ее вопль, ее грозные явления, у которого пластика погибала, контура человека приобретала исполинский размер, потому что служила только одеждою

мысли, эмблемою, у которого являлся не человек, но только его страсти. Напротив того, у Брюллова является человек для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы. Страсти, чувства, верные, огненные, выражаются на таком прекрасном облике, в таком прекрасном человеке, что наслаждаешься до упоения. Когда я глядел в третий, в четвертый раз, мне казалось, что скульптура, которая была постигнута в таком пластическом совершенстве древними, что скульптура эта перешла наконец в живопись, и сверх того проникнулась какой-то тайной музыкой. Его человек исполнен прекрасно-гордых движений, женщина его блещет, но она не женщина Рафаэля, с тонкими, незаметными, ангельскими чертами, она женщина страстная, сверкающая, южная, италианка во всей красе полудня, мощная, крепкая, пылающая всею роскошью страсти, всем могуществом красоты, прекрасная как женщина. Нет ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотою, где бы человек не был прекрасен. Все общие движения групп его дышат мощным размером и в своем общем движении уже составляют красоту. В создании их он так же крепко и сильно правит своим воображением, как житель пустыни араб-

ским бегуном своим. Оттого вся картина упруга и роскошна.

Вообще во всей картине выказывается отсутствие идеальности, т. е. идеальности отвлеченной, и в этом-то состоит ее первое достоинство. Явись идеальность, явись перевес мысли, и она бы имела совершенно другое выражение, она бы не произвела того впечатления; чувство жалости и страстного трепета не наполнило бы души зрителя, и мысль прекрасная, полная любви, художества и верной истины, утратилась бы вовсе. Нам не разрушение, не смерть страшны; напротив, в этой минуте есть что-то поэтическое, стремящее вихрем душевное наслаждение; нам жалка наша милая чувственность, нам жалка прекрасная земля наша. Он постигнул во всей силе эту мысль. Он представил человека как можно прекраснее; его женщина дышит всем, что есть лучшего в мире. Ее глаза светлые как звезды, ее дышащая негою и силою грудь обещают роскошь блаженства. И эта прекрасная, этот венец творения, идеал земли, должна погибнуть в общей гибели наряду с последним презренным творением, которое недостойно было и ползать у ног ее. Слезы, испуг, рыдание — все в ней прекрасно.

Видимое отличие, или манера Брюллова уже

представляет тоже совершенно оригинальный, совершенно особенный шаг. В его картинах целое море блеска. Это его характер. Тени его резки, сильны, но в общей массе тонут и исчезают в свете. Они у него так же, как в природе — незаметны. Кисть его можно назвать сверкающею, прозрачною. Выпуклость прекрасного тела у него как будто просвечивает и кажется фарфоровою; свет, обливая его сиянием, вместе проникает его. Свет у него так нежен, что кажется фосфорическим. Самая тень кажется у него как будто прозрачною и при всей крепости дышит какою-то чистою, тонкою нежностию и поэзией.

Его кисть остается навеки в памяти. Я прежде видел одну только его картину: семейство Витгенштейна. Она с первого раза, вдруг врезалась в мое воображение и осталась в нем вечно в своем ярком блеске. Когда я шел смотреть картину: Разрушение Помпеи, у меня прежняя вовсе вышла из головы. Я приближался вместе с толпою к той комнате, где она стояла, и на минуту, как всегда бывает в подобных случаях, я позабыл вовсе о том, что иду смотреть картину Брюллова, я даже позабыл о том, есть ли на свете Брюллов. Но когда я взглянул на нее, когда она блеснула передо мною, в мыслях моих, как молния, пролетело

слово: Брюллов! я узнал его. Кисть его вмещает в себе ту поэзию, которую чувства наши всегда знают и видят даже отличительные признаки, но слова их никогда не расскажут. Колорит его так ярок, каким никогда почти не являлся прежде, его краски горят и мечутся в глаза. Они были бы нестерпимы, если бы явились у художника градусом ниже Брюллова, но у него они облечены в ту гармонию и дышат тою внутреннею музыкою, которой исполнены живые предметы природы.

Но главный признак и что выше всего в Брюллове, так это необыкновенная многосторонность и обширность гения. Он ничем не пренебрегает: все у него, начиная от общей мысли и главных фигур до последнего камня на мостовой, живо и свежо. Он силится обхватить все предметы и на всех разлить могучую печать своего таланта. Обыкновенно художник прежних времен всегда почти избирал себе какую-нибудь одну сторону и в нее погружал весь талант свой, развивавшийся оттого в необыкновенном и каком-то отвлеченном величии. Рафаэль обыкновенно писал одни только лица, одно развитие на них небесных страстей и помышлений, все прочее, даже одежду, бросал он доделывать ученикам своим. Все другие великие художники, настроенные высо-

костью религиозною или высокостью страстей, небрегли об окружающем и второстепенном в их картинах. У них небо является всегда бурое; облака похожи более на копны сена или на гранитные массы; дерево или детски однообразно своею правильностью, или негармонически-безобразно своею неправильностью. Но у Брюллова, напротив, все предметы от великих до малых для него драгоценны. Он силится схватить природу исполинскими объятиями и сжимает ее с страстью любовника. Может быть, в этом ему помогла много раздробленная разработка в частях, которую приготовил для него XIX век. Может быть, Брюллов, явившись прежде, не получил бы того разностороннего и вместе полного и колоссального стремления. Оттого-то его произведения, может быть, первые, которые живостью, чистым зеркалом природы, доступны всякому. Его произведения первые, которых могут понимать (хотя неодинаково) и художник, имеющий высшее развитие вкуса, и не знающий, что такое художество. Они первые, которым сужден завидный удел пользоваться всемирною славою, и высшею степенью их есть до сих пор: Последний день Помпеи, которую по необыкновенной обширности и соединению в себе всего прекрасного, можно

сравнить разве с оперою, если только опера есть действительно соединение троинственного мира искусств: живописи, поэзии и музыки.

1834. Августа

О движении народов в конце V века

Великое странствие народов, произведшее нынешнее население Европы, касается началом своим глубокой древности. Оно было, может быть, современно основанию Рима, если еще не прежде. Когда Средиземное море омывало еще возрождающиеся государства, видело первые шаги возникающей торговли и развивался дух народов, составивших цвет древнего мира, — во глубине Азии скрывался другой, неведомый мир, которому определено было уничтожить, убить все древнее величие, древний дух, древние формы прежнего и заместить его всем новым. Средняя Азия совершенно противуположна Южной, Юго-Западной, африканским и европейским берегам Средиземного моря, где цветущее разнообразие природы, почвы, произведений, смесь земли и моря, куча бесчисленных островов, мысов, заливов, казалось, были созданы нарочно

для того, чтобы быстро развить деятельность и ум человека. Природа Средней Азии совершенно другого рода: она однообразна и неизмерима. Степи ее безбрежны, как-то огромно ровны, как будто похожи на пустынный океан, нигде не останавливаемый островом. Неподвижные озера беспредельных равнин не могли возбудить никакой деятельности. Казалось, сама природа определила эту землю народам пастушеским, чтобы по ним имели мы понятие о первобытной жизни первоначальных людей. Неизмеримость равнин не могла внушить человеку никакой идеи о постоянном жилище, которая обыкновенно возрождается у него при виде утесистой горы, берега, моря, острова и вообще где только есть возможность укрепиться. Где же природа усыплена и недвижима, там и человек беспечен: он заботится только о слишком нужном. Патриархальные обитатели степей питались только молоком, сыром, доставляемыми их полудикими животными, и редко питались мясом. Оттого стада их множились необыкновенным образом; владельцы их чаще должны были переходить с места на место; степей требовалось с каждым годом более и более — и те земли, которые ужасают доныне своею неизмеримостью, земли,

бывшие вдвое более тогдашнего образованного мира, земли, с которыми бы земледельцы всего света не знали, что делать — эти земли сделались тесными. Сильнейшие властители должны были вытеснить слабейших. Народы пастушеские, не имея неподвижной собственности, укрепленной давностию владения, легко уступают первому напору и уходят с своими стадами далее. И таким образом Азия сделалась народовержущим вулканом. С каждым годом выбрасывала она из недр своих новые толпы и стада, которые в свою очередь сгоняли с мест изверженных прежде. Они перешли горы и потянулись в Европу. Народы, можно сказать, не шли вперед, а машинально сталкивали других с мест. Это не были завоеватели, а какие-то невольники, действовавшие только от страха наказания. Цепь народов от востока и северо-востока протянулась таким образом по всей Европе к самому югу. На юге они встретили первое сопротивление, ощутили огромную власть римлян и встретились с древним миром. Между тем Азия продолжала извергать новые толпы. Толчок от каждого нового извержения проходил по всей цепи: новые теснили прежних, предыдущие — последующих. Стремление народов становилось сильно, но зато

и отпор со стороны римлян был очень силен, и потому-то на границах Римской империи накопилось такое множество народов. После каждого нового извержения это накопление становилось сильнее, и римлянам труднее было сопротивляться им. Наконец римляне уступили — и тогда орды стремительнее хлынули на юг Европы. Не имей Европа южною границею своею Средиземного моря или имей эти толпы народов какое-нибудь понятие о мореплавании, это переселение долго бы не остановилось, потому что Азия не переставала извергать новые толпы, народы перешли бы в Африку, Европа еще бы несколько лет не устоялась, хаос бы продолжился надолго, государства составились бы гораздо позже, и вообще весь ход образования отодвинулся бы на дальнейшие времена. Но как только народы, овладевшие югом Европы, увидели позади себя море и невозможность идти далее, то решились всеми силами сопротивляться нападавшим на них неприятелям. Сии последние, встретивши неожиданный отпор, решились отразить и своих неприятелей, которые с своей стороны употребили то же с своими, и таким образом толчок получил обратное направление, и движение вдруг остановилось. Следствие этого почувствовалось даже в Азии,

где некоторые пастушеские народы принуждены были заняться земледелием.

Это переселение совершилось бы гораздо быстрее, если бы Европа состояла из таких гладких, открытых равнин, какими исполнена Азия. Но в ней, напротив того, природа на небольшом пространстве показала страшную нерегулярность и разнообразие. Со всех сторон она изрыта морями, берега ее все из полуостровов и мысов, средина почти нигде не имеет ровной поверхности: она идет то вверх, то вниз, то подымается безобразными высокими горами, то опускается долинами, как будто провалившимися между ними. К этому нужно прибавить, что она в то время вся была облечена дремучим, непроходимым лесом и пронята топкими болотами. И потому движение народов, чем глубже касалось Европы, тем происходило медленнее: они должны были продираться сквозь леса, перелезать через горы и обходить болота. Они селились оазами и были так скрыты один от другого лесами и неведомыми местами, что часто долго были безопасны от всяких нападений. И когда новое наводнение толпы, слишком многочисленной, водимой предприимчивым повелителем, освещало Европу великолепными иллюминациями, зажигая веко-

вые леса ее, и леса исчезали, — тогда изумленным глазам их представлялся народ, которого существования они даже и не подозревали и который нравами своими, хотя уже отдалившимися, все еще сходствовал с ними. Вся Европа состояла, можно сказать, из клочков и отрывков, отторженных друг от друга самою природою, оттого покорение ее и соединение под одну власть было вовсе невозможно, и оттого произошли ее бесчисленные нации, которые, без всякого сомнения, слились бы и изгладились, если бы она состояла из открытых равнин. Это был новый невидимый мир, о котором древние просвещенные народы ничего не знали и который, можно сказать, сам мало знал себя.

Основу его составляло множество разных отраслей германских племен, простиравшихся по всему западу. Берега Немецкого моря, Рейна и Дуная и вся средина Европы до Балтийского моря были заняты ими. Состояние их во время первого знакомства с ними римлян уже показывало давнюю оседлость в Европе и что переселение их совершилось в глубокой древности. Но что оно истекло из Азии, тому доказательством служит странное сходство некоторых коренных слов языка германского с персидским. Выбросила

ли Азия в первоначальной древности за одним разом племена на юг, образовавшиеся среди гор в народ персидский, и на север, превратившиеся в лесах Европы в германцев, или позже тяжелое влияние парфян, ринувшихся из средины Азии, принесло в язык персидский множество слов, раздававшихся дотоле в неизмеримых степях ее и распространившихся уже и в Европе. Как бы то ни было, но первоначальное происхождение германцев было из Азии, и переселение их совершилось в отдаленные времена.

Эти народы представляли совершенно противоположный и вовсе отличный мир от римского. Физическая и духовная их природа носила резкий отпечаток самобытности и особенности. Их организация физическая совершенно спорила с организацией народов древнего мира: черные блестящие глаза, темные волосы, выразительные, южные черты лица, казалось, дышавшие потребностью роскоши и пресыщающих наслаждений — общей физиогномией уже остановившегося древнего мира, встречали здесь совершенную противоположность: голубоглазые, светловолосые, рослые, крепкие, с одним только свирепым выражением войны на лице, германцы показали собою совершенно новую природу,

которою означился новый мир. Их религия, их жизнь, их темперамент, первообразные стихии характера разнились во всем от образованных тогдашних народов. Религия германских народов отличалась особенною оригинальностию. Их божество и предмет поклонения была земля. Казалось, как будто мрачный вид тогдашней Европы внушил им идею этой религии. Будучи редко освещаемы солнцем и находясь вечно под мрачною тенью вековых дубов, роя пещеры для первоначальных своих жилищ или сохранения сокровищ, видя одну только землю, могущественно выбрасывавшую на поверхность растения, приносившие им бедную пищу, и величественные высокие деревья, шумевшие над ними, они почитали ее зиждительницею всего. От ней производили они бога своего Туистона, или Тевта, у которого был сын Ман, а от него различные ветви германских народов, которые, по мнению их, были древнейшими обитателями мира. По-видимому, такое понятие о религии совершенно отделяет их от Азии, но мы должны вспомнить, что владычество природы и положение земли всегда было сильно. Природа деспотически властвует над первоначальным человеком. Развиваясь и зрея умом, он получает над нею верх и предпи-

сывает ей законы, но в первобытном, но в диком состоянии он должен сам исполнять ее законы: он раб ее. В Средней Азии небо все открыто перед глазами. Там оно необозримо и велико. Земля перед ним кажется слишком низменною. Никакое высокое растение, никакая остроконечная, высокая, узкая скала не останавливает взора; расстилающаяся по необозримым пространствам трава представляет ее еще низменнее. Солнце там течет величественно, обливая все своим светом, звезды усыпают густо небесный небосклон и одни только могут остановить человека и препятствовать совратиться с пути. Оттого во всей Азии царствовало всегда поклонение солнцу и небесным светилам. Передвигаясь в Европу, народы реже виделись с солнцем. Густой и величественный мрак европейских лесов сильнее поражал их дикое воображение. Туманы севера и болотные испарения скрывали вовсе небо; самая необходимость заниматься иногда земледелием заставляла их более привязаться к земле. И потому-то у германских народов было очень слабо поклонение светилам; едва у немногих сохранилась о нем память. Во глубине и глуши лесов, непроницаемых солнцем, они приносили свои жертвы богине-матери Герте.

Казалось, мрак считался у них чем-то священным, и потому-то их религия уже в самом начале не сходствовала с другими. Они верили в бессмертие. Но их небеса были мрачны. Они в своем Валгале видели продолжение воинственной их жизни: туда переселяли они свои германские дубы, пылающие костры и гром оружий. Небеса облекали в свинцовые тучи и населяли темными тенями своих великих, уже погибших на войне героев. Поклонение Герте разошлось между всеми почти германскими племенами. К предметам поклонения их принадлежали также тени умерших героев, которых они представляли в колоссальном виде. Такие же почести разделяли их товарищи-кони, из которых белые почитались по свидетельству Тацита священными и хранились в заповедных рощах. Их впрягали в священную колесницу, за которою шел король, жрецы, и по храпению их узнавали будущее.

Германские народы долго сохраняли первобытный образ жизни. Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звуке ее, как молодые, исполненные отваги тигры. Думали о том только, чтобы померяться силами и повеселиться битвой. Их мало занимала корысть или добыча. Блеснуть бы только подвигом, чтобы

после пересказали его дело в песнях. С именем прославившегося в боях соединялись у них все выгоды и счастие жизни. Его выбирали в предводители; к нему чувствовалось у всех народов уважение и изумление. Он был посредник и судья во всех спорах; на войне полный распорядитель добычи; ему даже чуждые, отдаленные племена присылали конные сбруи; ему родные и подвластные племена добровольно приносили в дар произведения полей своих: плоды, скот и лошади. Храбрость казалась чем-то божеским, под его знамена все спешили наперерыв и сражались не для добычи, но чтобы показаться перед ним и заслужить его одобрительное слово. Его имя долго поминалось в песнях, и по смерти его в честь ему совершались пиршества, и долго племя, имевшее его, превозносилось его подвигами перед другими; тень его становилась божеством и служила предметом поклонения. Такой удел был завиден, потому что жажда бессмертия уже кипит и в неразвившемся человеке. Все наперерыв стремились прошуметь подвигами; битвы были часты, и германцы по первому призванию готовы были лететь с своими дикими силами.

Они сражались почти наги, выказывая во всей простоте атлетическую свою силу. Плащ,

застегнутый вместо пряжки терновым шипом, кожа дикого зверя на плече — вот их убранство. Они строились густо, кучами, в виде клина; действовали вблизи и вдали короткими копьями, называемыми фрамеями; львиная сила мышц их бросала их так далеко, сколько нужно было, чтобы достать неприятеля; одни щиты их показывали роскошь, испещряемые яркими цветами; толпа жен, детей следовала за ними в битву; сопровождала их своим криком и была причиною нового мужества: они не мыслили предаться бегству при мысли о рабстве, ожидающем их жен и детей, усугубляли дикой напор свой, и неприятели уступали. Их жены тут же среди битвы высасывали раны мужей своих, залечивали их и даже уносили на плечах своих. Смерть предводителя вместо того, чтобы расстроить их, связывала железною силою мести и делала их несокрушимыми. Бросить щит было верх бесчестия, и несчастный, жертва всеобщего презрения, убивал сам себя. Предводитель силою одного уважения, без власти, правил самовластно племенами, и воины с изумительною покорностью исполняли его веления. Предводя на войне, они оставляли при себе власть эту иногда и среди мира и назывались гериманами.

Они были вольны и не хотели никакой иметь над собою власти. Правления у них почти не было. Они собирались на народные собрания, стекавшиеся при новолунии и полнолунии каждого месяца, а в случаях чрезвычайных и во всякое время. На эти собрания они приходили лениво и медленно, желая показать, что делают это по своей воле; несколько дней протекало, покаместь могло составиться нужное число для совещания. Они сидели в полном вооружении; одни только жрецы могли приказать наблюдать молчание; председательствовали старейшины семейств, седовласые (grawion), после изменившие это название в графов; говорили князья и прославившиеся в битвах; речи их были просты, но исполнены того сильного и сжатого лаконизма, которым отличается бесхитростное красноречие народов свежих. Они были просты, прямодушны: их преступления были следствие невежества, а не разврата. То, что было бесчестие и низость духа, называлось только преступлением: переметчики, изменники были вешаны и предаваемы мучительной казни, за низкие и бесчестные поступки бросали в болото, забрасывали тиною и фашинником, как бы желая скрыть то, что не должно бы никогда показываться. Жена,

изменившая мужу, была в его власти, он мог отрезать ей волоса, лишить одеяния и обнаженную, покрытую стыдом, гнать розгами чрез веси и деревни, и никто не смел изъявлять сожаления, несмотря на всю красоту ее; но примеры эти были редки, потому что германцы были дики и жестки нравами и что у них были только обычаи, которые обыкновенно сильнее самих законов.

Они были беспечны, бездейственны в домашней жизни и представляли совершенную противуположность беспокойному быту воинскому. Они были бесчувственно ленивы и лежали в своих хижинах, не трогаясь с места. Чем более кто почитал себя храбрым, тем более считал для себя низким всякое занятие: поля обрабатывали старики, бессильные, малолетние и рабы, которые пользовались совершенною свободою и платили только небольшую подать от полей своих. Все домашние заботы лежали на женах. Жена не приносила мужу приданого; напротив, он должен был сам накануне свадьбы принесть в дар быка в ярме, вооруженную лошадь и копье, как бы желая этим дать знать, что она должна разделить все его занятия.

Они одевались совершенно противуположно римскому миру и всем народам южным, любите-

лям вольных, широких одежд: они носили платье узкое, которое совершенно обвивалось около их тела; звериные кожи, носимые ими, придавали им что-то дикое и зверообразное. Одеяния жен их мало отличались от мужских: у иных платье было льняное алое, доходившее только до пояса, так что шея, грудь и руки были открыты. Дети были совершенно преданы своей воле и росли вместе с домашним скотом. Когда они достигали совершенного возраста, тогда только получали право носить оружие и заседать в собраниях. Гостеприимство, свойственное почти всем дикарям и первобытным нравам, было их принадлежностью. Гостя дарили подарками; не могший угостить его отводил сам к другому.

Но более всего можно было видеть древнего германца в его пиршествах, в которых проводили они напролет целые ночи, где зажженные дубы величественно освещали леса, и хлебный напиток из ячменя, может быть, пращур нынешнего пива, так употребительного в Германии, разрешал их мысли, речи и намерения. В этих-то пиршествах созревали все их предприятия. Тут они задумывали свои смелые и дерзкие дела, которые не всегда и не всем могли прийти в голову во время медленных народных собраний. Они

были стремительны, азартны и как только были разбужены, потрясены и выходили из своего хладнокровного положения, то уже не знали пределов своему стремлению. Азартность их более всего оказывалась в игре, в которую заигрывался дикий германец до того, что проигрывал свой дом, оружие, жену, детей, наконец самого себя и становился рабом, — состояние нестерпимее для него самой смерти! Эта азартность, может быть, служила основанием тех дерзких, сильных страстей, которыми исполнены европейцы.

Таковы были народы германские — грубые стихии, из которых образовалась новая Европа. Они делились на бесчисленные племена и, как густые европейские леса, усеивали Северную Европу. Чтобы яснее обозреть их, начнем с тех мест, где древний мир уже видел этих первоначальных зиждителей нового, т. е. от реки Дуная, служившего пределом для римлян. Тут обитали уже входившие в сношение с древним просвещенным Римом, все еще вольные, но уже не столь одичавшие, как то: гермундуры, нариски, маркоманы и квады. Потом великая цепь племен германских толпилась по Рейну от устья и вниз до впадения его в море: вангионы, трибоки, неметы, матиаки, убии; за ними следовали

тенктеры, бывшие первыми наездниками, которых конница славилась и у римлян, которых все имущество были лошади и оставлялись в наследство только храбрым; за ними узипетры и у самого впадения Рейна в море сильные батавы. Средина Германии, погруженная в леса, скрывала самых свирепых и сильных народов. Начиная с запада и на восток первые встречались хаты, предки нынешних гессенцев, жившие при реке Майне, где Германия состоит из частых возвышенностей. Народ, страшивший своею пехотою, регулярным устройством ее, осмотрительностию в нападениях и диким выражением лиц своих. Их обычаи невольно поражали своею оригинальностию. Ни один юноша не смел отрезать волос своих до тех пор, пока не омыл рук своих в крови неприятеля; в битвах они должны были находиться впереди и своими обросшими косматыми лицами наводили робость на врага. Всякой хат носил на руке своей железное кольцо, что считалось бесчестием, потому что напоминало цепи; сбросить его он мог тогда только, когда поражал собственною рукою неприятеля. На юг от хатов были херуски, обитатели Гарца; далее следовали фозы, сигамбры, бруктеры, ангруарии, хазуарии, наконец аряне, отличавшиеся совер-

шенно особенным родом нападений, которые они производили в глухие мрачные ночи, и, желая облечь их страхом, выкрашивали тело, носили щиты, покрытые черною краскою, и в виде погребальной процессии представлялись изумленным глазам неприятелей, не могших выносить такого зрелища. За ними на восток, в пространствах несколько более открытых, обитали свевы, состоявшие из множества разных племен и ведшие долго еще жизнь пастушескую, несмотря на то, что положение земли, еще болотной, мало представляло для ней удобства.

Вообще можно сказать: чем ближе к западу и юго-западу, тем более было занимавшихся земледелием, или по крайней мере оно мешалось у них с пастушескою жизнию; чем ближе к востоку, к Венгрии, Дакии и Польше, тем более преобладала пастушеская жизнь; чем глубже в леса Гарца, тем мрачнее и сильнее становились германские племена. Но самые опасные, которых римляне даже вовсе почти не знали и которые были истинные разрушители их владычества, это были все, населявшие берега морей и прибалтийские земли. Сюда никогда не досягали римляне. Здесь жили пираты, самые предприимчивые из германцев, которых уже положение земли и моря

заставляло отваживаться на дерзкие дела. Таким образом по Немецкому морю жили фризы и хавки; за ними самые сильные корсары севера — саксы, в Голштинии — кимвры, по Балтийскому морю — готы, варны, ругии, бургунды и в Пруссии — ломбарды, вандалы, герулы. Кроме того, в средине Германии находилось еще множество разных отродий, совершенно скрытых болотами и лесами, которые во время частых битв между ее племенами были вытесняемы и видели необходимость избирать неприступные места. Горы Альп и Карпата заключали в себе множество клочков или остатков разных племен гальских, германских и венедских, бандитствовавших в дикой Европе. Северо-восток ее, совершенною бедностию почвы, уединением и страшным пространством, не мог образовать и возрастить сильных народов. В рассеянных, бездомовных, бесприютных его обитателях финнах и отростках народов эстских замирала жизнь, как и в самой природе того края.

Вот каков был тот отдельный мир дикой Европы! Вот каковы были те народы, которых мощную силу прежде всего должны были испытать римляне. И если всемирная империя не пала гораздо ранее, то причиною этого были: чрезвычайное

раздробление народов германских, положение Европы, препятствовавшее им слиться в одно, простота нравов, заставлявшая их довольствоваться грубыми произведениями своей земли, незнание корысти, так свойственной разрушающим дикарям, оседлость и любовь к свободе, заставлявшая их удаляться во глубину своих лесов. Римляне чувствовали всю опасность от этих свежих сил европейских народов. И оттого никакая из границ империи: ни восточно-азийская, ни южно-африканская не была так защищена, как северо-европейская. Сюда, можно сказать, стеклась вся сила их. И должно признаться, что средства защиты при тогдашнем изнемогающем состоянии империи были приняты самые благоразумные. Империя отдавала опасные границы свои свежим воинственным народам, которые лучше всего могли защищать их и были довольны вначале немногим. Но к чести народов германских нужно сказать, что одна только сильная необходимость заставляла их принимать этот дар римлян. Эта зависимость казалась для них рабством, и они спешили в глубину лесов своих, скрыть там свою свободу. Покушения римлян принуждали их составлять сильные между собою союзы, но эти союзы никогда не были

нападательны; цель их была только привести в безопасность свою волю, бывшую для них дороже всего. Один из сих союзов, известный под именем союза франков, более других возрос и усилился благодаря благоприятному положению земли и умножавшимся натискам со стороны всех народов. Разнородные племена, его составившие, заняли часть Вестфалии и Гессена и так тесно слились, что составили наконец одну нацию под именем франков. Но этот союз не был бы так страшен для римлян, и вся Германия долее пребывала бы неподвижною, если бы не действовали на нее посторонние силы выходивших из Азии народов. Восточная часть Европы была очень страшна своими равнинами. Это были широкие ворота в Западную Европу, большая дорога, через которую переходили попеременно разноцветные народы; леса были здесь более выжжены, нежели в других местах; болота скорее высохли, и с каждым столетием она становилась просторнее и удобнее для переходов. Открытые места ее давали средство народам и племенам соединяться в большие массы, представляли удобность для кочующей жизни, которая дает средства производить великие набеги. Народ вдруг мог подняться с легких жилищ своих и произвести всею массою самое

страшное, ничем не отразимое, разрушительное нападение.

Одному из народов германских определено было прежде всех других произвести всеобщее движение. Этот народ был — готы, народ, над которым, казалось, тяготело какое-то проклятие, осудившее его на скитание. Долго блуждал он и показывался то в Скандинавии, на противоположных берегах Балтийского моря, то наконец на широком востоке Европы. По свидетельству историка Иорнанда, он первобытную жизнь вел в Скандинавии. Может быть даже, что это был один из первоначальных народов Европы. Перебравшись из снеговой своей отчизны, он устремился на берег Пруссии и произвел страшный всемирный переворот, вытеснив оттуда вандалов, ломбардов, герулов, бургундов и саксов, и против их собственной воли заставил их быть одними из ревностных деятелей в разрушении Западной империи. Всеобщее потрясение ощутилось во всей Европе: вся эта цепь сильных прибалтийских народов придвинулась ближе к границам римским, потеснила в горы и болота множество племен, сжала сильнее их силу, и римляне должны были завести новое знакомство: герулы, вандалы, ломбарды уже стали появляться в войсках их.

Между тем готы, прочистивши перед собою дорогу, отчасти разогнали, отчасти покорили придунайских народов: маркоманов, квадов; соединились в южных равнинах Дакии в многочисленные массы и, с приведенными под власть свою народами, устремились к Черному морю. Чем далее к югу, тем удобнее была им дорога и тем быстрее был их путь; наконец они очутились в средине Греции и в Малой Азии, выжгли берега Черного моря. Халцедон, Эфес были обращены в пепел; Афины были разграблены страшно, безжалостно. Император Деций видел опасность восточных границ обширной своей империи, и между тем как на западных границах войска его сражались с вандалами, свевами, герулами, сдвинутыми с мест готами, он сам предводил войсками на востоке и погиб с оружием в руках. Готы с великою добычею возвратились, заняли нынешнюю Россию, приобрели трактатом от римлян всю Дакию и остались здесь, владычествуя над придунайскими народами и тревожа присутствием своим беспечную империю. Тогда всемирные императоры, узнавшие несчастным опытом дикое мужество готов, составили план принимать их в свои войска и выдавать жалованье этим неодолимым дикарям. Сим

приобрели они сильных защитников, но вместе с тем приобрели и сильных неприятелей, потому что открыли им тайну благоустроенной тактики, которая еще более могла придать им перевеса. Но, впрочем, тактика готов и без того была неодолима. Она соединяла в себе вместе и тактику народов легких и кочующих и тактику неподвижных народов. Они строились густыми, великими массами и сохраняли одинаковую крепость в порыве первого нападения, в разгаре битвы и в потухающей силе ее окончания. Как бы долго ни длилась битва, их ряды невозможно было сдвинуть с места. Нападения свои они сопровождали так же, как и другие германские племена, песнями. В песнях провозглашались имена древних героев Фридигера, Видигана, Этесбамера и других. Власть религиозная заключалась в одном лице, который был вместе и царь, и предводитель войск, и верховный жрец, и при всем том зависел от совета храбрых.

У готов с незапамятных времен тянулось царственное поколение Бальтов, из которых только одних можно было избирать царей. Поклонялись Водану, бывшему в отдаленные веки их предводителем вместе с Оденом, этим северным Улисом. Из всех народов германских готы более других

способны были принять цивилизацию. До средины четвертого века власть готов признавалась более или менее народами на Дунае, на западе и на востоке нынешней России. Имя царя их Германриха было уважаемо от берегов Черного моря до Ливонии… Но владычество готов было смущено великим азиатским нашествием гуннов.

Гунны, или гионгну, по свидетельству Дегине, были племена сильные, занимавшие великие степи Татарии, Манжурии, потрясшие Китай, но не умевшие противиться китайской лукавой политике и обратившиеся впоследствии в данников китайских монархов. Однако же многочисленная часть поднялась с своими кибитками и табунами, направляя<сь> на запад, заняла закаспийские земли и скрылась таким образом из виду Китая. Поселение их на берегах каспийских историки римские относят ко времени Домициана. Не мешает при этом заметить, что образованный тогдашний римско-греческий мир ничего не знал даже о том, существует ли на свете этот народ до времени императора Валента, т. е. до того времени, когда увидели вдруг извергавшиеся из гор Азии толпы гуннов и с ними аваров, гуннуюров, ульзингуров и других народов, которых имена дико звучали для утонченного и

вместе испорченного слуха римлян — греков. Набег этих обитателей Азии, разрушительный, неотразимый, обычай их есть сырое мясо, пить из неприятельских черепов и приносить на окровавленном костре в жертву теням своих предков первых попадавшихся пленников, самые их калмыцкие лица, плоские, неуклюжие, смуглые, наводившие робость одним своим свирепым движением, их приземистый рост, весь состоявший из одних мускул, привели в такой ужас азиатско-римские провинции, что жители не смели производить их от человеческого племени. Они думали, что маги и волшебники неизмеримых каспийских пустынь вошли в нечистое сношение с дьяволами и от этого союза произошли гунны.

Гунны, по какому-то странному инстинкту, или, может быть, испугавшись слишком пестрой поверхности римской Азии, усеянной садами и городами, которых всегда убегают кочевые народы, считающие их темницами, или не находя вольных пустынных степей, необходимых для их неисчисляемых стад, как бы то ни было, только они двинулись, вместо того чтобы на юг, на северо-запад; зацепили путем своим Кавказа, сорвали с его подошвы несколько народов кавказских и увлекли с собою. Вся эта кочевая толпа высыпала

в Европу. Великий аванпост Европы занят был, как мы уже видели, владычеством готов. Их многочисленные племена и покоренные ими народы были передовыми ее стражами и наполняли ее обширные ворота, к несчастию слишком обширные для такой небольшой части света, какова Европа. И готы, те готы, которые считались непобедимым ее оплотом и силою, уступили перед ними. Это так и долженствовало быть. Тайна азиатского многочисленного набега была совершенно неизвестна готам. Если бы они знали, что азиатское нападение более всего страшно силою первого порыва, что умение долее противустать ему и продлить битву одни только могут выиграть, если бы готы знали это, то гунны убрались бы снова за Кавказ, и Европа не почувствовала бы сильного потрясения, изменившего снова ее вид. Но эта тайна не была постигнута готами. Впрочем, надобно сказать и то, что нужно было иметь нечеловеческую храбрость и крепость духа, чтобы выдержать первый напор гуннов. Нападения их были производимы с таким ужасным криком; многочисленная масса их летела так густо и с такою силою на лошадях бешеных, почти диких, как будто бы была сброшена с крутого утеса и не в состоянии была сама удержать бега;

узкий, почти пропадавший между пухлых щек их глаз был так быстр и верен; в одно мгновение они давали столько изменений ходу битвы, так быстро могли рассылаться и исчезнуть из виду, так скоро собраться в кучи, так метко высылать летящий лес стрел, даже убегая так ловко, они умели отстреливаться, и все это сопровождали таким диким оглушительным криком, — что вряд ли мог сыскаться предводитель, чей глаз не разбежался бы и голова не закружилась в битве с ними.

Погнавши готов, гунны заняли нынешний польский запад России да северные и дунайские земли — и география Европы изменилась снова. Занявши такое огромное пространство, гунны необходимо должны были произвесть сильное потрясение и всеобщую перемену мест. Сдвинутые готы, хотя с трудом, но подались на запад и юг; вандалы и свевы, с которыми римляне или, лучше сказать, римские германцы мерялись уже на самых границах своими силами, ворвались чрез Францию и Альпы в Испанию. И в Испании ко всеобщему изумлению столкнулись народы совершенно с противуположных стран света: свевы с берегов Балтики и снежной Скандинавии и алане, оторванные гуннским порывом с подош-

вы Кавказа.

Гунны бродили по степям России, переносили свои кибитки и перегоняли табуны в течение целых пятидесяти лет, не производя дальних завоеваний, потому что Западную Европу и на тот раз спасало лесистое и неровное положение и потому что гуннам недоставало предприимчивого предводителя. Они производили свои набеги на соседей, которые обыкновенно состояли в хищничестве жен, детей и в угонке стад в свои пределы. Эти хищничества более всего должны были испытать готы, как ближайшие к ним народы. Готы в это время разделились на две великие ветви: на визиготов, которых цари были избираемы из прежней царственной линии Бальтов, и остроготов, избиравших царей из новой царственной ветви Амалов. Столкнутые гуннами, они притеснились к самому югу нынешней Украины и Молдавии. Не нашедшая безопасности часть визиготов под начальством Фридигера, Алета, Сафраха обратилась с просьбою к римскому императору о позволении перейти через Дунай и, поселившись на южной стороне его, защищать провинции от нападения усиливавшихся варваров. Император Валентиниан, управлявший империей вместе

с братом своим Валентом, принял с радостию неожиданную помощь — и визиготы перешли чрез Дунай. Между тем остроготы и часть визиготов, живших на юго-востоке, терпели часто голод и видели беспрестанно увеличивающиеся свои нужды, просили императора Валента, который имел надзор над восточными провинциями и жил в Константинополе, снабдить их нужными произведениями и позволить им торговать с тамошними жителями. Император поручил удовлетворить их во всем фракийским правителям Луципину и Максиму, которые были совершенные греки времен византийских, коварные, готовые оказать злодейские поступки даже без побудительных причин и почитавшие позволительными все поступки с варварами. Они не торговали, но просто грабили готов и доводили их до крайности продавать жен и детей; наконец под видом приязни призвали доблестнейших готов и решились тайно умертвить их. Это пробудило мщение в диком, но сохранявшем первоначальные человеческие чувства народе. Многочисленные толпы готов ворвались во Фракию и до самого Константинополя жгли, грабили и обратили в пепел все находившиеся по дороге города и окрестности. Император Валент нахо-

дился в весьма неблагоприятном положении. Он был ревностный арианец и потому гнал без милосердия противников секты, потому имел врагов, и сам брат его Валентиниан, императорствовавший в Риме, отказал подать ему помощь; кроме того, император Валент был жесток и ужасно подозрителен: ему предсказали, что гибель его последует от человека, которого имя начинается словом Фео — и он перерезал и передушил всех Феодориков, Феодотов и Феодисиев, которые только занимали какие-нибудь значительные должности. Само собою разумеется, что такие поступки не внушили его подданным излишнего жара защищать своего монарха. Притом и самые подданные были жалкой, бесхарактерный народ, войска умели только бунтоваться и готовы были бежать при первом случае; финансы разбрелись по рукам евнухов, любимцев, любовниц и пронырливого духовенства. Итак, Валенту наконец пришло поплатиться за прежнюю жизнь свою. Оставленный бегущими войсками, он спрятался в бедную хижину и был сожжен вместе с нею мстительными готами. Константинополь уцелел благодаря незнанию готов осаждать города. Готы с торжеством, с бесчисленною добычею, возвратились в свои жилища, оставив римлянам

страшную память своего посещения.

Скоро после этого произошло совершенное разделение Римской империи. Император Феодосий думал спасти ее чрез эту секуляризацию, приписывая слабость ее неизмеримости и невозможности одному управлять. Восточная империя, которая очень справедливо стала называться Греческою, а еще справедливее могла бы называться империей евнухов, комедиантов, любимцев, ристалищ, заговоров, низких убийц и диспутствующих монахов, досталась Аркадию, которым управлял пронырливый опекун его Руфим; Западная, которая тоже весьма несправедливо называлась Римскою, потому что все административные значительные места были заняты выслужившимися варварами из готов, вандалов и других германцев, получивших только слабый наружный лоск римского образования, которая уже в собственном сердце своем видела насильно теснившихся врагов, которая в живом трупе своем видела и чувствовала онемение жизни, эта Западная империя вручена была малолетному Гонорию, которым управлял Стиликон, родом вандал, бывший верным и храбрым при Феодосии и сделавшийся низким и слабым при ничтожном его сыне. Опекуны, правительство-

вавшие в разных углах Европы, ненавидели друг друга. Первый подарок, который Руфим, хитрый как византийский грек, препроводил к своему неприятелю Стиликону, состоял в сильных войсках визиготов, которых он настроил воевать Италию, обещая с своей стороны не подавать никакой помощи. Все визиготы поднялись с своих становищ в Дакии и с берегов Дуная и вступили в Италию. Но Стиликон, вместо того чтобы устрашиться такого нашествия, втайне был рад ему. Он основывал на нем кучу планов. Прежде всего он думал этими свежими, многочисленными и сильными варварами истребить других варваров, уже втеснявшихся в самые пределы Римской империи. Тогда Галлия и принадлежала и не принадлежала римлянам. Сильный франкский союз стоял на границах ее вместе с накопленными под его эгидом племенами; на востоке и на юге, т. е. в недре самой Франции вольно расположились алеманы и бургунды. В Испании свевы, алане и вандалы захватили всю лучшую часть ее, т. е. юг. Среди их римские префекты и начальники играли самую жалкую роль, имели достоинство без власти. Казалось, вместо Римской империи лежала над полумиром одна только величественная длинная тень ее.

Империя была похожа на тысячелетний дуб, который изумляет своею страшною толщиною и которого средина давно уже обратилась в гниль и прах. Стиликон искусно отклонил Алариха от желания поселиться в Италии и предложил ему богатую, цветущую Испанию. Он даже замышлял обратить этих варваров против врага своего Руфима, вместе с тем он располагал даже в случае удачи объявить себя императором вместо слабого Гонория, но чересчур перехитрил, и собственная голова слетела с плеч его. Слабый, ничтожный Гонорий, не понявший ни одного прожекта Стиликона, велел одному из своих также нерассудительных полководцев напасть с тыла на готов, уже выступавших в Испанию, с тем чтобы нанести им какой-нибудь вред. Аларих вдруг обратился и очутился под стенами Рима. Гонорий по обыкновению бежал. Сенат, видевши бессилие свое, умолил могущественного гота отступить, обещая дань, часть которой ему была выдана тогда же, остальной решился победитель ждать и отступил от Рима. Как только узнал Гонорий, что опасность миновалась, как уже вновь прибыл в Рим и вовсе не думал платить дани. На этот раз Аларих явился под стенами уже гневный, грозивший обратить в пепел Вечный город. 23 ав-

густа 409 года стены всемирной столицы увидели среди себя предводителя готов. Великолепные домы и дворцы были разграблены, но грозный Аларих запретил зажигательство и пролитие крови. Из этого можно видеть силу воли и власть, какую он имел над своими дикарями, удержав их от того, от чего иногда не властен удержать и начальник образованных войск. Гонория и следа уже не было в Риме, он давно умел скрыться. Но зато победитель показал в величайшей степени презрение, какое чувствовал к римлянам: возвел им царя их же префекта Атала и заставил его ползать у дверей палат своих. Насытив свое мщение, оставил он Рим и обратился на юг Италии. Здесь он замышлял великие планы, строил флот и намеревался перенести свои победительные знамена на берега Африки, но смерть остановила его подвиги. Для гробницы его визиготы отвели течение реки Везанто, вырыли на бывшем дне ее глубокую могилу, в которую зарыли труп, и потом снова возвратили ее на прежнее лоно, чтобы никто не мог осквернить и поругаться над могилою великого гота. Избранный после него Астольф наконец вывел готов в Испанию, где они быстро утвердились и составили сильное Готское королевство, изгнав не имевших значения рим-

ских начальников.

Вторжение визиготов было сильно почувствовано во всех концах Испании. Алане и свевы были крепко стеснены и большая часть их должна была признать власть готов. Даже вандалы, бывшие сильнейшими в Испании, были сильно притеснены и придвинуты к Средиземному морю. Уже король их Гензерих помышлял о переправе в Африку. Но одно происшествие как будто нарочно ускорило исполнение его мысли. В Риме управлял именем малолетнего Валентиниана и его матери знаменитый Аэций, предприимчивый, честолюбивый, хитрый, не слишком разборчивый на средства к достижению желаемого. Он имел сильного противника в Бонифации, правителе Африки, и решился его погубить; для этого призывал его именем императора в Рим. Бонифаций, проникнувши умысел, решился остаться в Африке и призвать на помощь Гензериха. В 427 году Гензерих с вандалами и частию аланов высадился на берег Африки и означил путь свой пожарами и опустошениями. Бонифаций увидел наконец свою ошибку, что призвал такого гостя. Он успел уже примириться с императором и решился поставить преграду беспокойному своему союзнику. Но с Гензерихом

не так было легко управиться. Бонифаций был разбит. Гензерих зажег Карфагену, ограбил домы, рубил жителей и извлек, где только могли скрываться, сокровища.

Быстрые успехи разожгли его хищное честолюбие. Скоро весь северный берег Африки подвергнулся его вандальскому владычеству. Огнем и мечом окрестил он его в арианство и составил сильнейшее в этот мятежный и темный век государство. С этого времени разгулялся Гензерих. Страшный флот его рассыпался по Средиземному морю и прекратил своим корсарством всякое плавание. Каждый год этот нумидийский лев появлялся у всех берегов Средиземного моря от Греции и Илирии до Гибралтара, собирая, как жатву на собственном поле, все, что могла только произвесть цветущая населенность их. Испания, Сицилия, Сардиния, Далмация попеременно чувствовали ужасную, разрушительную руку этого венчанного пирата, который так быстро воздвигнул первое государство христианских корсаров. Но наконец среди величия и награбленных богатств им овладело то состояние духа, та свирепая задумчивость, которая сушит, мучит душу и служит близким предвестием тиранства, ужасной нравственной болезни властителя. Он

стал подозревать всех окружающих и подозрение наконец простер на жену свою, дочь визиготского короля; ему вообразилось, что она имеет умысел отравить его. Наполненный этою мыслию, он приказал отрезать ей нос и уши и в таком виде отправить к ее отцу. Но, испугавшись сам мщения готов, пригласил Аттилу, предводителя гуннов напасть с севера на Испанию и Италию.

Аттила имел свою резиденцию в Дакии, где недалеко от Дуная находилось становище из грубых деревянных юрт, среди которых возвышался неуклюжий дворец его. Аттила был именно такой предводитель, какого дотоле недоставало гуннам. Он показал, как может быть ужасна стремительная азиатская сила. Весь северо-восток Европы признавал его владычество. Цепь народов, несших дань непобедимому царю гуннов, начиналась у Кавказа и оканчивалась у Рейна. Готы, гепиды, алане, герулы, аказиры, туринги и славяне очутились в границах его быстро раздавшейся кочевой империи. Греческий император, испытывавший его презрение, униженно присылал ему дань и ползал перед его могуществом. Это был маленькой человечек, почти карло, с огромною головою, с небольшими калмыцкими глазами, но так быстрыми, что ни один из

подданных его не мог выносить их без невольного трепета. Одним этим взглядом он двигал всеми своими племенами, которые, несмотря на разбросанное свое положение, различие жизни нравов и обычаев, слились его словом в одну душу. Посреди своих придворных, блиставших награбленным золотом, этот необыкновенный человек носил грубую широкую одежду, лежал на простом войлоке, пил почти одну воду из деревянного котла, ни седло, ни лошадь его не видали на себе драгоценных каменьев, и сам себя называл бичом божиим, посланным для того, чтобы исправить мир. Власть его над войском была беспредельна: оно верило, что у него находится чудесный меч, который должен завоевать ему весь мир. Повиновение покоренных народов было изумительно. Впрочем, невозможно было и думать им о возмущении потому, что Аттила мог выставить возле своей ставки такую пирамиду из отрубленных голов, глядя на которую немного находилось охотников. Он не любил заводить напрасно войны, особенно, когда мир мог ему доставить то же самое. Справедливость его была ужасна. Он показывал и великодушие, но только рабам, простертым у ног его. Мщение же Аттилы… но вызвать его мщение никто не имел духа.

Предложение Гензериха, казалось, упредило его собственную мысль. Властительно собрал он бесчисленные племена свои и шел на запад. Римская империя почувствовала всю опасность. Все народы, составлявшие тогда запад Европы, встревожились. И тогда случилось странное событие: вся западная дикая Европа сдвинулась в один союз. Римляне соединились с своими разрушителями, визиготами, аланами, франками. Народы кочующие и пастушеские шли на неподвижных и уже отчасти земледельцев. Стремительная и деспотическая Азия — на крепкую и вольную Европу. Нужно заметить, что германские народы, чем ближе к западу, тем более означались вольным духом. Альпы были древним хранилищем европейской свободы, и вокруг их на далекое расстояние племена хранят еще и доныне черты независимости. Равнинам близ Марны во Франции определено было быть театром этой единственной битвы. Западная вольная Европа из римлян, визиготов, арморикан, бреонов, бургундов саксонов, аланов и франков, под начальством королей, военных предводителей и под высшим распоряжением искусного Аэция, и восточная кочевая Европа из остроготов, аланов, гепидов, маркоманов, венедов, ломбардов,

герулов, аказиров, авров, туринговъ, роксоланов и некоторых племен славянских, под начальством своих князей, королей и принцев и движимых одною всемогущею волею Аттилы, должны были решить многое важное в потомстве. Вольная Европа устояла. Неотразимая, разрушительная конница Аттилы была опрокинута вместе с союзными народами, и непобедимый гунн, употребивший все возможное напряжение своей воли, поворотил свои табуны и народы в равнины Венгрии и Панонии. Аэций, не желая дать перевеса визиготам, действовавшим сильнее других в этой кровопролитной сече, облегчил ему удаление. Великая лига, исполнявшая свое назначение, разошлась и обратилась в прежние начала, увидя минувшую опасность.

Но ужасный предводитель гуннов рвал на себе благородный клок волос своих от гнева и через год, пополнивши свои войска новыми, вступил в Италию, где беспечный император Валентиниан и даже сам Аэций не мыслили об опасности. Первый город, испытавший его тяжелую руку, был Аквилея. Он его обратил в пепел и заставил горсть спасшихся жителей зародить на Адриатическом море Венецию. Отсюда прошел он всю Италию, действуя как огненный бич. Города: Конкордия,

Бресчиа, Виченца, Падуа, Верона, Мантуа, Милан, Модена, Парма — представили одни обнаженные стены. «Клянусь, — гордо провозгласил дикой гунн, — что где коснется копыто коня моего, там более не вырастет трава!» Наконец и Рим увидел под стенами своими Аттилу. Испуганный папа, в облачении, со всем крестным ходом, вышел навстречу неумолимому гунну, и великолепный ли обряд христианства, или мысль, рассеянная между дикими, даже языческими народами, о пребывании чего-то священного в Риме, что бы то ни было, но Аттила отступил, взявши великой выкуп, и вышел из Италии.

Теперь предстояла очередь испытать его мщение и силу соединенной лиге западных народов, — но внезапная смерть его спасла ее. Аттила умер необыкновенным образом. Суровый, воздержный, не позволявший золотым украшениям и камням убрать даже рукояти сабли и войлочного седла своего, он в один день изменил свою жизнь. Сочетавшись браком с дочерью бактрианского царя, необыкновенною красавицею, упоенный вином и пиршеством, он с таким неистовством предался сладострастию, что выпил за одним разом всю железную жизнь свою. Кровь у него пошла из ушей, из носа, изо

рта — и он задохнулся.

В неведомой пустыне, среди глубокой ночи, копали могилу Аттиле, сопровождая песнями о его подвигах. Тело его было положено в тройной гроб из золота, серебра и меди; с ним легли его оружия, его конные сбруи. На могиле его были заколоты все рабы и копавшие землю, чтобы никто из живущих не ведал о месте, где лежат кости великого человека. По смерти Аттилы гунны вдруг рассеялись и рассыпались, как всякой азиатский народ, связанный только могущественною волею предводителя. Тогда европейские народы шире и вольнее раздались и более приняли самостоятельности, и на востоке начали виднее показываться племена славян, которые мало-помалу разрослись в шестьдесят разных ветвей, протянулись до Тироля, прошумели по уходе остроготов на границах империи Греческой и, углубившись в великие пространства, наконец превратились в мирных оседлых народов.

Италия еще дымилась после опустошений Аттилы, но и среди полуразрушенных развалин ее крылись еще происки. И в этом изнеможенном государстве еще нашлись жалкие честолюбцы! Сенатор Максим успел очернить перед бессильным императором Валентинианом един-

ственную опору его шаткого трона — Аэция, и неблагодарный Валентиниан убил его собственною рукою. Но, лишившись этой опоры, он сам погиб, умерщвленный Максимом, который надел на свою детски честолюбивую голову императорскую корону и женился на его вдове Евдоксии. Мстительная вдова, раздраженная низким умерщвлением своего супруга и мало заботившаяся об участи всей Италии, тайно пригласила Гензериха вступить в Рим и отмстить за смерть императора, его союзника и друга.

Гензерих не любил заставлять долго ждать себя, он немедленно поднялся с берегов Африки с толпами своих вандалов на пиратских судах и высадился в Италию. И что только уцелело от меча Аттилы, все то истребил по своему обыкновению Гензерих. Он не очень разбирал, кто прав, кто виноват и кому он должен оказать помощь. Все испытало равную участь. Гензерих имел необыкновенное искусство грабить: после него уже никто не мог ничем поживиться. Рим, который дотоле щажен был даже язычниками, был ограблен без милосердия этим христианским королем; все, что только можно было взять, он взял. Корабли свои он наполнил множеством пленников, с которыми сам не знал, что делать;

вывез множество артистов и художников, увез даже супругу императора, к которой пришел сам на помощь, вместе с дочерьми ее, наконец даже сорвал золотой купол с Капитолия и утащил его вместе с другими сокровищами в Африку.

После всех этих событий Италия не походила и на тень прежней своей славы. Цветущая, прекрасная — венец европейской природы, она представила дикий вид опустошенной, уничтоженной страны. Титло императора едва слышалось в опустелых городах. Римский император уже не мог иметь никаких доходов. Он не был в состоянии даже платить жалованья собственному войску, набранному из герулов, ругиев и турцелингов. И тогда предводитель их Одоакр отрешил своего императора от должности; сделался неограниченным и независимым и уже не хотел принять императорского достоинства, но назвался просто королем герулов. Еще часть римского войска находилась как бы отрезанною за Альпами в Галлии, и предводитель ее Сиагрий, не зная ничего о происшествиях в Италии, защищал несуществующую империю против соединенного франкского союза, который сделался уже слишком страшным потому, что имел предприимчивого короля и полководца Кловиса. Сиагрию, отрезанному от

своего государства, не получавшему никаких подкреплений, трудно было противуборствовать этим свежим силам: он уступил — и Галлия потопилась франкскими народами. Скоро после того остроготы, предводимые Феодориком, двинулись с северных границ империи Восточной и заняли Италию, подчинив ее народы своей власти. Скоро после того англосаксы на своих неуклюжих дерзких кораблях перебрались через море и овладели Англиею — и потом великие эмиграции народов большими массами совершенно остановились, но в частности, и малыми силами, они производились беспрерывно. Дикие охотники, воспитанные этими всеобщими странствиями и беспрерывною переменою мест, получили страсть к приключениям и путешествиям, и вся Европа, несмотря на то, что, по-видимому, уже казалась неподвижною, двигалась и шевелилась подобно огромному рынку. Все нации перемешались между собою так, что уже невозможно было отыскать совершенно цельной; и только впоследствии постоянный образ правления или занятий сообщил главным из них некоторую особенность и некоторые признаки отличия. Тогда было четыре первенствующих великих собраний или масс народа, четыре главные пунк-

та европейской силы. В Испании — визиготы, вторгнувшиеся туда с частию покоренных народов и присоединившие к себе уже в Испании аланов, свевов, вандалов и разных подданных им народов, зародившие толпу сильных против себя бандитов в горах Астурийских. В Галлии — франки, уже составившие нацию из прежних соседей римлян, дунайских и рейнских германцев: узипетров, сигамбров, херусков, хатов, бруктеров, ангривариев, хазуариев и других, соединившиеся с туземцами римскими галлами, соединившиеся, но не слившиеся с покоренными арморикaнами, бретонами, алеманами, бургундами, отчасти бауарами и фризами и простершие владычество за Альпы и Рейн. Это было одно из сильнейших собраний народов. В Северной Германии — саксоны, страшные своею дикостью и пиратством, менее смешавшиеся с другими народами, и в Италии — остроготы, имевшие в толпах своих множество отродий народов, странствовавших по Восточной Европе: свевских, аланских, аварских, славянских, гепидских, и под расторопным твердым правлением Феодорика получившие на время перевес в Европе. Сверх того еще все эти великие массы народов распространяли покровительственную власть свою над многими

отдаленными племенами. Взаимные границы их часто терялись в неопределенных пространствах; в этих промежутках земли иногда чересполосно и независимо сохранялись многие народы. Таким образом, в Средней Германии — ломбарды, потом блеснувшие в Италии, часть бауаров, все народы, жившие в неизмеримых прежде лесах Гарца и в гористых уклонениях Альп. Восток Европы занимали совершенно разбросанные племена славянские, которые, находясь под вечным угнетением всех стремившихся из Азии народов, еще не успели явиться деятелями всемирной истории. За означенным кругом на север и на восток рассеивались народы, еще покрытые темною недеятельностью.

Такова была Европа в это шумное окончание V века, когда непостижимою волею провидения величественный хаос, носивший темные начала нового света, опустился на Европу, когда разрушающие народы безобразными массами текли на народы, колоссально совершались мрачные события, когда имена Алариха, Гензериха и Аттилы пронеслися беспокойными кометами, когда между тем древний мир долго дотлевал на востоке, робкое римское просвещение прижалось к берегам Сирии, Александрии, Цареграда, и ереси

Нестория и Евтихия раздирали дряхлые, старческие его силы.

Статьи и рецензии 1831–1842
Женщина

«Адское порождение! Зевс Олимпиец! О! ты неумолим в своей ярости! Ты захотел наслать бич на мир, ты извлек весь яд, незаметно разлитый в недрах прекрасной земли твоей, сжал его в одну каплю, гневно бросил ее светодарною десницей и отравил ею чудесное творение свое: ты создал женщину! Тебе завидно стало бедное счастие наше, тебе не желалось, чтобы человек источал вечное благословение из недр благодарного сердца; пусть лучше проклятие сверкает на преступных устах его… Ты создал женщину!» — так говорил, представ перед Платона, Телеклес, юный ученик его. Глаза его кидали пламя; по щекам бушевал пожар, и дрожащие губы пересказывали мятежную бурю растерзанной души. Рука его с негодованием откидывала пурпуровые волны богатой одежды, и расстегнутая пряжка небрежно висела на девственной груди юноши. «Что, мой божественный учитель? не ты ли представлял нам ее в богоподобном, небесном облачении? Не твои ли благоуханные уста лили дивные речи

про нежную красоту ее? Не ты ли учил нас так пламенно, так невещественно любить ее? Нет, учитель! твоя божественная мудрость еще младенец в познании бесконечной бездны коварного сердца. Нет, нет! и тень свирепого опыта не обхватывала светлых мыслей твоих, ты не знаешь женщины». Огненные слезы брызнули из глаз его; окутав голову хитоном и закрыв лицо руками, прислонился он к мраморной колонне, на которой роскошно покоилось богатое коринфское оглавие, осыпанное искрами лучей. Глубокий, тяжелый вздох вырвался из груди юноши, как будто все тайные нервы души, все чувства и все, что находится внутри человека, издало у него скорбные звуки, и звуки эти прошли потрясением по всему составу, и созерцаемая чувствами природа, в бессилии рассказать бессмертные, вечные муки души, переродилась в один болезненный стон. Между тем вдохновенный мудрец в безмолвии рассматривал его, выражая на лице своем думы, еще напечатленные прежним высоким размышлением. Так остатки дивного сновидения долго еще не расстаются и мешаются с началами идей, покамест человек совершенно не входит в мир действительности. Свет сыпался роскошным водопадом чрез смелое отверстие в

куполе на мудреца и обливал его сиянием; казалось, в каждой вдохновенной черте лица его светилась мысль и высокие чувства. «Умеешь ли ты любить, Телеклес?» — спросил он спокойным голосом. «Умею ли любить я! — быстро подхватил юноша. — Спроси у Зевса, умеет ли он манием бровей колебать землю. Спроси у Фидия, умеет ли он мрамор зажечь чувством и воплотить жизнь в мертвой глыбе. Когда в жилах моих кипит не кровь, но острое пламя, когда все чувства, все мысли, я весь перерождаюсь в звуки, когда звуки эти горят и душа звучит одною любовью, когда речи мои — буря, дыхание — огонь… Нет, нет! я не умею любить! Скажи же мне, где тот дивный смертный, кто обладает этим чувством? Уж не открыла ли премудрая Пифия это чудо между людьми?»

«Бедный юноша! Вот что люди называют любовью! Вот какая участь готовится для этого кроткого существа, в котором боги захотели отразить красоту, подарить миру благо и в нем показать свое присутствие на земле! Бедный юноша! Ты бы сжег своим раскаленным дыханием это кроткое существо, ты бы возмутил бурею страстей это чистое сияние! Знаю, ты хочешь говорить мне об измене Алкинои. Твои глаза были

сами свидетелями… но были ли они свидетелями твоих собственных мятежных движений, совершавшихся в то время во глубине души твоей? Высмотрел ли ты наперед себя? Не весь ли бунт страстей кипел в глазах твоих; а когда страсти узнавали истину? Чего хотят люди? они жаждут вечного блаженства, бесконечного счастия, и довольно одной минутной горечи, чтобы заставить их детски разрушить все медленно строившееся здание! Пусть глазами твоими смотрела сама истина, пусть это правда, что прекрасная Алкиноя очернила себя коварною изменой. Но вопроси свою душу: что был ты, что была она в то время, когда ты и жизнь, и счастие, и море восторгов находил в Алкиноиных объятиях? Переверни огненные листы своей жизни и найдешь ли ты хотя одну страницу красноречивее, божественнее той? Захотел ли бы ты взять все драгоценные камни царей персидских, все золото Ливии за те небесные мгновения? И что против них и первая почесть в Афинах, и верховная власть в народе! И существо, которое, как Промефей, все, что ни исхитило прекрасного от богов, принесло в дар тебе, водворило небо со светлыми его небожителями в твою душу, — ты поражаешь преступным проклятием; когда вся твоя жизнь

должна переродиться в благодарность, когда ты должен весь вылиться слезами, и умилением, и кротким гимном жизнедавцу Зевесу, да продлит прекрасную жизнь ее, да отвеет облако печали от светлого чела ее.

Устреми на себя испытующее око: чем был ты прежде и чем стал ныне, с тех пор, как прочитал вечность в божественных чертах Алкинои; сколько новых тайн, сколько новых откровений постиг и разгадал ты своею бесконечною душою и во сколько придвинулся ближе к верховному благу! Мы зреем и совершенствуемся; но когда? когда глубже и совершеннее постигаем женщину. Посмотри на роскошных персов: они переродили своих женщин в рабынь, и что же? им недоступно чувство изящного — бесконечное море духовных наслаждений. У них не выбьется из сердца искра при виде богини Праксителевой; восторженная душа их не заговорит с бессмертною душою мрамора и не найдет ответных звуков. Что женщина? — Язык богов! Мы дивимся кроткому, светлому челу мужа; но не подобие богов созерцаем в нем: мы видим в нем женщину, мы дивимся в нем женщине, и в ней только уже дивимся богам. Она поэзия! она мысль, а мы только воплощение ее в действительности. На нас горят

ее впечатления, и чем сильнее и чем в большем объеме они отразились, тем выше и прекраснее мы становимся. Пока картина еще в голове художника и бесплотно округляется и создается — она женщина; когда она переходит в вещество и облекается в осязаемость — она мужчина. Отчего же художник с таким несытым желанием стремится превратить бессмертную идею свою в грубое вещество, покорив его обыкновенным нашим чувствам? Оттого, что им управляет одно высокое чувство — выразить божество в самом веществе, сделать доступною людям хотя часть бесконечного мира души своей, воплотить в мужчине женщину. И если ненароком ударят в нее очи жарко понимающего искусство юноши, что они ловят в бессмертной картине художника? видят ли они вещество в ней? Нет! оно исчезает, и перед ними открывается безграничная, бесконечная, бесплотная идея художника. Какими живыми песнями заговорят тогда духовные его струны! как ярко отзовутся в нем, как будто на призыв родины, и безвозвратно умчавшееся и неотразимо грядущее! как бесплотно обнимется душа его с божественною душою художника! Как сольются они в невыразимом духовном поцелуе!.. Что б были высокие добродетели мужа,

когда бы они не осенялись, не преображались нежными, кроткими добродетелями женщины? Твердость, мужество, гордое презрение к пороку перешли бы в зверство. Отними лучи у мира — и погибнет яркое разнообразие цветов: небо и земля сольются в мрак, еще мрачнейший берегов Аида. Что такое любовь? — Отчизна души, прекрасное стремление человека к минувшему, где совершалось беспорочное начало его жизни, где на всем остался невыразимый, неизгладимый след невинного младенчества, где все родина. И когда душа потонет в эфирном лоне души женщины, когда отыщет в ней своего отца — вечного бога, своих братьев — дотоле не выразимые землею чувства и явления — что тогда с нею? Тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райскую в груди бога жизнь, развивая ее до бесконечности…» Вдохновенные взоры мудреца остановились неподвижно: перед ними стояла Алкиноя, незаметно вошедшая в продолжение их беседы. Опершись на истукан, она вся, казалось, превратилась в безмолвное внимание, и на прекрасном челе ее прорывались гордые движения богоподобной души. Мраморная рука, сквозь которую светились голубые жилы, полные небесной амврозии, свободно

удерживалась в воздухе; стройная, перевитая алыми лентами поножия нога в обнаженном, ослепительном блеске, сбросив ревнивую обувь, выступила вперед и, казалось, не трогала презренной земли; высокая, божественная грудь колебалась встревоженными вздохами, и полуприкрывавшая два прозрачные облака персей одежда трепетала и падала роскошными, живописными линиями на помост. Казалось, тонкий, светлый эфир, в котором купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь в бесчисленных лучах, коим и имени нет на земле, в коих дрожит благовонное море неизъяснимой музыки, — казалось, этот эфир облекся в видимость и стоял перед ними, освятив и обоготворив прекрасную форму человека. Небрежно откинутые назад, темные, как вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ее и лилися сумрачным каскадом на блистательные плеча. Молния очей исторгала всю душу… — Нет! никогда сама царица любви не была так прекрасна, даже в то мгновенье, когда так чудно возродилась из пены девственных волн!.. В изумлении, в благоговении повергнулся юноша к ногам гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся над ним полубогини канула на его

пылающие щеки.

Борис Годунов. Поэма Пушкина

(Посвящается Петру Александровичу Плетневу)

Книжный магазин блестел в бельэтаже ***ой улицы, лампы отбивали теплый свет на высоко взгроможденные стены из книг, живо и резко озаряя заглавия голубых, красных, в золотом обрезе, и запыленных, и погребенных, означенных силою и бессилием человеческих творений. Толпа густилась и росла. Гром мостовой и экипажей с улицы отзывался дребезжанием в цельных окнах, и, казалось, лампы, книги, люди, все окидывалось легким трепетом, удвоявшим пестроту картины. Сидельцы суетились. «Славная вещь! Отличная вещь!» — отдавалось со всех сторон. «Что, батюшка, читали Бориса Годунова, нет? Ну, ничего же вы не читали хорошего», — бормотала кофейная шинель запыхавшейся квадратной фигуре. «Каков Пушкин?» — сказал, быстро поворотившись, новоиспеченный гусарский корнет своему соседу, нетерпеливо разрезывавшему последние листы. — «Да, есть места удивительные!» — «Ну, вот наконец дождались

и Годунова!» — «Как, Борис Годунов вышел?» — «Скажите, что это такое Борис Годунов? как вам кажется новое сочинение?» — «Единственно! Единственно! еще бы некоторой картины… О, Пушкин далеко шагнул!» — «Мастерство-та, главное — мастерство; посмотрите, посмотрите, как он искусно того…» — трещал толстенькой кубик с веселыми глазками, поворачивая перед глазами своими руку с пригнутыми немного пальцами, как будто бы в ней лежало спелое прозрачное яблоко. «Да, с большим, с большим достоинством! — твердил сухощавый знаток, отправляя разом пол-унции табаку в свое римское табакохранилище. — Конечно, есть места, которых строгая критика… Ну, знаете… еще молодость… Впрочем, произведение едва ли не первоклассное!» — «Насчет этого позвольте-с доложить, что за прочность» — присовокупил с довольным видом книгопродавец: — «ручается успешная-с выручка денег…» — «А самое-то сочинение действительно ли чувствительно написано?» — с смиренным видом заикнулся вошедший сенатский рябчик. «И конечно чувствительно!» — подхватил книгопродавец, кинув убийственный взгляд на его истертую шинель: «если бы не чувствительно, то не разобрали бы

400 экземпляров в два часа!» Между тем лица беспрестанно менялись, выходя с довольною миною и книжкою в руках. В это самое время Элладий подошел к другу своему Поллиору, рассеянно глядевшему на жадную толпу покупателей. «Не правда ли, милый Поллиор! не правда ли, что ни с чем не можешь сравнить этого тихого восторга, напояющего душу при виде, как пламенно любимое нами великое творение неумолкно звучит и отдается сочувствием во всех сердцах, и люди, кажется, отбежавшие навеки от собственного, скрытого в самих себе, непостижимого для них мира души, насильно возвращаются в ее пределы!» Молчаливо и безмолвно пожал Поллиор ему руку. Они вышли. Но ни томительный, как слияние радости и грусти, свет луны, так дивно вызывающий из глубины души серебряный сонм видений, когда ночное небо бесплотно обнимется вдохновением и земля полна непонятной любви к нему, ни те живые чувства, пробуждающиеся у нас мгновенно, когда чудный город гремит и блещет, мосты дрожат, толпы людей и теней мелькают по улицам и по палевым стенам домов-гигантов, которых окна, как бесчисленные огненные очи, кидают пламенные дороги на снежную мостовую, так странно сливающиеся с

серебряным светом месяца, — ничто не в состоянии было его вывесть из какой-то торжественной задумчивости; какая-то священная грусть, тихое негодование сохранялось в чертах его, как будто бы он заслышал в душе своей пророчество о вечности, как будто бы душа его терпела муки, невыразимые, непостижимые для земного… «Что же ты до сих пор, — спросил его Элладий, когда они вошли в его уединенную комнату, одиноко озаряемую трепетною лампой, — не поверг от себя дани нашему великому творению, не принес посильного выражения — истолкователя чувств в чашу общего мнения?»

«Ты понимаешь меня, Элладий, к чему же ты предлагаешь мне этот несвязный вопрос? что мне принесть? кому нужда, кто пожелает знать мои тайные движения? Часто, слушая, как всенародно судят и толкуют о поэте, когда прения их воздымают бурю и запенившиеся уста горланят на торжищах — думаю во глубине души своей: не святотатство ли это? Не то же ли, если бы кто вздумал стремительно ворваться в площадь, где чернь кипит и суетится, исполняя обычные свои требы, и воссылать, упавши на колени, жаркие молитвы к небу? И что бы сказал я? — «Прекрасно! бесподобно, единственно!» Но выразят ли

эти слова хотя одну струю безграничного океана чувств? Бессильные! они от частого повторения людьми потеряли даже бедное собственное значение. Но еще бессмысленнее, еще смешнее мне кажутся люди, которые дарят поэтов, будто чинами, жалкими эпитетами, называют их первоклассными, как будто поэты, как растения или безжизненные минералы, требуют системы, чтобы удержаться в голове. Великий! когда развертываю дивное творение твое, когда вечный стих твой гремит и стремит ко мне молнию огненных звуков, священный холод разливается по жилам и душа дрожит в ужасе, вызвавши Бога из своего беспредельного лона… что тогда? Если бы небо, лучи, море, огни, пожирающие внутренность Земли нашей, бесконечный воздух, объемлючий миры, ангелы, пылающие планеты превратились в слова и буквы — и тогда бы я не выразил ими и десятой доли дивных явлений, совершающих<ся> в то время в лоне *невидимого меня.* И что́ они все против души человека? против воплочения бога? В какие звуки, в какие светлые звуки превращается она, разрешаясь от всего, носящего образ выразимого и конечного, сильным порывом вонзаясь в безо́бразную грудь его! Как горит, как сохнет бренный страдальче-

ский состав! Как дрожит, как стонет бессильное земное, пока все не сольется в духовное море, пока потоп благодарных слез не хлынет дождем в размученную грудь, не прольет примирения между двумя враждующими природами человека. Как суетны люди, требующие отчета впечатлений, произведенных великим созданием поэта, зная наперед, что он не будет ответом на безрассудное желание их! Когда из безобразного земного черепа извлекают результат — ослепительный камень, когда из струн исторгают звуки — какой же они результат хотят извлечь из звуков? Может быть, и исполнится это желание, только когда? Когда человек исчезнет и душа на ветхих его развалинах воздвижется в величественном, необъятном здании».

«Итак, по-твоему, — спросил его после мгновенного молчания Элладий, — люди не должны делиться между собою впечатлениями и сообщать, как откровения, хотя неполные отчеты чувств, может быть, убедившие бы других в духовной изящности создания?»

«Нет, Элладий, нет. Кто здесь требует убеждения, тому будут бесплодны все твои попытки возму<тить> его душу. Разогни перед ним великое творение. Читайте вместе, и если дивные его

буквы не ударят разом в тайные струны сердец ваших, обратив в непостижимый трепет все нервы, не брызнут ответными слезами и души ваши почувствуют разъединение — закрой книгу и не трать пустых слов. Но если встретишь ты пламенно понимающее тебя чувство — прекрасную половину прекрасной души твоей, — потребуете ли вы друг от друга отчета? К чему бы послужил он вам, когда вы так чудно сливаетесь в одно? И какая презренная радость сравнится с тем мгновением, когда творение разом читается в вас? Как понимаете вы его? «Боже! — часто говорю себе: — какое высокое, какое дивное наслаждение даруешь ты человеку, поселя в одну душу ответ на жаркой вопрос другой! Как эти души быстро отыскивают друг друга, несмотря ни на какие разделяющие их бездны!»

«Будто прикованный, уничтожив окружающее, не слыша, не внимая, не помня ничего, пожираю я твои страницы, дивный поэт! И когда передо мною медленно передвигается минувшее и серебряные тени в трепетании и чудном блеске тянутся бесконечным рядом из могил в грозном и тихом величии, когда вся отжившая жизнь отзывается во мне и страсти переживают<ся> сызнова в душе моей — чего бы не дал тогда, что-

бы только прочесть в другом повторение всего себя?.. какими бы, казалось, драгоценностями не искупил этого блага? «Возьмите, возьмите от меня все, — воскликнул бы тогда с подъятыми руками к небесам, — и ниспошлите мне это понимающее меня существо. Всемогущий! зачем дал ты мне неполную душу? или пополни ее, или возьми к себе и остальную половину».

«О, как велик сей царственный страдалец! Столько блага, столько пользы, столько счастия миру — и никто не понимал его… Над головой его гремит определение… Минувшая жизнь, будто на печальный звон колокола, вся совокупляется вокруг него! Умершее живет!.. И дивные картины твои блещут и раздаются все необъятнее, все необъятнее, все необъятнее… И в груди моей снова муки!.. Ответные струны души гремят… Звон серебряного неба с его светлыми херувим<ам>и стремится по жилам… О, дайте же, дайте мне еще, еще этих мук, и я выльюсь ими весь в лоно Творца, не оставя презренному телу ни одной их божественной капли…

«Великий! над сим вечным творением твоим клянусь!.. Еще я чист, еще ни одно презренное чувство корысти, раболепства и мелкого самолюбия не заронялось в мою душу. Если мертвящий

холод бездушного света исхитит святотатственно из души моей хотя часть ее достояния, если кремень обхватит тихо горящее сердце, если презренная, ничтожная лень окует меня, если дивные мгновения души понесу на торжище народных хвал, если опозорю в себе тобой исторгнутые звуки… О! тогда пусть обольется оно немолчным ядом, вопьется миллионами жал в невидимого меня, неугасимым пламенем упреков обовьет душу и раздастся по мне тем пронзительным воплем, от которого бы изныли все суставы и сама бы бессмертная душа застонала, возвратившись безответным эхом в свою пустыню… Но нет! оно как творец, как благость! ему ли пламенеть казнью? Оно обнимет снова морем светлых лучей и звуков душу и слезою примирения задрожит на отуманенных глазах обратившегося преступника!..»

О поэзии Козлова

Светлый, полный — раздольное море жизни — мир древних греков не властен был дать направление поэзии Козлова. Когда весь блеск, все разнообразие постоянно светлой, в бесчисленных формах проявляющейся жизни природы

слились для него в одну ужасную единицу — в мрак, — могла ли душа жить прежними ясными явленьями? Как будто в исступлении, как будто подавляемая горестью, с порывом, с немолчною жаждою — торжествовать, возвыситься над собственным несчастием, она искала другой встречи и в изумлении остановилась пред Байроном, так чудно обхватившим гигантскою мрачною душою всю жизнь мира и так дерзостно посмеявшимся над нею, может быть от бессилия передать ее индивидуальную светлость и величие. Душе нашего поэта желалось обвиться около этой гордо-одинокой души, исполински замышлявшей заключить в себе в замену отвергнутого собственный, ею же созданный, нестройный и чудный мир и, обвившись около нее, горько улыбнуться уже не существующей для нее прежней Илиаде жизни. Кроткое христианское величие веры, так доступное человеку в то страшное мгновение перерождения его, — проникло и облекло чистым сиянием своим все полученное им в сообществе с душою этого исполина, с которым меряться не имел он достаточных сил, и сообщило ему индивидуальность, без которой он был бы только бессильным подражателем. Но даже и в тихом порыве религиозной души своей, когда благо-

словляет он тяжкий крест несчастий, вырывается у него скорбь, какое-то, можно сказать, даже злобное наслаждение души собственными муками. Он сильно дает чувствовать все великие, горькие траты сво<и>, часто собирает в один момент все исчезнувшее, живо представляет его во всем ослепительном блеске, чтобы показать вместе, чего стоит ему позабыть и удалить мысль о нем. Глядя на радужные цвета и краски, которыми кипят и блещут его роскошные картины природы, тотчас узнаешь с грустью, что они уже утрачены для него навеки: зрящему никогда не показались бы они в таком ярком и даже увеличенном блеске. Они могут быть достоянием только такого человека, который давно уже не любовался ими, но верно и сильно сохранил об них воспоминание, которое росло и увеличивалось в горячем воображении и блистало даже в неразлучном с ним мраке. Но и в сих созданиях, в которых, кажется, он стремится позабыть все грустное, касающееся собственной души, и ловит невидимыми очами видимую природу, и здесь, и под цветами горит тихая печаль. Он весь в себе. Весь нераздельный мир свой носит в душе и не властен оторваться от него. Иногда стремление его центробежно и будто хочет разлиться во внешнем, но для того только, чтобы

снова с большею силою устремиться к своему центру, самому себе, как будто угадывая, что там только его жизнь, что там только найдет ответ себе. Если он долго остановливается на внешнем каком-нибудь предмете, он уже лишает его индивидуальности, он проявляет уже в нем самого себя, видит и развивает в нем мир собственной души. Мне кажутся и доныне странными замечания и упреки многих Козлову, что в поэмах у него вечное торжество и однообразие жизни, что лица его не имеют полной романической отделки и не живут собственною жизнью, что «Безумная» нимало не похожа на русскую крестьянку, словом, требуют от Козлова того, чего только вправе мы требовать от Пушкина, забывая, что для Козлова полная разнообразия внешняя жизнь не существует, что весь мир его сосредоточился в нем самом и его одного силен он следить в многоразличных изменениях. А лица и герои у него только образы, условные знаки, в которые облекает он явления души своей. Что обнять во всей полноте внутреннюю и внешнюю жизнь — удел гения всемирного и что наконец Козлов относится к Пушкину так, как часть к целому. Поэт понимает все достоинство последнего. Оно лестнее жаркой душе его и кадил и безотчетных хвал. И для кого

не блистательна, кому незавидна участь: быть частью необъятного Пушкина!![273]

О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году

Журнальная литература, эта живая, свежая, говорливая, чуткая литература, так же необходима в области наук и художеств, как пути сообщения для государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочает вкусом толпы, обращает и пускает в ход все выходящее наружу в книжном мире, и которое без того было бы в обоих смыслах мертвым капиталом. Она — быстрый, своенравный размен всеобщих мнений, живой разговор всего тиснимого типографскими станками; ее голос есть верный представитель мнений целой эпохи и века, мнений, без нее бы

---

[273] Примечания: 273

Новые прелестные стихотворения Козлова — «Субботний вечер», перевод и мелкие с трогательным посвящением — Прекрасным цветком, брошенным на гроб

Той красоте, которой много
Российский жертвовал Парнас,
Когда туманною дорогой
Брела поэзия у нас.

Находится в таких-то книжных лавках. Продается по такой-то цене.

исчезнувших безгласно. Она волею и неволею захватывает и увлекает в свою область девять десятых всего, что делается принадлежностию литературы. Сколько есть людей, которые судят, говорят и толкуют потому, что все суждения поднесены им почти готовые, и которые сами от себя вовсе не толковали бы, не судили, не говорили. Итак, журнальная литература во всяком случае имеет право требовать самого пристального внимания.

Может быть, давно у нас не было так резко заметно отсутствия журнальной деятельности и живого современного движения, как в последние два года. Бесцветность была выражением большей части повременных изданий. Многие старые журналы прекратились, другие тянулись медленно и вяло; новых, кроме Библиотеки для чтения и впоследствии Московского наблюдателя, не показалось, между тем, как именно в это время была заметна всеобщая потребность умственной пищи, и значительно возросло число читающих. Как ни бедна эта эпоха, но она такое же имеет право на наше внимание, как и та, которая бы кипела движением, ибо также принадлежит истории нашей словесности. Читатели имели полное право жаловаться на скудость, и постный

вид наших журналов: Телеграф давно потерял тот резкий тон, который давало ему воинственное его положение, в отношении журналов петербургских. Телескоп наполнялся статьями, в которых не было ничего свежего, животрепещущего. В это время книгопродавец Смирдин, давно уже известный своею деятельностию и добросовестностию, который один только, к стыду прочих недальнозорких своих товарищей, показал предприимчивость и своими оборотами дал движение книжной торговле, книгопродавец Смирдин решился издавать журнал обширный, энциклопедической, завоевать всех литераторов, сколько ни есть их в России, и заставить их участвовать в своем предприятии. В программе были выставлены имена почти всех наших писателей. Профессор арабской словесности г-н Сенковский взялся быть распорядителем журнала; к нему был присоединен редактором г-н Греч, известный уже постоянным изданием двух журналов: «Северной пчелы» и «Сына отечества». Не знаем, сами ли они взялись за сие дело или упрошены были г-ном Смирдиным; но в том и другом случае книгопродавец, по общему мнению, поступил несколько неосмотрительно. Успевши соединить для своего издания такое множество литераторов,

он должен был предоставить их суду избрание редактора.

Никто тогда не позаботился о весьма важном вопросе: должен ли журнал иметь один определенный тон, одно уполномоченное мнение, или быть складочным местом всех мнений и толков. Журнал на сей счет отозвался глухо, обыкновенным объявлением, что критика будет самая благонамеренная и беспристрастная, чуждая всякой личности и неприличности, — обещание, которое дает всякой журналист. С выходом первой книжки публика ясно увидела, что в журнале господствует тон, мнения и мысли *одного,* что имена писателей, которых блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавного листка, взята была только напрокат, для привлечения большего числа подписчиков.

Книгопродавец Смирдин исполнил с своей стороны все, чего публика вправе была *от него* требовать. Ту же самую честность, которая всегда отличала его, показал он и в издании журнала. Журнал выходил с необыкновенною исправностию: подписчики вместе с первым числом каждого месяца встречали толстую книгу, какой у нас в прежнее время ни одна типография не могла бы поставить в два месяца. Вместо обещанного

числа осьмнадцати листов в месяц, выходило иногда вдвое более. Теперь рассмотрим, исполнили ли долг те, которым он вверил внутреннее распоряжение журнала. — Главным деятелем и движущею пружиною всего журнала был г-н Сенковский. Имя г-на Греча выставлено было только для формы, по крайней мере никакого действия не было заметно с его стороны. Г-н Греч давно уже сделался почетным и необходимым редактором всякого предпринимаемого периодического издания: так обыкновенно почтенного пожилого человека приглашают в посаженые отцы на все свадьбы. Но какая цель была редакции этого журнала, какую задачу предположила она решить? Здесь поневоле должны мы задуматься, что, без сомнения, сделает и читатель. В программе ничего не сказал г-н Сенковский о том, какой начертал для себя путь, какую выбрал себе цель; все увидели только, что он взошел незаметно в первый номер и в конце его развернулся как полный хозяин.

Впрочем нельзя жаловаться и на это: положим, для журналиста необходим резкий тон и некоторая даже дерзость (чего однако ж мы не одобряем, хотя нам известно, что с подобными качествами журналисты всегда выигрывают в мнении тол-

пы), но на что преимущественно было обращено внимание сего хозяина, какая мысль его пересиливала все прочие, к чему направлено было его пристрастие, были ли где заметны те неподвижные правила, без коих человек делается бесхарактерным, которые дают ему оригинальность и определяют его физиогномию?

Прочитавши все, помещенное им в этом журнале, следуя за всеми словами, сказанными им, невольно остановимся в изумлении: что это такое? что заставляло писать этого человека? Мы видим человека, который берет деньги вовсе не даром, который трудится до поту лица, не только заботится о своих статьях, но даже переправляет чужие, одним словом, является неутомимым. Для чего же вся эта деятельность? Последуем за распорядителем во всех родах его сочинений и скажем несколько слов о главных качествах его статей. Это во всех отношениях необходимо.

Г-н Сенковский является в журнале своем как критик, как повествователь, как ученый, как сатирик, как глашатай новостей и проч. и проч., является в виде Брамбеуса, Морозова, Тютюнджу Оглу, А. Белкина, наконец в собственном виде. Как ученый, г-н Сенковский поместил довольно большую статью о сагах, статью, исполненную

ипотез, не собственных, но схваченных наудачу из разных бегло прочитанных книг, ипотез, вовсе не принадлежащих русской истории. Эти саги, которые проницательный Шлецер, не имеющий доныне равного по строгому и глубокому критическому взгляду, признал за басни, недостойные никакого внимания, эти саги он ставит краеугольным камнем русской истории и не приводит ни одного доказательства, поверенного критикою: он вовсе не определил их истинного и единственного достоинства. Саги суть поэтическое создание народа, игравшего великую в истории роль. Эта статья, испещренная риторическими фигурами, понравилась добрым, но ограниченным людям, а г-н Булгарин даже написал рецензию, в которой поставил г-на Сенковского выше Шлецера, Гумбольта и всех когда-либо существовавших ученых. Другое весьма важное притязание г. Сенковского и настоящий конек его есть Восток. Здесь он всегда возвышал голос, и как только выходило какое-нибудь сочинение о Востоке или упоминалось где-нибудь о Востоке, хотя бы даже это было в стихотворении, он гневался и утверждал, что автор не может судить и не должен судить о Востоке, что он не знает Востока. Слово, сказанное с сердцем, очень извинительно в че-

ловеке, влюбленном в свой предмет и который между тем видит, как мало понимают его другие; но этот человек уже должен по крайней мере утвердить за собою авторитет. Г-ну Сенковскому точно следовало бы издать что-нибудь о Востоке. Человеку, ничего не сделавшему, трудно верить на слово, особливо, когда его суждения так легковесны и проникнуты духом нетерпимости; а из некоторых его отрывков о Востоке видны те же самые недостатки, которые он беспрестанно порицает у других. Ничего нового не сказал он в них о Востоке, ни одной яркой черты, сильной мысли, гениального предположения! Нельзя отвергать, чтобы г-н Сенковский не имел сведений; напротив, очень видно, что он много читал, но у него нигде не заметно этой движущей, господствующей силы, которая направляла бы его к какой-нибудь цели. Все эти сведения находятся у него в каком-то брожении, друг другу противоречат, между собой не уживаются. Рассмотрим его мнения, относящиеся собственно к текущей изящной литературе. В критике г-н Сенковский показал отсутствие всякого мнения, так что ни один из читателей не может сказать наверное, что́ более нравилось рецензенту и заняло его душу, что́ пришлось по его чувствам: в его рецен-

зиях нет *ни положительного, ни отрицательного вкуса, — вовсе никакого.* То, что ему нравится сегодня, завтра делается предметом его насмешек. Он первый поставил г-на Кукольника наряду с Гёте, и сам же объявил, что это сделано им потому только, что так ему вздумалось. Стало быть, у него рецензия не есть дело убеждения и чувства, а просто следствие расположения духа и обстоятельств. Вальтер Скотт, этот великий гений, коего бессмертные создания объемлют жизнь с такою полнотою, Вальтер Скотт назван шарлатаном. И это читала Россия, это говорилось людям уже образованным, уже читавшим Вальтер Скотта. Можно быть уверену, что г-н Сенковский сказал это без всякого намерения, из одной опрометчивости; потому что он никогда не заботится о том, что говорит, и в следующей статье уже не помнит вовсе написанного в предыдущей.

В разборах и критиках г-н Сенковский тоже никогда не говорил о внутреннем характере разбираемого сочинения, не определял верными и точными чертами его достоинства. Критика его была или безусловная похвала, в которой рецензент от всей души тешился собственными фразами, или хула, в которой отзывалось какое-то странное ожесточение. Она состояла в

мелочах, ограничивалась выпискою двух-трех фраз и насмешкою. Ничего не было сказано о том, что предполагал себе целью автор разбираемого сочинения, как оное выполнил и, если не выполнил, как должен был выполнить. Больше всего г-н Сенковский занимался разбором разного литературного сора, множеством всякого рода пустых книг; над ними шутил, трунил и показывал то остроумие, которое так нравится некоторым читателям. Наконец даже завязал целое дело о двух местоимениях: *сей* и *оный,* которые показались ему, неизвестно почему, неуместными в русском слоге. Об этих местоимениях писаны им были целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения сей и оный совершенно неприличны. Это напомнило старый процесс Тредьяковского за букву ижицу и десятеричное і, который впоследствии еще не так давно поддерживал один профессор. Книга, в которой г-н Сенковекий встречал эти две частицы, была торжественно признаваема написанною дурным слогом.

Его собственные сочинения, повести и тому подобное, являлись под фирмою Брамбеуса. Эти повести и статьи вроде повестей, своим близ-

ким, неумеренным подражанием нынешним писателям французским, произвели всеобщее изумление, потому что г. Сенковский охуждал гласно всю текущую французскую литературу. Непостижимо, как в этом случае он имел так мало сметливости и до такой степени считал простоватыми своих читателей. Неизвестно тоже, почему называл он некоторые статьи свои фантастическими. Отсутствие всякой истины, естественности и вероятности еще нельзя считать фантастическим. Фантастические сочинения Б<арона> Брамбеуса напоминают книги, каких некогда было очень много, как то: «Не любо — не слушай, а лгать не мешай», и тому подобные. Та же безотчетность и еще менее устремления к доказательству какой-нибудь мысли. Опытные читатели заметили в них чрезвычайно много похищений, сделанных наскоро, на всем бегу: автор мало заботился о их связи. То, что в оригиналах имело смысл, то в копии было без всякого значения.

Таковы были труды и действия распорядителя Б<иблиотеки> для ч<тения>. Мы почли нужным упомянуть о них несколько обстоятельнее потому, что он один законодательствовал в Библиотеке для чтения и что мнения его разносились

чрезвычайно быстро, вместе с четырьмя тысячами экземпляров журнала, по всему лицу России.

Невозможно, чтобы журнал, издаваемый при средствах, доставленных книгопродавцем Смирдиным, был плох. Он уже выигрывал тем, что издавался в большом объеме, толстыми книгами. Это для подписчиков была приятная новость, особливо для жителей наших городов и сельских помещиков. В Библиотеке находились переводы иногда любопытных статей из иностранных журналов, в отделе стихотворном попадались имена светил русского Парнаса. Но постоянно лучшим отделением ее была *смесь*, вмещавшая в себе очень много разнообразных свежих новостей, отделение живое, чисто журнальное. Изящная проза, оригинальная и переводная, — повести и проч., — оказывала очень мало вкуса и выбора. В Библиотеке для чтения случилось еще одно, дотоле неслыханное на Руси явление. Распорядитель ее стал переправлять и переделывать все почти статьи, в ней печатаемые, и любопытно то, что он объявлял об этом сам довольно смело и откровенно. «У нас, — говорит он, — в Библиотеке для чтения, не так, как в других журналах: мы никакой повести не оставляем в прежнем виде, всякую переделываем: иногда составляем из двух

одну, иногда из трех, и статья значительно улучшается нашими переделками». Такой странной опеки до сих пор на Руси еще не бывало.

Многие писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто помещаемых без подписи или под вымышленными именами, за их собственные, и потому начали отказываться от участия в издании сего журнала. Число сотрудников так умалилось, что на другой год издатели уже не выставили длинного списка имен и упомянули глухо, что участвуют лучшие литераторы, не означая какие. Журнал хотя не изменился в величине и плане, но статьи заметно начали быть хуже; видно было менее старания. Библиотеку уже менее читали в столицах, но все так же много в провинциях, и мнения ее так же обращались быстро. Обратимся к другим журналам.

«Северная пчела» заключала в себе официальные известия и в этом отношении выполнила свое дело. Она помещала известия политические, заграничные и отечественные новости. Редактор г-н Греч довел ее до строгой исправности: она всегда выходила в положенное время; но в литературном смысле она не имела никакого определенного тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ее мнения. Она была

какая-то корзина, в которую сбрасывал всякой все, что ему хотелось. Разборы книг, всегда почти благосклонные, писались приятелями, а иногда самими авторами. В «Северной пчеле» пробовали остроту пера разные незнакомцы, скрывавшиеся под разными буквами, без сомнения, люди молодые, потому что в статьях выказывалось довольно удальства. Они нападали разве уже на самого беззащитного и круглого сироту. Насчет неопрятных изданий являлись остроумные колкости, несколько похожие одна на другую. Сущность рецензий состояла в том, чтобы расхвалить книгу и при конце сложить с себя весь грех такою оговоркою: «Впрочем желательно, чтобы почтенный автор исправил небольшие погрешности относительно языка и слога», или: «Хорошая книга требует хорошего издания», и тому подобное, за что автор разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастие рецензента. Книги часто были разбираемы теми же самыми рецензентами, которые писали известия о новых табачных фабриках, открывавшихся в столице, о помаде и проч.; сии известия иногда довольно остроумны и в шутках своих показывали ловких, и хорошо воспитанных людей, без сомнения, имевших основательные причины

быть довольными фабрикантами. Впрочем от «Сев<ерной> пчелы» больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша, ее делом было пригласить публику, а судить она предоставляла самой публике.

Журнал, носивший название «Сына отечества» и «Северного архива», был почти невидимкою во все время. О нем никто не говорил, на него никто не ссылался, несмотря на то, что он выходил исправно еженедельно и что печатал такую огромную программу на своей обвертке, какую вряд ли где можно было встретить. В «Сыне отечества» (говорила программа) будет археология, медицина, правоведение, статистика, русская история, всеобщая история, русская словесность, иностранная словесность, наконец просто словесность, география, этнография, историческая галлерея и проч. Иной ахнет, прочитавши такую ужасную программу, и подумает, что это огромнейшее энциклопедическое издание, когда-либо существовавшее на свете. Ничуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая книжечка в три листа, начинавшаяся статьею о каких-нибудь болезнях, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тем еще более живая и современная, не была в нем постоянною. Новости

политические были те же сухие факты, взятые из «Северной пчелы», следственно уже всем известные. Помещаемые какие-то оригинальные повести были довольно странны, чрезвычайно коротенькие и совершенно бесцветны. Если попадалось что-нибудь достойное замечания, то оно оставалось незаметным. Имена редакторов гг. Булгарина и Греча стояли только на заглавном листке; но с их стороны решительно не было видно никакого участия. Однако ж журнал существовал, стало быть, читатели и подписчики были. Эти читатели и подписчики были почтенные и пожилые люди, живущие в провинциях, которым что-нибудь почитать так же необходимо, как заснуть часик после обеда или выбриться два раза в неделю.

Издавалась еще в Петербурге в продолжение всего этого времени газета чисто литературная, освобожденная от всяких вторжений наук и важных сведений, не политическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница старого, но при всем том имевшая особенный характер. Название этой газеты: «Литературные прибавления к «Инвалиду». В ней помещались легонькие повести: беседы деревенских помещиков о литературе, беседы, часто довольно

обыкновенные, но иногда местами проникнутые колкостями, близкими к истине: читатель к изумлению своему видел, что помещики к концу статьи делались совершенными литераторами, принимали к сердцу текущую литературу и приправляли свои мнения едкою насмешкою. Этот журнал всегда оказывал оппозицию противу всякого счастливого наездника, хотя его вся тактика часто состояла только в том, что он выписывал одно какое-нибудь место, доказывающее журнальную опрометчивость, и присовокуплял от себя довольно злое замечание не длиннее строчки с восклицательным знаком. Г-н Воейков был чрезвычайно деятельный ловец и, как рыбак, сидел с удой на берегу, не теряя терпения, хотя на его уду попадалась большею частию мелкая рыба, а большая обрывалась. В редакторе была заметна чисто литературная жизнь, и он с неохлажденным вниманием не сводил глаз с журнального поля. Я не знаю, много ли было читателей его газеты, но она очень стоила того, чтобы иногда в нее заглянуть.

В Москве издавался один только «Телескоп», с небольшими листками прибавления, под именем «Молвы»; журнал, вначале отозвавшийся живостью, но вскоре простывший, наполнявшийся

статьями без всякого разбора, лишенный всякого литературного движения. Видно было, что издатели не прилагали о нем никакого старания и выдавали книжки как-нибудь.

Монополия, захваченная «Библиотекою для чтения», не могла не задеть за живое других журналов. Но «Северная пчела» была издаваема тем же самым г-ном Гречем, которого имя некоторое время стояло на заглавном листке в «Библиотеке» как главного ее редактора, хотя это звание, как мы уже видели, было только почетное, и потому очень естественно, что «Северная пчела» должна была хвалить все, помещаемое в «Библиотеке», и настоящего ее движителя, являвшегося под множеством разных имен, называть русским Гумбольтом. Но и без того она вряд ли бы могла явиться сильною противницею, потому что не управлялась единою волею; разные литераторы заглядывали туда только по своей надобности. «Сын отечества» должен был повторять слова «Пчелы». Итак, всего только два журнала могли восстать против его мнений. Г-н Воейков показал в «Литературных прибавлениях» что-то похожее на оппозицию; но оппозиция его состояла в легких заметках журнальных промахов и иногда удачной остроте, выраженных отры-

висто, в немногих словах, с насмешкою, очень понятною для немногих литераторов, но незаметною для непосвященных. Нигде не поместил он обстоятельной и основательной критики, которая определила бы сколько-нибудь направление нового журнала. «Телескоп» в соединении с «Молвою» действовал против «Библиотеки для чтения», но действовал слабо, без постоянства, терпения и необходимого хладнокровия. В статьях критических он был часто исполнен негодования против нового счастливца, шутил над баронством г-на Сенковского, сделал несколько справедливых замечаний относительно его странного подражания французским писателям, но не видел дела во всей ясности. В «Молве» повторялись те же намеки на Брамбеуса часто по поводу разбора совершенно постороннего сочинения. Кроме того, «Телескоп» много вредил себе опаздыванием книжек, неаккуратностию издания, и критические статьи его чрез то еще менее были в обороте.

Очевидно, что силы и средства этих журналов были слишком слабы в отношении к «Библиотеке для чтения», которая была между ними, как слон между мелкими четвероногими. Их бой был слишком неравен, и они, кажется, не приняли в

соображение, что «Библиотека для чтения» имела около пяти тысяч подписчиков, что мнения «Библиотеки для чтения» разносились в таких слоях общества, где даже не слышали, существуют ли «Телескоп» и «Литературные прибавления», что мнения и сочинения, помещаемые в «Библиотеке для чтения», были расхвалены издателями той же «Библиотеки для чтения», скрывавшимися под разными именами, расхвалены с энтузиазмом, всегда имеющим влияние на большую часть публики; ибо то, что смешно для читателей просвещенных, тому верят со всем простодушием читатели ограниченные, каких по количеству подписчиков можно предполагать более между читателями «Библиотеки», и к тому же большая часть подписчиков были люди новые, дотоле не знавшие журналов, следственно принимавшие все за чистую истину; что наконец «Библиотека для чтения» имела сильное для себя подкрепление в 4000 экземплярах «Сев<ерной> пчелы».

Ропот на такую неслыханную монополию сделался силен. В Москве наконец несколько литераторов решились издавать какой-нибудь свой журнал. Новый журнал нужен был не для публики, т. е. для большего числа читателей, но собственно для литераторов, различно притес-

няемых «Библиотекою». Он был нужен: 1) для тех, которые желали иметь приют для своих мнений, ибо «Б<иблиотека> д<ля> ч<тения>» не принимала никаких критических статей, если не были они по вкусу главного распорядителя; 2) для тех, которые видели с изумлением, как на их собственные сочинения наложена была рука распорядителя, ибо г-н Сенковский начал уже переправлять, безо всякого разбора лиц, все статьи, отдаваемые в «Библиотеку». Он переправлял статьи военные, исторические, литературные, относящиеся к политической экономии и проч., и все это делал без всякого дурного намерения, даже без всякого отчета, не руководствуясь никаким чувством надобности или приличия. Он даже приделал свой конец к комедии Фонвизина, не рассмотревши, что она и без того была с концом.

Все это было очень досадно для писателей, решительно не имевших места, куда бы могли подать жалобу свету и читателям.

Но уже один слух о новом журнале возбудил негодование «Библиотеки для чтения» и подвинул ее к неожиданному поступку: она уверяла своих читателей и подписчиков с необыкновенным жаром, что новый журнал будет бранчивый и неблагонамеренный. Статья, помещенная по

этому же случаю в «Северной пчеле», казалось, была писана человеком, в отчаянии предвидевшим свою конечную погибель. В ней уведомляли публику, что новый журнал хотел уронить «Библиотеку для чтения», потому только, что издатели оного объявили, что будут выпускать таковое же число листов, как и «Б<иблиотека> д<ля> ч<тения>». Поступок чрезвычайно неосмотрительный! В подобном деле необходимо скрыть свои мелкие чувства искусно и потом, выждав удобный случай, нанесть обдуманный удар. Если я издаю журнал, зачем же не издавать его и другому? И как могу гневаться, если другой скажет, что он будет брать меня в образец? Не должен ли я, напротив, его благодарить? Не показывает ли он тем степень уважения, мною заслуженного в публике? Чем больше соревнования, тем больше выигрыша для читателей и для литераторов.

Но рассмотрим, в какой степени «Москов<ский> набл<юдатель>» выполнил ожидания публики, жадной до новизны, ожидание читателей образованных, ожидание литераторов и опасение «Библиотеки для чтения».

Новый журнал, несмотря на ревностное старание привести себя во всеобщую известность, не имел средств огласить во все углы России

о своем появлении, потому что единственные глашатаи вестей были его противники — «Северная пчела» и «Библиотека для чтения», которые, конечно, не поместили бы благоприятных о нем объявлений. Он начался довольно поздно, не с новым годом, следственно не в то время, когда обыкновенно начинаются подписки, наконец он пренебрег быстрым выходом книжек и срочною их поставкою. Но важнейшие причины неуспеха заключались в характере самого журнала. По первым вышедшим книжкам уже можно было видеть, что предположение журнала было следствием одного горячего мгновения. В «Московском наблюдателе» тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходом всего журнала. Редактор его виден был только на заглавном листке. Имя его было почти неизвестно. Он написал доселе несколько сочинений статистических, имеющих много достоинства, но которых публика чисто литературная не знала вовсе. Литературные мнения его были неизвестны. В этом состояла большая ошибка издателей «Московского наблюдателя». Они позабыли, что редактор всегда должен быть видным лицом. На нем, на оригинальности его мнений, на живости его слога, на общепонят-

ности и общезанимательности языка его, на постоянной свежей деятельности его, основывается весь кредит журнала. Но г-н Андросов явился в «Московском наблюдателе» вовсе незаметным лицом. Если желание издателей было поставить только почетного редактора, как вошло в обычай у нас на ленивой Руси, то в таком случае они должны были труды редакции разложить на себя; но они оставили всю ответственность на редакторе, и «Московский наблюдатель» стал похож на те ученые общества, где члены ничего не делают и даже не бывают в присутствии, между тем, как президент является каждый день, садится в свои кресла и велит записывать протокол своего уединенного заседания. В журнале было несколько очень хороших статей, его украсили стихи Языкова и Баратынского — эти перлы русской поэзии, но при всем том в журнале не было заметно никакой современной живости, никакого хлопотливого движения; не было в нем разнообразия, необходимого для издания периодического. Замечательные статьи, поступавшие в этот журнал, были похожи на оазисы, зеленеющие посреди целого моря песчаных степей. Притом издатели, как кажется, мало имели сведения о том, что нравится и что не нра-

вится публике. Статьи часто хорошие делались скучными, потому только, что они тянулись из одного нумера в другой с несносною подписью: «продолжение впредь». Вот каков был журнал, долженствовавший бороться с «Библиотекой для чтения».

«Наблюдатель» начался оппозиционною статьею г. Шевырева о торговле, зародившейся в нашей литературе. В ней автор нападает на торговлю в ученом мире, на всеобщее стремление составить себе доход из литературных занятий. Первая ошибка была здесь та, что автор статьи обратил внимание не на главный предмет. Во-вторых: он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара. Статья сия была понятна одним литераторам, нанесла досаду «Библиотеке для чтения», но ничего не дала знать публике, не понимавшей даже, в чем состояло дело. Притом сии нападения были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный закон всякого действия. Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличилась. Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые,

без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики еще простоваты, выигрывают больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, в чем состоит обман, а не пересчитывать их барыши. Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою. Должно было обратить внимание г-ну Шевыреву на бедных покупщиков, а не на продавцов. Продавцы обыкновенно бывают люди наездные: сегодня здесь, а завтра бог знает где. При этом случае сделан был несправедливый упрек книгопродавцу Смирдину, который вовсе не виноват, который за предприимчивость и честную деятельность заслуживает одну только благодарность. Нет спора, что он дал, может быть, много воли людям, которым приличнее было заниматься просто торговлею, а не литературою. Талант не искателен, но корыстолюбие искательно. На это так же смешно жаловаться, как было бы странно жаловаться на правительство, встретивши недальновидного чиновника. Для таланта есть потомство, этот неподкупный ювелир, который оправляет одни чистые бриллианты. Г-н Шевырев показал в статье своей

благородный порыв негодования на прозаическое, униженное направление литературы, но на большинство публики эта статья решительно не сделала никакого впечатления. «Библиотека» отвечала коротко в духе обыкновенной своей тактики: обратившись к зрителям, т. е. к подписчикам, она говорила: «Вот какое неблагородство духа показал г-н Шевырев, неприличие и неимение высоких чувств, упрекая нас в том, что мы трудимся для денег, тогда как» и проч.... Это обыкновенная политика петербургских журналов и газет. Как только кто-нибудь сделает им упрек в корыстолюбии и в бездействии, они всегда жалуются публике на неприличие выражений и неблагородство духа своих противников, говорят, что статья эта писана с целию только поддеть публику и забрать от читателей деньги, что они почитают с своей стороны священным долгом предуведомить публику.

Итак, выходка «Московского наблюдателя» скользнула по «Библиотеке для чтения», как пуля по толстой коже носорога, от которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту пулю, «Московский наблюдатель» замолчал, — доказательство, что он не начертал для себя обдуманного плана действий и что решительно

не знал, как и с чего начать. Должно было или не начинать вовсе, или если начать, то уже не отставать. Только постоянным действием мог «Наблюдатель» дать себе ход и сделать имя свое известным публике, как сделал его известным «Телеграф», действуя таким же образом и почти при таких же обстоятельствах. «Наблюдатель» выпустил вслед за тем несколько нумеров, но ни в одном из них не сказал ничего в защиту и подкрепление своих мнений. Чрез несколько нумеров показалась наконец статья, посвященная Брамбеусу, по поводу одной давно напечатанной в «Библиотеке» статьи, под именем «Брамбеус и юная словесность», в которой Брамбеус назвал сам себя законодателем какой-то новой школы и вводителем новой эпохи в русской литературе.

Это в самом деле было чрезвычайно странно. Случалось, что литераторы иногда похваливали самих себя, или под именем друзей своих, или даже сами от себя, но все же с некоторою застенчивостию, и после сами старались все это как-нибудь загресть собственными руками, чувствуя, что несколько провинились. Но никогда еще автор не хвалил себя так свободно и непринужденно, как барон Брамбеус. Эта оригинальная статья слишком была ярка, чтобы не быть заме-

ченною. Ею занялся и «Телескоп» и потрунил над нею довольно забавно, только вскользь; с обыкновенною сметливостию о ней намекнул и г-н Воейков; она возродила статью и в «Московском наблюдателе». Цель этой статьи была доказать, откуда барон Брамбеус почерпнул талант свой и знаменитость? какими творениями чужих хозяев пользовался, как своим? другими словами: из каких лоскутов барон Брамбеус сшил себе халат? Несколько безгласных книжек, выходивших вслед за тем, совершенно погрузили «М<осковского> наблюдателя» в забвение. Даже самая «Библиотека для чтения» перестала наконец упоминать о нем, как о бессильном противнике; продолжала шутить над важным и неважным и говорить все то, что первое попадалось под перо ее.

Вот каковы были действия наших журналов. Изложив их, рассмотрим теперь, что сделали они в эти два года такого, которое должно вписаться в историю нашей литературы, оставить в ней свою оригинальную черту; какие мнения, какие толки они утвердили, что определили и какой мысли дали право гражданства.

Длинная программа, сулящая статистику, медицину, литературу, ничего не значит. Извещение о

том, что критика будет благонамеренная, чуждая личностей и партий, тоже не показывает цели. Она должна быть необходимым условием всякого журнала. Даже множество помещенных в журнале статей ничего не значит, если журнал не имеет своего мнения и не оказывается в нем направление, хотя даже одностороннее, к какой-нибудь цели. «Телеграф» издавался, кажется, с тем, чтобы испровергнуть обветшалые, замателелые, почти машинальные мысли тогдашних наших старожилов, классиков; «Московский вестник», один из лучших журналов, несмотря на то, что в нем немного было современного движения, издавался с тем, чтобы познакомить публику с замечательнейшими созданиями Европы, раздвинуть круг нашей литературы, доставить нам свежие идеи о писателях всех времен и народов. Здесь не место говорить, в какой степени оба сии журнала выполнили цель свою; по крайней мере стремление к ней было чувствуемо в них читателями. Но рассмотрите внимательно издававшиеся в последние два года журналы; уловите главную нить каждого из них: сей-то нити и не сыщете. Развернувши их, будете поражены мелкостью предметов, вызвавших толки их. Подумаете, что решительно ни одного

важного события не произошло в литературном мире. А между тем:

1) Умер знаменитый шотландец, великий дееписатель сердца, природы и жизни; полнейший, обширнейший гений XIX века.

2) В литературе всей Европы распространился беспокойный, волнующийся вкус. Являлись опрометчивые, бессвязные, младенческие творения, но часто восторженные, пламенные — следствие политических волнений той страны, где рождались. Странная, мятежная, как комета, неорганизованная, как она, эта литература волновала Европу, быстро облетела все углы читающего мира. Пусть эти явления будут всемирно-европейские, хотя они отражались и в России; рассмотрим литературные события чисто русские:

3) Распространилось в большой степени чтение романов, холодных, скучных повестей, и оказалось очень явно всеобщее равнодушие к поэзии.

4) Вышли новыми изданиями Державин, Карамзин, гласно требовавшие своего определения и настоящей верной оценки так, как и все прочие старые писатели наши, ибо в литературном мире нет смерти, и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как и живые.

Они требовали возвращения того, что действительно им следует; они требовали уничтожения неправого обвинения, неправого определения, бессмысленно повторенного в продолжение нескольких лет и повторяемого доныне.

Но сказали ли журналы наши, руководимые строгим размышлением, что такое был Вальтер Скотт, в чем состояло влияние его, что такое французская современная литература, отчего, откуда она произошла, что было поводом неправильного уклонения вкуса и в чем состоял ее характер? Отчего поэзия заменилась прозаическими сочинениями? На какой степени образования стоит русская публика и что такое русская публика? В чем состоит оригинальность и свойство наших писателей?

Напрасно в этом отношении читатель станет искать в них новых мыслей или каких-нибудь следов глубокого, добросовестного изучения. Вальтер Скотта у нас только побранили. Французскую литературу одни приняли с детским энтузиазмом, утверждали, что модные писатели проникнули тайны сердца человеческого, дотоле сокровенные для Сервантеса, для Шекспира… другие безотчетно поносили ее, а между тем сами писали во вкусе той же школы еще с больши-

ми несообразностями. Вопросом: отчего у нас в большом ходу водяные романы и повести? вовсе не занялись, а вместо того вдобавок напустили и своих еще собственных. О нашей публике сказали только, что она почтенная публика и что должна подписываться на все журналы и разные издания, ибо их может читать и отец семейства, и купец, и воин, и литератор; о Державине, Карамзине и Крылове ничего не сказали или сказали то, что говорит уездный учитель своему ученику, и отделались пошлыми фразами.

О чем же говорили наши журналисты? Они говорили о ближайших и любимейших предметах: они говорили о себе, они хвалили в своих журналах собственные свои сочинения; они решительно были заняты только собою; на все другое они обращали какое-то холодное, бесстрастное внимание. Великое и замечательное было как будто невидимо. Их равнодушная критика обращена была на те предметы, которые почти не заслуживали внимания.

В чем же состоял главный характер этой критики? В ней очень явственно было заметно:

1) Пренебрежение к собственному мнению. Почти никогда не было заметно, чтобы критик считал свое дело важным и принимался за

него с благоговением и предварительным размышлением, чтобы, водя пером своим, думал о небольшом числе возвышенно-образованных современников, перед которыми он должен дать ответ в каждом своем слове. Журнальная критика по большой части была каким-то гаэрством. Как хвалили книгу покровительствуемого автора? Не говорили просто, что такая-то книга хороша или достойна внимания в таком-то и таком-то отношении, совсем нет. «Это книга, — говорили рецензенты, — удивительная, необыкновенная, неслыханная, гениальная, первая на Руси, продается по пятнадцати рублей; автор выше Вальтер Скотта, Гумбольта, Гете, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте в библиотеку вашу; также и второе издание купите и поставьте в библиотеку: хорошего не мешает иметь и по два экземпляра».

Большая часть книг была расхвалена без всякого разбора и совершенно безотчетно. Если счесть все те, которые попали в первоклассные, то иной подумает, что нет в мире богаче русской литературы, и только через несколько времени противоположные толки тех же самых рецензентов о тех же самых книгах заставят его задуматься и приведут в недоумение. Та же самая

неумеренность являлась в упреках сочинениям писателей, против которых рецензент питал ненависть или неблагорасположение. Так же безотчетно изливал он гнев свой, удовлетворяя минутному чувству.

2) Литературное безверие и литературное невежество. Эти два свойства особенно распространились в последнее время у нас в литературе. Нигде не встретишь, чтобы упоминались имена уже окончивших поприще писателей наших, которые глядят на нас в лучах славы с вышины своей. Ни один из критиков не поднял благоговейно глаз своих, чтобы их приметить. Никогда почти не стоят на журнальных страницах имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о влиянии их, еще остающемся, еще заметном. Никогда они даже не брались в сравнение с нынешнею эпохой, так что наша эпоха кажется как будто отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует. Это литературное невежество распространяется особенно между молодыми рецензентами, так, что вообще современная критическая литература совершенно похожа на наносную. Не успеет пройти год-другой, как толки, вначале довольно

громкие, уже безгласные, неслышные, как звук без отголоска, как фразы, сказанные на вчерашнем бале. Имена писателей, уже упрочивших свою славу, и писателей, еще требующих ее, сделались совершенною игрушкою. Один рецензент роняет тех, которых поднял его противник, и все это делается без всякого разбора, без всякой идеи. Иное имя бывает обязано славою своею ссоре двух рецензентов. Не говоря о писателях отечественных, рецензент, о какой бы пустейшей книге ни говорил, непременно начнет Шекспиром, которого он вовсе не читал. Но о Шекспире пошло в моду говорить — итак, подавай нам Шекспира. Говорит он: «С сей точки начнем мы теперь разбирать открытую пред нами книгу. Посмотрим, как автор наш соответствовал Шекспиру», а между тем разбираемая книга чепуха, писанная вовсе без всяких притязаний на соперничество с Шекспиром, и сходствует разве только с духом и образом выражений самого рецензента.

3) Отсутствие чистого эстетического наслаждения и вкуса. Еще в московских журналах видишь иногда какой-нибудь вкус, что-нибудь похожее на любовь к искусству; напротив того, критики журналов петербургских, особенно так называемые благопристойные, чрезвычайно

ничтожны. Разбираемые сочинения превозносятся выше Байрона, Гете и проч.! Но нигде не видит читатель, чтобы это было признаком чувства, признаком понимания, истекло из глубины признательной, расстроенной души. Слог их, несмотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышит мертвящею холодностию. В нем видна живость или горячая замашка только тогда, когда рецензент задет за живое и когда дело относится к его собственному достоинству. Справедливость требует упомянуть о критиках Шевырева, как об утешительном исключении. Он передает нам впечатления в том виде, как приняла их душа его. В статьях его везде заметен; мыслящий человек, иногда увлекающийся первым впечатлением.

4) Мелочное в мыслях и мелочное щегольство. Мы уже видели, что критика не занималась вопросом важным. Внимание рецензий было устремлено на целую шеренгу пустых книг и вовсе не с тем, чтобы разбирать их, но чтобы блеснуть любезностию, заставить читателя рассмеяться. До какой степени критика занялась пустяками и ничтожными спорами, читатели уже видели из знаменитого процесса о двух бедных местоимениях: сей и оный. Вот до чего дошла

наконец русская критика!

Кто же были те, которые у нас говорили о литературе? В это время не сказал своих мнений ни Жуковский, ни Крылов, ни князь Вяземский, ни даже те, которые еще не так давно издавали журналы, имевшие свой голос и показавшие в статьях своих вкус и знание: нужно ли после этого удивляться такому состоянию нашей литературы?

Отчего же не говорили сии писатели, показавшие в творениях своих глубокое эстетическое чувство? Считали ли они для себя низким спуститься на журнальную сферу, где обыкновенно бойцы всякого рода заводят свой шумный бой? Мы не имеем права решить этого. Мы должны только заметить, что критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий. Критика, начертанная талантом, переживает эфемерность журнального существования. Для истории литературы она неоценима. Наша словесность молода. Корифеев ее было немного; но для критика мыслящего она представляет целое поле, работу на целые годы.

Писатели наши отлились совершенно в особенную форму и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражания, они заключают в себе чисто русские элементы: и подражание наше носит совершенно северообразный характер, представляет явление, замечательное даже для европейской литературы.

Но довольно. Заключим искренним желанием, чтобы с текущим годом более показалось деятельности и при большем количестве журналов явилось бы более независимости от монополии, а через то более соревнования у всех соответствовать своей цели. По крайней мере заметно какое-то утешительное стремление уже и в том, что некоторые журналы с будущим годом обещают издаваться с большим противу прежнего рачением. Издатели «Сына отечества», издатель «Телескопа» заговорили об улучшениях. Нельзя и сомневаться, чтобы при большем старании невозможно было сделать большего. По крайней мере, со всем чистосердечием и теплою молитвою излагаем желание наше: да наградятся старания всех и каждого сторицею, и чем бескорыстнее и добросовестнее будут труды его, тем более да будет он почтен заслуженным вниманием и благодарностию.

Петербургские записки 1836 года
I

…В самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! Странный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода: подавай Бог Петербург! Выкинет штуку русская столица, если подсоседится к ледяному полюсу. Я говорю это потому, что у ней слюна катится поглядеть вблизи на белых медведей. «На семьсот верст убежать от матушки! Экой востроногой какой!» — говорит московский народ, прищуривая глаз на чухонскую сторону. Зато какая дичь между матушкою и сынком! Что это за виды, что за природа! Воздух продернут туманом; на бледной, серо-зеленой земле обгорелые пни, сосны, ельник, кочки… Хорошо еще, что стрелою летящее шоссе да русские поющие и звенящие тройки духом пронесут мимо. А какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва! Какая она нече-

санная! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь Петербург! Перед ним со всех сторон зеркала: там Нева, там Финский залив. Ему есть куда поглядеться. Как только заметит он на себе перышко или пушок, ту ж минуту его щелчком. Москва — старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете; Петербург — разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и, охорашиваясь перед Европою, раскланивается с заморским людом.

Петербург весь шевелится, от погребов до чердака; с полночи начинает печь французские хлебы, которые назавтра все съест немецкий народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой; Москва ночью вся спит, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы во всей форме была мода: если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее; если отвороты

фрака велики, то у ней, как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, совершенный немец, на все глядит с расчетом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане; она не любит средины. В Москве все журналы, как бы учены ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкою мод; петербургские редко прилагают картинки; если же приложат, то с непривычки взглянувший может перепугаться. Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч. и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности… В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большею частию на обед; Петербург в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или «в должность». Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой день не подымется с постели раньше второго

часу; Петербург тоже гуляет до четырех часов, но на другой день, как ни в чем не бывал, в девять часов спешит в своем байковом сюртуке в присутствие. В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налегке; в Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках по зимним ухабам сбывать и закупать; в Петербург идет русский народ пешком летнею порою строить и работать. Москва — кладовая, она наваливает тюки да вьюки, на мелкого продавца и смотреть не хочет; Петербург весь расточился по кусочкам, разделился, разложился на лавочки и магазины и ловит мелких покупщиков. Москва говорит: «коли нужно покупщику, сыщет»; Петербург сует вывеску под самый нос, подкапывается под ваш пол с «Ренским погребом» и ставит извозчичью биржу в самые двери вашего дома. Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь; Петербург продает галстухи и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостиный двор; Петербург — светлый магазин. Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц.

Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее аляповатостью, неловкостью и безвкусием; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски. В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошедшие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна, даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадется в самой середине модной толпы какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии. Сказал бы еще кое-что, но –

Дистанция огромного размера!..

II

Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию: так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения, еще не слившегося в плотную массу. Сколько в нем разных наций, столько и разных слоев обществ. Эти общества совершенно отдельны: аристократы, служащие чиновники, ремесленники, англичане, немцы, купцы — все составляют

совершенно отдельные круги, редко сливающиеся между собою, больше живущие, веселящиеся невидимо для других.

И каждый из этих классов, если присмотреться ближе, составлен из множества других маленьких кружков, тоже не слитых между собой. Например, возьмите чиновников: молоденькие помощники столоначальников составляют свой круг, в который ни за что не опустится начальник отделения. Столоначальник с своей стороны подымает свою прическу несколько повыше в присутствии канцелярского чиновника. Немцы-мастеровые и немцы-служащие тоже составляют два отдельные круга. Учителя составляют свой круг, актеры свой круг; даже литератор, являющийся до сих пор двусмысленным и сомнительным лицом, стоит совершенно отдельно. Словом, как будто бы приехал в трактир огромный дилижанс, в котором каждый пассажир сидел во всю дорогу закрывшись и вошел в общую залу потому только, что не было другого места. Попытка на заведение публичных обществ доселе не имеет успеха. В клуб петербургский житель идет для того только, чтобы пообедать, а не провесть время. Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною

какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностию даже в вечной шлифовке с иностранцами. Чтобы говорить о каждом из этих кругов и заметить жизнь, текущую между них с ее веселостями, наслаждениями, надеждами, печалями, — нужно быть одним из тех, которые вовсе ничего не пишут, потому что у этих господ в награду за их деятельность решительно нет времени. Итак, мимо балы и вечеринки; обращусь к тем увеселениям, после которых долее остается воспоминание и которые приемлются всеми классами. Театр, концерт — вот те пункты, где сталкиваются классы петербургских обществ и имеют время вдоволь насмотреться друг на друга. Балет и опера — царь и царица петербургского театра. Они явились блестящее, шумнее, восторженнее прежних годов, и упоенные зрители позабыли, что существует величавая трагедия, вдыхающая невольно высокие, ощущения в согласные сердца сей безмолвно слушающей толпы, что есть комедия — верный список общества, движущегося пред нами, комедия, строго обдуманная, производящая глубокостью своей иронии смех, не тот смех, который порождается легкими впечатлениями, беглою остротою, каламбуром, не тот также

смех, который движет грубою толпою общества, для которого нужны конвульсии и карикатурные гримасы природы, но тот электрический, живительный смех, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо от души, пораженной ослепительным блеском ума, рождается из спокойного наслаждения и производится только высоким умом. Зрители правы, что были упоены балетом и оперой… На драматической сцене являлись мелодрама и водевиль, заезжие гости, которые были хозяевами во французском театре, а на русском играли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что русские актеры несколько странны, когда представляют маркизов, виконтов и баронов, как, вероятно, были бы смешны французы, вздумав подделаться под русских мужиков; а сцены балов, вечеров и модных раутов, являющихся в русских пьесах — каковы они? А водевили?.. Давно уже пролезли водевили на русскую сцену, тешат народ средней руки, благо смешлив. Кто бы мог думать, что водевиль будет не только переводный на русской сцене, но даже и оригинальный? Русский водевиль! право, немножко странно, странно потому, что эта легкая, бесцветная игрушка могла родиться только у французов, нации, не имеющей в характере

своем глубокой, неподвижной физиономии; но когда русский, еще несколько суровый, тяжелый характер заставляют вертеться петиметром… мне так и представляется, что наш тучный и сметливый купец с широкою бородою, не знавши на ноге своей ничего другого, кроме тяжелого сапога, надел вместо него узенький башмачок и чулки à jour, а другую ногу свою оставил просто в сапоге и стал таким образом в первую пару во французском кадриле.

Уже лет пять, как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! Даже немцы — ну кто бы мог подумать, что немцы, этот основательный, этот склонный к глубокому эстетическому наслаждению народ, немцы теперь играют и пишут водевили, переделывают и клеят надутые и холодные мелодрамы! И пусть бы еще поветрие это занесено было могуществом мановения гения! Когда весь мир ладил под лиру Байрона, это не было смешно; в этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканж и другие стали всемирными законодателями!.. Клянусь, XIX век будет стыдиться за эти пять лет. О, Мольер, великий Мольер! ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры, так глубоко следил все тени

их; ты, строгий, осмотрительный Лессинг, и ты, благородный, пламенный Шиллер, в таком поэтическом свете выказавший достоинство человека! взгляните, что делается после вас на нашей сцене; посмотрите, какое странное чудовище под видом мелодрамы забралось между нас! Где же жизнь наша? где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме! Но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама…

Непостижимое явление: то, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами, что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант. Но то, что случается редко, что составляет исключения, что останавливает нас своим безобразием, нестройностию среди стройности, за то схватывается обеими руками посредственность. И вот жизнь глубокого таланта течет во всем своем разливе, со всею стройностью, чистая как зеркало, отражая с одинаковою ясностию и темные и светлые облака: у посредственности она влечется мутною и грязною волною, не отражая ни ясного, ни темного.

Странное сделалось сюжетом нынешней драмы. Все дело в том, чтобы рассказать какое-нибудь

происшествие, непременно новое, непременно странное, дотоле неслыханное и невиданное: убийство, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах! Как будто в наши европейские фраки переоделися сыны палящей Африки. Палачи, яды — эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия! Никогда еще не выходил из театра зритель расстроенный, в слезах; напротив того, в каком-то тревожном состоянии торопливо садился он в карету и долго не мог собрать и сообразить своих мыслей. И среди нашего утонченного, образованного общества такой род зрелища! Невольно передвигаются перед глазами те кровавые ристалища, на которые собирался смотреть весь Рим в эпоху величайшего владычества своего и притупленного пресыщения. Но, слава Богу, мы еще не римляне и не на закате существования, но только на заре его! Если собрать все мелодрамы, какие были даны в наше время, то можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы или, лучше, календарь, в котором записаны с календарною холодностию все странные происшествия, где против каждого числа выставлено: сегодня было в таком-то месте та-

кое-то мошенничество; сегодня отрубили головы таким-то разбойникам и зажигателям; такой-то ремесленник зарезал тогда-то жену свою… и тому подобное. Я воображаю, в каком странном недоумении будет потомок наш, вздумающий искать нашего общества в наших мелодрамах.

Неудивительно, что балет и опера утешительнее и служат отдохновением: в них наслаждение спокойно. Опера принимается у нас очень жадно. До сих пор не прошел тот энтузиазм, с каким бросился весь Петербург на живую, яркую музыку «Фенеллы», на дикую, проникнутую адским наслаждением музыку «Роберта». «Семирамида», на которую за пять лет пред сим равнодушно глядела публика, «Семирамида» в нынешнее время, когда музыка Россини почти анахронизм, приводит в совершенный восторг ту же самую публику. Об энтузиазме, произведенном оперою «Жизнь за царя», и говорить нечего: он понятен и известен уже целой России. Об этой опере надобно говорить много или ничего не говорить.

А я не люблю говорить ни о музыке, ни о пении. Мне кажется, что все музыкальные трактаты и рецензии должны быть скучны для самих музыкантов: в музыке огромнейшая часть ее невыразима и безотчетна. Музыкальные стра-

сти — не житейские страсти; музыка иногда только выражает или, лучше сказать, подделывается под голос наших страстей, для того чтобы, опершись на них, устремиться брызжущим и поющим фонтаном других страстей в другую сферу. Замечу только, что меломания более и более распространяется. Люди такие, которых никто не подозревал в музыкальном образе мыслей, сидят неотлучно в «Жизни за царя», «Роберте», «Норме», «Фенелле» и «Семирамиде». Оперы даются почти два раза каждую неделю, выдерживают несчетное множество представлений, и все-таки иногда трудно достать билет. Уж не наша ли славянская певучая природа так действует? И не есть ли это возврат к нашей старине после путешествия по чужой земле европейского просвещения, где около нас говорили все непонятным языком и мелькали все незнакомые люди, возврат на русской тройке, с заливающимся колокольчиком, с которым мы, привстав на бегу и помахивая шляпой, говорим: «В гостях хорошо, а дома лучше!»

Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов! Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются

бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Все дорожное: дворянство и недворянство — летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами козак, заряжая пищаль свою, поет старинную песню; а там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острогой кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Он счастливо умел слить в своем творении две славянские музыки; слышишь, где говорит русский и где поляк: у одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого опрометчивый мотив польской мазурки.

Петербургские балеты блестят. Кстати о балетах вообще. Постановка балетов в Париже, Петербурге и Берлине ушла очень далеко; но надо заметить, что совершенствуется в них только богатство костюмов и богатство декораций; самая же сущность балета, изобретение его, нейдет в ряд с его постановкой; балетные композиторы очень мало нового показывают в танцах. До сих

пор мало характерности. Посмотрите, народные танцы являются в разных углах мира: испанец пляшет не так, как швейцарец, шотландец, как теньеровский немец, русский не так, как француз, как азиатец. Даже в провинциях, одного и того же государства изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн: у одного танец говорящий — у другого бесчувственный; у одного бешеный, разгульный — у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый — у другого легкий, воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у народа беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются в танцах; народ климата пламенного оставил в своем национальном танце ту же негу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкою разборчивостию, творец балета может брать из них сколько хочет для определения характеров пляшущих своих героев. Само собою разумеется, что, схвативши в них первую стихию, он может развить ее и улететь несравненно выше своего оригинала, как

музыкальный гений из простой, услышанной на улице песни создает целую поэму. По крайней мере, танцы будут иметь тогда более смысла, и таким образом может более образнообразиться этот легкий, воздушный и пламенный язык, доселе еще несколько стесненный и сжатый.

Петербург — большой охотник до театра. Если вы будете гулять по Невскому проспекту в свежее морозное утро, во время которого небо золотисто-розового цвета перемежается сквозными облаками подымающегося из труб дыма, зайдите в это время в сени Александрийского театра: вы будете поражены упорным терпением, с которым собравшийся народ осаждает грудью раздавателя билетов, высовывающего одну руку свою из окошка. Сколько толпится там лакеев всякого рода, начиная от того, который пришел в серой шинели и в шелковом цветном галстухе, но без шапки, — до того, у которого трехэтажный воротник ливрейной шинели похож на пеструю суконную бабочку для вытирания перьев. Тут протираются и те чиновники, которым чистят сапоги кухарки и которым некого послать за билетом. Тут увидите, как прямо русский герой, потеряв наконец терпение, доходит, к необыкновенному изумлению, по плечам всей толпы к

окошку и получает билет. Тогда только вы узнаете, в какой степени видна у нас любовь к театру. И что же дается на наших театрах? — какие-нибудь мелодрамы и водевили!.. Сердит я на мелодрамы и водевили.

Положение русских актеров жалко. Перед ними трепещет и кипит свежее народонаселение, а им дают лица, которых они и в глаза не видали. Что им делать с этими странными героями, которые ни французы, ни немцы, но какие-то взбалмошные люди, не имеющие решительно никакой определенной страсти и резкой физиономии? где выказаться? на чем развиться таланту? Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков! на сцену их, на смех всем! Смех — великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный, как связанный заяц… Мы так пригляделись к французским бесцветным пьесам, что нам уже боязливо видеть свое. Если нам представят какой-нибудь живой характер, то мы уже думаем: не личность ли это? потому что представляемое лицо совсем не похоже на какого-нибудь пейзана, театрального тирана, рифмоплета, судью и тому подобные обношенные лица, которых таскают беззубые авторы в свои пьесы, как таскают

на сцену вечных фигурантов, отплясывающих пред зрителями с тою же улыбкою свое лихо вытверженное в продолжение сорока лет па. Если, например, сказать, что в одном городе один надворный советник нетрезвого поведения, то все надворные советники обидятся, а иной, совершенно другой советник даже скажет: «Как же это? у меня есть родственник надворный советник, прекрасный человек! как же можно сказать, что есть надворный советник нетрезвого поведения!» Как будто один может порочить все сословие! И такая раздражительность у нас решительно распространена на все классы. Нужны ли примеры? Вспомните «Ревизора»…

Досадно. Право, пора знать уже, что одно только верное изображение характеров не в общих вытверженных чертах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, так что мы говорим: «Да это, кажется, знакомый человек», — только такое изображение приносит существенную пользу. Из театра мы сделали игрушку в роде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где, при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе, по-

казывается знакомый, прячущийся порок и, при тайном голосе всеобщего участия, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство…

Но довольно о театре. Я заговорился о нем. Его зимний карнавал замыкает шумная неделя Петербурга, когда он одною половиною своего народонаселения летает на качелях, мчится как вихорь с ледяных гор, а другою превращается в длинную цепь карет и едва движется, равняемый жандармами; когда спектакли даются и днем и вечером, и вся Адмиралтейская площадь засеяна скорлупами орехов…

Спокоен и грозен Великий Пост. Кажется, слышен голос: «Стой, христианин; оглянись на жизнь свою». На улицах пусто. Карет нет. В лице прохожего видно размышление. Я люблю тебя, время думы и молитвы! Свободнее, обдуманнее потекут мои мысли. Весь пустой и ничтожный народ, верно, пролежит заспанный и утомленный и позабудет зайти потревожить меня пошлым разговором о висте, о литературе, о наградах, о театре.

Пост в Петербурге есть праздник музыкантов. В это время они съезжаются из разных сторон Европы. Огромный концерт в пользу инвалидов

всегда бывает величествен: четыреста музыкантов! это что-то могущественное. Когда согласный ропот четырехсот звуков раздается под дрожащими сводами, тогда, мне кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновенным содроганием.

В продолжение поста в петербургскую атмосферу заглядывает солнце. Западная сторона с моря делается яснее. Север глядит с меньшею суровостью из своей Выборгской стороны. Экипажи чаще останавливаются на улице и высаживают на тротуар гуляющих. С 1836 года Невский проспект, этот шумный, вечно шевелящийся, хлопотливый и толкающий Невский проспект упал совершенно: гулянье перенесено на Английскую набережную. Покойный император любил Английскую набережную. Она точно прекрасна. Но тогда, только, когда начались гулянья, заметил я, что она немного коротка. Но гуляющие все в выигрыше, потому что половину Невского проспекта всегда почти занимал народ мастеровой и должностной, и оттого на нем можно было получить толчков целою третью больше, нежели где-либо в другом месте…

— К чему так быстро летит ничем незаменимое наше время? Кто его кличет к себе? Великий

Пост, какой спокойный, какой уединенный его отрывок! Чего нельзя сделать в эти семь недель? Теперь, наконец, займусь я основательно трудом своим. Теперь совершу я, наконец, то, чего не дали совершить мне шум и всеобщее волнение; но вот уже на исходе первая неделя; не успел начать я, уже летит за нею вторая, уже средина третьей, уже четвертая, уже ярмарка в гостином дворе, и целая галерея верб с восковыми фруктами и цветами зацвела под темными его арками. Когда я проходил мимо этой пестрой аллеи, под тенью которой были навалены топорные детские игрушки, мне сделалось досадно. Я сердился и на краснощеких нянек, шатавшихся толпами, и на детей, радостно останавливавшихся перед кучами приятного для них сора, и на черномазого, приземистого и усатого грека, титуловавшего себя молдаванским кондитером, с его сомнительными и неопределенными вареньями. Лежавшие на столиках сапожные щетки, оловянные обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькие зеркальца мне казались противны. Народ все так же пестрится, теснится; те же чувства выражаются на лице его; с тем же любопытством глядит он, с каким глядел и год тому назад, два, и три, и несколько лет; — а я и каждый человек из этого

народа уже не тот: уже другие в нем чувства, нежели были за год пред сим; уже суровее мысли его; менее улыбается на устах душа его, и что-нибудь да отпадает с каждым днем от прежней его живости.

Нева вскрылась рано. Льды, не тревоженные ветрами, успели истаять почти до вскрытия, неслись уже рыхлые и разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои почти в одно время. Столица вдруг изменилась. И шпиц Петропавловской колокольни, и крепость, и Васильевский остров, и Выборгская сторона, и Английская набережная — все получило картинный вид. Дымясь влетел первый пароход. Первые лодки с чиновниками, солдатами, старухами-няньками, английскими конторщиками понеслись с Васильевского и на Васильевский. Давно не помню я такой тихой и светлой погоды. Когда взошел я на Адмиралтейский бульвар, — это было накануне Светлого Воскресения вечером, — когда Адмиралтейским бульваром достиг я пристани, перед которою блестят две яшмовые вазы, когда открылась перед мною Нева, когда розовый цвет неба дымился с Выборгской стороны голубым туманом, строения стороны Петербургской оделись почти лиловым цветом, скрывшим их

неказистую наружность, когда церкви, у которых туман одноцветным покровом своим скрыл все выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой материи, и в этой лилово-голубой мгле блестел один только шпиц Петропавловской колокольни, отражаясь в бесконечном зеркале Невы, — мне казалось, будто я был не в Петербурге. Мне казалось, будто я переехал в какой-нибудь другой город, где уже я бывал, где все знаю и где то, чего нет в Петербурге… Вон и знакомый гребец, с которым я не видался более полугода, болтается с своим яликом у берега, и знакомые раздаются речи, и вода, и лето, которых не было в Петербурге.

Сильно люблю весну. Даже здесь, на этом диком севере, она моя. Мне кажется, никто в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко мне моя юность; с ней мое прошедшее более чем воспоминание: оно перед моими глазами и готово брызнуть слезою из моих глаз. Я так был упоен ясными, светлыми днями Христова Воскресенья, что не замечал вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видел только издали, как качели уносили на воздух какого-то молодца, сидевшего об руку с какой-то дамой в щегольской шляпке; мелькнула в глаза вывеска на уго́льном

балагане, на котором нарисован был пребольшой рыжий черт с топором в руке. Больше я ничего не видел.

Светлым Воскресеньем, кажется, как будто оканчивается столица. Кажется, что все, что ни видим на улице, укладывается в дорогу. Спектакли, балы после Светлого Воскресенья — больше ничего, как оставшиеся хвосты от тех, которые были перед Великим Постом, или, лучше сказать, гости, которые расходятся позже других и проговаривают у камина еще несколько слов, прикрывая одною рукою зевающий рот свой. Город весь высушился, тротуары сухи. Петербургские джентльмены в одних сюртучках с разными палками; вместо громоздкой кареты, несутся по паркетной мостовой полуколяски и фаэтоны. Книги читаются ленивее. Уже в окна магазинов, вместо шерстяных чулков, глядят кое-где летние фуражки и хлыстики. Словом, Петербург во весь апрель месяц кажется на подлете. Весело презреть сидячую жизнь и постоянно помышлять о дальней дороге под другие небеса, в южные зеленые рощи, в страны нового и свежего воздуха. Весело тому, у кого в конце Петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа или озера Швейцарии, или увенчанная анемоном и лавром

Италия, или прекрасная и в пустынности своей Греция… Но стой, мысль моя: еще с обеих сторон около меня громоздятся петербургские домы…

Рецензии из «Современника»

Исторические афоризмы Михаила Погодина. Москва, Универс. тип. 1836 (8), VIII и 128 стр.

Г-н Погодин во многих отношениях есть лицо примечательное в нашей литературе. Он уединенно стоит среди писателей наших, не привлекая благорасположения большинства. Но из всех, посвятивших себя истории, он более всего останавливает на себе внимание. Он первый у нас сказал, что «история должна из всего рода человеческого сотворить одну единицу, одного человека, и представить биографию этого человека чрез все степени его возраста»; что «многочисленные народы, жившие и действовавшие в продолжение тысящелетий, доставят в такую биографию, может быть, по одной черте. Черту сию узнают великие историки». Он первый говорил о великих писателях, указавших в творениях своих на истинное значение истории. Он переводил из них отрывки для своего журнала; наконец он многих из них перевел вполне,

почти не заботясь о том, что важность их еще мало у нас чувствовали. Вот реестр изданных им сочинений:

Исследование о Кирилле и Мефодии, Иосифа Добровского.

О жилищах древних руссов, собственное сочинение.

Критические исследования Эверса.

Начертание древней географии, собств. соч.

Лекции по Герену.

Начертание всеобщей истории, Бетигера.

Введение в историю для детей, А. Шлецера.

Русская история для училищ.

Карты Европы, Риттера.

Гец Фон Берлихинген, соч. Гете.

Марфа Посадница, драма.

Димитрий Самозванец, история в лицах.

Славянская грамматика, Добровского, переведенная вместе с г. Шевыревым.

Кроме того, издавал он:

Московский вестник за 1827, 1828, 1829 и 1830 год.

Уранию, альманах на 1826.

В его исторических критиках видно много ума, обдуманная умеренность, иногда юношеский

порыв вслед за собственною мыслию.

Изданная ныне книжка заключает отдельные мысли и замечания, записанные им в разное время. Эти мысли помещены без всякого порядка; выражены не всегда ясно. Но в них ощутительно стремление к общим идеям. Границы, им начертанные для истории, обширны. Он заключает ее не в одних явлениях политических; он видит ее в торговле, в литературе, в религии, в художественном развитии, во всех многообразных явлениях, в каких оказывается человечество. Вот его мысли об истории вообще:

«Каждый человек действует для себя, по своему плану, а выходит общее действие, исполняется другой высший план, и из суровых, тонких, гнилых нитей биографических сплетается каменная ткань истории».

«История для нас есть еще поэма на иностранном языке, которого мы не понимаем, и только чаем значение некоторых слов, много-много эпизодов. А сколько мест искаженных в нашей рукописи от невежества, ограниченности переписчиков! Историю надо восстановлять (restaurare), как статую, найденную в развалинах Афин, как текст Виргилиев в монастырском списке».

«Представьте себе (я требую возможного только в воображении), что человек, не имеющий понятия о музыке, но одаренный от природы всеми способностями, чтоб чувствовать и понимать ее, получает партитуру какой-нибудь огромной оратории и все музыкальные инструменты, на коих она может быть разыграна, с голым известием, что условными знаками, им видимыми (нотами), означаются разные звуки, производимые на данных инструментах. Он хочет по сим двум данным представить себе исполнение (exécution) сего великого музыкального произведения. Ему должно, во-первых, испытать все инструменты и узнать все их возможные звуки, переметить их и привести в порядок свои новые ноты, отыскать посредством соображений, опытов, отношение своих нот к данным (как бы посредством фальшивого арифметического правила), узнать таким образом, какой звук и на каком инструменте тою или другою данною нотою изображается, разыграть партитуру по частям и проч. и проч. Сколько усилий ума потребно, чтоб попасть на сии средства, сколько потребно труда, чтоб воспользоваться сими средствами! Целые поколения прейдут, пока наконец внуку внуков удастся достигнуть отдаленной цели прародителя и на-

сладиться божественною гармониею».

«Труднейшая задача задается историку: он сам должен ловить все звуки (летописи, Несторы, Григории Турские), отличить фальшивые от верных (историческая критика, — Шлецеры, Круги), незначительные от важных, сложить в одну кучу (истории, собрания деяний, — Роллени), разобрать сии кучи по родам истории (частные истории религии, торговли, — Герены), провидеть, что в сей куче и кучах должна быть система, какой-нибудь порядок, гармония (Шлецеры, Гердеры, Шиллеры), доказать это положительно a priori (Шеллинги), делать опыты, как найти сию систему (Асты, Штуцманы), наконец найти ее и прочесть историю так, как глухой Бетховен читал партитуры».

В империи Византийской г-н Погодин видит продолжение истории Древней Греции. Гений Платона, Аристотеля воскресает в Иоанне Златоусте и Григории Назианзине.

Францию он полагает родником всего общественного, гражданского и политического, землей, где совершается вечный опыт. Подведенные в подтверждение события доказывают большую наблюдательность. У франков, говорит он, прежде всего была принята христианская

католическая религия и раньше сделалась государственною; у франков прежде началась и развилась феодальная система; коронованный франк Карл Великий первый возвысил папу; отозвавши папу в Авинион, Франция была отчасти виною его падения; во Франции были первые попытки противу папской власти (альбийцы); рыцарство развилось блистательнее во Франции; Крестовый поход был подвинут французом, Амиенским пустынником; разрушенный феодализм прежде всего организовался в самодержавие во Франции; постоянные войска начались во Франции; постоянные налоги и королевский суд во Франции; идея о равновесии истекла из войн италиянских, порожденных Францией; учреждение посольств, политические журналы, кофейные дома, энциклопедия, язык, мода, карты — все родилось во Франции. Общественное мнение нигде так не сильно, как во Франции; Франция остановила революции своим ужасным примером; виною нынешнего тесного соединения европейских держав между собою есть Франция и ее Наполеон.

Многие афоризмы суть только сближения сходных и противоположных происшествий, совершившихся в разных углах мира или на

одной и той же земле; сближение отдаленной, почти сокровенной причины с ее колоссальными следствиями, отозвавшимися чрез несколько веков, всегда разительно. Другие афоризмы суть только вопросы на вопросы. Везде видишь человека, обладаемого величием своего предмета. Это благоговейное изумление дышит на каждой странице. Иногда, пораженный бесконечностью науки, он как будто чувствует бессилие духа и восклицает: «Как же мудрено распознать, отчего что происходит, что к чему клонится! Как переплетаются причины и следствия! Повторяю вопрос: можно ли представить историю? Где форма для нее? Историю вполне можно только чувствовать».

Читатель обыкновенный небрежно и рассеянно взглянет на эту книгу и, отыскав две-три незначительные мысли, дурно выраженные, может быть, посмеется над нею с детским легкомыслием; но читатель, в душе которого горит пламень любви к науке, а мысль постигает глубокое значение ее, прочтет эти страницы с соучастием, проникнется благодарностию за оживленные в душе его размышления и скажет: этот человек видел и чувствовал в истории то, что не всякому дано видеть и чувствовать.

Плавание по Белому морю и Соловецкий монастырь, сочинение Я. Озерецковского. С.-П.-бург, 1836, в тип. Н. Греча, в 12 д. л., 54 стр.

Несколько занимательных замечаний о северной природе. Желательно было бы слышать более о сем угрюмом и знаменитом в наших летописях монастыре, где древле томились в заточении наши опальные патриархи и святители.

Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год, артиллерии подполковника И. Р… Москва, 1835–1836, в 8 д. Четыре части. Стр. 296–348–354–375.

Когда возвратились наши войска из славного путешествия в Париж, каждый офицер принес запас воспоминаний. Их рассказы все без исключения были занимательны; все наблюдаемо было свежими и любопытными чувствами новичка; даже постой русского офицера на немецкой квартире составлял уже роман. Доныне, если бывший в Париже офицер, уже ветеран, уже во фраке, уже с проседью на голове, станет рассказывать о прошедших походах, то около него собирается любопытный кружок. Но ни один из наших офицеров до сих пор не вздумал записать свои рассказы в той истине и простоте, в какой они изливаются изустно. То, что случалося с ними,

как с людьми частными, почитают они слишком неважным, и очень ошибаются. Их простые рассказы иногда вносят такую черту в историю, какой нигде не дороешься. Возьмите, например, эту книгу: она не отличается блестящим слогом и замашками опытного писателя; но все в ней живо и везде слышен очевидец. Ее прочтут и те, которые читают только для развлечения, и те, которые из книг извлекают новое богатство для ума.

Письма леди Рондо, супруги английского министра при российском дворе в царствование императрицы Анны Ивановны. Перевел с английского М. К. С.-П.-бург, в тип. III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, 1836, в 8, стр. 128.

Книжка замечательная. Леди Рондо пишет к приятельнице своей о себе, о своих чувствах, о том, что занимательно для нее одной, но мимоходом задевает и историю. Несколько беглых слов о Петре II, об императрице Анне Ивановне, о Бироне прибавляют новые черты к их портретам.

Путешествие вокруг света, составленное из путешествий и открытий Магеллана, Тасмана, Дампиера, Ансона, Байрона, Валлиса, Картере, Бугенвилля, Кука, Лаперуза, Блейга, Ванкувера,

Дантркасто, Вильсона, Бодена, Флиндерса, Крузенштерна, Головнина, Портера, Коцебу, Фрейсине, Беллингсгаузена, и Галля, Дюперре, Польдинга, Бичи, Дюмон-Дюрвиля, Литке, Диллона, Лапласа, Мореля и проч., издано под руководством Дюмон-Дюрвиля, капитана Французского королевского флота, с картами и многочисленным собранием изображений, гравированных на меди, с рисунков известного г. Сенсона, рисовальщика, совершившего путешествие с Дюмон-Дюрвилем. Издание А. Плюшара. Часть первая, С.-П.-бург. 1836, в тип. А. Плюшара, в 4.

Есть книги, пишущиеся для того общества, которое нужно как детей заохочивать и принуждать к чтению. В этом случае бескорыстнее действовали англичане, которые, при всей народной гордости, отличаются своею филантропией, составляют общества для распространения нравственности, воздержания и проч., издают и распускают по свету безденежно, или по чрезвычайно низкой цене, множество полезных книг для народа. Что изобретет англичанин, то углубит, расширит и разнесет по всему свету француз. Едва появилось во Франции одно дешевое издание, как уже на другой год нахлынул потоп дешевых изданий. Еще не успеет Европа получить одно, как явля-

ется другое. К числу множества таких изданий принадлежит и вышеозначенное. Оно замечательнее других потому, что полезнее. Это свод всех путешествий, изображение всего мира в его нынешнем географическом, статистическом и физическом состоянии, словом, книга, более всего находящая себе читателей, потому что путешествие и рассказы путешествий более всего действуют на развивающийся ум. Сведения, принесенные новейшими путешественниками, в этой книге вложены в уста одного. Быть может, слишком взыскательному читателю станет досадно при мысли, что все это рассказывает ему человек не существующий: свежесть впечатлений, сохраняемых очевидцем, ничем не заменима. Язык перевода ясен и жив. Картинки очень хороши. В месяц выходит довольно большая тетрадь в 4, печатанная в два столбца. В Москве это же самое сочинение начал переводить г. Полевой. Он выдал уже один том; если выйдут остальные пять, то и его издание будет дешевое.

Атлас к космографии, изд. Ободовским, СПб. 1836, в 2. XVI чертежей.

Атлас этот принадлежит к вышедшей за два года пред сим космографии г. Ободовского.

Мое новоселье. Альманах на 1836 год, В. Кры-

ловского. СПб., в тип. издателя, 206 стр.

Это альманах! Какое странное чувство находит, когда глядим на него: кажется, как будто на крыше опустелого дома, где когда-то было весело и шумно, видим перед собою тощего мяукающего кота. Альманах! Когда-то Дельвиг издавал благоуханный свой альманах! В нем цвели имена Жуковского, князя Вяземского, Баратынского, Языкова, Плетнева, Туманского, Козлова. Теперь все новое, никого не узнаешь: другие люди, другие лица. В оглавлении, приложенном к началу, стоят имена гг. Куруты, Варгасова, Крыловского, Грена; кроме того, написали еще стихи буква С., буква Ш., буква Щ. Читаем стихи — подобные стихи бывали и в прежнее время; по крайней мере в них все было ровнее, текучее, сочинители лепетали вслед за талантами. Грустно по старым временам!..

Сорок одна повесть лучших иностранных писателей (Бальзака, Бальоль, Блюменбаха, доктора Гаррисона, Е. Гино, Гофмана, А. Дюма, Ж. Жанена, Ваш. Ирвинга, Кинда, Крузе, И. Люка, Сентина, Тика, Цшоке, Ф. Шаля и других); изданы Николаем Надеждиным. Москва, в типогр. Степанова, 1836, в 12, двенадцать частей, стр. 287–261–259–287–275–276–262–263–227–246–251–236.

Повести, печатанные в разных номерах Телескопа. Издатель, выбрав их оттуда, выпустил отдельными книжками и хорошо сделал. Здесь им лучше, нежели там. Собравшись вместе, они представляют действительно что-то разнообразное. Их развезут по первой зимней дороге русские разносчики во все отдаленные города и деревни; они приятно займут в долгие вечера и ночи наших уездных барышень, по крайней мере приятнее, нежели наши самодельные романы.

Рецензии, не вошедшие в «Современник»

<**Летописи русской славы** со времен воцарения на русском престоле благословенного Дома Романовых. С.-П.-бург 1836, в тип. Хр. Гинце, в 16, 87 стр. с портретами.>

Памятная книжка в роде календаря, в котором под каждым числом каждого месяца ознаменование случившихся в тот день сражений и все подвиги нашего победоносного войска. При ней находятся портреты императоров и великих генералов.

<**Детский Карамзин**, или Русская история в картинах, издаваемая Андреем Прево, коммисси-

онером Общества поощрения художеств, выходит тетрадями. С.-П.-бург, в тип. Гинце, 1836, в 8 д. л.>

Издается периодически, в месяц до двух тетрадей. Литография незавидная, но для детей годится.

<*** Русские классики.** Часть 1. *Кантемир.* 1836. СПб., в тип. Гинце. Выходит небольшими тетрадями.>

Намерение очень хорошее — издать Кантемира и других старых писателей наших. Но издается это очень странно: в месяц выходит один или два печатных листа. За эти два листа и за обвертку к ним, в которой читателю решительно нет никакой надоб<ности>, читатель плотит рубль. Довольно дорого и неудобно. Дорого потому, что небольшой томик Кантемира будет стоить гораздо дороже десяти рублей. Неудобно потому, что у нас не привыкли к такому мелкому расчету, и всякой будет ожидать лучше всей книги, чтобы куп<ить>. На тетрадки обыкновенно разлагаются в Европе огромные издания, для того чтобы облегчить взнос денег для читателей, которые NB все почти люди бедные. Притом ливрезоны, выпускаемые французами, никогда не издаются по одному листу, но за 1 рубль они представят такое количество букв, какого не составит весь Канте-

мир. Плюшар издает «Путешествие вокруг света» Дюмон Дюрвиля. В месяц выходит тетрадь из 10 печатных листов довольно густой печати; при них множество картинок и вся тетрадь обходится по два рубли. Это можно назвать у нас дешевым.

Притом издатели очень длят это издание. Кантемир, которого можно отпечатать всего в две недели, будет печатать<ся> полгода; кому охота каждый месяц <ждать> одного печатного листа?

<* **История поэзии.** Чтения адъюнкта Московского университета Степана Шевырева. Том первый, содержащий в себе Историю поэзии индейцев и евреев, с приложением двух вступительных чтений о характере образования и поэзии главных народов новой Западной Европы. Москва, в тип. Семена, 1835, в 8, стр. III — 333.>

Замечательное явление в нашей литературе. В первый раз является наш русский оригинальный курс Истории всемирной поэзии. Курс, написанный мыслящим, исполненным критического ума писателем. Из всех доселе писателей наших, преимущественно заним<авшихся> кри<тикою>, бесспорно Шевырев первый, которого имя останется в летописях нашей литературы. В следующем томе поместим обстоятельный разбор этого важного сочинения.

<**Он и она.** Роман. Москва, в тип. Селивановского. 1836, в 12, 4 части, 169–170–182–163 стр.>

Романы в нашей литературе завелись теперь трех родов: романы пятнадцатирублевые, всегда почти толс<тые>, длинные, солидные, в 4 частях по 300 страниц в каждой, другие романы средней руки, романы восьми– и шестирублевые, тоже иногда в четырех частях, но бывают и в двух. В этих частях бывает уже только по 160 страниц, а иногда и меньше. Этого сорта дешевые романы пишутся обыкновенно людьми молодыми; в них много романтического, не бывает недостатка в восклицаниях, и чрезвычайно много точек. Наконец следуют романы пяти- и четырехрублевые; эти состоят большею частию из трех частей, иногда из двух, но эти части уже никак не бывают больше 60 или 90 страниц, а иногда иная часть удается так странно, что в ней всей всего-навсего бывает страниц 36. Пишут большею частию люди пожилые, вовсе не должностные. Это русские самородки, и предводитель сего последнего инвалидного войска есть А. А. Орлов, на<д> которым очень любят подшучивать петербургские журналисты.

Разбираемый роман принадлежит к первому роду, то есть к романам пятнадцатирублевым,

хотя автор, как видно из первых страниц, часто бывает очень нетерпелив и никак не посидит на месте и не займется долго одним лицом. Ничего не осталось в голове после прочтения половины первой части. Помнится только, что какой-то граф и какой-то студент таскаются по улицам в каком-то городе, чуть ли не в Москве, берут Катю и увозят, потом опять берут Катю и, кажется, опять увозят. Впрочем, кто охотник, тот может прочесть сам и узнать, что делается дальше…

<**Недовольные.** Комедия в четырех действиях, сочинение М. Н. Загоскина. Москва, в тип. Степанова, 1836, в 8, 147 стр.>

План задуман довольно слабо. Действия нет вовсе. [Стало быть, условия сценические не выполнены]. Стихи местами хороши, везде почти непринужденны, но комического, [а это-то главное], почти нет. Лица не взяты с природы.

<**Путешествие к святым местам,** совершенное в XVII столетии Иеродиаконом Троицкой Лавры. Издано М. Коркуновым. Москва, в Универ. тип., 1836, в 8, стр. 39.>

Путешествия в Иерусалим производят действие магическое в нашем народе. Это одна из тех книг, кот<орые> больше всего и благоговейнее всего читаются. Почти такое производит на них впе-

чатление <путешествие> в Цареград, как будто невольная признательная черта, сохранившаяся в русском племени, за тот свет, который некогда истекал оттуда. Нередко русской мещанин промышленник сколько-нибудь ученый, бросив дела, отправлял<ся> сам в Иерусалим и Цареград и даже издавал книгу, которую жадно покупали у разносчиков, пропуская множество картин, висящих на шнурочке у него на плечах, несмотря на то, что многие из них разрисованы всякими красками. Прочие книги русский народ читает для <того> только, чтобы прочитать что-нибудь в случае показать себе и другим, что он может прочесть по верхам то, что другой читает по складам — без малейшего внимания к содержанию книги. И потому для народа нашего чрезвычайно трудно выбрать чтения.

<**Описание Прусского государства** в географическом и статистическом отношениях, составленное Ардалионом Ивановым, воспитателем и наставником Императорского училища Правоведения. СПб., в тип. И. Глазунова, 1836, в 8. Часть первая, стр. 201.>

Книга вроде тех географий, каких расходится по Руси много и по которым учат у нас детей. Кто захочет иметь полное статистическое удовлетво-

рительное понятие о Пруссии, тот его не отыщет в этой книге. Она что-то среднее: как книга для уч<еника> она велика, для выучившегося пахнет указкою.

<**Указатель губернских и уездных почтовых дорог** в Российской Империи, составленный по новейшему учреждению почтовых дорог и станций г. Савинковым, с приложением дорожной карты. СПб., 1836, в б. осьмушку, 36 гравир. страниц.>

Книжка издана довольно укладисто для дороги, хотя бы можно издать еще укладистее. Карту не нужно особенно и в большом виде, в дороге нечего разворачивать, лучше придумать как-нибудь поместить ее в страницах самой книги хотя по частям, а еще лучше соединить [описание с топографиею].

<**Основание Москвы,** или смерть боярина Степана Ивановича Кучки. Исторический роман, взятый из времен княжения Изяслава Мстиславовича. Сочинение И… К…ва. СПб., в тип. Вингебера, 1836. Четыре части, стр. VII и 189–194–168–162.>

Один из тех романов, вроде которых выходит очень много и особенно в Москве. Сюжет их обыкновенно взят из отечественной истории. Они обыкновенно бывают худенькие, тоненькие,

но разделены на четыре части, продаются очень дешево. Авторы их — часто робкие, молодые, еще не обжегшиеся на огне писатели и поэтому выставляют часто одни только заглавные литеры своего имени и оканчивают его точками. Автор обыкновенно заставляет говорить своих героев слогом русских мужичков и купцов, потому что у нас в продолжение десяти последних <лет> со времени появления романов в русском кафтане возникла мысль, что наши исторические лица и вообще все герои прошедшего должны непременно говорить языком нынешнего простого народа и отпускать как можно побольше пословиц. В последние года два или три новая французская школа, выразив<шаяся> у нас во многих переводных отрывка<х> и мелодрамах на театре, прояви<ла> заметное свое влияние даже и на них. От этого произошло чрезвычайно много самых странных явлений в наших романах. Иногда русской мужичок отпустит такую театральную штуку, что и римлянин не сделает. Подымется с полатей или с своей печки и выступит таким шагом, как Наполеон; какой-нибудь Василий, Улита или Степан Иванович Кучка после какой-нибудь русской замашки, отпустивши народную поговорку, зарычит вдруг «смерть и ад!» В дру-

гом месте читатель приготовлен к тому, что эти мужички засучат рукава и потузят друг друга, но вместо того [он] видит, что они кинули один на другого мрачный взгляд и!! тут обыкновенно автор поставит несколько точек и прибавит: «и поняли друг друга». [А] иногда даже прибавит: и в этом безмолвии произошла страшная драма и тому подобное. В этом уже и упрекать нельзя, что лицо немного похоже на испанца или француза; этого греха не могли избегнуть и большие наши романы и… Общий характер этих маленьких романов, котор<ые> в таком изобилии и так скоро вырастают на Руси, есть совершенная детскость. Это будет очень несправедливо, если б мы сказали, что в них видна глупость одна, в чем часто упрекают их наши журналисты. Совсем нет, не глупость, но создание самого незрелого дитяти, которого и то занимает и другое, и того хочется ему и другого, никакой постоянности. Оттуда у него на одной странице столько несообразностей, сколько у другого в целом томе. Каждая строчка у него ниже целой октавой или выше другой. У бесталанного, но опытного человека, набившего руку на писаньи, несообразности становятся явны по прочтении только многих страниц, у бесталанного, но неопытного и молодого, их в

одной странице наберется столько, что читатель по ним может вывести безошибочно мнение обо всем сочинении.

Если бы мы привели в пример оттуда несколько страниц, они могли бы заставить читателей усмехнуться; незачем наполнять листок нашего журнала плохим тогда, когда можно занять место выпискою чего-нибудь хорошего. Во всех этих книгах видно невинное желание написать непременно какой-нибудь романчик. Да простит Бог невольные их прегрешения! Нам нечего досадовать на них и сердиться, что они неопрятно изданы и тому подобное. И здесь потому только почтено необходимым сказать о них несколько слов, чтобы <при> другом подобном романе иметь случай не говорить о нем вовсе, а сослаться <на> сказанные нами ныне слова.

<**Убийственная встреча,** повесть Я. А. СПб. 1836, в тип. Артил. департ. Воен. Мин. в 8, 113 стр.>

Эта книжечка вышла, стало быть где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее.

<**Картины мира,** или полезное и приятное чтение для юношества. Часть 2-я. С.-П.-бург, 1836 (4).>

Заглавие этой книги показывает, что она ошибкою попала в книги литературы.

За несколько лет пред сим на Руси, так же как и в Европе, заметна была вообще охота к чтениям нравственным, являвшимся в виде длинных рассуждений и трактатов. Читатели требовали назидательных, питательных сочинений. Психологические сочинения, печатавшиеся в целых огромных томах, имели значительный перевес над всем прочим. Все прочее, все практическое, все легкое, взятое из жизни, считалось пустым и недостойным. У нас в России в это время вышло чрезвычайно<е> множество подобных книг. Это был век солидный; впрочем, нужно заметить здесь то, что при всем этом нравственность этого века была не очень чиста, и те, которые читали питательные книги, делали под рукою такие шашни и проказы, которые теперь бы слишком бросились всем в глаза. Замечательно, что в одно время с таким множеством нравственных сочинений появлялись такие безнравственные, что теперь даже отважнейшие из французских писателей посовестились бы написать. Все старики тогда читали душеспасительные книги, вся молодежь, напротив, читала Фоблазов и других, и при внимательном рассмотрении оказывалось даже, что едва ли старики не обгоняли молодежь в своих домашних делах. Такой раздор теории с

практикою был повсеместен в конце XVIII столетия. В XIX столетии масонские и другие секты, отвлеченный мистицизм поддержали существование подобных философских сочинений, рассуждений, увещаний и трактатов, хотя облеченных уже в другие формы. Они, можно сказать, были виною малого распространения охоты к чтению в нашем обществе, потому что требовали постоянства внимания, некоторого напряжения ума и потому были уделом немногих. Когда Кант, Шеллинг, Гегель, Окен, как художники, обработывали науку, облекая ее точными определительными терминами, анатомически дробя, разделяя и соединяя в единство великую область мышления, их мнения распространялись только в кругу небольшом их слушателей, понимавших трудный, немногословный, почти математический язык их. Но когда мысли их начали рассеиваться, германские писатели, если можно так выразиться, среднего класса люди, большею частию довольно умные, но без орлиной мысли и таланта, когда начали они эти идеи распложивать собственным мерилом понимания, когда они облекли эти рассуждения красноречивыми фразами, общеупотребительным языком, часто даже лирическим пылом души, то эти творения

их распространились повсеместно между всем читающим кругом — и приученные мистицизмом читатели брались охотно за эти книги. В наш век почти общим сочувствием была признана необходимость воплощения всякой мысли практически. Она всегда должна торжествовать, как прекрасную эпоху, это начинающее<ся> соединение теории с практикою, следуя великой, но простой истине, что дела более значат, нежели слова. Живой пример сильнее рассуждения, и никогда мысль не кажется нам так высока, так поразительно высока, так оглушительна своим величием, как когда облечена она [видимой формою], когда разрешается пред нами живым, знакомым миром, когда она, можно сказать, читается духовными нашими глазами из целого создания поэта. Божественный учитель и спаситель наш первый открыл эту высокую тайну, облекши святые божест<венные> мысли свои в притчи, которые слушали и понимали тысячи народов. Итак мы, сделавши такие великие тысящелетние обходы, наконец возвращаемся к той истине, которая была сказана еще в глубине младенческих сердец наших. И вот уже история показывает умам соединение с философией и образует великое здание. И вот уже везде, во всех

нынешних попытках романов и повестей, видно стремление осуществить, окрылить или доказать какую-нибудь мысль, и только посредственность бывает виною, что изысканная, неправильная мысль иногда предпочитается глубокой и простой.

<**Детский павильон.** Книжка, содержащая в себе черты из русской истории, разные повести, разговоры, анекдоты, стихотворения, сказочки и проч., составленная на 1836 год Б. Федоровым. СПб., в тип. Гинце, 1836, в 16, стр. 320.>

Детский альманах, небольшой магазин, без сомнения, очень приятных для них вещей… Б. М. Федоров — один из старых наших литераторов, писал трагедии, романы, писал и переводил стихотворения во многих родах, но наконец, почувствовавши, что все на свете суета и что нужно иметь слишком много, чтобы расшевелить взрослое наше поколение, принялся издавать книжки для детей. И из наших писателей никто в этом отношении не исполнял своего дела с таким старанием, как он. Он издавал довольно исправно и постоянно детский журнал, всегда к новому году готовил нам какой-нибудь подарок в виде альманаха. Академия Российская избрала его в свои члены и, хотя он не написал такого

ученого рассуждения на шести страницах, в котором говорится обыкновенно, что такой-то говорит вот то-то, такой-то вот то-то, а я полагаю, что этот предмет требует разъяснения. Но при всем том труды его были полезны и сочинения его раскупались. Его имя не заслужило никакого упрека. Альманах его нынешний име<ет> так же достоинства, как и предыдущие, и дети могут все из него составить себе приятное чтение.

<**Прекрасная астраханка,** или хижина на берегу реки Оки. Роман, взятый из истинного происшествия. Российское сочинение. Москва, в Универс. тип. 1836, в 12, две части, стр. IV и 42–76.>

Не роман, а разве романчик, потому что в 1-й части 42 страницы, а во 2-й — 76.

<**Обозрение сельского хозяйства удельных имений** в 1832 и 1833 годах, изданное Департаментом уделов. С.-П.-бург, в тип. Д. Внешней торговли, 1836, в 8, 158, с 4 черт.>

Книжка замечательна во многих отношениях тем, что проливает некоторый статистический свет на средние губернии нашей России. Все удельные имения ныне округлены и заключены в средней полосе. Их нет ни на юге, ни на севере. Они большею <частию> начинаются узким

клином от Москвы и тянутся на восток, раздвигаясь по мере приближения, <к> Уральск<ому> хребт<у>, захватывая земли губерний: Московской, Владимирской, Костромской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Пензенской, Саратовской, Вятской, Пермской и Оренбургской. Кроме того, есть еще удельные имения в губерниях остзейских.

Упомянем слова два о почве и земле, как первых естественных законах организации государственного хозяйства. Центральные земли, то есть земли недалеко от Москвы, губерний Московской, Владимирской, отчасти земли Костромской и Нижегородской, содержат почву песчаную, глинистую, перемежаемую тундрами, илом, кочками, чернозем почти не встречается, — земли, требующие более всего возделки. Далее на юго-во<сток> характер почвы изменяется; южная часть имений Костромской и Нижегородской и северная губерний Казанской, Симбирской и Пензенской составляют другой отдел; в почве меньше глины, меньше тундр, чаще чернозем, и углубляется в землю он несравненно далее, на шесть вершков. Эта почва менее требует возделки предыдущей. Южные имения губерний Казанской, Симбирской и Пензенской и особен-

но вся Саратовская составляют почти степные пространства. Почва — уже чистый чернозем, тучный, углубляющий<ся> далеко в землю; пески и солончаки уже исключения и находятся только в Саратовской губернии; земля производит почти без всякого удобрения. Земли трех колоссальных губерний Пермской, Вятской и Оренбургской представляют отличительный совершенно отдел почвы. В Пермской и Вятской владычествует лес, в Оренбургской сила растительной природы мечет дань кормовых трав по всему своему огромному прос<транству>. Близость Урала и разрушающаяся горная природа дают новые силы растительности. Большое количество мергелю представляет средство для удобрения. Почва при небольших трудах может превзойти ожидания.

Но рассматривая в этой замечательной <книге> работящие силы людей, мы видим еще глубокое младенческое состояние земледелия, несмотря на средства, доставляемые правительством. Усилия рук без сравнения малы относительно пространства земли. Орудия еще много не облегчены, привыч<ка> и давность обыкновения еще держит место испытующего опыта. Плуг еще доныне тяжел, ленивый медленный серп, бессильный против таких огромных пространств,

еще не изгнан косою.

Усилия труда более видны в центральных губерниях, где беднее почва, они слабеют, где почва богаче, и наконец совсем исче<зают> в губерниях Пермской, Вятской и Оренбургской, где людей мало против земли, где дикая природа почвы кладет печать дикости и на самого человека.

Итак, что причина такого состояния земледелия? Эта причина заключается, во-первых, в земле, не в почве земли, но в необык<новенном> пространстве ее, еще несоразмерно превышающем население. На тесном уголке земли, хотя бы почва была бесплодна, земледелие возникает и развивается быстро; вначале следствие первой необходимости, оно в возрастающей степени делается необходимо, его развивают потребности. Земля и человек идет в равной прогрессии; земля, пробуя все силы его, образует и утрояет его разви<тие>, сметливость. Человек находит беспрестанно средства обогащать его. Итак, естественное дело, что земледелие в России еще долго будет идти медленно, несмотря на все введенные меры правитель<ства>, потому что это дело веков. И кто думает, что может то произвести один человек в малое время <?>, что производится массами и веками?

Вторая, главная причина заключается в людях. Что же такое русской крестьянин? Он раскинут или, лучше сказать, рассеян нечасто, как семена по обширному полю, из которого будет густой хлеб, но только не скоро. Он живет уединенно в деревнях, отделенных большими пространствами, удаленных от городов — и городов мало чем богатее иных деревень. Лишенный живого, быстрого сообщения, он еще довольно груб, мало развит, и имеет самые бедные потребности. Возьмите земледела северной и средней <полосы>. У него пища однообразна, ржаной хлеб и щи, одни и те же щи, которые он ест каждый день. Возле дома его нет даже огорода. У него нет никакой потребности наслаждения. Много ли ему нужно трудов и усилий, чтобы достать такую пищу и какое другое желание может занять его по удовлетворении этой первой нужды, когда окружающая его глубокая простота никакой не может подать идеи. Он способен переменить вдруг <?> свою жизнь, но только тогда, <когда> вокруг его явятся улучшения, а побывавши в городе, русской человек <?> уже бросает земледелие и делается промышленником, и тут вдруг разви<вается> его деятельность и оказывает<ся> его живая, хлопотливая природа; с помощью

живости и сметливости он в непродолжительное время делается богачом. Таким образом русской мужик делается решительно гражданином всей Руси, не укрепись ни в каком месте.

Итак, должно ли удивляться, что у нас земледелие в младенческом состоянии? Часто слышны вопросы, отчего у нас хуже земле<делие>, нежели в Европе, и мнения, как нам сравниться с Европой. Это легко сказать. Особливо тем, чей ум не видит страшного преобладания европейского населения над землею и страшного преобладания земли над жителями в России. Во всяком случае правительство действует, руководимое глубокою мудростью, оно обращает преимущественное внимание на землед<елие>. Земледел добрый, крепкий корень государства в полити<ческом> и нравственном отношении. Купец человек продажный, рем<есленник> человек продажный; всякой промышленник человек подвижный, сегодня здесь, завтра там, но земледел неподвижный элемент государства. Одно из лучших действий правительства в этом отношении есть издаваемые от него результаты хозяйственных отчетов, к каким, в некотором отношении, можно причисл<ить> и эту книгу. Они всегда ясно покажут дело и наведут на мысли, что и как нужно

предпринять для улучшения дела.

<**Правила построения мореходных и речных пароходов.** Перевел с английского корабельный мастер Василий Берков. СПб. 1835, в тип. Вингебера.>

Довольно обстоятельное наставление в строении пароходных судов <с> небольшим взглядом на начало и усовершенствование этого искусства.

<**Полная ручная кухмистерская книга,** выбранная из книжек: 1) Прибавление к опытному повару; 2) Полный кухмистер и кандитер и 3) Продолжение к книге — Полный кухмистер и кандитер; со многими прибавлениями; содержащая объяснение поварских терминов, и рисунок печи для московских калачей, составленная из собственных опытов Герасимом Степановым. Москва, в Универс. типогр. 1835, в 12, стр. VII и 310.>

Если воспользоваться всеми этими рецептами, наставлениями, то можно сварить такую кашу, на которую и охотника не найдешь.

<**Торговый адрес-календарь,** или Всеобщий коммерческий указатель Российского государства на 1836 год, составленный Викентием Жгерским, чиновником для особых поручений в

Министерстве финансов, разных ученых обществ и иностранных академий действительным членом, СПб. 1836, в тип. Вингебера, в 8, стр. 128.>

Торговый адрес-календарь, как адрес-календарь, очень неполон и неудовлетворительно составлен. При этом сюда вошли статьи по части промышленности и даже проекты не без достоинств, но здесь представляющиеся совершенно отрывками непоказывающими никакого <?> плана в издании. Продается очень дорого по объему, какой имеет книжка.

Рецензия для «Москвитянина»

Утренняя заря. <Альманах на 1842 год, изданный В. Владиславлевым. С.-Петербург. В типогр. III отдел, Собств. Е. И. В. канцелярии. 1842, в 16-ю, 369 стр.>

Начнем блестящим изделием типографической роскоши, легким, сверкающим цветком, приветствующим наступающий 1842-й год.

Альманах «Утренняя заря» с каждым годом издается роскошней. Он украшен теперь портретами красавиц Петербурга. Портрет Ее Импера<торского> Высочества Марьи Александровны предводит ими. Выражением и мыслью сквозят

черты его, и верно всякой русской накануне Нового года всмотрится в них внимательней, как во что-то светлое, пророческое. Все прочие портреты прекрасны. Не без тайной внутренней гордости рассматриваешь их, видя, что едва ли красавицы Севера не возьмут верх над красавицами, украшающими европейские кипсеки. Портрет графини Елены Миха<й>ловны Завадовской блещет всею роскошью ее неувядаемой красоты. Светлая ясность простоты отражается в лице графини Софьи Александровны Бенкендорф. Южной полнотой взгляда озарено лицо баронессы Екатерины Николаевны Менгден. Наконец тип чисто славянской красоты виден в профиле княжны Марьи Ивановны Барятинской. Помещение портретов сияющих наших современниц есть у нас дело еще новое. Их будет рассматривать с жадностью житель отдаленного угла России, куда едва доходят слухи о столице, и не один одаренный высоким художественным вкусом полюбуется ими,

Благоговея богомольно
Перед святыней красоты

как сказал Пушкин. И всякой на этот текущий год будет еще радостней дарить или получать

«Утренню<ю> зарю».

Жаль подвергнуть это блестящее изделье черствому перу суровой критики. Она пред ним остановится, как пред нежным мотыльком или цветком, боясь дуновеньем своим лишить его свежести. Содержанье его вполне соответствует своему значению. Это легкое будуарное чтение красавицы. Светский слог, гладкость языка, строгое приличье во многих повестях и легкая грациозность некоторых стихов, словом это сияющая игрушка. Повести самого издателя блещут живостью и легкостью. В них то же обычное ему искусство незначащий предмет обращать в занимательный. Картезианский монастырь Жуковой и Черногорцы Надеждина выходят рельефнее других… Что до стихов, то читатель, верно, остановится над Любовью мертвеца Лермонтова, Дорожною думою князя Вяземского. Кроме того, мелькают в «Утренней заре» имена Кольцова, Бенедиктова, графа Соллогуба, Кукольника. Но зачем рассказывать, что в ней читатель найдет? Пусть лучше разносится этот блестящий мотылек по всем концам России и светло поздравляет с Новым годом всех от Камчатки до берегов Тавриды.

Выбранные места из переписки с друзьями
Предисловие

Я был тяжело болен; смерть уже была близко. Собравши остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать, после моей смерти, некоторые из моих писем. Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях. Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел; мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих, которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске и приготовляясь к отдаленному путешествию к Святым Местам, необходимому душе моей, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставанье что-нибудь от себя моим соотечественникам. Выбираю сам из моих

последних писем, которые мне удалось получить назад, все, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, что может получить смысл только после моей смерти, с исключеньем всего, что могло иметь значенье только для немногих. Прибавляю две-три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание, с тем чтобы в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем, возымело оно тотчас свою законную силу, как засвидетельствованное всеми моими читателями.

Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, что имел высокое о себе понятие и надеялся на уменье свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желанья быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосылая силу слову бессильному. Итак, сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет и прошу моих соотечественников прочитать ее несколько раз; в то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их при этом слу-

чае, что все деньги, какие перевысят издержки на предстоящее мне путешествие, будут обращены, с одной стороны, в подкрепление тем, которые, подобно мне, почувствуют потребность внутреннюю отправиться к наступающему Великому Посту во Святую Землю и не будут иметь возможности совершить его одними собственными средствами, с другой стороны — в пособие тем, которых я встречу на пути уже туда идущих и которые все помолятся у Гроба Господня за моих читателей, своих благотворителей.

Путешествие мое хотел бы я совершить как добрый христианин. И потому испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем не случилось мне оскорбить их. Знаю, что моими необдуманными и незрелыми сочинениями нанес я огорченье многим, а других даже вооружил против себя, вообще во многих произвел неудовольствие. В оправдание могу сказать только то, что намеренье мое было доброе и что я никого не хотел ни огорчать, ни вооружать против себя, но одно мое собственное неразумие, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла;

за все же, что ни встречается в них умышленно-оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всех тех, с которыми на долгое или на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни. Знаю, что мне случалось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего. Отчасти это происходило оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и ненужных слов произносить мне не хотелось), и будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя вправе глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, но я прошу прощения во всех личных оскорблениях, которые мне случилось нанести кому-либо, начиная от времен моего детства до настоящей минуты. Прошу также прощенья у

моих собратьев-литераторов за всякое с моей стороны пренебреженье или неуваженье к ним, оказанное умышленно или неумышленно; кому же из них почему-либо трудно простить меня, тому напомню, что он христианин. Как говеющий перед исповедью, которую готовится отдать Богу, просит прощенья у своего брата, так я прошу у него прощенья, и как никто в такую минуту не посмеет не простить своего брата, так и он не должен посметь не простить меня. Наконец, прошу прощенья у моих читателей, если и в этой самой книге встретится что-нибудь неприятное и кого-нибудь из них оскорбляющее. Прошу их не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге, — как недостатки писателя, так и недостатки человека: мое неразумие, недомыслие, самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом, все, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится во мне.

В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв

своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною: но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у Гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого; моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва.

1846, июль

I. Завещание

Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю.

I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться… Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как

погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба.

II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей неколебимой твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник. Потому что и я, как ни был сам по себе слаб и ничтожен, всегда ободрял друзей моих, и никто из тех, кто сходился поближе со мной в последнее время,

никто из них, в минуты своей тоски и печали, не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты и тосковал я не меньше других, — пускай же об этом вспомнит всяк из них после моей смерти, сообразя все слова, мной ему сказанные, и перечтя все письма, к нему писанные за год перед сим.

III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой. Если бы даже и удалось мне сделать что-нибудь полезного и начинал бы я уже исполнять свой долг действительно так, как следует, и смерть унесла бы меня при начале дела, замышленного не на удовольствие некоторым, но надобного всем, — то и тогда не следует предаваться бесплодному сокрушению. Если бы даже вместо меня умер в России муж, действительно ей нужный в теперешних ее обстоятельствах, то и оттого не следует приходить в уныние никому из живущих, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются люди всем нужные, то это знак гнева небесного, отъемлющего сим орудия и средства, которые помогли бы иным подвигнуться ближе к цели, нас зовущей. Не унынью должны мы предаваться при

всякой внезапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте. Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!

IV. Завещаю всем моим соотечественникам (основываясь единственно на том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям), завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение под названием «Прощальная повесть». Оно, как увидят, относится к ним. Его носил я долго в своем сердце, как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога. Оно было источником слез, никому не зримых, еще от времен детства моего. Его оставляю им в наследство. Но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-нибудь похожее на поученье. Я писатель, а долг писателя — не одно доставленье приятного занятья уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям. Да вспомнят также мои соотечественники, — что, и не бывши писа-

телем, всякий отходящий от мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского поученья, и в этом случае нечего глядеть ни на малость его звания, ни на бессилие, ни на самое неразумие его, нужно помнить только то, что человек, лежащий на смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди мира. Несмотря, однако, на все таковые права мои, я бы все не дерзнул заговорить о том, о чем они услышат в «Прощальной повести», ибо не мне, худшему всех душою, страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства, произносить такие речи. Но меня побуждает к тому другая, важнейшая причина: соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся… Может быть, «Прощальная повесть» моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкою, и сердце их услышит хотя отчасти строгую тайну ее и

сокровеннейшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий — во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою «Прощальную повесть». Клянусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал Сам Бог испытаньями и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкий родственник вам всем[274].

V. Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осужденьем моих произведений в публичных листах и журналах: все будет так же пристрастно, как и при жизни. В сочинениях моих гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживает хвалу. Все нападения на них были в основании более или менее

---

[274] Примечания: 274

«Прощальная повесть» не может явиться в свет: что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни. *(Здесь и далее, если не указано иначе, прим. Н.В. Гоголя.)*

справедливы. Передо мною никто не виноват; неблагодарен и несправедлив будет тот, кто попрекнет мною кого-либо в каком бы то ни было отношении. Объявляю также во всеуслышанье, что, кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений: все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим именем, прошу считать это презренным подлогом. Но возлагаю вместо того обязанность на друзей моих собрать все мои письма, писанные к кому-либо, начиная с конца 1844 года, и, сделавши из них строгий выбор только того, что может доставить какую-нибудь пользу душе, а все прочее, служащее для пустого развлеченья, отвергнувши, издать отдельною книгою. В этих письмах было кое-что послужившее в пользу тем, к которым они были писаны. Бог милостив; может быть, послужат они в пользу и другим, и снимется чрез то с души моей хотя часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного.

VI.....[275]

---

[275] Примечания: 275

Статья содержит распоряженья по делам семейственным.

VII. Завещаю… но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой портрет. По многим причинам, которые мне объявлять не нужно, я не хотел этого, не продавал никому права на его публичное издание и отказывал всем книгопродавцам, доселе приступавшим ко мне с предложеньями, и только в таком случае предполагал себе это позволить, если бы помог мне Бог совершить тот труд, которым мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притом так совершить его, чтобы все мои соотечественники сказали в один голос, что я честно исполнил свое дело, и даже пожелали бы узнать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не хотел пользоваться незаслуженной известностью. С этим соединялось другое обстоятельство: портрет мой в таком случае мог распродаться вдруг во множестве экземпляров, принеся значительный доход тому художнику, который должен был гравировать его. Художник этот уже несколько лет трудится в Риме над гравированием бессмертной картины Рафаэля «Преображенье Господне». Он всем пожертвовал для труда своего, — труда убийственного,

пожирающего годы и здоровье, и с таким совершенством исполнил свое дело, подходящее ныне к концу, с каким не исполнял еще ни один из граверов. Но по причине высокой цены и малого числа знатоков эстамп его не может разойтись в таком количестве, чтобы вознаградить его за все; мой портрет ему помог бы. Теперь план мой разрушен: раз опубликованное изображение кого бы то ни было делается уже собственностью каждого, занимающегося изданьями гравюр и литографий. Но если бы случилось так, что после моей смерти письма, после меня изданные, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хотя бы даже одним только чистосердечным стремлением ее доставить) и пожелали бы мои соотечественники увидать и портрет мой, то я прошу всех таковых издателей благородно отказаться от своего права; тех же моих читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что ни пользуется известностью, завели у себя какой-нибудь портрет мой, прошу уничтожить его тут же, по прочтенье сих строк, тем более что он сделан дурно и без сходства, и покупать только тот, на котором будет выставлено: «Гравировал Иорданов». Сим будет сделано, по крайней мере, справедливое дело. А еще будет справедливей,

если те, которые имеют достаток, станут вместо портрета моего покупать самый эстамп «Преображенья Господня», который, по признанью даже чужеземцев, есть венец гравировального дела и составляет славу русскую.

Завещанье мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы, по случаю неведения его, никто не сделался бы передо мною невинно-виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу.

1845

II. Женщина в свете

(Письмо к....ой)

Вы думаете, что никакого влияния на общество иметь не можете; я думаю напротив. Влияние женщины может быть очень велико, именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой — какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины.

Эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и все чего-то теперь ждет от женщины. Оставивши все прочее в сторону, посмотрим на нашу Россию, и в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, — на множество всякого рода злоупотреблений. Окажется, что бóльшая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен, которые так жаднича-ют блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданной каким-то идеальным мечтам, а не существу их обязанностей, которые в несколько раз прекрасней и возвышенней всяких мечтаний. Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг. Душа жены — хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. Вы сами это почувствовали и выразились об этом так хорошо,

как до сих пор еще никогда не выражались никакие женские строки. Но вы говорите, что всем другим женщинам предстоят поприща, а вам нет. Вы им видите работу повсюду: или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-нибудь нужное, словом — всячески помогать, а себе одной только не видите ничего и грустно повторяете: «Зачем я не на их месте!» Знайте же, что это общее ослепление всех. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя. Вы говорите, зачем вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которые вам представляются теперь так ясно; зачем не расстроено ваше имение, чтобы заставить вас ехать в деревню, быть помещицей и заняться хозяйством; зачем ваш муж не занят какой-нибудь общеполезною трудной должностью, чтобы вам хоть здесь ему помогать и быть силой, его освежающей, и зачем, вместо всего этого, предстоят вам

одни пустые выезды в свет и пустое, выдохшееся светское общество, которое теперь вам кажется безлюднее самого безлюдья. Но тем не менее свет все же населен; в нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи, — и, увы! даже не знают, как попросить о ней. Какому же нищему следует прежде помогать: тому ли, кто еще может выходить на улицу и просить, или же тому, который не в силах уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете; что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой и умной и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? А если у вас уже есть именно такие орудия, которые теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себе, совершенная правда: вы, точно, слишком молоды, не приобрели ни познанья людей, ни познанья жизни, словом — ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим; может быть, даже вы и никогда этого не приобретете; но у вас есть другие орудия, с которыми вам все возможно. Во-первых,

вы имеете уже красоту, во-вторых — неопозоренное, неоклеветанное имя, в-третьих — власть, которой сами в себе не подозреваете, — власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, — даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наиумнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами! Стало быть, это орудие сильное. Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и светится всем ваша голубиная душа. Знаете ли, что мне признавались наиразвратнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым потчевают других избранниц, но даже просто никакого слова,

чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным. Вот уже одно влияние, которое совершается без вашего ведома от одного вашего присутствия! Кто не смеет себе позволить при вас дурной мысли, тот уже ее стыдится; а такое обращенье на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шаг человека к тому, чтобы быть лучше. Стало быть, это орудие также сильное. В прибавленье ко всему вы имеете уже Самим Богом водворенное вам в душу стремленье, или, как называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда, от которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замуж за человека благородного, умного, имеющего все качества, чтобы сделать счастливой жену свою, как уже, наместо того чтобы сокрыться во глубину вашего домашнего счастия, мучитесь мыслию, что вы недостойны такого счастья, что не имеете права им пользоваться в то время, когда вокруг вас так много страданий, когда ежеминутно раздаются вести о бедствиях всякого рода: о голоде, пожарах, тяжелых горестях душевных и страшных болезнях ума, которыми заражено текущее поколение. Поверьте, это недаром. Кто заключил в душе своей такое небесное беспокойство о лю-

дях, такую ангельскую тоску о них среди самых развлекательных увеселений, тот много, много может для них сделать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же из света, среди которого вам назначено быть, не спорьте с Провидением. В вас живет та неведомая сила, которая нужна теперь для света: самый ваш голос, от постоянного устремленья вашей мысли лететь на помощь человеку, приобрел уже какие-то родные звуки всем, так что, если вы заговорите в сопровожденье чистого взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей уст ваших, которая одним только вам свойственна, то каждому кажется, как бы заговорила с ним какая-то небесная родная сестра. Ваш голос стал всемогущ; вы можете повелевать и быть таким деспотом, как никто из нас. Повелевайте же без слов, одним присутствием вашим; повелевайте самим бессилием своим, на которое вы так негодуете; повелевайте и именно той женскою прелестью вашей, которую, увы, уже утратила женщина нынешнего света. С вашей робкой неопытностью, вы теперь в несколько раз больше сделаете, нежели женщина умная и все испытавшая с своей гордой самонадеянностью: ее наиумнейшие убеждения, с которыми она бы

захотела обратить на путь нынешний свет, в виде злых эпиграмм посыплются обратно на ее же голову; но ни у кого не посмеет пошевелиться на губах эпиграмма, когда одним умоляющим взором, без слов, вы попросите кого-нибудь из нас, чтобы он сделался лучшим. Отчего вы так испугались рассказов о светском разврате? Он, точно, есть, и еще даже в большей мере, чем вы думаете; но вам и знать об этом не должно. Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело, с той же сияющей вашей улыбкой. Входите в него, как в больницу, наполненную страждущими; но не в качестве доктора, приносящего строгие предписанья и горькие лекарства: вам не следует и рассматривать, какими болезнями кто болен. У вас нет способности распознавать и исцелять болезни, и я вам не дам такого совета, какой бы мне следовало дать всякой другой женщине, к тому способной. Ваше дело только приносить страждущему вашу улыбку да тот голос, в котором слышится человеку прилетевшая с небес его сестра, и ничего больше. Не останавливайтесь долго над одними и спешите к другим, потому что вы повсюду нужны. Увы! на всех углах мира ждут и не дождутся ничего другого, как только тех родных звуков, того самого голоса, который у

вас уже есть. Не болтайте со светом о том, о чем он болтает; заставьте его говорить о том, о чем вы говорите. Храни вас Бог от всякого педантства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи, а душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Эти-то именно речи вносите и в свет.

1846

III. Значение болезней

(Из письма к гр. А. П. Т.....му)

...Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всем составе тела, что рад бываешь, как Бог знает чему, когда наконец оканчивается день и доберешься до постели. Часто, в душевном бессилии, воскли-

цаешь: «Боже! где же наконец берег всего?» Но потом, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь, — ничего уже не издает душа, кроме одних слез и благодарения. О! как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну: ныне каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде; не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желанье порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня наделать уже тысячу глупостей. Притом ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне милость небесная и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь все, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занесся! каким бы значительным человеком вообразил себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность, и та польза, которую так желает принесть душа

моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников… Слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить небесного Промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла.

1846

IV. О том, что такое слово

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит, –

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь

обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом — мало ли на что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства. Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность званья своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье Божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже

дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа? Словом, еще какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы оправдываться обстоятельствами, но не Державин. Он слишком повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере, целой половины од своих. Эта половина од представляет явленье поразительное: никто еще доселе так не посмеялся над самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как это сделал Державин в этой несчастной половине своих од. Точно как бы он силился здесь намалевать карикатуру на самого себя: все, что в других местах у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто внутреннею силою душевного огня, здесь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего — здесь повторены те же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его одушевленных одах и которые тут просто смешны и походят на то, как бы карлик надел панцирь великана, да еще и не так, как следует. Сколько людей теперь произносит сужденье о Державине, основываясь на его пошлых одах. Сколько усумнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их во многих местах выраженными

слабо и бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудья, за которое он стоял. И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. Приятель наш П…н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно или к бесчестью его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: «Надеемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк; в великом человеке все достойно любопытства», — и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкий читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели Бога, дерзавшие произносить имя Его неосвященными устами. Обращаться с

словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом — в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Тот же наш приятель П…н тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего он набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом — выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве. И что ж? Заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? Нет, они заметили в нем одно только неряшество и неопрятность, которые прежде всего замечает человек, и ничего от него не приняли. Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорей в руки всем все, что ни находил на пользу про-

свещенья и образованья русского… И ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремленьем к добру, которое бы внушило его слово. Напротив, я должен был даже спорить и стоять за чистоту самих намерений и за искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он сумел так замаскировать себя перед всеми, что решительно нет возможности показать его в том виде, каков он действительно есть. Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей. Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более

оно должно быть применено к тем, у которых поприще — слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям. Они слышали, как можно опозорить то, что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои, — говорит Иисус Сирах, — растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста».

1844

V. Чтения русских поэтов перед публикою

(Письмо к Л**)

Я рад, что наконец начались у нас публичные чтения произведений наших писателей. Мне уже

писали об этом кое-что из Москвы: там читали разные литературные современности, а в том числе и мои повести. Я думал всегда, что публичное чтение у нас необходимо. Мы как-то охотней готовы действовать сообща, даже и читать; поодиночке из нас всяк ленив и, пока видит, что другие не тронулись, сам не тронется. Искусные чтецы должны создаться у нас: среди нас мало речистых говорунов, способных щеголять в палатах и парламентах, но много есть людей, способных всему *сочувствовать*. Передать, поделиться ощущеньем у многих обращается даже в страсть, которая становится еще сильней по мере того, как живее начинают замечать они, что не умеют изъясниться словом (признак природы эстетической). К образованью чтецов способствует также и язык наш, который как бы создан для искусного чтения, заключая в себе все оттенки звуков и самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи. Я даже думаю, что публичные чтенья со временем заместят у нас спектакли. Но я бы желал, чтобы в нынешние наши чтения избиралось что-нибудь истинно стоящее публичного чтения, чтобы и самому чтецу не жаль было потрудиться над ним предварительно. В нашей современной лите-

ратуре нет ничего такого, да и нет надобности читать современное. Публика его прочтет и без того, благодаря страсти к новизне. Все эти новые повести (в том числе и мои) не так важны, чтобы сделать из них публичное чтение. Нам нужно обратиться к нашим поэтам, к тем высоким произведениям стихотворным, которые у них долго обдумывались и обрабатывались в голове, над которыми и чтец должен поработать долго. Наши поэты до сих пор почти неизвестны публике. В журналах о них говорили много, разбирали их даже весьма многословно, но высказывали больше самих себя, нежели разбираемых поэтов. Журналы достигнули только того, что сбили и спутали понятия публики о наших поэтах, так что в глазах ее личность каждого поэта теперь двоится и никто не может представить себе определительно, что такое из них всяк в существе своем. Одно только искусное чтение может установить о них ясное понятие. Но, разумеется, нужно, чтобы самое чтение произведено было таким чтецом, который способен передать всякую неуловимую черту того, что читает. Для этого не нужно быть пламенным юношей, который готов сгоряча и не переводя духа прочесть в один вечер и трагедию, и комедию, и оду, и все что ни

попало. Прочесть как следует произведенье лирическое — вовсе не безделица, для этого нужно долго его изучать. Нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душой и сердцем почувствовать всякое слово его — и тогда уже выступать на публичное его чтение. Чтение это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке. Напротив, оно может быть даже очень спокойное, но в голосе чтеца послышится неведомая сила, свидетель истинно-растроганного внутреннего состояния. Сила эта сообщится всем и произведет чудо: потрясутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии. Чтенье наших поэтов может принести много публичного добра. У них есть много прекрасного, которое не только совсем позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публике в каком-то низком смысле, о котором и не помышляли благородные сердцем наши поэты. Не знаю, кому принадлежит мысль — обратить публичные чтения в пользу бедным, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда так много страждущих внутри России от голода, пожаров, болезней и всякого рода несчастий. Как бы утешились души от нас удалившихся поэтов такому употреблению их произведений!

1843

VI. О помощи бедным (Из письма к А. О. С…… ой)

…Обращаюсь к нападеньям вашим на глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам в то самое время, когда в России голодают целиком губернии. Это происходит не от глупости и не от ожесточения сердец, даже и не от легкомыслия. Это происходит от всем нам общей человеческой беспечности. Эти несчастия и ужасы, производимые голодом, далеки от нас; они совершаются внутри провинций, они не перед нашими глазами, — вот разгадка и объяснение всего! Тот же самый, кто заплатил, дабы насладиться пеньем Рубини, сто рублей за кресло в театре, продал бы свое последнее имущество, если бы довелось ему быть свидетелем на деле хотя одной из тех ужасных картин голода, перед которыми ничто всякие страхи и ужасы, выставляемые в мелодрамах. За пожертвованьем у нас не станет дело: мы все готовы жертвовать. Но пожертвованья собственно в пользу бедных у нас делаются теперь не весьма охотно, отчасти

потому, что не всякий уверен, дойдет ли, как следует, до места назначенья его пожертвованье, попадет ли оно именно в те руки, в которые должно попасть. Большею частию случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего. Вот о каком предмете следует подумать, прежде чем собирать пожертвованья. Об этом мы с вами после потолкуем, потому что это дело ничуть не маловажное и стоит того, чтобы о нем толково потолковать. А теперь поговорим о том, где скорей нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, с которым случилось несчастие внезапное, которое вдруг, в одну минуту, лишило его всего за одним разом: или пожар, сжегший все дотла, или падеж, выморивший весь скот, или смерть, похитившая единственную подпору, словом — всякое лишение внезапное, где вдруг является человеку бедность, к которой он еще не успел привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно христианским образом; если же она будет состоять в одной только выдаче денег, она ровно ничего не будет значить и не обратится в добро.

Если вы не обдумали прежде в собственной голове всего положения того человека, которому хотите помочь, и не принесли с собой ему наученья, как отныне следует вести ему свою жизнь, он не получит большого добра от вашей помощи. Цена поданной помощи редко равняется цене утраты; вообще она едва составляет половину того, что человек потерял, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русский человек способен на все крайности: увидя, что с полученными небольшими деньгами он не может вести жизнь, как прежде, он с горя может прокутить вдруг то, что ему дано на долговременное содержанье. А потому наставьте его, как ему изворотиться именно с той самой помощью, которую вы принесли ему, объясните ему истинное значение несчастья, чтобы он видел, что оно послано ему затем, дабы он изменил прежнее житие свое, дабы отныне он стал уже не прежний, но как бы другой человек и вещественно и нравственно. Вы сумеете это сказать умно, если только вникнете хорошенько в его природу и в его обстоятельства. Он вас поймет: несчастие умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманью предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновен-

ном и вседневном положении; он как бы весь обращается тогда в разогретый воск, из которого можно лепить все, что ни захотите. Всего лучше, однако ж, если бы всякая помощь производилась чрез руки опытных и умных священников. Они одни в силах истолковать человеку святой и глубокий смысл несчастия, которое, в каких бы ни являлось образах и видах кому бы то ни было на земле, обитает ли он в избе или палатах, есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни.

1844

VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским (Письмо к Н. М. Я….ву)

Появление «Одиссеи» произведет эпоху. «Одиссея» есть решительно совершеннейшее произведение всех веков. Объем ее велик; «Илиада» пред нею эпизод. «Одиссея» захватывает весь древний мир, публичную и домашнюю жизнь, все поприща тогдашних людей, с их ремеслами, знаньями, верованьями… словом, трудно даже сказать, чего бы не обняла «Одиссея» или что бы в ней было

пропущено. В продолжение нескольких веков служила она неиссякаемым колодцем для древних, а потом и для всех поэтов. Из нее черпались предметы для бесчисленного множества трагедий, комедий; все это разнеслось по всему свету, сделалось достоянием всех, а сама «Одиссея» позабыта. Участь «Одиссеи» странна: в Европе ее не оценили; виной этого отчасти недостаток перевода, который бы передавал художественно великолепнейшее произведение древности, отчасти недостаток языка, в такой степени богатого и полного, на котором отразились бы все бесчисленные, неуловимые красоты как самого Гомера, так и вообще эллинской речи; отчасти же недостаток, наконец, и самого народа, в такой степени одаренного чистотой девственного вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь перевод первейшего поэтического творения производится на языке, полнейшем и богатейшем всех европейских языков.

Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах с поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, — уху его наслушаться всех лир, дабы сделаться до

того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал; нужно было мало того, что влюбиться ему самому в Гомера, но получить еще страстное желание заставить всех соотечественников своих влюбиться в Гомера, на эстетическую пользу души каждого из них; нужно было совершиться внутри самого переводчика многим таким событиям, которые привели в бóльшую стройность и спокойствие его собственную душу, необходимые для передачи произведения, замышленного в такой стройности и спокойствии; нужно было, наконец, сделаться глубже христианином, дабы приобрести тот презирающий, углубленный взгляд на жизнь, которого никто не может иметь, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни. Вот скольким условиям нужно было выполниться, чтобы перевод «Одиссеи» вышел не рабская передача, но послышалось бы в нем *слово живо* и вся Россия приняла бы Гомера, как родного!

Зато вышло что-то чудное. Это не перевод, но скорей воссоздание, восстановленье, воскресенье Гомера. Перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Переводчик незримо стал как бы истолкователем Гомера, стал как бы каким-то зрительным, выясняющим

стеклом перед читателем, сквозь которое еще определительней и ясней выказываются все бесчисленные его сокровища.

По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обстановились так, чтобы сделать появление «Одиссеи» почти необходимым в настоящее время: в литературе, как и во всем, — охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких непереварившихся идей, нанесенных политическими и прочими броженьями, стали значительно упадать: только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои. Словом, именно то время, когда слишком важно появленье произведенья стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь с отчетливостью изумительной и от которого повевало бы спокойствием и простотой почти младенческой.

«Одиссея» произведет у нас влияние, как *вообще на всех,* так и *отдельно на каждого.*

Рассмотрим то влияние, которое она может у

нас произвести *вообще на всех.* «Одиссея» есть именно то произведение, в котором заключились все нужные условия, дабы сделать ее чтением всеобщим и народным. Она соединяет всю увлекательность сказки и всю простую правду человеческого похождения, имеющего равную заманчивость для всякого человека, кто бы он ни был. Дворянин, мещанин, купец, грамотей и неграмотей, рядовой солдат, лакей, ребенок обоего пола, начиная с того возраста, когда ребенок начинает любить сказку, ее прочитают и выслушают без скуки. Обстоятельство слишком важное, особенно, если примем в соображение то, что «Одиссея» есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение и что единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку.

Греческое многобожие не соблазнит нашего народа. Народ наш умен: он растолкует, не ломая головы, даже то, что приводит в тупик умников. Он здесь увидит только доказательство того, как трудно человеку самому, без пророков и без откровения свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога в истинном виде, и в каких нелепых видах станет он представлять себе лик Его, раздробивши един-

ство и единосилие на множество образов и сил. Он даже не посмеется над тогдашними язычниками, признав их ни в чем не виноватыми: пророки им не говорили, Христос тогда не родился, апостолов не было. Нет, народ наш скорей почешет у себя в затылке, почувствовав то, что он, зная Бога в Его истинном виде, имея в руках уже письменный закон Его, имея даже истолкователей закона в отцах духовных, молится ленивее и выполняет долг свой хуже древнего язычника. Народ смекнет, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, несмотря на то, что он, по невежеству, взывал к ней в образе Посейдонов, Кронионов, Гефестов, Гелиосов, Киприд и всей вереницы, которую наплело играющее воображение греков. Словом, многобожие оставит он в сторону, а извлечет из «Одиссеи» то, что ему следует из нее извлечь, — то, что ощутительно в ней видимо всем, что легло в дух ее содержания и для чего написана сама «Одиссея», то есть, что человеку везде, на всяком поприще, предстоит много бед, что нужно с ними бороться, — для того и жизнь дана человеку, — что ни в каком случае не следует унывать, как не унывал и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался к своему милому

сердцу, не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуты бедствий совершает всякий человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге. Вот то *общее,* тот живой дух ее содержания, которым произведет на всех впечатление «Одиссея» прежде, чем одни восхитятся ее поэтическими достоинствами, верностью картин и живостью описаний; прежде, чем другие поразятся раскрытием сокровищ древности в таких подробностях, в каких не сохранило ее ни ваянье, ни живопись, ни вообще все древние памятники; прежде, чем третьи останутся изумлены необыкновенным познанием всех изгибов души человеческой, которые все были ведомы всевидевшему слепцу; прежде, чем четвертые будут поражены глубоким ведением государственным, знанием трудной науки править людьми и властвовать ими, чем обладал также божественный старец, законодатель и своего и грядущих поколений; словом — прежде, чем кто-либо завлечется чем-нибудь отдельно в «Одиссее» сообразно своему ремеслу, занятиям, наклонностям и своей личной особенности. И все потому, что слишком осязательно слышен этот дух ее содержания, эта внутренняя сущность

его, что ни в одном творении не проступает она так сильно наружу, проникая всё и преобладая над всем, особенно, когда рассмотрим еще, как ярки все эпизоды, из которых каждый в силах застенить главное.

Отчего же так сильно это слышится всем? Оттого, что залегло это глубоко в самую душу древнего поэта. Видишь на всяком шагу, как хотел он облечь во всю обворожительную красоту поэзии то, что хотел бы утвердить навеки в людях, как стремился укрепить в народных обычаях то, что в них похвально, напомнить человеку лучшее и святейшее, что есть в нем и что он способен позабывать всякую минуту, оставить в каждом лице своем пример каждому на его отдельном поприще, а всем вообще оставить пример в своем неутомимом Одиссее на общечеловеческом поприще.

Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгневие старцев, это радушное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку, как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая мысль

не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас существа и что ничего не может он сделать своими собственными силами, словом — все, всякая малейшая черта в «Одиссее» говорит о внутреннем желании поэта всех поэтов оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства в то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядков, когда еще никакими гражданскими и письменными постановленьями не были определены отношения людей, когда люди еще многого не ведали и даже не предчувствовали и когда один только божественный старец все видел, слышал, соображал и предчувствовал, слепец, лишенный зрения, общего всем людям, и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди!

И как искусно сокрыт весь труд многолетних обдумываний под простотой самого простодушнейшего повествования! Кажется, как бы собрав весь люд в одну семью и усевшись среди них сам, как дед среди внуков, готовый даже с ними ребячиться, ведет он добродушный рассказ свой и только заботится о том, чтобы не утомить никого, не запугать неуместной длиннотой поученья, но развеять и разнести его невидимо по всему творению, чтобы, играя, набрались все того, что

дано не на игрушку человеку, и незаметно бы надыхались тем, что знал он и видел лучшего на своем веку и в своем веке. Можно бы почесть все за изливающуюся без приготовления сказку, если бы по внимательном рассмотрении уже потом не открывалась удивительная постройка всего целого и порознь каждой песни. Как глупы немецкие умники, выдумавшие, будто Гомер — миф, а все творения его — народные песни и рапсодии!

Но рассмотрим то влияние, которое может произвести у нас «Одиссея» *отдельно на каждого.* Во-первых, она подействует на пишущую нашу братию, на сочинителей наших. Она возвратит многих к свету, проведя их, как искусный лоцман, сквозь сумятицу и мглу, нанесенную неустроенными, неорганизовавшимися писателями. Она снова напомнит нам всем, в какой бесхитростной простоте нужно воссоздавать природу, как уяснять всякую мысль до ясности почти ощутительной, в каком уравновешенном спокойствии должна изливаться речь наша. Она вновь даст почувствовать всем нашим писателям ту старую истину, которую век мы должны помнить и которую всегда позабываем, а именно: до тех пор не приниматься за перо, пока все в голове не установится в такой ясности и порядке, что

даже ребенок в силах будет понять и удержать все в памяти. Еще более, чем на самих писателей, «Одиссея» подействует на тех, которые еще готовятся в писатели и, находясь в гимназиях и университетах, видят перед собой еще туманно и неясно свое будущее поприще. Их она может навести с самого начала на прямой путь, избавив от лишнего шатания по кривым закоулкам, по которым натолкались изрядно их предшественники.

Во-вторых, «Одиссея» подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она освежит критику. Критика устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горя бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, понесла дичь. По поводу «Одиссеи» может появиться много истинно дельных критик, тем более что вряд ли есть на свете другое произведение, на которое можно было бы взглянуть с таких многих сторон, как на «Одиссею». Я уверен, что толки, разборы, рассуждения, замечания и мысли, ею возбужденные, будут раздаваться у нас в журналах в продолжение многих лет. Читатели будут от этого не в убытке: критики не будут ничтожны. Для них потребуется много перечесть, оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить; пустой

верхогляд не найдется даже что и сказать об «Одиссее».

В-третьих, «Одиссея» своей русской одеждой, в которую облек ее Жуковский, может подействовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого из наших писателей, не только у Жуковского во всем, что ни писал он доселе, но даже у Пушкина и Крылова, которые несравненно точней его на слова и выражения, не достигала до такой полноты русская речь. Тут заключались все ее извороты и обороты во всех видоизмененьях. Бесконечно огромные периоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и периоды сжатые, краткие, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы речь, у него так братски улегаются друг возле друга, все переходы и встречи противуположностей совершаются в таком благозвучии, все так и сливается в одно, улетучивая тяжелый громозд всего целого, что, кажется, как бы пропал вовсе всякий слог и склад речи: их нет, как нет и самого переводчика. Наместо его стоит перед глазами, во всем величии, старец Гомер, и слышатся те величавые, вечные речи, которые не принадлежат устам какого-нибудь человека, но которых удел вечно раздаваться в мире. Здесь-то увидят наши писатели, с какой

разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство уменьем поместить его в надлежащем месте и как много значит для такого сочинения, которое назначается на всеобщее употребление и есть сочинение гениальное, это наружное благоприличие, эта внешняя отработка всего: тут малейшая соринка заметна и всем бросается в глаза. Жуковский сравнивает весьма справедливо эти соринки с бумажками, которые стали бы валяться в великолепно убранной комнате, где все сияет ясностью зеркала, начиная от потолка до паркета: всякий вошедший прежде всего увидит эти бумажки, именно по тому же самому, почему бы он их вовсе не приметил в неприбранной, нечистой комнате.

В-четвертых, «Одиссея» подействует в любознательном отношении, как на занимающихся науками, так и на не учившихся никакой науке, распространив живое познание древнего мира. Ни в какой истории не начитаешь того, что отыщешь в ней: от нее так и дышит временем минувшим; древний человек, как живой, так и стоит перед глазами, как будто еще вчера его видел и говорил с ним. Так его и видишь во всех

его действиях, во все часы дня: как приготовляется он благоговейно к жертвоприношению, как беседует чинно с гостем за пировою критерой, как одевается, как выходит на площадь, как слушает старца, как поучает юношу; его дом, его колесница, его спальня, малейшая мебель в доме, от подвижных столов до ременной задвижки у дверей, — все перед глазами, еще свежее, чем в отрытой из земли Помпее.

Наконец, я даже думаю, что появление «Одиссеи» произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время, когда таинственною волей Провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя. Когда всем наконец начинает становиться подозрительным то совершенство, на которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение; когда слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тем, чем он есть, может быть, происшедшая от прекрасного источника быть лучше; когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно услышанных идей, слышно какое-то всеобщее

стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действий, как в массах, так и отдельно взятых особях; словом, в это именно время «Одиссея» поразит величавою патриархальностью древнего быта, простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленной, младенческою ясностью человека. В «Одиссее» услышит сильный упрек себе наш XIX век, и упрекам не будет конца, по мере того как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться.

Что может быть, например, уже сильней того упрека, который раздастся в душе, когда разглядишь, как древний человек, с своими небольшими орудиями, со всем несовершенством своей религии, дозволявшей даже обманывать, мстить и прибегать к коварству для истребления врага, с своею непокорной, жестокой, несклонной к повиновенью природой, с своими ничтожными законами, умел, однако же, одним только простым исполнением обычаев старины и обрядов, которые не без смысла были установлены древними мудрецами и заповеданы передаваться в виде святыни от отца к сыну, — одним только простым исполнением этих обычаев дошел до того, что приобрел какую-то стройность и даже

красоту поступков, так что все в нем сделалось величаво с ног до головы, от речи до простого движения и даже до складки платья, и кажется, как бы действительно слышишь в нем богоподобное происхождение человека? А мы, со всеми нашими огромными средствами и орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, переимчивой нашей природой, с религией, которая именно дана нам на то, чтобы сделать из нас святых и небесных людей, — со всеми этими орудиями, умели дойти до какого-то неряшества и неустройства как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными, мелкими, от головы до самого платья нашего, и, ко всему еще в прибавку, опротивели до того друг другу, что не уважает никто никого, даже не выключая и тех, которые толкуют об уважении ко всем.

Словом, на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства «Одиссея» подействует. Много напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себе человечество как свое законное наследство. Многие над многим призадумаются. А между тем многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу

русской земли. Благоухающими устами поэзии навевается на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью!

VIII. Несколько слов о нашей церкви и духовенстве (Из письма к гр. А. П. Т..... му)

Напрасно смущаетесь вы нападениями, которые теперь раздаются на нашу Церковь в Европе. Обвинять в равнодушии духовенство наше будет также несправедливость. Зачем хотите вы, чтобы наше духовенство, доселе отличавшееся величавым спокойствием, столь ему пристойным, стало в ряды европейских крикунов и начало, подобно им, печатать опрометчивые брошюры? Церковь наша действовала мудро. Чтобы защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаем плохо нашу Церковь. Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту Церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души

своей все страстное, похожее на неуместную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту бесстрастия небесного, на которой ей следует пребывать, дабы быть в силах заговорить о таком предмете. Но и эти защиты еще не послужат к полному убеждению западных католиков. Церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны быть Церковь наша и нами же должны возвестить ее правду. Они говорят, что Церковь наша безжизненна. — Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильным выводом: мы трупы, а не Церковь наша, и по нас они назвали и Церковь нашу трупом. Как нам защищать нашу Церковь и какой ответ мы можем дать им, если они нам зададут такие вопросы: «А сделала ли ваша Церковь вас лучшими? Исполняет ли всяк у вас, как следует, свой долг?» Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаем ее даже и теперь? Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает,

где лежит она. Эта Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, — и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!

Нет, храни нас Бог защищать теперь нашу Церковь! Это значит уронить ее. Только и есть для нас возможна одна пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашей мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть *жизнь;* благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину. Пусть миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие

слезы. Проповедник же католичества восточного должен выступить так перед народ, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желания мира, все бы подвигнулось еще прежде, чем он объяснил бы самое дело, и в один голос заговорило бы к нему: «Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей Церкви!»

IX. О том же (Из письма к гр. А. П. Т..... му)

Замечание, будто власть Церкви оттого у нас слаба, что наше духовенство мало имеет светскости и ловкости обращенья в обществе, есть такая нелепость, как и утверждение, будто духовенство у нас вовсе отстранено от всякого прикосновения с жизнью уставами нашей Церкви и связано в своих действиях правительством. Духовенству нашему указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со светом и людьми. Поверьте, что если бы стали они встречаться с нами чаще, участвуя в наших ежедневных собраниях и гульбищах или входя в семейные дела, — это было бы нехорошо. Духовному предстоит много

искушений, гораздо более даже, нежели нам: как раз завелись бы те интриги в домах, в которых обвиняют римско-католических попов. Римско-католические попы именно оттого сделались дурными, что чересчур сделались светскими. У духовенства нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются: исповедь и проповедь. На этих двух поприщах, из которых первое бывает только раз или два в год, а второе может быть всякое воскресенье, можно сделать очень много. И если только священник, видя многое дурное в людях, умел до времени молчать о нем и долго соображать в себе самом, как ему сказать таким образом, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то он уже скажет об этом так сильно на исповеди и проповеди, как никогда ему не сказать на ежедневных с нами беседах. Нужно, чтобы он говорил стоящему среди света человеку с какого-то возвышенного места, чтобы не его присутствие слышал в это время человек, но присутствие Самого Бога, внимающего равно им обоим, и слышался бы обоюдный страх от Его незримого присутствия. Нет, это даже хорошо, что духовенство наше находится в некотором отдалении от нас. Хорошо, что даже самой одеждой своей, не подвластной никаким изменениям и

прихотям наших глупых мод, они отделились от нас. Одежда их прекрасна и величественна. Это не бессмысленное, оставшееся от осьмнадцатого века рококо и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда римско-католических священников. Она имеет смысл: она по образу и подобию той одежды, которую носил Сам Спаситель. Нужно, чтобы и в самой одежде своей они носили себе вечное напоминание о Том, Чей образ они должны представлять нам, чтобы и на один миг не позабылись и не растерялись среди развлечений и ничтожных нужд света, ибо с них тысячу крат более взыщется, чем с каждого из нас; чтобы слышали беспрестанно, что они — как бы другие и высшие люди. Нет, покамест священник еще молод и жизнь ему неизвестна, он не должен даже и встречаться с людьми иначе, как на исповеди и проповеди. Если же и входить в беседу, то разве только с мудрейшими и опытнейшими из них, которые могли бы познакомить его с душой и сердцем человека, изобразить ему жизнь в ее истинном виде и свете, а не в том, в каком она является неопытному человеку. Священнику нужно время также и для себя: ему нужно поработать и над самим собою. Он должен с Спасителя брать пример, Который долгое время провел в пустыне

и не прежде, как после сорокадневного предуготовительного поста, вышел к людям учить их. Некоторые из нынешних умников выдумали, будто нужно толкаться среди света для того, чтобы узнать его. Это просто вздор. Опроверженьем такого мнения служат все светские люди, которые толкаются вечно среди света и при всем том бывают всех пустее. Воспитываются для света не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему: найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех.

X. О лиризме наших поэтов (Письмо к В. А. Ж.....му)

Поведем речь о статье, над которою произнесен смертный приговор, то есть о статье под названием «О лиризме наших поэтов». Прежде всего благодарность за смертный приговор! Вот уже во второй раз я спасен тобою, о мой истинный наставник и учитель! Прошлый год твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотел послать Плетневу в «Современник» мои сказания

о русских поэтах; теперь ты вновь предал уничтожению новый плод моего неразумия. Только один ты меня еще останавливаешь, тогда как все другие торопят неизвестно зачем. Сколько глупостей успел бы я уже наделать, если бы только послушался других моих приятелей! Итак, вот тебе прежде всего моя благодарственная песнь! А затем обратимся к самой статье. Мне стыдно, когда помыслю, как до сих пор еще я глуп и как не умею заговорить ни о чем, что поумнее. Всего нелепее выходят мысли и толки о литературе. Тут как-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выражением вызвал на противоречие. Вновь повторяю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твердый возлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносове и Державине,

даже у Пушкина слышится этот строгий лиризм повсюду, где ни коснется он высоких предметов. Вспомни только стихотворенья его: к пастырю Церкви, «Пророк» и, наконец, этот таинственный побег из города, напечатанный уже после его смерти. Перебери стихи Языкова и увидишь, что он всякий раз становится как-то неизмеримо выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется к чему-нибудь высшему. Приведу одно из его даже молодых стихотворений, под названием «Гений»; оно же не длинно:

Когда, гремя и пламенея,
Пророк на небо улетал,
Огонь могучий проникал
Живую душу Елисея.
Святыми чувствами полна,
Мужала, крепла, возвышалась,
И вдохновеньем озарялась,
И Бога слышала она.
Так гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полет.

Его воскреснувшая сила
Мгновенно зреет для чудес,
И миру новые светила –
Дела избранника небес.

Какой свет и какая строгость величия! Я изъяснял это тем, что наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновенье с верховным источником лиризма — Богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской природы уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему. Я сказал, что два предмета вызывали у наших поэтов этот лиризм, близкий к библейскому. Первый из них — *Россия.* При одном этом имени как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, все становится у него шире и он сам как бы облекается величием, становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то более нежели обыкновенная любовь к отечеству. Любовь к отечеству отозвалась бы приторным хвастаньем. Доказательством тому наши так называемые квасные патриоты: после их похвал, впрочем довольно чистосердечных, только плюнешь на Россию. Между тем заговорит Державин о

России — слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России. Одна простая любовь к отечеству не дала бы сил не только Державину, но даже и Языкову выражаться так широко и торжественно всякий раз, где ни коснется он России. Например, хоть бы в стихах, где он изображает, как наступил было на нее Баторий:

…Повелительный Стефан
В один могущественный стан
Уже сбирал толпы густые –
Да ниспровергнет псковитян,
Да уничтожится Россия!
Но ты, к отечеству любовь,
Ты, чем гордились наши деды,
Ты ополчилась. Кровь за кровь –
И он не праздновал победы!

Эта богатырски трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России, рождается от невольного прикосновения мысли к верховному Промыслу, который так явно слышен в судьбе нашего отечества. Сверх любви участвует здесь сокровенный ужас при виде тех событий, которым повелел

Бог совершиться в земле, назначенной быть нашим отечеством, прозрение прекрасного нового здания, которое покамест не для всех видимо зиждется и которое может слышать всеслышащим ухом поэзии поэт или же такой духовидец, который уже может в *зерне* прозревать его *плод.* Теперь начинают это слышать понемногу и другие люди, но выражаются так неясно, что слова их похожи на безумие. Тебе напрасно кажется, что нынешняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущем России, следует какому-то модному поветрию. Они не умеют вынашивать в голове мыслей, торопятся их объявлять миру, не замечая того, что их мысли еще глупые ребенки, вот и все. И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг: из них один только бывал избранник Божий, которого сказанья вносились в Святую книгу еврейского народа; все же прочие, вероятно, наговаривали много лишнего, но тем не менее они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умели сказать здраво и ясно; иначе народ побил бы их камнями. Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? — Затем, что сильнее других

слышит Божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближенье иного Царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов. И этого не может быть у поэтов, других наций, как бы ни сильно они любили свою отчизну и как бы ни жарко умели выражать такую любовь свою. И в этом не спорь со мною, прекрасный друг мой!

Но перейдем к другому предмету, где также слышится у наших поэтов тот высокий лиризм, о котором идет речь, то есть — *любви к царю.* От множества гимнов и од царям поэзия наша, уже со времен Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выражение. Что их чувства искренни — об этом нечего и говорить. Только тот, кто наделен мелочным остроумием, способным на одни мгновенные, легкие соображенья, увидит здесь лесть и желанье получить что-нибудь, и такое соображенье оснует на каких-нибудь ничтожных и плохих одах тех же поэтов. Но тот, кто более нежели остроумен, кто мудр, тот остановится перед теми одами Державина, где он очертывает властелину широкий круг его благотворных действий, где сам, со слезою на глазах, говорит ему о тех слезах, которые готовы заструиться из глаз, не только русских, но даже бесчувственных дикарей, обитающих на

концах его империи, от одного только прикосновенья той милости и той любви, какую может показать народу одна полномощная власть. Тут многое так сказано сильно, что если бы даже и нашелся такой государь, который позабыл бы на время долг свой, то, прочитавши сии строки, вспомнит он вновь его и умилится сам перед святостью званья своего. Только холодные сердцем попрекнут Державина за излишние похвалы Екатерине; но кто сердцем не камень, тот не прочтет без умиленья тех замечательных строф, где говорит, что если и перейдет его мраморный истукан в потомство, так это потому только,

Что пел я россов ту царицу,
Какой другой нам не найти
Ни здесь, ни впредь в пространном мире:
Хвались, хвались моя тем лира!

Не прочтет он также без непритворного душевного волненья сих уже почти предсмертных стихов:

Холодна старость дух, у лиры глас отъемлет:
Екатерины муза дремлет.

...Петь
Уж не могу. Другим певцам греметь
Мои оставлю ветхи струны.
Да черплют вновь из них перуны
Тех чистых пламенных огней,
Как пел я трех царей.

Старик у дверей гроба не будет лгать. При жизни своей носил он, как святыню, эту любовь, унес и за гроб ее, как святыню. Но не об этом речь. Откуда взялась эта любовь? — вот вопрос. Что весь народ слышит ее каким-то сердечным чутьем, а потому и поэт, как чистейшее отражение того же народа, должен был ее услышать в высшей степени — это объяснит только одну половину дела. Полный и совершенный поэт ничему не предается безотчетливо, не проверив его мудростию полного своего разума. Имея ухо слышать вперед, заключа в себе стремленье воссоздавать в полноте ту же вещь, которую другие видят отрывочно, с одной или двух сторон, а не со всех четырех, он не мог не прозревать развития полнейшего этой власти. Как умно определял Пушкин значение полномощного монарха и как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно, —

говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполненьем закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуды не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская

скрыпка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, «верховодец верховного согласья!» Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значенье великих истин! Это внутреннее существо — силу самодержавного монарха он даже отчасти выразил в одном своем стихотворении, которое между прочим ты сам напечатал в посмертном собранье его сочинений, выправил даже в нем стих, а смысла не угадал. Тайну его теперь открою. Я говорю об оде императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: «К Н***». Вот ее происхожденье. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралося; но государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул «Илиаду» и увлекся нечувствительно ее чтеньем во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принеся на лице своем следы иных впечатлений. Сближенье этих двух противуположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе

Пушкина оно оставило сильное впечатленье, и плодом его была следующая величественная ода, которую повторю здесь всю, она же вся в одной строфе:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрыжали.
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей,
В порыве гнева и печали
Ты проклял нас, бессмысленных детей,
Разбив листы своей скрыжали.
Нет, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Сходить под тень долины малой,
Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты

Журчанью пчел над розой алой.

Оставим личность императора Николая и разберем, что такое монарх вообще, как Божий помазанник, обязанный стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог, и вправе ли был Пушкин уподобить его древнему боговидцу Моисею? Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, кто страшною ответственностью за них пред Богом освобожден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданьями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий, — тот может быть уподоблен древнему боговидцу, может, подобно ему, разбить листы своей скрыжали, проклявши ветрено-кружащееся племя, которое, наместо того чтобы стремиться к тому, к чему все должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, от себя самих созданных кумиров. Но Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у небес немощное бессилие человечества, вымолило ее криком

не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви Божией, которая бы все умела простить нам — и забвенье долга нашего, и самый ропот наш, — все, что не прощает на земле человек, чтобы один затем только собрал свою власть в себя самого и отделился бы от всех нас и стал выше всего на земле, чтобы чрез то стать ближе равно ко всем, снисходить с вышины ко всему и внимать всему, начиная от грома небес и лиры поэта до незаметных увеселений наших.

Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкин, задавши вопрос себе самому, что такое эта власть, сам же упал во прах перед величием возникнувшего в душе его ответа. Не мешает заметить, что это был тот поэт, который был слишком горд и независимостию своих мнений, и своим личным достоинством. Никто не сказал так о себе, как он:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа:
Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа.

Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты; но положим, если бы даже стих остался

в своем прежнем виде, он все-таки послужил бы доказательством, и даже еще большим, как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество, как человека, перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость званья своего перед званием венценосца и умел благоговейно поклониться пред теми из них, которые показали миру величество своего званья.

Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен наконец сделаться весь одна *любовь*, и таким образом станет видно всем, почему государь есть образ Божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша. Значенье государя в Европе неминуемо приблизится к тому же выраженью. Все к тому ведет, чтобы вызвать в государях высшую, Божескую любовь к народам. Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов, и мечется, бедный, не зная сам, как и чем себе помочь: всякое постороннее прикосновение жестоко разболевшимся его ранам; всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилятся наконец до того, что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и

сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такою, какою никогда еще не загорался. Из нас, людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже постановлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и званья, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству и которого прикосновенье будет не жестко его ранам, который один может только внести примиренье во все сословия и обратить в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое — быть образом Того на земле, Который Сам есть Любовь. В Европе не приходило никому в ум определять высшее значенье монарха. Государственные люди, зако-

ноискусники и правоведцы смотрели на одну его сторону, именно, как на высшего чиновника в государстве, поставленного от людей, а потому не знают даже, как быть с этой властью, как ей указать надлежащие границы, когда, вследствие ежедневно изменяющихся обстоятельств, бывает нужно то расширить ее пределы, то ограничить ее. А через это и государь и народ поставлены между собой в странное положение: они глядят друг на друга чуть не таким же точно образом, как на противников, желающих воспользоваться властью один на счет другого. Высшее значенье монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю Бога создать ее в России в ее законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только излетает из уст их слово царь. Его слышат у нас и не поэты, потому что страницы нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да образуется в России эта власть в ее полном и совершенном виде. Все события в нашем отечестве, начиная от порабощенья татарского, видимо, клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвесть этот знаменитый переворот всего в государстве, все потрясти и, всех разбудивши, вооружить каж-

дого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в себе самом ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул царь в своем государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этою святою бранью и все придет в сознанье сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия. Смотри также, каким чудным средством, еще прежде, нежели могло объясниться полное значение этой власти как самому государю, так и его подданным, уже брошены были семена взаимной любви в сердца! Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданным. Любовь вошла в нашу кровь, и завязалось у нас всех кровное родство с царем. И так слился и стал одно-едино с подвластным повелитель, что нам всем теперь видится всеобщая беда — государь ли позабудет своего подданного и отрешится от него

или подданный позабудет своего государя и от него отрешится. Как явно тоже оказывается воля Бога — избрать для этого фамилию Романовых, а не другую! Как непостижимо это возведенье на престол никому не известного отрока! Тут же рядом стояли древнейшие родом, и притом мужи доблести, которые только что спасли свое отечество: Пожарский, Трубецкой, наконец князья, по прямой линии происходившие от Рюрика. Всех их мимо произошло избрание, и ни одного голоса не было против: никто не посмел предъявлять прав своих. И случилось это в то смутное время, когда всякий мог вздорить, и оспоривать, и набирать шайки приверженцев! И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линии родственником царю, от которого недавний ужас ходил по всей земле, так что не только им притесняемые и казнимые бояре, но даже и самый народ, который почти ничего не потерпел от него, долго повторял поговорку: «Добра была голова, да слава Богу, что земля прибрала». И при всем том все единогласно, от бояр до последнего бобыля, положило, чтоб он был на престоле. Вот какие у нас делаются дела! Как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов, которые слышали полное определение царя в книгах Ветхого Завета

и которые в то же время так близко видели волю Бога на всех событиях в нашем отечестве, — как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов не был исполнен библейских отголосков? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобы облечь такою суровою трезвостью их звуки: для этого потребно полное и твердое убеждение разума, а не одно безотчетное чувство любви, иначе звуки их вышли бы мягкими, как у тебя в прежних твоих молодых сочинениях, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нет, есть что-то крепкое, слишком крепкое у наших поэтов, чего нет у поэтов других наций. Если тебе этого не видится, то еще не доказывает, чтобы его вовсе не было. Вспомни сам, что в тебе не все стороны русской природы; напротив, некоторые из них взошли в тебе на такую высокую степень и так развивались просторно, что через это не дали места другим и ты уже стал исключеньем из общерусских характеров. В тебе заключились вполне все мягкие и нежные струны нашей славянской природы; но те густые и крепкие ее струны, от которых проходит тайный ужас и содроганье по всему составу человека, тебе не так известны. А они-то и есть родники того лиризма, о котором идет речь. Этот лиризм уже

ни к чему не может возноситься, как только к одному верховному источнику своему — Богу. Он суров, он пуглив, он не любит многословия, ему приторно все, что ни есть на земле, если только он не видит на нем напечатления Божьего. В ком хотя одна крупица этого лиризма, тот, несмотря на все несовершенства и недостатки, заключает в себе суровое, высшее благородство душевное, перед которым дрожит сам и которое заставляет его бежать от всего, похожего на выраженье признательности со стороны людской. Собственный лучший подвиг ему вдруг опротивеет, если за него последует ему какая-нибудь награда: он слишком чувствует, что все высшее должно быть выше награды. Только по смерти Пушкина обнаружились его истинные отношения к государю и тайны двух его лучших сочинений. Никому не говорил он при жизни о чувствах, его наполнявших, и поступил умно. После того как вследствие всякого рода холодных газетных возгласов, писанных слогом помадных объявлений, и всяких сердитых, неопрятно-запальчивых выходок, производимых всякими квасными и неквасными патриотами, перестали верить у нас на Руси искренности всех печатных излияний, — Пушкину было опасно выходить: его бы как раз

назвали подкупным или чего-то ищущим человеком. Но теперь, когда явились только после его смерти эти сочинения, верно, не отыщется во всей России такого человека, который посмел бы назвать Пушкина льстецом или угодником кому бы то ни было. Чрез то святыня высокого чувства сохранена. И теперь всяк, кто даже и не в силах постигнуть дело собственным умом, примет его на веру, сказавши: «Если сам Пушкин думал так, то уж, верно, это сущая истина». Царственные гимны наших поэтов изумляли самих чужеземцев своим величественным складом и слогом. Еще недавно Мицкевич сказал об этом на лекциях Парижу, и сказал в такое время, когда и сам он был раздражен противу нас и все в Париже на нас негодовало. Несмотря, однако ж, на то, он объявил торжественно, что в одах и гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого, но, напротив, что-то свободно-величественное: и тут же, хотя это не понравилось никому из земляков его, отдал честь благородству характеров наших писателей. Мицкевич прав. Наши писатели, точно, заключили в себя черты какой-то высшей природы. В минуты сознания своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальством, если бы их жизнь не

была тому подкрепленьем. Вот что говорит о себе Пушкин, помышляя о будущей судьбе своей:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.

Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет. Как он весь оживлялся и вспыхивал, когда шло дело к тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему! Как выжидал он первой минуты царского благоволения к нему, чтобы заикнуться не о себе, а о другом несчастном, упадшем! Черта истинно русская. Вспомни только то умилительное зрелище, какое представляет посещение всем народом ссыльных, отправляющихся в Сибирь, когда всяк несет от себя — кто пищу, кто деньги, кто христиански-утешительное слово. Ненависти нет к преступнику, нет также и донкишотского порыва сделать из него героя, собирать его факсимили, портреты, или смотреть на него из любопытства, как делается в просвещенной Европе. Здесь что-то более: не желанье

оправдать его или вырвать из рук правосудия, но воздвигнуть упадший дух его, утешить, как брат утешает брата, как повелел Христос нам утешать друг друга. Пушкин слишком высоко ценил всякое стремление воздвигнуть падшего. Вот отчего так гордо затрепетало его сердце, когда услышал он о приезде государя в Москву во время ужасов холеры, — черта, которую едва ли показал кто-нибудь из венценосцев и которая вызвала у него сии замечательные стихи:

Небесами
Клянусь: кто жизнию своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор, –
Клянусь, тот будет Небу другом,
Какой бы ни был приговор
Земли слепой.

Он умел также оценить и другую черту в жизни другого венценосца, Петра. Вспомни стихотворенье «Пир на Неве», в котором он с изумленьем спрашивает о причине необыкновенного торжества в царском доме, раздающегося кликами по всему Петербургу и по Неве, потрясенной пальбою пушек. Он перебирает все случаи, радостные

царю, которые могли быть причиной такого пирования: родился ли государю наследник его престола, именинница ль жена его, побежден ли непобедимый враг, прибыл ли флот, составлявший любимую страсть государя, и на все это отвечает:

Нет, он с подданным мирится,
Виноватому вину
Забывая, веселится,
Чарку пенит с ним одну.
Оттого-то пир веселый,
Речь гостей хмельна, шумна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Только один Пушкин мог почувствовать всю красоту такого поступка. Уметь не только простить своему подданному, но еще торжествовать это прощение, как победу над врагом, — это истинно Божеская черта. Только на небесах умеют поступать так. Там только радуются обращению грешника еще более, чем самому праведнику, и все сонмы невидимых сил участвуют в небесном пиршестве Бога. Пушкин был знаток и оценщик верный всего великого в человеке. Да и как могло

быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всех наших писателей? Замечательно, что во всех других землях писатель находится в каком-то неуважении от общества, относительно своего личного характера. У нас напротив. У нас даже и тот, кто просто кропатель, а не писатель, и не только не красавец душой, но даже временами и вовсе подленек, во глубине России отнюдь не почитается таким. Напротив, у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим. В одной из наших губерний, во время дворянских выборов, один дворянин, который с тем вместе был и литератор, подал было свой голос в пользу человека, совести несколько запятнанной, — все дворяне обратились к нему тут же и его попрекнули, сказавши с укоризной: «А еще и писатель!»

1846

XI. Споры

(Из письма к Л ***)

Споры о наших европейских и славянских началах, которые, как ты говоришь, пробираются уже в гостиные, показывают только то, что мы начинаем просыпаться, но еще не вполне проснулись; а потому немудрено, что с обеих сторон наговаривается весьма много дичи. Все эти славянисты и европисты, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне кажутся только карикатуры на то, чем хотят быть, — все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу. Один подошел слишком близко к строению, так что видит одну часть его; другой отошел от него слишком далеко, так что видит весь фасад, но по частям не видит. Разумеется, правды больше на стороне славянистов и восточников, потому что они все-таки видят весь фасад и, стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях. Но и на стороне европистов и западников тоже есть правда, потому что они говорят довольно подробно и отчетливо о той стене, которая стоит перед их глазами; вина их в том только, что из-за карниза,

венчающего эту стену, не видится им верхушка всего строения, то есть главы, купола и все, что ни есть в вышине. Можно бы посоветовать обоим — одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступиться немного подалее. Но на это они не согласятся, потому что дух гордости обуял обоими. Всякий из них уверен, что он окончательно и положительно прав и что другой окончательно и положительно лжет. Кичливости больше на стороне славянистов: они хвастуны; из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу. Разумеется, что таким строптивым хвастовством вооружают они еще более противу себя европистов, которые давно бы готовы были от многого отступиться, потому что и сами начинают слышать многое, прежде не слышанное, но упорствуют, не желая уступить слишком раскозырявшемуся человеку. Все эти споры еще ничего, если бы только они оставались в гостиных да в журналах. Но дурно то, что два противоположные мнения, находясь в таком еще незрелом и неопределенном виде, переходят уже в головы многих должностных людей. Мне сказывали, что случается (особенно в тех местах, где должность и власть разделена

в руках двух) таким образом, что в одно и то же время один действует совершенно в европейском духе, а другой старается подвизаться решительно в древнерусском, укрепляя все прежние порядки, противуположные тем, которые замышляет собрат его. И оттого, как делам, так и самим подчиненным чиновникам приходит беда: они не знают, кого слушаться. А так как оба мнения, несмотря на всю свою резкость, окончательно всем не определились, то, говорят, этим пользуются всякого рода пройдохи. И плуту оказалась теперь возможность, под маскою славяниста или европиста, смотря по тому, чего хочется начальнику, получить выгодное место и производить на нем плутни в качестве как поборника старины, так и поборника новизны. Вообще споры суть вещи такого рода, к которым люди умные и пожилые покамест не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь: это ее дело. Поверь, уже так заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались затем именно, дабы умные могли в это время надуматься вдоволь. К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся. Мысль твоего сочинения, которым хочешь заняться, очень умна, и я даже уверен, что исполнишь это дело лучше всякого литератора.

Но об одном тебя прошу: производи его в минуты, сколько возможно, хладнокровные и спокойные. Храни тебя Бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его. Вспомни, что ты человек не только немолодой, но даже и весьма в летах. Молодому человеку еще как-нибудь пристал гнев; по крайней мере, в глазах некоторых он придает ему какую-то картинную наружность. Но если старик начнет горячиться, он делается просто гадок; молодежь как раз подымет его на зубки и выставит смешным. Смотри же, чтоб не сказали о тебе:

«Эк, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не делая, а теперь выступил укорять других, зачем они не так делают!» Из уст старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Дух чистейшего незлобия и кротости должен проникать величавые речи старца, так, чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему в возраженье, почувствовав, что неприличны будут ее речи и что седина есть уже святыня.

1844

XII. Христианин идет вперед (Письмо к Щ.....ву)

Друг мой! считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса; он вечно ученик и до самого гроба ученик. По обыкновенному, естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в тридцать лет. От тридцати до сорока еще кое-как идут вперед его силы; дальше же этого срока в нем ничто не подвигается, и все им производимое не только не лучше прежнего, но даже слабее и холодней прежнего. Но для христианина этого не существует, и где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые из людей, перевалясь за сорокалетний возраст, тупеют, устают и слабеют. Перебери всех философов и первейших всесветных гениев: лучшая пора их была только во время их

полного мужества; потом они уже понемногу выживали из своего ума, а в старости впадали даже в младенчество. Вспомни о Канте, который в последние годы обеспамятел вовсе и умер как ребенок. Но пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потом разумом речей своих. Отчего ж это? Оттого, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, за которые наградой всеобщее рукоплесканье, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснула пред ним даль и подвиги — угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать и где подвизаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем

заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно; а желанье быть лучшим и заслужить рукоплесканье на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он, чем дальше, умнее.

Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше, как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Он сам не двигнется вперед, покуда не двигнутся в нас все другие способности, от которых он умнеет. Отвлеченными чтеньями, размышленьями и беспрестанными слушаньями всех курсов наук его заставишь только слишком немного уйти вперед; иногда это даже подавляет его, мешая его самобытному развитию. Он несравненно в большей зависимости находится от душевных состояний: как только забушует страсть, он уже вдруг поступает слепо и глупо; если же покойна душа и не кипит никакая страсть, он и сам проясняется и поступает умно. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстьми. Его имели в

себе только те люди, которые не пренебрегли своим внутренним воспитанием. Но и разум не дает полной возможности человеку стремиться вперед. Есть высшая еще способность; имя ей — мудрость, и ее может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и ум и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до голубиного незлобия и убирая все внутри себя до возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяйство и нет полного согласья во всем. Если же она вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Все становится для него учителем; весь мир для него учитель: ничтожнейший из людей может быть для него учитель. Из совета самого простого извлечет он мудрость совета; глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной, и вся Вселенная перед ним станет, как одна открытая книга ученья: больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет

слышать, что он ученик. Но если только возмнит он хотя на миг, что ученье его кончено и он уже не ученик, и оскорбится он чьим бы то ни было уроком или поученьем, мудрость вдруг от него отнимется и останется он впотьмах, как царь Соломон в свои последние дни.

1846

XIII. Карамзин (Из письма к Н. М. Я….ву)

Я прочел с большим удовольствием похвальное слово Карамзину, написанное Погодиным. Это лучшее из сочинений Погодина в отношении к благопристойности как внутренней, так и внешней: в нем нет его обычных грубо-неуклюжих замашек и топорного неряшества слога, так много ему вредящего. Все здесь, напротив того, стройно, обдумано и расположено в большом порядке. Все места из Карамзина прибраны так умно, что Карамзин как бы весь очертывается самим собою и, своими же словами взвесив и оценив самого себя, становится как живой перед глазами читателя. Карамзин представляет, точно, явление необыкновенное. Вот о ком из наших

писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять. Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независим и почтен всеми равно, как именитейший гражданин в государстве. Он первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензура, и если уже он исполнился чистейшим желанием блага в такой мере, что желанье это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга и ему везде просторно. Он это сказал и доказал. Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали во всем тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что он один имел на то право. Какой урок нашему брату писателю! И как смешны после этого из нас те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды и что она у нас колет глаза! Сам же выразится так нелепо и грубо, что более, нежели самой правдой, уколет теми заносчивыми словами, которыми скажет свою правду, словами запальчивыми, выказывающими неряшество растрепанной души своей, и потом сам же изумляется и негодует, что от него

никто не принял и не выслушал правды! Нет. Имей такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имел Карамзин, и тогда возвещай свою правду: все тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве. И выслушает с такою любовью, с какой не выслушивается ни в какой земле ни парламентский защитник прав, ни лучший нынешний проповедник, собирающий вокруг себя верхушку модного общества, и с какой любовью может выслушать только одна чудная наша Россия, о которой идет слух, будто она вовсе не любит правды.

1846

XIV. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности (Письмо к гр. А. П. Т.....му)

Вы очень односторонни, и стали недавно так односторонни; и оттого стали односторонни, что, находясь на той точке состоянья душевного, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться односторонним всякому человеку. Вы помышляете только об одном душевном спасенье вашем и, не найдя еще той именно дороги, которую вам пред-

назначено достигнуть его, почитаете все, что ни есть в мире, соблазном и препятствием к спасенью. Монах не строже вас. Так и ваши нападенья на театр односторонни и несправедливы. Вы подкрепляете себя тем, что некоторые вам известные духовные лица восстают против театра; но они правы, а вы не правы. Разберите лучше, точно ли они восстают против театра или только противу того вида, в котором он нам теперь является. Церковь начала восставать противу театра в первые века всеобщего водворенья христианства, когда театры одни оставались прибежищем уже повсюду изгнанного язычества и притоном бесчинных его вакханалий. Вот почему так сильно гремел противу них Златоуст. Но времена изменились. Мир весь перечистился сызнова поколеньями свежих народов Европы, которых образованье началось уже на христианском грунте, и тогда сами святители начали первые вводить театр: театры завелись при духовных академиях. Наш Димитрий Ростовский, справедливо поставляемый в ряд святых отцов Церкви, слагал у нас пьесы для представления в лицах. Стало быть, не театр виноват. Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен. Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то,

чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали. Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображенье то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Отделите только собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и тех мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театр. Театр, на котором представляются высокая трагедия и комедии, должен быть в совершенной независимости от всего. Странно и соединить Шекспира с плясуньями или с плясунами в лайковых штанах. Что за сближение? Ноги — ногами, а голова — головой. В некоторых местах Европы это поняли: театр высших драматических представлений там отделен и пользуется один поддержкой правительств; но поняли это в отношении порядка внешнего. Следовало подумать не шутя о том, как поставить все лучшие произве-

дения драматических писателей таким образом, чтобы публика привлеклась к ним вниманием и открылось бы их нравственное благотворное влияние, которое есть у всех великих писателей. Шекспир, Шеридан, Мольер, Гёте, Шиллер, Бомарше, даже Лессинг, Реньяр и многие другие из второстепенных писателей прошедшего века ничего не произвели такого, что бы отвлекало от уважения к высоким предметам; к ним даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипело у тогдашних писателей-фанатиков, занимавшихся вопросами политическими и разнесших неуваженье к святыне. У них, если и попадаются насмешки, то над лицемерием, над кощунством, над кривым толкованьем правого, и никогда над тем, что составляет корень человеческих доблестей; напротив, чувство добра слышится строго даже и там, где брызжут эпиграммы. Частое повторение высокодраматических сочинений, то есть тех истинно классических пьес, где обращено вниманье на природу и душу человека, станет необходимо укреплять общество в правилах более недвижных, заставит нечувствительно характеры более устоиваться в самих себе, тогда как все это наводнение пустых и легких пьес, начиная с водевилей и недодуманных драм

до блестящих балетов и даже опер, их только разбрасывает, рассеивает, становит легким и ветреным общество. Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени к христианству; если не возведешь его на некоторое высшее место, откуда ему станет видней весь необъятный кругозор христианства и понятней то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Есть много среди света такого, которое для всех, отдалившихся от христианства, служит незримой ступенью к христианству. В том числе может быть и театр, если будет обращен к своему высшему назначению. Нужно ввести на сцену во всем блеске все совершеннейшие драматические произведения всех веков и народов. Нужно давать их чаще, как можно чаще, повторяя беспрерывно одну и ту же пьесу. И это можно сделать. Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь их поставить как следует на сцену. Это вздор, будто они устарели и публика потеряла к ним вкус. Публика не имеет

своего каприза; она пойдет, куды поведут ее. Не попотчевай ее сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала к ним вкуса и не потребовала бы их. Возьми самую заиграннейшую пьесу и поставь ее как нужно, та же публика повалит толпой. Мольер ей будет в новость, Шекспир станет заманчивей наисовременнейшего водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была действительно и вполне художественно, чтобы дело это поручено было не кому другому, как первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется в труппе. И не мешать уже сюда никакого приклеиша сбоку, секретаря-чиновника; пусть он один распоряжается во всем. Нужно даже особенно позаботиться о том, чтобы вся ответственность легла на него одного, чтобы он решился публично, перед глазами всей публики сыграть сам по порядку одну за другою все второстепенные роли, дабы оставить живые образцы второстепенным актерам, которые заучивают свои роли по мертвым образцам, дошедшим до них по какому-то темному преданию, которые образовались книжным научением и не видят себе никакого живого интереса в своих ролях. Одно это исполнение первым актером второстепенных ролей может привлечь публику

видеть двадцать раз сряду ту же пьесу. Кому не любопытно видеть, как Щепкин или Каратыгин станут играть те роли, которых никогда дотоле не играли! Потом же, когда первоклассный актер, разыгравши все роли, возвратится вновь на свою прежнюю, он получит взгляд, еще полнейший, как на собственную свою роль, так и на всю пьесу: а пьеса получит вновь еще сильнейшую занимательность для зрителей этой полнотой своего исполнения, — вещью, доселе неслыханной! Нет выше того потрясенья, которое производит на человека совершенно согласованное согласье всех частей между собою, которое доселе мог только слышать он в одном музыкальном оркестре и которое в силе сделать то, что драматическое произведение может быть дано более разов сряду, чем наилюбимейшая музыкальная опера. Что ни говори, но звуки души и сердца, выражаемые словом, в несколько раз разнообразнее музыкальных звуков. Но, повторяю, все это возможно только в таком случае, когда дело будет сделано истинно так, как следует, и полная ответственность всего, по части репертуарной, возляжет на первоклассного актера, то есть трагедией будет заведовать первый трагический актер, а комедией — первый комический актер, когда одни они

будут *исключительные* хоровожди такого дела. Говорю *исключительные,* потому что знаю, как много у нас есть охотников прикомандироваться сбоку во всяком деле. Чуть только явится какое место и при нем какие-нибудь денежные выгоды, как уже вмиг пристегнется сбоку секретарь. Откуда он возьмется, Бог весть: точно как из воды выйдет; докажет тут же свою необходимость ясно, как дважды два; заведет вначале бумажную кропотню только по экономическим делам, потом станет понемногу впутываться во все, и дело пойдет из рук вон. Секретари эти, точно какая-то незримая моль, подточили все должности, сбили и спутали отношенья подчиненных к начальникам и обратно начальников к подчиненным. Мы с вами еще не так давно рассуждали о всех должностях, какие ни есть в нашем государстве. Рассматривая каждую в ее законных пределах, мы находили, что они именно то, что им следует быть, все до единой как бы свыше созданы для нас с тем, чтобы отвечать на все потребности нашего государственного быта, и все сделались не тем оттого, что всяк, как бы наперерыв, старался или расширить пределы своей должности, или даже вовсе выступить из ее пределов. Всякий, даже честный и умный человек, старался хотя на один

вершок быть полномочной и выше своего места, полагая, что он этим-то именно облагородит и себя, и свою должность. Мы перебрали тогда всех чиновников от верху до низу, но секретарей позабыли, а они-то именно больше всех стремятся выступить из пределов своей должности. Где секретарь заведен только в качестве писца, там он хочет сыграть роль посредника между начальником и подчиненным. Где же он поставлен действительно как нужный посредник между начальником и подчиненным, там он начинает важничать: корчит перед этим подчиненным роль его начальника, заведет у себя переднюю, заставит ждать себя по целым часам, — словом, вместо того чтобы облегчить доступ подчиненного к начальнику, только затруднит его. И все это иногда делается не с другим каким умыслом, как только затем, чтобы облагородить свое секретарское место. Я знал даже некоторых совсем недурных и неглупых людей, которые перед моими же глазами так поступали с подчиненными своего начальника, что я краснел за них же. Мой Хлестаков был в эту минуту ничто перед ними. Все это, конечно, еще бы ничего, если бы от этого не происходило слишком много печальных следствий. Много истинно полезных и нужных людей

иногда бросали службу единственно из-за скотинства секретаря, требовавшего к себе самому того же самого уваженья, которым они были обязаны только одному начальнику, и за неисполнение того мстившего им оговорами, внушеньями о них дурного мненья, словом — всеми теми мерзостями, на которые способен только бесчестный человек. Конечно, в управлениях по части искусств, художеств и тому подобного правит или комитет, или один непосредственный начальник, и не бывает места секретарю-посреднику: там он употреблен только записывать определения других или вести хозяйственную часть; но иногда случается и там, от лености членов или чего другого, что он, мало-помалу втираясь, становится посредником и даже вершителем в деле искусства. И тогда выходит просто черт знает что: пирожник принимается за сапоги, а к сапожнику поступает печенье пирогов. Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником; является предписанье, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано. Часто удивляются, как такой-то человек, будучи всегда умным человеком, мог выпустить преглупую бумагу, а в ней он и душой не виноват: бумага вышла из такого угла, откуда и подозревать никто не мог, по по-

словице: «Писал писачка, а имя ему собачка».

Нужно, чтобы в деле какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главном мастере того мастерства, а отнюдь не каком-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновнике, который может быть употреблен только для одних хозяйственных расчетов да для письменного дела. Только сам мастер может учить своей науке, слыша вполне ее потребности, и никто другой. Один только первоклассный актер-художник может сделать хороший выбор пьес, дать им строгую сортировку; один он знает тайну, как производить репетиции, понимать, как важны частые считовки и полные предуготовительные повторения пьесы. Он даже не позволит актеру выучить роль у себя на дому, но сделает так, чтобы все выучилось ими сообща и роль вошла сама собою в голову каждого во время репетиций, так чтобы всяк, окруженный тут же обстановливающими его обстоятельствами, уже невольно от одного соприкосновенья с ними слышал верный тон своей роли. Тогда и дурной актер может нечувствительно набраться хорошего. Покуда актеры еще не заучили наизусть своих ролей, им возможно перенять многое у лучшего актера. Тут всяк, не зная даже сам каким образом, набира-

ется правды и естественности как в речах, так и в телодвиженьях. Тон вопроса дает тон ответу. Сделай вопрос напыщенный, получишь и ответ напыщенный; сделай простой вопрос, простой и ответ получишь. Всякий наипростейший человек уже способен отвечать в такт. Но если только актер заучил у себя на дому свою роль, от него изойдет напыщенный, заученный ответ, и этот ответ уже останется в нем навек: его ничем не переломаешь; ни одного слова не переймет он тогда от лучшего актера; для него станет глухо все окружение обстоятельств и характеров, обступающих его роль, так же как и вся пьеса станет ему глуха и чужда, и он, как мертвец, будет двигаться среди мертвецов. Только один истинный актер-художник может слышать жизнь, заключенную в пьесе, и сделать так, что жизнь эта сделается видной и живой для всех актеров; один он может слышать законную меру репетиций — как их производить, когда прекратить и сколько их достаточно для того, дабы возмогла пьеса явиться в полном совершенстве своем перед публикой. Умей только заставить актера-художника взяться за это дело, как за свое собственное, родное дело, докажи ему, что это его долг и что честь его же искусства того требует от него, — и он это сделает,

он это исполнит, потому что любит свое искусство. Он сделает даже больше, позаботясь, чтобы и последний из актеров сыграл хорошо, сделав строгое исполненье всего целого как бы своей собственной ролью. Он не допустит на сцену никакой пошлой и ничтожной пьесы, какую допустил бы иной чиновник, заботящийся только о приращении сборной денежной кассы, — потому не допустит, что уже его внутреннее эстетическое чувство оттолкнет ее. Ему невозможно также, если бы он даже и вздумал оказать какие-нибудь притеснительные поступки или прижимки относительно вверенных ему актеров, какие делаются людьми чиновными: его не допустит к тому его собственная известность. Какой-нибудь чиновник-секретарь производит отважно свою пакость в уверенности, что как он ни напакости, о том никто не узнает, потому что и сам он — незаметная пешка. Но сделай что-нибудь несправедливое Щепкин или Каратыгин, о том заговорит вдруг весь город. Вот почему особенно важно, чтобы главная ответственность во всяком деле падала на человека, уже известного всем до единого в обществе. Наконец, живя весь в своем искусстве, которое стало уже его высшею жизнью, которого чистоту блюдет он как святыню, художник-актер

не попустит никогда, чтобы театр стал проповедником разврата. Итак, не театр виноват. Прежде очистите театр от хлама, его загромоздившего, и потом уже разбирайте и судите, что такое театр. Я заговорил здесь о театре не потому, чтобы хотел говорить собственно о нем, но потому, что сказанное о театре можно применить почти ко всему. Много есть таких предметов, которые страждут из-за того, что извратили смысл их; а так как вообще на свете есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: «Рассердясь на вши, да шубу в печь», — то через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу. Односторонние люди и притом фанатики — язва для общества, беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смиренья христианского и сомненья в себе; они уверены, что весь свет врет и одни они только говорят правду. Друг мой! смотрите за собой покрепче. Вы теперь именно находитесь в этом опасном состоянии. Хорошо, что покуда вы вне всякой должности и вам не вверено никакого управления; иначе вы, которого я знаю как наиспособнейшего к отправлению самых трудных и сложных должностей, могли бы наделать больше зла и беспорядков, чем самый

неспособный из неспособнейших. Берегитесь и в самих сужденьях своих обо всем! Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, что ни есть на свете, видя во всем одно бесовское. Их удел — впадать в самые грубые ошибки. Нечто тому подобное случилось недавно в литературе. Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин; точно как будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догмах христианских, за которые и сам святитель Церкви принимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшей святостью своей жизни. По-ихнему следовало бы все высшее в христианстве облекать в рифмы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки. Пушкин слишком разумно поступал, что не дерзал переносить в стихи того, чем еще не проникалась вся насквозь его душа, и предпочитал лучше остаться нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, которые слишком отдалились от Христа, чем оттолкнуть их вовсе от христианства такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя христианами. Я не могу даже

понять, как могло прийти в ум критику печатно, в виду всех, возводить на Пушкина такое обвиненье, что сочинения его служат к развращению света, тогда как самой цензуре предписано, в случае если бы смысл какого сочинения не был вполне ясен, толковать его в прямую и выгодную для автора сторону, а не в кривую и вредящую ему. Если это постановлено в закон цензуре, безмолвной и безгласной, не имеющей даже возможности оговориться перед публикою, то во сколько раз больше должна это поставить себе в закон критика, которая может изъясниться и оговориться в малейшем действии своем. Публично выставлять нехристианином человека и даже противником Христа, основываясь на некоторых несовершенствах его души и на том, что он увлекался светом так же, как и всяк из нас им увлекался, — разве это христианское дело? Да и кто же из нас тогда христианин? Этак я могу обвинить самого критика в его нехристианстве. Я могу сказать, что христианин не возымеет такой уверенности в уме своем, чтобы решать такое темное дело, которое известно одному Богу, зная, что ум наш вполне проясняется и может обнимать со всех сторон предмет только от святости нашей жизни, а жизнь его еще не так, может

быть, свята. Христианин перед тем, чтобы обвинить кого-либо в таком уголовном преступлении, каково есть непризнанье Бога в том виде, в каком повелел признавать его Сам Божий Сын, сходивший на землю, задумается, потому что дело это страшное. Он скажет и то: в поэзии многое есть еще тайна, да и вся поэзия есть тайна; трудно и над простым человеком произнести суд свой; произнести же суд окончательный и полный над поэтом может один тот, кто заключил в себе самом поэтическое существо и есть сам уже почти равный ему поэт, — как и во всяком даже простом мастерстве понемногу может судить всяк, но вполне судить может только сам мастер того мастерства. Словом, христианин покажет прежде всего смирение, свое первое знамя, по которому можно узнать, что он христианин. Христианин, наместо того, чтобы говорить о тех местах в Пушкине, которых смысл еще темен и может быть истолкован на две стороны, станет говорить о том, что ясно, что было им произведено в лета разумного мужества, а не увлекающейся юности. Он приведет его величественные стихи пастырю Церкви, где сам говорит о себе, что даже и в те годы, когда он увлекался суетой и прелестию света, его поражал даже один вид служителя Христова.

Но и тогда струны лукавой
Мгновенно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима
Отвергла прах земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Вот на какое стихотворенье Пушкина укажет критик-христианин! Тогда критика его получит смысл и сделает добро: она еще сильней укрепит самое дело, показавши, как даже и тот человек, который заключал в себе все разнородные верованья и вопросы своего времени, так сбивчивые,

так отдаляющие нас от Христа, как даже и тот человек, в лучшие и светлейшие минуты своего поэтического ясновидения, исповедал выше всего высоту христианскую. Но какой теперь смысл критики? — спрашиваю я. Какая польза смутить людей, поселивши в них сомнение и подозрение в Пушкине? Безделица — выставить наиумнейшего человека своего времени не признающим христианства! Человека, на которого умственное поколение смотрит, как на вождя и на передового, сравнительно перед другими людьми! Хорошо еще, что критик был бесталантлив и не мог пустить в ход подобную ложь и что сам Пушкин оставил тому опровержение в своих же стихах; но будь иначе — что другое, кроме безверья наместо веры, мог бы распространить он? Вот что можно сделать, будучи односторонним! Друг мой, храни вас Бог от односторонности: с нею всюду человек произведет зло: в литературе, на службе, в семье, в свете, словом — везде. Односторонний человек самоуверен; односторонний человек дерзок; односторонний человек всех вооружит против себя. Односторонний человек ни в чем не может найти середины. Односторонний человек не может быть истинным христианином: он может быть только фанатиком. Односторонность в

мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму. Словом, храни вас Бог от односторонности! Глядите разумно на всякую вещь и помните, что в ней могут быть две совершенно противуположные стороны, из которых одна до времени вам не открыта. Театр и театр — две разные вещи, равно как и восторг самой публики бывает двух родов: иное дело восторг оттого, когда какая-нибудь балетная танцовщица подымет ногу повыше, и опять иное дело восторг оттого, когда могущественный лицедей потрясающим словом подымет выше все высокие чувства в человеке. Иное дело — слезы оттого, что какой-нибудь заезжий певец расщекотит музыкальное ухо человека, — слезы, которые, как я слышу, проливают теперь в Петербурге и немузыканты; и опять иное дело — слезы оттого, когда живым представленьем высокого подвига человека весь насквозь просвежается зритель и по выходе из театра принимается с новой силою за долг свой, видя подвиг геройский в таковом его исполненье. Друг мой! мы призваны в мир не затем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно Самому Богу, все направлять к добру, — даже и то, что уже

испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу Бога. Те же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними царем Давидом победы, обратились на восхваленье истинного Бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышав хвалу Ему на тех инструментах, на которых она дотоле не раздавалась.

1845

XV. Предметы для лирического поэта в нынешнее время (Два письма к Н. М. Я.....у)

1

Твое стихотворенье «Землетрясенье» меня восхитило. Жуковский также был от него в восторге. Это, по его мнению, лучшее не только из твоих, но даже из всех русских стихотворений. Взять событие из минувшего и обратить его к настоящему — какая умная и богатая мысль! А примененье к поэту, завершающее оду, таково, что его следует всякому из нас, каково бы ни было его поприще, применить к самому себе в

эту тяжелую годину всемирного землетрясенья, когда все помутилось от страха за будущее. Друг! перед тобой разверзается живоносный источник. В словах твоих поэту:

И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины! –

заключаются слова тебе самому. Тайна твоей музы тебе открывается. Нынешнее время есть именно поприще для лирического поэта. Сатирой ничего не возьмешь; простой картиной действительности, оглянутой глазом современного светского человека, никого не разбудишь: богатырски задремал нынешний век. Нет, отыщи в минувшем событье подобное настоящему, заставь его выступить ярко и порази его в виду всех, как поражено было оно гневом Божьим в свое время; бей в прошедшем настоящее, и в двойную силу облечется твое слово: живей через то выступит прошедшее и криком закричит настоящее. Разогни книгу Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило пред Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся Страшный Суд Божий, что встрепенется настоящее. У тебя есть на то орудья и средства: в стихе

твоем есть сила, и упрекающая и подъемлющая. То и другое теперь именно нужно. Одних нужно поднять, других попрекнуть: поднять тех, которые смутились от страхов и бесчинств, их окружающих; попрекнуть тех, которые в святые минуты небесного гнева и страданий повсюдных дерзают предаваться буйству всяких скаканий и позорного ликованья. Нужно, чтобы твои стихи стали так в глазах всех, как начертанные на воздухе буквы, явившиеся на пиру Валтасара, от которых все пришло в ужас еще прежде, чем могло проникнуть самый их смысл. А если хочешь быть еще понятней всем, то, набравшись духа библейского, опустись с ним, как со светочем, во глубины русской старины и в ней порази позор нынешнего времени и углуби в то же время глубже в нас то, перед чем еще позорнее станет позор наш. Стих твой не будет вял, не бойся; старина даст тебе краски и уже одной собой вдохновит тебя! Она так живьем и шевелится в наших летописях. На днях попалась мне книга: «Царские выходы». Казалось, что бы могло быть ее скучней, но и тут уже одни слова и названья царских убранств, дорогих тканей и каменьев — сущие сокровища для поэта; всякое слово так и ложится в стих. Дивишься драгоценности нашего языка:

что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи. Да если только уберешь такими словами стих свой, — целиком унесешь читателя в минувшее. Мне, после прочтенья трех страниц из этой книги, так и виделся везде царь старинных, прежних времен, благоговейно идущий к вечерне в старинном царском своем убранстве.

1844

2

Пишу к тебе под влиянием того ж стихотворенья твоего: «Землетрясенье». Ради Бога, не оставляй начатого дела! Перечитывай строго Библию, набирайся русской старины и, при свете их, приглядывайся к нынешнему времени. Много, много предстоит тебе предметов, и грех тебе их не видеть. Жуковский недаром доселе называл твою поэзию восторгом, никуды не обращенным. Стыдно тратить лирическую силу в виде холостых выстрелов на воздух, тогда как она дана тебе на то, чтобы взрывать камни и ворочать утесы. Оглянись вокруг: все теперь — предметы

для лирического поэта; всяк человек требует лирического воззвания к нему; куды ни поворотишься, видишь, что нужно или попрекнуть, или освежить кого-нибудь.

Попрекни же прежде всего сильным лирическим упреком умных, но унывших людей. Проймешь их, если покажешь им дело в настоящем виде, то есть что человек, предавшийся унынию, есть дрянь во всех отношениях, каковы бы ни были причины уныния, потому что унынье проклято Богом. Истинно русского человека поведешь на брань даже и против уныния, поднимешь его превыше страха и колебаний земли, как поднял поэта в своем «Землетрясении».

Воззови, в виде лирического сильного воззванья, к прекрасному, но дремлющему человеку. Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтобы спасал свою бедную душу: уже он далеко от берега, уже несет и несет его ничтожная верхушка света, несут обеды, ноги плясавиц, ежедневное сонное опьяненье; нечувствительно облекается он плотью и стал уже весь плоть, и уже почти нет в нем души. Завопи воплем и выставь ему ведьму-старость, к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердье, которая ни крохи чувства не отдает назад и об-

ратно. О, если б ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома «Мертвых душ»!

Опозорь в гневном дифирамбе новейшего лихоимца нынешних времен и его проклятую роскошь, и скверную жену его, погубившую щеголяньями и тряпками и себя, и мужа, и презренный порог их богатого дома, и гнусный воздух, которым там дышат, чтобы, как от чумы, от них побежало все бегом и без оглядки.

Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика, какие, к чести высокой породы русской, находятся посреди отважнейших взяточников, которые не берут даже и тогда, как все берет вокруг их. Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотела носить старомодный чепец и стать предметом насмешек других, чем допустить своего мужа сделать несправедливость и подлость. Выставь их прекрасную бедность так, чтобы, как святыня, она засияла у всех на глазах и каждому из них захотелось бы самому быть бедным.

Ублажи гимном того исполина, какой выходит только из русской земли, который вдруг пробуждается от позорного сна, становится вдруг другим; плюнувши в виду всех на свою мерзость и гнус-

нейшие пороки, становится первым ратником добра. Покажи, как совершается это богатырское дело в истинно русской душе; но покажи так, чтобы невольно затрепетала в каждом русская природа и чтобы все, даже в грубом и низшем сословии, вскрикнуло: «Эх, молодец!» — почувствовавши, что и для него самого возможно такое дело.

Много, много предметов для лирического поэта — в книге не вместишь, не только в письме. Всякое истинное русское чувство глохнет, и некому его вызвать! Дремлет наша удаль, дремлет решимость и отвага на дело, дремлет наша крепость и сила, — дремлет ум наш среди вялой и бабьей светской жизни, которую привили к нам, под именем просвещения, пустые и мелкие нововведенья. Стряхни же сон с очей своих и порази сон других. На колени перед Богом, и проси у Него Гнева и Любви! Гнева — противу того, что губит человека, любви — к бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам. Найдешь слова, найдутся выраженья, огни, а не слова, излетят от тебя, как от древних пророков, если только, подобно им, сделаешь это дело родным и кровным своим делом, если только, подобно им, посыпав пеплом главу, раз-

дравши ризы, рыданьем вымолишь себе у Бога на то силу и так возлюбишь спасенье земли своей, как возлюбили они спасенье богоизбранного своего народа.

1844

XVI. Советы (Письмо к Щ……ву)

Уча других, также учишься. Посреди моего болезненного и трудного времени, к которому присоединились еще и тяжелые страдания душевные, я должен был вести такую деятельную переписку, какой никогда у меня не было дотоле. Как нарочно, почти со всеми близкими моей душе случились в это время внутренние события и потрясения. Все каким-то инстинктом обращалось ко мне, требуя помощи и совета. Тут только узнал я близкое родство человеческих душ между собою. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало; самый ум проясняется: дотоле сокрытые положенья и поприща людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому из

них потребно. В последнее время мне случалось даже получать письма от людей, мне почти вовсе незнакомых, и давать на них ответы такие, каких бы я не сумел дать прежде. А между прочим, я ничуть не умней никого. Я знаю людей, которые в несколько раз умней и образованней меня и могли бы дать советы в несколько раз полезнейшие моих; но они этого не делают и даже не знают, как это сделать. Велик Бог, нас умудряющий! и чем же умудряющий? — тем самым горем, от которого мы бежим и хотим сокрыться. Страданьями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но Божье достоянье. Бог ее выработал в тебе; все же дары Божьи даются нам затем, чтобы мы служили ими собратьям нашим: Он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга. Итак, не останавливайся, учи и давай советы! Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, делай так, как думаю я и как положил себе отныне делать всегда: всякий совет и наставление, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человеку, стоящему на самой низкой степени образования, с которым у тебя

ничего не может быть общего, обрати в то же время к самому себе и то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому; тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. Поверь, все придется к тебе самому, и я даже не знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Действуй оружием обоюдуострым! Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно! Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае! Эгоизм — тоже недурное свойство; вольно было людям дать ему такое скверное толкование, а в основанье эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других; стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище.

1846

XVII. Просвещение

(Письмо к В. А. Ж.....му)

Еще раз пишу к тебе с дороги. Брат, благодарю за все! У Гроба Господа испрошу, да поможет мне отдать тебе хотя часть того умного добра, которым наделял меня ты. Веруй, и да не смущается твое сердце! В Москву ты приедешь, как в родную свою семью. Она предстанет тебе желанной пристанью, и в ней будет покойнее тебе, нежели здесь. Ни пустой шум суеты, ни гром экипажа не смутит тебя: объедут бережно и улицу, в которой ты будешь жить. Если кто и приедет тебя навестить, старый ли друг твой или же дотоле незнакомый человек, он станет вперед просить не отдавать ему визита, боясь, чтобы и минута твоего времени не пропала. У нас умеют и даже знают, как почтить того, кто сделал целиком свое дело. Кто так безукоризненно, так честно употреблял все дары свои, не давая задремать своим способностям, не ленясь ни минуты во всю жизнь свою, кто сохранил свежую старость свою, как бы молодость, в то время как все вокруг ее истратили на пустые соблазны и когда молодые превратились в хилых стариков, тот имеет право на вниманье благоговейное. Как патриарх ты будешь в Москве, и на вес золота примут от тебя

юноши старческие слова твои. Твоя «Одиссея» принесет много общего добра, это тебе предрекаю. Она возвратит к свежести современного человека, усталого от беспорядка жизни и мыслей; она обновит в глазах его много того, что брошено им, как ветхое и ненужное для быта; она возвратит его к простоте. Но не меньше добра, если еще не больше, принесут те труды, на которые навел тебя Сам Бог и которые ты держишь покуда разумно под спудом. В них окажется также потребность общая. Не смущайся же и твердо гляди вперед! Да не испугает тебя никакая нестройность того, что бы ты ни встретил. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видим, — наша Церковь. Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено все, что нужно для жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему настрой, всему направленье, всему законная и верная дорога. По мне, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведенье в Россию, минуя нашу Церковь, не испросив у нее на то благословенья. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их

она светом Христовым. Увидишь, как это вдруг и в твоих же глазах будет признано всеми в России, как верующими, так и неверующими, как вдруг выступит всеми узнанная наша Церковь. Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая слепота пала на глаза многих. Когда разбираю пристально нить событий мира, вижу всю мудрость Божью, попустившую временному разделенью Церквей, повелевшую одной стоять неподвижно и как бы вдали от людей, а другой — волноваться вместе с людьми; одной — не принимать в себя никаких нововведений, кроме тех, которые были внесены святыми людьми лучших времен христианства и первоначальными Отцами Церкви, другой — меняясь и применяясь ко всем обстоятельствам времени, духу и привычек людей, вносить все нововведения, сделанные даже порочными несвятыми епископами; одной — на время как бы умереть для мира, другой — на время как бы овладеть всем миром; одной — подобно скромной Марии, отложивши все попеченья о земном, поместиться у ног Самого Господа, затем, чтобы лучше наслушаться слов Его, прежде чем применять и передавать их людям, другой же — подобно заботливой хозяйке Марфе, гостеприимно хлопотать около людей, передавая им

еще не взвешенные всем разумом слова Господни. Благую часть избрала первая, что так долго прислушивалась к словам Господа, вынося упреки недальновидной сестры своей, которая уже было осмелилась называть ее *мертвым* трупом и даже заблудшей и отступившей от Господа. Нелегко применить Слово Христово к людям, и следовало ей прежде сильно проникнуться им самой. Зато в нашей Церкви сохранилось все, что нужно для ныне просыпающегося общества. В ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышленьем, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противуречий, которых не в силах примирить теперь Церковь Западная. Западная Церковь была еще достаточна для прежнего несложного порядка, еще могла кое-как управлять миром и мирить его со Христом во имя одностороннего и неполного развития человечества. Теперь же, когда человечество стало достигать развития полнейшего во всех своих силах, во всех свойствах, как хороших, так и дурных, она его только отталкивает от Христа: чем больше хлопочет о примирении, тем больше вносит раздор, будучи не в силах осветить узким светом своим всякий нынешний

предмет со всех его сторон. Все сознаются в том, что этим самым введеньем в себя множества постановлений человеческих, сделанных такими епископами, которые еще не достигнули святостью жизни своей до полной и многосторонней христианской мудрости, она сузила взгляд свой на жизнь и мир и не может обхватить их. Полный и всесторонний взгляд на жизнь остался на ее Восточной половине, видимо сбереженной для позднейшего и полнейшего образования человека. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму, во всех его верховных силах; в ней дорога и путь, как устремить все в человеке в один согласный гимн верховному существу. Друг, не смущайся ничем! Если бы седмерицею крат были запутанней нынешние обстоятельства — все примирит и распутает наша Церковь. Уже каким-то неведомым чутьем даже наши светские люди, толкающиеся среди нас, начинают слышать, что есть какое-то сокровище, от которого спасенье, — которое среди нас и которого не видим. Блеснет сокровище, и на всем отсветится блеск его. И время уже недалеко. Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово «просвещение». Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова

этого нет ни на каком языке, оно только у нас. Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем произносит. Недаром архиерей, в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и троесвещник, знаменующий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходившее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: «Свет Христов освещает всех!» Недаром также в другом месте служенья гремят отрывочно, как бы с Неба, вслух всем слова: «Свет просвещенья!» — и ничего к ним не прибавляется больше.

1846

XVIII. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»

1

Вы напрасно негодуете на неумеренный тон некоторых нападений на «Мертвые души». Это имеет свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает все; но кто озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко внаружу, что поневоле ее увидишь. Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупицу ее можно простить всякий оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась. В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать. В самом деле, если бы я не торопился печатаньем рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел потом и сам, что в таком неопрятном виде ей никак нельзя было являться в свет. Самые эпиграммы и насмешки надо мной были мне нужны, несмотря на то что с первого разу пришлись очень не по сердцу. О, как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько

таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку.

Я бы желал, однако ж, побольше критик не со стороны литераторов, но со стороны людей, занятых делом самой жизни, со стороны практических людей; как на беду, кроме литераторов, не отозвался никто. А между тем «Мертвые души» произвели много шума, много ропота, задели за живое многих и насмешкой, и правдой, и карикатурой; коснулись порядка вещей, который у всех ежедневно перед глазами; исполнены промахов, анахронизмов, явного незнанья многих предметов; местами даже с умыслом помещено обидное и задевающее: авось кто-нибудь меня выбранит хорошенько и в брани, в гневе выскажет мне правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голос! А мог всяк. И как бы еще умно! Служащий чиновник мог бы мне явно доказать, в виду всех, неправдоподобность мной изображенного события приведеньем двух-трех действительно случившихся дел и тем бы опроверг меня лучше всяких слов или таким же самым образом мог бы защитить и оправдать

справедливость мной описанного. Приведеньем события случившегося лучше доказывается дело, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованьями. Мог бы то же сделать и купец и помещик — словом, всякий грамотей, сидит ли он сиднем на месте или рыскает вдоль и поперек по всему лицу русской земли. Сверх собственного взгляда своего всяк человек, с того места или ступеньки в обществе, на которую поставили его должность, званье и образованье, имеет случай видеть тот же предмет с такой стороны, с которой, кроме его, никто другой не может видеть. По поводу «Мертвых душ» могла бы написаться всей толпой читателей другая книга, несравненно любопытнейшая «Мертвых душ», которая могла бы научить не только меня, но и самих читателей, потому что — нечего таить греха — все мы очень плохо знаем Россию.

И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышанье! Точно как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души. И меня же упрекают в плохом знанье России! Как будто непременно силой Святого Духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее, — без наученья научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужден-

ный уже самим званьем писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притом еще больной и притом еще принужденный жить вдали от России, какими путями могу я научиться? Меня же не научат этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть один учитель — сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил как следует своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие. И говорю это недаром. Видит Бог, говорю недаром!

1843

2

Я предчувствовал, что все лирические отступления в поэме будут приняты в превратном смысле. Они так неясны, так мало вяжутся с предметами, проходящими пред глазами читателя, так невпопад складу и замашке всего сочинения, что ввели в равное заблуждение как противников, так и защитников. Все места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой счет; я краснел даже от изъяснений их в мою

пользу.

И поделом мне! Ни в каком случае не следовало выдавать сочинения, которое хотя выкроено было недурно, но сшито кое-как белыми нитками, подобно платью, приносимому портным только для примерки. Дивлюсь только тому, что мало было сделано упреков в отношении к искусству и творческой науке. Этому помешало как гневное расположение моих критиков, так и непривычка всматриваться в постройку сочинения. Следовало показать, какие части чудовищно длинны в отношении к другим, где писатель изменил самому себе, не выдержав своего собственного, уже раз принятого тона. Никто не заметил даже, что последняя половина книги отработана меньше первой, что в ней великие пропуски, что главные и важные обстоятельства сжаты и сокращены, неважные и побочные распространены, что не столько выступает внутренний дух всего сочинения, сколько мечется в глаза пестрота частей и лоскутность его. Словом, можно было много сделать нападений несравненно дельнейших, выбранить меня гораздо больше, нежели теперь бранят, и выбранить за дело. Но речь не о том. Речь о лирическом отступлении, на которое больше всего напали журналисты, видя в нем

признаки самонадеянности, самохвальства и гордости, доселе еще неслыханной ни в одном писателе. Разумею то место в последней главе, когда, изобразив выезд Чичикова из города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится сам на его место и, пораженный скучным однообразьем предметов, пустынной бесприютностью пространств наших и грустной песней, несущейся по всему лицу земли русской от моря до моря, обращается в лирическом воззванье к самой России, спрашивая у нее самой объясненья непонятного чувства, его объявшего, то есть: зачем и почему ему кажется, что будто все, что ни есть в ней, от предмета одушевленного до бездушного, вперило на него глаза свои и чего-то ждет от него. Слова эти были приняты за гордость и доселе неслыханное хвастовство, между тем как они ни то, ни другое. Это просто нескладное выраженье истинного чувства. Мне и доныне кажется то же. Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же. Кому при взгляде на эти пустынные, доселе

незаселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому — именно ему самому, тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или же он нерусский в душе. Разберем дело, как оно есть. Вот уже почти полтораста лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещенья европейского, дал в руки нам все средства и орудья для дела, и до сих пор остаются так же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной нашею крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!» Отчего это? Кто виноват? Мы или правительство? Но правительство во все время действовало безустани. Свидетельством тому целые томы постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенных домов, множество изданных книг, множество заведенных заведений

всякого рода: учебных, человеколюбивых, богоугодных и, словом, даже таких, каких нигде в других государствах не заводят правительства. Сверху раздаются вопросы, ответы — снизу. Сверху раздавались иногда такие вопросы, которые свидетельствуют о рыцарски великодушном движенье многих государей, действовавших даже в ущерб собственным выгодам. А как было на это все ответствовано снизу? Дело ведь в применение, в уменье приложить данную мысль таким образом, чтобы она принялась и поселилась в нас. Указ, как бы он обдуман и определителен ни был, есть не более как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желанья применить его к делу той именно стороной, какой нужно и какой следует и какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справедливости Божеской, а не человеческой. Без того все обратится во зло. Доказательство тому — все наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить новое бревно под ноги человеку! Словом — везде, куды ни обращусь, вижу, что виноват применитель, стало быть наш же брат: или виноват тем,

что поторопился, желая слишком скоро прославиться и схватить орденишку; или виноват тем, что слишком сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвованье; не расспросясь разума, не рассмотрев в жару самого дела, стал им ворочать, как знаток, и потом вдруг, также по русскому обычаю, простыл, увидевши неудачу; или же виноват, наконец, тем, что из-за какого-нибудь оскорбленного мелкого честолюбия все бросил и то место, на котором было начал так благородно подвизаться, сдал первому плуту — пусть его грабит людей. Словом — у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать из-за него и честолюбьем, и самолюбьем, и всеми мелочами легко раздражающегося своего эгоизма и положил самому себе в непременный закон — служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для счастия других, а не для своего. Напротив, в последнее время, как бы еще нарочно, старался русский человек выставить всем на вид свою щекотливость во всех родах и мелочь раздражительного самолюбья своего на всех путях. Не знаю, много ли из нас таких, которые сделали все, что им следовало сделать, и которые могут сказать открыто перед целым

светом, что их не может попрекнуть ни в чем Россия, что не глядит на них укоризненно всякий бездушный предмет ее пустынных пространств, что все ими довольно и ничего от них не ждет. Знаю только то, что я слышал себе упрек. Слышу его и теперь. И на моем поприще писателя, как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу более прочную. Что из того, что в моем сердце обитало всегда желанье добра и что единственно из-за него я взялся за перо? Кто исполнил его? Ну, хоть бы и это мое сочиненье, которое теперь вышло и которому названье «Мертвые души», — произвело ли оно то впечатление, какое должно было произвести, если бы только было написано так, как следует? Своих же собственных мыслей простых, неголоволомных мыслей, я не сумел передать и сам же подал повод к истолкованию их в превратную и скорее вредную, чем полезную сторону. Кто виноват? Неужели мне говорить, что меня подталкивали просьбы приятелей или нетерпеливые желания любителей изящного, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мне говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимые для моего прожития деньги, я должен был поторопиться безвременным

выпуском моей книги? Нет, кто решился исполнить свое дело честно, того не могут поколебать никакие обстоятельства, тот протянет руку и попросит милостыню, если уж до того дойдет дело, тот не посмотрит ни на какие временные нарекания, ниже пустые приличия света. Кто из пустых приличий света портит дело, нужное своей земле, тот ее не любит. Я почувствовал презренную слабость моего характера, мое подлое малодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал болезненный упрек себе во всем, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращенье к России: «В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?» Оно было сказано не для картины или похвальбы: я это чувствовал; я это чувствую и теперь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое званье и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего званья и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Я

слышал то великое поприще, которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что перед ним только такой простор и только его душе знакомо богатырство, — вот отчего у меня исторгнулось то восклицанье, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадеянность!

1843

3

Охота же тебе, будучи таким знатоком и ведателем человека, задавать мне те же пустые запросы, которые умеют задать и другие. Половина их относится к тому, что еще впереди. Ну что толку в подобном любопытстве? Один только запрос умен и достоин тебя, и я бы желал, чтобы его мне сделали и другие, хотя не знаю, сумел ли бы на него отвечать умно, — именно запрос: отчего герои моих последних произведений, и в особенности «Мертвых душ», будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе, точно как бы в сочинении их участвовало

какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще год назад мне было бы неловко отвечать на это даже и тебе. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душе, что они — из души; все мои последние сочинения — история моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, определю тебе себя самого как писателя. Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та *мелочь,* которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей. Оно впоследствии углубилось во мне еще сильней от соединенья с ним некоторого душевного обстоятельства. Но этого я не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило с большей силою в «Мертвых душах». «Мертвые души» не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому так-

же, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на Божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки. Явленье замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращенье от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противуположно ничтожному. Итак, вот в чем мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он

смеялся надо мной.

Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся видней всех моих прочих пороков, все равно как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рожденья моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить Его, было *желанье быть лучшим.* Я не любил никогда моих дурных качеств, и если бы небесная любовь Божья не распорядила так, чтобы они открывались передо мною постепенно и понемногу, наместо того чтобы открыться вдруг и разом перед моими глазами, в то время как я не имел еще никакого понятия о всей неизмеримости Его бесконечного милосердия, — я бы повесился. По мере того как они стали открываться, чудным высшим внушеньем усиливалось во мне желанье избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы

передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует: если бы я видел в этом пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявил. С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем чем ни попало. Если бы кто увидал те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебе только то, что когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда,

и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствие света.* С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души». Я увидел, что многие из гадостей не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их, которая должна быть навеки их уделом. Притом мне хотелось попробовать, что скажет вообще русский человек, если его попотчеваешь его же собственной пошлостью. Вследствие уже давно принятого плана «Мертвых душ» для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты от тех, которые считают себя лучшими других, разумеется только в разжалованном виде из генералов в солдаты. Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей, есть и твои. Я тебе это покажу после, когда это будет тебе нужно; до времени это моя тайна. Мне потребно было отобрать от всех прекрасных людей, которых я знал, все пошлое и гадкое, которое они захватили нечаянно, и возвратить законным их владельцам. Не спрашивай, зачем первая часть должна быть вся *пошлость* и зачем

в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы, — вот и все! Первая часть, несмотря на все свои несовершенства, главное дело сделала: она поселила во всех отвращенье от моих героев и от их ничтожности; она разнесла некоторую мне нужную тоску от самих себя. Покамест для меня этого довольно; за другим я и не гоняюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительней, если бы я, не торопясь выдачею в свет, обработал ее получше. Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселил я их твердо на той земле, на которой им быть долженствовало, и не вошли они в круг наших обычаев, обставясь всеми обстоятельствами действительно русской жизни. Еще вся книга не более как недоносок; но дух ее разнесся уже от нее незримо, и самое ее раннее появленье может быть полезно мне тем, что подвигнет моих читателей указать все промахи относительно общественных и частных порядков внутри России. Вот если бы ты, вместо того чтобы предлагать мне пустые запросы (которыми напичкал половину письма своего и которые ни к чему не ведут, кроме удовлетворения какого-то праздного любопытства), да собрал бы вместо

того дельные замечания на мою книгу, как свои так и других умных людей, занятых, подобно тебе, жизнью опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество событий и анекдотов, какие ни случались в околотке вашем и во всей губернии, в подтвержденье или в опроверженье всякого дела в моей книге, которых можно бы десятками прибрать на всякую страницу, — тогда бы ты сделал доброе дело, и я бы сказал тебе мое крепкое спасибо. Как бы от этого раздвинулся мой кругозор! Как бы освежилась моя голова и как бы успешней пошло мое дело! Но того, о чем я прошу, никто не исполняет: мои запросы никто не считает важными, а только уважает свои; а иной даже требует от меня какой-то искренности и откровенности, не понимая сам, чего он требует. И к чему это пустое любопытство знать вперед и эта пустая, ни к чему не ведущая торопливость, которою, как я замечаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, как в природе совершается все чинно и мудро, в каком стройном законе, и как все разумно исходит одно из другого! Одни мы, Бог весть из чего, мечемся. Все торопится. Все в какой-то горячке. Ну, взвесил ли ты хорошенько слова свои: «Второй том нужен теперь необходимо»? Чтобы я из-за того только,

что есть против меня всеобщее неудовольствие, стал торопиться вторым томом так же глупо, как поторопился с первым. Да разве уж я совсем выжил из ума? Неудовольствие это мне нужно; в неудовольствии человек хоть что-нибудь мне выскажет. И откуда вывел ты заключенье, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою голову? почувствовал существо второго тома? По-твоему, он нужен теперь, а по-моему, не раньше как через два-три года, да и то еще принимая в соображение попутный ход обстоятельств и времени. Кто ж из нас прав? Тот ли, у кого второй том уже сидит в голове, или тот, который даже и не знает, в чем состоит второй том? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно как будто непременно другой должен изо всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся серьезно каким-нибудь делом, уж его торопят со всех сторон, и потом его же выбранят, если сделает глупо, — скажут: «Зачем поторопился?» Но оканчиваю тебе поученье. На твой умный вопрос я отвечал и даже сказал тебе то, чего доселе не говорил еще никому. Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я

сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог. И это вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль. Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той гадостью, которая всем видна. И когда поверяю себя на исповеди перед Тем, Кто повелел мне быть в мире и освобождаться от моих недостатков, вижу много в себе пороков; но они уже не те, которые были в прошлом году: святая сила помогла мне от тех оторваться. А тебе советую не пропустить мимо ушей этих слов, но по прочтенье моего письма остаться одному на несколько минут и, от

всего отделясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши перед собою всю свою жизнь, чтобы проверить на деле истину слов моих. В этом же моем ответе найдешь ответ и на другие запросы, если попристальней вглядишься. Тебе объяснится также и то, почему не выставлял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств — мертвечина будет все, что ни напишет перо твое, и, как земля от Неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошемаров — я также не выдумал, кошемары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло.

1843

4

Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», — говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Нелегко было сжечь пятилет-

ний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержанье вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появленье второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Нужно принимать в соображение не наслажденье каких-нибудь любителей искусств и литературы, но всех читателей, для которых писались «Мертвые души». Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство. Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и

воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим! Нет, по мне, уже лучше временное уныние и тоска от самого себя, чем самонадеянность в себе. В первом случае человек, по крайней мере, увидит свою презренность, подлое ничтожество свое и вспомнит невольно о Боге, возносящем и выводящем все из глубины ничтожества; в последнем же случае он убежит от самого себя прямо в руки к черту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человеку. Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому

он и сожжен. Не судите обо мне и не выводите своих заключений: вы ошибетесь, подобно тем из моих приятелей, которые, создавши из меня свой собственный идеал писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателе, начали было от меня требовать, чтобы я отвечал ими же созданному идеалу. Создал меня Бог и не скрыл от меня назначенья моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое — *душа и прочное дело жизни.* А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему. Опасения же ваши насчет хилого моего здоровья, которое, может быть, не позволит мне написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бывает мне так тяжело, что без Бога и не перенес бы. К изнуренью сил прибавилась еще и зябкость в такой мере, что не знаю, как и чем согреться: нужно делать движенье, а делать движенье — нет сил. Едва час в день выберется для труда, и

тот не всегда свежий. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Тот, Кто горем, недугами и препятствиями ускорил развитие сил и мыслей моих, без которых я бы и не замыслил своего труда, Кто выработал бóльшую половину его в голове моей, Тот даст силу совершить и остальную — положить на бумагу. Дряхлею телом, но не духом. В духе, напротив, все крепнет и становится тверже; будет крепость и в теле. Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных лет.

1846

XIX. Нужно любить Россию (Из письма к гр. А. П. Т……му)

Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдется; в монастырь идут одни, которых уже позвал туда Сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить Того, Которого никто не видал? Какими молитвами и усильями вымолить у Него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну

только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить Того, Кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу Самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям.

Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь Сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадань. А состраданье есть уже начало любви. Уже крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодованье благородных на бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили

тяжелое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в домы этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами, и не знают, как это сделать, и все сливается в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни в ком, — ее нет также и у вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается, в вас все это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви, это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, — последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая

одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите Россию. А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам.

1844

XX. Нужно проездиться по России (Из письма к гр. А. П. Т.....му)

Нет выше званья, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышленье мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобресть право удалиться от мира, нужно уметь распроститься с миром. «Раздай все имущество свое нищим и потом уже ступай в монастырь», — так говорится всем туда идущим. У вас есть богатство, вы его можете раздать нищим; но что же мне раздать? Имущество мое не в деньгах. Бог мне помог накопить несколько умного и душевного добра и дал некоторые способности, полезные и

нужные другим, — стало быть, я должен раздать это имущество не имущим его, а потом уже идти в монастырь. Но и вы одной денежной раздачей не получите на то права. Если бы вы были привязаны к вашему богатству и вам было бы с ним тяжело расставаться, тогда другое дело; но вы к нему охладели, для вас оно теперь ничто, — где ж ваш подвиг и ваше пожертвование? Или выбросивши за окошко ненужную вещь — значит сделать добро своему брату, разумея добро в высоком смысле христианском? Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия! Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она зовет теперь сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни. Друг мой! или у вас бесчувственно сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия. Вспомните, что когда приходила беда ей, тогда из монастырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать ее. Чернецы Ослябя и Пересвет, с благословенья самого настоятеля, взяли в руки меч, противный христианину, и легли на кровавом поле битвы, а вы не хотите взять

поприща мирного гражданина, и где же? — в самом сердце России. Не отговаривайтесь вашей неспособностью, — у вас есть много того, что теперь для России потребно и нужно. Бывши губернатором в двух совершенно противуположных губерниях, исполнивши это дело, несмотря на все ваши тогдашние недостатки, получше многих, вы набрались прямых и положительных сведений о делах, внутри происходящих, и узнали в истинном виде Россию. Но не это главное, и я бы вас не склонял так служить, несмотря на все сведенья ваши, если бы не видел в вас одно то свойство, которое, по моему мненью, значительнее всех прочих, — свойство, не хлопотав ничего, не работая самому, почти ленясь, уметь заставить всех других работать. У вас все двигалось быстро и ходко; и когда, изумляясь, спрашивали у вас самих: «Отчего это?» — вы отвечали: «Все от чиновников, попались хорошие чиновники, которые не дают ничего мне делать самому»; и когда шло дело до представления к наградам, вы всегда выводили вперед ваших чиновников, приписывая все им, а себе ничего. Вот ваше главное достоинство, не говоря уже об уменье выбрать самих чиновников. Не мудрено, что у вас чиновники рвались изо всех сил, и один запи-

сался до того, что нажил чахотку и умер, как ни старались вы оттащить его от дела. Чего не сделает русский человек, если станет таким образом поступать с ним начальник! Это ваше свойство слишком теперь нужно, именно теперь, в это время себялюбья, когда всяк начальник думает о том, как бы выставить вперед себя и приписать все одному себе. Говорю вам, что с этим вашим свойством вы теперь слишком нужны России… и грех вам, что вы даже не слышите этого! Грех был бы и мне, если б я не выставил вам этого свойства. Оно есть ваше лучшее имущество; его от вас просят неимущие, а вы, как скряга, заперли его под замок и еще прикидываетесь глухим. Положим, вам теперь неприлично занять то же самое место, какое занимали назад тому десять лет, не потому, чтобы оно было низко для вас, — слава Богу, честолюбия вы не имеете и в ваших глазах никакая служба не низка, — но потому, что ваши способности, развившись, требуют уже для собственной пищи другого, просторнейшего поприща. Что ж? разве мало мест и поприщ в России? Оглянитесь и обсмотритесь хорошенько, и вы его отыщете. Вам нужно проездиться по России. Вы знали ее назад тому десять лет: это теперь недостаточно. В десять лет внутри

России столько совершается событий, сколько в другом государстве не совершится в полвека. Вы сами заметили, живя здесь, за границей, что в последние два, три года даже начали выходить из нее и люди совершенно другие, не похожие ни в чем с теми, которых вы знали еще не так давно. Чтобы узнать, что такое *Россия нынешняя*, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех людей, никогда еще различие образований и воспитанья не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений. Все это сбило и спутало до того у каждого его мненье о России, что решительно нельзя верить никому. Нужно самому узнавать, нужно проездиться по России. Это особенно хорошо для того, кто побыл некоторое время от нее вдали и приехал с неотуманенной и свежей головою. Он увидит много того, чего не видит человек, находящийся в самом омуте, раздражительный и чувствительный к животрепещущим интересам

минуты. Сделайте ваше путешествие вот каким образом: прежде всего выбросьте из вашей головы все до одного ваши мненья о России, какие у вас ни есть, откажитесь от собственных своих выводов, какие уже успели сделать, представьте себя ровно не знающим ничего и поезжайте как в новую дотоле вам неизвестную землю. Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с бóльшим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях. Клянусь, человек стоит того, чтоб его рассматривать с бóльшим любопытством, нежели фабрику и развалину. Попробуйте только на него взглянуть, вооружась одной каплей истинно братской любви к нему, и вы от него уже не оторветесь — так он станет для вас занимателен. Познакомьтесь прежде всего с теми из них, которые составляют соль каждого города или округа; таких бывает человека два-три в каждом городе. Они вам в немногих чертах очертят весь город, так что вам будет видно уже самому, где и в каких

местах производить наиболее наблюденье над нынешними вещами. Разговорясь с человеком передовым из каждого сословия (с вами же все так охотно разговариваются и развертываются чуть не нараспашку), вы от него узнаете, что такое всякое сословие в его нынешнем виде. Расторопный и бойкий купец вдруг вам объяснит, что такое в их городе купечество; порядочный и трезвый мещанин даст понятье о мещанстве. От чиновника-дельца узнаете должностное производство, а общий цвет и дух общества услышите сами. На передовых людей, однако ж, не весьма полагайтесь, лучше постарайтесь расспросить двух или трех человек из каждого сословия. Не позабывайте того, что теперь все между собою в ссоре, и всяк друг на друга лжет и клевещет беспощадно. С духовенством вы сойдетесь вдруг, потому что с ним вообще вы знакомитесь скоро; от них узнаете остальное. И если вы таким образом проездите только по главным городам и пунктам России, то уже увидите ясно, как день, где и на каком месте вы можете быть полезны и о какой должности следует вам просить. А покуда вы уже одной поездкой вашей можете сделать много добра, если только захотите. В самом путешествии этом предстанут вам такие христианские

подвиги, каких в самом монастыре не встретите. Во-первых, будучи приятны в разговоре, нравясь каждому, вы можете, как посторонний и свежий человек, стать третьим, примиряющим лицом. Знаете ли, как это важно, как это теперь нужно России и какой в этом высокий подвиг! Спаситель оценил его едва ли не выше всех других: Он прямо называет миротворцев сынами Божьими. А миротворцу у нас поприще повсюду. Все перессорилось: дворяне у нас между собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками; мещане между собой, как кошки с собаками; крестьяне, если только не устремлены побуждающей силой на дружескую работу, между собой, как кошки с собаками. Даже честные и добрые люди между собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать. Везде поприще примирителю. Не бойтесь, примирять нетрудно. Людям трудно самим умириться между собою, но, как только станет между ними третий, он их вдруг примирит. Оттого-то у нас всегда имел такую силу третейский суд, истое произведенье земли нашей, успевавший доселе более всех других судов. В природе человека, и

особенно русского, есть чудное свойство: как только заметит он, что другой сколько-нибудь к нему наклоняется или показывает снисхождение, он сам уже готов чуть не просить прощенья. Уступить никто не хочет первый, но как только один решился на великодушное дело, другой уже рвется как бы перещеголять его великодушьем. Вот почему у нас скорей, чем где-либо, могут быть прекращены самые застарелые ссоры и тяжбы, если только станет среди тяжущихся человек истинно благородный, уважаемый всеми и притом еще знаток человеческого сердца. А примиренье, повторяю вновь, теперь нужно: если бы только несколько честных людей, которые, из-за несогласия во мнении насчет одного какого-нибудь предмета, перечат друг другу в действиях, согласились подать друг другу руку, плутам было бы уже худо. Итак, вот вам одна часть подвигов, какие вам могут представиться на каждом шагу вашей поездки по России. Есть и другая, не меньше важная. Вы можете оказать большую услугу духовенству тех городов, через которые будете проезжать, познакомив их лучше с обществом, среди которого они живут, введя их в познание тех вещей и проделок, о которых не говорит вовсе на исповеди нынешний человек,

считая их долженствующими быть вне христианской жизни. Это очень нужно, потому что многие из духовных, как я знаю, уныли от множества бесчинств, возникнувших в последнее время, почти уверились, что их никто теперь не слушает, что слова и проповедь роняются на воздух и зло пустило так глубоко свои корни, что нельзя уже и думать об его искорененье. Это несправедливо. Грешит нынешний человек, точно, несравненно больше, нежели когда-либо прежде, но грешит не от преизобилья своего собственного разврата, не от бесчувственности и не оттого, чтобы хотел грешить, но оттого, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Этого еще не услышал хорошо и сам проповедник; оттого и проповедь его роняется на воздух, и люди глухи к словам его. Сказать: «Не крадьте, не роскошничайте, не берите взяток, молитесь и давайте милостыню неимущим», — теперь ничто и ничего не сделает. Кроме того, что всякий скажет: «Да ведь это уже известно», — но еще оправдается перед самим собой и найдет себя чуть не святым. Он скажет: «Красть я не краду: положи передо мной часы, червонцы, какую

хочешь вещь — я ее не трону; я даже прогнал за воровство своего собственного человека; живу я, конечно, роскошно, но у меня нет ни детей, ни родственников, мне не для кого копить, роскошью я доставляю даже пользу, хлеб мастеровым, ремесленникам, купцам, фабрикантам; взятку я беру только с богатого, который сам просит об этом, которому это не в разоренье; молиться я молюсь, вот и теперь стою в церкви, крещусь и бью поклоны; помогать — помогаю: ни один нищий не уходит от меня без медного гроша, ни от одного пожертвованья на какое-нибудь благотворительное заведение еще не отказывался». Словом, он увидит себя не только правым после такой проповеди, но еще возгордится своей безгрешностью.

Но если поднять перед ним завесу и показать ему хотя часть тех ужасов, которые он производит *косвенно,* а не прямо, тогда он заговорит другое. Сказать честному, но близорукому богачу, что он, убирая свой дом и заводя у себя все на барскую ногу, вредит соблазном, поселяя в другом, менее богатом, такое же желание, который из-за того, чтобы не отстать от него, разоряет не только собственное, но и чуждое имущество, грабит и пускает по миру людей; да вслед за этим и пред-

ставить ему одну из тех ужасных картин голода внутри России, от которых дыбом поднимется у него волос и которых, может быть, не случилось бы, если бы не стал он жить на барскую ногу, да задавать тон обществу и кружить головы другим. Показать таким же самым образом всем модницам, которые не любят никуды появляться в одних и тех же платьях и, не донашивая ничего, нашивают кучи нового, следуя за малейшим уклонением моды, — показать им, что они вовсе не тем грешат, что занимаются этой суетностью и тратят деньги, но тем, что сделали такой образ жизни необходимостью для других, что муж иной жены схватил уже из-за этого взятку с своего же брата чиновника (положим, этот чиновник был богат; но, чтобы доставить взятку, он должен был насесть на менее богатого, а тот, с своей стороны, насел на какого-нибудь заседателя или станового пристава, а становой пристав уже невольно был принужден грабить нищих и неимущих), да вслед за этим и выставить всем модницам картину голода. Тогда им не пойдет на ум какая-нибудь шляпка или модное платье; увидят они, что не спасет их от страшного ответа перед Богом даже и деньга, выброшенная нищему, даже и те человеколюбивые заведения, которые заводят они в

городах на счет ограбленных провинций. Нет, человек не бесчувствен, человек подвигнется, если только ему покажешь дело как есть. Он теперь подвигнется еще более, чем когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, половина грехов его — от неведенья, а не от разврата. Он, как спасителя, облобызает того, который заставит его обратить взгляд на самого себя. Только слегка приподыми проповедник завесу и укажи ему хотя одно из тех ежеминутных преступлений, которые он совершает, у него уже отнимется дух хвастать безгрешностью своей; не станет он оправдывать свою роскошь подлыми и жалкими софизмами, будто бы нужна она затем, чтобы доставлять хлеб мастеровым. Он и сам тогда смекнет, что разорить полдеревни или пол-уезда затем, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу, есть вывод, который мог образоваться только в пустой голове эконома XIX века, а не в здоровой голове умного человека. А что же, если проповедник поднимет всю цепь того множества косвенных преступлений, которые совершает человек своею неосмотрительностью, гордостью и самоуверенностью в себе и покажет всю опасность нынешнего времени, среди которого всяк может погубить разом несколько душ, не только одну

свою, среди которого, даже не будучи бесчестным, можно заставить других быть бесчестными и подлецами одною только своей неосмотрительностью, словом — если только сколько-нибудь покажет, как все опасно ходят? Нет, люди не будут глухи к словам его, не уронится на воздух ни одно слово его проповеди. А вы можете на это навести многих священников, сообщая сведения о всех проделках нынешнего люда, которые вы наберете в дороге. Но не одним священникам, вы можете и другим людям сделать этим пользу. Всем теперь нужны эти сведенья.

Жизнь нужно показать человеку, — жизнь, взятую под углом ее нынешних запутанностей, а не прежних, — жизнь, оглянутую не поверхностным взглядом светского человека, но взвешенную и оцененную таким оценщиком, который взглянул на нее высшим взглядом христианина. Велико незнанье России посреди России. Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек человека; люди, живущие только за одной стеной, кажется, как бы живут за морями. Вы можете во время вашей поездки их познакомить между собою и произвести взаимный благодетельный размен сведений, как расторопный купец, забравши сведения в од-

ном городе, продать их с барышом в другом, всех обогатить и в то же время разбогатеть самому больше всех. Подвиг на подвиге предстоит вам на всяком шагу, и вы этого не видите! Очнитесь! Куриная слепота на глазах ваших! Не залучить вам любви к себе в душу. Не полюбить вам людей по тех пор, пока не послужите им. Какой слуга может привязаться к своему господину, который от него вдали и на которого еще не поработал он лично? Потому и любимо так сильно дитя матерью, что она долго его носила в себе, все употребила на него и вся из-за него выстрадалась. Очнитесь! Монастырь ваш — Россия!

1845

XXI. Что такое губернаторша (Письмо к А. О. С……ой)

Я рад, что здоровье ваше лучше; мое же здоровье… но в сторону наши здоровья; мы должны позабыть о них, так же как и о себе. Итак, вы возвращаетесь вновь в ваш губернский город. Вы должны с новыми силами возлюбить его, — он ваш, он вверен вам, он должен быть вашим родным. Вы напрасно начинаете думать вновь, что

ваше присутствие относительно деятельности общественной в нем совершенно бесполезно, что общество испорчено в корне. Вы просто устали — вот и все. Деятельность губернаторше предстоит всюду, на всяком шагу. Она даже и тогда производит влияние, когда ничего не делает. Вы сами уже знаете, что дело не в суетах и в опрометчивых бросаниях на все. Перед вами два живые примера, которых вы сами назвали. Предшественница ваша Ж*** завела кучу благотворительных заведений, а с ними вместе — и кучи бумажной переписки и возни, экономов, секретарей, кражу, бестолковщину, прославилась благотворительностью в Петербурге и наделала кутерьму в К***; княгиня же О***, бывшая до нее губернаторшей в том же вашем городе К***, не завела никаких заведений, ни приютов, не прошумела нигде дальше своего города, не имела даже никакого влияния на своего мужа и не входила ни во что, собственно правительственное и официальное, а между тем доныне никто в городе не может о ней вспомнить без слез, и всяк, начиная от купца до последнего бобыля, до сих пор еще повторяет: «Нет, не будет другой никогда княгини О***!» А кто это повторяет? Тот же самый город, для которого, вы полагаете, ничего невозможно

сделать, — то же самое общество, которое вы считаете испорченным навеки. Итак, будто бы уж ничего нельзя сделать? Вы устали — вот и все! Устали оттого, что принялись слишком сгоряча, слишком понадеялись на собственные силы, женская прыть вас увлекла… Повторяю вам вновь то же самое, что прежде: ваше влияние сильно. Вы первое лицо в городе, с вас будут перенимать все до последней безделушки, благодаря обезьянству моды и вообще нашему русскому обезьянству. Вы будете законодательницей во всем. Если вы только собственные ваши дела станете обделывать хорошо, то и сим уже сделаете влияние, потому что заставите других заняться получше собственными делами. Гоните роскошь (покамест нет других дел), уже и это благородное дело, оно же притом не требует ни суеты, ни издержек. Не пропускайте ни одного собрания и бала, приезжайте именно затем, чтобы показаться в одном и том же платье; три, четыре, пять, шесть раз надевайте одно и то же платье. Хвалите на всех только то, что дешево и просто. Словом, гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, несправедливостей и мерзостей, какие у нас есть. Если вам только одно это удастся сделать, то вы уже более принесете существенной

пользы, чем сама княгиня О***. А это, как вы сами видите, даже не требует никаких пожертвований, даже и времени не отнимает. Друг мой, вы устали. Из ваших же прежних писем я вижу, что для начала вы уже успели сделать много хорошего (если бы не слишком торопились, вышло бы еще больше), о вас уже распространились слухи вне К***; кое-что из них дошло и до меня. Но вы еще очень поспешны, вы еще слишком увлекаетесь, вас еще слишком шевелит и сражает всякая неприятность и гадость. Друг мой, вспомните вновь мои слова, в справедливости которых, говорите, что сами убедились: глядеть на весь город, как лекарь глядит на лазарет. Глядите же так, но прибавьте к этому еще кое-что, а именно: уверьте самую себя, что все больные, находящиеся в лазарете, суть ваши родные и близкие к сердцу вашему люди, тогда все пред вами изменится: вы с людьми примиритесь и будете враждовать только с их болезнями. Кто вам сказал, что болезни эти неизлечимы? Это вы сами себе сказали, потому что не нашли в руках у себя средства. Что ж, разве вы всезнающий доктор? А зачем вы не обратились с просьбой о помощи к другим? Разве я даром просил вас сообщить все, что ни есть в вашем городе, ввести меня в познание вашего

города, чтобы я имел полное понятие о вашем городе? Зачем же вы этого не сделали, тем более что сами уверены, будто я могу на многое произвести больше влияния, чем вы; тем более что сами же приписываете мне некоторое не всем общее познание людей; тем более, наконец, что сами говорите, будто я вам помог в вашем душевном деле более чем кто-либо другой? Неужели вы думаете, что я не сумел бы так же помочь и вашим неизлечимым больным? Ведь вы позабыли, что я могу и помолиться, молитва моя может достигнуть и до Бога, Бог может послать уму моему вразумление, а ум, вразумленный Богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлен Им.

До сих пор в ваших письмах вы мне давали только общие понятия о вашем городе, в чертах общих, которые могут принадлежать всякому губернскому городу; но и *общие* ваши не полны. Вы понадеялись на то, что я знаю Россию, как пять моих пальцев; а я в ней ровно не знаю ничего. Если я и знал кое-что, то и это со времени моего отъезда уже изменилось. В самом составе управления губерний произошли значительные перемены: многие места и чиновники отошли от зависимости губернатора и поступили в ведом-

ство и управление других министерств; завелись новые чиновники и места, словом — губерния и губернский город являются относительно многих сторон в другом виде, а я просил вас ввести меня *совершенно* в ваше положение, не какое-либо *идеальное,* но *существенное,* чтобы я видел от мала до велика все, что вас окружает.

Вы сами говорите, что в небольшое время пребывания вашего в К*** узнали Россию более, чем во всю свою прежнюю жизнь. Зачем же вы не поделились со мной вашими знаниями? Говорите, что не знаете даже, с которого конца начать, что куча сведений вами набрана в голову еще в беспорядке (NB: причина неудач). Я вам помогу их привести в порядок, но только выполните следующую за сим просьбу добросовестно, как только можно, — не так, как привыкла исполнять ваш брат — страстная женщина, которая из десяти слов восемь пропустит и ответит только на два, затем что они пришлись ей как-нибудь по сердцу, но так, как наш брат — холодный, бесстрастный мужчина, или, лучше, как деловой, толковый чиновник, который, ничего не принимая особенно к своему сердцу, отвечает ровно на все пункты.

Вы должны ради меня начать вновь рассмотрение вашего губернского города. Во-первых, вы

мне должны назвать все главные лица в городе по именам, отчествам и фамилиям, всех чиновников до единого. Мне это нужно. Я должен быть им так же другом, как вы сами должны быть другом им всем без исключенья. Во-вторых, вы должны мне написать, в чем именно должность каждого. Все это вы должны узнать лично от них самих, а не кого-либо другого. Разговорившись со всяким, вы должны спросить его, в чем состоит его должность, чтобы он назвал вам все ее *предметы* и означил ее *пределы.* Это будет первый вопрос. Потом попросите его, чтобы он изъяснил вам, чем именно и сколько в этой должности, под условием нынешних обстоятельств, можно сделать добра. Это будет второй вопрос. Потом, что именно и сколько в этой же самой должности можно наделать зла. Это будет третий вопрос. Узнавши, отправляйтесь к себе в комнату и тот же час все это на бумагу для меня. Вы уже сим два дела сделаете разом: кроме того, что дадите мне средство впоследствии вам пригодиться, вы узнаете сами из собственных ответов чиновника, как понимает он свою должность, чего ему недостает, словом — своим ответом он обрисует самого себя. Он вас может даже навести на кое-что сделать теперь же… Но не в этом дело: до времени лучше не

торопитесь; не делайте ничего даже и тогда, если бы вам показалось, что можете кое-что сделать и что в силах чему-нибудь помочь. Лучше пока еще попристальней всмотреться; довольствуйтесь покамест тем, чтобы передать мне. Потом на той же страничке, насупротив того же места или на другом лоскутке бумаги — ваши собственные замечания, что вы заметили о каждом господине в особенности, что говорят о нем другие, словом — все, что можно прибавить о нем со стороны.

Потом такие же сведения доставьте мне обо всей женской половине вашего города. Вы же были так умны, что сделали им всем визиты и почти их всех узнали. Впрочем узнали несовершенно, — я в этом уверен. Относительно женщин вы руководствуетесь первыми впечатлениями: которая вам не понравилась, вы ту оставляете. Вы ищете все избранных и лучших. Друг мой! за это я вам сделаю упрек. Вы должны всех любить, особенно тех, в которых побольше дрянца, — по крайней мере, побольше узнать их, потому что от этого зависит многое и они могут иметь большое влияние на мужей. Не торопитесь, не спешите их наставлять, но просто только расспрашивайте; вы же имеете дар выспрашивать. Узнайте не только дела и занятия каждой, но даже образ

мыслей, вкусы, что кто любит, что кому из них нравится, на чем конек каждой. Мне все это нужно. По-моему, чтобы помочь кому-либо, нужно узнать его всего насквозь, а без того я даже не понимаю, как можно кому-либо дать какой-либо совет. Всякий совет, какой ему ни дашь, будет обращен к нему своей трудной стороной, будет нелегок, неудобоисполним. Словом, женщин — всех насквозь! чтобы я имел совершенное понятие о вашем городе.

Сверх характеров и лиц обоего пола, запишите всякое случившееся происшествие, сколько-нибудь характеризующее людей или вообще дух губернии, запишите бесхитростно, в таком виде, как было, или как, в каком его передали вам верные люди. Запишите также две-три сплетни на выдержку, какие первые вам попадутся, чтобы я знал, какого рода сплетни у вас плетутся. Сделайте, чтобы это записыванье сделалось постоянным вашим занятием, чтобы на это был определен положенный час в дне. Представляйте себе в мыслях, систематически и во всей полноте, весь объем города, чтобы видеть вдруг, не пропустили ли вы мне чего-либо записать, чтобы я получил наконец полное понятие о вашем городе.

И если вы меня таким образом познакомите

со всеми лицами, с их должностями, и как они ими понимаются, и, наконец, даже с характером самих событий, у вас случающихся, тогда я вам кое-что скажу, и вы увидите, что многое невозможное возможно и неисправимое исправимо. До тех же пор ничего не скажу именно потому, что могу ошибиться, а мне бы этого не хотелось. Мне бы хотелось говорить такие слова, которые попали бы прямо куда следует, ни выше, ни ниже того предмета, на который направлены, — такой дать совет, чтобы вы в ту же минуту сказали: «Он легок, его можно привести в исполнение».

Вот, однако же, кое-что вперед, и то не для вас, а для вашего супруга: попросите его прежде всего обратить вниманье на то, чтобы советники губернского правления были честные люди. Это главное. Как только будут честны советники, тот же час будут честны капитан-исправники, заседатели, словом — все станет честно. Надобно вам знать (если вы этого еще не знаете), что самая безопасная взятка, которая ускользает от всяких преследований, есть та, которую чиновник берет с чиновника по команде сверху вниз; это идет иногда бесконечной лестницей. Капитан-исправник и заседатели часто уже потому должны кривить душой и брать, что с них

берут и что им нужны деньги для того, чтобы заплатить за свое место. Эта купля и продажа может производиться перед глазами и в то же время никем не быть замечена. Храни вас Бог даже и преследовать. Старайтесь только, чтобы сверху было все честно, снизу будет все честно само собою. До времени, пока не вызрело зло, не преследуйте никого; лучше действуйте тем временем нравственно. Мысль ваша, что губернатор всегда имеет возможность сделать много зла и мало добра и что на поприще добра он обрезан в действиях, не совсем справедлива. Губернатор может всегда иметь влияние *нравственное,* даже очень большое, подобно как и вы можете иметь большое *нравственное* влияние, хотя и не имеете власти, установленной законом. Поверьте, что не сделай он визита какому-нибудь господину, об этом будет весь город говорить, станут расспрашивать, за что и почему, — и этот самый господин из-за этой единственной боязни струсит сделать подлость, которую он не струсил бы совершить пред лицом власти и закона. Ваш поступок, то есть ваш и вашего супруга, с уездным судьей М*** уезда, которого вы нарочно вызвали в город с тем, чтобы примирить его с прокурором, почтить его радушным угощением и дружеским приемом за

прямоту, благородство и честность, — поверьте, сделал уже свое действие. Мне нравится при этом случае то, что судья (который, как оказалось, был просвещеннейший человек) одет был таким образом, что его, как вы говорите, не приняли бы в переднюю петербургских гостиных. Хотел бы я в эту минуту поцеловать полу его заношенного фрака. Поверьте, что наилучший образ действий в нынешнее время — не вооружаться жестоко и жарко противу взяточников и дурных людей и не преследовать их, но стараться вместо того выставлять на вид всяческую честную черту, дружески, в виду всех, пожимать руку прямого, честного человека. Поверьте, что как только будет узнано во всей губернии, что губернатор поступает действительно так, все дворянство уже будет на его стороне. В дворянстве нашем есть удивительная черта, которая меня всегда изумляла, это — чувство благородства, не того благородства, которым заражено дворянство других земель, то есть не благородства рождения или происхождения и не европейского point d'honneur, но настоящего, нравственного благородства. Даже в таких губерниях и таких местах, где, если разобрать порознь иного дворянина, выйдет просто дрянь, а вызови только на какой-нибудь действительно благо-

родный подвиг — все вдруг поднимется точно каким-то электричеством, и люди, которые делают пакости, сделают вдруг благороднейшее дело. И потому всякий благородный поступок губернатора прежде всего найдет отклик в дворянстве. А это важно. Губернатор должен непременно иметь нравственное влияние на дворян, только сим одним он может подвигнуть их на поднятие невидных должностей и неприманчивых мест. А это нужно, потому что если дворянин из той же губернии возьмет какое-нибудь место с тем, чтобы показать, как надобно служить, то, каков бы он ни был сам, хотя и лентяй и многим нехорош, но исполнит так свое дело, как никогда не исполнит присланный чиновник, хотя бы он исшатался век в канцеляриях. Словом, ни в каком случае не должно упускать из виду того, что это те же самые дворяне, которые в двенадцатом году несли всё на жертву, — всё, что ни было у кого за душой.

Когда случится, по причине совершённых гадостей, предать иного чиновника суду, то в таком случае нужно, чтобы он предан был с *отрешением от дел.* Это очень важно. Ибо если он будет предан суду *без отрешения от дел,* то все служащее будет еще долго держать его сторону, он еще

долго станет юлить и найдет средства так все запутать, что никогда не добраться до истины. Но как только он будет предан суду с *отрешением от дел*, он повесит вдруг нос, сделается никому не страшен, на него пойдут со всех сторон улики, все выйдет на чистую воду и вдруг узнается все дело. Но, друг, ради Христа, не оставляйте вовсе спихнутого с места чиновника, как бы он дурен ни был: он несчастен. Он должен с рук вашего мужа перейти на ваши руки; он ваш. Не объясняйтесь с ним сами и не принимайте его, но следуйте за ним издали. Вы хорошо сделали, что выгнали надзирательницу при доме умалишенных за то, что она вздумала продавать булки, назначенные этим несчастным, — преступленье вдвойне гадкое, приемля в соображенье то, что сумасшедшие не могут даже и пожаловаться, а потому изгнаны; ее нужно было сделать публично и гласно. Но не бросайте никакого человека, не отрезывайте возврата никому, следуйте за отрешенным; иногда с горя, с отчаяния, со стыда впадает он еще в большие преступления. Действуйте или через вашего духовника, или вообще через какого-нибудь умного священника, который бы навещал его и давал бы вам отчет о нем беспрестанно, а главное, старайтесь, чтобы он не оставался

без какого-нибудь труда и дела. Не подобьтесь в этом случае *мертвому* закону, но *живому* Богу, Который всеми бичами несчастий поражает человека, но не оставляет его до самого конца его жизни. Каков бы ни был преступник, но если земля его еще носит и гром Божий не поразил его — это значит, что он держится на свете для того, чтобы кто-нибудь, тронувшись его участью, помог ему и спас его. Если же вас, во время ли описаний, которые вы станете делать для меня, или же во время ваших собственных исследований всяких недугов, будут слишком поражать наши печальные стороны и возмутится ваше сердце, — в таком случае советую вам беседовать об этом почаще с архиереем; он же, как видно из слов ваших, умный человек и добрый пастырь. Покажите ему весь лазарет ваш и обнаружьте пред ним все болезни больных ваших. Хотя бы даже он был не большой знаток в науке лечить, то и тогда вы должны ввести его непременно во все припадки, признаки и явления болезней. Старайтесь ему очертить все до последнего так живо, чтобы оно так и носилось у него перед глазами, чтобы город ваш, как живой, пребывал бы беспрестанно в мыслях его, как он должен беспрестанно пребывать в ваших мыслях, чтобы

чрез то самое его мысли стремились сами собой на беспрестанную о нем молитву. Поверьте, что от этого самая проповедь его с каждым воскресеньем будет направляться более и более к сердцам слушателей и он сумеет потом выставить многое начистоту и, не указывая лично ни на кого, сумеет поставить каждого лицом к лицу к его собственной мерзости, так что сам хозяин плюнет на свое же добро. Обратите также внимание на городских священников, узнайте их всех непременно; от них зависит все, и дело улучшенья нашего в их руках, а не в руках кого-либо другого. Не пренебрегайте никем из них, несмотря на простоту и невежество многих. Их скорей можно возвратить к своему долгу, чем кого-либо из нас. У нас, светских, есть гордость, честолюбие, самолюбие, самоуверенность в своем совершенстве, вследствие которых никто у нас не послушается слов и увещаний своего брата, как бы они справедливы ни были, наконец, самые развлеченья… Духовный же, каков бы он ни был, он все-таки более или менее чувствует, что ему должно быть всех смиреннее и всех ниже; притом уже в самом ежедневно отправляемом им служении он слышит себе напоминание, словом — он ближе всех нас к возврату на путь свой, а возвратясь на него

сам, может возвратить и всех нас. И потому, хотя бы вы встретили из них вовсе неспособного, не пренебрегайте, но поговорите с ним хорошенько. Расспросите у каждого, что такое его приход, чтобы он дал вам полное понятие, каковы у него в приходе люди и как он сам понимает и знает их. Не позабудьте, что я до сих пор не знаю, что такое в вашем городе мещанство и купечество; что они также начинают модничать и курить сигарки, это дело повсюдное; мне нужно взять из среды их *живьем* которого-нибудь, чтобы я видел его с ног до головы во всех подробностях. Итак, узнайте об них обо всех в подробности. Одну сторону этого дела вы узнаете от священников, другую от полицмейстера, если потрудитесь с ним хорошенько разговориться об этом предмете, третью сторону узнаете от них самих, если не побрезгуете разговориться с которым-нибудь из них, хотя при выходе из церкви в воскресный день. Все забранные сведения послужат к тому, что очертят перед вами *примерный образ* мещанина и купца, чем он должен быть на самом деле; в уроде вы почувствуете идеал того, чего карикатурой стал урод. Если ж вы это почувствуете, тогда призывайте священников и толкуйте с ними: вы им скажете именно то, что им нужно:

самое существо всякого звания, то есть чем должно быть оно у нас, и карикатуру на это звание, то есть чем оно стало вследствие злоупотребления нашего. Больше не прибавляйте ничего. Он будет сам наведен на ум, если только станет исправлять свою собственную жизнь. Священникам нашим особенно нужна беседа с такими уже готовыми людьми, которые умели бы в немногих, но ярких и метких чертах очертить им пределы и обязанности всякого звания и должности. Часто, единственно из-за этого, иной из них не знает, как ему быть с прихожанами и слушателями, изъясняется общими местами, не обращенными никакой стороной непосредственно к предмету. Войдите также в его собственное положение, помогите его жене и детям, если приход у него беден. Кто погрубей и позадористей, погрозите тому *архиереем;* но вообще старайтесь лучше действовать нравственно. Напоминайте им, что обязанность их слишком страшна, что ответ они дадут больше, чем кто-нибудь из людей всякого другого звания, что теперь и синод, и сам государь обращают особенное внимание на жизнь священника, что всем готовится переборка, потому что не только высшее правительство, но даже все до единого в государстве частные люди

начинают замечать, что причина злу всего есть та, что священники стали нерадиво исполнять свои должности… Объявляйте им почаще те страшные истины, от которых поневоле содрогнется их душа. Словом, не пренебрегайте никак городскими священниками. С помощью их губернаторша может произвести много нравственного влияния на купечество, мещанство и всякое простое сословие, обитающее в городе, так много влияния, как даже вы представить теперь себе не можете. Я назову вам только немного из того, что она может сделать, и укажу на средства, как она может это сделать: во-первых… но я вспомнил, что я совершенно не имею никакого понятия о том, какого рода в вашем городе мещанство и купечество: слова мои могут прийтись не совсем кстати, лучше не произносить их вовсе; скажу вам только то, что вы изумитесь потом, когда увидите, сколько на этом поприще предстоит вам таких подвигов, от которых в несколько раз больше пользы, чем от приютов и всяких благотворительных заведений, которые не только не сопряжены ни с какими пожертвованиями и трудами, но обратятся в удовольствие, в отдохновенье и развлеченье духа.

Старайтесь всех избранных и лучших в городе

подвигнуть также на деятельность общественную: всякий из них может сделать много почти подобного вам. Их можно подвигнуть. Если вы мне дадите только полное понятие об их характерах, образе жизни и занятиях, я вам скажу, чем и как их можно подстрекнуть; есть в русском человеке сокровенные струны, которых он сам не знает, по которым можно так ударить, что он весь встрепенется. Вы мне уже назвали некоторых в вашем городе как людей умных и благородных; я уверен, что их отыщется даже и более. Не смотрите на отталкивающую наружность, не смотрите ни на неприятные замашки, грубость, черствость, неловкость обращения, ни даже на фанфаронство, щелкоперность поступков и всякие чересчур ловкие развязности. Мы все в последнее время обзавелись чем-то заносчиво-неприятным в обращении, но при всем том в глубине душ наших пребывает более чем когда-либо добрых чувств, несмотря на то, что мы загромоздили их всяким хламом и даже просто заплевали их сами. Особенно не пренебрегайте женщинами. Клянусь, женщины гораздо лучше нас, мужчин. В них больше великодушия, больше отважности на все благородное; не глядите на то, что они закружились в вихре моды и пустоты.

Если только сумеете заговорить с ними языком самой души, если только сколько-нибудь сумеете очертить перед женщиной ее высокое поприще, которого ждет теперь от нее мир, — ее небесное поприще быть воздвижницей нас на все прямое, благородное и честное, кликнуть клич человеку на благородное стремление, то та же самая женщина, которую вы считали пустой, благородно вспыхнет вся вдруг, взглянет на самую себя, на свои брошенные обязанности, подвигнет себя самую на все чистое, подвигнет своего мужа на исполнение честное долга и, швырнувши далеко в сторону свои тряпки, всех поворотит к делу. Клянусь, женщины у нас очнутся прежде мужчин, благородно попрекнут нас, благородно хлестнут и погонят нас бичом стыда и совести, как глупое стадо баранов, прежде чем каждый из нас успеет очнуться и почувствовать, что ему следовало давно побежать самому, не дожидаясь бича. Вас полюбят, и полюбят сильно, да нельзя им не полюбить вас, если узнают вашу душу; но до того времени вы всех их любите до единого, никак не взирая на то, если бы кто-нибудь вас и не любил…

Но письмо мое становится длинно. Чувствую, что начинаю говорить вещи, может быть, не со-

всем приходящиеся кстати ни вашему городу, ни вам в настоящую вашу минуту; но вы сами тому виной, не сообщивши мне подробных сведений ни о чем. До сих пор я точно как в лесу. Слышу только о каких-то неизлечимых болезнях и не знаю, чем кто болит. А у меня обычай не верить по слухам никаким неизлечимостям, и никогда не назову я никакую болезнь неизлечимой по тех пор, пока не ощупаю ее моей собственной рукою. Итак, рассмотрите же вновь, ради меня, весь город. Опишите все и всех, не избавляя никого от трех неизбежных вопросов: в чем состоит его должность, сколько на ней можно сделать добра и сколько зла. Поступите как прилежная ученица: сделайте для этого тетрадку и не забывайте быть в ваших объясненьях со мной как можно обстоятельней, не позабывайте, что я глуп, решительно глуп, по тех пор, пока не введут меня в самое подробнейшее познание. Лучше воображайте, что перед вами стоит ребенок или такой невежда, которому до последней безделушки нужно все истолковывать; тогда только письмо ваше будет так, как следует. Я не знаю, отчего вы меня почитаете каким-то всезнайкой. Что мне случилось вам кой-что предсказать и предсказанное сбылось, — это произошло единственно оттого,

что вы меня ввели в тогдашнее положение души вашей. Велика важность эдак угадать! Стоит только попристальнее вглядеться в настоящее, будущее вдруг выступит само собою. Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего. Он или соврет, или скажет загадку. Я вас, между прочим, еще побраню за следующие ваши строки, которые здесь выставлю вам перед глазами: *«Грустно и даже горестно видеть вблизи состояние России, но, впрочем, не следует об этом говорить. Мы должны с надеждой и светлым взором смотреть в будущее, которое в руках милосердного Бога».* В руках милосердного Бога все: и настоящее, и прошедшее, и будущее. Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. Оттого и беда вся, что как только, всмотревшись в настоящее, заметим мы, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко или же делается не так, как бы нам хотелось, мы махнем на все рукой и давай пялить глаза в будущее. Оттого Бог и ума нам не дает; оттого и будущее висит у нас у всех точно на воздухе: слышат некоторые, что оно хорошо благодаря некоторым передовым людям, которые тоже услышали его чутьем и еще не проверили законным арифметическим выводом; но как достигнуть до этого будущего, никто

не знает. Оно точно кислый виноград. Безделицу позабыли! Позабыли все, что пути и дороги к этому *светлому* будущему сокрыты именно в этом *темном* и *запутанном* настоящем, которого никто не хочет узнавать: всяк считает его низким и недостойным своего внимания и даже сердится, если выставляют его на вид всем. Введите же хотя меня в познание настоящего. Не смущайтесь мерзостями и подавайте мне всякую мерзость! Для меня мерзости не в диковинку: я сам довольно мерзок. Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходил от многого в уныние и мне становилось страшно за Россию; с тех же пор, как стал я побольше всматриваться в мерзости, я просветлел духом; передо мною стали обнаруживаться исходы, средства и пути, и я возблагоговел еще более перед Провиденьем. И теперь больше всего благодарю Бога за то, что сподобил Он меня, хотя отчасти, узнать мерзости как мои собственные, так и бедных моих собратьев. И если есть во мне какая-нибудь капля ума, свойственного не всем людям, так и то оттого, что всматривался я побольше в эти мерзости. И если мне удалось оказать помощь душевную некоторым близким моему сердцу, а в том числе и вам, так это оттого, что всматривался я побольше в

эти мерзости. И если я приобрел наконец любовь к людям не мечтательную, но существенную, так это все же наконец от того же самого, что всматривался я побольше во всякие мерзости. Не пугайтесь же и вы мерзостей и особенно не отвращайтесь от тех людей, которые вам кажутся почему-либо мерзки. Уверяю вас, что придет время, когда многие у нас на Руси из *чистеньких* горько заплачут, закрыв руками лицо свое, именно оттого, что считали себя слишком чистыми, что хвалились чистотой своей и всякими возвышенными стремленьями куда-то, считая себя чрез это лучшими других. Помните же все это и, помолись, примитесь снова за свои дела бодрей и свежей, чем когда-либо прежде. Перечтите раз пять, шесть мое письмо, именно из-за того, что в нем все разбросано и нет строгого логического порядка, чему, впрочем, виной вы сами. Нужно, чтобы существо письма осталось все в вас, вопросы мои сделались бы вашими вопросами и желанье мое вашим желаньем, чтобы всякое слово и буква преследовали бы вас и мучили по тех пор, пока не исполните моей просьбы таким именно образом, как я хочу.

1846

XXII. Русской помещик (Письмо к Б. Н. Б.....му)

Главное то, что ты уже приехал в деревню и положил себе непременно быть помещиком; прочее все придет само собою. Не смущайся мыслями, будто прежние узы, связывавшие помещика с крестьянами, исчезнули навеки. Что они исчезнули, это правда; что виноваты тому сами помещики, это также правда; но чтобы навсегда или навеки они исчезнули, — плюнь ты на этакие слова: сказать их может только тот, кто далее своего носа ничего не видит. Русского ли человека, который так умеет быть благодарным за всякое добро, какому его ни научишь, русского ли человека трудно привязать к себе? Так можно привязать, что после будешь думать только о том, как бы его отвязать от себя. Если только исполнишь в точности все то, что теперь тебе скажу, то к концу же года увидишь, что я прав. Возьмись за дело помещика как следует за него взяться в настоящем и законном смысле. Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты над ними не потому,

чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которою родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бога. И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же сожги ты перед ними ассигнации, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль, но что потому ты заставляешь их трудиться, что Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб, и прочти им тут же это в Святом Писании, чтобы они это видели. Скажи им всю правду: что с тебя взыщет Бог за последнего негодяя в селе и что по этому самому ты еще больше будешь смотреть за тем, чтобы они работали честно не только тебе, но и себе самим; ибо знаешь, да и они знают, что, заленившись, мужик на все способен — сделается и вор и пьяница, погубит свою душу, да и

тебя поставит в ответ перед Богом. И все, что им ни скажешь, подкрепи тут же словами Святого Писания; покажи им пальцем и самые буквы, которыми это написано; заставь каждого перед тем перекреститься, ударить поклон и поцеловать самую книгу, в которой это написано. Словом, чтобы они видели ясно, что ты во всем, что до них клонится, сообразуешься с волей Божьей, а не с своими какими-нибудь европейскими или иными затеями. Мужик это поймет, ему не нужно много слов. Объяви им всю правду: что душа человека дороже всего на свете и что прежде всего ты будешь глядеть за тем, чтобы не погубил из них кто-нибудь своей души и не предал бы ее на вечную муку. Во всех упреках и выговорах, которые станешь делать уличенному в воровстве, лености или пьянстве, ставь его перед лицом Бога, а не перед своим лицом; покажи ему, чем он грешит против Бога, а не против тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, собери соседей. Попрекни бабу, зачем не отваживала от зла своего мужа и не грозила ему страхом Божьим; попрекни соседей, зачем допустили, что их же брат, середи их же, зажил собакой и губит ни про что свою душу; докажи им, что дадут за то все ответ Богу. Устрой так,

чтобы на всех легла ответственность и чтобы все, что ни окружает человека, упрекало бы и не давало бы ему слишком расстегнуться. Собери силу влиянья, а с нею и ответственность на головы примерных хозяев и лучших мужиков. Растолкуй им ясно, что они не затем, чтобы только самим хорошо жить, но чтобы и других учить хорошему житию, что пьяница не может учить пьяницу и что это их долг. Негодяям же и пьяницам повели, чтобы они оказывали им такое же уваженье, как бы старосте, приказчику, попу или даже самому тебе; чтобы, еще завидевши издали примерного мужика и хозяина, летели бы шапки с головы у всех мужиков и все бы ему давало дорогу; а который посмел бы оказать ему какое-нибудь неуваженье или не послушаться умных слов его, то распеки тут же при всех; скажи ему: «Ах ты невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему в ноги и попроси, чтобы навел тебя на разум; не наведет на разум — собакой пропадешь». А примерных мужиков призвавши к себе и, если они старики, то посадивши их перед собою, потолкуй с ними о том, как они могут наставлять и учить добру других, исполняя таким образом именно то, что

повелел нам Бог. Так поступи только в течение одного года, и увидишь сам, как все пойдет на лад; даже и хозяйство от этого сделается лучше. О главном только позаботься, прочее все приползет само собою. Христос недаром сказал: «Сия вся всем приложится». В крестьянском быту эта истина еще видней, чем в нашем; у них богатый хозяин и хороший человек — синонимы. И в которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро.

Но вот, однако же, тебе совет и в хозяйстве. Только раскуси его хорошенько, и не будешь в накладе. Два человека уже благодарят меня; один из них тебе знакомый К**. Собственно о том, какими отраслями хозяйства следует заниматься и как заниматься, я тебе не скажу. Это знаешь ты лучше меня; притом и деревня твоя мне не известна так, как моя собственная ладонь. А относительно всяких нововведений ты умен и смекнул сам, что не только следует придерживаться всего старого, но всмотреться в него насквозь, чтобы из него же извлечь для него улучшенье. Но я тебе дам совет насчет соприкосновения помещика с крестьянином в хозяйственных делах и работах, что покамест нужнее всего прочего. Припомни отношения прежних помещиков-хозяинов к сво-

им мужикам: будь патриархом, сам начинателем всего и передовым во всех делах. Заведи, чтобы при начале всякого общего дела, как то: посева, покосов и уборки хлеба — был пир на всю деревню, чтобы в эти дни был общий стол для всех мужиков на твоем дворе, как бы в день самого Светлого Воскресенья, и обедал бы ты сам вместе с ними, и вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца. Когда же наступит осень и кончатся полевые работы, воспразднуй таким же образом и еще бóльшим пиршеством окончание работ, в сопровожденье торжественного и благодарственного молебна. Мужика не бей. Съездить его в рожу еще не большое искусство. Это сумеет сделать и становой, и заседатель, даже староста; мужик к этому уже привык и только что почешет слегка у себя в затылке. Но умей пронять его хорошенько словом; ты же на меткие слова мастер. Ругни его при всем народе, но так, чтобы тут же обсмеял его везде народ; это будет для него в несколько раз полезней всяких подзатыльников и зуботычин. Держи у себя в запасе все синонимы молодца для того, кого нужно подстрекнуть, и все синонимы бабы для того, кого нужно попрекнуть,

чтобы слышала вся деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай слово еще похуже, словом — назови всем, чем только не хочет быть русский человек. В комнате не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянских работах. И, где ни появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода глядело все живей и веселей, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе. Поддай и от себя силы словами: «Прихватим-ка разом, ребята, все вместе!» Возьми сам в руки топор или косу; это будет тебе в добро и полезней для твоего здоровья всяких Мариенбадов, медицинских муционов и вялых прогулок.

Замечания твои о школах совершенно справедливы. Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову, и, пришедши домой, он заснет как убитый, богатырским сном. Ты и сам будешь делать то же, когда станешь почаще наведываться на работы. Деревенский священник может сказать гораздо больше истинно нужного для мужика, нежели все эти книжонки. Если

в ком истинно уже зародится охота к грамоте, и притом вовсе не затем, чтобы сделаться плутом-конторщиком, но затем, чтобы прочесть те книги, в которых начертан Божий закон человеку, — тогда другое дело. Воспитай его как сына и на него одного употреби все, что употребил бы ты на всю школу. Народ наш не глуп, что бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы, крючкотворства и каверзничеств. По-настоящему, ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых.

Кстати о священнике. Ты напрасно хлопочешь о его перемене и затеваешь просить архиерея, чтобы он дал тебе более знающего и опытного. Такого священника он тебе не даст, потому что такой священник повсюду нужен. Выбрось даже из головы, чтобы мог отыскаться священник, вполне отвечающий твоему идеалу. Никакая семинария и никакая школа не может так воспитать священника. В семинарии он получает только начальное основание своего воспитания, образуется же вполне в деле жизни. Будь сам ему напутником, ты же понял так хорошо обязанности сельского священника. Если священник дурен, то этому почти всегда виноваты сами

помещики. Они наместо того, чтобы пригреть его у себя в доме как родного, поселить в нем желание беседы лучшей, которая могла бы его чему-нибудь поучить, бросят его среди мужиков, молодого и неопытного, когда он еще и не знает, что такое мужик, поставят его в такое положение, что он еще должен потворствовать и угождать им, наместо того, чтобы уже с самого начала иметь над ними некоторую власть, и после этого вопиют, что у них священники дурные, что они приобрели мужицкие ухватки и ничем не отличаются от простых мужиков. Да я спрашиваю: кто не огрубеет даже из приготовленных и воспитанных? А ты сделай вот как. Заведи, чтобы священник обедал с тобою всякий день. Читай с ним вместе духовные книги: тебя же это чтение теперь занимает и питает более всего. А самое главное, — бери с собой священника повсюду, где ни бываешь на работах, чтобы сначала он был при тебе в качестве помощника, чтобы он видел самолично всю проделку твою с мужиками. Тут он увидит ясно, что такое помещик, что такое мужик и каковы должны быть их отношенья между собою. А между тем и к нему будет больше уваженья со стороны мужиков, когда они увидят, что он идет с тобой об руку. Сделай так, чтобы он

не нуждался в дому своем, чтобы был обеспечен относительно собственного своего хозяйства и через то имел бы возможность быть с тобой беспрестанно. Поверь, что он так наконец привыкнет к тебе, что ему будет скучно без тебя. А привыкнувши к тебе, он от тебя нечувствительно наберется познания вещей, и познания человека, и много всякого добра, потому что в тебе, слава Богу, всего этого довольно, и ты умеешь так ясно и хорошо выражаться, что всяк невольно усвояет себе не только твои мысли, но даже и образ их выраженья, и самые слова твои.

Что же до проповеди, которую ты полагаешь нужною, то на это я тебе скажу вот что: я скорей того мнения, что священнику, не вполне наставленному в своем деле и не ознакомленному с людьми, его окружающими, лучше вовсе не произносить проповеди. Подумал ли ты о том, какое трудное дело сказать умную проповедь и особенно мужикам? Нет, лучше немного потерпи, по крайней мере до тех пор, пока и священник побольше осмотрится, да и ты также. А до того времени посоветую тебе то, что одному уже посоветовал и что, кажется, ему пошло уже впрок. Возьми святых отцов и особенно Златоуста, говорю потому Златоуста, что Златоуст, имея дело

с народом-невежею, принявшим только наружное христианство, но в сердцах остававшимся грубыми язычниками, старался быть особенно доступным к понятиям человека простого и грубого и говорит таким живым языком о предметах нужных и даже очень высоких, что целиком можно обратить места из проповедей его к нашему мужику и он поймет. Возьми Златоуста и читай его вместе с твоим священником, и притом с карандашом в руке, чтобы отмечать тут же все такие места, а таких мест у Златоуста десятками во всей проповеди. И эти самые места пусть он скажет народу; не нужно, чтобы они были длинны: страничка или даже полстранички; чем меньше, тем лучше. Но нужно, чтобы перед тем, как произносить их народу, священник прочитал их несколько раз с тобою вместе, затем, чтобы уметь их произнести ему не только с одушевлением, но таким убедительным голосом, как бы он хлопотал о какой-нибудь собственной выгоде своей, от которой зависит благополучие его жизни. Увидишь, что это будет действительнее, нежели его собственная проповедь. Народу нужно мало говорить, но метко, — не то он может привыкнуть к проповеди так же, как привыкнул к ней высший круг, который ездит слушать зна-

менитых европейских проповедников таким же самым образом, как едет в оперу или в спектакль. У К** священник не говорит никакой проповеди, но, зная насквозь всех мужиков, поджидает только исповеди. И на исповеди так проймет из них всякого, что он как из бани выходит из церкви. З** послал к нему нарочно исповедовать 30 человек рабочих с своей фабрики, пьяниц и мошенников первейшего разбора, а сам стал на паперти церковной, чтобы посмотреть им в лица в то время, как они будут выходить из церкви: все вышли красные как раки. А кажется, немного и держал их на исповеди; по четыре, по пяти человек исповедовал вдруг. И после того, по сказанию самого З**, в продолжение двух месяцев не показывался ни один из них в кабаке, так что окружные целовальники не могли приложить ума, отчего это случилось.

Но довольно. Поработай усердно только год, а там дело уже само собой пойдет работаться так, что не нужно будет тебе и рук прилагать. Разбогатеешь ты как Крез, в противность тем подслеповатым людям, которые думают, будто выгоды помещика идут врознь с выгодами мужиков. Ты им докажешь делом, а не словами, что они врут и что если только помещик взглянул

глазом христианина на свою обязанность, то не только он может укрепить старые связи, о которых толкуют, будто они исчезнули навеки, но связать их новыми, еще сильнейшими связями — связями во Христе, которых уже ничего не может быть сильнее. И ты, не служа доселе ревностно ни на каком поприще, сослужишь такую службу государю в званье помещика, какой не сослужит иной великочиновный человек. Что ни говори, но поставить 800 подданных, которые все, как один, и могут быть примером всем окружающим своей истинно примерною жизнью, — это дело не бездельное и служба истинно законная и великая.

1846

XXIII. Исторический живописец Иванов (Письмо к гр. Матв. Ю. В.....му)

Пишу к вам об Иванове. Что за непостижимая судьба этого человека! Уже дело его стало наконец всем объясняться. Все уверились, что картина, которую он работает, — явленье небывалое, приняли участие в художнике, хлопочут со

всех сторон о том, чтобы даны были ему средства кончить ее, чтобы не умер над ней с голоду художник, — говорю *буквально* — не умер с голоду, — и до сих нор ни слуху ни духу из Петербурга. Ради Христа, разберите, что это все значит. Сюда принеслись нелепые слухи, будто художники и все профессора нашей Академии художеств, боясь, чтобы картина Иванова не убила собою все, что было доселе произведено нашим художеством, из зависти стараются о том, чтоб ему не даны были средства на окончание. Это ложь, я в этом уверен. Художники наши благородны, и если бы они узнали все то, что вытерпел бедный Иванов из-за своего беспримерного самоотверженья и любви к труду, рискуя действительно умереть с голоду, они бы с ним поделились братски своими собственными деньгами, а не то чтобы внушать другим такое жестокое дело. Да и чего им опасаться Иванова? Он идет своей собственной дорогой и никому не помеха. Он не только не ищет профессорского места и житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что уже давно умер для всего в мире, кроме своей работы. Он молит о нищенском содержании, о том содержании, которое дается только начинающему работать ученику, а не о том, которое следует ему,

как мастеру, сидящему над таким колоссальным делом, которого не затевал доселе никто. И этого нищенского содержания, о котором все стараются и хлопочут, не может он допроситься, несмотря на хлопоты всех. Воля ваша, я вижу во всем этом волю Провиденья, уже так определившую, чтобы Иванов вытерпел, выстрадал и вынес все, другому ничему не могу приписать.

Доселе раздавался ему упрек в медленности. Говорили все: «Как! восемь лет сидел над картиной, и до сих пор картине нет конца!» Но теперь этот упрек затихнул, когда увидели, что и капля времени у художника не пропала даром, что одних этюдов, приготовленных им для картины своей, наберется на целый зал и может составить отдельную выставку, что необыкновенная величина самой картины, которой равной еще не было (она больше картин Брюллова и Бруни), требовала слишком много времени для работы, особенно при тех малых денежных средствах, которые не давали ему возможности иметь несколько моделей вдруг, и притом таких, каких бы он хотел. Словом — теперь все чувствуют нелепость упрека в медленности и лени такому художнику, который, как труженик, сидел всю жизнь свою над работою и позабыл даже, существует ли на свете

какое-нибудь наслажденье, кроме работы. Еще более будет стыдно тем, которые попрекали его в медленности, когда узнают и другую сокровенную причину медленности. С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника — явленье слишком редкое в мире, явленье, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля Того, Кто повыше человека. Так уже было определено, чтобы над этою картиной совершилось воспитанье собственно художника, как в рукотворном деле искусства, так и в мыслях, направляющих искусство к законному и высшему назначенью. Предмет картины, как вы уже знаете, слишком значителен. Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения, доселе еще не бранное никем из художников даже прежних богомольно-художественных веков, а именно — первое появленье Христа народу. Картина изображает пустыню на берегу Иордана. Всех видней Иоанн Креститель, проповедующий и крестящий во имя Того, Которого еще никто не видал из народа. Его обступает толпа нагих и раздевающихся, одевающихся и одетых, выходящих из вод и готовых погрузиться в воды. В толпе этой стоят и будущие ученики Самого Спасителя. Все, отправляя свои различные телес-

ные движенья, устремляется внутренним ухом к речам пророка, как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах своих различные чувства: на одних — уже полная вера; на других — еще сомненье; третьи уже колеблются; четвертые понурили главы в сокрушенье и покаянье; есть и такие, на которых видна еще кора и бесчувственность сердечная. В это самое время, когда все движется такими различными движеньями, показывается вдали Тот Самый, во имя Которого уже совершилось Крещение, — и здесь настоящая минута картины. Предтеча взят именно в тот миг, когда, указавши на Спасителя перстом, произносит: «Се Агнец, взъемляй грехи мира!» И вся толпа, не оставляя выражений лиц своих, устремляется или глазом, или мыслию к Тому, на Которого указал пророк. Сверх прежних, не успевших сбежать с лиц впечатлений, пробегают по всем лицам новые впечатления. Чудным светом осветились лица передовых избранных, тогда как другие стараются еще войти в смысл непонятных слов, недоумевая, как может один взять на себя грехи всего мира, и третьи сомнительно колеблют головой, говоря: «От Назарета пророк не приходит». А Он, в небесном спокойствии и чудном отдалении, тихой и твердой

стопой уже приближается к людям.

Безделица — изобразить на лицах весь этот ход *обращенья человека ко Христу!* Есть люди, которые уверены, что великому художнику все доступно. Земля, море, человек, лягушка, драка и пирушка людей, игра в карты и моленье Богу — словом, все может достаться ему легко, будь только он талантливый художник да поучись в академии. Художник может изобразить только то, что он *почувствовал* и о чем в голове его составилась уже полная идея; иначе картина будет мертвая, академическая картина. Иванов сделал все, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины. Вся материальная часть, все, что относится до умного и строгого размещения группы в картине, исполнено в совершенстве. Самые лица получили свое типическое, согласно Евангелию, сходство и с тем вместе сходство еврейское. Вдруг слышишь по лицам, в какой земле происходит дело. Иванов повсюду ездил нарочно изучать для того еврейские лица. Все, что ни относится до гармонического размещенья цветов, одежды человека и до обдуманной ее наброски на тело, изучено в такой степени, что всякая складка привлекает вниманье знатока. Наконец, вся ландшафтная часть, на которую

обыкновенно не много смотрит исторический живописец, вид всей живописной пустыни, окружающей группу, исполнен так, что изумляются сами ландшафтные живописцы, живущие в Риме. Иванов для этого просиживал по нескольким месяцам в нездоровых Понтийских болотах и пустынных местах Италии, перенес в свои этюды все дикие захолустья, находящиеся вокруг Рима, изучил всякий камешек и древесный листик, словом — сделал все, что мог сделать, все изобразил, чему только нашел образец. Но как изобразить то, чему еще не нашел художник образца? Где мог найти он образец для того, чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины, — представить в лицах весь ход человеческого обращенья ко Христу? Откуда мог он взять его? Из головы? Создать воображеньем? Постигнуть мыслью? Нет, пустяки! Холодна для этого мысль и ничтожно воображенье. Иванов напрягал воображенье, елико мог, старался на лицах всех людей, с какими ни встречался, ловить высокие движенья душевные, оставался в церквях следить за молитвой человека — и видел, что все бессильно и недостаточно и не утверждает в его душе полной идеи о том, что нужно. И это было предметом сильных страданий его душевных и

виной того, что картина так долго затянулась. Нет, пока в самом художнике не произошло истинное обращенье ко Христу, не изобразить ему того на полотне. Иванов молил Бога о ниспослании ему такого полного обращенья, лил слезы в тишине, прося у Него же сил исполнить Им же внушенную мысль; а в это время упрекали его в медленности и торопили его! Иванов просил у Бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которою теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди, и вдохновил бы его так изобразить это обращение, чтобы умилился и нехристианин, взглянувши на его картину; а его в это время укоряли даже знавшие его люди, даже приятели, думая, что он просто ленится, и помышляли сурьезно о том, нельзя ли голодом и отнятием всех средств заставить его кончить картину. Сострадательнейшие из них говорили: «Сам же виноват; пусть бы большая картина шла своим чередом, а в промежутках мог бы он работать малые картины, брать за них деньги и не умереть с голода», — говорили, не ведая того, что художнику, которому труд его, по воле Бога, обратился в его душевное дело, уже невозможно заняться никаким другим трудом, и нет у него промежутков, не устремится и мысль

его ни к чему другому, как он ее ни принуждай и ни насилуй. Так верная жена, полюбившая истинно своего мужа, не полюбит уже никого другого, никому не продаст за деньги своих ласк, хотя бы этим средством могла бы спасти от бедности себя и мужа. Вот каковы были обстоятельства душевные Иванова. Вы скажете: «Да зачем же он не изложил всего этого на бумаге? Зачем не описал ясно своего действительного положения? тогда бы ему вдруг были высланы деньги». Да, как бы не так! Попробуй кто-нибудь из вас, еще не доказавший сил, еще не умеющий самому себе высказать себя, объясняться с людьми, стоящими на других поприщах, которые не могут, весьма естественно, даже постигнуть, что может существовать в искусстве его высшая степень, свыше той, на которой оно стоит в нынешнем модном веке! Неужели ему сказать: «Я произведу одно такое дело, которое вас потом изумит, но которого вам не могу теперь рассказать, потому что многое покуда и мне самому еще не совсем понятно, а вы, во все то время, как я буду сидеть над работой, ждите терпеливо и давайте мне деньги на содержанье»? Тогда, пожалуй, явятся много таких охотников, которые заговорят таким же образом, — да им разве безумец даст

деньги. Положим даже, что Иванов мог бы в это неясное время выразиться ясно и сказать так: «Мне внушена кем-то свыше меня преследующая мысль — изобразить кистью обращенье человека ко Христу. Я чувствую, что не могу этого сделать, не обратившись истинно сам. А потому ждите, покуда во мне самом не произойдет это обращенье, и давайте до того времени мне деньги на мое содержанье и на мою работу». Да ему тогда в один голос закричим мы все: «Что ты, брат, за нескладицу городишь? за дураков, что ли, нас принял? Что за связь у души с картиной? Душа сама по себе, а картина сама по себе. Что нам ждать твоего обращенья! Ты должен быть и без того христианин; ведь вот мы же все истинные христиане». Вот что мы скажем все Иванову, и каждый из нас почти прав. Не будь этих же самых тяжелых его обстоятельств и внутренних терзаний душевных, которые силою заставили его обратиться жарче других к Богу и дали ему способность к Нему прибегать и жить в Нем так, как не живет в Нем нынешний светский художник, и выплакать слезами те чувства, которых он силился добыть прежде одними размышленьями, — не изобразить бы ему никогда того, что начинает он уже изображать теперь на полотне,

и он действительно бы обманул и себя и других, несмотря на все желанье не обмануть.

Не думайте, чтобы легко было изъясниться с людьми во время переходного состоянья душевного, когда, по воле Бога, начнется переработка в собственной природе человека. Я это знаю и отчасти даже испытал сам. Мои сочиненья тоже связались чудным образом с моей душой и моим внутренним воспитаньем. В продолжение более шести лет я ничего не мог работать для света. Вся работа производилась во мне и собственно для меня. А существовал я дотоле, — не позабудьте, — единственно доходами с моих сочинений. Все почти знали, что я нуждался, но были уверены, что это происходит от собственного моего упрямства, что мне стоит только присесть да написать небольшую вещь, чтобы получить большие деньги; а я не в силах был произвести ни одной строки, и когда, послушавшись совета одного неразумного человека, вздумал было заставить себя насильно написать кое-какие статейки для журнала, это было мне в такой степени трудно, что ныла моя голова, болели все чувства, я марал и раздирал страницы, и после двух, трех месяцев таковой пытки так расстроил здоровье, которое и без того было плохо, что слег в постель, а при-

соединившиеся к тому недуги нервические и, наконец, недуги от неуменья изъяснить никому в свете своего положения до того меня изнурили, что был я уже на краю гроба. И два раза случилось почти то же. Один раз, в прибавление ко всему этому, я очутился в городе, где не было почти ни души мне близкой, без всяких средств, рискуя умереть не только от болезни и страданий душевных, но даже от голода. Это было уже давно тому. Спасен я был государем. Нежданно ко мне пришла от него помощь. Услышал ли он сердцем, что бедный подданный его на своем неслужащем и незаметном поприще помышлял сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другие на своих служащих и заметных поприщах, или это было просто обычное движенье милости его. Но эта помощь меня подняла вдруг. Мне было приятно в эту минуту быть обязану ему, а не кому-либо другому. К причинам, побудившим взяться с новою силою за труд, присоединилась еще и мысль: если удостоит меня Бог сделаться, точно, человеком близким для многих людей и достойным, точно, любви всех тех, которых люблю, — сказать им: «Не забывайте же, меня бы не было, может быть, на свете, если б не государь». Вот каковы бывают положения. В прибавленье

скажу вам, что в это же самое время я должен был слышать обвиненья в эгоизме: многие не могли мне простить моего неучастия в разных делах, которые они затевали, по их мненью, для блага общего. Слова мои, что я не могу писать и не должен работать ни для каких журналов и альманахов, принимались за выдумку. Самая жизнь моя, которую я вел в чужих краях, приписана была сибаритскому желанию наслаждаться красотами Италии. Я не мог даже изъяснить никому из самых близких моих друзей, что, кроме нездоровья, мне нужно было временное отдаление от них самих за тем именно, чтобы не попасть в фальшивые отношения с ними и не нанести им же неприятностей, — я даже этого не мог объяснить. Я слышал сам, что мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно. Силясь открыть хотя бы одну часть себя, я видел тут же перед моими глазами, как моими же словами туманил и кружил голову слушавшему меня человеку, и горько раскаивался за одно даже желанье быть откровенным. Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который

видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевельнуть пальцем и подать знака, что он еще жив. Нет, храни Бог в эти минуты переходного состоянья душевного пробовать объяснять себя какому-нибудь человеку; нужно бежать к одному Богу, и ни к кому более. Против меня стали несправедливы многие, даже близкие мне люди, и были в то же время совсем не виноваты; я бы сам сделал то же, находясь на их месте.

То же самое и в деле Иванова; если бы случилось, что он умер от бедности и недостатка средств, вдруг бы все до единого исполнилось негодованья противу тех, которые допустили это, пошли бы обвинения в бесчувственности и зависти к нему других художников. Иной драматический поэт составил бы из этого чувствительную драму, которою бы растрогал слушателей и подвигнул бы гневом противу врагов его. И все это было бы ложь, потому что, точно, никто не был бы истинно виновен в его смерти. Один только человек был бы бесчестен и виноват, и этот человек был бы — я: я испробовал почти то же состояние, испробовал его на собственном теле и не объяснил этого другим! И вот почему я теперь пишу к вам. Устройте же это дело; не то — грех будет на вашей собственной душе. С

моей души я уже снял его этим самым письмом; теперь он повиснул на вас. Сделайте так, чтобы не только было выдано Иванову то нищенское содержание, которое он просит, но еще сверх того единовременная награда, именно за то самое, что он работал долго над своей картиной и не хотел в это время ничего работать постороннего, как ни заставляли его другие люди и как ни заставляла его собственная нужда. Не скупитесь, деньги все вознаградятся. Достоинство картины уже начинает обнаруживаться всем. Весь Рим начинает говорить гласно, судя даже по нынешнему ее виду, в котором далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобного явленья еще не показывалось от времен Рафаэля и Леонардо-да-Винчи. Будет окончена картина — беднейший двор в Европе заплатит за нее охотно те деньги, какие теперь плотят за вновь находимые картины прежних великих мастеров, и таким картинам не бывает цена меньше ста или двухсот тысяч. Устройте так, чтобы награда выдана была не за картину, но за самоотвержение и беспримерную любовь к искусству, чтобы это послужило в урок художникам. Урок этот нужен, чтобы видели все другие, как нужно любить искусство. Что нужно, как Иванов, умереть

для всех приманок жизни; как Иванов, учиться и считать себя век учеником; как Иванов, отказывать себе во всем, даже и в лишнем блюде в праздничный день; как Иванов, надеть простую плисовую куртку, когда оборвались все средства, и пренебречь пустыми приличиями; как Иванов, вытерпеть все и при высоком и нежном образованье душевном, при большой чувствительности ко всему вынести все колкие поражения и даже то, когда угодно было некоторым провозгласить его сумасшедшим и распустить этот слух таким образом, чтобы он собственными своими ушами, на всяком шагу, мог его слышать. За эти-то подвиги нужно, чтобы ему была выдана награда. Это нужно особенно для художников молодых и выступающих на поприще художества, чтобы не думали они о том, как заводить галстучки да сертучки да делать долги для поддержанья какого-то веса в обществе; чтобы знали вперед, что подкрепленье и помощь со стороны правительства ожидают только тех, которые уже не помышляют о сертучках да о пирушках с товарищами, но отдались своему делу, как монах монастырю. Хорошо бы даже, если бы выданная Иванову сумма была слишком велика, чтобы невольно почесали у себя в затылке все другие.

Не бойтесь, эту сумму он не возьмет себе; может быть, из нее и копейки не возьмет для себя, — эта сумма будет вся употреблена на вспомоществованье истинным труженикам искусства, которых знает художник лучше, нежели какой-нибудь чиновник, и распоряженья по этому делу будут произведены лучше чиновнических. За чиновником мало ли что может водиться: у него может случиться и жена-модница, и приятели-едоки, которых нужно угощать обедом; чиновник заведет и штат и блеск; станет даже утверждать, что для поддержания чести русской нации нужно задать пыль иностранцам, и потребует на это деньги. Но тот, кто сам подвизался на том поприще, которому потом должен помочь, кто слышал вопль потребности и нужды истинной, а не поддельной, кто терпел сам и видел, как терпят другие, и соскорбел им, и делился последней рубашкой с неимущим тружеником в то время, когда и самому нечего было есть и не во что одеться, как делал это Иванов, тот — другое дело. Тому можно смело поверить миллион и спать спокойно, — не пропадет даром копейка из этого миллиона. Поступите же справедливо, а письмо мое покажите многим как моим, так и вашим приятелям, и особенно таким, которых управлению вверена какая-нибудь

часть, потому что труженики, подобные Иванову, могут случиться на всех поприщах, и все-таки не нужно допустить, чтобы они умерли с голоду. Если случится, что один, отделившись от всех других, займется крепче всех своим делом, хотя бы даже и своим собственным, но если он скажет, что это, по-видимому, собственное его дело будет нужно для всех, считайте его как бы на службе и выдавайте насущное прокормление. А чтобы удостовериться, нет ли здесь какого обмана, потому что под таким видом может пробраться ленивый и ничего не делающий человек, следите за его собственной жизнью; его собственная жизнь скажет все. Если он так же, как Иванов, плюнул на все приличия и условия светские, надел простую куртку и, отогнавши от себя мысль не только об удовольствиях и пирушках, но даже мысль завестись когда-либо женою и семейством или каким-либо хозяйством, ведет жизнь истинно монашескую, корпя день и ночь над своей работой и молясь ежеминутно, — тогда нечего долго рассуждать, а нужно дать ему средства работать, незачем также торопить и подталкивать его — оставьте его в покое: подтолкнет его Бог без вас; ваше дело только смотреть за тем, чтобы он не умер с голода. Не давайте ему большого содер-

жания; дайте ему бедное и нищенское даже, и не соблазняйте его соблазнами света. Есть люди, которые должны век остаться нищими. Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира.

1846

XXIV. Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России

Долго думал я, на кого из вас напасть: на вас или на вашего мужа? Наконец решаюсь напасть на вас: женщина скорей способна очнуться и двинуться. Положенье вас обоих, хотя вы считаете себя на верху блаженства, по мне, не только не блаженно, но даже хуже положения тех, которые считают себя в горе и несчастии. У вас обоих есть много хороших качеств душевных, сердечных и даже умственных, и нет только того, без чего все это ни к чему не послужит: нет внутри себя управленья собою. Никто из вас не господин себе.

В вас нет характера, признавая характером *крепость воли.* Ваш муж, чувствуя этот недостаток в себе, женился нарочно затем, чтобы найти в жене себе возбужденье на всякое дело и подвиг. Вы за него вышли замуж затем, чтобы он был вашим возбудителем во всяком деле жизни. Оба друг от друга ждут того, чего нет у обоих. Говорю вам: положенье ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь среди жизни, как мыло в воде; все ваши достоинства и добрые качества исчезнут в беспорядке действий, который один сделается вашим характером, и станете вы оба — олицетворенное бессилие. Молите Бога о *крепости.* У Бога можно все вымолить, даже и крепость, которую, как известно, никакими средствами не может достать бессильный и слабый человек. Поступите только умно. «Молись и к берегу гребись», — говорит пословица. Произносите в себе и поутру, и в полдень, и ввечеру, и во все часы дня: «Боже, собери меня всю в самое меня и укрепи!» — и действуйте в продолженье целого года так, как я вам сейчас скажу, не рассуждая покуда, зачем и к чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя; приход и расход чтобы был в ваших руках. Не ведите общей расходной книги, но с

самого начала года сделайте смету всему вперед, обнимите все нужды ваши, сообразите вперед, сколько можете и сколько вы должны издержать в год сообразно вашему достатку, и все приведите в круглые суммы. Разделите ваши деньги на семь почти равных куч. В первой куче будут деньги на квартиру, с отопкою, водой, дровами и всем, что ни относится до стен дома и чистоты двора. Во второй куче — деньги на стол и на все съестное с жалованьем повару и продовольствием всего, что ни живет в вашем доме. В третьей куче — экипаж: карета, кучер, лошади, сено, овес, словом — все, что относится к этой части. В четвертой куче — деньги на гардероб, то есть все, что нужно для вас обоих затем, чтобы показаться в свет или сидеть дома. В пятой куче будут ваши карманные деньги. В шестой куче — деньги на чрезвычайные издержки, какие могут встретиться: перемена мебели, покупка нового экипажа и даже вспомоществование кому-нибудь из ваших родственников, если бы он возымел внезапную надобность. Седьмая куча — Богу, то есть деньги на церковь и на бедных. Сделайте так, чтобы эти семь куч пребывали у вас несмешанными, как бы семь отдельных министерств. Ведите расход каждой особо, и ни под каким предлогом

не занимайте из одной кучи в другую. Какие ни представлялись бы вам в это время выгодные покупки и как бы ни соблазняли они вас своею дешевизною, не покупайте. На это можете отважиться потом, когда побольше укрепитесь. А теперь не позабывайте ни на миг, что все это вами делается для покупки твердого характера, а эта покупка покамест для вас нужнее всякой другой покупки, и потому будьте в этом упрямы. Просите Бога об упрямстве. Даже и тогда, если бы оказалась надобность помочь бедному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится в определенной на то куче. Если бы даже вы были свидетелем картины несчастия, раздирающего сердце, и видели бы сами, что денежная помощь может помочь, не смейте и тогда дотрогиваться до других куч, но поезжайте по всему городу, по всем вашим знакомым и старайтесь преклонить их на жалость: просите, молите, будьте готовы даже на униженье себя, чтобы это осталось вам в урок, чтобы вы помнили вечно, как вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, как вы должны были из-за этого подвергнуться унижению и даже осмеянью публичному; чтобы это не выходило у вас из ума, чтобы вы через это приучались обре-

зывать себя в расходах по каждой куче и заранее помышлять о том, чтобы к концу года оставался от каждой остаток для бедных, а не сходились бы только концы с концами. Если вы будете держать это в голове своей беспрестанно, то вы никогда не заедете без надобности сильной в магазин и не купите себе неожиданно для себя самой какое-нибудь украшенье для камина или стола, на что так падки у нас как дамы, так и мужчины (последние еще больше и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будут невольно и нечувствительно сжиматься, и дойдет наконец до того, что вы почувствуете сами, что вам не нужно иметь больше одной кареты и пары лошадей, больше четырех блюд за столом, что званый обед может также насытить людей и на простом сервизе, с прибавкой одного лишнего блюда да бутылки вина, разнесенного без всяких тонкостей в простых рюмках. Вы даже не только не сгорите от стыда, если пойдет по городу слух, что у вас не comme il faut, но еще посмеетесь тому сами, уверившись истинно, что настоящее comme il faut есть то, которое требует от человека Тот Самый, Который создал его, а не тот, который приводит в систему обеды, даже и не тот, который сочиняет всякий день меняющиеся этикеты, даже и не сама ма-

дам Сихлер. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итог всякой куче каждый месяц и перечитывайте в последний день месяца все вместе, сравнивая всякую вещь одну с другою, чтобы уметь узнавать, во сколько раз одна нужнее другой, чтобы видеть ясно, от какой прежде нужно отказаться в случае необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что из нужного есть самое нужнейшее.

Держитесь этого строго в продолжение целого года. Крепитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь Богу, чтобы укрепил вас. И вы окрепнете непременно. Важно то, чтобы в человеке хотя что-нибудь окрепнуло и стало непреложным; от этого невольно установится порядок и во всем прочем. Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка. Распределите ваше время; положите всему непременные часы. Не оставайтесь поутру с вашим мужем; гоните его на должность в его департамент, ежеминутно напоминая ему о том, что он весь должен принадлежать общему делу и хозяйству всего государства (а его собственное хозяйство не его забота: оно должно лежать на вас, а не на нем), что он женился именно затем, чтобы, освободя

себя от мелких забот, всего отдать отчизне, и жена дана ему не на помеху службе, но в укрепленье его на службе. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своем поприще, и через то встретились бы весело перед обедом и обрадовались бы так друг другу, как бы несколько лет не видались, чтобы вам было что пересказать друг другу и не попотчевал бы один другого зевотой. Расскажите ему все, что вы делали в вашем доме и домашнем хозяйстве, и пусть он расскажет вам все, что производил в департаменте своем для общего хозяйства. Вы должны знать непременно существо его должности, и в чем состоит его часть, и какие дела случилось ему вершить в тот день, и в чем именно они состояли. Не пренебрегайте этим и помните, что жена должна быть помощницей мужа. Если только в течение одного года вы будете внимательно выслушивать от него все, то на другой год будете в силах подать ему даже совет, будете знать, как ободрить его при встрече с какою-нибудь неприятностью по службе, будете знать, как заставить его перенести и вытерпеть то, на что у него недостало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же с этого дня исполнять все, что я вам

теперь сказал. Крепитесь, молитесь и просите Бога беспрерывно, да поможет вам собрать всю себя в себе и держать себя. Все у нас теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил сам себя в подлое подножье всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в ее истинном смысле. Эту свободу один мой приятель, который вами лично не знаем, но которого, однако же, знает вся Россия, определяет так: «Свобода не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: *да,* но в том, чтобы уметь сказать им: *нет*». Он прав, как сама правда. Никто теперь в России не умеет сказать самому себе этого твердого «нет». Нигде я не вижу мужа. Пусть же бессильная женщина ему о том напомнит! Стало так теперь все чудно, что жена же должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель.

1846

XXV. Сельский суд и расправа (Из письма к М.)

Никак не пренебрегайте расправой и судом. Не поручайте этого дела управителю и никому

в деревне: эта часть важнее самого хозяйства. Судите сами. Этим одним вы укрепите разорванную связь помещика с крестьянами. Суд — Божье дело, и я не знаю, что может быть этого выше. Недаром так чествуется в народе тот, кто умеет произносить правый суд. К вам повалит не только ваша деревня, но и все окружные мужики из других селений, как только узнают, что вы умеете давать расправу. Не пренебрегайте никем из приходящих и судите всех, хотя бы даже в незначительной ссоре или драке. По поводу этого можете много сказать мужику такого, что пойдет в добро его душе, и чего бы вы никак не нашлись сказать в другое время, не найдя, к чему прицепиться.

Судите всякого человека двойным судом и всякому делу давайте двойную расправу. Один суд должен быть человеческий. На нем оправдайте правого и осудите виноватого. Старайтесь, чтоб это было при свидетелях, чтобы тут стояли и другие мужики, чтобы все видели ясно как день, чем один прав и чем другой виноват. Другой же суд сделайте Божеский. И на нем осудите и правого и виноватого. Выведите ясно первому, как он сам был тому виной, что другой его обидел, а второму — как он вдвойне виноват и пред Богом,

и пред людьми; одного укорите, зачем не простил своему брату, как повелел Христос, а другого попрекните, зачем он обидел Самого Христа в своем брате; а обоим вместе дайте выговор за то, что не примирились сами собой и пришли на суд, и возьмите слово с обоих исповедаться непременно попу на исповеди во всем. Если такой суд вы будете произносить, вы будете сами полномочны, как Бог, потому что Бог вас уполномочит. Вы извлечете оттуда для себя самого много добра и много прямых и правых познаний. Если бы многие из государственных людей начинали свое поприще не бумажными занятиями, а устной расправой дел между простыми людьми, они бы лучше узнали дух земли, свойство народа и вообще душу человека, и не заимствовали бы потом из чужеземных земель нам неприличных нововведений. Правосудие у нас могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав один только Бог. Эта мысль, как непреложное верование, разнеслась повсюду в нашем народе. Вооруженный ею, даже простой и неумный человек получает в народе власть и прекращает ссоры. Мы только, люди высшие,

не слышим ее, потому что набрались пустых рыцарски-европейских понятий о правде. Мы только спорим из-за того, кто прав, кто виноват; а если разобрать каждое из дел наших, придешь к тому же знаменателю, то есть — оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика рассудить городового солдата с бабой, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такой инструкцией: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи».

1845

XXVI. Страхи и ужасы России (Письмо к графине……ой)

На ваше длинное письмо, которое вы писали с таким страхом, которое просили сей же час истребить после прочтения и на которое отвечать просили не иначе, как через верные руки, а отнюдь не по почте, я отвечаю не только не по секрету, но, как вы видите, в печатной книге, которую, может быть, прочтет половина грамотной России. Побудило меня к тому то, что, может

быть, мое письмо послужит в то же время ответом и прочим, которые, подобно вам, смущаются теми же страхами. То, что вы мне объявляете по секрету, есть еще не более как одна часть всего дела; а вот если бы я вам рассказал то, что я знаю (а знаю я, без всякого сомнения, далеко еще не все), тогда бы, точно, помутились ваши мысли и вы сами подумали бы, как бы убежать из России. Но куды бежать? вот вопрос. Европе пришлось еще трудней, нежели России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит: все, не выключая даже государственных людей, пребывает покуда на верхушке верхних сведений, то есть пребывает в том заколдованном круге познаний, который нанесен журналами в виде скороспелых выводов, опрометчивых показаний, выставленных, сквозь лживые призмы всяких партий, вовсе не в том свете, в каком они есть. Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе заваривaются теперь повсюду такие сумятицы, что не

поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся теперь в России. В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасенью, и слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже. Ваши слова: «Все падают духом, как бы в ожиданье чего-то неизбежного», — равно как и слова: «Каждый думает только о спасении личных выгод, о сохранении собственной пользы, точно как на поле сражения после потерянной битвы всякий думает только о спасении жизни: sauve qui peut», — действительно справедливы; так оно теперь действительно есть; так быть должно: так повелел Бог, чтобы оно было. Всяк должен подумать теперь о себе, именно о своем собственном спасении. Но настал другой род спасенья. Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце государства. На корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика Небесного. Кто даже и не в службе, тот должен теперь же вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за доску,

без чего не спастись никому. Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже Сам Христос, а потому и все свои отношения ко власти ли, высшей над нами, к людям ли, равным и кружащимся вокруг нас, к тем ли, которые нас ниже и находятся под нами, должны мы выполнить так, как повелел Христос, а не кто другой. И уж нечего теперь глядеть на какие-нибудь щелчки, которые стали бы наноситься от кого бы то ни было, нашему честолюбью или самолюбью, — нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а потому должна быть и выполнена так, как повелел Христос, а не кто другой. Только одним этим средством и может всяк из нас теперь спастись. И плохо будет тому, кто об этом не помыслит теперь же. Помутится ум его, омрачатся мысли, и не найдет он угла, куды сокрыться от своих страхов. Вспомните *Египетские тьмы*, которые с такой силой передал царь Соломон, когда Господь, желая наказать одних, наслал на них неведомые, непонятные страхи. Слепая ночь обняла их вдруг среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах

их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего — все чувства, все побуждения, все силы в них погибнули, кроме одного страха. И произошло это только в тех, которых наказал Господь. Другие в то же время не видали никаких ужасов; для них был день и свет.

Смотрите же, чтобы не случилось с вами чего-нибудь подобного. Лучше молитесь и просите Бога о том, чтобы вразумил вас, как быть вам на вашем собственном месте и на нем исполнить все, сообразно с законом Христа. Дело идет теперь не на шутку. Прежде чем приходить в смущенье от окружающих беспорядков, недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу. Загляните также и вы в свою. Бог весть, может быть, там увидите такой же беспорядок, за который браните других; может быть, там обитает растрепанный, неопрятный гнев, способный всякую минуту овладеть вашею душою, на радость врагу Христа; может быть, там поселилась малодушная способность падать на всяком шагу в уныние — жалкая дочь безверья в Бога; может быть, там еще таится тщеславное желанье гоняться за тем, что блестит и пользуется известностью светской; может быть, там обитает гордость лучшими свойствами своей души, способная превратить

в ничто все добро, какое имеем. Бог весть, что может быть в душе нашей. Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас. Что же касается до страхов и ужасов в России, то они не без пользы: посреди их многие воспитались таким воспитаньем, которого не дадут никакие школы. Самая затруднительность обстоятельств, предоставивши новые извороты уму, разбудила дремавшие способности многих, и в то время, когда на одних концах России еще доплясывают польку и доигрывают преферанс, уже незримо образовываются на разных поприщах истинные мудрецы жизненного дела. Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках. Я бы вам назвал многих таких, которые составят когда-нибудь красоту земли русской и принесут ей вековечное добро; но к чести вашего пола я должен сказать, что женщин еще больше. Целое жемчужное ожерелье их хранит моя память. Все они, начиная с ваших дочерей, которые так живо напомнили мне, во сколько раз родство по душе выше всякого кровного родства (дай Бог, чтобы наилучшая сестра с такой готовностью

исполняла просьбу своего брата, с какой они исполняли малейшее желание души моей), — начиная с них и продолжая теми, о которых вы едва слышали, и оканчивая теми, о которых вы, может быть, и не услышите никогда, но которые совершеннее всех тех, о коих вы слышали. Все они не похожи одна на другую, и каждая есть сама по себе явленье необыкновенное. Только одна Россия могла произвести подобное разнообразие характеров. И только в нынешнее время трудных обстоятельств, расслабленья и развращенья общего, повсеместной ничтожности общества, могли они образоваться. Но всех перевысила одна, которую я и в глаза не знаю и о которой до меня достигнул только один темный рассказ. Не думал я, чтобы могло существовать на земле подобное совершенство. Произвести такое умное и великодушное дело, и произвести его так, как умела сделать она; сделать так, чтобы отклонить от себя и подозренье в ее собственном участии и разложить весь подвиг на других таким образом, что эти другие стали хвастаться ею сделанным делом, как бы собственным своим, в полной уверенности, что они его сделали. Так умно обдумать уже вперед, как убежать от известности, тогда как само дело уже необходимо должно бы кричать о

себе и обнаружить ее! Успеть в этом и остаться в неизвестности! Нет, подобной мудрости еще не встречал я ни в ком из нашей братьи мужеска пола. И передо мною показались в эту минуту бледными все женские идеалы, создаваемые поэтами: они то же перед этой истиной, что бред воображенья перед полным разумом. Жалки мне также показались в эту минуту все те женщины, которые гонятся за блистающей известностью! И где же явилось такое чудо? В незаметном захолустье России, в то время именно, когда стало трудней изворачиваться человеку, когда запутались обстоятельства всех и наступили пугающие вас страхи и ужасы России.

1846

XXVII. Близорукому приятелю

Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои — гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва, — и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие. Россия не

Франция; элементы французские — не русские. Ты позабыл даже своеобразность каждого народа и думаешь, что одни и те же события могут действовать одинаковым образом и на каждый народ. Тот же самый молот, когда упадает на стекло, раздробляет его вдребезги, а когда упадет на железо, кует его. Мысли твои о финансах основаны на чтенье иностранных книг да на английских журналах, а потому суть мертвые мысли. Стыдно тебе, будучи умным человеком, не войти до сих пор в собственный ум свой, который мог бы самобытно развиться, а захламостить его чужеземным навозом. Не вижу и в проектах твоих участья Божьего; не слышу в словах письма твоего, несмотря на весь блеск ума и остроумья, чтобы Бог присутствовал в твоих мыслях в то время, когда ты писал его; не вижу я на твоей мысли освященья небесного. Нет, не сделаешь ты добра на своей должности, хотя и желаешь того; не принесут твои дела того плода, которого ждешь. С прекрасными намереньями можно сделать зло, как уже многие и сделали его. В последнее время не столько беспорядков произвели глупые люди, сколько умные, а все оттого, что понадеялись на свои силы да на ум свой. Ты горд, и чем же горд? хоть бы уже своим умом; нет,

ты загромоздил сором свой ум, действительно замечательный и великий, и сделал его чужестранцем самому себе. Ты горд чужим, мертвым умом и выдаешь его за свой. Смотри за собой: ты ходишь опасно. Ты метишь в государственные люди, и будешь человеком государственным, потому что у тебя, точно, есть на то способности; но тем строже теперь смотри за собой. Не заводи этих улучшений, которыми уже наполнилась твоя голова еще прежде, чем ты вступил в свою должность, и помни, что всяким малейшим неосмотрительным поступком можно произвести теперь большое зло. Уже и в твоих нынешних проектах видна скорее боязнь, нежели предусмотрительность. Все мысли твои направлены к тому, чтобы избегнуть чего-то угрожающего в будущем. Не будущего, но настоящего опасайся. О настоящем велит нам заботиться Бог. Кто омрачается боязнью от будущего, от того, значит, уже отступилась святая сила. Кто с Богом, тот глядит светло вперед и есть уже в настоящем творец блистающего будущего. А ты горд: ты и теперь уже ничего не хочешь видеть; ты самоуверен: ты думаешь, что уже все знаешь; ты думаешь, что все обстоятельства России тебе открыты; ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не может;

ты стремишься изо всех сил быть похожим на тех государственных людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имели в себе все для того, чтобы сделать множество добра, которые даже пламенели желаньем сделать добро, даже работали, как муравьи, всю свою жизнь, и при всем том не осталось после них никакого следа, и самая память о них позабыта; как исчезнувший круг на воде, исчезнула жизнь их посреди России. И до сих пор еще, к нашему стыду, указывают нам европейцы на своих великих людей, умней которых бывают у нас иногда и невеликие люди; но те хоть какое-нибудь оставили после себя дело *прочное,* а мы производим кучи дел, и все, как пыль, сметаются они с земли вместе с нами. Ты горд — говорю тебе, и вновь повторяю тебе: ты горд; сторожи над собой и спасай себя от гордости заране. Начни с того, что уверь самого себя, что ты всех глупее в России, и что с этих только пор следует сурьезно поумнеть тебе, и слушай с таким вниманием всякого дельца, как бы равно ничего не знал и всему от него хотел поучиться. Но тебе еще загадка слова мои; они на тебя не подействуют. Тебе нужно или какое-нибудь несчастие, или потрясение. Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясенье, чтобы встретилась тебе какая-ни-

будь невыносимейшая неприятность на службе, чтобы нашелся такой человек, который сильно оскорбил бы тебя и опозорил так в виду всех, что от стыда не знал бы ты, куда сокрыться, и разорвал бы за одним разом все чувствительнейшие струны твоего самолюбья. Он будет твой истинный брат и избавитель. О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха!

1844

XXVIII. Занимающему важное место

Во имя Бога берите всякую должность, какая б ни была вам предложена, и не смущайтесь ничем. Придется ли вам ехать к черкесам на Кавказ или по-прежнему занять место генерал-губернатора — вы теперь нужны повсюду. Что же до затруднительностей, о которых вы говорите, то все теперь затруднительно; все стало сложно; везде много работы. Чем больше вхожу умом в существо нынешних вещей, тем менее могу решить, какая должность теперь труднее и какая легче. Для того, кто не христианин, все стало теперь трудно; для того же, кто внес Христа во все дела и во все действия своей жизни, — все легко.

Не скажу вам, чтобы вы сделались вполне христианином, но вы близки к тому. Вас не шевелит уже честолюбие, вас не завлекают вперед уже ни чины, ни награды, вы уже вовсе не думаете о том, чтобы порисоваться перед Европой и сделать из себя историческое лицо. Словом, вы взошли именно на ту степень состоянья душевного, на которой нужно быть тому, кто захотел бы сделать теперь пользу России. Чего ж вам бояться? Я даже не понимаю, как может чего-либо бояться тот, кто уже постигнул, что нужно действовать повсюду как христианин. Он на всяком месте мудрец, везде знатель дела. Поедете вы на Кавказ — вы прежде всего пристально осмотритесь. Христианское смирение вас не допустит ни к какой быстрой поспешности. Вы, как ученик, сначала будете узнавать. Вы не пропустите ни одного старого офицера, не расспросив о его собственноличных схватках с неприятелем, зная, что только из знанья подробностей выводится знанье *целого.* Вы заставите всех рассказать себе порознь все подвиги бранной и бивачной жизни; расспросите и цицановцев, и ермоловцев, и офицеров нынешней эпохи и, когда заберете все, что нужно, обнимете все частности, соедините все отдельные цифры и подведете им итог — выйдет

в итоге сам собою план полководцу: не нужно будет и головы ломать, ясно будет как день все, что вам нужно делать. И когда весь план будет уже в голове вашей, вы и тогда не будете торопиться; христианское смиренье вас к тому не допустит. Не объявляя его никому, вы расспросите всякого замечательного офицера, как бы он поступил на вашем месте; вы не оставите неуслышанным ни одного мнения, ни даже совета от кого бы то ни было, хотя бы от стоящего на низком месте, зная, что иногда Бог может внушить и простому человеку умное мнение. Для этого вы не станете собирать военных советов, зная, что не в пренья и спорах дело, но поодиночке выслушаете каждого, кто бы ни захотел с вами поговорить. Словом, вы всех выслушаете, но сделаете так, как повелит вам ваша собственная голова; а ваша собственная голова повелит вам разумно, потому что всех выслушает. Вы будете даже не в состоянии сделать неразумное дело, потому что неразумные дела делаются от гордости и уверенности в себе. Но христианское смирение спасет вас повсюду и отгонит то самоослепление, которое находит на многих даже очень умных людей, которые, узнавши только одну половину дела, уже думают, что узнали все, и летят опрометью

действовать; тогда как, увы, даже и в том деле, которое, по-видимому, насквозь нам известно, может скрываться целая половина неизвестная. Нет, Бог от вас отгонит это грубое ослепленье. Чего ж вам бояться Кавказа?

Придется ли вам по-прежнему быть генерал-губернатором где-нибудь внутри России — та же христианская мудрость осенит вас. Очень знаю, что теперь трудно начальствовать внутри России — гораздо труднее, чем когда-либо прежде, и, может быть, труднее, чем на Кавказе. Много злоупотреблений; завелись такие лихоимства, которых истребить нет никаких средств человеческих. Знаю и то, что образовался другой незаконный ход действий мимо законов государства и уже обратился почти в законный, так что законы остаются только для вида; и если только вникнешь пристально в то самое, на что другие глядят поверхностно, не подозревая ничего, то закружится голова у наиумнейшего человека. Но вы и тут поступите умно. Христианское смирение заставит вас и здесь не предаваться покуда выводам гордого ума, но терпеливо обсмотреться. Зная, под каким множеством посторонних влияний находится теперь всяк человек и как все они имеют соприкосновение с отправлением его должности,

вы прежде полюбопытствуете узнать каждого из занимающих главные должности, узнать его со всех сторон с его домашней и семейной жизнью, с его образом мыслей, наклонностями и привычками. Для этого вы не будете употреблять шпионов. Нет, вы расспросите его самого. Он вам скажет все и с вами разговорится, потому что в лице вашем есть уже что-то такое, что внушает к вам доверчивость во всех; с помощью этого вы узнаете то, чего не узнает никогда крикун-нахрап, или так называемый распекатель. Вы не будете преследовать за несправедливость никого отдельно по тех пор, покуда не выступит перед вами ясно вся цепь, необходимым звеном которой есть вами замеченный чиновник. Вы уже знаете, что вина так теперь разложилась на всех, что никаким образом нельзя сказать вначале, кто виноват более других. Есть безвинно-виноватые и виновно-невинные. По этому-то самому вы теперь будете несравненно осторожней и осмотрительней, чем когда-либо прежде. Вы станете покрепче всматриваться в душу человека, зная, что в ней ключ всего. Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего. А узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой своей, как начали это делать теперь

вы. Если вы узнаете плута не только как плута, но и как человека вместе, если вы узнаете все душевные его силы, данные ему на добро и которые он поворотил во зло или вовсе не употребил, тогда вы сумеете так попрекнуть его им же самим, что он не найдет себе места, куда ему укрыться от самого же себя. Дело вдруг примет другой оборот, если покажешь человеку, чем он виноват перед самим собой, а не перед другим. Тут потрясешь так его всего, что в нем явится вдруг отвага быть другим, и тогда только вы почувствуете, как благородна наша русская порода, даже и в плуте. Ваше нынешнее генерал-губернаторство будет совсем другое, нежели прежнее. Главная ошибка вашего прежнего управления, которое, однако ж, принесло большую пользу, несмотря на то что вы его осуждаете и порочите, состояла, по моему мнению, в том, что вы не вполне верно определили себе существо этой должности. Вы приняли генерал-губернатора за постоянного начальника и хозяйственного правителя губернии, которого благодетельное влияние может быть ощутительно в губернии только от долговременного его пребыванья на одном месте. Один государственный наш муж определил так эту должность: «Генерал-губернатор есть

министр внутренних дел, остановившийся на дороге». Определенье это точней и более согласно с тем, чего требует само правительство от этой должности. Должность эта более временная, чем постоянная. Генерал-губернатор посылается затем, чтобы ускорить биение государственного пульса внутри губернии, привести в быстрейшее движение все правительственное производство в губернских местах как связанных между собою, так и независимых, состоящих под управлением отдельных министерств, дать толчок всему, своим полномочием облегчить затруднительность многих мест в их сношеньях с отдаленными министерствами, не внося никаких новых элементов и ничего не заводя от себя, все заставить обращаться быстрей в законах и границах, уже указанных и определенных. Власть эту, состоящую в верховном блюдении над тем, что уже есть и заведено, вы приняли за хлопотливую обязанность управителя, который сам должен изворачиваться в хозяйстве и принять на себя все мелочные расходы; вы захватили себе часть того, что должно принадлежать губернатору, а не генерал-губернатору, и этим самым уменьшили значение высшее вашей должности. Вы сочли ваше место пожизненным. Вы захотели вашими

собственными учреждениями оставить по себе памятник вашего пребывания. Стремленье прекрасное, но если бы вы уже тогда были тем, чем вы есть теперь, то есть более христианином, вы позаботились бы о другом памятнике. Устроить дороги, мосты и всякие сообщения, и устроить их так умно, как устроили вы, есть дело истинно нужное; но угладить многие внутренние дороги, которые до сих пор задерживают русского человека в стремленье к полному развитию сил его и которые мешают ему пользоваться как дорогами, так и всякими другими внешностями образования, о которых мы так усердно хлопочем, есть дело еще нужнейшее. Пушкин, когда видел заботу не о главном, но о том, что уже исходит из главного, обыкновенно выражался пословицей: «Было бы корыто, а свиньи будут». Мосты, дороги и все эти сообщенья суть свиньи, а не что-либо другое. Были бы города, а они сами собой прибегут. В Европе о них немного хлопотали, но как только явились города, сами собой явились дороги: сами же частные люди и завели их без всякого пособия правительств, и теперь развилось их такое множество, что стали уже сурьезно задавать друг другу вопросы: «Зачем эта скорость сообщений? Что выиграло человечество через

эти железные и всякие дороги, что приобрело оно во всех родах своего развития и что пользы в том, что один город теперь обеднел, а другой сделался толкучим рынком да увеличилось число праздношатающихся по всему миру?» В России давно бы завелась вся эта дрянь сама собою, с такими удобствами, каких и в Европе нет, если бы только многие из нас позаботились прежде о деле внутреннем так, как следует. «О сем помыслите прежде, — сказал Спаситель, — а сия вся вам приложится». Ваши подвиги в отношении нравственном были гораздо значительней. Кого я ни слышал, все отзываются с уваженьем о ваших распоряженьях; все говорят, что вы искоренили многие неправды, что постановили многих истинно благородных и прекрасных чиновников. Я это узнал, хотя вы по скромности мне не сказали. Но вы бы сделали еще более, если бы вспомнили тогда, что ваша должность на время и что не о том следовало заботиться, чтобы только при вас все было хорошо, но именно о том, чтобы после вас все было хорошо. Вы должны были беспрестанно представлять себе, что после вас примет эту должность слабый и бездарный последователь, который не только не поддержит вами заведенного порядка, но еще испортит его, а потому уже

с самого начала вы должны были помышлять о том, чтобы действовать так прочно и закалить сделанное так крепко, чтобы после вас никто уже не мог своротить того, что раз направлено. Вы должны были рубить зло в корне, а не в ветвях, и дать такой толчок всеобщему движенью всего, чтобы после вас пошла сама собой работать машина, так чтобы незачем было над ней стоять и надсмотрщику, и сим только воздвигнули бы памятник вечный вашего генерал-губернаторства. Теперь я знаю, что вы совсем поступите иначе, а потому не пренебрегайте никак этой должностью, если бы она была вам вновь предложена. Никогда не был еще так важен и нужен генерал-губернатор, как в нынешнее время. Я вам назову уже несколько подвигов таких, которых никто теперь не может сделать, кроме генерал-губернатора.

Во-первых, ввести всякую должность в ее законные границы и всякого чиновника губернии в полное познанье его должности. Это дело очень не бездельное. В последнее время все почти губернские должности нечувствительным образом выступили из пределов и границ, указанных законом. Одни слишком стали обрезаны и стеснены, другие раздвинулись в действиях в ущерб

прочим; прямые места обессилели и ослабели от введения множества косвенных и временных. В последнее время стали особенно чувствоваться полномочие и развязанные руки там, где нужно *препятствовать* в действиях, и связанные руки там, где нужно *споспешествовать* им. Возвратить всякую должность в ее законный круг тем более стало теперь трудно, что сами чиновники сбились в своих понятиях о ней. Получая ее по наследству от предшественника в том виде, какой дал ей последний, они все соображаются более или менее с этим видом, а не с первообразом ее, который уже почти вышел у всех из головы. От этого многие благонамеренные и даже весьма умные начальники хотели уже уничтожить или вовсе преобразовать те должности, которые следовало только просто возвратить себе. Дело это может произвести только высший и полномочный начальник, если он не пренебрежет вникнуть сам в существо всякой должности. Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей. Рассмотрим нарочно организм губернии. Первое лицо — губернатор. Он является в нескольких видах своей власти.

Он начальник и правитель полномочный во

всем, что ни относится до хозяйственного и полицейского управления по всей губернии — как городового, разумея здесь все, что ни относится ко внутреннему устройству городов и содержанью среди их порядка, так и земского, включая сюда все, что производится в землях вне городов: взъем податей, распределенье повинностей, устройство дорог, постройки и поправки всех родов. В первом случае в его полном и непосредственном распоряжении губернский полицмейстер и городничие всех городов; во втором случае — капитан-исправники и земские заседатели, которые относятся к нему посредством губернского правления, образованного в духе коллегиальных правлений с советниками, а не в виде собственной канцелярии с секретарем, так что ответственность во всяком важном злоупотребленье, если бы его сделал губернатор, падает непременно на советников и чиновников, и при всем полномочье своем он уже ограничен.

Он более нежели присутственный член и свидетель деловых производств в других присутственных местах, от него вовсе не зависящих и состоящих под управлением своих особых министерств; если только эти места совершают какие-нибудь сделки и условия, относительно ли

отдачи внаймы или на откупа казенных земель, озер или вообще относительно всяких продаж, закупок и совершенья на них условий, он должен быть уже там. Никакие казенные подряды и сделки не могут быть произведены без его личного присутствия. Таким образом места, вовсе от него не зависящие относительно внутренних своих производств, уже обрезаны его присутствием на всех путях к злоупотреблениям.

Весь снаряд юстиции, как то: все суды уездные, так и высшая их инстанция — гражданская палата, находясь в полном заведовании своего министерства, кажутся в независимости от губернатора, но на всех путях несправедливостей они ограничены на всяком шагу губернатором, который во время объездов своих по всей губернии, случающихся не менее двух раз в год, имеет право, заглянувши в суд, потребовать на выдержку два-три решенные дела, проверить их у себя на дому, вместе с секретарем своим, и таким образом держать в страхе их всех. Словом, не имея никакого начальства над местами, зависящими от других начальников, он имеет право остановить злоупотребленье повсюду, где бы оно ни было.

На дворян он может иметь только влияние нравственное. В обряде же должностных его

соприкосновений с дворянством устроено так, чтобы он имел с ними дело в лице их же представителя, губернского предводителя, и таким образом посредством его одного поладить с ними со всеми; здесь видна особенно мудрость законодателя, потому что иначе не было бы никакой возможности ему сноситься с ними со всеми и ладить, принимая в соображение то различие воспитаний, нравов, образов мыслей и то бесчисленное разнообразие характеров, какого не представляет ни одно из европейских дворянств и которое заключилось только в нашем. Звание предводителя дворянства, будучи почти равное чином званью губернатора, имея право на первое место после него в губернии, уже сим самым указывает им на необходимость быть друзьями, иначе им обоим было бы неловко в отношениях светских и непросторно на поприще должностном. Самые места капитан-исправника и заседателей, которые, будучи избираемы дворянством, находятся потом в полной зависимости от губернатора, указывают на необходимость взаимного подкрепления одного в другом. Грозя именем губернатора, предводитель может много сделать там, где не хватит собственной власти; равно как и губернатор посредством предводи-

теля может успешней и сильней действовать на дворян.

Всюду могут случиться просмотры, неправда может проскользнуть везде; за самим губернатором могут завестись грехи. И это предусмотрено: есть отдельное лицо, от всех независимое, долженствующее держать себя от всех в стороне, даже и от самого губернатора. Это прокурор, который есть око закона, без которого ни одна бумага не может выйти из губернии. Ни одно производство дел по всем губернским местам не может его миновать. Оно не решено, если он не пометил на всех его страницах свое слово: читал. Никому не подлежит он сам во всей губернии; никому не дает отчета, кроме министра юстиции, с которым одним только в прямом сношении, и всегда может подать протест на все, что ни вершится в губернии.

Словом — всё полно, и везде слышна законодательная мудрость, как в установлении самих властей, так и в соприкосновеньях их между собою. Я уже и не говорю о тех учрежденьях, где еще далее простерлось правительственное предвиденье, упомяну только о Совестном Суде, подобного которому не знаю в других государствах. По моему мнению, это верх человеколюбия, мудрости

и познанья душевного. Все те случаи, где тяжело и жестоко прикосновенье закона; все дела, относящиеся до малолетних, умалишенных; все, что может решить одна только совесть человека и где может быть несправедлив справедливейший закон; все, что должно быть кончено полюбовно и миролюбиво в высоком христианском смысле, без проволочек по высшим инстанциям, — есть уже его предмет. И как умно, что выбор совестного судьи зависит от дворянства, которое избирает обыкновенно на это место того, на кого падает всеобщий голос, как на человеколюбивого и бескорыстнейшего человека. Как хорошо также, что ему не назначается за это никакого жалованья, никаких наград и что нет здесь никакой мирской приманки человеку. Одно время мне очень желалось занять это место. Как много можно решить на нем запутаннейших спорных дел. Сами тяжущиеся мимо собственных выгод своих перенесут дело в Совестный Суд, как только пронесется слух, что судья судит истинно по совести и уже прославился мудростью своего Божеского суда. Кому из нас не хочется примириться?

Одним словом, чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно,

что Сам Бог строил незримо руками государей. Все полно, достаточно, все устроено именно так, чтобы споспешествовать в добрых действиях, подавая руку друг другу, и останавливать только на пути к злоупотреблениям. Я даже и придумать не могу, для чего тут нужен какой-нибудь прибавочный чиновник; всякое новое лицо тут не у места, всякое нововведение — ненужная вставка. А между тем нашлись же такие правители губерний, как вы сами знаете, которые пристегнули ко всему этому множество разных чиновников по особым поручениям, множество всяких временных и следственных комитетов, разложили и раздробили действия всякой должности и сбили чиновников так, что они потеряли и последние понятия о пределах точных своего поприща. Хорошо, что вы этого не сделали, потому что вы и тогда понимали это дело лучше других. Вы очень хорошо знаете, что приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров наместо одного. Да и вообще система ограничения — самая мелочная система. Человека нельзя ограничить человеком; на следующий год окажется надобность ограничить и того, который приставлен для ограниченья, и тогда ограниченьям не будет

конца. Эта пустая и жалкая система, подобно всем другим системам отрицательным, могла образоваться только в государствах колониальных, которые составились из народа всякого сброда, не имеющего национальной целизны и духа народного, где неизвестны ни самоотверженье, ни благородство, а только одни корыстные личные выгоды. Нужно оказать доверье к благородству человека, а без того не будет вовсе благородства. Кто знает, что на него глядят подозрительно, как на мошенника, и приставляют к нему со всех сторон надсмотрщиков, у того невольно отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать их; нужно напирать на то, чтобы каждый держал сам себя в руках, а не то, чтобы его держали другие; чтобы он был строже к себе в несколько раз самого закона, чтобы он видел сам, чем он подлец перед своей должностью; словом — чтобы он был введен в значенье высшей своей должности. А это может сделать только один генерал-губернатор, если он не пренебрежет постигнуть сам всякую должность в ее истинном существе и мысленно прослужить сам на месте того чиновника, которого бы захотел он ввести в полное значенье его должности. Вследствие этого все ваши сношенья с чиновниками будут

самоличны, без всяких секретарей и мертвой бумажной переписки, а от этого и ваша собственная канцелярия сделается маленькой и вовсе не будет походить на те чудовищные, огромные канцелярии, какие заводят другие начальники. Эти же громадные канцелярии, как вы уже сами знаете, наносят много вреда тем, что отберут у всех чиновников их дела, образуют собою вдруг новую инстанцию и, стало быть, новые затруднения, дадут нечувствительно образоваться какому-нибудь новому полномочному лицу, иногда вовсе ни для кого не зримому, в виде простого секретаря, но через руки которого станут проходить все дела; у секретарей явится какая-нибудь любовница, из-за ней — интриги, ссоры, а с ними вместе и сам черт путаницы, который как тут во всякое время; и дело кончится тем, что, сверх нанесенья новых беспорядков и сложностей, пожрется несметное количество казенных сумм. Храни вас Бог от заведенья канцелярии. Иначе и не объясняйтесь ни с кем, как лично. Как можно пренебречь разговором с человеком, особенно если разговор близок к нему самому, к исполненью его обязанностей и долга, стало быть, близок к самой душе его? Как можно променять такой разговор на пустые газетные толки и мертвые

речи о всяком вранье, набираемом из лживых европейских журналов? О долге человека можно так разговориться, что обоим покажется, как бы они беседуют с ангелами в присутствии Самого Бога. Говорите же так с вашим подчиненным, то есть — наставительно и питательно его душе! Не забудьте, что на русском языке, — я разумею не тот язык, который изворачивается теперь в житейском обиходе, и не книжный язык, и не язык, образовавшийся во время всяких злоупотреблений наших, но тот истинно русский язык, который незримо носится по всей русской земле, несмотря на чужеземствованье наше в земле своей, который еще не прикасается к делу жизни нашей, но, однако ж, все слышат, что он истинно русский язык — на этом языке начальник называется отцом. Будьте же с ними, как отец с детьми, а отец с детьми не заводит бумажных переписок и напрямик изъясняется с каждым из них. Так поступая, введете вы каждого в познанье его должности и сделаете истинно великий подвиг.

А вот вам другой подвиг, которого никто не может совершить, кроме генерал-губернатора, и который в нынешнее время есть дело даже необходимое, не только нужное, а именно: ввести дворянство в познанье истинное своего

званья. Сословие это в своем истинно русском ядре прекрасно, несмотря на временно наросшую чужеземную шелуху. Но дворянство этого еще не слышит. Многие едва-едва только догадываются, другие пребывают в совершенном об этом невежестве, третьи берут себе в идеалы дворянства государств иностранных, четвертые даже не задают себе вопроса: нужно ли на свете дворянство? Если же и находятся между ними такие, которые имеют об этом какие-нибудь светлые мысли, то мысли эти еще не раздаются в массах, и масса их не слышит. В последнее время, кроме всего прочего, восстановился даже в дворянстве некоторый дух недоверия к правительству. Во время последних европейских возмущений и всякого рода смут некоторые из злоумышленников старались особенно распустить в нашем дворянстве слух, будто правительство ищет обессилить их значение и довести их до ничтожества. Беглецы, выходцы за границу и всякого рода недоброжелатели России писали статьи и наполняли ими столбцы чужестранных газет с тем именно умыслом, чтобы заронить вражду между дворянством и правительством: с одной стороны, показать государю России партию каких-то фантастических бояр, оспоривающих самую власть,

а с другой стороны, показать дворянству, что государь не благоволит к ним и вообще не любит этого звания. То есть им хотелось заварить в России какую-то кашу и сумятицу, среди которой можно было бы и самим сыграть какую-нибудь роль. Расчет был на то, что взаимное спасенье и подозрительность есть страшная вещь и может со временем произвести действительно разрыв самых священнейших связей. Но, слава Богу, уже прошли те времена, чтобы несколько сорванцов могли возмутить целое государство. Проект так и остался фантастическим проектом, тем, однако ж, не менее искры недоразумений и взаимного недоверья заронились, и я знаю многих дворян, которые уверены сурьезно, что государь не любит их сословия, и от этого даже тоскуют. Дело это им разрешите и объявите всю правду, не скрывая ничего. Скажите, что государь любит это сословие больше всех других, но любит в его истинно русском значении, — в том прекрасном виде, в каком оно должно быть по духу самой земли нашей. Да и не может быть иначе. Ему ли не любить цвет своего народа? а у нас дворянство есть цвет нашего же народа, а не какое-нибудь пришлое чужеземное сословие. Но следует, чтобы дворянство само себя показало и определило

значенье своего званья, потому что в том виде, в каком оно теперь, при этом отсутствии единства в общем духе, при этом разнообразье мыслей, воспитанья, жизни, привычек, при таком сбивчивом образе понятий о самих себе, никому не могут они подать действительной и полной идеи о том, что такое в нашей земле дворянство. А оттого никакой мудрец не может теперь знать, как ему с ними быть. Следует, чтобы дворянство само вступило в свое истинное и полное значение. И здесь-то вы можете истинно им всем помочь, потому что, будучи сами русский дворянин и уже понимая высшее значенье нашего дворянства, вы лучше всех будете в силах это объяснить. Не нужно для этого много слов, потому что начала всего того, что вы им объявите, у них в груди. Дворянство наше представляет явленье, точно, необыкновенное. Оно образовалось у нас совсем иначе, нежели в других землях. Началось оно не насильственным приходом, в качестве вассалов с войсками, всегдашних оспоривателей верховной власти и вечных угнетателей сословия низшего; началось оно у нас личными выслугами перед царем, народом и всей землей, — выслугами, основанными на достоинствах нравственных, а не на силе. В нашем дворянстве нет гордости каки-

ми-нибудь преимуществами своего сословия, как в других землях; нет спеси немецкого дворянства; никто не хвастается у нас родом или древностью происхождения, хотя наши дворяне всех древнее, — хвастаются разве только какие-нибудь англоманы, которые заразились этим на время, во время проезда через Англию; может быть, только изредка похвастается кто-нибудь своим предком, и то таким, который сослужил истинно верную службу царю и земле своей; а похвастайся он плохим предком, на него выпустят тут же эпиграмму его же собратья дворяне. Одним только позволяет себе всяк из них похвастаться — это чувством своего нравственного благородства, которое уже Бог им вложил в грудь. И если дойдет дело до того, чтобы выказать каким-нибудь поступком это внутреннее высшее благородство, у нас ни один не отстанет от другого, хотя бы сам был всех хуже и весь зажил в грязи и саже. Дворянство у нас есть как бы сосуд, в котором заключено это нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей русской земли затем, чтобы подать понятие всем прочим сословиям, почему сословие высшее называется цветом народа. И если вы только им скажете почти это самое, что я теперь говорю и что есть истинная

правда, да развернете перед ними то поприще, которое теперь всем предстоит им на передачу и увековеченье имен своих в потомстве; если ясно покажете им, что вся русская земля взывает о помощи и что помощь ей можно оказать одними подвигами благородства, а подвиги благородства следует показать тем, которые уже от рожденья получили благородство, то увидите, что сердца их чокнутся с вашим сердцем, как рюмки во время пирушки. Не скрывайте от них дела, объясните им всю правду. Зачем заставлять их узнавать то же самое из лживых иностранных газет и давать сорванцам кружить им головы? Обнаружьте им всю правду начисто. Скажите им, что Россия, точно, несчастна; что несчастна от грабительств и неправды, которые до такой наглости еще не возносили рог свой; что болит сердце у государя так, как никто из них не знает, не слышит и не может знать. Да может ли быть иначе при виде этого вихря возникнувших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отняли почти у каждого простор делать добро и пользу истинную своей земле, при виде повсеместного помраченья и всеобщего уклоненья всех от духа земли своей, при виде, наконец, этих бесчестных плутов, продавцов правосудья и грабителей, которые,

как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело и в мутной воде ловить свою презренную выгоду. Когда вы это им скажете, да вслед за этим покажете, что теперь им всем предстоит сослужить истинно благородную и высокую службу царю, а именно: так же великодушно, как некогда становились в ряды противу неприятеля, так же великодушно стать теперь на неприманчивые места и должности, опозоренные низкими разночинцами, тогда увидите, как встрепенется наше дворянство. Отбою не будет от желающих вступить в службу и занять самые невидные места. И, отслуживши, не потребуют они себе за это ни наград, ни отличий, ни даже привилегий и преимуществ, довольные тем, что показали высокое внутреннее преимущество свое. Словом, только покажите им высоту их звания, и вы увидите, как благородна их природа. Вы можете указать им также то второе великое дело, которое они могут сделать, воспитавши вверенных им крестьян таким образом, чтобы они стали образцом этого сословия для всей Европы, потому что теперь не на шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом, которого стихии исчезнули повсюду, кроме России, и начинают гласно говорить о преимуществах

нашего крестьянского быта, испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних, для их улучшенья. А потому вам следует склонить дворян, чтобы они рассмотрели попристальней истинно русские отношения помещика к крестьянам, а не те фальшивые и ложные, которые образовались во время их позорной беззаботности о своих собственных поместьях, преданных в руки наемников и управителей; чтобы позаботились о них истинно, как о своих кровных и родных, а не как о чужих людях, и так бы взглянули на них, как отцы на детей своих. Сим только одним могут возвесть они это сословие в то состояние, в каком следует ему пребыть, которое, как нарочно, не носит у нас названья ни вольных, ни рабов, но называется хрестьянами от имени Самого Христа. Все это может вполне объяснить дворянству генерал-губернатор, если о том помыслит заблаговременно и войдет сам в полное значенье нашего дворянства. И это будет вам второй великий подвиг.

А вот вам третий подвиг, которого тоже никто не может сделать, кроме генерал-губернатора. Все европейские государства теперь болеют необыкновенной сложностью всяких законов и постановлений. Повсюду заметно одно замеча-

тельное явление, а именно: законы собственно гражданские выступили из пределов и ворвались в области, им не принадлежащие. С одной стороны, они вторгнулись в область, состоявшую долго под управлением народных обычаев; с другой стороны, они вторгнулись в область, долженствующую оставаться вечно под управлением Церкви. Случилось это не насильственно: разлив гражданских законов произошел сам собою, встретивши повсюду пустые, себя не ограждавшие места. Мода подорвала обычаи, уклонение духовенства от прямой жизни во Христе оставило на произвол все частные отношения каждого человека в его частном быту. Законы гражданские взяли то и другое, как оставленных сирот, под свою опеку и оттого только стали так сложны. Сами же по себе они вовсе не пространны, и если возвратится то, что законным образом должно принадлежать обычаям, и то, что должно поступить в вечное владение Церкви, тогда их может заключить только одна книга, которая обнимет одни крупные уклоненья от общественного порядка и отношенья собственно государственные. Все до единого теперь видят, что множество дел, злоупотреблений и всяких кляуз произошло именно оттого, что европей-

ские философы-законодатели стали заранее определять все возможные случаи уклонений, до малейших подробностей, и тем открыли всякому, даже благородному и доброму, пути к бесконечным и несправедливейшим тяжбам, которые затевать он прежде почел бы бесчестнейшим делом, но которые он затевает теперь смело, увидя в каком-нибудь пункте постановлений возможность и надежду получить когда-то потерянное добро или же просто только возможность оспаривать владенье другого. Он уже идет горой, как герой на приступ, и не глядит вовсе на своего супротивника, хотя бы тот лишился через это последней своей рубашки, хотя бы он пошел по миру со всей семьей своей. Человеколюбивый производит теперь бесстыднейшим образом в виду всех жестокое дело и даже им хвастается, тогда как он устыдился бы и самой мысли о том, если бы служитель Церкви поставил их обоих лицом ко Христу, а не презренным выгодам личным, и если бы завелось так, как и быть должно, чтобы во всех делах запутанных, казусных, темных, словом — во всех тех делах, где угрожает проволочка по инстанциям, мирила человека с человеком Церковь, а не гражданский закон. Но вот вопрос: как это сделать? Как сделать, чтобы гражданско-

му закону отдано было действительно только то, что должно принадлежать гражданскому закону; чтобы обычаям возвращено было то, что должно оставаться во власти обычаев, и чтобы за Церковью вновь утверждено было то, что должно вечно принадлежать Церкви? Словом, как возвратить все на свое место? В Европе сделать этого невозможно: она обольется кровью, изнеможет в напрасных бореньях и ничего не успеет. В России есть возможность; в России может это нечувствительно совершиться — не какими-нибудь нововведениями, переворотами и реформами и даже не заседаньями, не комитетами, не преньями и не журнальными толками и болтовней; в России может этому дать начало всякий генерал-губернатор вверенной его управлению области, и как просто: не чем другим, как только собственной жизнью своей. Патриархальностью жизни своей и простым образом обращенья со всеми он может вывести вон моду с ее пустыми этикетами и укрепить те русские обычаи, которые в самом деле хороши и могут быть применены с пользой к нынешнему быту. Он может сильно подействовать на то, что отношенья между собою как жителей городов, так и помещиков станут проще; а уничтоженье

этой сложности светских отношений, какая ныне, уменьшит непременно ссоры и неудовольствия, которые возникнули, как вихри, между обитателями городов. Так же, как на водворенье обычаев, может подействовать генерал-губернатор на законное водворенье Церкви в нынешнюю жизнь русского человека: во-первых, примером собственной жизни, а во-вторых, — самими мерами, не принудительными и насильственными, но сильнейшими в несколько раз всяких насильственных. Об этом когда-нибудь мы с вами поговорим после, когда вы действительно возьмете должность, а до того времени скажу вам только вот что: если уже простой обычай сильнее всякого письменного закона, а между прочим, что такое обычай, если рассмотреть его строго? Иногда он просто не имеет никакого значенья в нынешнем времени, установлен неизвестно зачем, пришел неизвестно откуда; не слышишь даже авторитета, его утвердившего; иногда он тянется еще от времен язычества, противуположен христианству и всем элементам новой жизни. И если при всем этом обычай так силен, что его трудно бывает изгладить в продолжение многих лет? Что же, если введется такой обычай, который основан на разуме, единоустно и единодушно

будет признан всеми и освящен свыше Самим Христом и Его Церковью? Такой обычай пойдет во веки веков, и не сокрушит его никакая сила, какие бы ни наступили всемирные колебания. Но этот предмет велик; о нем нужно поговорить умно, а я для того глуп. После, когда Бог поможет и вразумит меня, может быть, что-нибудь скажу. Работ вам будет много. Крепитесь и берите твердо должность генерал-губернатора, если только она будет вам предложена. Вы исполните ее теперь именно так, как следует, и сообразно тому, чего требует само правительство, то есть — бодрящею, освежающею силою пронестись по всей области, всех воздвигнуть, всех освежить, всех настроить, всему дать толчок и обратиться потом в другую губернию затем, чтобы и там произвести то же. Вы сами увидите, что должность эта непременно должна быть временная, иначе она не имела бы смысла, потому что внутренний организм губернии достаточен и полон, и нет надобности в другом управителе, кроме гражданского губернатора. С Богом же, и не бойтесь ничего! Но, хотя бы пришлось вам занять и другую должность, руководствуйтесь теми же правилами: не забывайте нигде, что вы — на время. Устрояйте так дела, чтобы они не только при вас шли хорошо,

но и после вас; чтобы не мог ничего сдвинуть ваш преемник, но вступил бы невольно уже сам в утвержденные вами границы, держася вами данного законного направления. Христос научит вас, как закалять дело накрепко и навеки. Будьте отец истинный всем вам подвластным чиновникам и каждому помогите свято и честно исполнить должность свою. Подавайте братски руку всякому освобождаться от его собственных пороков и недостатков. Имейте на всех влияние, но влияние единственно затем, чтобы заставить каждого иметь на самого себя влияние. Смотрите также, чтобы никто не опирался чересчур и слишком на вас, как на собственный посох свой, подобно тому как римско-католические дамы опираются на духовников своих, без воли которых они не смеют переступить в другую комнату и ждут для этого исповеди; но чтобы помнил человек, что нянька дается ему на время, а не навсегда и что как только отступает от него наставник, тут-то ему и следует блюсти за собой осторожней, чем когда-либо прежде, помня ежеминутно, что уже некому теперь смотреть за ним, и содержа, как святыню, в своей памяти всякое слово, ему сказанное. Старайтесь также, чтобы не было плача при расставанье с вами, если бы случилось вам

оставлять вашу должность, но чтобы бодрей и свежей еще глядел каждый вперед, а потому ко дню расставанья копите все, что хотели бы вы сказать в наставленье каждому: в этот день будут для них святы все слова ваши, и то, чего бы они не приняли и не исполнили прежде, то теперь примут и после вас исполнят. Для меня наилучшая минута — время расставанья с моими друзьями; всяк из друзей моих, кто теперь ни расстается со мной, расстается весело и светлеет духом. Вам подтвердят это все те, которые расставались со мною в последнее время. Я даже уверен, что когда буду умирать, со мной простятся весело все меня любившие: никто из них не заплачет и будет гораздо светлее духом после моей смерти, чем при жизни моей. Еще скажу вам слово насчет любви и всеобщего расположения к себе, за которыми многие так гоняются. Заискивать любви к себе есть незаконное дело и не должно занимать человека. Смотрите на то — любите ли вы других, а не на то — любят ли вас другие. Кто требует платежа за любовь свою, тот подл и далеко не христианин. О, как я благодарен за то, что еще от детства вселил в меня Бог непонятное мне самому чувство бежать от всяких неумеренных излияний, даже родственных и дружеских, как от

чего-то приторного и неприятного. Как это верно, что полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть передаваема по начальству, и всякий начальник, как только заметит ее устремленье к себе, должен в ту же минуту обращать ее к постановленному над ним высшему начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь Самому Богу.

1845

XXIX. Чей удел на земле выше (Из письма к У……му)

Никак не могу сказать вам, чей удел на земле выше и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда я был поглупее, я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна. Все получат равное воздаяние — как тот, которому вверен был один талант и он принес на него другой, так и тот, которому дано было пять талантов и который принес на них другие пять. Даже, я думаю, участь первого еще лучше именно оттого, что он не пользовался на земле

известностью и не вкушал очаровательного напитка земной славы, подобно последнему. Чудна милость Божия, определившая равное воздаяние всякому, исполнившему честно долг свой, царь ли он или последний нищий. Все они там уравняются, потому что все внидут в радость Господина своего и будут пребывать *равно* в Боге. Конечно, Сам Христос сказал в другом месте: «В дому Отца Моего обители многи суть»; но как помыслю об этих обителях, как помыслю о том, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен Небесного Царства и вопрошен: «Какую из них хочешь?» Знаю только то, что сказал бы: «Последнюю, Господи, но лишь бы она была в дому Твоем!» Кажется, ничего бы не желалось больше, как только служить тем избранным, которые уже удостоились созерцать во всем величии Его славу. Лежать бы только у ног их и целовать святые их ноги!

1845

XXX. Напутствие

На письмо твое теперь не буду отвечать; ответ будет после. Все вижу и слышу: страданья твои велики. С такою нежною душою терпеть такие грубые обвиненья; с такими возвышенными чувствами жить посреди таких грубых, неуклюжих людей, каковы жители пошлого городка, в котором ты поселился, которых уже одно бесчувственное, топорное прикосновение в силах разбить, даже без их ведома, лучшую драгоценность сердечную, медвежьей лапой ударить по тончайшим струнам душевным, данным на то, чтобы выпеть небесные звуки, — расстроить и разорвать их, видеть, в прибавленье ко всему этому, ежедневно происходящие мерзости и терпеть презренье от презренных! Все это тяжело, знаю. Твои страданья телесные тяжелы не меньше: твои нервические недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агонии, которою ты одержим теперь, — все это тяжело, тяжело, и ничего больше не могу сказать тебе, как только: тяжело! Но вот тебе утешенье. Это еще начало; оскорблений тебе будет еще больше: предстанут тебе еще сильнейшие борьбы со взяточниками,

подлецами всех сортов и бесстыднейшими людьми, для которых ничего нет святого, которые не только в силах произвести то гнусное дело, о котором ты пишешь, то есть подписаться под чужую руку, дерзнуть взвести такое ужасное преступление на невинную душу, видеть своими глазами кару, постигшую оклеветанного, и не содрогнуться, — не только подобное гнусное дело, но еще в несколько раз гнуснейшие, о которых один рассказ может лишить навеки сна человека сердобольного. (О, лучше бы вовсе не родиться этим людям: весь сонм небесных сил содрогнется от ужаса загробного наказанья, их ждущего, от которого никто уже их не избавит.)

Встретятся тебе бесчисленные новые поражения, неожиданные вовсе. На твоем почти беззащитном поприще и незаметной должности все может случиться. Твои нервические припадки и недуги будут также еще сильнее, тоска будет убийственней и печали будут сокрушительней. Но вспомни: призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований. На битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем *там.* А потому ни на миг мы не должны позабывать, что вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин,

должен бросаться из нас всяк туда, где пожарче битва. Всех нас озирает свыше Небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора. Не уклоняйся же от поля сраженья, а выступивши на сражение, не ищи неприятеля бессильного, но сильного. За сраженье с небольшим горем и мелкими бедами не много получишь славы. Не велика слава для русского сразиться с миролюбивым немцем, когда знаешь вперед, что он побежит; нет, с черкесом, которого все дрожит, считая непобедимым, с черкесом схватиться и победить его — вот слава, которою можно похвалиться! Вперед же, прекрасный мой воин! С Богом, добрый товарищ! С Богом, прекрасный друг мой!

1846

XXXI. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность

Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень много своего. Самородный ключ ее уже бил в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. Струи его пробиваются в наших песнях, в которых мало

привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унестись куда-то вместе с звуками. Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображенья, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое. Струи его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пастырей — слове простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас услаждающая; так же, как и строение нынешнего нашего гражданского порядка произошло не из начал, уже пребывавших прежде в земле нашей. Гражданское строение наше произошло также

не правильным, постепенным ходом событий, не медленно-рассудительным введением европейских обычаев, которое было бы уже невозможно по той причине, что уже слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр, гораздо большего разладу во всем, нежели какой действительно потом наступил, — гражданское строение наше произошло от потрясения, от того богатырского потрясения всего государства, которое произвел царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познакомить его со всем, что ни добыла себе Европа долгими годами кровавых борений и страданий. Крутой поворот был нужен русскому народу, и европейское просвещение было огниво, которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе. Огниво не сообщает огня кремню, но покамест им не ударишь, не издаст кремень огня. Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг, восторг от пробужденья, восторг вначале безотчетный: никто еще не услышал, что он пробудился затем, чтобы с помощию европейского

света рассмотреть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что он пробудился. Уже самый этот крутой поворот всего государства, произведенный одним человеком, — и притом самим царем, который великодушно отказался на время от царского званья своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле, дабы не произошло никаких беспорядков, следующих при малейшем измененье государственных форм, — был делом, достойным восторга. Переворот, который обыкновенно на несколько лет обливает кровью потрясенное государство, если производится бореньями внутренних партий, был произведен, в виду всей Европы, в таком порядке, как блистательный маневр хорошо выученного войска. Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила громами и блеснула отблеском европейских наук. Все в молодом государстве пришло в восторг, издавши тот крик изумленья, который издает дикарь при виде навезенных блестящих сокровищ. Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше — он создал ее. Вот почему поэзия с первого стихотворения, появившегося в печати, приняла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать

в одно и то же время восхищенье от света, внесенного в Россию, изумленье от великого поприща, ей предстоящего, и благодарность царям, того виновникам. С этих пор стремленье к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека, и оно-то дало ход нашей нынешней поэзии, внеся новое, светоносное начало, которого не видно было ни в одном из тех трех источников ее, о которых упомянуто вначале.

Что такое Ломоносов, если рассмотреть его строго? Восторженный юноша, которого манит свет наук да поприще, ожидающее впереди. Случаем попал он в поэты: восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду. Впопыхах занял он у соседей немцев размер и форму, какие у них на ту пору случались, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Нет и следов творчества в его риторически составленных одах, но восторг уже слышен в них повсюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь, близкому науколюбивой его душе. Коснулся он северного сияния, бывшего предметом его ученых исследований, — и плодом этого прикосновения была ода «Вечернее размышление о Божием величестве», вся величественная от начала до конца, которой никому не написать, кроме Ломоносова. Те же

причины породили известное послание к Шувалову «О пользе стекла». Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной. Среди холодных строф польются вдруг у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Точно как бы, выражаясь его же словами:

Божественный пророк Давид
Священными шумит струнами,
И Бога полными устами
Исайя восхищен гремит

Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуясь ее беспредельностью и девственной природой. В описаниях слышен взгляд скорей ученого натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта. Изумительней всего то, что, заключа стихотворную речь свою в узкие строфы немецкого ямба, он ничуть не стеснил языка: язык у него движется в узких строфах так же величественно и свободно, как полноводная река в нестесненных берегах. Он у него свободнее и лучше в стихах, чем в прозе, и недаром Ломоносова называют

отцом нашей стихотворной речи. Изумительно то, что начинатель уже явился господином и законодателем языка. Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступленье впереди книги. Его поэзия — начинающийся рассвет. Она у него, подобно вспыхивающей зарнице, освещает не все, но только некоторые строфы. Сама Россия является у него только в общих географических очертаниях. Он как бы заботится только о том, чтобы набросать один очерк громадного государства, наметить точками и линиями его границы, предоставив другим наложить краски; он сам как бы первоначальный, пророческий набросок того, что впереди.

С руки Ломоносова оды вошли в обычай. Торжество, победа, тезоименитство, даже иллюминация и фейерверк стали предметом од. Слагатели их выразили только бездарную прыть наместо восторга. Исключить из них можно одного Петрова, не чуждого силы и стихотворного огня: он был действительно поэт, несмотря на жесткий и черствый стих свой. Все прочие напомнили только риторически-холодный склад ломоносовских од и показали наместо благозвучия ломоносовского языка трескотню и беспорядок слов, терзающий ухо. Но огниво уже ударило по

кремню; поэзия уже вспыхнула: еще не успел отнести руку от лиры Ломоносов, как уже заводил первые песни Державин.

В эпоху Екатерины, царствование которой можно назвать блестящей выставкой первых русских произведений, когда на всех поприщах стали выказываться русские таланты, — с битвами вознеслись полководцы, с учрежденьями внутренними государственные дельцы, с переговорами дипломаты, с академиями словесники и ученые, — появился и поэт, Державин, с тою же картинно-величавой наружностью, как и все люди времен Екатерины, развернувшиеся в какой-то еще дикой свободе, со множеством недоконченного и не вполне отделанного в частях, как случается с теми произведениями, которые выставляются несколько торопливо напоказ. Мысль о сходстве Ломоносова с Державиным, приходящая в ум при первом взгляде на них обоих, исчезнет вдруг, как только всмотришься покрепче в Державина. Всем, даже самим воспитаньем, последний представляет совершенную противуположность первому. Как один весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлеченьем и делом отдохновенья, так другой предался весь своему стихотворству, считая

многостороннее образованье науками лишним и ненужным. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у него; но уже видны не одни только географические очерки государства: выступают люди и жизнь. Не отвлеченные науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже к людям всех сословий и должностей, и слышно в них стремление начертать закон правильных действий человека во всем, даже в самых его наслажденьях. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое в виде какого-то темного пророчества носится до сих пор над нашею землею, прообразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные останки орд, распаляющие свое воображенье рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете, — что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. Иногда Бог весть как издалека забирает он слова и выраженья затем именно, чтобы стать ближе

к своему предмету. Дико, громадно все; но где только помогла ему сила вдохновенья, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он. Стоит пробежать его «Водопад», где, кажется, как бы целая эпопея слилась в одну стремящуюся оду. В «Водопаде» перед ним пигмеи другие поэты. Природа там как бы высшая нами зримой природы, люди могучее нами знаемых людей, а наша обыкновенная жизнь перед величественной жизнью, там изображенной, точно муравейник, который где-то далеко колышется вдали. О Державине можно сказать, что он — певец величия. Все у него величаво: величав образ Екатерины, величава Россия, озирающая себя в осьми морях своих; его полководцы — орлы; словом — все у него величаво. Заметно, однако же, что постоянным предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было — начертить образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками; изобразить его таким, каким он должен был изникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемом камне нашей Церкви.

Часто, бросивши в сторону то лицо, которому надписана ода, он ставит на его место того же своего непреклонного, правдивого мужа. Тогда глубокие истины изглашаются у него таким голосом, который далеко выше обыкновенного: возвращается святое, высокое значенье тому, что привыкли называть мы общими местами, и, как из уст самой Церкви, внимаешь вечным словам его. Сравнительно с другими поэтами, у него все глядит исполином: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия. Например: поэт изображает старца Каспия в то время, когда он, рассерженный бурею,

Встает в упор ее волнам:
То скачет в твердь, то, в ад стремяся,
Трезубцем бьет по кораблям;
Столбом власы седые вьются,
И глас его гремит в горах.

Тут, казалось, хотел создаться *зримо* образ старца Каспия, но потерялся в каком-то духовном, *незримом*, очертании: ухо слышит один гул гремящего моря, и вместе с седыми власами старца подъемлется волос на голове самого читателя,

пораженного суровым величием картины. Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественном муже, в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно на земле:

И смерть как гостью ожидает,
Крутя, задумавшись, усы.

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожиданье смерти, с таким ничтожным действием, каково крученье усов? Но как через это ощутительней видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе! Но надобно сказать, что как это, так и все другие исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление. Тогда все в беспорядке: речь, язык, слог, — все скрыпит, как телега с невыма-

занными колесами, и стихотворенье — точный труп, оставленный душою. Следы собственного неконченного образованья, как в умственном так и в нравственном смысле, отразились очень заметно на его твореньях. Муж, проповедовавший другим о том, как править собою, не умел управить себя, далеко не стал самим собою и должен был напряженной силой вдохновенья добираться до себя же, чтобы заговорить о том, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай воспитанье полное такому мужу — не было бы поэта выше Державина; теперь же остается он как невозделанная громадная скала, перед которой никто не может остановиться, не будучи пораженным, но перед которой долго не застаивается никто, спеша к другим местам, более пленительным.

Еще Державин ударял в струны своей лиры, как уже все вокруг его изменилось: век Екатерины, полководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись, как сновидение. Наступил век Александра, опрятный, благопристойный, вылощенный. Все застегнулось и, как бы почувствовав, что уже раскинулось чересчур нараспашку, стало наперерыв приобретать наружное благоприличие и стройность поступ-

ков. Французы стали вполне образцы всему и, так же как щеголи Парижа, завладели надолго нашим обществом, ловкие французские поэты завладели было на время нашими поэтами. К чести, однако ж, верного поэтического чутья нашего нужно сказать то, что в образец пошел один Лафонтен затем именно, что был ближе к природе: Дмитриев, Хемницер и Богданович стали производить подобные ему в простоте творенья, обработывая те же предметы. Русский язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, незнакомую Державину. Наместо оды стали пробовать все роды и формы поэзии. Дмитриев показал много таланта, вкуса, простоты и приличия во всем, которыми убил напыщенность и высокопарность, нанесенные бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатого содержания нашей поэзии: одно общесветское стало ее предметом, и она сделалась сама похожею на умного и ловкого светского человека, когда он сидит в гостиной и ведет разговор совсем не затем, чтобы поведать душевную исповедь свою или подвинуть других на какое-нибудь важное дело, но затем, чтобы просто повести разговор и пощеголять уменьем

вести его обо всех предметах. Последние звуки Державина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале. От одного только Капниста послышался аромат истинно душевного чувства и какая-то особенная антологическая прелесть, дотоле незнакомая. Вот его «Деревенский домик в Обуховке»:

Приютный дом мой под соломой,
По мне, ни низок, ни высок;
Для дружбы есть в нем уголок,
А к двери, нищему знакомой,
Забыла лень прибить замок.

Но не могла оставаться долго наша поэзия на этой поверхностной светской верхушке. Уже пробуждена была сильно ее чуткость от петровского удара европейским огнивом. Вдруг приметила она, что от французов, кроме ловкости, ничего не переймет в свое воспитанье, и обратилась к немцам. В немецкой литературе происходило в это время явленье странное. Неясные грезы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествия, темные призраки невидимого мира, мечты и страхи, сопровождающие детство человека, стали предметом немецких поэтов.

Можно бы назвать такую поэзию шалостью школьника, если бы в ней не слышался тот младенческий лепет, которым подает о себе весть бессмертный дух человека, требующий себе живой пищи. Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явленьем. Ее собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то похожем. Но при всем том мы сами никак бы не столкнулись с немцами, если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, чем немецкая. Этот поэт — Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность! Чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному. В душе его, точно как в герое его баллады Вадиме, раздавался небесный звонок, зовущий вдаль. Из-за этого зова бросался он на все неизъяснимое и таинственное повсюду, где оно ни встречалось ему, и стал облекать его в звуки, близкие нашей душе. Все в этом роде у него взято у чужих, и больше у немцев, — почти все переводы. Но на переводах так отпечаталось это внутреннее стремление, так зажгло и оду-

шевило их своею живостью, что сами немцы, выучившиеся по-русски, признаются, что перед ним оригиналы кажутся копиями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, как назвать его, — переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворений его, видишь: одно взято из Шиллера, другое из Уланда, третье у Вальтер Скотта, четвертое у Байрона, и все — вернейший сколок, слово в слово, личность каждого поэта удержана, негде было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь несколько стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? — не предстанет перед глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт, от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равным. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность — это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни в ком из переведенных им поэтов не слышно так сильно стремленье уно-

ситься в заоблачное, чуждое всего видимого, ни в ком также из них не видится это твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека, так что, читая его, чувствуешь на всяком шагу, как бы сам, выражаясь стихами Державина:

Под надзирание ты предан
Невидимых, бессмертных сил,
И легионам заповедан
Всех ангелов, чтоб цел ты был.

Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт. Внеся это новое, дотоле незнакомое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение. Переводя, он оставил переводами початки всему оригинальному, внес новые формы и размеры, которые стали потом употреблять все другие наши поэты. Лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом-изобретателем, — лень выдумывать, а не недостаток творчества. Признаки творчества показал он в себе уже с самого начала своего поприща: «Светлана» и «Людмила» разнесли в первый раз греющие зву-

ки нашей славянской природы, более близкие нашей душе, чем какие раздавались у других поэтов. Доказательством тому то, что они произвели впечатленье сильное на всех в то время, когда поэтическое чутье у нас было еще слабо развито. Элегический род нашей поэзии создан им. Есть еще первоначальнейшая причина, от которой произошла и самая лень ума: это — свойство *оценивать*, которое, поселившись властительно в его уме, заставляло его останавливаться с любовью над всяким готовым произведением. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое так изумляло Пушкина. Пушкин сильно на него сердился за то, что он не пишет критик. По его мненью, никто, кроме Жуковского, не мог так разъять и определить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оценивать отражается в его живописных описаниях природы, которые все его собственные, самобытные произведения. Взявши картину, его пленившую, он не оставляет ее по тех пор, покуда не исчерпает всю, разъяв как бы анатомическим ножом ее неуловимейшую подробность. Кто уже мог написать стихотворенье «Отчет о солнце», где подстережены все видоизменения солнечных лучей и волшебство картин, ими производимых в разные часы дня, равно как

с такой же живописной подробностью изобразить в «Отчете о луне» волшебство лунных лучей, с целым рядом ночных картин, ими производимых, — тот, разумеется, должен был заключить в себе в большой степени свойство *оценивать*. Его «Славянка» с видами Павловска — точная живопись. Благоговейная задумчивость, которая проносится сквозь все ее картины, исполняет их того греющего, теплого света, который наводит успокоенье необыкновенное на читателя. Становишься тише во всех своих порывах, и какой-то тайной замыкаются твои собственные уста.

В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направленья. По мере того как стала перед ним проясняться чище та незримо-светлая даль, которую он видел дотоле в неясно-поэтическом отдалении, пропадала страсть и вкус к призракам и привиденьям немецких баллад. Самая задумчивость уступила место светлости душевной. Плодом этого была «Ундина», творенье, принадлежащее вполне Жуковскому. Немецкий пересказчик того же самого преданья в прозе не мог служить его образцом. Полный создатель светлости этого поэтического созданья есть Жуковский. С этих пор он добыл какой-то прозрачный язык, кото-

рый ту же вещь показывает еще видней, чем как она есть у самого хозяина, у которого он взял ее. Даже прежняя воздушная неопределенность стиха его исчезла: стих его стал крепче и тверже; все приуготовлялось в нем на то, дабы обратить его к передаче совершеннейшего поэтического произведения, которое, будучи произведено таким образом, как производится им, при таком напоенье всего себя духом древности и при таком просветленном, высшем взгляде на жизнь, покажет непременно первоначальный, патриархальный быт древнего мира в свете родном и близком всему человечеству, — подвиг, далеко высший всякого собственного создания, который доставит Жуковскому значение всемирное. Перед другими нашими поэтами Жуковский то же, что ювелир перед прочими мастерами, то есть мастер, занимающийся последнею отделкой дела. Не его дело добыть в горах алмаз — его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появленье такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано

и пренебрежено другими народами.

В то время когда Жуковский стоял еще на первой поре своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самого идеальном, так этот весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Все прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслажденья. Он слышал, выражаясь его же выраженьем, «стихов и мыслей сладострастье». Казалось, как бы какая-то внутренняя сила равновесия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши с Ариостом, Тассом, Петраркой, Парни и нежными отголосками Древней Эллады; чтобы даже и самый стих, начинавший принимать

воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая слышна у южных поэтов новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала в нашу поэзию; из двух начал вмиг образовалось третье: явился Пушкин. В нем середина. Ни отвлеченной идеальности первого, ни преизобилья сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногоглаголив на передачу ощущенья, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношенья оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. Приведу пример. Поэта поразил вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта полились бы пылкие стихи на несколько страниц. У Пушкина все в десяти строках, и стихотворенье оканчивает он сим внезапным обращением:

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к горной вышине!

Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Именно одно это мог бы сказать русский человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустились бы на подробный отчет ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого.

Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем он не поразился и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа и картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака — везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке — все становится его предметом. На все, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе видимой и внешней. Все становится у него отдельной картиной; все предметы

его; изо всего, как ничтожного так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творенье Бога, — его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого примененья к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии. Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение Бога!» — и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, чтобы сказать также: «Смотрите, как прекрасно Божие творение!» От этого сочинения его представляют явленье изумительное противуречием тех впечатлений, какие они порождают в читателях. В глазах людей весьма умных, но не имеющих поэтического чутья, они — отрывки недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей, одаренных поэтическим чутьем, они — полные поэмы обдуманные, оконченные, всё заключающие в себе, что им нужно.

На Пушкине оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались никому из наших поэтов и в которых виден дух просыпающегося времени.

Зачем, к чему была его поэзия? Какое новое направленье мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Подействовал ли на него если не спасительно, то разрушительно? Произвел ли влиянье на других хотя личностью собственного характера, гениальными заблужденьями, как Байрон и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, — что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условьем также собственного, личного характера, как человека, но в независимости от всего; чтобы если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при

помышленье о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая, младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создававшая из них себе мир и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, облагодетельствованный всеми дарами Неба и не могший простить ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в поэзию его?

Сам Гёте, этот Протей из поэтов, стремившийся обнять все как в мире природы, так и в мире наук, показал уже сим самым наукообразным стремленьем своим личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-немецкого притязанья подладиться ко всем временам и векам. Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на все откликающийся и одному себе только не находящий отклика. Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву

с ним не вышел. Зачем не вышел? — это другой вопрос. Он сам на него отвечает стихами:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем все там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их! Ни один итальянский поэт не отделывал так сонетов своих, как обрабатывал он эти легкие, по-видимому мгновенные созданья. Какая точность во всяком слове! Какая значительность всякого выраженья! Как все

округлено, окончено и замкнуто! Все они точно перлы; трудно и решить, которое лучше. Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам, только что вышедшим из купели, когда они все как одна и все равно прекрасны.

Как ему говорить было о чем-нибудь, потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на все, что ни есть в мире, и когда всякий предмет равно звал его? Он хотел было изобразить в «Онегине» современного человека и разрешить какую-то современную задачу — и не мог. Столкнувши с места своих героев, сам стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собранье разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и, по прочтенье ее, наместо всего выступает тот же чудный образ на все откликнувшегося поэта. Его совершеннейшие произведения: «Борис Годунов» и «Полтава» — тот же верный отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникам не замышлял он выбором этих двух сюжетов; не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь из выведенных здесь ге-

роев и предпринял бы из-за этого эти две поэмы, так мастерски и художественно отработанные. Он изумился только необычайности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие.

Чтение поэтов всех народов и веков порождало в нем тот же отклик. Герой испанский Дон-Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине, где еще с большим познанием души выставлен неотразимый соблазн развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гётев Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта, — и дивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гёте. Суровые терцины Данта внушили ему мысль в таких же терцинах и в духе самого Данта изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя — в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад затем, чтобы остановиться перед древними статуями с лирами и циркулями в

руках, говорившими ему живей науки, где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на все откликаться.

И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем.

Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочь», решительно лучшее русское произведенье в повествователь-

ном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственною пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей — все не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с «Капитанской дочкой» оставил он мастерские пробы романов: «Рукопись села Горохина», «Царский арап» и сделанный карандашом набросок большого романа — «Дубровский». В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизни. Отголоски этого слышны

в изданном уже по смерти его стихотворенье, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния. Много готовилось России добра в этом человеке… Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас — и все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека.

Влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона; когда же пришел он в себя и стал наконец не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось. Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, — так и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с Неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг его

вдруг образовалось их целое созвездие: Дельвиг, поэт-сибарит, который нежился всяким звуком своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпом всего напитка поэзии, глотал его по капле, как знаток вин, присматриваясь к цвету и обоняя самый запах; Козлов, гармонический поэт, от которого раздались какие-то дотоле не слышанные, музыкально-сердечные звуки; Баратынский, строгий и сумрачный поэт, который показал так рано самобытное стремление мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как они еще не вызрели в нем самом; темный и неразвившийся, стал себя выказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким. Всех этих поэтов возбудил на деятельность Пушкин; других же просто создал. Я разумею здесь наших так называемых антологических поэтов, которые произвели понемногу; но если из этих немногих душистых цветков сделать выбор, то выйдет книга, под которою подпишет свое имя лучший поэт. Стоит назвать обоих Туманских, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и некоторых других, которые не выказали бы собственного поэтического огня и благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пушкина. Даже

прежние поэты стали перестраивать лад лир своих. Известный переводчик Илиады Гнедич, пролагатель псалмов Ф. Глинка, партизан-поэт Давыдов, наконец сам Жуковский, наставник и учитель Пушкина в искусстве стихотворном, стал потом учиться сам у своего ученика. Сделались поэтами даже те, которые не рождены были поэтами, которым готовилось поприще не менее высокое, судя по тем духовным силам, какие они показали даже в стихотворных своих опытах, как то: Веневитинов, так рано от нас похищенный, и Хомяков, слава Богу еще живущий для какого-то светлого будущего, покуда еще ему самому не разоблачившегося. Сила возбудительного влияния Пушкина даже повредила многим, особенно Баратынскому, и еще одному поэту, о котором будет речь ниже, — повредила именно тем, что они стали передавать невызревшие движенья души своей, тогда как самая душа не набралась еще поэзии, доступной и близкой другим, и когда определено было им совершить прежде свое внутреннее воспитание и до времени умолкнуть. Всех соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворных созданий, которую показал Пушкин. Позабыв и общество, и всякие современные связи с ним человека, и вся-

кие требования земли своей, все жило в какой-то поэтической Элладе, повторяя стихи Пушкина:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появленьем первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный. Все, что выражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть ото всего, к чему он ни прикоснется. Вот его купанье в реке:

Покровы прочь! Перед челом

Протянем руки удалые
И – бух!
Блистательным дождем
Взлетают брызги водяные.
Какая сильная волна!
Какая свежесть и прохлада!
Как сладострастна, как нежна
Меня обнявшая наяда!

Вот у него игра в свайку, которую он назвал прямо русскою игрою. Юноши-молодцы стали в кружок:

Тяжкий гвоздь стойком и плотно
Бьет в кольцо – кольцо бренчит.
Вешний вечер беззаботно
И невидимо летит.

Все, что вызывает в юноше отвагу, — море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз на дело, твердая как кремень вера в будущее, готовность ратовать за отчизну, — выражается у него с силой неестественной. Когда появились его стихи отдельной книгой, Пушкин сказал с досадой: «Зачем он назвал их: «Стихотворенья Языкова»! их бы следовало назвать просто:

«Хмель»! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их»). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы: первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже было признали бессильною и немощной, взывает так:

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови от стран далеких
Ты своих богатырей,
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!

И потом строфа, где описывается неслыханное самопожертвование, — предать огню собственную столицу со всем, что ни есть в ней священного

для всей земли:

Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревет.
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!
Громче буря истребленья!
Крепче смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламя очищенья,
Это фениксов костер!

У кого не брызнут слезы после таких строф? Стихи его точно разымчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентские пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть мочь в руке и поприще впереди, что понесутся они, студенты,

На благородное служенье
Во славу чести и добра.

Беда только, что хмель перешел меру и что сам поэт загулялся чересчур на радости от своего будущего, как и многие из нас на Руси, и осталось дело только в одном могучем порыве.

Всех глаза устремились на Языкова. Все ждали чего-то необыкновенного от нового поэта, от стихов которого пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дело. Но дела не дождались. Вышло еще несколько стихотворений, повторивших слабей то же самое; потом тяжелая болезнь посетила поэта и отразилась на его духе. В последних стихах его уже не было ничего, шевелившего русскую душу. В них раздались скучанья среди немецких городов безучастные записки разъездов, перечень однообразно-страдальческого дня. Все это было мертво русскому духу. Не приметили даже необыкновенной отработки позднейших стихов его. Его язык, еще более окрепнувший, ему же послужил в улику: он был на тощих мыслях и бедном содержании, что панцирь богатыря на хилом теле карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нет вовсе мыслей, а одни пустозвонкие стихи, и что он даже и не поэт. Все пришло противу него в ропот. Отголоски этого ропота раздались нелепо в журналах, но в основанье их была правда. Языков не сказал же, говоря о поэте, словами Пушкина:

Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

У него, напротив, вот что говорит поэт:

Когда тебе на подвиг все готово,
В чем на земле небесный виден дар,
Могучей мысли свет и жар
И огнедышащее слово –
Иди ты в мир, да слышит он поэта.

Положим, это говорится об идеальном поэте; но идеал свой он взял из своей же природы. Если бы в нем самом уже не было начал тому, не мог бы и представить он себе такого поэта. Нет, не силы его оставили, не бедность таланта и мыслей виной пустоты содержанья последних стихов его, как самоуверенно возгласили критики, и даже не болезнь (болезнь дается только к ускоренью дела, если человек проникнет смысл ее) — нет, другое его осилило: свет любви погаснул в душе его — вот почему примеркнул и свет поэзии. Полюби потребное и нужное душе с такою силою, как полюбил прежде хмель юности своей, — и вдруг подымутся твои мысли наравне со стихом, раздастся огнедышащее слово: изобразишь

нам ту же пошлость болезненной жизни своей, но изобразишь так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих и возблагодарит Бога за недуг, давший ему это почувствовать. Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обработывать и округлять стих свой; не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он, это услышали все. И уже скорей от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник свой. Стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свету; предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое. Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни — на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому поведено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших движениях — и на то дан ему лирический талант. Не попадает талант на свою дорогу, потому что не устремляет глаз высших на самого себя. Но Промысел лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам. Уже и в лире Языкова заметно стремленье к повороту на свою

законную дорогу. От него услышали недавно стихотворенье «Землетрясенье», которое, по мненью Жуковского, есть наше лучшее стихотворенье.

Из поэтов времени Пушкина отделился князь Вяземский. Хотя он начал писать гораздо прежде Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем здесь. В князе Вяземском — противуположность Языкову: сколько в том поражает нищета мыслей, — столько в этом обилие их. Стих употреблен у него как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточенья и округленья мысли затем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность: он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворенья — импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его — пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по призванью: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем, чтобы составить из него что-то полное. В его книге «Биография Фон-

визина» обнаружилось еще видней обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни — словом, все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем. И если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, написано было все царствование Екатерины, которое уже и теперь кажется нам почти фантастическим от чрезвычайного обилия эпохи и необыкновенного столкновения необыкновенных лиц и характеров, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласованья в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу,

раздавшимся совершенно не в такт с предметом; слышна несобранность в себя, не полная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелей участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш избавитель. На нем только, как говорит поэт,

Душа прямится, крепнет воля,
И наша собственная доля
Определяется видней.

В то время когда наша поэзия совершала так быстро своеобразный ход свой, воспитываясь поэтами всех веков и наций, обвеваясь звуками всех поэтических стран, пробуя все тоны и аккорды, один поэт оставался в стороне. Выбравши себе самую незаметную и узкую тропу, шел он по ней почти без шуму, пока не перерос других, как крепкий дуб перерастает всю рощу, вначале его скрывавшую. Этот поэт — Крылов. Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную как вещь старую, негодную для употребленья и почти

детскую игрушку, — и в сей басне умел сделаться народным поэтом. Эта наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум. Пословица не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположенье о деле, но уже подведенный итог делу, отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлеченье силы дела из всех сторон его, а не из одной. Это выражается и в поговорке: «Одна речь не пословица». Вследствие этого заднего ума, или ума окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек, наши пословицы значительнее пословиц всех других народов. Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выраженья, в них отразилось много народных свойств наших; в них все есть: издевка, насмешка, попрек — словом, все шевелящее и задирающее за живое: как стоглазый Аргус, глядит из них каждая на человека. Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами. Уваженье к ним выразилось многими поговорками: «Пословица недаром молвится», или «Пословица вовек не сломится». Известно, что если сумеешь

замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь ее вдруг народу, как бы сама по себе ни была она свыше его понятия.

Отсюда-то ведет свое происхождение Крылов. Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто назовет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер и, наконец, Измайлов. Его притчи — достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски: в их проделках между собою слышны проделки и обряды производств внутри России. Кроме верного звериного сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую природу. Даже осел, который у него до того определился в характере своем, что стоит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни, как уже читатель вскрикивает вперед: «Это осел Крылова!» — даже осел, несмотря на свою принадлежность климату других земель, явился у него русским человеком. Несколько лет производя кражу по чужим огородам, он возгорелся вдруг чинолюбьем, захотел ордена и заважничал страх, когда хозяин повесил ему на

шею звонок, не размысля того, что теперь всякая кража и пакость его будет видна всем и привлечет отовсюду побои на его бока. Словом — всюду у него Русь и пахнет Русью. Всякая басня его имеет сверх того историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость и, по-видимому, равнодушие к событиям современным, поэт, однако же, следил всякое событие внутри государства: на все подавал свой голос, и в голосе этом слышалась разумная середина, примиряющий третейский суд, которым так силен русский ум, когда достигает до своего полного совершенства. Строго взвешенным и крепким словом так разом он и определит дело, так и означит, в чем его истинное существо. Когда некоторые чересчур военные люди стали было уже утверждать, что все в государствах должно быть основано на одной военной силе и в ней одной спасение, а чиновники штатские начали, в свою очередь, притрунивать над всем, что ни есть военного, из-за того только, что некоторые обратили военное дело в одни погончики да петлички, он написал знаменитый спор пушек с парусами, в котором вводит обе стороны в их законные границы сим замечательным четверостишием:

Держава всякая сильна,

Когда устроены в ней мудро части:
Оружием – врагам она грозна,
А паруса – гражданские в ней власти.

Какая меткость определенья! Без пушек не защитишься, а без парусов и вовсе не поплывешь. Когда у некоторых доброжелательных, но недальнозорких начальников утвердилось было странное мнение, что нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях из-за того единственно, что некоторые из них были когда-то шалуны и замешались в безрассудное дело, он написал не меньше замечательную басню, «Две бритвы», и в ней справедливо попрекнул начальников, которые

Людей с умом боятся
И держат при себе охотней дураков.

Особенно слышно, как он везде держит сторону ума, как просит не пренебрегать умного человека, но уметь с ним обращаться. Это отразилось в басне «Хор певчих», которую заключил он словами: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей!» Не потому он это сказал, чтобы хотел похвалить пьянство, но потому, что заболела его душа при виде, как некоторые, набравши к себе наместо

мастеров дела людей Бог весть каких, еще и хвастаются тем, говоря, что хоть мастерства они и не смыслят, но зато отличнейшего поведенья. Он знал, что с умным человеком все можно сделать и нетрудно обратить его к хорошему поведенью, если сумеешь умно говорить с ним, но дурака трудно сделать умным, как ни говори с ним. «В воре — что в море, а в дураке — что в пресном молоке», — говорит наша пословица. Но и умному делает он также крепкие заметки, сильно попрекнувши его в басне «Стоячий пруд» за то, что дал задремать своим способностям, и строго укоривши в басне «Сочинитель и разбойник» за развратное и злое их направление. Вообще его занимали вопросы важные. В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от главы, которому говорит он:

Властитель хочет ли народы удержать?

Держи бразды не вкруть, но мощною рукою, –

и до последнего труженика, работающего в низших рядах государственных, которому указывает он на высокий удел в виде пчелы, не ищущей отличать своей работы:

Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый,
За все труды, за весь потерянный покой
Ни славою, ни почестьми не льстится
И мыслью оживлен одной,
Что к пользе общей он трудится.

Слова эти останутся доказательством вечным, как благородна была душа самого Крылова. Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощутительной и выражаться так доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем воедино. У него живописно все начиная от изображенья природы пленительной, грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем душевные свойства. Все так сказано метко, так найдено верно и так усвоены крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурою перед глаза. Стиха его также не схватишь. Никак не определишь его свойства: звучен ли он? легок ли? тяжел ли? Звучит он там, где предмет у него звучит; движется, где предмет движется; крепчает, где крепнет мысль; и становится вдруг легким,

где уступает легковесной болтовне дурака. Его речь покорна и послушна мысли и летает как муха, то являясь вдруг в длинном шестистопном стихе, то в быстром одностопном; рассчитанным числом слогов выдает она ощутительно самую невыразимую ее духовность. Стоит вспомнить величественное заключенье басни «Две бочки»:

Великий человек лишь виден на делах,
И думает свою он крепку думу
Без шуму.

Тут от самого размещения слов как бы слышится величие ушедшего в себя человека.

От Крылова вдруг можно перейти к другой стороне нашей поэзии — поэзии сатирической. У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, часто там, где видимо страждет душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще пред нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаньями, мы и тут отдалились от родного корня. Наклонность к иронии, однако ж, удержалась, хотя и не в той форме. Трудно найти русского человека, в котором бы не соединялось вместе с уменьем пред чем-нибудь истинно возбла-

говеть — свойство над чем-нибудь истинно посмеяться. Все наши поэты заключали в себе это свойство. Державин крупной солью рассыпал его у себя в большей половине од своих. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземского; оно слышно даже у таких поэтов, которые в характере своем имели нежное, меланхолическое расположение: у Капниста, у Жуковского, у Карамзина, у князя Долгорукого — оно есть что-то сродное нам всем. Естественно, что у нас должны были развиться писатели собственно сатирические. Уже в то время, когда Ломоносов настраивал свою лиру на высокий лирический лад, князь Кантемир находил пищу для сатиры и хлестал ею глупости едва начинавшегося общества. В разные эпохи появлялось у нас множество сатир, эпиграмм, насмешливых перелицовок наизнанку известнейших произведений и всякого рода пародий едких, злых, которые останутся, вероятно, всегда в рукописях и в которых всюду видна большая сила. Стоит вспомнить пародии князя Горчакова, сатиру на литераторов Воейкова «Дом сумасшедших» и талантливые пародии Михаила Дмитриева, где желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием. Но сатира скоро попросила себе поприща обшир-

нейшего и перешла в драму. Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаньями; потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнанье человека под условием взятой эпохи и века; в комедии — легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда в душу человека. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, А. Писарева помнятся с уваженьем; но все это побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума», которых весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребленья внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещения, другая — от дурно понятого просвещенья.

Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого, бесчувственного, не потрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так

страшно эту кору огрубенья, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына? А между тем чувствуешь, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии, не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, — так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина — другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине вместо человека: свиньи сделались для него то же, что для любителя искусств картинная галерея. Потом супруг Простаковой — несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканьями жены, — полное притупленье всего! Наконец, сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей

природе, не имея желанья наносить кому-либо несчастье, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех, и всего более тех, которые его сильней любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление — сделалось ему уже наслажденьем. Словом — лица эти как бы уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием Церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем души. Это те неотразимо-страшные идеалы огрубения, до которых может достигнуть только один человек русской земли, а не другого народа.

Комедия Грибоедова взяла другое время общества — выставила болезни от дурно понятого просвещения, от принятия глупых светских мелочей наместо главного, — словом, взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, несвязавшуюся смесь обычаев,

сделавшую русских ни русскими, ни иностранцами. Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно, как хвастается Простакова своим невежеством, он хвастается полупросвещеньем, как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит: хвастается тем, что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, все с ужимкой; что дверь у него отперта для всех, как званых, так и незваных, особенно для иностранных; что канцелярия у него набита ничего не делающей родней. Он и благопристойный степенный человек, и волокита, и читает мораль, и мастер так пообедать, что в три дня не сварится. Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых честит всех, кто не подчинился принятым светским обычаям их общества. В существе своем это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их светском comme il faut, не осталось ровно ничего, которые своим пребываньем в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своею неслужбой и огрубелым пребываньем в деревне. Вредны, во-первых, собственным именьям своим — тем,

что, предавши их в руки наемников и управителей, требуя от них только денег для своих балов и обедов, званых и незваных, они разрушили истинно законные узы, связывавшие помещиков с крестьянами; вредны, во-вторых, на служащем поприще — тем, что, доставляя места одним только ничего не делающим родственникам своим, отняли у государства истинных дельцов и отвадили охоту служить у честного человека; вредны, наконец, в-третьих, духу правительства своей двусмысленной жизнью — тем, что, под личиною усердия к царю и благонамеренности, требуя поддельной нравственности от молодых людей и развратничая в то же время сами, возбудили негодованье молодежи, неуваженье к старости и заслугам и наклонность к вольнодумству действительному у тех, которые имеют некрепкие головы и способны вдаваться в крайности. Не меньше замечателен другой тип: отъявленный мерзавец Загорецкий, везде ругаемый и, к изумленью, всюду принимаемый, лгун, плут, но в то же время мастер угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставленьем ему того, к чему он греховно падок, готовый, в случае надобности, сделаться патриотом и ратоборцем нравственности, зажечь костры и на них

предать пламени все книги, какие ни есть на свете, а в том числе и сочинителей даже самих басен за их вечные насмешки над львами и орлами и сим обнаруживший, что, не боялся ничего, даже самой позорнейшей брани, боится, однако ж, насмешки, как черт креста. Не меньше замечателен третий тип: глупый либерал Репетилов, рыцарь пустоты во всех ее отношениях, рыскающий по ночным собраньям, радующийся, как бог весть какой находке, когда удается ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое шумит о том, чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бредни слушает он с чувством, в уверенности, что попал наконец на настоящую дорогу и что тут кроется действительно какое-то общественное дело, которое хотя еще не созрело, но как раз созреет, если только о нем пошумят побольше, станут почаще собираться по ночам да позадористей между собою спорить. Не меньше замечателен четвертый тип: глупый фрунтовик Скалозуб, понявший службу единственно в уменье различать форменные отлички, но при всем том удержавший какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины, признающийся откровенно, что он их считает как необходимые каналы к тому, чтобы попасть в ге-

нералы, а там ему хоть трава не расти; все прочие тревоги ему нипочем, а обстоятельства времени и века для него не головоломная наука: он искренно уверен, что весь мир можно успокоить, давши ему в Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замечательный также тип и старуха Хлестова, жалкая смесь пошлости двух веков, удержавшая из старинных времен только одно пошлое, с притязаньями на уваженье от нового поколенья, с требованьями почтенья к себе от тех самых людей, которых сама презирает, готовая выбранить вслух и встречного и поперечного за то только, что не так к ней сел или перед нею оборотился, ни к чему не питающая никакой любви и никакого уваженья, но покровительница арапчонок, мосек и людей вроде Молчалина, — словом, старуха-дрянь в полном смысле этого слова. Сам Молчалин — тоже замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамест тихомолком пробирающееся в люди, но в котором, по словам Чацкого, готовится будущий Загорецкий. Такое скопище уродов общества, из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мненье, правило, мысль, извративши по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнару-

жилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое и через этот невоздержный язык свой он делается сам нестерпим и даже смешон. Все лица комедии Грибоедова суть такие же дети полупросвещения, как Фонвизиновы — дети непросвещения, русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди броженья новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоуменье насчет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремленье чем-то сделаться, выражает только негодованье противу того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу.

Обе комедии исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержанье, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных харак-

теров и ролей измерена также не в отношенье к герою пьесы, но в отношенье к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. В противном же случае — то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творенья и заставили каждое из лиц, так метко схваченных и постигнутых, изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре, — это были бы два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположеньем, нападал на злоупотребленья одного какого-нибудь человека и не всегда имел в виду истину: доказательством тому то, что он дерзнул осмеять Сократа. Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим

телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это — продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света. Обе комедии ничуть не созданья художественные и не принадлежат фантазии сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они почти сами собой в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного и, вероятно, долго не появится.

Со смертью Пушкина остановилось движенье поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, невидимо накопляется вдали; самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже явились и теперь люди не без талантов. Но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и показать собственные силы. Еще даже не слышит никто, что вокруг его настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не раздавались;

а потому ни в ком из них еще нет самоцветности. Их даже не следует называть по именам, кроме одного Лермонтова, который себя выставил вперед больше других и которого уже нет на свете. В нем слышатся признаки таланта первостепенного: поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звезда, которой управленье захотелось ему над собой признать. Попавши с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как бедное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степям, слыша само, что не прирасти ему ни к какой другой почве и его жребий — завянуть и пропасть, — он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставанья, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом *безочарование.* С помощью таланта Лермонтова оно сделалось было на время модным. Как некогда с легкой руки Шиллера

пронеслось было по всему свету *очарованье* и стало модным, как потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход *разочарованье,* порожденное, может быть, излишним очарованьем, и стало также на время модным, так наконец пришла очередь и *безочарованью,* родному детищу байроновского разочарованья. Существование его, разумеется, было кратковременней всех прочих, потому что в безочарованье ровно нет никакой приманки ни для кого. Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться. Образ этот не вызначен определительно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему придать. Видно, что вырос он не от собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним. В неоконченном его стихотворенье, названном «Сказка для детей», образ этот получает больше определительности и больше смысла. Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от самого духа и вместе с ним и от безотрадного своего состояния (приметы тому уже сияют в стихотвореньях «Ангел», «Молитва», и некоторых других), если бы только

сохранилось в нем самом побольше уваженья и любви к своему таланту. Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов. Не заметно в нем никакой любви к детям своего же воображенья. Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлелеялось чадолюбно и заботливо; не устоялось и не сосредоточилось в себе самом; самый стих не получил еще своей собственной твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина; повсюду — излишество и многоречив. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни — готовился будущий великий живописец русского быта… Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и назначенье, бросался на другое или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта:

Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью, в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, — и никого это не поразило: даже не содрогнулось ветреное племя.

Но пора, однако же, сказать в заключенье, что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала для всей русской земли нашей. Имела ли она влиянье на дух современного ей общества, воспитавши и облагородивши каждого, сообразно его месту, и возвысивши понятия всех вообще, сообразно духу земли и коренным силам народа, которым должно двигаться государство? Или же она была просто верной картиной нашего общества — картиной полной и подробной, ясным зеркалом всего нашего быта? Не была она ни тем, ни другим; ни того, ни другого она не сделала. Она была почти незнаема и неведома нашим обществом, которое в то время воспитывалось другим воспитанием — под влиянием гувернеров французских, немецких, английских, под влияньем выходцев из всех стран, всех возможных сословий, с различными образами мыслей, правил и направлений. Общество наше, — чего не случалось еще

доселе ни с одним народом, — воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила в гостиную какое-нибудь стихотворное произведенье; или же плод незрелой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвечавшее каким-нибудь чужеземно-вольнодумным мыслям, занесенным в голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиной, что общество узнавало о существованье среди его поэта. Словом — поэзия наша не поучала общество, не выражала его. Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время свыше общества; если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству. Дело странное: предметом нашей поэзии все же были мы, но мы в ней не узнаем себя. Когда поэт показывает нам наши лучшие стороны, нам это кажется преувеличенным, и мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о нас

же Державин. Когда же выставляет писатель наши низкие стороны, мы опять не верим, и нам это кажется карикатурою. Есть, точно, в том и другом как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом деле преувеличенья нет. Причиною первого то, что наши лирические поэты, владея тайной прозревать в зерне, почти неприметном для простых глаз, будущий великолепный плод его, выставляли очищенней всякое свойство наше. Причиной второго то, что сатирические наши писатели, нося в душе своей, хотя еще и неясно, идеал уже лучшего русского человека, видели ясней все дурное и низкое русского действительно человека. Сила негодованья благородного давала им силу выставлять ярче ту же вещь, чем как ее может увидеть обыкновенный человек. Вот отчего в последнее время, сильней всех прочих свойств наших, развилась у нас насмешливость. Все смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговеющее только пред одним нестареющим и вечным. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в том *идеале,* в каком он должен быть, ни в той *действительности,* в какой он ныне есть.

Она собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших; она совокупила только в одно казнохранилище отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспело еще время живописать себя целиком и хвастаться собой, что еще нужно нам самим прежде организоваться, стать собой и сделаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа к тому, чтобы принять ей следуемую форму: еще не успели мы вывести итогов из множества всяких элементов и начал, нанесенных отовсюду в нашу землю, еще во всяком из нас бестолковая встреча чужеземного с своим, а не разумное извлечение того самого вывода, для которого повелена Богом эта встреча. Слыша это, они как бы заботились только о том, чтобы не пропало в этой борьбе лучшее из нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, где находили, и спешили его выносить на свет, не заботясь о том, где и как его поставить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается выхватить только то, что есть в нем драгоценнейшего, не заботясь о прочем. Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но чтобы, — если настанет наконец то благодатное время, когда мысль о внутреннем

построении человека в таком образе, в каком повелел ему состроиться Бог из самородных начал земли своей, сделается наконец у нас общею по всей России и равно желанною всем, — то чтобы увидели мы, что есть действительно в нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы его вместить в свое построение. Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнанья нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими, или действительно имея о том мысль, или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой которое-нибудь из наших народных качеств, которое в них развилось видней затем именно, чтобы блеснуть пред нами во всей красе своей. Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполинском величии не было стремленьем произвольным: начала ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носятся и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы,

заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с дурной стороны Россию[276], не мог скрыть изумленья своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги. Это свойство *чуткости,* которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названья, которыми народ сам характеризует в себе это свойство, например: названье *ухо,* которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не постоит

---

[276] Примечания: 276
Маркиз Кюстин.

без дела: *удача* — всюду спеющий и везде успевающий; и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и уклонения этого свойства. Свойство это велико: не полон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякий предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте Божьего творенья. Этот ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть наш *истинно русский ум.* Только в Крылове отразился тот верный такт русского ума, который, умея выразить истинное существо всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже не сходных с ним людей, — одним словом, тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у нашего крестьянина. Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высшими, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не покажет неприличия, тогда как мы часто не умеем поговорить даже с равным себе таким образом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выраженьем. Зато уже в ком из нас действительно образовался этот

сосредоточенный, верный, истинно русский такт ума — он у нас пользуется уваженьем всех; ему все позволят сказать то, чего никому другому не позволят; на него никто уж и не сердится. У всех наших писателей бывали враги, даже у самых незлобнейших и прекраснейших душою (стоит вспомнить Карамзина и Жуковского); но у Крылова не было ни одного врага. Эта *молодая удаль* и отвага рвануться на дело добра, которая так и буйствует в стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа, — которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры, и личные выгоды каждого — все позабыто, и вся Россия — один человек. Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней развившиеся: поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это — огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Не знаю, в

какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего токая, стих Пушкина; это сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью, — все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как думают те, которые незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под колыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни, и нечувствительно сами собою стихают и умиряются его дикие страсти. Оно так

же бывает нужно, как во храме куренье кадильное, которое уже невидимо настрояет душу к слышанью чего-то лучшего еще прежде, чем началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служенью более значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколенье поэтов; нельзя служить и самому искусству, — как ни прекрасно это служение, — не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь — ни своеобразьем ума своего, ни картинной личностью характера, ни гордостью движений своих, — христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву

человека — на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую Сам небесный Творец наш считает перлом Своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии — возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомнят они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышней выступят наши народные начала. Еще не бьет всей силой кверху тот самородный ключ нашей поэзии, который уже кипел и бил в груди нашей природы тогда, как и самое слово поэзия не было ни на чьих устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале этой статьи. Еще доселе загадка — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой тоскует со дня созданья своего человек. Еще ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах, умевших сделать такие великие выводы из бедного, ни-

чтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русский человек, и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех веков и, как неразобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвости ума, — который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни. Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего

человека, — язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованьем, чтобы все те неясные звуки, неточные названья вещей — дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, — не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы мы к нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию — нашу русскую Россию: не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были

они различных мыслей, образов воспитанья и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине».

XXXII. Светлое воскресенье

В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресенья. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, — те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выраженье на лицах, — он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представятся — эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, это поцелуй, который только раздается у нас, — и он готов почти воскликнуть: «Только в

одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, наместо радостных встреч, — если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о Воскресенье Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для профформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет,

прокричит гневно: «У нас все есть — и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивленье всем».

Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, — так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильней земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы — в своей истинной семье, у Него Самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастии человечества сделались почти любимыми

мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвесть; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее — и дома и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспраздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движеньям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если в самом деле придется ему обнять в этот день своего брата, как брата, — он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого

человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мненьях, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий состраданья к себе, — он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятье всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать Его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!

Нет, не воспраздновать нынешнему веку Светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие, имя ему — *гор-*

дость. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее — гордость чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдился хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданьям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого Воскресенья. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пущу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и

презренными людьми — неужели мне обнять такого человека как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди — братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, — в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной совсем был *не* рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто,

подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обоняние его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку воспраздновать праздник небесной Любви?

Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого, — гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет названье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его — и только не

снесет названье дурака. Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движенья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться из-за гордыни ума. Во всем он усумнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично

из несходства мнений, из-за противуречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие — и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердце людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке — уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.

И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспраздновать этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выраженье прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы

человек был ближе к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, — и мир это видит и не смеет ослушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильней всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, — посторонние, побочные вли-

яния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святые обычаи Церкви, небесный Хозяин которой не имеет над ними власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, — то младенчество, от которого небесное лобзанье, как бы лобзанье вечной весны, изливается на

душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это и к чему это? Будто не известно зачем? Будто не видно к чему? Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу на Небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях Вечного Века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней.

Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелася земля; черствей и черствей становится жизнь: все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос воскрес!» — и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться

по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих», — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть

уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресенья Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внуше-

ньем Божьим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресенье Христово!»

О «Современнике» и другие статьи
О «Современнике»

Наконец поговорю с тобой о «Современнике». «Современник» вышел плохим журналом, несмотря на прекрасную цель, которую ты имел в виду. Даже эта самая прекрасная цель, во имя которой ты предпринял его, не обнаружилась никому очевидно и ясно из самого журнала; напротив, всяк спрашивал в недоуменьи друг у друга: «Объясните мне, зачем и для чего издает Плетнев свой журнал? что хочет он сказать им? что значат эти общие места в его программе, эти повторения о беспристрастии, о бескорыстной любви к искусству, о стремлении к истине и т. п., которые обещает всякой журналист и которых не исполняет никто?» Тощее содержание его тоненьких книжек, не живой, безучастный, вялый и неопределенный слог его суждений обо всем современном задавал только загадку решать: зачем он назван «Современником». Будем говорить откровенно. У тебя нет качеств журналиста: ни юношеского живого участия ко всем волненьям современным, ни того трепета любопытства к

вопросам, раздающимся в массе общества, ни наконец энциклопедического науколюбивого стремления обнимать с равной охотой все, что ни относится к развитию познаний человеческих во всех родах. Твоя антологическая душа получила только на долю себе один возвышенный дар — услаждаться благоуханьем прекрасных цветов поэзии и обонять аромат высших движений души человеческой. Не певцу Миниха и некоторых других прекрасных элегий, свидетельствующих о чистоте вкуса и скромной тишине души самого певца, выступать было на поприще полемическое. «Современник» даже и при Пушкине не был тем, чем должен быть журнал, несмотря на то, что Пушкин задал себе цель более положительную и близкую к исполненью. Он хотел сделать четвертное обозренье в роде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманные и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники, обязанные торопиться, не имеют даже времени пересмотреть то, что написали сами. Впрочем сильного желанья издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешенье на изданье его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил

его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Он действительно в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я мог принимать живей к сердцу то, для чего он уже простыл. Моя настойчивая речь и обещанье действовать его убедили; но слова моего я бы не мог исполнить даже и тогда, если бы он был жив. Не знал я, какими путями поведет меня провиденье, как отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной и как умру я надолго для всего того, что шевелит современного человека. По смерти Пушкина, пораженный этой скорбной для всех утратой, а для тебя еще скорбнейшей, чем для всех, пораженный сиротством современного общества, очутившегося без поэзии, как без света, осужденного выслушивать пустые и черствые пренья и споры об искусстве наместо дел самого искусства, пораженный этим сиротством, которое, впрочем, началось уже и при Пушкине, ты взялся горячо за издание журнала, стремясь насильно создать ту поэтическую Элладу, которая образовалась сама собой в начале поприща

Пушкина. В пылу великодушного увлеченья своего ты даже позабыл то, что не мы управляем делами и событиями, но чертится свыше всему черед свой. Ты даже не приметил того, что имел такую цель, которой ни в каком случае нельзя было достигнуть листками периодического ежемесячного издания. «Современник» как журнал не удался бы даже и тогда, если бы ты заключал в себе все качества журналиста. Признаюсь, я даже не могу и представить себе, чем может быть нужно нынешнему времени появленье нового журнала. Это энциклопедическое образование публики посредством журналов уже не так теперь потребно, как было прежде. Публика уже более приготовлена. Уже все зовет ныне человека к занятиям более сосредоточенным, не только значительность современных вопросов, но даже самая пустота современного общества и легковесная ветренность дел его приглашают ныне человека взглянуть строго на самого себя, вопросить с большей отчетливостью свои силы и определить себе труд не временный, минутный, но тот живительный и полный, который ответствует одним тем способностям, которыми своеобразно наделен из нас каждый уже от самого рожденья своего. Никакой новый журнал не мо-

жет дать теперь обществу пищи питательной и существенной. «Современник» должен отбросить от себя названье журнала; он должен сжаться по-прежнему в книги наместо листов и более еще, чем при Пушкине, походить на альманах: он должен скорей напомнить собой «Северные цветы» барона Дельвига, с которым было у тебя так много сходства в уменья нас<ла>ждаться и нежиться благоуханными звуками поэзии. Пусть лучше будет выходить он три раза всякой год в урочные времена: первый раз ко дню Светлого Воскресенья, как светлый подарок на праздник, во второй раз к 1-му октября, то есть ко времени, когда все съезжаются у нас из дач и деревень в города, в третий раз — к новому году. Словом — пусть он будет современен тем эпохам, когда с большей жадностью встречается новая книга. Все собственно журнальное в нем не должно иметь места: ни возвещенья о новостях ежедневных, ни политические известия, ни поименования всех выходящих книг, разве только один строгий отчет о замечательнейших из них за всю треть в таком виде, чтоб он сам собой мог уже составить замечательную литературную статью. Нужно, чтобы здесь ничто не поминало читателю о том, что есть какие-нибудь распри в

литературе и существует журнальная полемика. Самые статьи должны быть допущены сосредоточенные, полные, которые ничем не походили бы на торопливые, отрывочные статьи журналов. Нужно, чтобы здесь были одни лучшие цветы современной нашей литературы. Этого можно достигнуть только таким изданием, которое будет выходить не более трех раз в год: в три месяца можно набрать книжку. Современное нам время, слава Богу, не без талантов. Часть прозаическая альманаха может быть теперь гораздо значительней и богаче, чем когда-либо прежде. Поименуем нарочно тех современных писателей, статьями которых может украситься «Современник». Прежде всего следует назвать графа Соллогуба, который бесспорно есть нынешний наш лучший повествователь. Никто не щеголяет таким правильным, ловким и светским языком. Слог его точен и приличен во всех выраженьях и оборотах. Остроты, наблюдательности, познаний всего того, чем занято наше высшее модное общество, у него много. Один только недостаток: не набралась еще собственная душа автора содержанья более строгого и не доведен еще он своими внутренними событиями к тому, чтобы строже и отчетливей взглянуть вообще на жизнь. Но, если

и это в нем совершится, он будет вполне верный живописец лучшего общества; значительность творений его выиграет больше чем сто на сто. Непосредственно за ним следует назвать другого писателя, который скрыл свое имя под выдуманным: козак Луганский. Он не поэт, не владеет искусством вымысла, не имеет даже стремленья производить творческие создания; он видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны. Ум твердый и дельный виден во всяком его слове, а наблюдательность и природная острота вооружают живостью его слово. Все у него правда и взято так, как есть в природе. Ему стоит, не прибегая ни к завязке, ни к развязке, над которыми так ломает голову романист, взять любой случай, случившийся в русской земле, первое дело, которого производству он был свидетелем и очевидцем, чтобы вышла сама собой наизанимательнейшая повесть. По мне он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, я сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса и своеобразью моих собственных требований: каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к познанью русского быта и нашей народной жизни;

но зато всяк согласится со мной, что этот писатель полезен и нужен всем нам в нынешнее время. Его сочинения — живая и верная статистика России. Все, что ни достанет он из своей многовмещающей памяти и что ни расскажет достоверным языком своим, будет драгоценным подарком, для твоего альманаха. Я не знаю, почему замолчал Н. Павлов, писатель, который первыми тремя повестями своими получил с первого раза право на почетное место между нашими прозаическими писателями и который повредил себе только тем, что, не захотевши быть самим собой, вздумал копировать (в трех новых повестях своих) тех модных нувеллистов, которые гораздо его ниже. Он мог бы всегда, не прибегая ни к напряженным вымыслам поэтическим, ни к мозаичным искусственным украшениям речи, так изуродовавшим благородный и ясный слог его, взять на выдержку первое психологическое явленье нашего общества и рассказать его так отчетливо и умно, что повесть его имела бы все принадлежности тех строгих классических произведений, которые остаются навсегда образцами в литературе. Я вижу тоже много достоинств в писателе, который подписывает под своими сочинениями имя: Кулиш. Цветистый слог и большое познание нравов

и обычаев Малой России говорят о том, что он мог бы прекрасно написать историю этой земли. Он мог бы еще с большим успехом составить живые статьи для альманаха и в них рассказать просто о нравах и обычаях прежних времен, не вставляя этого в повесть или драматический рассказ, подобно тому, как некогда рассказывал Корнилович о временах до Петра и при Петре. Роман же его, довольно любопытный по частям, вял и скучен в целом: эти драгоценные перлы сведений исторических, которые рассыпаны на страницах его, погибают там совершенно бесплодно. Мне сказывали, что вообще в последнее время *повесть* сделала у нас успех, и несколько молодых писателей показали особенное стремленье к наблюденью жизни действительной. Из того, что удалось прочесть мне самому, я заметил также тому признаки, хотя постройка самих повестей мне показалась особенно неискусна и неловка; в рассказе заметил я излишество и многословие, а в слоге отсутствие простоты. Но я уверен, что если в каждом из этих писателей прежде сформируется человек, чем писатель — все прочее придет само собою, и каждый из них, обнаружа еще сильней особенности пера своего, не покажет ни одного из этих недостатков. Не могу не упомянуть о пи-

сателе, выступившем на литературное поприще драмою *Смерть Ляпунова*. Не имея в себе полной зрелости строенья драматического, которое доступно одним только опытным драматургам, драма эта имеет в себе много тех достоинств, которые пророчат в творце ее писателя замечательного. Слышать живость минувшего и уметь заговорить о нем таким живым языком — это свойство великое! Я бы на его месте так и впился в русские летописи и ни на миг не оторвался бы от этого чтения. Он может много извлечь оттуда прекрасных предметов. Почему знать, может быть, от такого чтения родилась бы в нем благословенная мысль написать правдивую историю времени, его преимущественно поразившего. Вполне историческое произведение, исполненное писателем, умеющим так живо чувствовать исторические характеры, и написанное таким живым пером, будет в несколько раз значительней исторических драм. Кстати о молодых и начинающих писателях: мне бы очень хотелось, чтобы ты отыскал Прокоповича и умел склонить его взяться за перо повествователя. Из всех тех, которые воспитывались со мною вместе в школе и начали писать в одно время со мной, у него раньше, чем у всех других, показалась нагляд-

ность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза была свободна, говорлива, все изливалось у него непринужденно-обильно, все доставалось ему легко и пророчило в нем плодовитейшего романиста. Он задремал теперь, я это знаю; он дал заснуть в себе желанию действовать на поприще просторном, самый круг его стал тесен и перед ним мало жизненного поля для наблюдений. Но жизнь везде жизнь, и чем меньше ее простор и теснее ее круг, тем основательней и глубже он может быть нами исследуем и проникнут. Уже самая своя собственная душевная повесть, предметом которой будет взято собственное пробуждение от мертвенного застоя, заставляющее с ужасом взглянуть человека на животно-истраченную жизнь свою, может быть высоким предметом для романа. Какой бы праздник был душе моей, если бы я встретил в «Современнике» повесть, под которою было бы подписано его имя! Что же касается до меня самого, то я по-прежнему не могу быть работящим и ревностным вкладчиком в твой «Современник». Ты уже сам почувствовал, что меня нельзя назвать писателем в строгом классическом смысле. Из всех тех, которые начали писать со мною вместе, еще в лета моего школьного юношества, у меня менее, чем у всех

других, замечались те свойства, которые составляют необходимые условия писателя. Скажу тебе, что даже в самых ранних помышлениях моих о будущем поприще моем, никогда не представлялось мне поприще писателя. Столкнулся я с ним почти нечаянно. Некоторые мои наблюдения над некоторыми сторонами жизни, мне нужными для дела душевного, издавна меня занимавшего, были виной того, что я взялся за перо и вздумал преждевременно поделиться с читателем тем, чем мне следовало поделиться уже потом, по совершеньи моего собственного воспитанья. Мне доставалось трудно все то, что достается легко природному писателю. Я до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, первые необходимые орудия всякого писателя: они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник. Все мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно никак не может быть образцом словесности, и тот наставник поступит неосторожно, кто посоветует своим ученикам учиться у меня искусству писать или подобно мне живописать природу: он заставит их производить карикатуры. Дока-

зательство этому можешь видеть на некоторых молодых и неопытных подражателях моих, которые именно через это самое подражание стали несравненно ниже самих себя, лишив себя своей собственной самостоятельности. У меня никогда не было стремленья быть отголоском всего и отражать в себе действительность, как она есть вокруг нас, — стремленья, которое тревожит поэта во все продолженье его жизни и умирает в нем только с его собственной смертью. Я даже не могу заговорить теперь ни о чем, кроме того, что близко моей собственной душе. Итак, если я почувствую, что чистосердечный голос мой будет истинно нужен кому-нибудь и слово мое может принести какое-нибудь внутреннее примиренье человеку, тогда у тебя в «Современнике» будет моя статья; если ж нет — ее не будет. И ты на меня за это никак не гневайся. Я здесь не упомянул также ни об одном из тех современных прозаических писателей наших, которые, будучи заняты собственными изданиями или же сидя над трудами более отвлеченными, требующими полного внимания, не имеют ни возможности, ни досуга поработать для твоего «Современника». Их не следует и беспокоить. Здесь кстати я должен тебя побранить. Ты был несправедлив,

приписывая безучастное невнимание многих литераторов к твоему журналу их равнодушию к общему делу, нелюбви к искусству, деньголюбию и т. п. У всякого есть свое внутреннее дело; у всякого совершается в душе свое собственное событие, на время его отвлекающее от участия в деле общем; и никак нельзя требовать, чтобы другой жертвовал собой и своей собственной целью для какой-нибудь нами любимой мысли или нашей цели, к которой мы предположили себе стремиться. Каждому определяет Бог дорогу, не похожую на ту, которую назначено проходить другому, и нельзя мерять всех одним и тем же аршином. А потому уважай и самый отказ другого даже и тогда, если бы он не захотел объявить причины, почему не может дать статьи в «Современник». Довольствуйся тем, что дадут. Если только одни поименованные мною писатели дадут статьи свои, то и этого уже будет достаточно. Но я знаю, что дадут еще и другие, которых я не назвал. Вопреки людям, жалующимся на недостаток талантов в нынешнее время, я вижу их теперь гораздо больше, чем когда-либо прежде. Они не попали на свою дорогу. Еще никто из них не умел стать самим собой, и это причина их неприметности; но многие из них уже болеют

этим желанием, хотя и не знают, как удовлетворить ему. Стремленье узнать назначенье свое есть теперь страданье многих людей, одаренных способностями. Оно-то есть настоящая, истинная причина дремоты и бездейственности на поприще литературном.

Стихотворная часть «Современника» может быть также весьма богата, невзирая на то, что, по-видимому, в современном обществе угаснуло расположение к поэзии. Слава Богу, еще здравствует сам патриарх нашей поэзии: еще небо хранит нам Жуковского. В награду за безукоризненную, чистую жизнь ему одному из всех нас дано почувствовать свежесть молодости в старческие лета и силу юноши для дела поэтического. Его нынешние труды далеко полновесней и значительней прежних. Не нужно судить о нем по тем стихотворным сказкам и повестям, которые были помещены в последнее время в «Современнике». Они не могли и не должны были произвесть никакого впечатленья на общество, и нечего удивляться, что общество, оценивая всякое новое произведение относительно своих собственных потребностей душевных, ища в нем ответа на тревожные исканья свои, назвало эти стихотворенья *ребячеством* Жуковского.

Они, точно, назначены для малолетних детей. Повести и сказки эти должны были выйти особой книжкой под названьем «*Подарок детям от Жуковского*». Он сделал ошибку, пославши их в журнал. Я говорил это ему тогда же, советуя или ничего не посылать или послать то, что пришлось бы по душе взрослому человеку. Но теперь я знаю, что он пришлет тебе в Альманах который-нибудь из тех перлов, которые выработались во глубине его собственной души, где в последнее время так много произошло прекрасного. Еще, слава Богу, здравствуют два другие первоклассные наши поэты: князь Вяземский и Языков, и могут подарить «Современник» новыми, дотоле не раздававшими<ся> от них звуками, — звуками, исторгнутыми из выстрадавшегося сердца, песнями самой души, уже набравшейся строгого содержания высшей поэзии. Самые наши молодые, недавно показавшиеся поэты, которых я здесь не называю по именам, которые показали покуда одно благозвучие, легкость и щегольство стихосложенья, но еще не показали истинных и верных ощущений своих, могут заговорить струнами поэзии, более нам близкой. Поэзия есть чистая исповедь души, а не порожденье искусства или хотенья человеческого; поэзия

есть правда души, а потому и всем равно может быть доступна. Способность вымысла и творчества есть слишком высокая способность и дается одним только всемирным гениям, которых появленье слишком редко на земле; опасно и вступать на этот путь другому. Многие даже из первокласснейших талантов становились ниже себя, зашедши в область вымысла, но высоко возвышались даже и небольшие таланты, когда событиями собственной души своей были наведены на то, чтобы передавать одну чистую правду души. Приспевает время, когда жажда исповеди душевной становится сильнее и сильнее. Много поэтических звуков издадут даже и те, которые не помышляли быть поэтами; много прекрасных цветков, много драгоценных вкладов нанесут к тебе со всех сторон в твой «Современник». Ты сам, хотя уже давно не пробовал звуков оставленной и позабытой тобою лиры, примешься за нее вновь. Ты, верно, испытал в это время тоже немало скорбных минут и никем не услышанного горя, твоя душа, верно, томилась также желаньем передать и объяснить себя, искала друга, которому могло бы быть доступно тяжкое состоянье ее, и, не найдя его нигде, обратилась наконец к тому родному всем нам существу, которое одно умеет

принимать любовно на грудь к себе тоскующего и скорбящего и к которому наконец все живущее обратится. Припомни же все эти минуты, как минуты скорбей, так и минуты высших утешений, тебе ниспосланных; передай их, изобрази в той правде, в какой они были. Тебе помогут слезы умиленья и растроганные чувства признательной души твоей; они помогут тебе передать с такой силой, с какой не сумеет передать их великий, владеющий чародейством вымысла, но еще не выстрадавшийся поэт. «Современник» тогда оправдает данное ему названье, но оправдает его в другом — высшем смысле: он будет современен всем высшим минутам русского писателя и человека. Он тогда ближе приблизится к той <цели>, которая доселе так отдаленно и неясно представлялась в твоих мыслях: он соединит эстетическим союзом прекрасного братства всех пишущих. Один только ты в России можешь предпринять и выполнить такое издание, потому что один только ты питал о нем постоянную мысль, один только ты не имел в виду денежных интересов и вознаграждений за труды, один ты безотчетно питал чистую, младенческую любовь к искусству, сделавшую тебя другом лучших поэтов наших и превратившую для тебя самое

искусство в твое собственное, как бы родное и семейственное дело. Стало быть, одному только тебе может быть вверено такое издание. Оно должно быть роскошно; оно должно быть во всех отношениях драгоценным подарком: печататься со всей возможной типографической роскошью, украситься лучшими гравюрами и виньетами, какие могут только быть произведены у нас в России (граверов выбери русских, иностранцев сюда не вмешивай). Меру книгам дай небольшую, немного чем побольше «Северных цветов», словом — чтобы и по достоинству и по виду изданье походило на драгоценность. Все это можешь исполнить один только ты, потому что, не имея в виду пользоваться доходами с него для своего собственного содержанья и прокормленья, ты можешь все употребить на красоту самого издания и таким образом доставить хлеб бедным художникам нашим, которым приходится иногда претерпевать горькую чашу.

Итак, если все это, что я теперь сказал, пришлось тебе по сердцу, то, благословясь, приступай с Богом к составленью первой книжки «Современника» ко времени наступающего праздника Светлого Воскресения 1847 года, а письмо мое поставь первой статьей в виде программы или

вступленья в самую книгу. До того же времени дай его прочесть всем тем, от которых ты пожелал бы иметь статью. Как ни слабо и ни поверхностно оно написано, но я уверен, что по прочтеньи его всяк согласится вместе с тобой и со мной в необходимости такого издания в России и, верно, даст тебе наилучшее из своих произведений. В газетных листах ты можешь объявить о нем только немногими словами — именно, что «Современник» будет выходить в трех книгах в означенные сроки; прибавь к этому одни только имена тех, которых статьи будут помещены — этого достаточно. Пусть лучше все остальное, как достоинство статей, так и роскошь самого издания, будет приятной неожиданностью для каждого читателя.

<Авторская исповедь>

Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как «Выбранные места из переписки с друзьями». И что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано

было всякое слово, и всяк наперерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложеньем. Как, однако же, ни были потрясающи и обидны для человека благородного и честного многие заключения и выводы, но, скрепясь, сколько достало небольших сил моих, я решился стерпеть все и воспользоваться этим случаем, как указаньем свыше, — рассмотреть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мненьями, осужденьями и упреками, уверяясь, чем далее, более, что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние все выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос, который получается в итоге тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон, словом — тот всеми искомый средний голос, который недаром называют гласом народа и гласом Божиим. Но на этот раз, несмотря на то, что многие упреки были истинно полезны душе моей, я не услышал этого среднего голоса и не могу сказать, чем решилось дело и чем

определено считать мою книгу. В итоге мне послышались три разные мнения: первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возмнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на вниманье всей России и может преобразовывать целое общество; второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщенье человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из этих мнений находятся равно просвещенные и умные люди, а также и равно верующие христиане. Стало быть, ни одно из этих мнений, будучи справедливо отчасти, никак не может быть справедливо вполне. Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека. В ней находится то же, что во всяком человеке; прежде всего желанье добра, создавшее самую книгу, которое живет у всякого человека, если только он почувствовал, что такое добро; сознанье искреннее своих недостатков и рядом с ним высокое мненье о своих достоинствах, желанье

искреннее учиться самому и рядом с ним уверенность, что можешь научить многому и других; смиренье и рядом с ним гордость, и, может быть, гордость в самом смирении; упреки другим в том самом, на чем поскользнулся сам и за что достоин еще больших упреков. Словом, то же, что в каждом человеке, с той только разницей, что здесь слетели все условия и приличия и все, что таит внутри человек, выступило внаружу, с той еще разницей, что завопило это крикливей и громче, как в писателе, у которого все, что ни есть в душе, просится на свет, ударилось ярче всем в глаза, как в человеке, получившем на долю больше способностей сравнительно с другим человеком. Словом, книга может послужить только доказательством великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь.

Но к этому заключению, может быть, более всех прочих справедливому, никто не пришел, потому что торжественный тон самой книги и необыкновенный слог ее сбил более или менее всех и не поставил никого на надлежащую точку воззрения. Издавая ее под влияньем страха смерти своей, который преследовал меня во все время болезненного моего состояния, даже и тогда, когда я уже был вне опасности, я нечувствительно

перешел в тон, мне несвойственный и уж вовсе неприличный еще живущему человеку. Из боязни, что мне не удастся окончить того сочиненья моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет, я имел неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это обратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в какие<-то> мистические непонятные места, не вяжущиеся с остальными письмами. Наконец, разнообразный тон самих писем, писанных к людям разных характеров и свойств, писанных в разные времена моего душевного состоянья. Одни были писаны в то время, когда я, воспитываясь сам упреками, прося и требуя их от других, считал в то же время надобностью раздавать их и другим; другие были писаны в то время, когда я стал чувствовать, что упреки следует приберечь для самого себя, в речах же с другими следует употреблять одну только братскую любовь. От этого и мягкость и резкость встретились почти вместе. Наконец, непомещение многих тех статей, которые должны были войти в книгу, как связывавшиеся и объясняющие многое. Наконец, моя собственная темнота и неуменье

выражаться, принадлежности не вполне организовавшегося писателя, все это споспешествовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести бесчисленное множество выводов и заключений невпопад. Гордость отыскали в тех словах, которые подвигнуты были, может быть, совершенно противуположною причиною; где же была действительно гордость, там ее не заметили. Назвали уничиженьем то, что было вовсе не уничиженьем. А что главнее всего: не было двух человек, совершенно сходных между собою в мыслях, когда только доходило дело до разбора книги по частям, что весьма справедливо дало заметить некоторым, что в сужденьях своих о моей книге всякой выражал более самого себя, чем меня или мою книгу. Разумеется, всему виною я. А потому во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как ни оскорбительны они для человека, в ком еще не умерло благородство, я не имею права обвинять никого. Сделаю вскользь замечанья два на то, что не относится до моих нравственных качеств. Меня изумило, когда люди умные стали делать придирки к словам, совершенно ясным, и, остановившись над двумя, тремя местами, стали выводить заключения, совершенно противуположные духу всего

сочинения. Из двух, трех слов, сказанных такому помещику, у которого все крестьяне земледельцы, озабоченные круглый год работой, вывести заключение, что я воюю против просвещенья народного — это показалось мне очень странно, тем более что я полжизни думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово устное пастырей церкви полезней и нужней для мужика всего того, что может сказать ему наш брат писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стоял за просвещенье народное, но мне казалось, что еще прежде, чем просвещенье самого народа, полезней просвещенье тех, которые имеют ближайшие столкновения с народом, от которых часто терпит народ. Мне казалось, наконец, гораздо более требовавшим вниманья к себе не сословие земледельцев, но то тесное сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую, грамотность, вредит всем, затем, чтобы жить на счет бедных. Для

этого-то сословия мне казались наиболее необходи<мыми> книги умных писателей, которые, почувствовавши сами их долг, умели бы им их объяснить. А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающийся в наставлениях писателя. Тоже не менее странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках, на меня нападавших, есть много справедливого, вывели заключения, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу[277]. Я очень помню и совсем не позабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значенье поэтических созданий. Но неловко же мне говорить самому о своих достоинствах, да и с какой стати? О недостатках моих литературных я заговорил, потому что пришлось кстати, по поводу психологического вопроса, который есть главный предмет всей моей книги. Как же не соображать этих вещей! Не

[277] Примечания: 277

На завещанье не следовало упираться. В нем судишь себя строго, потому что готовишься предстать на суд пред Того, пред которым ни один человек не бывает прав.

менее странно также — из того, что я выставил ярко на вид наши русские элементы, делать вывод, будто я отвергаю потребность просвещенья европейского и считаю ненужным для русского знать весь трудный <путь?> совершенствованья человеческого. И прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если, при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь из виду свои русские начала, то знанья эти не принесут добра, собьют, спутают и разбросают мысли, наместо того, чтобы сосредоточить и собрать их. И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу, и что только с помощью этого знанья <можно> почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что прежде, чем вводить что-либо новое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое; иначе примененье самого благодетельнейшего открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил преимущественно о старом.

Словом, все эти односторонние выводы людей умных и притом таких, которых я вовсе не считал односторонними, все эти придирки к

словам, а не к смыслу и духу сочинения, показывают мне то, что никто не был в покойном расположеньи, когда читал мою книгу; что уже вперед установилось какое-то предубежденье, прежде чем она явилась в свет, и всякой глядел на нее вследствие уже заготовленного вперед взгляда, останавливаясь только над тем, что укрепляло его в предубеждении и раздражало, и проходя мимо все то, что способно опровергнуть предубежденье, а самого читателя успокоить. Сила эта странного раздраженья была так велика, что даже разрушила все те приличия, которые доселе еще сохранялись относительно к писателю. Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и приписывали ему рецепты от умственного расстройства. Не могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди также умные, и притом не раздраженные, превозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно. Это показалось мне жестоко. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излиянье и души и сердца моего. Я еще не признан публично бесчестным человеком, которому бы никакого доверия нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть в заблужденье, как и

всякой человек, могу сказать ложь в том смысле, как и весь человек есть ложь; но назвать все, что излилось из души и сердца моего, ложью — это жестоко. Это несправедливо так же, как несправедливо и то, что в книге моей ничего нет нового. Исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя, как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности, и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства, ему одному принадлежащие, — исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового. Как бы то ни было, но в таком деле, где замешалось дело души, нельзя так решительно возвещать приговор. Тут и наиглубокомысленнейший душеведец призадумается. В душевном деле трудно и над человеком обыкновенным произнести суд свой. Есть такие вещи, которые не подвластны холодному рассуждению, как бы умен ни был рассуждающий, которые постигаются только в минуты тех душевных настроений, когда собственная душа наша расположена к исповеди, к обращению на себя, к охужденью себя, а не других. Словом, в этой решительности, с какою был произнесен этот приговор, мне показалась большая собственная

самоуверенность судившего — в уме своем и в верховности своей точки воззрения. Не с тем я здесь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но с тем, чтобы показать только, как на всяком шагу мы близки к тому, чтобы впасть в тот порок, в котором только что попрекнули своего брата; как, укоривши в самоуверенности другого, мы тут же в собственных словах показываем свою собственную самоуверенность; как, укоривши в неснисходительности другого, мы тут же бываем неснисходительны и придирчивы сами. Благороден по крайней мере тот, кто имеет духу в этом сознаться и не стыдится, хоть бы в глазах всего света, сказать, что он ошибся. Но довольно. Вовсе не затем, чтобы защищать себя с нравственных сторон моих, я подаю теперь голос. Нет, я считаю обязанностью отвечать только на тот запрос, который сделан мне почти единоустно от лица читателей всех моих прежних сочинений, — запрос: зачем я оставил тот род и то поприще, которое за собою уже утвердил, где был почти господин, и принялся за другое, мне чуждое?

Чтобы отвечать на этот запрос, я решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливее осудить

меня, чтобы увидал читатель, переменял ли я поприще свое, умничал ли сам от себя, желая дать себе другое направление, или и в моей судьбе так же, как и во всем, следует признать участие Того, Кто располагает миром не всегда сообразно тому, как нам хочется, и с Которым трудно бороться человеку. Может быть, эта чистосердечная повесть моя послужит объясненьем хотя некоторой части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многих, в недавно вышедшей моей книге. Если бы случилось так, я был бы этому истинно рад, потому что вся эта странная история меня утомила сильно, и мне нелегко самому от этого вихря недоразумений.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал, просто, что я выслужусь и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была

у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребыванья моего в школе, были почти все в лирическом и сурьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолической от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками; хотя в самых ранних сужденьях моих о людях находили уменье замечать те особенности, которые ускользают от вниманья других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление.

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной по-

требности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего, и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело сурьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека

и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью, не приняться за большое сочинение! Это, просто, грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы не принялся за Донкишота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключенье всего, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему). На этот раз и я сам уже задумался сурьезно, — тем более что стали приближаться такие года, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех

случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть. Я сам почувствовал, что уже смех мой не тот, какой был прежде, что уже не могу быть в сочиненьях моих тем, чем был дотоле, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вместе с молодыми моими летами. После «Ревизора» я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья полного, где было бы, уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет «М<ертвых> д<уш>», хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполненьем которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был пе-

ремешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то в роде отвращенья: все у меня выходило натянуто, насильно и даже то, над чем я смеялся, становилось печально.

Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определительного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость, вследствие чего сам автор возгорелся бы любовью истинной и сильной к труду своему, которая животворит все и без которой не идет работа. Словом, чтобы почувствовал и убедился сам автор, что, творя творенье свое, он исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности и силы, и что, исполняя <его>, он служит в то же самое время так же государству

своему, как бы он действительно находился в государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменил множество разных мест и должностей, чтобы узнать, к которой из них я был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собой, ни теми, которые надо мной были поставлены. Я еще не знал тогда, как многого мне недоставало затем, чтобы служить так, как я хотел служить. Я не знал тогда, что нужно для этого победить в себе все щекотливые струны самолюбья личного и гордости личной, не позабывать ни на минуту, что взял место не для своего счастья, но для счастья многих тех, которые будут несчастны, если благородный человек бросит свое место, что позабыть нужно обо всех огорчениях собственных. Я не знал еще тогда, что тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, — нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином, во всем смысле этого слова. А потому и немудрено, что, не имея этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то, что сгорал действительно желаньем служить честно. Но как только

я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить также службу государственную, я бросил все: и прежние свои должности, и Петербург, и общества близких душе моей людей, и самую Россию, затем, чтобы вдали и в уединеньи от всех обсудить, как это сделать, как произвести таким образом свое творенье, чтобы доказало оно, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей. Чем более обдумывал я свое сочинение, тем более чувствовал, что оно может действительно принести пользу. Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось в сочинении моем выставить преимущественно те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотоле перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили

бы разгадкой многого в нашей жизни, словом — чтобы, по прочтеньи моего сочиненья, предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся на его долю, преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, также преимущественно пред всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русской человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко <изобразить> недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом. Но я почувствовал в то же время, что все это возможно будет сделать мне только в таком случае, когда узнаешь очень хорошо сам, что действительно в нашей природе есть достоинства и что в ней действительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвесить и оценить то и другое и объяснить себе самому ясно, чтобы не возвести в достоинство того, что есть грех наш, и не поразить смехом вместе с недостатками нашими и того, что есть в нас достоинство. Мне не хотелось даром тратить силу. С тех пор, как мне начали говорить, что я смеюсь не только

над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, в котором заключен недостаток, и не только над всем человеком, но и над местом, над самою должностью, которую он занимает (чего я никогда даже не имел и в мыслях), я увидал, что нужно со смехом быть очень осторожным, — тем более что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже, во след за ним, тот, кто, потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела. Словом, я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, покамест не определю себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще: без этого не станешь на ту точку воззрения, с которой видятся ясно недостатки и достоинства всякого народа.

С этих пор человек и душа человека сделались больше, чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время все современное; я обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдате-

лей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познанье людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познанья душевного, на которой стоял он. Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно. К этому привел меня и анализ над моею собственной душой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движеньях человека нельзя по воображенью: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого, словом — нужно сделаться лучшим. Это может показаться довольно странным, особенно для тех, которые получили в юности совершенно оконченное и полное воспитание. Но надобно сказать, что я получил в школе воспитанье довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль об ученьи пришла ко мне в зрелом возрасте. Я начал с таких первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия. Я наблюдал над собой, как учитель

над учеником, не в книжном ученьи, но и в простом нравственном, глядя на себя самого, как на школьника. Я поместил кое-что из этих проделок над самим собою в книге моих писем, вовсе не затем, чтобы пощеголять чем-нибудь (да и не знаю, чем тут щеголять), но из желанья добра: авось кому-нибудь принесет это пользу: я был уверен, что много, подобно мне, воспитались в школе плохо и потом, подобно мне, спохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышал, как многие жаловались, что не могут отстать от дурных привычек, при всем желаньи своем отстать от них. Я и поместил это, кое-как приспособивши к другому, и поместил это я не иначе, как увидевши на опыте, что многое из этого уже пришло в пользу некоторым людям, которых я знал. В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все те писатели, которые говорили, что было на душе. Если бы и с Карамзиным случилась эта внутренняя история во время его писательства, он бы ее также выразил. Но Карамзин воспитался в юношестве. Он образовался уже как человек и гражданин, прежде чем выступил на поприще

писателя. Со мной случилось иначе. Я не считал ни для кого соблазнительным открыть публично, что я стараюсь быть лучшим, чем я есть. Я не нахожу соблазнительным томиться и сгорать явно, в виду всех, желаньем совершенства, если сходил за тем сам сын Божий, чтобы сказать нам всем: «Будьте совершенны так, как совершенен Отец ваш небесный». Что же касается до обвинений, будто я, из желанья похвастаться смиреньем, в книге моей показал уничиженье паче гордости, то на это скажу, что ни смиренья, ни уничиженья здесь нет. Пришедшие к этому заключению обманулись сходством признаков. Против<ным> я действительно казался себе самому вовсе не от смиренья, но потому, что в мыслях моих чем далее, тем яснее представлялся идеал прекрасного человека, тот благостный образ, каким должен быть на земле человек, и мне становилось всякой раз после этого противно глядеть на себя. Это не смирение, но скорее то чувство, которое бывает у завистливого человека, который, увидевши в чужих руках вещь лучшую, бросает свою и не хочет уже глядеть на нее. Притом мне посчастливилось встретить на веку своем, и особенно в последнее время, несколько таких людей, перед душевными качествами которых показались мне мелкими

мои качества, и всякий раз я негодовал на себя за то, что не имею того, что имеют другие. Тут нужно обвинять разве завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь к истории. Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще. Все меня приводило в это время к исследованию общих законов души нашей: мои собственные душевные обстоятельства, наконец обстоятельства внешние, над которыми мы не властны и которые всякой раз обращали меня противовольно вновь к тому же предмету, как только я от него отдалялся. Несколько раз, упрекаемый в недеятельности, я принимался за перо. Хотел насильно заставить себя написать хоть что-нибудь в роде небольшой повести или какого-нибудь литературного сочинения, и не мог произвести ничего. Усилия мои оканчивались почти всегда болезнию, страданиями и наконец такими припадками, вследствие которых нужно было надолго отложить всякое занятие. Что мне было делать? Виноват я разве был в том, что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои юношеские годы? Как будто две весны бывают в возрасте человеческом! И если всяк человек подвержен этим необходимым переменам при переходе из возраста в

возраст, почему же один писатель должен быть исключеньем? Разве писатель также не человек? Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был — жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к тому, кто есть источник жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его, которые пропускаются без вниманья людьми — и я пришел к тому, который один полный ведатель души и от кого одного и мог только узнать полнее душу. Я не успокоился по тех пор, покуда не разрешились мне некоторые собственные мои вопросы относительно меня самого. И только тогда, когда нашел удовлетворенье в некоторых главных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению, первая часть которого составляет еще поныне загадку, потому что заключает в себе некоторую часть переходного состоянья моей собственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то, чему следовало отделиться.

Как только кончилось во мне это состояние, и жажда знать человека вообще удовлетворилась, во мне родилось желанье сильное знать Россию.

Я стал знакомиться с людьми, от которых мог чему-нибудь поучиться и разузнать, что делается на Руси; старался наиболее знакомиться с такими опытными практическими людьми всех сословий, которые обращены были лицом ко всяким проделкам внутри России. Мне хотелось сойтись с людьми всех сословий и от каждого что-нибудь узнать. Всякой должностной и чем-нибудь занятый человек стал в глазах моих интересен. Прежде всего я хотел определить себе всякую должность, всякое сословие, всякое место и всякое звание в государстве. Мне казалось это необходимым для писателя, который берет людей на разных поприщах. Не содержа в собственной голове своей весь долг и всю обязанность того человека, которого описываешь, не выставишь его, как следует, верно и притом так, чтобы он действительно был в урок и в поученье живущему. Из-за этого я старался завести переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщать. Прочих я просил набрасывать легкие портреты и характеры, первые, какие им попадутся. Все это было мне нужно не затем, чтобы в голове моей не было ни характеров, ни героев: их было у меня уже много; они выработались из познания природы человеческой гораздо полней-

шего, чем какое было во мне прежде; но сведения эти мне, просто, нужны были, как нужны этюды с натуры художнику, который пишет большую картину своего собственного сочинения. Он не переводит этих рисунков к себе на картину, но развешивает их вокруг по стенам, затем, чтобы держать перед собою неотлучно, чтобы не погрешить ни в чем против действительности, противу времени, или эпохи, какая им взята. Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета, в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не воображенья. Чем более вещей принимал я в соображенье, тем у меня верней выходило созданье. Мне нужно было знать гораздо больше, сравнительно со всяким другим писателем, потому что стоило мне несколько подробностей пропустить, не принять в соображенье — и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никак не мог объяснить никому, а потому и никогда почти не получал

таких писем, каких я желал. Все только удивлялись тому, как мог я требовать таких мелочей и пустяков, тогда как имею такое воображение, которое может само творить и производить. Но воображенье мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре. Я поместил в книге моей «Переписка с друзьями» несколько писем к помещикам и к разным должностным лицам (из них большая часть не напечатана) вовсе не затем, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведеньем анекдотических фактов. Возраженья такого рода от людей практических и опытных для меня важны тем, что поставляют меня ближе к делу, раскрывая мне глубже внутренность России. Но вместо дел, интересных для всякого русского человека, и наших русских вопросов, занялись моей собственной личностью и исписали целые листы о том, имею ли я право мешаться в подобные дела. Я сделал в то же время воззванье ко всем читателям «Мертвых душ», — воззванье несколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень знал, что над ним многие посмеются; но я готов был выдержать всякое осмеяние, лишь бы только

добиться своего. Я думал, что, может, хоть пять, шесть человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал. Я не требовал собственно поправок на «Мертвые души»: мне хотелось, под этим предлогом, добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку, изображений тех случаев, где пахнет Русью. Зная, что у всех нас есть какая-то лень на подъемность, на работу, вследствие которых почти всякому из нас трудно что-нибудь доставать из своей памяти, я думал, что чтенье «Мертвых душ» может расшевелить, особенно, если и карандаш и бумага будет при этом под рукой. Я выставил свой адрес и просил прислать мне в письме только тех, которые не захотели бы печатать, но вообще я считал гораздо полезнее сделать их всеобщею известностью. Мне казалось даже необходимым и в нынешнее время это распространение известий о России посредством живых фактов, потому что в это время, которое недаром называют переходным, почти у всякого человека, на всех поприщах, заметно стремленье преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякого зла. Я думал, что теперь более, чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу

все, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы все стремимся сеять, и лучше бы осмотрелись прежде, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят. Я питал втайне надежду, что чтенье «Мерт<вых> душ» наведет некоторых на мысль писать свои собственные записки, что многие почувствуют даже некоторое обращение на самих себя, потому что и в самом авторе, в то время, когда писаны были «Мертвые души», произошло некоторое обращенье на самого себя. Я думал, что тот, кто уже находится на склоне дней своих и тревожим мыслью, что жизнь его протекла без пользы, и он сделал мало для общего добра земли своей, почувствует сильнее, что верным и живым изображеньем людей, характеров и случаев своего времени он может познакомить с Русью людей молодых и начинающих действовать и таким образом больше чем вознаградит прекрасно за свою недеятельность. Молодой же, тот, кто вступает еще на поприще, кто еще ни к чему не охладел и потому имеет живость взгляда, кого любопытно занимает все, может изобразить эпоху современную, как она представляется молодым глазам юноши. Словом, я думал, как дитя;

я обманулся некоторыми: я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья. Но на мое приглашение я не получил записок; в журналах мне отвечали насмешками. Привожу все это затем, чтобы показать, как я употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть мою работу, не имея и в мыслях оставлять звание писателя. Не могу не заметить при этом случае, что многие изъявляли изумление тому, что я так желаю известий о России и в то же время сам остаюсь вне России, не соображая того, что, кроме болезненного состоянья моего здоровья, потребовавшего теплого климата, мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России. Для <тех>, которые не могут этого почувствовать, объяснюсь, хотя мне несколько трудно объясняться во всем том, что составляет свойства, собственно мне принадлежащие. Почти у всех писателей, которые не лишены творчества, есть способность, которую я не назову воображеньем,

способность представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они были пред нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отдалимся от предметов, которые описываем. Вот почему поэты большею частию избирали эпоху, от нас отдалившуюся, и погружались в прошедшее. Прошедшее, отрывая нас <от> всего, что ни есть вокруг нас, приводит душу в то тихое, спокойное настроение, которое необходимо для труда, У меня не было влечень<я> к прошедшему. Предмет мой была современность и жизнь в ее нынешнем быту, может быть, оттого, что ум мой был всегда наклонен к существенности и к пользе, более осязательной. Чем далее, тем более усиливалось во мне желанье быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно и незаметно переходит в сатиру, притом, находясь сам в ряду других и более или менее действуя с ними, видишь перед собою только тех человек, которые стоят близко от тебя; всей толпы и массы не ви-

дишь, оглянуть всего не можешь. Я стал думать о том, как бы выбраться из ряду других и стать на такое место, откуда бы я мог увидать всю массу, а не людей только, возле меня стоящих, — как бы, отдалившись от настоящего, обратить его некоторым образом для себя в прошедшее. Мое расстроившееся здоровье и вместе с ним маленькие неприятности, которые я бы теперь перенес легко, но которых тогда не умел еще переносить, заставили меня подняться в чужие края. Я никогда не имел влеченья и страсти к чужим краям. Я не имел также того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений. Но, странное дело, даже в детстве, даже во время школьного ученья, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвованье и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле тоскующим по своей отчизне, картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Может бы<ть>, это было, просто, то

непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина, ехать в чужие края единственно затем, чтобы, по выраженью его,

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России.

Как бы то ни было, но это противувольное мне самому влеченье было так сильно, что не прошло пяти месяцев по прибытьи моем в Петербург, как я сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному. Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее. Едва только я очутился в море, на чужом корабле, среди чужих людей (пароход был аглицкий, и на нем ни души русской), мне стало грустно; мне сделалось так жалко друзей и товарищей моего детства, которых я оставил и которых я всегда любил, что прежде, чем вступить на твердую землю, я уже подумал о возврате. Три дни только я пробыл в чужих краях и, несмотря на то, что новость предметов начала меня завлекать, я поспешил на том же самом

пароходе возвратиться, боясь, что иначе мне не удастся возвратиться. С тех пор я дал себе слово не питать и мысли о чужих краях, и точно, во все время пребыванья моего в Петербурге, в продолжение целых семи лет не приходили мне никогда на мысли чужие края, покамест обстоятельства моего здоровья, некоторые огорченья и наконец потребность большего уединения не заставили меня оставить Россию.

Два раза я возвращался потом в Россию, один раз даже с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я в силах буду узнать многое. Но, странное дело, среди России я почти не увидал России. Все люди, с которыми я встречался, большею частию любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в аглицком клубе, да кое-что из того, что я и сам уже знал. Известно, что всякой из нас окружен своим кругом близких знакомых, из-за которого трудно ему увидать людей посторонних. Во-первых, уже потому, что с близкими обязан быть чаще, а во-вторых, потому, что круг друзей так уже сам по себе приятен, что нужно иметь слишком много самоотверженья, чтобы из него вырваться. Все, с которыми мне случилось

познакомиться, наделяли меня уже готовыми выводами, заключениями, а не просто фактами, которых я искал. Я заметил вообще некоторую перемену в мыслях и умах. Всяк глядел на вещи взглядом более философическим, чем когда-либо прежде, во всякой вещи хотел увидать ее глубокий смысл и сильнейшее значение, — движенье, вообще показывающее большой шаг общества вперед. Но с другой стороны, от этого произошла торопливость делать выводы и заключенья из двух, трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены. Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры. Мне нужно было не того, мне нужно было просто таких бесед, как бывали в старину, как всяк рассказывал только то, что видел, слышал на веку, и разговор казался собраньем анекдотов, а не рассужденьем. Это мне нужно было уже и потому, что я и сам начинал невольно заражаться этой торопливость<ю> заключать и выводить, всеобщим поветрием нынешнего времени.

Провинции наши меня еще более изумили. Там даже имя Россия не раздается на устах. Раздавалось, как мне показалось, на устах только

то, что было прочитано в новейших романах, переведенных с французского. Словом — во все пребыванье мое в России Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое; дух мой упадал, и самое желанье знать ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мы<сл>ях целой, желанье знать ее пробуждалось во мне вновь, и охота знакомиться со всяким свежим человеком, недавно выехавшим из России, становилась вновь сильна. Во мне рождалось даже уменье выспрашивать, и часто в один час разговора я узнавал то, чего не мог, живя в России, узнать в продолжение недели. Всякий знает, что за границей знакомства делаются гораздо легче, что на водах в Германии и на зимовьях в Италии сходятся люди, которые, может быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы век незнакомыми. Вот что заставило меня предпочесть пребыванье вне России, даже и в отношении <к тому, чтобы> побольше слышать о России. Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству немного возьмешь, останутся в голове только станции да трактиры. Знакомства и в городах и

деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего не по казенной надобности, могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. Если ж узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положенье еще смешнее: половина читающей России уверена сурьезно, что я живу единственно для осмеянья всего, что ни есть в человеке, от головы до ног. А между тем никогда еще до сих пор не чувствовал <я> так сильно потребность знать современное состояние нынешнего русского человека, — тем более, что теперь так разошлись все в образах мыслей, так вихорь недоразумений обуял всех, что никто не в силах судить верно друг друга, и нужно как бы щупать собственною рукою всякую вещь, не доверяя никому. Я не мог быть без этих сведений. Ныне избранные характеры и лица мое<го> соч<ине>ния крупней прежних. Чем выше достоинство взятого лица, тем ощутительней, тем осязательней нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете. Иначе оно станет идеальным: будет бледно и, сколько ни навяжи ему добродетелей, будет все ничтожно.

Нужно, чтобы русский читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо взято именно из того самого тела, с которого создан и он сам, что это живое и его собственное тело. Тогда только сливается он сам с своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения, которых никаким рассужденьем и никакою проповедью не внушишь. Это полное воплощенье в плоть, это полное округленье характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, содержа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, словом — когда соображу все от мала до велика, ничего не пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый, какой бывает у большей части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение, и тогда только мое мнение находили здравым и умным. Когда же я не всех выслушаю и потороплюсь выводом, оно выходило только резко и необыкновенно. Даже в нынешней моей книге «Переписка с друзьями»,

в которой многое походит на одни предположения, собственно предположений нет. В ней все выводы; но дело в том, что одни выводы взяты из всех сторон дела и потому всем ясны, другие из некоторых, не всем известных, и потому темны, а для многих кажутся даже и вовсе нелепицей. Вот отчего в редком моем сочинении не встречается рядом и зрелость и незрелость, и муж и ребенок, и учитель и ученик.

Итак, всего того, что мне нужно, я не мог достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не мог работать? Как воевать с собою, если сделался требователен к самому себе? Как полететь воображеньем, если б оно и было, если рассудок на всяком шагу задает вопрос: зачем? Зачем случились многие такие обстоятельства, которых я не призывал? Зачем мне определено было не иначе приобрести познанье души человека, как произведя строгий анализ над собственной душою? Зачем желаньем изобразить русского человека я возгорелся не прежде, как узнавши получше общие законы действий человеческих, а узнал их не прежде, как пришедши к тому, кто один ведатель и действий человеческих и всех малейших наших душевных тайн?.. Зачем жажда знать душу человека так томила меня? Зачем,

наконец, были такие обстоятельства, о которых я не могу даже сказать, но которые заставляли меня, против воли моей собственной, входить глубже в душу человека? Зачем венцом всех эстетических наслаждений во мне осталось свойство восхищаться красотой души человека везде, где бы я ее ни встретил? Зачем жажда знать душу человека так томила меня постоянно от дней моей юности? Определите мне прежде, зачем все это произошло, и тогда спрашивайте: зачем я не могу писать того, что писал?

Я старался действовать наперекор обстоятельствам и этому порядку, не от меня начертанному. Я пробовал несколько раз писать по-прежнему, как писалось в молодости, то есть как попало, куда ни поведет перо мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребленье, и едва только оправился от тяжкой болезни моей, как составил из них книгу, постаравшись дать ей какой-то порядок и последовательность, <что>бы она походила на дельную книгу, не размысливши того, что многое, обращенное к некоторым, общество примет на свой <счет>, особенно после завещанья, обращенного к лицу всех

соотечественников. Я боялся сам рассмат<ривать> ее недостатки, а почти закрыл глаза на нее, зная, что если рассмотрю я построже мою книгу, может, она будет так же уничтожена, как я уничтожал «Мертвые души» и как уничтожал все, что ни писал в последнее время. Я думал, что этой книгой я хоть сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчание, введу и объясню мое трудное положение, почему я не мог писать в это время, обращу внимание на практическое и на дело жизни. Я думал вслед ее заговорить о том, что раскроет предо мною побольше Русь, освежит, оживит меня и заставит меня взяться за перо. Не тут-то было: все обрушилось на меня упреками. Я услышал только толки о том, что не решается толками. Руки мои опустились. Порыв, который, мне показалось, начал было во мне пробуждаться, погас, и я нечувствительно сам собой пришел теперь к тому вопросу, который я до сих пор и не думал еще задавать в себе: должен ли я в самом деле писать? должен ли я оставаться на этом поприще, от которого в последнее время так явно меня все отвлекало? Положим, если бы даже я в силах был как-нибудь победить <себя>, перо мое получило бы беглость и страницы полились непринужденно одна за другою — таково

ли душевное состоянье мое, чтобы сочиненья мои были действительно в это время полезны и нужны нынешнему обществу? Бросим взгляд на нынешнее состояние общества, благоприятно ли нынешнее время для писателя вообще и вслед за тем для такого писателя, как я?

Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Все чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами. И меч и гром пушек не в силах занимать мир. Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении как себя, так и других делается общею. Со всеми замечательными, стоящими впереди других людьми случились какие-нибудь душевные внутренние перевороты, с иными даже в такие годы, в какие никогда невозможны были доселе перемены в человеке и улучшения. Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и

не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всеми; уши всех чутко обращены в т<у> сторон<у>, где думают услышать хоть что-нибудь о вопросах, всех занимающих. Никто не хочет читать другой книги, кроме той, где может содержаться хотя намек на эти вопросы. Надобны ли в это время сочинения такого писателя, который одарен способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь в том виде, как она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Определим себе прежде, что такое тот писатель, которого главный талант состоит в творчестве.

Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творенье свое в поученье людей. Требованья от него слишком велики — и справедливо: для того, чтобы передавать одну верную копию с того, что видим перед глазами, есть также другие писатели, одаренные иногда в высшей степени способностью живописать, но лишенные способности творить. Но кто создает, кто трудится над этим долго, кому приходится дорого его создание, тот должен уже потрудиться недаром. Нужно, чтобы в созданьи его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед и чтобы он,

постигнувши современность, ставши в уровень с веком, умел обратно воздать ему за наученье себя наученьем его. Так, по крайней <мере>, определяют поэтов и вообще писателей, наделенных творчеством, эстетики как нынешнего времени, так и прежних времен. Возвратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно: это дело сделает лучше его тот, кто, владея беглою кистью, может рисовать всякую минуту все, что проходит пред его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничем.

Стало быть, в нынешнее время, когда все так заняты вопросом жизни, такой писатель может, более чем кто-либо другой, быть разрешителем современных вопросов; но когда и в каком случае? В таком случае и тогда, когда уж он все разрешил себе, что ни тревожит его самого. Если он, при всех великих дарах, при картинной живописи слова, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма, и приобретет полное познанье земли своей и своего народа в корне и в ветвях, воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества, и как кремень станет во всем том, в чем повелено быть крепку скале — человеку, тогда он выступай на попри-

ще. Владея такими средствами, орудьями, станет подавать он обществу людей, потребных ему в нынешнее время, в современную эпоху и оденет их портретною живостью, которая делает <то, что> изображенный образ преследует нас повсюду так, что нельзя и оторваться. Разумеет<ся>, что с такими средствами ему ничего не будет стоить выгнать из голов всех тех героев, которых напустили туда модные писатели. Заговори только с обществом, наместо самых жарких рассуждений, этими живыми образами, которые, как полные хозяева, входят в души людей, и двери сердец растворятся сами навстречу к принятью их, если только почувствуют, хоть каплю почувствуют, что они взяты из нашей природы, из того же тела. Тогда, разумеется, кто может подействовать ныне сильней такого писателя, и кто может быть более его нужным нынешнему времени и нынешней эпохе? Но если он, имея действительно некоторые из тех орудий, сам еще не воспитался так, как гражданин земли своей и гражданин всемирный, если он, покорный общему нынешнему влечению всех, сам еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще: его влиянье может быть скорей вредно, чем полезно. Это строенье себя самого непременно обнаружи-

вается во всем, что ни будет выходить из-под пера его. Чем он сам менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем отличнее от других, чем своеобразнее, тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений. То, что в нем есть не более как естественное явленье, законный ход его необыкновенного организма, состоянье временн<ое> духа, может показать<ся> другим людям верховною точкою, до которой следует всем дойти. Чем больше одушевится он любовью к героям и лицам своим, чем больше отделает, чем с большею живостью выставит их, тем больше вреда. Пример тому в глазах наших. Известная французская писательница, больше всех других наделенная талантами, в немного лет произвела сильнее измененье в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в помышленьи не имела проповедовать разврат, а обнаружила только временное заблужденье свое, от которого потом, может быть, и отказалась, переступивши в другую эпоху своего состояния душевного. А слово уже брошено. Слово как воробей, говорит наша пословица, выпустивши его, не схватишь потом.

Я сам писатель, не лишенный творчества; я владею также некоторыми из тех даров, ко-

торые способны увлекать. Покорный общему стремлению, которое не от нас, но совершается по воле того ‹…›, [помышляю я] о своем собственном строеньи, как помышляют и другие. Я чувствую, что и теперь нахожусь далеко от того, к чему стремлюсь, а потому не должен выступать. Самая вышедшая книга «Переписка с друзьями» служит тому доказательством. Если и эта книга, которая не более как рассуждение, говорят, неопределительностью своею производит заблуждения, распространяет даже ложные мысли; если и из этих писем, говорят, остаются в голове, как живые картины, целиком фразы и страницы, — что же было, если бы я выступил <с> живыми образами повествовательного сочинения наместо этих писем? Я сам слышу, что я тут гораздо сильней, чем в рассуждениях. Теперь еще может меня оспаривать критика, а тогда вряд ли бы в силах был меня кто опровергнуть. Образы мои были соблазнительны и так бы заст<ряли> крепко в головы, что критика бы их оттуда не вытащила. Не нужно упускать того из виду, <что> все выставленные лица и характеры должны были доказать истину моих собственных убеждений. Как сравню эту книгу с уничтоженными мною «Мертвыми душами», не могу <не> возблагодарить за наслан-

ное мне внушение <их> уничтожить. В книге моих писем я все-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных «Мертвых душах». Темнота выражения во многих местах сбивает только читателя, но если бы пояснее выразил ту же самую мысль, со мною бы многие перестали спорить. В уничтоженных «Мертвых душах» гораздо больше выражалось моего переходного состояния, гораздо меньшая определительность в главных основаниях и мысль двигательней, а уже много увлекательности в частях, и герои были соблазнительны. Словом — как честный <человек>, я должен бы оставить перо, даже и тогда, если бы действительно почувствовал позыв к нему. На это дело следует взглянуть благоразумно. Все те, которые легкомысленно требуют от меня продолжения писать и в то же время бранят мою нынеш<нюю книгу>, должны по крайней <мере> рассмотреть поближе все это дело и не пропустить всех тех обстоятельств, которых не пропускает никакой судья, если только произносит над кем-либо суд свой. Мне кажется, что теперь не только тот, кто пишет, но всякой ум вообще, если только наклонен к тому, чтобы делать выводы и заключенья, а сам в то же время еще ‹…›, должен удержаться от деятельности. Из

людей умных должны выступать на поприще только <те>, которые кончили свое воспитанье и создались как граждане земли своей, а из писателей только такие, которые, любя Россию так же пламенно, как тот, который дал себе названье Луганского козака, умеют по следам его живописать природу, как она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошего в русском и руководствуясь единственно желаньем ввести всех в действительное положение русского человека.

Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих <по>мышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем, чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего. Мне нелегко отказаться от писательства, одни из лучших минут в жизни моей были те, когда я наконец клал на бумагу то, что выносилось долговременно в моих мыслях; когда я и до сих пор уверен, что едва есть ли высшее из наслаждений, как наслажденье творить. Но, повторяю вновь, как честный человек, я должен положить перо даже и тогда, если бы чувствовал позыв к нему.

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сделать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что, — скажу откровенно, — жизнь потеряла бы для меня тогда вдруг всю цену, и не писать для меня совершенно значило то же, что не жить. Но нет лишений, во след которым нам <не> посылается замена, в свидетельство, что ни на малое время не оставляет человека Создатель. Сердце ни на минуту не остается пусто и не может быть без какого-нибудь желанья. Как земля, на время освобожденная от пашни, износит другие травы, покуда вновь не обратится под пашню, оплодотворенная и удобренная ими, так и во мне, как только способность писать <меня оставила>, мысли как бы сами вновь возвратились к тому, о чем я помышлял в самом детстве. Мне захотелось служить на какой бы ни было, хотя на самой мелкой и незаметной должности, но служить земле своей, так служить, как я хотел некогда, и даже гораздо лучше, нежели я некогда хотел. Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Но и тогда, однако же, я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру

других, в службу и взять место. Планы мои <и> виды были только горды и заносчивы. Мне казалось, что если только доказать, что я точно знаю русского человека в корне и в существенных его началах, как в тех, которые обнаружены всем, так равно и в тех, <которые> в нем покуда скрыты и видны не для всех, что знаю душу человека не по книгам и рассказам, но по опыту, влекомый от младенчества желаньем знать человека, — то мне дадут такое место, где я буду в соприкосновении с людьми разных сословий, с многими людьми в соприкосновении личном, а не посредством бумаг и канцелярий, где я могу употребить с действительной пользой мое знанье человека и где могу быть полезным многим людям, а для себя самого приобрести еще большее познание человека. Мне казалось, что больше всего страждет все на Руси от взаимных недоразумений, а что больше нам нужен всякой такой человек, который <бы> при некотором познаньи души и сердца и при некотором знаньи вообще, проникнут был желаньем истинным мирить. Я видел и уже испытал, как личным переговором и объясненьем прекращать можно много таких <дел>, которые никогда не оканчиваются на бумаге. Я думал, что хоть теперь и нет таких мест, но

что я получу после того, как выйдет вполне мое сочинение, и приготовлял уже в мыслях и самый проект, в котором намеревался изъяснить, как вследствие тех способностей, какие у меня есть, я могу быть нужен и полезен России. Замыслы мои были горды, но так как они были основаны только на успехе моего сочинения, то и упали вместе с тем, как оставила меня способность производить созданья поэтические. Теперь все должности мне кажутся равны, все места равно значительны, от малого до великого, если только на них взглянешь значительно. И мне кажется, что если только хотя сколько-нибудь умеешь ценить человека и понимать его достоинство, которое в нем бывает даже и среди множества недостатков, и если только при этом хоть сколько-нибудь имеешь истинно христианской любви к человеку и, в заключенье проникнут точно любовью к России, — то, мне кажется, на всяком месте можно сделать много добра. Сила влияния нравственного выше всяких сил. Место и должность сделались для меня, как для плывущего по морю пристань и твердая земля.

Я убежден, что теперь всякому тому, кто пламенеет желаньем добра, кто русской и кому дорога честь земли русской, должно сейчас <?> также

брать многие места и должности в государстве, с такой же ревностью, как становился некогда из нас всяк в ряды противу неприятелей спасать родную землю, потому что неправда велика и много опозорила ‹…› С другой стороны я убежден, что место и должность нужны для самого себя, для ‹…›

Как ни бурно нынешнее время, как ни мятутся и ни волнуются вокруг умы, как ни возмущает тебя собственный ум твой, — но можно остаться среди всего этого в тишине, если с тем именно возьмешь свое место, чтобы на нем исполнить долг таким образом, чтобы не стыдно было дать и за который дашь ответ небу. Как бы то ни было, но жизнь для нас уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнейшие из людей, <от> мыслителей до поэтов, над ней задумывались и приходили только к сознанью, что не знают, что такое жизнь. Но когда один всех наиумнейший, сказал твердо, не колеблясь никаким сомнением, что он знает, что такое жизнь, когда этот один признан всеми за величайшего человека из всех доселе бывших, даже и теми, которые не признают в нем его божественности, тогда следует поверить ему на слово, даже и в таком случае, если бы он <был> просто человек. Стало быть,

вопрос решен: что такое жизнь.

Этого мало. Нам дан полнейший закон всех действий наших, тот закон, которого не может стеснить или остановить никакая власть, который можно внести даже в тюремные стены, но которого, однако ж, нельзя исполнять на воздухе: нужно для того стоять хоть на каком-нибудь земном грунте. Находясь в должности и на месте, все-таки идешь по дороге; не имея определенного места и должности, идешь через кусты и овраги, как попало, хотя и та же цель. По дороге идти легче, нежели без дороги. Если взглянешь на место и должность, как на средство к достиженью не цели земной, но цели небесной, во спасенье своей души — увидишь, что закон, данный Христом, дан как бы для тебя самого, как <бы> устремлен лично к тебе самому, затем, чтобы ясно показать тебе, как быть на своем месте во взятой тобою должности. Христианину сказано ясно, как ему быть с высшими, так что если хотя немного он из того исполнит, все высшие его полюбят. Христианину сказано ясно, как ему быть с теми, которые его пониже, так что если хотя отчасти он это исполнит, все низшие ему предадутся всею душой своей. Всю эту всемирность человеколюбивого закона Христова, все это отношенье человека к

человечеству может из нас перенести всяк на свое небольшое поприще. Стоит только всех тех людей, с которыми происходят у нас частные неприятности наищекотливейшие, обратить именно в тех самых ближних и братьев, которых повелевает больше всего прощать и любить Христос. Стоит только не смотреть на то, как другие с тобою поступают, а смотреть на то, как сам поступаешь с другими. Стоит только не смотреть на то, как тебя любят другие, а смотреть только на то, любишь ли сам их. Стоит только, не оскорбяс<ь> ничем, подавать первому руку на примиренье. Стоит поступать так в продолжение небольшого времени, и увидишь, что и тебе легче с другими, и другим легче с тобою, и в силах будешь точно произвести много полезных дел почти на незаметном месте. Трудней всего на свете тому, кто не прикрепил себя к месту, не определил себе, в чем его должность: ему трудней всего применить к себе закон Христов, который на то, чтобы исполняться на земле, а не на воздухе; а потому и жизнь должна быть для него вечной загадкой. Пред ним узник в тюрьме имеет преимущество: он знает, что он узник, а потому и знает, что брать из закона. Пред ним нищий имеет преимущество: он тоже при должности, он нищий, а потому и

знает, что брать из закона Христова. Но человек, не знающий, в чем его должность, где его место, не определивший себе ничего и не остановившийся ни на чем, пребывает ни в мире, ни вне мира, не узнает, кто ближний его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать. Весь мир не полюбишь, если не начнешь прежде любить тех, которые стоят поближе к тебе и имеют случай огорчить тебя. Он ближе всех к холодной черствости душевной.

Итак, после долгих лет и трудов, и опытов, и разм<ышлений>, идя видимо вперед, я пришел к тому, о чем уж<е> помышлял во время моего детства: что назначенье человека — служить и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нем Государю Небесному и потому иметь в виду его закон. Только так служа, можно угодить всем: государю, и народу, и земле своей.

Уверившись в этом, я уже готов был тогда взять всякую должность, хотя, соображаясь с своими способностями, старался выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить с русским человеком, чтобы, если возвратится мне способность писать, набрались бы у меня

материалы. Одною из главных причин моего путешествия к святым <местам> было желанье искреннее помолиться и испросить благословений на честное исполненье должности, на вступленье в жизнь, у самого того, кто открыл нам тайну жизни, на том самом месте, где некогда проходили стопы его; поблагодарить за все, что ни случилось в моей жизни, испросить деятельности и напутственного освежения на дело, для которого я себя воспитывал и к которому приготовлял себя. Тут я не нахожу ничего странного, если и ученик, по окончании своего <ученья>, спешит сказать благодарственное слово учителю. Если сын спешит на могилу отца перед тем, как предстоит ему поприще, — почему же и мне не поклониться той могиле, которой поклоняются все, на которой все получают себе какое-нибудь напутствие, где вдохновляются все, даже и не поэты? Странно, может <быть>, то, что я об этом сказал в печатной книге. Но я в то время только что оправился от тяжкой болезни. Я был слаб; я не думал, что я буду в силах совершить это путешествие. Мне хотелось, чтобы помолились <обо> мне те, которых вся жизнь стала одно<ю> молитвой. Я не знал, как сделать, чтобы голос мой достигнул в глубину келий и стен затворников,

в мысли, что авось кто-либо из прочитавших донесет им мое слово. Я просил обо мне и других молиться, потому что не знал, чья молитва из нас угодней тому, кому мы все молимся. Знаю только то, что наипрезреннейший из нас может завтра же сделаться лучше всех нас, и его молитва будет всех ближе к Богу. За это не следовало бы меня много осуждать, а выполнить, помня слова: просящему дай.

Как случилось, что я должен обо всем входить в объясненья с читателем, этого я сам не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже с наиискреннейшими приятелями, я не хотел изъясняться насчет сокровеннейших моих помышлений. Я решился твердо не открывать ничего из душевной своей истории, выносить всякие заключения о себе, какие бы ни раздавались, в уверенности, что когда выйдет второй и третий том «Мертвых душ», все будет объяснено ими и никто не будет делать запроса: что такое сам автор? хотя автор и должен был весь спрятаться за своих героев. Но, начавши некоторые объяснения по поводу моих сочинений, я должен был неминуемо заговорить о себе самом, потому что сочиненья связаны тесно с делом моей души, бог весть, может быть, и в этом была также воля

того, без воли которого ничто не делается на свете; может быть, произошло это именно затем, чтобы дать мне возможность взглянуть на себя самого. Мне легко было почувствовать некоторую гордость, особенно после того, <как> удалось мне действительно избавиться от многих недостатков. Эта гордость во мне бы жила беспрестанно, и ее бы мне никто не указал. Известно, что достаточно приобрести в обращеньях с людьми некоторую ровность характера и снисходительность, чтобы заставить их уже не замечать в нас наших недостатков. Но, когда выставишься перед лицо незнакомых людей, перед лицо всего света, и разберут по нитке всякое твое действие, всякой поступок, и люди всех возможных убеждений, предубеждений, образов мыслей взглянут на тебя каждый по-своему, и посыплются со всех сторон упреки впопад и невпопад, ударят и с умыслом, и невзначай по всем чувствительным струнам твоим, — тут поневоле взглянешь на себя с таких сторон, с каких бы никогда на себя не взглянул; станешь в себе отыскивать тех недостатков, которых никогда бы не вздумал прежде отыскивать. Это та страшная школа, от которой или точно свихнешь с ума, или поумнеешь больше, чем когда-либо. Не без стыда и краски в лице я пере-

читываю сам многое в моей книге, но при всем том благодарю Бога, давшего мне силы издать ее в свет. Мне нужно было иметь зеркало, в которое бы я мог глядеться и видеть получше себя, а без этой книги вряд ли бы я имел это зеркало. Итак, замышленная от искреннего желания принести пользу другим книга моя принесла прежде всего пользу мне самому.

Но да позволено мне будет сказать здесь несколько слов относительно полезности ее другим. Точно ли бесполезна моя книга другим и особенно обществу в его нынешнем, современном виде? Мне кажется, все судившие ее взглянули на нее какими-то широкими <глазами>, как-то уже слишком сгоряча. Нужно было судить о ней похладнокровнее. Вместо того, чтобы выступать ратниками за все общество и вызывать меня на суд перед всю Россию, нужно было рассмотреть дело проще, рассмотреть книгу, что такое она в своем основании, а не останавливаться над частями и подробностями прежде, чем объяснился вполне внутренний смысл ее. От этого вышли пустые придирки к словам и приписанье многому такого смысла, который мне никогда и в ум не мог прийти. Начать с того, что я всегда имел право сказать о том, о чем говорил в моей

книге, если бы только выразился попроще и поприличнее. Учить общество в том смысле, какой некоторые мне приписали, я вовсе не думал. Учить я принимал в том простом значении, в каком повелевает нам церковь учить друг друга и беспрестанно, умея с такой же охотой принимать и от других советы, с какой подавать их самому. А я был готов в то время принимать и от других советы. Я не представлял себе общества школой, наполненной моими учениками, а себя его учителем. Я не всходил с моей книгой на кафедру, требуя, чтобы все по ней учились. Я пришел к своим собратьям, соученикам, как равный им соученик; принес несколько тетрадей, которые успел записать со слов того же Учителя, у которого мы все учимся; принес на выбор, чтобы всяк взял, что кому придется: Тут были письма, писанные к людям разных характеров, разных склонностей, и притом находившимся на разных степенях своего собственного душевного состояния, которые никак не могли прийтись ровно всем. Я думал, что каждый схватит только, что нужно ему, а на другое не обратит внимания. Я не думал, что иной, схвативши то, что нужно для другого, будет кричать: «Это мне не нужно!» — и сердиться за то. Я никакой новой науки не брался

проповедать. Как ученик, кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам нашим учителем. Я думал, что, при прочтении книги, будет мне сказано: «Благодарю тебя, собрат», а не: «Благодарю тебя, учитель». Если бы не завещание, которое я поместил довольно неосторожно, в котором намекал о поученьи, которое обязан дать всяк автор поэтическими созданьями своими, никто бы и не вздумал мне приписывать этого апостольства, несмотря даже на решительный слог и некоторую лирическую торжественность речи. Но в книге моей отыщет много себе полезного всяк тот, кто уже глядит в собственную душу свою.

Что же касается до мненья, будто книга моя должна произвести вред, с этим не могу согласиться ни в каком случае. В книге, несмотря на все ее недостатки, слишком явно выступило желанье добра. Несмотря на многие неопределительные и темные места, главное видно в ней ясно, и после чтения ее приходишь к тому же заключенью, что верховная инстанция всего есть церковь и разрешенье вопросов жизни в ней. Стало быть, во всяком случае, после книги моей читатель обратится к церкви, а в церкви встретит и учителей

церкви, которые укажут, что следует ему взять из моей книги для себя, а может быть, дадут ему, наместо моей книги, другие позначительнее, полезнее и для которых он оставит мою книгу, как ученик бросает склады, когда выучится читать по верхам.

В заключеньи всего я должен заметить: сужденья больш<ею> частию были слишком уж решительны, слишком резки, и всяк укоривший меня в недостатке смиренья истинного, не показал смиренья относительно меня самого. Положим, я в гордости своей, основавшись на многих достоинствах, мне приписанных всеми, мог подумать, что я стою выше всех и имею право произносить <суд> над другим. Но, на чем основываясь, мог судить меня решительно тот, кто не почувствовал, что он стоит выше меня? Как бы то ни было, но чтобы произнести полный суд над чем бы то ни было, нужно <быть> выше того, которого судишь. Можно делать замечанья по частям на то и на другое, можно давать и мненья, и советы, но выводи <ть>, основываясь на этих мненьях, обо всем человеке, объявлять его решительно помешавшимся, сошедшим с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, приписывать подлые и низкие

цели — это такого рода обвинения, которых я бы не в силах <был взвести> даже <на> отъявленного мерзавца, который заклеймен клеймом всеобщего презрения. Мне кажется, что прежде, чем произносить такие обвинения, следовало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о том, каково было бы нам самим, если бы такие обвинения обрушились на нас публично, в виду всего света. Не мешало бы подумать прежде, чем произносить такое обвинение: «Не ошибаюсь ли я сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь душевное. Душа человека — кладезь, не для всех доступный иногда, и на видимом сходстве некоторых признаков нельзя основываться. Часто и наиискуснейшие врачи принимали одну болезнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разр<ез>ывали уже мертвый труп». Нет, в книге «Переписка с друзьями» — как ни много недостатков во всех отношениях, но есть также в ней много того, что не скоро может быть доступно всем. Нечего утверждаться на том, что прочел два или три раза книгу, иной и десять раз прочтет, и ничего из этого не выйдет. Для того, чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень прост<ю> и добрую душу, или быть слишком многосторонним человеком, <который>

при уме, обнимающем со всех сторон, заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить полною и глубокою любовью.

Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумение было для меня очень тяжело, — тем более что я думал, что в книге моей скорей зерно примиренья, а не раздора. Душа моя изнемогла бы от множества упреков, из них многие были так страшны, что не дай их бог никому получать. Не могу не изъявить также и благодарности тем, которые могли бы также осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовав, что их уже слишком много для немощной натуры человека, рукой скорбящего брата приподняли меня, повелевши ободриться. Бог да вознаградит их: я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогшему духом.

Учебная книга словесности для русского юношества
Начертание Н. Гоголя

ПРОСПЕКТ

В двух больших томах: в первом — *часть поэтическая,* во втором *часть прозаическая.* Каждый

том состоит из двух половин: в первой половине изложение правил, или теория, во второй — примеры. Первая половина, то есть правила, должна быть напечата<на> большими четкими литерами всплошь, не разделяя на столбцы, с широким бордюром вокруг, дабы не слишком велика была квадра, — с пробелами и расстановка<ми>; вторая же половина, или примеры, должна быть напечатана тесно в два столбца мелким шрифтом и вокруг, вместо бордюра, одна тоненькая линеечка или черта. Заглавия те же и в правилах и в примерах, и должны быть занумерованы теми же номерами, — дабы вдруг можно было, по прочтении правила, найти ему соответствующие и принадлежащие приме<ры>.

О НАУКЕ

Наука у нас еще не разработывается как полное целое. Еще не думают о совокуплении ее в цельное крепкое ядро. В трудах наших ученых также раздаются не переварившиеся европейские мнения, и такими же торчат яркими заплатами их собственные мысли, как все это раздается в наших гостинных спорах и разговорах: всего нанесено и все не переварилось. А между тем только в одной русской голове (если только эта

голова устоялась) возможно созданье науки как науки, и русской ум войдет в сок свой. Наука, окинутая русским взглядом, всеозирающим, расторопным, отрешившимся от всех сторонних влияний, ибо русский отрешился даже от самого себя, чего не случалось доселе ни с одним народ<ом>. Немцу, о чем бы он ни говорил, не отрешиться от немца; французу, о чем бы он ни говорил, во всех его мненьях и словах будет слышен француз; англичанину и подавно, более всех нельзя отделиться от своей природы. Стало быть, полное беспристрастие возможно только в русском уме, и всесторонность ума может быть доступна одному только русскому, разумеется, при его полном и совершенном воспитании. К этому нужно присовокупить нашу способность схватывать живо малейшие оттенки других наций и, наконец, живое и меткое наше слово, не *описывающее,* но *отражающее,* как в зеркале, предмет. Наука у нас непременно дойдет до своего высшего значения и поразит самым существом, а не краснобайством преподавателя, его даром рассказывать, или же применениями к тому, что интересует моду, и всякими другими нарумяниваниями и подслащиваниями, которыми стараются сделать <науку> удобопроглотимою.

Она поразит своим живым духом, из нее же исходящим, и сим только станет доступною всем: и простолюд<иму>, и не простолюдиму. Ее сила будет в ее многозначительном краткословии, а краткословья этого, сколько мне кажется, не добыть никому из народов, кроме русского, ибо сама природа наша требует его. Нам не нужно то постепенное, медленное развитие мыслей, не прерывающий<ся> исход и вывод одного из другого, без которого немец не ступит шага и не пойдет по дороге. У нас, напротив, всякий скучает, начиная от образованного до простолюдима, когда ему дается слишко<м> долгая инструкция и толкуют то, что он и сам уже смекнул, и не можем идти шаг за шагом, так, как идет немец. Отсюда неуспех всякого изложенья науки ходом немецкой философии. Проследи лучше наш ученый сам в себе науку, прежде чем стал ее проповедать, проживи как в беседе с нею, как монах живет с Богом, наложив молчание на уста свои. И когда уже совокупилась в тебе самом наука в одно крепкое ядро, и содержишь ее в голове всю в неразрушаемой связи, — тогда можешь проповедывать ее. И нечего уже тогда плестись: не бойсь, нити не потеряешь, когда она в голове. Несись ровными и мерными скачками, не усиливая и не замедляя,

борзо, как добрый ямщик, который ни лошадей не горячит, ни сам не горячит<ся>, несется не подлой рысцой, не во всю прыть, не сломя голову, а тем веселящим сердце летом, с каким начал дорогу, и прилетает на станцию, не заморив коней, ни себя самого. Иной езды мы не любим. Смело поступи, как наш сказочный конь: мелкие кусты и травник промеж ног пропускает. Не заботься, тебя поймут. Сметливость — наше свойство, и у нас давно живет пословица: умный поп хоть губами шевели, а мы, грешные, догадываемся.

ЧТО ТАКОЕ СЛОВО И СЛОВЕСНОСТЬ

Говорится все, записывается немногое, и только то, что нужно. Отсюда значительность литературы. Все, что должно быть передано от отцов к сыновьям в научение, а не то, что болтает ежедневно глупый <?> человек, то должно быть предметом словесности. Поэтому только тот, кто больше, глубже знает какой-либо предмет, кто имеет сказать что-либо новое, тот только может быть литератором. Поэтому злоупотребление, если кто пишет без надобности или потребности внутренней передать свои ‹…›, кто пишет только затем, ‹…›

Поэтому для того, чтобы писать, нужно иметь

или очень много сведений и познаний не общих всем, тогда писанья его будут принадлежать к области науки, или же изобилие ощущений и опытности, тогда он поэт, и его произведенья принадлежат области поэтической.

Тому и другому необходима способность воображать и живо представлять себе предмет, о котором говорит.

Письменностью или словесностью называют сумму всего духовного образования человека, которое передано было когда-либо словом или письмом. Но в самом деле словесность не есть сумма всех познаний человеческих. Она не есть также сама в себе что-либо существенное. Она есть только *образ,* которым передает человек человеку все им узнанное, найденное, почувствованное и открытое, как в мире внешних явлений, так и в мире явлений внутренних, происходящих в собственной душе его. Ее дело в том, чтобы передать это в виде яснейшем, живейшем, способном остаться навеки в памяти.

Открытьем тайны такого живого передавания занимается *наука словесности.* Но научить этой тайне не может наука словесности никого, так же как никакой науке и никакому искусству нельзя научиться в такой степени, чтобы быть масте-

ром, а не ремесленником, — если не даны к тому способности и орудия в нас самих. Но при всем том наука словесности [так же нужна], как для всякого другого знания нужна наука. Нужно для того, чтобы ввести в сущность дела, показать, в чем дело, дабы если точно есть в нас способности, силы, — навести их на путь, вдвинуть их в надлежащую колею; дабы, как по углаженной дороге, быстрее устремилось б<ы> их развитие. Если ж нет способностей, то чтобы знал учащи<йся>, чего требует предмет этот, — видел бы всю великость того, чего он требует, и не отважился бы вслед за другими принимать<ся> за ее роды высокие или же просто не свойственные его свойству, а выбрал бы оружие по руке. Ибо словесность обширна, объемлет все, и нет человека, который не был бы способен для какого-нибудь ее рода, если только есть в голове его рассудок и может он о чем-нибудь порядочно размыслить.

Есть два языка словесности, две одежды слова, два слишком отличных рода выражений: один слишком возвышенный, весь гармонический, который не только живым, картинным представлением всякой мысли, самыми чудными сочетаниями звуков усиливает силу выражений и тем живей выдает жизнь всего выражаемого, —

род, доступный весьма немногим и сим даже немногим доступный только в минуты глубоко растроганного <со>стояния душевного настроения чувств, называемый поэтическим, высшим языком человеческим, или, как называли все народы, языком богов; — и другой, простой, не ищущий слишком живых образов, картинности выражения, ни согласных сочетаний в звуках, предающий<ся> естественному ходу мыслей своих в самом покойном расположении духа, в каком способен находиться всякий, — род прозаический. Он всем доступный, хотя между тем может неприметно возвыситься до поэтического состояния и гармонии, по мере, как доведется к такому растроганному настроению душевному, до которого также может достигнуть всякий человек в душевные, истинные минуты. Само собою разумеется; что как в том роде, так и в этом есть тысячи оттенков и ступеней, высших и низших, из которых одни даютс<я> в удел только необыкновенным гениям, другие — счастливым талантам и, наконец, третьи — почти всем сколько-нибудь способным людям. Само собою также разумеетс<я>, что иногда тот и другой род врываются в пределы друг друга, и то, что иногда поэзия может снисходить почти до простоты

прозаической и проза возвышаться до величья поэтического. Но тем не менее они составляют два отдельные рода человеческой речи. Отдел этот слишком явствен и резок. Слова поэзия и проза произносятся в таком же противуречащем друг другу значении, как слова день и ночь.

О ПОЭЗИИ

Родник поэзии есть красота. При виде красоты возбуждается в человеке чувство хвалить ее, песнословить и петь. Хвалить такими словами, чтобы и другой почувствовал красоту им восхваляемого. Поэт только тот, кто более других способен чувствовать красоту творения. Потребность поделиться своими чувствами воспламеняет его и превращает в поэта. Двумя путями передает он другим ощущения: или от себя самого лично, — тогда поэзия его лирическая; или выводит других людей и заставляет их действовать в живых примерах, — тогда поэзия его драматическая и повествующая. Третий род — так называемый описательный, или дидактический, может входить равно в оба рода, но не есть сам по себе путь, которым передает свои впечатления поэт.

О ПОЭЗИИ ЛИРИЧЕСКОЙ

Поэзия лирическая есть портрет, отражение и зеркало собственных высших движений души поэта, его самонужнейшие заметки, биография его восторгновений. Она есть, начиная от самых высших до самых низших ее родов, ничто иное, как отчет ощущений самого поэта. Гремит ли он в оде, поет ли в песне, жалуется ли в элегии, или же повествует в балладе, повсюду высказывает личные тайны собственной души поэта. Словом, она есть чистая личность самого поэта и чистая правда. Ложь в лирической поэзии опасна, ибо обличит себя вдруг надутостью: тот, кто имеет чутье поэта, в миг ее услышит и называет лжецом надевшего маску поэта. Она обширна и объемлет собою всю внутреннюю биографию человека, начиная от его высоких движений, в оде, и до почти прозаических и чувственных в мелком антологическом стихотворении, в котором он желает отыскать сторону поэтическую.

ОДЫ, ГИМНЫ И ЛИРИЧЕСКИЕ ВОЗЗВАНИЯ

Ода есть высочайшее, величественнейшее, полнейшее и стройнейшее из всех поэтических

созда<ний>. Ее предметом может послужить только одно высокое: ибо одно высокое может, только внушить душе то лирическое, торжественно <е> настроение души, какое для нее нужно и без какого не произвесть оды поэту, как бы велик он ни был. Посему и предмет од или сам источник всего — Бог или то, что слишком близко высотою чувств своих к божественному. Нужно слишком быть проникнуту святыней предмета, нужно долго носить в себе самом высокий предмет, сродниться с ним, облагоухать<ся> им самому, — дабы быть в силах произвести оду. Минутное же восторжение святыней предмета может произвесть гимн, а не оду. Ода требует высокого торжес<твенного> спокойствия, а не порыва. Она не летит вверх, как гимн, но как бы пребывает вся на равной высоте, паря, а не улетая. И потому всегда в равносильных и равномерных строфах и при свободе своей сохраняет в себе строгий порядок. Гимн не имеет тех качеств. Он есть первое излияние чувст<в>, которые просятся из души внаружу. Он беспорядочен, как самые сильно возбужденные в нас чувства, которые стремятся только поскорей выразиться, не думая о том, откуда и с чего приличнее начать: и начинается он и оканчивается, где ему вздумается,

имея вожатаем одно вдохновение, которое внушило поэту на ту пору обнявшее его чувство. Он редко сдерживает себя границами размеренных строф, но льется бесстрофно, быстро, как ручьи возбужденных чувств, и прекращается вдруг, неожиданно, быстро. Поэтому это излиянье благодарения душевного чаще всего его предмет, или же восхваление того, что возбудило в нем такое чувство. Гимн и восхваленье почти синонимы. Есть еще род лирических стихотворений, которые составляют средину между одой и гимном: толь<ко> приобретают некоторый порядок размеренные строфы и некоторое спокойствие, хотя не имеют еще той великой полноты и просторной рамы, какая принадлежит оде. Тогда их называют поэты стансами, то есть просто строфами. Наконец есть еще род, уступающий всем трем в полноте, который можно назвать лирическими воззваниями, которые заключают в себе как бы один только клич, вопль, возглас, приглашение или крик, возбуждающий к чему-либо других. Он бывает быстр, краток, но тем не менее возвышен, иногда даже слишком высок своею лаконическою силою, и чрез то имеет право причисляться к высокому лирическому роду, становясь наряду с одой.

ПЕСНЯ

Песня составляет самый богатейший отдел поэзии у народов славянских. Преобладание поэтического элемента в глубине славянской души и особенное мелодическое расположение нашего языка были причиною происхождения бесчисленного множества песен в нашей словесности, которы<е> уже и вдревле, когда слова не записывались и словесность, не переходя в письменность, оставалась в буквальном смысле словесностью, составляли наше достояние. Впоследствии, когда более и более наши поэты стали входить в развитие собственного поэтического духа, песня явилась как необходимое выражение всех тех впечатлений, которые обнимали душу самого поэта, пробуждали в нем лирическое чувство. Она сделалась как бы историей поэтических ощущений поэта, которые слишком нежны для оды и не восходят до той превыспренно<сти>, но зато ощущаются гораздо чаще, нежели те, которые служат предметом оды. А потому редкий из наших поэтов не оставил прекрасных образцов, не говоря уже о Пушкине, который является как царь в средин<е> этой области и которого всякое лирическое сочинение, как только по-

являлось в свет, в тот же миг перекладывалось на музыку и распевалось от необыкновенного обилия мелодии в звуках. Жуковский, Батюшков, Капнист, Нелединский-Мелецкий, Языков, Козлов, Баратынский, Туманский, Лермонтов подарили поэзию нашу множеством самых мелодических песен. Песня обнимает все: все чувства и ощущения жизни, и потому может делиться на множество разных родов; может изображать уединен<ие>, внутренние движения и поэтические мечты поэта, может выражать страсть и любовь, может быть застольной, и выражать веселье души и грусть; может изображать картину или состояние другого, как в романсе, переходя от дифирамба до тихой элегической задумчивости. Словом, все что ни приводит к настроен<ному> состоянию дух, есть уже ее предмет, хотя это не есть та величавая, высокая восторженность, как в оде, возвышенная уже самым величием взятого предмета. В песне восторг как бы утишенный, — это ликование духа уже после самого дела, или случившего<ся> велик<ого> восторг<а>, празднество во время отдыха. Как бы позабыв самый предмет своей радости, поющий хочет потеряться в гармонических звуках. Посему в песне почти музыкальная стройность строф,

уместные повторения и счастливые возвращения к тому же составляют необыкновенную прелесть песни. Ее строфы гораздо короче, нежели строфы оды. Строфы длинные или тяжеловесные ей не приличны: чрез это песня будет неудобна для пенья. Она никак тоже не должна быть и длинна, потому что и впечатленья все быстры.

Сочиняющий песню должен как бы слышать в то же время ее внутреннюю музыку, дающую тайный размер и стихам и строфам. Лучшие песни сочинялись в самую минуту пляски, пиршества и вызывались ударом смычка, свистом волынки, звоном стаканов, мерным ударом стоп. От этого они получают то невыразимо-мелодическое свойство звуков, составляющее такую прелесть в песнях народных.

Самые поэтические мечты и нежные внутренние изгибы души своей тогда выражались хорошо и были достойны песни, когда они не мечтались в его воображении, а как бы пелись в самой душе поэта.

ЭЛЕГИЯ

Элегия есть как бы покоенное изложение чувств, постоянно в нас пребывающих, не тех великих и сильных, которые пробуждаются в

нас мгновенно при воззрении на предметы великие, не тех, которые, подобно святыне, сохранно пребывая в глубине души, стремят на великие подвиги человека, — но тихих, более ежедневных, более дружных с обыкновенным состоянием человека. Это сердечная история — то же, что дружеское откровенное письмо, в котором выказываются сами собою излучины и состояния внутренние души. В сравнении с одой и гимном она слишком отступила далеко в лиризме. Лирический свет ее перед светом гимна, что свет луны перед солнцем. Ее бы можно было назвать дидактич<еским> и описательным сочинением, если бы она не была излиянием умягченного и слишком нежного состояния души, подвигнутого на тихую исповедь, которая не может излиться без душевно<й> лирической теплоты. Все в ней тихо. Что взывает как бы громом гремящего оркестра в оде, поется в песне, — в ней произносится речитативом. Подобно сердечному письму, <она> может быть и коротка и длинна, скупа на слова и неистощимо говорлива, может обнимать один предмет и множество предметов, по мере того, как близки эти предметы ее сердцу. Чаще всего носит она одежду меланхолическ<ую>, чаще всего в ней слышатся жалобы, потому что

обыкновенно в такие минуты ищет сердце высказаться и бывает говорливо.

<ДУМА>

Дума есть род стихотворений, не заимствованный ниоткуда, но образовавшийся у славян. Песни северных конунгов имеют с ней некоторое сходство. Она не есть баллада, которой содержанием избирают<ся> таинственные поэтические предания, неясные, шевелящие и пугающие воображение явления. В ней ничего нет такого, что бы было необъясненно, неопределенно и заманивало бы самой поэтической своею неопределенностью. Напротив, в ней все определенно и ясно. Ее предмет — происшествие истинно историческое, действительно бывшее, или же предание, так живо хранящееся в народе, что сама история внесла его в свои страницы. Думы могут быть только об одних исторических лицах. Этот род можно бы скорей причислить к сочинениям повествовательно-драматическим, если бы думы не распевались, подобно песням, нашими старцами слепцами, хотя и речитативом, и если бы не писались мерными строфами, среди которых многие есть отзывные и повторяющие, дающие гармоническое округление

пиесе — свойство, составляющее неизъяснимую прелесть песни.

ПОЭЗИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ИЛИ ДРАМАТИЧЕСКАЯ

Поэзия повествовательная, в противоположность лирической, есть живое изображение красоты предметов, движения мыслей и чувств вне самого себя, отдельно от своей личности до такой степени, что чем более автор умеет отделиться от самого себя и скрыться самому за лицами, им выведенными, тем больше успевает он и становится сильней и живей в этой поэзии; чем меньше умеет скрыться и воздержаться от вмешиванья своей собственности, тем более недостатков в его творении, тем он бессильней и вялее в своих представлениях. Значительность поэзии повествовательной или драматической увеличивается по мере того, когда поэт стремится доказать какую-нибудь мысль и, чтобы развить эту мысль, призывает в действие живые лица, из которых каждое своей правдивостью и верным сколком с природы увлекает вниманье читателя и, разыгрыва<я> роль свою, ему данную автором, служит к доказательству его мысли. По мере того, чем совершается это естественней, и все

происшествие кажется живым, естественным случаем, недавно случившимся, — между тем как внутренне двигнуто глубоким логическим выводом ума. Тогда сочинение живое, драматическое, кипящее пред очами всех становится с тем вместе в высшей степени дидактическое и есть верх творчества, доступного одним только великим гениям.

Значительность поэзии драматической или повествов<ательной> уменьшается по мере того, как автор теряет из виду значительную и сильную мысль, подвигающую его на творчество, и есть простой списыватель сцен, перед ним происходящих, не приводя их в доказательство чего-нибудь такого, что нужно сказать свету. Тогда значительность самого происшествия им управляет, и он получает только от него свою значительность, хотя она и не в нем, но в происшествии, а достоинство его в чутье и уменье выбрать происшествие.

Пространство и пределы этой поэзии драматически-повествовательной велики. Она объемлет в себе бесчисленные роды, начиная с самых величайших: эпопеи и драмы — до самых мелких: басни или притчи.

ЭПОПЕЯ

Величайше<е>, полнейшее, огромнейшее и многостороннейшее из всех созданий драматическо-повествовательных есть эпопея. Она избирает в героя всегда лицо значительное, которое было в связях, в отношен<иях> и в соприкосновении со множеством людей, событий и явлений, вокруг которого необходимо должен созидаться весь век его и время, в которое он жил. Эпопея объемлет не некоторые черты, но всю эпоху времени, среди которого действовал герой с образом мыслей, верований и даже познаний, какие сделало в то время человечество. Весь мир на великое пространство освещается вокруг самого героя, и не одни частные лица, но весь народ, а и часто и многие народы, совокупясь в эпопею, оживают на миг и восстают точно в таком виде перед читателем, в каком представляет только намеки и догадки история. Поэтому-то эпопея есть создание всемирное, принадлежащее всем народам и векам, долговечнейшее, не стареющееся и вечно живое, и потому вечно повторяющееся в устах. — Высокое совершенс<тво> всех качеств нужно соединить в себе поэту сверх высочайшего гения. Посему явления эти слишком редки в мире

и, кроме одного Гомера, то есть кроме двух эпопей «Илиады» и «Одиссеи», вряд ли есть другие, вполне вмещающие в себе ту полноту, видимость и многосторо<нность>, какой требует эпопея. Сравнив с Гомером всех других эпиков, видим только, как входят они в частности, и, несмотря даже на явное желание захватить и объять много, стесняют пределы свое<го> значень<я>, всемирное уходит у них из вида, и эпопея превращается даже в явление частное. С тем вместе пропадает и та величавая безыскусственная простота, которая является у великого патриарха всех поэтов так, что весь погаснувший древний мир является у него в том же сиянии, освещенный тем же солнцем, как бы не погасал вовсе, дабы сохраниться навеки живым в памяти всего человечества.

МЕНЬШИЕ РОДЫ ЭПОПЕИ

В новые веки произошел род повествовательных сочинений, составляющих как бы средину между романом и эпопеей, героем которого бывает хотя частное и невидное лицо, но однако же значительное во многих отношениях для наблюдателя души человеческой. Автор ведет его жизнь сквозь цепь приключений и перемен, дабы представить с тем вместе вживе верную картину

всего значительного в чертах и нравах взятого им времени, ту земную, почти статистически схваченную картину недостатков, злоупотреблений, пороков и всего, что заметил он во взятой эпохе и времени достойного привлечь взгляд всякого наблюдательного современника, ищущего в былом, прошедшем живых уроков для настоящего. Такие явления от времени до времени появлялись у многих народов. Многие из них хотя писаны и в прозе, но тем не менее могут быть причислены к созданиям поэтическим.

Всемирности нет, но есть и бывает полный эпический объем замечательных частных явлений, по мере того как поэт облекает в стихи.

Так Ариост изобразил почти сказочную страсть к приключениям и к чудесному, которым была занята на время вся эпоха, а Сервантес посмеялся над охотой к приключен<иям>, оставшимся, после рококо, в некоторых людях, в то время, когда уже самый век вокруг их переменился, тот и другой сжились с взято<ю> ими мыслью. Она наполняла неотлучно ум их и потому приобрела обдуманную, строгую значительность, сквозит повсюду и дает их сочинениям малый вид эпопеи, несмотря на шутливый тон, на легкость и даже на то, что одна из них писана в прозе.

ЭКЛОГА И ИДИЛЛИЯ

Есть род драматических описательных произведений, которы<м> издавна уже дано имя эклог и идиллий и которые вообще называются пастушес<кими>. Эти два рода соединяют весьма несправедливо вместе и еще несправедливей смешивают одно с другим. Чтобы видеть существенное различие между ним<и>, поговорим о каждом роде отдельно: сначала об эклоге, потом об идиллии.

ЭКЛОГА

Эклога есть слово греческое и значит просто: избранная пиеса. Те сочинения, которые назвал Виргилий эклогами, имеют только внешний вид сельских или пастушеских стихотворений. Пастухи его препираются друг с другом в песнопении, и песнопенья так возвышенны, что приемлют вид од, гимнов, ничуть не уступая в возвышенности одам Горация, так что вследствие сего произвольно взятое имя эклога стало выражать в наших понятия<х> состязание двух или многих между собою в песнопении или восхвалении чего-либо. Словом, как бы это было лирическое

произведение, но облеченное в драматическую форму. Лица берутся не для них самих, но для того, что должны они рассказать. Их собственное драматическое значение ничтожно. Они рисуют друг другу, начертывают один другому картину того, чего не захотел поэт сказать от своих собственн<ых> <уст>. Они не свои выражают страсти, не сами действуют, но повествуют о событиях других и восхваляют вне их находящиеся предметы, иногда даже вовсе выходящие из их быта. Посему эклога есть скорей возвышенное стихотворе<ние>, чем скромное сельское. Эклогой можно назвать состязание Гомера с Гезиодом, прекрасно переделанное из Мильвуа Батюшковым. Эклогой можно назвать разговор двух шаманов о завоеваниях Ермака, Дмитриева. Эклогой можно назвать стихотворение Катен<ина>, где поэт грек и поэт славянин состязаются друг с другом в песнопении. Наконец эклогами можно назвать все те картинно-лирические стихотворения, которые с недавнего времени введены нашими поэтами, которые имеют наружный вид препираний, разговоров и споров между предметами неодушевленными, но которых, однако же, поэт одушевляет и заставляет их рассказывать друг другу в картинном виде событие, служащее

к проявлению той мысли, которая занимала самого поэта. Таков например «Спор» у Лермонтова Машука с Шат-горою о будущей судьбе Кавказа. Таковы споры городов и рек, приемлющих на время вид одушевленных лиц, которые теперь весьма часто являются у наших поэтов.

ИДИЛЛИЯ

Хотя с мыслью об идиллии соединяют мысль о пастушеском и сельском быте, но пределы ее шире и могут обнимать быт многих людей, если только с таким бытом неразлучны простота и скромный удел жизни. Она живописует до мельчайших подробностей этот быт, и как, по-видимому, ни мелка ее область, не содержа в себе ни высокого лирического настроения, ни драматического интереса, ни сильного потрясающего события, хотя, по-видимому, она не что иное, как все первое попадающееся на глаза наши из обыкновенной жизни, — но тот, однако ж, ошибется, кто примет ее в одном таком смысле. Поэтому почти всегда управляла ею какая-нибудь внутренняя мысль, слишком близкая душе поэта, а быт и самую идиллию он употреблял как только удобнейшие формы. Лучшие идиллии имели какое-нибудь историческое значение

и писали<сь> по какому-нибудь случаю. Так, Гнедича «Рыбаки» заключает в себе случа<й> его собственной жизни, и в барине, о котором говорит рыбак, он изображает русского вельможу, приветствовавшего благосклонно первые труды поэта. Так, всякая идиллия Дельвига была писана по какому-нибудь поводу, не говоря уже о прекрасной идиллии «Изобретение ваяния», которая с первого заглавия говорит о том. Идиллия «Купальницы» была написана по поводу понравившегося поэту эстампа, висевшего в его комнате.

Идиллия не сказка и не повесть, хотя и содержит в себе что-то похож<ее> <на> происшес<твие>, но живое представление тихого, мирного быта, сцена, не имеющая драматического движения. Ее можно назвать в истинном смысле картиною; по предметам, ею избираемым, всегда простым, — картиной фламандской.

РОМАН

Роман, несмотря на то, что в прозе, но может быть высоким поэтическим созданием. Роман не есть эпопея. Его скорей можно назвать драмой. Подобно драме, он есть сочинение слишком условленное. Он заключает также в себе строго и

умно обдуманную завязку. Все лица, долженствующие действовать или, лучше, между которыми должно завязаться дело, должны быть взяты заране автором; судьбою всякого из них озабочен автор и не может их пронести и передвигать быстро и во множестве, в виде пролетающих мимо явлений. Всяк приход лица, вначале, повидимому, не значительный, уже возвещает о его участии потом. Все, что ни является, является потому только, что связано слишком с судьбой самого героя. Здесь, как в драме, допускается одно только слишком тесное соединение между собою лиц; всякие же дальние между ними отношения или же встречи такого рода, без которых можно бы обойтись, есть порок в романе, делает его растянутым и скучным. Он летит, как драма, соединенный живым интересом самих лиц главного происшествия, в которое запутались действующи<е> лица, и которое кипящим ходом заставляет самые действую<щие> лица развивать и обнаруживать сильней и быстро свои характеры, увеличивая увлеченье. Потому всякое лицо требует окончательного поприща. Роман не берет всю жизнь, но замечательное происшествие в жизни, такое, которое заставило обнаружиться в блестящем виде жизнь, несмотря

на условленное пространство.

<*ПОВЕСТЬ*>

Повесть избирает своим предметом случаи, действительно бывшие или могущие случиться со всяким человеком, — случай почему-нибудь замечательный в отношении психологическом, иногда даже вовсе без желания сказать нравоучение, но только остановить внимание мыслящего или наблюдателя. Повесть разнообразится чрезвычайно. Она может быть даже совершенно поэтическою и получает название поэмы, если происшествие, случившееся само по себе, имеет что-то поэтическое; или же придано ему поэтическое выражение отдаленность<ю> времени, в которое происшествие случилось; или же сам поэт взял его с той поэтической стороны, с какой может взять только поэт и которая только пребывает в нем. Так повесть «Бахчисар<айский> фонтан» есть уже поэма по тому теплому роскошному колориту, в который с начала до конца облек ее всю поэт. Она может быть просто живой рассказ, мастерски и живо рассказанный картинный случай, каковы Жуковского «Матте<о> Фальк<оне>», Языкова «Сурмин». Или же берет с сатирической стороны какой-нибудь случай, то-

гда делается значительным созданием, несмотря на мелочь взятого случая; таковы «Модная жена» <Дмитриева>, «Граф Нулин» Пушкина, который сверх того имел значительное выражение, как живая картина. Иногда даже само происшествие не стоит внимания и берется только для того, чтобы выставить какую-нибудь отдельную картину, живую, характеристическую черту условного времени, места и нравов, а иногда и собственной фантазии поэта.

<*СКАЗКА*>

Сказка может быть созданием высоким, когда служит аллегорическою одеждою, облекающею высокую духовную истину, когда обнаруживает ощутительно и видимо даже простолюдину дело, доступное только мудрецу. Таковы отчасти две повести Жуковского о жизни человеческой. Сказка может быть созданье не высокое по своему содержанию, но <в> высшей степени исполненное прелести поэтической, если поэт, взяв народный мотив, возлелеет ее воображеньем своим и усвоит вполне себе и разовьет из <нее> поэму, как, например, «Руслан и Людмила». Наконец, сказка может быть созданье значительное, когда содержание создано все поэтом, но в духе

народном отгаданы дух и время, какова Лермонтова «<Про> купца Калашникова», и, наконец, сказка может быть просто пересказ почти слово в слово народной сказки, — созданье менее всего значительное, которое выигрывает только от того, когда поэт сумеет привести ее в лучший порядок, вычистить, удержав в ней то, что есть в ней ее характерное, и отстранив то, что <при>бавлено лишнего. Таковы сказки Жуковского <и> Пушкина о царе Султане, о царе Берендее, о царе Сал<тане?>, о Спящей царевне и семи братьях.

<*УЧЕНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ И ТРАКТАТЫ*>

Ученые рассуждения и трактаты должны быть коротки и ясны, отнюдь не многословны. Нужно помнить, что наука для тех, которые еще не знают ее. В последнее время стали писать рассужд<ения> начиная с Лединых яиц. Это большая погрешность. Думая через это более раскрыть дело, более темнят. Терминов нужно держаться только тех, которые принадлежат миру той науки, о которой дело, а не общих философ<ских>, в которых блуждает, как в лабиринте, и отдаляется от дела. Приступ должен быть невелик и с первого же раза показать, в чем дело. Заключение должно повторить дело трактата и в сокращеньи

обнять его снова, чтобы читатель мог повторить самому себ<е>.

<*ПРИМЕРЫ*>

<ОДЫ>

Вечернее размышление, Лом<оносова>. Водопад, Держ<авина>. Гимн богу, Дмит<риева>… Капниста. Землетрясение, Языков<а>.Пастырь, Пушкина. Подражание Иову, Ломонос <ова>. Вельможа, Державин <а>. Гений, Языкова.

Ода Ломоносова: На восстановление дома Романовых в лице родившегося имп<ератора> Павла I[278].

Осень во время осады Очаков<а>.Императ<ору>, Никола<ю>, Пушки<на>. Давыдову, Языкова. На переход Альпийских гор, Держав <ина>. Поэту, Языкова. Благодарность Фелице, Державина.

---

[278] Примечания: 278

Выноска к оде Ломоносова на рождение Императора Павла. Рождение императора Павла I было радостнейшим происшеств<ием>, какое когда-либо запомнит Россия, по сказанию всех современников. Все единомысленно видели в нем восстановление дому Романовых, который, кажется, ежеминутно готовился угаснуть за неимением наследников мужского пола. Все услышали, что родился тот, который потом упрочил надолго и дом царский, подарив России мужественное и сильное царское поколение. Вот причина, почему вся эта ода у Ломоносова исполнена такого восторга и силы, и он пророчит младенцу все, что только можно пожелать совершеннейшему государю.

России, Хомякова..... Капниста. Пророк, Пушкина. Фелица, Державина. Подражание псалму CXXXVI, Языкова. Благодарность Фелице, Державин<а>. На смерть Мещерского, Державин<а>.На смерть Орлова, Державин<а>. Клеветникам России, Пушкин<а>. К нерусским, Языкова. Зубову, Державина. Наполеон, Пушкина. Мой истукан, Державина. Пророк, Лермонтова. К XIX веку, Лермонтова. К» веку, М. Лихонина.

Изображение Фелицы, Державина. Ответ Рафаэля певцу Фелицы, Капниста. Елисавете, Ломоносова. Лебедь, Державина.

ПЕСНИ

Уже со тьмою нощи, Капниста. У кого душевны силы, Нелединского-Мелецкого. Талисман, Пушкина. Венецианская ночь, Козлова. Кудри, кудри шелковые, Дельвига. Телега жизни, Пушкина. По дороге зимней, скучной, Пушкина. Цепи, Державина. Жуковского. Отымет наши радости. В местах, где Рона протекает, Батюшкова. Где твоя родина, певец молодой? Языкова. Море блеска, гул, удары… Языкова. Ночь. Померкла неба синева, Языкова. Я взлелеян югом, югом, В. Туманского. Ночь, Жуковского. Делибаш, Пушкина. Русская песня: Гой, красна земля Воло-

димира, Хомякова. Дельвига, Песня. Я ехал к вам: живые сны… Пушкина. Ночной зефир струит эфир, Пушкин<а>.*Пловец.* Нелюдимо наше море, Языкова……. Козлова. Песнь Гаральда, Батюшкова. Мечта, Державина. Две вечерние думы, Хомякова: 1-я Вчерашняя ночь была так светла. 2-я. Сумрак вечерний тихо взошел. Ты велишь мне равнодушным, Нелединского-Мелецкого. Лермонтова. *Молитва.* Одну молитву чудную.» Завещание. Наедине с тобою брат. Зима. Что ты, муза, так печальна, Держав<ина>.Мотылек и цветы. К нарисованному изображению того и друг<ого>, Жуковского. Два рыцаря перед девой, испанск<ий> романс, Пушкина. Песнь пажа, Пушкина. Старость и младость, Капниста. Прости мне дерзкое роптанье, Нелединского-Мелецкого. Карикатура. Сними с меня завесу, седая старина, Дмитриева. Что мне делать в тяжкой участи моей? Мерзлякова (Тоска сельской девушки). Многи лета, многи лета (народная песня), Жуковского. Выйду я на реченьку, *Нелединского-Мелецкого.* Ах, когда б я прежде знала, Дмитриева. Уныние, Капниста: Дни отрады, где сокрылись? *Ангел.* По небу полуночи ангел летел, *Лермонтова. Таинственный посетитель,* Жуковского. Пятнадцать мне минуло лет, *Богдановича.* Когда веселий на

крылах, *Нелединского-Мелецкого.* К младенцу, Дмитриева. Чувство в разлуке (Что не девица в тереме своем), Мерзлякова. К востоку, все к востоку, Жуковского. Полно льститься мне слезами, Нелединского-Мелецкого. Донскому воинству, *Шатрова* (Грянул внезапно гром над Москвою). С Миленой позднею порою, Капниста. К месяцу, Жуковского. Весеннее чувство, Жуковского. *Сон,* Жуковского. Заснув на холме луговом.

ЭЛЕГИИ

Роняет лес багряный свой убор, Пушкина. Умирающий Тасс, Батюшкова. На смерть королевы Виртембергск<ой>, Жуковского. На воспоминанье кн. Одоевск<ого>, Лермонтова. Пожар, Языкова. На развалинах замка в Швеции, Батюшкова. Финляндия, Баратынского. Элегия, Давыдова. Пушкина, Ненастный день потух. Туманной ночи мгла. Второй перевод Греевой <элегии>, Жуковского. Я берег покидал туманный Альбиона, Батюшкова. Элегия, А. Крылова. Череп, Баратынского. Лицейская годовщина, Пушкина. Миних, Плетнева. Элегия, Баратынского. Тоска в немец<ком> городке. Элегия, Языкова. Элегия, Пушкина.» Пушкина. О сжальтесь надо мною, о дайте волю мне, Хомякова. Арфа, Дер-

жавина. Когда для смертного умолкнет шумный день, *Пушкина*. Зима. Что делать нам в деревне? я встречаю, *Пушкина.* Вечер, Жуковского.

ЭКЛОГИ

Гомер и Гезиод, Батюш<кова>
Ермак. Дмитриева.
« Катенина.
Спор <Казбека> с Шат-горою, Лермонтова.
Олег, Языкова.
ИДИЛЛИИ
Рыбаки, Гнедича.
Купальницы, Дельвига.
Каприз, Пушкина.
Изобретение ваяния, Дельвига.
Сцены из Цыган. Пушкина.
Последние стихот<ворения> Пушкина.
Солдат, Дельвига.
Сторож ночной, Жуковского.

ДУМЫ

Олег, Пушкина. Эвпатий, Языкова. Острогожск, Рылеева. Пир на Неве, Пушкина. Кудесник, Языкова.

АНТОЛОГИЧЕСКИЕ

Труд, Пушкина. Монастырь на Казбеке, Пушкина. Недуг, Шевырева. К статуе Петра Великого, Ломоносова. (Гремящие по всем концам земным победы). Пир Потемкина, данный Екатерине, Державина. Домик поэта в Обуховке, Капниста. Красавице перед зеркалом, Пушкина. Домовому, Пушкина. Буря, Языкова. Птичке, Ф. Туманского. Нереида, Пушкина. Вдохновенье. Сонет, Дельвига. Красавице, Пушкина. На спуск корабля Златоуста, Ломоносова. Весна, Языкова. К статуе играющего в бабки, Пушкин<а>. На перевод Илиады, Пушки <на>.*Сонет* при посылке книги, воспоминанье об искусстве, Батюшкова. О милых призраках, Жуковского. Поэту. Сонет, Пушкина. К портрету Жуковского, Пушкина. Нимфа, Баратынского. Черта к биографии Державина, Державина. Последние стихи, Веневитинова. Последние стихи, *Державина.* Элегия болевшего ногами поэта, *Языкова.* Сафо, *Пушкина. Дориде,* Пушкина. Сожженное письмо, Пушкина. Рифма, *Пушкина.* Мой голос для тебя и ласковый и томный, *Пушкина.* Ты и вы, *Пушкина.* К портрету Жуковского, Пушкина. На холмах Грузии лежит ночная мгла, Пушкина.

О сословиях в государстве

Прошло то время, когда идеализировали и мечтали о разного рода правлениях, и умные люди, обольщенные формами, бывшими у других народов, горячо проповедывали: одни — совершенную демократию, другие — монархию, третьи — аристократию, четвертые — смесь всего вместе, пятые — потребность двух борющихся сил в государстве и на бореньи их основывали <...> Наступило время, когда всякий более или менее чувствует, что правленье не есть вещь, которая сочиняется в голове некоторых, что она образуется нечувствительно, сама собой, из духа и свойств самого народа, из местности — земли, на которой живет народ, из истории самого народа, которая показыва<ет> человеку глубокомысленному, когда и в каких случаях успевал народ и действовал хорошо и умно, и требует — внимательно все это обсудить и взвесить.

История государства России начинается добровольным приглашеньем верховной власти. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: придите княжить и владеть нами», — слова эти были произне<сены> людьми вольных

городов. Добровольным разумным сознаньем вольных людей установлен монарх в России. Все сословия, дружно требуя защиты от самих себя, а не от соседних врагов, утвердили над собою высшую власть с тем, чтобы рассудить самих себя — потребность чисто понятная среди такого народа, в котором никто не хочет уступить один другому и где только в минуты величайшей опасности, когда приходится спасать родную землю, все соединяется в один человек и делается одним телом. Сим определена высокая зак<он>ность монарха-самодержца.

Итак, в самом начале, во время, когда не пробуждается еще потребность организации стройной, во время, когда легко ужиться с безнач<алием>, уже все потребовало одного такого лица, которое, стоя выше всех, не будучи связано личною выгодою ни с каким сословием преимущественно, внимало бы всему равно и держало бы сторону каждого сословия в государстве. Во всю историю нашу прошла эта потребность суда постороннего че<л>ове<ка>. Великий князь или, просто, умный князь уже требуется как примиритель других князей. Духовенство является как примиритель между князей или даже между народом, и сам государь судится народом не иначе,

как верховный примиритель между собою. Стало быть, законность главы была признана всеми единогласно.

Вопрос: какие начала правления преимущественно слышатся и слышались в истории народа?

Если правление переходило сколько-нибудь в народное, это обнаруживалось совершенною анархией и полным отсутствием всякого правления: ни одного человека не бывало согласн<ого>, все спорило между собою.

Если правление переходило совершенно в монархич<еское>, то есть в правление чиновников от короля, воспитавшихся на служебном письменном поприще, государство наполнялось взяточниками, для ограниченья которых требовались другие чиновники; через года два следовало и тех ограничивать, и образовывалась необыкновенная сложность, тоже близкая к анархии.

Стало быть, вопрос: где, в каких случаях следует допустить демократическое, народное участие и где, в каких случаях участвование короны и правительствующего корпуса? То и другое в руках монарха — и аристократия и демократия; тому и другому он господин; та и другая ему равно

близка. Каковы же и в чем отношения монарха к подданному? Это — лицо, которое уже должно жить другою жизнью, нежели обыкновенный червь. Он должен отречься от себя и от своей собстве<нности>, как монах; его пищей должно быть одно благо его — счастие всех до единого в государстве; его лицо не иначе, как священ<но>.

Где особенно и в каких случаях полезна мирская сходка? Тогда, когда уже решенное определение <?> следует привести в исполнение. Никто лучше мира не умеет, как разложить и сколько на кого, потому что они знают и свои состоянья и свои силы. Поэтому кто, не сообразив, и наложит на каждого заплатить по рублю, будет несправедлив, но, сложивши сумму, какая должна выйти, если положить рубль на человека, — потребовать эту сумму со всего мира. Это можно применить ко многому и в других сословиях.

Верховный совет государства предполагается состоящим из лиц, знающих нужды своего государ<ства>, которые достигнули этого звания не одним письменным поприщем и повышеньем за выслугу лет, но имея по службе, на многих поприщах внутри государства, случай стоять лицом <к тому>, как там происходит внутри государства. Стало быть, определенья такого совета относи-

тельно всего государства могут быть менее всех других ошибочны.

Определение расходится по лицу России. Его требуется исполнить и применить <к> делу. Вот тут дело упирается на совете тех, которые должны исполнить и применить к делу: как удобней, как возможней, как необременительней ни для кого исключительно исполнить. Здесь необходимость веча, или совещания всего того сословия, к которому относится дело.

Правительство не имеет дела порознь [ни с кем] из со<словия>, но с целым сословием вместе. Все сословие отвечает. Сословие имеет употребить и полицию, и насильственные меры к приведению в послушание того ослушника, который бы воспротивился.

Везде, где только применены к делу постановленья, там необходимо совещанье самих тех, на которых должны применять <их>. Сами они должны из себя избрать для того и чиновников, и блюстителей, и ускорителей, не требовать от правительства никакого для этого жалованья и не обременять этим сложность государственного механизма.

Но где дело касается до определения постановлений, там совещаются одни испытанные в делах

государственные мужи, и определенье уже непреложно, если скреплено рукой монарха. Сословия могут посылать своих депутатов, которые могут предъявлять справедливые причины упущения или необходим<ые> требования, но они принимаются только к соображению и усмотрению. Если они будут отвергнуты, сословие не имеет права на апелляцию. Само собою разумеется, что правда должна быть на стороне тех людей, которых <…> все стороны государства, — особенно, если правда эта узаконена тем, кто стоит выше всех в государстве и которому равно близки выгоды всех.

Дело в том, чтобы организовались сословия, чтобы почувствовало всякое сословие свои границы, пределы, обязанности, и знали, где их дело и деятельность, а потому в воспитанье человека, с самого начала, долж<ны> войти обязанности того сословия, к которому он принадлежит, чтобы он с самого начала почувст<вовал>, что он гражданин и не без места в своем государстве.

Взглянем на наши сословия от высших до низших. Начнем с дворянства.

Дворянство наше должно было непременно <иметь> другой характер, чем дворянства других краев. Во всех других землях дворянство образо-

валось из пришельцев, из народов, захвативших земли туземцев и обративших народ силою в своих вассал<ов>. Оно установило насильственно отдельную касту аристократии, в которую уже не допускали никого. У нас дворянство есть цвет нашего же нас<еления?>. Большею частью заслуги пред царем, народом и всей землей русской возводили у нас в знатный род людей из всех решительно сословий. Право над другими, если рассмотреть глубже, в основании, основано на разуме. Они не что иное, как управители государя. В награду за доблести, за испытанную честную службу даются ему в управленье крестья<не>, даются ему, как просвещеннейшему, как ставшему выше пред другими, — в предположении, что такой человек, кто лучше других понял высокие чувства и назначение, может лучше править, чем какой-нибудь простой чиновник, выбираемый в заседатели, или капитан-исправники. Вольно было помещикам, позабывши эту высокую обязанность, глядеть на крестьян, как на предмет только дохода для своей роскоши и увеселений. Этим они ничуть не доказали, что государи были неправы, а доказали только, что они сами уронили званье помещика.

Итак, дворянству нашему досталась прекрасная

участь заботиться о благосостоянии низших… Вот первое, что должно нача<ть> чувствовать это сословие с самого начала. Из-за это<го> само<го> они должны составить между собою одно целое, совещанье они должны иметь между собою об управлении крестьянами. Они не должны попустить между собой присутствие такого помещика, который жесток или несправедлив: он делает им всем пятно. Они должны заставить его переменить образ обращенья. Они должны поступить так же, как в полку общество благородных офицеров поступает с тем, который обесчестит подлым поступком их общество, они приказывают ему выйти из круга, и он не осмеливается преступить этого, ничем уже не смягчаемого определе<ния>. Дворянство должно быть сосудом и хранит<елем> высокого нравственного чувства всей нации, рыцарями чести и добра, которые должны сторожить сами за собою. Так должны быть он<и> в России, где не хвастают ни родом, ни происхожден<ием>, ни point d'honneur, но каким-<то> нравственным благородством, которое, к сожалению, обнаруживает<ся> только во дни выс<оких> са<мо>пожертвований. Это от самой юности дол<жно> быть внушаемо, как в первую принадлежность.

Последний в государстве и многочис<ленный> класс — крестьяне составляют также сословие и имеют много о чем совещаться между собою. Состоя под управленьем помещика, они имеют тоже о чем совещаться. Установленный сбор, повинность, положенную на каждого человека, помещик должен предоставить принест<и?> миру, который сам должен и собрать и принес<ти>, потому что они лучше себя знают относительно всяких состояний, и помещику никогда не <…> Он также должен лучше чувствовать свое сословие, что имеет право законно требовать помещик, за что должен заплатить ему и нанимать, как вольного человека, и переговариваться с помещиком целым миром.

Сословие граждан, самое [разнохарактерное], меньше всего получившее [определенное выражение], от неопредел<енности> занятий и от некоторого безвластия, должно непременно возвыситься до понятия <…> Оно должно помнить, что они стражи и хранители благосостояния и должны сами из себя избирать чиновников.

Полиция тогда только не будет брать взятков и грабить, когда сами граждане будут исполнять <…> Лучшая полиция, по признанию всех, в Англии и то потому, что этим занимается город,

выбирая для этого чиновн<ика> и платя ему жалованье от себя. Правитель города должен требовать от магистрата, чтобы сдела<но> было так же точно; а магистрат уже сам рассмыслит, как это сделать так, чтобы тягость упала на все сословие.

Размышления о Божественной Литургии
Предисловие

Цель этой книги — показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша Литургия, юношам и людям, еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением. Из множества объяснений, сделанных Отцами и Учителями, выбраны здесь только те, которые доступны всем своей простотою и доступностью, которые служат преимущественно к тому, чтобы понять необходимый и правильный исход одного действия из другого[279]. Намеренье издающего эту книгу состоит в том, чтобы утвердился в голове читателя порядок всего. Он уверен, что всякому, со вниманьем следующему за Литургиею, повторяя всякое слово, глубокое внутреннее значенье ее раскрываться будет само собою.

---

[279] Примечания: 279

Все прочие, которые бы захотели узнать более таинственные и глубокие объяснения, могут найти их в сочинениях патриарха Германа, Иеремии, Николая Кавасилы, Симеона Солунского, в Старой и Новой Скрижали, в объяснениях Дмитриева и, наконец, в некоторых… (Примечание Н.В. Гоголя обрывается. — *Ред.*)

Вступление

Божественная Литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося. Скорбя от неустроений своих, человечество отовсюду, со всех концов мира взывало к Творцу своему — и пребывавшие во тьме язычества и лишенные Боговедения — слыша, что порядок и стройность могут быть водворены в мире только Тем, Который в стройном чине повелел двигаться мирам, от Него созданным. Отовсюду тоскующая тварь звала своего Творца. Воплями взывало все к Виновнику своего бытия, и вопли эти слышней слышались в устах избранных и пророков. Предчувствовали и знали, что Создатель, скрывающийся в созданьях, предстанет Сам лицем к человекам, — предстанет не иначе, как в образе того созданья Своего, созданного по Его образу и подобию. Вочеловечение Бога на земле представлялось всем, по мере того как сколько-нибудь очищались понятия о Божестве. Но нигде так ясно не говорилось об этом, как у пророков Богоизбранного народа. И самое чистое воплощение Его от Чистой Девы было предслышиваемо даже и язычниками; но нигде в такой

ощутительно видной ясности, как у пророков.

Вопли услышались: явился в мир. *Им же мир бысть*; среди нас явился в образе человека, как предчувствовали, как предслышали и в темной тьме язычества, но не в том только, в каком представляли Его неочищенные понятия — не в гордом блеске и величии, не как каратель преступлений, не как судия, приходящий истребить одних и наградить других. Нет! Послышалось кроткое лобзание брата. Совершилось Его появление образом, только одному Богу свойственным, как прообразовали Его Божественно пророки, получившие повеление от Бога…

Проскомидия

Священник, которому предстоит совершать Литургию, должен еще с вечера трезвиться телом и духом, должен быть примирен со всеми, должен опасаться питать какое-нибудь неудовольствие на кого бы то ни было. Когда же наступит время, идет он в церковь; вместе с диаконом поклоняются они оба пред царскими вратами, целуют образ Спасителя, целуют образ Богородицы, поклоняются ликам святых всех, поклоняются всем предстоящим направо и налево, испрашивая

сим поклоном себе прощения у всех, и входят в олтарь, произнося в себе псалом: *Вниду в дом Твой, поклонюся храму Твоему во страсе Твоем.* И, приступив к престолу лицом к востоку, повергают пред ним три наземные поклона и целуют на нем пребывающее Евангелие, как бы Самого Господа, сидящего на престоле; целуют потом и самую трапезу и приступают к облачению себя в священные одежды, чтобы отделиться не только от других людей, — и от самих себя, ничего не напомнить в себе другим похожего на человека, занимающегося ежедневными житейскими делами. И произнося в себе: *Боже! очисти меня грешного и помилуй меня!* — священник и диакон берут в руки одежды. Сначала одевается диакон; испросив благословение у иерея, надевает стихарь, подризник блистающего цвета, во знаменование светоносной ангельской одежды и в напоминанье непорочной чистоты сердца, какая должна быть неразлучна с саном священства, почему и произносит при воздевании его: *Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения и одеждою веселия одея мя; яко жениху, возложи ми венец и, яко невесту, украси мя красотою.* Затем берет, поцеловав, орарь, узкое длинное лентие, принадлежность диаконского

звания, которым подает он знак к начинанью всякого действия церковного, воздвигая народ к молению, певцов к пению, священника к священнодействию, себя к ангельской быстроте и готовности во служении. Ибо званье диакона, что званье ангела на небесах, и самым сим на него воздетым тонким лентием, развевающимся как бы в подобие воздушного крыла, и быстрым хождением своим по церкви изобразует он, по слову Златоуста, ангельское летание. Лентие это, поцеловав, он набрасывает себе на плечо. Потом надевает он поручи, или нарукавницы, которые стягиваются у самой кисти его руки для сообщенья им большей свободы и ловкости в отправлении предстоящих священнодействий. Надевая их, помышляет о всетворящей, содействующей повсюду силе Божией и, воздевая на правую, произносит он: *Десница Твоя, Господи, прославилася в крепости; десная рука Твоя, Господи, сокрушила врагов и множеством славы Своей Ты истребил супостатов.* Воздевая на левую руку, помышляет о самом себе, как о творении рук Божиих и молит у Него же, его же сотворившего, да руководит его верховным, свышним Своим руководством, говоря так: *Руки Твои сотворили и создали мя. Вразуми меня, и научуся Твоим*

заповедям.

Священник облачается таким же самым образом. Вначале благословляет и надевает стихарь, сопровождая сие теми же словами, какими сопровождал и диакон; но, вслед за стихарем, надевает уже не простой одноплечный орарь, но двухплечный, который, покрыв оба плеча и обняв шею, соединяется обоими концами на груди его вместе и сходит в соединенном виде до самого низу его одежды, знаменуя сим соединение в его должности двух должностей — иерейской и диаконской. И называется он уже не орарем, но эпитрахилью, и самим воздеваньем своим знаменует излияние благодати свыше на священников, почему и сопровождается это величественными словами Писания: *Благословен Бог, изливающий благодать Свою на священники Своя, яко миро на главе, сходящее на браду, браду Ааронову, сходящее на ометы одежды его.* Затем надевает поручи на обе руки свои, сопровождая теми же словами, как и диакон, и препоясует себя поясом сверх подризника и эпитрахили, дабы не препятствовала ширина одежды в отправлении священнодействий и дабы сим препоясанием выразить готовность свою, ибо препоясуется человек, готовясь в дорогу, приступая к делу и подвигу: препоясуется

и священник, собираясь в дорогу небесного служения, и взирает на пояс свой, как на крепость силы Божией, его укрепляющей, почему и произносит: *Благословен Бог, препоясующий мя силою, соделавший путь мой непорочным, быстрейшими еленей мои ноги и поставляющий меня на высоких,* то есть в дому Господнем. Если же он облечен при этом званием высшим иерейства, то привешивает к бедру своему четыреугольный набедренник одним из четырех концов его, который знаменует духовный меч, всепобеждающую силу Слова Божия, в возвещение вечного ратоборства, предстоящего в мире человеку, — ту победу над смертию, которую одержал в виду всего мира Христос, да ратоборствует бодро бессмертный дух человека противу тления своего. Потому и вид имеет сильного оружия брани сей набедренник; привешивается на поясе у чресла, где сила у человека, потому и сопровождается воззванием к Самому Господу: *Препояши меч Твой по бедре Твоей, Сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит тя дивно десница Твоя.* Наконец, надевает иерей фелонь, верхнюю всепокрывающую одежду, в знаменование верховной всепокрывающей правды Божией,

и сопровождает сими словами: *Священники Твои, Господи, облекутся в правду и преподобнии Твои радостию возрадуются.* И одетый таким образом в орудия Божии, священник предстоит уже иным человеком: каков он ни есть сам по себе, как бы ни мало был достоин своего звания, но глядят на него все стоящие во храме, как на орудие Божие, которым наляцает Дух Святый. Как священник, так и диакон омывают оба руки, сопровождая чтеньем псалма: *Умыю в неповинных руки мои и обыду жертвенник Твой.* Повергая по три поклона в сопровождении слов: *Боже! очисти мя грешного и помилуй,* — восстают омытые, усветленные, подобно сияющей одежде своей, ничего не напоминая в себе подобного другим людям, но подобяся скорее сияющим видениям, чем людям.

Диакон напоминает о начале священнодействия словами: *Благослови, владыко!* И священник начинает словами: *Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков,* — и приступает к боковому жертвеннику. Вся эта часть служения состоит в приготовлении нужного к служению, то есть в отделении от приношений, или хлебов-просфор, того хлеба, который должен вначале образовать Тело Христово, а потом пресуществиться в него.

Так как вся Проскомидия есть не что иное, как только приготовление к самой Литургии, то и соединила с нею Церковь воспоминание о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовленьем к Его подвигам в мире. Она совершается вся в олтаре при затворенных дверях, при задернутом занавесе, незримо от народа, как и вся первоначальная жизнь Христа протекала незримо от народа. Для молящихся же читаются в это время часы — собранье псалмов и молитв, которые читались христианами в четыре важные для христиан времена дня: час первый, когда начиналось для христиан утро, час третий, когда было сошествие Духа Святаго, час шестой, когда Спаситель мира пригвожден был к кресту, час девятый, когда Он испустил дух Свой. Так как нынешнему христианину, по недостатку времени и беспрестанным развлеченьям, не бывает возможно совершать эти моления в означенные часы, для того они соединены и читаются теперь.

Приступив к боковому жертвеннику, или предложению, находящемуся в углублении стены, знаменующему древнюю боковую комору храма, иерей берет из них одну из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом Телом Христовым — средину с печатью, ознаменованной

именем Иисуса Христа. Так он сим изъятьем хлеба от хлеба знаменует изъятье плоти Христа от плоти Девы — рождение Бесплотного во плоти. И, помышляя, что рождается Принесший в жертву Себя за весь мир, соединяет неминуемо мысль о самой жертве и принесении и глядит на хлеб, как на агнца, приносимого в жертву, на нож, которым должен изъять, как на жертвенный, который имеет вид копья в напоминание копья, которым было прободено на кресте Тело Спасителя. Не сопровождает он теперь своего действия ни словами Спасителя, ни словами свидетелей, современных случившемуся, не переносит себя в минувшее, — в то время, когда совершилось сие принесение в жертву: то предстоит впереди, в последней части Литургии; и к сему предстоящему он обращается издали прозревающею мыслию, почему и сопровождает все священнодействие словами пророка Исаии, издали, из тьмы веков, прозревавшего будущее чудное рождение, жертвоприношение и смерть и возвестившего о том с ясностью непостижимою. Водружая копье в правую сторону печати, произносит слова Исаии: *как овечка ведется на заколение;* водрузив копье потом в левую сторону, произносит: *и как непорочный ягненок, безгласный перед стригущими*

его, не отверзает уст своих; водружая потом копье в верхнюю сторону печати: *Был осужден за Свое смиренье (в смиреньи Его суд Его взятся).* Водрузив потом в нижнюю, произносит слова пророка, задумавшегося над дивным происхождением осужденного Агнца, — слова: *Род же Его кто исповесть?* И приподъемлет потом копьем вырезанную средину хлеба, произнося: *яко вземлется от земли живот Его;* и начертывает крестовидно, во знамение крестной смерти Его, на нем знак жертвоприношенья, по которому он потом раздробится во время предстоящего священнодействия, произнося: *Жертвоприносится Агнец Божий, вземлющий грех мира сего, за мирской живот и спасение.* И обратив потом хлеб печатью вниз, а вынутой частью вверх, в подобье агнца, приносимого в жертву, водружает копье в правый бок, напоминая, вместе с заколеньем жертвы, прободение ребра Спасителева, совершенное копьем стоявшего у креста воина; и произносит: *един от воин копием ребра Его прободе, и абие изыде кровь и вода: и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его.* И слова сии служат вместе с тем знаком диакону ко влитию в Святую Чашу вина и воды. Диакон, доселе взиравший благоговейно на все совер-

шаемое иереем, то напоминая ему о начинании священнодействия, то произнося внутри самого себя: *Господу помолимся!* — при всяком его действии, наконец, вливает вина и воды в Чашу, соединив их вместе и испросив благословенья у иерея. Таким образом приготовлены и вино, и хлеб, да обратятся потом во время возвышенного священнодействия предстоящего.

И во исполненье обряда первенствующей Церкви и святых первых христиан, воспоминавших всегда, при помышлении о Христе, о всех тех, которые были ближе к Его сердцу исполнением Его заповедей и святостью жизни своей, приступает священник к другим просфорам, дабы, изъяв от них части в воспоминание их, положить на том же дискосе возле того же Святого Хлеба, образующего Самого Господа, так как и сами они пламенели желанием быть повсюду с своим Господом. Взявши в руки вторую просфору, изъемлет он из нее частицу в воспоминанье Пресвятыя Богородицы и кладет ее по правую сторону Святого Хлеба, произнося из псалма Давида: *Предста Царица одесную Тебя, в ризы позлащены одеяна, преукрашенна.* Потом берет третью просфору, в воспоминанье святых, и тем же копьем изъемлет из нее девять частиц в три ряда, по три в каж-

дом. Изъемлет первую частицу во имя Иоанна Крестителя, вторую во имя пророков, третью во имя апостолов и сим завершает первый ряд и чин святых. Затем изъемлет четвертую частицу во имя Святых Отцов, пятую во имя мучеников, шестую во имя преподобных и богоносных отцов и матерей и завершает сим второй ряд и чин святых. Потом изъемлет седьмую частицу во имя чудотворцев и бессребреников, восьмую во имя Богоотец Иоакима и Анны и святого, его же день; девятую во имя Иоанна Златоуста или Василия Великого, смотря по тому, кого из них правится в тот день служба, и завершает сим третий ряд и чин святых, и полагает все девять изъятых частиц на святой дискос возле Святого Хлеба по левую его сторону. И Христос является среди Своих ближайших, во святых Обитающий зрится видимо среди святых Своих — Бог среди богов, человек посреди человеков. И принимая в руки священник четвертую просфору в поминовенье всех живых, изъемлет из нее частицы во имя императора, во имя синода и патриархов, во имя всех живущих повсюду православных христиан и, наконец, во имя каждого из них поименно, кого захочет помянуть, о ком просили его помянуть. Затем берет иерей последнюю просфору,

изъемлет из нее частицы в поминовенье всех умерших, прося в то же время об отпущении им грехов их, начиная от патриархов, царей, создателей храма, архиерея, его рукоположившего, если он уже находится в числе усопших, и до последнего из христиан, изъемля отдельно во имя каждого, о котором его просили, или во имя которого он сам восхочет изъять. В заключение же всего испрашивает и себе отпущения во всем и также изъемлет частицу за себя самого, и все их полагает на дискос возле того же Святого Хлеба внизу его. Таким образом, вокруг сего хлеба, сего Агнца, изображающего Самого Христа, собрана вся Церковь Его, и торжествующая на Небесах, и воинствующая здесь. Сын Человеческий является среди человеков, ради которых Он воплотился и стал человеком. Взяв губку, священник бережно собирает ею и самые крупицы на дискос, дабы ничто не пропало из Святого Хлеба и все бы пошло в утверждение.

И отошедши от жертвенника, поклоняется иерей, как бы он поклонялся самому воплощению Христову, и приветствует в сем виде хлеба, лежащего на дискосе, появление Небесного Хлеба на земле, и приветствует Его каждением фимиама, благословив прежде кадило и читая над ним мо-

литву: *Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовного, которое принявши во превышенебесный Твой жертвенник, вознисполи нам благодать Пресвятаго Твоего Духа.*

И весь переносится мыслию иерей во время, когда совершилось Рождество Христово, возвращая прошедшее в настоящее, и глядит на этот боковой жертвенник как на таинственный вертеп, в который переносилось на то время Небо на землю: Небо стало вертепом, и вертеп — Небом. Обкадив звездицу, две золотые дуги со звездою наверху, и постановив ее на дискосе, глядит на нее, как на звезду, светившую над Младенцем, сопровождая словами: *И, пришедши, звезда стала вверху, иде же бе Отроча;* на Святой Хлеб, отделенный на жертвоприношение, — как на новородившегося Младенца; на дискос — как на ясли, в которых лежал Младенец; на покровы — как на пелены, покрывавшие Младенца. И обкадив первый покров, покрывает им Святой Хлеб с дискосом, произнося псалом: *Господь воцарися, в лепоту облечеся…* и проч., — псалом, в котором воспевается дивная высота Господня. И обкадив второй покров, покрывает им Святую Чашу, произнося: *Покрыла небеса, Христос, Твоя добродетель, и хвалы Твоей исполнилась земля.* И взяв потом

большой покров, называемый святым воздухом, покрывает им и дискос, и Чашу вместе, взывая к Богу, да покроет нас кровом крыла Своего. И отошед от предложения, поклоняются оба Святому Хлебу, как поклонялись пастыри-цари новорожденному Младенцу, и кадит пред вертепом, изобразуя в сем каждении то благоухание ладана и смирны, которые были принесены вместе с златом мудрецами.

Диакон же по-прежнему соприсутствует внимательно иерею, то произнося при всяком действии: *Господу помолимся,* то напоминая ему о начинании самого действия. Наконец, принимает из рук его кадильницу и напоминает ему о молитве, которую следует вознести ко Господу о сих для Него приуготовленных Дарах, словами: *О предложенных Честных Дарах Господу помолимся!* И священник приступает к молитве. Хотя Дары эти не более как приуготовлены только к самому приношению, но так как отныне ни на что другое уже не могут быть употреблены, то и читает священник для себя одного молитву, предваряющую о принятии сих предложенных к предстоящему приношению Даров. И в таких словах его молитва: *Боже, Боже наш, пославший нам Небесный Хлеб, пищу всего мира, нашего Господа*

и Бога Иисуса Христа, Спасителя, Искупителя и Благодетеля, благословляющего и освящающего нас. Сам благослови предложение сие и приими во свышенебесный Твой жертвенник: помяни, как Благой и Человеколюбец, тех, которые принесли, тех, ради которых принесли, и нас самих сохранив неосужденными во священнодействии Божественных Тайн Твоих. И творит, вслед за молитвой, отпуст Проскомидии; а диакон кадит предложение и потом крестовидно святую трапезу. Помышляя о земном рождении Того, Кто родился прежде всех веков, присутствуя всегда повсюду и повсеместно, произносит в самом себе: *во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раю же с разбойником и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный.* И выходит из олтаря, с кадильницей в руке, чтобы наполнить благоуханием всю церковь и приветствовать всех, собравшихся на Святую Трапезу Любви. Каждение это совершается всегда в начале службы, как и в жизни домашней всех древних восточных народов предлагались всякому гостю при входе омовения и благовония. Обычай этот перешел целиком на это пиршество небесное — на Тайную Вечерю, носящую имя Литургии, в которой так чудно соединилось служение Богу

вместе с дружеским угощением всех, которому пример показал Сам Спаситель, всем служивший и умывший ноги. Кадя и покланяясь всем равно, и богатому, и нищему, диакон, как слуга Божий, приветствует их всех, как наилюбезных гостей Небесному Хозяину, кадит и поклоняется в то же время и образам святых, ибо и они суть гости, пришедшие на Тайную Вечерю: во Христе все живы и неразлучны. Приуготовив, наполнив благоуханием храм и, возвратившись потом в олтарь и вновь обкадив его, полагает, наконец, кадильницу в сторону, подходит к иерею, и оба вместе становятся перед святым престолом.

Став перед святым престолом, священник и диакон три раза поклоняются долу и, готовясь начинать настоящее священнодействие Литургии, призывают Духа Святаго, ибо все служение их должно быть духовно. Дух — учитель и наставник молитвы: о чесом бо помолимся, не вемы, говорит апостол Павел: но Сам Дух ходатайствует о нас воздыханьми неизглаголанными. Моля Святаго Духа, дабы вселился в них и, вселившись, очистил их для служения, и священник, и диакон дважды произносят песнь, которою приветствовали ангелы Рождество Иисуса Христа: *Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение.* И

вослед за сей песнью отдергивается церковная занавесь, которая отдергивается только тогда, когда следует подъять мысль молящихся к высшим горним предметам. Здесь отъятье горных дверей знаменует, вослед за песней ангелов, что не всем было открыто Рождество Христово, что узнали о нем только ангелы на небесах, Мария с Иосифом, волхвы, пришедшие поклониться, да издалека прозревали о нем пророки. Священник и диакон произносят в себе: *Господи! отверзи уста мои — и уста мои возвестят хвалу Твою.* Священник целует Евангелие, диакон целует святую трапезу и, подклонив главу свою, напоминает так о начинании Литургии: тремя перстами руки подъемлет орарь свой и произносит: *Время сотворить Господу: благослови, владыко!* И благословляет его священник словами: *Благословен Бог наш, всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* И помышляя диакон о предстоящем ему служении, в котором должно подобиться ангельскому летанью, — от престола к народу и от народа к престолу, собирая всех в едину душу, и быть, так сказать, святой возбуждающею силою, и чувствуя недостоинство свое к такому служению, — молит смиренно иерея: *Помолись обо мне, владыко! — Да исправит Господь стопы твоя!* — ему ответствует на

то иерей. *Помяни меня, владыко святый! — Да помянет тебя Господь во Царствии Своем, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков.* Тихо и ободренным гласом диакон произносит: *аминь,* и выходит из олтаря северной дверью к народу. И, взошед на амвон, находящийся противу царских врат, повторяет еще раз в самом себе: *Господи, отверзи уста моя — и уста моя возвестят хвалу Тебе;* и, обратившись к олтарю, взывает еще раз к иерею: *Благослови, владыко!* Из глубины святилища возглашает на то иерей: *Благословенно Царство…* — и Литургия начинается.

Литургия оглашенных

Вторая часть Литургии называется Литургией оглашенных. Как первая часть, Проскомидия, соответствовала первоначальной жизни Христа, Его Рожденью, открытому только ангелам да немногим людям, Его младенчеству и пребыванью в сокровенной неизвестности до времени появленья в мир, — так вторая соответствует Его жизни в мире посреди людей, которых огласил Он словом истины. Называется она Литургией оглашенных еще потому, что в первоначальные времена христиан к ней допускались и те, кото-

рые только готовились быть христианами, еще не приняли св. Крещения и находились в числе оглашенных. Притом самый образ ее священнодействий, состоя из чтений пророков, Апостола и Св. Евангелия, есть уже преимущественно огласительный.

Иерей начинает Литургию возглашением из глубины олтаря: *Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа…* Так как чрез воплощенье Сына стало миру очевидно ясно Таинство Троицы, то по этому самому троичное возглашенье предшествует и предсияет начинанью всяких действий, и молящийся, отрешившейся от всего, должен с первого раза поставить себя в Царство Троицы.

Стоя на амвоне, лицем к царским вратам, изобразуя в себе ангела, побудителя людей к молениям, подняв тремя перстами десныя руки узкое лентие, — подобие ангельского крыла, — диакон призывает молиться весь собравшийся народ теми же самыми молитвами, которыми неизменно от апостольских времен молится Церковь, начиная с моленья о мире, без которого нельзя молиться. Собранье молящихся, знаменуясь крестом, стремясь обратить свои сердца в согласно настроенные струны органа, по кото-

рым должно ударять всякое воззвание диакона, восклицает мысленно вместе с хором поющих: *Господи, помилуй!*

Стоя на амвоне, держа молитвенный орарь, изобразующий поднятое крыло ангела, стремящего людей к молитве, призывает диакон молиться: о свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира, благосостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех; о святом храме и о входящих в него с верой, благоговением и страхом; о государе, синоде, начальствах духовных и гражданских, палатах, воинстве, о граде, об обители, в которой служится Литургия, о благорастворении воздухов, об обилии плодов земных, о временах мирных; о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их; о избавлении нас от всякие скорби, гнева и нужды. И, собирая все сею всеобъемляющею цепью молений, называемою великой эктенией, на всякое ее отдельное призванье, собранье молящихся восклицает вместе с хором поющих: *Господи, помилуй!*

В знаменованье бессилья наших молений, которым недостает душевной чистоты и небесной жизни, призывает диакон, — вспомня о тех, которые умели лучше нашего молиться, — предать

самих себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу. В желаньи искреннем предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу, как умели это сделать вместе с Богоматерью святые и лучшие нас, взывает вся церковь совокупно с ликом: *Тебе, Господи!* Цепь молений завершает диакон троичным славословием, которое, как вседержащая нить, проходит сквозь всю Литургию, начиная и оканчивая всякое ее действие. Собранье молящихся ответствует утвердительным: *Аминь: Буди! да будет!* Диакон сходит с амвона; начинается пенье антифонов.

Антифоны — противугласники, песни, выбранные из псалмов, пророчески изобразующие пришествие в мир Сына Божия, — поются попеременно обоими ликами на обоих крылосах; они заменили сокращенно прежние псаломские, более продолжительные.

Пока продолжается пенье первого антифона, священник молится в олтаре внутренней молитвой; а диакон стоит в молитвенном положении пред иконою Спасителя, подняв орарь тремя перстами руки. Когда же окончится пенье первого антифона, восходит он снова на амвон призывать собранье молящихся словами: *Вновь и вновь Господу помолимся!* Собранье молящихся

восклицает: *Господи, помилуй!* Обратив взоры к ликам святых, диакон напоминает вспомнить вновь Богоматерь и всех святых, предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь Христу Богу. Собранье восклицает: *Тебе, Господи!* Троичным славословием заключает он. Утвердительный *аминь* изглашает вся церковь. Следует пенье второго антифона.

В продолженье второго антифона священник в олтаре молится внутреннею молитвою. Диакон становится опять в молитвенном положении пред иконой Спасителя, держа молитвенный орарь тремя перстами руки; по окончаньи же пенья восходит он снова на амвон и обращается к ликам святых, призывая, как прежде, словами: *В мире Господу помолимся!* Собранье восклицает: *Господи помилуй!* Диакон взывает: *Заступи, помилуй, спаси и сохрани нас. Боже, Твоею благодатию.* Собранье восклицает: *Господи, помилуй!* Возведя глаза к ликам святых, диакон продолжает: *Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу со всеми святыми помянувше, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.* Собранье восклицает: *Тебе, Господи!* Троичным славословием оканчивается моленье; утвердительным

аминь ответствует вся церковь; диакон сходит с амвона. А священник в закрытом олтаре молится внутренней молитвой; она — в сих словах: *Ты, даровавший нам сии общие и согласные молитвы! Ты, обещавший двум и трем, собравшимся во имя Твое, подать прошенья! исполни же теперь к полезному прошенья рабов Твоих: подай в настоящем веке познанье Твоей истины, а в будущем даруй Вечную Жизнь!*

С крылоса громко возглашаются во всеуслышанье блаженства, возвестившие в настоящем веке познанье истины, а в будущем вечную жизнь. Собранье молящихся, взывая воззваньем благоразумного разбойника, возопившего к Христу на кресте: *Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем,* — повторяет вослед за чтецом сии слова Спасителя:

Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное — не гордящиеся, не возносящиеся умом.

Блаженны плачущие, яко тии утешатся — плачущие еще больше о собственных несовершенствах и прегрешениях, чем от оскорблений и обид, им наносимых.

Блаженны кроткие, яко тии наследят землю — не питающие гнева ни противу кого,

всепрощающие, любящие, которых оружие — всепобеждающая кротость.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся — алчущие небесной правды, жаждущие восстановить ее прежде в самих себе.

Блаженны милостивые, яко тии помилованы будут — сострадущие о каждом брате, в каждом просящем видящие Самого Христа, за него просящего.

Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят — как в чистом зеркале успокоенных вод, не возмущаемых ни песком, ни тиной, отражается чисто небесный свод, так и в зеркале чистого сердца, не возмущаемого страстями, уже нет ничего человеческого, и образ Божий в нем отражается один.

Блаженны миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся — подобно Самому Сыну Божию, сходившему на землю затем, чтобы внести мир в наши души: так и вносящие мир и примиренье в домы — истинные Божьи сыны.

Блаженны изгнанные правды ради, яко тех есть Царствие Небесное — изгнанные за возвещенье правды не одними устами, но благоуханьем всей своей жизни.

Блаженны есте, егда поносят вас и изженут и

рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесах — многа, ибо заслуга их троекратна: первая — что уже сами по себе они были невинны и чисты; вторая — что, быв чисты, были оклеветаны; третья — что, быв оклеветаны, радовались, что потерпели за Христа.

Собранье молящихся слезно повторяет вослед за чтецом сии слова Спасителя, возвестившия, кому можно ждать и надеяться на вечную жизнь в будущем веке, которые суть истинные цари мира, сонаследники и соучастники Небесного Царства.

Здесь торжественно открываются царские врата, как бы врата самого Царствия Небесного, и глазам всех собравшихся предстает сияющий престол, как селенье Божией славы и верховное училище, отколе исходит к нам познанье истины и возвещается вечная жизнь. Приступив к престолу, священник и диакон снимают с него Евангелие и несут его к народу не царскими вратами, но позади олтаря боковой дверью, напоминающею дверь в той боковой комнате, из которой в первые времена выносились книги на середину храма для чтения.

Собранье молящихся взирает на Евангелие,

несомое в руках смиренных служителей Церкви, как бы на Самого Спасителя, исходящего в первый раз на дело Божественной проповеди: исходит Он тесной северной дверью, как бы неузнанный, на середину храма, дабы, показавшись всем, возвратиться во святилище царскими вратами. Служители Божьи посреди храма останавливаются; оба преклоняют главы. Иерей молится внутреннею молитвой, чтобы Установивший на Небесах воинства ангелов и чины небесные в служенье славы Своей повелел теперь сим самым силам и ангелам небесным, сослужащим нам, совершить вместе с ними вшествие во святилище. А диакон, указывая молитвенным орарем на царские двери, говорит ему: *Благослови, владыко, святый вход!* — *Благословен вход святых Твоих, всегда, ныне, и присно, и во веки веков!* — возглашает на это иерей. Дав поцеловать ему Святое Евангелие, диакон несет его в олтарь; но в царских вратах останавливается и, возвысив его в руках своих, возглашает: *Премудрость!* — знаменуя сим, что Слово Божье, Его Сын, Его Вечная Премудрость благовестилась миру чрез Евангелие, которое он теперь возвысил в своих руках. И вслед за тем возглашает: *Прости!* — то есть воспряньте, воздвигнитесь от лени, от небрежного

стоянья. Собранье молящихся, воздвигаясь духом, вместе с хором взывает: *Приидите, поклонимся и припадем ко Христу! Спаси нас, Сыне Божий, Тебе поющих: Аллилуйя!* В еврейском слове аллилуйя выражается: Господь идет, хвалите Господа; но так как, по существу священного языка, в слове идет сокрыто и настоящее и будущее, то есть: идет пришедший и вновь грядущий, то, знаменуя вечное хождение Божие, это слово аллилуйя сопутствует всякий раз тем священнодействиям, когда Сам Господь исходит к народу в образе Евангелия или Даров Святых.

Евангелие, возвестившее Слово Жизни, поставляется на престоле. На крылосах раздаются или песни в честь праздника того дня, или же хвалебные тропари и гимны в честь святому, которого день празднует Церковь за то, что он уподобился тем, которых поименовал Христос в прочитанных блаженствах, и что живым примером собственной жизни показал, как возлетать вослед за ним в жизнь вечную.

По окончаньи тропарей наступает время Трисвятого пенья. Испросив на него у иерея благословения, диакон показывается в царских дверях и, проводя орарем, подает знак певцам. Торжественно-громогласно оглашает всю цер-

ковь Трисвятое пение, состоящее в сем тройном воззвании к Богу: *Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!* Воззванием: *Святый Боже* возвещает Трисвятая песнь Бога Отца; воззванием: *Святый Крепкий* — Бога Сына: Его крепость, Его создающее Слово; воззванием *Святый Бессмертный* — Его бессмертную мысль, вечно живущую волю Бога Духа Святаго. Троекратно певцы подъемлют сие пение, чтобы звучало вслух всем, что с вечным пребыванием Бога пребывало в Нем вечное пребыванье Троицы, и не было времени, чтобы у Бога не было Слова, и чтобы Слову Его оскудевал Дух Святый. Словом Божьим Небеса создашася, и духом уст Его вся сила их, говорит пророк Давид. Каждый из собранья, сознавая, что и в нем, как в подобьи Божьем, есть та же тройственность, есть Он Сам, Его Слово и Его Дух, или мысль, движущая словом, но что человеческое его слово бессильно, изливается праздно и не творит ничего, а дух его принадлежит не ему, завися от всех посторонних впечатлений и только по возвышении его самого к Богу то и другое приходит в нем в силу: в слове отражается Божье Слово, в духе — Дух Божий, и образ Троицы Создавшего отпечатлевается в создании, и создание становится подобным

Создателю, — сознавая все сие, каждый, внемлющий Трисвятому пению, молится внутренне в себе, чтобы Бог Святый, Крепкий и Бессмертный, очистив его всего, избрал его Своим храмом и пребыванье, и три раза повторяет в себе: *Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!* Священник в олтаре, молясь внутренней молитвой о принятии сего Трисвятого пения, три раза повергается перед престолом и три раза повторяет в себе: *Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный!* И, подобно ему, повторив в себе три раза ту же Трисвятую песнь, диакон три раза повергается вместе с ним перед святым престолом.

И сотворив поклонение, отходит иерей на горнее место, как бы во глубину Боговедения, отколе истекла нам тайна Всесвятыя Троицы, как бы в то возвышеннейшее, всюду носящее место, где Сын пребывает в лоне Отчем единством Духа Святаго. И восхожденьем своим изобразует иерей восхожденье Самого Христа вместе с плотью в лоно Отчее, призывающее человека вослед стремиться в лоно Отчее, — возрожденье, прозретое издали пророком Даниилом, который видел в высоком виденьи своем, как Сын Человеческий дошел даже до Ветхого деньми. Иерей идет нетрепетной

стопой, произнося: *Благословен грядый во имя Господне,* и на призванье диакона: *Благослови, владыко, горний престол,* благословляет его, произнося: *Благословен еси на престоле славы Царствия Твоего, седяй на херувимех, всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* И садится на горнем месте возле седалища, назначенного для архиерея. Отселе, как Божий апостол и его наместник, обратясь лицем к народу, приготовляет он вниманье к слушаныо наступающего чтения апостольских посланий, — сидящий, изобразуя самим сиденьем своим свое равенство апостолам.

Чтец, с Апостолом в руке, выходит на середину храма. Воззваньем: *вонмем!* — призывает диакон всех предстоящих ко вниманью. Священник посылает из глубины олтаря и чтецу, и предстоящим желание мира; собранье молящихся ответствует священнику тем же. Но так как служенье его должно быть духовно, подобно служенью апостолов, которые глаголали не свои слова, но Сам Дух Святый двигал их устами, то не говорят: *мир тебе*, но: *духови твоему*. Диакон возглашает: *Премудрость!* Громко, выразительно, чтобы всякое слово было слышно всеми, начинает чтец, прилежно, сердцем приемлющим, душею ищущею, разумом, испытующим внут-

ренний смысл читаемого, внемлет собранье, ибо чтенье Апостола служит ступенью и лествицей к лучшему уразумленью чтения евангельского. Когда чтец окончит чтение, иерей возглашает ему из олтаря: *мир тебе.* Лик ответствует: *и духови твоему.* Диакон возглашает: *Премудрость!* Лик гремит: *аллилуйя,* — возвещающее приближенье Господа, идущего говорить народу устами Евангелия.

С кадильницей в руке идет диакон исполнить благоуханьем храм, навстречу идущего Господа, напоминая кажденьем о духовном очищеньи душ наших, с каким должны мы внимать благоуханным словом Евангелия. Священник в олтаре молится внутренней молитвой, чтобы воссиял в сердцах наших свет Божественного благоразумия, и отверзлись бы наши мысленные очи в уразумение евангельских проповеданий. О воссияньи того же света в сердцах своих молится внутренне собранье, приготовляясь к слушанью. Испросив благословенья от иерея, получа от него в напутствие: *Бог молитвами всесвятаго, всехвальнаго Апостола и Евангелиста* (именуется его имя), *да даст тебе глагол благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия, Возлюбленного Сына Своего, Господа*

нашего Иисуса Христа, — диакон восходит на амвон, предшествуемый несомым светильником, знаменующим всепросвещающий свет Христов. Священник в олтаре возглашает к собранью: *Премудрость! Прости, услышим Святого Евангелия! Мир всем!* Лик ответствует: *и духови твоему.* Диакон начинает чтение.

Благоговейно преклонив главы, как бы внимая Самому Христу, говорящему с амвона, все стараются принять сердцами семя Святого слова, которое устами служителя сеет Сам Сеятель Небесный, — не теми сердцами, которых уподобляет Спаситель земле при пути, на которую хоть и упадают семена, но тут же бывают расхищены птицами — налетающими злыми помышлениями; — не теми также сердцами, которых уподобляет Он каменистой почве, только сверху прикрытой землею, которые хоть и охотно приемлют слово, но слово не водружает глубоко корня, ибо нет глубины сердечной; — и не теми также сердцами, которые уподобляет Он неочищенной земле, глушимой тернием, на которой хоть дает семя всходы, но быстро вырастающие тут же вместе с ними терния, — терния трудов и забот века, терния обольщений, бесчисленные обаяния светской умерщвляющей жизни с

ее обманчивыми удобствами, заглушают едва поднявшиеся всходы — и семя остается без плода; — но теми приемлющими сердцами, которых уподобляет Он доброй почве, дающей плод — ово сто, ово шестьдесят, ово тридесят, — которые все, принятое в себя, по выходе из церкви, возвращают в домах, в семье, в службе, в труде, в отдохновеньях, в увеселеньях, с людьми в беседах и наедине с самим собою. Словом, всяк верный стремится быть тем, и слушающим и творящим вместе, которого обещает Спаситель уподобить мужу мудру, строящему храмину не на песке, но на камени, так что, если бы тут же, по выходе из церкви набежали на него дожди, реки и вихри всех бедствий, его духовная храмина осталась бы неподвижная, как твердыня на камени. По окончании чтенья священник в олтаре возвещает диакону: *Мир тебе благовествующему.* Приподымая главы, все предстоящие в чувствовании благодарности восклицают вместе с ликом: *Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!* Стоящий в царских дверях священник приемлет от диакона Евангелие и поставляет его на престол, как Слово, исшедшее от Бога и к Нему же возвратившееся. Олтарь, изобразующий высшие горние селенья, скрывается от глаз — врата царские затворяются,

горняя дверь задергивается, знаменуя, что нет других дверей в Царство Небесное, кроме отверстых Христом, что с Ним только можно войти в них: *Аз есмь дверь.*

Тут обыкновенно в первоначальное время христиан было место проповеди; следовали изъясненье и толкованье прочитанных Евангелий. Но так как проповедь в нынешнее время говорится большею частию на другие тексты и, стало быть, не служит изъяснением прочитанного Евангелия, то, чтобы не разрушать стройного порядка и связи священной Литургии, она отнесена к концу.

Изобразуя ангела, побудителя людей к моленьям, диакон идет на амвон воздвигнуть собранье к моленьям еще сильнейшим и прилежнейшим. *Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем!* — взывает он, подъемля тремя перстами молитвенный орарь; и, стремя моленья от всех помышлений, все восклицают: *Господи, помилуй!* Усугубляя моленья троекратным воззваньем о помиловании, диакон призывает сызнова молиться о всех людях, находящихся на всех ступенях званий и должностей, начиная с высших, где трудней человеку, где ему больше преткновений и где ему нужней помощь

от Бога. Каждый из собранья, зная, как много благоденствие многих зависит от того, когда высшие власти исполняют честно свои обязанности, молится сильно о том, чтобы Бог их вразумил, и наставил исполнять честно свое званье, и всякому подал бы силы пройти честно свое земное поприще. О сем молятся все прилежно, произнеся уже не один раз: *Господи, помилуй!* — но три раза. Вся цепь этих молений называется сугубой эктенией, или эктенией прилежного моленья, и священник в олтаре перед престолом молится прилежно о принятии всеобщих усугубленных молений, и самая молитва его называется молитвой прилежного моленья.

И если в тот день случится какое-либо приношенье об усопших, тогда вослед за сугубой эктенией возглашается эктения об усопших. Держа орарь тремя перстами руки, призывает диакон молиться об успокоеньи душ Божиих рабов, которых всех называет по именам, чтобы Бог простил им всякое прегрешение, вольное и невольное, чтобы водворил их души там, где праведные успокояются. Тут всякий из предстоящих припоминает всех близких своему сердцу усопших и произносит в себе три раза на всякое воззвание диакона: *Господи, помилуй!* — молясь прилежно

и о своих, и о всех почивших христианах. *Милости Божией,* — восклицает диакон: *Небесного Царствия и оставления грехов их у Христа, Бессмертного Царя и Бога нашего, просим!* Собранье взывает с хором поющих: *Подай, Господи!* А священник молится в олтаре, чтобы Поправший смерть и Даровавший жизнь успокоил Сам души усопших рабов Своих в месте злачном, в месте покойном, откуда отбежали болезнь, печаль и воздыхание, и, прося им в сердце своем отпущения всех согрешений, возглашает громко: *Яко Ты еси воскресение, и жизнь, и покой усопших рабов Твоих, Христе, Боже наш, и Тебе славу воссылаем со Безначальным Твоим Отцом, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков.* Утвердительным *аминь* ответствует лик. Диакон начинает эктению об оглашенных.

Хотя и редко бывают теперь непринявшие Святого Крещения и находящиеся в числе оглашенных, но всякий присутствующий, помышляя, как далеко он отстоит и верой и делами от верных, удостаивавшихся соприсутствовать Трапезе Любви в первые веки христиан, видя, как он, можно сказать, только огласился Христом, но не внес Его в самую жизнь, только что слышит разум

слов Его, но не приводит их в исполнение, и еще холодно его верованье, и нет огня всепрощающей любви к брату, поядающей душевную черствость, и что, крещеный водой во имя Христа, он не достигнул того возрожденья в духе, без которого ничтожно его христианство, по слову Самого Спасителя: кто не родится свыше, не внидет в Царствие Небесное, — соображая все сие, всякий из присутствующих сокрушенно поставляет себя в число оглашенных и на призванье диакона: *Помолитеся, оглашенные, Господу!* — от глубины сердца взывает: *Господи, помилуй!*

Верные, — взывает диакон, — *помолимся об оглашенных, чтобы Господь их помиловал, чтобы огласил их словом истины, чтобы открыл им Евангелие правды, чтобы соединил их Своей Святой Соборной и Апостольской Церкви, чтобы спас, помиловал, заступил и сохранил их Своею благодатью!*

И верные, чувствующие, как мало они стоят названия верных, молясь об оглашенных, молятся о самих себе, и на всякое отдельное призванье диакона восклицают внутренне вослед за поющим ликом: *Господи, помилуй!* Диакон взывает: *Оглашенные, главы ваши Господу преклоните!* Все преклоняют свои главы, восклицая внутренне в

сердцах: *Тебе, Господи!*

Священник втайне молится об оглашенных и о тех, которых смиренье души поставило себя в ряды оглашенных. Молитва его в сих словах: *Господи Боже наш, живущий на высоких, взирающий на смиренных, ниспославший спасенье человеческому роду — Своего Сына, Бога и Господа нашего, Иисуса Христа! воззри на оглашенных рабов Твоих, подклонивших Тебе свои выи! Приобщи их Церкви Твоей и сопричисли Твоему избранному стаду, чтобы и они славили вместе с нами пречестное и великолепное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков.* Лик гремит *аминь.* А в напоминанье, что наступила минута, в которую древле выводились из церкви оглашенные, диакон возглашает громко: *Оглашенные, изыдите!* И вслед за тем, возвысив голос, возглашает в другой раз: *Оглашенные, изыдите!* И потом в третий раз: *Оглашенные, изыдите! да никто от оглашенных, одни только верные, вновь и вновь Господу помолимся!*

От слов этих содрогаются все, чувствующие свое недостоинство. Взывая мысленно к Самому Христу, изгнавшему из храма Божия продавцов и бесстыдных торгашей, обративших в торжище Его святыню, каждый предстоящий старается

изгнать из храма души своей оглашенного, неготового присутствовать при святыне, и взывает к Самому Христу, чтобы воздвигнул в нем верного, причисленного к избранному стаду, о котором сказал Апостол: *Язык свят, люди обновления, камение, зиждущееся в храм духовен,* — причисленного к тем истинно верным, которые присутствовали при Литургии в первые века христиан, которых лики глядят теперь на него с иконостаса. И объемля их всех взорами, призывает их на помощь, как братьев, молящихся теперь на небесах, ибо предстоят священнейшие действия — начинается Литургия верных.

Литургия верных

В закрытом олтаре иерей распростирает на святом престоле антиминс, вместопрестолие, — плат с изображеньем Тела Спасителя, на котором должны быть поставлены приуготовленные им на Проскомидии Святой Хлеб и Чаша, исполненная вина и воды, и которые с бокового жертвенника перенесутся теперь торжественно в виду всех верных. Распростерши антиминс, — напоминающий время гонения христиан, когда Церковь не имела постоянного пребывания и, не

могши переносить с собою престола, стала употреблять сей плат с частицами мощей, и который остался как бы в возвещенье, что и ныне не прикрепляется она ни к какому исключительному зданью, городу или месту, но, как корабль, носится поверх волн сего мира, не водружая нигде своего якоря: ее якорь на небесах, — распростерши сей антиминс, он приступает к престолу так, как бы приступал к нему в первый раз и как бы только теперь готовился начинать настоящее служение: ибо в первоначальное время у христиан только теперь открывался престол, доселе остававшийся закрытым и занавешенным по причине присутствия оглашенных, и только теперь начинались настоящие моленья верных. Еще в закрытом олтаре припадает он к престолу, и двумя молитвами верных молится он об очищении своем, о неосужденном предстояньи святому жертвеннику, об удостоении его приносить жертвы в чистом свидетельстве совести. А диакон, стоя на амвоне посреди церкви, изобразуя ангела, побудителя к молитвам, держа орарь тремя перстами, призывает всех верных к тем же молениям, какими началась Литургия оглашенных.

И так стараясь о приведеньи своих сердец в согласное настроение мира, теперь еще необ-

ходимейшего, все верные взывают: *Господи, помилуй!* — и еще сильнее молятся о свышнем мире и о спасеньи душ наших, о мире всего мира, благосостояньи Божьих Церквей и соединеньи всех, о святом храме сем и о входящих в него с верою, благоговеньем и страхом Божиим, о том, чтобы избавиться от всякия скорби, гнева и нужды. И взывают еще сильнее в сердцах своих: *Господи, помилуй!*

Иерей из глубины олтаря возглашает: *Премудрость!* — знаменуя сим, что Та же Самая Премудрость, Тот же Вечный Сын, исходивший в виде Евангелия сеять Слово, учившее жить, перенесется теперь в виде Святого Хлеба принестись в жертву за весь мир. Воздвигнутые сим напоминанием, все предстоящие устремляют мысли, приготовляются к предстанущим священнейшим священнодействиям и служениям. Иерей литургисающий втайне молится, припадая к престолу, сею возвышенной молитвой: *Никто из связавшихся чувственными пожеланьями и наслажденьями недостоин приступать к Тебе, или приближаться, или служить Тебе, Царю Славы: ибо служенье Тебе велико и страшно и самим силам небесным. Но так как, по безмерному Своему человеколюбию, Ты непреложно и*

неизменно был человек, Сам был архиерей и Сам передал нам священнодейство сея служебный и бескровные жертвы, как Владыка всех, — ибо Ты один, Боже, владычествуешь и небесными, и земными, — носимый херувимски на престоле, Господь серафимов и Царь Израилев, Единый Свят и во святых почивающий, то молю Тебя, Единого Благаго, воззри на меня, грешного и непотребного раба Твоего, очисти мою душу и сердце от совести лукавыя и удовли меня, облеченнаго благодатью священства, удовли меня силою Твоего Святаго Духа предстать Святой Твоей Трапезе и священнодействовать Святое и Пречистое Твое Тело и Честную Кровь! К Тебе же прихожу, преклоня мою выю, и молюсь Тебе: да не отвратишь лица Твоего от меня, ниже отринешь меня от отроков Твоих; но сподоби принестись Тебе, посредством меня недостойного, сим Дарам Твоим: ибо Ты еси и приносящий, и приносимый, и приемлющий, и раздаваемый, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков.

Царские врата разверзаются на средине молитвы, так что иерей зрится еще молящийся с распростертыми руками. Диакон с кадильни-

цею в руке исходит уготовить путь Царю всех, и, обильно распространяемым кураньем подъемля облака кадильных благоуханий, посреди которых перенесется Носимый херувимами, напоминает всем о том, чтобы исправилась их молитва, яко кадило пред Господом, — напоминает о том, чтобы все, будучи благоуханьем Христовым, по слову Апостола, они вспомнили о том, что нужно им быть чистыми херувимами для поднятия Господа. А лики на обоих клиросах подъемлют от лица всей церкви сию Херувимскую песнь: *Мы, тайно изобразующие херувимов и воспевающие Трисвятую песнь Животворящей Троице, отложим ныне всякое попеченье, да Царя всех подымем, невидимо копьеносимаго ангельскими чинми.*

Был у древних римлян обычай новоизбранного императора выносить к народу в сопровожденьи легионов войск на щите под осененьем множества наклоненных над ним копий. Песню эту сложил сам император, упавший в прах со всем своим земным величием пред величием Царя всех, копьеносимого херувимами и легионами небесных сил: в первоначальные времена сами императоры смиренно становились в ряды служителей при выносе Святого Хлеба.

Пенье сей песни устраивается ангельским, по-

добное тому, как в вышине пели незримые силы. Иерей и диакон, повторяя внутренне в себе ту же Херувимскую песнь, приступают к боковому жертвеннику, где совершалась Проскомидия. Приступивши к Дарам, накрытым воздухом, диакон говорит: *Возьми, владыко!* Иерей снимает воздух, и возлагает ему на левое плечо, и глаголет: *Возьмите руки ваша во святая и благословите Господа.* Потом берет дискос с Агнцем и возлагает его на главу диакона; а сам берет Святую Чашу и, предходящему светильнику или лампаде, выходит боковой, или северной, дверью к народу. Если же служенье совершается собором, при множестве иереев и диаконов, то один несет дискос, другой — Чашу, третий — святую ложку, которою приобщаются, четвертый — копье, прободшее Св. Тело. Все принадлежности выносятся, даже самая губка, которою собирались крупицы Святого Хлеба на дискос и которая образует ту губу, омоченную в уксуси желчь, ею же напоили люди Творца своего. При пеньи Херувимской песни, подобясь небесным силам, выступает сей торжественный ход, называемый Великим Выходом.

При виде Царя всех, несомого в смиренном виде Агнца, лежащего на дискосе, как бы на щите, окруженного орудиями земных страданий, как

бы копьями несчетных невидимых воинств и чиноначалий, все долу преклоняют свои главы и молятся словами разбойника, завопившего к Нему на кресте: *Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Своем.* Посреди храма останавливается весь ход. Священник пользуется сей великой минутой, чтобы в присутствии несущих Дары помянуть пред Господом имена всех христиан, начиная с тех, кому трудней и священней достались обязанности, от исполнения которых зависит счастье всех и собственное спасенье душ их, — заключая словами: *Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* Певцы оканчивают Херувимскую песнь троекратным пеньем: *Аллилуйя,* — возвещающим вечное хожденье Господне. Ход вступает в царские врата. Впереди всех вшедший в олтарь диакон, остановившись по правую сторону дверей, встречает священника словами: *Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем.* Священник ответствует ему: *Да помянет Господь Бог священнодиаконство твое во Царствие Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков!* И поставляет Святую Чашу и Хлеб, представляющий Тело Христово, на престол, как бы на гроб.

Врата царские затворяются, как бы двери Гроба Господня; занавесь над ними задергивается, как кустодия, поставленная на страже. Иерей снимает с главы диакона святой дискос, как бы он снимал Тело Спасителя со Креста, поставляет его на расстланный антиминс как бы на плащаницу и сопровождает сие действие словами: *Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Твое Тело, плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе нове закрыв, положи.* И вспоминая вездесущность Того, Кто теперь лежит пред ним во гробе, говорит в себе: *Во гробе Ты был плотски, во аде с душою, как Бог, в раю с разбойником и в то же время на престоле с Отцем и Духом, Христос, все Собой исполняй, неописанный!* И, вспоминая славу, в которую облекся сей гроб, говорит: *Как живоносец, как воистину краснейший рая и как светлейший всякого царскаго чертога, явился нам Твой гроб, Христе, источник всякого Воскресенья.* И снявши покров от дискоса и от Чаши и воздух с плеча диакона, изобразующий теперь уже не пелены, в которые повит был Иисус Младенец, но сударь и гробовые покровы, в которые повито было Его мертвое Тело, обкадив их фимиамом, покрывает он ими снова дискос и Чашу, произнося: *Благообразный Иосиф, сняв со*

древа Пречистое Твое Тело, плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе новые закрыв, положи. Потом, взявши от диакона кадильницу, кадит Святые Дары, поклоняясь пред ними три раза, и готовясь к предстоящему жертвоприношению, говорит в себе словами пророка Давида: *Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены иерусалимская: тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемыя, тогда возложат на олтарь Твой тельцы:* ибо, пока Сам Бог не воздвигнет, не оградит душ наших иерусалимскими стенами от всяких плотских вторжений, мы не в силах вознести Ему ни жертв, ни всесожжении, и не поднимется кверху пламень духовного моленья, разносимый посторонними помышлениями, набегом страстей и вьюгой возмущенья душевного. Молясь об очищеньи своем для предстоящего жертвоприношения, отдавая кадильницу диакону, опустив фелонь и преклонив главу, говорит он ему: *Помяни меня, брат и сослужитель! — Да помянет Господь Бог твое священство во Царствии Своем!* — ответствует диакон и свою очередь, помышляя о недостоинстве своем, преклоняет голову и, держа орарь в руке, говорит ему: *Помолись о мне, владыко святый!* Священник ему

ответствует: *Дух Святый найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя.* — Той же Дух содействует нам вся дни живота нашего. И, полный сознанья своего недостоинства, диакон присовокупляет: *Помяни мя, владыко святый!* Священник ему: *Да помянет Тебя Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* Диакон, произнесши: *аминь,* — и поцеловав ему руку, исходит боковой северной дверью призвать всех предстоящих к молитвам о перенесенных и поставленных на престол Святых Дарах.

Взошед на амвон, лицем к царским дверям, подняв орарь тремя перстами руки, в подобье поднятого крыла ангела, побудителя к молитве, возносит он цепь молений, уже непохожих на прежние. Начинаясь призванием к моленью о перенесенных на престол Дарах, они скоро переходят в те прошенья, какие только одни верные, живущие во Христе, возносят к Господу.

Дня всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим, — взывает диакон.

Собранье молящихся, соединяясь с хором поющих, взывает от сердца: *Подай, Господи!*

Ангела мирна, верна наставника хранителя душ и телес наших, у Господа просим.

Собранье: *Подай, Господи!*

Прощенья и оставленья грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Собранье: *Подай, Господи!*

Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.

Собранье: *Подай, Господи!*

Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Собранье: *Подай, Господи!*

Христианския кончины живота нашего безболезненной, непостыдной, мирной и добраго ответа на Страшном Судище Христове просим.

Собранье: *Подай, Господи!*

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

И в истинном желаньи подобно предать самих себя и друг друга Христу Богу, все восклицают: *Тебе, Господи!*

Эктения завершается возглашеньем: *Щедротами Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков.*

Лик гремит: *Аминь.*

Олтарь все еще закрыт. Священник все еще не приступает к жертвоприношению: еще много долженствующего предшествовать Тайной Вечери. Из глубины олтаря посылает он приветствие Самого Спасителя: *Мир всем!* Ему ответ: *И Духу Твоему.* Стоя на амвоне, диакон, как было у первых христиан, призывает всех ко взаимной любви словами: *Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедаем…* Окончанье признанья подхватывает лик поющих: *Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную,* возвещая, что, не полюбивши друг друга, нельзя полюбить Того, Кто весь — одна любовь, полная, совершенная, содержащая в Своей Троице и любящего, и любимого, и самое действие любви, которою любящий любит любимого: любящий — Бог Отец, любимый — Бог Сын и сама любовь, Их связующая, — Бог Дух Святый. Три раза поклоняется священник в олтаре, произнося в себе тайно: *Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Господь утвержденье мое и прибежище мое,* — и целует покрытые покровами святой дискос и Святую Чашу, целует край святой трапезы и, сколько бы ни случилось священников, с ним сослужащих, каждый делает то же, и потом все целуют друг друга. Главный говорит: *Христос посреди нас.* Ему

ответствуют: *И есть, и будет.* Диаконы также, сколько бы их ни случилось, целуют каждый вначале свой орарь в том месте, где на нем изображенье креста, потом друг друга, произнося те же слова.

Прежде все предстоящие в церкви лобызали также друг друга, мужи — мужей, жены — жен, произнося: *Христос посреди нас,* — и тут же ответствуя: *и есть, и будет;* а потому и теперь всякий предстоящий, собирая мысленно пред собою всех христиан, не только присутствующих во храме, но и отсутствующих, не только близких к сердцу, но и далеких от сердца, спеша примириться с теми, против которых питал какую-нибудь нелюбовь, ненависть, неудовольствие, — всем им спешит дать мысленно лобзанье, говоря внутренне: *Христос посреди нас* — и ответствуя за них: *И есть, и будет,* — ибо без этого он будет мертв для всех следующих священнодействий, по слову Самого Христа: Остави дар свой и шед прежде примирись с своим братом и тогда принеси жертву Богу, и в другом месте: Аще кто речет: люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть: ибо нелюбяй брата своего, егоже виде, како может любить Бога, Егоже не виде?

Стоя на амвоне лицом ко всем предстоящим,

держа орарь тремя перстами, произносит диакон древнее возглашение: *Двери! Двери!* — древле обращаемое к привратникам, стоявшим у входа дверей, чтобы никто из язычников, имевших обыкновение нарушать христианские богослужения, не ворвался бы нагло и святотатственно в церковь, ныне же обращаемое к самим предстоящим, чтобы берегли двери сердец своих, где уже поселилась любовь, и не ворвался бы туда враг любви, а двери уст и ушей отверзли бы к слышанью Символа Веры, во знаменованье чего и отдергивает завеса над царскими дверями, или горния двери, отверзающиеся только тогда, когда следует устремить вниманье ума к таинствам высшим. А диакон призывает к слушанью словами: *Премудростию вонмем.* Певцы твердым мужественным пеньем, больше похожим на выговариванье, читают выразительно и громко: *Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.* И сохранив миг отдохновенья, чтобы отделилось в мыслях у всех первое лицо Св. Троицы — Бог Отец, продолжают, возвышая голос: *И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истин-*

на, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. И сохранив миг отдохновения, чтобы отделилось в мыслях у всех третие лицо Св. Троицы — Бог Дух Святый, продолжает: *Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.*

Твердым, мужественным пеньем, водружая в сердце всякое слово исповедания, поют певцы: твердо повторяет каждый вслед за ними слова Символа. Мужествуя сердцем и духом, иерей перед святым престолом, долженствующим изобразить Святую Трапезу, повторяет в себе Символ Веры, и все ему сослужащие повторяют его в са-

мих себе, колебля святой воздух над Св. Дарами.

И твердой стопой исходит диакон и возглашает: *Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити,* — то есть станем, как прилично человеку предстать перед Бога, с трепетом, с страхом и в то же время с мужественным дерзновеньем духа, славословящего Бога, с восстановившимся согласием мира в сердцах, без которого нельзя вознестись к Богу. И в ответ на призыв вся церковь, принося в жертву хваленье уст и умягченное состоянье сердец, повторяет вслед за хором певцов: *Милость мира, жертву хваления.* В первоначальной Церкви было в обычае приносить в это время елей, знаменующий всякое умягчение. Елей и милость в греческом языке тождественны.

Священник в олтаре снимает между тем воздух со Святых Даров, целует его и кладет на сторону, произнося: *Благодать Господа…* А диакон, взошедши в олтарь и взявши в руки веяло, или рипиду, веет ею благоговейно над Дарами.

Приступая к совершению Тайной Вечери, иерей посылает от олтаря к народу сие благовествующее возглашение: *Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами!* И

ответствуют ему на то все: *и со духом твоим!* И олтарь, изображавший вертеп, теперь уже горница, в которой была уготована Вечеря. Престол, представляющий гроб, теперь уже трапеза, а не гроб. Напоминая о Спасителе, возведшем очи горе перед тем, как преподать Божественную пищу ученикам, священник возглашает: *Горé имеим сердца!* И каждый из стоящих во храме помышляет о том, что имеет совершиться, — что в эту минуту Божественный Агнец идет за него заклаться, Божественная Кровь Самого Господа вливается в Чашу, в его очищение, и все небесныя силы, соединяясь с иереем, о нем молятся, — помышляя о том, стремя свое сердце от земли к Небу, от тьмы к свету, восклицает вослед за всеми: *Имамы ко Господу.*

Напоминая о Спасителе благодарившем, по возведеньи очей горе возглашает иерей: *Благодарим Господа.* Лик ответствует: *Достойно и праведно есть поклонятся Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной.* А священник молится втайне: *Достойно и праведно есть Тебя воспевать, Тебя благословить, Тебя хвалить, Тебя благодарить, Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего, ибо Ты еси Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно*

сый, такожде сый Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Ты от небытия в бытие нас привел еси и отпадшия вновь восстановил нас и не отступил еси, вся творя, дондеже на Небо нас возвел еси, и даровал нам Твое будущее Царство. О сих всех благодарим Тебя, и Единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, о всех, которыя знаем и которых не знаем, о явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас. Благодарим Тебя и о службе сей, которую из рук наших прияти изволил еси, хотя и предстоят Тебе тысящи архангелов, и тмы ангелов, херувими и серафими шестокрылатые, многоочитые возвышающиеся пернатые, победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоея!

Эту победную Серафимскую песнь, которую слышали в святых виденьях своих пророки, подхватывает весь лик певцов, унося мысли молящихся к незримым небесам и заставляя их вместе с серафимами повторять: *Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,* — и облетая вместе с серафимами престол Божественной славы. И так как в то же время вся церковь ожидает в эти минуты сошествия Самого Бога, грядущего принестись в жертву за всех, то к Серафимской песне,

раздающейся в небесах, присоединяется песнь еврейских отроков, которою они встретили вшествие Его во Иерусалим, подстилая ветви по пути: *Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних.* Ибо Господь взойти готовится во храм, как в таинственный Иерусалим. Диакон продолжает веять веялом над Святыми Дарами, чтобы не могло упасть туда какое насекомое, изобразуя веяньем движенье благодати; а священник продолжает молиться втайне: *С сими блаженными силами, Владыко Человеколюбче, и мы вопием и глаголем, Свят еси и Пресвят, Ты и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Свят еси и Пресвят, и великолепна слава Твоя, Иже мир Твой тако возлюбил еси, яко же Сына Твоего Единородного дати, да всяк, веруяй в Него, не погибнет, но имать живот вечный, Который, пришед и все смотрение о нас исполнив, в ночь, в которую был предан, или, лучше, Сам Себя предал за жизнь мира, взявши хлеб в святыя Свои, пречистыя, непорочныя руки, благодарив, благословив, освятив, преломив и давши святым своим ученикам и апостолам, сказал…* И громко возглашает иерей слова Спасителя: *Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов.* И вся церковь вослед за ликом

возглашает *аминь*. А диакон, держа орарь, указывает священнику на святой дискос, на котором положен Хлеб. Священник продолжает втайне: *Подобно и Чашу по вечере, глаголя* — и также, по указанию диакона на Чашу, возглашает громко: *Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая, во оставление грехов.* И также громко возглашает вся церковь: *аминь*.

Священник продолжает молиться втайне: *И так воспоминая сию спасительную заповедь и все о нас бывшее: крест, гроб, тридневное Воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное пришествие вновь* — и, произнесши это в себе, возглашает громко: *Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся.* Отложив рипиду, диакон приподымает святой дискос и Святой Потир — олтарь уже не горница Тайныя Вечери, престол не трапеза: он уже теперь жертвенник, на котором приносится страшная жертва за весь мир — Голгофа, на которой совершилось заколенье Божественной Жертвы. Эта минута есть минута и жертвоприношенья, и напоминанья всякому о жертве Творцу. Поклоненье отдается нами и земным властям; обожанье, уваженье, покорность мы воздаем и людям, но

жертву — единому Творцу. Она не прекращалась от самого созданья мира и, в каком бы виде ни приносилась, требовалась не самая жертва, но дух сокрушен, с которым она приносилась. Поэтому, всякий из предстоящих, вспомни, что в эту минуту священник, презрев все дольнее, оставивши все помыслы, все мысли о земном, подобно как Авраам, который, когда восходил на горы принести жертву, оставив внизу и жену, и раба, и осла своего, взявши с собой только дрова горького исповеданья прегрешений своих и сжегши их огнем раскаянья душевного, огнем и мечом духа заколовши в себе всякое желанье земных стяжаний и блага земного. Но что пред Богом все наши жертвы, когда Он гласит устами пророка: яко порт нечист вся дела ваша? В глубоком сознании, что нет Богу на земле ничего достойного жертвы, каждый из предстоящих обращается мысленно к той же Чаше, которую в олтаре подъемлет служитель олтаря, и восклицает во глубине сердца своего: *Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся.* Лик поет: *Тебе поем, Тебе благословим. Тебе благодарим. Господи, и молимтися, Боже наш!*

И наступает верховнейшая минута всей Литургии: пресуществление. В олтаре происходит троекратное призванье Святаго Духа на Святые

Дары, — Того Самаго Святаго Духа, Которым совершилось воплощенье Христово от Девы, Его смерть, Воскресенье и без Которого не может пресуществиться хлеб и вино в Тело и Кровь Христову.

Упав ниц перед св. престолом, священник и диакон творят троекратно земные поклоны, произнося в себе: *Господи, Иже Пресвятого Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый. Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихтися.* И каждый вослед за сим призваньем произносит в себе стих: *Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.* И во второй раз то же призвание: *Господи, Иже Пресвятого Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим ниспославый. Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихтися;* вслед за тем стих: *Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отыми от мене.* И в третий раз призвание: *Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Своим ниспославый. Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихтися.* Подклонив главу, диакон указывает орарем на Святой Хлеб, произнося в себе: *Благослови, владыко, Святым Хлеб;* и знаменует его трижды иерей, глаголя: *И сотвори убо хлеб сей*

Честное Тело Христа Твоего. Диакон произносит: *аминь.* И Хлеб уже есть самое Тело Христа. И так же безмолвно указывает диакон орарем на Святую Чашу, произнося в себе: *Благослови, владыко, Святую Чашу.* И, благословляя, глаголет священник: *А еже в Чаши сей, Честную Кровь Христа Твоего.* Диакон, произносит: *аминь* и, указав на обоя святая, глаголет: *Благослови, владыко, обоя.* Благословив, произносит священник: *Преложив Духом Твоим Святым;* троекратно произносит диакон: *аминь,* — и на престоле уже Тело и Кровь: пресуществленье совершилось! Словом вызвано Вечное Слово. Иерей, имея глагол наместо меча, совершил закланье. Кто бы он ни был сам, — Петр или Иван, — но в его лице Сам Вечный Архиерей совершил сие закланье, и вечно свершает Он его в лице Своих иереев, как по слову: да будет свет, свет сияет вечно; как по слову: да произрастит земля былие травное, произращает его вечно земля. На престоле — не образ, не вид, но самое Тело Господне, — то самое Тело, которое страдало на земле, терпело заушенья, было оплевано, распято, погребено, воскресло, вознеслось вместе с Господом и сидит одесную Отца. Вид хлеба сохраняет оно только затем, чтобы быть снедью человеку, и что Сам Господь сказал: Аз есмь хлеб.

Церковный звон подъемлется с колокольней возвестить всем о великой минуте, чтобы человек, где бы он в это время ни находился — в пути ли, в дороге, обрабатывает ли землю полей своих, сидит ли в дому своем, или занят другим делом, или томится на одре болезни, или в тюремных стенах — словом, где бы он ни был, чтобы он мог отовсюду вознести моленье и от себя в эту страшную минуту. Все повергается ниц в виду Тела и Крови Господней, взывая ко Господу словами разбойника: *Помяни мя. Господи, во Царствии Твоем!*

Подклонив главу священнику, диакон произносит: *Помяни мя, святый владыко!* Ему ответствует священник: *Помянет тебя Бог во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* И приступает священник к поминанью всех пред лицем Господа, собирая всю Церковь, и торжествующую, и воинствующую, в том виде и порядке, как вспоминались все на Проскомидии, начиная с Богопресвятой, Пречистой Матери Господа, Которую тут же вся Церковь ублажает, вместе с ликом, хвалебною песнью, как Предстательницу за весь род человеческий, как единственную удостоившуюся, за высокое смирение свое, понести в себе Бога, — чтобы каждый

в эту минуту слышал, что высшая добродетель — смирение, и в сердце смиренного воплощается Бог. И вослед за Божиею Материю вспоминаются пророки, Апостолы, Отцы Церкви в том же порядке, как изнимались за них части на Проскомидии; потом — все усопшие, которых помянник читает диакон, потом живущие, начиная с тех, на которых возложены важнейшие обязанности и высшие, с право правящих слово истины духовных и светских чинов, от государя: да пособит ему Господь на трудном его поприще во всяком деле общего добра, и да в союзном стремлении ко благу ответствует ему весь государственный корабль управленья, палата власти, воинства, исполняя честно долг, да и мы, в тишине их, тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. И о всех предстоящих христианах до единого молится в это время иерей, чтобы Милостивый на всех излил Свои милости, сокровища их исполнил блага, супружества их соблюл бы в единомыслии и мире, младенцев воспитал бы, юность наставил, старость поддержал, малодушных утешил, расточенных собрал, прельщенных обратил и совокупил Святой Своей Соборной и Апостольской Церкви. И обо всех до последнего христианина в это время молится

смиренно иерей, где бы такой христианин ни находился — в пути ли он, в дороге, в плавании, путешествии, страдает ли в недуге, томится ли в заточеньи, в рудах и пропастях земли. Обо всех до едина молится в это время вся церковь, и каждый из предстоящих, сверх этого общего моленья обо всех, молится еще о всех своих, близких своему сердцу, всех их поименовывая пред лицем Тела и Крови Господней. И возглашает громко священник из олтаря: *И даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати пречестное и великолепное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков.* Утвердительным *аминь* ответствует церковь. Священник возглашает: *И да будут милости Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами!* Ему ответствуют: *и со духом твоим.* И сим оканчиваются моления о всех, составляющих Церковь Христову, совершаемые перед лицом самого Тела и самой Крови Христовой.

Диакон восходит на амвон воздвигнуть моления о самых Дарах, уже принесенных Богу и пресуществленных, да не в суд и в осужденье обратятся. Подъяв орарь тремя перстами десныя руки своей, так восперяет он всех к молитве: *Вся святыя помянувше, вновь и вновь миром*

Господу помолимся! И воспевает лик: *Господи, помилуй! — О принесенных и освященных Честных Дарах Господу помолимся.* И воспевает лик: *Господи, помилуй! — Яко да Человеколюбец Бог наш,* взывает диакон: *прияв их во святый превышенебесный и мысленный Свой жертвенник, в воню благоухания духовного, вознеспослет нам Божественную благодать и дар Духа Святаго, помолимся.* И воспевает лик: *Господи, помилуй! — О избавлении нас от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.* И воспевает лик: *Господи, помилуй! — Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию!* И взывает лик: *Господи, помилуй! — Дня всего совершенного, всего святаго, мирного, безгрешного у Господа просим.* И воспевает лик: *Подай, Господи! — Ангела мирнаго, верного наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.* И воспевает лик: *Подай, Господи! — Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.* И воспевает лик: *Подай, Господи! — Добрых и полезных душам нашим и мира миру у Господа просим.* И воспевает лик: *Подай, Господи! — Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.* И воспевает лик: *Подай, Господи! — Христианския кончины живота нашего*

безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на Страшном Судилище Христовом просим! И воспевает лик: *Подай, Господи!* И произносит диакон, уже не призывая в помощь святых, но обращая всех прямо ко Господу: *Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивши, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.* И воспевают все в полной и совершенной преданности: *Тебе, Господи!*

Священник же наместо троичного славословия возглашает: *И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно сметь призывать Тебя, Небесного Бога Отца, и глаголати.* И все верные в эту минуту не как рабы, исполненные страха, но как дети, как чистые младенцы, доведенные самими моленьями и всею службою и постепенным ходом ее святых обрядов до того небесно-умиленного, ангельского состоянья души, в котором может прямо говорить человек с Богом, как с нежнейшим отцом, произносят сию молитву Господню: *Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас*

от лукавого.

Все обняла собою сия молитва, и в ней все заключилось, что нам нужно. Прошеньем: *да святится имя Твое,* просится первое, о чем прежде всего мы должны просить: где святится Божье имя, там всем хорошо, там, значит, все в любви живут, ибо любовью только святится имя Божие. Словами: *да приидет Царствие Твое,* вызывается Царство Правды на землю, ибо без прихода Божья не быть правде: ибо Бог есть правда. К словам: *да будет воля Твоя* — приводит человека и вера, и разум: чья же воля может быть прекрасней Божьей воли? Кто же лучше Самого Творца знает, что нужно Его творению? Кому же довериться, как не Тому, Который весь есть благотворящее благо и совершенство? Словом: *даждь нам хлеб наш насущный,* просим мы всего, что нужно для дневного существованья нашего, хлеб же наш есть Божья Премудрость, есть Сам Христос. Он Сам сказал: Аз есмь хлеб, и ядый Меня не умрет. Словом: *остави нам долги наша,* мы просим и о снятии с нас всех тяжких грехов наших, на нас тяготеющих, — просим прощенья нам всего того, чем задолжали мы Самому Творцу в лице братий наших, Который ежедневно и ежеминутно в образе их протягивает нам руку Свою, надры-

вающим всю душу воплем умоляя о милости и милосердии. Словом: *не введи нас во искушение,* мы просим о избавлении нас от всего смущающего дух наш и отъемлющего у нас душевное спокойствие. Словом: *но избави нас от лукаваго,* мы просим о небесной радости: ибо как только отступает от нас лукавый, радость уже вдруг входит в нашу душу, и мы уже на земле, как на небесах.

Так все заключает в себе и все объемлет собою сия молитва, которою молиться научила нас Сама Премудрость Божия, и кому же молиться? молиться Отцу Премудрости, породившему Премудрость Свою прежде веков. Так как все предстоящие должны повторять в себе молитву сию не устами, но самой чистой невинностью младенческого сердца, то и самое пенье ее на ликах должно быть младенческое: не мужественными и суровыми звуками, но звуками младенческими, как бы лобзающими самую душу, должна воспеваться сия молитва, да весеннее дыханье самих небес в ней слышится, да лобзанье самих ангелов в ней носится, ибо в молитве этой уже не называем мы и Богом Того, Кто сотворил нас, а говорим Ему просто: *Отче наш!*

Иерей приветствует из глубины олтаря как бы приветствием Спасителя: *Мир всем!* Ему ответ-

ствуют: *И духови твоему!* Напоминая о сердечном внутреннем исповедании, которое должен всякий совершить внутри самого себя в сию минуту, диакон взывает: *Главы ваши Господеви преклоните!* И, преклонив главы свои, все до единого из предстоящих произносят в себе почти такую молитву: *Тебе, Господи Боже мой, преклоняю главу и во исповедании сердечно вопию: Грешен, Господи, и недостоин просить у Тебя прощения, но Ты, как Человеколюбец, так же ни за что, как блуднаго сына, меня помилуй, как мытаря, меня оправдай, и удостой меня, как разбойника, Твоего Небеснаго Царства.* И когда все таким образом, преклонив главы свои, пребывают в внутреннем сокрушении сердечном, иерей молится у олтаря за всех такими, внутри самого себя произносимыми словами: *Благодарим Тебя, Царю Невидимый, Иже неисчетною Твоею силою вся содетельствовал еси, и множеством милости Твоея от небытия в бытие вся привел еси. Сам, Владыко, с небес призри на преклонивших Тебе главы своя, ибо подклонили они их не плоти и крови, но Тебе, Страшному Богу. Ты же, Владыко, все, что предлежит нам, изравняй во благо нам, каждому по потребности его: плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй, недугующия исцели. Врачу душ и*

телес! И возглашает вслед за тем великолепное троичное славословие, обращенное к небесной милости Божией: *Благодатию, и щедротами, и человеколюбием Единородного Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков!* Лик возглашает: *аминь*. А священник, приуготовляя к приобщению себя самого и всех потом Тела и Крови Христовой, молится такою тайною молитвою: *Вонми, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, от святаго жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего! Прииди освятить нас, горе с Отцем сидящий и здесь невидимо нам спребывающий, и сподоби державной рукой Твоей преподать нам священникам Пречистое Тело Твое и Честную Кровь Твою, а нами всем Твоим людям.*

Во время глаголания сей молитвы диакон готовится к причащению: становится перед царскими вратами, опоясуя себя орарем и складывая его крестовидно на себе в подобье ангелов, крестовидно складывающих на себе крылья и закрывающих ими лица свои перед неприступным светом Божества. Поклоняясь три раза, так же как и священник, произносит он три раза в себе: *Боже, очисти меня грешного и помилуй*

меня! Когда же священник прострет руки свои к святому дискосу, воздвигающим словом *вонмем* напоминает он всем во храме к устремленью мысли на происходящее. Олтарь сокрывается от глаз народа, завеса задергивается, да совершится прежде приобщение самих иереев. Один только голос иерея, подъемлющего святой дискос: *Святая святым,* раздается из олтаря. Содрогаясь от сего возвещения, говорящего, что нужно быть святым для принятия святыни, весь молящийся храм ответствует ему: *Един Свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца,* — и воспевает вслед за тем хвалебный гимн святому, его же день, в возвещенье, что можно быть святу человеку, так же как стал свят святой, которому гимн поется: стал свят он не своей святостью, но святостью Самого Христа. Пребываньем во Христе святится человек и в такие минуты пребыванья свят, как Сам Христос, подобно как железо, когда пребывает в огне, становится и само огонь и потухает вмиг, как только изъемлется из огня, и становится вновь темным железом.

Священник раздробляет теперь Святой Хлеб, сначала по знаку, начертанному на Проскомидии, на четыре части, с благоговением произнося: *раздробляется и разделяется Агнец Божий, раз-*

дробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогда же иждиваемый, но освящаяй причащающиеся. И сохранив одну из сих частей для приобщения себя и диакона Святого Тела в виде, не соединенном еще с Кровию, дробит потом части хлеба по числу приобщающихся, но не дробится в сем дроблении самое Тело Христово, которого и кость не сокрушилась, и в малейшей частице сохраняется тот же всецелый Христос, как в каждом члене нашего тела присутствует та же человеческая душа нераздельная и всецелая, как в зеркале, хотя бы оно и сокрушилось на сотни кусков, сохраняется отражение тех же предметов даже в самом малейшем куске. Как в звуке, нас огласившем, сохраняется то же единство его, и остается он тот же самый единый всецелый звук, хотя и тысячи ушей его слышали. Но в Чашу не погружаются все те части, которые были вынуты на Проскомидии во имя святых, во имя усопших и во имя некоторых живущих. Они остаются до времени еще на дискосе: только частями, составляющими Тело и Кровь Господню, приобщается Церковь. В первоначальные времена Церкви причащались ими в виде несоединенном, как ныне приобщаются у нас одни иереи, и каждый, приемля в руки Тело Господа, испивал потом сам из

Чаши. Но когда, — бесчинством невежественных новообращенных христиан, ставших только по имени христианами, — начали уносить Святые Дары в дома свои, употребляя их в суеверия и колдовства, или же бесчинно обращаться с ними тут же во храме, толкая друг друга, производя шум и даже проливая Святые Дары, когда нашлись в необходимости отцы многих Церквей отменить вовсе приобщение Крови для всего народа, заменив его хлебным знаком облатки, как сделала то у себя католическая Западная Церковь, — тогда святой Иоанн Златоуст, чтобы не случилось и в Церкви Восточной того, установил преподавать народу Кровь и Тело не порознь, но в соединенном виде, и не давать ему ни того, ни другого в собственные руки, но преподавать святой ложкой, имеющей образ тех клещей, которыми огненный серафим прикоснулся устам пророка Исаии, дабы напомнить всем, какого рода то прикосновение, которое готово прикоснуться устам, дабы увидел ясно всяк, что сей святой ложкой держит иерей тот горящий угль, который схватил таинственными клещами серафим от самого жертвенника Божия, дабы единым только прикосновеньем его к устам пророка отъять от него все грехи его. Тот же самый Златоуст, чтобы удалить с тем вместе

всякую мысль о том, что сие соединение Тела и Крови воедино и вместе делается произвольно иереем, ввел в минуту самого соединения их вместе влитие теплой воды в сосуд, знаменующее теплотворную благодать Духа Святаго, изливаемую в разрешение такого соединения, почему и произносится при этом диаконом: *Теплота веры, исполнь Духа Святаго.* А на самое влитие теплоты призывается благословение Того же Духа Святаго, чтобы ничто не совершилось при этом без благословенья Самого Господа, чтобы в то же время и теплота послужила подобием теплоте Крови, давая самим вкушеньем ее чувствовать всякому, что не от мертвого тела, из которого не истекает теплая кровь, но от Живого, Животворящего и Животворного Тела Господня он ее приемлет, чтобы и здесь он слышал возвещенье того, что и от мертвого Тела Господня не отступила Божественная Душа, и было действ Духа оно полно, и Божество с ним не разлучалось.

Приобща вначале себя, потом диакона, служитель Христов предстоит новым человеком, как очищенный святынею приобщения от всех своих прегрешений, как святой истинно в эту минуту и как достойный приобщать других.

Врата царские разверзаются, <возвещая раз-

верзаньем своим разверзанье самого Царствия Небесного, которое доставил Христос всем принесеньем Самого Себя в духовную снедь всему миру>; диакон возносит торжественный глас: *со страхом Божиим и верою приступите!* <В виде Святой Чаши, износимой диаконом в сопровождении сих слов, изобразуется исход Самого Господа к народу, дабы возвести их всех с Собою в дом Отца Своего.> И всем предстоит преображенный серафим с Святой Чашей в руках — иерей, во святых вратах стоящий. <Громом торжественного песнопенья гремит весь лик в ответ диакону: *Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь и явися нам!* И громом песнопенья духовного, исходящего из глубины возрастающего духа, совоспевает ему вся церковь.>

Горя желанием Бога, сгорая любовным пламенем к Нему, сложив руки крестом на груди своей, один за другим подступают к нему приобщающиеся и, преклоня главу, повторяет всяк в себе сие исповедание Распятого:

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога Живаго, — пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко Сие самое есть Пречистое Тело Твое и Сия есть самая Честная Кровь Твоя, молюся убо

Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися Пречистых Твоих Таинств во оставление грехов и в жизнь вечную. И остановившись на одно мгновение, дабы объять мыслию значение того, к чему приступает, продолжает глубиной сердца своего повторять последующие слова: *Вечери Твоея Тайныя днесь. Сыне Божий, причастника меня приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но, яко разбойник, исповедую Тя: помяни меня. Господи, во Царствии Твоем.* И совершив один миг благоговейного молчания в себе, продолжает: *Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела.*

И прочитав сие исповедание, уже не так, как к иерею, но как к самому огненному серафиму, приступает каждый, готовяся раскрытыми устами принять с святой ложки тот огнепальный угль святого Тела и Крови Господа, который долженствует в нем попалить, как тленный хворост, весь черный дрязг его прегрешений, изгнав вечную ночь из души его, превратив его самого в просветленного серафима. И когда, подъяв святую

ложку над устами его и упомянувши его, произнесет иерей: *Причащается раб Божий Честныя и Святыя Крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов своих и в жизнь вечную,* — приемлет он Тело и Кровь Господа, и в них приемлет минуту свиданья с Богом, становясь лицем к лицу к Нему Самому. В минуте этой нет времени, и ничем не отличается она от самой вечности, ибо в ней пребывает Тот, Кто есть начало вечности. Прияв в Теле и Крови сию великую минуту, исполненный святого ужаса, стоит приобщившийся; святым воздухом осушаются уста его при повторении серафимских слов пророку Исаие: *Се прикоснуся устном твоим, и отымет беззакония твоя, и грехи твоя очистит.* Сам святой, возвращается он от Святой Чаши, поклоняясь святым, их приветствуя, и поклоняясь всем предстоящим, как ближайшим в несколько раз своему сердцу, чем дотоле, как связавшихся теперь с ним узами святого, небесного родства, и становится потом на свое место, исполненный той мысли, что принял в Себя Самого Христа и что Христос в нем, что Христос сошел Своею плотью, как во гроб, к нему в утробу, дабы, проникнув потом в тайное хранилище сердца, воскреснуть в духе его, совершая в нем самом и погребенье,

и Воскресенье Свое. Сияет светом сего духовного Воскресенья вся церковь, и воспевают певцы сии ликующие песни:

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси верни, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо приде крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. И подобно ангелам, соединяющимся в это время:

Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе; Ты же Чистая, красуйся. Богородице, о восстании Рождества Твоего. О Пасха Велия и Священнейшая, Христе! О Мудросте и Слове Божий и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися, в невечернем дни Царствия Твоего!

В продолжение же того, как воскресными песнями оглашается ликующая церковь, священник в закрытом олтаре, поставив Святую Чашу на святую трапезу, которая так же, как и дискос, покрывается вновь покровами, произносит бла-

годарственную молитву Самому благодетелю душ Господу за удостоение приобщиться небесных и бессмертных Его Таинств и заключает ее прошением: да исправит путь наш, утвердит нас всех в священном страхе к нему, соблюдет житие наше и соделает твердыми стопы наши.

И разверзаются затем в последний раз царские врата, возвещая разверзаньем своим разверзанье самого Царствия Небесного, которое доставил Христос всем принесеньем самого Себя в духовную снедь всему миру. В виде Святой Чаши, износимой диаконом в сопровождении слов: *со страхом Божиим и верою приступите*, — и в ее отнесении изобразуется исход самого Господа к народу, дабы возвести их всех с собою в дом Отца Своего. Громом торжественного песнопения гремит весь лик в ответ: *Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь и явися нам!* И громом песнопенья духовного, исходящего из глубины возрастающего духа, совоспевает ему вся церковь.

Священник, благословив предстоящих словами: *Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое,* — ибо предполагает, что все по чистоте в эту минуту обратились в собственное достояние Божие, — устремляется мыслью к

вознесению Господню, которым завершилось его пребывание на земле: становится вместе с диаконом пред святым престолом, и, поклоняясь, кадит он в последний раз, и кадя произносит в себе: *Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя,* между тем как лик восторгающим песнопением и звуками, сияющими весельем духовным, стремит просветленные души всех предстоящих к произнесению вослед за ним сих слов самой радости духовной: *Видехом свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, Нераздельной Троице поклоняемся, Та бо нас спасла есть.*

Диакон показывается в святых дверях с святым дискосом на главе, не произнося ни одного слова: безмолвным воззрением своим на все собранье и уходом знаменует удаленье от нас и вознесенье Господне. Вослед за диаконом показывается в святых дверях иерей с Святою Чашею и возвещает пребывание с нами до скончания веков вознесшегося Господа словами: *Всегда, ныне, и присно, и во веки веков,* после чего и Чаша, и дискос относятся вновь на боковой жертвенник, на котором совершалась Проскомидия, который изобразует теперь уже не вертеп, видевший Рождение Христово, но то верховное место славы, где

совершился возврат Сына в лоно Отчее.

Здесь вся церковь, предводимая поющим ликом, соединяется в одно торжественно-благодарное пение душ своих; и сии суть слова ее восхваления: *Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститися Святым Твоим Божественным, Бессмертным и Животворящим Тайнам: соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей!* И воспевает троекратно вослед за тем хор певцов воздвигающее слово: *аллилуйя,* говорящее им непрестающее хождение и всюду пребывание Божие. Диакон же восходит на амвон воздвигнуть в последний раз предстоящих к моленьям благодарственным. Подъяв орарь тремя перстами руки своей, говорит он: *Прости, приимше Божественных, Святых, Пречистых, Бессмертных, Небесных и Животворящих, Страшных Христовых Тайн, достойно благодарим Господа.* И благодаря сердцами, воспевают все тихо: *Господи, помилуй! — Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию!* — взывает в последний раз диакон. И воспевают все: *Господи, помилуй! — День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивши, сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.* И

с покорностию кроткой младенца, в небесной доверенности к Богу, все восклицают: *Тебе, Господи!* А священник, складывая в это время антиминс и, с Евангелием в руках, ознаменовав <крест>, возглашает Троичное славословие, которое, озаряв доселе, подобно всеозаряющему маяку, весь путь богослужения, и теперь вспыхивает еще сильнейшим светом в просветившихся душах; и такое на сей раз обращение Троичного славословия: *Яко ты еси освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков.*

Затем священник приступает к боковому жертвеннику, на котором постановлены Чаша и дискос. Все те частицы, которые оставались доселе на дискосе и были вынуты на Проскомидии в воспоминание святых, в упокой усопших и в душевное здравие живущих, теперь погружены во Святую Чашу и в сем действии их погружения приобщается Телу и Крови Христовой вся Церковь Его — и та, которая еще странствует и воинствует на земле, и та, которая уже торжествует на небесах: Богоматерь, пророки, апостолы, Отцы Церковные, святители, отшельники, мученики, все грешные, за которых были вынуты части, на земле живущие и отшедшие, приобщаются в эту

минуту Телу и Крови Христовой. И священник, предстоя в такую минуту пред Богом, как представитель всей Его Церкви, испивает из Чаши сие причащение всех и, приемля в себя приобщение всех, молится о всех, да омыются грехи их, ибо за искупленье всех принесена жертва Христом как за тех, которые жили до Его пришествия, так и за тех, которые жили по пришествии Его. И как бы ни была грешна молитва его, но священник возносит ее за всех, даже за самых святейших, ибо, как сказал Златоуст, общее предлежит очищение вселенныя.

Церковь повелевает о всех возносить всеобщую молитву; высокое значение такой молитвы и ее строгая надобность узнались не мудрецами мира и не совопросниками века, но теми верховными людьми, которые высоким духовным совершенством и небесно-ангельской жизнью дошли до познания глубочайших душевных тайн и видели уже ясно, что разлуки нет между живущими в Боге, что минутной тленностью нашего тела не прекращаются сношения, и что любовь, завязанная на земле, приходит в большую меру на небесах, как на родине своей, и брат, отшедший от нас, становится еще ближе к нам от силы любви. И все, что ни истекает из Христа, то вечно, как

вечен Сам источник, из которого оно истекает. Слышали также они высшими органами чувств своих, что и на небесах торжествующая Церковь долженствует молиться и молится также о странствующих на земле братьях своих; слышали они, что Бог предоставил, как лучшее из наслаждений, наслажденье молиться, ибо ничего не совершает Бог и ничему не благодетельствует, не делая участником в самом совершении и в самом благодеянии Своем Свое творение, да насладится оно высоким блаженством благотворения: несет ангел Его повеление и утопает в блаженстве уже оттого, что несет Его повеление. Молится на небесах святой о братьях своих на земле, и утопает в блаженстве уже оттого, что молится. И все соучаствует с Богом во всех высочайших Его наслаждениях и блаженствах: миллионы совершеннейших творений исходят из рук Божиих, дабы участвовать в высших и высших блаженствах, и нет им конца, как нет конца Божьим блаженствам. Испив из Чаши приобщение всех с Богом, иерей выносит народу те просфоры, от которых были отделены и изъяты частицы, и сим сохраняет высокий древний образ Трапезы Любви, исполнявшийся христианами первых времен. Хотя и не накрывается теперь для этого

стол, по причине того, что невежественными христианами, безумным буйством их ликований, словами раздора, а не любви, давно была опозорена святыня этого трогательного небесного пиршества в самом дому Божием, на котором все пировавшие были святы, как одна душа были души их, и, чистые младенцы сердцем, вели они такую беседу, как бы у Самого Бога были на небесах; хотя сами Церкви увидели строгую надобность уничтожить это, и самое воспоминанье об этой трапезе исчезнуло во многих Церквах; но, несмотря на то, одна Восточная Церковь не могла решиться на уничтожение вовсе такого обряда, и в раздаче Святого Хлеба посреди церкви всему народу совершает ту же Святую Трапезу Любви. А потому всяк приемлющий просфору и приемлет ее, как хлеб от того пиршества, за которым Сам Хозяин мира беседовал с людьми своими, — а потому вкушал бы благоговейно, представляя себя окруженного всеми людьми, как нежнейшими братьями своими, — и так же, как было в обычае первоначальной Церкви, вкушает его прежде всякой другой пищи, или относит в дом свой домашним, или же отправляет больным, неимущим и тем, которые почему-нибудь не могли быть на то время в церкви.

Раздав Святой Хлеб, священник творит отпуст Литургии и благословляет весь народ словами: *Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, молитвами отца нашего архиепископа Иоанна Златоуста* (если Литургия Златоуста идет день в день), *молитвами святаго* (и называет по имени святого, его же день) *и всех святых помилует и спасет нас яко Благ и Человеколюбец.* Народ, знаменуясь крестом и поклоняясь, расходится при громком пении лика, многолетствующего императора.

Священник в олтаре совлекается от одеяний своих, произнося: *Ныне отпущаеши раба Твоего,* — и сопровождая разоблачение хвалебными тропарями, гимнами отцу и святителю церковному, которого служилась Литургия, и той Пречистой Святой Деве, в Которой совершилось вочеловеченье Того, Кому служилась вся Литургия. Диакон в это время потребляет все оставшееся в Чаше и потом, налив в нее вина и воды и всполоснув внутренние стены ее, испивает, осушив тщательно губкой, дабы ничто не оставалось, слагает святые сосуды вместе, покрыв и обвязав их, и подобно священнику говорит: *Ныне отпущаеши раба Твоего,* повторяя те же песни и молитвы. И оба выходят наконец из храма, неся

сияющую свежесть в лице, радость, ликующую в духе, благодаренье Господу на устах своих.

Заключение

Действие Божественной Литургии над душою велико: зримо и воочью совершается, в виду всего света, и скрыто. И если только молившийся благоговейно и прилежно следит за всяким действием, покорный призванью диакона, — душа приобретает высокое настроение, заповеди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово благо и бремя легко. По выходе из храма, где он присутствовал при Божественной Трапезе Любви, он глядит на всех, как на братьев. Примется ли он за обыкновенное теченье своих дел в службе ли, в семье, где бы ни было, в каком бы ни было <звании>, сохраняет невольно в душе своей высокое начертанье любовного обращенья с людьми, принесенного с небес Богочеловеком. Он невольно становится милостивей и любовней с подчиненным. Если сам под властью другого, то охотней и любовней ему повинуется, как Самому Спасителю. Если видит просящего помощи, сердце его более чем когда-либо располагается помогать, чувствует он больше наслаждения, с

любовью дает он неимущему. Если он неимущий, он благодарно принимает малейшее даяние: растроганное сердце его теряется в благодарности, и никогда с такой признательностью не молится он о своем благодетеле. И все, прилежно слушавшие Божественную Литургию, выходят кротче, милее в обхожденьи с людьми, дружелюбнее, тише во всех поступках.

А потому для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, необходимо частое, сколько можно, посещенье Божественной Литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату. А потому кто хочет укрепиться в любви, должен, сколько можно чаще, присутствовать, со страхом, верою и любовию, при Священной Трапезе Любви. И если он чувствует, что недостоин принимать в уста свои Самого Бога, Который весь любовь, то хоть быть зрителем, как приобщаются другие, чтобы незаметно, нечувствительно становиться совершеннее с каждой неделей.

Велико и неисчислимо может быть влияние Божественной Литургии, если бы человек слушал ее с тем, чтобы вносить в жизнь слышанное.

Всех равно уча, равно действуя на все звенья, от царя до последнего нищего, всем говорит одно не одним и тем же языком, всех научает любви, которая есть связь общества, сокровенная пружина всего стройно движущегося, пища, жизнь всего.

Но если Божественная Литургия действует сильно на присутствующих при совершении ее, тем еще сильнее действует на самого совершателя, или иерея. Если только он благоговейно совершал ее со страхом, верой и любовью, то уж весь он чист, подобно сосудам, которые уже ни на что потом…; пребывает ли он весь тот день в отправленьи своей многообразной пастырской обязанности, в семье ли посреди своих домашних, или посреди своих прихожан, которые суть также семья его, — Сам Спаситель в нем вообразится, и во всех действиях его будет действовать Христос; и в словах его будет говорить Христос. Будет ли склонять он на поимиренье между собой враждующих, будет ли преклонять на милость сильного к бессильному, или ожесточенного или утешать скорбящего, или к терпенью угнетенного, или…, — слова его приобретут силу

врачующего елея и будут на всяком месте словами мира и любви.

Наброски и материалы по русской истории

<1>

Уже самим положением земли Европа Восточная отличается от Западной, на которой впечатлены знаки какого-то своенравия природы, поднявшейся на каждом шагу цепями гор, углубившей долины, оборвавшей утесы, перекинувшей каскадами реки, протянувшей частые мысы в море, не позволившей морю углубленными заливами ворваться в ее пределы. Все, напротив, ровно и однообразно в Европе Восточной, как будто бы прихотливая деятельность природы здесь нашла покой. Она вся здесь одна масса, одно пространство. Южная часть этого пространства, идущая к Черному морю, — травистые, необразимые, ровные степи; средняя часть — равнины, покрытые бором; северная — тоже ровные, но болотистые пространства, на которых тиснул север свою печать, дышащую печальною дикостью. Реки далеко текущие, но не сообщающиеся. Горы сторожат эту непомерную безмерность и равнину. Пустынными рядами

Уральскими, снегоглавым Кавказом, ветвистым Карпатом они окружили ее как бы с тем, что<бы> здесь сохранилась долговременно особая своеобразность, особый отпечаток на здешних народах. Она вся заселена ветвями народов славянских так, как Западная германскими. Подобно как германцы — аборигены Европы Западной, так славяне — аборигены Восточной. Они, может быть, древни в такой степени, как древни народы древнего мира.

Под темными именами то скифов, то сарматов они вели свою жизнь, лишенную истории, в своих великих пространствах, ужасавших древних даже южным воскраием своим. Что они древни, свидетельствует их великая многочисленность, уже видная с седьмого и осьмого века. Миллионы не переселяются, для того же, чтобы разродиться в миллионы, нужны тысячи лет. Что они древни и давно жили, доказывает глубокое безмолвие и неслышность о них. Если бы такое ужасное количество племени переселилось уже во времена, известные истории, то это не могло бы произойти без шума и потрясений по всей Европе. Что они древни, свидетельствует разнообразие племен и те частные отличия, которые они получили от мест жизни, обстоятельств и хода истории, кото-

рыми они отделяются одни от других и которые народ получает долговременным пребыванием на одном месте. Что они древни, доказывают черты оседлой жизни во внутренности их земель, замеченные еще с IV-го столетия. Что они древни, доказывает многосложность их религии, их богопочитание, носящее все признаки развившейся жизни; разнообразие их занятий, для чего нужно было огромное пространство времени, связанное с местностью их земель, рощами, реками и показывающее оригинальность, возникшую именно из земли Восточной Европы.

Почему же, упершись своим началом в глубокую древность, они не вынесли на свет своей истории? Потому что они не могли действовать оглушительно и массами, как действует народ-пришлец, потому что ведущему оседлую жизнь трудно подняться с своего места, потому что разбросанному по великим несообщающимся пространствам трудно для этого соединяться, потому <что> различны в племенах и нравах, потому <что>, нет нужды народам семейным, имеющим жилища.

Тогда многие бродящие народы, как фантомы, появлялись неожиданно, без истории, без корня. Они были вообще малочисленны, но были страш-

ны своею бедностью, своею бродяжническою жизнью и всегдашнею готовностью сдвинуться с своего места, своею удобностью действовать всею массою, невозможною для народа оседлого. Они оглушали совершенно своими нападениями и увлекали часто в свои массы народы покоренные. Так степи Южной России, страшные своею беззащитностью, открытым положением, были удобны для их кочующих масс. Так промчались шумно оглушительные нашествия гуннов, аваров, аноков, угров, готов. И хотя их толпы более состояли из многих покоренных, но имя вождя и народа победителя одно звучало.

<2>

Почему же [эта] неслышность и безмолвная судьба истории славянской?

В чем состоит особенность и своеобразный характер этой истории?

Их многочисленность.

Их удобство к покоряемости.

Их рабство и терпящая участь и, наконец,

Их деятельность, устремленная чуждою силою.

Уничтожение в их потоках и многочисленности их покорявших властителей.

Следы, оставляемые властителями.

–

Что такое славяне.

Их характер коренной, настоящий; чисто славянские элементы; его гибкость и изменяемость под чуждыми владениями.

Их жизнь и занятия, порожденные положением географическим.

Их вольность, сборы, сходки и патриархальный республиканский элемент правления.

Их греческие, поэтически созданные язычество и мифологический мир.

Их музыкальность.

Итог характера славянина, что должен бы был он обещать.

<3> СОБСТВ<ЕННЫЕ> РЕЗУЛЬТАТЫ О СЛАВ<ЯНАХ>

Славяне не могли слишком и действовать, потому что были разделены и расселены по всему пространству и от положения, от удобств и средств для жизни различествовали сильно нравами.

Не действовали оглушительно и стремительно всею массою, потому что действует так только народ-пришлец, который ушел с места и, так сказать, на ногах ищет места и добычи, устремляется тучею.

Оседлому народу трудно подняться.

Оттого немногочисленный народ, но могущий привести в движение всего себя, все свои силы, производит стремительные нападения и оглушает своим именем.

Ни один из народов, нападавших и покоривших славян, не был многочислен, но он был страшен своею походною бродяжною жизнью, всегдашнею готовностью сдвинуться с места. Они увлекали новых подданных своих в свои массы, и часто целые отряды были из славян, но их было не слышно. Слышно было имя победителей, которое придавалось.

Что славяне были без всякого сравнения многочисленны, доказывает, что готы, гунны, авары и все наводнявшие толпы исчезли, а земля осталась, вся покрытая славянскими племенами. Что славяне были слишком древни и коренной народ, доказывает уже и то, что о них, несмотря на их множество, не было слышно ничего. Если бы же переселение это было действительно, оно, такое многочисленное переселение, произошло бы, верно, не без шуму и сильных потрясений, досягнувших бы до слуха, и древний мир должен бы почувствовать его.

Способность славян и удобоприменяемость —

доказательство, что они делались воинственными, мирными, смотря по направлению, им данному.

Что славяне не соединялись в одно, причина — несообщаемость земли. Только весною, при разлитии рек, усматривались некоторые сношения. См. визант<ийские> хр<оники>.

Религия славян становилась менее сложной, где терялось первое познание жизни. В глубине лесов она была беднее и суровее, у воевавших она едва существовала, так что они клялись даже оружием только.

<4>

Уже сильным доказательством многочисленности славян служило то, что все народы перелетные, так громко звучавшие своим именем, исчезли вдруг. Полвека после уже не было ни следов гуннов, аваров и [других.] А между тем славяне остались и на своих местах, и весь восток Европы сделался покрытым славянскими племенами.

Славян вдвинули в историю, можно сказать, все эти их завоеватели и повелители. Увлеченные их толпами, они появились в их войсках, и уже греки заметили их.

<5> ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

Некоторые обычаи показывают их происхождение из Индии.

1) Сходство, хоть довольно отдаленное, с языком санскритским.

2) Обычай жен сожигать на кострах.

Несколько славянских богов носят некоторое сходство с пагодами. Идолы часто окружены у них змеями, жабами, ящерицами и разными ядовитыми насекомыми.

<6> ИПОТЕЗЫ О СЛАВЯНАХ. ИХ СЛЕДЫ

Названия язигов и роксолан слишком эфемерны и метеорически для того, чтобы означали цельный народ. Нигде после не упоминается о них, и они исчезают совершенно. Народы не могут исчезнуть так скоро. Их следы должны были остаться. Но у Нестора, кроме славян, не встречается никакого чуждого в средине их народа. Стало быть, это было нарицательное прежнее имя некоторых славян.

Шлецер тоже предполагает, что язиги были славяне.

<7> ДАВНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ СЛАВЯН

доказывается их религиею, довольно многосложною, уже показывающею разностороннюю жизнь их, памятниками искусств, для того чтобы достигнуть которых нужна долгая жизнь и пере-

ход к совершенствованию.

В древних могилах венедских найдены глиняные урны, сделанные с некоторым вкусом, с изображением львов, медведей, орлов, покрытые лаком, также копье, мечи, кинжалы, искусно выработанные, с серебряною оправою и насечкою.

Чехи задолго до времен Карла Великого занимались рудокопанием.

В герцогстве Мекленбургском, на южной стороне Толенцкого озера, в Прильвице найдены в XVII <веке> медные истуканы славянских богов.

<8>

Расселение славян с берегов Дуная невозможно положить, иначе оно составило бы яркую и видную черту, тем более что это расселение означено в летописях слишком быстро и, как кажется, в одно время.

Но какие причины могли заставить двинуть их так далеко на север, куда медленно, упорно и только вследствие сильных натисков совершают народы свое обратное отступление? Какое-нибудь втеснение между ними валахов было для этого не слишком достаточно.

Расселение — старый конек и привязка, за это обыкновенно всегда хватаются летописцы и созидают <легенды?>, потому что носят в себе образ

переселения сыновей Ноевых, столпотворения вавилонского и проч.

Вывод. Славяне жили уже очень давно на местах своих. Их расселение по Восточной Европе случилось в те темные времена, когда Восточная Европа была облечена киммерийскими баснями. Это переселение явственно в нашествии сарматов, безотчетном, общем имени, данном греками ордам народов.

<9> СЛАВЯНЕ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ

Поляне по Днепру.

Древляне между Киевом и Припетью. Их жилища и главные сборища — Коростень, Туров, Овруч.

Дреговичи между Припетью и Двиною.

Полочане на Двине от впадающей в Двину реки Полоты.

Кроме того: А друзии седоша по Десне, и по Семи, и по Суле и нарекошася севера (северяне).

Везде реки — жилища славянских племен.

Расселившись и живя по рекам, естественно, что они могли облегчать коммуникацию и средства для нее к путешествию в Цареград, в Черное море.

Вятичи сомнительно славянский народ. Доказательство в сильных сопротивлениях, ими

оказываемых. Этого мнения держится Миллер и почти почитает их за чувашей, называющих<ся> на мордовском наречии ведке, или за вотяков, обитавших сперва при Оке.

<10> О МЕСТОЖИТЕЛЬСТВЕ СЛАВЯН<СКИХ> НАРОДОВ

СЛАВЯНЕ СЕВЕРНЫЕ

Славяне новгородские.

Кривичи. Многочисл<енный> народ обитал в трех местах Северной России при истоках Двины, Волги и Днепра. Двинские кривичи от реки Полоты, впадающей в Двину, назывались полочанами, участв<овали> в избрании русских князей. Днепровские кривичи построили город Смоленск.

Дреговичи обитали между реками Припетью и Западной Двиною.

СЛАВЯНЕ ЮЖНЫЕ

Поляне по Днепру. Киев.

Древляне тоже по Днепру, но в лесах, к северо-западу от Киева. Главный город Коростень. Уже давно имели собствен<ное> правление и князей.

Северяне поселились на трех реках: Десне, Сейме и Суле, — и на сей последней назывались суличами. У них Ярослав выстроил Нов<город> С<е>в<е>рск<ий> — 1044.

Радимичи по реке Соже.

Вятичи у верховья Оки, где, по слов<ам> Нестора, Вятко осн<овал> жилище.

Бужане по Бугу, на место их являются волынцы, где великий князь Владимир построил город в свое имя.

Дулебы тоже по берегам Буга упоминаются, потому что обры делали им притеснение.

Тиверцы обитали по берегам Буга и Днестра, почти к самому Черному морю.

Лютичи тоже по берегам Буга и Днестра.

Угличи при реке Угли (ныне наз<ываемой> Орлом), покорены Свенельдом, воеводою Игоря.

Пространство от Днестра до моря, соседнее городам греческим, было населено издревле городами. Там рождение политическое началось прежде. Народ славянский, назывался у славян *тиверцами* (а оулучи тиверци седяху по Днестру, приседяху к Дунаеви; бе множество их, седяху по Днестру или до моря, суть грады их и до сего дне. Да то ся зваху от греков великая Скуфь).

<11>

Из славян южные несравненно превышали север<ных> цивилизацией, мягкостью и некоторою утонченностью нравов. Доказательство, что Нестор, говоря о кротости южных славян — полян, в противоположность говор<ит> о древлянах, ра-

димичах, вятичах и северянах и даже кривичах, которых нравы отзываются совершенно дикою жизнью, говорит о жизни их подобно зверям среди лесов, о нечистоте, о ненаблюдении ни родства, ни брака, о похищениях, о плясаниях, неистовых игрищах и похищениях на них девиц.

Обычай сожжения тел, перешедший из дальней ли Индии, откуда производят отдаленное происхождение славян, или он был наследство языческой Греции, но он сохранялся у славян. Нестор говорит: кривичи, вятичи и северяне, по сожжении тела, собирали кости в сосуды и ставили их на больших дорогах.

<12> ЗАПАДНЫЕ СЛАВЯНЕ

Шлецер думает, что сербы вначале многочисленнейший славянский народ. Они много распространились между Эльбою и Салою под именем сорбов. Венды, живущие в Верхнем и Нижнем Лаузице, доныне называют себя сорбами. Мейссен назывался Зирбия; город Цербст Зорбеста (Sorbesta Zirbia). О сербах довольно пространно у Стритера.

Хорутане в шести списках: в Ипат<ьевском> хутане, в Соф<ийском> шурутане, в пол<ьском> хобужане, корентане у европейцев, вообще кра-

инцы, каринтийцы и жители Штейермарка. Карнунт, Карнунтумом также, кажется, называли земли по Дунаю близ Вены. Регино подтверждает это тем, что говорит: венгры прежде всего, по приходе своем, опустошили Карнунтум.

Валахи — обитающие в Валахии, Молдавии и Седмиградской области.

Волохи, влахи, вельши происхождением италианцы. Шлецер полагает их от древних гетов и даков (не подтверждая, однако же, доказательствами).

Вытесняют, по Нестору, славян дунайских, поселившись между ними, и заставляют иных поселиться на Висле под именем ляхов. Словене же они пришедше седоша на Висле реце и прозвашася ляхове; а инии от тех ляхов прозвашася поляне, а ляхове друзи лутичи, инии мазовшане, инии поморяне.

Стало быть, лях есть общее название народа.

Лутичи. В латинских летописях Lutitii в Передней Померании около Лоица, отличны от Lusi, Lusici, что в Лаузице.

Ad ultra Leuticos qui alio nomine Wilzi dicuntur, Oddora flumen occurrit, amnis ditissimus Slavanicae regionis, т. е. за Левтиками, иначе Вильцами, встречается река Оддора, богатейшая из славян-

ских рек.

<13> О СЛАВЯНАХ ДРЕВНИХ

Из визант<ийских> хроник.

582. Что славяне вели оседлую, уже некочующую жизнь, доказательство, что византийские хроники говорят, что Баян Аварский, вступивши в земли славянские, начал грабить и жечь села.

Доказательство<м> миролюбивого характ<ера> славян служит, что они в это время убежали в леса. Menander, p. 126, 129 (124, 164, 165).

Феофилакт называет их гетами и говорит, что это имя значило то же самое, что славяне.

Что славяне были маловоинственны и певучи, доказательство ответ, данный греческому императору тремя славянами, схваченными царскими телохранителями, которые были без оружия, а только с гуслями. — Мы славяне, — говорили они. — Гусли имеем при себе для того, что не привыкли носить оружие. Да и нет совсем железа в нашей земле. Оттого мы живем в тишине и мире, играем на гуслях, не умея играть на трубах, ибо, не зная совсем войны, музыку мы считаем лучшим нашим упражнением. Они говорили, что хан аварский пригласил их против греков, и что они присланы для объявления отказа в этом направлении дальнего и трудного пути.

Они прибавили, что князьям их присланы были от него подарки, что их продержали 15 месяцев (по Феофану 1½ года) и что они ушли во Фракию, услыша о богатстве греков.

Императору (Маврикий, 591) они понравились.

Что они были хороши и атлети<че>ской крепости, служит доказательством, что император дивился их дородности. Феофилакт и Феофан.

Образ войны славян с телегами самый древний.

Когда полководец Петр, в 14 лето царств<ования> Маврикия (596) послал для преследования славян отряд из 1000, он встретил скоро славян, идущих с добычею. Увидавши греков и не видя возможности избежать их, они поставили телеги около себя, жен и детей спрятавши в середину. Конным было сражаться с ними трудно, покамест один грек не вскочил на телегу и начал рубить наступающих неприятелей, и когда пробились сквозь эту ограду, тогда славяне были изрублены.

Музыкальность слав<ян>. В день народных игр при Конст<антине> Багр<янородном> славяне употреблялись при инстр<ументальной> музыке и должны были идти в театр по приказанию чиновника. Constantin <Porphirogennetae>. De

cerim<oniis> a<ulae> B<yzantinae>. L. I, c. 72, p. 211.

Византийские хроники говорят, что славяне при осаде г. Солуня были мастера стрелять из луков. Попадали метко. Io<ann> Cameniata. De excid<io> Thessal<onicae>, p. 351, 352, 867.

945–949. Славяне получали жалованья (стоявшие в Опсикийской области), по 5 червонцев старшие, прочим каждому шло по 3 червонца. Упоминают, что платящие россам дань славяне, кривичи, ленчанины и другие рубили зимою на горах своих лес, из которого они делали однодеревни (μονοξυλα), по вскрытии рек возили их в ближние озера, а потом рекою Днепром пригоняли в Киев, где, вытащив их на берег, продавали россам. Constantin. De cerim<oniis> a<ulae> B<yzantinae>, L. I, c. 72, p. 211.

В начале ноября росс<кие> князья выезжали с своим народом из Киева в другие города, которые у них *гирями* называются, или в те места, где обитают верьвяне, дреговичи, кривичи, сервяне и другие россам подручные народы (Ibid. p. 61).

Печенежская область Явдиржим смежна была с подданными россам ултинянами, древлянами, ленчанинами и другими славянами, кои по селам жили (949 год.) (Ibid. 1. 37 p. 106).

Наконец, славяне вносились, как гарнизоны,

как военные поселения, в народонаселение Византийской империи. Часто любимцы императоров были славянского народа, часто сами императоры были славянского происхождения.

Славяне отличались хитростью стратегическою. При завоевании города Топера славяне, по сказанию Прокопия, притаились в ямах и в оврагах городских ворот, и только малая их <часть> раздражала стоявших на валу греков. И когда греки были обмануты малочисленностью неприятеля, сделали вылазку и погнались за ними, скрывшиеся в ямах ударили им в тыл и положили их всех на месте. Прокопий же говорит, что неприятелей убивали они бесчеловечно, привязавши к дереву; убивали их дубиною по голове до смерти, или заперши их в стойла вместе с скотом, которого не могли взять, сожигали (550).

В бой ходили по большей части пеши и вооружены щитом и дротиками. Лат никогда не носили. Иные без рубах и не имея другого одеяния, в одних штанах вступали в сражения (Procop<ii>. De B<ello> G<othico>. L. Ill, c. 14, p. 498). Он же замечает особенно о их дородности и крепости членов. Телом русы, но ни желты, ни черны, как говорит Прокопий, стало быть не светлорусые. Что они ели сухую и простую пищу

и сходствовали с гуннами и масагетами в нравах простых, что они были не злобны и не лукавы. Он говорит еще, что жили в рассеянии в шалашах на берегу Дуная. Прокопий находил их язык, равномерно как и антов, странным для слуха. Он говорит, что они не подлежали единодержавной власти, но издревле имели общенародное правление, о пользе и вреде совещались всегда обще, что творца молний почитали единым господом и богом мира, приносили ему в жертву волов и других зверей. Судьбу не признавали: в опасности обещали жертву богу. Верили в рек и нимф и других <божеств>, всем им приносили жертвы и гадали о будущем. Это он говорит о славянах и антах вместе (546 год).

Прокопий упоминает об искусстве славян ловить и хватать неприятеля, спрятавшись за кустами или в траве, что Велисарий повелел таким образом одному славянину из находившихся в греческих войсках поймать таким образом одного гота живого, и что это искусство употребляли славяне, живучи по реке Дунаю, против греков и других соседей.

<14> СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Услад (у слав<ян> киев<ских>), божество пирований и роскошей.

Тур, идол, бог сладострастия, в честь ему праздник, ныне Семик, на котором позабывают даже пристойность, обожравшись и напившись.

Студенец, священное озеро на ост<рове> Ругене, в густом лесу. Рыбы его святы, и никто не смел их ловить.

Ключи, источники, озера, реки и колодцы считались святыми, им приносились жертвы в ожидании плодородия, и потому в честь им купались тотчас по вскрытии рек, несмотря на холодную погоду. И ныне в день богоявления, несмотря на мороз, купаются иногда в прорубях. Это особливо считают необходимым те, которые наряжалися на Святках чертями или вздевали на себя хари.

Стриба, божество киевское.

Сива, богиня славян варяжских.

В Семик девки и бабы, собираясь хороводами, плясали и свивали из ветвей венки, целовались сквозь оные с мужчинами, потом бросали в воду, загадавши, если венок поплывет, то быть ей тот год замужем, а когда потонет, то остаться дома.

Рощи и леса у некотор<ых> славя<н> были священными, не позволялось в них ловить птиц, зверей и рубить дерев.

Позвизд, Посвист, бог ветров у слав<ян> ки-

евск<их>.

Корс, Корисы, божество киевское, бог припадков и болезней.

Коляда, бог мира (в Киеве).

Зимцерла, богиня зари.

Водяной дедушка, род чертей, живут в мутной воде, особенно подле мельниц.

Догода, славян<ский> Зефир.

Дидилия, богиня родин.

Купало. — Волос. — Лель. — Дид. — Ладо. — Полель.

Буг, река, воды ее священны, их черпали со страхом и долго еще после верили, что всякое очарование там недействительно.

<15>

Как обломки их, языческие имена укрыли русскую землю то в праздниках, то в названье деревни, то в песне, то в сказке.

Не только одних тех, о которых говорит Нестор, должно допустить в слав<янскую> мифологию. Нестор, как историк, как монах, как христианин, не имел никакого побуждения входить во все подробности славян<ской> мифологии.

<16> ОБРЯДЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ

Обряды, обычаи сложнее, носят более развития и поэзии на юге.

Песни и пляски всеобщи между всеми славянами.

Но у южных они преобладали в большей степени. Всякое урочное событие года, начинание всякой работы в поле сопровождались песнями. Множество свидетельств тому — оставшихся песен с именами языческих богов, сохранившихся в Малороссии и Галиции.

Над умершими тризна у радимичей, вятичей, северян, по словам Нестора, причем доказательство их язычества. Далее говорит он: и <...> {*Не закончено.*}

Мертвеца сжигали на костре, кости собирали и ставили на столбах при дорогах. Пиршество после похорон или на кладбище называлось *стравою* в честь умерших. В житии муром<ского> князя Константина говорится о заклании коней умершего и об изрезании лица на нем в знак печали.

<17> ХАРАКТЕР СЛАВЯН ВООБЩЕ

По грекам славяне дунайские, ибо к ним это относится:

Русоволосые, смуглые, нечистоплотные, в грязи жили (у Раича они умывались три раза в год, в день рождения, женитьбы и смерти), стройные, рослые, не без приятности в лице, хищные, дерзкие, увертливые.

Они действовали всегда с аварами, и потому греки их смешивали и считали одним народом.

Нападали хищно, врассыпную, скрывались в болотах, стрелы намазаны ядами, щиты тяжелы, из глубины рек дышали сквозными тростями. Они скитались, не боясь римлян, в оставленных и пустых замках. Сокровища зарывали, показывали всю дикость первозданной природы. Но все это решительно относится к славянам дунайским.

При всем том простота, даже черты добродушия в семейном быту. Гостеприимство повсеместное и в высшей степени. Безопасность совершенная посреди их путешественников.

Музыка и пляска преобладали сильнее у народов славянских, нежели у германских. Северные венеды говорили в VI веке императору, что главное услаждение жизни их есть музыка и что они берут в путь с собою не оружие, но кифары и гусли, ими выдуманные.

Прокопий говорит, что войска славян были разбиты ночью греками, оттого, что они усыпили себя песнями и не взяли предосторожности.

Единство религии сближало племена.

Вообще славяне сильно были склонны к многобожию.

<18> ХАРАКТЕР СЛАВЯН РУССКИХ

Смирны, довольно согласны между собою все племена.

На юге более развития мирной жизни. Браки носят вид законности. Отцы и дети живут почти отдельно. Стыдливость заметна между полами. (Поляне бо своих отец обычай имяху тих и кроток и стыдлив к родителем и к племени велико стыдение.) И брачные обычаи творят.

На севере, начиная с древлян (северяне, радимичи и вятичи), грубее и меньше развития. Жизнь в лесах. Удобств никаких жизни. На самой низкой степени гражданственности. Отцы, снохи живут вместе. Стыдливости никакой. Стыдливости браков не было. (А радимичи, вятичи и север один обычай имяху, живяху в лесе, яко же всякой зверь. См. Нестор.) Распри и ссоры оканчивались частым убийством, неслышным у других.

Костюм славянина. Легкость чрезвычайная, одежда одна была — холстяные порты, даже не было рубашки. С длинными усами, с хохлом на голове, что и ныне сохранилось у жителей Южной России, в Галиции, у сербов, морланов и черногорцев и у всех почти западных славян.

<**19**>

Сочинитель Vita S. Ottonis говорит, что в одном из штеттинских храмов были снаружи и внутри

выпуклые изображения птиц, людей, зверей.

Деревянный храм Арконский был срублен искусно и украшен резьбою и живописью. В святилище его стоял идол, а конь его в другом здании, ergo (<см.> Hist<oriae> Dan<iae>) славяне, особенно венедские, сохраняли у себя художества, может быть, воспоминание индейских.

<20> О ТАВРИИ

Служит ссылкою, местом убежища беглых притязателей на престол.

Два народа обитатели полуострова — греческие колонисты, западные — херсонцы, восточные — босфорийцы. Занятия — земледелие, торговля хлебом. Тревожатся разными ордами народов, еще облеченных до греков в одежду скифов, и препираются между собою властолюбием своих небольших самоправителей. Рассеянные толпы гуннов и готов по смерти Аттилы производили опустошения и грабительства и вселились в недра Босфора. Полководец Юстинианов Иоанн с помощью скифов изгоняет их.

Козары, занимая пространства за Яиком, около Каспийского моря, передвинулись с своими ордами на юго-запад и заняли степи Новороссийские под предвод<ительством> своих хаканов; заводят вежи или города, набегают на Таврию, проника-

ют в сердце городов ее опустошительно, иногда даже утверждают временную власть и начальников своих. Вступают в политические союзы с греками, дочь хозарского хакана за сыном императора. Вытеснили булгаров. Тогда, когда они нападали на Таврию в Европе, другим хвостом тревожили в Азии Аравию, Мидию и Персию.

Нападения печенегов и других выходцев заставляют установиться и строить города. Строят город Белую Вежу (Саркел; по Нарушевичу, у реки Донца, нынешний Белгород) с помощью греческого архитектора Петроноса, присланного импер<атором> Феофилом, собравшего материалы из Херсона. Крестятся по желанию хакана своего при императоре Михаиле (с матерью Феодорою) присланным из Константинополя св. Кириллом, научившимся в Таврии хозарскому языку. Отважные варяги воздвигают славянские племена, освобождают их от дани и новым государством сильно прижимают их.

Печенеги такого <же> происхождения, остатки азиатские, распространились по землям козарским, потеснили далее венгров, начинавших свои владения на западе с тех пор, где оканчивали козары. Таким образом распространились до Валахии и Седмиградской области, перенесли даже

за Днепр свои кочевья. Соседство утеснительное их с европейской стороны с печенегами, а с моря Каспийского с аланами и узами, уже перешедшими в Европу, отняло у них руки, освободило Таврию и дало средства греческим императорам вредить им, соединяясь с печенегами, аланами и узами, которых подкупали подарками и давали беспрепятственный ход небольшой торговле херсонской. Раздоры между хозарскими племенами, разделившимися на кабаров и хозаров, были причиною их конечного истребления. Часть их погибла в рабстве у кабаров, присоединилась и смешалась с разными ордами. Семь орд присоединилось к уграм.

Отличаясь нападеньями на русских, печенеги жили в Таврии довольно мирно, занимались земледелием и торговлей. Императоры греческие вели с ними сношения и писали грамоты. См. Сестренц<евича>-Богуша, а у него Конст<антина> Порфиро<ро>д<ного>. Служили перевозчиками товаров из России, Хозарии и Византии <?> в Херсон, но в торговле показывали алчность, как везде.

Святослав берет и разоряет Белую Вежу и проносит оружие во всю Тмутаракань. Остатки хозар по степям были или данниками России или

<…> {*Не закончено*} Владения Владимира уже почти <со>прикасались с греческими, и вход в Херсон был беспрепятствен. Император Василий из похода Болгарского в 1016 послал флот под предвод<ительством> Монга, которому помогли русские истребить войско козар, землю покорить. См. Кедрин.

Над всеми этими землями утвердил потом свою смелую власть Мстислав.

Касогия простиралась по горам за рекою нынешнею Тереком, где находится Малая Кабарда. См. Конст<антина> Багрянородного.

Княжество Тмутараканское, удел Мстислава, есть часть прежнего Босфорского, и город его престольный в Азии, древняя Фанагория, потом Тамарха и Тмутаракань, или Темрюк.

Но не позволяли князьям совершенно упрочить завоеваний печенеги.

Печенеги были наездные, невидимые владетели степей. Их подкупили греки, желая отклонить нападения русских, и запирали путь по Днепру в Черное море, с другой же стороны не допустили посягнуть на Таврию.

Половцы заместили печенегов, почти истребленных русскими князьями, без сомнения, присоединив остатки их в свои орды, они все

действия свои поворотили на север, воюя с русскими, Польшею. (Что же Таврия в это время?).

По мнению Миллера, половцы были несравненно многочисленнее печенегов.

<21> ПЕЧЕНЕГИ

Их образ сражения был таков. Ряды выдавшимися углами строились, шеренги были перемешиваны телегами с женами и детьми, на некоторых из них были поставлены высокие башни. Порядок шествия их был похож на движущийся город. Оружия их — лук и стрелы. После сражения, получив добычу, предавались необузданно веселости, беспечности.

Переправлялись (через Дунай), по общему татарскому обычаю, держась за хвост лошади, сидя на кожаном мешке, набитом легкими веществами, как то: соломою или корою, и тащили с собою седло и военные свои снаряды. См. Сестр<енцевича>-Богуша, а у него из Анны Комни<ной>, Thounmann. Description de la Crimée, Кедрин и др.

<22> О РОССАХ

Доказательство их рассеяния и бродяжной жизни и службы у греков. У Льва Премудрого стояло на жалованье при флоте 700 чел. россиан, посланном к острову Криту, и что на содержание их выходило 100 литр золота. Литра составляла

72 номизмы (то же, что голландск<ие> червонцы или венецианские цехины). 902.

На флоте, отправл<енном> в Италию под начальст<вом> Патрикия Косаны, было семь русских судов, на которых было 415 человек россов в 953 году при цар<е> Конст<антине> Багрян<ородном> и Ром<ане> Лакапине. Constantinus Porphir<ogennetae>. De cerim<oniis> a<ulae> B<yzantinae>. L. II, c. 44, p. 376, 377, 378.

При нападении русск<ого> флота в 941 на Царьград, при каковом они выжгли Фракию, визант<ийцы> говорят о жестокости руссов, которые якобы пленных прибивали к кресту, сажали на кол, ставили их вместо целей и стреляли в них из лука, церкви и монастыри разрушали и вбивали священникам железные гвозди в голову.

В 946, когда при представлении импер<аторам> греч<еским> Конст<антину> и Ром<ану> послов эмира Тарсийского Конст<антин> Багр<янородный> говорит, что между множеством зрителей были россы, которые держали в руках небольшие знамена и вооружены были щитами и мечами.

В 949 году опять отряжен был флот в Крит, где находились 584 чел. россов, у которых было 45 человек рабов, что русских судов было 9 и что на 9 парусов на каждый по 30 локтей, да на два мень-

шие судна 28, на все это полотно выходило 1154.

Конст<антин> Багр<янородный> говорит, что россы потому старались жить в дружбе с печенегами, что доставали от них рогатый скот, коней и овец, которых в России не было, чтобы обезопасить свои земли от их нападения во время войны с кем-нибудь и, наконец, чтобы иметь свободный пропуск и плавание по Днепру и сквозь его пороги. Что для печенегов, а особливо живших в окрестностях херсонских владений, полезно было жить в союзе с россами, потому что они получали из России товары, которые после провозили корсунянам и греческим императорам за деньги.

Против сарацинского владетеля Алима (1032–1034) греческий царь Роман Аргир отрядил, по сказанию Кедрина, россиан и другие греческие войска под <предводительством> Никиты Пегонита, разбившего и умертвившего Алима.

1043 — неудачная попытка Владимира, приписываемая визант<ийцами> Владимиру Великому, в царст<вование> Конст<антина> Мономаха.

В 1077 царь греч<еский> Михаил Дука против мятежника Никифора Бриенния выслал франкского полководца Руссея и Алексия Комнина, где было множество судов русских. Кедрин.

В 1097, во время возмущения, поднятого Исааком Комниным, упоминается, что стояли на зимовьях в восточных областях империи, из коих два были из франков, а один из руссов.

<23> ОПИСАНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ПУТИ. КОНСТ<АНТИН> ПОРФ<ИРОРОДНЫЙ>

Конст<антин> Порфир<ородный> говорит, что суда, на которых россы приходили к Цареграду, были из Немогарды, столицы рос<ского> кн<яжества> Сфендосфлава, сын Ингорева. Также из Милиниски, Телиюкры(?), Чернигочи и Вусеграда(?). Из этих городов они были свозимы на реку Днепр и собирались у Киева, котор<ого> прозв<ище> был<о> Самватас(?). Подчиненные россам славяне, кривитянине, лензанине (Κριβηταιηνοι и Λενζανηνοι) и прочие славянские отродия рубили зимою у себя на горах лес для оных судов и строили их (выдалбливали) суда. А весной, по растаянии льда, сплавляли их в ближние озера и потом далее по реке Днепру в Киев. Здесь вытаскивали их на берег и продавали россианам, которые брали только одни ладьи, а весла, уключины и другие снасти делали сами из старых судов. Снарядивши суда, спускались по Днепру до Витечевы (Βιτετζὲβη), укрепленного места, платившего россам дань и лежавшего при

Днепре. Тут оставались два-три дня, пока все суда соберутся, а потом продолжали путь до днепровских порогов. Достигши первого порога Ессупи (что значит по-слав<янски> не спать), узкого с высокими и острыми камнями, в виде островов, о которые с силою ударяется вода, низвергаясь водопадами, еще издалека выходили они на берег, оставивши все прочее на судах. Потом несколько человек ходили в брод по реке, чтобы ощупать босыми ногами, где нет камней; другие, напротив, упирались на судах шестами спереди, сзади и со сторон и проводили их с великим трудом между камнями и берегом. Затем, севши вновь на суда, ехали до другого порога, по-русски *Ульворси*, а по-славянски *Островунипрах* (остров подле порога). Третий порог назывался Геландри (Γελανδρι), что на слав<янском> значило шум от порога. Четвертый, самый большой, по-русск<и> Аифар (Αειφαρ и Νεασητ), по-слав<янски> Неясыт, от неясытей, или пеликанов, вивших в его камнях гнезда. Тут, из боязни нападения от печенегов, оставляли росс<ы> часть своей дружины на страже; другие выносили из судов товары и вели сухим путем 6000 шагов скованных невольников; другие тащили суда волоком или несли их на плечах до тех мест, когда уже минуют пороги.

Затем сталкивали они их опять на реку и, нагрузив снова, продолжали путь свой далее. Приехав к пятому порогу, который по-русски назывался Варуфорос, по-славянски Вулнипрах (Βαρουφορος, Βουλνηπραχ), потому что он здесь образует великое озеро, проводили они суда свои так же, как у первого и второго порога. Шестой по-русски Леанти (Λεαντι и Βερουτξι), по-слав<янски> Веручи, т. е. ключ воды. Седьмой по-русски Струвун, по-славянск<и> Напрези, т. е. малый порог (Στρουβουν, Ναπρεζη). Проехав одни пороги, они приходили к Крарийскому перевозу (το πὲρκμα τοῦ Κραριου), месту широкому Днепра и глубокому, как только можно завидеть глазами пущенную стрелу, как говор<ит> Конст<антин> Пор<фирородный>, через который переезжали корсуняне, возвращаясь из России, и печенеги, едучи в Корсунь. Сюда обыкновенно приходили печенеги делать нападения на русские суда. Потом приезжали к Ост<рову> св. Георгия, где у весьма великого дуба приносили на жертву живых птиц. Делали также круг стрелами. Другие клали туда хлеб, мясо или что другое, что имели при себе. После того бросали жребий и гадали, колоть ли им птиц и есть или выпустить на волю. Проехавши сей остров, не имели уже опасности от печенегов, до

самой реки Селины. В четыре дня езды достигали они днепровского устья, в котором лежал Остров св. Айферия. Здесь отдыхали они обыкновенно два и три дня и между тем снабдевали свои суда потребными вещами, а именно парусами, мачтами и рулями, что все привозили с собою. А как Днепр в устьях своих делает озеро, которое простирается до самого моря, где лежит <Остров> св. Айферия, то они подавались назад к Днепру (Шл<еце>р думает к Днестру), где еще отдыхали. Отсюда, ежели ветер благополучный, ездили на парусах к реке Белой (τον ποταμον ασπρον) и, пребыв несколько времени здесь, продолжали путь свой к Селине, которая есть рукав реки Дуная. (До сих пор, говорит Шл<еце>р, простирались жилища печенегов, полуденный же берег сей реки принадлежал уже Болгарии). Здесь-то они окружены были отовсюду печенегами, и потому, если прибьет несколько судов к берегу, росс<ы> выходили на сушь, чтобы общими силами защищаться от печенегов. Переплывши Селину, больше уже не имели никакой опасности. Потом, достигнув Болгарии, продолжали путь к устьям Дуная, оттуда к Конопу, в город Константию, к рекам Варнасу и Дицине, которые все вытекают из Болгарии. Напоследок приходили к области

Месамврийской, от главного города (Μεσημβρια).

<24> НАЧАЛО КНЯЖЕСТВ

В средине 6-го века покоряются славянские племена двумя народами на севере и на юге, на севере норманами, на юге козарами. Племена заставлены платить дань. Норманам платят дань славяне, чудь, меря и кривичи; хозарам — поляне киевские, северяне и вятичи. Дань должна была платиться мехами, по белке с дыма.

Норманы грабили чужие земли, обирали с них дани и около зимы возвращались домой. Но в Руси оставили они людей, которые год от году собирали поборы с жителей и угнетали их.

(См. Арха<гельский> список). Это побудило славян, мерь, чудь и кривичей выгнать их.

Они боялись возвращения их, соединились для защиты и начали делать укрепления. Но между этими четырь<мя> нациями восстало несогласие, необходимое следствие федеративной системы, и 4 народа признаются<…>

<25> ДЕЙСТВИЯ ВАРЯГОВ

Варяги очень часто отправлялись из Киева в Цареград служить — доказательство в Олеговом договоре.

По византийским хроникам, при императоре Льве, во время похода патриция и логофета Ги-

мерия на Крит, в императорском флоте было 700 руссов, жалованья давалось всего один только центенарий.

На флоте, с которым протоспафарий Епифаний пристал к берегу Ломбардии в 935, было 415 руссов, находившихся на 7 каравиях.

В походе на Крит 949 года было руссов 384 человека, а с служителями 629 (для 9 русских каравий куплено толстое полотно, из которого сделано 9 парусов, каждый в 300 локтей).

В походе на Крит 962 упоминают опять о руссах, помогавших при взятии одного города.

В 1057 упоминается о легионе руссов, зимовавших на востоке вместе с двумя легионами франков.

В 1077 император Лука послал против одного мятежника русские корабли.

<26> НОРМАНИЗМ В РУСИ

Доказательство равенства дружины и братства, великой силы ее, ограничивающей власть князя, находится в договоре Олега между прочим, где требуется с греков дань или подарки на каждого человека и где упоминается, даже и берется дань на Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любеч и проч<ие>, то е<сть>, вероятно, <на>ходившихся там чиновников.

–

Везде показательно, разительно преимущество варяжской дружины над славянской. Везде видна победительная и властвующая нация и ее преобла<дание>. В договоре о руссах говорится и больше им предоставляется преимуществ. Паруса на лодки их они употребляют шелковистые, подарки императора греческого, а славянам — простые.

<27> ОБЫЧАЙ ВАРЯГОВ НА РУСИ

Суетность и тщеславие воинственного и дикого народа сильно проявляется во всем. На лодки вместо парусов они берут шелковые материи греков.

См. у Деппинга.

<28> О ВАРЯГАХ

Черта справедливости варяжской. В 1034 в царст<вование> им<ператора> Михаила Пафлагонского один из варягов, стоявших на зимовье во фракий<ской> области, хотел изнасиловать одну фракианку, которая, выхватив у него меч, им же его заколола. Его товарищи, узнавши об этом, увенчали фракианку, отдали ей все имение убитого, а его оставили непогребенного. Кедрин.

Варяги, как видно из визант<ийских> хр<оник>, составляли гвардию вместе с франками и др.

<29> МЫСЛИ И ЗАМЕТКИ СОБСТВ<ЕННЫЕ>

Причины малонаселенности севера — холод, суровость климата.

Ученые употребляли церковный язык, и потому нет сомнения в существовании народного языка, различного от него, уклонявшегося с каждым столетием.

Сановники и все главные начальники были варяги, <но> знали по-славянски, и славянский язык более раздавался на Руси, нежели скандинавский.

Норманы любили страны богатые и потому долго оставляли славян в покое и проходили чрез земли их в Царьград.

<30> ОБ ОЛЕГОВОМ ДОГОВОРЕ

С какой стати выдумывать договор? Иногда из гордости и тщеславия выдумается о предках, но всегда почти в повествовательном, в напыщенном, в баснословном, в преувеличенном виде. Но чтобы оно имело форму договора, вылилось в такую ясную, определительную форму, это совершенно невозможно.

Еще более невозможно, памятуя гражданственное развитие и грубость века.

Если бы выдумали (кто бы мог выдумать?)

Какие должен иметь достоинства тот, кто в

состоянии выдумать.

Отчего произошло подозрение в их подлинности.

Составить так, с такими обстоятельствами, так не упустить, так много вдвинуть знаменующее истинно норманское.

Уже самое сомнение Шлецера говорит в их пользу. Стало быть, они так искусно подделаны. А можно ли допустить тогдашнему веку и тогдашним людям такое искусство?

Страшные описки, невероятные ошибки писцов, необыкновенная изуродованность имен говорят за его действительность. Если бы он был поддельный и в новейшие времена, он бы списался несравненно правильнее, он бы был понятен для писцов и они бы не путались так.

Уже одни постановления о ладьях, чрезвычайно точные, определенные, даже несколько сложные, ясно показывают жизнь совершенно норманскую и прямо относятся к норманскому. Никогда, если бы допустить о составлении его в последующие времена, не могли бы изобретатели распространиться об этом предмете. Тогдашняя жизнь русская, даже новгородцев, не навела бы их на эту идею.

В нем бы была неосмотрительность, между тем

как ее нигде не видно.

<31> ДОКАЗАТЕЛЬСТВА О ПИСЬМЕННОСТИ ДОГОВОРОВ

Но разве славяне не могли до Владимира узнать азбуку Кирилла и Мефодия? Как же могла <она> появиться?

В Киеве была церковь, стало быть была письменность и язык. Ясный признак. Были они грамотны? Если сообщения между Цареградом были так часты, если варяги были друзьями, принимались в службу, если этот <народ> был в таком беспрестанном сношении, при своем любопытстве, разве не мог <он> узнать <азбуку?> Что нормане тогдашней Европы не писали? Но норманы в Западной Европе основались на землях, почти не получивших форм гражданственности, где дикость и охота и грубость, всеобщий характер века, скрывали жалкую гражданственность народов римских и не принявшиеся начатки Карла. Этого преимущества не имела Европа.

<32> О ПРИНЯТИИ ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ

Только, может быть, в Киеве да в некоторых других городах удалось распространить ее. Села, веси и волости долго оставались погруженными в язычество и свои поверья. Нестор упоминает уже в свое время о язычниках кривичах и вяти-

чах: еже творят вятичи и ныне. Сии же обычаи творяху и кривичи и прочие погании не ведуще закона Божия, но творяху сами себе закон.

<33> ИЗЯСЛАВ

Из его века можно вывести следующие события:

Половцы явились неприятелям<и>.

Упрямо отвоевывал свою землю и ссорился с князьями.

Полоцкий Всеслав враг заклятый Ярославичей.

Жизнь велась довольно мытарски за гуслями и пиршествами, по словам Нестора.

Бурхард духовный чиновник, посланный Генрихом IV, удивлялся богатству и великолепию русских князей, их сокровищам.

Изяслав, то изгоняемый, то возвращавший себе престол.

Святослав Черниговский строптивее был других и духом его были исполнены сыновья его, которых братья Изяслав с Всеволодом лишили владений.

Олег, наскучив праздною жизнью в Чернигове, где княжил Всеволод, бежал и с половцами напал на черниговские земли, и выгнал Всеволода, который скоро соединил<ся> с Изяславом, своими сыновьями и возвратил княжение не только

свое, но и Киевское, потому что Изяслав был убит в битве, а Олег бежал.

Основал Киевопечерский монастырь афонский монах, русский, родом из Любеча, названный там Антонием, поселился в пещере, ископанной митрополитом Иларионом. Святостью и затворничеством пользовался всеобщим уважением. Князья приходили беседовать к нему. Двенадцать монахов, постриженных Антонием, выкопали подземную церковь с кельями. Их число умножалось. Святослав дал 100 гривн, или 50 фунтов золота на сооружение каменной великолепной церкви Печерской призванными художниками из Киева. Феодосий когда входил к князю Святославу, то умолкали гусли и органы. Некоторые из монахов Печерских приняли венцы мучеников, обращ<ая> идолопоклонников: Леонтий в Ростове, св. Кукша в земле вятичей (в Орловской или Калужской губернии). Варлаам, бросив одежду боярскую, пошел в Печерские монахи. Варяг Симон внес 50.

Русские ходили в Грецию и служили там. Митрополиты были посвящены от патриарха. Грек из Цареграда Георгий недолго побыл и уехал. Русская церковь считалась в зависимости от Цареграда до падения его и считалась семидесятым

епископством.

Финны и чудь славились волшебниками, народ верил и прибегал к ним с гаданьями.

–

Княжества наследственно не делились на целый род, но существовали как аренда. Князья для выгоднейших оставляли свои прежние (оттуда причина неорганизации в чисто политические тела и вместе всей России).

–

Половцы имели вежи и многих ханов.

–

Хищнический характер половцев не удерживался ни договорами, ни пораженьями. Русские князья должны были также разрушительно проходить их земли. Занявши земли хозар, они имели дома и хозарские города.

–

Короли польские, к которым обращались удельные князья с просьбою о помощи, обещали и, забравши дары, обыкновенно обманывали. Смотри: Владислав в отношении к Давиду Игоревичу.

–

Враг князей Всеслав Полоцкий умер в 1101, княжив продолжительно — 57 лет.

–

Сражение с половцами, захватившими под предводительством Боняка табуны переяславские и приступившими к Лубнам, происходило за Сулою, где Мономах гнал их до самого Хорола.

<34> ВСЕВОЛОД

По воле его сыны Изяславовы Святополк на княжении Новгородском, Ярополк во владение получил Владимир-Волынский древний и Туров, Мономах в Чернигове.

Беспокойный Олег своими же половцами, изменившими ему, был отправлен в Константинополь, странствовал на острове Родосе и возвратился вновь в свое княжение (братнино) Тмутараканское, где был брат его Роман убит половцами.

Полоцкий князь, те же враждебные действия. Его разбивает Мономах, который победил торков близ Переяславля, усмирил вятичей, гнал их неутомимо на берегах Десны и Хорола.

Слабый, тревожимый строптивостью племянников, поддерживаемый только Мономахом, преданный любимцами, уже не судивший на своем княжеском дворе, не удерживавший своих тиунов грабить города и жителей, умер 1093.

<35>

Святополк, возведенный Мономахом на ки-

евский престол, при самом начале должен был отражать половцев соединенными силами с Мономахом и братом его Ростиславом, но князья потерпели большую утрату и поражение. Ростислав был убит. Половцы потом обратили в пепел Торческ. И напрасно хотел их обезоружить браком с их князем. Упорный Олег опять пришел с ними в 3<-й> раз и заставил Мономаха отдать ему его удел — Чернигов. Распустил половцев по всей Черниговской области, которые выжигали домы, церкви, гумна, и Южную Россию значительно обезлюдили. Жители из южных земель переселялись в северные (Юрьев на берегу Росси, сожженный половцами, переселился своими жителями к Киеву и составил городок Святополч).

Олег упорствовал соединиться с князьями на половцев и не хотел на сейм. Силою и осадою его удела могли заставить его.

Всегда дерзкий, даже в критических обстоятельствах, побеждаемый, все упорствовал, однако ж. Даже послание Мономаха, исполненное силы и красноречия убеждения, выказывавших вполне высокий характер, его не тро<нуло>, и, изъявивши наружное согласие, он воспользовался первою беспечностью и ворвался с дружиною к нему в землю Суздальскую.

Дело Мономаха — сейм князей, который, казалось, определил границы:

За Мономахом Переяславль, Смоленск, Ростов, Суздаль, Белоозеро.

За сыновьями Святослава Олегом, Давидом, Ярославом Чернигов, Рязань, Муром.

За Давидом Игоревичем Владимир-Волынский.

За Володарем и Васильком Ростиславичами [Перемышль] и Теребовль.

Слабый, вероломный и подозрительный Святослав своими поступками несправедливыми и злодейским ослеплением невинного князя Василька вооружил против себя удельных князей; в управлении внутреннем корыстолюбив, завел жидов.

На втором сейме дал Давиду Игоревичу вместо отнятого Владимира-Волынского, сверх его Бужска, Дубно и Чарторийск данный Святополком, а через несколько времени уступил Дорогобуж-Волынский.

Наконец, решили на сейме объявить <войну> половцам, все почти изъявили участие, даже сын старого врага Всеслава Полоцкого Давид прибыл в стан соединенных войск. Один только Олег отказался <сражаться> под эгидой Мономаха. Наконец, совершенно поразили половцев и взяли

от них добычу.

–

Границы земли половецкой?

–

Ростиславичи червленские и города?

–

Полоцк возвратил своих князей.

Сосланный в Цареград Василько Рогвольдович опять стал княжить в Полоцке.

–

Род Святослава Черниговского нанес страшное опустошение области Переяславля. Ольговичи несколько раз приводили половцев и всегда почти держались обычая жечь селения и города.

<36> ПОЛОВЦЫ

Часть, избегая татар, переправилась через Дунай на кожаных мешках вместе с женами и детьми и скиталась долго во Фракии, пока император Иоанн не взял их на свое содержание и назначил для них земли; полагают, что их было до 10 000. Жившие на матерой земле в евр<опейской> Таврии покорились игу победителя. Приморские последовали за жителями дунайскими.

<37> МОНОМАХ ВЕЛИК<ИЙ> КНЯЗЬ

Вступивши в Киев, уничтожил беспорядки,

произведенные корыстолюбием Святополка. Закон о ростах.

Сын его, Мстислав, два раза победил чудь, завладел городом Оденпе, или Медвежьею Головою в Ливонии. Его сын, оставшийся в Новгороде (отец занял Белгород), совершил поход счастливый в Финляндию.

Другой сын, Георгий, в Суздале ходил войной на казанских болгар, победил и пришел с добычею.

Третий сын, Ярополк, воевал в окрестностях Дона, взял три города в области Половецкой: Балин, Чешюев, Сугров.

В Русской земле кочевали остатки народов — берендеи, печенеги и торки в степях, в окружности Переяславля. Мономах изгнал их. Из них многие уцелели на Днепре, под общим именем черкасов или черных клобуков, служа россиянам.

Принял беловежцев, остатки козар, бежавших от половцев. Они основали в верховье р. Остра новую Белую Вежу в 120 верстах от Чернигова. Развалины показывают каменные строения.

Князья действовали с ним союзно, даже Ольговичи.

Усмирил князя Минского. Взял города Вячеслав — Оршу, Копыс.

Усмирил новгородцев, призвавши в Киев их

бояр, и дал им посадника, киевского боярина Бориса.

Четвертый сын его, Андрей, по повелению его опустошил соседственные владения Болеслава Криворотого. Ни его, ни венгров и короля их нападения были неудачны.

Не сыновья ему, почти посторонние ему были князья черниговские, полоцкие и Ростиславичи.

Умер на 73 <году>, княжил 13 <лет> (в 1125). Его духовное поучение исполнено красноречия, обличает размышляющий ум и один из лучших памятников словесности, исполнено простоты и истины и наставлений опытности в делах разных, в жизни домашней.

Сам надзирал церковь и божественное служение, домашний распорядок, конюшню, охоту, соколов, ястребов.

Деятельный, он совершил 83 похода, 19 мирных договоров с половцами.

Ездил довольно скоро: из Чернигова выехав поутру, приезжал в Киев прежде вечерен.

Ростовская и Суздальская земля были наследственные земли Всеволодова дома. Он ездил часто туда для хозяйственных распоряжений. Выбрал лучшее место на берегу Клязьмы, основал город и назвал его Владимиром-Залесским (Суздальское

соединивши с Переяславским).

<38> МСТИСЛАВ

Когда Мстислав был великим князем, его братья занимали <столы>: *Ярополк* в Переяславле, *Вячеслав* в Турове, *Андрей* во Владимире, *Георгий* в Суздале, а сыновья его *Ростислав* и *Изяслав* в Курске и Смоленске.

Загнал половцев не только за Дон, но и за Волгу.

Сыновья Олега начали показывать тоже непокорство, упрямство отца и изгнали дядю.

В Юго-Западной России сыновья Володаря, Владимирко и Ростислав, ссорились за уделы: первый в Звенигороде, второй в Перемышле.

Наконец, падение произошло князей полоцких, древней земли кривичей самых непокорных князей, всегда желавших совершенно отдельной независимости. Мстислав поднял своих братьев и сыновей, дал им свой полк и вместе с другими князьями покорил всю область Полоцкую. Последние князья полоцкие, два брата с двумя племянниками, женами и детьми, были отправлены на 3 ладьях в Константинополь. Мстислав отдал княжение Полоцкое и Минское сыну своему Изяславу.

Счастливо воевал Чудь и Литву.

<39> ЯРОПОЛК

Слабый, уступчивый. Эпохи, из его княжения извлеченные, суть:

Ольговичи, князья черниговские, с половцами выступают на него, жгут и опустошают селения и заставляют его уступить часть Переяславской области с Курском.

Все княжение провел в спорах и битвах с Ольговичами.

<40> ВСЕВОЛОД ОЛЬГОВИЧ

Наконец Ольговичи овладели княжеским престолом. Всеволод предупредил сына Мономахова Вячеслава и хотел также и Переяслав<ль>, по крайней мере приказывал его отдать брату своему Святославу Ольговичу.

Но скоро начал войну с братьями Святославом и Игорем, сердитыми за то, что он им не дал никаких новых уделов прибыльных, а давал сыновьям и родственникам.

<41> ИГОРЬ ОЛЬГОВИЧ

2-й из Ольговичей беспечностью, нелюбовью граждан, изменою бояр своих, расположенных к роду Мономаха, лишился Киева, не пробыв трех недель.

<42> ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ

Внук Мономахов угнетением Игоря в Киеве

и содержанием его в неволе вызвал упорную войну брата его Святослава, показавшего редкую братскую любовь, потерявшего чрез нее все города свои и действовавшего почти против всех князей с Георгием Суздальским. Народной ненавистью киевлян, убивших Игоря, уже монаха, он воспламенил войну. Георгий суздальский эгоист, понуждаемый ненавистью к Изяславу и Святославом, противустоит и заставляет отказать Изяславу, которому однако ж старая любовь киевлян и ненависть к Георгию дает новые силы. Георгия войны почти всегда неуспешны, Изяславовы почти уничтожают владения Георгия в Южной России. В эту войну, рожденную взаимною ненавистью и беспрестанно возобновляемую, впутывают они — Георгий князя галичского Владимирка и половцев, Изяслав венгерского владетеля Гейзу. Изяслав торжествует, принимает в Киеве, как отца, дядю своего Вячеслава и разделяет с ним власть. Сам всегдашний предмет народной любви, которую умеет приобрести своим обхождением с ними.

<43> СНОШЕНИЯ С ГРЕКАМИ

Дочь Всеволода Янка ездила в Цареград.

<44> МИТРОПОЛИТЫ

Иларион. — Григорий грек.

Иоанн грек, сочинитель церковного правила.

Иоанн скопец, грек — мертвец.

Ефрем скопец. — Николай грек.

Никифор грек, известный сведениями и красноречием. Его два письма к Мономаху. Одно о разделении церквей Восточной и Западной, другое о посте.

Никита грек.

<45> О ГОРОДАХ

Города состояли из мирной половины граждан, постоянной, и наездной, воинственной дружины князя, переселявшейся вместе с князем.

Князь ехал на княжение со всею свитою, с своими людьми и дружиной, иногда довольно многочисленною, которую город содержал.

Строений крепких в городах не было и не строилось, потому что князь не почитал их потомственным наследием и помнил, что со временем мог переменить его на другой.

Города были слишком не великолепны на вид, окружались земляным валом, но зато вмещали несчетное множество церквей, больше деревянных, маленьких. Летописи говорят, что во время пожара в Киеве сгорело 600 церквей. Каждый князь платил от себя дань набожности, выстроив церковь. Это распространялось на его дружину.

Дружины князей были причиною и зиждителем городов. Такое множество, <что> свита не иначе могла помещаться, как в целом остроге. Такое множество воинов, бездействующих и праздных людей, не прилагавших труда, должны были собрать вокруг себя трудящийся класс, доставлявший бы им все нужное. Отсюда класс ремесленников и мирных граждан.

<46> ПОСТЕПЕННОЕ ПОЯвление ГОРОДОВ

В Бресте был племянник Святополка, Ярополков сын Ярослав, которого он в цепи заключил. Стало быть, Брест был русским и отдельным городом еще в начале 1101.

Лубны упоминаются во время набега половцев — 1107.

Прилук (1138) упоминается при осаде его Ольговичами.

Торжок взят Георгием Долгоруким у новгородцев — 1139.

Всеволод отдал и отсудил: Игорю Юрьев и Рогачев, Святославу Чарторийск и Клецк, а Давидовичам Брест и Дроговичин.

<47> ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙ<СТВО>

Добыча: скот жителей, рабы.

Бежавшие князья; предприимчивый мятежник, обещая грабеж, всегда мог набрать себе

дружину (Карамзин).

Как князья из удела перемещались в другой, так точно и бояре.

От одного удела зависело несколько других: от Чернигова Рязань, во времена сыновей Ярославовых и Изяславовых. Впоследствии уделы чрезвычайно перемешались, так что черниговские перемещались к киевским, киевские к черниговским.

После киевского значительнее других черниговский.

Редкие, впрочем, пользовались уделом и арендой отца. Часто иные князья, когда нравился им чужой удел, изгоняли с сильною дружиною князя, который иногда довольно спокойно отправлялся искать удела или принимал предоставленный победителем.

Это государство из аренд родственников государей, дядей, племянников, представляло странное явление. Несмотря на беспорядочность, на неимение предельных законов, на неопределившиеся права и отношения их между собой, они носили какой-то темный вид единства и цельности одной нации. Князья часто в критические минуты говорили, напоминали о том, что Русь гибнет, а враги радуются. На сейме, собранном Монома-

хом, явно сказано: да будет земля русская общим для нас отечеством. Святители напоминали тоже об общем отечестве. Летописцы тоже принимают живое участие в общем, несмотря на свое частное пристрастие.

Уделами менялись и торговались, как воины своими оружьями. За один большой получал два-три маленьких, иногда додача деньгами (см. 2-й сейм. Мономах от себя 200 гривен. Олег и брат его также, кроме городов, за Владимир-Волынский).

Здесь-то нужно искать причины остановки хода развития в России.

Народ, видя частое изгнание князей, терял к ним уважение.

Князь даже производил торги. Так, Святослав торговал солью, которую привозили купцы из Галича и Перемышля.

Князья назначали посадников в другие города. В завещании Мономаха: не надейтесь на посадников и бирючей; стало быть, посадники были.

Мужество князей росло в охотах, ими они тщеславились. Смотри завещание Мономаха.

Жители в городах всегда имели сильное участие в правлении, почти республиканском. Могли экстренно собирать вече и звать на оное князя. Так вызывали они князя с тем, чтобы жа-

ловаться на его тиунов.

Воинственность и рыцарский обычай был виден в том, что они приезжали на вече даже на конях.

Тиуны часто сильно угнетали граждан своим правлением, и за то народ часто, выведенный из умеренности, грабил их собственные домы.

Тиуны самоуправничали часто мимо князя, и не столько дружина, как впоследствии бояре оной оказывали неповиновение к князю.

Часто города, будучи недовольны своим князем, тайно приглашали <другого?>.

<48> НАБОЖНОСТЬ

Князья заключались и постригались. Сын Давида Черниговского Святослав при митрополите Никифоре.

Монахи путешествовали к святым местам: игумен Даниил во время Святослава был в Иерусалиме во время Балдуина.

<49> ПИРЫ

Пиры давались почти на весь мир, на бояр и дружину. Три дня угощали бедных и странников.

(Пир, данный Олегом по случаю перенесения мощей 1115 Бориса и Глеба).

Народу бросались ткани, шкуры и серебряные

монеты.

<50> ОБЫЧАИ

Чтить гостя и иностранца какого бы то ни было всегда считалось главным. Мономах в Поучении особенно это завещает. Если нельзя одарить, просит по крайней мере угостить его, ибо гости распускают в других местах худую и добрую славу.

Некоторые из князей были довольно учены. Влад<имир> Мономах в завещании говорит, что отец его, сидя дома, говорил на 5 языках. Карамзин думает, на греческом, венгерском, половецком, скандинавском и русском.

Охоту, как доблестнейшее занятие, лучшие государи советовали — отцы сыновьям. Смотри завещание Мономаха.

Охота была за буйволами, оленями, дикими лошадьми, вепрями, медведями. В каждом уделе лучшая для князя прибыль были места для охоты, за них иногда переменяли они уделы.

Дружина жила князем и беспрестанно требовала прибавки жалованья.

Жены ходили в золотых украшениях. См<отри> Соф<ийский> врем<енник> вставка: «Последуем, братцы, примеру нашего князя» («О братие, потогнем по своем князе и по Русской земли. Не

глаголаху мало ми есть, княже, 10 гривен и не кладяху на своя жены златых обручев, но хождаху жены их в сребряных»).

У князей бывало немало богатства в подвалах, кладовых и погребах: железо, медь, вино, мед, на гумнах множество хлеба. У Святослава Черниговского, брата Игоря, нашли 900 000 скирд.

В междоусобных бранях обыкновенно дружина и вожди прежде всего старались овладеть кладовыми и погребами и грабили хлеб, терем, все заведения.

Грабили и жгли даже церкви, как при взятии Путивля, дома Святослава. Меду в подвалах 500 берковцев и 80 корчаг вина.

<51> ГОРОД КИЕВ

Была Жидовская улица, по множеству жидов.

Пожар в Киеве при Мономахе обратил в пепел монастыри и около 600 церквей.

<52> БРАЧНЫЕ СОЮЗЫ

Князья роднились иногда с отдаленными европейскими домами.

Мономах был женат на Гиде, дочери английского короля Гаральда.

Мстислав на Христине, дочери шведского короля Инга Стенкильсона.

<53> СОЮЗЫ ГОСУДАРЕЙ ЕВРОПЕЙСКИХ С

РУССКИМИ

Одна дочь Мономахова за норвеж<ского> принца Сигурда, потом за датского Эрика Эдмунда, вторая за Канутом Святым, королем Оботритским.

Третья за греческим царевичем.

<54> ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

Великий князь брал только своим посредством, как третье лицо, призываемое на суд, разумеется, если он характером, силою, мужеством, счастливыми победами умел приобрести это. Тогда из боязни к нему не смели ссорить владетели соседственных уделов.

Великий князь должен был хлопотать и умирять недовольных. Он склонял к сделкам между собою в мене уделов князей, уговаривал того и другого, уступал, если был слаб, грозил, если был силен.

Его поименная некорыстная власть основывалась на мнении только, на давности первенства, на городе Киеве.

Дошло до того, когда вел<икий> князь требовал помощи у других великих князей, они торговались, требовали многих городов, и князь должен <был прибегать к?> военным хитростям.

Восходя на престол, великий князь уведомлял

удельных отправлением к ним послов.

<55> ВЛИЯНИЕ УПАДКА КИЕВСКОГО КНЯЖЕНИЯ

С упадком киевского княжения прежний призрак порядка рушился. Влияние России на Юго-Запад Русский стало значительно меньше. Князья их более своевольничали и беспорядковали. Влияние Польши и Венгрии становилось сильнее.

В княжении киевском находились и зависели от него всегда: Вышгород, Васильков, Лыбедь.

<56> ВОЙНА С ЧУДЬЮ И ЛИТВОЮ

Война с Чудью и Литвою обыкновенно оканчивалась разорением сел и уводом пленников. Мстислав, сын Мономаха, привел в Киев их великое множество, которые отчасти шли в продажу и заселяемы были.

Литва всегда с большим усилием упорствовала платить дань.

<57> ЗЕМЛЯ ГАЛИЧСКАЯ

Юго-Западная Россия стала называться Галичскою областью с тех пор, когда сын Володарев, Владимирко, господствуя вместе с братьями, перенес столицу на берег Днестра, в Галич. Неукротимый враг Польши, он врывался часто в земли соседа своего Болеслава. Болеслав мстил

тем же на земле Галицкой, то враг, то союзник венгров. Справедливый по-своему и всегда храбрый и упорный, Владимирко по смерти братьев, Ростислава и Васильковича, сделался один обладателем Галичской земли, грозил изгнать Всеволодова сына из Владимира и вызвал против себя соединенные силы всех русских князей. Ему мало помогли венгры под начальством дяди короля Гейзы, Бака. Но более нанес ему зла его племянник Иоанн Берладник, у которого он отнял его владения и который во время его отсутствия был признан жителями Галича князем. Возвратившись, он наказал жестоко галичан и, принужденный отражать снова союз русских князей, наконец ринулся в их землю и взял Прилук.

Города в области Галичской: Звенигород, Перемышль, Теребовль, Ушица, Микулин (1145).

<58> БЕРЕНДЕИ И ТОРКИ

Кочевые жители Переяславской области. Употреблялись в виде наемных войск вел<икими> князьями (в стане Ярополка против Ольговичей было 1000 конных берендеев, или торков).

Остатки печенегов тоже употребляли в конницу. (Всеволод Ольгович прислал Вячеславу в Переяславль на помощь конницу печенежскую.)

<59> ПЕРИОД ВТОРОЙ

Общие замечания. Что удельные нравы все-таки способствовали к монархизму, легко сказать. То есть, если б монархическая власть дошла туда, она имела бы по крайней мере на чем укрепиться, но вопрос, могла ли она зайти. Власть самодержца не могла никогда держаться на великих малонаселенных пространствах, потому что ей не на чем укорениться, на местах изглаживался след ее. Что Карл был самодержцем, <что были> два-три самодержавные правители, этому нечего дивиться. В их землях еще старые, освященные давностью следы римские. Но там, где не была врезана она в самое сердце земли ни городами, ни крепостями, никакими пунктами, например в Германии, там она не могла существовать или существовала в одном титле.

<60> СЛОВА, ТРЕБУЮЩИЕ ИЗЪЯСНЕНИЯ

Куны. — Долсеи. — Мыт.

<61> НОВГОРОД

ВЛАСТЬ КНЯЗЯ

Власть князя была сильно ограничена. Он не мог в волостях новгородских постановить своих мужей, но новгородцев.

Он не мог иметь сел, купить, ни принять дары и подати, ни жена его, ни слуги во всей Новгород-

ской волости.

В Русу мог ездить только на третью зиму. В Озвадо за звериною охотой летом. В Ладогу на третье лето.

Он не мог выводить в свою волость людей ни из какой Новгородской волости.

Не мог требовать для своих дворян провозу, подвод у купцов, выключая разве в случае ратной вести.

Не мог иначе торговать с немцами, как посредством новгородцев?

Не мог приставлять к немецкому двору своих приставов, ниже́ закрыть.

Кроме того, князю предписывалось не слушать наветов, не мстить, не препятствовать бессрочному житию новгородских гостей.

(Смотри грамоту новгородц<ев> Ярославу Ярославичу — 1263).

Без посадника не мог раздавать волостей, ни лишить, ни судить.

В Русу ездить осенью. В Ладогу посылать осетренника и медовара.

Не мог дать грамот (?), принять заложника, ни смерда, ни купцыни.

Тиунов держал он в волости пополам своего и новгородского в земле Волочской. В Торжке

держать тиуна он мог своего, в отношении собственных владений.

Не мог из Суздальской земли своей управлять Новгородом.

Примечание: во всех грамотах всегда ясно старались отметить рубеж земли Суздальской от Новгородской.

В низовых областях особенно была недействительна власть княжеская, там он не мог во все вмешиваться и рядовать волости. Грамота 1309.

Запрещалось ему бить свиней в 60 верстах от Новгорода.

Должен был поставлять своего наместника за Волок.

Слать судей на Петров день (разъездных).

Не мог набавлять, ни учреждать пошлин.

За рубежом земли Новгородской его суды не могли судить и быть посылаемы, и от слобод и сел отступаться.

В Ладоге не мог держать тиуна. Упом<инается> в пер<вый> раз в грамоте, данн<ой> княз<ю> Мих<аилу> Яросл<авичу> Твер<скому> 1309 (А в Ладоге ти тиуна не держати).

Там же. Бегущих он в Тверскую область половников должен возвратить в Новгород и там судить.

Он мог брать за провоз через его землю по две векши от лодки, воза, от льна и хмельна короба,

Из Ладоги он брал дань: посылал для ловли осетров и варения меду.

–

Определить степень дани или даров в волости, получаемых князем.

–

Что собственно новгородская волость, все ли государство или округ города Новгорода?

–

Отчего половник (холоп)?

КОНСТИТУЦИЯ НОВГОРОДА

Новгород обязывал прежде всего князя письменною грамотою на пергаменте с свинцовою печатью, с одной стороны которой был образ Знамения Пресв<ятой> Богородицы, с другой — имя архиепископа новгородского. Она начиналась благословением владыки, поклоном посадника, потом тысяцкого, наконец больших и малых чинов (старейшин), затем весь Новгород клянется держать его княжение честно по пошлине, безобидно, и такого же требует от князя.

Около 1132 народ начал избирать посадников, когда изгнал Всеволода.

ДОХОДЫ КНЯЗЯ

Доходы были не слишком <значительны> и все определены и установлены навсегда.

А коли, княже, поедешь в Новгород, тогда тебе дар имати по состоянием, а коли поедешь из Новгорода, дар тебе не надобе.

ПРАВА НОВГОРОДЦЕВ

С купленных земель в земле Новгородской князь получал куны, но удалившись из Новгорода, тоже получал, но дарственных лишался.

Никогда великий князь не мог постановить им князя, если он не нравился. Так, не захотели они сына Святополка и удержали у себя Мстислава.

Купцам давались деньги, и они уже совершали на них, экипировали войска, в 1137 против Всеволода, разграбив дань его доброжелателей, с других взявши налог, они <новгородцы> деньги отдали купцам на заготовление вещей к войне.

НЕУСТРОЙСТВА НОВГОРОДЦЕВ

Во время смут и народных волнений народ обыкновенно сбрасывал своих начальников с

мосту и топил их в Волхове.

Всеволода обвинили за то, что:

1 не блюдет простого народа и любит только забавы, ястребов и собак.

2 хотел княжить в Переяславле.

3 ушел с места битвы на Ждановой горе прежде всех.

4 непостоянен в мыслях, держит сторону то князя черниговского, то пристает к врагам его.

Но всегда почти в Новгороде партии, приверженные князю, — несколько домов больших аристократических, как кажется; их обыкновенно народ грабил во время бунта против князя.

Князя когда не желали и на место его просили другого, то прежнего заключали в епископском доме. См. Киевская летопись.

При Георгии Суздальском сделалось смятение за князей Ростислава и Мстислава, граждане разделились на две стороны: *Торговая* была за князя, *Софийская* — против.

ОТНОШЕНИЯ НОВГОРОДЦЕВ К ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ

Владея отдаленными странами нынешней Архангельской губернии, новгородцы платили великому князю особенную дань, называвшуюся

Печорскою.

ИСТОРИЯ НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Вначале новгородцы, псковитяне и ладожане составляли одну область (с какого времени?)

Купеческие суда его <Новгорода> ходили за море и привозили товары в Россию и в 1142 отразили флот шведского короля, выехавшего на разбой с шестидесятью ладьями и с епископом.

<62>

<…> прибегавший то к папе (Гильдебранту), то к Генриху IV, приведший с собою поляков и короля польского Болеслава П.

<…> и Олег первый употребил половцев.

<63>

ПЕРИОД ТАТАРСКИЙ. ИЗ ВИЗАНТ<ИЙСКИХ ИСТОРИКОВ>

Pachimeres, T. I. pag. 235, 236, говорит, что с татарами мало-помалу мешались цихи, готы, россиане и другие окрестные народы, наконец, принявшие от татар нравы, образ жизни, язык и одеяние; служили в татарских войсках.

<64>

Семен Иоаннович купил чрезвычайно много сел у своих бояр.

Великие князья, имея в руках все средства,

скупали села и деревни у бояр своих. Примеров этому видно множество в духовных грамотах, где, отказывая села членам своего семейства, вычисляют, у кого они покупались.

«А в Переяславле купля моя село Самаровское, село Романовское, на Кержаче село Ортаковское в Юрьевской волости, село Семеновское Володимирской, что́ есмь купил у Овци у Ивана, село на Костроме Олександровское, село в Дмитрове, что́ есмь купил у Ивана Друцского, и Заберег, что́ есмь купил у Семена Новосильского».

Князья записывали и дарили свои кони и стада.

«А из конь из своих из ездовых велел есмь дати своей княгине пятьдесят конь, а из стад из моих моей княгине стадо Коломенское, другое стадо Детино Ивашково». См. Гр<амоту> Сем<ена> Ив<ановича>.

Простота времен царственно-патриархальных. Князь владел селами, волостями, конями, стадами, кубками, золотыми чашами и все отказывал и передавал в духовной своим наследникам с бережливостью времен старых, упоминая подробно обо всем.

<65>

О имениях и о доходах. Бояре, ведавшие княже-

ские волости, платили половину доходов. Смотри грамоту духовную Семена Ивановича:

«А хто моих бояр иметь служити у моей княгини, а волости имуть ведати, дают княгине моей прибытка половину».

Грамоты духовные писали князья в присутствии духовенства; нескольких архиепископов, епископов. При грам<оте> Семена Ивановича присутствовали: владыка володимерский Олексей, владыка переяславский Офонасий, владыка коломенский Афанасий, архимандрит Петр, архимандрит Филимон, отец душевный поп Евсевий.

<66> ЛЕТОПИСИ

И те летописи писались на пергаменте и на хлопчатой или льняной бумаге в обыкновенный лист, на каком и теперь пишут, а иные и больше обыкновенног<о>. И письмо на тех летописях разное, на одних, которые принадлежали большим боярам, али архиереям, али может и царям самим, писано красно и слова словно выпечатаны. А которые были каких-нибудь незнатного рода людей, купцов, чернецов, те писались не больно хорошо и зело несвязно, хоть глаза выпяливай, не разберешь, <с> картинками и малеваниями такими, как бы примерно теперь видеть можно на Бове-Королевиче али на Петре Златых Ключах.

По краям были те летописи исписаны. Наши русские первые начали обрабатывать язык. Из всех славянских народов они одни только писали временники на своем языке, и <при> великом князе Владимире разумные греческие мужи уже начинали переводить с греческого многие книги и по букварю греческому составили и россий<скую> азбуку, а как язык греческий язык богатый, то тогда и наш православный русский, а ныне церковный принял много букв таких, которых и не нужно было совсем. И оттого другие народы не обрабатывали своих языков, что как приняли латинскую веру, то и богослужение начали отправлять по-латыни, а так <как> никто не знал на этом языке, то и не пони<мал>, что бормотал поп их, а оттого, несмотря на то, что приняли веру христианску<ю>, долго еще были басурманами.

Переписчики и писцы составляли как бы особый цех в народе. А как те переписчики были монахи, иные вовсе неучены, а только что умели маракать, то и большие несообразности выходили. Трудились из эпитемии и *для отпущения грехов,* под строгим надзором своих начальников. Переписка была не в одних монастырях, она была, что ремесло поденщика. Как у турков, не

разобравши, приписывали свое. Нигде столько не занимались переписываньем, как в России. Там многие ничего не делаю<т другого> в течение целого дня и тем только снискивают пропитание. Печатного тогда не было, не то что <теперь?>

А тот монах был правдив, писал то только, что <было>, не мудрствовал лукаво и не смотрел ни на кого. И начали последователи его раскрашивать.

После Нестора — продолжатели. Название остается все то же: временник, Несторова летопись.

Списков ныне великое множ<ество>. Впослед<ствии> государи русские повелевали собирать их, и много их есть в Петербурге — в Академии наук, в императорской библиотеке, в московской патриаршей, у разных епископов и в монастырях, а также у других людей, особенно у знати.

Превосходит всех Патриаршеский красотою и четкостью, а после него Радзивилловский и Воскресенский.

Буквы, которыми писаны летописи, таковы, какие и теперь еще употребляются в церковной печати, а писали чернила<ми>, а большие, заглавные буквы — киноварью.

Очень нужно сделать справки:

Шлец<ер> упоминает о славянском Евангелии,

на котором присягали французские короли, долженствовавшем, по мнению его, быть слишком древним, к несчастию истреблено оно каннибалами в начале революции (?). Alters Beiträge.

Откуда взяли русские эту Библию, которая называется первым славянским перев<одом>? Острожские издатели говорят, что перевод, присланный им из Москвы, сделан был при Владимире Великом, следовательно, с лишком сто лет после Кирилла.

<67>

Как зародились стихии политического существован<ия> на юге нашего отечества, это ведомо всякому.

Как с помощию пришельцев основались и утвердились пункты будущего государ<ства>; как Киев, Чернигов, Переяслав<ль> явились главными между ними; как Владимир постоянным и долговременным правлением дал вид единства и вид государства этим землям некогда независимых племе<н>, и внес туда [веру] христианскую; как бесчисленное число его родственников и потомков правило независимо городами, строило новые и заселило мало-помалу неподвижными пунктами <всю страну…>

<68>

Характер русского несравненно тонее и хитрее, чем жителей всей Европы. Всякий из них, несмотря на самое тонкое остроумие, даже итальянец, простодушнее. Но русский всякий, даже неумный, может так притвориться, что [проведет всякого] и дурачит другого.

<69>

Вражды, войны, битвы и замировки были семейственными между Россией и Литвой. (Князья русские ходили часто в их леса и полонили их, а литовцы, не без пожертвований сильных, противились и часто, сжег<ши> свои жилища, убегали в леса, а оттуда, выждав случая, мстили, сильно нападая на беспечного князя врасплох. См. Мстислав в 1130). Князь Роман Ростисл<авович>, князь смол<енский>, забравши в полон литовцев, населил ими деревни. «Зле, Романе, робишь, что литвином орешь». Псковским провинциям, городам и селам, сопредельным с лесами, была беда от литовских набегов. Псковитяне вторгались, полные мщения, несколько раз в их пределы, пустошили сильно их области, уводили их в плен вместе с скотом (см. Яросл<ав> Владимировичу князь новгород<ский>). История наша начиная с 1200 г. наполнена битвами и взаимными вторжениями, отмщениями и опустошениями и уводами

в плен литовцев. У Новгорода и Пскова битвы с ними становились чаще и чаще. Еще ни одного имени вождя, звонкого именем, не было слышно у литовцев. Образ их войны, очевидно, состоял из нападений хищнических толпами. Но в этих беспорядочн<ых> бранных движениях однако ж крепились мышцы молодого народа. Когда тягостная, [так] непостижимо завязавш<аяся> связь южной России с татарами обратила туда всю деятельность, литовцы умирялись и враждовали и вновь враждовали и вновь умирялись, побежденные, с новгородцами, обложившими их данью. Влияние татар, равномерно как и самое имя их, здесь почти было не слышно в этот период, когда кочующая ордынская сила, подвергнув под свое дикое владычество, обвела какою-то тонкою цепью русские княжества и повергла их в онемение и рабскую недвижность. Происшествия дали силу литовцам. То, что унизило князей русских, то их возвысило. Им было легко устремляться на еще дымившиеся от татарских пожаров села и развалины и<ли> скоро вслед за татарами на еще дымившиеся села. И <они> явились скоро и беспрекословно владетелями многих мест в Южной России. Таким образом они заняли и укрепили Новогродск, Гродно, Брест и Дрогичин. Они

успели отстоять эти места у татар и встретили, не бледнея, их орды, насылавшие трепет на Россию. Общий враг сдружил русских с литовцами. Имя князя Эрдивила раздалось, как имя победителя мо<н>голов. Селения русские освобождались из-под татар и очнулись под литовским владычеством. Некоторые сопротивления и нападения на них были неудачны. Полоцк, предпринявший это, был покорен. Скоро взволновались также Пинск и Туров. Мо<н>голы видели, что этот новый сосед выхватывает, так сказать, изо рта их завоевания и еще раз попробовали вооруженною силою набр<осить> дань и подвергнуть их под толпу подвластных себе племен, но это было безуспешно. Разбивши их, прогнавши <и> преследуя за Днепр, литовцы с соединенными южными русскими войсками отняли у них Мозырь, Стародуб, Чернигов, Карачев и всю область северскую. Новые обладатели Южной России вели себя хорошо в отнош<ении> к подвергнувшимся их власти городам и весям. Связь их была, как у простых народов, братская, ни собственность, ни вера не тронута, хотя новые победители были язычники. Везде прежние обычаи городов, и даже многие князья, кажется, остались те же. Некоторые из литовских предводителей установили себе рези-

денции, где и остались. В Полоцке был литовский князь Борис, который принял даже христианство и женился на дочери русского великого князя тверского, основал на границе своих владе<ний> на Березине город Борисов. С ним безуспешно боролись Смоленск и Псков, а преемник его Василий наложил дань на Псков. А другой владетель литовский, Ольгимунд, победил русского князя Давида Луцкого. В минуты опасности прибегали князья под литовские знамена. В битве с татарами под литовскими рядами видны были князи Киевский, Друцкой, Волынский и Луцкий.